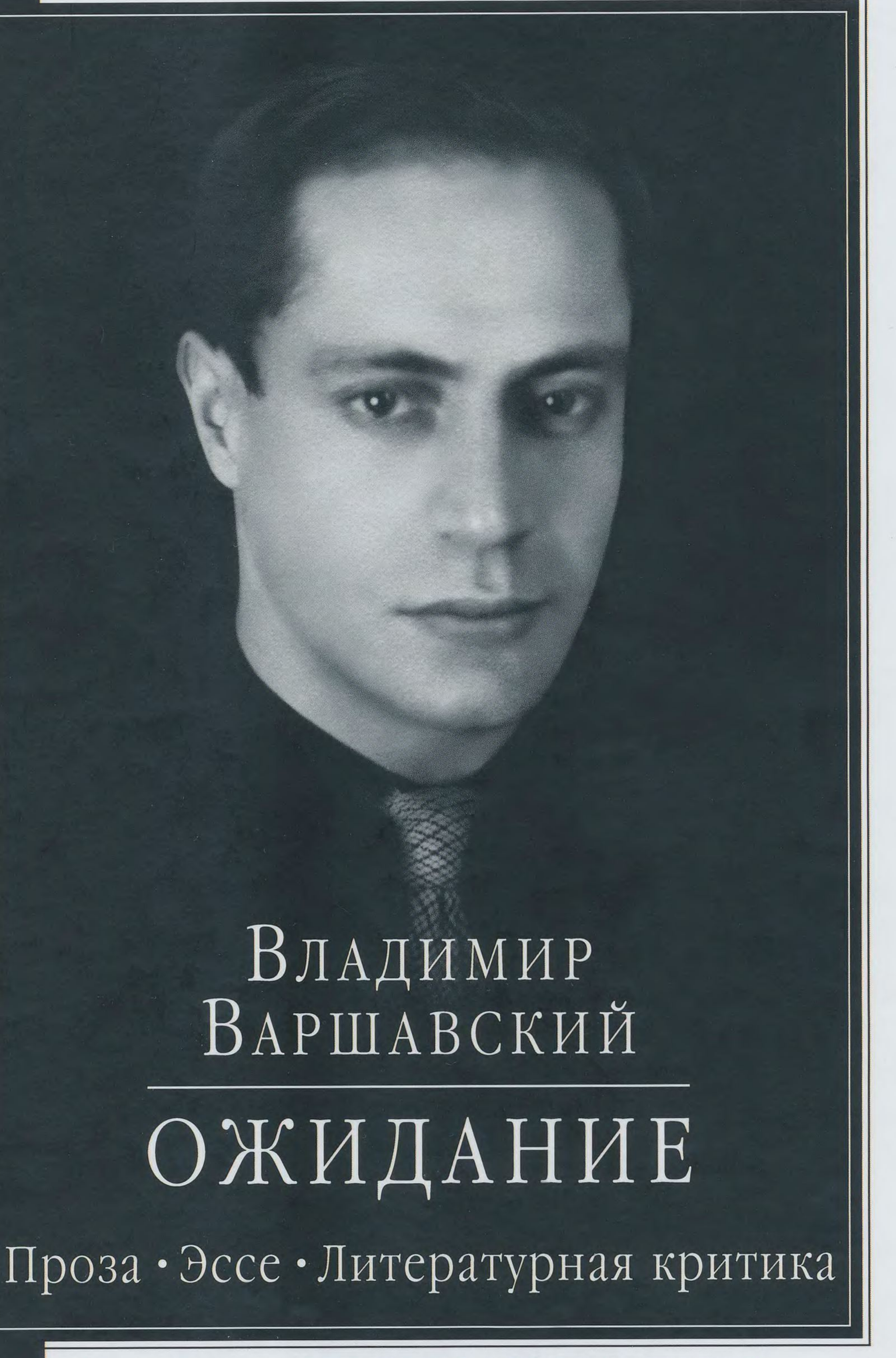


# Владимир Варшавский

# Ожидание

Проза • Эссе • Литературная критика

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
Книжница

Владимир Варшавский
Ожидание
Проза • Эссе • Литературная критика

Как всякий человек, получивший русское воспитание, я с детства усвоил идею абсолютной справедливости. ~~Но~~ Только я не знал тогда этого названия. ~~Я~~ Я ~~говорил~~ неясно представлял себе: правда, ~~в~~ всегда нужно быть за добро, Россия всегда за правое дело, Евангелие, Толстой. Я думал тогда, что это легко

Владимир
Варшавский

# ОЖИДАНИЕ

Проза
Эссе
Литературная
критика

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
Книжница
2016

УДК 82-94+82-6
ББК 84(2 Рос)6
В-188

ISBN 978-5-98854-056-4 (ДРЗ)
ISBN 978-5-9905658-4-5 (Книжница)

*Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»*

Редакционная коллегия:
*Т.Г. Варшавская, М.А. Васильева, О.А. Коростелев, Т.Н. Красавченко, В. Хазан*

Предисловие
*Т.Н. Красавченко*
Составление, подготовка текста, комментарии
*Т.Н. Красавченко, М.А. Васильевой*
Послесловие
*М.А. Васильевой*
Вступительная статья к приложению
*М.А. Васильевой*
Составление и подготовка приложения
*М.А.Васильевой* при участии *О.А. Коростелева*

Оформление
*Е.Л. Вельчинский*

## СОДЕРЖАНИЕ

Татьяна Красавченко

# ПОД ПОКРОВОМ ИЗГНАНИЯ

> Мне казалось, если я не расскажу о себе всю правду, если никто не будет знать о всех моих мыслях и чувствах, то выйдет, что моей жизни как бы совсем не было. Ведь то, о чем никто не знает, все равно, как не существует.
>
> *В. Варшавский. Ожидание*

Все лучшее, написанное прозаиком, историком и философом культуры Владимиром Варшавским (12 (25) октября 1906, Москва — 22 февраля 1978, Женева): автобиографический роман «Ожидание», книга «Незамеченное поколение» и эссе — это литература «свидетельства» или «человеческого документа», — яркое явление в русской словесности XX в.

В «нормальной», стабильной ситуации существует художественная литература и существует историография, у каждой — своя концептуальная система освоения мира, а между ними в промежуточной зоне автономно существует документальная константа, обслуживающая обе системы[1]. Качественная дестабилизация исторического процесса, катастрофические общественные сдвиги — Первая мировая и Гражданская войны, революции, эмиграция взорвали «нормальную» ситуацию; литература изменила свой традиционный облик, возник кризис основ концептуальной системы — средств передачи и осмысления информации, образно-языкового фонда, т.е. способов «формирования» картины мира. Новое не поддавалось осмыслению в рамках устоявшейся системы интерпретации действительности.

Чуткий к веяниям времени и эстетическим потребностям литературы, Георгий Адамович выдвинул эстетику литературы документа как программу — на первый план. Наступил час документальной словесности, она взяла на себя функцию не только фиксации, но — и это главное — интерпретации и концептуализации. Изменилась иерархия жанров. На первый план вышли понятия правды, свидетельства. Читателя интересовал не столько вымысел, сколько то, что было в действительности, ставшей интереснее вымысла.

Талант Владимира Варшавского оказался конгениальным этой ситуации. Характеризуя его повесть «Семь лет» (1950), позднее вошедшую в роман «Ожидание» (1972), Георгий Адамович назвал его «маниаком правдивости»[2]. В самом «Ожидании» герой, за которым стоит автор, формулирует свое эстетическое кредо: «...я надеялся, усилие сосредоточиться поможет мне увер-

---

[1] См. об этом: *Земсков В.Б.* Документ и воображение // Земсков В.Б. Образ России в современном мире и другие сюжеты / отв. ред., сост. Т.Н. Красавченко. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Гнозис, 2015. С. 268.

[2] *Адамович Г.* Семь лет // Новое русское слово. 1950. 1 окт. № 14037. С. 8.

нуться от небытия. Нужно только писать точно, что видишь, ничего не выдумывая».

* * *

Особенность Варшавского состояла и в том, что он сразу выступил как представитель своего поколения. И это еще в 1931 г. заметил Г. Адамович: «...признания Варшавского так интересно читать: он говорит не только за себя, но и за многих своих современников»[3]. В сущности, уже в ранних рассказах — «Шум шагов Франсуа Виллона» (1929) и «Из записок бесстыдного молодого человека» (1930) — Варшавский создал портрет русского молодого эмигранта первой волны. В первом рассказе звучит своего рода эхо «Медного всадника»: героя преследует — в данном случае спасительный — шум шагов французского поэта Франсуа Вийона, и вместе с тем в духе литературы модернизма — «время зачеркивается», и в едином вневременном ряду истории отверженный в XX в. слышит шаги другого отверженного из XV в. Так, сквозь спасительную литературную призму Варшавский постигает свою жизнь в Париже — шум шагов Вийона на парижских улицах рождает у его героя чувство связи времен, небессмысленности своего пребывания в месте, отмеченном присутствием великого поэта-маргинала, близкого ему по экзистансу.

Второй рассказ — хроника «маяты» русского молодого эмигранта в Париже, никому не нужного, одолеваемого тревогой и мечтами. Он отделен от подлинной, живой жизни, и лишь на миг возникает фантомная, но такая обнадеживающая мысль о «любви живой женщины», она вносит оптимистическую ноту в рассказ, который его автор назвал «бесстыдным» потому что, как ему кажется, это рассказ ни о чем. На самом же деле это одна из первых попыток автора дать хронику жизни молодого эмигранта, отверженного, маргинального, «не у дел».

Варшавский был последователен: после первых робких художественных попыток он четко обосновал «комплекс молодого эмигранта» в ярких эссе — «Несколько рассуждений об Андрэ Жиде и эмигрантском молодом человеке» (1930/1931), «О “герое” эмигрантской молодой литературы» (1932), «О прозе “младших” эмигрантских писателей (1936). Ясно, концентрированно он определил суть различий между старшим и младшим поколениями эмигрантов; молодые хотят жить, но им негде жить: повесть отцов становится для них «отдаленнее, чем Пушкин», а стать иностранцами они не могут и не хотят, так как все-таки родились и выросли в России, т.е. эмигрантский молодой человек *«не находится ни в каком мире и ни в каком месте»* (курсив мой. — *Т.К.*). Своим качественно иным, чем у старшего поколения, взглядом на мир Варшавский выделяется и в полемике 1936 г. вокруг статьи Гайто Газданова «О молодой эмигрантской литературе», публиковавшейся в «Современных записках». Старшие — Марк Алданов, Михаил Осоргин,

[3] *Адамович Г.* «Числа». Книга четвертая // Последние новости. 1931. 13 февр. № 3614. С. 5.

даже Владислав Ходасевич — объясняли кризис эмигрантской литературы «*бытом*» — малым числом печатных органов, читателей, меценатов, малыми тиражами, бедностью, необходимостью другого, нелитературного заработка. Варшавский выходит на уровень «*бытия*»: для него «социальная пустота сливается с ужасающей метафизической пустотой».

По сути, он писал не о «незамеченности» молодого поколения русских эмигрантов современниками — эмигрантская критика как раз его «заметила», а о драматичном ощущении «затерянности» в истории, о существовании «вне истории». Как никто другой, Варшавский передал драму своего поколения и дал точное терминологическое определение — «незамеченное поколение» — не только всему феномену молодого поколения русской эмиграции первой волны, но и тому «межкультурному пограничью», в котором, утратив родину, оно оказалось: он ввел точный, выразительный термин *экстерриториальность* в эссе «О прозе “младших” эмигрантских писателей»[4]. И вновь — на ином эстетическом уровне он вернулся к теме своего поколения в книге «Ожидание», выразительно определив его как «вырванные с корнем».

* * *

Привычное утверждение, что «факты говорят сами за себя», — не более чем иллюзия. Между фактом и текстом стоит автор с его мировоззренческой позицией, а это значит, что нет и не может быть абсолютно документального образа мира. Любой образ мира по отношению к «сырой» действительности так же условен, как и художественный, но в документе недопустимо искажение событийного ряда, его преображение происходит в процессе его интерпретации, здесь-то и рождается условная «правда» документа — и это ярко видно в «Ожидании» Варшавского.

Он создает и хронику своей жизни, и нечто иное; у него — своя эстетическая стратегия. Ведь не случайно он ведет повествование не от своего лица, а вводит автобиографического героя — одного из многих молодых русских эмигрантов, который чувствует себя в Париже «метéком», т.е. иностранцем, никем, «лишним» (вот одна из трансформаций в XX в. сюжета «лишнего человека»), — поэтому у него обычная простецкая русская фамилия Гуськов (вероятно, от «идущего гуськом» и ничем не выделяющегося из ряда).

Для Варшавского важно то, что биография его героя сконцентрировала в себе архетипные черты русского литератора — молодого эмигранта первой волны. События жизни самого Варшавского почти, но именно *почти* совпадают с хроникой жизни его героя, он оставляет за «бортом» многие интересные, но, видимо, на его взгляд, слишком индивидуальные или бытовые детали своей жизни и в рамках событийного ряда автобиографии воспроизводит психологически точный, достоверный портрет своего alter ego. Ему вновь важно не «быт», а «бытие».

[4] Современные записки. 1936. № 61. С. 410.

«Ожидание» начинается с объединяющей Варшавского с Набоковым темы *детства* как «потерянного рая», с воспоминаний об утраченной, но незабытой России. Гармония детства, когда было заложено многое, если не все, в характере автора/героя, дала ему запас прочности на всю жизнь, ощущение своей исключительности, жизни как праздника, присутствия метафизического начала в жизни, т.е. потусторонности, чего-то другого, скрытого за видимым, а также сочувствия, жалости к поверженному, понимание того, что в жизни существует нечто более глубокое, чем инстинкт борьбы.

Владимир Варшавский, как и его герой, вырос в уютном мире — с няней и гувернанткой, с папиными помощниками, с посещением церкви, с ощущением защиты «самых замечательных» родителей. Говоря о частой грусти матери, он лишь редкими штрихами показывает наметившуюся в его детстве драму — конфликт родителей: отца — Сергея Ивановича Варшавского (1879, Полтава — 1945, погиб в ГУЛаге), присяжного поверенного, публициста, и матери — Ольги Петровны Норовой (1875–1961), из старинного дворянского рода, актрисы Московского Художественного театра[5] — «Ольга с норовом», как ее называли в театре (Вл.И. Немирович-Данченко был крестным отцом Владимира Варшавского)[6]. Этот постепенно нараставший конфликт позднее уже в эмиграции — в Праге закончился драматическим, театральным жестом Ольги Петровны: она сорвала с пальца обручальное кольцо, бросила его во Влтаву и уехала в Париж с дочерью Натальей (в замужестве Фиалковской; 1903–1990). Но внимание Варшавского — автора/героя — сосредоточено именно на гармонии детства.

Это чувство, по сути, не было поколеблено у автора/героя даже в треволнениях революции, когда семья в 1918 г. уехала на Украину — сначала в Киев, потом в Одессу, а в 1920 г. из Севастополя в Константинополь, покинув Россию. Настоящий «обвал», т.е. обрыв свойственного детству ощущения жизни в «защищенной вечности», произошел в Чехословакии в русской гимназии в Моравской Тршебове, куда Володя и его старший (на год) брат Юра переехали из Константинополя в 1921 г.: Юра, возможно, «самый близкий ему в мире человек», умер 8 марта 1923 г. от менингита.

Поступив осенью 1923 г. по окончании гимназии на Русский юридический факультет в Праге (выбор скорее отца, обосновавшегося в Праге), Владимир так его и не закончил и осенью 1927 г. уехал в Париж, где жил у матери, близкой ему по духу: она любила литературу, разговоры о высоком, он даже говорил, что все лучшее в нем — от матери. В «Ожидании» об этом ничего нет. Там автору важен образ автобиографического героя как одинокого, ведущего метафизически «внедомное» существование русского эмигранта — студента-философа Парижского университета и обитателя монпарнасских кафе. Постоянное присутствие семьи в жизни автора/героя (отец присылал ему из Праги немного денег, что давало ему необходимый

[5] О биографии В. Варшавского см. подробнее: *Васильева М.* О Владимире Сергеевиче Варшавском. Биографический очерк // *Незамеченное поколение, 2010.* С. 405–424.

[6] Источник биографических сведений в предисловии — Татьяна Георгиевна Варшавская.

прожиточный минимум) одновременно и оберегало его, и накладывало некий отпечаток инфантильности.

Варшавский вел в Париже довольно активную литературную жизнь. В частности, с 1930 г. — он постоянно бывал на собраниях литературно-философского общества Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус «Зеленая лампа». Гиппиус, видимо, оценив удивительную цельность Варшавского, сочетавшуюся со столь характерным для него ощущением метафизического начала в жизни, посвятила ему стихотворение «Éternité Fremissante» («Трепещущая вечность») в сборнике «Сияния» (Париж, 1938)[7].

Как и многие другие молодые литераторы, Варшавский начал печататься в «Воле России» у Марка Слонима, затем в «журнале молодых» «Числа», а уж потом в разных эмигрантских изданиях, в том числе в авторитетных «Современных записках». Он — участник объединения «Кочевье» (1928–1939), где Марк Слоним собрал под своим крылом эмигрантскую молодежь, а с 1935 г. — литературно-философского общества «Круг», организованного Ильей Фондаминским; он — член Союза молодых писателей и поэтов, затем переименованного в Объединение (русских) писателей и поэтов, в 1934 г. — член правления Союза деятелей русского искусства, в 1938 г. — ревизионной комиссии Объединения писателей и поэтов. Однако в «Ожидании» Варшавский не воспроизводит хронику своей парижской жизни. Но, основываясь на реальных прототипах (см. комментарий к роману), создает выразительные портреты Ильи Фондаминского, Георгия Адамовича, Бориса Поплавского, Бориса Вильде, Николая Рейзини, Александра Керенского и др. под вымышленными именами, чтобы избежать «личных» обид, а главное — в случае необходимости порой отступить от буквы реальности и достигнуть большей художественной выразительности. И в результате в нескольких

---

[7] Моя любовь одна, одна,
Но все же плачу, негодуя:
Одна, — и тем разделена,
Что разделенное люблю я.

О Время! Я люблю твой ход,
Порывистость и равномерность.
Люблю игры твоей полет,
Твою изменчивую верность.

Но как не полюбить я мог
Другое радостное чудо:
Безвременья живой поток,
Огонь, дыхание «оттуда»?

Увы, разделены они —
Безвременность и Человечность.
Но будет день: сольются дни
В одну — Трепещущую Вечность.

эпизодах он передает ощущение опять же не бытовой, а бытийной жизни русской эмиграции разных поколений.

Когда началась война, Варшавский, которому было 33 года, добровольцем пошел во французскую армию. Бездействие, а потом крах Франции произвели на него тяжелое впечатление. В «Ожидании» реалистично показаны длившаяся недолго «странная война» и драма Франции, быстро уступившей немцам. Автобиографический герой книги детально, бесстрастно, без осуждения — а вот так, как было, — описывает бегство французской армии, объяснимое прежде всего не отсутствием танков и самолетов (как потом выяснится, всего этого было достаточно), а тем, что большинство французских солдат просто не понимали, зачем эта война, каковы ее причины и цели, зачем их вырвали из дома. Вероятно, свойственное им чувство того, что это чужая война, «война англичан», отсутствие воли к победе и предрешили быстрый разгром французской армии в мае 1940 г. С энтузиазмом, с осознанным намерением защитить западную цивилизацию от Гитлера добровольцами идут на войну, как показано в книге, русские эмигранты (в их числе уже немолодой Г. Адамович), а национальный крах — бегство — капитуляция перед Гитлером оказываются позором лишь для нескольких французских офицеров, участников еще Первой мировой войны.

По-иному почувствовал себя на войне и Варшавский: став французским солдатом, он перестал быть изгоем, апатридом, он приобщен к истории. Как и его герой, медлительный, в обычной жизни постоянно рефлексирующий о своей безместности, он оказывается в экстремальной ситуации войны смелее и решительнее своих французских товарищей, прежде органично вписанных во французскую жизнь. Экстремальная ситуация встряхнула его, он ожил, понял, зачем живет и что защищает в этой жизни, более того, он совершает подвиг. Добровольно вызвавшись защищать Булонскую цитадель, пренебрегая опасностью, 14 мая 1940 г. Варшавский остался последним на линии огня и прикрыл отступление своей роты. Примечательно, что потом, рассказывая об этом эпизоде, он, крайне скромный, не склонный героизировать себя, заметил: «Я просто задумался», что, кстати, было очень характерно для него, учитывая его медитативность, некоторую рассеянность, но, конечно, не снижало, не отменяло его бесстрашия, а сопутствовало ему.

25 мая 1940 г. он попал в плен и до весны 1945 г. был в концлагере Сталаг II-Б (Stalag II-B), в Хаммерштейне (Померания, ныне Польша), потом вернулся в Париж.

8 января 1947 г. распоряжением военного министра Франции Варшавский был награжден Военным крестом с серебряной звездой за мужество. В повести он отходит от биографической канвы. Для его героя, как и «полагается» для «рядового Гуськова», когда он вернулся в Париж, ничего не изменилось, и чиновник автоматически пишет на «виде на жительство» — под «надзором». Эта ситуация передает и общее состояние автора, который, вернувшись в Париж, тоже словно вернулся на «круги своя» — в никуда, в «прежнюю жизнь отверженности, скуки и сожаления», к этому добавил-

ся еще нарастающий в атмосфере холодной войны страх перед «красной опасностью»[8].

Весной 1951 г. в надежде начать «новую жизнь» Варшавский (как и его герой) уехал в США. В повести он вновь оставляет за кадром бытовой механизм отъезда: он смог уехать, так как проезд ему оплатил Исаак Вениаминович Кодрянский (d-r Joseph Codray), муж детской писательницы Натальи Владимировны Кодрянской, с которой он и Адамович дружили и которой даже «помогали» писать сказки. Но надежды на «новую жизнь» не оправдались. В октябре Варшавский устроился на работу рассыльным в ООН, некоторое время жил у Яновского (тот обосновался в США с 1942 г.) и выплачивал Кодрянскому деньги за билет, ибо тот, хотя и был человеком очень состоятельным, не отказался — в воспитательных целях, чтобы Варшавский «не витал в облаках».

Работа в ООН заключалась в том, что каждые полчаса надо было разносить письма, книги, пакеты по канцеляриям, отчего у Варшавского развился артрит и сильно болела нога. Жил он бедно, ел зеленый горошек из консервных банок, потом эти банки использовал, например, наливал в консервную банку горячую воду из-под крана и бросал туда растворимый кофе. Вадим Андреев предлагал ему престижную работу в ООН, если тот возьмет (подобно ему и Владимиру Сосинскому) советский паспорт, но Варшавский отказался. Сразу вспоминается, что в 1947 г., вместе с Г. Адамовичем, А. Бахрахом, А. Гингером, А. Ремизовым, Ю. Терапиано и др., он вышел из Союза журналистов в знак протеста против исключения членов, взявших советские паспорта[9]. Невольно возникает вопрос, почему же он отказался от предложения В. Андреева. Но тут не было противоречия, — видимо, он считал невозможным преследование литераторов за взгляды, но для себя исключал возможность сотрудничества с советской властью, у него на этот счет не было иллюзий.

«Ожидание» Варшавского кончается в 1959 г., когда кардинально изменилась его жизнь — в 1957 г. в гостях у Марии Самойловны Цетлиной он познакомился с Татьяной Георгиевной Дерюгиной, в свое время окончившей филологический факультет Колумбийского университета и работавшей переводчицей в Рокфеллер-центре, потом в Госдепартаменте США. Они обвенчались 28 июня 1959 г. в Свято-Серафимовской церкви в Нью-Йорке. Так в жизни Варшавского и его героя кончается «младоэмигрантский период», а с ними и «записки Владимира Гуськова».

* * *

«Записки» вышли в 1972 г. в парижском издательстве «YMCA-Press» под названием «Ожидание». Жанр этой уникальной документально-художественной книги трудно определить — в традиционных понятиях перед нами

---

[8] См.: *Хазан В.* «Семь лет»: история издания. Переписка В.С. Варшавского с Р.Н. Гринбергом // Новый журнал. 2010. № 2 (58). С. 183–184.

[9] См.: Распад Союза журналистов // Русские новости. 1947. 5 дек. № 131. С. 6.

скорее большая повесть или необычный роман. Она вместила в себя многое. Это книга не только о «незамеченном поколении» и русской эмиграции во Франции, но и о «странной войне» во Франции во время Второй мировой войны, и о советских людях в восприятии русского эмигранта, это и яркий образец прозы русского экзистенциализма. Даже если бы Варшавский не написал ничего другого, он уже вошел бы в историю русской литературы — столь многое заложено в его книге.

Отец Александр Шмеман заметил об «Ожидании»: «...удивительно *хорошая* книга и “с лица необщим выраженьем”... Полная и совершенно беззащитная правдивость, “сила, в слабости совершающаяся”. Никакой подделки, никакого вопля, никакого самопревозношения...»[10]

Первоначальное название книги Варшавского — «Рассеянность», окончательное — «Ожидание» — несравненно удачнее, с бóльшим концентратом духовного смысла, сочетающее два вектора сразу — русский и западноевропейский и обыгрывающее одновременно идею вечного русского ожидания — чуда, счастья (как в чеховских «Трех сестрах» — «лет через двести — триста» мы будем счастливы) — и экзистенциального ожидания человеком (как у С. Беккета «В ожидании Годо») — неведомо чего. Мотив «ожидания» несколько раз возникает в повести: испытав в детстве особое чувство жизни и счастья, герой с тех пор постоянно ожидает, что это повторится. Он ждет «таинственного объяснения всего», «тайны жизни», смерти, любви. На бытийном уровне толкует название книги А. Шмеман: «Тема — у Варшавского — *рассеянности*. Рассеянность — в “мире сем” — это ощущение другого присутствия, от занятости этим присутствием, от *ожидания* (курсив мой. — *Т.К.*), что оно “прольется” в реальность»[11].

Пожалуй, главное достоинство «Ожидания» кроется в его авторе/герое. Особенность его мировосприятия в том, что в любой ситуации — в Париже, в германском плену, в нью-йоркской бедности — он сохраняет способность видеть мир как художник, поэт. Варшавский — мастер портрета и выразительной детали, недаром в детстве он колебался, не стать ли художником. Его проза живописна и метафорична, например: «Покрытая бурой прошлогодней травой земля грелась на припеке с обессиленным и строгим выражением, какое бывает у выздоравливающих после тяжелой болезни».

Его прозе свойственна экспрессионистическая выразительность. Так, герой замечает, что на дороге виднелась «словно нарисованная, расплывчатая, совершенно плоская, зеленоватая фигура, с коричневым пятном вместо лица: зловеще-смехотворное подражание Пикассо. Было трудно поверить, что это труп немецкого солдата, расплющенный гусеницами танков» — жуткий символический образ потерпевшей поражение Германии.

---

[10] *Шмеман А., прот.* Дневники, 1973–1983 / сост., подгот. текста У.С. Шмеман, Н.А. Струве, Е.Ю. Дорман; предисл. С.А. Шмемана; примеч. Е.Ю. Дорман. 2-е изд., испр. М.: Русский путь, 2007. С. 419 (запись от 27 февраля 1978 г.).

[11] Там же. С. 425 (запись от 12 апреля 1978 г.).

Варшавский пишет откровенно, обнаженно, порой его проза перекликается с прозой Варлама Шаламова.

Способность к остраненному взгляду на жизнь, «любопытство», взгляд сквозь призму искусства, способность читать Плотина в лазарете концлагеря и получать от этого наслаждение, т.е. особая писательская способность и культура, спасают автора/героя в плену — в ситуации, которую не может выдержать физически (но не духовно) более крепкий крестьянский французский паренек.

Секрет автора/героя «Ожидания» в том, что он внутренне абсолютно свободный человек, обладающий «волшебной свободой» воспринимать мир не иерархично и независимо от обстоятельств видеть его красоту.

В «Ожидании», где важна каждая деталь и нет лишних, случайных слов, примечательна одна существенная оговорка: в Нью-Йорке в особняке миллионера Рагдаева (Николай Рейзини) на роскошной нью-йоркской Пятой авеню герой «с удивлением оглядывал высокие *сени*» (курсив мой. — *Т.К.*). Что же означает это мимоходом оброненное удивительное в этом контексте, архаичное «сени» — о холле шикарного нью-йоркского дома середины XX в.? Прежде всего, этот анахронизм выдает изначальную и неизбывно сохраняющуюся культурную принадлежность автора, его связь с традицией русской классической литературы.

* * *

Варшавский в высшей степени толстовский человек и писатель. Совершенно естественно его признание: «Читаю Толстого и как будто вторую жизнь живу», «Толстой как Библия» (со слов Т.Г. Варшавской). Присутствие Л.Н. Толстого в его творчестве практически вездесуще. С него начинается «Ожидание»: отождествление Толстого с Россией и Правдой — один из лейтмотивов книги. И далее Варшавский как минимум девять раз упоминает Толстого, ссылается на его высказывания и произведения, а уж «толстовских мест» в его книге не счесть. Варшавский будто от Толстого унаследовал свой порой спасительный взгляд на жизнь «со стороны», когда, что бы ни происходило, а иногда происходит страшное, герой замечает: «...мне было даже любопытно». Собственно вся книга построена на «потоке сознания» героя более всего в толстовском духе. Не говоря уж о многочисленных смысловых «перекличках» с Толстым, особенно с «Войной и миром». В «Ожидании» Варшавский развивает толстовскую философию и метафору неба (вспомним князя Андрея на Аустерлицком поле): «...в небе не может быть ничего глупого, ничего ничтожного, малодушного, а оно существует не только само по себе, но и в моем сознании».

Вслед за Толстым, Варшавский, стремясь точно передать изображаемое, смело нагромождает союз «что», не заботясь о «чистоте стиля» и передавая, таким образом, нечто более важное, магически воздействующее на читателя. Ему свойственна толстовская кажущаяся небрежность построения фразы. Мысли и слова у Варшавского порой, как у Толстого, бегут, не обращая внимания на синтаксис. Прорываясь к «своей истине», в какой-то мере наплевав

на форму, Варшавский в «Незамеченном поколении», в «Родословной большевизма», в эссе порой приводит цитаты страницами, некоторые документы чуть ли не целиком.

В своем отношении к Толстому Варшавский отличался, скажем, от Набокова, прежде всего потому, что между Набоковым и Толстым пролегла целая эпоха — Серебряный век, последним представителем которого, можно сказать поскребышем, и был Набоков с присущим ему, идущим, вероятно, от символизма культом творчества, не свойственным Толстому. В отличие от Набокова, уехавшего из России вполне сложившимся двадцатилетним молодым человеком и успевшего заявить о себе как поэт, Варшавскому шел четырнадцатый год, когда в 1920 г. он с семьей оказался в эмиграции. Формирование Варшавского как личности и писателя (он начал печататься через девять лет после отъезда из России) происходило и завершилось в эмиграции. В социальных катаклизмах он словно и не заметил Серебряный век. Между ним и XIX в. (в отличие от Набокова) ничего нет — Варшавский находится под прямыми лучами русской классической литературы, и Толстой производит на него самое непосредственное впечатление, становится фигурой номер один в его эстетико-художественном мире.

* * *

Толстовская традиция была сильной, но не единственной в творчестве Варшавского. Он оказался на перекрестке западных влияний, недаром Г. Адамович 15 марта 1953 г. из Манчестера пишет Варшавскому в Нью-Йорк о том, что находит в его прозе нечто «кафко-сартровское»[12]. Конечно, Варшавский — человек XX в., его проза органично вписывается в модернистский поток.

С упоением читавший наизусть целые страницы из романа Марселя Пруста «В поисках Свана», он называл себя «прустианцем». Это можно объяснить тем, что, как писал Николай Андреев, «центр тяжести его (Варшавского. — *Т.К.*) прозы в самоанализе героя: мыслей, чувств, ощущений, поступков, даже снов, то есть в том сознательном разложении спектра человеческой психологии на составные элементы, которое утвердилось у некоторых западных прозаиков после Первой мировой войны...»[13], хотя тут, возможно, сильнее традиция толстовского потока сознания. Главное же, пожалуй, в свойственном Варшавскому прустовском отношении к времени, а также в том, как заметил Д. Мережковский, что Пруст — «не художник»[14]: в этой характеристике нашел выражение характерный для русских литераторов, и особенно для Варшавского, взгляд на Пруста скорее как на «хроникера», чем «выдумщика». Вот и Варшавский отходит от близкого ему «гениального выдумщика» Толстого и создает своего рода «психологическую хронику», наподобие прустовской.

[12] Письма Г.В. Адамовича В.С. Варшавскому (1951–1972) / предисл., подгот. текста и коммент. О.А. Коростелева // *Ежегодник ДРЗ, 2010*. С. 267.

[13] *Андреев Н.* Заметки о журналах [«Возрождение» 25, 26; «Грани» 16; «Новый журнал» XXXI, XXXII] // Русская мысль. 1953. 16 мая. № 554. С. 4.

[14] См.: *Кузнецова Г.* Грасский дневник. М.: Московский рабочий, 1995. С. 113.

В известной мере «Ожидание» — это его «поиски утраченного времени» с временны́ми «перебивками», наплывами прошлого — все происходит в едином временно́м ряду авторского сознания, инкорпорирующего историю. Таким образом, Пруст «налагается» на Толстого.

По наблюдению А. Шмемана, Варшавский — это Толстой, «“воспринявший” Достоевского (его вертикаль) и Пруста (его “время”, не космическое, как у Толстого, а антикосмическое, ибо — опыт умирания)»[15].

* * *

1959 г., как уже отмечалось, был переломным в жизни писателя. На уровне быта, повседневной жизни он перестал быть отверженным и вписался в жизнь общества. Татьяна Георгиевна уговорила его стать «free lance», т.е. независимым профессиональным журналистом — он продолжал сотрудничать в «Новом журнале» и писать скрипты для «Радио Свобода», что начал делать еще в 1954 г. Жизнь изменилась для него. Заняв деньги, впервые за долгий период жизни Варшавский поехал в Италию. Венеция произвела на него ошеломительное впечатление — он сел на площади Святого Марка — на глазах у него были слезы.

Европа манила его, и он принял предложение войти в штат «Радио Свобода». В мае 1967 г. он с Татьяной Георгиевной вернулся в Европу, в Гамбург на пароходе, оттуда — в Мюнхен, штаб-квартиру «Свободы». Поселились они в квартире, снятой для них Галиной Кузнецовой и Марго Степун, жившими по соседству.

К работе на «Радио Свобода» он относился как к источнику заработка — второстепенной работе, мешавшей писать «свое». Но она давала относительную материальную свободу — каждый год (а то и два раза в год) Варшавские ездили на море, прежде всего в любимую Италию, а как-то — на остров Скирос в Греции, где встретили французскую писательницу (русского происхождения) Натали Саррот с мужем и по-соседски провели месяц в рыбацкой деревне.

Отказавшись в 1972 г. от постоянной работы на «Радио Свобода», в 1974 г. Варшавский поселился в Ферней-Вольтере, маленьком французском городке на границе с Швейцарией — в трех километрах от Женевы. Они с Татьяной Георгиевной купили небольшую квартиру, и впервые в жизни у Владимира Сергеевича был свой кабинет — с видом на горный массив Юра́.

Постепенно Варшавский вписался в европейский интерьер, Швейцария казалась ему идеалом демократии, он почувствовал себя русским европейцем, именно *русским*: Россия была для него такой же неотъемлемой частью Европы, как Англия или Италия. Поэтому антизападная политика советской власти казалась ему особенно преступной: Россия должна вернуться в Европу.

Он внимательно следил за и событиями в Советской России. И, в частности, переживал все, что происходило с А.И. Солженицыным в его противо-

---

[15] *Шмеман А., прот.* Дневники, 1973–1983. С. 425 (запись от 12 апреля 1978 г.).

стоянии советской государственной системе. А в декабре 1974 г. Варшавские были в Стокгольме на церемонии вручения Солженицыну Нобелевской премии, присужденной ему еще в 1970 г.: это рождало ощущение того, что рано или поздно все становится на свои места. Варшавский с Татьяной Георгиевной проехал тогда по Швеции и, глядя на озера, леса, в очень характерном для него метафизическом духе заметил, созерцая спокойствие северной природы: «Тут я чувствую вечность».

Варшавский любил встречаться с теми немногими, кто приезжал в 1970-е гг. из Советского Союза. Россия влекла его к себе, но оставалась запретной зоной. В конце 1970-х в «салоне» Зинаиды Шаховской, открытом для друзей по воскресеньям (от 17 до 19), Варшавские встретились с Беллой Ахмадулиной, которая рассказала о Надежде Яковлевне Мандельштам и заметила, что та была бы очень рада видеть их в Москве. Варшавский ответил, что не может ехать туда, где нельзя высказывать свободно свои мнения, но рад был бы сделать что-то приятное для Надежды Яковлевны. По словам Беллы, той хотелось колечко с зеленым камнем, и он передал для нее золотое колечко с зеленым полупрозрачным овальным камнем.

* * *

В Ферней-Вольтере Варшавский завершил новую редакцию «Незамеченного поколения» и начал работу над «Родословной большевизма». Эта книга вписывается в спор о России — СССР, шедший на протяжении почти всего XX в. Естественно, вопрос о происхождении большевизма особенно мучил эмигрантов. Н.А. Бердяев в книге «Истоки и смысл русского коммунизма», впервые вышедшей в 1937 г. в Великобритании на английском, а на русском — в 1955 г. в Париже в издательстве «YMCA-Press», писал о двойственной природе русского коммунизма: с одной стороны, он — явление мировое и интернациональное, с другой — русское и национальное. Пожалуй, более близкой Варшавскому была точка зрения английского историка А.Дж. Тойнби: в книге «Мир и Запад» (1953) в главе «Россия и Запад» тот рассматривал коммунизм как «оружие западного происхождения»: «Не изобрети его в XIX веке Карл Маркс и Фридрих Энгельс, два человека с Запада... коммунизм никогда не стал бы официальной российской идеологией. В российской традиции не существовало даже предпосылок к тому, чтобы там могли изобрести коммунизм самостоятельно; и совершенно очевидно, что русским и в голову бы не пришло ничего подобного, не появись он на Западе, готовый к употреблению... Позаимствовав у Запада, помимо промышленных достижений, еще и западную идеологию и обратив ее против Запада, большевики в 1917 году дали российской истории совершенно новое направление, ибо Россия впервые восприняла западное мировоззрение»[16].

[16] *Тойнби А.Дж.* Цивилизация перед судом истории / под ред. В.И. Уколовой, Д.Э. Харитоновича. М.: Айрис-Пресс, 2006. С. 441.

В 1970-е гг. спор обострился. Американский историк и политолог Р. Пайпс, в частности во внимательно прочитанной Варшавским и вызвавшей его несогласие книге «Россия при старом режиме» (1974), полагал, что истоки коммунизма следует искать в далеком прошлом России — в средневековой Московии: ее жители не имели частной собственности и единственным реальным собственником был великий князь (с XVI в. — царь), русские всегда были «рабами», большевистская Россия — продолжение царской России, в СССР все осталось, как было: охранка стала КГБ, крепостное право сменили колхозы, т.е. коммунисты внесли лишь внешние изменения. Другой была точка зрения А.И. Солженицына, убежденного в том, что Россия и СССР — это две разные страны. «Родословная большевизма» (1976–1977) — вклад Варшавского в этот спор: он прослеживает истоки большевизма на Западе и отодвигает их от России. Варшавский был убежден в том, что истоки большевизма и советского империализма нужно искать не в русской истории и не в особом мессианизме русского народа, а в «марксистском эсхатологическом мифе мировой революции»; Россия получила коммунистическую теорию как прививку с Запада и абсолютизировала ее, теургически воплотив ее в жизнь.

Эссе «Родословная большевизма» было опубликовано отдельным изданием в 1982 г. в издательстве «YMCA-Press» — после смерти Варшавского. А. Шмеман в предисловии заметил, что оно производит впечатление черновика[17]. Первые главы «Родословной», напечатанные в 1976–1977 гг. в «Новом журнале», были динамичнее, определеннее[18]; в этой книге «Родословная большевизма» публикуется по журнальному изданию, сделанному самим Варшавским.

* * *

Чуткому к европейской философской мысли Варшавскому близки философы, стремившиеся сочетать науку, философию и христианство.

В молодости, где-то в 1932 г., в «аду отверженности» он открыл для себя Анри Бергсона, прежде всего его книгу «Два источника морали и религии», где говорилось о евангельском происхождении «идеала демократии», что вызвало перемену во взглядах Варшавского; на собрании «Зеленой лампы» 19 января 1933 г. он прочел об этой книге доклад «Другая сторона христианства». Демократия из «описания системы выборов» превратилась для него в жизненно важное явление, связанное с Правдой. Бергсон убедил его в том, что новая Европа органически выросла из христианства, а «машинизм» (в современной терминологии технологический прогресс) ведет к росту свободы, культуры и возможностей разностороннего развития личности. Бергсон давал ему вдохновение жить, в его теории Варшавский нашел и ключ к преодолению смерти.

---

[17] *Шмеман А., прот.* Об авторе // Варшавский В.С. Родословная большевизма. Paris: YMCA-Press, 1982. P. III.

[18] В частности, так оценил их Г.А. Хомяков в письме к Т.Г. Варшавской от 27 августа 1983 г.

Хотя тут и сама жизнь давала подсказки. В «Ожидании» его герой размышляет о смерти Мануши (И.И. Фондаминского, погибшего в концлагере) и подвиге Вани Иноземцева (Б.В. Вильде, казненного в 1942 г. гитлеровцами) и чувствует, как в нем восстанавливается потерянная вера в человека. Будто все эти годы он шел «по краю даже не бездны, а какой-то черной, заваленной трупами ямы», и вот очевидно, что «эта яма» не может поглотить их: они навсегда «озарены неуничтожимым светом». Так интеллектуальный поиск сочетался с откровениями жизни.

* * *

Близкой Варшавскому оказалась и философия «Нового Града». В 1930-е гг. он пробовал разное — евразийство, масонство (в 1931–1934)[19], но обрел себя в философии «Нового Града», религиозно-философского журнала (1931–1939), основанного И.И. Фондаминским, Ф.А. Степуном, Г.П. Федотовым. Он начал печататься в журнале с 1936 г. и, в сущности, исповедовал идеи «Нового Града». Для Варшавского важна «новоградская» идея об общественном строе, гарантирующем свободу личности, — демократии не как власти большинства, а как правового государства и автономности личности. Его эссе, рецензии, книга «Незамеченное поколение» сконцентрированы на поиске разумно устроенного общества — Варшавский верил в то, что правовое демократическое общество способно противостоять инстинкту насилия. Он трезво оценивал возможности и пределы демократии, но остался верен этой идее на протяжении всей жизни, ибо, как показывает практика, пока лучшей формы государственного устройства человечество не выработало.

В христианстве, с его заповедью любви и утверждением абсолютной ценности личности, он видел «путь, ведущий в жизнь», в другое измерение бытия, более глубокое, чем мир природы, где «все подчинено закону борьбы и убийства», и в Нагорной проповеди находил абсолютную, божественную Истину, ибо она утверждала противоположное тому, чему учила борьба за существование, и в этом, как он писал в «Ожидании», крылся залог ее истинности.

Демократия и прогресс (или «машинизм») для него — не отрицание христианства, а открытие другой стороны христианского идеала Преображения мира.

Другой авторитетный для Варшавского мыслитель и ученый — это Пьер Тейяр де Шарден как пророк всечеловеческого Нового Града, предложивший в своих работах, прежде всего в «Феномене человека» (1955) и «Божественной среде» (1957), вариант цельного мировосприятия, в котором снимается противоположность между наукой и религией, предлагается их синтез. Тем самым, по мнению Варшавского, он воскресил надежду на выход современной цивилизации из тупика.

---

[19] См.: Серков А.И. Русское масонство 1731–2000. Энциклопедический словарь. М.: РОССПЭН, 2001. С. 1168, 1193.

То, что Варшавский был утопистом, — это в духе русской литературы (какая литература — без веры в утопию?), вместе с тем его «новоградские искания» — идея «христианской демократии» — были в русле исканий русской религиозной мысли и западных философов культуры и литераторов середины XX в. — упомяну Томаса Элиота с его известной книгой «Идея христианского общества» (1939).

Отец Александр Шмеман назвал Варшавского «"рыцарем демократии", потому что для него она, прежде всего, утверждение личности... "Формальные" свободы имеют смысл, как и их защита, только при *вере* в личность»[20]. Тут следует учитывать постоянную «оглядку» Варшавского на Советскую Россию, в которой действовал неизменный «закон отрицания личности» (термин В. Костикова), хотя нужно учесть и то, что он был живым свидетелем едва не происшедшего полного краха европейской демократии в 1930–1940-е гг.

* * *

Для мировосприятия или типа сознания Варшавского и его поколения характерна квинтэссенция экзистенциальной культурфилософии, трансформированная непосредственным личным, жизненным опытом, традицией русской классической литературы, европейского культурного контекста и утопического вектора; в результате было создано то, что можно назвать «новой», «экзистенциалистской прозой» в русской литературе XX в.

И личность, и творчество Варшавского нужно рассматривать прежде всего в контексте его поколения. С Набоковым, Газдановым и другими молодыми эмигрантами первой волны его объединяет то, что они принадлежали к поколению, лишенному социальной миссии. Их неискоренимое *детерриториальное, внедомное* положение было уникальным. В отличие от коренных французских писателей, они всегда находились на сквозняке различных культурных тенденций. Они выпали из своей национальной «ячейки», но не прикрепились к другой, даже многие из тех, что перешли на другой язык. Трещина раскалывает их сознание. «Эти люди, лишившиеся своего пространства, люди *цивилизационного пограничья*, оказались обреченными на скитальчество, на жизнь в *промежутке*, всегда быть *везде и нигде*, отчего в творчестве получалось нечто, совсем неожиданное»[21]. Они создали уникальную прозу.

Экзистенциализм молодых эмигрантов первой волны сохранил архетипные черты европейского экзистенциализма: признание одиночества человека в этом мире, алогичности и трагизма его бытия, ориентацию на стоицизм, на глубоко личностную истину. И в этом контексте Варшавский, при всей

---

[20] *Шмеман А., прот.* Дневники, 1973–1983. С. 426 (запись от 12 апреля 1978 г.).

[21] *Земсков В.Б.* Писатели цивилизационного «промежутка»: Газданов, Набоков и другие // Гайто Газданов и «незамеченное поколение»: писатель на пересечении традиций и культур / отв. ред. Т.Н. Красавченко; сост.: Т.Н. Красавченко, М.А. Васильева, Ф.Х. Хадонова. М.: ИНИОН РАН; Библиотека-фонд «Русское зарубежье», 2005. С. 14.

его индивидуальности, — характерная фигура: его творчеству свойственны архетипные свойства экзистенциализма как философии, основанной на антропоцентристской концепции бытия. В «Ожидании» лаконично сформулирована драма человека XX в.: «Я старался, — говорит автор/герой, — представить себе Бога. Но только какой-то черный квадрат мне мерещился». Для всех мыслителей-экзистенциалистов — как религиозных, так и нерелигиозных — истина кроется в признании уникальности индивидуального, личного, человеческого существования, в котором и состоит смысл бытия. В центре внимания Варшавского — возможности человека в этом мире и их пределы, смысл жизни, индивидуальной судьбы, выбора, свободы и личной ответственности, отношение человека к своему предназначению, к смерти. Можно говорить и о его «типологически» экзистенциалистском герое — одинокой личности, противостоящей миру, постоянно рефлексирующей, пребывающей в характерном для героев «экзистенциалистской прозы» состоянии — печали (у Ж.-П. Сартра — «экзистенциальная тревога», у А. Камю — скука) как естественной реакции человека, сознающего конечность всего сущего. Но особенность художественного мира Варшавского в том, что он светел, потому что светлым можно назвать его автора/героя. Недаром хорошо знавший Варшавского о. Александр Шмеман заметил, что это «один из самых *светлых* людей, встреченных мною в жизни...»[22]

Варшавский, как и вообще литература русского экзистенциализма, выходит за рамки матриц западноевропейского, прежде всего французского, экзистенциализма сохранением нравственных императивов любви к ближнему, идеалом человеческого братства. Молодые эмигранты вводят в свою прозу понятия «сострадание» (В. Варшавский), «жалость» (Б. Поплавский), «жалеть и прощать» (Ю. Фельзен) как особенность поколения, выпавшего из истории, беспомощного перед нею, оказавшегося в положении «голого человека на голой земле» и настаивающего на ценности единственно ценного — человеческого существования.

Особенность Варшавского в том, что в глубинах своей души он верит: «жизнь на самом деле — любовь, верность, дружба». Он пишет еще вроде бы в русле русской классической литературы, Толстого, но вот характерный, предельно честный эпизод из «Ожидания», где виден переход писателя от XIX в. — к XX в., к прозе экзистенциализма: «Я знал, это умирает человек, брат. Умирает на чужбине, в плену. Но я не чувствовал волнения, словно видел конец не человека, а какого-то человекоподобного робота. <...> Умом я сочувствовал ему, но этот чудовищный, умиравший на моих глазах *предмет* нельзя было любить. Я испытывал только ужас, желание уйти. Я говорил себе: “Это закон жизни. Я не виноват, что он умирает, а я еще жив, здоров, могу радоваться солнечному свету, могу надеяться. Даже в Евангелии сказано: ‘предоставьте мертвым погребать своих мертвых’. Иначе жизнь не могла бы продолжаться. И мы, живые, тоже умрем”. Но мне чувствовалось в этих

[22] *Шмеман А., прот.* Дневники, 1973–1983. С. 410 (запись от 11 января 1978 г.).

рассуждениях какое-то предательство. Что-то неодушевленное безжалостно его уничтожало, а мы равнодушно продолжали заниматься своими делами, надеждами, заботами». Персонаж Варшавского — «реплика» Пьера Безухова (вспомним эпизод его отречения от умирающего Платона Каратаева), и в то же время он в чем-то подобен Мерсо, персонажу «Постороннего» Камю, — он смотрит на умирающего как на «человекоподобного робота», «предмет», сработанный из «наполовину сгнившего вещества», и все-таки вводит в этот холодный, отчужденный взгляд «со стороны» ноту русской литературы — нежелание смириться.

Проза (прежде всего «Ожидание») Варшавского органично вписывается не только в «мейнстрим» русской литературы, но и в общеевропейский контекст, где она сохраняет свою уникальную национальную идентичность и вносит в европейскую литературу и шире — культуру нечто особое, прежде всего героя, обладающего особым психологическим строем, способного сохранять внутреннюю свободу и человечность в жестоком мире.

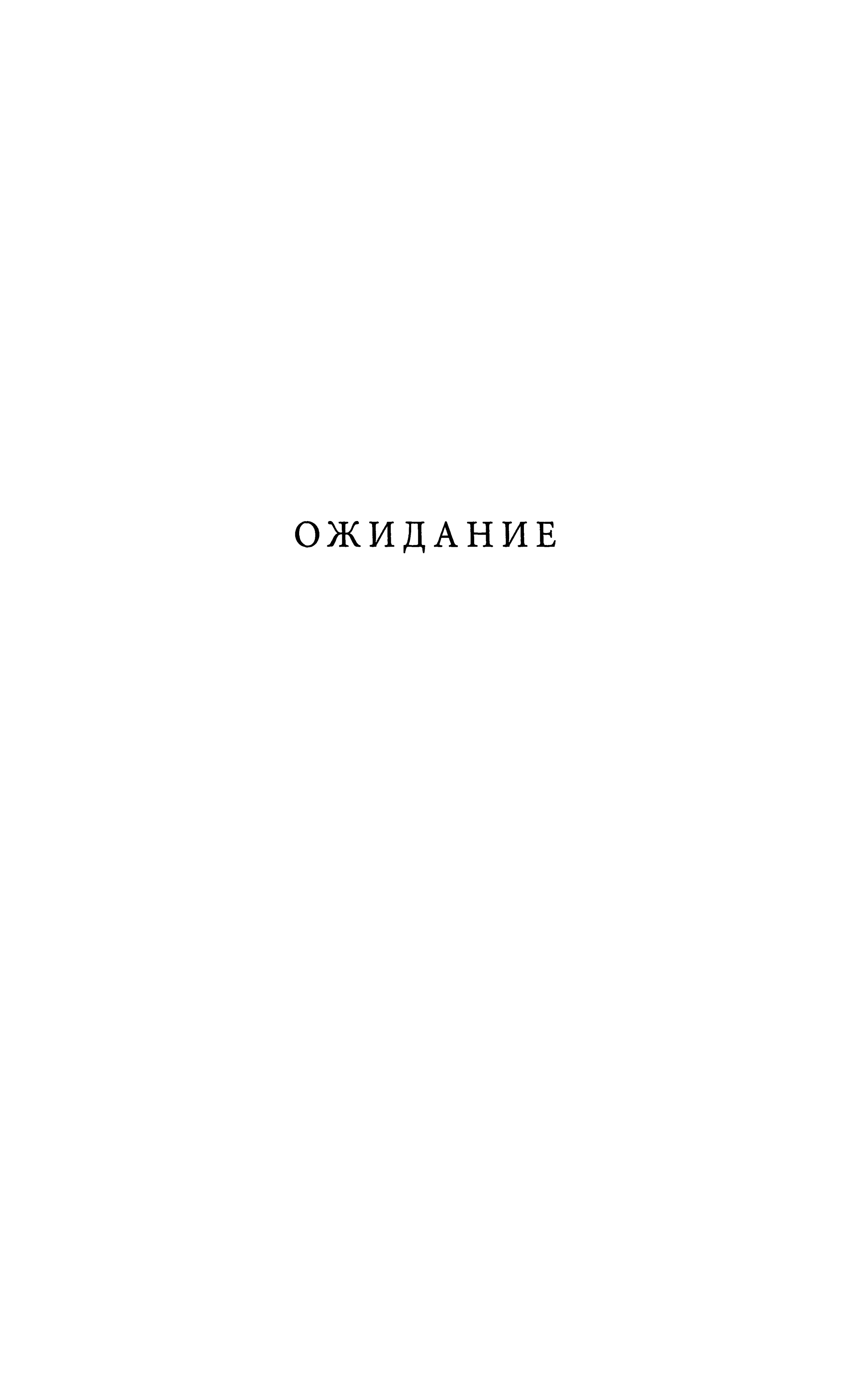
# ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Тексты, вошедшие в состав данного издания, печатаются в соответствии с правилами современной орфографии и пунктуации и с сохранением индивидуальных особенностей написания, в частности, неточностей и отклонений от принятой сегодня формы написания иноязычных имен и собственных названий. Авторские заголовки рецензий сохранены. Описки и иные погрешности текста исправлены без оговорок. Конъектуры и сокращения помещены в угловые скобки, вставки от составителей — в квадратные. Примечания автора отмечены знаком астериска и даны постранично с незначительными исправлениями, сделанными исключительно с целью унификации. Постраничные примечания составителей обозначены арабскими цифрами.

Роман «Ожидание» воспроизводится по парижскому изданию 1972 г., в котором был допущен сбой в нумерации глав, здесь эта погрешность исправлена.

Большую роль в подготовке издания сыграли материалы из фонда Владимира Сергеевича Варшавского, хранящегося ныне в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве (Ф. 54). Выражаем сердечную благодарность дарителю архива вдове писателя Татьяне Георгиевне Варшавской (Ферней-Вольтер, Франция), оказавшей также содействие в предварительном формировании фонда и текстологической подготовке его материалов.

Выражаем глубокую признательность нашим коллегам, оказавшим неоценимую помощь на разных этапах работы над изданием: Л.Н. Белошевской (Прага), Л. Бабке (Прага), И.В. Валявко (Киев), А.М. Грачевой (Санкт-Петербург), А.А. Данилевскому (Таллин), С.Н. Дубровиной (Москва), И.А. Зайончек (Париж), А.В. Копршивовой (Прага), О.А. Коростелеву (Москва), В.Г. Макарову (Москва), П.Б. Михайлову (Москва), К.Е. Мурадян (Москва), Л.И. Петрушевой (Москва), Т.А. Рогозовской (Киев), К.К. Семенову (Москва), М.Ю. Сорокиной (Москва), Н.А. Старостиной (Москва), Г.Г. Суперфину (Бремен), И.Н. Толстому (Прага), Т. Чеботаревой (Нью-Йорк) и В. Хазану (Иерусалим).



# ОЖИДАНИЕ

Зачем с безумным ожиданьем
К тебе прислушиваюсь я.

*Баратынский*

## ОТ АВТОРА

Многие части этой повести в черновом виде были напечатаны за последние двадцать лет в разных эмигрантских журналах. Главы о Второй мировой войне вышли в 1950 году в Париже отдельной книгой под названием «Семь лет». Однако автор полагает, что все эти части, переработанные и составленные теперь в последовательном порядке вместе с еще не печатавшимися кусками, образуют по существу новую, с «прибавочным» содержанием книгу.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

В начале, как в «Макбете», — туман и ведьмы. В непролазных камышах я боролся с лютой Бабой-ягой. Я знаю, чтобы спастись, нужно проснуться. Стараюсь разлепить пальцами плотно сомкнутые веки. Это очень трудно. Наконец все-таки удается.

Я совсем один. В соседней комнате спит гувернантка Фани Семеновна, но ее нельзя позвать. Когда я ее однажды разбудил, она очень сердилась. До кроватки брата всего несколько шагов. Он крепко спит. Его сон разделяет нас, как таинственное непереходимое пространство. Как это могло быть? Ведь мы одно двойное, неразлучное существо: «мы — мали». У нас все общее: восхищения, воспоминания, понятия. Мне и в голову не приходило, что у него могли быть другие, чем у меня, мысли, другие чувства. Мы всегда вместе играли, и нам читали те же книги. Нас даже одевают одинаково. Он только на год старше меня, но гораздо выше ростом и сильнее. Это не мешало полному равенству. Мы никогда не ссорились. Он всегда мне уступал. Нам было хорошо, весело вдвоем. Я не мог представить себя без него, жизни без него, мира без него. Я никого так не любил. И вот он здесь и вместе с тем отсутствует. Я не могу последовать за ним в его сон.

*

Страшные сны мне снились почти каждую ночь. Но когда утром Фани Семеновна, войдя в детскую, раздвигала занавески и я, проснувшись, видел солнечный свет, я не помнил о моих ночных страхах. Я лежал в моей никелированной белой кроватке без малейших следов времени на мне, совсем еще новенький, как в первый день творения. Слушая доносившиеся с улицы городские шумы — цоканье копыт, стук колес, щебетание птиц, я не думал, что в мире за окном могло быть зло. Я еще не знал, что я смертен. Это было главное: я жил тогда, как в вечности. Поэтому, несмотря на страшные сны, частые болезни и тягостное чувство неволи — ложись спать, когда не хочется, ешь, когда не хочется, во всем слушайся взрослых, — детство представляется мне теперь, как большинству людей, потерянным раем.

Рай моего детства был даже более райским, чем библейский. В нем не было запрета вкушать плоды с древа познания. Вседержитель моего детского космоса, мой отец, не испугался бы, как испугались боги: «вот, Адам стал,

как один из нас, зная добро и зло; а теперь, может, он прострет руку свою и возьмет также от древа жизни и вкусит и станет жить вечно». Нет, мой отец, наоборот, хотел, чтобы я жил всегда. Я это знал.

Я был уверен, мир имеет доброе значение. Только с годами подсказываемые разумом сомнения разрушили мое первоначальное безотчетное в этом убеждение. Но, оглядываясь теперь на мою жизнь, я вижу, что мое сознание, моя воля, моя душа всегда стремились это убеждение восстановить.

*

Когда я подходил к папе вплотную, я видел только его ноги, башмаки и штанины. Я был убежден: нет человека выше ростом, чем он, более сильного, умного, доброго, богатого. И так все считали: горничная Аннушка, кухарка Авдотья, швейцар Михайла и лихач Елизар, который всегда ждал папу перед парадным. Все они говорили о папе: «хороший барин».

Когда папы не было дома, я ходил в его кабинет, трогал бумаги на его письменном столе и смотрел на мерцавшие за стеклами шкафов тисненные золотом названия на корешках больших книг. Мне так хотелось знать, что в них написано.

Особенно я любил лежать, как на палубе корабля, на широкой груди папиного кожаного дивана. Монументальный, несдвигаемый, он был, мне казалось, чем-то таинственно ознаменован, находился в *другом* пространстве. Над диваном — узенькая картина: засунув ладони за пояс, стоит босой старик с бородой, как у Господа Саваофа. На противоположной стене — другая картина: тот же бородатый старик пашет. Когда я спросил папу, кто это, папа сказал: «Это Лев Толстой, великий русский писатель».

— Чем он такой великий?

— Он говорил в своих произведениях то же самое, что сказано в Евангелии.

Я удивился, ведь Евангелие уже было.

— Да, — сказал папа, — но за столько веков люди забыли, что сказано в Евангелии, а Толстой опять напомнил.

Я тогда ничего Толстого еще не читал, но слова отца навсегда остались в моем сознании. Толстой говорил то же самое, что сказано в Евангелии, и вся русская литература говорит то же самое, что сказано в Евангелии. Вся Россия приняла учение Евангелия о любви и о самой высшей Правде. Быть русским — это значит быть за Правду.

*

Однажды, думая, что папы нет дома, я вошел в его кабинет. Папа лежал на диване. Было полутемно, мне показалось, он спит. Но, подойдя ближе, я увидел, он на меня смотрит. Он взял мою руку и, проведя моей ладонью по своей щеке, сказал: «Тебе не противно, смотри, какие у тебя маленькие ручки, а у меня такая большая морда с колючей щетиной». Я радостно засмеялся. Я был уверен, он шутит. Ведь он не мог не знать, какое восхищение я чувствовал в его присутствии.

В моих воспоминаниях много неустановимого, как в воспоминаниях о виденном во сне. Но эти мгновения жизни моего отца, когда он так лежал на диване, чувствуя усталость и недовольство собой, я вижу с такой несомненностью, будто это вчера было. Они освещены ярким неподвижным светом. Я могу их рассматривать, сколько хочу. Они никуда не исчезают. Никакая сила не может их сделать не бывшими. Теперь я даже лучше, чем тогда, понимаю, какую печаль чувствовал в тот день мой отец.

*

Мама всегда была грустная. Целуя меня и обливая слезами, она говорила, что скоро умрет, так как папа ее не любит. На меня это не производило никакого впечатления. Я уже знал тогда знаменитый силлогизм, но я не мог себе представить смерть мамы, или папы, или брата Юры. Этого так же не могло быть, как не могла вдруг исчезнуть занимавшая *все место* действительность: небо, дома, земля. И так же я не мог себе представить мою смерть. Сколько раз, когда я чувствовал себя обиженным, я даже хотел умереть. Тогда все поймут, какой я был хороший, умный, замечательный мальчик, и будут плакать и жалеть, что несправедливо меня наказывали. А я откуда-то сверху буду смотреть на них с любовью, упреком и кротким торжеством. Тут я вспоминал, что, если я умру, меня больше не будет на земле и я ничего не буду ни видеть, ни чувствовать. Но я не мог этому поверить.

Однажды, лежа на диване в папином кабинете, я с чувством странной отрешенности старался думать о том, что будет, если я внезапно умру. Папа, и мама, и Юра, и Фани Семеновна будут плакать, но вся знакомая мне жизнь будет продолжаться. По улицам по-прежнему будут ходить мальчики с няньками и гувернантками, будут ездить извозчики и трамваи, а меня — не будет. Я не буду ничего видеть, ничего сознавать. Вместо всех моих чувств и мыслей наступит *ничто.* Но как я ни зажмуривался, стараясь вообразить это ничто, всегда оставалось чувство движения времени: вдруг зачешется нос; захотелось повернуться; в конце коридора хлопнула дверь: это, верно, Аннушка пошла накрывать в столовую; внизу по мостовой звонко цокают копыта, стучат колеса извозчичьей пролетки; вдали высокий голос татарина протяжно выкрикивает: «Старые вещи, купи-продай, старые вещи!» Настоящее неустранимо присутствует, слитое с моими впечатлениями в одно неразделимое существование. Я всегда буду.

*

Когда папа заболел дифтеритом, меня и брата повели в церковь в Хлыновском переулке. Нам велели стать на колени и молиться Боженьке, чтобы папа выздоровел. Сначала, как всегда в церкви, мне все нравилось. В высоких шандалах зажженные свечи: посередке большие, толстые, а вокруг них тоненькие, частые, как рожь. Когда из-под купола тянул ветер, языки пламени вдруг все сразу трепетали, будто всполохнутые стаи золотых птичек. В красивых лампадках из красного и синего стекла тоже теплятся огоньки. Но особенно мне

нравилось, когда кадили: бряцание встряхиваемых серебряных цепей, клубами всходит дым. Этот дым так необыкновенно, так чудно пахнет.

Бесшумно ступая по ковровой дорожке, к маме подошел незнакомый господин и что-то спросил тихим голосом. У мамы и у Фани Семеновны глаза под вуалями были заплаканы. Я знал, это потому, что папа болен, но все-таки мне казалось странным, что они так плачут. Ведь ничего плохого с папой никогда не будет, не может быть.

Чтобы показать, какой я хороший мальчик, я изо всех сил старался молиться Боженьке: «Пожалуйста, пожалуйста, сделай, чтобы папа выздоровел». Но я скоро почувствовал усталость. Батюшка, воздевая руки, все снова и снова глухим старческим голосом произносил нараспев какие-то непонятные слова. У меня ныли коленки. Я с нетерпением ждал, когда же, наконец, мы пойдем домой.

Потом Фани Семеновна говорила, папа был тогда при смерти, но я и Юра так горячо молились, что Боженька сделал чудо, и папа выздоровел. Я слушал ее с удивлением. Я не верил, что папа может умереть. Его жизнь, его таинственная деятельность были основанием всей нашей жизни. Я ничего не сказал Фани Семеновне. Пусть думает, что папа выздоровел по моей молитве. Это льстило моему самолюбию. Но мне было грустно: я увидел, на каких неверных доводах основана вера взрослых, будто Бог может делать чудеса.

Я понял, что Фани Семеновна потому верит в Бога, что она бедная и ей трудно живется. Она часто жаловалась на свою горькую судьбу. Ее сестра все время болела, и Фани Семеновна должна была посылать ей деньги. Потому им и нужно было верить, что есть добрый, всемогущий Боженька, который, если ему помолиться, может помочь, спасти и сохранить. Это из страха горя, болезней и бедности люди придумали Бога. Я так ясно это видел. Одно меня беспокоило: вдруг я сам, когда вырасту, если буду несчастным, тоже поверю в Бога. Я дал тогда себе торжественное обещание: что бы со мной ни случилось, я не поддамся, всегда буду помнить, Бога нет.

Мне уже и раньше приходили сомнения. Я слышал, как папа раз сказал маме, что у Достоевского кто-то говорит: «Я *буду* верить в Бога». По тому, как папа при этом особенно улыбнулся, я понял, что это какие-то замечательные, многозначительные слова, и что думать и говорить о Боге — признак умственной глубины. А мне так хотелось быть не таким, как все дети, а необыкновенным, с недетскими устремлениями и мыслями. И я решил думать о Боге.

Какой Он? В церкви, среди облаков голова старика с белой бородой. И еще — глаз в треугольнике. Мне не нравилось, что этот глаз всегда все видит. От него никуда не укрыться. И Бог *вездесущ*: с невообразимой неприятной юркостью успевает находиться одновременно в разных местах. Я не мог себе этого представить. Как это возможно?

Как-то лежа в кроватке, я смотрел на место на стене, где отставали обои. Незадолго до того я читал сказку, как мальчик попал внутрь часов. Там оказался целый городок. Вдруг и в этой стене такой же городок и там живут

особые человечки? Я понемножку расковырял до узких, прибитых крест-накрест дощечек. Дальше было твердое, как камень. Меня удивило, что ровная, с собачками на светлых обоях стена была на самом деле из кирпичей, известки, дощечек. Тогда я в первый раз неясно почувствовал, за всем видимым скрывается что-то, устроенное совсем по-другому, безобразное, таинственное. Я подумал: если Бог вездесущ, значит, Он и в этой стене. Мне стало неприятно: там сидит, как замурованный, старик, с большой белой бородой.

В те годы мне легко было не верить в Бога и гордиться ясновидением моего ума. Ведь я был убежден, что со мной не может случиться ничего плохого: мой отец никогда этого не допустит. Скажи мне кто-нибудь в то время, что моя жизнь и жизнь всех, кого я люблю, ничем не охранена от несчастных случайностей и смерти, я ни за что бы этому не поверил. Самое мое существование — сына таких замечательных, самых высших и лучших людей, как папа и мама, и потому тоже самого замечательного на свете мальчика — казалось мне залогом, что меня ждет бессмертная жизнь подвигов и славы. Иначе зачем бы все было, зачем бы я был рожден?

*

Тогда я еще не знал, конечно, древнего мифа о «пупе земли», но я жил так, как если бы представлял себе нашу семью абсолютным центром мира, окруженным спутниками: гувернантка Стефанида Семеновна, сокращенно Фани Семеновна, горничная Аннушка, кухарка Авдотья, швейцар Михайла, папины помощники.

Мы — папа, мама, брат Юра, я — мы были всегда, *с самого начала.* А кухарки Авдотьи и горничной Аннушки раньше не было. Вместо них были другая кухарка и другая горничная. Папины помощники тоже менялись. Даже Фани Семеновна не всегда с нами была. До нее была няня.

Самым необыкновенным человеком был швейцар Михайла. Он умел так быстро сбегать вниз по лестнице, словно с ледяной горы скатывался. И он все знал. Раз мы вышли из дому и видим, в небе грозно клубится черная, зловещая туча. Все с тревогой спрашивали, что это такое? А Михайла только посмотрел и сразу понял: «нефта горит».

Как мифологическое божество в таинственном гроте, он жил не в квартире, как все, а в тесной, со скошенным потолком каморке под лестницей. Оклеенная по стенам лубочными картинками, эта каморка казалась нам каютой вернувшегося из дальнего плавания корабля.

Папиных помощников было двое: один высокий, другой маленький. Высокий раз пришел в солдатской гимнастерке, с пестрыми шнурами на погонах. Он поступил *вольноопределяющимся.* Он спросил меня: «Тебе нравятся мои сапоги?» Я восхищенно смотрел на его высокие черные сапоги, но ничего не отвечал. Меня оскорбило, что он говорит со мной, как с маленьким. Словно не замечая моего угрюмого молчания, он бодро продолжал: «Разве ты не хотел бы стать солдатом?» Мне стало досадно и удивительно: как он угадал? Я действительно собирался стать в будущем знаменитым полководцем.

*

Из нашей жизни до переезда в Гранатный переулок мне вспоминаются только отдельные сцены, и то неясно и недостоверно.

Вот мы в первый раз едем на трамвае. Раньше ходили конки. С непонятным мне теперь восхищением я смотрю на эмалированный, с бликами отраженного света потолок новенького вагона. Вместо меток картинки с пояснительными надписями. Я не совсем понимал, что они изображают, верно, не умел еще тогда читать. В окне, в хрустальной ясности погожего московского дня, проплывают дома, лошади, бородатый, точно фарфоровый лихач в синем кафтане. Фани Семеновна обсуждает с соседкой преимущества трамвая перед конкой,

Но тут начинают примешиваться воспоминания о других поездках по Москве, и я не знаю, в тот ли раз мы проезжали мимо строившегося дома в лесах и тогда ли стояла на углу буланая ломовая лошадь? А таблички объявлений? Какие они были в московском трамвае в те годы? В скольких других городах мне пришлось с тех пор ездить на трамваях другого цвета и подругому устроенных.

Теряя достоверность, все начинает неудержимо меняться. Фани Семеновна беседует с соседкой, сидя ко мне лицом на площадке быстро удаляющейся конки. А ведь мы ехали на трамвае. Да и не было на конках таких диванов. Это площадка-балкон последнего вагона американского поезда. Сколько раз видел в фильмах: поезд отходит, уезжающие прощально машут с такой площадки. Но ведь я видел эти фильмы гораздо позже.

Только глянец потолка московского трамвая я продолжаю видеть через бездну стольких лет с неисчезающей достоверностью.

Другой обрывок. В морозную ночь мы едем куда-то на санном извозчике. Я никогда здесь прежде не был. Проплывает большое кирпичное здание с башней или колокольней. Это, кажется, кирка. Папа и мама молчат. Я сижу между ними, закинув назад голову. Над нами огромное черное небо, усеянное бесчисленными звездами.

*

Москва мне редко снится. Я вернулся. С трудом вспоминая дорогу и все больше волнуясь, иду от Никитских ворот к дому Армянских, где мы жили. Спиридоновка, Гранатный переулок, дом 2, квартира 20. Телефон 1-15-90. Здесь мое настоящее местожительство. И я знаю, Фани Семеновна, хотя она давно умерла, еще живет в своей комнате рядом с детской, только она совсем дряхлая теперь, больная и бедная. Но мне страшно: каждое мгновение меня могут узнать и схватить агенты КГБ, будут допрашивать, мучить, сошлют в концлагерь.

*

Вокруг нашего дома Москва простиралась во все стороны, к далеким, неведомым окраинам. Я знал только бульвары между Арбатом и Тверской,

куда нас водили гулять, и еще: Красную площадь, Кремль, Большой театр, Мюр-и-Мерелиз, храм Христа Спасителя, музеи. Я был убежден, Москва самый красивый, самый большой, самый лучший город на свете. Иначе мы бы тут не жили. И в Москве столько замечательного: самый большой в мире колокол, Царь-колокол, и самая большая пушка, Царь-пушка. Около этой пушки ходит часовой с ружьем, с медалями и крестами на груди. Старый, старый, я думал, он может быть, еще с Наполеоном воевал.

*

Москва почти всегда вспоминается мне в сугробах. Сугробы по обочинам тротуаров, сугробы на газонах бульваров. На дорожках утоптанный снег скрипит под ногами, сверкает на солнце бесчисленными блестками: будто идешь по алмазному ковру. Мальчишки лепили снежных баб.

И все-таки приходила весна. Приносили «жаворонков», с глазами-изюминками. А летом мы уезжали на Рижское взморье.

## II

На любительской фотографии серое море катит на пологий берег невысокие волны. На бледном небе ни облачка. У самой воды два маленьких мальчика в полосатых купальных костюмах, каких больше не носят, копают лопатками песок. Мальчик повыше — худенький, длинноногий — Юра. Другой — намного меньше ростом, но коренастее — я.

Как-то я рыл ямку у самого берега и докопался до плотно убитого, совсем влажного гравия. Мне пришло в голову: может быть, пляж только тонкая кора над морем. Но на чем же он тогда держится?

С тех пор я все старался дорыть до воды. Я трудился упорно, как заводной.

*

Фани Семеновна не купалась в море, а принимала ванны в купальне, в Бильдерлингсгофе. За этими купальнями виднелись другие, выкрашенные в другой цвет, и дальше, насколько хватал глаз, тянулся огромный пляж, и стояли на сваях купальни. Самые дальние, уже плохо различимые, туманно таяли в молочно-голубом сиянии моря. Когда мы гуляли, я просил гувернантку идти все дальше. Мне хотелось дойти до самого конца пляжа, чтобы увидеть, что же там, где он кончается.

Раз, когда приехал из Москвы папа, мы ездили в Ассерн, большой и нарядный по сравнению с Булиным, где мы снимали дачу. На пляже, над праздничной толпой медленно вращалось огромное колесо с подвесными корзинками. Возносясь в небо, сидевшие в этих корзинках люди на глазах уменьшались. В голубой вышине их лица становились едва различимыми. Один махал рукой. Как они не боялись? Так высоко! Дух захватывало смотреть.

После пляжа мы пошли в ресторан. Столики в саду, под открытым небом. На дорожках — цветной гравий. Среди клумб — стеклянные шары, глиняные гномы в красных колпаках. Играет музыка. К нашему столику, улыбаясь золотыми зубами, подошел господин во фраке. Папа называл его *херобер.*

Потом мы кого-то ждали около станции. За оградой видна насыпь железной дороги. Накатанные добела рельсы, словно перегоняя друг друга, но на самом деле всегда рядом, безостановочно уходят вдаль, хотя они привинчены к шпалам и не двигаются. У самой решетки валяется жестянка от консервов. На плечике брошенной пустой бутылки лучисто пылает маленькое отраженное солнце. Из пыльной крапивы торчит угол пожелтелой газеты. Меня поразило, как здесь все по-другому было, чем на пляже и в ресторане. Там музыка, веселая нарядная толпа. Господин во фраке заботился, чтобы нас хорошо накормили. А здесь тишина, какая бывает в сосновом лесу, на нагретой солнцем прогалине. До нашего прихода здесь никого не было, но так же валялась эта жестянка, так же спала на припеке насыпь, и свинцово текли рельсы. Им все равно было, что на них никто не смотрел.

Это было странное чувство: казалось, я видел залитое ровным светом неизвестное мне другое отделение действительности. Оно было как бы за кулисами или даже под полом сцены.

Я знал: там, куда уходит железнодорожная насыпь, в самом конце — Тукум 2-й. Я видел на карте. Но что за Тукумом? Там, может быть, конец света, что-то таинственное, невообразимое: рубеж, за которым даже не пропасть, а совсем ничего нет: ни земли, ни неба. Я не мог себе этого представить.

Мы никогда в Тукуме не были. Теперь я подумал, там, верно, такая же станция, как тут, такая же пыльная трава, так же скучно.

Мне стало грустно, я в первый раз почувствовал отчужденность от мира.

На следующий день папа уехал *за границу.*

*

Мы чаще ходили гулять в другую сторону, к устью реки со смешным названием А-А. Здесь сушили сети латыши-рыбаки. Один, толстобрюхий, черный от загара, продавал камбалу.

Раз мы шли туда и видим — почти у самой воды сидит на складном стулике человек в шляпе с широкими полями. У него на коленях лежит плоский деревянный ящик. В ящике — груда свинцовых трубочек с красками, тряпка в разноцветных пятнах, кисточки, склянки с какими-то жидкостями. «Художник», — сказала Фани Семеновна. Он держал в руке овальную дощечку, продев большой палец в проделанное в ней отверстие. «Палитра», — сказала Фани Семеновна. Торопливо смешивая краски кисточкой, художник короткими быстрыми движениями намазывал белые облака на закрашенный синим холст, прикрепленный к откинутой крышке ящика. Я спросил его, почему он так торопится. Он сказал: «Потому, что облака не стоят на месте, идут, меняются». Фани Семеновна сказала, что я не должен ему мешать, — это невоспитанно.

Я посмотрел на небо. Облака и вправду менялись. Я только раньше не обращал на это внимания. Я видел, облака у художника выходят не совсем такие, как в действительности, но в том, как они возникали из-под его кисти, было что-то восхитительное, волшебное. Мне все нравилось: и эти его ненастоящие и все-таки похожие облака, и синева его полотняного неба, и трубочки красок. Мне доставляло почти физическую радость смотреть на это. Юра смотрел с таким же восхищением. Мы оба решили стать художниками.

*

— Объявлена война, — сказала маленькая девочка, с которой мы играли на пляже.

Я почувствовал к ней уважение: она умнее меня, гораздо больше знает. Так бойко перечисляла: Франция, Сербия, Англия, Австрия. Я не знал, что на свете так много стран. Я спросил: «Кто сильнее?» Мне казалось несправедливым, что все против Австрии. Досадуя на мою непонятливость, девочка сказала, что на стороне Австрии Германия, которая тоже очень сильная. Теперь я понял: за Тукумом 2-м вовсе не конец света, а Германия и другие страны.

На следующий день, возвращаясь с пляжа, мы увидели, на опушке леса стоит солдат с ружьем. Он был одет совсем так, как я видел потом на открытках и на картинках в журналах: во всем новеньком и зеленом, в красивых черных сапогах. Через плечо скатанная шинель. Назвав его *служивый*, Фани Семеновна спросила у него, что слышно о войне. Сняв фуражку и утирая со лба капли пота, он, словно оправдываясь, сказал: «Очень жарко». Голова у него была круглая, с черными коротко стриженными волосами.

Восхищенно рассматривая штык на его ружье, котелок, подсумок, патронташи, я все-таки чувствовал разочарование. Мне казалось, он не русский: ни бороды, ни усов, синие бритые щеки. Верно, латыш или рижский немец. И русские солдаты должны быть богатырского роста, а он даже немного ниже Фани Семеновны. Он, верно, стоит ниже, — говорил я себе, — но, несмотря на все мои усилия увидеть его более высоким, я не мог дотянуть его хотя бы до одного роста с Фаней Семеновной.

И все-таки я смотрел на этого озаренного закатным солнцем солдата с таким восхищением, будто он стоял на опушке бессмертного райского сада. Это было главное в детстве — волшебная свежесть всех впечатлений. В те годы мир казался мне таким же прекрасным и совершенным, каким его видел Бог в первые дни творения.

Смотря на красные стволы сосен, я сказал Фане Семеновне: «Может быть, и здесь будет бой». Она рассердилась: «Наши никогда не допустят сюда немцев». Она неправильно меня поняла. Я, не сомневаясь, знал: Россия — самая великая страна, всегда воюет за правое дело, и русские всех сильнее и храбрее, всегда всех побеждают. Самым могучим богатырем был Илья Муромец, а самым великим полководцем — Суворов. У него была поговорка: «Пуля дура, штык молодец». Когда русские бросались в штыки, никто не мог

устоять. Я не сомневался, русские и теперь победят, но мне так хотелось увидеть войну. Я думал: «Пусть немцы сюда придут, пока мы еще не уехали, и я увижу бой, а потом русские их прогонят».

*

Хотя лето еще не кончилось, мы уехали. На вокзале в Риге пришлось долго ждать. Поезда отходили переполненными. Люди на подножках, на прицепах, даже на крышах вагонов. Одеты не так, как папа и все наши знакомые. Под пиджаками не крахмальные рубашки и галстуки, а косоворотки, и на ногах не башмаки, а высокие сапоги. И не чемоданы и портпледы, как у нас, а узлы, деревянные сундучки, корзинки. Они пели, кричали «ура», махали картузами. Но только в их веселье чувствовался надрыв. Мне сказали, это — мобилизованные. Они едут на войну.

Мы поехали не в спальном вагоне, как обычно, а в третьем классе, в вагоне с деревянными скамейками.

Я проснулся среди ночи. Поезд стоял на какой-то большой станции. Фонари багрово озаряли головы огромной толпы, отсвечивали на рельсах. Прямо на путях стоит конный жандарм. Здесь нас разыскал выехавший из Москвы нам навстречу папа. Он пересадил нас в другой поезд. Я опять заснул.

На следующее утро, как всегда в поезде, мы с братом смотрели в окно. Я недоумевал, как это устроено: телеграфные столбы так быстро промахивают мимо, а пашни и луга вращаются плавной каруселью; совсем вдали, словно стараясь обойти их с фланга, все выбегает вперед, все тянется полоса леса. За ней, среди сгрудившихся голубых холмов горит на солнце золотой купол. Сквозь разверстые дымные облака на него падает с неба косой столп света. Фани Семеновна сказала, это — знаменитый монастырь, куда со всех концов России приходят молиться *паломники*. Значит, и сейчас они там молятся. Мне казалось, этот купол пылает, как звезда, как маяк, не от солнечных лучей, а изнутри, от горячих молений собравшихся там паломников.

Поезд замедляет ход, но не останавливается. В окне проплывают домик с чахлым садиком, дерево, шлагбаум. Сбежав с крыльца, белоголовый пузатый мальчик в одной развевающейся красной рубашке, с решительным видом — еще, мол, посмотрим, кто кого перегонит, — пустился за поездом. Он быстро перебирает по пыльной дороге босыми ножонками, но кажется, совсем не продвигается вперед, семенит на месте. Рядом с ним, заливаясь отчаянным лаем, прыгает лохматая собака.

Поезд набирает скорость, дорога, по которой бежит мальчик, отходит в сторону. Как я ни поворачиваю голову, мальчик и собака ускользают из вида. Срезанный косогор, подымаясь все выше, совсем заслонил окно.

Этот мальчик необыкновенно меня и брата поразил. Мы долго потом с восхищением вспоминали, как в своей красной рубашке он бежал за поездом. «Роковая рубапоня», — говорил Юра или я, и мы, улыбаясь, переглядывались с торжествующим и понимающим видом, с каким переглядываются посвященные в какое-то важное и радостное знание, скрытое от всех других.

III

В окне одного магазина на Тверской — большая карта, утыканная маленькими хорошенькими флажками. Зеленая Россия — больше всех. Ее толстый шишковатый нос, Польша, упирается в розовую Германию, согнутую в поясе, как дама с протянутой вперед рукой. А голова Германии приходилась между носом и лбом России. Выше — голубое Балтийское море, Рижский залив, где мы купались летом.

Рядом с картой — плакат. Казак в синих, с красными лампасами шароварах, зажав Вильгельма между колен, бьет его, приговаривая:

Хоть одет и ты по форме,
Получай-ка по платформе.

Усатый, в белых штанах Вильгельм, с перекошенным от боли и страха лицом дрыгает ногами в черных ботфортах.

Я радовался, что русские побеждают немцев. И Вильгельм сам виноват: злой, задира, первый на всех напал. Казак за дело его бил. Но я с недоумением чувствовал, что мне все-таки жалко Вильгельма. Его так унизили. Не посмотрев на его воинственно закрученные усы, каску и ботфорты, казак зажал его между колен и больно отшлепал.

То, что я радовался победе над врагом — это было естественное, еще усиленное воспитанием чувство, социальное и биологическое значение которого мне кажется теперь вполне понятным. Но почему я пожалел Вильгельма? Ведь все взрослые смотрели на плакат с одобрением. Некоторые шутили. Кто же научил меня, что не надо насмехаться над побежденным врагом? Откуда я это знал? Даже если я просто не помню теперь рассказов и книг, которые пробудили во мне это чувство жалости к врагу, оно не могло быть такого же происхождения, как радость победы. Оно не было нужно для жизни. Наоборот, ослабляло волю к борьбе. Странно, именно явная противоестественность этого чувства все чаще представляется мне теперь залогом, что есть начало жизни более глубокое, чем инстинкт борьбы.

*

Скоро прославился подвиг Кузьмы Крючкова. Он убил одиннадцать немцев. Я повесил на стенке над кроватью лубочную картинку: через все поле, как барс, прянула оранжевая лошадь. Пригнувшись к ее шее, Кузьма Крючков рубит через плечо шашкой. Вокруг валятся с коней лиловые немцы в уланских касках. Но, даже считая тех немцев, которых рубили шашками и кололи пиками товарищи Крючкова, выходило меньше одиннадцати. Правда, схватка была в самом разгаре, и Крючков еще мог убить остальных немцев. А все же было досадно. Я знал, нарисованное на картинке не могло изменить бывшее на самом деле. Но, несмотря на это, достоверность того, что Крючков один убил одиннадцать немцев, как-то ослаблялась. Мне даже

приходило в голову, не напечатали ли эту картинку укрывшиеся в Москве немцы-шпионы, и меня удивляло и беспокоило, что их не ловят и не казнят.

В кинематографе у Никитских ворот показывали фильм о Крючкове. Сначала немецкие уланы долго скакали по дороге, высоко подняв сабли. Я понимал, что это не было снято на самом деле на войне, а только представление. Но когда потом показали Крючкова и его раненых товарищей, я с такой же несомненностью почувствовал, что это их действительно сняли, когда они были в лазарете. Они совсем не были похожи на чубатых, с оскаленными белыми зубами казаков на картинке. Те мчались, как кентавры. А эти сидели на койках, коротко стриженные, с обыкновенными, как у швейцара Михайлы, лицами, один с рукой на перевязи, другой с забинтованной головой, тихие, со строгим выражением глаз.

Под конец, поправившийся Крючков подошел к своей лошади, сел на нее и проворно ускакал. Меня удивило, лошадь была вроде извозчичьей, а вовсе не богатырский конь. Когда Крючков на нее вскочил, она присела на задние ноги и завертелась, как большая собака. И все было не такое яркое, как на лубочной картинке. Я был разочарован. Но мое убеждение, что русские казаки самая лучшая конница в мире, нисколько не поколебалось. Раз у нас ужинали папина племянница с ее мужем поляком. За столом я сидел рядом с ним. Он сказал мне не без важности: «Поляк — лучший кавалерист в мире, поляк может спать на лошади». Я задохнулся от удивления и негодования. А казаки? Как он смеет!

*

Недавно мне попалась цитата из Шпенглера: «Война — это первичный факт жизни, война — это сама жизнь». Я с удивлением вспомнил, в детстве я думал совсем, как Шпенглер. Я ничуть не удивился, когда началась война. Я был убежден, война — это цель жизни, самое важное, самое высшее, самое героическое и благородное человеческое дело, а мирное время — это только перерыв между войнами, нужный, чтобы отдохнуть от предыдущей войны и подготовиться к новой. Мои детские книги, наполняя мое воображение картинами геройских подвигов, еще усиливали это представление. Я знал наизусть все описания битв у Жуковского, Лермонтова и Пушкина. Особенно мне нравился бой в «Ангеле Смерти». Свист стрел, блеск мечей, «как тени знамена блуждали», огромные черные знамена... Я *знал:* нет больше счастья, чем участвовать в такой битве. Одно меня тогда смущало: у Лермонтова черкесы выходили больше героями, чем русские. Измаил-Бей одним ударом шашки отрубил русскому голову. А в казачьей колыбельной «злой чечен» убил отца малютки. Я думал тогда, что в словах «но отец твой — старый воин, закален в бою» закален значит — заколот. Ведь чечен точил свой кинжал.

Читая описания битв, я чувствовал, как во мне самом пробуждается желание совершать подвиги, наносить удары врагам. Мне представлялось, я рублю мечом темную, злую силу, воинство Кащея Бессмертного, печенегов, «басурман», всех врагов Русской земли. Я не за себя мстил, я защищал Правду, добро.

Больше всего мы с Юрой любили играть в войну, махать игрушечными саблями и стрелять из игрушечных пистолетов и ружей. При виде же настоящего оружия я испытывал непонятное мне теперь восхищение. Раз в весенний день мы гуляли по Тверскому бульвару. Фани Семеновна не успела меня удержать, и я подбежал к сидевшим на скамейке лицеистам. Задохнувшись от собственной смелости, я спросил, настоящие ли у них шпаги. Меня давно этот вопрос занимал. Такие узенькие ножны! А мне так хотелось, чтобы это были настоящие шпаги, какими дерутся на войне. Лицеисты, смеясь, стали уверять, что настоящие. Один, взявшись за рукоять своей шпаги, даже предложил: «Хочешь, я ее *обнажу*?» Я смотрел на него недоверчиво — не смеется ли он надо мной? — и все-таки с восхищением и страхом ждал, сейчас в воздухе грозно сверкнет *булат*.

Мне странно думать теперь, что этот маленький мальчик, который в тот баснословно далекий день в Москве восторженно смотрел на Тверском бульваре на шпаги лицеистов, — это я. Теперь, при мысли, что люди всегда убивали друг друга, я чувствую такое отвращение и отчаяние. И мне грустно: увлеченный ребяческим восхищением, я почти совсем не заметил всего того, что в то утро так щедро предлагала моему вниманию весна. Покрытая бурой прошлогодней травой земля грелась на припеке с обессиленным и строгим выражением, какое бывает у выздоравливающих после тяжелой болезни. Только местами еще лежал осевший грязный и ломкий снег.

Лицеисты в своих зеленых с золотыми пуговицами шинелях смотрят на меня ласково и насмешливо. По ряду их розовых лиц перебегают белозубые улыбки. Около скамейки наполненная райской синевой лужа. Я вдруг понимаю, она потому такая синяя, что в ней отражается небо. Пьянящий весенний воздух был блаженно свеж.

*

У нас были сотни оловянных солдатиков и пушечки, которые стреляли спичками. Но одна медная, на тяжелых литых колесиках стреляла шутихами. «Настоящее крупповское орудие», — сказал папа.

Я был храбрым сербским воеводой Вуком, главнокомандующим русской армии и королем моей собственной страны. Меня изображал мой любимый нюрнбергский солдатик — офицер в зеленом мундире, с красной грудкой. Как началась война, таких больше не продавали. А брат был королем союзной страны, его изображал такой же солдатик с красной грудкой, но только конный. И у нас была еще наша общая страна, населенная особыми круглыми пушистыми существами. Когда Фани Семеновна, потушив свет, уходила к себе в комнату, мы шепотом рассказывали друг другу о наших приключениях в этой стране. Когда я в первый раз рассказывал, я знал, что выдумываю, но вдруг случилось что-то, и мой вымысел стал жизнью. Я уже не выдумывал, а вместе с Юрой участвовал в этой волшебной жизни. Мы умели летать и жили с папой в большом гнезде на дереве. Нам так хорошо было вместе, так радостно. Потом, когда я рассказывал или слушал, как брат рас-

сказывает, я все ждал, сейчас опять вернется это чувство жизни, восхищения и счастья. Но я с недоумением видел — этого чудесного превращения больше не происходило. Я даже не мог вспомнить, что же это было. Может быть, только сон, рассказывая, я не заметил, как заснул. Но вся моя жизнь стала ожиданием, что это повторится.

## IV

Мои ребяческие мечтания о войне и подвигах показывают, мне кажется, что я был тогда еще вполне нормальным мальчиком. Но мне уже приходили странные мысли.

До того как папа выехал нам навстречу, когда мы возвращались с Рижского взморья, он был за границей. Он нам рассказывал, в Париже стоит самая высокая в мире башня, и он ездил там на *подземном* поезде. Этот поезд проезжал даже под Сеной. Я спросил, была ли видна вода? Мне неясно представлялось круглое окошечко в потолке вагона: за толстым стеклом зеленеет вода, глубокая не вниз, как обычно, а вверх. Там солнечный свет, плывут над головой лодки и пароходики, и на берегу стоит самая высокая в мире башня. Я думал о ней с восхищением, и в то же время меня смущало что-то, чего я не мог тогда понять и выразить. Эта башня уже давно там стояла, а я ничего о ней не знал, пока не услышал от папы. Значит, ее существование вовсе не зависело от того, знаю я о ней или нет. А ведь мое непосредственное убеждение в неуничтожимости моего пребывания было основано как раз на том, что я не делал тогда различия между образами в моем сознании и действительным существованием всего. Отсюда я заключал: поскольку мир не может никуда исчезнуть, не может исчезнуть и мое сознание. Я всегда буду. Конечно, я не знал тогда всех этих слов и понятий и не мог думать всего этого изъявительно, но я жил так, как если бы твердо это знал. И вдруг открытие: мир существовал до меня! Как же это так? Ведь я всегда присутствовал, *с самого начала.*

Я часто думал о нарисованных на глухой боковой стене одного дома на Тверском бульваре двух лунах: зеленой и желтой. Одна плачет, другая смеется. Кажется, это была реклама сапожной ваксы. Но мне что-то загадочное чудилось в выражении лиц этих двух лун. Что произошло между ними, почему одна плачет? Может быть, ее обидела та, что смеется? Однажды, смотря на эти луны, я вдруг почему-то подумал о жизни, которая шла здесь прежде, до того как я родился. Тогда так же простиралось небо, и стояли те же дома. Только вместо трамваев ходили конки, и люди как-то по-другому одевались. Я увидел, мимо дома с этими лунами идет, помахивая тросточкой, господин в *старинном* фраке. Мне стало его жалко. Торопясь на давно прошедшее свидание, он, самонадеянно улыбаясь, шел не в действительности, а в прошлом, которого больше нигде не было. Даже его тросточка, такая же, как у папиного помощника, казалась маленькой и не такой прочной, как тепереш-

ние. Но я сейчас же успокоился. Это до того, как я родился, все отодвигалось в несуществование прошлого, а с моей жизнью началось и будет бессмертно длиться все более светлое и огромное настоящее.

И все-таки на меня уже находили припадки рассеянности, какой, наверно, не знал Адам, пока он не съел знаменитое яблоко. Я прочел в хрестоматии басню Хемницера «Метафизик». Я тогда еще не знал, что я глуп. В басне говорилось о «думном детине», который все хотел «сыскать начало всех начал». Задумавшись, он упал в яму. Его отец пришел с веревкой. Но сын, вместо того чтобы ухватиться за веревку, стал спрашивать: «Скажи мне наперед, веревка вещь какая?» Потом про время: «А время что?» Его отец тогда рассердился и сказал: «А время вещь такая, которую с глупцом не стану я терять». Мне это показалось обидным. Что собственно было глупого в вопросах сына? Мне самому приходили такие вопросы. Какой-нибудь самый обыкновенный, обиходный предмет мне вдруг представлялся как бы совсем отдельно от всего. Я помнил, для чего он служит, но чем он был на самом деле, в своей сущности? Или самое простое слово, произнесенное кем-нибудь или мною самим, казалось мне странно прозвучавшим. Оно больше не связывалось с его значением и с привычной действительностью. Я повторял его, но оно становилось все более необъяснимым, словно раздавалось из какого-то другого пространства, из другого мира. Зачарованно прислушиваясь, я чувствовал, как моя жизнь превращается в призрак.

А иногда мне казалось, что я когда-то уже видел все происходящее теперь. Или, смотря на себя в зеркало, я удивлялся: почему это я, почему у меня такое лицо?

И мысли о добре и зле уже начинали меня смущать. На катке, на Патриарших прудах, я в первый раз стал свидетелем преступления. В тот день были состязания конькобежцев. Уже темнело. По ледяному кругу, почти черному среди голубых сугробов, согнувшись и размахивая руками, бежали люди в фуфайках. Издали они казались маленькими. Мальчишки, подбадривая, отчаянно кричали головному: «Ипполитов, Ипполитов!»

Почему-то я отбился от Юры и гувернантки и оказался один возле забора. Я устал и озяб на морозе, и мне уже хотелось домой. Вдруг с чувством темного ужаса, которого я не мог себе тогда объяснить, я увидел, как над забором появилась голова в вытертой шапке и *уличный мальчик*, оглядевшись по сторонам, — не смотрит ли сторож, — перевалился на животе через гребень забора и спрыгнул вниз. За ним перелез с улицы другой такой же мальчик, только поменьше. Время будто остановилось. Я видел каждое их движение, как в замедленном фильме, и вместе с тем все это так быстро произошло, что я не успел пошевелиться, стоял как завороженный. Я знал: мальчики перелезли через забор, чтобы не платить за вход. В этом нарушении закона мне чудилось что-то страшное, чего не должно было быть, и все-таки это совершалось на моих глазах. Я ждал, сейчас огромный, грозный вырастет бородатый сторож и накажет этих мальчиков. Мне казалось, возмездие должно последовать так же неизбежно, как, например, боль, когда ушиб ко-

ленку. Но сторож не появился, и мальчики, довольные успехом своего преступного предприятия, прошли мимо меня с веселым и вызывающим видом. Тот, что был постарше, взглянул мне в лицо подозрительно и с угрозой: позови только сторожа! Но заметив, что я стою, оцепенев от страха, он только презрительно усмехнулся и сказал: «Ишь, косой заяц».

Когда я рассказал об этом дома, папа, к моему удивлению, улыбаясь, сказал маме: «А ведь он, правда, немного косит, но как этот мальчик так сразу заметил?»

Мне кажется, я понимаю теперь чувство ужаса, испытанное мною, когда я смотрел, как мальчики перелезают через забор. В те годы я еще не делал различия между законами природы и законами, установленными людьми. Для меня это одинаково были устои мирового устройства, в доброе значение которого я, не сомневаясь, верил. Этот порядок был залогом, что со мной никогда не произойдет ничего плохого. И вот эти мальчики, нарушив один из его законов, на мгновение поколебали его достоверность.

Более таинственным мне кажется другое чувство, испытанное мною в ту зиму. Мы идем на Арбат и видим — на углу толпа. Стоят и смотрят на упавшую лошадь. Она лежит на боку. Худая, изможденная кляча. Извозчик, все более ожесточаясь, с бранью бьет ее ногой в живот и хлещет вожжами по морде и по ногам, норовя захлестнуть под пах. Лошадь порывается встать, но ее копыта скользят по обледенелым булыжникам, колени подламываются, она опять валится на бок. Тогда извозчик снял с нее дугу и, побледнев, начал этой каменно-тяжелой дугой бить ее по ребрам. Удары падали с мерзким, глухим стуком. Лошадь забилась еще судорожнее. Стоял мороз, а на ней вся шерсть взмокла от пота. Как большинство детей, я не был еще тогда способен на сострадание и все-таки почувствовал, как лошади больно. А извозчик все продолжал ее бить. Мне стало страшно. Я понял, он делает что-то дурное, чего нельзя делать. И все смотрят, и никто его не остановит.

Тут подошел городовой и начал его ругать. Извозчик, оправдываясь, отвечал что-то плачущим голосом. Меня это удивило: он с таким злобным исступлением бил лошадь, а теперь плачет, будто это его били, а лошадь лежит и молчит.

Когда мы шли обратно, толпы больше не было. Лошадь лежала на том же месте, уже окоченелая. Ее ноги разошлись и торчали, как деревянные.

Меня учили, нужно быть паинькой, слушаться взрослых. Но, кажется, никто мне раньше не говорил, что извозчики не должны так бить лошадей. Только много лет спустя я прочел об этом у Достоевского. Но если бы даже еще до того, как я видел, как извозчик убил лошадь, меня научили, что это дурно, я должен был бы почувствовать не жалость, а только такой же страх, как на Патриарших прудах, когда уличные мальчики перелезали через забор. Нет, чувство сострадания возникло не как следствие нравственных наставлений, а само поднялось во мне и на мгновение заняло в моем сознании все место. Правда, это было почти безотчетное, неясное и мучительное чувство, соединенное с еще более неясным, впервые испытанным чувством нежела-

ния быть в мире, где может такое происходить. И это чувство жалости не оказало на мою волю никакого влияния. Но в наплыве других, безразличных мне теперь детских воспоминаний оно присутствует как несомненная, слабо, но неугасимо светящаяся точка. Так иногда солнце еле просвечивает сквозь облака. Сколько бы я ни анализировал это чувство, оно неуничтожимо пребывает в памяти, независимо ни от каких объяснений мира, как если бы оно дошло из другого измерения действительности.

Мне особенно утешительно вспоминать об этом во время припадков моей болезни, когда меня давит чувство несовпадения моих представлений с трагичностью человеческой жизни. Словно мне, и даже не мне, а кому-то постороннему, снится болезненный, но ничтожный сон. А в чувстве жалости к лошади не было ничего ничтожного. То, что оно противоречит моему обычному равнодушию, только подтверждает в моих глазах его подлинность. Думая об этом, я прихожу к тому же предположению, как когда стараюсь понять, почему мне стало жалко униженного Вильгельма. В этом чувстве сострадания мне чудится залог, что существует другое, более глубокое начало жизни, к которому я, как всякий человек, несмотря на все мое малодушие, причастен.

Но даже если это чувство не было непосредственным, а было пробуждено во мне слышанными или прочитанными рассказами? Ведь это были рассказы о проступках, вдохновленных порывом, дошедшим из этого более глубокого начала жизни.

## V

Летом мы теперь ездили не на Балтийское море, а в Болшево.

Наша дача стояла почти на опушке парка Штекера. Мы часто там гуляли. Меня обманывали голубые просветы среди начинавших редеть стволов. Мне вдруг чудилось там море, хотя я знал, в Болшеве моря нет. Всегда оказывалось — это только освещенная солнцем просека. За ней плотными рядами стояли в молчании новые полки деревьев. И сколько бы мы ни шли, лес не кончался, становился все тенистее и глуше.

*

Дорога в купальню шла мимо соседских дач. С веранды одной из них часто слышались оживленные женские и мужские голоса, смех, пение, музыка. Но за деревьями сада не рассмотреть лиц пивших там чай дачников. Нарядная горничная раздувала около забора горевший на солнце серебряный самовар.

В детстве я никому не завидовал. Наоборот, был убежден, что мой отец самый замечательный человек на свете, и поэтому и мы все — мама, Юра, я — мы тоже самые замечательные, добрые, умные, богатые. Но мне казалось, на этой даче жили какие-то особенные, таинственные, счастливые

люди. Их жизнь — нескончаемый праздник. И мне было грустно, что они ничего обо мне не знают и никогда не позовут меня к себе на дачу.

*

В купальне я все расспрашивал одного деревенского мальчика постарше, как он научился плавать. Он сказал: «Да как научился? Сбросил меня *дядька* посреди реки с лодки, я барахтался, барахтался, и ничего, не утонул». Смотря на меня смеющимися глазами, он предложил: «Хочешь, садись ко мне на *закорки*, я тебя на тот берег свезу». Но я не решился. Еще сбросит меня посреди реки, как его дядя его сбросил, и скажет — сам плыви. Потом, рассказывая, как я научился плавать, я говорил, что меня бросили в воду на глубоком месте и я «барахтался, барахтался» и поплыл. На самом же деле меня и брата учил плавать папа, когда он приезжал из Москвы. Он отходил на несколько шагов, и я доплывал до его груди, выступавшей из воды живым утесом.

В Клязьме каждое лето тонули люди. Со дна били какие-то *холодные ключи*. Попадет на такой ключ даже хороший пловец, и его *схватит судорога*. Так утонула одна англичанка, хотя она замечательно плавала.

А прошлым летом утонул учитель. Мальчики в купальне рассказывали, что он мог проплыть под водой от одного берега до другого. Раз он так нырнул и больше не выплыл. Он попал головой под *корягу* и не мог освободиться.

В купальню ходил бородатый человек в очках. Я сразу отличал дачников от деревенских. Дачники белотелые, полные. Раздевшись, долго, чтобы не простудиться, остывают. Проверяя, можно ли уже идти в воду, похлопывают себя под мышками. После купания вытираются мохнатыми полотенцами. А у деревенских мальчишек тела как из плотно сбитой глины, с выступающими ребрами. Раздевшись, они, перекрестясь, бросались с разбегу в воду. Накупавшись, они не вытирались, а, стуча зубами, натягивали штаны и рубашки прямо на мокрое тело. Но этот человек в очках не был похож ни на дачника, ни на деревенского, хотя борода у него была, как у пожилых болшевских крестьян. Раздеваясь, он стыдливо старался прикрывать заросший черной шерстью живот. Он совсем не умел плавать, а только с головой окунался, зажав уши пальцами. Но почему-то, хотя я прекрасно понимал, что это невозможно, мне чудилось, он учитель, который утонул в прошлом году. Мне даже казалось, он потому так стесняется и потому не умеет теперь плавать, что тогда утонул.

*

Мы возвращаемся с купания. Перейдя мост, остановились на пригорке. Я смотрю назад, на Клязьму. Уже смеркалось. Я с удивлением вдруг чувствую, как все красиво: дорога, река, крестьянские избы на том берегу, огороды, ветлы по бокам дороги, дальний лес и надо всем — огромное вечернее небо. Похоже на картины в Третьяковской галерее, но лучше, глубже,

таинственнее. Я вспомнил выученные недавно стихи из хрестоматии: «Эти бедные селенья, эта скудная природа». Скудная, а все-таки край русского народа — самый лучший на свете: его «в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Я не совсем понимал, что это значит «в рабском виде», но я чувствовал, нигде не могло быть лучше, чем в России, ближе к чему-то самому хорошему, высшему, прекрасному.

Куда бы я ни взглядывал, я с восхищением видел картины, исполненные абсолютной красоты и глубокого успокоения, только все было какое-то грустное. Юра стоял рядом и тоже смотрел. Мы молчали, но я *знал*, он так же чувствует, как я. Мы всегда одинаково чувствовали.

Мне приходит в голову, если я мог тогда так видеть, то, может быть, уже и раньше моя душа воспринимала прекрасное, но только это не доходило до моего внимания, я был еще как животное. Один философ сказал: «Животные знают, но не знают, что они знают».

*

В один из своих приездов из Москвы папа привез мне и брату по летнему картузику. Мы пошли кататься на лодке. Папа уже целый час греб. Давно остались позади и общая купальня, куда мы ходили, и другая, частная. Наглухо забранная досками, таинственная, она стояла на сваях среди камышей и кувшинок.

Я не знал, куда течет Клязьма. Блистая на солнце, она вилась среди зеленых лугов до самого неба. Свесившись через борт, я смотрел, как светлые струи с журчанием обтекают корму. Вдруг мой новый картузик свалился у меня с головы в воду. Сначала мне было смешно. Пока папа поворачивал лодку, картузик, поддерживаемый вздувшимся верхом, покачивался на воде небывалой белой купавкой. Течение медленно относило его назад. И вдруг я увидел, как он колыхнулся, из-под него, булькая, вырвались пузыри, и он ушел под воду. Несколько мгновений, но все более мутно еще виднелся его белый, теперь зеленоватый верх, — но его скоро поглотила темень глубины. Папа очень досадовал, что ему не удалось выловить картузик. Все это происшествие произвело на меня неясное и смущающее впечатление. В первый раз я видел, что мой отец не властен изменить происходившее. Но это было мимолетное чувство, оно не поколебало моей веры, что в моей жизни все происходит именно так, как должно происходить согласно установленному папой хорошему порядку.

*

Эта вера не поколебалась во мне, даже когда в середине лета у меня начали делаться *спазмы*. Корчась на полу, я с недоумением прислушивался к острой боли внизу живота. Меня никто не предупреждал, что бывает такая боль.

Бревенчатые, нагретые солнцем стены пахли смолой. Было так обидно, непонятно и страшно, что я даже не плакал.

Мама очень волновалась и повезла меня в Москву. Когда мы ехали с вокзала, меня поразило, как в Москве, по сравнению с Болшевым, душно, пыльно, шумно. Пахнет крашеным железом, известкой, от раскаленных камней пышет адовым жаром. Громыхая, едут ломовики, груженные длинными, лязгающими стальными полосами. Строится большой дом. Каменщики в рогожных фартуках, толкая перед собой тачки с кирпичами, трудясь, всходят по лесам под облака. Мне стало жалко папу: он все лето жил среди этого грохота, этой духоты.

Мы вошли в белый особняк в тихом переулке, по дороге от нас на Арбат. На следующее утро меня уложили в особой комнате на странный белый эмалированный предмет на высоких ножках: не то стол, не то кушетка. Привязали ремнями руки и ноги. Мне совсем не было страшно. Наоборот, я чувствовал себя героем. Помощник доктора положил мне на лицо что-то вроде сита из марли, велел громко считать. «До скольких?» — «До десяти, до двадцати, до сорока, — сколько можешь». — Мне было жалко, что из-за этой марлевой маски я не увижу, как мне будут делать операцию, но мне было интересно — как это я потеряю сознание. Боясь, что вдруг меня начнут резать прежде, чем я засну, я старался считать как можно громче. Мне казалось, я смогу так считать бесконечно. Но помощник доктора зачем-то навалился мне на грудь. Острый леденящий запах капель, падавших на марлю, становился все сильнее. Я хотел вздохнуть, но воздуха не было, а был только этот приторный запах, который разливался по моему лицу, как холодная тяжелая жидкость. Доктор, будто в отдалении, сказал что-то сестре милосердия. На мгновение мне стало страшно.

Я лежу на чем-то зыбком. Открыл глаза. Меня выносят на носилках из подъемной машины. У двери стоят папа и мама. Умильно улыбаясь, они смотрят на меня с тревогой и жалостью. Мне стало досадно. Зачем они так смотрят на меня? Я хотел не жалости, а восхищения, чтобы все видели, как я мужественно переношу страдания.

Но внезапно в низу живота зажглась нестерпимая боль. Я не ожидал этого и, забыв о героизме, жалостно застонал. Мне стало обидно. Зачем этот аппендицит, эта боль?

Ласково называя меня миленьким, папа стал говорить, что так всегда бывает после операции, но боль скоро пройдет, и я совсем поправлюсь, и еще лучше прежнего буду бегать и играть с другими мальчиками. Я успокоился, сразу поверив, что со мной не происходит и не может произойти ничего дурного. Папа никогда бы этого не допустил.

Скажи мне тогда кто-нибудь, что на самом деле моя жизнь ничем не охранена от произвола всех несчастных случайностей, я ни за что бы этому не поверил. Теперь я с удивлением вижу, что, в сущности, я тогда не допускал, что Бог мог создать жизнь, которая не была бы божественной. Но вот что самое удивительное: вопреки всем доводам здравого смысла я и теперь этого не допускаю. Все надеюсь, что в подсказываемой разумом очевидности вдруг окажется ошибка.

*

После операции я вернулся в Болшево. Но мне еще долго не позволяли бегать на гигантских шагах, купаться в Клязьме, бороться с братом и другими мальчиками. Целыми днями я сидел в саду, играя в оловянные солдатики, читал, думал.

С каждым днем я узнавал что-нибудь новое, и мои представления о мире расширялись, но я все оставался маленьким мальчиком. Я даже начал недоумевать, как же тогда я стану взрослым? Это недоумение прошло после того, как я увидел превращение, которое произошло с одним мальчиком. С веранды нашей дачи я заметил мелькавшую за забором гимназическую фуражку. Чтобы лучше рассмотреть, я приподнялся со стула. По улице шел знакомый мне с виду господин, с каштановой бородой и в золотых очках. Я слышал, как папа сказал про него, что он занимает в Москве какое-то очень важное место. И у него была широкая, как у борца, грудь и бычий затылок. Но я смотрел на него с презрением и жалостью: он был ниже ростом своей жены, очень высокой женщины с длинной спиной.

С этим господином, то стараясь делать такие же шаги, как он, то выбегая вперед, высоко, как лошадка, вскидывая колени, шел его сын, вертлявый мальчик, в нахлобученном на уши новом гимназическом картузе. Я встречал этого мальчика на теннисе, но туда он приходил в коротких штанах, маленький мальчик как маленький мальчик. А теперь он, как взрослый, шел куда-то со своим отцом, с таким видом, будто для него ничего не было необыкновенного в том, что он в длинных штанах, в курточке с серебряными пуговицами и в этом красивом синем картузе, с лаковым козырьком и белыми кантами. По тому, как, ворочая на тонкой шее головой, он насмешливо поглядывал по сторонам, чувствовалось то гордое сознание своего превосходства, какое появляется даже у самых тщедушных мальчиков, когда они выходят со своим отцом или высоким и сильным старшим братом.

Я долго с завистью смотрел вслед этому мальчику, ставшему гимназистом. Превращение, которое с ним произошло, казалось мне таким же волшебным и таинственным, как превращение гусеницы в бабочку. А через год я сам стану гимназистом. Я вдруг подумал, насколько я теперь больше знаю, выше ростом и сильнее, чем прошлым летом. Тогда я так неясно все себе представлял, тыкался как котенок, теперь же передо мной открывался, словно освещаемый встающим солнцем, все более огромный, сложный и восхитительный мир. А в будущем году я еще вырасту и еще больше буду знать. И так с каждым годом я буду становиться все умнее, все выше ростом, все сильнее, пока не стану таким же замечательным человеком, как мой отец. Правда, когда-то потом я умру, но это еще так нескоро будет, все равно, как если бы я никогда не должен был умереть. Не стоило и думать.

*

Осенью Юра поступил в гимназию, а папа уехал на фронт. Он был *белобилетником,* но поехал добровольно, помощником начальника *летучего*

санитарного отряда. Я не боялся, что папу могут убить. Он всегда был и будет.

На Рождество он приехал в отпуск. С ним приехал его денщик Карпов. Папа сказал, Карпов — лихой кавалерист: «таких австрийцев подымал на пику». Я пошел на кухню, где Аннушка и Авдотья поили Карпова чаем. Нам запрещали ходить на кухню, но я обязательно хотел узнать от Карпова, как он в первый раз убил вражеского солдата. За дверью в кухню слышались громкие голоса и смех. Я постучал. В приоткрывшуюся дверь выглянула Аннушка. Я сказал, что мне необходимо поговорить с Карповым. Он вышел в коридор с улыбкой на распаренном от чаепития лице. Выслушав мою просьбу, он, нисколько не удивившись, с готовностью стал рассказывать, как они пошли в атаку, а австрийцы им навстречу. На него набежал один австриец. Карпов ткнул его в живот штыком, и австриец «только “ых” и сел». Я чувствовал легкое разочарование: Карпов вовсе не кавалерист и не умел рассказывать. Мне не понравилось, как он это сказал об австрийце: «только “ых” и сел». Совсем не было похоже на описание битв у Лермонтова и Пушкина. «Что же этот австриец большой был, сильный?» — спросил я. «Да, видный был мужчина», — сказал Карпов.

Папа показывал фотографии. На одной он едет на белой лошади впереди длинной вереницы всадников. Папа перегнал на скачках всех других офицеров. Эта его белая лошадь была самая лучшая. И вся форменная одежда у него была из самой лучшей материи и сшита у самого лучшего портного. Я спросил: «А у других офицеров такая же хорошая одежда?» — «Нет, у других похуже». Я гордился тем, что папа самый богатый и что у него лошадь и одежда лучше, чем у всех других офицеров, а вместе с тем мне было грустно, что другие офицеры беднее. Мне хотелось, чтобы все были самыми богатыми, чтобы никому не было обидно.

## VI

Зная, что это начало пути к славе взрослой жизни, я шел в гимназию без страха. Но, когда я открыл высокую дверь в большой зал и на меня обрушился оглушительный крик множества звонких голосов, я растерянно остановился. Я никогда не видел столько мальчиков в одном месте. Стоят кучками, ходят, бегают, борются, с хохотом спихивают крайнего со скамейки. Все они, казалось, знали друг друга, были здесь, как дома. А на меня никто не обращал внимания. Я стоял, чувствуя растерянность. Я не этого ждал. Если гимназия такая, тогда лучше не становиться взрослым. Я никогда не смогу привыкнуть к этому шуму, к этой утомительной суматохе. Зачем они так громко кричат, чему смеются, о чем с таким оживлением разговаривают?

В дверь, чуть не сбив меня с ног, вбежала гурьба мальчиков постарше. Двое передних с хохотом повалились на пол, и один зачем-то стал щекотать другого, а тот отбивался, взвизгивая и смеясь. Мне показалось, в этом было

что-то странное и нехорошее. Потом я узнал, первого мальчика звали Арам Махутов, а того, кто его щекотал, Игорь Александров.

Несколько других мальчиков с размаху пустили по паркету длинную деревянную скамью. Стремительно скользя по вощеной глади, она неслась прямо на меня. Я не успел посторониться. Скамейка ударила меня ребром по коленке, оглушив острой, нестерпимой болью.

Но моя растерянность продолжалась недолго. Я скоро привык к гимназии и занял в моем классе именно такое положение, какое по моим представлениям мне подобало.

Меня определили в третий приготовительный класс, в основное отделение. Мне это казалось естественным, что в основное, иначе и быть не могло. Ведь основной — это значит главный, а параллельный только добавочный к основному, его может и совсем не быть. Юра, который перешел теперь в первый класс, был тоже «основник».

Мы встречали «параллешек» только на переменках. Но уроки гимнастики у нас были общие. На первом же мы с дружными криками перетянули их на канате. Наше превосходство было установлено. И хотя впоследствии параллешки не раз нас перетягивали, это не поколебало моего убеждения, что мы всегда их побеждаем.

Первым общепризнанным силачом нашего класса был Игорь Александров, вторым — Арам Махутов. Оба второгодники. Никому и в голову не приходило оспаривать их первенство. Но на место третьего силача претендовало несколько мальчиков, в их числе и я.

У параллешек тоже были свои силачи. Главные — Соколов и Лесли. Про Соколова один мальчик сказал: «Сокол ясный — человек опасный». С тех пор, смотря на Соколова, рослого, светлоглазого, быстрого и ловкого в играх и свалках, я испытывал странное чувство: мальчик, а вместе с тем хищная птица, оборотень, таинственное, страшное существо.

Как-то на переменке, после обычных споров, кто сильнее, Соколов поборол Александрова, а Лесли — Махутова. Несмотря на это, мое убеждение в превосходстве наших силачей и всех нас основников над параллешками нисколько не поколебалось. Меня даже удивляло, что они сами, по-видимому, вовсе не страдают от того, что они параллешки. Так же, как мы, весело бегают и играют на переменках и вовсе не считают себя хуже нас, не сознают своего ничтожества. Встречая в коридоре параллешку, я насмешливо бросал: «параллельник-бездельник». Но я презирал их вовсе не потому, что считал бездельниками. Просто не подворачивалось другое слово в рифму. Все было не в этом слове, а в том, с каким презрением я его произносил. Как ни странно, презрение это было искреннее. Между тем я не мог не понимать, что параллешки такие же мальчики, как и мы, и что их определили в параллельный класс вовсе не потому, что они хуже нас, а по каким-то совсем другим, может быть, даже случайным соображениям. Мне скоро представился случай в этом убедиться. Инспектор Федор Антонович пришел в этот день к нам в класс с именным списком всех учеников. Рассматривая этот список, он с

неудовольствием сказал, что нас в основном классе слишком много и некоторых придется перевести в параллельный. Замирая, я ждал, кого он сейчас назовет. Вдруг меня, наверное, меня, со мной всегда случается все неприятное. И, действительно, как только я это подумал, Федор Антонович сказал: «Вот хотя бы Гуськова».

Федор Антонович всегда говорил вкрадчиво, ласково. Мальчики прозвали его «Скрипка». Но теперь мне показалось, он как-то враждебно и пренебрежительно произнес мое имя. Ведь он должен был знать, в какое отчаяние приведет меня его решение перевести меня в параллельный класс, какое это будет для меня несчастье, унижение, позор. Но, может быть, он именно этого и хотел? Он за что-то меня ненавидит и хочет наказать. Я видел это по безжалостному, злорадно-спокойному выражению его лица.

Я так рыдал, что озадаченный Федор Антонович согласился оставить меня в основном классе.

*

Так же, как я, не сомневаясь, знал, что папа самый замечательный человек на свете, Россия — самая великая страна, а Москва — самый красивый и большой город, я был убежден, что наша гимназия — самая лучшая в Москве и во всей России. Иначе папа не отдал бы нас в эту гимназию. Мне даже жалко было мальчиков, которые учились в других гимназиях, не таких хороших, как наша. Но все же это были гимназисты, наши союзники. Другое дело реалисты, ученики коммерческих училищ, кадеты. Особенно кадеты. Я прочел рассказ, который долго потом вспоминал с чувством ужаса. Одного гимназиста перевели в кадетский корпус. Кадеты почему-то его возненавидели, называли *синяя говядина*. Когда он спал, они засунули ему в нос какие-то жгуты и подожгли их. Его снесли в лазарет.

Но все-таки и реалисты, и кадеты были вроде гимназистов. Они ходили в таких же картузах и шинелях, как мы, только другого цвета. И у них дома, верно, было как у нас дома и у тех моих гимназических товарищей, у кого я бывал, много комнат, кухарки, горничные. Впрочем, был один мальчик в нашем классе. Его звали Кирсанов: белобрысый, сутулый, с отвисшей красной нижней губой и вздутым животом. Классный наставник Степан Максимович раз даже сказал ему: «Ну, чего пузо выпятил?»

Я не понимал Кирсанова. Мне и брату было запрещено покупать мороженое на улице. Мама считала, можно отравиться. Я, не сомневаясь, этому верил. Все, что говорили мои родители, было для меня истиной. Кирсанов же, к моему удивлению, совсем не боялся отравиться. В ответ на мои предостережения он сказал: «А я всегда ем и ни разу не отравился». И действительно, он на одолженные у меня деньги купил при мне у бродячего мороженщика порцию мороженого и съел. Я смотрел на него со страхом и любопытством: сейчас он посинеет и начнет корчиться от боли, может быть, даже умрет. Но с ним ничего не случилось. На меня это произвело смущающее впечатление. Я был рад, что Кирсанов остался жив и невредим, но выходило, что

мои родители ошибались. И Кирсанов запоем читал книжонки приключений Пинкертона и Ника Картера, которые мне и брату не разрешали читать.

А как-то мы ехали на извозчике, и вдруг я с удивлением вижу, по тротуару идет Кирсанов, но не в гимназической форме, а в старых заплатанных штанах. Он шел не один, а рядом с высоким сутулым человеком в шляпе, с широкими обвислыми полями. Этот человек, верно, отец или дядя Кирсанова, был без галстука; из кармана его мятого холщового балахона торчало горлышко бутылки. Он нес удочки, а Кирсанов — ведерко. Тогда я почувствовал, что Кирсанов ведет дома непохожую на нашу, таинственную жизнь. Но все-таки он был гимназист, а не *уличный мальчик*. Те ходили не в форме, как мы, а в каких-то кацавейках, в валенках, в вытертых шапках. Свободно, без присмотра горничных и гувернанток бегали по улицам. Я думал, это все сыновья дворников, кухарок, прачек, и они живут не в квартирах со светлыми, большими комнатами, как наша, а в сырых подвалах, где, надрываясь от кашля, их больные чахоткой матери стирают белье в клубах едкого пара. И учатся они не в гимназиях и реальных училищах, а у сапожников, которые бьют их колодками по голове. Читая в хрестоматиях рассказы о таких мальчиках, я горько плакал, так как мне их было жалко. Но в жизни это были *уличные мальчики*, и нам не разрешали с ними играть. К тому же я скоро узнал — они наши враги.

Я заметил, Александров, Махутов и еще несколько мальчиков часто говорят между собой о войне с какими-то *огольцами*. Я не знал, кто это такие — огольцы, но мне было обидно, что со мной не совещаются о войне с ними, словно я не был одним из силачей нашего класса. Я небрежно предложил Александрову: «Возьмите меня с собой, авось я с двумя-тремя справлюсь». Александров недоверчиво усмехнулся: «С двумя, тремя, — их много!»

Как-то после уроков мы пошли на Тверской бульвар, на ледяную гору. Едва мы прошли через калитку, как сзади раздались крики. Обернувшись, я увидел: два, невесть откуда взявшихся, уличных мальчика ожесточенно лупят Александрова кулаками по картузу, словно хотят вбить его в землю. Подпрыгивая у него по бокам, они, казалось, на мгновение повисали в воздухе, как на гигантских шагах.

В гимназии мы никогда так не дрались. Мы боролись, пихались, хотели победить, но вовсе не хотели сделать друг другу больно. А эти мальчики били Александрова по голове изо всей силы, с недетской злобой.

Я с удивлением видел, Александров ничуть не испугался. Мне даже показалось, он хитро улыбается. Но, видимо, считая, что сопротивляться теперь бесполезно, он, слегка присев, только старался защитить голову руками.

Все это произошло так неожиданно, так быстро, что мы смотрели, будто завороженные. Не успели мы опомниться, как уличные мальчики исчезли так же внезапно, как появились. Проходившая мимо дама остановилась около Александрова и сказала расстроенным голосом: «Мальчики, да не играйте вы с ними, они голову могут проломить». Тогда Александров, быстро нагнувшись, поднял с земли облепленный песком ком обледенелого снега и, пока-

зывая его даме — «Они дерутся вот этим», — широко открыв рот, заревел. Я смотрел на него с недоумением. Ведь уличные мальчики вовсе не били его этим обледенелым комом, и он заревел нарочно, чтобы еще больше разжалобить даму. Мне самому не пришло бы в голову так соврать, и я не мог бы притворно заплакать.

Теперь я узнал, уличные мальчики — это и были огольцы. Они сами себя так называли. Я раз слышал, один крикнул другому вслед: «Эй, оголец, ремешок потерял».

Я больше уже не думал, что смогу справиться с двумя-тремя огольцами. Наоборот, мне стало казаться, они непобедимы: при их отчаянной решительности в драке они всегда нас будут побеждать. В гимназии мы только играли в войну, давать подножки считали нечестным, драться ногами — позором. А они дрались без всяких правил. В отличие от нас, врожденная свирепость в них не была ослаблена воспитанием. Именно их злоба меня пугала. Я стал замечать теперь, как их много повсюду: на улицах, на бульварах, на всех углах, во всех воротах. Верно, и раньше их было столько же, но я не обращал внимания, а теперь только их и видел, словно Москва подверглась нашествию орды огольцов. Теперь я боялся ходить один по улицам.

Но вскоре произошло событие, которое, умей я только тогда делать выводы, должно было бы меня убедить, что непобедимых врагов нет. Мы пошли после уроков на ледяную гору на Тверском бульваре. В этот день было особенно много огольцов. Когда Кирсанов, стоя как свечка, лихо скатился, огольцы сбили его внизу подножками. А я даже не мог пробиться к краю площадки. Огольцы протискивались вперед, бесцеремонно отпихивая меня локтями. Многие из них уже по нескольку раз скатились, а я все ждал. Я заметил, они не только по-другому одеты, чем мы, но даже говорят по-другому. Вместо скользко, *склизко*.

Мы пожаловались сторожу, что огольцы не дают нам кататься, но он не хотел вмешиваться. В это время из ворот гимназии с ликующими криками освобождения высыпали первоклассники. Их отпускали на час позже, чем нас. Мы стали им жаловаться на огольцов. Первоклассники слушали нас, снисходительно улыбаясь, как взрослые слушают детей. «А почему вы сторожу не сказали?» — «Сторож на их стороне». Долговязый старший брат Александрова, он сидел в первом классе уже третий год, захохотав, сказал: «Ну, ничего, мы им покажем, а если сторож сунется, мы и сторожу зададим!»

Он подпрыгнул, подкинув движением плеч ранец на спине, и побежал на бульвар. Первоклассники повалили за ним бурной толпой. Я бежал сзади, чувствуя, как мне передается их уверенность в победе. И, действительно, после короткой свалки первоклассники завладели горой. Огольцы разбегались во все стороны. Один совсем еще маленький, в валенках со взрослого человека, с трудом бежал, проваливаясь в сугробах. Он плакал в голос.

Потом пожилой, приземистый сторож, сердито ругаясь, гонялся за братом Александрова, а тот с хохотом увертывался. Под конец сторож бросил ему вслед деревянную лопату для сгреба снега.

*

Я был первым в классе по рисованию. Села Семенович, наш учитель чистописания и рисования, даже напечатал в журнале для детей, который он издавал, два моих рисунка с надписью под ними: «Это рисовал маленький мальчик, рисуй и ты так». У Селы Семеновича лицо было, как на портрете Козьмы Пруткова. На одном из первых же уроков Села Семенович предложил нам делать классный журнал. Все мальчики выбрали меня редактором. Я принял это как должное. Я не имел представления, как мы будем делать журнал, но был твердо убежден, что никто не может быть лучшим редактором, чем я. В те годы вера в мое предназначение быть первым во всем была во мне непоколебима. Впоследствии, наоборот, я всю жизнь страдал от недостатка уверенности в себе.

Брат тоже был в своем классе первым по рисованию. Родители решили, что у нас талант, и к нам начал ходить на дом учить нас живописи «настоящий» художник. Он был невысокий, с восковым лицом и пушистой рыжеватой бородой. Он говорил мало и неторопливо, глухо покашливал, много курил. Он показал нам, как разводить краски маслом, как пользоваться кистями и шпаделем, но предоставлял нам полную свободу писать, что мы хотим и как хотим. Брат все писал лошадей, а я — солдат и сражения. Я помню мою первую картину маслом. По круглому изумрудному холму бежит с ружьем наперевес высокий, голова до облаков, солдат. У его ног лежит убитый вражеский солдат, совсем по сравнению с ним маленький, так как полотно было поперек у́же, чем в вышину. Я раскрасил мундиры солдат очень ярко. Я не любил смешивать краски. Они мне нравились такими, какими они выходили из тюбиков, особенно зеленая-изумрудная, красная-кармин, белила и синяя. Такие красивые! Я не хотел портить их первоначальную яркость и чистоту. Учитель смотрел, покашливал и хвалил.

Мне все хотелось изобразить движение, чтобы было как в жизни. Раз почему-то мы пошли не в кинематограф у Никитских ворот, как обычно, а в другой на Пречистенском бульваре. Надпись на экране погасла, и словно в призрачном широком окне появился каток. Туманный зимний день, снег, сияние льда. Сейчас же сбоку вырвалось плечо и, раскатисто шаркая по иссеченному льду гоночными коньками, на середину выбежал человек в белой фуфайке. На глазах уменьшаясь, он стал быстро удаляться в глубь миража катка. Этот человек на экране пробежал в действительности. Я знал это так же несомненно, как, смотря на отражения прохожих в зеркальной витрине, знаешь, что за спиной настоящая улица. Но тут не зеркало было. В зеркале отражались бы ряды неясно белеющих в сумраке лиц зрителей, а не эти конькобежцы. И они состязались не здесь и не теперь, а, как было сказано в надписи, в прошлое воскресенье, на большом катке, на окраине Москвы, куда нас не водили. И все-таки на экране все происходило точно, как было в жизни. Меня поразило это волшебное воссоздание бывшего в другом месте, в другое время.

Когда мы вернулись из кинематографа домой, я нарезал стопку бумажных квадратиков и принялся с надеждой рисовать. Но, к моему огорчению,

бумага оставалась под моим карандашом все такой же плоской. На ней не возникали ни глубина туманного воздуха, ни влажное серое сияние льда. И как бы быстро я ни листал квадратики, не получалось того восхитившего меня в кинематографе впечатления жизни и движения, которое мне так хотелось передать.

Мне хотелось не только лучше всех рисовать, но и показать всем, какой я не по летам развитой, умный, с необыкновенными мыслями. Чтобы другие мальчики в этом убедились, я стал говорить им, что не верю в Бога. Коля Иванов, «Ивашка-погашка», пожаловался учителю истории. Во время урока он поднял руку и, когда учитель спросил, в чем дело, громко, на весь класс сказал: «Гуськов не верит в Бога». В классе наступила напряженная тишина. Все мальчики, предвкушая, что учитель меня сейчас накажет, смотрели на меня с насмешливым и злорадным любопытством. Мне стало страшно. Я чувствовал теперь уже не гордость моим умом, а смятение. Если все считают, что не верить в Бога дурно, то я — преступник. В страхе возмездия я смотрел на болезненно желтое лицо учителя. Он молча, в раздумье пощипывал пальцами кончик жидкого уса. Наконец, кашлянув, сказал: «Что же, верить или не верить в Бога, — это дело совести каждого».

## VII

Я смотрю на улицу и вдруг с чувством дивной радости и торжества вижу: над знакомым двором гимназии Адольфа в голубом небе расцвело ватным розаном и поплыло белое облачко. В нем неожиданно сверкнуло короткое злое пламя. И вот уже расцветает и плывет другое такое же облачко, и в нем тоже хищно ударило и пропало огненное жало. Это было прекраснее всех описаний битв у Лермонтова и Пушкина.

Я все боялся, война кончится прежде, чем я достаточно подрасту, чтобы убежать на фронт. Я прочел столько рассказов о мальчиках-добровольцах, сыновьях полка. Но я знал, папа и мама никогда меня не отпустят. И вот война не только не кончилась, а пришла в Москву. На моих глазах рвутся настоящие снаряды.

Несколько дней шел бой между большевиками и юнкерами. Я не знал, что решается судьба России, судьба всего человечества, судьба моих родителей и моя собственная судьба. Я чувствовал только восхищение: совсем близко идет настоящий бой. До тех пор я только читал в газетах, под заголовком «На театре военных действий», а теперь — свидетель. Вдали глухо бухают пушки, а на улице, совсем близко, трещат частые ружейные выстрелы, будто там кто-то бросает пригоршни шутих. Папа сказал, это стреляют *пачками*. Из окон нашей столовой было видно, как горят разбитые снарядами дома у Никитских ворот. Там, грозно клубясь, высоко в небо всходили черные столбы дыма.

*

Весной мы уехали в Киев. Все были уверены, мы скоро вернемся, большевики не продержатся и года. Так началась *временная, ненастоящая* жизнь до скорого падения большевиков и нашего возвращения в Москву.

Поезд, на котором мы уехали из Москвы, был переполнен. Люди в коридорах, на площадках, на буферах, на крышах. Окно в купе забухло, никто не мог открыть, а была ужасная духота. Сказали, что в соседнем купе солдат открыл окно штыком. Один господин пошел попросить у него штык. Вернулся с пустыми руками. С огорчением рассказывал: солдат угрюмый, даже не отвечает.

*

Постоялый двор в Зернове. Перед самоваром хозяин в расстегнутой на толстом брюхе жилетке, в грязной ситцевой рубахе навыпуск, лысый, с бугристым носом, чернобородый. Отдуваясь, пьет чай с блюдечка. К моему удивлению, его звали Талызин, как одну нашу московскую знакомую, дочь генерала.

Ночью на дворе было совсем тепло. Чувствовалось — уже юг. В прозрачных сумерках темно-синие прямые, как свечи, тополя. Я никогда еще таких не видел. Много лет спустя я испытывал похожее чувство, когда увидел пальмы на берегу Средиземного моря.

Украинскую границу переехали на телегах. На хуторе Михайловском были немцы. Я не понимал: еще недавно немцы были врагами, а теперь, спасаясь от большевиков, мы приехали под их защиту. Толстый немецкий майор сказал через переводчика, что все должны остаться на две недели в *карантине*. Один господин попросил, чтобы его отпустили без карантина, ему необходимо в Киев, как можно скорее. Тогда майор, весь вдруг перекосясь и побагровев, стукнул кулаком по столу и закричал страшным горловым голосом: «Quarantäne!»

*

В Киеве были немцы, гайдамаки, Скоропадский, добровольцы с трехцветными углами на рукавах. После голодной Москвы нас поразило изобилие: белый хлеб, пирожные, никаких карточек. Потом немцы ушли, и пришел Петлюра. В тот день мы гуляли по Крещатику. По мостовой прошел отряд с винтовками. В толпе кто-то сказал — это уходит офицерская охрана банков. Навстречу отряду по Крещатику подымалась густая толпа петлюровцев. За головами толпы не было видно, как они встретились. Я только слышал, как голос, верно, высокого полковника, который шел впереди офицерского отряда, повелительно крикнул: «Банда, разойдись!» И сейчас же загремели выстрелы, и толпа побежала. Мы очутились во дворе какого-то дома. Когда стрельба стихла, пошли домой.

На следующий день был парад. Гарцевали всадники в шапках с красными шлыками. Один толстый, усатый, похожий на Тараса Бульбу. Пехота ждала в боковой улице, пока пройдет конница. Потом другой, такой же толстый

усатый Бульба скомандовал зверским голосом: «Рушь!», и пехота двинулась. Меня этот парад восхитил, как ожившая картина Репина «Запорожцы».

Папа сказал, что петлюровцы недолго продержатся и через месяц в Киеве будут большевики. Мы уехали в Одессу. В Одессе были французы, добровольцы, поляки, грузины. Потом французы ушли, и пришел Григорьев. Мы стоим на какой-то широкой улице и вдруг видим, по мостовой идут не в ногу солдаты. Сбоку — конный. Остановив лошадь у запертой будки с прохладительными напитками, он сказал хозяйке: «А ну-ка, отворяй лобазик». Это и были григорьевцы.

Из Одессы мы бежали в Крым на *дубке*. Довольно большой, но без мотора трехмачтовый парусник. На второй день поднялась и долго не утихала буря. Совсем такая, о какой я всегда мечтал. Ходят черные, громадные, как горы, волны. Корма дыбится в небо и с высоты так стремительно ухает в разверстую пучину, что в паху режет. Матросы с криками «потрави, потрави контрашкот» тянули толстую веревку, и бревно нижней реи со свистом неслось через всю палубу к другому борту. Паруса не выдерживали. Только матросы подымут, как вихрь с такой страшной силой надувал гнилое, заплатанное полотнище, что оно с треском раздиралось. Под конец остался только самый маленький кливер. В трюме сделалась течь: чемоданы, толкаясь друг о друга, шарахались в воде от борта к борту. Почти всех укачало, а меня — нет. Единственный из всех пассажиров, я помогал матросам выкачивать воду из трюма ручной помпой. Я очень этим гордился. Мысль, что мы можем погибнуть, не приходила мне в голову. Сколько я читал про кораблекрушения, герой всегда спасался. Волны выносили его на берег. Так и с нами будет, если дубок потонет.

На пятый день буря стихла. Мы легли спать на крыше трюма. На рассвете папа разбудил меня и, показывая рукой, тихо сказал: «Посмотри». Дубок стоял на якоре. Не чувствовалось ни малейшей качки. Море простиралось гладкое, как озеро. Совсем близко был виден плоский берег. По выбежавшим вперед деревянным мосткам прохаживался военный в высоких сапогах, в черной гимнастерке. Вставшее солнце вдруг ярко осветило у него на плечах золотые погоны. Значит, в Крыму добровольцы, мы спасены.

В Евпатории был чудный пляж. Сады ломились от фруктов. Осенью мы переехали в Севастополь.

*

Мы с братом любили ходить на Графскую пристань, смотреть, как подходят моторные катера с военных кораблей. На носу лихо стоит матрос с багром. Ветер треплет георгиевские ленты его бескозырки. С Графской мы шли в порт, восхищенно смотрели там, как матросы моют на кораблях палубы, *надраивают* до сияния медные части, сигнализируют флажками. Я завидовал им. Полосатые тельники, штаны клёшем, черные бушлаты. И они жили не в квартирах, как все, а в *кубриках*, и даже слова у них были особые, морские: камбуз, шканцы, гафель, спардек, иллюминатор.

Раз я долго зачарованно следил за работой портовой лебедки. Дирижируя рукой, высокий человек в черной флотской шинели властным голосом командовал: «Вира, вира помалу», потом отрывисто: «Гоп!» и протяжно: «Майнааа». Я с волнением слушал эти непонятные, полные таинственного значения слова. Лебедка с грохотом навивала стальной трос, ворочалась жирафьей шеей и опускала груз в трюм *пришвартованного* миноносца «Живой».

*

Я иду по Нахимовскому проспекту и вижу — на углу толпа, над толпой — голова и плечи человека без шапки. Прислонясь спиной к фонарному столбу, он, верно, стоял на ящике или скамейке. Подойдя ближе, я увидел: он вовсе не стоял, а, молодцевато выпятив грудь, висел на толстой веревке, глубоко врезавшейся ему в шею. Буйная прядь кудрявых волос свисала ему на лоб. Широкоскулое лицо, будто из глины. Изо рта вывалился большой лиловый язык. Руки скручены за спиной веревкой. Синий шевиотовый пиджак чуть не лопается на богатырских плечах. Языки новых расшнурованных башмаков свисают белой подкладкой наружу. К широкой груди приколота надпись: «Известный бандит, его повесили стражники».

Зная, что взрослые видят в смерти какое-то особо важное событие, я смотрел во все глаза. Но я ничего не чувствовал. Восковая кукла из магазина готового платья.

*

Мне шел четырнадцатый год, когда мы уехали из Крыма в Константинополь. Огромное небо меркло над невысокими светлыми скалами все дальше отходившего берега. Кто-то сказал: «Мы, может быть, в последний раз видим русскую землю». Потом несколько дней со всех сторон — только море. Линия горизонта описывала полный круг.

Рядом с пароходом, словно наперегонки, долго мчалась ватага славных, веселых дельфинов. Было радостно смотреть, как они прыгали среди синих сафьяновых волн: то один, то другой вдруг выскочит из воды и несколько метров летит в воздухе. На мгновение кажется: он навсегда вырвется из моря и начнет жить, как птицы. Или с такой же стремительностью они неслись в глубине живыми торпедами.

При входе в Босфор качало. Слева сквозь расходившийся туман проступал высокий, первозданно-дикий берег. Разбиваясь, волны взлетали там белыми столбами до самого верха обрывистых желтых скал. Порывы ветра доносили оттуда могучий грохот. Показывая рукой на какое-то место в теснящихся волнах, господин с бледным от страха лицом кричал, что там мина.

Потом и с правой стороны показался берег: дома, сады, башни, какие-то развалины. Мне было странно: наша жизнь в России занимала *все место,* а теперь начиналась новая, неизвестная земля. Там город с мечетями, как в «Тысяче и одной ночи», и жители не говорят по-русски и ничего о нас не знают.

Но когда пароход встал на якорь, и в красивых лодках подплыли люди в красных фесках и что-то кричали на непонятном языке и махали руками, я почувствовал: они вовсе не странные, а именно такие, какими должны быть здесь люди, и уже Россия и Севастополь показались мне далекими и невообразимыми.

Мне трудно вспомнить теперь чувство безотчетной тоски и сожаления, какое я испытывал тогда при переездах. Теперь я вижу, это было недоумение, что я не вездесущ. Весь мир должен быть при мне, все города, все страны, все люди. Никогда не расставаться.

*

Переезд на чужбину не разрушил космоса моего детства. Во вре́менной жизни в Константинополе, — будущей весной мы вернемся в Москву, — мы жили как в экстерриториальной России, перевезенной в Константинополь на полсотне пароходов и военных транспортеров.

На улице Пера в толпе слышалась русская речь, встречалось много добровольческих офицеров, в обтрепанных английских шинелях, в черкесках, в папахах. Открылся русский ресторан, с полотняной вывеской над входом: «Трактир Сарматова и Вертинского». Бывшие полковники продавали пончики и русскую газету. Турки научились говорить «карашо». В барах граммофоны играли Стеньку Разина. На Таксиме русский силач крутил вручную карусель.

Все наши знакомые были русские, мы ходили в «Русский маяк» на улице Брусса. Здесь была столовая, а по вечерам устраивались литературно-музыкальные вечера. На одном таком вечере, после выступления носатого скрипача, толстый конферансье объявил: «А теперь прочтет свои стихи молодой поэт Борис Глебов. Господа, предупреждаю, не хватайтесь за стулья, он *футурист*!» Глебов вышел на середину эстрады. Засунув руки в карманы штанов, поднял глаза к потолку. Он был очень бледен. Потом я узнал, что он старше меня только на три года. Но тогда я был еще маленьким мальчиком, а он уже ходил в пиджаке, в галстуке, как взрослый. Мне показалось, он выглядит именно так, как должен выглядеть поэт-футурист, хотя до того я никогда не видел поэтов-футуристов и не знал, что такое футуризм. Глебов начал читать стихи нараспев, в нос, почти беззвучным голосом. Ему совсем жидко аплодировали. Эмигранты считали тогда футуристов большевиками.

Раз Глебов вбежал в комнату, где собирались скауты. В этот день он бегал и смеялся, с тем бурным весельем, с каким в избытке молодых сил носятся щенки. На нем был черный романовский полушубок. Играя во что-то, Глебов надел его не в рукава, а на голову. Он сказал нам, что скоро уезжает в Париж. Хвастался, что говорит по-французски, даже знает «два парижских арго».

Только много лет спустя, в Париже, когда я опять встретил Глебова, я с удивлением понял, что в его декадентских стихах не было ничего футуристического.

*

Мы поступили в открывшуюся на улице Галата русскую гимназию. Эту гимназию скоро перевели в Чехословакию, в Моравскую Тщебову, разместили там в бараках бывшего лагеря для русских военнопленных.

VIII

Моя вера, что все происходит по какому-то предустановленному, доброму порядку, впервые поколебалась, только когда брат заболел менингитом. До тех пор я все еще жил, как в вечности. Только теперь я в первый раз почувствовал, что за привычной действительностью проступает что-то чудовищное, невместимое сознанием.

Брату становилось все хуже. Папе послали телеграмму, и он приехал из Константинополя. По дороге в гимназический лазарет, где лежал Юра, папа спросил меня, почему я такой угрюмый. Меня это удивило. Мне никто еще не говорил, что я угрюмый. Не зная, что ответить, я сказал: «Это потому, что Юра болен».

Старшая сестра милосердия встретила нас на крыльце лазарета. По тому, как она посмотрела папе в лицо и молча поцеловала его в губы, я понял, что брату очень плохо.

В этот день хоронили другого мальчика. У него тоже был менингит. Говорили — это эпидемия. Отец мальчика, известный генерал, опоздал на похороны, его поезд где-то застрял. Меня поразило выражение отчаяния на лице папы, когда он шел за гробом этого мальчика. Он, не стесняясь, всхлипывал у всех на виду, а ведь он никогда этого мальчика не видел. Я все еще не понимал.

На следующий день меня позвали проститься с братом. Перед тем меня долго к нему не пускали, боялись заразы. Когда брат повернул ко мне голову, я увидел — у него были теперь другие глаза: темные, глубоко запавшие. Я не понимал, узнает ли он меня. Меня это поразило. Я не думал, что он может меня не узнать. И он не мог говорить. Этого я тоже не ожидал. Застонав, он обессиленно отвернулся с выражением, в котором мне почудилась жалоба на что-то невидимое, но неодолимое, что причиняло ему ужасное мучение и не давало его сознанию удержаться в жизни.

Меня послали принести воскресную одежду брата. Выходя из лазарета, я встретил ученицу старшего класса, в присутствии которой всегда испытывал неясное чувство смущения, влюбленности и желания. С чувством тщеславного удовлетворения я заметил, она взглянула на меня с любопытством, как на участника печального, но важного и торжественного события. Я представился себе чуть ли не героем.

Придя в дортуар, я начал, присев на корточки, вынимать из тумбочки вещи брата. Все были в классе на уроках. Только один ученик, по прозвищу Лорд, почему-то остался. Он подошел ко мне и стал расспрашивать. Под-

ражая тому, как об этом рассказывал папа, я сказал Лорду, что генерал, отец мальчика, не успел приехать на похороны. Лорд с досадой воскликнул, что вот так всегда бывает, генерал опоздал, а мой отец приехал, хотя это не так к спеху было, так как мой брат не так опасно болен.

Тогда я сказал: «Нет, он тоже умер», и вдруг слезы хлынули у меня из глаз, и я не мог удержаться и плакал навзрыд. Лорд стоял надо мной с неприятной улыбкой замешательства.

*

Маленькие пожелтевшие фотографии. Гроб, заваленный венками, на лентах надписи: «Дорогому Юрочке от 8-го класса» и еще каких-то классов, не разобрать. К длинным деревянным пальцам прислонен крест. Брат был не по летам высокий, а за время болезни еще вырос. Говорили, что в городе с трудом нашли достаточно большой гроб. На другой карточке — мертвая голова брата, с восковыми веками и длинными, будто подкрашенными, ресницами. Строгое, чужое лицо. Незнакомый, заострившийся, не такой, как при жизни, нос. Папа тоже это заметил. Он всегда в шутку говорил, что у брата нос «сапожком», а в гробу у него нос был с горбинкой.

Дома мы никогда не говорили о смерти брата. Это было слишком большое горе, чтобы об этом говорить. Когда брат мне вспоминался, я сейчас же заставлял себя думать о другом. Это легко было: действие какого-то механизма самосохранения не давало мне сосредоточиться на мыслях о смерти брата. Да никаких мыслей и не могло быть. Разум останавливался перед противоречием между продолжавшейся жизнью и несоединимым с жизнью ужасом уничтожения брата какой-то бессмысленной, беспощадной силой. Если думать об этом — нельзя жить.

Много лет спустя, когда я прочел у Карлейля, в «Сартор Резартус», что небо и земля казались его герою огромными челюстями какого-то всепожирающего чудовища, я подумал, что это, нелепое на первый взгляд, сравнение ближе всего передавало мое тогдашнее чувство.

И брат так мучился перед смертью. За что? Он был такой добрый, никому не делал зла. Тем удивительнее мне было слушать, что он умер в таких мучениях по воле того Боженьки, которому меня учили в детстве молиться. Я не мог понять, как можно тогда любить такого Бога.

Не позволяя себе думать о смерти брата, так как я слишком его любил, я постепенно начал его забывать. С годами любовь к нему умерла в моем сердце. Я *простил* его гибель, простил из равнодушия. Теперь, на пороге старости, описываю его смерть, надеясь, что это придаст моим запискам человеческую значительность, даже стараюсь, чтобы художественно получилось. Но когда я вижу брата во сне, я чувствую к нему такую же любовь, как когда он был жив, и мне радостно от его присутствия, хотя даже во сне я помню, что с ним случилось что-то непоправимое, сделавшее его не таким, как живые.

После смерти брата припадки рассеянности стали находить на меня все чаще. Вскоре после похорон я поехал на побывку в Прагу, где поселились

тогда мои родители. Я умолил их меня выписать. Мне что-то необыкновенно радостное и счастливое представлялось, когда я думал об этой поездке. Гимназия, с уроками, учителями и однообразным распорядком дней давно мне опостылела. Я мечтал о жизни, влюбленности, свободе. Но в Праге, как только я вышел с вокзала, на меня сразу же напала беспричинная тоска. Идя по улице, как по дну ущелья, я недоумевал, как мои родители могли жить в одном из этих чужих, враждебных домов. Я не мог вспомнить, чего я ждал: здесь еще скучнее и печальнее, чем в гимназии. Я вернулся в Тщебову раньше срока. Но когда я увидел бараки и знакомые лица гимназистов и учителей, тоска не только не прошла, а еще усилилась. С тех пор я все чаще испытывал чувство беспричинной грусти и сожаления.

С годами это чувство развилось в настоящий душевный недуг.

*

Я был уже студентом в Праге, когда у меня появилась вода в коленях. Пришлось долго лежать с гипсовыми повязками. Шли длинные, похожие один на другой дни. Я один в комнате, отделен от мира, от жизни людей. Я не знал, о чем думать. Смотря на стены и потолок, я удивлялся их таинственному безмолвному присутствию, их равнодушию ко мне.

К лету опухоль в коленях опала. Я начал ходить, опираясь на палку. Отец послал меня на курорт, в Падебрады. Днем я гулял по городскому саду, смотрел на толпу, потом шел к себе на окраину.

В тот день с утра шел дождь. Наконец перестал. Я растворил окно. С улицы потянуло сыростью. Хор воробьев еще не совсем уверенно щебетал детскими голосами. Через дорогу, сквозь густую листву деревьев проступает желтая стена костела. За костелом — сад, пустыри. Дребезжа, проехала порожняя телега. Мужик, махнув кнутом, протяжно сказал: «Ииооо!» Худой, сутулый. Из-под козырька кепки, сквозь белесые ресницы угрюмо смотрят оловянные глаза. Лицо узкое, в рыжей щетине давно, давно небритой бороды. Шея — сухой корень.

Телега давно проехала, а я все стоял, прислушиваясь к замиравшему вдали стуку колес. Я хотел вспомнить какое-то объяснение и вдруг с беспокойством понял: никакого объяснения нет.

Перед тем я думал о даме, которую видел вчера на гуляньи. Она шла мне навстречу, как «прекрасный корабль» Бодлера. Я жалел, что слишком робок и беден, чтобы с нею познакомиться. Еще я думал: скоро осень, надо возвращаться в Прагу, держать экзамены. Но теперь я помнил обо всем этом недостоверно, как помнишь о виденном во сне. Будто очнувшись в каком-то незнакомом месте, я смотрел в окно с недоумением. Как я попал сюда? Где в бесконечности, может быть, не существующего на самом деле пространства стоит этот костел, где проехал мужик? Я нахожусь *нигде,* в бездонной пустоте. Там никого нет.

Я чувствовал такую же тоску, как перед приступом тошноты, но только еще более томительную. Казалось, стена костела, словно мигая в хрусталь-

ном струении воздуха, все время неуловимо пропадает и мгновенно снова появляется. Вот это и есть действительность! Ничего другого не будет, никакого значения, никакого будущего. Моя жизнь, останавливаясь, исчезала.

Это невыносимое чувство почти сейчас же прошло, но еще долго оставалась память о потрясении, таком же неожиданном и отвратительном, как когда, оступившись, я раз упал с подножки трамвая.

Только позднее, когда я переехал в Париж, я стал вспоминать, что за головокружением пустоты, которое я тогда испытал, в моем сознании, в самой глубине было еще что-то другое. Смотря на картины в Лувре, я учился лучше разбираться в моих впечатлениях. Я припоминал теперь, как солнце, выйдя из-за облаков, чудесно осветило линялую холщовую куртку на сутулой спине мужика и эту старую белую лошадь. Как медленно она ступала разбитыми ногами. Сколько смиренной кротости было в ее понурой голове, сколько простодушия в расчесанной детской челке на лбу, такой нелепой при ее громоздком, распертом ободьями ребер туловище. Вместе с телегой и мужиком она на мгновение была вписана в четырехугольник оконной рамы с таким совершенством, будто окно выходило в вечность. Там были тишина, и мир, и мягкий свет, как в раю. Это и был рай, и эта прелестная белая лошадь — ангел. Тогда это не дошло до моего внимания, а теперь я все это видел, как увидел бы настоящий художник, таможенник Руссо, например. На одной его картине такая белая лошадь стоит на лугу.

Я завидовал художникам. Они всегда видели природу так, как я видел только в редчайшие мгновения, вернее, даже не видел, а только предчувствовал, что сейчас увижу, только мучительно старался увидеть.

*

Припадки рассеянности находили на меня все чаще. Достигая наибольшего напряжения, моя тоска соединялась со странным мечтанием. Что-то вдруг происходило с моими восприятиями. Мне мерещилось, природа *смотрит* на меня с таким выражением, словно хочет открыть мне что-то, что непостижимо присутствует *по ту ее сторону*. Еще мгновение, и я все пойму, все мои недоумения рассеются, наступит небывалая, блаженная радость.

Но это мгновение никогда не наступало. Напрасно я старался удержать это чувство приближавшегося восхищения, вглядеться, как оно зарождается в глубине моего сознания. Я ничего не находил. Только невыносимое чувство остановки жизни.

И все-таки я не мог забыть эти мгновения. Пусть они были только признаком ослабления во мне способности жить и действовать. По сравнению с этим необъяснимым ожиданием все остальное казалось скучным, неважным. Если бы мне предложили взамен все, о чем я мечтал: успех у женщин, славу, деньги, я не согласился бы отказаться от этого мучительного, но блаженного, никогда не исполнявшегося предчувствия.

Как мог я думать, что мне откроется загадка жизни? Ведь я знал, ни одному ученому, ни одному мудрецу она не открылась. Несколько тысячелетий

напрасно бились. А мне вдруг откроется. Но я все еще жил, как в детстве, не подозревая, что мир на самом деле, может быть, вовсе не такой, каким я его вижу, может быть, вообще непознаваем. Если бы мне сказали тогда, что абсолютное знание недоступно человеку, я этому не поверил бы: это был бы такой обман! Ведь мне всегда так хотелось понять значение жизни и мира. Без этой надежды все казалось бессмысленным.

Между тем как раз из-за моей рассеянности подвиг познания мне не давался. Моя молодость совпала с началом великой научной революции, но я не мог понять этих новых теорий, так как даже из гимназического курса физики ничего не помнил. К тому же мне казалось, если даже я пойму все это, это будет только умозрительное знание, а вовсе не то непосредственное чувство соединения с бытием, какое было в детстве, когда я еще не знал, что не знаю, как устроен мир.

Я не только физикой, я даже философией никогда не пробовал заняться по-настоящему. Не мог сосредоточиться, не мог следить за сложными рассуждениями и всегда так плохо себя чувствовал, так быстро уставал. Даже в тех редких случаях, когда мне удавалось понять и запомнить какое-нибудь отвлеченное рассуждение, я чувствовал, смотря на небо, дома, деревья, несоизмеримость этого рассуждения с их молчанием.

Но именно потому, что я так мучительно сознавал мое умственное бессилие и мою неспособность жить, мне казалось, что как бы в награду за это я увижу что-то, скрытое от других людей, слишком занятых насущными делами и заботами. Я ждал, это само собой произойдет. Я буду идти по улице и вдруг...

*

Несмотря на эти припадки рассеянности, я продолжал жить идеями и чувствами большинства русских эмигрантов. Бывшие воины Белой армии принесли с собой на чужбину завет борьбы со злом большевизма. Я верил, это был тот же идеал, который вложило мне в душу полученное мною русское воспитание. Близкое к мистической любви, возвышенное и благоговейное чувство любви к России как к священному существу, священному бытию, соединенному с абсолютной Правдой, со всем, что есть в мире доброго и прекрасного. Это за Россию, за правду, за добро шли на смерть добровольцы. Они до конца сохранили верность союзникам. Но вот награда — союзники бросили их на гибель.

Солдаты побежденной Белой армии рассеялись по европейским странам с чувством глубокой обиды. Они не нашли на Западе социальной и человеческой правды. Они рассказывали о таких преступлениях и таких страданиях, что, казалось, камни должны были возопить. Но никто не хотел их слушать. Высокомерное равнодушие бывших союзников порождало желание доказать, что русским изгнанникам открылось в апокалипсисе революции и гражданской войны знание, недоступное благополучному «мещанскому» Западу.

Молодой невежда, гордый сознанием своей принадлежности к избранному эмигрантскому народу, я ходил по улицам Праги с сонным равнодушием варвара. Недавно я видел фильм в красках. Показывали Прагу. Прелестные улицы и площади, прелестные дворцы, башни, церкви, старые дома. Я ничего этого не видел, не помнил. Прямо плакать хотелось от сожаления.

Переехав в Париж, я в первое время еще продолжал ходить на эмигрантские политические собрания. Это были годы экономического кризиса и безработицы. Эмигрантам, и без того бесправным и обездоленным, приходилось особенно трудно. Социологи когда-нибудь опишут эмигрантскую отверженность как непредвиденный Марксом особый вид отчуждения, особый вид шизофрении: бывшие штабс-капитаны, став на чужбине чернорабочими, шоферами такси, шахтерами, безработными, все еще продолжали чувствовать себя офицерами Белой армии, посланниками России, призванной, несмотря на ее унижение, спасти мир. Так возникло евразийство и другие «пореволюционные» течения, основанные на вере в мессианское назначение русского народа создать социальный строй на христианских основах.

Я стал евразийцем. Меня обратил бывший добровольческий офицер из студентов. Высокий, с огромными византийскими глазами, необыкновенный человек полуеврейского происхождения. Вся его жизнь была беззаветным служением Правде и России. С той же готовностью на подвиг и смерть, с какой он пошел в Белую армию, он служил теперь евразийству. Я не разбирался в евразийском учении, но когда он сказал мне, что евразийцы хотят строить на христианстве, я сразу ему поверил. Поверил, что евразийство стоит за ту высшую Правду, к какой всегда стремилась Россия.

Человек этот позднее перешел в большевики. Когда кто-то спросил его, а как же его христианство, он ответил, что коммунизм — это тоже религия. Поверив, он переставал рассуждать и во имя истинного учения был готов жертвовать и своей, и чужой жизнью. Незадолго до войны он участвовал в убийстве важного невозвращенца, после провала бежал в Советский Союз. Там, как об этом впоследствии писали, «подвергся в эпоху культа личности необоснованным репрессиям»: его расстреляли.

*

Увлечение евразийством только постепенно уступало во мне место все растущей беспричинной тревоге. Перелом наступил, когда у Андре Жида в «Палюд» я прочел: «Жизнь — жизнь других людей! что это значит — жить?» Я был потрясен: это обо мне написано, о моем заветном. Я с волнением понял это — единственное, что мне по-настоящему нужно: понять, что это значит — жить. А евразийство, с его «правящим отбором», «бытовым исповедничеством», «идеократией», «симфоническими личностями» и «ритмами евразийской истории», не имеет никакого отношения к моей жизни.

В «Палюд» герой, обращаясь к своей жене Жизель, часто рыдал. У меня не было жены, но я мечтал о влюбленности, и мне тоже хотелось плакать. Почти все время я чувствовал беспричинную нервическую расслабленность.

Не знаю, было ли это что-нибудь фрейдовское или, может быть, следствие эмигрантской отверженности и ослабления связей, которые соединяют человека с обществом, как пчелу с ульем. Говорят, пчелы чахнут вдали от родного улья.

Я нигде не работал. Отец присылал мне из Праги немного денег, чтобы я мог продолжать учиться. Но вместо того, чтобы ходить на лекции, я просиживал все ночи в монпарнасских кафе. Здесь я опять встретил Бориса Глебова. К моему удивлению, он совсем меня не помнил по Константинополю. Он тоже нигде не работал и был еще беднее меня, и болен тою же болезнью. Те же чувства его мучили: комплекс эмигрантской отверженности, унижение бедности, ужас перед миром, неудовлетворенная жажда любви, беспричинное, невыносимое беспокойство, беспричинное отчаяние, безумное ожидание «встречи с Богом». Но только он переживал все это с удесятеренной силой. Это делало его неспособным жить, несмотря на страстную жажду жизни. Еще больше, чем во мне, в нем было расстроено то особое чувство, которое позволяет человеку правильно определять свое положение в обществе. Он всегда чувствовал себя затравленным. Неумение держать себя на людях постоянно доставляло ему унизительные мучения. А ему нужны были признание, любовь, почет. Однажды он мне сказал: «Почему никогда так не бывает: придешь на собрание и скромно сядешь в самом последнем ряду. Но вот тебя увидят и скажут: "Борис Вячеславович, почему вы так далеко сели, пожалуйста, сюда!" И поведут, и посадят на почетное место, рядом с председателем».

Ему все казалось, все хотят его обидеть, обойти, устраивают за его спиной встречи, обеды, собрания, на которые его не зовут. Но, несмотря на эту подозрительность, он всегда кем-нибудь простодушно восхищался. В его рассказах самые обыкновенные люди чудесно превращались в богачей, в красавцев, в сказочных богатырей, в мифологических героев, в ангелов. Он видел все, словно в трубку какого-то волшебного калейдоскопа. Его разговор все время расцветал фейерверками неожиданных и прелестных сравнений. Так фокусник на эстраде вдруг вынимает из цилиндра разноцветные платки, белого кролика, белых голубков. С шорохом расправляя крылья, они взлетают над его головой.

И он писал необыкновенные стихи. Плохо разбираясь в поэзии, я все же чувствовал, что его стихи, при всех их явных недостатках, были подлинные, а не подделка под стихи, написанные другими поэтами. Казалось, он не сочинял их, а они сами рождались из тех то невыразимо сладостных, то мучительных видений, которые всегда снились его сознанию.

*

Я вел тогда дневник. В начале войны, перед отъездом в армию, я уничтожил тетради с моими записями. Не хотел, чтобы кто-нибудь их прочел, если не вернусь. Странно. Я старался писать о себе как можно откровеннее. Мне казалось, если я не расскажу о себе всю правду, если никто не будет знать о

всех моих мыслях и чувствах, то выйдет, что моей жизни как бы совсем не было. Ведь то, о чем никто не знает, все равно, как не существует. Но именно потому, что я писал откровенно, я боялся, что мои дневники попадут кому-нибудь в руки. Я помню, там были изо дня в день описания постоянно мучивших меня сладострастных мечтаний, постоянного чувства тревоги, беспричинного отчаяния.

Несколько отрывков все же сохранилось. Мне мучительно грустно их теперь перечитывать. Как нелепо, как уныло прошла моя молодость. Сколько невозвратимых лучших лет жизни я пропустил! Был молод, здоров, была возможность учиться. Сколько мог бы узнать, прочесть, увидеть. А я все ночи просиживал в монпарнасских кафе.

## IX

Сперва знаменитая монпарнасская натурщица Кики подралась с полусумасшедшей эстонкой, тоже, кажется, натурщицей. Краснощекая эстонка подступала к Кики, угрожающе размахивая руками и выпятив и без того высокую грудь. Кики ткнула ее тогда в лицо прямым ударом. Сидя на плече высокого русского художника, подвыпившая, хорошенькая натурщица, совсем еще девчонка, закричала: «Tu as raison, Kiki!»*

Только растащили Кики и эстонку, как Глебов, матерясь, бросился с кулаками на известного кинематографического актера. Глебов был безнадежно влюблен в одну из бывших тут дам, и вот ему показалось, что этот актер за ней ухаживает. Мне пришлось Глебова оттаскивать. Он всегда носил непроницаемо-черные очки, но в свалке они, верно, слетели. Я впервые увидел его неестественно маленькие безумные глаза — два вытащенных из глубины на беспощадный свет чернильно-лиловых моллюска в открытых ножом кровавых раковинах.

Когда Глебов успокоился, он повел нас, нескольких своих «учеников», бродить по Парижу. Мы долго шли по пустынным набережным Сены. Слева в аллегорическом молчании открывались, одна за другой, призрачные в темноте перспективы боковых улиц. Напоминая романтические развалины на картине какого-то художника, может быть, Клода Лоррена, карнизы спящих домов таинственно чернели в ночном небе.

Показывая на старый особняк с закрытыми ставнями окнами, Глебов с ласковой усмешкой сказал, что этот дом только случайно попал в Париж и чувствует себя потерянным в чужом большом городе, все грезит о своем родимом Безансоне.

Изаковский — невысокий, курчавый, в телескопных очках — тоже старался говорить образно и поэтично, только у него не так хорошо выходило,

---

* «Ты права, Кики!» (*фр.*).

как у Глебова. Подложенный ватой пиджак придавал ему широкоплечесть гоплита, но это было обманчивое впечатление. У меня болела голова.

Постепенно дома становились из черных темно-синими. Как добрели до бывшей Королевской площади, взошло солнце. Озаренные утренними лучами прелестные розовые дома просыпались в стране, о которой я всегда мечтал.

Последний привал в открытом всю ночь кафе на площади Бастилии. Разговор угасает. Глебов внезапно говорит: «Я только призрак. Вы меня любите, Гуськов?» Чувствуя неловкость, я молчу. «А вы, Изаковский, вы меня любите?» — Изаковский, задохнувшись: «В прошлый раз, когда вы говорили, что я не должен писать стихи, я вас ненавидел, Борис. Но теперь, когда вы сказали, что вы призрак, я вами восхищаюсь».

Окна кафе стали райски-голубыми. С улицы все громче вторгается шум проснувшегося города. Все наши спутники давно разошлись. Я тоже встаю. Глебов говорит: «Я еще посижу немного». Обернувшись в дверях, я вижу, как, закрыв лицо руками, он ложится головой на стол. Как странно. Я постеснялся бы.

В метро мутит от теплой вони. На остановках, громыхая ногами, входят люди с хмурыми, еще заспанными лицами. Они рано встали, едут на работу.

Наконец, дома. Несмотря на усталость, долго не могу заснуть.

В маленькой тесной комнате я стал свидетелем странной болезни одной женщины: у нее на лбу появилось кровавое пятно. В этом было что-то необыкновенно страшное и отвратительное. Пятно все увеличивалось. Я смотрел на него до боли в глазах. И вдруг с омерзительной радостью почувствовал, у меня у самого появляется на лбу такое же пятно. Я вспомнил, я дрался на дуэли, и мой противник ранил меня в голову, я умираю. Смотря в зеркало на свое бледное, с кровавым пятном на лбу лицо, я вспоминаю, как часто в жизни наяву, разглядывая себя в зеркало, я думал: «Кто я? Что со мной будет? Что это значит — жить?» И вот теперь я смотрю на себя в зеркало во сне, мое лицо все так же необъяснимо, но теперь я знаю, оно сейчас исчезнет, я умру, ничего не узнав. Я спрашиваю доктора, поможет ли мне операция. Доктор уклончиво говорит: «Ничего не известно. Надо пробовать». Я, чувствуя в голове нестерпимую боль: «Но не будет ли мне слишком больно?»

Тут на мгновение я просыпаюсь. Голова болит как раз в том месте, где во сне у меня была рана на лбу. Снова засыпая, с облегчением думаю: это мне только приснилось, что я убит на дуэли, я никогда не умру.

*

Любимый Лионский вокзал. Суетливая радостная толпа. Едут в отпуск отдыхать, плавать, любить. Я всегда уезжал с ожиданием счастья. Голос из громкоговорителя протяжно повторяет приглашение в дорогу: «Париж — Дижон — Лион — Средиземное море». Свисток. Маленький кругленький француз, с красным от вина лицом, неловко чмокнув в щеку похожего на него молодого солдата, соскакивает с подножки. Я видел, перед тем, зная, что

так принято при расставании, он старался что-то сказать, но, не находя слов, только беспомощно разводил руками.

Поезд тронулся. В коридоре молодые мастеровые запели: «Au revoir, Paname, au revoir, Paname!»*

Когда вагон вышел из-под закопченного стеклянного навеса вокзала, я увидел, солнце уже зашло. Небо меркло, но было еще прозрачное, словно из тончайшего, освещенного изнутри фарфора. В бледно-сиреневом неземном сумраке бетонные столбы и водокачки бесшумно проходили в окне бесплотными, нежными, летейскими тенями. И чем дальше отодвигался Париж, тем прекраснее становилось над ним небо. Наступала ночь, а оно все продолжало светиться, не поддаваясь печали сгущавшейся темноты.

Действительность по-прежнему оставалась непостижимой, и в своей непостижимости — призрачной и страшной. Но это медленно угасавшее небо было так прекрасно! Казалось, оно уравновешивает ужас бездыханного мира.

И все-таки ночь превозмогла. В окно больше ничего не видно. Только летят в кромешной тьме золотые искры. Неумолчный стук колес. Дремота.

Когда я очнулся, поезд стоял на незнакомой мне станции. На перроне редкие ночные пассажиры торопливо шарахаются к дверцам вагонов. Железнодорожники с фонарями переговариваются осипшими от тумана, уже не парижскими голосами.

В Лионе опять проснулся. В предрассветном тумане — широкая серая река. По берегам — такие же серые, угрюмые глыбы домов.

Перед Марселем пасмурный простор Этан-де-Бер. Я не мог понять: озеро, лиман? А за Марселем в окне все чаще стало показываться настоящее море. Я смотрел с волнением, будто в первый раз видел. Дивно сверкая на солнце, оно простиралось до самого неба — великое, прекрасное, чуждое всем волнениям человеческой жизни.

Потом пошли уже дачные места, кипарисы, пинии, смоковницы, виноградники, кирпично-красная земля. В открытые окна веял жаркий южный воздух. Здесь небо начиналось не как в городе, за крышами домов, а сразу за окном — нагретая солнцем, светлая, радостная бездна.

На какой-то маленькой станции стояла на перроне молодая загорелая женщина, с купальным халатом на бессмертно круглой, как у греческой статуи, руке. Всегда снившийся мне земной Элизиум. Я подумал, не будь я так беден, я вернулся бы на эту станцию, объехал бы в поисках счастья все побережье.

*

На море моя болезнь почти совсем прошла. Только один раз я испытал мое всегдашнее беспокойство. Я забыл на маленьком далеком пляже лопатку, которую одолжил у отельного служителя. Вспомнил только вечером. Это было неприятно: лопатка могла пропасть. Я сел в плоскодонку. Ночь выдалась совсем светлая. Лодка летела по глади залива. Слабый плеск, журчание.

* «До свидания, Панам» (*фр.*). (Панам — Париж на арго.)

То тут, то там вспыхивают зыбкие, лунные блики. В отдалении они сливались в сотканную из расплавленного серебра, сверкающую дорогу. Она легла поперек моря, как драгоценное покрывало на голову и плечи прекрасной женщины. Чем ближе к небу, тем все шире расстилалась эта дорога, тем торжественнее и ярче горела, переливаясь живым сказочным огнем.

Я скоро догреб до пляжа, где забыл лопатку. Но я не узнавал места. Вода у берега совсем прозрачная, видно песчаное дно. Мне вдруг почудилось, берег движется, а лодка стоит над светлой бездной.

Обратно было трудно грести. Поднявшийся ветер гнал навстречу невысокие волны. Вздрагивая от их ударов, плоскодонка со стуком и плеском прыгала с гребня на гребень. Казалось, она совсем не продвигается. Сколько времени я уже греб, а пелена большого пляжа все так же неясно белела далеко впереди. Я греб изо всех сил. Меня не оставляло чувство моей потерянности в мире.

*

Ездил в Монако. Великолепный, весь в белом полицейский, смотря на меня с непонятной враждебностью, неохотно объяснил, как пройти в археологический музей.

Музей небольшой. На полках какие-то обглоданные человеческие головы, с длинными, будто приклеенными патлами. Казалось, в сгнивших глазницах еще тлеет злобный, безумный взгляд. В отдельном стеклянном ящике — мумия ребенка. Болезненно наморщенный лобик, кривая щель почти акульего рта, полного больших редких зубов.

Я прочел объяснительные надписи, но так и не понял, кто эти люди и когда они жили. Верно, в каменном веке. Смотря на их головы, я с содроганием думал об их жизни: всегда начеку, всегда страх, всегда готовность к убийству. Но разве они виноваты? Не научись они убивать, их бы самих убивали и пожирали другие звери. У них не было выбора: или убивать, или погибнуть. А убивать нечем: ни клыков, ни когтей. Вот они и стали пользоваться всем, что попадет под руку: камнями, сучьями, костями больших животных. Потом научились мастерить топоры, копья, устраивать западни.

Первая голова на полке смотрела на меня настороженно. Она была больше других. Верно, вожак. Представив себе, как он, мой пещерный предок, убийца, отец цивилизации, таясь в засаде на рубеже территории своего родимого племени, подстерегал добычу или вражеских воинов, я чувствовал отвращение и скуку. А с него бы брать пример. Слабый, голый, без когтей, без клыков, он непрестанно подвергался опасностям ведь не только для того, чтобы выжить самому. Он добывал пропитание для своих самок и детенышей, охранял их от медведей, леопардов, драконов. Ему было не до гамлетовских вопросов. Инстинктивно зная, что прежде, чем философствовать, нужно жить, он мужественно и просто выполнял свое назначение защитника, добытчика, убийцы. Смотря на него теперь почти с дружеским чувством, я чуть не протянул руку, чтобы погладить его голову в клочьях собачей шерсти. Мы, теперешние люди, вовсе не лучше. Под белым кителем того

высокомерного полицейского, пусть он даже добрый малый, бьется сердце такого же убийцы, как этот наш далекий пращур. Я сам рожден убийцей. Но — вероятно, следствие моей болезни — мысль об убийстве вызывала во мне тоскливый ужас, нежелание жить.

После археологического музея пошел в аквариум. Вдоль стеклянной стенки по-змеиному извиваются пятнистые лентообразные рыбы. Другие высовывались из гротов, качая головами, увенчанными омерзительными наростами. Они все время жадно открывали пасть. В стеклянных ящиках со спиртом — акулы разной величины.

С тех пор мне часто мерещилась скука бездонной кромешной ночи, где все живое кишело в свирепом сладострастии убийства и пожирания. Это природа так *устроила*. Эти гнусные рыбы-змеи не виноваты, что они такие. И акула не виновата, что она создана ненасытной и кровожадной. Чтобы жить, она должна убивать.

Как это могло быть, если жизнь сотворена Богом? Бог не мог этого хотеть. Как же тогда это произошло, что все живое обречено существовать за счет живого? Зла не должно быть, а оно проникает всю жизнь, оно в самом источнике жизни, неотъемлемая часть жизни. Все толкования догмата грехопадения меня не убеждали. Все это придумали, так как не могли объяснить, откуда зло, если Бог всемогущ.

Я не верил богословским рассуждениям, но, читая Нагорную проповедь, с удивлением чувствовал: это абсолютная, божественная Истина. Как ни странно, именно в том, что эта проповедь утверждала прямо противоположное тому, чему учили наглядные примеры борьбы за существование, я видел залог ее истинности. Пусть христианство по силам только немногим святым. Но все-таки, значит, есть этот «путь, ведущий в жизнь», в другое измерение бытия, более глубокое, чем мир природы, где все подчинено закону борьбы и убийства.

*

Я вернулся с купания. Сквозь щели деревянных ставен белая стена ослепительного света южного дня. Стаскивая тяжелые от воды и песка плавки, я чувствовал, как от долгого плавания мое тело стало соленым, по-морскому, по-тюленьи гладким, каким и *должно* быть тело у человека.

Почти одновременно мне вспомнился виденный ночью сон. Греясь на солнце, мы с братом лежим на высоком помосте на сваях, вбитых далеко от берега в морское дно. Так хорошо, такое счастье. Брат веселый, здоровый. И он совсем взрослый, каким бы он был теперь, если бы не умер много лет тому назад.

*

Уже начинались осенние бури, когда пришло из Праги письмо от отца. Он настаивал, чтобы я возвращался в Париж продолжать учиться в Сорбонне. Он писал: «Если можешь, дай мне честное слово, поклянись мне, что

добьешься получения диплома. Если я буду уверен в том, что ты доведешь начатое тобой дело до конца, мне легче будет существовать, и реже станут те тревожные и мучительные ночи, которые приходится проводить теперь!»

Прочтя письмо, я стал ходить по комнате, рассеянно взглядывал в открытое окно. Грозно вздымаясь, волны шли на берег и с грохотом рушились, заливая осиротелый пляж почти до самых дач. Высоко в небе ветер гнал белые облака. Их тени стремительно шли по серебряному морю зловещими черными полосами.

*

Лекция в Сорбонне. Из высоких готических окон косо падают дымные потоки дневного света. По стенам темные, плохо различимые исторические картины. Передо мной уходят вниз ряды студенческих голов и плеч. На самом дне амфитеатра, за дубовым прилавком кафедры — знаменитый профессор. В свете настольной лампы огромный лоб лоснится, как выкрашенная розовой масляной краской картонная тиара. В благоговейной тишине глухой голос жреца возносит таинственные моления.

Я стараюсь внимательно слушать. Меня восхищает, как профессор без усилия развивает трудные и сложные мысли. Какая могучая умственная машина у него в голове! какая эрудиция! какая память! Начать бы серьезно заниматься, вот мой отец обрадуется...

Как фокусник, когда тот объясняет, что показанное им чудо вовсе не чудо, а только отвод глаз, профессор, снисходительно улыбаясь, неожиданно говорит: «Так ставит проблему Леон Дюги, но в моей последней работе я показал ошибочность его предпосылок».

Я с тревогой смотрю на высокий лоб профессора. Его слова звучат теперь во *внешнем* пространстве. Я не понимаю их значения. Он говорит на *забытом* мною языке. Все становится странным. Вот хотя бы этот студент передо мной. Когда он поворачивает голову, я вижу выпуклость его глаза не на грунте лица, как обычно, а прямо в пространстве. Красивый, бессмысленный предмет из цветного венецианского стекла. Глаз такого же человека, как я, глаз ближнего, которого я должен любить.

## X

Так шла моя молодость: одиночество, рассеянность, праздность, сожаление, мечтания. Незадолго до войны я перечитал «Смерть Ивана Ильича». Перед смертью ему пришла мысль, что вся его жизнь, со службой, семьей и уважительным положением в обществе, была самой ужасной. Это меня поразило. Мне, наоборот, казалось, что я мучился именно оттого, что у меня не было всего этого: ни жены, ни службы, ни места в обществе, ни умения Ивана Ильича держать себя со всеми с достоинством и внушать к себе общее уважение. Сколько бы я дал за такое умение!

Но в аду моей отверженности я все-таки помнил о человеческом деле на земле. Как раз в то время я *открыл* Бергсона. Меня взволновали его слова о возможности победы над смертью: «Все человечество в пространстве и времени, как огромная армия, движется рядом с каждым из нас, впереди и позади нас, увлекая нас на приступ, способный сломить всякое сопротивление и преодолеть многие препятствия, может быть, даже смерть». Я стал думать о судьбе людей с надеждой. Я только боялся остаться на отмели.

Особенно повлияла на меня книга Бергсона «Два источника морали и религии». Я знал, что никогда не стану настоящим христианином. Быть христианином — это значит любить людей, не заботиться о себе, не думать о своих удовольствиях, жертвовать собою, все отдавать. Как та женщина у Толстого, в «Фальшивом купоне». Она за всеми ходила, стирала, готовила, отдавала последнее. А ее все ругали и даже били. Я так не мог бы, умер бы от утомления и скуки. Я только о себе всегда думал, о моих мыслях, о моих чувствах. Эта моя неспособность любить меня огорчала. И вот у Бергсона я нашел утешение. По его словам выходило, что жизнь и вещество, которые наполняют мир, присутствуют в каждом из нас. Значит, и я, какой бы я ни был, причастен к действительности всего, что совершается в мире. Поэтому, чем внимательнее всмотришься в глубину своего сознания, тем ближе прикоснешься к началу, из которого все вышло. Это даст силы вернуться в мир, жить, действовать, любить. Тогда не будет моей вечной усталости.

Привитые мне моим русским воспитанием представления о Правде еще жили в моем сознании. Правда — это добро, справедливость, Россия, евангельская милосердная любовь. Теперь Бергсон открыл мне, что Правда — это также свобода, равенство и братство, утверждение абсолютной ценности личности. Когда я прочел в «Двух источниках морали и религии», что идеал демократии евангельского происхождения, все мои политические идеи изменились. До тех пор я знал о демократии только по курсу государственного права: описание систем выборов и перед кем ответственно правительство. Мне не приходило в голову, что это может иметь отношение к Правде. А теперь мне все ясно стало: свой эгоизм, свою неспособность любить я искуплю, отдав свою жизнь за демократию.

Незадолго до Мюнхена я познакомился с бывшим эсером — Эммануилом Осиповичем Кладинским. Окруженные угрюмым недоброжелательством большинства эмиграции, остатки демократической интеллигенции жили тогда обособленно, в своих закрытых партийных клубах для пожилых людей. Но Эммануил Осипович, или Мануша, как его все называли, пришел к убеждению, что «надо идти в эмигрантский народ». С проповедью этой открывшейся ему идеи он выступал повсюду, где только соглашались его слушать: в кружках студенческого христианского движения, у евразийцев, у младороссов, в Пореволюционном клубе и даже в Союзе русских дворян.

Задумав восстановить в эмиграции «орден русской интеллигенции», он начал устраивать у себя собрания, на которые приглашал эмигрантских сы-

новей: «пореволюционеров» и таких, как я, монпарнасских завсегдатаев, потерявших от долгого одиночества здравый смысл.

Меня поразил один разговор с Манушей в его кабинете. Желая что-то мне объяснить, он сказал:

— Это было, когда умерла моя жена. Я лежал здесь, в этом кабинете, на диване, и мне стало страшно моего одиночества. Я спрашивал себя: что же теперь делать? Как дальше жить?

Мне было странно, что он рассказывает мне, постороннему ему человеку, о смерти своей жены. Говорили, он очень ее любил. Смотря на его седую голову и большое грузное тело, я представил себе, как он, словно маленький мальчик, запертый в темной комнате, лежал тут на кожаном диване, напоминавшем мне диван в папином кабинете в нашей квартире в Москве. Мануша между тем продолжал:

— И вдруг мне пришла в голову мысль, от которой у меня закружилась голова. Я встал с дивана и в волнении начал ходить по кабинету. Господи! как же я прежде этого не видел? Ведь у меня под ногами золотая жила! — Тут он проникновенно на меня посмотрел. Глаза у него блестели, точно он сам удивлялся тому, что с ним произошло. — В соседней комнате меня ждали друзья. Они за меня боялись, боялись, что я не перенесу горя. А я, когда я к ним вышел, я улыбался. С тех пор я всегда улыбался.

Что это значит «золотая жила»? Что ему тогда открылось? Может быть, ему потому ничего больше не страшно, что он любил свою жену и людей и верил в Бога и в человеческое дело на земле. Но все-таки, как он мог улыбаться, когда его жена умерла?

Я боялся, что, скорее всего, Бога нет. Я не мог последовательно об этом думать. Я хотел верить и постоянно говорил о религии и мистическом опыте. Но когда я пытался представить себе, что Бог есть, я сразу чувствовал невероятность этого. Это слишком бы соответствовало человеческому желанию, так не бывает. Все богословские построения казались мне произвольными и до того несоизмеримыми с непосредственным чувством необъяснимости жизни, что я не мог серьезно о них думать. Но когда я спрашивал себя, могу ли я допустить, что мир, жизнь, сознание возникли случайно, мне это казалось таким же невероятным, как существование Бога. Нет, к моему отчаянию, все же не таким невероятным. Потому я так и ненавидел утверждения Бертрана Рассела, что человек, со всеми его надеждами, страхом, любовью и верованиями, только порождение случайного сцепления атомов и человечество обречено бесследно исчезнуть в грядущей неизбежной гибели Солнечной системы. Ни героизм, ни вдохновение, ни вера, ни любовь не могут победить смерть. Я не находил возражений, мне самому все это приходило в голову с неотразимой убедительностью. Тем мне был отвратительнее самодовольный, бодрый и глумливый тон Рассела.

Зато с какой надеждой я читал в книгах других философов, что позитивизм и сиантизм девятнадцатого века устарели, материализм — не наука, а такая же метафизика, как религиозные мифы, и сегодня еще недавно нево-

образимые опытные данные позволяют считать сознание не эпифеноменом движений молекул и атомов мозга, а высшим выражением «жизненного порыва». Я с жадностью и благодарностью перечитывал вдохновляющие доводы Бергсона. Но именно потому, что эти доводы так отвечали моему желанию, они мне казались менее убедительными, чем утверждения Рассела. Словно я считал более вероятным, что мир устроен не так, как мне хочется.

И все-таки после чтения Бергсона я несколько раз испытывал состояние вдохновения, подъема. Меня смущало только, что ничего не происходит, не меняется. Я по-прежнему был одинок, по-прежнему ничего не делал, и сладострастные мечтания и грусть по-прежнему мешали мне сосредоточиться. Но я все надеялся. Мне казалось, если изо всех сил не примиряться, *там* что-то должно сотрястись.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

Я сразу увидел наших: Николай Георгиевич, Коля Грейс, Полянский, Рогдаев, Изаковский. Только Глебов больше не приходил на наши сборища в этом знаменитом монпарнасском кафе. Год тому назад он покончил самоубийством.

— Здравствуй, Гуськовер. Что это у тебя такое выражение, будто у тебя живот болит? — ухмыльнулся Полянский, смотря на меня с глумливым удовольствием.

— Правда, Владимир Васильевич, у вас все лицо будто распадается на кусочки, — с добродушной понимающей насмешкой в глазах сказал Николай Георгиевич.

Сделав усилие, я спросил:

— Николай Георгиевич, вы будете завтра у Мануши?

— Не знаю, посмотрю... — с выражением скуки он выпятил нижнюю губу. — В самом деле, о чем будут говорить? Опять о Гитлере, о войне, о спасении культуры. Надоело...

— Разве вы не считаете, что есть опасность войны?

— Ах, миленький, к сожалению, есть и даже очень. — Он грустно вздохнул. — Война почти наверное будет. И Гитлер, действительно, исчадие ада и расизм ужасная гнусность. Все это человеконенавистничество противно до тошноты. Но, Боже мой, как все-таки было бы хорошо, если бы обошлось без войны. Так не хочется никаких перемен. Как-то сидим здесь, устроились, пьем чай — и так бы дожить. Только вряд ли удастся.

Подняв брови, он смотрел перед собой печально и упрямо.

Когда он сказал, что война, наверное, будет, я вздрогнул. Я не хотел этого: бомбы, газы. Как крысы мы побежим в подвалы. Нет, лучше сразу смерть.

Я спросил:

— Неужели вы за Мюнхен?

Мои чувства путались. Я не хотел войны. Опять миллионы людей будут убивать друг друга. Это слишком страшно. Но я помнил, как после Мюнхена нам было неловко смотреть друг другу в глаза.

— Конечно, нет, — вступился за Николая Георгиевича Грейс, — конечно, предательство Чехии — позор. Мы все тут согласны. Но неужели вы думаете, что вожди западных демократий такие уж круглые идиоты и что их пове-

дение в Мюнхене объяснялось только малодушием и подлостью? Разве мы знаем, были ли Франция и Англия тогда готовы?

За соседним столиком дама с большой брошью на мощной груди давно неодобрительно прислушивалась к нашему разговору. Зачарованная ненавистью, она не сводила глаз с губ Грейса, произносивших непонятные ей слова. Неожиданно она громко сказала, смотря на него в упор: «Vous ferez beaucoup mieux de parler français!»*

Наступило тягостное молчание. Полянский рассматривал даму с горестным любопытством.

— Мы вам мешаем? — спросил он с оскорбительным недоумением.

— Да, мешаете! — будто обрадовавшись, взвизгнула дама. Ее короткая, с черными усиками губа быстро шевелилась над ощерившимися зубами. — Вместо того чтобы издеваться здесь над французами, лучше убирайтесь в вашу страну.

Смотря, как глаза дамы вертятся блестящими колесиками, я испытывал неприятное чувство, что все мы разыгрываем эту сцену с той механической предопределенностью, с какой в старомодных тирах при попадании с лязгом и стуком начинают двигаться вырезанные из жести фигуры.

Я прошел к стойке. Здесь толпилось много ночных гуляк и всякого нищего, пьяного сброда: проигравшиеся картежники, молодые люди без определенных занятий, художники, натурщицы, «парижские иностранцы», негры, арабы, наркоманы, отставные проститутки. В простенке, высокомерно оглядывая толпу, стоит тщедушный человечек. Лоб уже лысый, но по затылку отпущена жидкая косица вьющихся волос. Из отложного воротничка куриной ногой торчит тощая шея. Я почти с завистью на него смотрел: даже у него было признанное место в мире людей. Такие, как он, полусумасшедшие, длинноволосые «монпарно» — местная достопримечательность, приманка для туристов. Их даже полиция не трогает. А у нас не было никакого положения нигде, ни в каком обществе. Мы были чужими даже среди эмигрантов. Нас не связывали с ними заветные воспоминания о славе и счастье прежней жизни в России, нас увезли на чужбину детьми. Но все-таки мы были уже слишком взрослыми, чтобы чувствовать себя тут дома, как последующие поколения эмигрантских сыновей. Нам суждены были беспочвенность, отверженность, одиночество. Мы жили без обычных координат для определения своего места в мире, без всякой ответственности.

*

Я возвращался домой в унылом раздумье. Свернув за угол, увидел: посредине небольшой круглой площади, над будкой уборной, бледный, как на рассвете, фонарь; под гору — яма переулка, где я жил; среди заборов облитый почти мавританской белизной куб многоэтажного дома. Над его плоской крышей прозрачность воздуха, синевея, переходит в вышине в «небосвод».

---

* «Вы бы лучше говорили по-французски!» (*фр.*).

Оттуда, из страшного отдаления смотрит на землю маленькая, окруженная туманным сиянием луна. Ее таинственное мертвое лицо пылает, как золотой жар раскаленной печи.

Мне казалось, я вижу этот дом в первый раз. Он больше не притворялся, как днем, только незаметной подробностью привычной обстановки. Я чувствовал, на меня опять находит знакомая тоска. Этот дом, мощенная булыжником площадь и уходящие в призрачную светлость лунной ночи пустынные улицы — все приняло какое-то загадочное выражение. Будто что-то подмигивало мне из-за крыш. Но когда я всматривался пристальнее, мой взгляд упирался в непроницаемость неба.

Напрасно я говорил себе: во всем этом нет ничего странного. Наоборот, все самое обыкновенное. Это дом для людей: в нем квартиры, в них живут семьи, родители с детьми, как мы когда-то жили в Москве. Но в этих представлениях ничто не соединяло меня с таинственным существованием этого дома.

Омываемый глубиной трехмерности, он стоял в мечтании беспамятства, равнодушный к моей жизни и смерти. Своими темными окнами он смотрел на меня со странным, отчужденным выражением, словно хотел сказать: «У нас разная повесть, ты не замечал меня, а я пребываю со всеми предметами и небом в недоступном тебе вневременном покое».

Я не мог вспомнить, о чем я перед тем думал. Словно я искал какое-то объяснение и вдруг с беспокойством увидел, никакого объяснения нет. Со мной случилось что-то дурное, чего ни с кем не бывает. Я замурован в мгновенности настоящего: как тиканье маятника, оно все время исчезает, чтобы сейчас же снова возникнуть. Между тем моя жизнь невозвратимо проходит. Но только она проходит *далеко* от меня, как чужой сон.

Я нажал кнопку. Наверху, на площадке лестницы, мигнув, зажглась малюсенькая лампочка. В ее неясном свете передо мной круто подымались прогнившие деревянные ступени. Я совсем забыл об этой черной от грязи лестнице. Бессмысленно бормоча: «Так дальше нельзя, пора кончать», я стал торопливо подыматься, вздрагивая, как от физической боли, от скрипа расшатанных ступеней. Эти подлые лампочки на лестнице гасли прежде, чем успеешь взбежать на следующую площадку. Я вспомнил бледное, с черными змеиными глазами лицо хозяйки.

Я заснул, как только лег. Но вдруг меня разбудило короткое, как электрический разряд, ощущение, будто кровать подо мной проваливается. Я понял, что спал всего несколько мгновений. Теперь нескоро опять засну. В последнее время это все чаще со мной случалось. Особенно досадно было, что в эти часы бессонницы мне не удавалось думать о чем-нибудь значительном. Все только случайные, поверхностные мысли.

Меня огорчало сознание моего ничтожества среди людей: всю жизнь так малодушно, так глупо себя вел, всего боялся. Я с недоумением об этом думал: ведь все то великое, гениальное, о чем я знаю, в меру этого моего знания существует и во мне. Значит, я причастен ко всему этому великому и пре-

красному. Как же тогда я могу быть глупым? Ведь в небе не может быть ничего глупого, ничего ничтожного, малодушного, а оно существует не только само по себе, но и в моем сознании. Оно — одна из моих мыслей. Какая-то надежда тут открывалась.

Сон прошел совсем. Я старался представить себе Бога. Но только какой-то черный квадрат мне мерещился.

Зажег свет. Из мрака выступила отвесная, глухая стена. От нее веяло чем-то смертельно тоскливым, безымянным, нечеловеческим. Я с удивлением смотрел на серо-розовые, с лиловыми полосами обои. Столько лет здесь жил, а до сих пор не замечал, какого они цвета.

Меня все сильнее охватывало чувство моего одиночества в огромности мира за стенами комнаты. Будто остов сказочно огромного кита лежал там, на берегу пустоты. Никого нет, только мое сознание, возникшее непонятно откуда и для чего. А в комнате тишина! В ушах призрачный звон. И вдруг меня словно варом обдало: я попался, попался уже давно, в день моего рождения на земле.

«Нет, не может этого быть, — повторял я упрямо и просил кого-то, — помоги мне, спаси!» Я не знал, кому я молюсь. Ведь причина моего отчаяния была как раз в том, что я не мог почувствовать присутствия Бога и не понимал, зачем тогда все существует, и для чего я живу, если я неизбежно должен умереть. Все одни и те же неразрешимые представления возникали и жухли на поверхности моего сознания. За ними проступало что-то темное, неприятно плоское.

Я вспомнил, может быть, скоро война, чудовищное, нечеловеческое дело, страшное, кровавое, утомительное, конец мечтания. Тут неожиданно для самого себя я с озлоблением подумал: «Чего я боюсь? Все лучше, чем жить так малодушно, как я жил до сих пор. А на войне, кто знает, страдания и близость смерти откроют мне...»

Я не спал, но постепенно меня охватывало оцепенение. Мне больше не хотелось ни о чем думать. Мысли о Боге и о значении жизни мне казались теперь странно далекими и посторонними. Мне было достаточно ощущения тепла и тяжести моего тела. «Это непосредственно дано, — подумал я, выключая свет, — а чтобы представить себе все остальное, нужно делать усилие».

*

В неприятном предчувствии я видел, как его шея покраснеет. Такие, с круглой головой на пухлых плечах, в припадке раздражения наливаются кровью.

Меня вдруг поразило это несоответствие: мои глаза видят звезды, мое сознание вмещает весь мир, а я боюсь, что чиновник не продлит мне вид на жительство.

Я напрасно беспокоился. Он даже не спросил у меня рабочего удостоверения. Но платить все-таки надо: он уже намерился наклеить нансеновские марки. Тогда, наконец, решившись, я сказал:

— У меня французская солдатская книжка.

По его лицу прошло удивление и строгое выражение. Словно своды Дворца Инвалидов над нами воздвиглись.

— Нужно было сразу сказать, — вырвалось у него с досадой. Отложив марки, он крепко стукнул печаткой по оборотной стороне моего удостоверения личности, что-то написал на нем и молча передо мной положил.

— Мерси, — выговорил я еле слышно.

Я постоял еще немного. Не поднимая головы, чиновник продолжал что-то вписывать в лежавшую перед ним большую книгу. Мне не верилось. Неужели это все, и я ничего не должен платить?

Только выйдя на улицу, я хорошенько рассмотрел печать и зыбкие палочки слов: «освобожден от платы».

Оглушенный солнечным светом и городским шумом, я, как выздоравливающий, странно слабыми ногами перешел по мосту на Левый берег.

От площади во все концы города отходят автобусы. Нога шофера стоит на тормозе, как на голове слона. Весь дрожа от голодного грохота мотора, автобус нетерпеливо ждет, пока одни путешественники сходят, другие влезают.

Я вдруг почувствовал, какое чудо — Париж. Какая удача, какое счастье здесь жить! Передо мной покато подымался «Бульмиш». Вдали, у Люксембургского сада на стеклах и лаке автомобилей ослепительно вспыхивали солнечные блики. Тротуар затопляет толпа. Розовые, черные, желтые лица. Студенты со всего света съехались сюда жить и учиться у священных стен старинных зданий. Зачем я перестал ходить в Сорбонну? Я мог бы участвовать в этой молодой веселой жизни. Но я вспомнил мою дикую застенчивость. Мне все казалось, меня все сторонятся, я «метек»*, да еще нищий. Меня это удивляло. В Москве меня все любили, и у нас была квартира в одиннадцать комнат.

Я смотрел на студентов и их подруг за столиками кафе. Между нами больше не было стены. С меня не взяли платы, как с других иностранцев, я запасной французской армии. Влюбленно думая о локонах и освещенных солнцем ногах молодых женщин на террасе кафе, я думал с подступающими к глазам сладостными слезами: вот они узнали, что я убит на войне. Удивленно смотря в свое сердце, они скажут: «Мы не обращали на него внимания, а он умер за нас».

*

В этом приподнятом настроении я пришел вечером на собрание к Мануше. Он сам отворил дверь.

— Молодцом, что пришли. Теперь весь «экип»** в сборе, — сказал он, крепко пожимая мне руку и ласково, чуть заговорщицки на меня посмотрев.

---

* Иностранец (иногородний грек в древних Афинах).

** Команда, артель. (*От équipe (фр.). — Сост.*)

В полутемной прихожей уже не в первый раз мне показалось, что он напоминает моего отца. Хотя между ними было мало сходства. Папа — круглолицый, светлоглазый, с коротким носом, а Мануша черный, с зеленоватой проседью, с большими, как на изображениях эламитских воинов, темными глазами и большим загнутым носом. Но такой же, как папа, добродушно, по-медвежьи крупный и грузный. И такая же бодрая улыбка под стрижеными, как у папы, усами.

Из столовой доносились оживленные голоса, смех, звяканье ложечек о блюдечки. Я всегда чувствовал себя на людях отверженным, но на собраниях у Мануши я был свой, со многими на «ты». Предвкушая радость встречи, я, как в теплую ванну, вошел в большую комнату, наполненную улыбающимися по краям чайного стола дружескими лицами. Рядом с Манушей бывший вождь эсеров Алексей Николаевич Бобровский. Он довольно часто приходил на наши собрания, снисходительно добродушно слушал наши метафизические споры, но сам никогда не выступал.

После чаепития перешли в кабинет Мануши. Сегодня он сам делал доклад. Разглаживая ладонью листы рукописи, он посматривал на нас, точно желая прочесть в наших лицах ответ на какой-то занимавший его вопрос.

— Всю эту зиму и весну мы жили под угрозой войны, — начал он слегка торжественно. — Европа распалась на два гигантских союза, непрерывно вооружающихся и каждое мгновение готовых вступить в смертельную борьбу...

Это главное, о чем другом можно теперь думать? Я злобно оглянулся на Николая Георгиевича, который шептал Грейсу на ухо что-то смешное. Грейс с трудом сдерживал улыбку.

Я вздрогнул, когда Мануша сказал: «Силе национал-социализма, стремящейся к злу, уничтожению других, народы, которые хотят сохранить свою свободу, должны противопоставить силу же».

«Да, противопоставить, встать грудью. Но тогда это война», — подумал я, холодея от собственной решимости, словно это от моего согласия зависело, быть или не быть войне, и теперь, когда я перестал зажмуриваться, уже больше ничего не могло войну предотвратить. Мне стало страшно и радостно, колебания кончились.

— Демократия связывает эту борьбу с защитой прав человеческой личности, этого секулярного наследия христианства, — продолжал Мануша.

Я обрадовался: вот, совсем как у Бергсона.

За поздним временем перерыва не делали. Первым говорил профессор Немчин. Он сидел в стороне от всех, в углу, за отдельным столиком. Свет изпод абажура стоявшей перед ним лампы падал на его восковую руку. Выше неясно выступало из полумрака скорбное бородатое лицо, с закрытыми, как у мертвой головы Иоанна Крестителя, веками.

— Игорь Семенович, может быть, вы хотите что-нибудь сказать? — обратился к нему председатель сегодняшнего нашего собрания Василий Павлович Зырянов, старый друг Мануши по боевой организации эсеров.

— Нет, почему же именно я? — открыв глаза, спросил профессор Немчин с наигранным удивлением.

У него были удивительные зеленые глаза. Я рассеянно смотрел и вдруг на мгновение почувствовал за прозрачностью их хрустальных чечевиц присутствие его «я», его мыслей, всей его жизни. Было ли это воспоминание о каком-то видении, которое он имел, или сожаление о подавленных мечтаниях любострастия, — но в его глазах светилась затаенная печаль.

Зырянов настаивал, и профессор Немчин, наконец, согласился.

— Я знаю, на этом собрании мои слова многим придутся не по душе. Всегда неприятно выступать в роли Кассандры. Но если война не будет предотвращена, то встает вопрос: не погибнет ли тогда вся европейская культура? Да, конечно, история не кончится. Со временем возникнут новые цивилизации, может быть, черная, в сердце Африки. Но я люблю белую и буду жалеть о ее гибели. — Выражение страдальческого упрямства еще усилилось в его поникшем лице. — Вот почему демократии должны идти на предельные жертвы и уступки, только бы не допустить до войны. И в этом открывается положительный смысл Мюнхена. Мне скажут, это была попытка со стороны Англии и Франции повернуть гитлеровскую агрессию на восток. Но что же, если не было другого выхода? В конце концов, русские города почти не имеют культурно-исторической ценности. Россия — молодая страна, опять все отстроит. А с Европой погибнет вся веками создавшаяся культура правового общества, наконец, библиотеки, памятники искусства, Лувр, готические соборы...

Я вздрогнул, когда он заговорил о русских городах. Именно потому, что там люди живут в такой бедности, мне хотелось, чтобы Россия осталась в стороне. Это мы, богатый, счастливый Запад, во имя человечества и свободы должны покончить с Гитлером.

После профессора Немчина выступил Изаковский. Сначала он сбивался от волнения:

— Нужна ли борьба или нет — не знаю. Люди, по-настоящему не задетые, скажут, что я еврей и не имею права так говорить, когда в Германии идут гонения на евреев. Но слова о борьбе очень неубедительны, и вот, я говорю это не для эпатирования обывателей, а по моему последнему убеждению: принять гибель в чем-то более ответственно.

Постепенно он разошелся и стал говорить почти без запинок:

— Вот нас опять приглашают идти умирать за священную демократию. Уж не за священный ли капитал, хочется мне спросить? Мы выросли в эмиграции и не из брошюр только, как наши либеральные отцы, а на собственной шкуре знаем, что такое эксплуатация. И пусть нам не говорят, что мы должны защищать эту демократию, потому что, видите ли, она христианского происхождения. Нет! Если мы действительно христиане, то тогда нужно, думается мне, не воевать с Гитлером, а, наоборот, открыть границы и, с братской любовью обнимая немцев, со слезами молиться за них, ибо сказано: «благотворите ненавидящих вас». Поэтому, пусть будут нас гнать, уничтожать, преследовать, мы не ответим на зло насилием. Как христиане первых

веков, мы уйдем в катакомбы. Там в пещерах будем по-стахановски днем и ночью славить Господа, молиться, петь псалмы. Потом те из нас, кто выживет, вынесут на свет неугасимое чувство свободы, прощения и нежности.

Я больше не слушал. Мне казалось, он говорит так, чтобы понравилось Николаю Георгиевичу. Многие в кружке считали, что Николай Георгиевич за мир во что бы то ни стало.

Неожиданно слово попросил сам Николай Георгиевич. Все глаза на него устремились. Только профессор Немчин сидел все с тем же печальным и замкнутым выражением.

— Я с большим вниманием слушал возражавших сегодня докладчику, особенно то, что говорил Григорий Зиновьевич Изаковский, — начал Николай Георгиевич. (Изаковский смотрел на него во все глаза, на его еще красном от волнения лице появилась тщеславная улыбка.) Но неожиданно в голосе Николая Георгиевича зазвучала почти женская писклявость. — И, откровенно говоря, — продолжал он, — слушал с некоторым удивлением, но без всякой зависти. Да, конечно, война — это грязь, преступление, ложь и ничто не может войну оправдать. Но если война, которая наступит теперь, неизбежна, то уклонение от участия в ней мне представляется бесплодным. Я глубоко преклоняюсь перед такими людьми, как Толстой и Ганди, но, может быть, именно потому, что я плохой христианин, я не могу принять абсолютного непротивления, непротивления при всех условиях. Эммануил Осипович в своем докладе говорил о необходимости в случае войны защищать демократию, несмотря на Сити, империализм и лицемерие.

Я испугался. Я знал, как иронически Николай Георгиевич отзывался о старомодном гражданском красноречии Мануши. Но я сейчас же успокоился — Николай Георгиевич сказал, что всецело к словам Мануши присоединяется.

В глазах Мануши, слушавшего Николая Георгиевича с простодушным вниманием, засветилась радость. Выступление Николая Георгиевича заметно произвело на всех впечатление. Я сидел так близко, что слышал, как Изаковский растерянно говорил ему на ухо: «Николай Георгиевич, вы не совсем правильно меня поняли. Я совершенно с вами согласен, если война неизбежна, мы должны защищать демократию. Но я только хотел сказать...»

Я был благодарен Николаю Георгиевичу. Сам я не нашелся бы, что ответить Изаковскому. Ведь он прав. Христианин не может принять войну. Я особенно это чувствовал, когда, точно в конце черного туннеля, видел перед собой вражеского солдата, которого я должен буду убить. Меня охватывало тогда такое чувство тоски, страха и отвращения, что я не мог поверить, что это может случиться со мной на самом деле. Я твердо знал, убивать нельзя, но также несомненно знал, что нельзя допустить победы Гитлера. Тогда лучше не жить, тогда пусть не только Лувр, а весь мир погибнет. Значит — война. Рассуждая, я не мог разрешить это противоречие. Но в душе я чувствовал, что уже принял решение, и хотя мне было страшно думать, к чему ведет это решение, мне казалось, противоречие можно как-то обойти. Я только не мог это объяснить словами. А вот Мануша и Николай Георгие-

вич объяснили. А ведь они умнее меня и глубже думали о христианстве, и вот они «за войну». Так что же мне пытаться разрешить противоречие, оно в самой жизни. А те, кто, как Изаковский и профессор Немчин, не понимают, что Гитлера нужно остановить, те изменники человеческому делу.

Последним говорил Ваня Иноземцев. Широкоплечий, мужиковато-коренастый, русоволосый, он только недавно появился из Прибалтики, из древних русских земель. В нем не было и следа эмигрантской затравленности. Мне представлялось, он шел по жизни, как канатный плясун под куполом цирка.

— Я вполне согласен с докладом Эммануила Осиповича, — сказал Ваня, оглядывая нас смеющимися глазами, — еще никогда в истории человечества не было так ясно, где добро, где зло. Дело идет о защите культуры, свободы, достоинства человека, и мы все, я в этом уверен, знаем, где наше место в этой борьбе.

После собрания остались только свои. Мы обступили Манушу: Ваня, Володя Руднев, Володя Ельников, Боголюбский, Александр Шушигин, Полянский. Я смотрел на них с любовью. Отделенные от России годами жизни на чужбине, они все-таки выросли хорошими русскими мальчиками, как те — Ивана Карамазова. Сколько мы говорили о справедливости и о Боге, и вот теперь они готовы отдать жизнь за эту справедливость.

Даже Полянский поддался общему настроению.

— Черт с вами, я тоже пойду защищать вашу демократию с биржей и публичными домами. Но я сделаю это с отвращением, — сказал он, ухмыляясь, и самодовольно захохотал.

Я всегда боялся страданий, борьбы, всего тяжелого и скучного, хотел в жизни только удовольствий. Но теперь, при мысли, что мы все пойдем на войну, я испытывал чувство освобождения. Я вспомнил, как часто, возвращаясь после праздной ночи на Монпарнасе первым метро, я стеснялся людей, которые ехали на работу. Я не хотел разделить их трудную жизнь. Теперь, став простым солдатом, я искуплю мое малодушие.

Я больше не чувствовал себя одиноким. В первый раз после стольких лет беженской отверженности мы были нужны: нас звали спасать все, что придает жизни значение: свободу, идеал равенства и братства, все священное наследство христианства. Вот и Мануша тут, и весь наш «экип», и все люди, готовые отдать свою жизнь за добро и Правду. Словно огромная волна поднимала нас всех в восхищение жизни, свободы, света.

## II

Я шел по улице. Из открытых окон раздавался взволнованный голос. Это Даладье говорил по радио. Его голос, уже еле слышный, вдруг зазвучал с новой силой, но уже впереди, из окон другого дома. Словно перебегая из дома в дом, глухой и важный, он долго провожал меня, говоря, что война началась. Его слушала вся страна.

Уже на следующий день, едва я вышел из дому, тревожно и прекрасно, словно Париж стал океанским портом, завыли сирены. И почти сейчас же над ущельем улицы высоко в небе сверкнули и с треском рассыпались искры.

«Уже начинается», — подумал я тоскливо. Мне не было страшно, но с привычной мне робкой законопослушностью я пошел в погреб. Никто не знал, что думать, но на всякий случай все надели противогазы. Только у меня не было. Иностранцам не выдавали. Мне казалось, что через круглые глазища масок все смотрят на меня с недоумением и жалостью. Мне было мучительно неловко: из-за меня им приходится испытывать неприятное чувство соучастия в несправедливости. Если действительно пойдут газы, им тяжело будет смотреть, как я задыхаюсь. Для успокоения совести они решат, что мне потому не выдали маски, что я, пока французы будут умирать на фронте, спокойно останусь в Париже, еще деньги буду наживать.

Снаружи все было тихо. Понемногу все стали снимать маски и вместо рыл с резиновыми хоботами появлялись знакомые лица жильцов отеля. Они все друг друга знали. Пошли разговоры, шутки. Один я молчал.

Высокая женщина, которую я часто встречал на лестнице, стала рассудительно говорить, что нужно подумать, как лучше оборудовать погреб. «А то, когда всех мужчин заберут, нам, женщинам, трудно будет все устроить».

Мне казалось, она нарочно не смотрит в мою сторону, так как ей за меня стыдно: один из всех мужчин я не пойду на войну. Мне хотелось сказать им всем, что на четырнадцатый день всеобщей мобилизации я еду в армию. Но это глупо выйдет, ведь они ничего у меня не спрашивали. Я стал думать, как хорошо будет, если я отличусь и получу военный крест, и все в отеле и во всем квартале об этом узнают.

С тех пор я больше не ходил в погреб. Во мне все больше утверждалась странная мысль, что чем смелее я буду идти навстречу опасности, тем вернее я останусь невредим. Я понимал, как суеверно это чувство, но я говорил себе: ведь, в конце концов, никто не знает, как *это* устроено на самом деле, а так мне, по крайней мере, не страшно. И я с непривычным чувством превосходства, освобождения и как бы бессмертия думал о тех знакомых, которые собирались уезжать из Парижа. Они боялись опасности и смерти. Мне было их жалко. Но вместе с тем, я все время чувствовал озноб неприятного беспокойства. Мне казалось, оно пройдет, только когда я, наконец, попаду в армию. Мне рассказывали, как в ту войну одному мальчику — ему было только пятнадцать лет, но он был высокий, как взрослый, — женщины кричали на улице «embusqué»*. От одной мысли, что это может случиться со мной, я дергался и вскрикивал. Считая оставшиеся до отъезда в армию дни, я с завистью смотрел на тех, кто уже ходил в защитной форме.

Всем знакомым я говорил, что скоро еду в армию. Почти все меня одобряли. Только один, прощаясь со мной, — он уезжал в Биарриц — сказал:

---

* Окопавшийся в тылу (*фр.*).

— Конечно, тебя мобилизовали, но я не думаю, что ты пошел бы добровольцем. Сидеть в окопах, это не для таких людей, как мы с тобой.

Неприятный разговор был и с одним знакомым еще по Праге. Его звали Култанов. Он рассказывал про себя, что он — князь и ротмистр. В Париже он работал поваром в каком-то русском кабаке. Я встретил его случайно на улице. Он шел мне навстречу своей молодцеватой походкой, хотя одна нога у него была короче другой, отчего он при каждом шаге вихлял тазом. Он почти не изменился. Его слизисто-светлые глаза алкоголика смотрели все так же насмешливо и дерзко. Из-под сдвинутого на затылок котелка лихо курчавились рыжие волосы. Заговорили о войне.

— Я так считаю, — видимо, повторяя прочитанное в какой-то брошюре, сказал он с необычной для него спокойной рассудительностью, — мир разделился теперь на два лагеря. С одной стороны — национальный: Германия, Италия, Испания, Япония, с другой — иудео-масонский.

Когда я учился в Праге, большинство моих «коллег» по Русскому юридическому факультету были намного меня старше. Почти все они прошли через гражданскую войну. Я смотрел на них, как на героев. На торжественном собрании у галлиполийцев профессор с красивой белой бородой сказал об убитых на войне: «Больше сея любви никто не имать, да кто душу свою положит за други своя». Сколько раз я слышал эти слова. Правда, мне не было еще четырнадцати лет, когда кончилась гражданская война. Никто не мог меня упрекнуть, что я не был в Добровольческой армии, а все-таки меня это мучило. Мне казалось, мои старшие коллеги всегда об этом помнят. Поэтому я с особенным удовлетворением сказал теперь Култанову, что скоро еду в армию.

Его глаза насмешливо сузились. Он не сомневался в победе Германии.

— Разве вы знаете, — сказал он, — как дерутся немцы? А я воевал с ними. Вот когда вы будете драпать на Париж, тогда вспомните мои слова. А вы представляете себе, что это такое, когда армия драпает?

Я стал ему доказывать, что союзники сильнее. Он усмехнулся и, смотря мне в глаза, сказал:

— Ну, что же, тем хуже для вас. Значит, весной будут большие бои и вас убьют.

*

Первым уехал в армию Ваня. Потом разъехались по разным военным депо и другие участники нашего кружка. Всех поразило, что Николай Георгиевич, несмотря на порок сердца и уже немолодые годы, записался добровольцем.

*

Я выехал из Парижа все с тем же чувством ожидания и неясного беспокойства, которое не оставляло меня в те дни. В поезде я встретил знакомого. Он ехал в деревню устроить семью подальше от возможных бомбардировок Парижа. Обычно в его обращении со мной, сквозь слегка насмешливую бла-

гожелательность, чувствовалось недоумение, что он, деловой, состоятельный господин, знаком с таким «неподобным» молодым человеком, который, вместо того чтобы зарабатывать деньги «как все люди», увлекается какими-то странными, «нежизненными» идеями. Но теперь у него не было той самоуверенной осанки, с какой он разговаривал в своем директорском кабинете. Он стоял в коридоре, среди новобранцев и запасных, ехавших в армию. Я заметил, что среди этих, по большей части пьяных и мрачно возбужденных людей, он чувствовал себя не директором кинематографической фирмы, а только пожилым и усталым, физически слабым человеком. Мне было приятно, что он видит, как я на правах моего положения — призванного в армию — решительно шагаю через чемоданы и ноги сидевших в проходе, иногда даже бесцеремонно, как свой, опираясь рукой на чье-нибудь плечо.

Вблизи я увидел, как он осунулся. Он казался теперь совсем старым. Я вспомнил, что несколько лет назад ему уже пришлось бежать от гитлеровских преследований. Чувствуя всю тяжесть его усталости и его страха, что все это может опять повториться, я с убеждением сказал:

— Вот увидите, Германию разобьют.

— Дай Бог, — взглянул он на меня недоверчиво, но все-таки обрадованный моей уверенностью. — Вы не знаете немцев, это сильный народ и жестокий, способный все вынести и также способный на любое преступление.

Он сходил на следующей станции. На прощание он крепко пожал мне руку, словно хотел сказать: «Да, вы хорошо делаете, что едете в армию. Нельзя допустить, чтобы гитлеровцы пришли сюда и сделали то же, что в Германии». Ему, видимо, нравилось, что я не боюсь, и это еще усилило во мне готовность к борьбе.

Когда поезд подошел к городку, куда я ехал, смешливая хорошенькая бретонка с зелено-серыми глазами спросила:

— Что, вам не страшно в казарму?

Я не понял, что она имела в виду, но, проходя мимо часового во двор похожего на тюрьму здания, с беспокойством вспомнил ее слова.

Казарма была переполнена, нас отвели в пустой гараж. Здесь мы ночевали на соломе, разостланной на цементном полу. Всю ночь я слышал сквозь сон буйные, пьяные крики прибывавших запасных. Один чуть не упал, споткнувшись о мои ноги. Впотьмах я не мог рассмотреть его лица.

— Bouge-pas*, — сказал он испуганно и успокоительно. Я слышал, как он шарит руками, ища свободное место. Он долго умащивался, подтыкая под себя солому, наконец, затих. Я опять стал засыпать, как вдруг странное бульканье окончательно меня разбудило. Приподняв голову, я увидел, он блюет на пол. Мне некуда было подвинуться, и я с содроганием ждал, когда блевотина, растекаясь, подмочит подо мной солому.

На следующий день нам выдали старые обтрепанные мундиры и шинели цвета «горизонта», обмотки, еще кое-какое тряпье. Когда мы переоделись,

* Не шевелись (*фр.*).

нас выстроили на пустыре около гаража. «Аджюдан»* стал объяснять, что выданные нам вещи стоят государству очень дорого.

— Они выданы вам только для пользования, но остаются собственностью армии. Запомните это хорошенько. Упаси вас Боже потерять или продать что-нибудь из этих вещей, — сказал он, точно подозревая нас в том, что именно с этим преступным намерением мы сюда приехали. — Красть вообще нехорошо, но красть казенное имущество — особенно.

По мере того, как, возбуждаясь звуками собственного голоса, он говорил все громче, подозрение, что мы собираемся продавать полученное обмундирование, переходило в его сознании в уверенность. С непонятной ненавистью, испытующе всматриваясь в наши лица, он, твердо ступая кривыми ногами в начищенных до блеска шнурованных сапогах, подошел к нашим рядам вплотную. Я глядел, как зачарованный, на его серое, круглое, с выдвинутой нижней челюстью лицо мопса. Почему-то я особенно внимательно рассматривал кровянистые прожилки, тянувшиеся по слизистой выпуклости синеватых белков его глаз, ворочавшихся с настороженной угрозой укротителя. Теперь он окончательно был убежден в нашей виновности.

— Я знаю вас, вы все только и думаете, как бы обокрасть армию! — вдруг заорал он, с наслаждением давая волю будто бы в самом деле душившему его гневу, но в то же время углами глаз следя, достаточно ли мы испуганы. — Но вам это не удастся! Посмотрите на меня хорошенько, — он раскачивался, пружинясь на расставленных ногах, — с виду я неплохой парень, но я пятнадцать лет на военной службе. Может быть, я невысокого роста, но не беспокойтесь, я здесь на своем месте. Поэтому не пытайтесь меня обманывать. Все полученное вами отмечено в именных списках, и вы ответите за продажу даже самого маленького ремешка. Те, кто, как вы, собираются обкрадывать армию, самые последние мерзавцы! Для меня это..! — выкрикнул он, задыхаясь от злорадного торжества.

Я подумал с унынием: «Так вот что нас здесь ждет! Вовсе не братство людей, готовых идти умирать за Добро и Правду, как мне мечталось в Париже, а все то страшное, что рассказывали о дисциплине в Иностранном легионе».

Но совсем уже неожиданным для меня было то, что последовало за командой разойтись. Несколько бретонцев, бывших моряков, выпущенных по случаю войны из тюрем, обступили аджюдана. Один, угрожающе надвигаясь на него грудью, кричал:

— Я тебе не позволю называть человека ...! Кто ты такой? Разве мы не знаем, как ты нарочно упал с мотоциклетки, чтобы не ехать на фронт!?

Грозное перед тем лицо аджюдана имело теперь испуганное, идиотически-хитрое выражение.

— Ребята, вы не так меня поняли. Я вовсе не хотел вас оскорбить, — лепетал он прыгающими, извилистыми губами.

С тех пор обращение с нами Легка, так звали аджюдана, переменилось. Он старался показать себя славным малым, если и требовательным в строю,

* Старший унтер-офицерский чин во французской армии. (От adjudant (*фр.*). — *Сост.*)

то только в меру, предписанную уставом. Но его никто не любил. Он даже хвастал, что на фронте его ждет пуля в спину от своих. Уже после нашего отъезда в полк мы узнали, что по состоянию здоровья он был уволен из армии и сделался почтальоном. Так кончилась его пятнадцатилетняя военная карьера.

Уезжая из Парижа, несмотря на мои тридцать три года, я думал о моих будущих начальниках с детским желанием любить и чтобы меня все любили. Что-то вроде отношений между Ростовым и Денисовым мне представлялось. Но так же, как аджюдана, я не смог полюбить и командира нашей учебной роты, капитана Тонги. Раздражительный, худой, желтолицый, он всегда говорил с нами с плохо скрываемым отвращением. По некоторым его замечаниям на учении можно было догадаться, что он считает себя выдающимся военным мыслителем. Может быть, этим и объяснялся его вечно недовольный вид: вместо ответственной работы в Генеральном штабе ему поручили обучать каких-то малограмотных ополченцев, из которых многие даже плохо говорили по-французски. Сам он говорил отчетливо и складно, даже с поэтическими сравнениями. Так, объясняя нам значение ружья-пулемета, он воскликнул: «Ружье-пулемет — это вибрирующая душа полувзвода!..»

Он страдал какой-то неизлечимой болезнью желудка. Денщик носил ему на квартиру судки с отдельно приготовляемой для него едой. Мне были неприятны даже жидкие косицы волос у него на затылке.

Всю мою готовность любить начальников я перенес на старшего сержанта Эбера. Жизнерадостный, простой и мягкий в обращении, он всем нравился. На обучение запасных он держался совсем других взглядов, чем аджюдан Легак. Обычно он вел нас в какое-нибудь укромное место в лесу, и там мы проводили несколько часов, ничего не делая, курили, болтали.

Однажды мне посчастливилось возвращаться с ним вечером из города в наш гараж. Меня смутило, когда он простодушно сказал, что жалеет, что попал в наше депо, так как бретонские полки посылают в самые опасные места. Я сбивчиво стал говорить ему, что если начальник хороший, то в опасности солдаты докажут ему свою любовь, никогда его не оставят. Он посмотрел на меня с удивлением и, сказав, что ему нужно в уборную, вошел в бистро, мимо которого мы как раз проходили.

Я остался ждать его на улице. Прохаживаясь взад и вперед перед входом в бистро и вдыхая всей грудью туманный ночной воздух, я с волнением думал о моей новой дружбе с Эбером. Мне приходили в голову ребяческие мечтания. Вот он ведет нас в атаку. «Теперь пора, за мной!» — говорит он, взглянув на часы, и я вижу, как его спина двинулась вперед. Я первым бросаюсь за ним. То я воображал, что он ранен, и я выношу его из огня.

Сразу за углом бистро начиналась такая темень, будто там совсем ничего не было. Только над головой, в разрывах угрюмо нависших черных туч, сквозь тревожно клубящуюся водянистую кисею, угадывались один над другим пролеты бездонной вышины. Пахло сыростью, потонувшая во мраке окрестность казалась печальной и пустынной. Глянцевитая после дождя асфальтовая дорога, как река, впадала в туманную черноту ночи. Было странно

думать, что где-то на этой дороге стоит гараж, там крики, тесно и душно, сотни людей.

Наконец Эбер вышел, оживленный и веселый. Он, видимо, встретил в бистро приятелей. Увидев меня, он с досадой сказал: «Ты все ждешь? Право, не нужно было».

Большинство солдат в учебных ротах были крестьяне-бретонцы, которые по разным причинам не отбыли в свое время воинской повинности. Почти у всех у них не хватало многих зубов. Сказывали, это от сидра. Небритые, с запавшими глазами, они выглядели намного старше своих лет. Косясь на них, парижане не то неодобрительно, не то с уважением говорили: «Ça cavale à la baïonnette!»*

В трезвом виде это были смирные, простые люди. Они говорили между собой по-бретонски и жевали табак, поминутно сплевывая на солому, на которой мы спали. К моему удивлению, многие из них не умели ни писать, ни читать. В детстве в школе учились, но потом забыли. Они не делали, мне казалось, различия между нами, иностранцами, и французами из Парижа. Для них мы все были какие-то другие, чем они, городские люди. Один, услыхав мою фамилию, простодушно заметил: «Да, у вас, парижан, у всех странные имена. Иногда даже выговорить трудно». Когда он узнал, что я русский, он, силясь что-то вспомнить, сказал: «Ну да, русские — это вроде австрийцев».

Не умел ли он выражать словами сложные чувства или решил, что, как австриец, я не понимаю по-французски, но только он долго молча смотрел на меня, будто удивленный каким-то открытием. Я видел его загорелое морщинистое лицо с усталыми и спокойными, как у рабочей лошади, глазами и чувствовал, что этот человек, который всегда жил в бедности и в тяжелом труде, смотрит на меня не только без осуждения за мою праздную жизнь, а, наоборот, с ласковым доброжелательством.

— У меня младшего брата тоже забрали, — сказал он, наконец, со вздохом и опять замолчал. Но мне казалось, его взгляд говорил: «Вот и тебя, австрийца, гонят на войну. И ты такой же бедный человек, как мы, крестьяне Морбиана. У нас у всех одинаковое горе!»

Я с недоумением видел, что эти люди не имели никакого представления о причинах и целях войны, но принимали ее без ропота, как природное бедствие — град или засуху.

Они часто болели и на переходах всегда отставали. Мы, горожане, с гордостью между собой говорили, что вот мы переносим тягости солдатской службы лучше крестьян. Тогда я не знал еще, что на самом деле эти люди были способны на самую тяжелую работу, какой никто из нас не мог бы выдержать. Но это когда дело шло о понятной им крестьянской работе. Смысла же поворотов направо и налево, маневров и переходов они не могли и не хотели понять и поэтому уставали и болели. Одного такого крестьянина-бретонца по полной его неспособности научиться ходить в ногу капитан назначил огородником.

---

* Они ходят в штыки! (*фр.*).

Однажды, пойдя зачем-то в ротную канцелярию, я заглянул на огород. На солнце, за стеной дома, защищавшей от ветра, было тепло и тихо. Рузик, так звали этого бретонца, скинув мундир, в серой бязевой рубахе с засученными рукавами, перекапывал грядки. Меня удивила спорость его неторопливых движений. Узнав меня, он распрямился и, утерев потный лоб тыльной стороной ладони, стал дружелюбно объяснять, где и что будет посажено. Уже по-весеннему теплое солнце освещало его голову и плечи. Я помнил, как в строю, не понимая, чего от него хотят, он смотрел на капитана с выражением необъяснимого ужаса. А теперь в простодушном и спокойном выражении его светлых глаз, по-хозяйски оглядывавших огород, мне почудилась творческая задумчивость, с какой художник смотрит на начатую картину.

Подняв ком земли и разминая его чугунными пальцами, он сказал:

— Вот только жаль, земля неважная. Удобрения надо бы побольше.

*

По обочинам тех дней, освещенных для меня страстным интересом, с каким я следил за событиями, эти люди прошли неясными тенями. А жалко, я мог бы присмотреться здесь к человеческим существованиям, по-другому, чем мое, но таким же безвыходным. Вот «Адмирал», полусумасшедший, спившийся парижский «клошар»[1]. Он всегда говорил с удивительно забавной язвительной вежливостью. Потешаясь над своим шутовским званием «адмирала», он в то же время как будто на самом деле верил, что это прозвище соответствует какому-то его особому начальственному положению. Иногда он вдруг начинал кричать и отдавать приказания с таким гневом, что трудно было понять, шутит он или всерьез принимает себя за начальство. Но стоило кому-нибудь на него прикрикнуть, как у него на лице появлялась добрая, испуганная улыбка. Помню еще мрачного молчаливого человека, коммуниста, побывавшего в Испании. Он сказал мне: «Я убивал людей». Кроме крестьян, было еще много бывших матросов, выпущенных из тюрем, когда объявили войну. «Каидом»[2] у них был высокий рыжеватый малый, с длинными предплечьями и огромными руками.

Среди иностранцев больше всего было турецких армян. Так же, как французы, они видели в войне только бессмысленное несчастье, которое разрушило их жизнь. Они боялись громко об этом говорить, но зато с каким одобрением слушали, когда кто-нибудь из французов рассуждал: «Это только богатым нужна война. Моя родина — это моя семья и моя работа. А кто будет нами править, мне все равно».

И несколько русских эмигрантов здесь было. С одним я познакомился в первый же день. Высокий, светловолосый, с приятно-расплывчатыми чертами круглого лица, он с расстроенным выражением ходил взад и вперед у входа в гараж.

---

[1] Clochard (*фр.*) — бродяга. Здесь и далее примеч. под арабскими цифрами принадлежат составителям.

[2] От каид (Qaid, Kaid или caid, *араб.*). Здесь: главный, вожак.

— Какая катастрофа! — сказал он мне, когда я заговорил с ним по-русски. Он был ассистент в Сорбонне, на отделении химии. Он недолго оставался с нами. Его назначили прибирать в офицерской столовой.

Вскоре прибыл еще один русский — двадцатидвухлетний Игорь Жеребятников, футболист и агент по продаже автомобилей. Он признался мне, что из всей русской литературы читал только «Анну Каренину» в переводе на французский, да и то не кончил, так ему скучно стало. Зато по-французски он говорил почти без акцента и почти исключительно готовыми выражениями, так что выходило, что он говорил как-то даже более по-французски, чем сами французы. Попадая в новую среду, он сейчас же перенимал принятые в этой среде мнения и манеру говорить и держать себя. В этом он был совсем не похож на эмигрантов моего поколения, которые в большинстве не сумели приспособиться к окружающей жизни. В отличие от ассистента Сорбонны, он относился ко всему бодро и весело, словно был уверен, что при его ловкости и сообразительности он и на войне устроится самым отличным образом. Он, казалось, думал, что так же, как наряды и строевые учения, опасность быть убитым существует только для глупых, не умеющих ловчить людей, а не для него. Когда я раз пытался заговорить с ним о целях войны, в его хитро и жизнерадостно шмыгавших рысьих глазах засветились огоньки неудержимого веселья. Он даже посмотрел в сторону, чтобы не слишком показать мне своей улыбки, каким смешным и глупым ему казалось все, что я говорю.

Но и этому эмигрантскому алкивиаду случалось делать ошибки. Раз, с совершенно такой же интонацией, с какой часто это говорили французы, он сказал: «Я предпочитаю валять здесь дурака, чем ехать на фронт». Неожиданно веселый балагур и общий любимец, выпущенный из тюрьмы вор и сутенер Сики, назидательно ему сказал: «Ты не понимаешь, мы воюем, чтобы остаться французами». Жеребятников покраснел. На самом деле он вовсе не боялся ехать на фронт. Впоследствии он это доказал, записавшись ехать вне очереди. Он сказал, что предпочитает валять дурака в депо только потому, что много раз слышал эту фразу от французов и хотел подделаться под общий тон.

*

По дороге мимо гаража часто проходили караваны бесшумно и быстро кативших крытых грузовиков, раскрашенных зелеными и коричневыми разводами. За некоторыми, мотаясь, прыгали на толстых шинах короткоствольные пушки. На рвущихся вперед мотоциклах проносились резвые стаи веселых людей в желтых с раструбами перчатках.

— Да, это война англичан, — говорили французы, смотря им вслед, и я жалел, что я не в английской армии.

По вечерам нас отпускали в город. Низкие дома, неровные, мощенные булыжником улицы. Только в старой церкви что-то средневековое, торжественное. Еле различимые во мраке высокие своды, свечи перед мерцающей золотом Мадонной. На скамьях с высокими резными спинками беззвучно шевелили губами призраки старух. Надпись на мраморной доске: в таком-то

году, Anno Domini (я не мог разобрать латинские цифры), враги подошли совсем близко, но Господь не допустил, чтобы они взяли город.

Кроме церкви и лавок здесь были еще: два отеля, кино, три публичных дома. В бистро нельзя было получить порядочного кофе.

Одно утешение — письма товарищей. Ваня писал с линии Мажино: «Мы защищаем культуру, свободу, все человечное. Помни это и не унывай. Никогда еще не было столько миллионов солдат, готовых идти на бой за свободу и справедливость». Такие же письма приходили и от Володи Руднева и от Володи Ельникова из Баркареса, где формировались полки иностранных добровольцев.

Но только приезжая в отпуск в Париж, я мог до конца отвести душу, особенно когда одновременно приезжал еще кто-нибудь из участников «экипа», поступивших в армию. Мануша встречал нас теперь еще ласковее, чем прежде, и с таким выражением, с каким во время Светлой Заутрени церковный староста смотрит, как горят на алтаре свечи.

Я рассказывал о настроениях в казарме и о моем недоумении, как же демократии победят, если никто не хочет за демократию умирать. Но Мануша меня успокаивал: «Не бойтесь, милый. Германия будет разбита. Зло не сто́ит, помните это».

С тех пор как война, которой он так не хотел, началась, с профессором Немчиным произошла чрезвычайная перемена. Он был охвачен теперь страстным желанием победы над Гитлером. Когда я рассказал ему, как один бретонец говорил: «Мне нечего защищать», он, сжав свою восковую руку в кулак, воскликнул с поразившей меня горячностью: «Неужели вы не дали ему в морду?» Я почувствовал, он жалеет, что слишком стар, чтобы поступить в армию.

Только Бобровский не верил в победу. С непонятным мне безразличием он говорил, что это не верно, будто союзники сильнее. Но я больше верил Мануше, чем ему. Я возвращался в депо успокоенным, снова чувствуя вдохновение от мысли, что участвую в великой борьбе за Добро и Правду. Уверенный, что в действующей армии все будет по-другому, я все с бо́льшим нетерпением ждал, когда же, наконец, нас пошлют на фронт.

## III

Сначала все шло хорошо. Нас выстроили во дворе казармы. Полковник сказал краткое напутственное слово: «Мы все бретонцы и не посрамим славу бретонских полков. О нас, бретонцах, говорят, что мы тупоголовые и слишком любим приналечь на бутылку. Что ж, есть такой грех. Но вы покажете, ребята, что не только пить, но и драться вы умеете, как настоящие бретонцы, как дрались ваши отцы и деды. Чтобы победить, нужно быть сильным. Будьте несокрушимо стойкими в бою, как наши Арморикáнские скалы, о которые разбиваются океанские волны».

Потом он обходил ряды. По все более грустному и недоумевающему выражению его лица чувствовалось, он не находит, что еще сказать. Видя теперь вблизи наши неуклюжие, навьюченные мешками фигуры и наши испуганно устремленные на него глаза, он, может быть, даже жалел, что упомянул об Арморикансих скалах. Он заметил лиловые пятна на моем подсумке. Переодеваясь в новое защитное обмундирование, я впопыхах разбил банку с ватермановскими чернилами.

– Sacré debrouillard!* — сказал он, качая головой с добродушно-насмешливой улыбкой.

Мне все это понравилось: он говорил именно так, как, по моим представлениям, отец-командир должен говорить с солдатами. Потом офицер, который вел транспорт, начал с недовольным лицом перекличку. Наши имена, записавшихся в пополнение добровольцами, он назвал последними. Из десятка имен только одно было французское, все остальные — русские, еврейские, армянские. Офицер, морщась от усилия, брезгливо, по слогам их выговаривал. Наконец, не выдержав, он с отвращением сказал: «Ah, vous en avez des noms, comme on dit en français, à coucher dehors!»**

Ему и в голову не приходило, что его слова могли быть для нас оскорбительны. Наоборот, он, видимо, был уверен, что мы и сами не можем не согласиться, что у нас недопустимо варварские имена. Может быть, ему даже казалось, что он сказал что-то остроумное.

Несмотря на правильные черты, в его бледном лице было что-то грубое и неприятное. Я вспомнил, как, не стесняясь нашим присутствием, он громко сердито говорил, что это вовсе не ему, отцу троих детей, ехать на фронт, когда в депо столько бездетных молодых офицеров. Я понимал его возмущение несправедливостью, но это не уменьшало во мне дурного к нему чувства.

Нас повели на вокзал. Я шел в одном ряду с Жеребятниковым, Жаком и Раймоном. Из нас четверых только Раймон был назначен в пополнение. Жеребятников, Жак и я записались сами. Мы так условились, что если кто-нибудь из нас четверых попадет в список, остальные трое попросятся добровольцами. Выходило, что я записался не по убеждению, а только чтобы не отстать от товарищей. Это мне было неприятно. К тому же Раймона я в то время почти совсем еще не знал, а Жеребятников и Жак, лавочник с Сан-Поля, родившийся в Париже, но тоже «апатрид», явно меня чуждались.

По дороге на вокзал солдаты-бретонцы то и дело выходили из рядов, чтобы выпить в последний раз в бистро. Лейтенант и сержанты как овчарки бегали вдоль колонны, загоняя их обратно в строй. Один с мрачным и непонятно многозначительным выражением все повторял на угрозы лейтенанта отдать его под суд: «Mais pourquoi, mon Lieutenant?»***

* Ну, и ловкач! (*фр.*).

** У вас такие имена, что, как говорят по-французски, хоть на улице спи (*фр.*).

*** Но почему, господин лейтенант? (*фр.*).

— Je ne tiens pas en l'air*, — задыхался «адмирал». Его сморщенное безбородое лицо было совсем белое. В полной выкладке, на своих тонких ножках, он казался еще тщедушнее.

*

Пьяный солдат без мундира, в одной розовой сорочке, вальсировал по перрону. Его кружение докучало мне, как жужжание бьющейся о стекло мухи. Я не хотел о нем думать, но все время невольно на него взглядывал. У него были слепые, из-за длинных белесых ресниц, молочно-голубые глаза. Он ничего не говорил, но я слишком хорошо знал упрямое выражение отчаяния, обиды и ненависти на его опухшем, красном, дрожащем и злобно-хмурящемся лице.

Многие запасные почему-то были убеждены, что их никогда не пошлют на фронт. Они еще кое-как мирились с тем, что их оторвали от дома, от семьи, от работы и заставляют вертеться как куклы, направо и налево. Но что их пошлют туда, «là haut»**, где — они знали по рассказам отцов — их ничего не ждет, кроме страданий, грязи, крови и смерти, представлялось им настолько чудовищным, что их сознание не могло этого вместить. Они убеждали себя: мобилизация и стычка на фронте, это только *так*. Но настоящей войны, в которой и им придется участвовать, не должно и не может быть. Или будет продолжаться, как теперь: поиски разведчиков, «une drôle de guerre»*** или даже будут бои и немцев победят, как в ту войну, но это вовсе не они, а какие-то другие французы, полки действительной службы должны драться, и англичане, ведь все знают: это — война англичан.

И вот беспощадно наступило пробуждение. Больше нельзя было себя обманывать. Совершалось именно то, чего больше всего страшились, но чему не хотели верить: мы ехали в действующую армию. И их охватили отчаяние и бессильная злоба против кого-то, кто хитростью и насилием заставлял их расстаться с понятной милой жизнью — с любовью, с бистро, с осмысленной работой — и гнал в какое-то ужасное место, где работает чудовищная машина, устроенная для убоя людей. Они не знали, кто виноват в этом: другие страны, которые завидовали богатой счастливой Франции; капиталисты, испуганные ростом сознательности среди рабочих; поляки, из-за которых все началось; евреи..? Они ненавидели весь мир, Бога и людей, допустивших до этого, и самих себя за то, что попались, дали себя усыпить ни на чем не основанными предположениями, что все как-то устроится, и вот теперь — конец... везут. Но, подчиняясь, как в страшном сне, этой безымянной, ненавистной силе, которая принуждала их ехать на смерть, они для самоутешения хотели уверить себя, что еще можно что-то сделать, уйти по домам, «как русские в ту войну». Им казалось, что война тогда кончится сама

* Я еле держусь на ногах (*фр.*).

** На фронт (*фр.*).

*** «Странная», «смешная» война (период затишья на фронте с начала Второй мировой войны до весны 1940 года).

собой. И с угрозой, точно магическое заклинание, способное все разрешить, торжественно произносилось: «Революция!»

Я не хотел смотреть на этого в розовой сорочке. Все это было так непохоже на мои ожидания, на то, как мы говорили у Мануши. Так вот как они хотят умирать за свободу, эти солдаты демократии. Я понимал, они не читали, как я, Бергсона и не имеют никакого представления, почему нужно бороться с национал-социализмом, и все-таки не мог заглушить в себе чувства досады.

Поезд тронулся. Сержант Лоренс в последний раз поцеловал в щеку очень прямо державшуюся седую женщину в черном. Бросалось в глаза сходство между ними. Тот же лоб, тот же нос с горбинкой, одно лицо, только у сына — бледное, одутловатое, безвольное, а у старухи словно вырубленное из темного дерева, с глубокими мужественными морщинами. Верно, крестьянка.

Лоренс вскочил на подножку и, хмурясь, шевеля бровями и подергивая шеей и головой, смотрел на высокую, черную фигуру матери на отходившем назад перроне.

В окне поплыли какие-то длинные каменные сараи, загородные пустыри, домишки с чахлыми садиками и вот, вольно вздохнув, развернулось незастроенное, печальное в опускающихся сумерках, поле.

На срезанном косогоре поджидал оркестр. Сержант в обтрепанной шинели смотрел на нас с равнодушным выражением и вдруг взмахнул руками. Солдаты перевернули в воздухе золотые трубы, и над их приземистой голубоватой толпой до самого неба грянули торжественные громы и, прорезая воинственный бой барабанов, высоко, призывно и тревожно заплакали флейты.

У меня с детства осталось: когда я видел идущих с музыкой солдат, я все забывал, готов был с восхищением идти на смерть. Теперь же я почувствовал это с особенной силой: ведь это в нашу честь грозно и глухо били литавры, это нас провожали на войну. И хотя я видел по безучастным лицам музыкантов, что им давно надоело исполнять этот обряд военных проводов, я был тронут вниманием начальства.

Оркестр играл все тише, и, в ответ на замиравшее вдали пение труб, в соседнем вагоне пьяные голоса нестройно затянули революционную «Молодую гвардию»: «Prenez-garde de la jeune garde qui descend sur la pavé, sur la pavé..!»*

Впереди, предупреждая кого-то, протяжно и пронзительно засвистел паровоз, вагон все чаще встряхивало на стыках. Чувствовалось — поезд прибавляет ходу.

— Большое приключение началось! — сказал Жак, округляя глаза. Обычно он говорил обо всем с парижским зубоскальством, рассказывал еврейские и марсельские анекдоты. Но теперь ему, видимо, хотелось сказать что-то торжественное, соответственное обстоятельствам.

---

* Берегитесь молодой гвардии, она выходит на мостовую (*фр.*).

Смотря на тонувшие в сумерках поля, я чувствовал — теперь действительно начинается что-то совсем новое, не похожее на все, бывшее прежде. Перед неизвестностью этого нового я был совсем один. Мое прошлое «я» сидело рядом со мной на скамейке, как посторонний мальчик, которого я никогда больше не увижу. Но кто же тогда «я» на самом деле? Только теперь, на войне, я это узнаю.

*

Я уже давно слышал, как, проснувшись, товарищи говорят между собой и закусывают, но продолжал дремать. Открывая глаза, я, еще из глубины и покоя сна, с какой-то неземной отрешенностью взглядывал на проходившие в окне мягко-зеленые поля и бугры, освещенные розовым светом встающего солнца, и снова засыпал под мерный стук колес. Внезапно в сладостность моей дремоты вторгся мучительно-пронзительный выкрик: «Yop la boum!» Вздрогнув, я открыл глаза. Все засмеялись. Широко разевая рот, Жак пел: «C'est le roi du macadam..!»* Меня поразило глупое выражение его круглого, с толстыми щеками, лица. Он был доволен, что вот едет на фронт и не только не боится, а, наоборот, ухарски поет, и все это видят.

Чувствуя вязкий дурной вкус во рту, я с отвращением закурил. Мне казалось, в этой песне нескончаемое число куплетов. Каждый раз, когда Жак выкрикивал «yop la boum!», я вздрагивал, словно меня били молотом по темени.

Поезд шел теперь совсем медленно. Товарищи говорили, мы огибаем Париж. Зевая от пронизывающей утренней сырости, я смотрел в окно. Верно, окраина. Домов не видно, только деревянные навесы каких-то бесконечных складов. Свинцово блестят на солнце рельсы. На запасных путях длинные составы пустых вагонов. На выгоне пасутся старые паровозы. Мне было грустно и приятно думать, что Париж где-то близко и в этот утренний час мои друзья просыпаются в своих комнатах на многоэтажной высоте, а я не могу прийти к ним и сказать, что я отправляюсь в путешествие, из которого, может быть, никогда не вернусь.

*

Мы идем по шоссе. С любопытством смотрю по сторонам. Все самое обыкновенное. Только по множеству проезжавших военных грузовиков видно — здесь «зона армии».

Шедший рядом со мной высокий солдат, дружелюбно на меня посмотрев, сказал: «On est fatigué»**. У него была мягкая улыбка, напоминавшая мне кого-то знакомого. Я подумал, он, может быть, русский. Но оказалось, он француз, монах, приехал в армию из Канады. Его звали Ляпорт.

Нас привезли вовсе не на фронт, а на бельгийскую границу. Солдаты в батальоне встретили нас с насмешливой недоверчивостью. Они всю зиму

* Это король тротуара (король сутенеров) (*фр.*).

** Устал (*фр.*).

стояли на передовой линии и смотрели на нас, как на ловчил, укрывавшихся до сих пор в тылу. Нам отвели чердак брошенного дома в деревне «Три фонтана». Всю ночь нам не давали спать душераздирающие свистки идущих в Бельгию поездов. И днем тоже шли один за другим длинные, груженные рудой составы.

— Не может быть, что это все для Бельгии. Это переправляют в Германию, чтобы «боши»[1] убивали нас снарядами из французского железа. Разве так не было в ту войну?

Меня раздражали эти разговоры, но невольно закрадывалось сомнение: и правда, как много поездов, а ведь это только второстепенная линия.

В выбитом окне нашего чердака жили ласточки. По утрам они будили нас громким оживленным щебетом. Мне казалось, они на нас сердятся за то, что мы поселились на их территории.

Тянулись светлые пустые дни. Неожиданно объявили запись добровольцев в «corps franc»*. После занятий я сказал Раймону, с которым очень подружился, что мне нужно с ним поговорить.

— Видишь ли, — начал я с усилием и не глядя ему в глаза, — я всегда жил малодушно, боялся всего тяжелого, а теперь представляется случай... — Странно шлепая губами, я стал объяснять ему мой взгляд на эту войну как на борьбу за правду и свободу.

— Не беспокойся, если будет случай заработать крестики, я их все получу, — сказал Раймон.

В штабе нас встретил лейтенант Коливе, молодой, застенчивый, очень вежливый. Именно эта его вежливость человека другого воспитания вызывала у солдат враждебное к нему чувство. Они нам говорили: «Вот увидите, какое он дрефло. Когда мы стояли на передовой, он запрещал нам ночью громко разговаривать».

Коливе нам обрадовался:

— Вот хорошо, а то изо всего батальона никого.

Когда вечером мы вернулись к себе на чердак, капрал Орман зашевелился в своем углу и недовольно проворчал, что мы слишком поздно приходим и всех будим. Это был болезненно самолюбивый человек, с вечной оскорбленной и язвительной улыбкой на губах. Он приехал в полк одновременно с нами и с тех пор каждый день напивался. Мы продолжали разговаривать, не обращая на него внимания. Тогда он сказал с внезапно прорвавшимся злорадством:

— Если вы думаете, что вы умнее товарищей, то вы ошибаетесь. Все в батальоне смеются над вами, что вы записались в «кор фран».

— Заткнись, — добродушно сказал ему Раймон. Но Орман не унимался. Приподнявшись на локте и дыша на нас винным перегаром, он с ненавистью закричал:

[1] От boche (*фр.*) — презрительное прозвище немцев.

* Пластунская команда (*фр.*).

— А где это видано, чтобы в «кор фран» принимали иностранцев? В армию еще куда ни шло, но в «кор фран» могут быть секретные задания. Разве можно доверить иностранцу!

— Заткнись! — уже с угрозой повторил оскорбленный за меня Раймон.

— И не подумаю. Если ты такой уж милитарист, то не забывай о моих капральских нашивках.

Тогда Раймон с внезапным бешенством закричал:

— Г... твои нашивки!

## IV

Я как раз собирался в четырехнедельный отпуск в Париж, как с какой-то устрашающей простотой наступило то грозное, чего я так давно ждал.

С той стороны Мёзы жители переходили на наш берег. Я уже видел все это и во время гражданской войны, и на снимках в журналах, и в кинохронике: население бежит при приближении неприятеля. Так всегда бывает на войне. Я смотрел спокойно.

Когда все уже прошли, на мосту показалась горбатая девушка. С трудом передвигая короткими кривыми ногами, она торопливо шла, толкая перед собой нагруженную узлами детскую коляску. Сверху на узлах покачивалась шляпная картонка.

Горбунья шла, не подымая глаз. Казалось, ей самой было неловко, что такое уродливое и жалкое существо, как она, хочет спасти свою жизнь. Но не только страх заставлял ее идти так торопливо. Ее вело сознание, что она француженка, дочь великого народа не должна остаться у «бошей». У меня защемило глаза. «Это слезы», — подумал я обрадованно. Уже давно я плакал только в кинематографе. Я по-прежнему видел небо, зеленые, освещенные солнцем холмы, мост над Мёзой, но вдруг все стало каким-то затуманенным, будто находилось только на *поверхности,* а эта горбатая девушка шла в глубине какого-то зеленоватого, неведомого света. Чувствуя головокружение и мучительную, но желанную боль, я сказал себе: «Это и есть настоящая действительность, которую я всегда искал, но не мог увидеть, так как у меня черствое сердце!» Но передо мной сейчас же опять опустилась какая-то непроницаемая завеса, и все стало на свое место. По-прежнему несдвигаемо-тяжелые, горы с непроницаемым выражением смотрелись в Мёзу зелеными склонами.

Но я все думал об этом странном, будто подводном свете. В нем поднялось что-то из моего далекого прошлого. «Но что это было и когда? — спрашивал я себя, чувствуя, как после болезни, слабость и грусть. — И если это была настоящая действительность, то почему тогда мы продолжаем жить, малодушно мирясь с несправедливостью и безжалостностью, и не можем не продолжать так жить?»

Я очнулся от цоканья множества копыт. На мосту показалась голова конной колонны. Это уходили на фронт стоявшие в деревне за рекой драгу-

ны. Всё молодые краснощекие солдаты, на сытых рыжих лошадях, с атласно отливающей шерстью. Драгуны пели вполголоса: «Auprès de ma blonde»*.

После полудня показались первые немецкие бомбовозы. Я давно с волнением ждал этой минуты появления врагов. Что-то невероятное мне в этом представлялось, а на самом деле их появление не было ничем ознаменовано, совсем просто, буднично произошло. Они летели над нами медленно и низко, с тяжелым, будто прерывистым гулом моторов. Нам были отчетливо видны черные кресты на их корпусах, и мне казалось, хотя я не видел их лиц, что сидевшие в них люди рассматривают нас с холодной, какой-то научной пристальностью, как насекомых.

Неловко улыбаясь, я прятался, как все, за стволами деревьев. Но мне было не страшно, а радостно и жутко. Я чувствовал с облегчением: моя прежняя безвыходная жизнь неудач и бессилия кончается. Как на берегу океана мы стояли теперь перед открывшимся огромным простором неизвестности и риска. Деньги, положение, связи, все, что в мирное время дает чувство обеспеченности, — здесь не в счет. Как я мучился, что у меня не было всего этого. А теперь мы все равны. Нас больше ничто не охраняло от подымавшегося прилива. Это жизнь, а прошлое, так страшившая меня прежде моя неспособность быть, как все, зарабатывать деньги, иметь любимую женщину, — только обман, остановка.

Самолеты склонились за гору и сейчас же оттуда послышались удары бомб, с сокрушительной силой бивших в каменные склоны. Эти звуки напомнили мне взрывы, слышанные в детстве во время гражданской войны, и торжественную радость, с какой я тогда их слушал. Я чувствовал: так будет всегда, бомбы будут падать не там, где я нахожусь, а в другом месте. То, что моя жизнь все длилась, как бы подтверждало это чувство, хотя разумом я понимал его обманчивость: попади в меня бомба, я бы ничего больше не сознавал и не видел, но поскольку этого не произошло, я продолжаю видеть и чувствовать, как всегда, — однако это вовсе не значит, что я не могу быть убит.

*

К вечеру из Бельгии стали прибегать обратно драгунские лошади без всадников.

Меня назначили в наряд взорвать мост. Едва мы добежали обратно до блиндажа, за нами так загрохотало, будто там гора обвалилась. Слушая то близкие, то глухие взрывы, мы не спали всю ночь.

Едва начало светать, нам на смену пришел другой полк. Незнакомые солдаты вереницей спускались по тропинке по крутому склону горы и по одному входили в наш окоп. Впереди бодро шел невысокий плечистый капрал, с большим мешком за спиной. Сержант Прево стал ему объяснять, как устроены переходы и как пройти в блиндаж, но капрал, не слушая его, уже хозяином продолжал идти по окопу, будто говоря своим самоуверенным видом: «Хорошо,

* Подле моей блондинки... (старинная песня) (*фр.*).

хорошо, вы можете уходить. Мы уж как-нибудь сами разберемся. Это только вам, после ваших ночных страхов, кажется, что все это так сложно».

Мне было их жалко. Окоп был вырыт на голом обрывистом склоне горы, в какой-то лиловатой, слоистой и ломкой породе. Когда немцы начнут бить из орудий, щебень полетит во все стороны. Будет много раненых. «Но ведь я не по собственному желанию ухожу, это начальство переводит нас в другое место», — подумал я, радуясь, что мне не надо самому решать.

Мы шли по перевалу. Встающее солнце озаряло зеленые, округлые вершины холмов. Там, на горных пастбищах, чернели вырытые бомбами воронки и лежали убитые коровы. Уцелевшие спокойно паслись около мертвых. Как они, верно, скакали, ошалев от ужаса, когда падали бомбы, а теперь уже все забыли. Правда, они не подходили к мертвым совсем близко. Значит, до их сонного сознания все-таки что-то доходило. Но они не чувствовали возмущения против той силы, которая сделала это с их одностадными, такими же, как они, коровами, и продолжали невозмутимо щипать и пережевывать траву. Мне тоскливо и страшно было видеть их равнодушие, их тупую, покорную примиренность.

Выйдя на шоссе, мы влились в голубоватых рассветных сумерках в колонну батальона. Были слышны только шорох множества ног и побрякивание снаряжения. Никто не разговаривал.

Скоро нас догнали наши кашевары. Они возбужденно, как что-то радостное, рассказывали: только они снялись, бомба ударила прямо в то место, где прежде стояла наша полевая кухня.

У поворота на проселок прохаживался капитан. Он смотрел на нас озабоченно и хмуро. Мне показалось — он чем-то недоволен.

Мы шли теперь по малоезженой, заросшей травой дороге. Сзади передали приказ идти гуськом, хоронясь под деревьями, в случае воздушных налетов — ложиться на землю.

Прежде, думая о войне, я все беспокоился: вдруг окажусь трусом, и как я смогу воевать, ведь я всегда чувствую такую усталость. А теперь я на фронте и вовсе не страшно, а радостно и любопытно.

Шедший передо мной незнакомый солдат неожиданно повернулся ко мне толстым лицом, перекошенным ненавистью и подозрительностью, и сказал:

— Tu ne crois pas que nous sommes trahis?*

«Что за вздор, откуда он это взял?» — подумал я с возмущением. Но, несколько раз вспоминая потом его слова, я чувствовал неприятный холодок под ложечкой.

Мы скоро дошли до бельгийской границы. Жандармов не было. В траве валяется поваленный пограничный столб. Я еще сильнее ощутил, началось что-то совсем новое, все прежние законы отменены. Еще третьего дня двоих наших солдат, которые ходили ночью в Бельгию за табаком, чуть не поймали бельгийские пограничники, а теперь мы вошли в Бельгию среди бела дня,

---

* Тебе не кажется, что нас предали? (*фр.*).

и нас никто не останавливал. Только этот лежавший на земле столб напоминал, что здесь проходила «граница», условная, не существующая на самом деле черта. Земля и трава в Бельгии были такие же, как во Франции, и деревья не знали, в какой стране они растут.

Мы пришли в пустую, оставленную жителями деревню. Из ворот одного двора вышел с ведром французский артиллерист без шапки и, равнодушно посмотрев на нас, пошел куда-то наискось через улицу. Он шел так по-домашнему спокойно и буднично, будто был местным жителем. А ведь он только накануне мог попасть в эту бельгийскую деревню.

Мы еще не вышли за околицу, как высоко в небе показались немецкие самолеты. Нам приказали рассыпаться. Я вошел в ближайший двор и с удовольствием сел на плетеный стул, забытый у заднего крыльца. На припеке было совсем уже по-летнему тепло. Наклонясь, как Гулливер над миром крохотных существ, я вдруг услышал, как в высокой траве стрекочут невидимые жучки и кузнечики. Но мне помешали узнать, о чем они так радостно и возбужденно говорили своими звонкими голосами.

— Казимир, иди скорее сюда. Здесь для тебя что-то есть, — высовываясь из окна дома, позвал меня один из товарищей. Я поднялся по ступенькам крыльца в сенцы. Несколько человек с веселыми лицами толпились на кухне. На еще теплой плите стоял кофейник. Все знали, как я люблю кофе, и нам казалось, что эта находка была хорошим предзнаменованием. Кофе был еле теплый и без сахара, но, чтобы доставить товарищам удовольствие, я с важностью выпил целую кружку.

За околицей нам повстречались бельгийские беженцы с узлами. Впереди шла высокая толстая женщина. Ее лицо багрово пылало. Задыхаясь и размахивая руками, она что-то говорила с отчаянием и гневом. Я разобрал только слово «боши».

— Успокойтесь, мадам, теперь мы пришли и все изменится, — сказал Раймон с еще не потерянной французской уверенностью, что это только поляков и бельгийцев немцы могли так легко победить, а теперь, когда дошло до французов, все по-другому будет.

Женщина, замолчав, посмотрела на Раймона с сомнением. И по этому ее взгляду, и по тому, как мужчины шли, не подымая глаз, чувствовалось, им трудно было поверить, что мы с нашими ружьями сможем остановить могучего и грозного, все сокрушавшего на своем пути врага, от которого они бежали.

Мы вышли в поле. В открывшемся перед нами просторе было далеко видно. Я жадно вглядывался: в этом просторе таилась наша судьба. Несмотря на бессонную ночь, я ощущал радостное возбуждение. Все мои чувства были обострены. «Теперь ничего не надо пропускать, — говорил я себе, — приближается то, чего я ждал все это время, я *все* пойму».

По белой дороге, опасно кренясь на поворотах, по выпуклому, как щит, полю бешено несся грузовик. За ним, крутясь, бежал по пятам столб пыли.

— Повез снаряды для бельгийского форта, — сказал сержант, показывая в сторону, где с короткими равномерными промежутками за чертой гори-

зонта, не переставая, бухали тяжелые орудия. И вдруг я понял, почему так торопится грузовик: он мчался наперегонки со смертью. На этой открытой местности он был виден самолетам, как на ладони. И эти орудия бьют по немцам. Это не игра, не маневры, а настоящая война. Здесь цель всей деятельности людей не какая-нибудь полезная работа, а убийство. Это было так странно, что мне нужно было делать усилие, чтобы об этом помнить.

Мы свернули с большой дороги и пошли лугами, пересеченными частыми перелесками.

На опушке рощи, задрав толстые хоботы в небо, отдыхало стадо допотопных чудовищ. Словно играя с нами, они стояли к нам спиной, чтобы дать нам время спрятаться. Около них бродили артиллеристы в синих штанах.

Наши офицеры пошли высматривать позицию. Ожидая их, мы расположились на привал на лесистом холме. Все время над нами гудели невидимые за вершинами деревьев самолеты. Время от времени по лесу что-то рассыпалось, шурша в деревьях, но нам не было страшно. Мы знали, что бомбовозы летят на бельгийский форт и только на всякий случай по дороге нас обстреливают. Мы закусывали и шутили, как на маевке, но было скучно и томительно так ждать в бездействии. Некоторые вырыли себе ямы. А мне было лень, да и лопатки мне почему-то не выдали.

Мне не сиделось на месте. Все меня возбуждало: и шум моторов над головой, и дальнее буханье пушек, и что-то унылое и вместе с тем бодрящее, разлитое в сыром лесном воздухе, и мысль, что столько людей и орудий здесь собрано в ожидании свершения чего-то великого и страшного. Я пошел навестить Ляпорта. Он вырыл себе у подножия большой сосны глубокую яму и даже замаскировал ее ветками. Я стал над ним подтрунивать. Он смотрел на меня со своей доброй бесхитростной улыбкой. Внезапно что-то огромное со страшной силой ударило в землю. Ляпорт с неожиданным проворством юркнул в свою нору. А я даже голову не нагнул. Радуясь, что совсем не испугался, я потом со смехом рассказывал Раймону про Ляпорта: «Il a foutu le camp dans son true»*. Я был доволен, так как мне казалось, что я сказал это совсем, как сказал бы француз.

## V

Уже начало темнеть, когда, наконец, вернулись наши офицеры. Мне показалось, у них были озабоченные и недовольные лица. Мы пошли занимать «позицию». К моему удивлению, это было место, которое ничем не отличалось от любого другого места на склонах обрывистых холмов над Мёзой. Я не понимал: мы должны были стеречь, чтобы немцы не переправились на этот берег, а реки с нашего места не было видно. Мы только знали, что она течет внизу под откосом. Там неясно белела в сумерках дорога, за нею берег круто обрывался.

---

* Он улизнул в свою дыру (*фр.*).

Горы другого берега, казалось, придвинулись совсем близко. Я всматривался в темноту, недоумевая, как же мы будем стрелять, ведь ничего не видно.

Потом кто-то пришел и сказал, что, может быть, немцы уже переправились, и нужно спуститься к реке, посмотреть, нет ли немецких патрулей. Сержант Прево спросил, кто хочет пойти с ним. Вызвались Раймон, я и еще один солдат, эльзасец Ланге. В потемках я все время спотыкался на почти отвесном спуске. Мне не верилось, что немцы уже переправились, и все-таки на душе было тревожно и странно, как всякий раз, когда я участвовал в чем-то, что нарушало привычный, *законный* порядок жизни. Мне все время хотелось говорить, и я с трудом сдерживал нервное хихиканье.

Мы дошли до воды. По слабому журчанью и плеску угадывалось, как во мраке Мёза течет в своем туманном логовище.

— Они здесь, — прошептал Прево, показывая рукой. Там слышалось хлюпанье, словно кто-то ходил у самого берега по мелкой воде.

«Неужели, правда, немцы и сейчас...?» Я чувствовал, как застучало сердце.

— Кто идет? — щелкнув затвором и падая плашмя на землю, крикнул Прево изменившимся голосом. Ответа не было. Перед головой Прево вырвалось короткое пламя, и грохот выстрела прокатился вдоль реки. Боясь отстать от товарищей, я повалился на землю и выстрелил.

Хлюпанье прекратилось. Может быть, нам только почудилось, что там кто-то ходил. Но снова послышался плеск и что-то большое и темное вышло из воды на берег и грузно легло на песок. Это не мог быть человек, но кто же тогда? Оборотень? Неведомое чудовище, жившее на дне реки? Заколдованный принц? Все казалось возможным в эту ночь.

Неясно темневшее на берегу тело еще раз дернулось и, вытянувшись, перестало шевелиться. Немного выждав, Прево встал и, держа винтовку наперевес, осторожно пошел вперед.

— Это молодой бычок, — вдруг сказал он со смехом, и его громкий голос рассеял очарование таинственности. «Не может быть», — подумал я, но, подойдя ближе, увидел: действительно — бычок. Он лежал, уткнувшись храпом в землю. Мы молча над ним стояли. Никто не смеялся. Мы вернулись к нашему ружью-пулемету. Ждали, что на рассвете немцы сделают попытку переправиться.

Было еще совсем темно, когда меня разбудили. Мне и Раймону пришел черед быть дозорными. Я лежал недалеко от Раймона и смотрел на неясно видневшуюся внизу дорогу. Я знал: на часах нельзя спать, но меня непобедимо клонило ко сну. Моя голова никла, веки закрывались. «Ничего, Раймон не пропустит», — подумал я, чувствуя, что больше не могу сопротивляться дремоте. Я погружался в какую-то чудную, слитую с ночью глубину. На том берегу Мёзы, за темными горами, шли немцы с танками и пушками, а вокруг моих висков начинали развиваться события волшебно-ярких сновидений.

Я вздрогнул и проснулся. Была еще ночь, но побледневшее небо будто раздвинулось еле угадываемым свечением. Из отступающего мрака все отчетливее возникали черные кусты и плечи и голова в каске лежавшего рядом

Раймона. Мои веки опять сомкнулись, мне необходимо нужно было досмотреть сон, и вдруг я услышал шепот Раймона:

— Они переправляются, ты не слышишь, как они поют?

Я открыл глаза. Навстречу, чертя в небе высокие дуги, неслись с того берега золотисто-огненные линии светящихся пуль. Они взвивались и летели с фейерверочно-праздничным, но злым торжеством. С вершин елей на нас посыпались ветки. Снизу, с реки доносился гул многих голосов. Или это только чудилось, и Раймон ошибся? Но сейчас же, словно сорвавшись с цепи, яростно захлебываясь железным лязгом, застучали наши пулеметы, установленные по гребням холмов, и вдруг стало совсем светло.

Над нами в невообразимой вышине пролетали снаряды тяжелых орудий бельгийского форта и с удаляющимся могучим гулом уносились за вершины гор на том берегу. Все вокруг меня стреляли. Наш пулеметчик трясущимися руками возился с затвором заевшего ружья-пулемета. Наконец он справился и с каской, свалившейся на затылок, припал горбоносым лицом к запрыгавшему прикладу.

Я не стрелял. Немцев, которые переправлялись через реку, мы не могли отсюда видеть, а в сплошном лесу на склоне гор на том берегу я не мог определить место, откуда вылетали эти золотые рои светящихся пуль. Я думал — товарищам покажется странным, что я не стреляю, но я не мог заставить себя стрелять вслепую.

Внезапно мы услышали немецкий говор уже не внизу на Мёзе, а на соседнем холме, где только что стрелял пулемет нашего первого взвода.

— Как они кричат, — огорченно покачал головой наш капрал. И он прибавил, как Раймон: — Они поют.

В доносившемся до нас гуле голосов я улавливал отдельные слова, но не мог понять их значения. Да я тогда еще и не знал немецкого. Мне представлялось: там стоят молодые немецкие солдаты и кто-то, верно офицер, невысокий, уже пожилой, дает им наставления, выкрикивая концы предложений злорадным голосом школьного учителя.

— Ну, теперь мы попадем под перекрестный огонь, — сказал капрал, надевая ранец. Он полез в гору. Я чувствовал недоумение. Все это было так непохоже на мои ожидания.

*

Мы шли теперь по дну лесного оврага. Ноги мягко ступали по шуршащим прошлогодним листьям и перегнившему валежнику. В вершинах деревьев свистят пули, а здесь тихо и сумрачно, пахнет сыростью. Местами сквозь редеющую листву пробиваются солнечные лучи. Я следил, как шедшие впереди товарищи вступали в эти полосы света и вдруг, как из опрокинутого короба, их осыпал ливень золотых пятен. Потом они опять входили в сумрак, и цвет сукна их шинелей гаснул, становился почти черным.

Лес внезапно кончился, мы вышли на проезжую дорогу. Около отпряженной белой артиллерийской лошади стоял солдат в синих штанах, заправ-

ленных в голенища резиновых сапог. Он смотрел на нас с беспокойством, видимо, не зная, что теперь делать, но ничего не спросил.

Встряхиваясь на ухабах, проехал автомобиль Красного Креста. Ветер трепал полы белого халата стоявшего на подножке военного врача. Он смотрел вперед, и на его лице хлыщеватого французского офицера было высокомерное выражение, как бы говорившее: «Я должен вывезти раненых, и мне нет дела, что там, куда мы едем, стреляют немцы».

Мы остановились около какой-то длинной изгороди, заросшей пыльной крапивой. Здесь собрались солдаты разных рот нашего батальона. Потом из леса вышли еще солдаты. Они шли кучей, молча. У них были изнуренные лица как у людей, сделавших длинный переход.

— C'est tout ce qui reste de la compagnie, — сказал, качая головой, шедший впереди широкоплечий сержант. — Ah, du beau travail!*

Двое вели под руки знакомого мне солдата. С бледным испуганным лицом, он шел, осторожно передвигая ногами, словно прислушиваясь к чему-то важному и значительному, что происходило внутри него. На спине у него была в шинели круглая дырка.

Называли раненых и убитых, среди них Лоренса, Ляпорта и еще одного знакомого мне солдата, похожего на метиса. Это еще усилило во мне возбуждение от горделивого сознания, что я побывал в настоящем бою. Именно так и должно было быть на войне — убитые и раненые.

В толпе я увидел Ормана. Левая рука его была на повязке, глаза оживленно блестели, с его помолодевшего лица сошла одутловатость. Смотря на его перевязанную руку, забыв о нашей ссоре, я сказал с восхищением и завистью:

— Ты ранен и остался в строю!

— Пустяки, царапина, — не в силах удержать довольную улыбку, ответил он мне таким же дружеским тоном.

Нам приказали построиться. Лейтенант Колизе, держа в руках ружье-пулемет, сказал Прево:

— Сержант, вы поведете взвод.

С забившимся сердцем я понял, что Колизе хочет остаться прикрывать отступление батальона. Это было так замечательно, так соответствовало моим детским представлениям о геройстве, что я предложил Раймону остаться с Колизе. Я даже не спросил себя, имею ли я право ему это предложить, ведь я думал, мы останемся на верную смерть.

Колизе долго не соглашался, чтобы мы с ним остались. Но мы доказывали, что ему нужен будет заряжающий. Наконец, он согласился, и я видел, ему было приятно, что мы не захотели оставить его одного.

Маленький, всегда веселый и доброжелательный сержант Прево пожал каждому из нас руку и сказал на прощанье:

— Я тоже хотел бы с вами остаться, но не могу бросить взвод.

* Вот все, что осталось от роты... натворили дел! (*фр.*).

Остальные с любопытством, не то одобрительно, не то насмешливо, молча на нас смотрели.

Они ушли, и мы остались втроем. Мне было грустно, что вот уже конец. Так скоро он наступил. Мои мечтания так и не сбудутся: подвиги, приезд в отпуск в Париж, с орденской ленточкой на груди, встреча с какой-то женщиной, которая будет меня любить. Мне нечего было вспомнить. Только раз, когда на рассвете я приехал из Бретани в Париж, недалеко от вокзала уже немолодая проститутка, с вытертой лисицей на плечах, с обычным «tu viens, chéri?»* заглянула мне в лицо с удивившим меня выражением нежности. И это было все, и вот теперь — конец.

Мне было грустно, что я умру здесь, вдали от моих друзей. Мне казалось, если бы они могли меня теперь видеть, мне было бы легче. Когда мы говорили о высоких предметах, о Боге, о справедливости, я всегда боялся, что ввожу их в заблуждение. Они, может быть, думали — я такой же чистый и жертвенный человек, как они сами. Так хорошо было бы, если бы они узнали, что, несмотря на мою малодушную и порочную жизнь, я пошел на верную смерть за Правду. Мне хотелось, чтобы все это видели: все женщины, не влюблявшиеся в меня, и все мужчины, считавшие меня ничтожеством. А здесь меня никто не знает, я умру в неизвестности, *напрасно*.

Я думал об этом с тяжелым и грустным, но не лишенным какой-то горестной услады чувством отрешенного ожидания смерти. Но в то же время я ни на минуту не переставал заботиться о том, какое впечатление я произвожу на Колизе и Раймона, и мне доставляло удовлетворение, что я, как мне казалось, говорю и держу себя спокойно.

Мы установили ружье-пулемет на пригорке, наведя его на мыс леса, где дорога, по которой мы пришли, сворачивала. Оттуда должны были прийти немцы, чужие люди, враги. Я буду стрелять в этих посторонних мне людей, а потом они безжалостно меня убьют. Мне было страшно и скучно об этом думать. Все мое существо противилось этому с такой силой тоски, что, вопреки очевидности, я говорил себе: «Нет, не может этого быть, разве это обещано человеку, разве этого я ждал?» А между тем я видел, что это неотвратимо будет, уже началось и нельзя спастись.

Над нами медленно и низко пролетел немецкий истребитель. Мне показалось, что он, человек, который сидел в его голове, увидел нас и, усмехнувшись: «Ага! вот где вы притаились», полетел дальше.

Когда замер вдали гул мотора, я с удивлением заметил, как вокруг было тихо. Высоко в синеве майского неба плыли белые облака. Все было пустынно. Как я попал сюда? Как, в сущности, все это странно. Кто мог бы предсказать, когда я родился в Москве, что я буду убит в Бельгии в шинели французского солдата?

Не узнавая местности, я смотрел на уходившее к Мёзе какое-то лиловое кремнистое плоскогорье. Я раньше не замечал его. Это вовсе не Бельгия, а

* Пойдем, дорогой! (*фр.*).

какая-то древняя необитаемая страна на Луне или на Марсе, где нет жизни. Я чувствовал теперь, как все объемлет равнодушная, всегда бывшая, несуществующая бездна. Мне было странно, что я буду убит в этой бездыханной действительности, которая не имела никакого отношения к моей жизни.

Я чувствовал мучительное сожаление. Теперь, когда было поздно, жизнь казалась такой желанной: ведь могли бы быть, как у других людей, успехи на житейском поприще, любовь, творческий труд. Счастье — быть, дышать, видеть, чувствовать. Как же я пропустил все это, и вместо наслаждения каждым мгновением были долгие годы отчаяния, унижений, бедности и неудач, ни одного дня счастья и удовлетворенности. А теперь я умру, ничего не исправив и ничего не узнав. И как я мог обманываться странной мыслью, что меня не могут убить и что смерть мне не страшна, как другим людям.

Я смотрел на дорогу, и вдруг мне показалось, что кто-то вошел в пустой дом, стоявший ниже на косогоре. Я видел это только самым краем глаза, может быть, мне это только померещилось, но на всякий случай я сказал Колизе.

— Не может быть, — посмотрел он на меня недоверчиво, — а все-таки пойдите посмотреть.

Я спустился вниз и, стараясь не шуметь, обошел дом. Я не думал, что это мог быть немец. И все-таки сердце билось: а что, если правда немец? Сжимая в руках винтовку, я спрашивал себя, решусь ли я выстрелить первым.

Обогнув угол дома, я почти столкнулся с человеком. Это был вовсе не немец, а наш солдат-бретонец. Я строго спросил его, что он здесь делает. Он тупо посмотрел на меня мутными глазами и, показывая на дверь дома, прохрипел пересохшей от жажды глоткой: «Il y a de la bière»*.

Я сказал ему, что батальон отступил, сюда идут немцы, и он должен уходить. Он смотрел на меня с бессмысленной и недоверчивой пьяной улыбкой. Верно, думал, что я тоже остался в надежде найти чего-нибудь выпить. Но мой решительный тон на него подействовал. Со вздохом сожаления, посмотрев в последний раз на открытую дверь дома, он стал спускаться по крутой тропинке на дорогу. Я смотрел ему вслед с неясным чувством досады. Он шел, пошатываясь. Земля осыпалась из-под его тяжелых, неуверенно ступавших ног и, шурша, скатывалась вниз.

Время шло, а немцев все не было. Но, как в страшных романах Майн-Рида, за скалами, деревьями и кустами чувствовалось зловещее присутствие врагов. Колизе уже видел несколько раз, как они показывались на дороге: «Смотрите, вон там, там, около дома». И он стрелял из ружья-пулемета. Как будто и в самом деле кто-то высовывался там из-за леса и прятался, и вот опять высунулся и под стеной стоявшего при дороге дома пробежало несколько темных фигур. Но я не был уверен и не стрелял.

Потом я с досадой увидел, как сзади нас, на скалах, занимает позицию вернувшаяся рота «аджюдана» Ле Энаффа, маленького, на тонких кривых

* Там пиво (*фр.*).

ножках, но чрезвычайно самоуверенного человека. Мне было неприятно смотреть, как, расставляя своих людей, он спокойно отдавал приказания. С приходом его роты опасность быть убитым не стала меньше, но мы не могли уже больше умиляться над собой, что вот мы втроем остались на верную смерть, чтобы прикрыть отступление батальона.

## VI

Не помню, сколько времени мы еще тут оставались. Все кончилось самым неожиданным для меня образом. Просто пришел связной и передал приказ капитана присоединиться к батальону.

Мы шли вдоль заросшей крапивой изгороди. Потом открылась какая-то глупая местность: изрезанная колеями поляна, разбросанные купы деревьев. Здесь, за последним перелеском, дорога выходила в поле, полого подымавшееся к голубой стене огромного неба. На этом поле ничего не росло — ни кустов, ни деревьев. Наши солдаты, растянувшись цепью, как сеятели, трудясь, брели по нему вверх. Над ними медленно и низко кружили немецкие самолеты. На опушке стоял капитан. Я робел перед ним и огорчался, что он не догадывается, как с моими представлениями о солдатской преданности я готов по его приказанию идти в огонь. Теперь, со злорадством отверженной любви, я с любопытством всматривался в его красное нахмуренное лицо, словно надеясь увидеть в его чертах растерянность. Но на его лице было выражение не страха, а гнева.

Колизе подошел к нему с донесением.

— Проходите, проходите, — недовольно хмуря брови, сказал капитан мне и Раймону, заметив, что я засматриваю ему в лицо. Колизе, оглядываясь на нас, что-то ему сказал, и тогда капитан одобрительно кивнул головой.

Мы последними вступили в это открытое, ничем не защищенное пространство. Я вошел в него, еще ничего не подозревая. Было тяжело идти в гору. Стоявшее высоко в небе солнце пекло совсем уже по-летнему. Над нами все время гудели самолеты. Они показывались из-за леса за нашей спиной и низко, с тяжелым гулом моторов, пролетали над нами, стреляя из пулеметов и сбрасывая бомбы. Мы шли гуськом по обочине дороги, ложились, вставали, опять шли. Я старался не отстать от Раймона, и меня раздражало, когда между нами встревал какой-нибудь другой солдат. И с таким же раздражением я думал о Раймоне: «Только бы его не ранило, что мне тогда с ним делать?» Когда все вставали, я с беспокойством смотрел, встал ли он тоже.

Весь мир, вся жизнь свелись к тому, чтобы перейти это пустое поле. Не знаю, сколько времени это продолжалось. Были ли это все новые самолеты или все те же кружили над нами, но все время воздух дрожал от грозно нарастающего гула моторов, слышалось потрескивание пулеметов, потом сверху вниз несся зловещий вой, и весь холм сотрясался от страшных ударов, бивших в землю с нечеловеческой силой. Я шел, как лошадь в шорах:

впереди покачивается спина Раймона, а по бокам чернота, и в этой черноте что-то грохочет и она освещается вспышками красного огня. И это повторялось все снова и снова. Я почувствовал, как во мне шевельнулся и начал расти страх. Я лежал в придорожной канавке. Падая, я сбил движением плеч ранец на затылок. Говорили, это может защитить голову от осколков и камней. Я видел дымно-черное небо, словно глядел, как при затмении солнца, сквозь закопченное стекло. На рубежах поля сверкает огонь и взлетают черные столбы земли.

Я не знаю, сколько времени мы так лежали. Может быть, часы, может быть, десять минут. Но мне трудно было вспомнить, что же было прежде. И это не кончается, никогда не кончится. Правда, перед тем как страх занял все *место*, я еще успел подумать: «Как хорошо, что в эти минуты опасности я не чувствую сожаления о моей неудачной жизни». Прошлого не было. Теперь я остался один на один с равнодушным, грозящим гибелью небом, и меня занимала только борьба, которая начиналась между мною и этим небом, а то, как я жил прежде среди людей и что они обо мне думали, больше не имело значения. Я даже вспомнил это место из Паскаля: «Когда мы здоровы, мы со страхом думаем о болезни, сожалея, что тогда мы должны будем отказаться от наших страстей, желаний и развлечений, но когда мы действительно больны, нам уже не нужно всего этого». Что-то в этом роде. «Как это верно и как хорошо, что это так устроено», — подумал я с благодарностью. Это была последняя пришедшая мне в голову членораздельная мысль.

Все мое тело было покрыто липким потом, и я чувствовал, как мною овладевает животный страх. Я понимал, что это происходит от мысли, что бомбы, именно бомбы — пулеметы потрескивали так слабо, что я совсем их не боялся, — могут меня убить. Но мысль о смерти была только толчком, освободившим во мне темный, безымянный ужас, который поднимался из самых недр моего существа. И я боялся теперь не смерти, а самого этого не связанного ни с какими мыслями чувства ужаса, хотя и понимал, что его вызвал во мне страх уничтожения. Я чувствовал, если я поддамся этому чувству, если оно еще продлится и усилится, я не выдержу. А вместе с тем я с непонятным наслаждением хотел отдаться этому чему-то черному и ненавистному, что надвигалось на мое сознание. Мысль, что сейчас со мной произойдет что-то безобразное — вдруг я начну визжать, как животное, — так меня испугала, что, сделав усилие, я сказал себе с чувством возмущенной гордости: «Как я могу бояться? Как может быть этот унизительный, покрывший мое тело пот? Ведь на наших сборищах у Мануши я так часто говорил о вечной жизни! Что же, значит, все это было только пустыми разговорами, коли я теперь боюсь». Я вспомнил, как мы спорили и как жизнь вечная мне представлялась не в будущем, за гробом, а что она всегда присутствует вокруг меня и внутри меня, как какое-то непостижимое четвертое или пятое измерение действительности. И смотря, как взметаются черные столбы земли, я подумал: мое постоянное чувство, что меня не могут убить, было основано вовсе не на мысли, что в меня не попадет пуля или осколок, а на таинственной надрас-

судочной уверенности, что я останусь и после смерти, всегда буду, и поэтому мне, собственно, все равно — убьют меня или нет, так как это не имеет отношения к моему настоящему неуничтожимому существованию. Наоборот, если меня убьют, мне, может быть, даже легче будет. Кончится все это: как мы шли под палящим солнцем, и ложились, и опять вставали, и больше не будет падающих бомб, неясности, страха. Тогда на мгновение я с ужасом и восторгом увидел, как за этим небом и всем окружающим проступает *что-то другое*, и, замирая от безумной радости, я сказал себе: «Вот она, жизнь вечная. Наконец-то! Это небо останется и эта земля, мой труп будет лежать на холме, а я перейду *на ту сторону,* и это все. Никакой смерти нет».

Теперь я спокойно следил, как где-то далеко, во *внешнем* мире, как на экране кино, бомбы вываливались из брюха самолета. Их относило назад. Они падали сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Мне показалось смешным, что *они* думают, что могут меня уничтожить этими бомбами. Но потом моя мысль еще продвинулась: а что, если на самом деле ничего нет, кроме этого холма, на котором я лежу? ударит бомба — и все кончится, исчезнет то, что я называл моей душой, а в действительности было только эпифеноменом движений молекул моего мозга. Но странно, это не поколебало моего отрицания смерти. С чувством злобы против кого-то я подумал: «Ну, хорошо, если *вы* так устроили, что ничего нет, кроме бессмысленной толчеи атомов, то все равно это ничего не значит. Может *стать* другой порядок и потому, что всем моим человеческим мечтанием я хочу, чтобы был этот другой порядок, он уже неуничтожимо существует, и никакие бомбы ничего против него не могут».

Впоследствии я не понимал, как я мог так думать. Но тогда мне так ясно это было. Эти мысли проходили в моем сознании, словно освещаемые вспышками молнии, так что я видел все их *будущие* разветвления. Одновременно я чувствовал, как пот высыхает на моем теле, и я уже не мог вспомнить, в чем же заключался бывший перед тем страх.

Мне казалось, мы шли через этот холм целый день. Над нами все так же гудели моторы немецких самолетов, по траве скользили огромные тени крыльев, такали пулеметы, несся вой и свист, и земля качалась от ударов падавших с неба бомб. Но я больше не думал о страхе. Я замечал, что, когда мы вставали и шли дальше, некоторые солдаты оставались лежать. Но по какой-то странной рассеянности мне не приходило в голову, что это значит.

## VII

Мы идем по дну глубокой балки: Колизе, Раймон, я, рыжий сержант Леруа и еще несколько незнакомых мне солдат.

Не помню, как мы сюда попали. Здесь было тихо, еще тише, чем когда утром мы шли в лесу, в лощине. Даже вдали не слышно выстрелов. Война кончилась или, может быть, нам только приснилось, что была война. Навер-

ху, в оставленном нами мире, в небе плыл серебряный самолет. Он не мог нас оттуда видеть, да и вовсе не для того, чтобы бросать бомбы, он летел.

Я смотрел то на траву под ногами, то на красную глину обрывов. Я вспомнил, что что-то важное со мной случилось: сначала грохот и ужас, будто мое «я» подымали на дыбу, потом наступила уверенность в чем-то...

А тут, на дне оврага, такая тишина. Совсем не так, как когда мы шли наверху. Ни спешки, ни страха, ни отчаяния. Как часто меня пугала мысль: если о моей жизни не будет знать ничье сознание, то выйдет, что меня как бы совсем не было. А здесь, в этом глухом месте, где, может быть, до нас много лет никто не проходил, растет трава и ей все равно, что о ней никто не знает, ей достаточно быть, расти навстречу солнцу.

С хлопотливостью домашней хозяйки, покрывая землю несметными рядами тоненьких зеленых солдатиков, эта наивная и мудрая трава не могла понять нашу тревогу. Она была слишком занята радостью своего существования. И вместе с тем я чувствовал во всем окружающем будто начало любви, начало движения ко мне. Все ближе обступая, в меня входили покой и тишина жизни травы и деревьев. Но каждый раз, когда я взглядывал пристальнее, их движение ко мне останавливалось. И я знал, даже если я останусь здесь навсегда, я не смогу соединиться с блаженным сном этого освещенного солнцем склона. От сознания этой невозможности что-то мучительно и в то же время сладостно раздиралось у меня в груди. Я чувствовал изнеможение и боль, как когда греешь у огня отмороженные руки. Но меня вела моя людская доля. Держась рукой за резавший плечо ремень винтовки, я проходил мимо, шаркая по траве тяжелыми и пыльными солдатскими башмаками.

Мы не знали, где немцы. Не знали, куда идем, может быть, прямо им навстречу. Мы еще не вышли из круга войны и смерти. Но в моей душе, словно возвращавшейся издалека и еще оглушенной, уже оживали надежды и ребяческие мечтания. «Нет, это не конец. Все еще хорошо будет. Мы остановим немцев. Еще будут бои, и я отличусь, совершу подвиг. Героем приеду в отпуск в Париж. Все знакомые, которые говорили про меня: «Ах, этот Гуськов, какой-то неудачник, неврастеник», увидят тогда... И как я мог думать, что умру, прежде чем исполнится мое ожидание любви? Но сейчас главное не попасть в руки к немцам, дойти до какого-нибудь спокойного места, где можно будет поесть, отдохнуть, выспаться хорошенько, и тогда снова в бой».

*

Выйдя на большую дорогу, мы увидели подымавшийся нам навстречу полк тяжелой конной артиллерии. Мне странным это показалось: сзади нас «ничья земля», безлюдное пространство, в которое входили немцы. Куда же шел этот полк? Прямо им навстречу?

Первая запряжка остановилась.

— Ну, как? Что там впереди? — нагнувшись со спины громадной лошади, спросил ездовой, широкий в груди и плечах человек, в толстой артиллерийской шинели.

— Куда вы едете? — не выдержал Леруа, — мы последние, а за нами немцы.

На круглом усатом лице ездового выразилась досада.

— У нас и так уже по дороге несколько орудий разбили самолеты, — сказал он озабоченно.

Чувствовалось, как над полком уже распростер крылья ангел смерти. Что могла вся эта масса отборных солдат и лошадей против поражавшей сверху смерти? Не больше, чем средневековое ополчение со старинными бомбардами.

*

Мои воспоминания становятся все отрывочнее. Между отдельными яркими картинами — провалы темноты, и я не знаю теперь, что было раньше, что потом.

Мы зашли напиться во двор большого дома при дороге. Здесь стояли артиллеристы. Нас окружили молодые краснощекие солдаты с ясными глазами хорошо выспавшихся людей. По тому, как они участливо с любопытством и страхом на нас смотрели, стараясь понять по нашим лицам, как там, откуда мы пришли, очень ли плохо и страшно, было видно, они еще не побывали в огне и, думая, что находятся глубоко в тылу, были встревожены нашим измученным видом. Они дружески нас угощали, протягивая наперебой хлеб, сыр, сардинки. Несмотря на усталость и подавленность, я испытывал приятное чувство, видя это внимание, оказываемое нам как фронтовикам.

Из дома вышел офицер. В том, как он был чисто одет, и в оживленном выражении его лица было что-то по-комнатному спокойное. Он посмотрел на нас с досадой.

— Я понимаю, — сказал он, — вы сделали тяжелые переходы в полной выкладке. Конечно, первое столкновение было трудным. Но подумайте, что может быть у немцев на этом берегу? — Он торжествующе взглянул на нас, уверенный в неотразимости своих доводов. — Что они могли переправить? Какие-то пустяки! Вот, смотрите, около Намюра пехотинцы, да, да, такая же пехтура, как вы, сами собрались и опрокинули бошей обратно в Мёзу, да еще поддали коленкой в зад.

Он довольно засмеялся, чувствуя, какое впечатление должна на нас произвести его уверенность, что стоит только дружно ударить — и немцы не выдержат.

Леруа посмотрел на офицера взглядом, в котором выражались желание верить и в то же время сомнение:

— Да, но у них столько самолетов, а с нашей стороны ни одного, — пожаловался он.

Офицер чуть отвел глаза в сторону.

— Это тоже скоро изменится. Сегодня утром прилетали наши истребители и сразу же сбили полдюжины бошей, — сказал он с напускной бодростью.

Заметив появившееся на наших лицах выражение надежды, он обрадованно заключил:

— Вот что, ребята, поешьте, отдохните хорошенько, а потом возвращайтесь на ваши боевые посты. Я бы так поступил на вашем месте, — сделав ударение на слове «я», прибавил он, смотря в глаза сержанту Леруа.

По его твердому спокойному взгляду чувствовалось, что он действительно так бы поступил. Он проводил нас до ворот. В толпе беспорядочно и торопливо проходивших солдат какой-то пехотинец с веселой вороватой улыбкой ехал на отпряженной артиллерийской лошади.

— Эй, что же ты на чужой лошади едешь? — крикнул ему офицер.

— А зачем она одна на дороге стояла? — с хохотом ответил пехотинец, проезжая мимо.

Лицо офицера приняло озабоченное выражение.

— Свел лошадь, да еще бахвалится, — укоризненно покачал он головой. Казалось, ему самому вдруг в голову пришло сомнение, существуют ли еще те боевые посты, на которые он советовал нам вернуться.

— Идите! идите! — махнул он рукой, — отдохните где-нибудь, а потом постарайтесь отыскать ваш полк.

*

Мы долго искали место для привала. Все нам казалось нехорошо: то слишком близко от дороги, то открытое поле, то роща. Немецкие самолеты обстреливали леса, видимо, предполагая, что там могут скопляться войска.

Я осматривался с тоской: вокруг не было места, где бы укрыться от опасности. «Смеющаяся», как пишут французы, освещенная солнцем равнина; вдали — холмы, синие рощи. «Мир Божий». Каким безжалостным он мне казался. Врыться бы глубоко в землю или, отвернув, как полог, край неба, очутиться *по ту сторону* этой страшной действительности, в которой нет убежища от смерти.

Я не мог поверить, что нет этой *другой* стороны. Этому сопротивлялось все чувство моей жизни. А между тем я видел, что все остается непроницаемо твердым: небо — оштукатуренный голубым каменный купол, зеленые холмы, как из бетона. Сколько бы я ни просил, как бы ни напрягался, не сдвинуть ни на вершок, ни на полвершка.

Мы все не могли выбрать подходящее место. Только сядем на землю, и вдруг как варом обдаст — именно сюда упадет бомба, безумие здесь оставаться. Наконец, мы прилегли на крутом склоне лесистого холма. Было неудобно так лежать, и все-таки, едва я вытянул ноги, как по всему телу разлилась блаженная истома.

— Советую тебе снять башмаки — сказал Раймон.

Но мне было лень двигаться. Смотря, как Раймон разувается, я с досадой подумал: «Почему он должен все время что-то делать, ни минуты не посидит спокойно». И вдруг что-то огромное, как обломок другой планеты, упало на землю, и весь холм упруго дрогнул. Мы вскочили на ноги. Там, где прежде среди вершин деревьев была видна крыша дома, во дворе которого нас угощали артиллеристы, теперь словно из недр земли, клубясь, подымался столб черного дыма.

Мы молча собрались и пошли. Об отдыхе больше никто не думал.

Каким-то образом мы все-таки набрели на солдат нашего батальона. Они лежали в цепи на опушке леса.

Уже смеркалось. На той стороне пересекавшей поле канавы вдруг появились люди. Мы начали в них стрелять. Они закричали удивленно, как мне показалось, испуганно и сердито. Впоследствии, когда я привык к звукам немецкой речи, я никак не мог соединить их с этим криком. Нет, эти люди совсем по-другому, не по-немецки тогда закричали, а будто на каком-то не европейском, на каком-то даже не человеческом языке. Не обращая внимания на нашу стрельбу, они странно близко, словно сразу за стеблями высокой травы у меня перед глазами, продолжали, как журавли, ходить по краю луга, стреляя в нас из автоматов.

Из отдаления моего сознания, которое, будто вовне меня, мигало в какой-то мгле, я видел этих зеленоватых людей и меня самого, как, лежа на земле, я с судорожной торопливостью дергаю затвор и стреляю.

Почти сейчас же справа застучал наш пулемет, и немцы исчезли, точно провалились сквозь землю. Все это слишком быстро кончилось и оставило неприятное впечатление недостоверности.

Когда стало совсем темно, мы ушли.

*

В Филипвилле ночью горела церковь. В проломе разбитой бомбой стены было видно, как внутри до самых сводов бушует пламя. Неверно озаряемый багровым отсветом пожара поток запрудивших площадь войск то останавливался, то снова двигался. Сменяя друг друга, из мрака призрачно возникали громады крытых грузовиков, колеса и черные стволы орудий, конские головы и лица людей, освещенные, как у идущих от Светлой Заутрени.

Выйдя из города, мы сошли с дороги и легли у какой-то проволочной изгороди. Еще утром я бросил одеяло и теперь дрожал от пронизывающей сырости, такой обильной, будто мы лежали в воде. Я укрылся валявшейся у дороги конской попоной. Попона была совсем новая, из толстого сукна, и я скоро согрелся. Но от нее так остро воняло конским потом, что я не мог заснуть.

На рассвете мы вернулись на дорогу. По ней по-прежнему беспорядочно шли толпы солдат, но грузовиков и пушек было меньше. Скоро показались немецкие самолеты. Весь день они пролетали над нами по одному, по два, по три, а то и целыми косяками. Иногда полнеба покрывали отряды бомбовозов. Один за другим всходили ряды серых птиц, и воздух дрожал от могучего гула моторов. Мы напрасно стреляли по ним из винтовок. Не ускоряя и не замедляя хода и не меняя порядка построения, они продолжали свое неостановимое движение.

Мы шли день и ночь.

В каждой сохранившейся в моей памяти сцене нас было разное число. То целая толпа, то только солдаты нашего взвода, то наших не было, но зато

солдаты из других рот нашего полка, и Колизе то шел с нами, то исчезал, а потом снова появлялся, и иногда с ним были еще другие офицеры. Каким-то образом мы встречались на дороге, а потом опять теряли друг друга, и никто не знал, куда идти и где наш полк. Только с Раймоном я не разлучался.

*

Опять все непонятно изменилось. Только что на шоссе с грохотом выбивались в гору грузовики, слышались крики, брань, торопливо шли пехотинцы с измученными угрюмыми лицами. А теперь на усаженной деревьями, прямой, как стрела, дороге перед нами никого не было. Ни души. Будто все люди внезапно умерли. По обочинам редкие разбитые бомбами дома. Что-то уныло грозное проглядывало во все окрестности и в огромном, пасмурном теперь небе. В лугах, бродя среди вырытых снарядами воронок, ревела недоенная скотина.

По пути к нам пристал старик с двумя маленькими мальчиками. Грузный, седой, круглоголовый, с пухлыми покатыми плечами. Он нес на спине какой-то увязанный в простыню скарб. Этот ярко-белый узел был, верно, виден самолетам с самой поднебесной высоты.

— Дедушка, вы бы замаскировали узел, вот как я, — показал на ветки на своей каске молодой солдат и белозубо улыбнулся, чтобы убедить старика, как славно тогда будет. Старик смотрел на него, смигивая слезящимися, воспаленными глазами, и, улыбаясь, кивал головой, видимо, желая показать, что и он не хуже молодых умеет не унывать в трудных обстоятельствах.

— Да, вы, военные, все знаете, — сказал он, чтобы польстить солдату. Но он ничего не сделал, чтобы замаскировать свой белый узел. Я видел, каждый раз, когда появлялись в небе немецкие самолеты, он ложился в придорожную канавку и укладывал рядом с собой мальчиков. Когда налет кончался, он с трудом вставал, тяжело опираясь рукой о землю. У него еще хватало сил идти, ложиться и вставать, но он, верно, боялся, что если отойдет в сторону наломать веток, то у него не хватит энергии опять вернуться на дорогу.

Я не ложился. Мне не верилось, что я буду теперь убит. Я мог еще *согласиться* быть убитым, когда мы втроем остались прикрывать отступление батальона. С такой смертью примиряло совершенство героического лубка. Но быть убитым во время бегства, не успев ни о чем подумать, казалось мне настолько бессмысленным и несправедливым, что я не мог допустить возможности этого. Моя жизнь не могла так кончиться. И то, что после каждого налета немецких истребителей я все продолжал идти, как бы подтверждало, что я не буду теперь убит. Несмотря на это, что-то ужасное и неразрешимое было для меня в мысли, что на самом деле я каждый раз оставался жить только случайно. Какой тогда смысл в жизни, если в любое мгновение она может прекратиться. Подчиняясь каким-то математически вычислимым законам, бомба неостановимо падает и с одинаковой неодушевленной яростью разрушения бьет в землю, в дома, в людей. Сознание, что я случайно окажусь поблизости от места, где она должна упасть, и что никакая сила в мире не

может охранить меня от этого бессмысленного произвола случайности, вызывало во мне тоску, какой я никогда еще прежде не испытывал.

После одного воздушного налета я заметил, что старика больше с нами не было. «Куда он девался, верно, отстал?» — подумал я рассеянно.

— А старик и мальчики как легли в последний раз, так больше и не встали, — словно отвечая на мои мысли, сказал кто-то из солдат, шедших сзади. «Ах да, со стариком было еще двое мальчиков. Они, верно, очень устали, но все-таки какая странная мысль так остаться лежать», — подумал я. Впрочем, я уже, кажется, видел людей, лежавших при дороге. Так же, как когда мы шли через холм, я не мог сразу вспомнить, почему они так лежали. Но, даже вспомнив, я сказал себе: «Мало ли что, ведь я сам не видел, что старик и мальчики больше не встали. Может быть, они просто вошли отдохнуть в какой-нибудь дом».

«Не обращай ни на что внимания, — говорил мне какой-то голос, — не заботься о старике и мальчиках. Что бы ты ни увидел: убийство, несправедливость, беспощадное уничтожение — проходи мимо. Ты еще жив, еще можешь идти и надеяться. Так будь же благодарен и не вмешивайся не в свое дело. Не то, смотри, как бы и тебе того же не было. Ты все равно ничего не можешь. Это не собрание у Мануши. Там легко было говорить о Правде, а здесь грозное, безжалостное небо».

Я смотрел на дорогу, на окрестные поля, на синеющий вдали лес и с недоумением чувствовал: во всем этом не было чего-то, что я надеялся найти. Теперь я все лучше узнавал ее: это была все та же ничего обо мне не знавшая, пребывающая вне времени моей жизни, «объективная» действительность, которая уже мелькала несколько раз. Но теперь, перестав таиться, уверенная в победе, она все обнаженнее проступала во всем своем мертвом безобразии. Теперь я видел, как она *устроена.* В ней не было ничего похожего на человеческие чувства — ни доброты, ни жалости. Мне казалось, в беспамятной вечности своего существования она грозно смеется надо мной. Я дрожу, а ей ничего не страшно и никого не жалко. Она была до моего рождения и будет после моей смерти. Она говорит своим присутствием: «Только я существую, а все твои чувства и мысли, возмущение, отчаяние, страх, желание справедливости и вечной жизни — все это исчезнет, когда осколок бомбы разобьет твою голову, как глиняную».

Мне приходили странные мысли: именно эта неживая действительность — наш враг, а немцы — изменники человечеству, они перешли на ее сторону.

## VIII

Мы снова вышли на главную дорогу. По ней по-прежнему непрерывным потоком двигались грузовики и толпы торопливо идущих солдат. Среди них было много марокканских стрелков. Некоторые катили на новеньких штатских велосипедах. Теперь больше не могло быть сомнения: это — бегство. Грузовики мчались полным ходом. Многие солдаты шли уже без винтовок.

Леруа и другим повезло: их взял проезжавший порожняком грузовик. Но мне и Раймону не хватило места. Мы продолжали идти пешком.

Постепенно я бросил ранец, потом котелок, флягу и даже мундир, остался под шинелью в одной фуфайке. Кроме винтовки и противогаза я сохранил только небольшой кожаный несессер с туалетными принадлежностями. Мне было жалко с ним расставаться. Это в первый раз в жизни у меня был такой несессер. Все такие красивые, стеклянные и никелированные вещицы. Я купил его в начале войны, еще ужасался тогда, как дорого он стоил. Но ремень подсумка резал плечо все невыносимее. Я со злобой думал: это из-за этого несессера подсумок такой тяжелый, будто я нес в нем чугунное ядро. Наконец, не выдержав, я со злобой отчаяния вынул несессер и бросил его в придорожные кусты.

Мы еще совсем недалеко отошли от места, где я его бросил, как перед крыльцом одиноко стоявшего у дороги дома остановился грузовик. Шофер соскочил на землю и, подняв крышку, стал что-то поправлять в моторе. За ним вылез из кабинки сухощавый, с коротко постриженными рыжими усами «аджюдан», в каком-то синем, не армейском мундире. Раймон подошел к нему и, отдав честь, попросил разрешения ехать на подножке. Продолжая следить за тем, как шофер что-то завинчивает в моторе, «аджюдан» ничего не отвечал. Только какой-то круглый, как желвак, мускул дергался у него на щеке.

— Готово, — сказал шофер, захлопнув крышку.

«Аджюдан» занес ногу на подножку. Видимо, решив, что, может быть, в первый раз «аджюдан» его не расслышал, Раймон еще раз попросил его разрешить нам ехать на подножке. «Аджюдан» обернулся и, словно только теперь нас заметив, заорал:

— Foutez-moi le camp!*

В то же мгновение мы услышали быстро приближающийся знакомый, зловещий рокот. И сейчас же с яростью ужасающей быстроты громада истребителя с железным дребезжанием и воем пронеслась над нами так низко, что мне показалось — нам снесет головы. Сквозь грохот мотора бешено застучали пулеметы, и короткий град пуль хлестнул по шоссе и по стене дома. На нас посыпались куски отбитой штукатурки. «Аджюдан» и шофер мгновенно очутились на корточках в канаве. Но мы с Раймоном остались стоять около грузовика. По испуганному лицу «аджюдана» мы почувствовали, что если он увидит, что мы не боимся, его отношение к нам изменится. И действительно, вылезая из канавы и садясь в кабинку, он сказал, не глядя нам в глаза:

— Montez, les gars**.

Мы вскочили на подножки по бокам кабины. Грузовик рванулся. В ушах засвистел вольный ветер. Придорожные деревья в смятении побежали на-

* Катитесь отсюда (*фр.*).

** Влезайте, ребята (*фр.*).

зад. После того как мы так долго брели среди безжалостной неподвижности полей, что-то победное было в этой опьяняющей быстроте. Мотор в ровном неукоснительном стремлении подминал под себя несущуюся навстречу дорогу, будто навивая ее на какую-то невидимую катушку.

Через четверть часа мы были уже на французской границе. Перед блокгаузом стояло несколько солдат и офицеров. Они молча на нас смотрели. Забыв в возбуждении быстрой езды, что мы только жалкие беглецы, Раймон приветственно помахал им рукой, как машут, входя в освобожденный город, победители. Он так был уверен, что французская армия победит, так как хотел этого, так живо воображал, что не мог удержаться от этого неуместного в нашем положении приветствия.

Нам казалось, во Франции кончится, как кончается страшный сон, все, что мы видели в Бельгии: быстрое, словно заколдованное продвижение немцев, путаница, чудовищное неравенство вооружения, точно правда нас кто-то предал. Все, что мы видели, подтверждало, что во Франции будет по-другому. Над нами совсем низко, словно желая рассмотреть наши лица, пролетел истребитель. Сначала мы испугались, но когда увидели на его коротких крыльях трехцветные круги, с облегчением вздохнули: значит, и с нашей стороны есть самолеты. Да что в этом необыкновенного? Так и должно быть. А то, что в Бельгии не было ни одного, это только из-за какого-то недоразумения, которое потом разъяснится.

Описав над нами дугу, истребитель улетел обратно. Так собака, насторожив уши, подходит к воротам, но, убедившись, что все в порядке, возвращается на свое место.

Дорогу пересекал широкий противотанковый ров. Он тянулся в обе стороны, насколько хватал глаз. На берегу рва — вросшие в землю круглые блиндажи. Это и была малая линия Мажино. Вдали в прозрачном вечернем воздухе виднелись на рубеже лугов и распаханных полей башни, колокольни, крыши. К ним приближался четырехугольник больших птиц. Навстречу им сейчас же взвился истребитель. В одно мгновение он был уже над нами. Прежде, чем мы поняли, что происходит, один из немецких бомбовозов выпал из движения отряда и вдруг, охваченный пламенем, стал медленно падать, как клок горящей пакли. Я следил за его падением с чувством торжества и ужаса.

А истребитель быстро, будто по канату, отвесно вскарабкивался выше Гималаев меркнувших облаков. Оттуда он ринулся на задний бомбовоз. Чтобы уйти, тот тоже нырнул носом, и с обрыва головокружительной высоты оба темными тенями понеслись вниз: первым большой немец с широко распростертыми крыльями и почти на хвосте у него, точно вцепившись зубами, истребитель. Несмотря на большое расстояние, мы отчетливо слышали, как с торжествующей быстротой и злобой стучат пулеметы.

Все это длилось всего несколько мгновений. Оба самолета исчезли за чертой горизонта, и почти сейчас же истребитель, уже один, взмыл в небо. Но отряд бомбовозов уже далеко уходил. Я подумал, что никогда не видел зрелища более трагически-прекрасного, чем этот воздушный бой.

Возбужденные радостью победы, мы торопливо шли, больше не чувствуя усталости. Нам хотелось поскорее дойти до места, где упали немецкие бомбовозы. Но мы скоро поняли, все это гораздо дальше произошло, чем нам сначала показалось.

Среди полей, сливавшихся в сумерках с небом, перед нами подымались окраинные дома незнакомого города. Над ними возник и протянулся через полнеба тонкий голубой луч. Потом еще один, третий, четвертый. Ища немецкие самолеты, они промахивали по черно-синему небу, то сближаясь, то снова расходясь: длинные, бесплотные пальцы невидимо стоявшего над крышами ангела-хранителя города.

Забыв о войне, я подходил к предместью с чувством, какое всегда испытывал при виде незнакомого города — здесь живут люди, которым открыто какое-то таинственное счастье. На заставе нас встретили долговязый английский солдат в плоском, как таз, шлеме и штатские с повязками на руках. За кружками света направленных на нас карманных фонариков — усатые, с провалившимися щеками лица старых рабочих. Проникнутые сознанием важности порученных им в этот грозный час обязанностей, они приглушенными дружескими голосами участливо объясняли нам, как пройти в казарму — там мы сможем выспаться, отдохнуть, поесть.

В огромном здании казармы во всех комнатах и проходах спали вповалку солдаты. Мы с трудом нашли место. В первый раз за все эти дни мы заснули с чувством покоя, почти счастья. Мы во Франции, в безопасности.

На следующее утро, выспавшиеся, свежие и бодрые, мы пошли прописаться в комендантское управление. Здесь в толпе солдат, разыскивающих свои части, мы нашли Леруа и ребят из нашей роты. Писаря выкликали номера полков. Все это действовало успокоительно. Здесь нам скажут, где теперь дивизия. С Леруа во главе мы протискались к одному из столиков. Писарь стал расспрашивать, откуда мы идем и какое там положение. Услышав от Леруа, что немцы перешли Мёзу, стоявший рядом высокий, длинноносый офицер в каске моторизованных частей резко сказал:

— Il ne sait pas lui-même la moitié de ce qu'il raconte*, — и, сердито смотря на Леруа, прибавил: — Как же вы говорите, что немцы перешли Мёзу, когда бельгийский форт около Живе еще стреляет.

Довольный, что нашел такое неопровержимое доказательство неправильности рассказа Леруа, он посмотрел на нас с торжествующим выражением. Он не знал, что это был как раз тот форт, около которого мы стояли на Мёзе и который замолчал в первый же день немецкого прорыва. Но офицер был так уверен в своих словах, что я подумал, может быть, это мы каким-то непонятным образом ошиблись и все тогда произошло не так, как нам казалось. Понимая, что утверждение офицера, будто этот бельгийский форт еще стреляет, способствует поддержанию духа войск, Леруа, подавив обиду, твердо смотря офицеру в глаза, сказал:

---

* Он сам толком не знает, что говорит (*фр.*).

— Вы совершенно правы.

— Ну, вот видите, — обрадовался офицер, — сейчас вы можете идти. Мы еще не связались с вашей дивизией, но в полдень возвращайтесь. Вам дадут направление.

Мы вышли на площадь. Раньше, когда я думал о провинциальных глухих городах, мне представлялась жизнь, неподвижная, как вода в илистом пруду: скука, сплетни, соглядатайство соседей. А на самом деле здесь было так хорошо, светло и тихо. Старые дома стояли в глубине мягкого света, как в вечности, и что-то завершенно прелестное было в соразмерности их объемов, в блеклой окраске их стен, в прозрачности воздуха вокруг них.

Лавки были открыты. Я купил зубную щетку и кусок мыла. Как раньше я не понимал, какое это счастье — мирная, цивилизованная жизнь. Вместо того, чтобы стрелять по врагам, которые хотят тебя убить, можно войти в лавку и приветливый человек дает кусок душистого мыла, завернутого в красивую бумажку. Какое-то доброе волшебство мне в этом чудилось.

Потом мы пошли в солдатский «очаг». Чистые бумажные скатерти на столиках. Нам подали дымящийся шоколад с белыми булочками. Прямо глазам не верилось.

Я читал газету, правда, старую. Не мог сообразить, вчерашнюю или позавчерашнюю. Большими буквами: «Немцы продолжают продвигаться, но несут "огромные потери". Вейган принял командование, сместил десять генералов и отдал войскам приказ не отступать, "se faire tuer sur place"»*.

По детским воспоминаниям о гражданской войне я знал, что значат такие приказы, но мне не хотелось об этом думать. Я сидел у открытого окна. Ветерок чуть шевелил тюлевую занавеску. За окном, на площади, непрерывно длилось торжество уже по-летнему теплого дня. Каким далеким теперь казалось все это — бомбы, трупы на дорогах, горящие дома, постоянная тревога на сердце. Да, конечно, нужно «se faire tuer sur place», и я не увижу, чем кончится война, но мне не верилось этому: уж слишком мирно выглядела площадь за окном. Вот мимо греющихся на припеке домов, опираясь на палку, неторопливо идет маленький, как ребенок, чисто одетый старичок. Если бы была опасность, он не вышел бы так гулять.

И вдруг, грозно напоминая о постылой неизбежности войны, чудовищным мерзостным змием зашевелился грохот беглой орудийной пальбы, и раздались удары взрывов. Над площадью со злорадным торжеством воплотившегося призрака летел немецкий самолет. У его крыльев и хвоста ватными розанами распускались дымки рвущихся снарядов. Еще не веря, я сказал товарищам: «Не беспокойтесь, это наши зенитки». Не успел я договорить, как снаружи, совсем близко, сверкнуло пламя. Все бросились под стенку. Я присел на корточки под окном. Осколки стекла посыпались мне на голову и плечи. Какой-то незнакомый солдат с круглым бабьим лицом валился на меня, всхлипывая от страха. Я ждал — стены и потолок сейчас рухнут.

* Умирать на месте (не отступая ни на шаг) (*фр.*).

Мне вспомнился фильм «Гибель Помпеи». Видел в детстве, в кинематографе у Никитских ворот: шатаются и падают колонны, в смятении бегут люди в длинных одеждах. Но тогда, затаив дыхание, я восхищенно смотрел из темноты зрительного зала, не зная, что я тоже обречен на смерь. А теперь я испытывал такое же чувство жгучего сожаления и непоправимости, как когда мне снилось, что падаю в пропасть.

Раймон не ложился. Прижавшись в простенке, он внимательно следил за разрывами бомб.

Потом наступила тишина, и все бросились к выходу. Перебегая площадь, я заметил в парадном одного дома подметки башмаков неподвижно лежавшего на спине старого господина.

Казарма гудела теперь, как встревоженный улей. Во всех проходах и на лестницах — толпа солдат. Нам сказали, немцы взяли малую линию Мажино. Мы не хотели верить, но по расстроенному лицу офицера, утверждавшего утром, что бельгийский форт еще стреляет, мы поняли страшную правду.

— Соберите ваших людей и уводите их из города, немцы будут здесь через два часа, — сказал он, узнав Леруа.

— Теперь он совсем по-другому говорит, — усмехнулся Леруа, когда мы выходили из казармы. Леруа понимал, что немецкий прорыв — беда для армии, для Франции, для нас всех, но ему доставляло самолюбиво-мстительное удовлетворение, что этот офицер, который обвинил его в распространении пораженческих слухов, теперь сам убедился, что он говорил правду.

Опять, как в Бельгии, дороги, запруженные войсками и беженцами, воздушные налеты, переходы без сна и отдыха. Но теперь уже не было надежды дойти до места, где будут свежие войска, порядок, укрепленные позиции. Может быть, мы были уже отрезаны.

Была ночь, когда я шел, держась рукой за двуколку. Я спал на ходу, но и во сне, словно из черной подводной глубины, продолжал воспринимать движение моего тела, храп лошадей, шорох множества ног и говор толпы, и все время с тоской помнил: надо торопиться уйти от немцев, от этого зависит моя жизнь.

Днем мы остановились отдохнуть у околицы большой деревни. Жители выходили.

— Messieurs les soldats, Messieurs les soldats, venez vite, nous avons arreté un éspion*, — подбежав к нам, взволнованно сказал штатский молодой человек, совсем еще мальчик. Раймон молча закинул за плечо винтовку. Я спросил его, куда он идет. С осунувшимся, вдруг ставшим чужим, лицом он сказал:

— Je vais regler son compte**.

На мощеном спуске к площади собралась толпа. Протиснувшись вперед, мы увидели неподвижно лежавшего на спине человека в опорках и обтрепанных брюках.

* Господа солдаты, идите скорее, мы задержали шпиона (*фр.*).

** Я с ним сочтусь (*фр.*).

— Мы ему уже дали хорошенько. Теперь он притворился, обмер, но я только что видел, как он шевельнулся, — сказал кто-то из толпы, возбужденно, но уже неуверенно. Мне показалось, человек на земле действительно шелохнулся и, чуть приподняв одно веко, хитро за нами наблюдает.

На лице Раймона было теперь выражение недоумения, смешанного с отвращением. Злобно взглянув на меня, он повернулся и, ничего не сказав, пошел обратно в гору, к месту нашего привала.

Мы кончали закусывать, когда на дороге показалась куча торопливо идущих солдат. Один нам крикнул:

— Eh, les gars, vous ne voulez pas vous sauver, ils arrivent les boches*.

Мы начали собираться. Но в это время около нас остановился автомобиль. Из его окна высунулся штабной полковник с лицом, как коровье вымя. Он сердито закричал, чтобы никто не уходил.

— Я поеду дальше, остановить ушедших, а тех, кто не захочет вернуться — расстреляю на месте, — сказал он с угрозой и ненавистью.

Машина рванулась и, завыв, понеслась. Мы больше никогда не видели этого полковника.

Остановившиеся было солдаты, немного подождав, пошли, как стадо, дальше. И вдруг я увидел, как Раймон, хотя он не был даже капралом, стал их останавливать:

— Où allez-vous, les gars? Il faut rester**, — говорил он расстроенным голосом.

Почти испуганно, с недоумением на него взглядывая, солдаты молча его обходили.

В роще при дороге осталось человек тридцать. Скоро над нами начали кружить немецкие самолеты. Я пошел в кусты оправиться. Какой-то марокканец на меня смотрел. Мне это было мерзко, и мысль, что я могу быть убит в этой унизительной позе, мне мешала. Я вернулся и спросил Раймона:

— Как ты думаешь, что теперь будет?

— Чего же можно ждать? — злобно сказал он, показывая на солдат, прятавшихся за деревьями. Некоторые, не оглядываясь, втянув голову в плечи, уходили в глубь леса. Я сел на землю, прислонившись спиной к сосне. Теперь над рощей рвались снаряды. Леруа, смотря вверх, точно он мог рассчитать, куда упадут осколки, прыгал на корточках вокруг ствола огромной сосны. Я следил за ним, чувствуя, как ему мучительно неудобно так прыгать, искривив шею, и меня охватило чувство страшной усталости.

Ночью мы пошли дальше.

Мы остановились на какой-то ферме. Орсини, капитан другого батальона, пошел узнавать, где штаб дивизии, «если только дивизия еще существует». Когда он вернулся, у него был усталый и недовольный вид.

---

* Эй, ребята, вы что, не хотите спасаться? Сюда идут немцы (*фр.*).

** Куда вы, ребята, нужно остаться (*фр.*).

— Положение очень плохое, — сказал он. — Мы, по всей видимости, окружены. Нельзя продолжать идти всем вместе. Назначаю место сбора в ... — он назвал какой-то неизвестный мне городок, — пусть каждый добирается, как может.

На дороге мне и Раймону повезло. Нас подобрал проезжий грузовик, и без того набитый солдатами. От многих несло вином. Один, молодой, все время пел дребезжащим пьяным голосом и смеялся. На этом грузовике мы добрались до городка, где условлено было собраться. В комендантском управлении — ни души. Раскрытые настежь двери, пустые выдвинутые ящики столов. Ветер шевелит ворохи брошенных на пол бумаг. В соседнем помещении, как в стойле, под стенами лежали на гнилой соломе редкие фигуры спящих солдат. Когда мы вошли, никто не поднял головы. Мы здесь заночевали.

Проснувшись на рассвете, я увидел, все уже ушли. Я начал будить Раймона. У него было какое-то странное, безучастное, выражение.

— Куда ты торопишься? У нас еще много времени, — говорил он, неохотно собираясь.

В воротах казармы стояли такие же, как мы, отбившиеся от своих частей солдаты. Незнакомый «сержант-шеф» в каске моторизованных частей, установив на дороге пулемет, подошел к толпе и, оглядывая всех смеющимися глазами, спросил, кто хочет быть у него заряжающим. Я переглянулся с Раймоном.

— Не называйте меня «шеф», а просто Роже, — сказал сержант. Он был доволен, что мы с ним остались. Меня он называл сначала Вальдимир, но скоро перешел на более привычное — Казимир.

Постепенно улицы, двор казармы и дорога впереди нас опустели.

— Ничего, Казимир, — хлопнул меня Роже по плечу, — если будет нужно, мы и втроем остановим бошей.

Я понимал бессмысленность его слов, но, наблюдая, как он бодро хлопочет около пулемета, я отвлекался от мысли о безнадежности нашего положения.

Над нашими головами теперь целыми стайками пролетали пули, но впереди дорога оставалась по-прежнему пустынной. Потом из боковой улицы выехала вереница грузовиков. Впереди, в легковой машине — капитан. У него был спокойный, внимательный взгляд. Он спросил нас, какого мы полка и что мы здесь делаем. Выслушав наш ответ, он сказал:

— Вот что, ребята, берите ваш пулемет и полезайте в один из моих грузовиков. Мы окружены, но я постараюсь вас вывезти.

С этим капитаном мы исколесили два департамента и, наконец, доехали до какого-то приморского города. Мы остановились около вокзала. Море было где-то совсем близко. За крышами домов виднелись мачты, портовые лебедки, трубы пароходов. Вдали били тяжелые орудия. Нам сказали — это стреляют английские корабли. Но мы так и не увидели моря. Нам не суждено

было плыть по его волнам к берегам свободы. Рота нашего нового капитана получила задание защищать старую крепость, прикрывающую дорогу в порт.

*

Мы сошли с грузовиков на площади перед крепостью. «Аджюдан» велел выгружать пулеметы. Он не успел договорить, как над улицей, по которой мы приехали, с ужасающей быстротой пронесся снаряд и упал в углу площади. Там грозно, как из преисподней, вырвалось пламя, черным столбом взлетела земля и, на мгновение повиснув в воздухе, посыпались булыжники. Никто не успел лечь. Мы только жались друг к другу. «Аджюдан», оглядев нас со строгим удивлением, упрямо повторил, точно желая нас наказать:

— Alors? Il faut décharger!*

Мое тело прежде, чем я успел что-либо сообразить, испуганно шарахнулось исполнять приказ. Но все стояли в нерешительности. Мне мгновенно передалось выражавшееся на всех лицах недоумение: не может «аджюдан» этого требовать. Ударит снаряд, так и погибнешь в грузовике, в пламени и взрывах ящиков с гранатами. Наоборот, под обстрелом все выскакивают и ложатся на землю. И будто в подтверждение — снова зловещий свист. Но вдруг мысль: «А как же мои героические мечтания? Сколько раз я спрашивал себя, как я буду держать себя в опасности. И вот наступило. Неужели не решусь?»

Что-то огромное упало совсем близко. Земля качнулась под ногами. Движимый будто посторонней силой, я был уже около грузовика. Но когда я вскочил на подножку и мне глянуло в глаза темное нутро фургона, точно невидимая преграда меня оттолкнула. Безумие туда лезть! Там притаилось что-то безжалостно злое, уничтожающее жизнь. Не лезть туда, а бежать и где-нибудь в стороне, упав ничком, прижаться всем телом к любимой, нагретой солнцем земле.

Я никогда еще не был так одинок. Товарищи смотрят на меня, но они не могут мне помочь. Я понимал, их мнение обо мне несоизмеримо с важностью для меня моей жизни. И все-таки мысль, что они заметят, что я боюсь, заставила меня решиться. Я всунулся головой и плечами внутрь фургона. «Кажется, затихло», — подумал я с облегчением. Но сейчас же снова раздался быстро приближавшийся свист. Любовь, добро, счастье — все, чего я ждал от жизни, и память о близких, надежда с ними увидеться, все отступило как призрак. В мгновенной вечности настоящего ничего нет, только неостановимый лет снаряда и страх уничтожения. Сейчас оглушит. В слепой ярости, кромсая мои мышцы и кости, бессмысленные осколки врежутся в мое тело, я перестану быть. «Ах, скверно, — подумал я, криво улыбаясь и чувствуя, как невольно сутулится спина. — Молиться? Но кому? В воздвигшейся надо мной пустоте никого нет. Как же тогда спастись? Нестерпимость ожидания!

* В чем дело? Нужно выгружать (*фр.*).

Я не могу даже начать думать. Так много мыслей теснится в голове, но все разбегаются. И сейчас ударит».

И вдруг я понял, как эта борьба, и замирание, и страх мне давно надоели. Слишком часто все это повторялось. Я чувствовал злобу от сознания своего ничтожества. У Мануши я говорил о борьбе со злом национал-социализма, а теперь боюсь. «Ну, что же, пусть убивают», — сказал я себе с решимостью возмущения и, опершись на локтях, подтянулся вверх. Было жутко, как при разбеге по трамплину для прыжка головой в воду. В то же мгновение, сверля воздух с могучей быстротой, снаряд пронесся над крышей грузовика, и где-то совсем близко ударило. Грохот, треск, звон. Задыхаясь, я лег животом на железный пол кузова. Вблизи я увидел, какой он холодный, твердый и гладкий, из толстого листового железа. В нем не было ни малейшей крупицы жалости. Я больше не чувствовал страха, только удивление, что так трудно было влезть; сердце колотилось и все тело под тяжелой шинелью взмокло от пота. Я не отдавал себе отчета, как я ослаб за десять дней почти без сна и еды.

Неумелыми руками я принялся срывать со стенки прикрученные проволокой пулеметы. Я видел лица товарищей, обступивших грузовик. Их не раздражала, как я этого боялся, моя неловкость. Наоборот, они смотрели на меня с ободрением и участием. Один даже протянул плоскозубцы. Потом все ушли в крепость, а мы с Раймоном остались на площади охранять наши грузовики. Я с удивлением замечал происшедшую во мне перемену. Во время отступления я так измучился, совсем выбился из сил, а теперь никакой усталости больше не было. Прохаживаясь около грузовиков, я чувствовал, как при каждом шаге от упругого потягивания мышц моих ног по всему телу разливается блаженная отрада. И все мои мысли, само чувство жизни изменились. Не знаю, как это произошло. Прежде меня всегда тяготило ощущение моей худосочности, усталости, слабости. Всякое усилие — вставать, бриться, ехать в метро — меня утомляло. А теперь мне казалось, я мог бы полететь, такую стремительную легкость я чувствовал. Правда, никакого ответа на вопрос о загадке существования по-прежнему не было, но я не мог вспомнить, почему раньше это меня так мучило. И также меня больше не беспокоило, что моя жизнь ничем не охранена. Мне вдруг стало безразлично, что будет с нами, кто победит, увижу ли я конец войны или буду убит в следующее мгновение. Токи огромной радости проходили через меня, и я не мог верить, что вместо этого неуничтожимого, всенаполняющего чувства бытия могло наступить «ничто», что-то, чего нет, чего, даже закрыв глаза, нельзя себе представить.

В том, что я испытывал, не было никакого мыслимого содержания. Только удивление и счастье быть, словно я видел землю в первый раз. Эта площадь, и деревья, и дома, и стены крепости, отчетливо обрисованные в чудной прозрачности воздуха, — все казалось мне каким-то первозданно новым и в то же время всегда бывшим; как будто я уже когда-то все это видел.

Раймон тоже был возбужденно весел. Как мы радовались, как дети, когда, прошумев в вершине дерева, под которым мы стояли, и сбив несколько

листьев, осколок чиркнул по мостовой у самых наших ног. Мы показывали друг другу оставленную им метку, взволнованно говоря:

— Я видел, как он упал.

— Я тоже.

— Как раз между нами...

Но сердце уже сжималось: а что же дальше, что делать с этим избытком вдруг пробудившихся сил жизни, к чему ведет, что обещает эта радость — ведь она не может длиться вечно? И голова кружилась от предчувствия невозможного, несбыточного счастья.

Одно было неприятно. Пока я мылся у колонки, кто-то унес мою каску, оставив вместо нее свою старую, еще той войны, синюю с накладным гребнем. А главное, она была мне мала, еле держалась на самой макушке. Раймон бранил меня за ротозейство, да мне и самому было досадно: в этой нелепо маленькой каске у меня был, верно, смешной вид, а мне хотелось быть похожим на настоящего воина.

Наступил вечер. Со стены капрал крикнул нам идти наверх.

Ужин уже отошел, но нам оставили горохового супа с мясом. Только начав есть, я почувствовал, как я голоден. Меня удивляло, почему до тех пор я не вспоминал, какое наслаждение может доставлять еда. Хлебая суп, я осматривался по сторонам. Вдоль бульвара — двухэтажные дома, за ними на холме — глухой, запущенный сад. Только недавно отсюда ушли люди, но распад человеческого устроения уже начинался. Зияя дырами выбитых окон, брошенные дома белели на черной зелени пихт и терновика романтическими развалинами. По вечерам здесь, верно, гуляли влюбленные, а теперь всюду мусор, как на свалке. Откуда, посреди светлого чистого города, взялся этот дико разросшийся сад? Словно его *забыли* или хуже — *не могли* убрать, когда строили город. И хотя я старался не смотреть назад, я все время чувствовал за спиной молчание этого таинственного сада. Оно будто говорило о чем-то неустранимом, но я не мог вспомнить, о чем.

А вдоль парапета крепостной стены уже кипела новая, пришлая жизнь. Товарищи с повеселевшими лицами хозяйственно хлопочут, устраиваясь на новом месте. В углу двойной пулемет 13-2, грозясь, уставился в небо воронеными стволами. «Аджюдан» скинул мундир и, засучив рукава рубахи, широко расставив ноги, моется над ведром. Его движения так по-домашнему спокойны, точно мы не в осажденной крепости, а на биваке в мирное время. Он плещет мыльной водой и, с наслаждением фыркая и отдуваясь, крепко трет волосатыми руками лицо и покрасневшую шею. Совсем как описывают в книгах. В этом было что-то необыкновенно успокоительное.

Капитан, свежевыбритый и помолодевший, защищая рукой глаза от бьющих в лицо лучей закатного солнца, наклонился над дальнозором и смотрит в поле, виднеющееся за выездом из города. Я попросил у Роже бинокль. Там, как тли, ползли по лугу пятна грузовиков, из них выскакивали и торопливо бросались рыть землю крохотные солдатики. Было странно думать, что эти еле различимые человечки и есть тот грозный враг, перед которым мы от-

ступали. Это они, а вовсе не какие-то гиганты, *производили* смерть, поражавшую нас в грохоте падающих с неба бомб и снарядов. — А ну-ка, погладь их немножко, — весело блеснув глазами, говорит капитан.

Наводчик, крутя колеса, опускает хоботы 13-2. Воздух дрожит от быстрого воинственного стука коротких очередей.

Меня все больше охватывало чувство покоя. Теперь я окончательно уверился: неясность и путаница во время бегства, когда казалось, сквозь какие-то дыры проглядывает чернота другой, совершенно бессмысленной и страшной действительности, — все это было только недоразумение. Слава Богу, теперь это недоразумение кончилось и лучше не думать, как оно могло произойти. По тому, как товарищи по роте, нормальные, здравомыслящие люди, спокойно действовали и говорили, и по тому, как капитан уверенно отдавал приказания и его приказания сейчас же исполнялись, я с удовлетворением чувствовал — теперь все будет происходить, как нужно, в согласии с каким-то установленным порядком, в незыблемость и в доброе значение которого я продолжал еще, как в детстве, подсознательно верить. И, странно, мне все больше казалось, что я узнаю в окружающем что-то, уже виденное, знакомое, привычное. Но как могло это быть, как могла эта обстановка мне напоминать что-то хорошее, бывшее давно, — ведь я в первый раз на войне. А между тем, <как> когда слушаешь знакомый напев, я даже *знал,* что будет дальше.

На следующий день немцы с утра начали обстреливать нас из австрийских 88-мм орудий. Заметив, что молодой пулеметчик робеет, капитан сам сел за 13-2, сказав, чтобы все ложились под стену и только двое дозорных остались на ногах. Я стал направо от капитана, а Раймон налево, в углу.

Теперь, когда я добровольно вызвался на самое опасное, я был доволен собой. В первый раз в жизни я держал себя по отношению к другим людям до конца порядочно, без всякого соучастия в несправедливости. Меня удивляло, как это легко было. О том, что я здесь, чтобы убивать людей, я совсем не думал.

Товарищи сидели под стеной, притихнув, как напуганные дети. Я знал, они молчат, чтобы дрогнувшим или неестественно спокойным голосом не выдать себя и чтобы не отвлечься от борьбы с подымающейся мутью страха. Блестящими на бледных лицах глазами они смотрели, каждый на свою жизнь, которую в любое мгновение мог уничтожить случайный осколок снаряда.

Я без всякого осуждения видел, что они боятся. Наоборот, они все казались мне славными и близкими. Мне хотелось бы охранить их от опасности. И я заметил, что они тоже посматривают на меня одобрительно, словно в награду за мое поведение, признав меня, наконец, своим. Я так хотел этого раньше, и ничего не выходило, а теперь само собой сделалось. Мне даже немного совестно было. Они не знали, что мне ничего не стоило оставаться на этом опасном месте — мне совсем не было страшно. Я даже не оборачивался, когда сзади, шурша, рассыпались осколки.

Один из товарищей, поднявшись, подошел ко мне и дружески тронул за рукав:

— Eh, le frisé, va te reposer un peu*.

Но я только замотал головой. Мне совсем не хотелось уходить с моего места, мне так хорошо здесь было, а он подвергался бы опасности. Мне стало его жалко. Я знал, у него остались дома жена и дочь. Впоследствии я никогда не мог понять, он сказал «frisé», а у меня прямые жесткие волосы.

Мне было приятно, что все смотрят на меня с одобрением, и я держал себя с несвойственной мне спокойной уверенностью в себе и скромным достоинством. Меня это удивляло, но думать об этом не было времени. Мое внимание было поглощено ожиданием появления на площади немцев.

Это была самая обыкновенная, как во всех французских городах, площадь, с памятником убитым в ту войну. На ней никого не было, но на ней должны были появиться немцы. Мне казалось, ни одно место в мире я не видел освещенным с такой силой. Все остальное я воспринимал только как неясные тени по краям оглушительно белой пустынности этой площади.

По наступившей вдруг тишине я понял, что немецкие орудия больше не стреляют. И сейчас же Раймон крикнул: «Танки!»

Жгучая зависть: конечно, не я, а Раймон увидел первый. Но как же я прозевал? Я все время смотрел, не отрывая глаз, и площадь все оставалась пустой. А теперь, как только Раймон крикнул, я увидел: около памятника мертвым стоит огромный немецкий танк. Странно раскрашенный зелеными, коричневыми и желтыми разводами, он стоял, как ископаемое железное чудовище, злобно и насмешливо смотря на нас щелями прорезов в орудийной башне. Вдруг, как корабль на старинных картинах, он опоясался клубами порохового дыма. И сейчас же загремела пальба. Над самым моим ухом Роже оглушительно строчил из своего Гочкиса[1]. Капитан стрелял из 13-2, и по всему гребню пошла перекатываться пальба наших пулеметов и винтовок. Немецкий танк и вышедшие за ним два поменьше в упор били по крепости из орудий и поливали нас пулеметным огнем. Взметая струйки каменного праха, пули чиркали по парапету с прекрасной хищной быстротой. У меня больше не было времени досадовать, что не я первый увидел немецкие танки. Я выстрелил, торопливо рванул и задвинул затвор и опять выстрелил. Мне было весело и жутко от грохота: невозможно отличить звуки наших выстрелов от неприятельских. Я не думал о том, что стреляю в людей и что меня могут убить. Испуганно и радостно улыбаясь, я только старался стрелять как можно быстрее, досадуя, что ружье не автоматическое. Это было увлекательно, как партия в пинг-понг, когда целлулоидный мячик все скорее и скорее перелетает с одного края стола на другой, и ты, забыв все на свете, еле успеваешь его отбивать и только боишься, что долго не выдержишь этой веселящей быстроты. Одно досадно — эта дурацкая маленькая каска у меня на голове.

Не успел я выпустить вторую обойму, как немецкие танки, продолжая бешено отстреливаться, пятясь, ушли назад. Я чувствовал себя, как после ко-

---

* Эй, кудрявый, поди отдохни немного (*фр.*).

[1] Готчкисс (*фр.* Hotchkiss) — французский станковый пулемет.

роткой атлетической схватки. Грудь глубоко дышит, кровь быстрее бежит по жилам и память словно вымыта. Но странно, мне опять казалось, — это не я, а какой-то встроенный в меня робот только что торопливо дергал затвор и стрелял, а я только видел это со стороны.

Все вокруг были радостно возбуждены, глаза блестели на помолодевших лицах. К капитану подошел незнакомый высокий офицер и что-то ему говорил, тонко, по-светски улыбаясь. Когда он ушел, капитан с довольным видом сказал, что это комендант крепости присылал поздравить с успешным отражением атаки и поблагодарить за отличную стрельбу.

Солнце стояло высоко, и майский день достиг предельной силы сияния.

Вдруг сзади раздался неприятно меня поразивший, почти нечеловеческий крик. Вздрогнув, я обернулся. На каменных плитах дергался марокканец. Когда санитары хотели положить его на носилки, он начал, корчась, извиваться на земле. «Действительно, как раздавленный червяк», — подумал я с содроганием. Он кричал каким-то блеющим, пронзительно верещавшим голосом, но хотя я чувствовал по его крику, какая страшная боль режет его внутренности, мне не было его жалко, и я отвернулся с бессмысленным чувством враждебности. Благоуханный воздух, торжество весны, и мы отбили врага. Зачем же этот марокканец безобразием своего страдания портит нашу радость, чего он хочет от нас своим криком, разве мы — здоровые и живые — виноваты, что осколок попал ему в живот; мы сами подвергались такой же опасности.

— Il va claguer*, — сказал Роже с поразившим меня грубым выражением. Но в его глазах блестело что-то нестерпимо светлое.

Так продолжалось весь день и весь следующий день: артиллерийская подготовка и попытки немецких танков подойти к стене. Все время меня не покидало приятное сознание, что я хорошо себя держу, и все это видят и одобряют. Я даже с удовольствием замечал, что во мне появилась такая же спокойная деловитость, как у капитана, точно мы были не на войне, а участвовали в какой-то самой обыкновенной человеческой деятельности. Я стал теперь хорошим солдатом: я больше не думал о том, что меня могут убить. В меня самого вошло так ужасавшее меня прежде равнодушие природы к смерти людей. Я спокойно, как если бы это происходило на экране, смотрел, как они падают, не чувствуя значения этого для каждого из них. Я был теперь совершенно здоров. Потом, когда я вспоминал об этом, мне казалось, что, несмотря на смертельную опасность, эти дни на стене осажденной крепости были самыми легкими в моей жизни.

Наступил вечер второго дня осады. Мы улеглись прямо на камнях под стеной. Рядом Роже, шепелявя и давясь от смеха, громким шепотом рассказывал на плохо мне понятном северном наречии о своих запутанных отношениях одновременно с двумя девицами. Я помню, как он сказал: «Eh ben,

* Он сейчас загнется (*фр.*).

la rose que tu m'as jetée, je te la regarrote»*. Его слова покрыл приглушенный взрыв дружного хохота слушателей. В это время Раймон неожиданно сказал:

— Как ты думаешь, что нас ждет завтра, будем ли мы еще живы? Ты знаешь, мы окружены.

Я ничего не ответил. Я подумал, Раймон не должен был этого говорить. Сегодня больше не было слышно орудий английских кораблей. Значит, они ушли. Что могло остановить немцев? Наша единственная 75-миллиметровая пушка была разбита прямым попаданием. Против немецкой артиллерии, самолетов и танков у нас оставалось только два пулемета 13-2. Но я знал: так же, как о смерти, об этом не надо думать. Мы должны защищать крепость, а все остальное нас не касается. Да мне вообще не хотелось думать. Мне так хорошо было здесь лежать, примиренно с самим собой вспоминая прошедший день. Мне стало досадно. Своими словами Раймон отвлек меня от покоя и радости моих уже сонных мыслей. И так непохоже на него это было. Наоборот, раньше он болезненно раздражался, когда кто-нибудь говорил о безнадежности нашего положения. А в опасности держал себя так, словно ему никогда не приходило в голову, что его могут убить. Что с ним стало? Я посмотрел на него с отчуждением и, чтобы не отвечать, сделал вид, что сплю.

На следующий день я по-прежнему стоял дозорным направо от капитана, а Раймон в углу, налево. Все привыкли, что это наши места. Даже «аджюдан» больше не предлагал нас сменить. Да я бы и не согласился. В первый раз в жизни я делал что-то, признаваемое всеми нужным и важным, в первый раз у меня было место в человеческом обществе, и я не испытывал моего всегдашнего страха, что я живу не так, как все. Наоборот, у меня было теперь спокойное чувство укрепленности моей жизни в чем-то достоверном и прочном.

Я замечал, что Раймон со своего места смотрит на меня с особенно дружеским, необычным для него грустным и задумчивым выражением. Мне становилось его жалко, но почему-то я не мог смотреть ему в глаза и поспешно отворачивался, когда мне казалось, что он хочет со мной заговорить. А между тем мы вовсе не были в ссоре, и я сам не понимал, почему я его избегаю.

Внизу, по площади, около памятника мертвым ходила лошадь. Ее левая передняя нога была перебита пулей. Она все хотела ступить на эту ногу, но нога подворачивалась, как ватная, и лошадь сейчас же отдергивала ее кверху. На это было мучительно смотреть. Потом лошадь, неловко подпрыгивая на трех ногах, проковыляла за выступ стены. Там стоял к нам спиной широкоплечий солдат. Навалясь грудью на парапет, он смотрел вниз. У него под локтем лежала винтовка. «Слава Богу, он пристрелит эту лошадь, а то она только мучается», — сказал я себе и с облегчением отвернулся, боясь пропустить немцев. И, действительно, сейчас же хлопнул выстрел. «Вот и хорошо, — успел я подумать, — солдат ее пристрелил», — но в то же самое мгновение что-то ударило меня по кисти руки.

---

* Розу, которую ты мне кинула, я тебе возвращаю (*фр.*).

— Я ранен, — пролепетал я полуиспуганно, полуобрадованно.

— Ah, les saluds, ils ont tué un type!* — вскрикнул капитан.

Но я уже понимал, что я не ранен — совсем не было боли. Ударивший меня предмет лежал на парапете: вовсе не осколок снаряда, а плоская, с зазубренными краями костяшка. Как странно. Я взглянул на капитана. Он с отвращением обтирал полу шинели, густо заляпанную каким-то серым, похожим на грязь студнем.

— Casimir, ils ent tué ton copain**, — сказал за моей спиной Роже.

Раймон? Не может быть, зачем Роже это говорит, ведь капитан сказал «un type», а не Раймон. Но не мог же Роже так ошибиться. Значит, это тот широкоплечий солдат, вместо того чтобы пристрелить лошадь, убил Раймона. Рассказывали о таких случаях внезапного помешательства.

Чувствуя прилив ненависти к этому злому солдату и желая показать товарищам, как я потрясен смертью Раймона, я закричал:

— Кто его убил?

Все смотрели на меня с удивлением:

— Как кто? Ему снесло полчерепа маленьким разрывным снарядом, знаешь, у немцев есть такие, немного побольше нашего 13-2.

Я сейчас же понял нелепость моего предположения, что Раймона мог убить свой же, французский солдат.

— Подойди к нему, — сказал Роже.

Все знали о моей дружбе с Раймоном и смотрели на меня с участием и любопытством. Я понимал, что они ждут. Я должен подойти к Раймону и, как полагается в таких случаях, сказать что-нибудь с отчаянием и гневом. Например, «ah, les vaches!»*** Товарищи предоставляли мне, как другу Раймона, первому это сделать. Я не мог обмануть их ожидание, но мне это было неприятно. Мне всегда было мучительно неловко, когда приходилось выражать на людях свои чувства принятыми, ритуальными словами и жестами. К тому же мне не хотелось уходить с моего места: здесь так хорошо было стоять, подстерегая появление немцев. И именно теперь, когда все так *правильно* шло, вдруг Раймона убили, прямо как нарочно, и я должен к нему подойти. Это очень досадно было. Ища предлог, чтобы этого не делать, я нерешительно сказал:

— Но как же я оставлю мой пост?

— Ничего, я пока тебя заменю, — сказал Роже, становясь на мое место.

Мне ничего не оставалось, как покориться. Не мог же я сказать, что на самом деле я вовсе не любил Раймона. Меня самого это поразило: мы дружили с самого приезда в полк. Как же это случилось, что я его не люблю? Ведь он все время заботился обо мне, старался, чтобы я не чувствовал своего одиночества иностранца. Правда, в последние дни он так легко раздражался. Нет, это не то, я не мог его разлюбить из-за этого.

---

* Сволочи, они убили одного парня! (*фр.*).

** Казимир, они убили твоего друга (*фр.*).

*** Скоты (буквально: коровы) (*фр.*).

Обходя капитана, который продолжал обтирать с шинели мозг Раймона, я вдруг вспомнил наш разговор, когда мы ложились вчера спать, и мне пришла нелепая мысль: Раймон умер, так как он усомнился, допустил мысль, что его могут убить. Именно после того я начал от него отдаляться, точно боясь заразиться.

Я остановился над Раймоном, не зная, что делать. Раздвинув ноги, он сидел, прислонившись спиной к стене. Шлем свалился с его поникшей на грудь головы, и волнистые каштановые волосы низко свисали перед его лицом, вернее половиной лица. Другой половины не было: ее снесло снарядом. Торчали одни зазубрины обломанных костей черепа. Но уцелевшая сторона было совсем не тронута, только стала землисто-серая.

Я старался вызвать в себе жалость к Раймону, иначе что скажут товарищи, но мои глаза оставались сухими. Я не мог понять, что было передо мной. Я знал, это Раймон, он не мог быть нигде в другом месте. Но я не чувствовал его присутствия. Здесь была тайна. Как будто вместо исчезнувшего Раймона теперь у моих ног сидело одетое в его шинель, неизвестно откуда взявшееся, его изображение, сделанное из особого, невыразимо мерзостного вещества. Это был даже не предмет, как все неодушевленные предметы, которые имеют определенное назначение, а что-то бессмысленное, загадочное и страшное. Это было ничто, и в то же время это был Раймон. Он стал теперь таким, и это навсегда, непоправимо с ним произошло.

Мои мысли путались. То я чувствовал, что мертвое тело Раймона свидетельствует о постигшей его величайшей неудаче. Он больше ничего не может, скоро начнет разлагаться. То, наоборот, мне казалось, ему хорошо было так отдыхать, привалившись спиной к стене и молча, не чувствуя ни беспокойства, ни боли, участвовать в свершении мира, где ему ничего больше не было страшно. Но тут я вспомнил, что это только в моем восприятии тело Раймона производит впечатление покоя, на самом же деле оно ничего не испытывает, в нем нет жизни, нет сознания, оно — ничто.

Я не был сумасшедшим. Разумом я знал, что я умру. Иногда у меня кружилась голова, как на краю пропасти: это неизбежно, от этого нельзя спастись! Но какой-то голос безумно и настойчиво твердил мне: хотя *они* решили, что это неизбежно, вдруг здесь все-таки ошибка, обман. Пока присутствует мое сознание, как представить, что вместо него наступит *ничто*? Все, что я вижу — это и внешний мир, и мои восприятия этого внешнего мира. А если это так, если мои восприятия — часть меня самого, и вместе с тем часть окружающей меня действительности, то с их исчезновением исчезнет и какая-то частица этой действительности, а этого не могло быть: она занимает *все место*, она неуничтожима. Тогда, значит, и я, мое сознание, тоже никуда не может исчезнуть. Правда, я никогда не мог внимательно вдуматься в это ощущение. Верно, боялся, что его убедительность тогда окажется мнимой.

«А как же Раймон, — подумал я, — ведь он тоже, как в вечности, жил с этим ощущением всегда длящегося бытия, а теперь... значит тогда...» Будто

ожидая ответа, я напряженно вглядывался в его поникшее лицо. Но никакого ответа не было. И вдруг я заметил: уцелевшая сторона его лица имела странное выражение. Это был отпечаток в мертвом веществе чувств Раймона в его предсмертное мгновение. Я раньше никогда не видел его таким. В последние дни он был озлобленно возбужден, а теперь в его измученном лице больше не было ни отчаяния, ни гнева. Все его черты прояснились, в них выражался глубокий покой. Но вместе с тем как будто удивленная покорность человека, который понял безнадежность борьбы. Около рта — горькая складка. Я уже где-то видел это выражение скорби и одновременно неземного успокоения. Я вспомнил: Туринская плащаница. Несмотря на все доказательства ее подлинности, я чувствовал несомненный обман — это не могла быть «фотография» Христа. И все-таки, когда я смотрел на ее воспроизведение, я думал о Христе. Это измученное лицо, закрытые глаза, горестный изгиб губ, все говорило о поражении, «испустил дух». Но как будто в самом этом поражении была непостижимая победа.

Но как же это могло быть? Ни одно «доказательство» бессмертия души мне не вспоминалось. Наоборот, невозможность представить себе что-либо по ту сторону трехмерного пространства с неотразимой очевидностью убеждала меня, что жизнь Раймона так же, как жизнь человека на Туринской плащанице, нигде не продолжается, так как нет никакого другого мира, кроме этого, где от Раймона осталось только мертвое тело. Но выражение печали и успокоения в его лице? В этой не занимающей места в пространстве, но неуничтожимой действительности человеческой скорби мне чудилось необъяснимое торжество над смертью.

Я старался внимательно разобраться в моих впечатлениях, чтобы потом написать об этом рассказ. Но когда мой взгляд опять упал на изуродованную сторону головы Раймона, я почувствовал, как во мне шевельнулся ужас. Но тут я вспомнил, что мне некогда об этом думать: каждую минуту немцы могли начать новую атаку. Вернувшись на свое место, я видел, как двое санитаров с носилками, чуть не до земли пригибаясь под обстрелом, подошли к Раймону. Совсем еще мальчики, один в очках, с вьющимися волосами. Я подумал, верно, студент. Трясущимися руками они неловко старались поднять Раймона под мышки, чтобы переложить его на носилки. Но они не могли одолеть мертвую тяжесть его тела. Мне нравилось, как эти мальчики, хотя им, видимо, было очень страшно, старались исполнить свой долг. Потом они поняли, что больше нет смысла куда-то нести Раймона. Оставив его сидеть под стеной, они пошли подбирать других раненых. Теперь тело Раймона съехало еще больше, и его голова еще ниже свалилась на грудь.

Немецкая артиллерия больше не стреляла. «Ну, теперь начнется *настоящее*», — подумал я спокойно. Не оставлявшее меня с тех пор как мы попали в крепость, странное чувство как бы *воспоминания* о том, что будет, говорило мне, что именно сейчас произойдет что-то, что поможет мне окончательно вспомнить. И, действительно, капитан говорит:

— Теперь держитесь. Будет приступ. Стреляйте все вместе.

Под стеной дома на противоположной стороне площади неожиданно появился молодой человек в штатском. Высокого роста, без шляпы, в каком-то зеленоватом, непромокаемом плаще. Он внимательно на нас смотрел. В лучах солнца его волосы отливали золотом.

— Как странно, откуда он взялся? Я выстрелю, чтобы он ушел, ведь там опасно стоять, — сказал Роже. Выстрел грянул. Молодой человек посмотрел на место в стене дома, где, сбив штукатурку, пуля врезалась над его головой, и презрительно пожал плечами. Потом, заглянув в переулок, махнул кому-то рукой. И сейчас же оттуда с грохотом выехал огромный немецкий танк.

— Les chars!* — закричал я, радуясь, что на этот раз я первый увидел.

Мы отбили атаку. Но прежнего подъема не было. Теперь у нас было слишком много раненых и убитых. Снаряды пристрелявшихся немецких орудий ложились все точнее.

С другого конца стены, где стоял наш второй пулемет 13-2, пришел сержант с белым, как у Пьеро, лицом. Он говорит что-то капитану. Я расслышал только: «C'est horrible, mon capitaine!»** Верно, он старается убедить капитана, что больше нельзя оставаться на гребне.

«В чем он видит ужасное? — подумал я с недоумением, — Ведь на войне всегда так бывает».

Капитан с грустным и недовольным лицом пошел за сержантом. Я раньше не замечал, как он сутулится. Может быть, он был гораздо старше, чем я думал. Они скоро вернулись. За ними, волоча пулеметы, шли остатки второго взвода. И, правда, теперь их как будто меньше было, чем прежде.

— Заберите, что можете. Мы переходим в замок, — говорит капитан, не глядя нам в глаза

Тогда я понял: ничего не будет. Не будет того великого, грозного боя, которого я ждал. Точно я слушал, замирая от ужаса и восторга, нарастающие громы рояля и вдруг звуки оборвались и наступила мучительная пустота. Позже я понял, что капитан, как опытный военный, видя безнадежность положения, хотел спасти нас от напрасной гибели. Но тогда мне было на него досадно.

Как только он отдал приказание уходить, защитники с обрадованными лицами, согнувшись, некоторые чуть ли не на карачках, толпой схлынули с гребня.

Выждав, пока все уйдут, мы с Роже взяли по пулемету и пошли за ними. Когда мы переходили открытое место, Роже велел мне пригнуться. Я вспомнил с детства, что стыдно «кланяться» пулям, но по сердитому лицу Роже я почувствовал, что это глупо, и я шел за ним, неловко сутулясь.

В воротах замка жандарм, опасливо косясь на мою винтовку, спросил, не забыл ли я переставить на предохранительный взвод. Меня удивило, как он может теперь об этом беспокоиться.

---

* Танки! (*фр.*).

** Это ужасно, господин капитан! (*фр.*).

Капитан, видимо, не заметил, что я принес пулемет. Положив мне руку на плечо и с грустным укором глядя мне в глаза, он спросил:

— А ты ничего не принес?

Кровь хлынула мне в голову:

— Я принес пулемет, но если хотите, я вернусь посмотреть, что там еще осталось.

Капитан ничего не ответил. У меня было впечатление, что он думал уже о другом.

Я вернулся на гребень. По открытому месту я прошел, теперь не нагибаясь. Возмущение несправедливостью заглушало во мне чувство опасности.

Теперь на бульваре вдоль парапета стены было пустынно. Всюду валялись расстрелянные гильзы, сумки, зарядные ящики, винтовки, банки из-под консервов. Около искалеченного пулемета 13-2 Раймон по-прежнему сидел, прислонившись к стене. Еще несколько трупов сидело и лежало, застыв в неестественных уродливых положениях. Никого живого здесь не было. Только шорох рассыпающихся осколков и камней время от времени нарушал неподвижность светлого дня.

Я постоял, ища глазами, что бы стоило взять. Единственно, что оставалось здесь целого, был дальнозор. Когда я шел обратно в замок, я не нагибался уже не из гордости, а по какому-то равнодушию, которое вошло в меня при виде унылой и грозной пустынности бульвара. Здесь воцарилась смерть... И этот странный, запущенный сад. Мне чудилось, он разросся теперь еще шире и глуше...

— А, ты принес мой дальнозор, — сказал капитан ласково, но рассеянно. Его голубые глаза были застланы каким-то туманом. Мне опять показалось, он замечает происходящее только с трудом и как бы издалека.

— Если бы ты знал, разве так было в ту войну, в скольких атаках и разведках я участвовал, а теперь, — сказал он неожиданно и, стряхнув слезинку, нахмурившись, вскинул голову, — ну, что же, ничего не поделаешь.

Я вошел в комнату, где собрались остатки нашей роты. У всех был вид как у людей, которые только что перенесли нервное потрясение. Один в полном изнеможении лежал на кровати, другой пил из фляги. Его рука тряслась, и тонкая струйка красного вина стекала у него по подбородку.

«Аджюдан» попросил меня пойти в соседнюю комнату посидеть у пулемета. В той комнате окно было обложено новенькими, одного размера, мешками с песком. Пулемет стоял между ними, как в бойнице. Молодой пулеметчик, сузив глаза, проверил прицел и с удовлетворением сказал:

— Ну вот, так в самый раз будет. Посиди здесь, пока я закушу. Я скоро вернусь.

Я сел у пулемета и стал смотреть в окно. Я слышал за собой хлопанье двери и голоса и шаги входивших и выходивших людей. Потом о чем-то задумался и вдруг, словно очнувшись, заметил, как вокруг было тихо. Я обернулся. В комнате никого. Только вдоль стены лежит что-то, покрытое брезентом. Из-под края этого брезента, образуя неровный ряд, торчат голые

восковые ноги. Под полотнищем угадывались очертания семи или восьми человеческих тел, положенных головой к стене. Я знал, бурые пятна на брезенте — засохшая кровь. Эти лежавшие под брезентом люди еще недавно двигались, говорили, думали, чувствовали, надеялись.

Их молчаливое присутствие напомнило мне рассказы о смерти. Я даже подумал: нужно бы это запомнить, чтобы потом рассказывать знакомым, и мне стало досадно, что я не чувствую никакого волнения.

— Pourqoui on n'enlève pas les macchabées?* — недовольно посмотрев на мертвых, сказал вошедший «аджюдан».

Потом вернулся пулеметчик. Я постоял еще немного и вышел во двор.

У входа в погреб сидело несколько человек нашей роты. Так отдыхают крестьяне на завалинке после трудного дня.

— Ah, Casimir, — приветливо окликнул меня товарищ, который назвал меня тогда кудрявым.

Я остановился около них. Снаряды рвались в верхних этажах замка. На мощеный двор с шумом сыпались осколки и куски облицовки.

— Je me suis degonflé, lorsqu'il ont foutu en l'air le 13-2**, — сказал товарищ.

Желая попасть в общий тон, я поддакнул:

— А я, когда они убили Раймона.

Но на самом деле я вовсе не чувствовал себя «degonflé». Я еще не понимал, что все кончено.

Во дворе шли приготовления к обороне. Жандармы суетились у ворот, укладывая мешки с песком и поднося ящики с ручными гранатами. Я с бессмысленным злорадством смотрел на их озабоченные и испуганные лица. Я всегда боялся полицейских и жандармов: им дана власть бить людей. Теперь мне было приятно видеть, что под обстрелом они боятся еще больше меня.

Через двор тяжелой рысью пробежал рослый жандарм с красным, нахмуренным лицом. У него на спине, обхватив его руками за шею, сидел другой жандарм, поменьше. Мне было забавно за ними следить, хотя я знал, что маленький жандарм ранен и это вовсе не игра. Оба скрылись в дверях в погреб. Над теми дверями был прикреплен флажок с красным крестом. На мгновение мне стало страшно: там, в подземелье, среди стонов и криков, врачи в окровавленных халатах режут мясо и пилят кости живых людей, но я сейчас же начал думать о другом.

Приближался вечер. Артиллерийский обстрел все усиливался. «Аджюдан» молча внимательно следил за падающими с карниза обломками. Вдруг, с решительным выражением, он вскочил и, круто повернувшись, застучал каблуками вниз по ступенькам в погреб. Мы пошли за ним.

Кто-то сказал, что немцы предложили нам сдаться, завтра утром комендант должен дать ответ. Сначала я слушал невнимательно. Но вдруг мысль,

---

* Почему не убирают мертвяков? (*фр.*).

** Я потерял дух, когда они разбили 13-2 (*фр.*).

что завтра я, может быть, попаду в плен, меня поразила. В этой крепости, которая обманула меня напоминанием о чем-то знакомом, я попался, как в мышеловке. С мучительным сожалением я вспомнил теперь, как три дня тому назад мы приехали в порт: трубы и мачты пароходов за крышами складов, дальние выстрелы английских кораблей. Их не было видно, но я живо представлял себе, как на груди молочно-ртутного моря они стоят неподвижными серыми глыбами. Именно тогда я успокоился, решив, что теперь, когда море близко, все будет хорошо. Я не понял, что мне давалась последняя возможность спастись. Нужно было достать в порту лодку и на парусе — впрочем, я не умел управлять парусом, ну все равно, на веслах, Ламанш не так широк, — плыть в Англию. А теперь — конец.

Я провел мучительную ночь. Мне еще приходили в голову ребяческие сожаления. Война будет продолжаться, другие люди будут ездить с фронта в отпуск, в Париж, а мне с моим всегдашним невезением — бесславная доля пленного. Когда война кончится, будет стыдно перед знакомыми: я всем написал, что пошел добровольцем в corps franc.

Но за этими мыслями я все время помнил о неустанном и страшном значении того, что происходило. Всё, что я считал добром и правдой, всё, что я любил и во что верил, потерпело поражение. Я с горечью вспомнил, как Мануша говорил: «Зло не сто́ит». А теперь я видел торжество этого зла. Нет, лучше тогда не жить. В первый раз в жизни мне по-настоящему пришла мысль о самоубийстве. Освобождение в моей власти — поставить винтовку между ног и выстрелить себе в рот. Я содрогнулся, представив себе прикосновение к зубам оконечности стального ствола. Я не знал, что так страшно решиться сделать это над собой. От одной мысли, что это может произойти, стоит мне только захотеть, у меня выступил на спине пот. Нет, я никогда не решусь. Да и винтовка слишком длинная. Я не достану рукой до спуска, нужно будет, как делали солдаты в России, разуться и надавить большим пальцем ноги. Это слишком сложно и утомительно. Да и товарищи заметят и помешают. Но тогда завтра — плен. А этого я больше всего боялся. Круг безвыходно смыкался.

Мне не было жалко самого себя. Наоборот, я казался себе каким-то зверьком, вроде крысы или хорька, попавшим в западню. И я чувствовал ненависть к самому себе, к своему ничтожеству, к жизни, к людям и к тому неведомому, что меня создало и довело до этого. Даже теперь, когда я думал о самоубийстве, мои мысли не стали глубже и яснее. Наоборот, они шли, обгоняя друг друга, в какой-то неприятной поверхностной сутолоке и разбегались в стороны. Я не мог додумать их до конца. Боясь, что, может быть, сделал ошибку в ходе рассуждения, я все снова возвращался к исходной точке, и снова начинал рассуждать, и снова путался и не мог прийти ни к какому заключению. Иногда я забывался, но мысль, что завтра мы должны сдаться, вдруг огненной змеей безжалостно проползала в моем сознании, и я просыпался с чувством тоски и неустранимого ужаса и в неверном свете маленькой лампочки под потолком видел нависшие каменные своды погреба

и сидевших и лежавших на полу людей. Спертый воздух, смрад. Я сижу неудобно скорчившись. Затекшие ноги мучительно ноют, но когда я пробую их вытянуть, башмаки упираются в несдвигаемую инертную тяжесть тел спящих товарищей.

*

На рассвете еще никто ничего не знал. На кухне, как всегда, варили кофе.

В коридоре мы столкнулись с капитаном. По его заросшему седой щетиной изнуренному лицу было видно: он провел бессонную ночь. Меня опять поразило странное, как у человека, не совсем понимающего, что происходит, выражение его глаз.

— Мне нужны двое для опасного дела. Но я не хочу приказывать, — сказал он, смотря на меня и на Роже, словно желая убедиться, правильно ли мы его поняли, — пойдите и вызовите охотников.

Мы молчали. Нам казалось, это так ясно: ему нужны два человека, и нас как раз двое.

Подождав немного, капитан грустно спросил:

— Что же вы не идете?

— Ну, вот же мы, тут, — с недоумением посмотрел на него Роже.

— Хорошо, спасибо. Так вот что, — начал капитан, но вдруг задумался. Мне показалось, он не может вспомнить, о чем хотел сказать.

Мы так никогда этого не узнали. Подошел молодой лейтенант и расстроенным голосом передал капитану, что его просит комендант. Капитан, сутулясь, торопливо пошел за лейтенантом. Удаляясь под каменными сводами длинного, плохо освещенного подземного коридора, они заметно уменьшались.

Через несколько минут где-то в недрах замка прогремели выстрелы, и раздался топот ног.

— On a oué le salopard!* — крикнул, пробегая, сержант с бледным лицом. Нам сказали, какой-то солдат внезапно сошел с ума и начал стрелять по своим. Его сейчас же прикончили, но он успел ранить двух офицеров. Мне стало страшно, капитан и тот молоденький лейтенант?

У нас не было времени разузнать. По всем коридорам и лестницам, тревожно переговариваясь, шли солдаты с мешками и ружьями. Было приказано всем выстроиться на площади.

В каменном мешке готического балкончика появился комендант. Высокий, худой, настоящий Дон Кихот, он раскачивался, произнося речь. Парапет балкончика не доходил ему до пояса. Я все боялся, он вывалится.

— Немецкий генерал, командующий группировкой, осадившей крепость, прислал мне предложение сдаться, — начал комендант срывающимся голосом. — Положение безнадежное. Немецкая танковая дивизия и несколько батальонов моторизованной пехоты обложили город. Дальнейшее со-

* Мерзавца убили! (*фр.*).

противление бессмысленно. Сегодня на рассвете я должен был начать переговоры о сдаче. Не думайте, что это было мне легко, — его голос задрожал еще больше, — я проделал всю прошлую войну, мне шестьдесят лет, но в начале войны я поступил в армию добровольцем. Пока оставалась малейшая надежда, я продолжал сопротивление. Но что мы можем? У нас ничего не осталось, кроме винтовок! Ждать помощи неоткуда. Мы отрезаны, наша армия отступила. Английский флот ушел. Немецкий генерал передает мне, что в знак восхищения перед героизмом защитников, которые три дня без поддержки артиллерии отбивали все атаки, он предлагает следующие условия сдачи: гарнизон выйдет из крепости с оружием, немецкие войска воздадут нам военные почести. Но прошу вас, подтянитесь, приведите в порядок одежду. Пусть враг видит, что и в поражении французский солдат не теряет чувство своего достоинства.

Комендант сказал все это с тем декламационным французским красноречием, которое, веря Толстому, я считал несовместимым с искренним волнением, но я видел, что по его старым, худым щекам текут слезы.

Стоявший впереди товарищ попросил меня поправить ему на спине складки шинели. Я никогда не умел делать эти складки, а теперь мне дико было, что в такую минуту он может об этом думать. Мне, наоборот, хотелось иметь растерзанный, выражающий отчаяние вид, «посыпать пеплом голову».

— Пусти, я сам, — сказал товарищ недовольно и назидательно прибавил: — Когда новая одежда измята, то пропадает удовольствие ее носить.

И в самом деле, на нем была совсем новая, на редкость добротная шинель.

Происходило то, чего я больше всего страшился. Но, странно, окружающее нисколько не изменилось. Такое же небо было над нами, так же высился замок, и я продолжал по-прежнему видеть и чувствовать, хотя ничего доброго, ничего человеческого меня больше не ожидало. А мне было даже любопытно.

Прозвучали слова команды, и ворота растворились. Вытягивая шею, я старался рассмотреть, что там снаружи, но за спинами и головами стоявших впереди ничего не было видно. Только день, как будто более светлый, чем во дворе крепости, но нерадостный и неверный.

Ряды колыхнулись. Впереди несли на плечах носилки с телами убитых, а сзади — мы с винтовками. Все как на исторических батальных картинах. Только в действительности все это проще и грубее выглядело, и мне было совестно перед мертвыми, что мы пользовались ими для придания торжественности этому маскараду. Как только мы вышли за ворота, я сразу *их* увидел. Они стояли шпалерами по бокам дороги, а за их спинами танки с наведенными на нас орудиями и огнеметами. Меня поразила мысль: значит, пока комендант говорил речь, а может быть, и раньше, когда ночью я думал о самоубийстве, враг, который вот уже две недели за нами гнался, бесшумно подойдя, стоял у самых дверей.

Это в первый раз я видел их так близко. Непривычный, мутно-зеленый цвет их мундиров придавал им что-то водолазное, странное, словно они пришли сюда со дна моря или с другой планеты.

Крайний, вдруг став навытяжку, вскинул перед собой ружье. Я вздрогнул от неожиданности. Бряцание амуниции сопровождало его отчетливые движения, как звук пружины, щелкающей внутри заводной куклы. Это был худой, долговязый малый, с желтым лицом, с длинной нижней челюстью. Он смотрел на нас оловянными глазами без вражды, но и без участия. И так же равнодушно, все с такой же механической отчетливостью движений, он опустил карабин и отставил длинную ногу в коротком, широком, как ушат, пудовом сапоге. И сейчас же, с таким же бряцанием и щелканьем пружины, вскинув перед собой винтовку, вытянулся во фронт следующий в ряду солдат, смотревший на нас с такой же отчужденностью.

Им, верно, скучно было воздавать почести людям, которых еще вчера они должны были убивать. Их лица будто говорили: «Так велело начальство, мы исполняем, а прикажут, мы так же, не рассуждая, вас перебьем». Мне казалось, они видели в этой машинной бесстрастности свое превосходство над нами, жалкими выродками, подвластными страху, надеждам и сомнениям.

Вполголоса обмениваясь замечаниями, товарищи с беспокойством и любопытством смотрели на «бошей». Но под безучастными взглядами людей-роботов обычное французское оживление с них сходило и, замолкая, они испуганно ускоряли шаг.

Внезапно я вспомнил, что давно ничего не ел, и стал с завистью смотреть на товарищей, которые шли с мешками и подсумками, набитыми консервами и всякой снедью. А у меня ничего не было, кроме ненужной больше винтовки.

*

За чертой города, на пустыре, нам велели бросить винтовки и противогазы. Началось наше превращение из солдат в стадо двуногого скота.

У поворота на большую дорогу, пропуская нас, стоял, выпятив костлявую грудь, перетянутый ремнями пожилой немецкий офицер в фуражке с высокой тульей.

— Passez, Messieurs*, — смотря на нас без всякой доброты, сказал он по-французски, сделав особенное, презрительно-ироническое ударение на слове «Messieurs».

На шоссе мы смешались с длинной колонной понуро шедших французских пленных. Их гнали немецкие конвойные в грибообразных шлемах. Но еще неприятнее, чем эти пешие конвойные, было мелькание белобрысых, все на одно лицо, молодых солдат, которые взад и вперед шныряли вдоль колонны на маленьких автомобилях. Сжимая в руках автоматы, они настороженно оглядывали наши ряды, точно тявкающие на своре, готовые броситься гончие.

---

* Проходите, господа (*фр.*).

*

Нас долго гнали под палящим июньским солнцем по дорогам Бельгии. Мы проходили разрушенные, догоравшие города. Пить и есть почти совсем не давали. А я и без того был изнурен двумя неделями отступления без отдыха, без сна. Но усталость все больше притупляла во мне чувство отчаяния.

У нас у всех был, верно, очень жалкий вид. Я понял это по тому, как встретившийся у околицы полуразрушенной деревни высокий немецкий офицер все повторял с расстроенным выражением: «Впереди много воды». Французское beaucoup d'eau* он выговаривал «поку то». Этот офицер с круглым лицом и коротким носом напомнил мне какого-то знакомого русского интеллигента.

Мы остановились на площади. Никто не знал, чего мы ждем. Говорили, будто другую, такую же колонну пленных. Сесть на землю не разрешали. Впереди, через ряд от меня, стоял высокий худощавый человек в английской форме. В руке он держал за горлышко хрустальный графинчик с водой. Ничего, кроме этого изящного графинчика, у него не было — ни подсумка, ни шинели, ни одеяла, ни пилотки. Он стоял с непокрытой головой. Его волосы разделял безукоризненный пробор и, несмотря на английскую солдатскую куртку, у него был такой вид, будто он в светской гостиной. Я слышал, как на хорошем французском языке он рассудительно объяснял французам, что, так как немцы озлоблены против англичан и обращаются с английскими пленными гораздо хуже, чем с французскими, он решил идти с нами. Почему-то мне казалось, он, верно, не настоящий англичанин, а русский эмигрант. Но из-за усталости и застенчивости я его не спросил.

Время шло. Торжество солнечного жара все усиливалось. Под высоким небом островерхие дома с проломленными снарядами стенами и наша длинная колонна на площади чем-то напоминали мне картины «старого» Брегеля. Я видел все с необыкновенной отчетливостью. Ничего удивительного в том не было в такой погожий день: воздух был дивно прозрачен. Но мне что-то сверхъестественное представлялось в этой прозрачности, какое-то обещание, приглашение увидеть что-то, что должно было сейчас открыться. Перед тем мне все мерещилось, что из-за угла длинного серого дома на краю площади уже показывается голова другой колонны. Но теперь я вдруг *вспомнил*, вовсе не этого ждут, а чего-то гораздо более важного — сейчас объяснится тайна жизни. Опять, как когда я лежал под бомбами, за всем окружающим начинало проступать что-то сокровенное, к чему так давно стремилась моя душа. Преграды, которая прежде мешала мне видеть, больше не было. Я подумал: это верно потому, что я скоро умру, может быть, уже умираю. Но от этой мысли мне стало не страшно, а, наоборот, радостно. Меня вывели из рассеянности крики немецких конвойных. Головы и плечи стоявших передо мной заколыхались и двинулись вперед.

---

* Много воды (*фр.*).

*

Нас посадили в заколоченные товарные вагоны. Впоследствии, когда я узнал, как возили депортированных, я понял, что нас везли сравнительно не так уж плохо. Всего 50, а не 60 человек в теплушке. Но у меня осталось воспоминание о чудовищной тесноте, точно меня в самом неудобном положении запихнули в какой-то узкий ящик. И мысли все безрадостные.

Мне всегда хотелось всем нравиться. Я никому не делал ничего хорошего, но почему-то ждал, что все будут меня любить, как в детстве дома все меня любили. Когда же я чувствовал к себе вражду, на меня это действовало угнетающе: какая-то пустота, в которой страшно жить. Пустота, и в то же время так тяжело давит, и тоска... Ведь даже на войну я шел с надеждой заслужить любовь людей. И вот теперь конец — я во власти немцев, они смотрят на меня как на врага. Да я и в самом деле им враг, враг того человеконенавистнического идеала, которому они служат. Даже немецкая земля казалась мне враждебной. Сквозь отдушину в стенке вагона я видел незнакомую мне страну. Сначала освещенные солнцем виноградники на горном берегу Мозеля, потом равнина. Но никакого любопытства я не чувствовал.

На третий день усталость, отвратительное ощущение мучительного телесного неудобства и муки голода и жажды вытеснили в моем сознании все человеческое и желанное. Ни надежды, ни воли, ни памяти у меня больше не было. Только темный страх пойманного зверя.

Около Берлина с нами поравнялся дачный поезд. В зеркальных окнах — женщины в весенних платьях, офицеры в застегнутых на все пуговицы зеленых, как у русских лицеистов, мундирах. Они сидели чинно и прямо, даже не посмотрели в нашу сторону — людей низшей, смешанной с неграми расы, которых за попытку сопротивления немецкому порядку везли теперь в заколоченных скотских вагонах куда-то на восток.

## IX

Бараки, песок, три ряда колючей проволоки. Вышки с пулеметами.

Перед кухнями длинные хвосты. Ослабленные голодом, мы почти теряли сознание под лучами палящего солнца. Немецкие унтеры прохаживались вдоль очередей. Если кто-нибудь пытался протиснуться вперед или возникало замешательство, лупили палками без разбора, как лупят скотину. Раз я видел, как два пожилых капрала били алжирца. Огромный, поджарый, темнолицый, в каком-то зеленоватом бурнусе, он был величественно красив: кондор, верблюд, «корабль пустыни». Из широких рукавов бурнуса коричневые руки выпрастывались крылиным взмахом. Ноги — выточенные из черного дерева палки. Вместо того, чтобы броситься бежать, как все обыкновенно делали, он присел на подгибающихся коленях и, ломая над головой руки, стал рыдающим голосом умолять немцев. От неожиданности те поначалу даже испугались. Но, видя, что он и не думает сопротивляться, они

принялись бить его, еще пуще. Все больше входя во вкус и тяжело дыша, они начали похотливо смеяться, показывая гнилые стертые зубы. В их лицах трудолюбивых честных немцев вдруг проступило что-то порочное.

*

До войны, случалось, у меня не было денег на обед, но мне никогда не приходилось голодать по-настоящему. Голод изменил теперь все мое ощущение жизни и все мои мысли. И днем и ночью я чувствовал под ложечкой неотступную боль. Это была ноющая пустота. Она вселилась в меня, как какое-то злое и страшное существо, которое вгрызалось в живую ткань моих внутренностей. «Ты должен есть, ты должен меня насытить или я все сглодаю внутри тебя», — говорило это безжалостное существо с такой грозной властью, что все силы моего сознания были сосредоточены только на одном: как достать еды. Я не мог больше терпеть, и во мне вызывало чувство недоумения и отчаяния, что никто не дает мне есть, хотя все знали, как мне это необходимо.

Недели через две, перед отправкой в «командо», нас повели в душ. Раздеваясь, я не узнал своих ног. Нагнувшись, я увидел, что у меня между стегнами, хотя я стоял, составив ноги, широкий проем, отчего они казались кривыми. Мне стало жалко себя, и на глазах у меня выступили слезы, но я должен был поспешно выпрямиться. Теперь, когда я нагибался, у меня кружилась от слабости голова. Я посмотрел на товарищей. Люди разных сословий, разного возраста и телосложения, они все казались теперь похожими друг на друга. Один повыше, другие поменьше, но у всех одинаково отекшее, грушеобразное тело: узкая грудь и раздутый живот, лопатки остро торчат, странно ничтожные ножки, по-детски слабые безмускульные руки. Мы копошились в тесной бане — бледные, человекообразные личинки. Сквозь струящуюся сверху тепловатую воду я с отвращением чувствовал гнусно-шелковистые прикосновения дряблых скользких тел.

*

Нас привезли в местечко, которое называлось Добрин, но ничего доброго нас здесь не ждало.

Мы должны были рыть осушительные канавы. Главный широкий ров для стока малых канав немцы называли «канал». Раньше мне никогда не приходилось работать физически. Мне казалось, я не вынесу и несколько часов этой пытки. Я и потом не мог привыкнуть к тяжелому и постылому труду, а эти первые окаянные месяцы, когда от истощения я еле держался на ногах, были истинной каторгой.

Как я ненавидел светлые, долго не заходящие летние дни. Казалось, беспощадное солнце, не двигаясь, стоит в вышине беспредельно простертого над плоской равниной неба.

— Schön, klar!* — говорил вахман, подняв лицо и вдыхая полной грудью.

---

* Как хорошо, какой ясный день! (*нем.*).

И правда, какой ясный день. С удивлением вспоминая, как мир прекрасен, я жадно вглядывался в облака. Они плывут, клубясь, тая, переходя одно в другое. Остаются только легкие, редеющие клочья, как мазки белил на высокой голубой стене. И как чудесно все освещено: и дно «канала», где мы, пленные, рабы, копошимся с кирками и лопатами, и зеленоватые мундиры вахманов на берегу, и почти выцветшая голубая, с коричневыми заплатами полотняная куртка на сгорбленной спине старого немца-работника. Солнце старается преобразить этот день нашей каторги в рай на земле, приглашая нас увидеть мир глазами Ренуара. Но я не могу последовать этому приглашению солнечного света. Я сейчас же почувствовал изнеможение. Покой недостижимо далекого неба не избавлял меня от люто сосущего голода и нестерпимой усталости во всем теле. Я думал с отчаянием: «Солнце стоит высоко, еще долгие, долгие часы будет длиться эта мука».

Теперь меня занимало только одно: что можно извлечь съедобного из всего, что я видел. Когда я смотрел на золотую рожь, я не думал о том, как она красива. Я только прикидывал, как бы ухитриться потихоньку, чтобы не заметил вахман, нарвать колосьев. Мы растирали их в ладонях и ели твердые, зеленовато-серые зерна. Среди всякой «ненужной» травы я научился различать горькие листья попова гуменца. Потом поспела картошка. Мы ее ели сырой. Твердая, противная. Мы все страдали поносом.

Около плетня одного крестьянского двора, совсем близко от канала, лежал дохлый теленок. Точеная, маленькая голова с обозначавшимися бугорками на лбу, чистенькая, белая с черными пятнами шерсть. Совсем как игрушечный, новенький, пасхально-сахарный. Я все думал, вот бы съесть. Итальянец-мясник, лаская теленка масляным взглядом, уверял, что, если хорошенько зажарить, совсем не будет запаха. Но другие товарищи, показывая на мух, которые, жужжа копошились в шкуре падали, говорили, что мы с ума сошли.

Из труб крестьянских домиков, прозрачно дрожа в хрустальной неподвижности воздуха, подымались дымки. «Верно, это жены бауэров[1] пекут хлеб», — думал я, живо воображая, как толстые, румяные немки вынимают из печи тяжелые, чудно пахнущие горячие хлебы с коричневой, словно лакированной, коркой. И мне представлялось высшим блаженством, больше которого не может быть на свете, пожить месяц в таком домике, ничего не делая, и только с утра до вечера есть этот ситный хлеб и пить молоко.

Что-то знакомое мне чудилось в Поморской равнине, пересеченной вдали перелесками. Там польская граница, а за Польшей — Россия. Какая судьба: двадцать лет тому назад я уехал оттуда на запад, а теперь почти вернулся. Но путешествие прервано, моя жизнь остановилась, как заколдованная. Я раб в Померании.

Казалось, день никогда не кончится, и все-таки, меня это почти удивляло, наступал вечер. Я видел, как небо, сначала еще прозрачное, потом зеле-

[1] Bauer (*нем.*) — крестьянин.

ное, розовое, синевея, меркло. В луже, в которой оно отражалось, менялся цвет воды. Это, верно, было очень красиво. С чувством сожаления и щемящей грусти я думал, что пропускаю, не могу удержать видение прекрасного, но у меня не было сил. Все заслоняла смертельная усталость, и я только ждал, когда «шахтмейстер»[i] скажет, наконец, «Feierabend!»* и вахман засвистит отбой. Эти последние минуты перед шабашем тянулись невыносимо долго. Ложась спать, я чувствовал такое отчаяние от неутихающего голода, что мне хотелось плакать. Многие товарищи уже получали из дому продовольственные посылки, а я еще нет. Вспоминая, кто из друзей и знакомых мог бы мне прислать посылку, я недоумевал, почему они этого не делают. Их лица соединялись в моем мечтании с коробками консервов, колбасой, шоколадом.

Вдруг вспоминая, что может помочь молитва, я говорил: «Боже, неужели Тебе не жалко меня, разве Ты не видишь, как я мучаюсь от голода. Я знаю, надо безропотно переносить страдания и нельзя молиться об удовлетворении своих желаний, но мне так хочется есть. Сжалься надо мной, прости мне мое малодушие, мою слабость, пошли мне еды, пожалуйста, сделай это, и Ты увидишь, каким я стану хорошим, как исправлюсь, не буду больше думать только о себе, а буду стараться делать добро другим людям».

В эти мгновения я вовсе не думал о том, есть Бог или нет, как вообще больше не задавал себе метафизических вопросов, которые прежде меня так мучали. Только одно я знал с несомненностью: мне нужно насытиться. И если даже в мире, познаваемом разумом, нет никого Всемогущего, кто мог бы спасти меня от всего тяжелого и страшного, моя мольба должна быть исполнена. Меня не смущало противоречие между этими двумя представлениями. Вспоминая учение о том, что если человек по-настоящему чего-нибудь пожелает, то это обязательно исполнится, я старался представить себе разверстое небо и в нем Кого-то неопределенного. Только глаз, как в церквах, Всевидящее око. Это — Бог. Он смотрит на землю, и я делаю страшное усилие, чтобы вообразить луч, идущий от Его глаза ко мне. Вот Он увидел, как в смраде и темноте я лежу на полу, на гнилой соломе под нарами, на которых спят тяжелым сном мои товарищи. И я стараюсь с таким напряжением, что у меня выступают на глазах слезы, вообразить, что Богу стало меня жалко, и Он согласился исполнить мою просьбу: завтра придет посылка или каким-нибудь другим, нежданным и чудесным способом я смогу насытиться.

С этими мыслями я проваливался в сон и снова, как днем, начинал нагружать телегу землей. Напрасно я говорил себе: «Теперь ночь, отдых, даже немцы не заставляют меня работать, и я могу спать и видеть сны, о чем хочу». Но я все продолжал наваливать на телегу лопатины земли, всю ночь, без передышки, до самой побудки. И также всю ночь я сквозь сон безостановочно расчесывал ногтями кожу на всем теле, горевшую нестерпимым зудом, хотя у меня было меньше вшей, чем у других.

---

[i] От Schihtmeister (*нем.*) — наблюдающий за работами младший чин.

* Шабаш (*нем.*).

Или мне снилось: я рою канал, но только его скаты и дно не из земли, а из коричневого медового пряника. Я втыкаю заступ в эту пряничную землю и могу ее есть, сколько захочу, но почему-то не ем, хотя не понимаю, что мне мешает.

Из моих тогдашних снов я любил только один, но он мне редко снился. С волнением, узнавая знакомые улицы, я гуляю по Парижу. Я только не могу вспомнить их названия. Но вот вхожу в длинную и тесную улицу и вдруг вспоминаю: это улица Святого Якова. Я знаю — здесь должна быть кондитерская, а дальше, на углу, еще другая. В витринах пирожные, торты, плитки шоколада. Странно, я в штатском и у меня в кармане деньги. Какое волшебное чувство — быть на свободе, иметь деньги: могу войти в кондитерскую и есть пирожные. Но что-то мне мешает. Что же это? Вертится на кончике языка, а не вспомнить. Что-то печальное, как смерть. А улица Святого Якова уже меняется, не удержать. Теперь это совсем другая, незнакомая улица где-то на окраине. Ее высокие дома обступают меня, с угрозой теснят, и все вокруг так уныло. Всю ночь я с беспокойством ищу и не нахожу забытую дорогу в ту часть города, где кондитерские, где я был счастлив. «Как же я так заблудился?» — спрашиваю я себя с мучительным недоумением, и, хотя я в Париже, мне грустно, но в этой грусти какая-то горестная услада.

Только раз мне снился сон, в котором не было ничего съестного. Вначале это был необыкновенно приятный, радостный сон. Мне снилось, я лежу грудью на краю зеленого холма. Холм круто обрывается над равниной. Там народное гулянье, справляют какой-то праздник, все счастливы, веселы. Я все больше вытягиваю шею, чтобы лучше рассмотреть, быть ближе, и вдруг делаю неловкое движение, мое тело сдвигается, неудержимо скользит по траве откоса, и с чувством жгучего, непоправимого сожаления, что гибну по собственной оплошности, я падаю в пропасть вниз головой.

*

Когда «шахтмейстер» Франк, уже немолодой, но еще крепкий жилистый человек, брал в свои длинные цепкие руки кирку, был сразу виден работник. Но когда он садился, он вдруг казался совсем дряхлым: его тело сваливалось на стуле грудой костей. Только высовывалась из ворота длинная черепашья шея. Почти не утолщаясь, она переходила в обглоданное, как у мумии, лицо с хитрыми, маленькими глазами и плотоядными сильными челюстями.

Таким я застал его, когда товарищи послали меня на кухню с жалобой, что суп слишком жидкий. Нашим продовольствием заведовала жена Франка, толстая женщина с необыкновенно коротким носом на плоском круге лоснистого румяного лица. Она давала домашние обеды немцам-столовникам, но мы не получали даже тех нескольких кружочков кровяной колбасы, которые нам полагались.

Когда я вошел, Франк читал газету. Дрогнувшим от волнения голосом — мне показалось даже, его глаза увлажнились — он, хлопнув ладонью по столу, с убеждением сказал:

— Вот, наш фюрер приказывает: в эту войну никто не должен обогащаться!

Фрау Франк, подойдя к нему, провела рукой по рыжеватой щетине его волос. Ее растроганный, ласково насмешливый взгляд говорил, как она понимает и ценит неисправимый идеализм мужа.

Заметив меня, Франк повернулся ко мне, и его глаза весело засветились в глубоких глазницах.

— Ну-с, мусье, вам чего?

Я передал жалобу товарищей: суп — вода и слишком мало хлеба.

С неожиданной для меня непонятной восторженностью Франк всплеснул руками и, чуть не плача от веселья, принялся объяснять, как что-то радостное для всех нас, что, наоборот, до сих пор он слишком много отпускал нам хлеба, а теперь должен будет давать меньше. Говоря это, он с обезьяньей размашистостью раскачивался на стуле, то весь складываясь, то снова распрямляясь, причем его шея вдруг во всю длину выскакивала из широкого ворота. Я боялся, мне станет дурно.

— Вот сколько! — показал он, сложив щепотью большой и указательный пальцы. И он смотрел на эту изображаемую его пальцами ужаснувшую меня, почти вдвое против прежнего меньшую пайку хлеба с таким выражением, точно его самого удивляло, но и восхищало, до чего тоненькие теперь будут ломти. Все его лицо, лучась морщинами, светлело в улыбке умиления.

Мое ходатайство привело только к тому, что капрал Кох стал особенно следить за мною во время работы. Как только остановлюсь передохнуть, кричит: «Los, Mensch, arbeiten!»*

Он уверял, что маленький ребенок сработает больше, чем я. Раз он даже прицелился в меня из винтовки, делая вид, что хочет меня пристрелить. Но он ни разу меня не ударил. То, что я один, один из всех товарищей, понимаю по-немецки, внушало ему необъяснимое уважение, хотя и смешанное с враждебностью. «Professor — Brotfresser»**, — говорил он про меня, задумчиво и неодобрительно качая головой.

Он был неказистый, коротконогий, с тупым выражением на деревянном солдатском лице, с глазами навыкате и скобленными до лоска мослаками. Только в пьяном виде он становился по-настоящему опасен. Тогда он ходил вдоль канала, надоедая всем бессмысленными распоряжениями и криками «arbeiten!». Или вдруг ему приходило в голову, что мы роем канал не в том направлении, в каком нужно, и он начинал уговаривать головного товарища свернуть в другую сторону. Показывая на колышки, вбитые в землю Франком, товарищ, размахивая руками, взволнованно говорил:

— Contremaître, Frank, contremaître!***

— Франк? — спрашивает Кох, вдруг бледнея и угрожающе надвигаясь на товарища грудью. — Г... Франк. Я сам «шахтмейстер», я здесь приказываю,

* Давай, работай! (*нем.*).

** Профессор-дармоед (*нем.*).

*** Нарядчик, Франк, нарядчик! (*фр.*).

я хозяин, — кричал он, все более пьянея начальническим гневом, и, сняв с плеча карабин, бил товарища прикладом.

Но на следующий день он появлялся угрюмый и молчаливый. Ни на что не обращая внимания, понуро сидел на берегу канала, положив карабин на колени и уныло уставившись перед собой пустым, безучастным взглядом. Когда кто-нибудь из «цивильных» немцев пытался с ним заговорить, он, сокрушенно качая головой, только вздыхал: «Alles Scheisse!»* Раз даже добавил с убеждением: «Krieg, Scheisse!»** В один из таких смирных дней Коха товарищи уговорили меня спросить у него, не может ли он купить нам папирос. Долго не понимая, о чем я прошу, Кох с грозным удивлением смотрел на меня своими мутными неподвижными глазами. Я видел, как медленно доходит до его сознания значение моих слов. Наконец, он понял и, к моему удивлению, согласился.

Возбужденно переговариваясь, мы стали считать деньги. Стоявший недалеко от нас немец из «цивилей» сказал, растроганно улыбаясь и качая головой:

— Arme Gefangene!***

Я мельком на него взглянул. Высокий, худой, очень некрасивый, лицо неприятно белое, все в бледных рябинах. Над большим хрящеватым носом — рыжие брови кустами.

У меня не было ни пфеннига. Я умолял товарища, прозванного Крысой, дать мне взаймы марку. Крыса, чуть не плача, говорил, что это не его деньги. Я все упрашивал, в отчаянии и страхе, что пропущу такой счастливый, единственный случай. Мне так хотелось курить. Все это время я чувствовал, что высокий немец смотрит на нас, внимательно прислушиваясь. Он, видимо, старался вникнуть в непонятные ему звуки чужой речи и догадаться, о чем мы говорим. И вдруг, поняв, он просветлел лицом и, откинув голову, спросил меня с какой-то гордой и радостной решимостью:

— А почему вы у меня не хотите взять?

Он протягивал мне марку. Мне было удивительно: немец предлагает мне деньги. Он смотрел на меня чуть торжественно, и все его некрасивое лицо светилось изнутри ласковым, добрым выражением.

— Verboten****, — недовольно сказал Кох.

Высокого немца звали Вицке. Наша дружба особенно упрочилась, когда он узнал, что я понимаю по-английски. Теперь, приходя на работу, он прежде всего решительными шагами направлялся к нам и радостно спрашивал:

— А где здесь инглишмен?

Но за двадцать с лишним лет он, видимо, совсем забыл английский: с трудом подыскивал слова и произносил их, как немецкие.

Я сказал:

---

* Все г... (*нем.*).

** Война г... (*нем.*).

*** Бедные пленные! (*нем.*).

**** Запрещено (*нем.*).

— По-английски легко читать, а говорить трудно.

— Ах, нет, как раз наоборот, говорить легко, а читать трудно, — ответил он убежденно.

В ту войну он был пленным в Англии. Однажды он показал мне фотографию: верхом на лошади мальчик в картузике с пуговкой и в куртке с вензелем на кармашке.

— Это ваш сын, он жокей? — спросил я, хотя костюм мальчика смутно мне напомнил что-то чуждое здешней жизни, не немецкое. Вицке долго, не понимая моего вопроса, смотрел на меня с удивлением и все старался мне что-то объяснить. И вдруг я понял — этот мальчик вовсе не его сын, у него не было детей, а сын английского фермера, у которого он работал, когда был военнопленным в Англии.

По словам Вицке выходило, что этот фермер и его жена были добрые справедливые люди и хорошо его кормили.

— А они как, тоже были вами довольны? — спросил я с любопытством.

— Ах, как довольны! — сказал Вицке и по растроганному, задумчивому выражению его лица я с удивлением увидел, что он вспоминает о плене в Англии как о чем-то, может быть, самом хорошем, что было в его жизни.

Я спросил его, почему, хотя я могу объясниться по-немецки, мне так трудно его понимать, особенно когда он говорит с другими «цивильными» немцами. Он улыбнулся:

— Вы учили Hochdeutsch*, а мы говорим на Platt**. На Hochdeutsch говорят только *большие* в городе.

Это было время, когда после разгрома Франции начались ежедневные воздушные налеты на Лондон. С трудом удерживая торжествующие похотливые улыбки, немцы возбужденно говорили о «большом наступлении». Особенно Кох казался потрясенным сознанием немецкого могущества.

— Польша капут! Норвегия капут! Голландия капут! Бельгия капут! Франция капут! Лондон капут! Alles kaputt machen!*** — кричал он, охваченный патриотическим восторгом.

Показывая, как бомбы падают на Лондон, он долбил воздух кулаком, приговаривая: «Бум! бум!», и разражался торжествующим деревянным хохотом.

Слушая эти разговоры о немецких победах, Вицке хмуро молчал, и на его бледном, с безжизненно закрытыми веками лице появлялось неодобрительное, замкнутое и печальное выражение. А когда я его спрашивал о положении на фронте, он, отводя глаза в сторону, уныло говорил: «Ich weiss nicht...»****

Однажды, видимо, желая, чтобы я хорошо его понял, он, смотря мне в глаза и особенно медленно и внятно выговаривая каждое слово, сказал:

---

* Литературный немецкий язык (*нем.*).

** Простонародный говор (*нем.*).

*** Все изничтожить! (*нем.*).

**** Не знаю (*нем.*).

— Ты не думай, когда в ту войну я был солдатом, я ни одного француза, ни одного англичанина, ни одного русского не убил. Я всегда стрелял в воздух. Все мы одинаковые люди, это только *большим* нужна война.

Он давно уже говорил мне «ты» и от меня требовал того же.

— Что с того, что я немец, а ты француз, пленный? Я такой же бедный рабочий человек, как и ты. Мне все равно, что нам запрещено с вами разговаривать. Для меня пленные такие же люди как мы.

Я скоро заметил, он работает через силу. Когда, расставив ноги, он медленно замахивался киркой, я чувствовал, смотря на его узкую длинную спину и жалко обвисавшие на тощих ягодицах заплатанные плисовые портки, что только приобретенная с детства сноровка позволяла ему справляться с работой. Он даже ходил, трудясь, переставляя свои длинные, худые ноги как деревянные.

— Müde?* — спрашивал я.

— Müde, — соглашался он, печально и просто смотря мне в глаза.

Я хотел выпытать у него, стало ли при Гитлере рабочим людям жить лучше, чем прежде. Он мне только ответил: «Богатые остались богатыми, а бедные — бедными», но больше ничего не хотел сказать.

Вообще он мало и неохотно рассказывал, но очень любил слушать, когда товарищи рассказывали ему о своей жизни во Франции. Каждого расспрашивал, что тот делал дома, женат ли, есть ли дети. Когда товарищи показывали ему свои семейные фотографии, он долго и внимательно их рассматривал, спрашивая, как приходятся друг другу мужчины, женщины и дети, снятые на фотографиях. Детей он всегда находил красивыми. По улыбке, морщившей его губы, я видел, ему доставляло удовольствие представлять себе, что у каждого из нас была дома счастливая жизнь среди любящих нас людей.

Один товарищ, набожный католик, попросил меня спросить у Вицке — католик он или протестант. Вицке посмотрел на меня с любопытством и, покачав головой, сказал:

— Я евангелист, но не хожу в церковь.

С моим всегдашним страхом разговоров, которые могут привести к спорам и отчужденности, я примирительно заметил:

— Единственная религия — это стараться быть добрым к другим людям.

Это была одна из тех мыслей, в справедливости которых я не сомневался. Но они не становились моей волей и не меняли моего поведения по отношению к другим людям. А Вицке усвоил эти мысли всем своим существом. Мои слова произвели на него необыкновенное впечатление. По тому, как он вдруг оживился, я понял, что они отвечали самому задушевному его убеждению, которое он только не умел сам выразить. Все его лицо осветилось радостью. Ласково посмотрев на меня, он сказал:

— Вот, вот, это самое главное, а там католик или лютеранин — не все ли равно? Мы, маленькие, неученые люди не можем даже в этом разобраться.

---

* Устал? (*нем.*).

Только раз я видел его рассерженным. На улице немецкие мальчишки стали бросать в нас камнями. Вицке заметил и вдруг пошел на них, что-то громко и гневно крича, задыхаясь и угрожающе размахивая руками. Мальчишки отбежали за угол дома и смотрели на него оттуда, стараясь сохранить вызывающее выражение, но у них были испуганные лица.

— Was ist los?* — сонно и недовольно спросил Кох.

*

На соседнем лугу пас стадо мальчик-поляк. Он был высокенький, лет двенадцати, но под черными лохмотьями — такие на пугала вешают — плечики еще по-детски круглые. Когда, мелькая своей русой головой, он гонял коров, норовивших зайти в рожь, казалось, по лугу мечется веселый солнечный зайчик. Что-то смышлено-шустрое, славное и мужественное было в открытом взгляде его серых глаз.

Подойдя к краю канала и смотря на нас с жалостью и страхом, но не в силах сдержать оживленный блеск глаз, он бойко спросил:

— Quelle heure est-il?**

Довольный произведенным его словами впечатлением, мальчик радостно рассмеялся. Обрадованные товарищи спрашивали, где он научился по-французски. Но «который час» было все, что он знал. Я один мог с ним объясниться. К моему удивлению я почти все понимал, когда поляки говорили медленно. Я стал расспрашивать мальчика о военных слухах. Он сказал, что немцев всюду бьют и война скоро кончится. Все это было далеко от истины, но мне понравилась его непоколебимая вера в победу. Я сказал:

— Англичане опять бомбили Берлин!

— Юж немо цо[1], — кивнул мальчик с таким видом, будто все это давно ему хорошо известно, и, нахмурившись, добавил дрогнувшим от злобы и обиды голосом: — И правильно, как они у нас все разбили, так и им надо сделать.

Вицке с доброжелательным любопытством слушавший наш разговор, спросил его, откуда он. Мальчик исподлобья на него покосился. Все оживление сошло с его лица, сменившись упорно-замкнутым, настороженным выражением.

— Оттуда, — махнул он рукой в сторону польской границы.

— Да как же ты сюда попал? — смотря на него с высоты своего большого роста, простодушно спросил Вицке.

— А так: пришли ночью, отца взяли, а нас на телегу и привезли сюда, — сказал мальчик, как говорят о стихийных бедствиях. Но по тому, как, отвернувшись, он стиснул зубы и странно шевелил бровями, я видел, он делает усилие, чтобы не заплакать.

Вицке покачал головой с тем недовольным, осуждающим выражением, которое появлялось у него всякий раз, когда при нем говорили о войне и о немецких победах.

---

* Что такое? (*нем.*).

** Который час? (*фр.*).

[1] Здесь: поделом; так и надо (*польск.*).

— Что, твой отец у «бауэра» работал?

— Нет, он сам был «бауэр», — гордо ответил мальчик.

— Wie gross?*

— Zwei Pferde**.

— Kleiner Bauer***, — сказал Вицке одобрительно. Ему, видимо, понравилось, что отец мальчика был «маленький бауэр», свой брат, бедный рабочий человек.

— А кто же теперь дома работает?

— Наш двор немцам отдали. Все, как есть, — дом, землю, коней, плуги. Нам даже взять ничего не позволили, — и опять показывая на восток — dort alle Polen kaputt!****

— Как же ты живешь теперь? — спросил Вицке с участием.

— Что делать? — сказал мальчик, смотря ему прямо в лицо. Его твердый взгляд был уже не детский, а как у взрослого человека, знающего, что в жизни некому жаловаться.

Но как только Вицке отошел, глаза мальчика опять заискрились неудержимым радостным оживлением. Внезапно обхватив меня руками за локти, он стал вокруг меня прыгать, весело меня тормоша.

— Ты не бойся этого немца, он добрый, — сказал я.

Лицо мальчика опять приняло жесткое, упорное выражение.

— Они все добрые! — усмехнулся он злобно и недоверчиво.

Каждый день он отдавал свой полдник кому-нибудь из французов. Он положит под куст, а француз выкарабкается со дна канала, будто за нуждой пошел, сядет под куст орлом, а сам — хлеб в карман. Но, несмотря на все предосторожности, Франк скоро это заметил.

*

К каналу подъехал небольшой серый автомобиль. Из него вылез Бубуль, а за ним другой немец, оказавшийся, когда он распрямился, таким огромным, что было непонятно, как он мог поместиться в этом маленьком автомобиле, который рядом с ним казался игрушечным.

Бубуль был начальником всех дренажных работ в округе. Толстенький, подвижной и веселый человечек с круглым лицом. Это французы прозвали его «Бубуль». Приезжий немец следовал за ним, высокий, как слон. По тому, как Бубуль суетился у него под ногами, было видно, что это очень важный начальник. Они остановились на краю рва, и Бубуль что-то говорил, показывая на окрестные поля. Высокий молча слушал, изредка кивая головой, слишком маленькой для его огромного туловища, наподобие еще не открытого памятника, задрапированного непромокаемым балахоном. Он смотрел себе под ноги, но вдруг, вращая глазами, быстро взглядывал в сторону с бес-

---

* Крупный? (*нем.*).

** Две лошади (*нем.*).

*** Мелкий фермер (*нем.*).

**** Там все поляки пропали! (*нем.*).

покойным и подозрительным, яростным, но в то же время застенчивым выражением.

Навстречу им, вобрав живот и мерно, как заводной, подымая ноги в начищенных до блеска сапогах, шел в зеленом егерском костюме Франк. Исполняя священный обряд, отчетливо — раз! раз! — печатал шаг. Чувствовалось — только смерть может его удержать.

Остановившись недалеко от приезжих, Франк замер с вытянутыми по швам руками и почтительно, всем телом клонясь вперед по косой линии. Я подумал, он не сможет и несколько секунд сохранить равновесие в таком положении, но он стоял, как вкопанный. Не подавая ему руки, Бубуль стал у него что-то спрашивать и, обращаясь к высокому, пояснял ему слова Франка, точно Франк говорил не по-немецки, а на каком-то туземном наречии, непонятном такой важной особе. Я видел, как Франк, что-то докладывая, показал рукой на луг, где мальчик-поляк пас стадо.

— Эти вахманы ничего не хотят делать, — громко и недовольно сказал Бубуль. — Кто начальник караула? Позовите его сюда!

Франк протяжно крикнул:

— Унтер-офицер Бёзе!

Бёзе только что вернулся с фермы солдатки фрау Засс, и по его лицу было видно, он беспокоится, не заметило ли начальство его отлучки.

Бёзе мы не любили и боялись больше всех других вахманов. Он хотел казаться одним из тех немцев «честных служак», чья вера в призвание Германии править миром основана на глубоком убеждении, что никто лучше немцев не способен установить разумный и всеобъемлющий административный порядок. С педантическим усердием выводя буквы своим щегольским писарским почерком, он составлял бесконечные донесения и списки: имя, где и когда родился, семейное положение, вероисповедание, занятие и сколько у каждого из нас денег, сколько белья и других вещей, и все это по многу раз, для разных отделов лагерного управления. Он разработал подробнейшее расписание нашего дня, вплоть до того, когда и сколько минут мы должны чистить обувь и платье, и строго следил за неукоснительным выполнением этого расписания. Когда же из лагеря пришло предписание не препятствовать религиозным проявлениям, Бёзе стал требовать, чтобы по воскресеньям перед обедом мы несколько минут сидели молча, опустив голову и сложа ладони перед грудью.

Один из всех вахманов он говорил нам «вы», словно желая подчеркнуть своей холодной вежливостью, что между ним и нами не может быть никаких других отношений, кроме предписанных уставом, и что он исполняет свои обязанности, не позволяя себе поддаваться никаким непосредственным личным чувствам.

Несмотря на его вежливость, он казался мне самым опасным из всех немцев. Поляки мне говорили, что в начале войны он был полицейским в соседнем городке и бил польских женщин по щекам. Поляки особенно его ненавидели. Он делал вид, что не понимает по-польски, а сам был родом

кашуба и только с приходом к власти Гитлера переменил свою польскую фамилию на немецкую.

Я присматривался к нему с тем смешанным чувством страха и любопытства, с каким смотришь в зоологическом саду на хищных зверей. Он был коренастый, грузный, с затылком циркового борца. Лицо смуглое, но не бронзовое, как у южан, а цвета золы. Его мрачные, красивые, широко расставленные глаза смотрели нагло и в то же время с каким-то беспокойным и самолюбиво оскорбленным выражением.

Мне доставило теперь злорадное удовольствие видеть, как этот самоуверенный сорокапятилетний человек, как провинившийся ученик, тяжело переводя дыхание, рысью подбегал к начальству. Не добежав нескольких шагов, он остановился и так же, как Франк, врос в землю, уставившись в лицо Бубуля и высокого инспектора немигающим взглядом. Его глаза будто хотели вскочить в душу начальства.

— Вы старший? — спросил Бубуль недовольно. — Поляки дают пленным хлеб и рассказывают небылицы, а вы что смотрите?

От оскорбления лицо Бёзе стало бледно-серым. Сделав над собой усилие, он, отчеканивая каждое слово, но почтительностью голоса давая понять, что вполне разделяет недовольство и виды начальства и только ищет случая доказать свое усердие, сказал:

— Нас всего четыре вахмана, а вспомогательный цивильный вахман Вицке позволяет пленным и полякам делать все, что им угодно.

Бубуль с довольной улыбкой посмотрел на инспектора. Ему, видимо, понравилась эта солдатская готовность, но, повернувшись к Бёзе, он опять сделал строгое лицо.

— Одного вахмана на каждых десятерых пленных вполне достаточно. Не забывайте, нам солдаты нужны на фронте. Война еще не кончена, — сказал он, смотря на уничтоженного Бёзе с насмешливым презрением. Тот хотел что-то пролепетать, но Бубуль, крикнув «кругом», отвернулся от него и стал что-то оживленно говорить большому немцу.

Шаркая ногами по траве, они пошли через луга к оставленному на дороге автомобилю. Франк, продолжая держать руки по швам, следовал за ними, почтительно держась несколько позади. Они остановились около поляка-пастушка. Я видел, Бубуль строго ему выговаривает, а мальчик, подняв голову, смотрит на него без страха и что-то ответил с таким открытым и самостоятельным выражением на своем умном личике, что даже Бубуль не мог удержаться от улыбки и только погрозил ему особым немецким помахиванием руки: драть тебя, мол, нужно.

Забежав вперед, Франк открыл дверцу автомобиля. Согнувшись и с трудом пролезая внутрь, высокий инспектор сказал:

— Vielen Dank, vielen Dank*.

---

* Премного благодарен (*нем.*).

*

В перерыве на обед Вицке по своему обыкновению не пошел к другим немцам, а сел на землю тут же, где работал. Вынув завернутый в газету хлеб, он отрезал складным ножиком маленький кусочек и стал есть с усталым и безучастным видом.

Я невольно все взглядывал на его медленно жующий рот. Зная, что он всегда делится своим хлебом с кем-нибудь из французов, соседей по работе, я с беспокойством спрашивал себя, кому он даст сегодня: мне или пленному из фламандцев, который, по другую сторону от Вицке, сидел на корточках на скате канала, как орел-стервятник. Он смотрел в рот Вицке с бесстыдной собачьей мольбой в голубых глазах. Вицке поманил его, и фламандец поспешно к нему подошел. Вицке дал ему пол-ломтя намазанного сырцовым салом хлеба, и фламандец, вернувшись на свое место, принялся есть. Я смотрел, как плотоядно работают его сильные челюсти и как его горло, заглатывая разжеванные куски, двигается вверх и вниз. Я с живостью чувствовал, как пища проходит дальше по его пищеводу, и вдруг мне открылось, что это и есть все его существо: пищевод, как червь, с отверстием глотки в верхнем конце и анальным отверстием внизу, а все остальное — лоб, нос, глаза, которые без всякого выражения смотрели теперь внутрь, грудная клетка, руки, ноги, все это только надстройка, нарост, вспомогательные придатки. И это не только он, а всякий человек, я сам так устроен. Мне даже показалось странным, как прежде я этого не замечал. Несмотря на голод и отчаяние, что Вицке дал хлеб не мне, а фламандцу, я почувствовал отвращение. К горлу подступила тошнота, и, поспешно отвернувшись, я стал смотреть в сторону.

Под кустом ракиты сидел Бёзе и невзрачный мужичонка в тяжелых, вымазанных глиной сапогах, прозванный французами «Зеро». Бёзе уже кончил закусывать и что-то рассказывал, чистя ножиком яблоко. Моя ненависть к нему еще усилилась от раздражения, что он срезает кожуру. Ведь в кожуре все витамины! Воображая, как я надкусил бы это великолепное, продолговатое, желтое с красными щеками яблоко, я с необыкновенной живостью почувствовал на зубах его хруст, его желанную, сахарную, прохладную вязкость.

Срезаемая кожура, вздрагивая, все ниже свисала длинной, свивающейся лентой и, наконец, качнувшись, упала на черную вскопанную землю. Я подумал: когда Бёзе встанет, я незаметно ее подниму и съем. Насупив брови, Бёзе грыз яблоко. Видимо, он рассказывал Зеро о мальчике-пастушке. Я слышал, как он несколько раз злобно и с недоумением повторял «поляк». Мне стало стыдно, что я хотел есть кожуру после него, но я не мог отвести от нее глаз. В это время раздалось знакомое глухое покашливание и слабый голос позвал меня по имени. Это Вицке. В надежде чего-то доброго и хорошего я подошел к нему. Он протягивал мне на ладони маленький кусок хлеба. Чувствуя в груди и в животе теплоту благодарности и уже беря хлеб, я все-таки спросил:

— А как же вы сами, это вас не лишит?

Он грустно покачал головой:

— У меня никакого аппетита нет, мне совсем мало хлеба довольно.

У него были бледные десны и желтые, стертые как у старой лошади, зубы.

Я сажусь около Вицке и ем, но все смотрю на кожуру у ног Бёзе. Вот он доел яблоко и встал. Все с тем же сумрачным выражением закинул за плечи карабин. Поправляя пояс, переминается, все глубже вдавливая сапогами в черную жирную землю обрезки кожуры. Верно, опять собрался на ферму фрау Засс. За его спиной Зеро насмешливо переглядывается с другими немцами.

Но у Бёзе, видно, другое было на уме. Переваливаясь при каждом шаге половинками толстого гузна, он неторопливо шел к мальчику-поляку. По мере того, как он к нему приближался, воцарялась недобрая тишина. Мы все смотрели ему вслед, не в силах отвести глаз. Подойдя к мальчику, он что-то сердито у него спросил. Мальчик слегка побледнел, но отвечал ему, не опуская взгляда.

— Still stehen!* — зловеще бледнея, исступленно закричал Бёзе. Мальчик невольно вытянулся, руки по швам. Бёзе наотмашь ударил его по щеке каменно тяжелой рукой. Голова мальчика мотнулась, он едва устоял на ногах, но не крикнул, не заплакал, а все так же, не смигивая, смотрел Бёзе прямо в глаза. На его вдруг осунувшемся лице проступило выражение суровой, не детской силы.

— Quelle brute!** — не выдержав, громко сказал Крыса.

— Was?*** — грозно обернулся Бёзе. Он все так же неторопливо и тяжело сошел по откосу на дно канала. Молча, с опущенными зрачками, подошел к Крысе и замахнулся. Правда, ему мешал карабин, но по тому, как он неловко и медленно отводил назад руку, мне показалось, что, несмотря на всю свою силу, он не умеет драться. Забывая, что еле держусь на ногах от истощения, я подумал: «Ведь я его побил бы».

Теперь глаза Бёзе открылись. Они странно бегали с беспокойным и преступным выражением, и все его изуродованное лицо дрожало. В углу губ застрял клочок серой пены. Крыса увернулся, и кулак Бёзе ткнул его в плечо. Задыхаясь и все больше бледнея, Бёзе снова замахивается и, стеная, как женщина, еще несколько раз ударил. Крыса защитился, подняв локоть.

*

Прошло несколько дней. Я видел, что Бёзе не может забыть унижение выговора, полученного им из-за мальчика-поляка. Он уже не старался казаться вежливым. По малейшему поводу орал, заходясь бешеным, как звериный рев, криком. Одного товарища так двинул прикладом, что того свезли в

* Смирно стоять! (*нем.*).

** Какая скотина! (*фр.*).

*** Что? (*нем.*).

госпиталь. Мы чувствовали себя спокойно, только когда он уходил на ферму фрау Засс.

Мальчик-поляк по-прежнему отдавал свой хлеб кому-нибудь из французов, и я боялся, что Бёзе это заметит.

Мундир у Бёзе был гораздо лучше, чем у других вахманов. Он вообще очень следил за своей наружностью. В этот день он пришел на канал в новой, с лаковым козырьком, фуражке гвардейского образца.

— Да ты теперь совсем офицер, — сказал ему Зеро.

— Что, идет? — весело спросил Бёзе, охорашиваясь, вертя головой и оживленно блестя глазами. — Почему только офицерам носить? Чем мы хуже?

Он вынул из кармана пачку дорогих папирос и, раскрыв ее, великодушно предложил Зеро. Восхищенно покачивая головой, Зеро корявыми, запачканными глиной пальцами осторожно выколупал одну папиросу из коробки.

— Откуда у тебя такие?

— Фрау Засс, — усмехнулся Бёзе, многозначительно подмигивая.

Зеро опять с еще большим уважением покачал головой.

— Да, с женщинами надо уметь обойтись. Главное ...., тогда женщина с ума сходит, все отдаст, — улыбаясь глазами своим воспоминаниям, говорит Бёзе с тонким выражением человека, умеющего жить.

— Я прямо скажу, я еще могу доставить женщине удовлетворение, лучше, чем молодой. Что фрау Засс? Были и другие, очень высокопоставленные. — Он с важностью помолчал, давая понять, что не все может рассказывать.

Зеро слушал его, открыв рот, и в знак одобрения и восхищения только цокал языком. Говорили, у самого Зеро было восемь человек детей и злая старая жена его бьет, когда он приходит домой пьяный.

— Ты, может, думаешь, — продолжал Бёзе, — я всю жизнь в деревне жил, не умею вилки-ножа держать? Нет, я понимаю обращение. Сама бюргермейстерша говорит, что я очень представительный. А женщины, знаешь, любят видных мужчин. Теперь я похудел, конечно, а до войны, смотри, какой был, — он вынул из бумажника и протянул Зеро фотографию.

Как раз в перерыве на обед шел проливной дождь, и мы укрылись в тесном угольном сарае. Я стоял так близко от Бёзе и Зеро, что мог рассмотреть фотографию. Это был Бёзе в форме «С.А.»: лицо вдвое толще и шире, чем теперь: жирный шар, насаженный на пухлые, круглые плечи. В этом раздутом лице только с трудом можно было различить теперешние отекшие черты Бёзе.

— Mein richtiges Format*, — улыбнулся Бёзе, любуясь на карточку. Заметив, что я тоже смотрю, он, покосившись на меня самолюбиво-подозрительным взглядом, продолжал, повышая голос:

— Так, с виду я не очень большой, а силен. Когда служил в полиции, у меня, знаешь, такая резиновая дубинка была: только раз ударишь, — он

* Мой настоящий формат (*нем.*).

замахнулся, с мокрым сладострастным шипением всасывая воздух сквозь стиснутые зубы, — aber ganz kaput*.

Лицо его все более мрачнело.

— Мы, немцы, хорошие парни, только слишком уж добрые. Но если нас заденут, мы умеем за себя постоять. Знаешь, мальчишка-поляк, — сказал он с недоумением, — ведь он продолжает давать хлеб французам. Я сам видел. Паршивый народ! Поубивать бы их всех! Только даром немецкий хлеб жрут.

Дождь прошел так же внезапно, как начался. Выйдя из сарая, Бёзе осматривается, поеживаясь шеей, и свистит. Вдыхая полной грудью живительно-свежий после дождя воздух, мы идем к каналу. Еще падали последние капли, а уже светило солнце и над омытыми лугами и ржаным полем раскинулась через полнеба радуга.

Бёзе остался у сарая. Расставив ноги, он мочится на угол и издает громкий, как треск раздираемого полотна, звук.

— Schwein, was machst du?** — с шутливой угрозой обернулся он к Зеро, будто это тот сделал. Но его лицо сохраняло озабоченное выражение. Поправив за спиной карабин, он с решительным видом направился в сторону, где поляк-пастушок пас стадо. Тот смотрел на него настороженно и, видимо, почувствовав опасность, вдруг бросился бежать. Сняв на ходу карабин, Бёзе щелкнул затвором. Я видел, как Вицке пытался его задержать. Но Бёзе с презрительной усмешкой отстранил его своей сильной рукой и, держа винтовку наперевес, пошел быстрее. Солнце было у него за спиной, и на светлом лугу он казался выпиленным из черного железа: только голова и плечи обведены сиянием света. Когда он свернул к ржаному полю, стало видно спокойно-сосредоточенное выражение его, словно помолодевшего, лица. Внимательно следя за бегущим мальчиком, он, слегка наклонившись, шел теперь упругим, легким шагом.

«Не может быть, что он хочет пристрелить мальчика», — подумал я. Это было бы так чудовищно, так невероятно, что я не мог этому верить, и в то же время я чувствовал, как ход времени зловеще замедляется. Вся действительность, как в страшном сне, омывалась теперь каким-то мглистым, неверным светом — зеленым, черным, красным.

Мальчик, согнувшись, бежал, быстро перебирая босыми ногами. Он был уже у самого края большого ржаного поля, но мне казалось, он совсем не продвигается вперед, а только на месте семенит маленькими, уторопленными шажками.

С неожиданной для его грузного тела гибкостью Бёзе стал на одно колено и, вскинув приклад винтовки к плечу, прицелился. Меня поразила звериная точность его движений. Сказывали, он был охотником, поставлял дичь генералу, начальнику здешнего военного округа.

---

* Прямо в лепешку (*нем.*).

** Ты что делаешь, свинья? (*нем.*).

Мне вспомнилось, как я раз сам был на охоте. Я стоял в кустах и увидел зайца. Легким скоком он приближался ко мне по скошенному полю. Из-за ствола соседнего дерева охотник повел ружьем и выстрелил. Заяц сделал еще скачок, но его вытянутое в воздухе тело словно сломалось посередине, передние лапы подвернулись, как ватные, и, ткнувшись мордой в землю, он покатился по жнивью. Еще мгновение, и он лежал на боку маленьким серым трупом. Меня поразил этот невместимый сознанием непоправимый переход от стремительного бега к неподвижности смерти. Я продолжал все видеть и воспринимать, но это будто внутри меня оборвался заячий скок и вместо него водворилась невыносимая, устрашающая пустота. А ведь теперь был не заяц, а славный, с живыми ясными глазами, мальчик, который отдавал нам свой хлеб.

Пастушок все-таки добежал до ржаного поля. Расступясь перед ним, высокая рожь опять сомкнулась. Прокладываемый им путь уже терялся на ее серебряной поверхности, волнуемой только ветром и проходящими тенями облаков.

Бёзе, держа палец на спуске, зорко всматривался, стараясь различить среди колыхания колосьев исчезающий след мальчика. С тем страшным усилием, с каким стараешься иногда проснуться, я сказал себе: «Он не должен выстрелить, мое сознание, все мое существо не могут этого допустить». И, словно исполняя мою волю, покачав головой, Бёзе встал с колена и, закинув карабин за плечо, в раздумье медленно вернулся на свое место.

Мы все вздохнули с облегчением. Только теперь я заметил бледные лица товарищей. С их губ сходили забывшиеся странные улыбки.

Потом видели, как Бёзе пошел на ферму, где мальчик работал. Товарищи, которые рыли канавы около этой фермы, рассказывали вечером, что после прихода Бёзе хозяин-«бауэр» так бил мальчика, что сломал у него на спине толстую палку.

Я больше не видел мальчика. Меня перевели на другой, дальний участок канала.

Нам казалось, добринская каторга никогда не кончится, но, как всему в жизни, пришел конец и дренажным работам. Ударили морозы. Ни заступ, ни кирка больше не брали оледенелую землю. Нас перевели в соседнее село работать на фермах. Прощаясь с Вицке, я сказал: «Спасибо за все, что вы для меня делали. Я никогда не забуду вашей доброты».

Но на самом деле я уже о нем не думал. Я не знал, что нас ждет на фермах, но мне не терпелось скорее уехать из проклятого Добрина. Занятый мыслями о будущем, я был уже далеко отсюда и сказал эти готовые слова благодарности, не думая об их значении. Тем больше меня удивило, какое впечатление они произвели на Вицке. В волнении, сжимая мою руку своими большими костлявыми пальцами, он все силился что-то выговорить, но губы его дрожали и, отвернувшись, он махнул рукой. Из его выцветших глаз по морщинистым худым щекам текли светлые, прозрачные слезы.

Я увидел его снова только следующей осенью. Мы возили на тракторе картошку на станцию Линде. Когда мы проезжали Добрин, товарищ, толкнув меня в бок локтем, сказал: «Ты не узнаешь, это Вицке!»

И я его увидел. Он стоял у двери маленького, в два окна серого домика. Меня поразила болезненная худоба его некрасивого лица и всего костлявого тела. Или прежде, видя его каждый день, я привык к этой его страшной худобе, перестал ее замечать, или она с тех пор увеличилась, но только теперь она бросалась в глаза, была главной чертой всего его облика.

Узнав нас, Вицке очень обрадовался. Взволнованно размахивая руками и крича что-то приветственное, он стал подпрыгивать на месте. Его долговязая нескладная фигура нелепо, как картонный паяц, взлетала в воздух. Что-то жалкое и трогательное было в том, как этот пожилой человек, худой как обреченная на живодерню кляча, выражал свою радость нас видеть прыжками и криками.

Прошел еще год. Мы опять возили картошку. Со станции возвращались пешком. На выезде из Добрина немецкие рабочие, чинившие дорогу, закусывали, сидя на обочине. Вицке сидел в стороне. Меня опять поразила еще больше обозначившаяся костлявость его сгорбленной спины и огромных ног, согнутых в коленях острыми углами. В его мертвенно-бледном лице не было ни кровинки.

Я подошел к нему поздороваться. Он с трудом поднял голову и посмотрел на меня. На мгновение на его губах появилась слабая улыбка, но сейчас же, словно он вдруг забыл обо мне, его лицо снова приняло усталое, отсутствующее выражение. Я выпустил его руку. Она тяжело выскользнула из моей разжавшейся ладони и, как неживая посторонняя ему вещь, легла рядом с ним на траву.

Показывая на него глазами, стоявшая тут же женщина, которая, видимо, принесла Вицке полдник, равнодушно сказала нашему вахману:

— Совсем плох, грудная болезнь.

Докурив папиросу, недовольный задержкой вахман крикнул нам:

— Los Mensch, es ist bald zwölf!*

Через несколько дней мы снова шли пешком со станции. Те же немцы работали на дороге. Но Вицке с ними не было. Я узнал одного из рабочих — это был Зеро. Я спросил у него:

— А где же Вицке, передайте ему от меня привет.

Не узнав меня, Зеро смотрел, озадаченно и недоверчиво улыбаясь. Наконец, поняв, о чем я спрашиваю, обрадованно сказал:

— Witzke kaputt, tot**.

— Когда?

— Вчера похоронили.

---

* Давай, человечина, скоро двенадцать! (*нем.*).

** Вицке капут, умер (*нем.*).

## X

На ферме картошки давали вволю, да и хлеба хватало. «Бауэр» понимал — как нужно кормить скотину, так и пленных нужно кормить, а то не справятся с работой. Главное же, стали регулярно приходить посылки из Франции. Но мы еще долго набрасывались на еду со звериной жадностью. Страх никогда не насытиться. Картошка больше уже не лезет в горло, но вспомнишь добринский голод и снова запихиваешь в рот ложку за ложкой. И каждый раз было жалко вставать из-за стола.

В моем новом «командо» нас было всего пять человек. Поселили нас на конюшне, в каморке для сбруи. С самого начала мы зажили настоящей коммуной. Когда получали из дому посылки, делили съестное и табак, всем поровну. Да и с соседним «командо» скоро завязались дружеские отношения. Я с удивлением вспоминал теперь, в каком узком кругу я жил до войны: несколько «вырванных с корнем» завсегдатаев монпарнасских кафе, собрания у Мануши — и это все. А среди людей, на улицах, в метро, в учреждениях, я чувствовал себя чужим. Мне и в голову не могло прийти с кем-нибудь из них заговорить. Я стеснялся и моего дурного французского языка, и моих непонятных им мечтаний, и моего неучастия в заботах их жизни, казавшейся мне скучной и страшной. Мне не о чем было с ними говорить. Я боялся их и в то же время чувствовал себя перед ними виноватым. Ведь это они создавали своим трудом все, чем я пользовался: одежду, еду, освещение, дома, улицы, знание, книги. До войны меня так мучило, что я не живу, как все, как принято, что у меня нет ни жены, ни постоянного заработка. Какой-то неприспособленный, отверженный, никому не нужный. А теперь я занимал определенное «общественное положение» — жил, как тысячи моих товарищей, так же тяжело работал, как они, был такой же французский военнопленный. И они, не смущаясь моим странным для них именем, тоже смотрели на меня как на своего, понятного им человека, который думает и чувствует, как они, как «мы все». А денег и жен у нас ни у кого не было.

В моем новом «командо» я особенно подружился с Бернаром. Сын крестьянина из-под Шартра, он весил, когда родился, всего полтора кило. «Comme un rat!»* — рассказывал он со смехом. И было видно, что недоносок. Уж очень мал, с цыплячьей грудью и какая-то незаконченность в чертах лица. Смотря на его широкие ноздри и необыкновенно маленький, с плоским затылком череп, я вспоминал из какой-то книги по антропологии, что в Европе еще попадаются индивидуумы с чертами неандертальского человека. Но, словно в награду за невзрачность, природа наделила Бернара неистощимой жизненной энергией. Он лучше всех переносил недоедание, усталость, холод и жажду, спал четыре часа и был непрерывно чем-нибудь деятельно занят. Он мог сработать больше и быстрее, чем самый здоровенный немец, и без натуги подымал с земли стокиловый мешок муки. Вообще, несмотря на

* Как крыса! (*фр.*).

щуплость и малый рост, был и в работе и по всем замашкам — гигант, богатырь, Гаргантюа, ел больше всех, иногда даже ночью просыпался и съедал котелок оставшейся от ужина холодной картошки. И голос у него был как у Соловья-разбойника: крикнет на лошадей или засвистит, и вправду стекла дрожат. Одного занятия ему было мало. Делая какую-нибудь работу, он успевал совершить еще множество посторонних действий и видел, чувствовал все, что происходит на ферме, в поле, в лесу, как я чувствовал только мою жизнь. Раз во время уборки мы возвращались вечером с дальнего поля. Усталый после тяжелой работы, я лежал на возу, блаженно предвкушая, как сейчас мы приедем, и я смогу, наконец, лечь на койку и открыть книгу. Багровое солнце уже садилось за рощу на краю поля. Бернар правил лошадьми и одновременно читал одну из тех маленьких книжонок, какие я видел до войны только в железнодорожных киосках, еще недоумевал, кто их покупает: «Полный роман — 70 сантимов». Мы въехали в лес. На мгновение, отрываясь от чтения, Бернар иногда мне показывал кнутом на какое-нибудь ничем для меня не ознаменованное место и говорил, что там ночевал заяц или олень перешел дорогу. Вдруг, не останавливая лошадей, он соскользнул с воза и бросился в чащу терновника и молодых елок. Через мгновение вернулся с большим грибом-боровиком в руке и, догнав воз, влез на ходу и снова погрузился в чтение своей книжонки. А я чувствовал такую усталость, что лежи на дороге слиток золота, и то, кажется, не слез бы поднять. Удивительнее всего мне было, как Бернар увидел этот гриб. Ведь уже темнело.

У него не руки были, а какие-то мозолистые лапки со звериными коготками, но он с чудесной ловкостью умел делать этими лапками всякую работу в поле и на ферме: и мотор починить, и сбрую, и одежду, и сапоги, и ловить блох, мышей, крыс, воробьев. Ни одной летающей или бегающей твари он не мог видеть без того, чтобы не попытаться ее поймать, если только была к тому малейшая возможность. При этом он начинал двигаться неимоверно быстро, каким-то зверино-проворным подскоком. Раз он даже ухитрился убить палкой зайца. Впрочем, это была темная история. Бернар уверял, что «заяц сам на него бросился».

Я не мог спокойно смотреть, как он убивает полевых мышей.

— Они же вредные, — удивлялся он, — урожай едят.

— Да тебе что за дело, они немецкий урожай едят, — говорил я в сердцах.

Он обещал мне больше этого не делать, но это было свыше его сил. Тогда, чтобы задобрить меня, он стал уверять, что убивает маленьких мышенят из жалости, так как теперь, после того, как свезли с поля снопы, они все равно погибнут от холода.

Меня отталкивала эта непонятная мне жестокость, а с другой стороны, я видел, что как бы Бернар ни был утомлен, ему и в голову не могло прийти не задать вовремя корм лошадям — скорее сам бы недоел и недоспал. Летом в обеденный отдых он не присаживался, все носил в ведрах воду на конюшню. И всегда заботился, чтобы лошади не работали через силу. Раз, чистя коровник, мы по неопытности навалили на телегу слишком много навоза.

Макс, старый костлявый мерин, несмотря на все наши понукания, не хотел сдвинуться с места. Подошел Бернар, сердито на нас взглянув, сказал:

— Il est comme un homme, il a compris et il dit merde!*

Как-то само собой пошло, что самая тяжелая, грязная и неприятная работа наваливалась на Бернара. И немцы, и поляки, и мы сами так привыкли к этому, что стали считать чем-то естественным. Когда нужно было сделать что-нибудь особенно трудное, посмеиваясь, говорили: «Бернар сделает». И Бернар действительно делал с готовностью и почти гордый тем, что его зовут на подмогу. Впрочем, и звать не нужно было, он сам первый бросался, когда видел, что кто-нибудь не справляется с работой и нужно пособить. И странно, никто не был ему за это благодарен, принимали как должное, словно считая, что он обязан делать все самое тяжелое, так как ни на что лучшее не способен.

Он вставал раньше нас всех, еще до света. Задавал корм лошадям и чистил их. На его попечении было четыре лошади. За остальными четырьмя ходил Станислав, работник-поляк, сорокалетний курносый рябой мужик, до того похожий на русского, что я все не мог привыкнуть, что он только с трудом меня понимает, когда я говорил по-русски. Из нашей каморки я слышал, как они чистят скребницами лошадей. Вот глухое с тонким присвистом ржание Макса и голос Бернара, укоризненно говорящего: «Regarde, comment que tu es, vieille baderne!»** Вот Станислав, Станис, как мы его сокращенно называли, спрашивает: «Бернар, повдежь, а ты там ве Франции коние машь?» Бернар со смешком: «Никс компри»***. Вот истерически заржала Пиша, маленькая красная лошадь, с еще не изуродованными работой женственно-грациозными формами. «Эх, Пиша-Мариша», — укоризненно вздыхает Станис. Польские, французские и ломанные немецкие слова, ржание и топанье копыт, все сливалось в одну общую беседу, в которой лошади, казалось, принимали участие на равных с Бернаром и Станисом началах. Я слушал, чувствуя, как мне в душу входит непонятное успокоение. А вечером Бернар кончал работу позже всех. Мы уже давно отдыхали, когда, убравшись с лошадьми, он входил, наконец, в нашу каморку. С маленькой улыбочкой, сообщив нам что-нибудь, казавшееся ему занятным, но нам совсем не интересное, например, что «La petite bourrique était grincheuse aujourd'hui»****, он влезал на свою койку под потолком и сейчас же принимался за работу, чинил себе или кому-нибудь из нас обувь или платье, а то бил блох.

Вшей у нас давно уже не было, но как мы ни кипятили белье, одежду и одеяла, все не могли избавиться от блох. Говорили, это в песке они водятся или на курах. Для меня это было ужасное огорчение. После ужина остается до сна час-полтора, хочется почитать хоть немного, а тут сиди и охоться за прыгающими с восхитительной резвостью маленькими, как точки, насеко-

* Он, как человек, понял и говорит... (*фр.*).

** «Посмотри, на что ты похожа, старая галоша!» (*фр.*).

*** Я не понял (*нем.-фр.*).

**** Маленькая кобылка (буквально: ослица) сегодня поварчивала (*фр.*).

мыми. Но скоро я заметил, что товарищи дают бить блох Бернару. Бывало Эжен, укрывшись одеялом, лежит с книгой, а Бернар выискивает блох в его рубахе. Сначала меня это возмущало, но кончилось тем, что я стал делать, как все. Раз в воскресенье Бернар убил в моем одеяле больше двухсот блох. Все ногти у него были в крови.

Постепенно мы засыпали один за другим, а Бернар, возясь с чем-нибудь, продолжал рассказывать свои военные воспоминания. Скоро мы знали их наизусть. Рассказывал он плохо, торопясь, шепелявя, смеясь в самых неподходящих местах и время от времени возбужденно вскрикивая: «Ah, gars!»* Обычно я засыпал, когда он доходил до события, казавшегося ему очень смешным: как они отбили немецкую атаку, и только один очумелый молодой немец вскочил к ним в окоп и кричит: «Никс капут!» Но сквозь сон я еще долго слышал, как Бернар, захлебываясь, продолжает рассказывать и вскрикивает: «Ah, gars!» То, что все уже спят и никто его не слушает, его нисколько не смущало.

Только иногда ему вдруг казалось, что все над ним смеются, считают деревенщиной. Он мрачнел, отвечал всем грубо, грозил, что больше никому ничего не будет делать: «J'aime bien rendre service, mais je ne veux pas qu'on me prenne pour un con»**.

Но эти припадки угрюмости продолжались у него недолго. Потребность в деятельности для других была в нем слишком сильна.

Бернар был единственный деревенский у нас в «командо». Остальные — Эжен, Жан, Морис — фабричные. Они уже понимали, что ничем не отличаются от молодых людей буржуазного класса, также могут причесываться по-модному и танцевать новые танцы и что поэтому нет никакого основания для того, что они должны работать, а «папенькины сынки», ничего не делая, могут хорошо одеваться и ходить в дорогие дансинги. И они были коммунистами, так как думали, что в Советском Союзе хотят дать рабочей молодежи такие же возможности хорошо одеваться и веселиться, какие во Франции только у богатых. Один Бернар не завидовал буржуазным городским молодым людям, с их прическами и дансингами. Наоборот, смотрел на них с презрением, как на бездельников, и не только мирился с тяжелой деревенской жизнью, а любил ее и ни за что не променял бы на городскую.

— Ah, mon pote, ils seront perdus dans la nature!*** — светясь непередаваемой, насмешливой улыбкой, говорил он о Жане, Эжене и Морисе, забывая, что из всех городских именно я был самый неприспособленный к деревенской жизни. Но мне он почему-то все прощал и не только не смеялся надо мною, что я не умею работать, а, наоборот, всегда подсоблял мне. Возможно, что моя непостижимая для него способность говорить на нескольких языках и целыми часами, не двигаясь, читать толстые книги вызывала в нем такое же уважение, как во мне его неутомимость, сноровка, умение делать любую

* А, ребята! (*фр.*).

** Я люблю оказать услугу, но я не желаю, чтобы меня принимали за... (*фр.*).

*** Э, кореш, они пропадут на природе! (*фр.*).

работу, способность видеть в темноте и по-собачьи безошибочно находить дорогу в поле и в лесу.

Послушать Бернара — не было человека кровожаднее его. Споря со мной о том, что делать с немцами после войны, он кричал:

— Их всех нужно поубивать, всех, всех, даже женщин и детей! Ох, до чего мне хотелось бы, — прибавлял он со свирепой мечтательностью, — увидеть, как они побегут по дорогам, а самолеты их из пулеметов: та-та-та-та... Как они во Франции делали.

Но я много раз видел, как он отдавал свой шоколад немецким детям. А когда кому-нибудь из Leute* нужна была помощь, то они просили Бернара, и он никогда не отказывал. Бывало, мы давно уже отдыхаем, а он все возит им картошку или бураки.

---

* Батраки (*нем.*).

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I

Еще накануне работник немец Маузольф говорил с таинственным видом: «Россия согласилась предоставить немецкой армии одну дорогу для свободного прохода в Азию на соединение с японцами».

С утра, вдали по проселку, огромным змием извивался бесконечный поезд крытых военных грузовиков. Мы работали, уходили обедать, опять работали, а они все виднелись там, на освещенных солнцем холмах: то медленно двигались, то стояли, ожидая, когда можно будет ехать дальше. Все дороги впереди были, видимо, забиты.

Морис работал на дальнем поле, как раз около дороги. Он рассказывал вечером, что грузовики были совсем новые, а солдаты — молодец к молодцу, рослые, хорошо одетые. Он сказал: «Tout de meme, ils ont une armee nickel, les salauds!»*

На следующий день мы, как всегда, работали в поле. Из-за леса выехала и стала быстро приближаться телега. Это возвращался из города сосед «бауэр». Стоя на передке, крутя над головой вожжами, он гнал лошадей вскачь. Это было странно. «Бауэры» обыкновенно так шибко не ездили. Мотаясь на ухабах, телега прогромыхала мимо. Взмыленные лошади храпели. У «бауэра» было озабоченно-нахмуренное лицо. Сзади него, свесив ноги, трясся Мечислав, работник-поляк. Уплывая в облаке белой пыли, он успел мне крикнуть на своем ломаном русском языке:

— Война уже есть!

Вечером вахман рассказывал, проезжавшие солдаты кричали: «Auf Wiedersehen in Moskau!»** В его глазах светились огоньки блудливой радости, и в то же время было видно — он боится. Что-то бесповоротное, решительное и грозное теперь началось.

*

После разгрома Франции я не сомневался, что водоворот войны втянет и Россию. И странно, все поляки были в этом убеждены. Уже в самом начале, когда нас только привезли в лагерь, один, совсем чисто говоривший по-

* А все-таки армия у этих сволочей первый сорт! (*фр.*).

** До встречи в Москве! (*нем.*).

русски, сказал мне: «Двинулась Русь-Матушка». А Кубис, поляк с соседней фермы, еще в прошлом году божился, будто ему пишут из дому, что война с Россией уже началась. А теперь действительно началась. Быстрое, почти до самой Москвы, продвижение немцев. Миллионы пленных. Все, как в сороковом году во Франции. Было трудно не отчаяться. «Неужели никто не может устоять против них? — спрашивал я себя, чувствуя, как что-то темное наступает. — Тогда конец».

Не знаю, был ли я еще русским. Я уехал из России мальчиком, двадцать лет прожил в эмиграции. Но когда Маузольф рассказывал военные известия, я чувствовал, как сердце где-то ниже своего обычного места неудобно приваливается к твердым режущим ободьям ребер. Однажды, с трудом сдерживая дрожание нижней челюсти, я спросил Маузольфа, взят ли уже Ленинград. Мне ужасна была мысль, что немцы войдут в Петербург, победят русских. Морща узкий лоб от усилия вспомнить, что говорилось в сводке, Маузольф кивнул головой: «Drin!»*

Конечно, Маузольфу нельзя было особенно верить. Еще недавно он спрашивал меня, где «аланик» — во Франции или в Африке. Я даже не сразу понял, что это он об Атлантическом океане спрашивает. И все-таки за это «drin» я почувствовал к нему такую ненависть, что мне стало трудно дышать. Я должен был отвернуться. Слава Богу, это оказалось неправдой. Наоборот, в глухих обмолвках газет и в недоуменных рассказах немцев уже проскальзывала тревога: сопротивление разбитой и уничтоженной Красной армии не только не ослабевало, а становилось все ожесточеннее.

Я и прежде со страстным интересом следил за военными событиями, а теперь, когда война шла в России, ни о чем другом не мог думать. Я не понимал, как мои товарищи по плену могут по-прежнему говорить о посторонних вещах, шутить, смеяться, когда убивают русских, убивают Россию. Немецкие победы на востоке обрушились на меня как личное, непереносимое горе. Засыпая по вечерам, я с недоумением думал, как судьба могла обречь меня на такое страдание, на такое страшное чувство гибели, уничтожения всего, что я любил. Я не выдержу этой тяжести, не смогу больше жить.

Только одного я хотел, только об одном молился: чтобы русские победили. А для себя — только дожить до конца войны, увидеть разгром Германии, а там — хоть умереть. Я понимал, что немцы о прямо противоположном молятся. Как же тогда Бог, если только он есть, может исполнить все молитвы? Но, как всегда, когда я чего-нибудь очень хотел или очень боялся, я чувствовал, нужно, как в детстве, не рассуждая, просить кого-то Всемогущего, Всевидящего, Справедливого сделать все по моей молитве. Даже в дни отчаяния и сомнений, когда приходили все новые известия о немецких победах, я знал всем моим существом, что Германия будет побеждена. Не могла история людей, после всего, что было — Нагорной проповеди, провозглашения прав

* Взят! (*нем.*).

человека, великих открытий, — кончиться царством Гитлера. Это было бы слишком отвратительно и бессмысленно.

Но тут опять возражал рассудок: «Ага, значит, ты хочешь обеспеченного хорошего конца, но ведь тогда бы не было свободы». Стараясь заглушить беспокойство, я говорил себе: «Все равно никто не знает, как все это устроено на самом деле, а мне страшно поверить, что вселенная не имеет человеческого значения».

Впрочем, я так ненавидел гитлеровскую Германию, что даже на это соглашался: пусть история не ведет к исполнению надежды, пусть нет вечной жизни и справедливости, пусть все в мире трагически абсурдно, но лишь бы Гитлера победили. Ведь это достижимо, в ту войну Германию победили, победа в человеческой власти, и я только умоляю, чтобы не помешали непредвиденные стихийные обстоятельства.

Среди этих бессонных мыслей мне часто приходило мучительное и тоскливое воспоминание, которое я напрасно пытался отогнать. О чем я молюсь, о чем прошу? Да, Россия — союзница демократий, и победа России будет победой над злом национал-социализма. Но вместе с тем это будет победа большевиков, о которых я с детства знал: это жестокие, безжалостные люди. С их именем связывались страшные воспоминания: сыпняк, голод, беспризорные, человеческий мозг на стенах в подвалах Чека, миллионы замеренных в концлагерях. И они хотят прямо противоположного тому, чего я хочу. Их цель — остановить движение человечества к тому, что мне открылось на мгновение, когда я лежал на холме под бомбами. Они не только не хотят этого для себя, но преследуют всех, кто к этому стремится, хотят вытравить это из сознания людей. Так же, как победа Гитлера, их победа будет значить конец всего, в чем я видел значение жизни. Как же я молюсь, чтобы они победили?

Чтобы отогнать эти смущающие мысли, я говорил себе: «Но ведь это было давно, во время гражданской войны, с тех пор, может быть, многое изменилось, не могло не измениться. Ведь не воевали бы так русские, если бы не изменилось. Чтобы выиграть войну, власть вынуждена была пойти на уступки, на примирение с народом. Да и правда ли все, о чем писали эмигрантские газеты? Всегда сообщения вроде, что вот в колхозе таком-то выстроили школу, да крыша провалилась. А теперь даже немецкие газеты пишут об огромной военной промышленности. Или почти все эмигранты были уверены: Красная армия побежит при первом выстреле. А вот не только не побежала, а остановила непобедимый "вермахт", перед которым до сих пор ни одна другая армия не могла устоять».

Кругом на фермах работало много поляков и галичан из областей, занятых в начале войны Красной армией. С надеждой и тревогой я расспрашивал их, как было при русских, лучше ли, хуже ли, чем при немцах?

Эти люди люто ненавидели немцев, но по их недоуменным рассказам я видел, что и о русских они не могут вспомнить ничего хорошего. У некото-

рых семьи выслали в Туркестан или на север, на лесозаготовки. А опоздал на работу — суд. Только хлеба давали, пожалуй, больше, чем при немцах. А так — «одна курва».

После таких ответов я не хотел больше с ними разговаривать, они мне казались чуть ли не изменниками. Но невольно, как я ни убеждал себя, что большевики уже не те, я чувствовал, как по-прежнему что-то страшное начиналось с их приходом — нечеловеческий мир. Но я помнил, теперь должна быть только одна цель — победить Германию. И ведь победа России будет и победой демократии, и большевики изменятся, все устроится, и я молюсь вовсе не о победе большевиков, а о победе русского народа, который несет всю тяжесть этой страшной войны и продолжает борьбу в таких условиях, при которых всякий другой народ давно бы сдался. Это все тот же кроткий, терпеливый, мудрый, святой русский народ, о котором писал Лев Толстой, а большевизм — только искажение всегдашнего стремления этого народа жить по Правде. И это уже не в первый раз в истории русские — рабы, варвары, скифы — спасают Европу своей кровью. В эту зиму мне часто вспоминалось из Некрасова: «А по бокам-то все косточки русские».

Ездивший в лагерь вахман рассказывал о русских пленных: «Это скорее животные, чем люди. "Унтерменши"[1], — взглянул он на меня неуверенно. — Они все больны. Каждый день умирает 200–300 человек». В пояснение он наивно прибавил: «Голодный тиф».

Я скоро понял, какая находка это слово — унтерменши. Наш вахман, тупой, но добродушный человек, может быть, осудил бы в душе уничтожение русских пленных. Но когда до его сонного сознания дошло, что русские только с виду люди, ему стало казаться естественным, что к ним не применяются правила человечности. И многие другие немцы, даже самые добродушные и совестливые, в буквальном смысле поняли, что русские — не люди, и поэтому соглашались, что их нужно истреблять, как истребляют волков или крыс.

Только один вахман из соседнего «командо» — колченогий, кривобокий и почти горбатый — утверждал, что русские такие же люди, как немцы. Слушая его, «цивили» только презрительно улыбались. Они не понимали, что в его хилом теле дышит дух человеческой правды, и им было стыдно, что среди них, немцев, мог оказаться такой слабый, никчемный человек. Он не так, как другие немцы, понижая голос и с опасливой оглядкой, а громко и бесстрашно ругал Гитлера. Не обращая внимания на присутствие «цивилей», он говорил нам с возмущением: «Здесь народ глупый. Верят всему, что бауэры им говорят. У нас, в Саксонии, не так. Там все рабочие — социалисты. Вы думаете, вся эта история с поджогом рейхстага правда? Это сами нацисты подожгли. А выборы? Тоже все было подстроено».

Болезненно возбуждаясь, брызгая слюной и выкатывая рыбьи глаза, он кричал с какой-то идиотической запальчивостью: «Всех их диктаторов — Гитлера, Муссолини, Сталина, Черчилля — собрать и свезти куда-нибудь на

[1] От Untermensch (*нем.*) — «недочеловеки».

необитаемый остров. Дать каждому по шпаге: пожалуйста, воюйте, если хотите».

Одно время он был вахманом при русских пленных. «Хорошие люди и у всех красивые глаза, а зубы все до одного целые», — рассказывал он, восхищенно улыбаясь и не замечая угрюмых взглядов «цивилей». Он недолго оставался в соседнем «командо». Скоро его куда-то перевели или, может быть, кто-нибудь на него донес.

*

До того, как началась война с Россией, я почти с гордостью думал о том, как много я перенес: поражение всего, во что я верил, разлуку с близкими, голод, рабство, каторжный труд. Но, слушая рассказы, как из ближнего лагеря для русских пленных грузовики каждый день увозили трупы, как иногда в груде наваленных голых тел еще шевелилась рука или нога и капала на дорогу кровь, я перестал думать о том, какой я несчастный. Ужас перед страданиями русских пленных заслонил во мне сожаление о моей собственной жизни. Теперь, когда я ложился вечером на мой набитый соломой тюфяк, мне было стыдно нашего благополучия на ферме.

Из тридцати тысяч русских пленных, пригнанных в лагерь, вымерло за зиму более двадцати тысяч. Тех, кто выжил, стали посылать на работу в «командо». Весной на многих соседних фермах появились русские. Но они еле держались на ногах, не могли работать. Совсем слабых вахманы пристреливали, добивали прикладами. Других, покрепче, стали подкармливать. Когда поднялись хлеба, среди русских начались побеги. Шли по звездам на восток. Днем прятались в лесах, лежали во ржи. Немцы устраивали облавы с собаками. Немецкие женщины боялись отходить от дворов.

Нас не подпускали к русским. Только во время уборки мы их видели издали в поле. Я силился их рассмотреть, но слишком далеко было. Подавая снопы, босые люди ходили вокруг возов. Мне показалось — один был калмык. Их сторожили зелено-серые, почти голубые, вахманы с карабинами. Давно привычный вид: рабы — надсмотрщики. Верно, и в дни Ассура так было.

Как-то в воскресенье, подкупленный папиросами и шоколадом, вахман повел нас в соседнюю деревню навестить товарищей. Когда мы вышли на главную улицу, я сперва даже не понял, что произошло. Мы вдруг попали в другой мир. Хор сильных мужских голосов дружно подхватил припев знакомой с детства русской песни. Торжественная и грустная, и удалая, она грянула вдоль улицы вольно и широко. Словно стая птиц поднялась с берега большой реки, текущей по бескрайной равнине. Дома немецкой деревни, мутнея, исчезали.

Я сразу же, еще издали, увидел обнесенную колючей проволокой хибарку с решетками на окнах. Когда мы подошли ближе, песня кончилась. За оконной решеткой наступило молчание. Потом чей-то голос спросил: «Николай Иваныч, что теперь петь будем?»

— Давай «Чайку», — ответил человек, сидевший спиной к окну.

Так вот они, большевики, спасаясь от которых двадцать лет тому назад мои родители увезли меня из России. У них были по-родному, по-домашнему, знакомые мне голоса. Сквозь железные прутья решетки я неясно различал их головы и плечи. Что-то они чувствовали теперь, голодные, несчастные?

*

Только на станции в Линде мне удавалось иногда перекинуться с русскими несколькими торопливыми словами. Но это были не военнопленные, а «остовцы».

Я любил эти поездки в Линде, хотя нагружать вагоны картошкой — работа нелегкая. Но после скуки однообразных дней на ферме радостно возбуждало царившее здесь, будто праздничное, оживление. Чувство — как будто с отмели попал на стремнину. Столько всякого народа — немцы, поляки, латыши, голландцы, бельгийцы, французы из других «командо». Потом прибавились еще сербы, большей частью рослые и красивые. Они говорили на языке, похожем на русский, но некоторые были уже по-восточному чернобровые и носатые, с черными гайдучьими усами. Еще позднее появились американцы, веселые и щедрые, с карманами, набитыми папиросами; самыми последними — итальянцы в альпийских шапочках с пером.

К каждому подходишь и заговариваешь, как со своим, с уверенностью, что он тебе обрадуется. Простым людям всегда приятно встретить на чужбине, да еще в беде, человека, хотя и плохо, но понимающего по-ихнему. Да и говорить я буду как раз о том, о чем они хотят услышать: немцев скоро разобьют, война кончится, и мы все поедем по домам. Но когда стали появляться первые «остовцы», я почувствовал, что боюсь к ним подойти. Я смотрел на них во все глаза, и сердце сжималось у меня от жалости и тревоги. Больше двадцати лет прошло с тех пор, как я уехал из России, и я с волнением спрашивал себя, какие стали теперь русские, как они покажутся мне среди иностранцев. В первое время меня болезненно удивляло, что они вовсе не такого большого роста, какого, по моим оставшимся с детства представлениям, должны были быть русские мужики и солдаты. Правда, это все были молодые ребята, на вид лет шестнадцати, семнадцати, бедно и неуклюже одетые. Пока не привык, мне мешала забытая за годы жизни на Западе финская скуластость их лиц. Но потом я стал узнавать особенный русский светлый оттенок кожи и русые волосы.

Первые разговоры с «остовцами» меня поразили. Я боялся, что они за немцев, а они не только ненавидели немцев еще больше, чем мы, но — чего я совсем не ждал — хвалили свою жизнь дома. Я ушам своим не верил, настолько все, что они говорили, противоречило моему эмигрантскому знанию, как тяжело всем живется в России и что весь народ против советской власти. Но скоро я не мог больше сомневаться. Какого «остовца» ни встретишь, все те же горделивые рассказы. Все они кончили «семилетку» или «десятилетку». «Изучали» историю, сельское хозяйство, литературу. В колхозах

с каждым годом все легче становилось. Только перед войной опять тяжелые налоги ввели.

Впоследствии, уже вернувшись в Париж, я с удивлением вспоминал эти рассказы, совсем не похожие на то, что писали «ди-пи» в эмигрантских газетах и журналах. Тогда мне стало приходить в голову, что, может быть, и мои «остовцы» вовсе не были до войны такими уж советскими патриотами. Но я встречался с ними, когда обида на жестокое и презрительное отношение к ним немцев и слухи, что русские остановили немецкое нашествие, вызвали в них перелом. Желание доказать, что они вовсе не «унтерменши», и страх, чтобы их не попрекнули потом за то, что не участвовали в борьбе с немцами, заставляли их хвалить передо мной все русское, советское.

Еще другое предположение приходило мне в голову. Видя, что я против немцев, они старались ко мне подделаться. И я действительно готов был слушать только то, что подтверждало мою веру, что весь народ теперь против немцев. Обо всем, что не соответствовало этой моей вере, я старался не думать. Так, когда один «остовец» с озлоблением рассказывал мне о тяжелой, нищей и несправедливой жизни в колхозе, я слушал его с сочувствием, не сомневаясь, что он говорит правду. Но когда он с таким же озлоблением стал говорить о партизанах, что они только вредят населению, я не хотел его больше слушать. Мне казалось, он перешел на сторону гитлеровской Германии, на сторону зла.

Однажды в Линде, толкнув меня локтем, товарищ с хохотом показал мне в толпе на человека, который, по-видимому, казался ему очень смешным и нелепым. Это был невзрачный, тощий, с покатыми плечами, малого роста мужичонка, с лицом, заросшим большой клочковатой бородой. Одет он был, как актер в пьесах из крестьянской жизни: в длинной рубахе с косым воротом и с ластовицами, в портках в полоску.

— Посмотри, что у этого чучела на ногах, — давился от смеха товарищ.

Мужичонка был в лаптях. Это в первый раз в жизни я видел лапти не на актере, а на настоящем мужике. Я понимал, что простолюдину-французу этот человек должен был казаться странным, может быть, даже не совсем нормальным. «Откуда он, — подумал я, — он вряд ли советский... Из советских никто так не одет». Я подошел к нему:

— Скажите, откуда вы?

— А мы из-под Двинска, то есть Дюнабург по-теперешнему.

Я спросил тогда:

— Как вы думаете, кто победит?

Смотря на меня сверлящим из-под косматых бровей взглядом, видимо, стараясь понять, кто я такой, он сказал, будто не поняв моего вопроса:

— То есть как это — кто победит?

— Ну да, кто победит — Россия или Германия?

Тогда он насмешливо ответил:

— Как же, известно, кто! — И пошел к телеге своего бауэра. Тот сердито стал ему что-то выговаривать. Но он не испугался. Удобнее усаживаясь на

передке телеги, он дерзко ответил по-русски: — Подожди, дай дерюгу под ... подложить.

С одним из «остовцев» меня познакомил Бернар. С тех пор, как Россия участвовала в войне, он стал относиться ко мне еще дружественнее, чем прежде. Работая на дальнем поле, он, по его словам, «разговорился» с одним русским. Он не объяснил, на каком языке. На мои вопросы, как выглядел этот русский, Бернар сказал с той маленькой усмешкой, с какой он обычно говорил о лошадях, вообще о существах, которые ему нравились:

— Oh, il était tout rond*. — Потом, помолчав, прибавил: — Il est comme moi**. — Ему, видимо, приятно было думать, что в России живут такие же, как он, не похожие на городских, деревенские, лесные люди.

В воскресенье Бернар повел меня на место, где он встретил в поле русского. Нам повезло: русский как раз пас стадо. На вид — лет семнадцати, с выгоревшими волосами. Бернар был прав: у него было совсем круглое лицо, с детским носом пуговкой.

— Нагрузка, — сказал он, насмешливо показывая бровями на коров на лугу.

Я спросил:

— Вы дома тоже в деревне работали?

— Я не работал, я занимался, — ответил он гордо.

Он твердо был убежден, что русские победят:

— Это только вначале немцы легко продвигались. Многие украинцы думали: «Чего воевать, лучше по домам разойтись». Ну, а как немцы до настоящей России дошли, тут весь народ поднялся.

Уж не подлаживается ли он ко мне, видя, что я против немцев? Мне хотелось допытаться, что он думает на самом деле.

— Конечно, вредительство было, — сказал он нехотя. — Там, где до ..., туда подбрасывают, а где ни ..., туда не везут. Вот в 32-м году здоровая голодовка была. Дядька мой тогда еще помер. А потом хорошо стало. Не то, что здесь. Знал бы, лучше бы в партизанку ушел. Сам увидишь, если русские сюда придут, здесь тоже российские порядки установятся. Панов не будет.

Я радовался его словам, подтверждавшим мою надежду, что в борьбе с немецким нашествием произошло примирение между народом и властью. Но когда я его спросил, все ли «остовцы» так думают, как он, он сказал:

— Нет, это только я такой отчаянный русский.

Эти слишком короткие встречи оставляли неясное впечатление. Я только чувствовал, что советские люди не такие, как я представлял их себе по эмигрантским и советским журналам, но какие они на самом деле, какая жизнь в России, я не мог понять, и меня это мучило.

---

* Он совсем круглый (*фр.*).

** Он совсем, как я (*фр.*).

II

Шла уже третья зима в плену. Письма из Франции становились все тревожнее, все грустнее, но вместе с тем в них чувствовалась теперь надежда. С моими друзьями мы переписывались иносказательными выражениями: «с доверием читаю англо-саксонскую литературу», потом — когда война дошла до России — «перечитываю “Войну и мир”!» Меня радовало, что мы попрежнему думаем и чувствуем одинаково. Одно огорчало: Мануша и Ваня мне не отвечали. В ответ на мои вопросы мне писали: они оба тяжело больны «распространенным теперь хроническим гриппом». Я догадывался, что это значит, и меня беспокоило и мучило, что они все «не выздоравливают». В плену мы ничего не знали о начавшемся во Франции движении Сопротивления. Но когда мне написали: «Ваня умер. Не можем теперь всего тебе написать. Когда вернешься, узнаешь», у меня не было сомнения, что это немцы его убили.

Я думал о Ване с восхищением и любовью, но, странно, я не мог почувствовать его смерти. Я так давно уехал из Парижа и не знал, вернусь ли, увижу ли когда-нибудь всех, оставшихся во Франции. Они так недостижимо далеко были, что я видел их всех, и живых, и умерших, словно с того света или с другой планеты.

*

Однажды в конце зимы жена нашего бауэра, лукаво блестя глазами, сказала мне:

— Владимир, из лагеря пришло извещение, какая-то дама приехала тебя повидать.

Я сказал:

— Это, верно, мой отец.

Проживавшие в Германии родственники французских пленных получили недавно право навестить их в лагерях, и отец писал мне из оккупированной Праги, что будет хлопотать о разрешении ко мне приехать.

— Нет, нет, в извещении сказано «дама», — смеясь, настаивала хозяйка.

Я был уверен, она ошибается, и все-таки почувствовал давно забытое сладостное волнение. А вдруг, в самом деле, это какая-то любящая меня женщина приехала меня навестить. Но как она могла оказаться в Германии? И кто она?

Выехали еще до света. Не понимаю, как Бернар находил дорогу. Я едва различал в темноте его спину и спину сидевшего с ним рядом нахохлившегося вахмана. А Бернар еще повез не по шоссе, а напрямик, через поле. В холодном ночном тумане по обеим сторонам призрачно голубели снега. Я начал дремать, как вдруг сани поднялись на сугроб и почти отвесно съехали вниз. Я испугался: сейчас перевернемся. На дне оврага мы переехали через замерзший ручей. По его берегам торчали из снега черные голые прутья лозняка. Почему-то мне ужасно унылым все это показалось.

На той стороне оврага, по просеке, лошадь побежала шибче. Прощально и дремотно помавая над нами заиндевелыми поникшими ветвями, проплывали огромные березы, за ними плотными рядами стояли молодые красностволовые сосны.

На рассвете был лютый мороз. Окоченевшие ноги мучительно ныли. От боков лошади валил густой пар. Она вся дымилась, будто сгорая на бегу. Из леса выехали на тракт. Справа открылось занесенное снегом поле. То здесь, то там в окнах редких придорожных домов зажигались огни.

— Ремусовское командо, — обернувшись, сказал Бернар, показывая кнутовищем на стоявшую в стороне хибарку. В освещенных окнах двигались тени людей. Это наши товарищи собирались на работу. И опять, как когда мы переезжали ручей, но еще с большей силой, на меня нашла тоска: не только наша жизнь в плену на этой снежной равнине, но вся вообще жизнь людей на земле показалась мне печальной и безысходной.

Когда мы подъезжали к железной дороге, было уже совсем светло. От станции, позвякивая бубенцами, бодро бежал нам навстречу запряженный в сани вороной жеребец. Из-под его копыт летели комья снега. В санях, подняв ворот собачьей шубы, сидел толстый, с черными крашеными усами бауэр, рядом с ним — молоденькая девушка в бархатном капоре. Она с любопытством посмотрела на нас по-детски спокойными, большими глазами, ярко блестевшими на розовом лице.

— Putain!* — суживая замаслившиеся глаза, восхищенно сказал Бернар.

И мне тоже она показалась прелестной, как видение из зимней сказки. Уплывая в бесшумно скользивших санях, она будто ехала по небу на оленях, и этот усатый бауэр был вовсе не бауэр, а укравший ее злой волшебник.

Когда через железную калитку мы проходили на перрон, станционный сторож, в тулупе с поднятым огромным воротом, вдруг приблизившись и странно взглянув мне в глаза, спросил грубым и вместе с тем братским голосом: «Was gibt es Neues?»**

Я понял, о чем он спрашивает. Забилось сердце: он — немец, но такой же враг гитлеровского режима, как мы. Словно что-то почувствовав, беспокойно перебегая глазами по нашим лицам, к нам сейчас же подошел вахман. Сторож посмотрел на него тусклым, куда-то в глубину ушедшим взглядом, будто засыпая, зевнул и сказал:

— Поезд запаздывает. Französische Maschine***, — добавил он в пояснение.

Наконец поезд показался. Я смотрел с волнением. Что-то парижское, изящное, почти женственное мне представилось, когда сторож сказал: «Französische Maschine». А из морозного тумана, высоко неся круглую, как щит, грудь, надвинулась темная громада. Под тысячепудовой тяжестью дрожала земля. И все-таки, глядя на спину чугунного чудовища, когда, гневно

---

* Б... (*фр.*).

** Что нового? (*нем.*).

*** Французский паровоз (*нем.*).

пыхая огнем и курясь дымом и паром, оно остановилось у перрона, я почувствовал, как над нами воздвигается стеклянный навес Восточного вокзала.

В поезде встретились французы из незнакомого командо. Они тоже ехали со своим вахманом в лагерь. За разговорами не заметили, как приехали.

По дороге от вокзала в лагерь нам встретилась длинная колонна пленных. Мы давно уже привыкли к этому виду. Но эта колонна была ознаменована чем-то ужасным. От нее с необыкновенной, трагической силой исходил призыв о помощи.

— Russen*, — сказал вахман, показывая на них движением подбородка.

Я смотрел во все глаза. Большинство было в темно-зеленых лагерных балахонах, но на некоторых я сразу узнал серые русские шинели. Они шли понуро, не смотря по сторонам. Но вот один, вероятно почувствовав мой соболезнующий взгляд, поднял голову и жалостно мне улыбнулся. Другой, с разбухшим, обмороженным лицом, что-то бубнил соседу с таким же расстроенным выражением, с каким один мой знакомый в Париже жаловался на ревматизм. Вовсе не какие-то особенные, страшные существа — большевики, «унтерменши», — а самые обыкновенные люди, но только они умирают от голода и болезней.

Волнение и жалость мешали мне разглядеть их лица по отдельности. Они как-то сливались в колыхании рядов. Я только заметил, что голод придал им особую зловещую выразительность. Как в усмешке Смерти в «Пляске мертвых», за обозначившимися выступами лицевых костей уже проглядывало безобразие уничтожения.

Когда мы вошли в лагерь, первое, что я увидел: у крыльца бани лежит мертвый. Я сразу понял — это русский. Он лежал на снегу, как испорченная, никому больше не нужная вещь. Так в Париже по утрам выставляют на улицу баки с мусором, всякую рухлядь. Труп был странно короткий, скажешь кукла, если бы не ужасная желтизна босых, словно налитых черным парафином ног. Он лежал на спине, смотря в небо открытыми глазами. На его чуть скуластом лице было выражение удивления. Обледенелая, смятая одежда вдавлена в живот, до того впалый, будто каток по нему проехал. Я чувствовал, как ледяной холод насквозь прожигает примерзшее к земле тело. И хотя я понимал, что теперь ему все равно, мне еще ужаснее, чем то, что он умер, было видеть, как он лежит так прямо на снегу.

Меня поразило, что здесь, видимо, никого не удивляло, что на улице лежит труп. Недовольно взглянув на него, все сейчас же поспешно отворачивались и шли дальше по своим делам. Казалось, никому из них не приходила мысль, что это был такой же человек, как они сами, и что у него где-то остались семья, родной город, целая жизнь, столь же для него важная, как им их жизнь.

Только впоследствии я понял, что в лагере люди были недостаточно сыты, чтобы позволить себе думать о смерти других, особенно русских. За прошлую зиму их столько тысяч умерло, да и теперь каждый день увозили. Все равно не помочь.

---

* Русские (*нем.*).

*

В бараке для проезжих было холодно. Я все не мог согреться под тонким, как рядно, одеялом.

Я думал о завтрашней встрече. Мы не виделись с отцом почти пятнадцать лет. А как началась война — целый год не имели друг о друге известий. Только после перемирия, разузнав через Париж, что я в плену, папа смог мне написать. Я хорошо помнил этот день. Вахман позвал меня с таинственным видом и дал мне открытку. Чувствуя, что он с любопытством на меня смотрит, я, недоумевая, взял открытку и вдруг увидел почерк моего отца. Меня охватило тогда необъяснимое чувство: все события, встречи, возвращения и то, что одни люди умирают, а другие остаются, все происходит не по бессмысленному произволу случайных обстоятельств, а по таинственному Замыслу. После всех испытаний, измучивших меня, но верно необходимых, верно *предусмотренных*, еще будет жизнь.

Думая теперь, как я встречусь завтра с отцом, я снова испытывал это глубокое и торжественное чувство и в то же время страх и страдание, так как рассудок говорил мне: никто не знает, как на самом деле все проходит, в грозной неизвестности будущих событий наша жизнь ничем не обеспечена.

Я вспоминал мертвого русского у крыльца бани, и сердце у меня сжималось. Вокруг в холодной, смрадной тьме, на верхних и нижних нарах ворочались, стонали и храпели незнакомые мне люди, мои товарищи по судьбе. Волнение мешало мне заснуть. Один вопрос меня все время смущал: вдруг окажется, что отец за немцев. В последние годы перед войной он все время сближался с правыми. Меня это огорчало. Я не понимал, как это могло быть. В детстве я был уверен, что папа не только самый замечательный человек на свете, самый сильный, умный, богатый, но и самый хороший, всегда за добро. Все, чему он меня учил, все, что он утверждал, всякое его мнение — было правдой. Тем тяжелее мне было, когда я стал демократом, видеть, как он поддается правым настроениям, которые все больше казались мне несовместимыми с человечностью. Я знал — никакие расхождения во взглядах не могут изменить моей любви к отцу, и все-таки, как ни страшно мне это было, я чувствовал, что если, как многие эмигранты, мой отец теперь за немцев, я не смогу ему этого простить.

На следующий день, в десять часов утра часовой привел меня в помещение охраны. Голые, выкрашенные светло-зеленой краской стены. Такие комнаты бывают в больницах, тюрьмах, сумасшедших домах. В замерзшем окне — столбы с накрученной колючкой.

Вечность ожидания. И вот, наконец, дверь отворилась. «Цензор», с обычной немецкой почтительностью перед званиями, сказал: «Пожалуйста, господин профессор». И мой отец вошел из бездны пространства и времени, знакомым мне с детства движением нагибая голову вперед, чтобы лучше меня увидеть своими добрыми, близорукими глазами. Я сразу разглядел и узнал его лицо. Но только как он изменился! Пройдя через годы, что мы не виделись, как через длинную анфиладу незнакомых мне темных залов, вер-

нулся не круглолицый, светловолосый отец моего детства, а седой старик. Он улыбался, но оголенный лоб, резко прорезанные морщины и болезненная напряженность в глазах придавали ему страдальческое выражение, и он был вовсе не такой высокий, как в моих воспоминаниях.

Мы поцеловались. Я почувствовал прикосновение его подстриженных щеткой усов. Мне было странно. Этот старый господин, всхлипывая, похлопывал меня по плечам. Он меня любит. Конечно, это мой отец. Но только у моего отца были русые, вьющиеся волосы, а у этого совсем белые, редкие и пушистые.

Теперь мы сидели друг против друга на стульях. Я не понимал, о чем мы говорим. Я только с мучительной жалостью и ужасом видел его провалившиеся между скулами прежде круглые, крепкие щеки. Он необъяснимо был похож теперь на немца: у старых поморских крестьян бывают такие лица с широкими скулами. И вместе с тем он был теперь какой-то по-петербургски подтянутый, сухощавый. От его прежней добродушно-медвежьей грузности не осталось и следа.

Я все не мог отделаться от мешавшего мне впечатления, что я не вижу его *всего*, что он не может до конца вместиться в это слишком тесное для него обличье, которое он почему-то на себя *надел*.

После первых расспросов и после того, как отец рассказал мне, сколько трудов ему стоило получить от Гестапо разрешение меня навестить, я не выдержал и, чувствуя, как у меня кривится нижняя челюсть, спросил:

— За кого ты? Хочешь ли ты победы России или Германии?

Мы говорили по-русски. Цензор-эльзасец не мог нас понимать. Да он и не обращал на нас внимания. Присев на подоконник, он слушал радио. Приглушенные звуки едва до нас доходили. К моему удивлению, передавали русское хоровое пение.

— Видишь ли, — начал отец, смотря на меня испытующе и слегка торжественно, — двадцать лет я боролся с большевиками и не могу изменить моего прошлого. Как все эмигранты, я искренно считал, что большевики — захватчики и что народ их ненавидит. Но испытание войны показало, как во многом мы ошибались. После неслыханного героизма и жертвенности, проявленных русскими людьми в борьбе с немцами, нельзя больше сомневаться, что большевистская диктатура превратилась в процессе войны в русскую государственную власть. — Все с большей убежденностью он продолжал: — Но если это так, то тогда тот, кто желает победы немцев — враг не большевиков только, а всего русского народа. И я сказал себе: если я люблю Россию, если я еще русский, я должен забыть о прошлом. Ты знаешь, я всегда был демократ, — при этом слове «демократ» он строго взглянул на меня, чтобы предупредить возможное с моей стороны возражение, — и вот, если русский народ идет с советской властью, то я подчиняюсь решению народа. — Чувствуя, что я с ним согласен, он добавил с улыбкой: — Не думай, мы в Праге не такие уж зубры. Мы даже служили тайные молебны о даровании победы христолюбивому красному воинству.

Я чувствовал облегчение. Такое счастье было знать, что мы на одной стороне, одного и того же хотим. Но я видел, отец не только хочет верить в возможность изменений в России, а считает, что эти изменения уже наступили. Теперь он верил всему, что прежде считал лживой большевистской пропагандой: «огромное строительство», «охвативший широкие массы творческий подъем...»

— Россия переживает новый петровский период, — сказал он, видимо, довольный найденным определением, — согласен ты с этим? Конечно, как всегда в переходные эпохи, была неизбежна жесткость управления. Это главное, что нас отталкивало. Но теперь, в этом не может быть сомнения, Россия становится правовым государством, хотя и в других формах, чем на Западе.

Слушая отца, я с тревогой видел, как, несмотря на весь свой долгий политический опыт, он легко принимает свои желания за действительность. Я спросил:

— А как же ты не боишься, что, когда Германия будет разбита, в Прагу придут русские?

— Ну, так далеко вряд ли зайдет. И потом я так себя держу, что мне нечего бояться. Наоборот, я уверен, я еще буду играть роль. — Он самонадеянно улыбнулся и, понизив голос, сказал с таинственным видом: — Я связан с подпольной организацией чешских коммунистов и оказал им очень важные услуги.

В это время дверь отворилась, и вошел щеголеватый офицер лагерной охраны. Подойдя к нам, он слегка смущенно попросил отца говорить по-французски. Отец с готовностью закивал головой и, радостно улыбаясь, как если бы это доставляло ему особое удовольствие, стал говорить со мной по-французски. Но среди французских слов, не меняя ни выражения лица, ни ритма речи, он сказал несколько слов по-русски. И так мы продолжали говорить о самом для нас важном русскими фразами, вставленными среди французских. Мне казалось при этом, что отец улыбается с непонятно хитрым и веселым видом. Я с недоумением думал, как он может так улыбаться, когда он так страшно постарел. Я вспомнил, как у Пруста герою кажется, что он попал на маскарад: приклеенные белые бороды, пудреные парики. А на самом деле все просто состарились. С какой волшебной жизненностью, с каким остроумием это было написано. Но теперь я видел этот несмываемый трагический грим старости и смерти на лице моего отца, и мне было не смешно, а страшно, точно передо мной совершалось убийство. Но, к моему удивлению, сам папа, видимо, вовсе не был огорчен, что стал теперь таким, а, наоборот, как будто даже этому радовался. И вдруг мне пришла догадка, нелепость которой я даже не сразу понял. Свое теперешнее ужасавшее меня лицо, которое делало его похожим на старого немецкого крестьянина, он носил как маску, чтобы скрыть от Гестапо свою тайную работу с коммунистами.

Вдруг, неожиданно протянув руки, он удивившим меня, незнакомым мне, почти как у фокусника быстрым движением ласково потрепал меня по щекам своими мягкими ладонями человека, который никогда не работал физически. По тому, с какой уверенностью он это сделал, я понял, что это был один из тех, привычных ему теперь жестов, которые выработались у него

за годы жизни в кругу незнакомых мне мужчин и женщин, с которыми он встречался все это время, что мы не виделись.

Похлопав меня по щекам, отец откинулся на спинку стула и устало закрыл глаза. На мгновение мне показалось, он засыпает. Я вспомнил, он две ночи ехал в переполненном поезде, стоя в коридоре. А ведь он старик. Ему уже около семидесяти. И все-таки...

— Но почему ты так похудел? — спросил я, с трудом удерживаясь, чтобы не спросить, «почему ты так постарел».

Впрочем, спроси я его об этом, он, верно, не понял бы. Ведь для него это изменение происходило незаметно, изо дня в день, в течение пятнадцати лет. Может быть, он даже думает, что очень хорошо держится для своего возраста. Ведь вот он говорил, что еще надеется играть роль.

— А это по твоей милости, — улыбнулся папа, разумея первый год войны, когда мы не могли переписываться, и он знал только, что я мобилизован, и беспокоился о моей судьбе.

Рассеянно смотря на мои черные от навоза «сабо»*, он ласково сказал:

— Мне показалось, что другие французские пленные лучше тебя одеты. А ты и вправду стал какой-то мужиковатый.

Странно, неужели он не видит, что у меня безнадежно декадентское лицо.

— Ну, что же, если я действительно похож на мужика, я этому только рад. Ты знаешь, я теперь без особого усилия подымаю мешок в сто кило.

Это была неправда. Но я знал, как отцу тяжело, что я какой-то странный, не мог устроить свою жизнь, и мне хотелось рассказать ему о себе что-нибудь такое, чтобы он мог гордиться мною перед своими друзьями. Я сказал ему, что совсем не боялся на войне, проявлял «одеревенелое спокойствие». Я понимал, как ему трудно этому поверить, так как он видит мою всегдашнюю неуверенность в себе, нервность и робость. Но у меня еще не было случая рассказать кому-нибудь, кто знал меня до войны, как несколько раз мне удавалось победить в себе страх, и я все боялся, что умру, так никому об этом и не рассказав.

Мне разрешили проводить отца до ворот. Я видел, как уже с той стороны колючей проволоки он медленно, с трудом шел в гору, потом там, где дорога сворачивала под железнодорожный мост, стал спускаться.

## III

Вернувшись в «командо», я часто вспоминал мой разговор с отцом и как я сказал ему: «Мне так радостно знать, что я в согласии с отцом и с отечеством». Но мне было грустно. До этой встречи я, не отдавая себе в этом отчета, все еще представлял себе отца, как в детстве: большой, добрый, он охранял меня от всего плохого. Но, вспоминая его теперешнее с провалившимися щеками лицо, я понимал, что не только он не может спасти и сохра-

* Деревянные башмаки.

нить меня, но он сам ничем не защищен от произвола уничтожения и злой воли людей. Каждый день его могло арестовать Гестапо. Но если даже все хорошо кончится, он уцелеет и немцы будут разбиты, что будет с ним, когда в Прагу придут русские. Я и за себя беспокоился. Но я-то еще ничего. Все-таки — французский пленный, воевал против немцев, из России уехал мальчиком. «Увезли родители, — как бы уже оправдываясь перед энкаведистом, мысленно прибавлял я, — и политикой никогда не занимался». А вот отец всю жизнь боролся с большевиками. Всюду против них выступал. Он думает, они ему простят за его теперешнюю подрывную работу с чешскими коммунистами. А я вовсе не был уверен, что простят. Они никогда не прощают. И я молился: «Боже, спаси и сохрани меня, и отца, и всех, кого я люблю, Ты все можешь, сделай так, чтобы нас не коснулись бедствия».

«Ну, а как же другие люди? — спрашивал я себя, — те, кого убивают, мучают, морят голодом. Я словно соглашаюсь, что если я и мои близкие спасемся, признать, что все в мире, а значит и гибель миллионов людей, совершается по воле благого Промысла, а между тем я знаю, — ничто не может искупить их страданий и смерти». Но я говорил себе: «Об этом не нужно думать, ведь все равно не исправишь, а нужно верить необъяснимому чувству, испытанному мною, когда пришла открытка от моего отца. Через все испытания Кто-то таинственно ведет нас к более глубокому осуществлению нашей жизни. Это чувство не может быть обманом».

Вспоминая потом об этом, я удивлялся, как, несмотря на всю власть надо мной подсказываемых разумом сомнений, в трудные минуты во мне всегда восстанавливалось это первоначальное требование, чтобы в мире был Кто-то, Кто меня любит, Кто за людей, Кто услышит. Без этого было бы слишком страшно жить.

*

Я не мог привыкнуть к деревне. Здесь люди откармливали таких же, как они, живых существ, чтобы потом их убивать, сдирать с них шкуру, есть их мясо. Что-то чудовищное мне в этом мерещилось, как когда в детстве я читал о злом великане, который пожирал детей.

Старый Цульке весь день работал в коровнике. Он даже говорить почти уже разучился, и от него пахло многолетней, пропитавшей его насквозь кислой, звериной вонью. Когда коровам приходило время телиться, он звал нас на подмогу. Раз мы всю ночь бились, пот лил с нас градом, но теленок плохо лежал, и мы не могли его вытащить. Цульке, по локоть засунув руки в корову, что-то там ворочал внутри, стеная и всхлипывая от усилия. И тогда я в первый раз услышал, как корова застонала, если только это можно было назвать стоном: какой-то глухой деревянный скрип. Меня ужасно поразил этот звук. Повернув голову, корова смотрела на нас, и мне показалось, что даже в ее покорном существе страдание пробудило мысль, несогласие, она сейчас заговорит.

Когда стало ясно, что теленка не вытащить, корову торопливо зарезали. Мы перетащили ее к дверям сарая. Бернар мгновенно очутился верхом на

перекладине под притолокой. Привязанная за задние ноги туша повисла, как грешник в аду. В неверном свете фонаря ее озабоченно свежевали черные окровавленные люди. Я нервно зевал, и от предутреннего холода у меня стучали зубы. Теперь больше не выспаться.

В другой раз я видел, как Цульке вывел из свинарника борова. Установив его перед самым входом, он взял большой, для рубки деревьев, топор. От тяжелой работы и старости Цульке был совсем горбатый, руки у него висели ниже колен, но были еще сильные и цепкие. Медленно разгибаясь, он замахнулся и, падая вслед всем телом, оглушил борова обухом по лбу. От удара боров на секунду осел, но сейчас же с удивленным, гневным предсмертным криком упруго, как каучуковый, подпрыгнул на всех четырех ногах. Цульке еще раз ударил, и боров, болтнув в воздухе копытами, рухнул на бок. Тогда Цульке навалился на него грудью и перерезал ему горло. Боров все слабее подергивался и, словно заснув или задумавшись, перестал шевелиться.

Или Бербель, четырнадцатилетняя дочка хозяина, с толстыми не по возрасту грудями. Она привела на конюшню своего маленького брата, Хорста. Бернар задавал лошадям корм. Бербель попросила его достать ей воробьиное гнездо. Бернар с готовностью, за которую я его мгновенно возненавидел, проворно вскарабкался под потолок и принес ей несколько птенчиков. Бербель взяла их в руки, приговаривая с глупым смехом: «Kleine Vögel! Kleine Vögel!»* И вдруг я услышал треск: одному за другим она отрывала птенчикам головы. Маленький Хорст смотрел, смеясь и радостно повизгивая.

Еще к чему я никак не мог привыкнуть в деревне: здесь никогда не происходило ничего нового, ничего непредвиденного, время двигалось не в будущее, а по кругу. Смена полевых работ совершалась с предопределенностью вечного возвращения. Меня охватывало чувство отчаяния и безнадежности, когда я думал, что нам еще много раз придется собирать картошку.

*

К концу четвертого года плена все-таки произошли перемены. Началось с неожиданного для всех бунта Бернара. В последнее время на него все чаще находили припадки угрюмости и каждый раз длились все дольше. Сперва я не понимал, в чем дело, но потом стал догадываться. Письма из дому Бернар читал про себя, но свои впечатления от прочитанного высказывал вслух, так что мы всегда знали, о чем ему пишут. Однажды, читая письмо от матери, он сообщил нам, что соседская дочка Жаклина, которая была совсем еще девчонкой, когда он уезжал, вышла на днях замуж, и какая-то «маленькая Мадлена» тоже уже помолвлена.

— Смотришь, когда я вернусь, окажется, все девушки у нас в деревне уже повыходили замуж, — сказал он в раздумье. Потом со смехом прибавил: «Je ne veux pas tout de même qu'il ne me reste qu'un vieux tableau»**.

---

* Маленькие птички! (*нем.*).

** Я не хочу все-таки, чтобы мне только какая-нибудь старая осталась (*фр.*).

Он смеялся, но я чувствовал, что мысль о женитьбе его мучает. Мы все давно знали его историю. До войны у него была невеста. Почему-то он поссорился с ее родителями и перестал с ней видеться. Он любил ее по-прежнему, но горд и упрям был до самоуничтожения. Даже из плена ни за что не хотел ей написать, а сам боялся, что она выйдет замуж за другого.

В Бернаре было еще столько ребяческого, что иногда мне казалось, я не на десять, а на пятьдесят лет его старше. А тут он вдруг сразу стал взрослым. Мысль, что его отец уже стар и не управляется один с работой, не давала ему покоя. Пора было возвращаться домой, жениться, самому взять в руки расстроенное хозяйство. Жизнь в неволе становилась ему с каждым днем все тяжелее и ненавистнее. До тех пор Бернар ни разу не болел. Мы даже ругали его за это. Время от времени кто-нибудь из нас сказывался больным и день, два не выходил на работу. Только один Бернар никогда этого не делал. А теперь он все чаще говорил мне с каким-то загадочным и угрожающим выражением:

— Tu verras, un jour je tomberai raide!*

Я напрасно пытался его отговорить. Он слишком терзался, и какая-то ожесточенная решимость все больше им овладевала. Началось с того, что однажды утром Бернар отказался запрягать. Наш хозяин был в этот день в отъезде, и за работой на ферме присматривал его свояк, огромный, толстый, важный, с трясущимися лиловыми щеками и нафабренными, крашеными усами. Он сам пришел на конюшню и спросил Бернара, почему тот не запрягает.

— Du machen!** — сказал Бернар, показывая на хомута.

Тогда усатый, схватив его за грудь, замахнулся. Бернар даже под мышки ему не доходил, но не испугался, а, спокойно смигивая, смотрел на толстое брюхо бауэра. Потом Бернар говорил мне: «Только ударь он меня, так бы и двинул ему коленкой в ...».

На следующий день Бернар совсем не вышел на работу. В то время у нас был новый вахман, который явно тяготился и военной службой, и своими обязанностями надсмотрщика. Он был чрезвычайно вежлив с нами, прежде, чем войти в нашу каморку, стучал в дверь. Однако по требованию бауэра он должен был усмирить ара. Я столкнулся с ним в проходе между денниками. Он стал жаловаться мне на Бернара: упрямый, нарочно не слушается:

— Er wird damit was kriegen!*** — сказал он, показывая, чтобы придать себе решимости, на приклад карабина.

Я пошел за ним. Бернар, угрюмый и небритый, лежал на своем месте под потолком. Остановясь на пороге, вахман спросил его дрогнувшим голосом, выйдет ли он на работу.

Бернар отрицательно покачал головой: «Никс!»

* Вот увидишь, как-нибудь я свалюсь! (*фр.*).

** Сам запрягай! (*нем.*).

*** Он вот этим получит! (*нем.*).

— Warum?* — спросил вахман расстроенно. Бернар словно только и ждал этого вопроса.

— Darum!** — ответил он грубо и насмешливо, совсем как немцы говорили.

— «Darum», sagst du!?*** — напрасно стараясь принять грозный вид, закричал вахман, чуть не плача. Он не нашелся, что еще сказать, и, махнув рукой вышел.

Через два дня Бернара отвезли в лагерь. Нам сказали, в штрафную роту. Нахмуренный, с упрямо блестевшими глазами, он истуканом сидел в санях. Хозяин, верно, желая нам показать, что он тут ни при чем, подошел к нему и протянул руку. Бернар не шелохнулся, словно не видел. Мы смотрели, затаив дыхание. Наконец, медленно и неохотно Бернар подал хозяину руку. При этом на его лице проступило такое высокомерное выражение, точно он был каким-то владетельным принцем.

Мы боялись за Бернара. Маузольф рассказывал, что из штрафной роты человек выходит «halb kaput»****. Но впоследствии мы узнали, что, вопреки наказу хозяина, вахман сдал Бернара в лагере не как ослушника, а как больного.

Вскоре после отъезда Бернара мне повезло — я заболел. Целый день я мог оставаться в постели и читать. От слабости и жара я засыпал, потом, немного подремав, опять брался за книгу. Никогда еще чтение не доставляло мне такого почти физически ощутимого счастья, такой отрады. После бесконечности однообразных дней тяжелой и постылой работы вдруг сладостное чувство отдыха. Одиночество, покой, свобода, легкое головокружение от жара и переносишься в светлый мир, где нет ни холода, ни усталости, ни навозной кучи посередине двора, ни рабства плена, ни войны, ни ненависти. Я читал книгу о Плотине. Каждую страницу я перечитывал по два, по три раза и все-таки не понимал. Но, даже не понимая, я с восхищением видел движение мыслей Плотина: кристальными постройками они воздвигались все выше и выше, так что я не мог больше за ними следить, моя голова падала на подушку, и я в изнеможении закрывал глаза. Но и тогда мне сиял ослепительный свет. Я видел, как всходит небо, где «каждая звезда — солнце». Сколько книг я читал — и все было скучно. А когда прочел: «Я часто выхожу из моего тела и просыпаюсь в самого себя», радость: это то, к чему всегда стремилась моя душа. Счастливый Плотин, у него не было сомнений...

Будто колодезь открылся внутри меня, и там внизу человек, каким я мог бы стать, рывками подымая голову из черной воды, старался вылезти наверх. Мне казалось, если продлить усилие, то всегдашний туман передо мною рассеется, и я увижу...

Только не надо выздоравливать: тогда опять работа с утра до вечера и отупляющая усталость. Я хотел, чтобы моя болезнь затянулась и меня отпра-

---

* Почему? (*нем.*).

** Потому! (*нем.*).

*** «Потому», говоришь? (*нем.*).

**** Полумертвый (*нем.*).

вили в лагерь. Лагерь представлялся мне чуть ли не столицей: там театр, лекции, кружки, умственная жизнь. А главное — перекресток, постоянно проходят новые люди, пленные всех национальностей, многоязычный форум. Особенно я надеялся, в лагере будет возможность встречаться с русскими.

Надежда на новую жизнь радостно меня волновала. Только немного грустно было расставаться с товарищами. Четыре года мы прожили в нашей тесной каморке и ни разу не поссорились. Все по-братски делили. Но все равно, после того, как увезли Бернара, уже не то было. Маленький мир нашего «командо» распался.

III

Последний год в плену я работал в госпитале при лагере. Голая площадка, огороженная двумя рядами высоких столбов, с дико накрученной колючей проволокой. Уныло жмутся к земле серые бараки. У ворот и на угловых вышках день и ночь часовые. Другие, поблескивая примкнутыми штыками, прохаживались вдоль столбов с колючкой. Им было скучно, они пробовали с нами заговаривать, выпрашивали папиросы. За проволокой — пустыри, песок, плоское место. Только на севере какое-то подобие пейзажа: длинная цепь вросших в землю пороховых погребов, ельник, железнодорожная насыпь. Но поезда тут редко ходили — боковая ветка. Вдали, за краем леса, виднелись сторожевые вышки другого страшного лагеря. В деревянных сгнивших бараках там умирали последние пережившие первую зиму русские пленные.

Раз в неделю оттуда к нам водили на рентген больных и раненых.

*

В ворота госпиталя въехала черная глухая карета. Ее тащила, с трудом передвигая разбитыми ногами, старая рыжая лошадь. Сзади, под охраной вахмана, шли русские врачи. Карета остановилась около мертвецкой. Двое русских санитаров, один в кубанке, растворили дверцы в задней стенке кареты и вытащили за ноги грязно-серый слепок человеческого тела. Тяжело переступая, они внесли его в мертвецкую.

Из времени нашей тюремной жизни, постылой и нерадостной, но всетаки еще жизни, мы с детским страхом смотрели, как санитары перенесли из кареты в мертвецкую еще несколько таких глинисто-серых существ или предметов, которые были прежде людьми. Один был огромный. Санитары сутулились, внося его на крыльцо. Прогибаясь в поясе, он почти касался каменным задом земли.

В неподвижном свете дня все оставалось таким, как было: отвесная черта угла мертвецкой, колючая проволока, а за ней какое-то непонятное отсутствие дали: песок, немножко травы, и сразу за дорогой — дождливое серое небо. Но эта черная карета и санитары, казалось, находились в проруби другого, ярко освещенного пространства. Там будто открылась какая-то потаен-

ная комната, где происходило что-то невыразимо гнусное и страшное, и мы знали — это и есть правда существования, о которой лучше не думать, но от которой некуда уйти.

*

Когда приходили русские доктора, мы старались собрать им поесть. Щедрее всех давали сербы. В этот раз мы решили покормить русских тут же в мертвецкой, в пустой комнате, где стояли заготовленные для наших больных новые сосновые гробы. Мы разложили на их крышках хлеб и американские консервы. Подкупленный вахман не мешал. Когда все было готово, я пошел в комнату, где делали вскрытие. Для этого нужно было пройти через другую, пустую комнату. Здесь у стены лежали на спине пять не обмытых трупов: начиненная сгнившими внутренностями, брошенная за ненадобностью человеческая падаль. Грязно-пергаментная, по-жабьи морщинистая кожа дрябло обвисала на стаявшей плоти; тонкие, будто обсосанные чьим-то чудовищным ртом ноги расходились, как деревянные.

У лежавшего с края одна рука завалилась за спину и с похабным глумлением смерти из-под низу высовывалась в измазанном почерневшим калом межножье. В треугольно заостренном к подбородку молодом лице стеклились черные ямы раскрытых огромных глаз. Из них на меня глянул недоуменный ужас, охвативший сознание этого человека, когда он понял, что умирает и что для него никогда не придет освобождение от власти чужих, безжалостных людей, которые его погубили, хотя они знали, как важна была для него его жизнь.

Я приоткрыл дверь в соседнюю комнату и отшатнулся. За спинами наших и русских врачей я увидел лежавшее на столе такое же серое мертвое тело. Другой мертвец сидел у него в головах и распиливал ему череп. Но я сейчас же понял мою ошибку: это был немец-специалист, он делал вскрытие. Он был живой, только что-то нечеловечески бесчувственное и грубое было в толстых морщинах его лица. Его голый череп лоснился под падавшим сверху светом электрической лампочки. Я попятился и закрыл дверь. За мной вышел старший русский врач Дьяконов, невысокий человек с большой бородой. Несмотря на нездоровую бледность его лица, во всем его облике было что-то успокоительно домашнее. В детстве такие бородатые доктора выслушивали, приложив ухо к приставленной к моей груди хорошенькой трубочке. В его глазах, устало прикрытых набухшими веками, светилась неистребимая добродушная усмешка. Я сказал ему:

— Доктор, все уже приготовлено.

— Ну, спасибо, дядя Володя. У нас как раз сейчас перерыв будет. А у меня к вам просьба, — он посмотрел на меня вопросительно, — там у вас наши больные проходят теперь через рентген. Доктор Семенов не может прийти. А вот Феде, знаете, фельдшер наш, скажите, чтобы пришел. А то с утра стоит там, в коридоре, не евши. Пожалуйста, сходите, голубчик. Вы не бойтесь, наш «пастух» (он так называл вахмана) ничего не скажет.

— Хорошо, позову. Доктор, а отчего умерли эти русские?

— Туберкулез, главным образом. Каждый день человек до двадцати умирает. А теперь немцы почему-то отобрали несколько трупов для вскрытия. Говорят, для научных целей. Что же, по-врачебному это даже правильно. А лучше бы углеводов больше давали.

Он прислонился к стене. Его зеленоватое, с закрытыми глазами лицо показалось мне очень усталым. Покачав головой, он сказал с улыбкой над собственной слабостью:

— Знаете, не могу теперь долго стоять на ногах, начинает голова кружиться.

Выйдя из мертвецкой, я жадно вдохнул всей грудью холодный, туманный воздух зимнего дня.

Рентгеновский кабинет помещался в хирургическом бараке, в самом конце коридора. Мне не повезло. Только я вошел в сени, дверь канцелярии приоткрылась и, как пантера из пещеры, высунулся унтер-офицер Цандор. Посмотрев на меня недовольным взглядом, он грубо спросил:

— Wohin gehen Sie?*

Я сказал, что иду к нашим санитарам.

В комнате санитаров, окруженный товарищами, которые смотрели на него с ужасом и участием, стоял большой человек в шинели из толстого черного сукна. На его изможденном, с провалившимися щеками лице сосредоточенно смотрели перед собой агатовые без блеска глаза. Видимо, не отдавая себе отчета, где он находится и что за люди вокруг него, он с выражением страдальческого недоумения все хотел, казалось, рассмотреть что-то нам невидимое.

Товарищи совали ему сухари. Он брал со странной безучастностью, не благодарил и вместо того, чтобы прятать сухари, продолжал стоять, держа их в опущенной руке. Они начали один за другим выскальзывать у него между пальцами и падать на пол. Тогда товарищи принялись засовывать их ему в карманы шинели. Один предложил ему папирос. С трудом разлепив серые губы, он, с необъяснимой уверенностью, что его должны понять, медленно проговорил, открывая фарфорово-белые на землистом лице зубы:

— Нет, целых не надо, все равно Султан отнимет, а вот бы маленьких этих, окурочков.

— Что он говорит? — спросил санитар Жан.

Я знал, Султан — это «полицай», который у входа в русский лагерь обыскивал всех русских, когда они возвращались из нашего госпиталя. Я объяснил товарищам.

— Спроси у него, может ли он сшить мне ночные туфли. Я ему дам обрезков сукна, — сказал Жан.

Русский, казалось, нисколько не удивился, что я, француз, обращаюсь к нему по-русски. Подумав, он сказал, с трудом шевеля губами:

---

* Куда вы идете? (*нем.*).

— Нет, не могу. Больной я. Били меня.

— Кто вас бил? — не удержался я, хотя так ясно это было.

— Немцы, — сказал он, взглянув на меня с испугом. Я увидел, как в его темных глазах промелькнуло такое же выражение обиды и страха, как у того русского на полу в мертвецкой. — Работали мы на лесопилке. Человек семьдесят. Приехали офицера ихние с солдатами. А с ними переводчики — наши русские, из власовцев. Стали уговаривать записаться в Р.О.А. Никто не записался. Тогда взяли каждого третьего и тут же у забора расстреляли! Опять велят записываться, а мы твердо стоим, не соглашаемся. Но больше не расстреливали. Бить только стали. И прикладами, и сапогами. Все нутро мне отшибли.

Он помолчал и с убеждением сказал:

— Обижают русский народ.

В это время в комнату заглянул невысокий, с бледным молодым лицом человек в русской фуражке и, дотронувшись до его локтя, ласково, но твердо сказал:

— Идемте, Сидоров, сейчас ваша очередь будет.

У этого маленького русского была на рукаве повязка Красного Креста. Я догадался, что это и был Федя, и вышел за ним.

— Простите, это вы — Федя?

— Да, меня Федором зовут. А как вы узнали? — спросил он с детским удивлением.

— Вот мы там устроили закусить вашим докторам. Приходите и вы.

— Нет, спасибо большое, не могу больных оставить, — сказал он мягко, видимо, не желая обижать меня отказом, но без малейшего колебания. По его осунувшемуся лицу давно голодавшего человека не прошло даже тени сожаления.

Чувствуя, что настаивать бесполезно, я показал глазами на Сидорова, который, будто обдумывая какой-то неотступный мучительный вопрос, стоял теперь, прислонившись к стене.

— Что с ним? Тяжело болен?

— А, этот? Доходяга, — взглянув на него, сказал Федя и улыбнулся.

— Что это такое, доходяга, — спросил я.

Федя, все продолжая улыбаться, стал с готовностью объяснять:

— А как же, доходяга это тот, кто уже примирился, что помирает. Доходит, значит, не борется за жизнь. У нас так и делятся — на доходяг и шакалов. Шакалы, те промышляют чем-нибудь, или торгуют, или на кухне работают.

— А что он, правда, так плох?

Федя с сомнением покачал головой:

— Когда бы другие условия. А то, знаете, теперь немцы наших туберкулезных по новому методу лечат. Если видят, что уже к концу идет, ставят под холодный душ. Радикальное средство...

— Что же, неужели помогает? — спросил я наивно.

— Нет, к утру умирают, — словно с удовольствием сказал Федя.

— Неужели это может быть?

— Ну, как же. Теперь они это даже более культурно делают. А то раньше, когда тиф был, придут полицаи ночью в тифозный барак и всех перебьют бревнами. Наутро — ни одного больного. Немцы рады — эпидемия ликвидирована. И полицаям выгодно. Ведь продовольствие накануне на больных выписывается, вот они лишние порции и делят между собой.

Федя больше не улыбался, но говорил, будто с одобрением. «Уж не смеется ли он надо мной?» — подумал я и посмотрел на него пристальнее. Его изможденное, с приятными чертами лицо было чисто выбрито, отчего натянутая на скулах кожа казалась еще прозрачнее. Из-под ворота гимнастерки проглядывала белая полоска подшитого воротничка. По тому, как он держался и как опрятно был одет, чувствовалось усилие сохранить человеческое достоинство. Он смотрел мне прямо в глаза, и в его печальном взгляде было такое же выражение, как у Сидорова и у того русского в мертвецкой.

Я предложил ему папиросу. Он отвел глаза и отказался:

— Спасибо, я не курю.

Я оглянулся. Около двери рентгеновского кабинета, как нищие на паперти, стояли, сидели на полу и лежали на носилках и матрацах русские больные и раненые. Один, скорчившись в углу, совсем еще мальчик, со стриженной ежиком головой, в последний раз жадно и глубоко заглотнув дым, худой, почти прозрачной рукой протянул окурок соседу.

— На, артиллерист, покури, — сказал он, посмотрев острым глазком.

Рассчитав, что хватит на всех, я подошел к ним и роздал бывшие при мне папиросы или сигареты, как говорили теперь русские. Распространяя тяжелое зловоние гниющих ран, они зашевелились, протягивая ко мне иссохшие, коричневые руки. Несколько человек сказали: «Спасибо, друг».

*

Умирали пленные и в нашем лазарете.

Я иду в барак для заразных. На цементном дворике ни кустов, ни деревьев. И все-таки чувствуется весна. Порывы ветра доносят откуда-то с полей пьянящее благоухание оттаивающей земли. Грудь с наслаждением глубоко вдыхает блаженный свежий воздух.

Теперь я вижу, до чего банально было это чувство. Но это не уменьшало его непосредственности и силы. Больше не было всего страшного и нечеловеческого, что совершалось уже столько лет. Только торжество весны. Одно из тех мгновений, когда чувство жизни, пусть слепой, безжалостной, но все-таки прекрасной, охватывает с такой силой, что мысли о страданиях людей и неизбежности смерти становятся безразличными.

Внезапно из окна барака донесся протяжный стон. Меня поразила эта противоположность. Здесь, на дворе милостиво царствуют свет и тепло солнца, свершается праздник вечного обновления, а там — больничный запах, стоны, смерть у изголовья коек. Мне неясно вспомнилось: поэты и художники изображали природу в виде молодой женщины с повязкой на глазах.

Прекрасная, но равнодушная, она идет, безжалостно попирая ногами уничтожаемые ею жизни. Сияние весеннего дня показалось мне теперь похожим на эту женщину.

В сенцах барака я столкнулся с одним из наших докторов, капитаном Леже. Вертлявый, хлыщеватый, циничный в разговорах. Но в отличие от глумливо-насмешливых глаз, длинный с подвижными ноздрями нос капитана имел какое-то проникновенное выражение, словно это был особый исследовательский орган для распознавания болезней. Капитан Леже славился своими диагнозами. Пленные его не любили, но отдавали ему должное как хорошему врачу. С необычным для него строгим выражением он спросил меня:

— Хотите посмотреть, как умирает человек?

Он привел меня в отдельную комнатку, где стояла только одна койка. Я с ужасом смотрел на больного. Лицо почти как у мумии, но нос не провалился, а, наоборот, длинный, с безобразно обозначившимися хрящами; коричневые белки заведенных к векам рыбьих глаз; из полуоткрытого рта вываливается сизый, набухший язык. Санитар наклонился к нему дать лекарство. Но больной, подозрительно покосившись на подносимую к его рту ложку, внезапно оттолкнул руку санитара и, словно приподнятый посторонней силой, сел на постели, прямой как доска. Мне даже почудился скрип деревянных шарниров. Его глаза с выражением идиотического гнева завертелись колесиками, как у комических актеров в фильмах, и он странным горловым голосом отрывисто прокричал какие-то непонятные, как будто даже нефранцузские слова, не имевшие отношения к происходившему теперь. Может быть, какая-то старая обида ему вспомнилась.

Санитар уложил его обратно на носилки, и больной затих. Что-то страшное и в то же время почти карикатурное было в механичности этой последней, бессмысленной вспышки жизни. Я знал, это умирает человек, брат. Умирает на чужбине, в плену. Но я не чувствовал волнения, словно видел конец не человека, а какого-то человекоподобного робота. Он еще двигался, но завод уже был на исходе, и по мере того как движение прекращалось, исчезала иллюзия жизни, и все очевиднее становилось, как, в общем, грубо и несовершенно было сработано это бедное создание, из какого непрочного, уже наполовину сгнившего вещества. Куда там — «по образу и подобию». Умом я сочувствовал ему, но этот чудовищный, умиравший на моих глазах *предмет* нельзя было любить. Я испытывал только ужас, желание уйти. Я говорил себе: «Это закон жизни. Я не виноват, что он умирает, а я еще жив, здоров, могу радоваться солнечному свету, могу надеяться. Даже в Евангелии сказано "предоставьте мертвым погребать своих мертвых". Иначе жизнь не могла бы продолжаться. И мы, живые, мы тоже умрем». Но мне чувствовалось в этих рассуждениях какое-то предательство. Что-то неодушевленное безжалостно его уничтожало, а мы равнодушно продолжали заниматься своими делами, надеждами, заботами.

На тумбочке у изголовья я увидел карточку: плечистый, густоволосый человек, с умными блестящими глазами и круглым сильным лицом, несо-

единимым с его теперешним, ссохшимся. Под ручку с этим крепким, полным жизни человеком, каким он был прежде, — молодая, красивая женщина с большой грудью. В углу французская, вероятно нежная, надпись наискось. Я чувствовал, что не могу простить этой чудовищной насмешки над ним, над всеми людьми. Думают, любят, борются, сознание каждого — центр мира, и вот, после мучительных страданий, перестают чувствовать и сознавать, превращаются в мерзостную падаль. Бог, если только есть Бог, не мог этого хотеть. Даже самый суровый и мстительный тиран никогда не приговаривал к мучительной смертной казни всех без исключения людей. Нет, здесь что-то произошло, какая-то непредвиденная катастрофа, которая помешала создать людей бессмертными, добрыми, всезнающими. Говорят, идеи Фёдорова — безумие, но ни на какое учение, которое не обещает победы над смертью, я не согласен.

*

Мы уже давно не получали писем из Франции. Было ясно, приближается развязка. Но шли дни, недели, месяцы, наступила зима, а фронт все далеко был, за сотни верст. В нашей жизни ничего не менялось. Все так же по утрам по коридору пробегал немецкий унтер и, хлопая дверьми, врывался в комнаты, пронзительно крича: «Aufstehen!»* Все так же оперировали в хирургической, и все так же, не дождавшись освобождения, умирали наши тяжелобольные, а в отделении для сошедших с ума больше не хватало места. Нам почти уже не верилось, что раньше была другая жизнь, что наш плен когда-нибудь кончится. За оградой никогда ничего не происходило. Тишина. Может быть, все люди в мире уже умерли? Иногда кто-нибудь вздыхал: «Господи, хоть бы бомбардировка!»

И вдруг все изменилось. Бои шли уже в Мазурских болотах. Через наш госпиталь проходили французские и английские пленные из дальних штрафных лагерей. Их гнали из Восточной Пруссии. Многие поморозили в дороге ноги, лица, пальцы рук. Каждый день, с самого утра, они приходили в госпиталь по двое, по трое, по несколько человек, ковыляя, держась друг за друга. Некоторых привозили товарищи на сколоченных из досок санках. Обмотанные вязаными шарфами, тряпьем, одеялами, с черными пятнами на лицах, они молча смотрели на нас блестящими и спокойными, как у детей, глазами, словно им хорошо было так сидеть в санках, тесно прижавшись друг к другу. В операционной резали ступни и пальцы.

Один француз рассказывал, что, когда их эвакуировали, в поле уже шли русские танки.

Стали привозить раненых русских пленных прямо с фронта. Некоторых оперировали у нас в госпитале. Федю перевели к нам за ними ходить. Я всякий раз, когда представлялся случай, старался с ним поговорить. Но мне это редко удавалось. Он почти совсем не выходил из палаты, где лежали русские.

---

* «Вставать!» (*нем.*).

Наши доктора говорили про него, что он «прирожденный» санитар, знающий и очень старательный.

Теперь он иногда брал у меня сигареты, но каждый раз приходилось его уговаривать. Жалея меня, он говорил: «Что же я вас обижать буду, у вас у самого не останется».

Он никогда сам не задавал вопросов, но на мои старался ответить как можно точнее и обстоятельнее. От него я узнал много страшного о лагерях для русских пленных. Он рассказывал сдержанно, без злобы, только будто с недоумением.

— Нет, все-таки этого мы не ждали. Мы знали, конечно, что фашисты нас ненавидят, так как мы единственная социалистическая страна, но чтобы такое было... Мы привыкли думать — на Западе культура. Сколько у нас книг переводилось с иностранных языков. Что же, может быть, у нас и была известная отсталость, но разве у нас так с немецкими пленными обращались? Получали такой же паек, как наши бойцы. Бить вот как строго запрещено было! У другого бойца накипит на сердце, и хотел бы ударить, да знает, что накажут, себе дороже будет. А они нас били, прямо убивали, так — без всякого повода, неизвестно за что... ведь меня и по лицу били, — сказал он с усилием. Потом, помолчав, печально прибавил: — Знаете, иногда сам удивляюсь, как живой еще. Так, посмотреть — силы во мне совсем нет. Другие куда здоровее, а не выдержали, померли... а я вот живу.

Из наших коротких разговоров я узнал, что он из крестьянской семьи. В детстве пас деревенское стадо. «Если бы не советская власть, так бы всю жизнь и ходил за коровьим хвостом». Кончив десятилетку, получил стипендию на фельдшерские курсы.

— Что же, вы охотно учились, Федя?

— Ах, как охотно. Бывало, во всем себе откажешь, даже в театре. Конечно, театр — прекрасное, культурное развлечение, но мне все как-то больше учиться хотелось. Ведь я врачом хотел стать. Выписывал научные книги по медицинским вопросам. Все вечера занимался. Вы знаете, бывало, идешь по улице, вдруг видишь — деревья цветут, уже весна, и не заметил, как зима прошла. — Он улыбнулся, задумавшись. — Особенно книг моих мне жалко, вся моя библиотека, верно, пропала. Я сам орловский. У нас там фронт долго стоял. Верно, все сгорело, разрушено.

— А для чего вы учились, Федя? Чтобы больше денег зарабатывать? — спросил я с умыслом.

— Чтобы работать для народа, — ответил он, не задумываясь, как отвечают затверженный урок, но так искренне, что, видимо, и вправду ему никогда не приходили в голову другие соображения.

— Вы знаете, как медицинская наука может помочь народу? — сказал он, оживляясь. — Вот, хотя бы борьба с эпидемическими заболеваниями. Как раз перед войной мы производили районное обследование...

И он с увлечением стал говорить о своей работе в какой-то медицинской комиссии. Потом грустно улыбнулся:

— Да, жили, учились, строили. Не ждали, что так будет.

Слушая его, я думал — ведь эта Федина вера в науку, в творческое человеческое действие, в возможность сделать, чтобы людям стало легче жить, так близка к милосердию, почему же так бесчеловечно общество, которое они построили?

Я все старался навести на это разговор. Как-то мы обсуждали вопрос о принудительной стерилизации людей, страдающих передающимися по наследству болезнями. Федя с убеждением сказал:

— Нет, никого нельзя лишать права иметь детей. У нас, по крайней мере, так считают. Ведь каждый человек, даже самый больной, имеет право на счастье.

Слова его мне показались примечательными. Я спросил:

— А как вы считаете, имеет ли врач право убить обреченного больного, чтобы избавить его от напрасного страдания?

— Ах, нет, ни в коем случае! — воскликнул Федя. — Я помню, как нас ругали в институте, если кто-нибудь отвечал, что если положение больного безнадежно, то можно убить. Кто же имеет право отнять жизнь у человека? А вдруг окажется, что был какой-то шанс на спасение. Никогда нельзя сказать наверное.

Глаза у него блестели, и он весь был радостно возбужден, видимо, гордясь человечностью взглядов, в которых воспитывали их, студентов Советского Союза. Значит, у него было в душе это безоговорочное убеждение в неприкосновенности права каждого человека на жизнь, свободу, счастье. С бьющимся от волнения сердцем я спросил:

— Хорошо, как же вы говорите, что никто не имеет права отнять жизнь, а в то же время допускаете смертную казнь за политические преступления, за то, что люди иначе думают?

Бедный Федя совсем поник. Всякое оживление сошло с его лица.

— Видите ли, наш учитель Ленин говорил, что нам предстоит еще долгая кровавая борьба, прежде чем мы добьемся победы социализма во всем мире, — сказал он уныло.

Но мы все больше обсуждали военные слухи. В те дни мы не могли думать ни о чем другом. На карте расстояние между нами и фронтом теперь быстро сокращалось. Называли совсем близкие города — в ста, в шестидесяти, в сорока, в двадцати пяти километрах.

*

Прежде всех эвакуировали американцев. В палате, где они лежали, было теперь холодно и пусто. Я любил американцев. К ним можно было прийти и сказать: «Там, у рентгена, ждут русские пленные, у них ничего нет, ни еды, ни табака, помогите им, кто чем может». И американцы давали банки консервов, шоколад, сигареты.

У них всегда было весело, хотя многие были тяжело ранены. Им присылали в посылках шахматы, шашки, разные головоломные игры. Целыми днями они передвигали на дощечках какие-то фигурки и палочки, рассма-

тривали географические журналы, варили кофе. Один, с отрезанной ногой, тренировался в прыжках на уцелевшей ноге, может быть, готовился стать чемпионом одноногих. Замечая соболезнование, он удивленно говорил: «I enjoy my life»*.

Незадолго до того, как их отправили, трое пришли к нам в комнату, в гости. Входя, они образовали в дверях очаровательную группу. Один — высокий, похожий на Гэри Купера — нес на руках маленького рыжего, у которого обе ноги были отрезаны выше колена, а третий шел, держась рукой за высокого. Ноги у него выписывали кренделя. Он шел, как пьяный. Ранение повредило у него в мозгу какой-то центр, регулирующий равновесие. Высокий рассказывал нам о своей жизни в Бруклине: «I had a good time!»** Произнося эти слова, он улыбнулся, как, верно, улыбался Овидий, вспоминая в изгнании Рим. А безногий почти ничего не говорил. Только радостно и с любовью смотрел на всех из-под рыжих бровей простодушными аквамариновыми глазами.

После американцев эвакуировали тяжелобольных. Но нас пока оставили. Мы надеялись — не успеют. В нетопленых бараках стояла стужа: больше не привозили угля. И воды и электричества часто не было. Когда гас свет, мы с радостью думали: вот, русские взяли город, откуда подавали ток. Но проходило несколько часов, свет снова появлялся, снова шла вода. Днем над госпиталем теперь часто кружились русские истребители. А по вечерам замогильно выли сирены. В черном небе с могучим гулом моторов летели отряды бомбовозов. Потом вдали долго слышались бившие сверху удары и глухой грохот. Весь небосклон там вздрагивал, будто зарницы полыхали.

От эвакуированных из окрестных деревень и городков товарищей мы знали, на юг от нас фронт проходит совсем близко, но русские идут на запад, к Одеру, посылая в нашу сторону только боевые заслоны и конные разъезды.

Там, где шли русские, высоко поднималось зарево пожаров. Днем его не было видно, но когда темнело, там все небо было кровавое и дымное. А потом и на севере встали пожары, и мы уже не понимали, где теперь фронт. Наш госпиталь был окружен огненным кольцом.

Гуляя по вечерам за бараками, мы старались угадать, какие это горят города и в скольких километрах отсюда. Потом стала слышна дальняя канонада. Немцы говорили, это их учебная стрельба. Но им больше никто не верил. С каждым днем канонада приближалась.

Наступил вечер, когда уже больше не могло быть сомнений: бой шел совсем близко. Я стоял за бараками около ограды из колючей проволоки. Были слышны частые, будто нагонявшие друг друга, резкие звуки орудийных выстрелов. В темном лоне ночи эти звуки, казалось, двигались: то сходились — удары выстрелов били все быстрее, все чаще, все с большим ожесточением и силой, — то снова расходились, слабели, отдалялись.

---

* Я радуюсь жизни (*англ.*).

** Я хорошо проводил время! (*англ.*).

— C'est un combat de chars!* — возбужденно сказал стоявший рядом со мной санитар Орлив, по-африкански пышно курчавый человек, с могучим туловищем на коротких, кривых ногах. Родом итальянец, он говорил с сильным марсельским акцентом. На его толстом курносом лице блестевшие глаза смотрели весело и дерзко. В глубоко вырезанных ноздрях был виден заросший черными волосами розовый хрящ перегородки.

— Putain! — сказал он с восхищением. — Tu te rends compte!** Орудийные выстрелы слышались теперь совсем близко. Перед нами, надвигаясь из глубины мрака, грозно грохотала невидимая нам яростная битва — будто там кто-то с нечеловеческой силой бешено бил огромным ломом в чугунную доску, и вдруг совсем близко, казалось, из-за ближайшего перелеска, застрочил пулемет.

— Ils arrivent, les camarades «roussko»***, — торжествующе сказал Орлив и с насмешкой крикнул часовому на вышке: — Russo commo****. — Он, верно, думал, что он это по-немецки сказал.

К нам подошел делавший свой обычный вечерний моцион польский хирург. На каком бы языке он ни говорил, он всегда прибавлял при обращении слово «пане», и французы прозвали его «панье». А я долго думал, что это потому они его так называют, что по-французски panier — корзина: он был толстый, с круглым животом. Остановясь около нас и слушая грохот боя, он всматривался в ночь, стараясь угадать, что там происходит.

— Симфония! — сказал он с улыбкой.

Постояв еще немного, я пошел обратно к баракам. Волнение сжимало мне горло. Пять лет плена. И вот теперь, в окружающей нас темноте, сокрушая заколдованное могущество наших поработителей, в грохоте боя шла неизвестная грозная Россия, от берегов которой я отплывал более двадцати лет тому назад.

У входа в последний барак я почти натолкнулся на маленькую фигурку, словно притаясь, стоявшую в тени.

— Федя, что вы здесь делаете? — спросил я удивленно. Он взял мою руку и, сдерживая волнение, тихо сказал:

— Владимир Васильевич, слышите эти разрывы один за другим: та-та-та-та. Это «Катюша» играет.

Стараясь различить среди звуков орудийных выстрелов и пулеметных очередей эти особенные звуки «Катюши», я спросил:

— А правда — эта «Катюша» такая страшная?

— Ах, еще бы, все сжигает. — Он помолчал и вдруг заговорил с волнением, которое меня удивило, так как он всегда был очень сдержан. — Владимир Васильевич, не могу я больше, убегу к своим.

— Мы тоже обдумываем, да трудно это, Федя: на всех дорогах заставы.

---

* Это танковый бой! (*фр.*).

** Б...! Ты отдаешь себе отчет! (*фр.*).

*** Они приближаются, товарищи «русские» (*фр.*).

**** Русские идут.

— Все равно, пусть убьют. Измучился я здесь. Верите ли, ночи не сплю. Все лежу и думаю, как же это, русские, свои совсем близко, а я что же? Раньше мне нельзя было, не мог больных бросить. А сегодня мой последний умер, — сказал он печально.

*

На следующий день Федю перевели обратно в русский лагерь. Вечером около кухни стоял с телегой высокий, в белой папахе конюх Яшка Медяков. Федя о чем-то говорил с ним вполголоса. Русские конюхи жили на конюшне при нашем лагере. Жили богато. Возили и крали американские посылки, пили водку, в городе у них были любовницы. Вся черно-рыночная лагерная торговля проходила через их руки.

Когда я увидел Медякова в первый раз, он так же, как сегодня, стоял с телегой у кухни. Только тогда мороз был крепче. Туго перепоясанный по впалому животу, он прохаживался около лошадей, притоптывая озябшими ногами и напевая вполголоса:

Есть на свете уголочик,
Ето тоже да не мой.

Несмотря на неуклюжие сбитые сапоги, у него была легкая, как волчья побежка, походка. Даже в узкой и короткой ему шинели он был хорош собой: высокий, статный, с широкими плечами и грудью. Белая папаха очень шла к его красивому лицу. На лоб молодецки выпущена прядь русых волос. Но во взгляде серых глаз что-то тяжелое, скучное, ленивое. Держал он себя независимо, почти высокомерно.

Я спросил его:

— Вы казак?

Смотря на меня с высоты своего огромного роста, он усмехнулся, открывая сплошные белые зубы:

— Дед мой был казак, отец — сын казачий, а я... — Почувствовав, что получится обидно для него самого, он не договорил. Лошадь внезапно заржала и стала бить ногой. Яков треснул ее кулаком по лбу: «Ну, балуй!»

— Зачем вы лошадь бьете? — спросил я невольно.

— Нет, я сляхка, — усмехнулся он, посмотрев на меня с презрением.

Желая его испытать, я спросил, что он думает о власовцах. Он нахмурился:

— Что же, добровольно мало кто шел. Были, конечно, б...., а так — больше с голодухи. Ведь до чего доходило: трупы кушали. То есть мы не кушали, а, знаете, черные: узбеки, кавказцы. Мы их так называем: черная нация. Вот и записывались. В лагере все равно подохнешь. Если не от голода, так полицаи забьют. А там думали, к русским удастся перебежать... Немцы тоже обещали: мясо будут давать, жалованье платить, а потом в Расее землю отведут. Только меня не заманишь. Хоть медом кормить будут. Не люди они, звери. У нас в

лагере что делалось. По четыреста человек в день умирало. Тифозных зарывали — шевелились еще. Ведь немцы на нас как смотрят? Будто не люди мы даже вовсе, а вроде хвостатых. Одна баба ихняя, старая, и вправду думала, что у нас копыта на ногах. Ей-Богу! Все мальчика, внучка, приводила, просила разуться, показать. А у нас разницы не делали: русский ты, или француз, или немец. Хочешь работать — живи свободно, такие же права, как у всех. Или вот у нас, в армии. Всякий офицером мог стать. Была бы голова хорошая. А там русский ты, или узбек, или жид, все равно.

Я спросил:

— Ну, а как вы дома, в России, жили?

— Что же, хорошо жили, — ответил он неохотно, — не так, как здесь. Панов не было, на себя работали. У нас свобода была. Отработал семь али там восемь часов, идешь с бабой в парк гулять или в кино, водку пьешь, никто тебе ничего не скажет. Не понравилось на одном месте, пошел на другой завод или совсем в другой город уедешь или на село. Я всякую работу умею, как говорится, на все руки. А здесь как живут? Дома хорошие, чистые, ничего не скажешь. Это у них по-культурному. А ни парка, ни клуба. Некуда на люди пойти. Сидят каждый у себя, как кроты, да только кофий без сахара пьют. А дома, бывало, накидаешь в чай сахару, прямо патока, кушать приятно... А спинджаков этих самых сколько было! Не так как здесь, старого не донашивали, на помойку бросали.

Но он говорил об этом неправдоподобном изобилии равнодушно, со скукой. Смотрел в сторону. Как если бы главным было что-то другое, чего он не мог объяснить словами.

А сегодня у него было непривычно оживленное выражение. Глаза возбужденно блестели, на скулах — красные пятна. Мне показалось, он был уже выпивши.

— Вы, Яков, веселый сегодня, — сказал я, подходя.

— ... ж плакать, — ответил он весело и грубо. — Как говорится, в Москве на слезы не смотрят.

Я не удержался и поправил:

— Москва слезам не верит... А что, как вы думаете, успеют они нас эвакуировать или нет?

Яшка посмотрел на меня смеющимися глазами:

— Эх, пришли бы ко мне на конюшню. Водки выпьем. Я вам показал бы: у меня карта есть. Ведь что делают, — он свел перед собою руки, словно что-то обхватывая, — смеяться будете.

В это время из кухни, засовывая в подсумок какую-то завернутую в промаслившуюся газету снедь, вышел на крыльцо хромой немецкий унтер. С трудом влезая на телегу, он сердито крикнул:

— Iwan, schnell, es ist spat!*

Посмотрев на него со скукой, Яшка презрительно сказал:

---

* Скорей, Иван, уже поздно! (*нем.*).

— Погоди, вот русские придут ... кричать будешь.

Поправив на лошади оголовок, он неторопливо полез на телегу. Немецкий унтер уже сидел на мешках, держа карабин между колен. Он недовольно повторил:

— Los, Mensch!*

Яшка уселся, расперся поудобнее, разобрал вожжи. Лошадь тронулась. Федя положил свой узелок на лежавшую на телеге поклажу. Протянул мне руку.

— Ну, Федя, не поминайте лихом.

— Что вы, Владимир Васильевич, ведь я о вас, кроме самого хорошего, ничего не могу сказать.

Он вскочил бочком на телегу, выезжавшую, громыхая колесами, на мощный спуск к воротам, и уже издали в последний раз помахал мне рукой.

*

А на другой день серб Милован, который каждый день ходил с вахманом в русский лагерь, сказал мне, что Федя и Яшка бежали. Лошадь и телегу бросили на дороге. Хромой унтер лежал на обочине, в канаве. Когда пришел в себя, рассказывал, его сзади оглушили чем-то по голове, что было потом — не помнит. И карабин его исчез.

Не знаю, обдумали Федя и Яшка побег заранее или внезапно решились, когда ехали лесом. Вспомнили, русские уже недалеко. На дороге ни души, вокруг темный бор.

Немцы ходили с собаками. Не нашли. Да, может быть, и боялись слишком углубляться в чащу. Знали, у Яшки карабин.

Прошло два дня. По дороге вдоль железнодорожной насыпи непрерывно двигались войска, обозы, артиллерия. В город пришла дивизия эсэсовцев. Лагерная охрана ходила в поле стрелять из «панцер фаустов». У караульного помещения стояли телеги. Немцы грузили ящики, мешки, ранцы. Старший немецкий врач настаивал на эвакуации госпиталя.

Как всегда перед отъездом, я чувствовал одновременно и радостное, и грустное волнение. Я теперь лучше видел прожитые годы.

*

За дверью комнаты, где была устроена часовня, слышалось неясное бормотание. Я колебался: входить или не входить? Я никогда не мог привыкнуть к католическому богослужению, да и отца Льва, которого я любил, уже не было в госпитале. Бородатый, необыкновенно деятельный, он бессменно работал санитаром в палате у тяжелобольных, но был веселый, даже в волейбол играл. Говоря с ним, каждый чувствовал, что отец Лев с первого же взгляда увидел в нем все то хорошее, чего не замечали другие люди. А теперь служил совсем еще молодой священник, который работал помощником санитара.

---

* Давай, человечина! (*нем.*).

Он не очень мне нравился. С больными ему всегда было некогда. В полосатой лазаретной куртке, с широким, как у женщины, тазом и довольно плотными ляжками, в очках, с падающими на потный лоб волосами, он вбегал в палату, держа перед собой лоток с лекарствами. Торопился, путал, раздражался. Но на пороге ожидавшей нас неизвестности мне хотелось быть вместе с товарищами. Они в торжественном молчании стояли рядами, с лицами, измененными строгим и сосредоточенным выражением. Священника было трудно теперь узнать. Самодельное, из белой бязи, облачение придавало ему что-то трогательное, будто он был из ваты. Лицо детское, розовое, глаза как рождественские блестки. Он уже кончил служить и говорил теперь проповедь.

— Не бойтесь, братья, все свершается по промыслу Божию! — чуть не падая от изнеможения, восторга веры и страстной мольбы воскликнул он проникновенным звенящим голосом.

Меня охватило такое тяжелое чувство досады, что я вышел в коридор. Я вспомнил отчаяние и ужас в раскрытых глазах мертвых. Так что же — миллионы убитых, ненависть, неслыханные преступления — все это по воле Бога? Но тогда как можно любить такого Бога, как можно Ему все это простить? А они еще Ему молятся.

«Вместо того чтобы мессы каждый день служить, лучше бы больше о больных заботился», — подумал я с дурным чувством. Между тем я понимал, не мне его упрекать и мне самому нравилось что-то поэтическое и беззащитное, что в нем чувствовалось, когда он говорил проповедь.

После обеда мой приятель Шарль сказал мне надеть на рукав повязку с красным крестом. Видя мое недоумение, он объяснил:

— Мы идем в город, нужно посмотреть, что там делается.

— Разве у тебя есть пропуск? — спросил я удивленно.

— Нет, нету. Но это уже мне предоставь.

Шарль был бельгиец. Для меня в нем воплощалось все, что я знал о Фландрии по книгам и картинам: веселый, свободолюбивый и деятельный народ, чувственный и вместе с тем набожный. С уже округлившимся животом, в шинели, которая сидела на нем, как подрясник, Шарль казался мне похожим на средневекового бродячего монаха, одинаково искреннего и в церкви на коленях, и в трактире за стаканом вина.

Мы вошли с ним в главную канцелярию. Открытые шкафы, на полу вороха бумаги, солома, обрывки бечевки. Посреди комнаты — сам «херр оберцальмейстер», высокий, дородный раздражительный старик, с мутными сумасшедшими глазами, укладывал в большой деревянный ящик счетоводные книги. Его боялись и не любили даже сами немцы. Я помнил, как раз, когда, встретив его на аллее, я не отдал ему честь, он, весь побагровев, орал на меня бешеным горловым криком. Но теперь у него было смущенное и растерянное выражение. Он посмотрел на нас с виноватой, почти заискивающей улыбкой, точно мы застали его за каким-то постыдным занятием.

Почтительно, но твердо смотря ему в глаза, Шарль попросил его дать нам пропуск в город.

Обер-цальмейстер замахал руками:

— Ах, я не знаю, спросите в караульном помещении.

Тут произошла невероятная, как во сне наяву, сцена. Старательно выговаривая немецкие слова, Шарль сказал:

— Херр обер-цальмейстер, а не кажется ли вам, что ваша немецкая оборона лопнула? — и, трясясь животом, он беззвучно засмеялся своим заразительным смехом, почти с любовью смотря на обер-цальмейстера сузившимися от веселья глазами.

Озадаченный обер-цальмейстер несколько секунд смотрел на Шарля, выпучив глаза.

— Was?* — задохнулся он от гнева, и его шея, и тучный затылок, подпертый воротом мундира, начали апоплексически краснеть. Но, словно что-то внезапно вспомнив, он остановился с открытым ртом. Его лицо опять приняло робкое выражение, и рот искривился жалкой улыбкой, говорившей: «Я только несчастный старик и никому не хочу зла». Отведя глаза, он сказал:

— Скажите дежурному унтер-офицеру, что я даю вам разрешение идти в город.

Дорога от ворот шла вниз, под железнодорожный мост, а потом через поле и пустыри. По всему полю желтели насыпи свежевырытой земли; в ямах шевелились люди с лопатами. Старый ополченец, копавший землю у самой дороги, разогнулся и, опершись на заступ, молча с удивлением на нас смотрел.

Мне самому странно и дико было вдвоем с Шарлем идти без вахмана в город через открытое поле.

Мы вошли в предместье. Сколько заколоченных домов! Большая часть жителей, видно, уже выехала. Въезд на главную улицу загорожен деревянным срубом, с наваленными в середку булыжниками.

Запружая мостовую и тротуары, к площади поднимался пехотный полк. У солдат были угрюмые и измученные лица. Они шли молча, понуро; в той стороне, откуда они шли, слышались частые орудийные выстрелы. От колонны то и дело отделялись большие автомобили Красного Креста и медленно въезжали во двор городского госпиталя. На одном грузовике сидели французы из эсэсовской дивизии «Карл Великий». Заметив нас, один насмешливо, но дружелюбно сказал:

— Bonjour, petites têtes!**

Мы ждали, пока колонна пройдет. Около нас остановилась худощавая, еще не старая, миловидная немка. Будто, что-то взвешивая в уме, она попеременно взглядывала то на нас, то на проходивших солдат. Потом стала расспрашивать, где мы работаем и будут ли нас эвакуировать.

— А то переходите жить к нам, мой дом в двух километрах отсюда. Знаете, около мельницы, — она махнула рукой в сторону реки. — Все-таки, когда

* Что? (*нем.*).

** Здорово, простофили! (*фр.*).

придут русские, нам с военнопленными спокойнее будет. У нас уже есть один француз. Моя сестра живет с ним вот уже три года, — сказала она, чтобы убедить нас, как нам славно у них будет. — Правда, приходите, — повторила она с озабоченным видом хлопотливой домашней хозяйки и, перейдя улицу, быстрой походкой вошла в молочную лавку.

Мы вышли на площадь. Над низкими домами и над островерхой киркой в молчании раскрывалось пасмурное, пустое, беспредельно высокое небо. Казалось, и дома, и площадь, и весь город погружались в холод вдруг ставшей ощутимой вечности. Будто опьяненные простором неведомого, спуская железную штору булочной, возбужденно хохотали две смазливые рыжие молодые немки. Недалеко от них, громко разговаривая и смеясь, стояло несколько наших товарищей, которые работали в городе.

По мостовой, не подымая глаз, тяжелым мерным шагом прошли три пожилых рослых ополченца, с суровыми крестьянскими лицами. Один был в синей, двое других — желтых шинелях, с повязками ополчения на рукавах. По привычке к повиновению, они еще исполняли приказания начальства. Но по тому, как они шли, будто не замечая, что повсюду, несмотря на рабочее время, незаконно ходят и открыто разговаривают с немецкими женщинами французские пленные, было видно — они уже понимали, что привычный, казавшийся незыблемым порядок распался, и на их город надвигается что-то новое, неизвестное и грозное.

Товарищи сказали нам, что им было приказано эвакуироваться с хозяевами, но они остались, и пока их никто не трогал. Может быть, забыли в суматохе. Они надеялись переждать во время боя в погребе и выйти уже после того, как русские займут город. Обсудив положение и напившись у них кофе, мы пошли обратно. Нужно было вернуться в госпиталь засветло.

Мы уже вышли за черту города, как на перекрестке дорог нам встретился дозор эсэсовцев. Они шли быстрым шагом, в касках, с автоматами, с мрачно нахмуренными лицами. Я сразу увидел между ними страшно напряженные, красные, с выкаченными глазами лица двух русских пленных: Федя и Яшка. Яшка странно, как посторонний хрупкий предмет, придерживал правой рукой согнутую левую. А у Феди все лицо было залито кровью. Видимо, он был ранен в голову. Они шли, как в тумане, задыхаясь, из последних сил. Особенно Федя — вот-вот упадет.

Трясясь как в ознобе, я уже знал, что сейчас будет. Шедший сзади эсэсовец толкнул Федю ладонью в спину. Федя качнулся вперед и сделал несколько уторопленных шагов. Тогда другой эсэсовец, с рыжими ресницами на четырехугольном лице, бледнея от внезапной бессмысленной злобы, замахнулся карабином и, заорав «Tempo!», ударил Федю прикладом в спину. Федя сделал еще шаг и упал на колени. Тогда эсэсовец стал бить его носком сапога в крестец, раздраженно выкрикивая: «Los! Schwein!»* Я слышал глухие звуки ударов и как при каждом ударе Федя охал.

---

* Иди! Свинья! (*нем.*).

Не выдержав, я крикнул:

— Федя!

Ближайший к нам эсэсовец, вздрогнув, обернулся и взялся за ремень автомата. Несколько мгновений он смотрел на меня измученными, ненавидящими глазами. Все его молодое, круглое, но страшно осунувшееся лицо пылало гневом и отчаянием. Я выдержал его взгляд. Поняв, что мы французские пленные, он отвернулся. Я видел, как, нагнувшись, Яшка здоровой рукой помогал Феде подняться на ноги. Патруль свернул на дорогу в лагерь.

— Все-таки они их поймали, сволочи! — сказал Шарль.

Я видел, его бьет такая же мелкая дрожь, как меня.

Мы уже прошли стоявший на косогоре старый кирпичный завод, как над нами с оглушительным ревом пронесся русский штурмовик. Темно-синий в предвечерней ясности неба, он огромной птицей мщения навис над черепичными крышами оставшегося у нас за спиной города. Из его носовой пушки вылетело саженное пламя и в то же мгновение с его борта прямо на нас понеслась золотая струя светящихся пуль.

Шедший впереди меня Шарль обернулся, весело, но неуверенно улыбаясь. Я видел, он ускоряет шаг. «Может быть, лучше лечь?» — подумал я, но черная земля казалась такой холодной, в окаменелых колеях стоит подернутая льдом вода. Две маленькие черные бомбы медленно падали вниз. Штурмовик взмыл, и мы услышали в стороне вокзала грохот разрывов.

— Encore un peu et j'allais me foutre la gueule par terre*, — сказал Шарль со смехом.

Из придорожного домика вышла согнутая, древняя, в седых космах старуха.

— Что же теперь будет? — спросила она и заплакала.

— Не беспокойтесь, — успокаивал ее Шарль, — русские не людоеды.

Тогда, опасливо понижая голос, старуха сказала, смотря на нас с таинственным видом:

— Во всем виноват главный дьявол в Берлине. Мы, маленькие люди, не хотели войны.

Вернувшийся поздно вечером из лагеря в госпиталь Жан рассказал, что немцы расстреляли за бараками двух русских пленных.

— Знаешь, маленький санитар, что у нас работал, и большой конюх.

*

На следующее утро, еще до света, нас разбудили близкие орудийные выстрелы. В нашу комнату вошел старший унтер-офицер. С ним были солдаты в полной выкладке, в касках, с ружьями с примкнутыми штыками. Нам дали на сборы полчаса.

Мы стояли под деревянным навесом госпитального склада. Перед нами — низкие бараки. На сером дождливом небе черные сучья деревьев. Внизу в лощине невидимый отсюда город. Оттуда доносились сокрушитель-

---

* Еще немного, и я бы ткнулся мордой в землю (*фр.*).

ные удары: словно кто-то нечеловечески огромный ломился там в ворота. У немцев были бледные лица.

IV

И все-таки они успели нас увести. Дорога на северо-запад была еще свободна. Когда мы проходили мимо «северного» лагеря, к нам присоединили несколько десятков русских пленных, больных и докторов. С нами шла вся лагерная охрана, вооруженная пулеметами и «панцер-фаустами». Они радовались, что удалось уйти.

Но русские шли за нами по пятам, и мы не теряли надежды, что они успеют нас освободить прежде, чем немцы переправят нас через Одер. Около Нейштетина нас совсем было накрыл разлив боя. Стреляя из носовой пушки, над нами пронесся русский истребитель. Отдаляясь с неправдоподобной быстротой, он, словно взлетев на гигантских качелях, покатился в бездонность неба. И сейчас же сзади загрохотало. Казалось, там рухнуло небо. Метнулась мысль: это — конец, сейчас со мной произойдет то, что уже произошло в эту войну с миллионами людей, я буду убит.

Я оглянулся назад. Что же, я должен был признать, не так уж плохо выглядела эта «объективность» уничтожения. Она надвинулась мгновенно-быстро, хищно, как зверь, как тать. Небо грозное, как на картинах Делакруа. С восторгом ужаса я увидел чудовищную грань, за которой начиналось то, чего я никогда не мог себе представить: моя смерть, исчезновение всего, несуществование. И уже нельзя было удержаться. Все, как по накренившейся палубе, катилось к этой черте.

В наступившей после взрыва тишине раздался приближавшийся топот копыт. Из глуби сумерек на огромной, тяжело скакавшей лошади вырос черный всадник. За ним на отпряженных артиллерийских битюгах проскакало еще несколько немцев. Потом цепочкой — так выбегают на поле футболисты — показались пехотинцы. Это были эсэсовцы-латыши. Впереди, заботливо держа перед собой ручной пулемет, бежал рослый, рыжий, сорокалетний унтер-офицер. На его бледном, с перекошенной улыбкой лице глаза бегали с умным и хитрым, как у крысы, выражением. Его, видимо, смущало, что он так бежит, как провинившийся школьник.

Но он напрасно стыдился. За их спиной опять загрохотало с такой яростной и торжествующей силой, что никто не устоял бы. С бьющимся сердцем я ждал. Сейчас за этим грозным грохотом, перед которым бегут непобедимые немцы, на дороге покажутся русские.

Но надежда еще раз была обманута. Стрельба стихла, и мы скоро прошли мимо рогаток и проволочных заграждений немецкого оборонительного рубежа.

И в следующие дни, видимо, принимая нас за немецкую пехоту, нас иногда обстреливали русские истребители. Все время вдали долбила артиллерия. Мы проходили безлюдные деревни и местечки. Брошенные крестьянские

дворы уныло чернели разоренными вороньими гнездами. В местечках — пустынные, призрачные улицы. Под свинцовым небом жмутся друг к другу островерхие дома. В крышах и стенах пробитые снарядами дыры.

По дороге попадались обозы беженцев. Телеги с пристроенными брезентовыми навесами, как у переселенцев на Дальний Запад. Надежды, что русские нас отобьют, оставалось все меньше. На душе было скверно: страх быть убитым накануне освобождения, недовольство самим собой, отчаяние от мысли, что немцы успеют перевести нас через Одер.

Ночевали на сеновалах. К счастью, погода стояла необычно для февраля теплая, никто не поморозил ног.

Раз мы целый день чего-то ждали в большом селе. Опять надежда: русские перерезали дорогу. Мы расположились закусить в сарае на горе наваленной выше переметов соломы. Ели консервы с хлебом и раздобытые у «бауэра» яйца. Вдруг над самым сараем завыл мотор, и в соломенной крыше зашуршали пули, словно град ударил. Мы все невольно втянули головы в плечи. Только Шарль остался невозмутимо спокоен. Держа в одной руке яйцо, а в другой ложечку, он, посмотрев вверх, весело сказал:

— L'oeuf à la mitrailleuse!* — и, довольный собой, засмеялся. Мне стало досадно, почему не я это сказал. Мне никогда не приходило в голову ничего остроумного.

Кончив закусывать, мы вышли за ворота. В конце длинной деревенской улицы показался немецкий солдат. С опущенной головой, он медленно шел вдоль дощатых заборов. Он был без каски и без винтовки, тщедушный мальчишка лет семнадцати. Он не смотрел ни по сторонам, ни вперед, его руки безжизненно висели. Хозяин двора, где мы остановились, подошел к нему и что-то спросил, но тот посмотрел на него безумно, точно пьяный, и, ничего не ответив, продолжал идти. Потом показался еще другой солдат. Он тоже шел медленно, как ходят выздоравливающие. Так по одному они весь день проходили через деревню. Некоторые останавливались отдохнуть и, прислонившись спиной к забору, подолгу неподвижно сидели с закрытыми глазами. В стороне, откуда они шли, невидимые огромные молоты безостановочно вбивали в небо лязгающие железные полосы.

Хозяин двора, надев новые, с блестящими голенищами сапоги, пошел куда-то, верно за новостями. Когда он вернулся, по его расстроенному лицу мы поняли, что положение становилось все тревожнее. И действительно, он вывел из конюшни лошадей и стал впрягать их в телегу с прилаженным брезентовым верхом.

Я пошел к нашим врачам. Они сидели теперь в доме самого «бауэра». Конвойные унтер-офицеры становились все любезнее. Мы обсуждали положение, когда вошел хозяин. Он остановился в дверях: долговязый, нескладный, с маленькой головой на длинной, с выступающим кадыком шее. Он тупо смотрел на нас, мигая красными воспаленными глазами.

---

* Яйцо а ля пулемет! (*фр.*).

Унтер-офицер Кох, пьяный и возбужденно веселый, спросил его, не согласится ли он продать пленным врачам две или три курицы.

— Ах, да, пожалуйста, — сказал «бауэр» расстроенным голосом и вдруг быстро заговорил, с недоумением смотря на свои большие рабочие руки: — Вот этими руками я вбил здесь каждый гвоздь. Я бедный человек, я всю жизнь работал. Все здесь собственным горбом нажил — и землю, и дом, и амбары, и плуги. А теперь бюргермейстер говорит: все бросать и уходить. Ему хорошо, у него деньги в банке, а маленьким людям как быть? Нет, никуда я не поеду, — сказал он с внезапной решительностью. — Я здесь родился, всю жизнь прожил. Авось, русские тоже не всех поубивают. — По его некрасивому птичьему лицу текли слезы.

Мы выступили ночью. Они еще раз успели нас увести.

Прошло несколько дней. Мы все выше поднимались на северо-запад. Все произошло самым неожиданным образом, когда мы уже совсем перестали надеяться. Мы остановились в полдень на большой ферме, в коровнике. Я еще не видел таких ферм: розовый помещичий дом, все сараи каменные, в коровнике больше сотни племенных коров. Жители деревни еще не получили приказа выезжать, и все было спокойно. Только уж слишком долго мы здесь оставались, словно ждали, когда дорога будет свободна.

И вот сначала издалека, а потом все ближе и ближе стали слышаться орудийные выстрелы. И странно, не там, откуда мы пришли, а впереди, куда нас гнали.

Нарастая, звуки боя гремели все ближе и вдруг смолкли.

— Смотрите, русские танки, — сказал сержант Бенуа.

«Не может быть, — подумал я, — верно шутка». Пять лет мы ждали этого, только об этом думали и молились. И мне невероятным, невозможным, как выигрыш в лотерею миллиона, показалось, что сейчас наше желание исполнится. В жизни не бывает таких удач.

Я еще боялся верить, а между тем уже нельзя было больше сомневаться. Я видел, как старый вахман, припадая на одну ногу, бежит через двор спрятаться за сараем. И все немцы куда-то исчезли.

Мы лежали в проходах между стойлами. Сердце бешено колотилось. В открытую дверь коровника мы видели между столбами ворот проезжую дорогу. По ней, как в цветном фильме, шли гуськом коричнево-зеленые танки. В одном в орудийной башне стоял человек. Ворочая станковый пулемет во все стороны, он спокойно, так садовник поливает клумбы, стрелял вокруг себя в воздух.

Танки то останавливались, то снова медленно двигались. Выходить или не выходить? Сколько было предупреждений не выходить, пока не схлынет первая волна ударных войск.

Вдруг кто-то крикнул:

— Смотрите, они разговаривают с французскими пленными.

Восторженно улыбаясь и крича, сержант Бенуа выбежал из коровника и бросился к танкам, размахивая белым платком. Я никогда такого длинного не видел, может быть, это был шарф, а не носовой платок.

Мы окружили танк, остановившийся у ворот. Вблизи он был большой и широкий — выползший на сушу броненосец. Русские сидели и стояли на нем тесно, точно грибы в лукошке. Коренастые, крепкощекие, они смотрели перед собой с выражением гордой уверенности. В первое мгновение мне показалось, у них у всех одинаковые, круглые лица. Из нашей толпы на танк полетели пригоршни сигарет. Некоторые бросали целые пачки. Но русские, казалось, были этим недовольны: они отрицательно качали головами. Один все-таки зажег сигарету, но сейчас же, словно с отвращением, ее отбросил. Она упала к моим ногам и, зашипев на сырой земле, погасла.

Между тем лица русских, так поразившие меня в первое мгновение своей непохожестью на «наши», французские, бельгийские, сербские, уже начали казаться привычными, обыкновенными, именно такими, какими «должны быть» лица у людей. И вовсе они не были все одинаковые. Каждое по-своему напоминало мне детство. Особенно один, в черной кожанке с золотыми погонами был похож на маминого брата, дядю Колю, только дядя Коля был морской, а не армейский офицер. Я словно был удивлен открытием, что в России после нашего отъезда продолжали жить такие же люди, как при нас. Но их по-родному знакомые лица были как будто грубее, чем прежде. И еще какая-то другая перемена в них произошла, но я не мог ее определить.

На мой вопрос, куда нам теперь идти, сидевший с краю махнул рукой:

— Самое лучшее, идите по танковому следу.

— Немцев нету? — спросил он с любопытством.

— Нет, с нами были только вахманы, да все разбежались, — сказал я, забывая, что он, верно, не знает, что такое «вахман».

Но он думал уже о другом. Показывая мне карту, он спросил:

— А сколько отсюда до моря?

Я не узнавал на карте ни одного знакомого названия.

— Еще далеко, километров семьдесят, — сказал я удивленно. Он весело повернулся к своим:

— Что ж, к вечеру дойдем.

Колонна прошла вперед, потом опять остановилась. Другой танк, такой же огромный, с грозно и жадно протянувшимся из башни орудием, стал около нас. Один из шедших с нами русских пленных протиснулся вперед.

Тянясь к танкистам больнично-серым лицом, он сказал дрожащим от волнения голосом:

— Товарищи, я тоже русский.

Сидевший с краю офицер, даже не взглянув на него, отрезал:

— Я русский, — он сделал ударение на слове «я», — а ты м...!

У этого офицера лицо было черное от порохового дыма. Серые блестящие глаза смотрели перед собою мрачно, раздраженно и смело. Подстриженные усы и бочковатые щеки делали его похожим на кота. В руке он держал револьвер, а на поясе у него еще висели гранаты и кинжал. Подняв голову, я увидел глаза других русских, сидевших и стоявших на танке. Тогда я понял, чем отличались их лица от тех, которые я видел в детстве. В них не было

прежней русской мягкости. Точно их опалил огонь какой-то огромной плавильной печи: они казались почти черными. Я и горд был, что русские стали теперь такими: победили в условиях, когда всякий другой народ сдался бы. И, вместе с тем, я смотрел на них с боязнью. В их глазах было не наигранное, а простое грозное выражение готовности к борьбе, убийству и смерти.

Колонна опять двинулась. Танк за танком медленно проходили мимо. На них с револьверами и автоматами в руках стояли и сидели люди все с такими же мрачными и решительными лицами. С одного танка нам крикнули: «Ищите оружие, б..., идите с нами с немцами драться». Я понимал, что русских, привыкших воевать в любых условиях, без надежды на пощаду, должно было раздражать, что мы идем как стадо баранов. Но все-таки я был рад, что мои товарищи-французы не понимают по-русски.

На одном танке стояли люди, непохожие на русских: смуглые, плоские лица, крючковатые носы. У некоторых бороденки жидким жгутом. Заметив в нашей толпе толстого узбека в белой папахе, они стали что-то возбужденно лопотать странно пискливыми голосами. Один, сжимая винтовку и подпрыгивая от злобы, крикнул по-русски: «Власовец? Расстрелять!» Толстый узбек отругивался на своем непонятном мне гортанном языке.

Потом пошли тягачи пушек. На лафете одного орудия, беззаботно смотря в небо, лежал на спине молодой курносый красноармеец. Одну руку он положил под голову, другая, раскачиваясь, свисала почти до земли.

Догоняя колонну, прошло еще несколько танков, потом торопливо промчались крытые грузовики, и шоссе опустело. Будто могучий ветер пронесся и все смел на своем пути. Ненавистное, так долго казавшееся несокрушимым, гитлеровское царство развеялось, как марево. Я был ошеломлен. Все так быстро произошло, так просто.

Поднялись споры. Одни говорили, что благоразумнее оставаться на ферме ждать, когда подойдут главные русские силы, другие, что нужно как можно быстрее идти в тыл.

— Я буду делать, как скажет толстый русский офицер, — решительно заявил Шарль. Так он называл шедшего с нами русского, который только недавно попал в плен. От пленных 41 года, с их почти уже могильными лицами, его отличали кумачовый румянец и глаза, блестевшие молодой силой жизни. У него было толстое, с крупным носом лицо, напоминавшее портреты Ломоносова. С другими русскими он вовсе не обращался как начальник, но я заметил — все, что он предлагал, они сейчас же торопливо исполняли. Они слушали его рассказы с почтительным, почти заискивающим вниманием, видимо, стараясь понять принесенную им с собой атмосферу русской армии, не той, какую они знали в дни разгрома, а новой, победившей могучего и беспощадного врага, который столько лет держал их в плену. По их недоуменным улыбкам я видел, как им удивительно было, что больше нет комиссаров, и что офицеры носят золотые погоны, и священники опять в почете.

Я сказал Николаю, так звали краснощекого русского, о наших колебаниях. Он слегка нахмурился, потом тряхнул головой:

— Да что там. Идем вперед. Я и на войне так: как решили, так и делать, а то — то да сё. Чего там думать, будем идти пока можно, — и он решительно пошел по дороге своей неторопливой, но быстрой, слегка перевальчивой походкой.

— Как? И ночью идти будем?

— Нет, ночью не будем. Нельзя. Как позатемняет, переночуем где-нибудь.

Он был младший лейтенант.

— Собственно уже полный, — сказал он, с трудом сдерживая довольную улыбку, — только производство еще не пришло. А тут попал в плен. Да что же, кроме самого себя никого не могу виноватить. Напился пьяный и заехал прямо в немецкие боевые порядки.

Мы шли вперед. Вольный ветер несся нам навстречу по равнине, свистел в ушах, ширил грудь дыханием свободы. Я больше не чувствовал усталости. Мне казалось, я могу идти бесконечно.

На повороте дороги — телеграфный столб, срезанный снарядом, как лоза ударом шашки. Рядом, в канаве — опрокинутая беженская повозка. Весь скарб из нее вывалился: ведра, красные перины, разное тряпье. В оглоблях, неестественно подогнув ноги, окоченелые лошади. В нескольких шагах отброшенные сотрясением воздуха тела ребенка и женщины. Я посмотрел и сейчас же отвернулся. Верхняя, нетронутая часть туловища женщины была в черной одежде, но ниже пояса начиналось что-то кровавое, толстое, раскоряченное, как освежеванная туша.

К трупам шли с лестницей два старых сгорбленных немца.

Кое-где на уже обнажившемся из-под снега пустынном поле, как копны скошенной травы, лежали в своих зеленоватых шинелях убитые немецкие солдаты. Только недавно кончился бой, но уже над мертвыми опускались тишина и забвение.

Скоро мы пришли в маленький городишко. Шоссе пересекало его насквозь. Всюду следы войны: в стенах домов проломленные снарядами дыры, вся облицовка побита пулями и осколками. Как сыпь. Неприятно смотреть.

Нам встретились двое русских с автоматами в руках. Один долговязый, другой совсем еще мальчик, оба в обтрепанных серых шинелях. С равнодушными, скучающими лицами заглядывая в окна домов, они шли, волоча ноги.

— Что же, дорога свободна, но по домам еще прячутся немцы. Мы вот теперь прочесываем переулки, — сказал высокий, посмотрев на нас без всякого любопытства.

Мы уже выходили из города, когда сзади кто-то из товарищей вскрикнул:

— Смотрите, ведь мы же по немцу идем!

Я обернулся. Там, где я только что прошел, виднелась на дороге, словно нарисованная, расплывчатая, совершенно плоская, зеленоватая фигура, с коричневым пятном вместо лица: зловеще-смехотворное подражание Пикассо. Было трудно поверить, что это труп немецкого солдата, расплющенный гусе-

ницами танков. Но, вглядевшись, я увидел, что коричневое пятно — действительно лицо человека, вдавленное в толщу асфальта. Вот узкий, сломанный затылок, вот словно приклеенный клок рыжих волос и голубоватый кружок вытекшего, размозженного глаза.

В стороне лежал на боку другой немец. Его молодое глинистое лицо было пробито во лбу, точно зубилом. Как раз над переносицей — черная круглая дырка. Еще один мертвый сидел в дверях маленького особняка: были видны подбитые гвоздями желтые подметки его новых башмаков. И всюду около стен — я теперь видел — лежали убитые немцы.

На самом выезде, упершись в сломанное дерево, стоял небольшой сгоревший танк. Около него ничком лежало в канаве что-то черное, обугленное, что было раньше человеком.

— C'est un Russe*, — сказал позади кто-то из товарищей.

Я отвернулся. Мне почувствовалась вокруг этого танка невыносимая напряженность. Словно здесь смерть с особенной яростью боролась с упорством человека.

— А что, ведь в последнее время у русских меньше было потерь, чем в первые годы войны? — спросил я у Николая.

Мне недостаточно было знать, что русские победили. Как в детстве, когда я радовался, что Кузьма Крючков один убил одиннадцать немецких улан, я хотел теперь, чтобы у русских было меньше убитых, чем у немцев.

— Вот сам видел, сколько у русских убитых: один, два и обчелся, а немцев до хрена, — сказал Николай с убеждением.

Я стал расспрашивать его о «катюше».

— Там, где немцы особенно упорно сопротивляются, туда, значит, «катюшу» и подбрасывают. Она и на самолетах бывает, и на танках. Все пожгет, только иди и забирай. Но и у немцев один миномет есть. Тоже здорово панику дает, — сказал он, улыбаясь и покачивая головой.

По дороге нам встретился русский обоз. Низкорослые лошаденки, покозьи цепко переступая по обледенелому шоссе копытами, везли телеги, груженные мешками и ящиками. Уныло тряслись дремлющие возницы. Один молодой, в короткой серой шинели, вприпрыжку догонял свою телегу. За спиной у него, не на ремне, а на веревке, болталась винтовка.

И вдруг мне почудилось, будто вокруг этого обоза воскресает вся знакомая с детства грусть русской деревенской глуши. И при Алексее Михайловиче, и при Грозном, верно, шли такие же обозы и так же тряслись на телегах мужики в серых сермяжных кафтанах.

— Вот уже обозы подходят, значит, дорога свободна, — говорили мы обрадованно.

Но уверенности не было. Ходило много рассказов, как пленные, освобожденные русскими танками или конницей, потом опять попадали к немцам. Я сказал Николаю о наших опасениях.

---

* Это русский (*фр.*).

— Да, бывает, конечно, — ответил он неохотно. — До ранения я сам в казачьих частях служил. Артиллерия и танки проломят ворота в немецкой обороне, а мы, значит, в эти ворота и по немецким тылам: взрываем, дезорганизуем. Побьем все и обратно. Это иногда самое трудное было — обратно к своим пробиться.

— Какие же это казаки были, донские или кубанские? — спросил я с любопытством.

— Да сначала и донские, и кубанские, а потом, когда многих побили, всякие пошли: черниговские казаки, орловские казаки, бердичевские, понимаешь?

Уже было темно, когда мы пришли в какую-то деревню. Решили здесь заночевать. В одном доме зажегся свет. Что-то недоброе, воровское чудилось в этом освещенном окне на вымершей улице, с плохо различимыми во мраке заколоченными домами. Товарищи просили меня сказать Николаю, что это подозрительно, может быть, шпионы подают условный знак.

— Хорошо, хорошо, потом посмотрим. А ты скажи своим ребятам, чтобы пока по домам не ходили и ничего не брали и на соломе чтобы не курили.

Ночь провели в сарае на дворе большой фермы. Говор устраивающихся на ночлег товарищей постепенно затих. Мне не спалось. Солома старая, слежавшаяся неровными, окаменелыми буграми. Потянешь, в руках остается только гнилая труха, не набрать ноги укрыть. Было холодно и тесно. Ниже меня молодой поляк и девочка-полька всю ночь возились в темноте и быстро что-то друг другу шептали. Девочка заходилась тонким, радостным смехом. Я слушал их возню с неясной досадой. На душе было печально. Я не хотел думать о будущем — какое же будущее, если немцы, может быть, опять нас захватят. Я смотрел в распахнутые двери. Ничего не различить. Снаружи почти такая же темь, как в сарае. Сырой туман, а за туманом непроницаемая чернота, словно там больше не было пространства. Только постепенно по каким-то белесым просветам я стал угадывать за тяжкими пластами черных туч глубину пасмурного неба. Я забылся со странным чувством безразличия к жизни.

## V

На рассвете Николай, уже куда-то отлучавшийся, умытый и румяный, пришел за мной. Мы пошли в дом, где горел свет. В комнате, обставленной, как гостиная, хлопотали двое шедших с нами русских пленных. Один растапливал печку, другой мылся, согнувшись над стоявшим в углу умывальником.

На обитом красным плюшем диване сидел красноармеец, с виду лет шестнадцати. Маленький детский нос. Глаза под выгоревшими бровями смотрят весело и дружелюбно. Он все время улыбался, но, чувствуя особенность

своего положения, старался говорить, как взрослый — степенно, с покровительственным доброжелательством.

— Ну, вот, идите теперь в тыл, там, в штабе вам дадут направление. Или, если хотите отдохнуть, выбирайте лучший дом, берите, что хотите, пейте, ешьте. Жителей все равно нет. Все поубегли.

На кухне товарищи варили шоколад. Молодая немка, с глазами, блестевшими на раскрасневшемся от жара лице, гремела чугунами. Я смотрел на ее широкую спину и могучие бедра, и мне было странно думать, как теперь все изменилось. Мы больше не пленные, которым запрещено было даже разговаривать с немецкими женщинами, а, наоборот, она суетится, чтобы нам угодить. Как ни странно, у нее было веселое выражение. Верно, радовалась, что самое страшное прошло, бой кончился, село занято русскими, а ее не тронули и дом не разграблен.

Когда сварили какао, поднесли и немке. Она выпила две чашки. Заводя от блаженства глаза, повторяла, вдыхая подымавшийся с паром аромат: «Ach, Schokolade!»

Закусив, мы отправились дальше и скоро пришли в большую деревню. На площади стоял русский танк, с наведенным вдоль дороги орудием. А рядом с танком — раскоряченный, угловатый автомобильчик с брезентовым верхом. Я тогда еще не знал, что это знаменитый «джип». Около автомобильчика стоял русский офицер в меховой шапке, но без шинели. На его плечах блестели в лучах мартовского солнца золотые погоны.

Я спросил его, что нам делать. Мне показалось, он был в замешательстве.

— Да вот идите по этой дороге, — показал он на шоссе, — дойдете до штаба, там вас направят в тыл.

Я спросил:

— А как дорога, свободна?

В той стороне, куда он показал, слышалась вновь разгоревшаяся стрельба.

Он посмотрел на меня, потом на носки своих сапог.

— Дорога-то свободна, — сказал он неуверенно, — да только вот в лесу, на кирпичном заводе, засели еще немцы. Могут обстрелять. Мы их оттуда выбиваем. У них там танки, да еще две или три самоходки.

В это время, напевая развеселую плясовую, к нам подошел молодой солдат. Он широко улыбался пьяной блаженной улыбкой. Его розовые уши оттопыривались по бокам черных, обезображенных страшным ожогом щек. На груди болтались две медали — желтая и серебряная. Заметив чужаков, он, покачнувшись, остановился. Улыбка сошла с его лица. Оглядывая нас с внезапной самолюбивой подозрительностью, он надвинул на брови легко ходившую по бритому черепу шапку и вдруг, вытянув руки по швам, представился:

— Русский танкист Ванька!

Мы вышли из деревни, и опять нас охватило беспокойство: чем дальше мы шли, тем ближе гремели выстрелы. Теперь не только пушки, но даже

мерное потрескивание пулеметов было слышно. Словно мы шли не в тыл, а в самое пекло боя.

Раскачиваясь на большой скорости, нам навстречу с тревожной торопливостью промчалось несколько крытых грузовиков. Последний замедлил ход и остановился. Николай подошел к шоферу. Тот что-то ему сказал, я расслышал только непонятное мне слово «на огневую». Покачивая головой и смотря на Николая внимательным спокойным взглядом, шофер прибавил:

— Нельзя. Назад.

Грузовик рванул и помчался дальше.

— Ну, что? — спросил я у Николая, хотя уже понимал, в чем дело.

Николай казался смущенным и озабоченным.

— Нужно возвращаться, дорога впереди перерезана.

— А как же эти русские проехали?

— Прорвалось несколько машин. Видишь, танковая колонна прошла, а немцы потом вышли из леса и перерезали дорогу.

Мы вернулись назад в деревню. Здесь было заметно теперь движение. Несколько солдат, застегивая пояса, шли к танку. Офицер стоял все на том же месте. Я сказал, что нам посоветовали вернуться. Он слушал спокойно, обдумывая, что ответить.

— Да пусть идут по дороге, — засмеялся стоявший рядом старшина.

— Ах нет же, могут быть лишние жертвы. Надо этого избежать, — укоризненно посмотрел на него офицер. — А знаете что? — обратился он ко мне, — располагайтесь здесь в деревне. Выбирайте лучшие дома. Берите, ешьте, что хотите, отдыхайте. А когда дорога будет свободна, пойдете себе спокойно. Ведь это только остатки группировки, которую мы вчера разбили.

— Вот, говорил же, что трудно будет развернуться, — с досадой сказал он, взглянув в сторону танка.

Другой русский, который смотрел на нас с дружелюбным сочувствием, видя, что мы стоим в нерешительности, и, верно, думая, что я плохо понимаю по-русски, стал объяснять мне, стараясь произносить слова с особенной убедительностью:

— Ведь вам куда нужно? в тыл? а там фронт! — кивнул он в сторону дороги. — Самое лучшее, сделайте, как сказал старший лейтенант. Пока дорога не освободится, оставайтесь здесь в деревне.

Смотря на его умное и приветливое, чуть скуластое лицо, я испытывал странное чувство, что я где-то видел его еще в детстве, в России.

Мы разбрелись по дворам боковой улицы. В домике, в который я вошел с несколькими товарищами, мы нашли на кухне на столе тарелки, миски, остатки неубранной еды. На полу — груды вываленного из шкафов тряпья.

Мне стало тоскливо, и я вышел на улицу. Все время воздух вздрагивал от орудийных выстрелов. Мне встретился один из русских пленных, которые шли с нашей партией. Он сказал мне, что Николай на площади около танка.

— Что нового? — спросил я, хотя обычно избегал говорить с этим русским. Меня пугало его мертвенно-серое лицо.

— Да что, пришли два русских танка, сунулись было в лес, а там у немцев целая дивизия, и тяжелая артиллерия, и танки, и самоходки. Еле ушли, — сказал он будто со злорадством.

С неясным и тяжелым чувством я бродил по деревне, но не решался пойти на площадь. Вдруг на улицу с другого конца вполз на брюхе широкий русский танк. На нем была куча людей. Стоявший на подножке человек без шапки, задохнувшись, спросил меня:

— Немцы есть?

Его светлые глаза настороженно и быстро двигались под решительно нахмуренными бровями. По пятнам румянца, горевшим на его щеках, и по разгоряченным, как от быстрой артельной работы, лицам его товарищей чувствовалось, что танк только что вырвался из боя. Но мне казалось, что я вижу все это будто на экране, и мне нужно было делать усилие, чтобы вспомнить, что я сам подвергаюсь опасности. Точно я надеялся, что бившие по деревне снаряды меня не тронут: это было бы несправедливо, не по логике — ведь я только свидетель, а не участник боя.

Недоверчивой улыбкой давая понять, каким странным мне показался вопрос о немцах, я сказал:

— Здесь на площади стоял русский танк.

Но я уже догадывался.

Белокурый переглянулся со своими.

— Ну, а еще русские танки были?

— Как же, вчера целая колонна прошла.

— Сколько? Много?

— Много, очень много, больше ста верно.

Обрадованно посмотрев на своих, он спросил:

— По какой дороге?

Я показал рукой. Он что-то шепнул сидевшему с края офицеру с прямоугольными плечами и толстым мучнистым лицом.

— А что, немцы сюда не придут? — спросил я.

— Нет, не придут. А вы кто сами будете?

— Бывшие военнопленные: французы, бельгийцы, есть поляки, — я показал на стоявших на улице товарищей.

— Испанцы, — усмехнулся мучнистый.

— А сколько человек? — продолжал выпытывать белокурый.

— Человек сто двадцать.

Сузив серые глаза, он пытливо на меня посмотрел. Запоминая, повторил:

— Сто двадцать.

Я спросил его:

— Что нам делать? Нам русский офицер сказал: располагайтесь в лучших домах, берите, ешьте, что хотите, ждите, когда дорога освободится.

— Правильно, так и делайте, зарежьте свинью или корову, зажарьте и ешьте, — опять, словно с насмешкой, посоветовал мучнистый.

В это время к танку подошел высокий худой старик-«остовец». На голове у него была вытертая румынская шапка.

— Говори, немцы есть? — набросился на него белокурый, испытующе всматриваясь в его лицо. А про меня он, казалось, сразу забыл, словно решив, хотя мы только что говорили по-русски, что, как француз, я не могу его понимать.

Старик смотрел на него без страха. В его впалых тусклых глазах даже будто усмешка появилась. Открыв под жидкими усами беззубые десны, он прошамкал:

— Да нету, еще вчера поубёгли.

— Ну, смотри старик! — сказал белокурый с театрально-грозным выражением. Он вообще удивительно напоминал актера, которого я видел когда-то в «Грозе». Такое же чистое, сухощавое, с правильными чертами лицо. Да и говорил он совсем как в Художественном театре. Только теперь он участвовал в пьесе с неизвестным концом. В этой пьесе убивали по-настоящему, и ничего нельзя было переиграть, и он знал, что от правильности и быстроты его решений зависит жизнь его самого и его товарищей.

Танк двинулся и с тяжелым грохотом, огромный, железный, быстро прополз среди маленьких домиков и исчез за поворотом. Товарищи меня обступили:

— Ну, как, что они говорят?

Я отвечал неопределенно. Я не хотел даже самому себе в этом признаться, но уже догадывался, уже знал, хотя твердил себе, что этого не может быть.

Я вернулся в наш домик. Шум боя приближался. Снаряды, сверля воздух с неприятным свистом, проносились над самой крышей. Все чаще громово бухали панцер-фаусты. Мы почти не разговаривали. Шарль нашел альбом с марками. Осторожно отклеивая марки, он складывал их в конвертик из прозрачной бумаги. Два других товарища рассматривали ворох подобранных с пола фотографических карточек. Остальные, ничего не делая, безучастно сидели вокруг стола. Было холодно. На лицах — знакомое сосредоточенное выражение борьбы с подымающимся страхом. Меня знобило. Я лег на диван и укрылся кучей перин. Постепенно я начал согреваться. Я чувствовал такую усталость, что мне не хотелось говорить. Меня все больше охватывало унылое, но странно приятное чувство оцепенения. Радуясь, что справился с тревогой, я начинал дремать, но меня будили выстрелы, гремевшие все громче и яростнее. Потом незаметно наступила тишина. Я лежал, как в забытье. Вдруг со двора кто-то сказал:

— Eh, les gars, ce sont les boches. Il faut sortir*.

— Не может быть! — вскрикнул я, очнувшись. Но я притворялся перед самим собой. Я помнил, как странно переглянулись русские, когда я их спросил, не придут ли сюда немцы. Я уже тогда знал.

* Эй, ребята, это боши. Нужно выходить (*фр.*).

Мы выходили на двор молча, угрюмо, с покорностью баранов. На сердце было так тяжело, что больше не оставалось ни страха, ни беспокойства, только тупое равнодушие. И странно, было скучно, не хотелось даже смотреть на немцев, на привычный постылый серо-зеленый цвет их шинелей. Они цепочкой шли по улице с автоматами и панцер-фаустами в руках. Все пожилые, невзрачные люди. Впереди, тяжело дыша, трудясь, шел пузатый ополченец на коротких, кривых, как ятаганы, ногах. Совсем другие немцы, чем те, молодец к молодцу, что ушли четыре года тому назад на восток. А это были поскребки нации, собранные в последнее ополчение.

Пропуская нас, у калитки стоял невысокий, узкоплечий унтер. Под стальным грибом каски — худое, с провалившимися щеками, но довольное лицо. Он держал в руках автомат.

Пять лет мы жили надеждой, что Германия будет разбита. Каждую осень говорили себе: «Это в последний раз мы собираем картошку». Но плен все длился. В минуты отчаяния нам казалось — он никогда не кончится. И вот произошло чудо: уже началось возвращение в мир волшебной свободы, где мы когда-то жили, но чудо обмануло.

— Raus, raus!* Los, Mensch! — добродушно говорил унтер. Под щеточкой усов его губы морщились довольной улыбочкой. Он не подозревал даже, как ненавистны нам были эти слова: «Raus, los».

Маленький унтер все расспрашивал, сколько было русских танков.

— Здесь только один стоял, — говорили французы.

— Ach, wo**, — сказал он со своей довольной улыбочкой, — мы уже два подбили. — Zwei***, — повторил он, показывая два пальца.

Чувствовалось, что, несмотря на усталость, немцы радостно возбуждены удавшейся атакой на деревню. Они повели нас на двор большой фермы и здесь, выстроив по четыре в ряд, начали нас пересчитывать. Несколько раз сбивались, начинали снова. Побеленная стена кирпичного сарая загораживала от нас шоссе. Немцы с пулеметами и панцер-фаустами торопливо занимали позицию под прикрытием этой стены. Они стреляли куда-то влево, вдоль невидимой нам за кустами и деревьями дороги. От одной кучки к другой перебегал, выкрикивая приказания, молодой офицер, с глазами, блестевшими на раскрасневшемся, как у игроков в теннис, лице. Он был с непокрытой головой, с волосами довольно длинными и волнистыми, а не коротко стриженными, как у всех немецких военных. Выходец из какой-то другой, неизвестной нам «геттингенской» Германии.

— Il est bien, ce petit lieuntenant boche****, — сказал, невольно им любуясь, кто-то из французов.

Отчаявшись нас сосчитать, унтер отвел нас в пустой свинарник: большое помещение, разделенное бетонными перегородками на маленькие загончи-

* Выходи! (*нем.*).

** Да нет (*нем.*).

*** Два (нем.).

**** Он красивый, этот немецкий лейтенантик (*фр.*).

ки. Мне все теперь было безразлично, и все-таки я содрогнулся, когда, сев на каменный пол, с отвращением прислонился спиной к стене, на поларшина от земли черной от многолетнего, въевшегося в цемент свиного помета. В открытых дверях, спиной к нам, на приступке сидел, поставив карабин между колен, грузный немец, с шеей, покрытой рыжими веснушками. Через его плечо я видел, как другие немцы, согнувшись, перебегали под стенкой сарая на противоположной стороне двора. Я не чувствовал к ним никакого любопытства. Это была даже не ненависть, а полная отчужденность, нежелание их видеть, знать, находиться с ними в одном мире, участвовать в их жизни хотя бы только свидетелем.

Казалось, бой удалялся. Удары орудий и панцер-фаустов слышались теперь реже и глуше. Я больше уже ни на что не надеялся и, чувствуя тяжелую усталость, сидел, закрыв глаза. И вдруг я услышал, как за перегородкой кто-то из французов со спокойной уверенностью сказал:

— Ну, нет, теперь мы у немцев долго не останемся. Русские нас опять отобьют.

С моего места не было видно говорившего, а встать и посмотреть за перегородку у меня не хватало энергии. Судя по хриплому простонародному звуку голоса — верно, крестьянин или рабочий.

— Почему ты думаешь, что русские нас опять отобьют? — спросил другой голос.

— А мне по дороге маленький немец сказал, что их дивизия окружена и они не надеются пробиться, — все с той же уверенностью отвечал первый голос.

«Ах, вот оно что, — подумал я, вдруг с радостью чувствуя, что все еще хорошо будет. — Немцы вовсе не победили, наоборот, для них все кончено. Как всегда, я слишком рано поддался отчаянию». Не вытерпев, я привстал и заглянул в соседний загончик. Это был Виньон, Виничка, как таинственно, на русский лад, прозвали его товарищи.

Виничка действительно был крестьянин, лет сорока, такой же маленький, как Бернар, по-бабьи обвязанный платком: у него была флегмона на шее. К его морковно-красному лицу был приделан довольно длинный, простой как у деревянных игрушек, нос. Блестящие бусинки глаз смотрели со звериной остротой, но вместе с тем удивительно добродушно. Я знал, за пять лет плена он не научился по-немецки, но я не сомневался, что он правильно понял маленького унтера. Такие, как он, не говоря ни на каких языках, кроме деревенского французского, непостижимым образом умели объясняться с людьми всех национальностей.

К вечеру пальба совсем утихла. Нас вывели во двор и опять построили по четыре в ряд. Маленький унтер и еще один немец снова принялись нас пересчитывать, и снова у них получились разные числа. Потом пришел фельдфебель и что-то сказал маленькому унтеру, и тот стал ходить по рядам, отбирая русских. Он трогал их за рукав, спрашивая со своей довольной улыбочкой: «Иван?» Но русские упирались, не хотели выходить из рядов. Толстый узбек, скосив к переносице зрачки, упрямо твердил:

— Я не русский, я — азиат.

— Азиат, а все-таки Иван, — настаивал унтер, произнося «Иван» с ударением на «и». Я сказал ему:

— Это старые пленные, из одного с нами лагеря, из госпиталя.

— Им ничего не будет, они только должны идти отдельно, в хвосте колонны, — успокаивал он меня.

Наконец, он собрал всех русских и построил их сзади нашей колонны. Но как только он отошел, русские опять замешались в наши ряды. Вернувшись, он снова стал их отбирать, все так же спрашивая со своей неизменной улыбочкой: «Иван?» Только двоим русским, одетым во французские шинели и береты, удалось остаться с нами.

Отобрав русских, немцы опять начали нас пересчитывать и, хотя числа опять не сошлись, больше не считали. Фельдфебель скомандовал, и нас повели со двора. Вся площадь и выходившие на нее улицы были теперь запружены немецкими войсками. Здесь были и броневики, и тяжелая артиллерия, и танки, и гусеничные бронированные машины, которые я прежде также принимал за танки, а русские называли их «самоходными орудиями» или просто «самоходками». Между машинами и лошадьми плотной толпой стояли пешие в шинелях разного цвета. Некоторые ополченцы были даже во французских шинелях. Я с беспокойством подумал, что русским трудно будет разобраться, кто француз, а кто немец.

Вся эта масса людей, лошадей и бронированных машин, которые, пока мы сидели в свином хлеву, бесшумно, как призраки, пришли в деревню, стояла, не двигаясь. Мы шли вдоль колонны, с тревогой вглядываясь в лица немцев. Они молча на нас смотрели, с каким-то дремотным, непонятным выражением. Верно, так же, как и мы, они не знали, куда нас ведут и что с нами сделают, но, кроме легкого недоумения, откуда мы взялись, в их глазах не выражалось никакого чувства к нам — ни доброго, ни враждебного.

Русский танк, с командиром которого мы давеча разговаривали, стоял на том же месте. Но теперь он был весь обгорелый, с искалеченным орудием. Я смотрел с удивлением. Когда мы сидели в домике, мы слышали, что стреляют совсем близко, но нам все-таки не приходило в голову, что бой идет в самой деревне. Раскоряченного автомобильчика возле танка не было. Русские, верно, успели на нем спастись. Мне было приятно это думать. И Николай, верно, с ними бежал. Я больше нигде его не видел.

За околицей стояло несколько немецких офицеров. Среди них выделялся один молодой, стройный, с круглым румяным лицом. Черная фуражка лихо заломлена. Запорошенные снегом русые волосы казались серебряными. Он внимательно всматривался в наши лица. Под взглядом его светлых глаз задерживалось дыхание. Проходя мимо него, мы робко замолкали.

Он остановил замешавшегося в наши ряды русского пленного, худого, с испитым лицом. Одна рука начисто отрезана. Пустой рукав пришпилен к плечу большой английской булавкой.

— Russe?* — спросил офицер-эсэсовец негромко, но так, что все слышали.

Землистое лицо красноармейца посерело еще больше.

— Schwein!** — Глаза эсэсовца блестели негодованием, и его розовые щеки пылали. Он наотмашь ударил русского по щеке. Тот, не двигаясь, смотрел на него расширенными от ужаса глазами. Оборачиваясь на ходу назад, я видел за колыханием лиц идущих товарищей, как эсэсовец ухватил красноармейца одной рукой за плечо, как раз безрукое, отчего оно казалось неестественно узким. В другой руке эсэсовца блестел короткий, с широким светлым лезвием кинжал. Движение рядов относило меня все дальше. Шедший сзади товарищ наступал мне на пятки, и уже опускались холодные, снежные сумерки. Я не видел, чем все это кончилось.

Колонна немецких войск постепенно редела. Теперь все реже попадались пушки, а все больше двуколки и беженские телеги. Около телег стояли семьи бауэров — старики, женщины, дети. Они молча, с удивлением смотрели на нас спокойными блестящими глазами. На понурые конские шеи, на брезентовые верхи телег и на головы и плечи людей падали хлопья мокрого снега. Но, медленно погружаясь в наступавшую темноту, они, казалось, этого не замечали.

Вдруг мы отдали себе отчет, что идем без всякой охраны. И маленький унтер, и другие конвойные, которые нас вели, исчезли. Дорога все больше пустела. Теперь только изредка попадались кучки немецких солдат. Некоторые сидели по обочинам дороги прямо на снегу. На их изнуренных лицах выражалась та степень усталости, когда уже даже смерть безразлична. Они смотрели на нас с угрюмым равнодушием. Один рослый, в расстегнутом белом кожухе, расставив огромные, согнутые в коленях ноги, сидел на снегу, закусывая хлебом с колбасой. Он сказал нам с непонятным в его положении смехом:

— Deutschland kaputt!***

Мы продолжали идти. Хвост немецкой колонны совсем уже поредел, но все не кончался. Далеко впереди виднелись телеги, беженцы, солдаты, даже танки. А еще дальше дорога, спускаясь в лощину, упиралась в черную стену леса. Нельзя было туда идти. Там, может быть, уже были русские. Впотьмах они могли нас принять за немцев и скосить из пулеметов. Направо открылась усаженная березами дорога. Передние молча на нее свернули, и мы все за ними.

Скоро мы вышли к замерзшему пруду. Казалось, здесь было светлее. Над льдом брезжило какое-то белесое, призрачное сияние. На том берегу в окнах крестьянских домиков блестели черные стекла. Тишина. Не было слышно ни людей, ни собак. На этой стороне пруда — только одна ферма. Мы разбрелись по ее пристройкам. Человек двадцать расположились в каком-то сарае. Было тесно, весь угол загораживал большой станок. Крутая лестница уходи-

* Русский? (*нем.*).

** Свинья! (*нем.*).

*** Германии конец! (*нем.*).

ла в черную дыру погреба. Решили заночевать здесь, а если утром опять начнется стрельба, перейти в погреб. Постепенно голоса замолкали. Кто спал, кто закусывал впотьмах. Огня не зажигали. Становилось все тише и холоднее. Железные ребра какой-то сельскохозяйственной машины безжалостно резали мне плечо, но я чувствовал такую усталость, что не хватало энергии переменить положение.

## VI

Мне снилось, я говорю с кем-то близким и любимым. Я никогда не мог потом вспомнить, кто это был и о чем мы говорили. Меня разбудил Виничка. Еле светало. Я смутно различал его настороженно приподнятую голову. Было холодно и сыро. Где-то далеко приглушенно бухали пушки.

— В погреб! — сказал Виничка.

Товарищи постепенно просыпались, но никому не хотелось вставать.

— Что, Виничка, испугался? — спросил кто-то со смехом.

Но сейчас же, словно разгневавшись, совсем близко загремели частые орудийные выстрелы. Больше никто не смеялся. Молча, торопливо собирали вещи и сходили в погреб. Оказалось, не погреб, а полуподвал, да еще засыпанный мелкой картошкой. Мы сидели, почти упираясь головами в кирпичный свод. Из-за тесноты ни потянуться, ни расправить занемевшие ноги. Шум боя все усиливался. Все ближе и ближе слышались взрывы и выстрелы. Это, верно, танки били с ходу.

Сквозь отдушину просачивался свет встающего дня. Я видел в полумраке бледные лица товарищей. Мы так тесно сидели, что я слышал дыхание моих соседей. Их глаза блестели совсем близко. Никто не говорил. Я никогда еще не чувствовал с такой силой все почти враждебно постороннее и таинственное, что смущало меня в присутствии чужих людей. На уровне моей груди приходилось согнутое каменное колено товарища, который сидел немного выше. Мне казалось, он так крепко упирается в картошку подбитым гвоздями башмаком, чтобы утвердить свою отъединенность от меня. Словно хочет сказать: «Это моя нога и, пожалуйста, не рассчитывай за нее уцепиться. Если тебя убьют, меня это не касается. Тут каждый сам за себя. Ты воображал, что, так как говоришь по-русски, ты станешь выше нас, чуть ли не начальником, а ведь ты даже не француз, а Бог знает кто. А теперь сидишь с нами в погребе и так же боишься, как мы».

Так мы сидели, каждый затаясь в своем теле, составленном из хрупких костей и жил, и каждый знал: может быть, в следующее мгновение случайное попадание разобьет, как глиняное, это тело. Мы ничем не можем помочь друг другу. «Как же это так, — думал я, — почему мы так непоправимо, так безнадежно разъединены, почему "я" моего соседа, такое же, как мое, смотрит на меня, как зверь из глубины пещеры, блестящими глазами, но видит только свою жизнь?»

Эта отчужденность от товарищей происходила, вероятно, оттого, что я боялся, и мне было неприятно, что они могут это заметить. Теперь мне гораздо труднее удавалось справляться со страхом, чем в начале войны. Тогда меня воодушевляло сознание, что я участвую в борьбе за Правду. А теперь ни о каком геройстве я больше не думал: лишь бы выбраться, лишь бы вернуться в Париж. Так обидно, так бессмысленно будет погибнуть накануне освобождения. Неужели это может случиться? Ударит снаряд, и навсегда покроется мраком блаженный берег, который уже начал приближаться. Словно там цвел сад, олеандры, розы, и вставал светлый день. Из дома в глубине аллеи уже шли навстречу любимые, близкие люди... А в неустранимом настоящем нет ничего желанного, ничего человеческого. Только холод, близость уничтожения, не переставая, бьют пушки.

Подняв брови, Виничка прислушивался к звукам пальбы, видимо, стараясь определить, откуда стреляют и где ложатся снаряды. В нем одном я не замечал тщеславных усилий скрыть страх. Его лицо сохраняло естественное и простое выражение. В этом было что-то необыкновенно успокоительное.

В общем грохоте боя я различал мерное потрескивание автомата за стеной, словно там кто-то молол кофе или накручивал на скрипевшее колесо веревку с узлами. В ответ бил другой, более сильный автомат. Так продолжалось полчаса или час, потом постепенно все затихло. Только где-то вдалеке еще глухо стреляли пушки. И вдруг я услышал, как снаружи резкий голос протяжно прокричал:

— Сенька-а-а, дава-а-ай вперед!

Мне это показалось невероятным. Словно для меня, единственного из миллионов людей, было сделано отступление от всегдашнего равнодушия мира к человеческим желаниям и кто-то *там* решил, что в награду за то, что я так долго и страстно молился, моя надежда исполнится, и тогда снаружи раздался крик красноармейца, который через тысячи верст пришел из России меня освободить.

— Это русские! — сказал я, с трудом сдерживая волнение. Но опять разгорелась стрельба, и товарищи смотрели на меня недоверчиво.

Это были последние содрогания боя. Скоро все затихло. Виничка первый поднялся из погреба в сарай и, согнувшись, пройдя мимо окна, остановился у открытой двери. Он стоял так несколько минут, внимательно прислушиваясь и высматривая. В настороженном выражении его лица и в том, как он смигивал, было что-то, напоминавшее старого зайца. Мне даже показалось, он поводит кончиком носа. Вдруг, замахав мне рукой, отчаянно крича: «Casimir, Casimir!», он выбежал из сарая. Забыв о предосторожности, я бросился за ним.

Через двор, как люди, лениво осматривающие достопримечательности, брели двое русских с автоматами на изготовке. Один маленький, коренастый, в ватнике, другой — в долгополом кожаном пальто. Виничка бежал за ними: «Camarades, camarades!»

Сбоку вынырнул, непонятно откуда взявшийся, толстый узбек в белой папахе. Обгоняя меня, он кричал: «Товарищи!»

Но русские не оборачивались. Было непонятно, как они не слышат наших криков. Они уже выходили со двора, когда, наконец, мы их догнали. «Camarades!» — крикнул Виничка еще раз и остановился с разинутым ртом. Тот русский, что был в кожаном пальто, вдруг, быстро обернувшись, навел на нас автомат и, перебегая по нашим лицам ошалело прыгающими глазами, задыхаясь закричал:

— Камарад? Родину продавать? Убью!

Это был мальчишка лет девятнадцати, худой, еще не сложившийся. Когда, волоча ноги, он шел через двор, казалось, он был совсем спокоен, но теперь, вблизи, мы увидели дрожащее исступленное лицо человека, только что вырвавшегося из боя. Он думал, верно, что мы по ним стреляли. Да и откуда ему было знать, кто мы? Многие немецкие ополченцы были одеты в шинели вроде наших. И еще этот узбек в белой папахе. Целые батальоны из пленных узбеков дрались на стороне немцев. Я смотрел в дуло наведенного на меня автомата: в нескольких вершках от моего живота в стальном кольце толстого ствола — черная дырка. Сейчас русский начнет стрелять. Пули пробьют мои внутренности. Как глупо... Ждать пять лет..., нет, не может этого быть.

— Казимир, да скажи ему, что мы французы, — теребил меня Виничка.

— Товарищ, ведь мы же французские пленные, — начал я было. Другой русский сидел теперь на снегу. Со скукой, смотря в сторону, он сказал:

— Бей их, власовцы.

Все это было так нелепо, что даже не было страшно. С огорчением и досадой глядя на русских, я стоял, не подымая рук. Может быть, это спасло нас. Видя на наших лицах не страх, а недоумение, русский в кожаном пальто, верно, почувствовал, что ошибся.

— Идем к офицеру, — решил он, совсем уже было успокоившись.

— Здесь с нами еще много товарищей, — сказал я.

— Где? — опять начиная задыхаться, вскрикнул он с таким возмущением, точно мы хотели его обмануть.

— В сараях, в погребах.

— Пусть все выходят. Я вас научу воевать! — угрожающе приговаривал он дергающимися белыми губами.

Товарищи, надевая мешки, выходили на двор. Когда они замечали, что русский держит нас под наведенным автоматом, радость сменялась на их лицах удивлением и беспокойством.

— Что такое, в чем дело? — спрашивали они меня тревожно.

— Кажется, они думают, что мы по ним стреляли, — отвечал я с досадой.

Русские построили нас в затылок и повели. Один шел сбоку, другой сзади. Они вели нас по какой-то другой дороге, не той, по которой мы вчера пришли. Налево, на самом взлобье полого подымавшегося холма, по-гусиному вытянув длинный хобот пушки, стоял русский танк. Он казался на снегу особенно черным и железным: даже издали чувствовался жгучий холод стали его омытых талым снегом гусениц, тяжко врезанных в развороченный ломкий наст. Снизу, с полей, затопленных белым туманом, холодный

и сырой, но уже весенний ветер доносил благоухание оттаивающей земли. На бледном подножье неба блистало недавно вставшее, еще расплавленное солнце. Райское фра-анжеликовское золотое сияние, разливаясь, переходило в вышине в такую лазоревую синеву, что если долго смотреть — глаза начинала резать сладкая боль. Грудь, жадно вдыхая блаженный воздух, расширялась предчувствием невозможного счастья, любви ко всему миру и готовности умереть.

Всюду виднелись следы боя: черные воронки, остовы сгоревших и разбитых снарядами броневиков, трупы людей, какие-то обгорелые тряпки и доски.

— А что, немцы не придут больше? — спросил я шедшего рядом со мной русского в кожаном пальто.

Показывая на черные танки, широким веером расставленные на снежном поле, он сказал совсем теперь спокойно, почти дружелюбно:

— Куда там! Смотри, сколько наших танков пришло.

У поворота дороги стоял невысокий офицер. Не подымая головы, он внимательно слушал нашего вожатого. Я смотрел на него с беспокойством, но не мог понять по его осунувшемуся, спокойно-сосредоточенному лицу, добрый он или злой и как он к нам относится. Он даже не взглянул на нас. В раздумье смотря себе под ноги, он сказал тихим усталым голосом:

— Ну, что же, веди в штаб.

Мы шли с тревожным и тяжелым чувством. Навстречу нам подымались по дороге все новые танки. Похожие на шахтеров люди, с черными от порохового дыма лицами, грозили нам с них кулаками и револьверами. Товарищи, пытаясь рассеять недоразумение, говорили: «француз, француз» и даже, как я их учил: «французски пленьи».

Нас привели на хутор. Здесь нас принял старшина: стройный, молодой солдат с миловидным лицом. Он был в тонких сапогах и без рукавиц. Только шапка на нем была теплая. Отведя нас в узкий темный сарай, он сказал:

— Что же, придется здесь пока подождать, а когда дорога свободна будет, тогда пойдете. Может быть, еще сегодня вечером.

Я спросил:

— А немцы не отобьют нас опять?

— Да нет же, мы немецкую дивизию разбили. Это теперь только отдельные группы по лесам прячутся, вот мы их и вылавливаем. Но идти еще опасно. Выйдет из леса несколько автоматчиков и всех побьют.

На моих товарищей удручающе подействовало, что нас посадили в сарай. «Мы по-прежнему пленные... Повезут в Сибирь...» — говорили они с отчаянием и обидой. Напрасно я старался их успокоить: «Старшина говорит, нас отпустят, как только дорога будет свободна».

Бой кончился. Больше совсем не было слышно артиллерии, но все еще хлопали винтовочные выстрелы или вдруг дробно и коротко стучал пулемет. Я сидел около открытой двери сарая, с жадным любопытством смотря на все

происходившее на дворе. Мне так хотелось понять, что за люди советские русские.

В углу двора на грузовике с зарядными ящиками играет патефон. Пластинка вертится с легким шипением. Женский голос пел по-немецки на мотив фокстрота. Трое русских солдат слушают с блаженными улыбками. Один, молодецки шевельнув плечами, выставил ногу и, переступив с каблука на носок, пошел по кругу, тряся медалями на груди. Но он не мог попасть в лад и с сожалением остановился.

— Ils sont comme des bicots. C'est la même race!* — с ненавистью сказал сзади кто-то из французов.

Я обернулся. Это был член кружка имени маршала Пэтена. Теперь он больше всех возмущался, что русские обращаются с нами не как с союзниками, а как с пленными.

Под стеной конюшни несколько русских, сидя на земле вокруг кострика, что-то варили в котелке. В ворота видна была проезжая дорога. Голые ветлы уныло качались там на ветру. Четыре приземистых человека в серых шинелях, тяжело переступая, несли к вырытой под кустом ракиты яме большое и грузное, провисающее почти до земли, тело убитого товарища. Меня опять охватило чувство: так было и сто, и триста лет тому назад, и в дни, когда в финских топях и лесах только еще начиналась сермяжная, мужицкая Русь.

— Вишь, как зайцев гоняют, — со смехом сказал старшина, стоявший снаружи, прислонясь спиной к косяку двери сарая. С моего места не было видно, на что он смотрит.

Высокий красноармеец провел через двор пленного немца, уже немолодого, рослого, костистого, с огромными, висевшими коромыслом руками. На немце была короткая шинель и разбитые сапоги. При каждом шаге широкие голенища хлопали его по икрам. Его бледное, заросшее рыжей щетиной лицо дрожало, и он задыхался, будто всхлипывал. Красноармеец тоже задыхался; толкнув немца в спину, он сказал в злобном возбуждении:

— Ишь, сволочь, сам руки поднял, а подходить стали, выпустил обойму и бежать.

Пленных немцев сначала вели в дом «бауэра», где расположился штаб, а после допроса сажали в соседние с нашим сараи. За дверью старшина говорил кому-то: «Если правду отвечают, то все хорошо, старший лейтенант справедливый. Ну, а если кто врет, виляет...» Не договорив, он куда-то пошел, и я так и не узнал, что он хотел сказать. Выстрелы гремели со всех сторон, но иногда казалось, что стреляют залпами сейчас же за домом. «Неужели?» — спрашивал я себя. Но я не хотел верить, это было бы слишком страшно. Двое немецких офицеров в белых кожухах, широкие в плечах и в груди, тяжеловесные, уже немолодые, медленно шли к крыльцу. Я не мог отвести глаз от их лиц. У обоих было спокойное, только как будто слегка неуверенное, задумчивое выражение. За ними с равнодушным видом шел русский солдатик с автоматом.

* Они, как бико (арго: алжирцы, марокканцы). Та же раса! (*фр.*).

Вдруг сделалось смятение. Несколько красноармейцев бегом построились во дворе. Властный железный голос отрывочно прокричал слова команды. Бойцы торопливо установили в воротах пулемет.

Но тревога оказалась ложной. Я пошел за водой. Пока я наполнял флягу, у колодца остановились двое русских. Они пришли откуда-то со стороны гумна. Один рослый, с длинными черными усами нес в руке автомат. Под сдвинутой на затылок шапкой его широкое медное лицо горело, как у зарьявшего в поле косца. Он напился жадными затяжными глотками и, утирая рот и усы тыльной стороной руки, посмотрев на меня, одобрительно сказал хриплым голосом: «Француз!»

Мне странно было, что это я — француз. С детства я привык смотреть на французов как на иностранцев, с которыми русские много раз воевали, а теперь я сам француз. Этот красноармеец посмотрит на меня удивленно и недоверчиво, если я скажу ему, что я русский.

Старшина почти все время стоял у двери нашего сарая, но как только он отлучался, приходил солдат с красными, без бровей и ресниц глазами на толстом, словно сделанном из брынзы лице. От него несло сивухой. Он все спрашивал, не хочет ли кто продать часы или кольцо. Один из французов дал ему колечко, шепнув мне, что оно медное, ничего не стоит. Русский надел кольцо на толстый безымянный палец. Посмотрев, словно с удивлением, с трудом снял и, отдавая обратно, сказал: «Не надо». Кто-то предложил ему сигарету. Он затянулся раза два, потом, будто вспомнив, что вовсе не хотел курить, бросил сигарету на землю. Он возвращался несколько раз и все ходил между французами, всматриваясь в их лица с недоумевающим и подозрительным выражением человека, который ожидал чего-то другого, но не может вспомнить, чего именно, и боится, что его обманывают.

Старшина, когда был тут, не хотел его к нам пускать. Я слышал, как он ему говорил: «Да не ходи, ведь я отвечать буду».

Еще приходил солдат чуваш, совсем еще мальчик. Он тоже спрашивал, не хочет ли кто продать часы. Когда я ему сказал, что ни у кого нет хороших, он посмотрел на меня с детским разочарованием.

Позднее пришел высокий человек в добротной долгополой шинели. Смотря на меня узким лицом, с большим шишковатым носом и толстыми рыжими усами, он стал меня расспрашивать о положении во Франции. Говорил он не спеша и рассудительно, сам с удовольствием себя слушая. Было видно человека, который любит и умеет поговорить о политике. Своими оловянными глазами, солдатской выправкой и рыжими усами он напоминал мне виденных в детстве царских унтеров. Я давно не слышал такого хорошего, как у него, русского выговора. Не вытерпев, я спросил:

— Простите, товарищ, вы из какой области? Вы так хорошо говорите по-русски.

Недовольный, что я его перебил, он посмотрел на меня с осуждением, словно я сказал что-то неуместное, и ответил почти обиженно:

— Из Пензы. — Немного помолчав, видимо, стараясь вспомнить, о чем мы перед тем говорили, расправляя рукой усы, он благожелательно и важно

сказал: — Ну вот, посадят вас теперь в хорошие русские вагоны и поедете в Москву, а там НКВД разберет, при каких обстоятельствах каждый из вас вступил в ряды немецкой армии.

Я так и обмер. Он так дружески обсуждал со мной мировое положение, а на самом деле вот за кого принимает.

— Позвольте, товарищ, но ведь мы именно против немцев *воевали*, а вовсе не за немцев. Мы же французские военнопленные.

Он посмотрел на меня озадаченно, но не хотел сдаваться.

— Ну, уж там разберутся, — сказал он недовольно и ушел.

Когда вернулся старшина, я предложил ему сигарету. Он отказался:

— Нет, спасибо, я мало курю.

Я рассказал ему о моем разговоре с рыжеусым.

— Пьяный дурак болтает, а вы слушаете, — вырвалось у него с досадой. — Ведь я же говорил, как дорога будет свободна, пойдете в тыл.

Но я настаивал:

— Товарищ, вы бы все-таки объяснили. А то многие русские думают, что мы за немцев дрались. А мы же французские военнопленные, у немцев пять лет в плену сидели.

— Хорошо, хорошо, вот как старший лейтенант свободнее будет, я ему скажу, — пообещал старшина неохотно.

Приходил еще один солдат. Этот все разговаривал с нашим узбеком.

— Думаешь, я вашего брата не знаю. Слава Богу, двадцать лет в Туркестане жил, — говорил он, усмехаясь каждой черточкой широкого конопатого лица, дышавшего добродушием, удалью и лукавой веселостью. — Стреляете до последнего патрона, а потом руки вверх: не буду больше, — и, подняв руки, как когда сдаются в плен, качая головой и щелкая языком, он бойко залопотал по-узбекски, что-то вроде «а-ля-лля-ля-ля!».

Опять вернулся ходивший куда-то старшина.

— Пойдем выпить, — неожиданно предложил он мне повеселевшим голосом, — вот бы только закуски достать шикарной.

Двое французов, у которых оказались белый хлеб и копченая ветчина, пошли с нами. В соседнем сарае, положив автомат на колени, сидел на земляном полу русский солдат. Он сторожил сидевших за перегородкой пленных немцев. У него было по-цыгански смуглое лицо с мрачными, но добрыми глазами. Улыбаясь, он протянул нам свою флягу. Я глотнул, и у меня захватило дыхание: будто мне влили в горло расплавленного олова. Это была не водка, а какая-то огненная, отдававшая керосином жидкость. Русский с добродушной усмешкой смотрел, как мои товарищи французы пили и кашляли с выпученными глазами. С недоумением покачивая головой, он поднес флягу к губам и стал пить, как воду. И старшина, запрокидывая голову, тоже пил большими жадными глотками. Было видно, как ходит кадык на его шее.

К вечеру пленных немцев набралось так много, что больше некуда было сажать. Четверых привели в наш закуток. Один высокий, волоча раненую

ногу, с трудом шел, обняв за шею товарища. Он старался улыбаться, но по его потупленным глазам и по тому, как он вдруг стискивал зубы, чувствовалось, как его пронизывают разряды мучительной боли.

Не обращая на нас внимания, хотя нам пришлось потесниться, чтобы дать им место, немцы рассаживались на соломе с громким и возбужденным, будто веселым говором. После всего пережитого они, видимо, чувствовали теперь только радость, что уцелели. Один, уже пожилой, вертлявый, бойко говорил по-русски. Красноармеец, который их привел, сказал, смотря на него с огорчением:

— Ведь ты же, сволочь, всю жизнь в России жил. Тебя расстрелять нужно.

Но тот нисколько не казался смущенным.

— Ну, я волжский немец. Пришли немцы, говорят: «Ты немец, должен служить в немецкой армии». Что же было делать? Ведь расстреляли бы, — тараторил он, с хитрым и притворно-глупым выражением на старом, в грубых морщинах, испуганном, но, несмотря на испуг, весело-плутоватом лице.

Другие немцы, хотя они не могли понимать, о чем он говорит, одобрительно кивали головами. Один толстый, с красивым румяным лицом, сказал: «Гитлер капут!»

Красноармеец то поддавался доводам немца-колониста, то снова начинал его ругать. Потом он ушел и вернулся с караваем хлеба и котелком дымящейся говядины. По жадности, с какой немцы набросились на еду, было видно, они давно не ели.

— Вот немцев кормят, а нам не дают, — обиженно ворчали товарищи.

Я знал, у них у всех еще были консервы, сухари, шоколад, но все-таки спросил у старшины, будут ли нас кормить.

— Да видишь,— ответил он смущенно, — мы так быстро прошли вперед, что хозчасть еще не поспела. Сами третий день без продовольствия. А немцам это разведчики из деревни принесли, из дивизиона. Но завтра утром старший лейтенант велел корову зарезать. Будем суп варить. А сегодня уж потерпеть придется.

На французов произвело угнетающее впечатление, что немцев посадили вместе с нами. Товарищи настаивали, чтобы я вызвал русского офицера и объяснил ему, как нам оскорбительно, что между нами и немцами не делают различия.

Русский офицер, наконец, пришел. Рослый человек в надетом поверх гимнастерки штатском, синем в полоску, пиджаке. На его толстых плечах и широченной спине этот пиджачок сидел в обтяжку — вот-вот лопнет по швам. Поворачивая голову на бычьей, в клетчатых мужицких морщинах шее, он весело оглядывал французов, смотревших на него молча и вопросительно. У него были крепкие щеки, крупный, прямой нос и разноцветные брови: одна черная, другая наполовину белая, точно кто белилами мазанул.

Товарищи сразу прозвали его Тарас Бульба. Я удивлялся, как они это почувствовали. Могучей грузностью сложения он и впрямь напоминал Тараса. И даже фамилия у него, как я потом узнал, была украинская — Сильченко.

Считая, что я недостаточно настойчив, серб Божко, коверкая для понятности сербские слова, стал объяснять ему, как неправильно сажать немцев в один с нами сарай. До войны Божко был адвокатом в Белграде и говорил с тонкой самодовольной усмешкой и по-восточному преувеличенными жестами рук. Он был высокий, с длинным, совсем уже из «Тысяча и одной ночи», носом.

Но Бульбе, казалось, не понравилась его самоуверенность. Он посмотрел на него прищурившись и, перебивая, сказал:

— Немцы, французы, югославы — все такие же люди. Эти немцы сами нам сдались.

— Что ж, и они тоже люди, — повторил он, помолчав.

Он говорил властно, как человек, привыкший командовать, и даже Божко, несмотря на свою адвокатскую развязность, почувствовал, что больше настаивать не нужно.

— Вот что, — повернулся Бульба ко мне, — назначаю тебя старшим. Пересчитай всех по национальности, а как дорога будет свободна, дам вам препроводительную и пойдете в тыл.

На мои слова, что я простой солдат, а среди товарищей есть унтер-офицеры и им может показаться обидным, что я буду за начальника, он сказал:

— Чего там, ты поведешь! Не маленький, — и вдруг, внимательно посмотрев на меня, прибавил: — ведь ты же, в сущности, русский человек.

Я спросил:

— Вы дадите нам охрану? А то мы боимся опять к немцам попасть.

— Да нет же, пойдете сами, когда дорога свободна будет. Без всякой охраны. Ведь вы же теперь свободные люди.

— А как же, немецкие пленные тоже с нами?

— Нет, немцев мы отдельно отправим. Сейчас просто другого места не было, куда их посадить.

Потом опять повернувшись к французам и одобрительно обводя глазами их лица, Бульба сказал:

— Что, небось, рады, что вас освободили? Вот скоро будем сажать в вагоны и отправим в Одессу, а из Одессы пароходами во Францию. Поедете домой к вашим женам в Париж. — Его белая бровь поползла вверх, и в глазах засветилась веселая усмешка: — А и то сказать, не будь нас, вам бы всю жизнь у немцев в батраках маяться. Они бы вам ... поотрезали, а сами бы ваших жен ...

Французы, не понимая смысла его слов, но, видя, что он шутит, засмеялись. Я с замешательством стал переводить, но Бульба уже повернулся и пошел к выходу. Только тут он заметил бывшего с нами врача из русских военнопленных.

— Вы русский? — спросил он, нахмурившись.

— Да, товарищ старший лейтенант, с сорок второго года в плену. — Врач назвал себя и свой чин.

— Вот русскому уж не полагалось бы в плен, — покачал Бульба головой.

У врача появилось в лице робкое и умоляющее выражение:

— Товарищ старший лейтенант, мне именно об этом хотелось бы с вами поговорить.

— Хорошо, завтра поговорим, а сегодня не могу, некогда. А ты откуда? — повернулся Бульба к другому русскому.

Это не был один из русских пленных, которые шли с нами из лагеря. Не знаю, откуда он взялся. Я в первый раз его видел. Он был в черной кожаной куртке и таких же галифе. Невзрачный, с белым от страха, скуластым лицом, густо усыпанным веснушками. Он сбивчиво что-то стал объяснять извилисто шевелившимися губами.

— Врешь! Дезертировал! — тыча ему в грудь чугунным пальцем, грозно сказал Бульба и в сердцах вышел из сарая.

Уже темнело. Воспользовавшись отлучкой старшины, опять пришел, теперь совсем уже пьяный, солдат с красными без ресниц глазами. Несколько мгновений он стоял в дверях. За его опущенными веками чувствовалась работа тяжелой пьяной мысли.

— Старший лейтенант просит прислать сигарет, — заявил он неожиданно.

За день он всем надоел. Товарищи начали ворчать.

— Пусть дают, а то плохо будет! — Он открыл теперь глаза и с угрозой смотрел на лица французов полоумным взглядом. Ствол автомата за его плечами качнулся.

Я сказал товарищам:

— Конечно, он врет, никакой лейтенант его не присылал, но все-таки лучше дать ему сигарет.

Набрали целую пригоршню. Он смотрел с тупым недоумением. Я хотел дать ему еще.

— Нет, больше не надо, — сказал он и побрел куда-то через двор.

Наступила черная, беззвездная ночь, в двух шагах ничего не видно. Но даже в темноте люди продолжали убивать друг друга. Все время то близко, то далеко гремели выстрелы. Несколько раз приходил с фонариком старшина проверить, на месте ли немцы. Было непонятно, когда же он спит. Я дремал, но и сквозь сон продолжал чувствовать тяжелую усталость от жизни.

*

На рассвете через двор проехал на неоседланной лошади красноглазый. Он казался теперь совсем другим человеком. Вместо пьяной опухшей рожи — осунувшееся, нахмуренное, умное и энергичное лицо. Даже не посмотрев в нашу сторону, словно ему было совестно за вчерашнее, он, злобно толкнув лошадь каблуком, проехал мимо.

Один только маленький чувашик продолжал вертеться около нашего сарая. Он спросил меня с деловитым видом:

— А где эта полька? Ее бы надо ... — показал он своими маленькими детскими руками.

— Ах, та девочка? Да она, кажется, еще вчера ушла с какими-то поляками, — ответил я, сделав безразличное лицо.

Я испугался, когда он все-таки нашел ее в соседнем закуте.

— Иди, иди, старший лейтенант зовет, — тащил он ее за локоть.

— Вьем цо паньство хце зробить[1], — захныкала девочка, упираясь.

— Да иди, дура, ничего тебе не будет, — вмешался подошедший старшина.

Но девочка отрицательно мотала головой. Тогда пришла высокая прямая женщина. «Верно, хозяйка хутора», — подумал я. У нее было разгоряченное веселое лицо, точно она только что угощала гостей и хлопотала у плиты. Она тоже принялась уговаривать девочку, и при этом не по-немецки, а, к моему удивлению, на ломаном русском языке. И даже сидевший рядом с девочкой пожилой поляк сказал:

— Иди, не бойся. Русский офицер ничего тебе не сделает.

Девочка не могла больше противиться. Она встала и пошла. Но у нее было бледное личико.

Минут через десять она вернулась, неся перед собой тарелку с пряниками и яблоками. Она так быстро и оживленно стала что-то рассказывать старому поляку, что я не мог уловить ни одного слова. Я видел только, что она смеется, а старик слушает ее с улыбкой.

Теперь гораздо меньше стреляли, чем вчера. Чувствовалось, что напряжение боя свалило или передвинулось куда-то дальше.

— Польский обоз пришел, — сказал старшина, и я понял по его обрадованному голосу, что теперь никаких сомнений в победе уже не было.

Под горкой на груженых телегах тряслись по проселку солдаты в конфедератках. Некоторые пожилые, с усищами, каких я еще не видывал.

— Очкастый, иди, старший лейтенант зовет, — пришел за мной чувашик.

На крыльце бауэрского дома стояло несколько русских офицеров, увешанных медалями, кинжалами, револьверами. У них были суровые лица, и мне показалось, они смотрят на меня мрачно, подозрительно и неприязненно. Внезапно на меня нашло затмение страха. «Эмигрант? Против советской власти! Расстрелять!» — читал я в их злобных взглядах. На ослабевших ногах я поднялся мимо них по ступенькам крыльца. С порога я обернулся. Несколько русских солдат суетились около грузовика. Один заводил рукояткой мотор. Словно стреляя, мотор уже начал грохотать. С трудом сдерживая страх, я вошел в сени.

В комнате, занятой под штаб, был невообразимый беспорядок. На столе — тарелки с остатками еды, полевые сумки, автоматы, развернутая карта. На смятой широкой постели лежал какой-то плоский черный прибор, каких я еще не видел. Сидя на кровати, солдат с поперечными нашивками на погонах слушал у этого прибора и торопливо что-то записывал.

Старший лейтенант переобувался.

— Что, нет других? — спросил он, обертывая ногу залубенелой портянкой.

---

[1] Знаю я, что паны хотят (*польск.*).

— На вас не напасешься. Три пары было, все роздал, — посмотрев в сторону, сердито ответил усатый солдат, завязывавший походный мешок.

Натянув сапог и расправившись на ногах, старший лейтенант подошел к столу.

— Ну что? — спросил он радиста.

Тот передал ему исписанный листок бумаги.

— Да, надо торопиться, — сказал Бульба, пробежав записку глазами, — писарь, иди сюда. Садись.

Он начал диктовать.

— Пиши. Препроводительная. При этом сопровождаются военнопленные, — он взглянул на составленный мною список. — Военнопленных русских — 11 человек, цивильных русских — 3 человека...

Я сидел рядом с писарем и видел, как он выводит круглыми буквами:

| | | |
|---|---|---|
| В. французя | ... | 105 чел. |
| бельгейцев | ... | 7 чел. |
| сербов | ... | 3 чел. |
| голанцев | ... | 1 чел. |
| цивильных поляков | ... | 7 чел. |
| Всего | | 137 чел. |

Бульба подписался и передал мне «препроводительную»:

— Вот, построй своих французов и веди. Идите спокойно. Дорога свободна.

Пожелав ему боевого счастья, я сказал, что война теперь скоро кончится.

— Нет, немцы еще сопротивляются. Ну что же, Советский Союз пороха и стали не жалеет. И жертвы, конечно, еще будут, — прибавил он, нахмурившись. — Что, бричку заложили уже? — повернулся он к вошедшему солдату, — обязательно с собой берем.

Вернувшись в сарай, я сказал товарищам собираться. Русские грузовики уже выезжали со двора. Старшина принес ведро с говядиной. Ели торопливо, не терпелось выйти на дорогу. Радость, что теперь мы на самом деле свободны, так нас волновала, что даже голод прошел.

Мы снова шли через деревню, где нас захватили немцы. Теперь она была занята частями первой Польской армии. Полковник с седыми пушистыми усами с подусниками, какие, верно, носили еще во времена «златой вольности шляхетской», сказал нам по-французски, что теперь больше нечего опасаться, фронт передвинулся на несколько километров вперед. То же подтвердил и молодой лейтенант, этот говорил по-русски.

— Мы теперь, когда спать ложимся, до кошули раздеваемся, — сказал он успокоительно.

За деревней простиралось широкое снежное поле. По нему до самого неба протянулась шоссейная дорога. По мокрому черному асфальту катили грузовики, ехали шагом возвращавшиеся повозки немецких беженцев, по-муравьиному шевелились пешие. Надо всем кружились несчетные рои все гуще валивших снежинок, особенно белых на уже темном небе.

Впереди нас, толкая перед собой маленькую тележку, брела одетая во все черное сгорбленная старуха. Летевший с равнины ветер, казалось, хотел смести ее с оледенелого асфальта. Но, наклонясь вперед, она упрямо шла, с трудом передвигая ногами в стоптанных скользящих башмаках. Рядом с нею, держась за ее подол, шла маленькая, лет шести, девочка. «Вряд ли они дойдут, — подумал я с беспокойством. — Да и тот дом, куда они идут, цел ли еще? Сколько домов было разрушено там, где прошел фронт».

Я чувствовал недоумение. Где же была теперь ненавистная Германия Гитлера? Вместо нее остались эта девочка и костлявая старуха, а вокруг них — пустое снежное поле, где не было видно человеческого жилья и только холодный, бездомный ветер крутил пургу. Или так всегда суждено: глухая стена, даже когда сбывается надежда. Мне было грустно. От сознания невозможности сделать, чтобы все были счастливы, хотелось умереть. Но я не мог сосредоточиться на этих мыслях. Мне мешало радостное возбуждение: мы свободны, идем в тыл, немцы нас больше не захватят.

При дороге стоял пулемет, через все поле, до самого леса раскинулась цепь польской пехоты. Румяный, в больших усах польский унтер, запахнув полы шинели, покойно, словно у себя дома на перине, улегся на снег у треноги пулемета.

— Добже! — одобрительно сказал он и посмотрел на нас с улыбкой.

## VII

Сборно-пересыльный пункт находился в уездном, наполовину разрушенном городе. Некоторые дома еще горели. Немецких жителей не было видно. Целые кварталы казались вымершими. Но на главных улицах было оживленно. Через город проходили грузовики с пехотой, конница, обозы. Навстречу им подымались колонны пленных. Все было, как в начале войны, только роли переменились. Тогда победители немцы — румяные, сытые, молодцеватые — гнали нас, как стадо. А теперь они сами, совсем как мы тогда, небритые, в обтрепанных шинелях шли угрюмыми, понурыми толпами. Казалось, они не только обносились за эти годы, но как будто даже меньше ростом стали: какие-то невзрачные, сутулые, именно такие, какими *должны быть* побежденные.

На площади у дверей комендатуры — многоязычная толпа. Здесь мы узнали, что одних только французских пленных в городе около шести тысяч, но что мы недолго здесь останемся, поезда уже ходят и нас повезут в Одессу.

Пока мы здесь стояли, на нас набежало несколько поджарых, темнолицых, горбоносых солдат с винтовками. Какие-то туркестанцы, мне показалось. Заметив бывших с нами русских пленных, они со злобной бранью отделили их от нас и куда-то повели. У пленных были такие же серые от страха лица, как когда немцы их от нас отделяли.

*

Когда с нашими офицерами я в первый раз пошел в комендатуру, я все боялся: узнают, что эмигрант, не выпустят, повезут в Сибирь, в концлагерь.

Комендатура помещалась в здании бывшего почтамта. На красном кирпичном фасаде полыхали на солнце алые полотнища с надписями во славу Красной армии. Было больно глазам смотреть. Раскосый, с плоским каменным лицом часовой посмотрел на нас равнодушно и ничего не сказал.

Перед нами по широким ступеням крыльца подымались двое русских: один без оружия, видимо, арестованный. Другой, с красной повязкой комендатуры на рукаве, с решительным и мрачным выражением упирал ему в спину ствол автомата.

«Вот оно», — подумал я, чувствуя, как по хребту ползет мерзкий холодок. Еще в детстве слышанные рассказы...

В прихожей нас встретил офицер в кубанке. У него было круглое, курносое лицо, все в каких-то лишаях. Я спросил его, можем ли мы видеть коменданта.

— Да, вот первая дверь направо, — показал он и, заметив нашу нерешительность, повторил: — ходьте, ходьте!

Мы вошли в большой полутемный зал. Арестованный солдат уже сидел здесь на скамейке под стеной. Опустив голову, он тупо рассматривал носки своих сапог и время от времени тяжело вздыхал. Наконец, дверь отворилась. Писарь, дремавший в углу за особым столиком, испуганно вскочил и вытянулся во фронт. Вошел комендант, высокий, слегка сутулый человек, с седыми прилизанными височками, в золотых погонах и мешковатых кавалерийских бриджах. Рядом с ним шел молоденький лейтенант с расстроенным лицом. Не замечая нас, комендант остановился перед арестованным солдатом и сердито спросил лейтенанта:

— Это ваш человек?

— Мой водитель, товарищ майор.

— Да как же это так, среди бела дня идет глушить рыбу гранатами, без документов, без разрешения. Безобразие! — сказал комендант возмущенно. — А вы что смотрите? Вот в следующий раз посажу его на сутки в холодную, как тогда поедете? Смотрите, чтобы у меня этого больше не было.

— Есть, товарищ майор. Разрешите идти?

— Хорошо, ступайте.

— Товарищ майор, простите, вы не знаете, как проехать в штаб первой польской армии?

Успокоившийся было комендант опять ворчливо забасил своим грубым голосом:

— Получили задание? Ну, и идите, и выполняйте!

Дверь за молоденьким лейтенантом и его водителем уже затворилась, а комендант все еще сердито повторял: «Где штаб первой польской армии? Тьфу!»

Я подошел и обратился к нему по-русски. Он с озадаченным видом пожал мне руку и спросил:

— Вы кто же? Француз? А где же по-русски так научились говорить? Мне как раз переводчик нужен, а то я с вашими французами никак договориться не могу. Вы приходите, будете у меня переговорщиком. — Видя мое замешательство, он сказал: — Да не бойтесь, я вас не задержу. Когда ваши товарищи поедут домой, и вы вместе с ними поедете. А все-таки, как же вы француз, а так чисто по-русски говорите?

— Я родился в Москве, товарищ майор.

И тут, с любопытством взглянув мне в лицо, он задал мне вопрос, которого я больше всего боялся:

— Эмигрант? — Вероятно, заметив мое испуганное выражение, он, слегка вспыхнув, поспешно прибавил: — Даю слово офицера...

Впоследствии он всегда успокаивал мои страхи:

— Да никто вам ничего не сделает. Ну, может, наткнетесь на дурака. Дураков и мерзавцев всюду много. Скажет что-нибудь, а вы не обращайте внимания. Ведь у нас враги только те, кто с немцами шел. Ну, а если уж так боитесь, говорите, что француз — и все.

С тех пор, по его приглашению, я и французские офицеры обедали в офицерской столовой при комендатуре. Иногда после обеда мы оставались с ним вдвоем. Я все расспрашивал его о войне: «Ведь мы в течение пяти лет кроме немецкой пропаганды ничего не читали. Не знаем, в каких условиях проходила война в России».

К сожалению, он был плохой рассказчик.

— Что же, условия тяжелые были, — сказал он, видимо, стараясь найти в своих воспоминаниях что-нибудь для меня интересное. — Вот я с моим батальоном восемь месяцев в окружении сидел. На плохом участке. Болото, огня не развести: немецкие окопы в двухстах метрах. А тут целый день по щиколотку в ледяной воде. А ведь самое главное, чтобы ноги сухие были. Так мы портянки между телом и брюками сушили: одну в правую штанину, другую в левую. А спали под открытым небом: нарубишь еловых веток и прямо тебе матрац. Со снабжением плохо было, только самолетами подбрасывали. Построишь утром бойцов, смотреть страшно — стоят опухшие, и лица, и руки опухшие, как водой налиты. Умирали многие. А работали по восемнадцать часов в день. Рубеж крепили. Я сам инженер. И, знаете, никто ничего не говорил, никакого там ропота. — Улыбаясь, он задумчиво покачал головой. — Да, наш русский мужичок все вынесет. Не шикарный он, не такой, как у вас в Европе, а выносливость страшная. Ему сухаря и воды довольно — и воюет, и победит! — заключил он с силой и с какой-то задушевной убежденностью. — А то, что у нас по сравнению с Западом есть еще культурная отсталость, этого мы не скрываем. В ту войну, империалистическую, народ еще неграмотный был. Это так быстро не исправишь. Да и у нас в начале войны ошибки были. А тут — еще четыре года войны. Люди измотались. Знаете, некоторые думают, что теперь все позволено.

Однажды он сказал мне:

— Вот завтра приезжает новая комендатура, специальная для союзных пленных. Сами увидите, какие теперь русские: мужики, могут нагрубить, а по существу в большинстве хорошие люди.

На следующий день он познакомил меня с первым представителем новой комендатуры, младшим лейтенантом Даниловым. В стоптанных солдатских сапогах, в стеганых штанах, в почерневшей от пота выцветшей гимнастерке, младший лейтенант Данилов и вправду, несмотря на золотые погоны, был больше похож на мужика или старого рабочего, чем на офицера. Было ему, верно, около шестидесяти. Сивые, но еще густые, спутанные волосы, коричневое от загара лицо, с глубоко прорезанными морщинами и варварскими, точно топором вырубленными, скулами. Косматые брови и нос как у Льва Толстого.

Я зачарованно смотрел, как своими несгибающимися деревянными пальцами он оторвал от газеты кусок бумаги, насыпал из кисета махорки и скрутил козью ножку величиною в добрую сигару.

С тех пор, как он приехал, началась невообразимая суматоха. Он потребовал, чтобы в три дня, до приезда майора — «а то сердиться будет» — все находившиеся в городе французские пленные, около шести тысяч, были организованы по батальонам и ротам и переселены все в одну часть города. Кроме того, все должны были пройти через прибывшие с ним полевые души и дезинфекционную камеру. Напрасно я ему говорил, что три дня слишком мало, что у нас всего четыре офицера, что пленные — не воинская часть, а неорганизованная масса. Он кряхтел, вздыхал, но был непоколебим.

— Не могу. Приказ фронта. Майор-то всего два дня дал. Я человек военный, для меня приказ — закон. А душевка — ведь это же культурно, а то вши заведутся. Люди скучены, эпидемии пойдут.

Я приходил в штаб в семь часов утра по московскому времени, а он уже сидит там и терпеливо ждет, когда соберутся наши офицеры. Мы все сбились с ног, но через три дня бригада была сформирована, все размещены по новым квартирам. Данилов принимал батальоны.

В это утро мы вышли с ним из штаба еще раньше, чем обычно. Мы шли по длинной улице. По обеим сторонам — разрушенные бомбами и пожаром дома. В проломах стен видны обнаженные печные трубы. Напоминание, что здесь еще недавно, как в незапамятные времена, собиралась семья человека. Обугленные балки особенно уродливо и мертво чернели в голубом сиянии блаженно-теплого дня. На тротуарах еще неубранные, раздувшиеся трупы лошадей, кучи мусора и кирпича, тряпки, распоротые перины.

Когда мы подходили к первому батальону, нам встретилась толпа немцев, большей частью старики и женщины, с лопатами и метлами. Польский милиционер вел их на уборку улиц. Данилов досмотрел на них с неодобрительным видом.

— Смотри, и девушки есть молоденькие, — сказал он, показывая на высокую молодую немку в модном меховом пальто. Она шла, не подымая глаз, и на ее бледном лице было такое же, как теперь у всех немецких женщин, выражение

покорности и страха. Но в ее гибкой и легкой походке и в падающих на плечи золотых волосах чувствовалась молодая, еще не сломленная сила жизни.

— А тебе их не жалко? — неожиданно спросил меня Данилов.

Что мог я ему ответить? Я никогда не мог видеть арестантов и пленных без чувства мучительного недоумения. В этой толпе стариков и женщин, боящихся поднять глаза, было что-то особенно жалкое и страшное, они шли, как прокаженные.

— А мне жалко. Что же, что немцы, а тоже живые люди, — помолчав, сказал Данилов. — Ведь они что у нас делали: женщин насиловали, а потом еще убивали, детей в колодцы бросали или, знаешь, возьмет за ножки и головой об угол дома. Людей живыми сжигали, — говорил он, точно оправдываясь, а потом с гордостью прибавил: — Ну, да у Советского Союза политика другая, мы с фашизмом воюем, а немецкий народ не собираемся уничтожать.

— Это правда, товарищ лейтенант, они тоже не все за Гитлера были.

— Да что там за Гитлера или против Гитлера, — сказал он с досадой, — а просто живые люди.

Смотр батальона прошел блестяще. Данилов был, видимо, очень доволен и даже смущался, когда командиры батальонов, преувеличенно по-солдатски таращa глаза, выходили вперед с рапортом. Только с ротой «С.С.» вышла заминка. Среди пленных замешались переодетые в штатское французы из дивизии «Карл Великий». Пленные сами их вылавливали и под охраной добровольных полицейских держали в отдельном доме. Это и была рота «С.С.». Я шел за Даниловым вдоль фронта, и лица эсэсовцев проходили перед нами, как на экране. Одни смотрели на нас с вызовом и враждой, другие испуганно, с каким-то вопросительным, умоляющим выражением.

Данилов спросил меня, кто эти люди и почему их держат отдельно.

— Это эсэсовцы, товарищ лейтенант.

— Какие это эсэсовцы, — сказал он сердито.

— Как же, они добровольно в немецкую армию пошли.

Он ничего не ответил и шел вдоль фронта, не подымая глаз.

— А что, у этого башмаков нет? — подозвал он меня, остановившись против маленького эсэсовца. Это был худой, бледный мальчишка лет семнадцати. Не понимая, чего от него хотят, подняв брови и все время смигивая, он испуганно смотрел на Данилова.

Я спросил:

— Что, у вас башмаков нет?

Обрадовавшись, он поспешно ответил:

— Есть, но они мне натерли ноги.

— Ну, хорошо, — вздохнул Данилов, — а если нет, нужно будет обеспечить башмаками. Вот скоро приедет хозчасть, будем давать. Нельзя, чтобы босыми ходили.

— А это у тебя что? — вдруг спросил он у нашего главного полицейского, молодцеватого, одетого под офицера сержанта-корсиканца, вооруженного резиновой дубинкой.

Полицейский, улыбнувшись, многозначительно взмахнул дубинкой. Данилов сердито, по-стариковски покраснел и вдруг, вырвав дубинку из рук сержанта, запустил ее с такой силой, что она, замелькав концами, описала в воздухе высокую дугу и упала на крышу сарая. В рядах эсэсовцев раздался одобрительный смех. Самолюбиво вспыхнув, сержант сказал мне:

— Передай русскому лейтенанту, что если у моих полицейских не будет оружия, я снимаю с себя ответственность за побеги.

Данилов, видимо, смущенный собственной выходкой, добродушно похлопал его по плечу:

— Ну, ну, не сердись, камарад.

— Ты ему скажи, — повернулся он ко мне, — я его уважаю. Молодец. Энергичный. Правильно, что смотрит за ними. Чтобы, значит, дисциплина, как полагается. Но только палки не нужно. Ты посмотри, у нас так с виду ералаш, а чтобы там кто-нибудь кого ударил — этого нельзя.

— Да, товарищ лейтенант, но он говорит, что если у него не будет оружия, то он не может отвечать за побеги.

— Ну, дам, дам ему несколько винтовок, — сказал Данилов неохотно. А когда мы возвращались в штаб, он попросил меня с наигранным глуповато-хитрым и веселым видом: — Ты знаешь, не пиши в строевой «С.С.». Пиши — отдельная рота. Вот поедете во Францию, там ваше правительство разберется. А нам что же, это нас не касается.

Уже начинало темнеть. На берлинской дороге мы поравнялись с остановившейся вдоль тротуара длинной колонной грузовиков с пехотой. На одном лихо заливалась гармонь. Молодой солдат, отчаянно встряхивая кудлатой головой, заводил резким волчьим голосом частушки и так быстро договаривал, что, казалось, звуки рассыпаются вдребезги, как падающий с горки фарфор. Я не мог понять ни одного слова.

Мы подходили уже к голове колонны, когда стоявший около одного из грузовиков человек богатырского роста, с выпущенной из-под шапки кудрею, посмотрев на нас с недружелюбным любопытством, спросил с уязвленной усмешкой:

— А почему не приветствуют?

— Это французские офицеры, — гордо ответил Данилов.

— Ну что же, мы тоже офицеры. Может быть, даже повыше, — ухмыльнулся высокий.

Сквозь сумерки я рассмотрел у него на груди медали и звезды, а на плечах майорские погоны защитного цвета. Другой офицер, такого же огромного роста, но уже пожилой, сказал:

— Не уважают русского воина.

Я подумал: «Попали в историю». Но в это время раздалась команда: «По машинам!» И сейчас же загудели включаемые моторы, и грузовики стали трогаться один за другим, с места набирая скорость. Свесившись с подножки одной из машин, человек в кубанке, засвистев пронзительным, покрывшим

все звуки разбойным свистом, махал рукой солдатам, с испуганными лицами выбегавшим из подъезда соседнего дома.

— Хабаров, давай, .... мать! — кричал кто-то исступленным голосом.

Солдаты поспешно вскакивали на ходу, и грузовики, с нарастающим ревом, подымая ветер и обдавая нас перегаром солярки, все быстрее и быстрее с грохотом проносились мимо. Уже вдалеке, в последний раз, отчаянно взвизгнула гармонь.

Смотря вслед, Данилов сказал, покачивая головой:

— Нервы у всех поистрепались. А ведь как награждены!

*

Вызванные в штаб француженки уже ждали. Мне показалось, Данилов был смущен и в то же время доволен, что здесь собралось столько молодых и нарядных иностранных женщин, которые, в ожидании его распоряжений, смотрели на него с весело-недоумевающим, но слегка просительным видом.

Он велел мне перевести, что теперь женщины должны жить не при батальонах, а в отдельном доме, который он для них подыскал. Женщины стали протестовать, что их хотят разлучить с мужьями. Данилов долго упирался, ссылаясь на приказание майора, но, наконец, согласился.

— Так вот, ты им скажи: если там замужние, по закону, значит, те пусть живут с мужьями. А девушки отдельно. Нельзя, здесь мужчины приходить будут, а они ведь девушки, молоденькие.

Мне пришлось задавать неделикатные вопросы: «Vous êtes mariée, mademoiselle?»*

Легкое замешательство, гримаска морщит карминовые губы: «Non, monsieur, c'est mon ami. Mais vous comprenez — on voudrait bien rester ensemble»**.

Я перевожу:

— Они, собственно, не женаты, но давно живут вместе, здесь ведь нельзя было венчаться.

Данилов неожиданно добродушно засмеялся:

— Значит, ... просто. Ну, что же, пускай живут вместе. Там во Франции разберут. А девушек настоящих, значит, обязательно отдельно. Ведь отца-матери здесь нет, кто за них отвечать будет?

Но затруднения еще не кончились. Была здесь одна бельгийская девушка. Данилов требовал, чтобы ее поселили вместе с француженками, а бельгийцы просили, чтобы ей разрешили жить при бельгийском батальоне. Девушка была высокая, черноволосая, лет двадцати пяти. Как почти все женщины здесь, она ходила в мужских брюках, одетых под платье. Была она хорошенькая, и только неприятно сосредоточенный взгляд и странная, все время кривившая рот усмешка ее портили. Сама она ничего не говорила, но

* Вы замужем, мадемуазель? (*фр.*).

** Нет, месье, это мой друг. Но, понимаете, мы хотели бы остаться вместе (*фр.*).

стоявший рядом с ней высокий белокурый бельгиец с благородным воодушевлением уверял, что у нее будет отдельная комната и он ручается за своих товарищей. Данилов неохотно уступал.

— Как же это, молоденькая она еще совсем. Незамужняя. Родителей нет. А здесь столько мужчин. Ну, хорошо, — согласился он, наконец, — только чтобы комната у нее была отдельная и чтобы ее никто не трогал. Ни Боже упаси! А если кто обидит — накажу, беспощадно накажу.

На следующий день, часов в двенадцать, Данилов опять появился у нас в штабе. Сняв ушанку и утерев пот с обветренного кирпичного лица, он вынул из газеты бутыль спирта и весело сказал:

— Вот принес литр, хочу угостить французских офицеров.

Выпили за скорую победу, за дружбу французского и русского народов. Я в первый раз видел, как пьют теперь русские.

— Вы, как хотите, разбавляйте водой, а я уж так, — сказал Данилов и опрокинул в рот стакан чистого спирта. Жаждуще провел языком по запекшимся губам и запил маленькой рюмкой воды.

— Ты им скажи, это не от комендатуры, это младший лейтенант Данилов от себя ставит. Угощаю, значит, так как я ужасно французских офицеров уважаю. Во-первых, Франция — наша союзница, а потом они, французы, замечательно культурные люди. Я сколько раз говорил нашим: вы же понимать должны, с кем имеете дело, с французами, с культурным западноевропейским народом. А то начнет какой-нибудь материться, не понимает, что это образованные люди. Можно сказать, дело прямо международного значения. А доктора вашего — я вот как уважаю. Смотри, молодой он совсем, а замечательно культурный. Ведь работал, учился, — говорил Данилов, с восхищением смотря на нашего лейтенанта-аптекаря. — Как, говоришь, зовут его? Поль? Ага, по-русски Павел? Значит, Павлуша. А по отчеству? Арманович? Так вот, за здоровье Поля Армановича, за Пашу!

Он курил свои чудовищные козьи ножки, аккуратно сплевывал на ковер и все подливал в стаканы:

— Ну, еще по одному! Сто граммов — это же немного.

Я отвык пить, и в голове у меня пылало, как перед солнечным ударом. Наши офицеры спрашивали через меня, когда нас будут отправлять во Францию.

— Скоро, скоро. Ты скажи им, ведь наша задача какая? Кормить, заботиться о них и отправить домой. А что у нас организовано вроде как бы по-военному, пусть не боятся. Это только для внутреннего порядка, чтобы дисциплина, значит, по-культурному. И во Францию отправлять легче будет. Так побатальонно и будем грузить в эшелоны, и поедете к себе домой, в Париж, к своим женам.

Желая сделать ему приятное, я сказал, что во Франции большой успех имел роман Алексея Толстого «Петр Первый».

— Как же, читал, — ответил Данилов, — хороший роман. Но он еще другие романы написал, еще лучше. «Анна Каренина», например. Вот это прямо

замечательная книга, — и, видимо, заметив в моих глазах растерянность, с сожалением прибавил: — Нет, ты не читал, верно. А какая хорошая книга!

Как всех русских, я расспрашивал его о войне.

— Нет, до войны я в армии не был. Сам я с Донбасса, рабочий. В гражданке в шахте работал. Ну, а как война началась, дошел немец до самой Москвы. Все правительство за границу уехало, а Сталин один в Москве остался. Вызвал он нас к себе в Кремль и говорит: «Вы как хотите: хотите, за Урал подавайтесь, в Сибирь, а я никуда не уеду. Последним останусь. Пусть лучше меня убьют, а Москвы не оставлю. Ну, а если кто хочет — может со мной оставаться. Будем драться до последнего». И мы с ним остались. Техника до тех пор засекречена была, а теперь стали подбрасывать и «катюши» и танки. Наставили пушек одна рядом с другой. Почитай, через каждый метр по пушке стояло. А немцы совсем близко подошли. Им, поди, уже Кремль был виден. Вот, думали, возьмем. Ну, а Сталин нам сказал не отдавать Москвы. И мы их сожгли. — При этих словах голос Данилова приобрел торжественную силу, и его глаза чудно и грозно просияли из-под косматых бровей: — Весь ихний передний край сожгли огнем.

— Что же, это какие-нибудь минометы были, «катюша»? — спросил я.

— Нет, не «катюша», — сказал он неохотно, — а только мы их сожгли. Особое это оружие. Здесь в Германии мы его больше не применяли. Да, страшный был бой. Ах, отчаянно мы дрались. Просто представить невозможно. Ведь русский человек какой? Раз его ударят — он ничего не скажет. Второй раз ударят — опять стерпит. Ну, а уж в третий — как встанет и пойдет бить, ни врага, ни себя не жалеет. Много там нашего брата полегло. А немцев — больше ста тысяч побили. Пошли наши бойцы вперед, а там, где прежде немецкие боевые порядки стояли, ни одного живого немца. Только трупы обугленные лежат. А кто и копошится еще в ямах, так совсем, как помешанные. Глухонемые, бормочут что-то. Только через двое суток опять стали говорить и слышать. «Вы, — говорят, — на нас прямо целые дома кидали».

Разговор то снова возвращался к русско-французской дружбе — «как же, знаю, генерал Дехоль, он в Москве был, его сам Сталин уважает», — то опять, как бы спохватываясь, Данилов говорил, что надо поселить женщин отдельно:

— Особенно девушка эта, бельгианка. Ведь молоденькая она еще совсем, лет семнадцати. А такая молоденькая, знаешь, ну прямо, как цветочек. Смотри, чтобы у меня никто ее не трогал. Такую легко обидеть. Родителей у нее здесь нет. Разве же можно? Ну, а если какой-нибудь негодяй тронет, расстреляю! Собственной властью убью! — сказал он, опуская руку на кобуру револьвера. Его лицо сморщилось страдальчески и свирепо.

Наконец, он собрался уходить и, пожимая всем руки, благодарил за прием, который, видимо, ему очень понравился. Все повторял: «Вот скоро поедете к себе домой, в Париж, увидите своих жен, детей. Там тоже, поди, заждались».

— Ну, а вас, товарищ лейтенант, верно, тоже скоро домой отпустят. Война к концу идет. Что, у вас большая семья? Дети есть?

Он помолчал.

— Ты знаешь, ведь у нас в Донбассе немцы были. Вот кто-то и донес на мою жену, что я, значит, ушел с Красной армией. Немцы пришли к ней допытывать. А дома у меня только жена и оставалась, да две дочки, младшая на фельдшера училась. — Опять помолчав, он, с недоумением взглянув мне в глаза, тихо добавил: — А потом сожгли их немцы. Вместе с домом и сожгли.

Я не нашелся, что ему сказать.

*

Лейтенант Данилов недолго с нами оставался. Как приехала новая комендатура, я заметил, что у него плохие отношения с большинством офицеров. Верно, характер был неуживчивый. Раз я слышал, как во дворе продовольственного склада капитан Мещанинов сказал ему в сердцах:

— Чего вы лезете не в свое дело, только ... , а то, что вам говорят, не исполняете. — И матерно выругался.

— А вы не ... , — ответил Данилов, сердито блеснув из-под нахмуренных бровей глазами, ставшими от гнева темно-синими. Капитан только рукой махнул.

Вечером того же дня я, в качестве переводчика, отправился с нашими врачами к начальнику новой комендатуры, майору Дубкову.

Еще в сенях занятого Дубковым дома мы услышали за высокими дверями чей-то раздраженный крик. Высунувшийся на наш стук молодой поручик испуганно пролепетал:

— Подождите, подождите.

Наконец, он нас впустил. Войдя, мы, прежде всего, увидели Данилова, спиной к нам стоявшего навытяжку перед столом.

— Разрешите идти? — спросил он тем же злым голосом, каким бранился давеча с капитаном Мещаниновым.

— Ступайте! — не подымая головы, с презрением сказал сидевший за столом майор Дубков.

Данилов круто повернулся на каблуках и вышел. Упрямый старик даже не взглянул на нас. С тех пор мы его больше не видели. Верно, его куда-то отослали.

— Простите, что заставил вас ждать, — учтиво приподнялся нам навстречу Дубков. Очень маленького роста, в опрятном кителе, лицо младенчески розовое, круглое, улыбающееся, но непроницаемо замкнутое. На крохотном носике неживой, хрустальной бабочкой уцепилось пенсне. Своей короткой пухлой рукой он показал нам на кожаные кресла вокруг стола: — Садитесь, пожалуйста. — Я не видел его взгляда, только холодно поблескивали стекла пенсне.

Дубков отличался от всех других офицеров комендатуры подчеркнутой вежливостью в обращении с нами. Несколько раз я ловил себя на странном чувстве, что он следит за мною, правильно ли я перевожу, но когда я спросил его, понимает ли он по-французски, он сказал:

— К сожалению, ни одного слова. — По-немецки он объяснялся довольно свободно.

*

Мне было грустно и тяжело, что мои товарищи-французы, даже коммунисты, смотрят на русских с отвращением, ненавистью и страхом, как на злых дикарей, от которых всего можно ждать: вдруг объявят нас преступниками, не отпустят во Францию, повезут в Сибирь. Меня раздражали эти разговоры. Со стороны французов такое отношение к русским, которые спасли мир от Гитлера и освободили нас из немецкого плена, казалось мне несправедливым. Я хотел видеть в русских только хорошее; гордясь беспримерным героизмом, проявленным ими в эту войну, я хотел верить, что теперь в России начнется обновление...

Я спорил с товарищами, хотел их переубедить, а сам все время мучился беспокойством и страхом, хотя и скрывал это от самого себя и даже не мог бы точно определить, чего я боюсь. Я знал, что было распоряжение отправлять во Францию всех, кто был во французской армии, и почти не сомневался, что когда французы поедут домой, то и меня отпустят вместе с ними. К тому же русские явно не обращали никакого внимания на то, что я эмигрант. Только один проезжий офицер все расспрашивал меня, с кем я встречался в Париже, имел ли «партийные связи», почему уехал из России. Я объяснил ему, что меня увезли родители, когда я был еще маленьким мальчиком.

— Что же, значит, не поладили с советской властью, — сказал он, криво усмехнувшись.

У него было беспокойное и расстроенное выражение, как у собаки, которая все время что-то ищет и вынюхивает.

Был еще один майор, которого я побаивался. Чрезвычайно мрачный человек, сутулый, с темным восточным лицом. К счастью, он редко появлялся. Зато всякий раз грозил отдать кого-нибудь под суд. Дубков сказал мне, что «очень уважает» этого майора.

Но с большинством офицеров нашей и городской комендатур у меня были хорошие отношения. Чего же я боялся? Да не только я, а все мои товарищи-французы. Ведь им-то, казалось, ничего не могло угрожать. Наоборот, русские заботились о нас больше, чем о своих собственных солдатах, снабжали нас продовольствием и даже табаком. Почему же нас не оставляло тревожное ощущение, что мы находимся в полной зависимости от произвола совсем других, чем мы, недобрых существ, решений и поступков которых мы никогда не могли предугадать? Например, мы попросили майора Дубкова сообщить во Францию имена всех находившихся в городе французских пленных. Нам не приходило в голову, что наше желание может показаться подозрительным. Наоборот, мы думали, русским самим будет приятно сообщить во Францию, сколько французов они освободили. Но к нашему удивлению, майор Дубков решительно и даже с возмущением отказался исполнить нашу просьбу.

Подобные странности французы объясняли тем, что русские — дикари, по-другому чувствуют и думают, чем цивилизованные европейцы, или тем, что русские злые. Но чем больше я присматривался к русским, тем лучше чувствовал, что объяснение вовсе не в этом. Конечно, среди красноармейцев встречалось немало людей, озлобленных и развращенных войной, но, вероятно, не больше, чем в армии всякого другого народа, который бы так пострадал от немецкого нашествия. К тому же я видел, как много среди русских, наряду с этими ожесточенными, людей скромных и добрых, и как даже у худших тяга к разбою и чубаровщине смягчалась добродушием. Но скоро я понял, что в своем поведении русские большей частью руководятся вовсе не своими непосредственными чувствами и желаниями, не своей волей, а побуждениями, получаемыми извне, от стоявшего за ними порядка, который не имел ничего общего ни с их хорошими, ни с их дурными русскими свойствами. Чем ближе я знакомился с русской администрацией, тем несомненнее это чувствовал. Впервые я подметил это в поступках капитана Мещанинова. Он был невысокий, но ладный, с молодецкой грудью, в картузе, ухарски заломленном над желтыми волосами. Вся шея у него была покрыта незаживающими чирьями. Он сам объяснял это тем, что почти всегда ест холодное. Растерзанный, ошалелый, он с утра до ночи, с веселой матерной бранью «метался» по делам хозчасти.

— Веришь, за всю войну ни разу не выспался по-человечески, — как-то сказал он мне со вздохом. — Да и теперь у меня делов вот сколько!

У него на груди висела медаль за оборону Сталинграда. На мои расспросы он сказал с простодушным бахвальством:

— Я там батальоном командовал. За несколько месяцев тысчонки полторы потерял. Мне бы уже полковником быть, если бы до войны не посадили.

— За что же вас посадили? — спросил я с удивлением.

— А я и сам не знаю, за что, — засмеялся он.

В другой раз он сказал мне не без важности:

— Видишь ли, я сам, собственно, историк, печатные труды имею.

Какое-то странное это было совпадение: еще двое русских офицеров говорили мне, что они историки и имеют «печатные труды». Но писали они малограмотно, с грубейшими ошибками.

Капитан Мещанинов был крикун, отчаянный ругатель, но не злой. Раз русская женщина-врач из депортированных, с испуганными глазами на изможденном, когда-то, верно, красивом лице привела в столовую двух девушек-литовок. Одна была высокая, темноволосая, с оскорбленно и гневно горевшими глазами и гордо поднятой головой. Другая — некрасивая, ширококостая, белобрысая, с красными пятнами на скулах. Она принялась было есть суп и не могла. Ее лицо задрожало, и она заплакала. Слезы катились по ее щекам, капали в тарелку.

Капитан Мещанинов с другого конца стола участливо смотрел на плакавшую девушку. Я с удивлением видел, что он еще не догадывается. Хотя уже с самого начала, по тому, как женщина-врач с поджатыми по-монашески

губами ввела литовок в столовую и заботливо, точно больных, их усадила, можно было почувствовать, в чем дело.

— Что же вы не едите? Нужно есть, чтобы быть сильным, — подойдя к плакавшей литовке, сказал капитан Мещанинов, энергично сжимая кулак и выпячивая свою и без того выпуклую грудь. — Да что случилось такое?

— Сольдаты! — всхлипнула литовка и еще пуще залилась слезами.

Каждый день, проходя мимо санитарной части, я видел женщин разных национальностей, ждавших приема, но издали я не мог рассмотреть выражения их лиц, а теперь видел вблизи. Поникшее лицо литовки все сморщилось и вдруг стало каким-то разваренным, словно растление, поднявшись, проступило сквозь черты ее лица слепым, диким мясом, по которому текли слезы непоправимой обиды. Я не думал, что это так похоже на убийство.

Капитан Мещанинов, опустив голову, молча вернулся на свое место.

Я еще много раз мог убедиться, что он человек, способный на жалость. Вместе с тем в его поступках часто проявлялись побуждения, которые не вязались ни с общепринятыми нравственными понятиями, ни с его русским добродушием. Не стесняясь моим присутствием, он постоянно наговаривал майору Дубкову на других офицеров комендатуры, обвиняя их в нерадивости. Это по его жалобе отослали тогда Данилова. Перед майором же Дубковым капитан Мещанинов всегда почтительно тянулся, поддакивая каждому его слову с какой-то холуйской готовностью. Но оказалось, что и на Дубкова он готовит донос. Мы говорили как-то с ним о Дубкове, на которого он был в этот день за что-то зол. Вытащив из кармана галифе перетянутую резинкой, потрепанную записную книжку, он злорадно сказал, похлопывая по ней ладонью:

— Не бойся, здесь у меня все записано. Дай срок. Только потянут его, я все доложу, куда следует.

Он мог быть и жестоким. Однажды мы проходили с ним мимо «Сборно-пересыльного пункта для советских граждан, возвращающихся на родину». Здесь всегда около крыльца дожидалось много народа. Над входной дверью надпись: «Родина ждет вас». Сегодня толпа странно неподвижно и тихо стояла вокруг чего-то невидимого за спинами и головами. Перед нами молча расступились. Я заметил, что на Мещанинова оборачиваются с каким-то выжидательным любопытством. Теперь я увидел вокруг чего сгрудились: у самого крыльца, раскинув руки и ноги, лежал на спине человек. Он был в сапогах с толстыми подошвами, грузный, с высокой широкой грудью. Из-под задранной кверху клочковатой бороды еще сочилась кровь. Это один из «возвращавшихся на родину», незадолго до нашего прихода, перерезал себе горло. Что-то очень русское почудилось мне в этой смерти.

Капитан Мещанинов, со своими поднятыми плечами и в фуражке набекрень, остановился над мертвым, отставив ногу.

— Верно, знал, что таких делов наделал, за какие в Советском Союзе по голове не погладят, — громко и грубо сказал он, не поддаваясь окружающей тяжелой тишине.

Мне показалось, передо мной совсем другой человек, чем тот Мещанинов, которого я до сих пор знал.

Вообще я видел, что, хотя всюду висели эти афиши: «Родина ждет вас», советские офицеры относятся к русским пленным и депортированным с непонятной мне враждебностью.

Была здесь одна «остовка», прижившая ребенка от французского пленного. Француз хотел взять ее и ребенка с собою во Францию. Было видно, он и эта русская по-настоящему друг друга любят. Но Мещанинов заявил, что, как все советские граждане, и мать и ребенок должны вернуться на родину:

— Там подашь прошение. А французенок твой все равно незаконный.

— Что же, что незаконный, — сказала «остовка» сквозь слезы, — отец его признает и хочет с собой взять. А в России ему сиротой расти.

— Нет, не сиротой. У него там будет отец — весь Советский Союз! — наставительно подняв палец, сказал Мещанинов с силой идиотически-твердого убеждения.

Ребенок закопошился в пеленках и заплакал.

— Цыц, ты! А то выброшу к ... на пасеку! — прикрикнул на него Мещанинов.

*

Я шел с майором Дубковым из комендатуры. На улице ко мне обрадованно бросился один из пленных русских врачей, которые вышли с нами из лагеря. Меня поразило, какой у него теперь был жалкий и растерянный вид: из-под картуза торчали спутанные, давно не стриженные волосы; впалые щеки заросли бородой; рваные сапоги.

— Голубчик, пожалуйста, скажите майору, что вы меня знаете, что мы с вами в одном лагере сидели, — торопливо заговорил он, держа меня за рукав и заглядывая мне в глаза с униженно-заискивающим выражением, какого раньше я у него никогда не замечал.

Дубков, остановившись в нескольких шагах, смотрел на нас молча и неодобрительно. Когда я стал говорить ему об этом русском докторе, он только презрительно фыркнул.

— Доктор? Это вы говорите! Откуда вы знаете, кто он такой? Может быть, он шпион! — и, отдуваясь, с наигранным негодованием Дубков завертел своими круглыми, словно нарисованными эмалевой краской, глазами.

Чем больше я присматривался к Дубкову, тем больше узнавал в нем знакомые черты. Совсем так же, как немцы были убеждены, что никто лучше них не может устроить правильного порядка в мире, Дубков полагал научно доказанным, что именно сталинизм призван историей установить во всей вселенной совершенное административное управление. С этой верой у него соединялось глубокое презрение, даже ненависть ко всему в жизни, и в сознании, и в чувствах людей, что не поддавалось регламентации и тем самым могло помешать проведению административных мероприятий.

Как-то французы привели в комендатуру двух немецких солдат. Товарищи случайно наткнулись на них в лесу, и те, после недолгих переговоров, сдались. После допроса Дубков мне сказал:

— Я одного спросил, хочешь, Фриц, в Красную армию? Он говорит: «Хочу».

— Вы думаете, это искренно?

— Врет, конечно, — холодно усмехнулся Дубков. — То, что они не сразу сдались, а в лесу прятались, показывает, что заядлые гитлеровцы. Жалко, что ваши французы их не пристрелили. А то ведь мы не имеем права их расстреливать.

Он сказал это с удовольствием, щеголяя и тем, что, будь его власть, он без малейшего колебания расстрелял бы этих немцев, и тем, что, поскольку это запрещено, он никогда не позволит себе это сделать, хотя бы ему и очень хотелось.

Все, чего требовала хлопотливая должность начальника комендатуры, Дубков выполнял с чрезвычайной тщательностью, ревностно, неутомимо, не позволяя себе поддаваться никаким человеческим слабостям, никаким личным чувствам. И такого же отказа от своей воли и полной отдачи всех сил точному исполнению предписанного он тиранически требовал от всех своих подчиненных, не желая знать, оставалось ли у них время для еды и сна. В комендатуре у всех офицеров были воспаленные от недосыпания глаза, а солдаты, по большей части пожилые и больные, поражали своей угрюмостью и какой-то забитостью.

Административная деятельность, видимо, представлялась Дубкову главным выражением жизни, чем-то абсолютным, верховным, чему все должно подчиняться. Поскольку же эта деятельность необходимо предполагает иерархическое строение общества, он никогда не забывал о своем положении начальника. При нем чем-то вроде денщика состоял контуженный в голову пожилой солдат. Раз, когда мы сидели у Дубкова, этот солдат, «мой красноармеец», как называл его Дубков, не постучав, вошел доложить, что кушать подано. Дубков, недовольный тем, что «мой красноармеец» осмелился его прервать, показывая ему пальцем на дверь, с ненавистью проговорил:

— Ступайте вон, негодяй!

Или как-то раз мы ехали с ним на грузовике. Был еще с нами высокий и худой русский солдат-механик. Смотря на бегущую назад дорогу, он все время чему-то радостно улыбался. Я пробовал с ним разговориться. Он был прежде партизаном.

— Вот, говорят, скоро всех нас, партизан, в Смоленск пошлют, награждать будут. Хотя, что же, я немцев не так много убил, человек десять. Я все больше на базе, на кузне работал, оружие чинил. А вот первого моего хорошо помню. Пошел в лес, а он прямо на меня. Увидели друг друга и за автоматы. Но только я его первый срезал, — говорил он все с той же морщившей его губы улыбкой.

Грузовик встряхивало на ухабах проселка. Положив руки на свой аккуратный портфель из желтой свиной кожи, майор Дубков трясся с упорно-

замкнутым выражением, и мне казалось, что из-под опущенных век он смотрит на нас с неодобрением.

По дороге попросились на грузовик русские девушки, колхозницы из разоренных немцами мест. Их прислали в Германию за коровами. В ватниках, в стоптанных мужицких сапогах, они, сбившись в кучу, сидели в углу грузовика, дикарски блестя из-под платков большими яркими глазами.

— Откуда, девчата? — спросил партизан.

— Смоленские, — ответила одна и, не удержавшись, улыбнулась: ее почти черное от густого румянца лицо осветилось блеском белых зубов.

— Я — тоже смоленский! — обрадованно завопил партизан и принялся подробно объяснять девушкам, из какого он района.

Когда колхозницы слезали, майор Дубков с недовольным видом внимательно смотрел на их котомки.

— Что-то много барахла везете, — сказал он сердито и вдруг, багровея от начальнического гнева, злобно погрозил пальцем: — Вы у меня смотрите, я с вас три шкуры спущу!

Девушки молча испуганно на него косились.

Зато перед начальниками, старшими его по чину, Дубков держал себя восторженно подобострастно. Как-то приехал в комендатуру полковник из штаба фронта. Дубков вышел встретить его на крыльцо. Пока полковник вылезал из машины и медленно подымался по ступенькам крыльца, Дубков стоял навытяжку. Меня поразило выражение холопской почтительности на его белом от страха лице. Так, верно, при крепостном праве дворецкий встречал помещика.

*

Читая сводки, я видел, что война скоро кончится, бои уже шли в предместьях Берлина. Но, когда я говорил об этом с русскими, они отвечали неопределенно, даже смотрели на меня с подозрительностью. Грубо говорили: «Много знать будешь, скоро состаришься». Казалось, все это мало их занимает, и они были готовы, если потребуется, еще хоть десять лет воевать. Они никогда не высказывали своего непосредственного мнения. Или убежденно повторяли заученные, готовые суждения, или, если еще не было установлено, как в данном случае нужно думать, предпочитали совсем ничего не говорить. Но в презрении, с каким они слушали мои доводы, чувствовалась непоколебимая уверенность, что им скоро откроется знание, несравнимо более истинное, чем то, до какого можно дойти усилием собственной мысли. Я понимал, что ничего сверхъестественного тут не было. Просто сверху приходили административные распоряжения, как нужно думать, чувствовать и вести себя, и политические офицеры их растолковывали. Но поскольку я не присутствовал при этих беседах, мне казалось, русские получают эти разъяснения в магическом причастии к какой-то силе или сущности, вроде Маны тотемических кланов. Это она, эта Мана, ревнивая, требовательная и мстительная носительница тотального державного могущества, решала все

вопросы. Каждое ее решение — абсолютная истина. Причем нужно было не только беспрекословно повиноваться этим решениям, но и заранее правильно их угадывать. Именно в этом заключалась, по-видимому, главная трудность. Я с удивлением замечал, русские не проявляют любопытства ни к событиям, ни к новой стране, куда они попали, ни к иностранцам, которых они впервые видели, не боятся страданий и смерти и все-таки живут в постоянном беспокойстве, в постоянной неуверенности. Их жизнь была поглощена прислушиванием к голосу Маны и неизбывным страхом неправильно понять ее веления. К тому же они все подстерегали друг друга. Когда, наконец, становилось известно, как нужно себя вести, что говорить, как думать и чувствовать, и оказывалось, что кто-нибудь из них ошибался, остальные, в предвкушении кары, которая неизбежно должна была теперь настигнуть нарушителя Истины, только ждали знака, чтобы начать обвинять его с какой-то ритуальной яростью, совершенно необъяснимой, так как каждый из них прекрасно знал про себя, что он сам только случайно не сделал такой же ошибки.

*

Капитан Мещанинов поехал как-то на грузовике в Берлин, Бэрлин, как почему-то произносили теперь русские. Вернувшись, рассказывал, что никакой войны больше нет, все пьяные, стреляют в воздух.

На следующий день пришло известие о немецкой капитуляции. Я спросил майора Дубкова, как он думает, сколько времени потребуется теперь России для перевода промышленности на мирное производство.

— Да хоть завтра, если только нам не будут мешать, — сказал он с неприятной усмешкой.

— Неужели вы думаете, что после того, как Германия разбита...?

— Силы войны еще не исчерпаны, еще долго будут действовать, — сказал он спокойно, с «научной» уверенностью. — Уж и теперь союзническая пресса начинает подозревать Советский Союз в захватнических планах. Нелепые, необоснованные обвинения! Миф, пущенный в оборот со специальными целями. Никаких захватнических планов нет, а есть мероприятия защитного характера, и поэтому странно и нелепо видеть в этих мероприятиях империалистические замыслы, которые якобы советское правительство...

Его лицо стало как слепая свинцовая болванка. Никаких человеческих чувств в нем не отражалось, только накал упорной злобы. Металлический голос майора отчеканивал слова все отчетливее.

*

Когда русские переводили нас через Эльбу и я увидел на том берегу англичан, я вдруг подумал, это в первый раз за пять лет я вижу *свободных* людей. Рядом с англичанами стоял французский офицер: рослый, с красным обветренным лицом и открытым смелым взглядом. Мне показалось, он более *настоящий* француз, чем мои товарищи по плену. Сердце радостно

билось: теперь мне больше нечего бояться, я спасен. Еще несколько шагов, и совершится чудо: мы вернемся в понятный человеческий мир, где люди думают, чувствуют и говорят свободно, не боясь, что их объявят за это преступниками, врагами, изменниками.

Впоследствии я часто с тревогой себя спрашивал, как могло это случиться: я так спорил, когда бранили русских, так искренне преклонялся перед великим подвигом, совершенным ими в эту войну, и вот, расставаясь, не только не пожалел, что не могу с ними остаться, а вздохнул с таким чувством освобождения и счастья, точно избавился от страшной опасности. Неужели я обманывал самого себя, будто я восхищаюсь русскими, а на самом деле больше их не любил? Предположить это было так же бессмысленно, как, например, предположить, что я мог бы разлюбить моих родителей и все доброе и хорошее, что я привык любить с детства. Ведь это был все тот же русский народ, о котором писал Толстой. Мне вспоминались невысокие, незаметные, похожие на капитана Тушина, офицеры и солдаты, с лицами, выражавшими почти уже галилейскую, добрую, смиренную простоту. Почему же я не захотел остаться с ними, помочь таким, как Федя и Данилов, в их усилиях сделать, чтобы все в жизни было по-хорошему, по-справедливому, «по-культурному»?

Но тут мне вспоминался майор Дубков, нечеловеческая ничтожность его лица, его бездушный, твердый, глумливый взгляд заводного мопса. И на всех плакатах, на всех портретах вождей — такие же глаза, смотревшие на все живое с безмерным презрением административного всемогущества. И я вспоминал, как все доброе и мягкое заменялось в лицах русских чем-то безличным и невероятно грубым, когда с какой-то сомнамбулической готовностью они исполняли приказание воли, которая светилась в сверлящем взгляде этих глаз. Мне хотелось тогда бежать на край земли, за океан, в страну, куда этот взгляд никогда не сможет проникнуть.

## VIII

Во Франции на пограничном приемном пункте нас встретили очень радушно. Здесь все отлично было устроено. Медицинский осмотр, душ, дезинфекция, прекрасный, вкусный обед. Милые провинциальные дамы выдавали нам продовольственные посылки и папиросы. Все хорошо шло, пока не стали проверять бумаги. Когда узнали, что я не француз, на лицах появилось замешательство. На репатриационном свидетельстве мне написали, что в Париже я должен явиться в жандармское управление.

Дня через два по приезде, немного отдохнув, я пошел в жандармерию. Меня всегда беспокоило, когда у меня были не в порядке бумаги. Румяный усатый унтер объяснил мне, что это не к ним я должен был пройти, а в отделение «военной безопасности». Он не знал, где это находится.

— Наверное, в Военном министерстве, — сказал он предположительно.

Несколько дней я ходил по разным военным учреждениям. Нигде мне не могли сказать адрес. Вообще отвечали неохотно, косились: уж не шпион ли? Наконец, я попал на вокзал д'Орсэ. Оказалось, тут-то это и было. За дощатой перегородкой сидел лейтенант в мягкой блузе из войлочного сукна защитного цвета. Его зачесанные назад желтые сальные волосы не держались, падали ему на уши, лезли в глаза.

Когда я объяснил, зачем я пришел, на его прыщавом лице появилось выражение досады.

— Почему вы не сразу пришли? — спросил он, посмотрев на меня с подозрением.

Я начал перечислять все учреждения, которые я обошел. Он недовольно меня перебил:

— На какой вокзал вы приехали?

Рядом разговаривали между собой еще трое лейтенантов в таких же блузах. Один, качая ногой, сидел боком на столе. Он рассказывал, как нагло себя держат иностранцы. Мне казалось, он намеренно возвышает голос, чтобы я слышал.

— Вот, вчера в кафе какой-то «метек»* осмелился громко ругать Францию. Я подошел и дал ему пощечину. В самом деле, что они думают, что Франции больше нет, — с возмущением говорил он, враждебно исподлобья на меня взглядывая.

— Вы француз? — спросил меня желтоволосый, вертя в руке мое репатриационное свидетельство.

— Нет, русский беженец.

— Ага! — с удовлетворением кивнул он головой и что-то написал на моем свидетельстве.

Я даже не сразу понял, что это такое: «Residence surveillée»**.

Кровь бросилась мне в голову: как, пять лет... Но я сейчас же примирился. Конечно, это очень противно было, но поскольку у меня нет никаких бумаг, откуда им знать, говорю ли я правду. К тому же все это на меня подействовало как-то успокоительно: значит, во Франции ничего не изменилось, все осталось, как до войны. В этом было что-то прочное, на что можно было опереться в борьбе со странным чувством, которое не оставляло меня в первые дни моего возвращения.

Мне было трудно определить это чувство. Гуляя по Парижу, я радовался тишине. Нигде не стреляют, люди опять стали домашние, больше никто никого не убивает. И Париж уцелел, уцелели — Лувр, собор Парижской Богоматери, Святая часовня, Вогезская площадь. Я собирался обойти все старые парижские церкви. Я думал о них с благодарностью. Такое чудо, сохранились через столько столетий! Но, несмотря на радость возвращения, я все время чувствовал безотчетное беспокойство. Я с трудом узнавал парижские

---

* Иногородний грек в Афинах; арго: иностранец (пренебрежительно).

** Проживание под надзором полиции (*фр.*).

улицы, особенно в центре. Прежде здесь было так шумно, такое движение: автомобили, автобусы, грузовики. А случись затор, какой концерт гудков подымался! Приходилось подолгу ждать, чтобы перейти на другую сторону. А теперь — гуляй по площади Согласия, уткнувшись в газету, никто не переедет. До самой Триумфальной арки видно светлое на солнце пустынное, каменное русло Елисейских полей. Над бледно-серыми домами — высокое небо, легкие облака. Изнеможение, блаженство, будто уже на самом деле рай.

По бесшумным улицам мне шли навстречу рослые, хорошо одетые, веселые американские солдаты и накрашенные женщины в юбках до колен. Я чувствовал себя неловко перед ними, мне казалось, я не такой мясистый и полнокровный, как они, и у меня нет на лице румянца жизни. Но главное, меня смущала их беспечность: они улыбались, не замечая, что город, как отколовшееся ледяное поле, уже отчаливал от своей прежней невозвратимой прочности: дома, дворцы, мосты над Сеной на глазах делались какими-то почти призрачными, каждое мгновение могли перестать быть, погибнуть, превратиться в безобразные груды камней. Я помнил развалины немецких городов.

А в небе, не отставая от моего шага, плыл над крышами снимок памяти: опустив голову, Раймон сидит под стеной, перед его поникшим лицом, вернее половиной лица, другой половины нет, свисает длинная прядь волнистых волос.

Я чувствовал себя перед ним виноватым. Словно я бросил его на дороге. Напрасно я говорил себе: ведь я сам подвергался такой же опасности, как он, был рядом с ним, и мы все умрем, и я все сделал, написал его матери, и теперь вот вспоминаю его, не забыл. Но я знал, я не могу сделать единственно нужное: не могу вернуть ему жизнь. Странно, именно в этом я чувствовал себя виноватым, будто это от меня зависело.

Не только Раймона я вспоминал, гуляя по Парижу. Все первые дни прошли в расспросах, что с кем стало. Я скоро понял, какую ошибку я делал, ожидая, что найду русский эмигрантский Париж таким, каким я его оставил в начале войны. Эти годы были для меня одним долгим ожиданием, а жизнь других людей продолжалась. Некоторых война почти не коснулась. Они продолжали заниматься своими делами, женились, рожали детей. Сначала немцы, теперь американцы, не все ли равно, у кого работать, нужно жить. Наоборот, для других это было время калейдоскопического поворота их судьбы. Кто заработал с немцами баснословные миллионы, кто был депортирован, кто ходил в немецком мундире, кто стал героем движения Сопротивления.

Из одного только знакомого мне русского спортивного кружка вышло немало героев «Свободной Франции». Я знал их беспечными балбесами, которые ничего, кроме спортивной газеты «Авто», не читали. Теперь это были лейтенанты и капитаны, награжденные медалями Освобождения, крестами Почетного легиона, Военными крестами с пальмами.

И у членов нашего кружка судьба сложилась по-разному. Профессор Немчин, Зырянов, Бобровский, почти все «отцы», а из нашего поколения —

Полянский уехали в Америку. Николай Георгиевич каким-то чудом не попал в плен при разгроме французской армии в 1940 году. Но после всех его военных приключений у него очень усилился порок сердца. Он отдыхал теперь в санатории, где-то далеко от Парижа. Он мало кому писал, и это молчание и рассказы, что он целыми днями лежит, — все придавало его существованию какую-то грустную недостоверность, как когда видишь во сне умерших близких.

Наш «экип», мои «русские мальчики» за себя постояли. Володя Руднев воевал в Африке и в Италии, брал Кассино, высаживался на юге Франции, на пляже, где мы когда-то вместе купались. Ельников, Боголюбский, Шушигин отличились в движении Сопротивления. Мне было совестно перед ними. Пока они боролись, рисковали жизнью, я спокойно сидел в плену. Их героизм казался мне сверхчеловеческим. Я помнил несколько ужасных ночей, которые я провел, когда Гестапо арестовало моих друзей-поляков, и я боялся, что меня тоже арестуют. Кошмарный, липкий страх попасть в руки палачей. А вот они годы прожили под угрозой ареста, пыток, концлагерей, газовой камеры.

Больше всех прославился Ваня Иноземцев. Он был одним из первых основателей французского движения Сопротивления. Какой-то предатель его выдал, и немецкий военный суд приговорил его к расстрелу. На суде и перед смертью он держал себя так, что вызвал восхищение даже немецких судей.

Только вернувшись в Париж и встречаясь с друзьями в местах, где он прежде бывал, я по-настоящему понял, что он не потому теперь не приходит, что занят или уехал из Парижа, а потому, что его нигде нет на земле.

Грейс, Изаковский, Мануша и столько еще друзей и знакомых погибли в немецких концлагерях. Мне представлялось, что это еще страшнее, чем смертная казнь. Ведь приговоренного к расстрелу даже судьи еще считают человеком. Он может произнести слова, которые, он знает, дойдут до его друзей и до его врагов. Он еще в человеческом мире. А в лагерях?.. Мне легко было представить, что там делалось. Там к знакомому виду обнесенных колючей проволокой бараков и сторожевых вышек прибавлялась еще труба, вроде фабричной. Говорили, она день и ночь дымила. От знания, что люди могли такое делать над другими людьми, становилось страшно продолжать жить. И вот друзья, которых я близко знал, попали на эти чудовищные фабрики страданий и уничтожения. Они могли бы теперь сидеть с нами, смеяться...

Но слушая рассказы знакомых, которые последними видели Манушу, я чувствовал, как ужас и жалость постепенно уступают во мне место удивлению. Что-то прояснилось в моем сознании. Он мог уехать и не уехал. Уже после ареста ему представилась возможность бежать. Он опять не захотел. Все, кто видел его в то время, говорили, он «сиял», «был с крыльями». В Дранси, незадолго до отправки в Германию, он крестился.

Я с недоумением думал: ведь я помню его — обыкновенный господин из Пасси, как же он стал святым? Два раза в месяц мы пили у него чай и

спорили о лучшем переустройстве мира. Он был такой же человек, как мы все, с ограниченным умом. Правда, он всегда стремился подражать примеру героев духа. Но кто только ни пробовал в нашем кружке, хотя бы немного, играть в эту игру. Но ведь потом уже не игра была, а концлагерь, страдания, медленная мучительная смерть. И вот, Мануша не побоялся, не отшатнулся. Решимость верить дала ему силы бестрепетно вступить в ожидающую каждого «ночь в саду», когда человек вдруг понимает, что он совсем один, что он пропал, что впереди только ужас уничтожения, и никто не спасет, не может спасти.

Я понимал, что объективной действительности нет дела, что Мануша умер без страха. В ее законах ничего от этого не потряслось и не изменилось. И все-таки, когда я думал о его смерти и о смерти Вани, я чувствовал, как во мне восстанавливается потерянная вера в человека. Будто все эти годы я шел по краю даже не бездны, а какой-то черной, заваленной трупами ямы, и она все продолжала гнаться за мной. И вот, с чувством необъяснимого утешения, я видел, как эта яма ничего не может сделать с Манушей, не может его поглотить. Он лежит на ее краю, но не исчезнет в ней. И у него, и у Вани были теперь другие, чем при жизни, лица. В них больше ничего не могло измениться. Они были навсегда озарены неуничтожимым светом.

Со смертью Мануши наш кружок распался. Многие погибли, многие уехали в Америку. Оставшиеся больше не собирались. Теперь, когда больше не было Мануши, все разбрелись в разные стороны. У каждого образовался новый круг. Да, может быть, и не все придавали этим собраниям такое значение, как я. К моему удивлению, некоторые даже как будто должны были делать усилие, чтобы вспомнить, кто там бывал, о чем спорили. Не было больше и нашего Монпарнаса, где люди, как в романах Сергея Шаршуна, говорили братским, верленовским голосом.

*

От знакомых, бежавших из Праги, я узнал, что НКВД арестовало моего отца. В числе многих пражских эмигрантов его увезли в Россию. Об увезенных доходили слухи, кто-то из них написал письмо. Отец будто бы работал при университетской библиотеке. Это было хорошо: значит, не в концлагере, не на лесоповале. Только невозможно было точно установить, где он, в каком городе: по одним сведениям — в Ташкенте, по другим — в Красноярске. Я хотел добиться, чтобы ему передали, что я жив, вернулся в Париж. Я знал, как его должна была мучить неизвестность, что со мной стало. Но шли месяцы, годы...

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### I

В борьбе со злом национал-социализма погибли миллионы людей. И вот царство Гитлера рухнуло, но торжество добра не наступило. В мире опять становилось душно и страшно. Отчаяние уже начинало пересиливать во мне бергсоновское ожидание, что после открытия атомной энергии дорога будет свободна. Я решил уехать в Америку. Я боялся, сюда придут *они*. Да и никакой работы я не мог здесь найти. Меня опять начинала мучить моя неспособность жить, как все.

В плену мой недуг почти прошел. Страстное желание дождаться разгрома Гитлера поглощало меня с такой силой, что мне больше не приходили в голову метафизические вопросы. Но когда я вернулся в Париж и возобновилась моя прежняя жизнь отверженности, скуки и сожаления, на меня опять начало это находить: рассеянность и ожидание чего-то, как когда я лежал под бомбами.

Я не знал, чему верить. Ведь, собственно, ничего тогда не произошло. Только недостоверное предчувствие. Но я не мог забыть. За однообразным движением моих повседневных мыслей я всегда об этом думал. Все остальное казалось неважным и скучным. Но я все боялся, вдруг какой-нибудь ученый докажет, что такие состояния только галлюцинация, самовнушение, самообман. Вот, говорят, авитаминоз, пост, интоксикация, все вообще, что нарушает обмен веществ, способствует появлению ненормальных восприятий. Значит, когда я лежал под бомбами и мне что-то почудилось, это было только следствие крайнего изнурения. Тем более я обрадовался, когда прочел у Бергсона, как Уильям Джеймс изучал на самом себе состояние, вызываемое вдыханием протоксида азота. Это состояние сопровождалось у него чувством напряженной метафизической иллюминации. Истина открылась ему «в бездонной глубине почти ослепляющей очевидности». Джеймса упрекали в попытке постигнуть Божественное при помощи физического опыта. Но, по мнению Бергсона, Джеймс вовсе не считал внутреннее откровение эквивалентом протоксида азота. Оно уже прежде было у него в душе. Интоксикация только устранила преграду, которая мешала этому состоянию проявиться. Тогда, значит, истощение и усталость не были «адекватной причиной» чувства, которое я испытал на холме под бомбами. Они только способствовали тому, что оно дошло до моего сознания.

Мне самому не пришло бы в голову так поставить вопрос. Верно, и другие доводы против веры мне кажутся неотразимыми только потому, что у меня нет умственной находчивости, и я не способен сосредоточиться, чтобы увидеть глубже.

Странно, несмотря на мое всегдашнее мечтание почувствовать очевидность, о какой писал Уильям Джеймс, я никогда не пробовал вдыхать протоксид азота. Не хватало смелости, энергии. Я даже не знал, что это такое — протоксид азота и как его достать. И хотя Джеймс уверял, что это безвредный опыт, какая-то нерешительность, лень меня одолевали. А главное, меня больше убеждало, что были люди, кому эта очевидность открылась без протоксида азота. Мануше не нужно было никаких искусственных средств, чтобы встретить смерть без страха. Правда, он был исключительный человек. Но тот же Джеймс приводил в «Многообразии религиозного опыта» свидетельства самых обыкновенных людей, вовсе не святых и не героев, о том, как им открылось присутствие абсолютного бытия.

Потому-то я и придавал такое значение припадкам рассеянности, когда мне начинало казаться, что вот сейчас за этим миром, где все кончается смертью, откроется что-то другое — вечное, прекрасное, настоящая родина. Пусть я только убеждал себя в этом, пусть слишком неуловимо, слишком недостоверно было все, что мне чудилось в эти мгновения. Все-таки, благодаря им, я мог себе представить, как может наступить уверенность.

*

Бродя по набережным Сены, я часто думал: вот бы написать все это. Но я знал, получится грубо, мертво. А вот Багрянов, верно, смог бы. Его картины хорошо продавались. Он был уже известный художник. «Я не неудачник», — говорил он самодовольно. Однажды он насмешливо меня спросил: «Почему вы все пишете воду?» В замешательстве я сказал, что больше всего в природе люблю воду. Он глумливо усмехнулся: «Да, но уже один художник, Айвазовский, этим занимался».

Я и сам видел, что у меня нет таланта, особенно когда с завистью думал о рае на земле на картинах Багрянова. Правда, сквозь их прелесть проглядывало что-то мошенническое, но он с такой неистощимой находчивостью сотворял все новые волшебно яркие оттенки зеленого и красного и какого-то жемчужно-сиреневого. А я ни одной картины по-настоящему не кончил. И все-таки я всегда думал о себе — художник. Я вот почему так думал. Я гуляю по набережной или в городском саду, и внезапно все вокруг кажется освещенным каким-то особым магнием. То есть ничто не менялось. Пожалуй, только трехмерность объемов становилась ощутимее. Но раньше я смотрел, и все это мне ничего не говорило, а теперь, в странном головокружении, я видел небо, как видишь лицо женщины, поднявшей вуаль. В безразличном к моей жизни сне природы было что-то ошеломляющее, невместимое сознанием, нечеловеческое и в то же время какое-то одушевленное единство, и красота, и таинственный благостный покой. Мне даже почудилось однаж-

ды, мир полон ожидания кого-то любящего, кто должен прийти или, может быть, уже пришел, всегда был. Правда, это впечатление только на мгновение мелькнуло почти за краем сознания, как взмах крыла, когда над головой пролетает большая птица. Я напрасно пытался вспомнить и написать это необъяснимое выражение ландшафта. Получалось невнятно. Но я надеялся, усилие сосредоточиться поможет мне увернуться от небытия. Нужно только писать точно, что видишь, ничего не выдумывая.

Но я так быстро уставал. Сначала мешали волнение и какая-то торопливость, потом вдруг рассеянность, полуобморочная слабость. Я больше ничего не мог.

*

Рассудок мне говорил, что мое мечтание ни на чем не основано и лучше заняться, как все люди, чем-нибудь дельным. Но я знал, без этого предчувствия, хотя оно никогда не сбывалось, все станет бессмысленным и страшным. Потому-то я так и боялся, что в Париж могут прийти большевики. Не только допросы и концлагеря, а устроят свой ненавистный мир без отдушин и будут мучить до тех пор, пока не останется сил надеяться, что есть что-то другое.

*

Мглистый свет, как в подземельях метро. Незнакомая улица, в которую я свернул, напоминала городские пейзажи Эдуарда Мунка.

В кинематографе на этой улице давали какой-то замечательный, не такой, как все другие, фильм. Я вошел, забыв посмотреть на афишу у входа. Было неприятно: вдруг ошибся, не туда попал? Как поступить? Вернуться на улицу проверить? Опасно, пока буду ходить, образуется большая очередь; у кассы и так толпа.

Но, к моему удивлению, когда я подошел ближе, передо мной оказалось всего три-четыре человека. Я посмотрел, почем билеты: дешевле ста нет, а самые дорогие — двести двадцать. Верно, и вправду фильм необыкновенный, если цены так повышены. Кассирша дала мне почему-то самый дешевый билет. Я пошел в зал, беспокоясь, хорошо ли буду сидеть, но в то же время радуясь, что сэкономил больше ста франков.

Зал огромный, плохо освещенный. В вышине стены и потолок тонут во мраке. По моей просьбе смазливая билетерша посадила меня у прохода. Но проход-то был вовсе не посередине, как я думал, а сбоку. Я подозвал билетершу и заявил, что хочу пересесть. «Надо доплатить», — сказала она недовольно.

Пока она ходила за добавочным билетом, я высматривал, куда бы сесть. Я боялся, что все еще свободные места займут или сеанс начнется прежде, чем она придет обратно. Наконец, она вернулась. Чему-то смеясь с другой билетершей, она, не глядя на меня, протянула мне билет. Нужно было доплатить всего тридцать франков. «Что-то дешево, — подумал я с досадой, —

ведь хорошие билеты стоят...» Но я ничего не сказал. Она повела меня и к моему возмущению показала мне место в первом ряду, у самого экрана. Когда она ушла, я самовольно пересел и только тут понял свою ошибку. Ряд, в который она хотела меня посадить, был вовсе не первый, а последний. Экран на самом деле находился на другом конце зала. Нужно было бы в середину, но там все места были заняты, и как раз перед экраном росло большое виловатое дерево. Тем, кто там сидел, оно все заслоняло. Но это был особый кинематограф. Когда его строили, решили не рубить деревьев. Его возвели над ними, как оранжерею.

Я заметил еще одну странность. Кресла первого и второго рядов стояли друг к другу спинками и также кресла третьего и четвертого и так далее. Причем те, кто сидел в нечетных рядах, могли ворочать кресла и смотреть вперед и назад, но кресла четных рядов не ворочались, сидевшие в них должны были оставаться все время спиной к экрану. Однако они не протестовали, сидели спокойно и неподвижно, в торжественном молчании. Один — худой, высокий старик. «Ну что же, это их дело, — подумал я, — я-то сижу лицом к экрану».

Впоследствии, когда мне представлялись их поднятые лица, я вспоминал, что, кажется, они ждали вовсе не начала фильма, а наступления события несравнимо более важного: кто-то должен был прийти и рассказать, что будет после смерти.

Свет в зале еще не погас, а уже заиграла музыка. На экране стали сменяться заглавные надписи, напечатанные, как это часто делается, на кадрах фильма. Жандармы в джунглях преследуют каких-то повстанцев. Стреляя на бегу, они топтали ногами упавших на землю. Я смотрел с беспокойством и удивлением. Не ожидал, что будут показывать такое, эту безжалостность убийства — ведь нельзя поправить.

А потом открылся вид на внутренний двор тюрьмы. Через двор — канава. В ней кишели большие и маленькие крокодилы. Другие крокодилы проворно, как ящерицы, лазили по деревьям и висели на ветвях отвратительно шевелившимися гроздьями. Дверь тюрьмы все время отворялась, и сторожа выталкивали на двор голых заключенных. Еретики, осужденные инквизицией, или, может быть, политические преступники? Тюремщиков трудно рассмотреть. Как всегда в моих снах — не то Гестапо, не то НКВД.

Заключенные должны были пробежать по переброшенной через канаву доске. Многие срывались и падали вниз. Было видно, как на дне их пожирают крокодилы. Там была не вода, а только черная липкая жижа. Те же, кому удавалось перебежать, проносились через двор и одним духом вскарабкивались, почти вбегали по стволам деревьев, испуская безумные, будто торжествующие вопли. Но они напрасно думали спастись. Их разрывали на куски крокодилы, которые висели на ветвях.

Я смотрел в неприятном смущении. Кто-то наставительно провозгласил: «Это закон жизни: надежда, борьба, а в конце уничтожение, смерть. Никто не может этого изменить».



Владимир Варшавский. 1929*
*Здесь и далее знаком астериска (*) отмечены фотографии и документы, хранящиеся в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына (Ф. 54)*

1\2

3

*1.* Ольга Петровна Норова. Москва, 1899*
*2.* Сергей Иванович Варшавский, силуэт. 1921*
*3.* Сергей Варшавский и Ольга Норова — родители Владимира Варшавского.
Крым, 1910*





1\2

3

*1.* Наталья, Юра и Володя Варшавские. Рижское взморье, 1914*
*2.* Няня в доме Варшавских, в романе «Ожидание» — Фани Семеновна. Около 1910*
*3.* Сергей Иванович Варшавский с сыновьями Владимиром и Юрием. Около 1920*

1\2

«ЖИВОЙ»

дня 192 г.

№

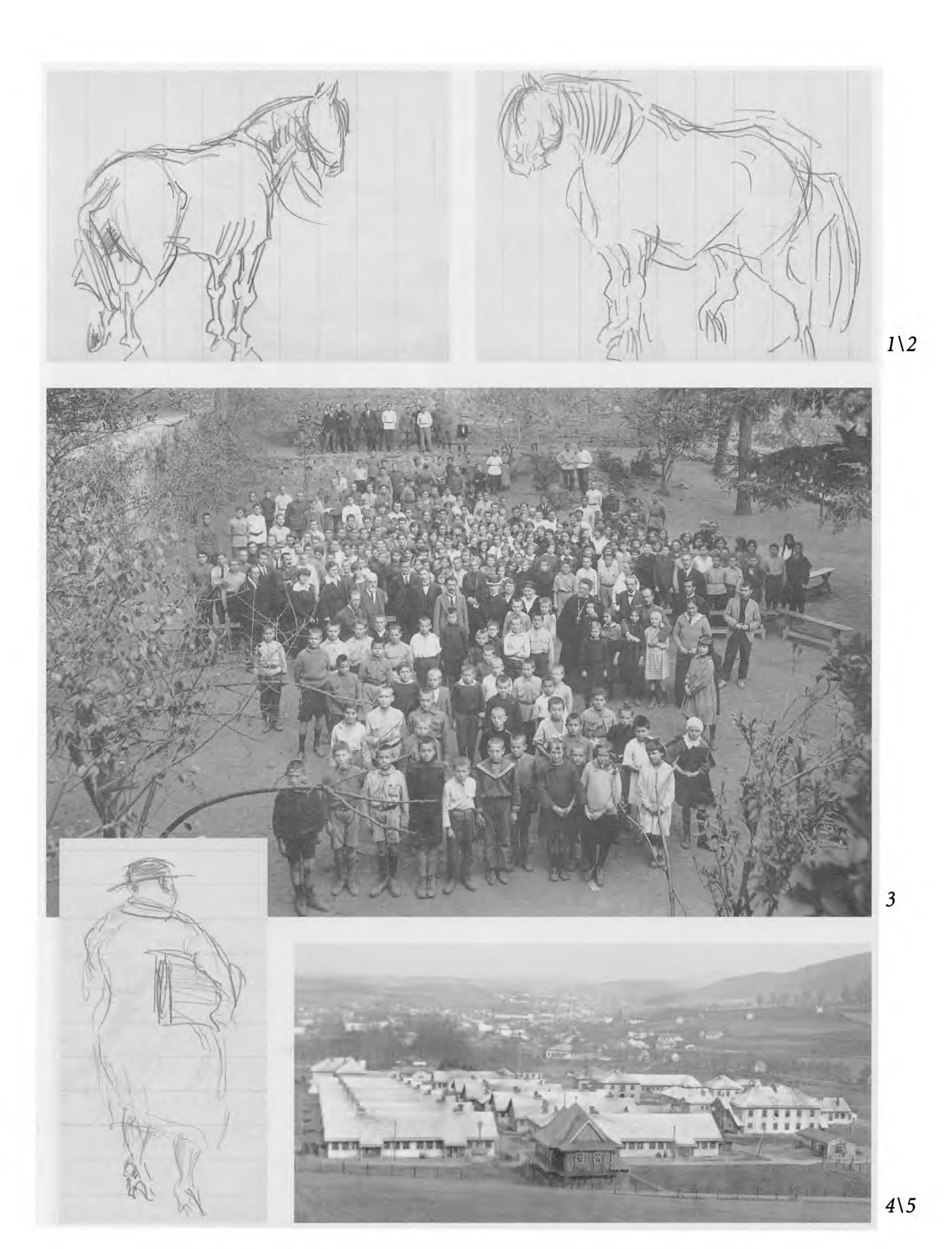
Рейдъ

3



4

1. Юрий Варшавский. Около 1920* 2. Владимир Варшавский. Около 1920*
3. Пропуск на миноносец «Живой», выданный Юрию Варшавскому. Севастополь, январь 1920*
4. Братья Варшавские в 1-м Константинопольском отряде бойскаутов. Слева направо в 3-м ряду 1-й стоит Владимир, последний — Юрий. В центре сидит (4-й слева) Старший скаут О.И. Пантюхов. Константинополь, 1921*



1\2

3

4\5

***1, 2, 4.*** Рисунки Владимира Варшавского. Первая половина 1920-х*
***3.*** Учащиеся и преподаватели 1-й Константинопольской русской гимназии Всероссийского союза городов. В центре кн. П.Д. Долгоруков, В.Н. Светозаров, А.П. Петров, А.В. Жекулина. Константинополь, ноябрь 1921*
***5.*** Вид лагеря в Моравской Тршебове (Чехословакия), где располагалась Русская реальная реформированная гимназия. 1920-е*

1

Дорогой папикъ! 19 10/1 23 г.
Поздравляю тебя съ Новымъ Годомъ и желаю
что-бы наступающій 23 годъ положилъ
конецъ нашимъ невзгодамъ, что бы Юра
выздоровилъ и что бы ты могъ наконецъ
бросить Константинополь и пріѣхать къ
намъ. До сегодняшняго дня ~~?~~ поло-
женіе Юры все ухудчалось и ухудчалось,
но сегодня температура начала спадать.
Докторъ сказалъ, что вѣроятно выздоро-
вленіе пройдетъ безъ кризиса, а постепен-
но. Всѣ три дня праздника меня къ
нему пускали, не знаю пустятъ ли
сегодня. ~~Праз~~ Мамѣ я ничего еще
объ его болѣзни не писалъ, такъ какъ

жду Твоего совѣта. Напишу же ей только
яснится опредѣленно, что
ъ поправляется. Праздники
прошли довольно весело.
вечера, елки, спектакли
а наслала намъ изъ Пра-
усныхъ вещей: папи-
сетъ, ветчины, сардинокъ
прочая. Я выручилъ въ
ки. Занялъ у одного
то кронъ купилъ на нихъ
, серебрянаго дождя и
ихъ елочныхъ украшеній
мъ объ елочки и одну

2




***1.*** Письмо Владимира Варшавского к отцу в Константинополь о болезни брата Юры. 10 января 1923*

***2.*** Похороны Юрия Варшавского. Моравска Тршебова, около 8 марта 1923*

1



2

*1.* Преподаватели Русского юридического факультета Карлова университета. В нижнем ряду крайний справа С.И. Варшавский. Прага, 1927

*2.* Банкет в честь ген. А. Кутепова. Среди участников К. Крамарж и С. Варшавский. Прага, 3 марта 1929*



1

2

*1.* Объединение русских юристов и члены Пражской драматической группы в литературно-судебном диспуте «Убийство Шатова» по роману Ф.М. Достоевского «Бесы». Среди юристов: С.И. Варшавский, А.А. Вилков, В.Л. Горн, К.В. Жадкевич, С.В. Завадский, В.М. Краснов. Прага, 10 апреля 1935*

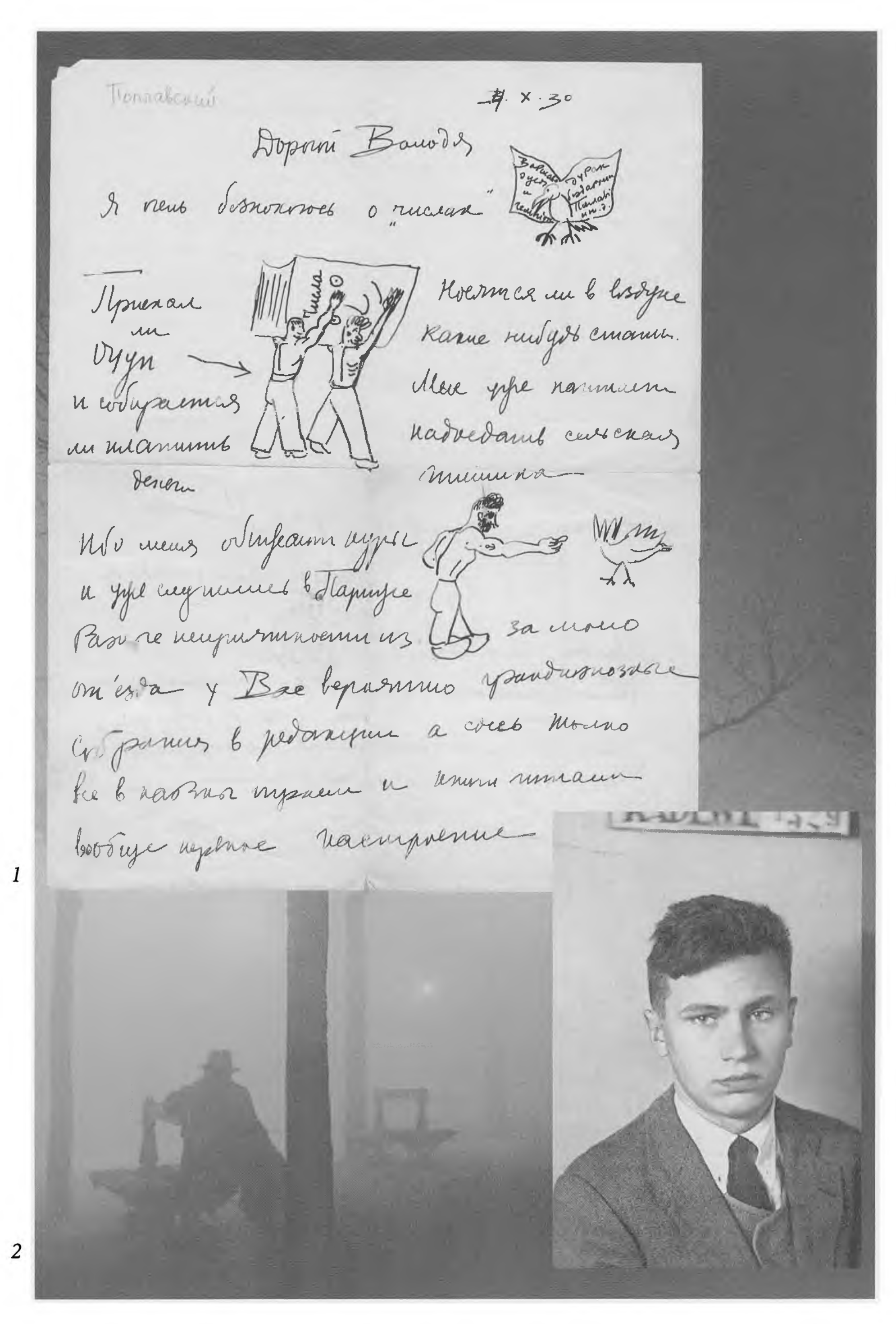
*2.* Сергей Варшавский с дочерью Натальей. Прага, 1936*

1\2



2

***1, 2.*** Владимир Варшавский. Биарриц, 1938*
***3.*** Владимир Варшавский в парижской квартире на ул. л'Эсперанс
(27, Rue de l'Espérance). Около 1935*



Поплавский

4. X. 30

Дорогой Володя

Я очень беспокоюсь о „Числах“

Приехал ли Оцуп и собирается ли платить деньги

Несется ли в воздухе какие нибудь статьи. Мне уже начинает надоедать сельская тишина—

Ибо меня обижают куры и уже слышишь в Париже Ваши не неприличности из за моего отъезда — у Вас вероятно грандиозные собрания в редакции а здесь только все в навозных курах и книги читаю вообще нервное настроение—



1

2

*1.* Письмо Бориса Поплавского к Владимиру Варшавскому. 4 октября 1930
*2.* Борис Поплавский. Около 1930




*1.* Владимир Варшавский. 1930-е. Фрагмент семейного альбома*
*2, 3.* Парижские кафе «Дом» и «Ротонда». 1930-е

"Дорогой макульке от сынули Вуна 15.10.39 г. Guingamp

Stalag II B Nr. 16600

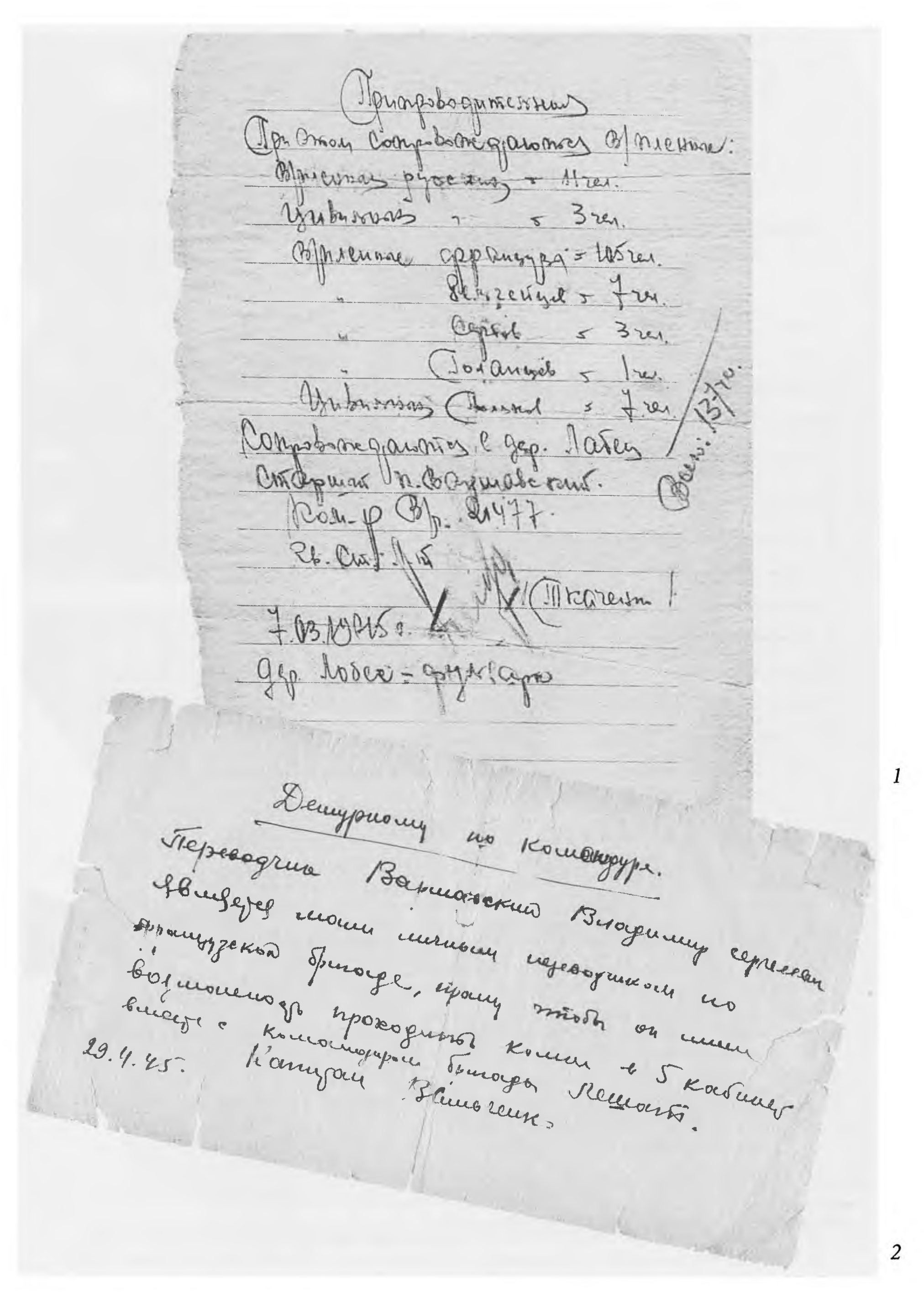
Stalag II B

1



2

*1.* Владимир Варшавский в военные годы. Фрагмент семейного альбома*
*2.* Владимир Варшавский (1-й справа в 1-м ряду)
в немецком лагере военнопленных Stalag II-B. Около 1943*

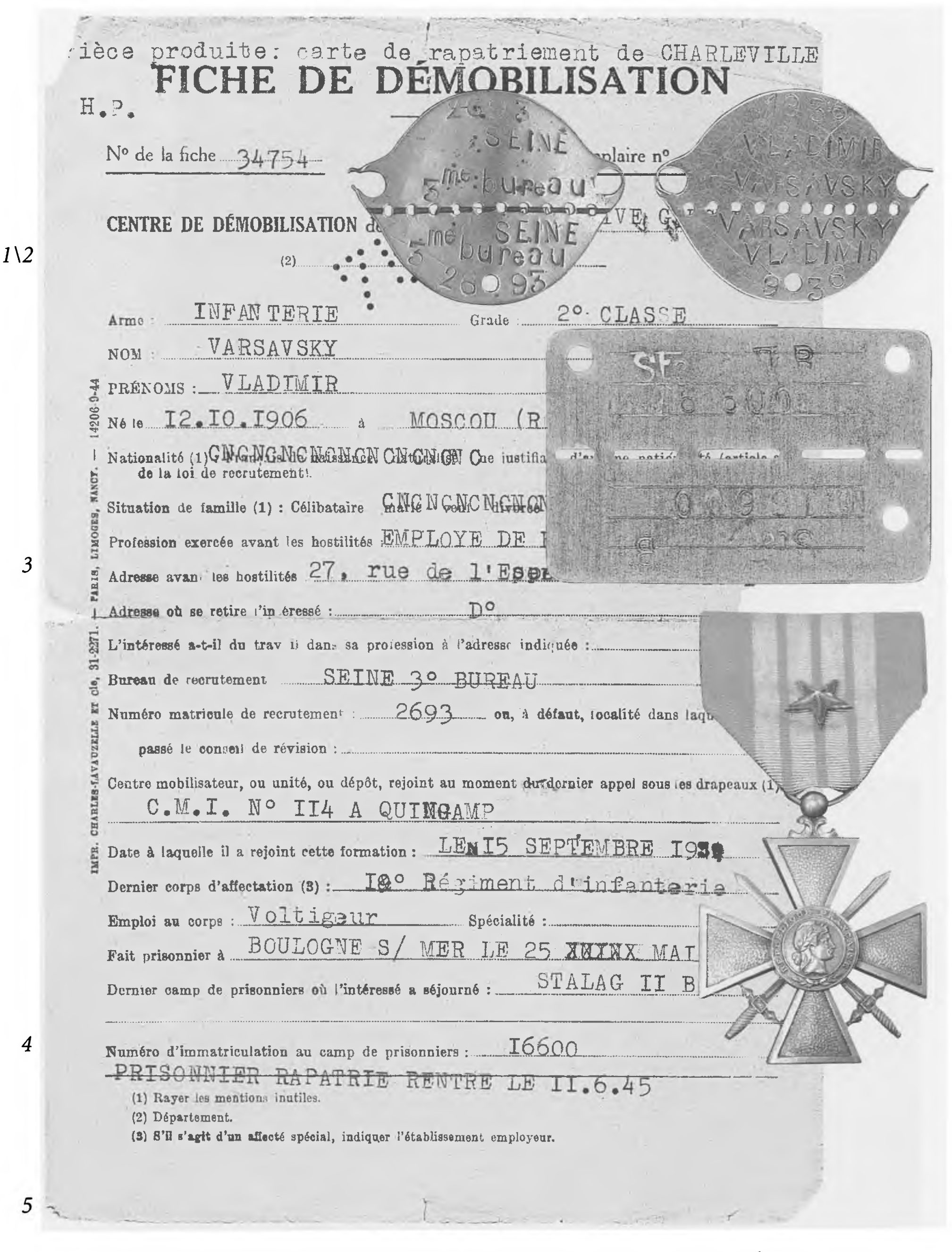


Препроводительная
При этом сопровождаются военнопленные:
Военнопленных русских = 11 чел.
Гражданских " = 3 чел.
Военнопленные французы = 105 чел.
" бельгийцев = 7 чел.
" сербов = 3 чел.
" голландцев = 1 чел.
Гражданских поляков = 7 чел.
Всего: 137 чел.
Сопровождают с др. Лабец
Старшин п. Варшавский.
Ком-р Вр. 21477.
Гв. Ст. л-т
Ткаченко
7.03.1945 г.
др. Лобес = фульсарю

Дежурному по комендатуре.
Переводчик Варшавский Владимир Сергеевич
является моим личным переводчиком по
французской бригаде, прошу чтобы он имел
возможность проходить ко мне в 5 кабинет
вместе с командиром бригады Лешаль.
29.4.45. Капитан Сильченко.

1 
2

*1.* «Препроводительная», выданная переводчику В. Варшавскому за подписью старшего лейтенанта Ткаченко. 7 марта 1943*
*2.* Удостоверение переводчика В. Варшавского за подписью капитана В. Сильченко. 29 апреля 1945*




Pièce produite: carte de rapatriement de CHARLEVILLE

FICHE DE DÉMOBILISATION

H.P.

Nº de la fiche 34754 … plaire nº

CENTRE DE DÉMOBILISATION d… IVE G…

(2) …

Arme : INFANTERIE Grade : 2° CLASSE

NOM : VARSAVSKY

PRÉNOMS : VLADIMIR

Né le 12.10.1906 à MOSCOU (R…

Nationalité (1) … de la loi de recrutement.

Situation de famille (1) : Célibataire ~~marié veuf divorcé~~

Profession exercée avant les hostilités EMPLOYE DE …

Adresse avant les hostilités 27, rue de l'Esp…

Adresse où se retire l'intéressé : D°

L'intéressé a-t-il du travail dans sa profession à l'adresse indiquée : …

Bureau de recrutement SEINE 3° BUREAU

Numéro matricule de recrutement : 2693 ou, à défaut, localité dans laqu…

passé le conseil de révision : …

Centre mobilisateur, ou unité, ou dépôt, rejoint au moment du dernier appel sous les drapeaux (1)

C.M.I. N° 114 A QUINGAMP

Date à laquelle il a rejoint cette formation : LE 15 SEPTEMBRE 193…

Dernier corps d'affectation (3) : 18° Régiment d'infanterie

Emploi au corps : Voltigeur Spécialité : …

Fait prisonnier à BOULOGNE S/ MER LE 25 MAI

Dernier camp de prisonniers où l'intéressé a séjourné : STALAG II B

Numéro d'immatriculation au camp de prisonniers : 16600

~~PRISONNIER RAPATRIE~~ RENTRE LE 11.6.45

(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Département.
(3) S'il s'agit d'un affecté spécial, indiquer l'établissement employeur.

IMPR. CHARLES-LAVAUZELLE ET Cie, 31-2271. PARIS, LIMOGES, NANCY. — 14206-9-44

***1, 2.*** Солдатский жетон Владимира Варшавского. Музейное собрание ДРЗ
***3.*** Концлагерный жетон Владимира Варшавского. Музейное собрание ДРЗ
***4.*** Французская военная награда Владимира Варшавского — Военный крест с серебряной звездой (Croix de guerre avec Étoile d'Argent). Музейное собрание ДРЗ
***5.*** Справка, выданная Владимиру Варшавскому 5 июля 1945 г. в парижском Центре демобилизации (Fiche de démobilisation. № 34754. Centre de démobilisation de la Seine Rive Gauche)*



"УТВЕРЖДАЮ"

[illegible] "СМЕРШ" 4-го ГВ.КККДКСК
Гвардии Подполковник

/К О Р О Б К О/

"__" июня 1945 года.

"АРЕСТ САНКЦИОНИРУЮ"

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР 4-го ГВ.КККДКС
Гвардии Подполковник юстиции

/Ш А Л О В/

"__" июня 1945 года.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е.

/На а р е с т/

"2" июня 1945 года. Действующая Армия.

Я, Старший следователь Отдела Контрразведки "СМЕРШ" 4-го Гвардейского Казачьего Кавалерийского Кубанского Ордена Ленина Краснознаменного Ордена Суворова корпуса – Гвардии Старший лейтенант Ж А Б И Н, рассмотрев материалы о преступной деятельности – ВАРШАВСКОГО Сергея Ивановича, 1879 года рождения, уроженца деревни Новачиха, Хорольского уезда, Полтавской губернии, образование высшее юридическое, русского, беспартийного, женатого, происходящего из мещан, со слов несудимого, жителя гор. Прага 12, улица Слезская, дом № 116.

Н А Ш Е Л:

Что ВАРШАВСКИЙ в ноябре месяце 1918 года бежал из гор. Москвы на сторону белой армии Врангеля и будучи корреспондентом белоэмигрантской газеты "Юг", призывал реакционные силы к свержению Советской власти.

Находясь в эмиграции в Турции и с 1923 года в Чехословакии, он участвуя в контрреволюционных газетах "Возрождение" и "Россия и Славянство" и других, издаваемых белоэмигрантскими организациями за границей, всеми силами стремился подорвать мощь Советского Союза и его авторитет среди трудящихся Европы.

В своих статьях и брошюрах ВАРШАВСКИЙ всячески распространял контрреволюционные клеветнические измышления по адресу Советской власти и ее руководителей.

Так, в изданной им в 1937 году брошюре "Новая Советская Конституция" он продиктировал почти каждую статью, излагая их в ярком контрреволюционном клеветническом характере. на Советский Союз и его Правительство, показывая при этом, что СССР не является вообще государством и тем более социалистическим.

Кроме того, в этой брошюре он дал ряд вымышленных им контрреволюционных определений, по вопросу государственного и колхозного строительства, Коммунистической партии, организации труда и судопроизводства.

1\2

*1.* Сергей Иванович Варшавский. Прага, конец 1930-х*
*2.* Постановление отдела контрразведки СМЕРШ на арест С.И. Варшавского. 2 июня 1945. Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки Украины (Галузевий державний архів Служби безпеки України). Ф. 6. Д. 75598-фп

N. Цуриков
München 27.
Oberföhringer-str. 12

Мюнхенъ 10/IX 55г.

Многоуважаемый Владимиръ Сергѣевичъ!

Не могу вспомнить: встрѣчались ли мы съ Вами, но, будучи въ дружескихъ отношеніяхъ съ Вашимъ отцомъ Сергѣемъ Ивановичемъ, рѣшилъ написать Вамъ то, что услышалъ недавно о его судьбѣ.

Въ августовскомъ № /кажется 38ом/ журнала «Свобода» ...

---

я давно уже не надеялся, что мой отец жив. Но всё говорил себе, а вдруг. Но недавно я получил письмо из Мюнхена

Мюнхен 10/9 55г.

Мюнхен.

Многоуважаемый ~~Владимир~~ Сергеевич!

Не могу вспомнить: встречались ли мы с вами, но будучи в ~~дур~~ дружеских отношениях с вашим отцом ~~Сергеем~~ Ивановичем, решил написать Вам то, что услышал недавно о его судьбе.

В августовском № /кажется 38ой/ журнала "Свобода" /Цопэ/ есть интервью ~~с г.Бессоновым~~, возвращённым большевиками заграницу. Узнав, что он был взят в Праге /в 1945 году/ я встретился с ним и он мне сказал между прочим: "~~С.И.~~Варшавский умер в Караганде". Каковы бы ни были его взгляды и его политическая информация, я склонен относиться к его сведениям с доверием, так как из совершенно другого источника получил о некоторых пражанах тождественные сведения /совпадающие со сведениями Б-ва/ Серг. Иванович должен был уехать вместе с группой пражан, с которой выехал я из Праги /18 апреля 1945 года/. Но заколебался, поверив в ~~возможность~~ возможную защиту какого-то представителя, кажется, Международного Красного Креста. и был взят вскоре после прихода большевиков. О некоторых увезённых были сведения, где они работают. О других – никаких. Оказывается большинство было "судимо" и приговорено к 5–10 и более годам тюрьмы. Некоторые после 10 лет возвращены туда, где жили раньше. /Я об этом не пишу в газетах, боюсь им повредить/. Если сведения ~~Бессонова~~ неверны и если С.И. не был приговорён к 20–25 годам, то вернуться он может только в Прагу. /Не знаю сколько ему сейчас было бы лет/...

Обо всём этом Вам сообщаю. Всего доброго!

С искренним уважением ~~Н.Цуриков~~. И. Дагуров.

от старого друга моего отца. Он пи[сал], что какой-то Глаголев, ... в Праге в 45 одновременно с моим отцом, возвращен большевиками заграницу, сказал, что мой отец умер в Караганде.

1\2

***1.*** Письмо Н.А. Цурикова к В.С. Варшавскому. 10 сентября 1955*
***2.*** Машинописная копия письма Н.А. Цурикова, выполненная В.С. Варшавским, с его рукописной правкой и набросками текста романа «Ожидание». Конец 1950-х*




*1.* Владимир Варшавский. Париж, 12 февраля 1946*
*2.* Владимир Варшавский. Биарриц, около 1946 *
*3.* Владимир Варшавский в США. Сентябрь 1952. На обороте надпись его рукой: «Это снято на берегу океана в Asbury Park (два часа езды от Нью-Йорка)»*
*4.* Владимир Варшавский. Около 1951*

Дорогой Тюпик, очень был тронут твоим письмом с разбором моего отрывка в „Опытах". Я рад, что он тебе понравился. Я сам его ставлю выше всего, что я до сих пор писал. Мне хотелось бы так написать целую книгу, но для этого нужна огромная работа и много времени. И вот, как ни странно, я верю, что все это придет, и я эту книгу напишу. Только нужно страшное напряжение всей жизни. Я знаю, что если бы у тебя были деньги, ты бы мне посылала, чтобы я мог писать. Не бойся мечтать о чуде. Если очень мечтать, очень верить, так и случится. Я то же собственно жду чуда, но чудо придет, когда я действительно буду готов все силы жизни вложить в писательство. Только так и можно что-нибудь создать в

Письмо Владимира Варшавского к сестре Наталье.
Б.д., по содержанию относится к 1957*




1\2

*1.* Владимир Варшавский. Середина 1950-х*
*2.* Обложка тетради В. Варшавского с выписками из книги А. Бергсона «Опыт о непосредственных данных сознания» («Essai sur les données immédiates de la conscience», 1889). Надпись рукой Варшавского: «Выбр<анные> места из Бергсона. Для теории псих<ологического> романа». Б.д.*

*1\2*



*3*

***1.*** Татьяна Дерюгина. 1943*
***2.*** Татьяна Дерюгина, в замужестве Варшавская. Середина 1950-х*
***3.*** Татьяна Дерюгина и Владимир Варшавский. Венеция, 1958*



Татьяна Георгиевна Варшавская и священник Иоанн Мейендорф.
Чикаго, вторая половина 1960-х*

1\2

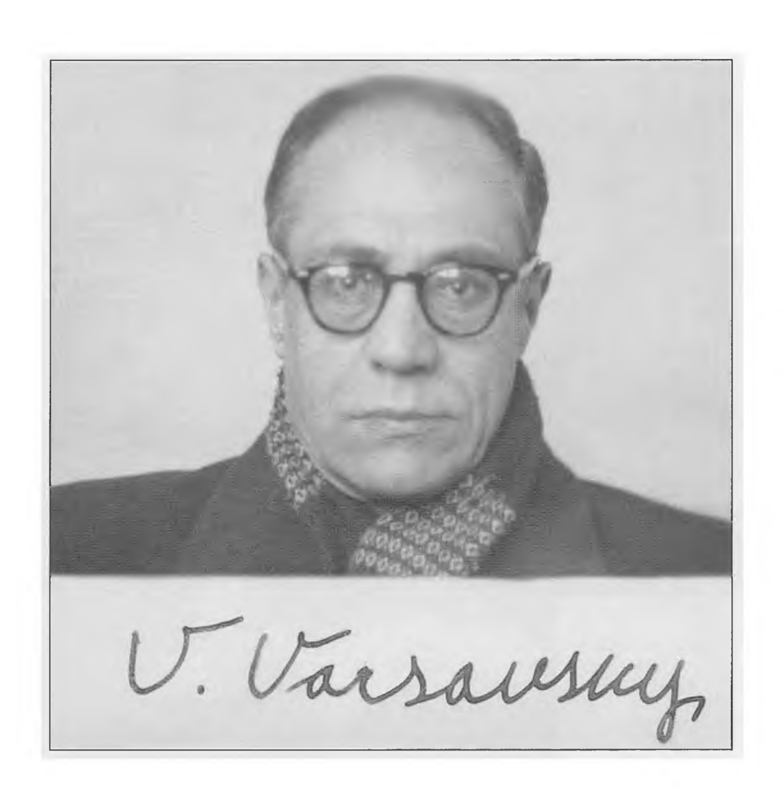
*1.* Рукопись рецензии Георгия Адамовича на роман Владимира Варшавского «Рассеянность» («Ожидание»). 1970*
*2.* Владимир Варшавский, о. Александр Шмеман и Борис Физ. Париж, конец 1960-х*

1\2



3

*1.* Борис Юльевич Физ. На обороте надпись его рукой: «Дорогие Таня и Володя, я вас очень люблю. Сердечно ваш. Борис Физ. 26/XII 1968»*
*2.* Владимир Варшавский и о. Александр Шмеман. Швейцария, октябрь 1973*
*3.* Владимир Варшавский и Юрий Иваск. Июль 1974*



Владимир Варшавский. Середина 1950-х*

«Нет, так не должно быть», — говорил я себе в страхе. Словно в ответ голос стал рассказывать: «Но рядом, в монастыре, жили двадцать восемь молодых девушек и старый католический священник. Они решили, что нельзя допустить торжества зла и смерти, и они сделали так, что смерти больше не стало».

Это было замечательно, но и сквозь сон я чувствовал недовольство: готовая поэтичность этого видения — девушки, священник — это не мое. И почему священник католический, да и крокодилы? К тому же с моим сном что-то на глазах делалось. Он больше не производил впечатления жизни, останавливался, распадался, неудержимо тускнел, как медуза на песке. Тогда священник, с озабоченным видом пробегая мимо, сказал, что все это было условно, приблизительно, взяли первое попавшееся под руку, нужно было спешить, но дело вовсе не в этих случайных подробностях. Он сказал это, не оборачиваясь в мою сторону и не открывая рта. Я с удивлением заметил — он был теперь не такой старый.

Тут экран стал вдруг приближаться, раздвигаясь в стороны и вверх. Одновременно я плавно двинулся в моем кресле ему навстречу и въехал в него и вот уже лежу грудью на стене монастыря, где жили этот старый аббат и девушки, и оттуда смотрю на двор тюрьмы. Эта перемена сопровождалась ощущением прохлады и радости, почти блаженства. Я теперь понимал, почему говорили, что этот фильм особенный и почему билеты стоили так дорого. Но как же это устроено? Ведь не я один, а все зрители должны были так переехать в экран.

А монастырь был старый, тех времен, когда в Европе еще умели строить. Я восхищенно смотрел, как по моей воле воздвигаются прекрасные и строгие монастырские здания.

Но сон в тюрьме продолжался. Теперь уже женский голос говорил: «Я родилась в Одессе и видела ужас советских и немецких концлагерей. Это не люди, не было меры их жестокости».

Я проснулся, почему-то думая, как должно быть страшно, когда раздавливает что-то чудовищно тяжелое. Ведь и со мной это может случиться, вот буду переходить сегодня улицу, и на меня наедет автобус.

*

Такие сны мне часто тогда снились, да и теперь все еще снятся. Вот еще один.

Я попал в лагерь — огромный дом с множеством комнат. Какие-то ужасные существа что-то делали там с людьми, превращая их в такую же нежить, как они сами. Долговязый упырь ехал мне навстречу на белом коне. Он хотел пронзить меня кинжалом, ножом для разрезания книг, но почему-то передумал и проехал мимо.

Я подумал: «Как же я спасусь, у всех выходов часовые». В это время какой-то человек сказал в рупор: «Иди за мной». Он сел на лошадь. Я по-

шел за ним. В стене открылось окно, но без стекла, а просто широкий пролом. К нему подлетел по воздуху корабль. Вернее, этот пролом выходил на залитый солнцем порт на Средиземном море. У пристани стоит готовый к отплытию пароход. На палубе эвакуируемые на родину солдаты. Среди них почему-то много индусов. На этом пароходе я должен был уехать на свободу.

*

Вскоре после возвращения из плена я проезжал тут через Сену на автобусе. Стояла необычная для Парижа стужа (так! — *Сост.*). Плавясь в оранжевой ауре, солнце садилось за крыши домов. Мне казалось, я вижу все это в вечности. С тех пор прошло уже несколько лет, а мне все хотелось сюда вернуться, но как-то не выходило. Теперь, перед отъездом в Америку, наконец, собрался.

Сегодня все было по-другому. Превращенная июльским солнцем в серебряную лаву Сена, забыв о загрязнивших ее городских помоях, текла среди каменных набережных, грозно и радостно сверкая. На Левом берегу празднично ярко белели какие-то длинные постройки. За ними сплошной зеленый строй деревьев загораживал дома. Только купол Пантеона виднелся там, вдали, будто среди уже дачной отрады.

В небе цвета океанов на глобусе почти не движутся серые, как перед грозой, но с белоснежными вершинами облака.

Я спустился к воде. После глади асфальта ногам было неловко ступать по неровным булыжникам широкой набережной, покрытой сквозной тенью листвы огромных вязов. Всегда ноющая мысль: как тщедушна жизнь по сравнению с тяжестью косного вещества. И вдруг чудо: дерево, такое большое, могучее! Прорвав каменную броню набережной, растет из земли в головокружительную вышину. Радуясь неожиданному для меня самого чувству, я с нежностью уперся ладонью в живой ствол, завернутый в шершавую кору. Будто женщина в каракулевой шубе, надетой прямо на голое тело. Но я сейчас же подумал: мне что-то чистое и прелестное представляется, а скажут — это пошлое сравнение. Тут было противоречие. Непосредственные впечатления не могут быть пошлыми или глупыми. Я для того и пишу, чтобы их *проявить*, а вот боюсь осуждения маловероятных читателей.

На стрежень реки каменным кораблем выдвинулся остров Святого Людовика. С высокого парапета свисают космы зеленого плюща. Вздрагивая на струях течения, там стояли на якорях плоскодонки удильщиков. На них сверху глазели зеваки.

Справа полнеба заслоняет мост. На освещенном солнцем бетонном подножии быка спит на спине бродяга. Жаркие лучи отвесно бьют в его багровое от пьянства лицо, удивительно густо заросшее давно не бритой бородой. Будто, пока он спал, какое-то щетинистое животное вылезло из воды и, покрысиному осмотревшись, улеглось у него на подбородке. И вот с ним произошла метаморфоза: нижняя часть его лица начала превращаться в бурого ежа. Но, блаженно улыбаясь, он продолжал спать, сложив руки на мерно ды-

шавшем куполе живота. Его шея была обмотана грязной, чудесного рубинового цвета тряпкой.

По-французски таких называют «клошарами». Я вспомнил: разговор в прихожей Земгора двух худых, с изможденными лицами эмигрантских горемык. Один не то поощрительно, не то с осуждением сказал другому: «А то есть еще такая секта клошарей».

Вдоль набережной причалены баржи и буксиры с красными перехватами на высоких черных трубах. Пахнет крашеным, нагретым на солнце железом.

Уже разомлев от светлого жара, я шел вдоль воды, чувствуя сожаление о своей неудачной жизни, смертельное уныние и счастье безумного ожидания: здесь, на берегу реки, мне внезапно откроется таинственное объяснение всего.

Навстречу мне, крича и смеясь, двигалась шумная квадрилья по-воскресному принаряженных молодых приказчиков и их подруг. Подвыпившая, смазливая девица, в задорно заломленной над белокурыми кудряшками шляпке, с хохотом отбиваясь от норовившего ее облапить кавалера, неверно, как на ходулях, бежала на высоких каблуках по булыжникам набережной. На них из рубки катера, скучая, смотрел кочегар в грязном тельнике.

Я с удивлением вспомнил, в детстве я мечтал стать матросом. А теперь от моей детской мифологии ничего не осталось. Магический свет, в котором я все тогда видел, погас. Никакой зависти к этому кочегару я не чувствовал. Испитое лицо, угрюмый взгляд выцветших глаз, худые, вымазанные сажей руки. Обыкновенный бедный рабочий человек. Его жизнь представилась мне унылой и безрадостной.

За поворотом реки открылся вид на другой, дальний мост, по которому высоко в небе катили маленькие, будто игрушечные вагоны метро. Дойдя до конца набережной, я поднялся по лестнице в крохотный садик. Здесь сидели няньки с детьми, и старый алжирец внимательно наблюдал, как, забыв весь мир, целуются влюбленные. Обнимая милого за шею, толстоногая изольда так восхищенно тянется к нему, что половина ее тяжелого, плотно обтянутого черной юбкой зада приподнялась над скамейкой. Садик пересечен по косой линии каким-то железным помостом. Перегнувшись через поручни, я увидел внизу выгнутый перрон станции метро. Будто недалеко, а все такое маленькое, как когда смотришь в перевернутый бинокль. Еще ниже, под обрывом берега выходит в Сену устье канала. Там, у самой воды, облокотившись на локоть подобно фидиевой парке, лежала смуглая широколицая женщина. Синий цвет ее дырявого платья удивительно хорошо сочетался с бронзой голых рук и шеи. Над низким лбом — копна коротких черных змей. Положив ей на колени голову, спит молодой бродяга. У него под локтем блестела пустая бутыль.

Я перешел на другую сторону помоста. Отсюда канал был виден во всю длину, до самой площади Бастилии. Там восхитительно изящно зеленела в бледно-лиловом небе бронзовая колонна, увенчанная золоченым крылатым гением. Вода в канале еще грязнее, чем в Сене. Тяжело вздыхая, хлюпает у

плотины. Казалось невероятным, что здесь могла водиться рыба. Между тем всюду сидят удильщики. А какая-то старуха даже черпала эту прокаженную воду ведром и наполняла ею бидон, поставленный в облупленную детскую коляску. У ног старухи жались друг к дружке две старомодные, на тонких ножках, худые и грязные левретки. Я отвернулся и стал смотреть на баржу, причаленную у другого берега. Струи канала, колыхаясь, обтекали ее тяжелую черную корму. Просвечивая в мутной глубине, ее красное брюхо полоскалось в мутно-желтой зыби широкой оранжевой лентой.

Когда я опять посмотрел на старуху, она уже уходила, толкая перед собой коляску. Теперь я увидел ее лицо, в венце всклокоченных седых косм: так в Средневековье изображали солнце, окруженное изогнутыми языками лучей. Ее остановившийся безумный взгляд поразил меня выражением отчаяния и ненависти. Обе собачонки сидели теперь в коляске рядом с бидоном.

Не доходя до Бастилии, я свернул в незнакомую пустынную улицу, добела освещенную солнцем. Передо мной шла пара: на женщине — пиджак, вроде мужского, и суконная юбка, не закрывавшая голых кривых икр, на мужчине белый картузик, американская солдатская куртка, штаны в полоску. Обутый в рваные парусиновые туфли, он ступал легко и бесшумно. На мгновение обернувшись, испитым, с извилистыми губами лицом — тюрьма, дисциплинарный батальон, он внимательно посмотрел на меня неулыбающимся, по-звериному простым, спокойно настороженным взглядом, потом бровью показал женщине на что-то на земле, и она нагнулась и подняла окурок. Тогда, чуть толкнув ее локтем, мужчина перешел на другой тротуар. И так они продолжали идти, подбирая окурки каждый на своей стороне.

Скоро я вышел к заколоченному готическому особняку, где когда-то веселилась королева Марго, неверная жена Генриха IV. Здесь на «Болоте» жила тогда французская знать, а теперь на пустырях между развалинами, перебраниваясь гортанными голосами, стояли кучками алжирцы, с коричневыми кубистическими лицами.

Погибшие дома, жизнь людей... Они будто просили меня спасти их от смертельности существования, а я собираюсь ехать, бежать, бросить их на произвол... Я почувствовал подступающие слезы. Странно, в то время я не стеснялся таких припадков нервической расслабленности, наоборот, находил в них что-то умиротворяющее, пронзительно-сладостное. Мне казалось, Париж спит вдали на каком-то немыслимом юру, и там, за самым краем начинает брезжить что-то, но трудно рассмотреть. А из поперечных улиц — от стен домов, от каменных плит набережной и платанов с ободранной кожей и дрожащими на ветру листьями — веет такой щемящей тоской, что я не мог больше думать: мысль останавливалась, распадаясь на куски без всякого значения.

Мне вспомнилось: вчера было 14 июля, значит, сегодня еще праздник. Обычно три дня танцуют. Поехать в Латинский квартал, там, верно, весело.

На бульваре Сан-Мишель еще стояли помосты для музыкантов и висели цветные фонарики. Но все уже разошлись, и музыка больше не играла.

*

Перед расставанием мне хотелось осмотреть весь Париж. Вернусь ли еще когда-нибудь? В свободные дни я бродил по городу. Особенно мне нравились безлюдные по праздникам улицы Сан-Жерменского предместья. Во дворах за высокими воротами столько прелестных старых особняков. Теперь в них разные учреждения, музеи, посольства. Встречая старух в нитяных перчатках и в шляпках с вуалями, я думал: «Может быть, это обедневшие принцессы дё Германт, и сейчас проедет в своей виктории бессмертный прустовский Сван, с неотступной мыслью об Одетт, как “с любимым животным на коленях”».

Как-то я вошел во двор незнакомого монастыря. За этим первым двором оказался сад, отделенный от города высокой каменной стеной. Среди газонов, расшитых пестрыми крестиками цветов, в славе заходящего солнца, будто уже в раю, прогуливались по дорожкам монахи. Я не посмел войти в этот сад.

Я даже съездил в Фонтенбло. Еще издали, завидев неровные постройки дворца, я почувствовал волнение. Торопливо и жадно осматриваясь, прошел по внутреннему двору. Дальше, за чугунной решеткой открылся вид, исполненный очарования: зеленый луг, зеркально-светлый прямоугольный пруд, деревья, облака. Страна, которая мне всегда снилась.

## II

Уже была глубокая осень, когда в одной книге я увидел воспроизведение неизвестной мне до того картины Ренуара «Ля Гренуйер». Я сразу, с первого взгляда узнал. Мне так часто снился праздник на берегу воды. Солнечный день. Сена до краев наполнена опрокинутым отражением зеленого строя береговых тополей. В густо-зеленой воде, в колыхании золотых бликов — головы купальщиков, плывут лодки. На помосте вокруг дерева — оно растет будто из воды — мужчины в котелках набекрень и женщины в голубых и розовых платьях.

Родимое, желанное лоно света, воздуха, воды. Будто распахнулись ставни, по стенам и потолку заиграли, отбрасываемые речной рябью, солнечные зайчики и вошло все, знакомое с детства, счастье загородного рая, вплоть до запаха теплой воды. Клязьма чуть плещет у свай купальни, обросших космами зеленой тины.

Об этой картине Ренуара в книге говорилось, что Мопассан не раз описывал «Ля Гренуйер», знаменитое в то время увеселительное место на Сене, на острове напротив Круаси. Я нашел один из таких рассказов. «Над этой толпой плыл запах пудры и любви». Да, именно это мне воображалось, остров Цитеры. Но дальше Мопассан писал: «Здесь смердело глупостью, приказчичьей галантностью, чем-то полупочтенным, здесь вызывали на дуэль из-за одного неосторожного слова. Но удары шпаги и пистолетные пули только еще больше продырявливали сомнительные репутации».

Значит, и тогда, даже в тот летний, светлый, благословенный день, люди были готовы убивать друг друга с такой же безжалостностью, как теперь. И все-таки это был сказочный золотой век: Европа еще не знала тогда, что ее ждут впереди чудовищные войны, чудовищные революции, концлагеря, газовые печи, рабство.

*

Однажды, поджидая автобус, я рассматривал карту на стенке станционной будки. Вдруг, недалеко от тургеневского Буживаля, увидел на длинном узком острове на Сене надпись «Ля Гренуйер». У меня даже сердце забилось. Неужели еще и теперь существует? Я бы меньше поразился, если бы мне сказали, что рядом с моей комнатой в гостинице вовсе не другая такая же нищенская комната, а дворцовый зал и там устраиваются костюмированные праздники.

Этот остров я должен был бы хорошо знать: столько раз проезжал мимо на автобусе. Но странно, мне вспоминались места, вовсе не похожие на картину Ренуара. По склону холма сходят к полуразрушенным оградам запущенные сады. Среди кустов и деревьев редкие, большей частью заколоченные дома. С другой стороны дороги — Сена. Деля ее на два рукава, тянется унылый пологий остров. Оказывается, тот самый, а я так равнодушно смотрел.

Это было вскоре после моего возвращения из плена. Я был демобилизован из французской армии и, не зная, что делать в жизни, служил ночным сторожем в гараже недалеко от Буживальской плотины. Там постоянно были причалены баржи и катера, совсем как у Сизлея.

Я хорошо помнил этот гараж. Грузовики дремлют в полумраке стадом допотопных мастодонтов. Бочки с бензином, запасные шины, стены без окон, под потолком тусклая лампочка. Снаружи ночь, тишина, будто все умерли, а посередине гаража, освещенная этой лампочкой, захлебывается лаем собачка. Отдача звонкого, отрывистого тявканья дергает ее голову кверху, и ее тельце упруго подпрыгивает, отделяясь от пола всеми четырьмя лапами одновременно. Она хочет лаять сердито, с угрозой, даже старается рычать, но у нее не выходит, она слишком добрая. Я смотрю на нее и думаю: если любовь, доброта, забота о других разлиты в мире, подобно солнечному свету, то это прыгает на каменном полу маленькое четвероногое солнышко. И все-таки я досадовал, не понимая, почему она лает, не дает мне спать. Я несколько раз ее оттаскивал и укладывал в картонку, где мы устроили ей постель. Но она упрямо опять выбегала на середину гаража и, смотря в потолок, принималась лаять, еще пуще прежнего.

Потом оказалось, она спасла меня тогда. Это грабители, приставив снаружи лестницу, пытались влезть через стеклянную крышу.

Еще мне вспомнилось: вот я иду в обход. Муся, так звали собаку, вздохнув, покорно вылезает из своей картонки и сонно плетется за мной. Я ее не звал. Это она сама решила, что должна меня сопровождать. Она семенит немного сзади и сбоку, и я ее не вижу, только слышу легкое постукивание ее шажков.

По утрам она просыпалась раньше меня, но не смела встать, пока я спал. (Нам, ночным сторожам, это не полагалось, но никто не мог проверить!) Открыв глаза, я видел, как, подняв голову, она выжидательно на меня смотрит. Стоило мне шевельнуться, как она начинала вылезать из своей коробки. Но по тому, как при этом у нее были виновато прижаты уши, я чувствовал, она прекрасно знает, что я вовсе не собираюсь еще вставать, а только так пошевелился. Горбясь от страха, что сейчас раздастся мой сердитый окрик, она с несчастным, необыкновенно уморительным видом все-таки упорно продолжала продвигаться сторонкой к выходу. Только у самой двери, почему-то считая, что теперь выиграла, она распрямлялась и, независимо махая хвостом, смотрела на меня с таким радостным и дружелюбным выражением, что хочешь не хочешь, а приходилось вставать и отворять дверь.

*

Мысль найти «Ля Гренуйер» меня не оставляла. Изо дня в день шли холодные ноябрьские дожди. Я все-таки поехал.

Я сошел с автобуса у Буживальской плотины. С бьющимся, как перед свиданием, сердцем перешел по мосту на остров. Стал осматриваться. Вот сквозь кусты виднеется какой-то дом, даже дым идет из трубы. А все-таки сразу видно — забытое, заброшенное место. Сырость, пахнет перегнившими листьями. Как здесь печально!

Я долго шел по тропинке вдоль берега. Моросил дождь, ноги разъезжаются по размокшей глине. В ветвях вязов и в зарослях лозняка с унылым и грозным гудением проносится ветер. На огороженной колючей проволокой поляне — пни в два обхвата. По этим пням было видно, какие большие деревья росли здесь прежде. Верно, тот парк, о котором писал Мопассан.

Наконец, я добрел до места, где был тогда перевоз. У самой воды, желтой и мутной, покрытой у побурелых камышей накипью грязной пены, из-под обрыва берега выступает край каменной плиты. Я смотрел с волнением. Вот все, что осталось от «Ля Гренуйер», от ее беспечных праздников, — плита вроде кладбищенской. Над нею с ветки склоненного над рекой вяза свисает, раскачиваясь на ветру, толстая, оборванная веревка. Кто ее повесил тут и зачем?

Словно куда-то торопясь, вода шла, журча и петляя. Мгновениями казалось, остров тоже движется. На его гребне, как на спине огромного змия, я подымаюсь против течения к далеким отсюда башням Нотр-Дам.

Не переставая, сеялся мельчайший, почти неощутимый дождь. За его кисеей высится вдали большой, до облаков холм. Судя по карте — гора Святого Валерьяна. Там в сорок втором году немцы расстреляли Ваню Иноземцева. Несмотря на мое рассеянное равнодушие к другим людям, мне стало грустно. Я вспомнил, какой он был хороший мне товарищ. У меня подступили к глазам слезы. Это было горестное, но почти приятное чувство душевного размягчения. Я чуть ли не завидовал Ване. Ему было открыто какое-то другое, недоступное мне чувство жизни. В ночь перед расстрелом он написал

своей жене: «Бессмертное солнце любви всходит из бездны смерти». Он умер без повязки на глазах. Он не знал моего постоянного страха перед людской злобой и перед неизбежностью уничтожения. Невыносимое для меня знание, что человеческая жизнь на земле ничем не охранена от смерти и произвола случайностей, казалось, не только не пугало его, а, наоборот, пьянило. То, что мне на мгновение почудилось, когда я лежал на холме под бомбами и перестал бояться, было для него всегда присутствующей действительностью. Это в эту действительность он жадно и радостно вглядывался своими расширенными светлыми глазами, когда, стоя перед дулами двенадцати немецких винтовок, новый, современный Рудин, он запел «Марсельезу». Грянул залп, и он упал. Теперь больше никто не научит меня, как не бояться.

Его труп гниет теперь под землей, но что стало с его сознанием? Такое же «я», как мое, центр мира, и все-таки чужое, непонятное, соединенное с жизнью другого человека, с другим телом, другими воспоминаниями, другими мыслями, другими чувствами. Как это устроено: у каждого другая судьба, и все люди разъединены, не любят и даже убивают друг друга. А вместе с тем их сознания — живые атомы одного и того же всеобщего сознания. Но как же сознание может быть всеобщим, а не личным, кто же тогда сознает?

Все это настойчиво, но неясно мне представлялось, как если бы я угадывал впотьмах присутствие какого-то огромного предмета, но не мог рассмотреть его очертаний. Никакого определения я не мог найти. Моя мысль бессильно останавливалась.

Мне было грустно, и я чувствовал усталость. Обойдя весь остров, я вернулся в Буживаль и уже в сумерках дошел до гаража. Заколоченный, неосвещенный, он поджидал меня, сутулясь одинокой неясной громадой. Вокруг ни домов, ни огней, только сады, затопляемые приливом темноты. Воздевая к небу голые черные ветви, на повороте шоссе горестно сетовал хор деревьев. Внизу, под скатом берега, укрытая саваном белесого тумана, словно остывая и дымясь, текла Сена — глубокая, холодная и страшная.

Все было тихо, пустынно. Только автомобили, вдруг вспыхивая желтыми глазами, вырывались из глубины ночи и, как яростные псы Актеона, с протяжным воем неслись по дороге. В качании стремительно бегущих перед ними снопов света мелькали призрачно на мгновение озаряемые обломки сонного ландшафта.

Я подошел к дверям гаража. Он оказался приземистее, чем в моих воспоминаниях. По бокам фронтона вовсе не башенки, как я думал, а цементные цилиндрические вазы. Я знал, если я войду, мне не бросится навстречу Муся. Как она радовалась, когда я приезжал. Почти ползала на животе, повизгивая от любви и счастья. А между тем, я не сделал ей ничего хорошего.

*

Этот гараж я стерег по очереди с моим приятелем Жоржем: одну ночь — он, другую — я. Вокруг гаражи часто грабили. Вот мы и решили обзавестись собакой.

Собаку привез Жорж поздно вечером. Я почувствовал разочарование, когда он вынул ее из корзинки и поставил на пол у моих ног. Нам был нужен волкодав, защитник, сторож, а не такая, величиной с фокстерьера. Правда, плотнее, вроде свинки. По ярко-белой шерсти — бархатные, черные пятна.

— Как ее зовут?

— Муся.

Не подозревая о моем разочаровании, Муся вопросительно, но с явным убеждением, что мы стали друзьями, смотрела на меня, чуть наклонив голову набок. Веселые огоньки все задорнее разгорались в ее сплошь темных глазах, ярко блестевших под желтыми бугорками, заменявшими ей брови. И вдруг на меня хлынуло, как в детстве, чувство любви и счастья. Присев на корточки, я стал с наслаждением гладить обеими руками крепкое, мускулистое тельце, ходуном ходившее от встречной ко мне любви. Радостно тявкая, Муся прыгала на меня передними лапами, упиралась детскими ручками. От нее пахло отсыревшей в ночном тумане шерстью.

*

Муся не долго с нами прожила. Это случилось в дежурство Жоржа. Когда он сходил с автобуса, Муся бросилась через дорогу ему навстречу и попала под колеса вылетевшего из-за поворота грузовика. Жорж мне рассказал, что, когда он подошел, раздавленная Муся потянулась к нему головой и умерла, смотря на него со своим всегдашним выражением любви.

Мы завели другую собаку, но я не мог к ней привыкнуть. Вскоре после смерти Муси я бросил службу в этом гараже.

*

Печальное возвращение в Париж. Стремительный бег почти пустого автобуса. В окнах проплывают в неверном свете черные под дождем сады. Теперь я знал, «Ля Гренуйер» больше нет, было глупо надеяться, и мне все время вспоминалась Муся. В то время я еще не отошел от впечатлений военных лет. Я не чувствовал себя дома на земле: здесь все живое подчинено закону убийства. И вот, в этом неудавшемся страшном мире, вдруг доброе, радостное чудо — любовь собаки к человеку. Словно в залог, что жизнь на самом деле — любовь, верность, дружба, мне был послан из глубин космоса маленький простодушный зверь. Муся никогда бы от меня не отреклась, в опасности бросится меня защищать без страха смерти.

По Декарту, Муся — машина, а в ней так несомненно чувствовалось дыхание жизни и любви. Скажут, все собаки любят своих хозяев, это у них родовое. Тогда выходит, у Муси не было никакой личной заслуги, вообще ничего личного. Но, вспоминая, с какой радостью она меня встречала, я чувствовал нелепость этой мысли. Или другое Мусино выражение, какое-то робкое, когда она снизу, исподлобья на меня смотрела, точно прося прощения, что не умеет говорить. Этот полный любви взгляд не мог быть только отражением механической игры условных рефлексов. Нет, это смотрела на

меня именно Муся, я чувствовал в ее взгляде присутствие всего ее обособленного, маленького живого существа. Я не мог в этом сомневаться.

До самого Парижа мне приходили все одни и те же наивные и неразрешимые мысли.

## III

В марте я уехал в Америку. Я всегда волновался перед дорогой, теперь же особенно. Я ехал, может быть, навсегда, в страну, где живут богатые, счастливые люди, и все-таки тревога: что я там буду делать? Ведь я ничего не умею. Но даже в этой неизвестности было что-то возбудительное. В голову приходили разные предположения, можно было мечтать, надеяться.

Это чувство открытости будущего еще усилилось, когда, сойдя в Гавре с поезда, я увидел пристань. Постройка, вроде вокзальной, но легче, будто дачная, выкрашенная светлой краской. За ней, выдвигаясь за ее края носом и кормой и высясь над ней белыми ярусами палуб, капитанским мостиком, трубами, мачтами, — океанский пароход, сверх ожидания огромный и прекрасный. Рядом с ним вагоны поезда и дома на площади казались игрушечными.

Я смотрел с восхищением. Все освещено одновременно ярко и мягко, как только во Франции бывает, как у Ренуара. На мгновение сжалось сердце: что я делаю, зачем я уезжаю отсюда, нигде не будет такого неба.

Сказочно прекрасный пароход стоял здесь у пристани совсем просто, не сознавая своей гулливеровской великанской стати. Добродушный кит в ванной. Нет, это слишком неправдоподобно. Кит в бассейне для плавания? А вместе с тем такой стройный, рвется вперед и ввысь: альбатрос, готовый в любое мгновение взлететь, гигантская птица Рок из «Тысяча и одной ночи», гондола дирижабля.

Одновременно с этими приблизительными и нелепыми сравнениями мне представилась необозримая пустыня океана: туманы, вечное движение и плеск волн. Этот прекрасный пароход уже столько раз ее пересекал. Он увезет меня от привычных будничных забот и страхов, которые так долго заслоняли от моего сознания чудо бытия. В радости освобождения я снова чувствовал простор мира: небо, волны, города, жизнь людей.

Пассажиры первого класса еще не приехали, можно было осмотреть весь пароход. Распахивая казавшиеся мне драгоценными прозрачные двери, потом узнал — пластмасса, я шел по великолепным залам, как по заколдованному царству. Недоступный мир богатых, мир дорогих вещей, нарядных женщин, увеселительных путешествий, мир, где деньги дают волшебную свободу удовлетворять все желания. Как у Достоевского: «Они рядятся, они прекрасны и выходит прямо рай». Да, именно в этом объяснение: рай. Но после долгих лет нищей беженской жизни к моему всегдашнему мечтанию о рае стали примешиваться чувства сожаления, отверженности и зависти...

*

Чайки летели совсем близко, их можно было хорошо рассмотреть. Лапки аккуратно поджаты, клюв вытянут вперед. Они то гнали, горбясь и отчаянно махая крыльями, то так же быстро неслись, распластав крылья в реющем полете. Зорко высматривая добычу, поворачивали голову направо и налево.

За кормой до самого неба широким царственным шлейфом тянулась пенистая дорога. В ее бурлении уносились выбрасываемые откуда-то снизу, из камбуза, остатки еды. Чайки, садясь там, на воду, так хлопали крыльями, что в глазах рябило. Они не дрались, но я видел, когда две одновременно устремились вниз, одна толкнула другую крылом. Тех, что сели на воду, быстро относило вдаль, другие с криком продолжали гнаться за пароходом, почти налетая на флагшток. У одной перья на крыле вытерты, как на старом веере. Она махала этим скелетом крыла, но ей, верно, было трудно летать. А больные и старые чайки, которым больше не под силу добывать еду? В холодной бездне воды и воздуха не было места, где бы они могли отдохнуть, где бы кто-нибудь их накормил, перевязал раны. Они ничего не могли друг для друга. Их ждала только смерть.

*

Вечером, уже в сумерках — Англия. Не подходя к пристани, приняли пассажиров на рейде. Их подвез катер. Потом пароход прошел обратно между двумя ветхими башнями-маяками. Волны, теснясь, плескались, ожесточенно бились у их подножий. Пароход шел все быстрее. Справа еще долго тянулась алмазная нить огней берега, скрытого туманным мраком ночи. А потом уже ничего больше не было видно, только чернота. Мы покидали Европу — несчастную, преступную, погубившую свою христианскую цивилизацию.

*

Волны и чайки. Безумные предприятия людей. Безумное предприятие жизни на земле.

Почти всю дорогу я ходил по палубе, вглядываясь в волны. Я с недоумением вспоминал мою жизнь. Другие столько сделали, столького достигли, а я ничего. Даже никакого определенного занятия у меня не было и никакого положения, и ни жены, ни детей. Какая-то неспособность жить и всегда тоска, страх, сожаления.

*

В столовой сосед по столу — американец, мистер Флойд. Сначала он мне понравился. Показывая на других американцев за соседними столиками, он говорил: «Вот этот — немец, вот это — армянин, сдал на доктора, блестящий малый, а тот, — мистер Флойд переглотнул, — еврей, тоже очень образованный, вот — чех. Но все они — американцы». От этих слов на меня повеяло теплом человеческого братства. Именно это я надеялся найти в Америке: страна, где нет ни эллина, ни иудея. Но моя радость скоро омрачилась. Уз-

нав, что я еду по квотной иммиграционной визе, чтобы через пять лет стать американским гражданином, мистер Флойд очень одобрил мое решение. Забывая, что я пока еще не американец, он, с внезапным исступлением и весь перекосившись, сказал, словно хвастаясь своей ненавистью: «Я ненавижу европейцев». Особенно он ненавидел англичан. Он объяснил: «Только из ирландцев и немцев выходят хорошие граждане, но из англичан — никогда». Сам он был ирландского происхождения.

Через столик от нас сидело несколько американских студентов. К неудовольствию Флойда, они все время оживленно и дружелюбно разговаривали с молодым высоким англичанином, который ехал в Нью-Йорк на службу.

Кроме Флойда за нашим столиком сидели еще два американца. Один маленький старичок из немцев, тоже очень недовольный Европой. Старичок этот больше не работал, а жил на пенсию. Он с гордостью рассказывал, что в сезон не пропускает ни одного бейсбольного матча. «Вот видите, как у нас живут, выйдя на пенсию», — сказал Флойд назидательно. Третий американец, добродушный полковник в отставке, чтобы подразнить Флойда и старичка, все время нарочно хвалил Европу. Из уважения к чину полковника Флойд не возражал, но слушал с явным неодобрением, видимо, недоумевая, как военный может держаться таких непатриотических взглядов.

Флойд особенно смутил меня, когда сказал, что во Франции «секс» удовольствие, а в Америке — преступление. Он сказал это с такой же непонятной яростью, как когда говорил, что ненавидит европейцев. Но потом все возвращался к «сексу»: «Да, конечно, вы можете встретить в баре девушку...»

*

Завтра мы приедем. Мне вдруг стало страшно. «Зачем я еду, что я буду делать в Америке?» Я понимал теперь ребячество моей надежды, что я смогу продавать там свои еще не написанные картины. Нет, придется работать, как все, «устраиваться», зависеть от каких-то людей, бросить живопись. Но я не могу жить без живописи... Как жалко — путешествие кончается...

Что гонит меня? Страх *их* прихода? Стремление попасть в мир без концлагерей, пыток и преследований? Да, в Америке не будет всего этого. Но чего я хочу в самом последнем счете? Чтобы мир имел человеческое значение. Мне обязательно это нужно. Я не могу без этого жить. Я слишком долго мучился неведением, отчаянием и страхом.

*

Непривычная после шести дней тишина. Машины больше не работали, и совсем не было качки. Пароход бесшумным привидением сонно влекся по чуть рябившей глади тихого, вернувшегося домой моря, почти стоял на месте.

Совсем близко, в утренних сумерках берег, дома́ — один огромный. Новый Свет, таинственный, как Марс или Луна.

Спрашиваю Флойда:

— Это Нью-Йорк?

— Нет, Бруклин.

— А что это за здание, вот то большое?

— Какое же это большое, это маленькое здание.

Вдали, в горле сужавшейся бухты, еще неясно синея сквозь предрассветный туман, виднелись теперь странные башни, вроде восточных минаретов.

Показывая пальцем, Флойд сказал:

— That's New York*.

*

Высокий чиновник в черном костюме. Щеки лубочно красного цвета. Он, верно, недавно плотно, с вином, пообедал, может быть, съел омара. На мгновение из ворота его черного костюма вместо человеческого лица попыталась высунуться возмущенная голова этого омара.

С высокомерной развязанностью он взял мой «аффидавит» и, разодрав в воздухе конверт, передал его другому чиновнику, который сидел за небольшим столиком. Тот принялся разбирать мои бумаги. С застарелым беженским страхом я смотрел на его склоненную голову с пробором в густых русых волосах. С виду как будто добродушный, но кто его знает? Как раз недавно я читал, как американская полиция допрашивает по «третьему градусу». Мне все еще мерещились пытки.

Чиновник протянул мне мой паспорт:

— Вы можете его спрятать, здесь он вам больше не нужен будет.

Я облегченно вздохнул. Чувство — будто из царства необходимости попал в царство свободы.

Долго не могли найти мой сундук с книгами. Носильщик, похожий на старого голливудского актера, по счастью, понимал мой доморощенный английский. Пока мы ждали, я старался его расспросить о здешней жизни. Он очень хвалил:

— Бифштекс, во какой — 60 центов! Кофе со сливками, не с молоком, а со сливками, — 10 центов. Благослови, Боже, Америку! — заключил он убежденно.

Благодарно слушая его слова, я с надеждой смотрел на его толстый живот. Мне так хотелось, чтобы это была правда, что в Америке всем хорошо живется.

Наконец, сундук отыскался. Мы вышли на улицу. Оглушило шумом. Двигаясь, как мишени в тире, подъезжают один за другим ярко раскрашенные такси: желтые с красным, с зеленым, с оранжевым. В пролет между железным бортом этого моста и стеной здания пароходного общества падает сверху чуть голубоватый дневной свет. Вступив в этот свет, в его весеннюю, почти уже летнюю теплынь, я мгновенно изнемог. Мое драповое пальто стало тяжелее доспехов водолаза. Чувствуя грусть от этой непредвиденной усталости, я смотрел на окраинные дома, аванпосты огромного незнакомого

---

* Вот Нью-Йорк (*англ.*).

города. Мне зачаточно представлялись перекрестки, небоскребы; на тротуарах, в конторах, в лавках — миллионы людей. Они ничего обо мне не знают. Я никогда здесь не был.

Вот проехал таксист-негр. Какое серое лицо, он смертельно болен! Пожилой полицейский, осклабив желтые зубы, стоит в полукруге грузчиков. Они чему-то смеются. Из отдаления рассеянности я наблюдал их иероглифический для меня разговор о неизвестных мне происшествиях. Мне чудилась во всем неуловимая странность: словно я присутствовал при жизни в другом веке, в другом неизвестном мире.

Носильщик усадил меня в такси. Двинулась карусель улиц. Мы еще недалеко отъехали, как между двумя обыкновенными, как в Европе, домами я вдруг увидел перечеркнутый ломаными зигзагами железной спасательной лестницы кирпичный куб такого кровавого цвета, что было больно смотреть. На бледном, почти отсутствующем небе этот красный дом будто пылал изнутри. Мне вспомнилось, Моисей видел в пустыне куст: «горит огнем, но не сгорает». Только из пламени, замурованного в кирпичной стене этого дома, вряд ли раздастся голос Бога. Здесь, верно, так строили в начале века, и переселенцы из Европы, сходя с пароходов, смотрели на такие дома с надеждой на счастье в новой жизни.

Чем дальше, тем все больше попадалось таких кроваво-кирпичных домов. Я не мог понять: я никогда прежде таких не видел, и все-таки мне казалось, я все лучше их узнаю. Чувствуя странное головокружение, я вдруг увидел в какой-то зеленоватой, будто потусторонней глубине: афиша над входом в кинематограф, или в «иллюзион», как, к моему удивлению, говорили в Одессе. Под кирпичной стеной жмутся с револьверами в руках люди в кепках. Над ними надпись: «Тайны Нью-Йорка, эпизод шестой». Наши двоюродные братья — Володя и Кока — видели все эпизоды и с восхищением о них рассказывали. Но мне и брату не разрешали ходить на такие фильмы. Тем более таинственной и захватывающей мне представлялась эта вечная борьба сыщиков с преступниками в трущобах Нью-Йорка. Теперь я понял, это вдоль стены такого красного кирпичного дома крались те люди в кепках, или это была перегородка на крыше такого дома, там была, кажется, труба, и какой-то человек падал с крыши вниз головой. На оранжевом лице открытый в беззвучном крике черный рот.

Такси ехало теперь по шумной, широкой улице. На тротуарах толпа. Несмотря на ранний час, множество открытых кино, тиров, увеселительных заведений, закусочных. Словно сегодня праздник.

Я вглядывался в лица прохожих. О чем они думают? Они не знают, с каким волнением на них смотрит, проплывая в такси... собственно кто? Никчемный, нелепо пропустивший свою жизнь человек.

Но мне не хотелось теперь об этом думать.

## IV

В первое время по приезде я наслаждался радостью освобождения от страха. Теперь спасен — большевики никогда сюда не придут. Вместе с тем чувство: это конец путешествия. Дальше бежать некуда. Верно, здесь, на новом чужом месте, придется доживать свой век. Знакомые меня подбадривали: «Вот вы увидите, вы устроитесь. В Америке все устраиваются. Когда мы приехали, нам тоже было трудно в первое время». Они не знали...

Все время уходило на хлопоты. Только изредка удавалось пойти посмотреть город. Первое впечатление благоприятное. Мне нравилось, что Манхэттен — остров. Сквозь городской шум иногда доносились могучие гудки океанских пароходов. Как замечательно — до океана можно доехать на метро! За улицами и домами совсем близко огромный простор, волны.

Я собрался в одно из первых воскресений. Сразу за последними громадами Бродвея — пристань. Дымит готовый к отплытию белый дачный пароход. По сходням поднимаются господин и дама. Купить бы билет и поехать, но куда идет этот пароход? В Ричмонд, в Нью-Джерси, на остров Цитеры? Куда-то, где, может быть, живут люди, которые знают тайну счастья.

Мутная вода, как в полной до краев бадье, колышется у пристани, полоща длинные космы наросшей на сваях тины. Казалось, там, как кариатиды, поддерживали набережную водяные боги с зелеными бородами. Рябь такая крупная, будто я смотрел в увеличительное стекло.

Отсюда не было видно открытого океана. Бухту запирали острова. Но я знал — за ними, отделяя меня от всей моей прежней жизни, простиралась неоглядная водная пустыня. Мимо построек низкого острова медленно, почти не продвигаясь, шел апокалиптически прекрасный пароход из Европы. Он будто ждал, когда городская стража отворит перед ним ворота. Обгоняя его, в порт, теснясь, входили табуны невысоких волн. Вдруг освещение изменилось, на мгновение все стало сапфирно-синим, потом потемнело. Начал накрапывать дождь. Я побрел обратно по непривычно безлюдному Бродвею.

Я еще не дошел до угла Уолл-Стрит, как, выйдя из-за туч, уже опять светило солнце. Как хорошо, как радостно вдруг стало!

Еще долго потом, сквозь обычные беспокойные мысли о моей неустроенной жизни, я вспоминал райски озаренные дома и мостовую. Навстречу несся буйный мартовский ветер, до того пронизывающе холодный, что на глазах выступали слезы. Сметая прах, он волочил по тротуару старую газету, шипевшую как рассерженный гусь. С чувством освобождения я вдыхал всей грудью пьянящий ледяной воздух. Освобождения от чего? От скуки, от забот, от страха, от моего ничтожества? И вдруг я вспомнил: от закона необходимости и смерти. Значит, вот о чем я всегда по-настоящему думал. Теперь это выступило из мглы беспамятства. Чем внимательнее я вглядывался, тем все лучше различал, что там, где, мне раньше казалось, ничего не было, на самом деле что-то продолжало во мне жить, расти, двигаться. Будто подземная река. Но радость была недолгая. Опять все заслонило беспокойство о моем

положении. У меня оставалось всего пятьдесят долларов, а службы все нет. Нужно подавать прошения в разные учреждения, повидать такого-то...

*

Звонок. Я подошел открыть дверь. Передо мной стоял толстый, хорошо одетый господин, в шляпе набекрень. Слегка откинув голову, он смотрел на меня, видимо, ожидая, какое впечатление на меня произведет его появление. Это был Владимир Рагдаев. Я знал, что он в Нью-Йорке и очень разбогател. Но я не пытался с ним встретиться. С тех пор, как он еще до войны уехал из Парижа, он ни разу мне не написал. Говорили, он вообще избегает старых бедных знакомых.

Рагдаев принадлежал в Париже к кучке последних «русских мальчиков», собиравшихся по ночам в монпарнасских кафе для споров о Боге и справедливости, как, по Достоевскому, и полагается русским мальчикам. Эмигрантская отверженность оказалась для них особенно губительной. Никого не удивляло, когда кто-нибудь из них умирал от чахотки или кончал самоубийством. Во время войны многие из нашего кружка пошли во французскую армию, участвовали в «Сопротивлении», были расстреляны или сварены на мыло. Это тоже казалось естественным и последовательным. Но то, что один из нас стал американским миллионером, поражало, как нарушение закономерности.

Не знаю, каким образом и зачем он меня разыскал. Но меня это тронуло, особенно то, что он, видимо, был искренне рад меня видеть. Вначале его забавляло поражать меня своим богатством. В своем спортивном роллс-ройсе он повез меня в какой-то русско-венгерский ресторан. По тому, как хозяин, официанты и музыканты почтительно его встречали, было видно, он в этом ресторане широко тратил. За наш столик подсела выступавшая тут известная исполнительница цыганских романсов. Рагдаев наставительно давал ей какие-то советы, говорил ей «ты».

Со мной он старался держаться по-товарищески, как прежде в Париже, но теперешнее различие между его положением и моим неизбежно отражалось на наших отношениях. Он говорил со мной благосклонно-покровительственно, а я с ним с некоторой почтительностью, как младший со старшим, хотя мы были ровесники. Это выходило как-то само собой, словно этого требовали наши роли богатого и бедного. К моему удивлению, он в разговоре несколько раз сказал мне «ты», хотя в Париже мы всегда были на «вы». Я подумал, может быть, ему хочется представлять себе наши прежние отношения более дружескими, чем они были на самом деле. Превозмогая чувство неловкости, я тоже попробовал сказать ему «ты». Но тогда он опять перешел на «вы».

Он слушал мои рассказы о бедственной судьбе наших оставшихся в Париже приятелей с неодобрительным и строгим выражением. Обещал некоторым помочь, правда, прибавил: «Хотя мне это нелегко будет». Говорили, он обычно не отказывает в небольших денежных просьбах, но по какой-то

затянувшей его глаза пленке я чувствовал, ему уже скучно было. Делая вид, будто слушает музыкантов, он думал о чем-то своем.

*

Мне советовали обратиться к Бобровскому: «У него большие связи». Друзья пригласили меня на «парти». У них должны были собраться «парижане». Обещал прийти и Бобровский. Я думал о встрече с ним с волнением. Мы не виделись с начала войны.

Был приглашен также Рагдаев. Мы сговорились, я за ним зайду. Я решил пойти к нему пешком через Центральный парк. Моросил дождь, совсем слабый, тихий. Сначала я весело шагал. Но дождь все сеялся мельчайшей бисерной пылью. Входя в парк, я почувствовал, как я безнадежно промок. Мое габардиновое пальто сморщилось на плечах и груди, набухшие потемневшие штанины стали как из брезента. Теплый, парной дождь низвергался теперь с шумом и силой. Будто вздваивая ряды, светлые струи множились на глазах, как солдаты в сказках. Но уже не стоило возвращаться. И хотя мне было жалко пальто, мне нравилось идти так под дождем. Вода, вода... мгновениями мне казалось, я иду по дну моря. В помутневшей окрестности выпирают из земли неукрощенные гранитные глыбы, на них, как большие черные кораллы, низкорослые деревья. Среди этого огромного подводного ландшафта я представлялся себе совсем потерянным. Если писать картину, было бы достаточно одного мазка, чтобы меня изобразить, и это был бы не я, а странник из какой-то мистической поэмы.

Неожиданно я вышел к большому, круглому бассейну, обнесенному чугунной решеткой. Я не знал, что здесь пруд. Свинцовая вода рябила под беглым обстрелом ливня. На другом берегу, словно из вод Потопа, вставали бледно-голубые за тюлевой завесой дождя многоэтажные громады Пятого авеню.

Наконец добрался. Небольшой особняк. Когда я подходил к двери, дождь внезапно прекратился.

В прихожей швейцар или секретарь, в какой-то особой куртке и с сиянием в волнистых волосах, посмотрел на меня с сомнением. Спросив мое имя, он позвонил по внутреннему телефону.

Я с удивлением оглядывал высокие сени. Мне было странно, что это дом того самого Рагдаева, у которого в Париже, как у нас у всех, часто не было денег на чашку кофе.

Я недолго ждал. Провожая высокого, важного с виду господина, Рагдаев появился на площадке лестницы, ведущей на второй этаж. Господин в чем-то его убеждал, но Рагдаев не без раздражения его перебил:

— Вы доскажете мне это завтра в конторе.

Пока высокий господин с расстроенным лицом сходил по широким ступеням, а я подымался, Рагдаев, нахмурившись, неодобрительно смотрел сверху на мое промокшее пальто.

По случаю воскресенья, несмотря на поздний час, он еще не одевался, был в шелковом халате, раскрытом на жирной волосатой груди. Меня опять,

хотя не так сильно, как в первый раз, поразила перемена, которая с ним произошла за годы, что мы не виделись. В Париже до войны он был сухощавый и удивительно гибкий. Я помнил, как на одном собрании у Мануши, опоздав и не желая никого тревожить, он, усмехаясь, пролезал за спинами сидевших на диване. Его узкие бедра и тонкие ноги по-ужиному проползли между их кострецами и подушками дивана. А теперь он был тучный и тяжелый, таз раздался, как у женщины после родов. Я видел это случившееся с ним превращение с чувством неловкости. Боясь, что он это заметит, я старался не встретиться с ним глазами. Но мне казалось, он понимает причину моего смущения и именно потому смотрит на мое мокрое пальто так строго и высокомерно, чтобы мне и в голову не могло прийти, что эта его теперешняя бабья толщина дает мне какое-то над ним преимущество. Только его черные лакированные волосы и ослепительные зубы были прежние.

Продолжая смотреть на мою промокшую одежду, он сказал с досадой:

— Ужасный климат!

— Нет, дождь уже перестал.

Он провел меня в столовую.

— Садитесь, дорогой. Хотите кофею? Я еще не ел сегодня. Только что встал. Ночью прилетел из Лос-Анжелеса. Ешьте, пожалуйста.

Длинный стол был заставлен блюдами с ветчиной, холодной телятиной, сырами, фруктами, печеньями. Была даже большая банка черной зернистой икры.

Рагдаев ел, пережевывая с удивившей меня жадной поспешностью, как едят грызуны. И с такой же поспешностью просматривал, скосив черный и блестящий, как у кролика, глаз, лежавшую у его прибора газету. Это придавало ему испуганное и простодушное выражение, неожиданное на его толстом и самоуверенном лице.

Не желая обижать меня невниманием, не отрываясь от газеты, он спросил:

— Что же, осматривали уже Нью-Йорк?

Зная, что он не любит Нью-Йорка, я ответил с некоторой запальчивостью:

— Осматривал, даже лазил на Empire State Building.

— Значит, *лазили.* Ну, как, понравилось?

— Замечательно, весь город видно.

— Что же хорошего? С одной стороны — одна река, с другой стороны — другая река. Уж не притягивает ли вас высота?

— Я боюсь высоты, — ответил я искренне.

— Так и тянет броситься, не правда ли? — подсказал он, улыбаясь своей по-восточному белозубой, чуть хищной улыбкой.

Говорили, что несколько лет тому назад он пытался покончить с собой. У меня было чувство, что в первый раз мне что-то приоткрывается в его жизни.

— Правда, — согласился я, надеясь, что он доскажет свою мысль.

— Я вас знаю, — довольно усмехнулся он, думая, что разгадал меня. — Ведь сколько народа оттуда бросалось. Теперь там решетка, а раньше почти каждый день бросались, да еще, падая, убивали внизу людей.

— Как же это? Ведь там уступами построено, — сказал я недоверчиво.

— Некоторые разбивались об эти уступы, а другие ударялись о них и отпрыгивали, как мяч, и падали дальше, — улыбаясь, не сдавался он и вдруг, содрогнувшись, сказал: — У меня ноги млеют на высоте.

Из столовой мы перешли в его кабинет, большую комнату, с книжными полками и картинами по стенам: Руо, Матисс и наш монпарнасский Багрянов. Отдельно от других, в золоченой раме, большая темная картина: «Снятие с Креста».

— Как же, это мой Тицианчик, — сказал Рагдаев небрежно. — Во всяком случае, школы Тициана. Эксперты еще не окончательно установили.

Меня поразило множество разных звуковых приборов: два белых телефона, радиоприемник, телевизор, стереофонический граммофон. На заставленной безделушками этажерке улыбается с большой фотографии молодая красивая женщина, с плечами, открытыми вечерним платьем. Надпись: «To my sophisticated friend»*.

— Хорошенькая? — спросил Рагдаев, заметив, что я смотрю на фотографию. — Это одна моя приятельница, артистка. Она выступает теперь с успехом на Бродвее. Вы бы влюбились, если бы познакомились.

Чтобы у меня не оставалось сомнений относительно его отношений с этой женщиной, он прибавил, почему-то говоря о ней во множественном числе:

— Они очень страстные. Она хорошо делает ...

Он сказал это, думая, что его богатство, дававшее ему возможность обладать всем, что можно купить за деньги, должно вызывать во мне чувство восхищения и зависти. Мне стало неприятно, так как я действительно ему завидовал, хотя вовсе не хотел бы жить, как он.

Рагдаев пошел к себе в спальню одеваться. Оставшись один, я невольно стал сравнивать его судьбу с моей. У нас было много общего. Одинаковое воспитание в детстве, в России, и одинаковая молодость в Париже на погибшем «русском Монпарнасе». По множеству разбросанных всюду не дочитанных до конца книг я узнавал такую же, как у меня, любознательность, соединенную с неспособностью к продолжительному усилию внимания. Даже в этом между нами сходство. Но я — неудачник, а он достиг всего, чего обычно добиваются люди. И это его положение богатого человека освободило его от эмигрантской отверженности. Мне это казалось чудом: такой же, как я, беженец, он занимал теперь положение богатого человека, внушает почтительное уважение людям, которые со мной даже разговаривать не стали бы. Это всеобщее признание давало ему чувство своего превосходства и укрепленности своей жизни в чем-то прочном и несомненном, удесятеряло

---

* Моему утонченному другу (*англ.*).

в нем силы жить и действовать. По сравнению с его жизнью моя казалась невоплощенной.

Я слышал, как он говорит в спальне с кем-то по телефону. Долетали только отдельные слова. С удивившей меня бодрой готовностью он уверял кого-то: «Да, я сделаю все, по-вашему, как вы любите, в вашей консервативной манере...»

Наконец он вышел из спальни выбритый, напудренный, с припомаженными волосами, в новом, прекрасно сшитом костюме.

— Это меня вызывал из Сан-Франциско один из самых крупных экспортеров, — сказал он с невольной, счастливой улыбкой. — Вот человек. По одному его слову во всех частях света грузятся товары на сотни тысяч долларов!

Он стал смотреться в зеркало, обдергивая на себе пиджак.

— Ну, как? Не кажется ли вам, что тут немножко морщит?

— Нет, отлично сидит и вам очень идет.

— Я люблю, чтобы костюм был хороший, — сказал он с убеждением.

Заметив, что я взял у него со стола и рассматриваю книгу стихов нашего монпарнасского товарища Бориса Глебова, покончившего с собой незадолго до войны, он покачал головой.

— Да, вот и Николай, и все хотят меня уверить, что он был какой-то замечательный там философ, писатель, поэт. А фактически это эпизоды всякие там. Он ничего не мог стабилизировать. Понимаете, все это придумано, все это выдумано. И это облито таким сахарным соусом языка. Ведь я его хорошо знал. Мы в Париже долго жили в одном доме. Грязный, ленивый, не хотел работать, нюхал кокаин.

Меня это удивило: Глебов был неудачник и умер много лет тому назад в нищете, непризнанный, покончил с собой от неспособности жить и отчаяния, а Рагдаев, живой, преуспевший, во всей славе своих миллионов, все не может ему чего-то простить, говорит о нем с раздражением. Ведь между ними, кажется, никогда не было никаких столкновений? Не может быть, что он завидует Глебову.

— Я помню, — продолжал Рагдаев, — когда меня вызвали опознать его тело. Это ужасно было. Он лежал на диване, повернувшись к стене и, простите меня, почему-то с голой задницей, в спущенных штанах. Теперь из него хотят сделать какого-то гения. А у него четырех строчек не найти без ошибок и чудовищных срывов. — Заметив по моему лицу, что я с ним не согласен, Рагдаев поспешно, чтобы я не успел возразить, прибавил: — Я знаю, Борис был твой друг, но ведь ты сам согласен, что я правду говорю?

— А все-таки он был замечательный поэт, — сказал я с удивившей меня самого твердостью.

Понимая, что я могу подумать, что и обо мне он такого же мнения, как о Глебове, Рагдаев недовольно замолчал. Еще досаднее ему было, что он дал мне повод считать его самого мещанином, неспособным понять судьбу поэта.

В прихожей, примерив несколько шляп, он выбрал черную, именно такую, какую мне давно хотелось иметь. Не утерпев, я спросил, где он ее купил. Чуть усмехнувшись наивности моего предположения, что я могу покупать шляпы там же, где и он, Рагдаев сказал:

— Я беру английские.

Мы вышли на улицу в мой любимый час: еще совсем светло, но в глубине воздуха уже начинает чуть заметно сгущаться синева. После прошедшего дождя было легче дышать.

Рагдаев долго колебался, ехать ли на «Пенелопе», как он почему-то называл свой роллс-ройс, или на такси. Решил, что на такси проще. Пока мы ехали, он все время молчал. Верно, обдумывал что-то деловое. Я чувствовал, как за его выпуклым лбом идет безостановочная работа какого-то сложного, счетно-решающего устройства. Но не мог же он быть только местом, где автоматически работала эта безличная электронная машина.

Я наблюдал Рагдаева с таким же чувством любопытства, какое незадолго до того испытал в зоологическом саду перед клеткой леопарда. Эластично растягиваясь при каждом шаге, пятнистый зверь мягко и гибко ходил взад и вперед вдоль решетки, изредка вдруг пристально взглядывая на смотревших на него людей. Он был такой же живой, как я, с такими же инстинктивными чувствами и так же все видел и воспринимал, и в то же время передо мной не было никого, кто мог бы почувствовать жалость. Значит, вообще никого не было. У меня закружилась голова, как на краю обрыва. И вдруг леопард — он мог бы мгновенно меня растерзать — показался мне не более существующим, чем образы сна, и словно пламенным и объятым какой-то мглой.

В таком же смущающем сне наяву я смотрел теперь на грузное тело Рагдаева, похожее на диковинную шарообразную рыбу. Я видел такую в детстве в комнате у одного старого моряка. Мне было тягостно. Белое, с пухлыми щеками лицо Рагдаева воспринималось мною только как натюрморт, только как подробность обстановки: стены кареты такси, петля, чтобы ухватиться рукой; за окном проходят деревья, бледно-зеленые поляны, гранитные скалы и неживые асфальтовые дорожки Центрального парка.

Встречаясь с Рагдаевым, я угадывал по игре мускулов его лица и по его словам, по тому, как он их произносил, его наиболее поверхностные мысли и чувства, большей частью ничтожные и тщеславные, почти непроизвольные. Казалось, в нем больше ничего не было. Я знал, что и мое поведение на людях обычно определяется действием таких же рефлексов самолюбия и готовности к враждебности и во мне не меньше, чем в нем, смешного и отвратительного. Только самому себе я это легко прощал, так как верил, что главное во мне не это, а стремление к правде. Но равнодушие и усталость мешали мне разглядеть в Рагдаеве такое же, как во мне, сознание, соединенное с самым началом жизни. А между тем, подобно тому, как, смотря на тень на стене, знаешь, что где-то рядом должен находиться предмет, который отбрасывает эту тень, я понимал, что за внешним Рагдаевым моих наблюдений должен присутствовать такой же человек, как я, со всеми заложенными в каждом

человеке возможностями любви и жизни. Я убеждал себя в этом. Иначе жизнь превращалась во что-то чудовищное, механическое, в размалеванный труп. Если же я увижу *настоящего* Рагдаева, я помогу ему стать самим собой. Но для этого нужно было сделать слишком утомительное усилие. Чувствуя себя виноватым, я старался вспомнить все хорошее, что знал о Рагдаеве. Я говорил себе: он добрее, он лучше меня, больше делает для других. Его лицо не всегда было такое, как теперь, замкнутое и заплывшее жиром. С тех пор, как он жил в нищете и никто его не жалел, до его теперешнего богатства прошли годы борьбы, изнурительный путь, в конце которого его, как всех людей, ждет одиночество страданий и смерти. Тут мне показалось, я увидел на мгновение его лицо и всю обстановку, даже самые обыкновенные предметы, окруженными, как на картинах моих любимых художников, глубиной и совершенством вечности.

«Во всяком случае, — подумал я, — если даже он сам об этом не знает, в нем, за всеми занимающими его мыслями о делах и женщинах, должно быть хотя бы темное, неясное чувство своего существования в мире». Не вытерпев, я спросил его, что, по его мнению, будет после смерти.

— Нет, право, вы все-таки фармацевт, — сказал он с досадой, — вы еще спросите меня потом, есть ли Бог или что я ел вчера за ужином?

Я стал сбивчиво говорить ему, что, как показал Бергсон, все сводится к тому: сознание — только эпифеномен движений молекул мозга или оно несводимо к этим движениям?

Недовольно на меня косясь, Рагдаев слушал со скукой и удивлением. Когда я сказал «эпифеномен», выражение презрения на его лице почему-то особенно усилилось. Он явно только ждал, когда я кончу.

— Значит, после вашей смерти все еще будет существовать Гуськов? — спросил он брезгливо, как если бы в предположении, что я буду жить после смерти, для него было что-то необыкновенно скучное и отвратительное.

— Не Гуськов, не я, с моими паспортными приметами, а моя подлинная личность, моя душа...

— Ну да, все-таки Гуськов, только в другом виде, — усмехнулся он. — Нет, не верю.

Когда такси, ожидая перемены света, стояло на углу Бродвея, меня поразило, как прелестно ветки чахлых бродвейских деревцев рисовались на далеком небе. Жалкие, по сравнению с парижскими каштанами и платанами, но я чувствовал, мне и таких достаточно. Я упросил Рагдаева отпустить такси и немножко пройтись. Удивляясь моей прихоти, он неохотно согласился.

До тех пор я думал о том, кого увижу из парижских знакомых и как они меня встретят. Но когда мы вышли на Риверсайд-драйв, я обо всем забыл. Вдоль парапета прогуливался с собакой господин в коричневом пальто. Словно возвращаясь на родину, он неторопливо уходил со своей собакой в прозрачный сумрак. Тени ветвей деревьев передвигались по его удалявшейся спине, мягко озаренной закатным солнцем. Я долго смотрел ему вслед.

Проезжали автомобили и автобусы. Но шуршание шин и гул моторов не переходили за балюстраду сада. Там была тишина и сквозь деревья виднелась под откосом дивно сиреневая, зеленоватая, с участком розовой и золоченой зыби, светлая поверхность вод Гудзона и синий берег Нью-Джерси, с кирпичными домами над обрывом, похожими в сумраке на замок крестоносцев. Над ними подымалось душераздирающе сгоравшее небо. Круглое, из расплавленного золота лицо солнца, багровое от волнения и в то же время задумчивое, пылало среди облаков, присутствовавших при закате, как сонмы ангелов на картинах Кватроченто.

Когда я увидел это небо, что-то почудилось моему сознанию, но так быстро, что я ничего не мог восстановить. Все оставалось по-прежнему далеким и внешним, а между тем я помнил о мгновенном, как молния, предощущении невероятного, почти ужасающего понимания. В который уже раз? В эти странные мгновения ничего не происходило, но они изменили всю мою жизнь.

Я не мог точно определить мои мысли. Сильнее всего было впечатление одушевленности этого неба. «Нет, не может быть, мне только так показалось». Желая проверить, я взглянул внимательнее. В загроможденном неподвижными облаками небе было такое же выражение, какое давно, может быть, в детстве, я видел на лице какого-то любящего и любимого после того, как мы поссорились. Выражение любви и боли, примиренное и печальное, как перед смертью. И по сравнению с нравственным величием и правдой этого выражения я, со всеми моими сомнениями и страхами, показался себе ничтожным и жалким.

Вместе с тем было чувство, что сад зовет меня мановением ветвей, с бесконечной щедростью предлагая, куда бы ни обращался мой взгляд, картины, равные написанным самыми великими мастерами. Но я не мог сосредоточиться, не мог вглядеться и с болью чувствовал, что впечатление от всего этого не становилось по-настоящему мною. Я наблюдал мои собственные восприятия словно со стороны. Всегдашнее страшное сознание неизвестности моей жизни. Только одно было достоверно — в этом окружающем меня божественно прекрасном мире я обречен на смерть.

Сидевшие кое-где на скамейках люди говорили между собой вполголоса. Верно, и они бессознательно чувствовали в этот час расставания с солнечным светом, что дневная сутолока не занимала, на самом деле, всего места и им хотелось стать лучше и мудрее.

Заложив руки за спину, Рагдаев молча и как-то понуро шел рядом со мной. По выражению недоумения в его глазах мне показалось, непрерывный наплыв мыслей о делах вдруг в нем остановился, и он растерянно чувствовал теперь, как кругом было тихо. Перед этой тишиной он, Рагдаев, деляга, богач, приятель влиятельных людей, банкиров, послов, адвокатов, владелец всего, что можно купить за деньги, был такой же нищий, как я. Даже его замечательный роллс-ройс — только железная вещь, которая не может заменить жизнь.

Мне неясно представлялось, что далеко-далеко, сомнамбулически шевеля губами, мы шли по какому-то горбатому виадуку.

— Скажите, бывает ли у вас иногда чувство, что природа одушевлена, и если бывает, то чем вы это объясняете? — спросил я его. Мне хотелось проверить, так же ли действовало на него наступление вечера, как на меня.

— То есть как это одушевлена? Что вы подразумеваете? Что позади панорамы есть что-то целесообразное?

— Да, приблизительно.

— Все сводится к тому, является ли это только собранием клеточек, слепой игрой природы или за этим Божья рука? — старался он уточнить мой вопрос.

— Да.

Он улыбнулся неожиданно доброй и радостной улыбкой, как бы говорившей: «Ага, вот этого ответа я только и ждал». Ничего плотоядного больше не выражалось в его детском, круглом лице. Вздохнув, он заговорил, расслабленно шамкая и будто засыпая от усталости:

— Чем больше я живу, чем больше приближаюсь к смерти, тем меньше я верю в механизмы. Вам говорят, что это только, так сказать, сцепление атомов, сгущение воздуха, атмосфера, черт его знает что, и что это будто совершенно просто, а вы чувствуете, смотря на небо, что есть за всем этим какая-то Божия десница. Может быть, это и есть, собственно говоря, единственное прикосновение к вечному, что там есть... А все остальное чепуха.

Его ответ тем более меня поразил, что он говорил теперь как будто искренне, а не с тем желанием показать, что не отстал от философии, которое я не раз в нем замечал. И он говорил как раз то, чему я так хотел верить.

Желая вызвать его на продолжение разговора, я заметил:

— Странно, когда мы говорили о загробной жизни, мне показалось, что вы не верите в Бога.

Рагдаев слегка смутился и с каким-то испуганным любопытством спросил:

— Нет, почему вы так подумали? А впрочем, дорогой мой, я ничего не знаю. Одно только знаю, что я ужасно устал. Устала душа, и все надоело. Лень даже с бабами встречаться. Все эти лицемерные предварительные разговоры... И тело свое собственное надоело: мяса много, жира много. Все надоело. «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...» Замечательные слова, которые я обожаю. Не могу я, не могу я читать вашего Глебова. А вот когда мне трудно жить, перечитываю Пушкина, ах, какой был человек!..

Так, беседуя, мы шли вдоль огромного неба. Солнце садилось все ниже. В торжественном, но торопливом шествии, невидном отсюда за холмами того берега, его, словно умирающего царя или Бога, уносили в подземную огненную усыпальницу. Мы не прошли и полпути, как оно скрылось совсем. Но еще долго было прозрачно и светло, и в небе все не угасали пласты райски-нежных оттенков зеленого, розового и голубого. В этом великом покое вечера теперь вспыхивала и с проворством ящерицы опять исчезала то кро-

вавая, то брильянтовая надпись: «Спрэй» (я вспомнил — такой жир в банках). И дальше, на железной башне, измельчавшей родственнице Эйфелевой, и в другую сторону, до самого Вашингтонского моста, зажглись зеленые и красные огни реклам. Казалось, их отражения в черной воде уходят в бездонную глубину, и весь тот берег, как на сваях, стоит на зыбких, разноцветно-огненных столбах.

## V

Бобровский пришел, когда все уже собрались. Он мало постарел. Совсем теперь белые волосы приятно смягчали лиловый оттенок его щек и шишковатого носа. Он держался так прямо, что меня не оставляло вздорное впечатление, будто одна нога у него деревянная. С очаровательной старосветской любезностью он поцеловал у хозяйки руку и, вскинув монокль, начал осматриваться с оживленным, снисходительным и чуть насмешливым выражением. Он был теперь главой одного из тех политических объединений, которые возникли с наплывом новых эмигрантов. Только что вернулся с какого-то совещания в Мюнхене. Как сказала мне одна его верная поклонница, он переживал «вторую весну».

Когда я подошел к нему, он посмотрел на меня с холодным недоумением. Я растерянно спросил:

— Алексей Николаевич, вы меня не узнаете?

— Да, — сказал он с усмешкой, — узнаю, — и, отвернувшись, стал с улыбкой что-то говорить своей соседке.

Странно, перед войной, в Париже, он так всегда внимательно ко мне относился, приглашал сотрудничать в журнале, который он тогда издавал. Ему, верно, что-нибудь на меня наговорили. Я бодро спросил, могу ли я с ним повидаться.

— Дддаааа, — недовольно промычал он после неприлично долгого молчания.

Он все-таки назначил мне, когда к нему прийти, и я все-таки пошел.

Он жил в особняке, почти таком же, как Рагдаев. Он принял меня в большой комнате, уставленной по стенам книжными полками до потолка. Заметив мой взгляд, сказал:

— Это дом моих друзей-американцев. Я знал их еще по Петербургу. Я здесь только гость, но, как говорят по-английски, paying guest*.

— Если бы этот дом принадлежал мне, то разве так бы двинулась русская акция, — прибавил он с упреком судьбе, несправедливому мировому общественному мнению, слепым главам правительств, которые не хотели его слушать. В его голосе мне почувствовалось такое же сожаление, какое я испытывал при мысли, что не могу заниматься живописью: вот уже рожда-

* Гость, который за себя платит (*англ.*).

ется что-то созданное тобой и могло бы воплотиться, но мешают неодолимые препятствия. А время и силы уходят, уже не за горами старость, так и умрешь, не свершив задуманное.

Указав мне на кресло, Бобровский сел на диван и без всякого вступления стал рассказывать, как перед самым приходом немцев ему прямо чудом удалось уехать из Парижа. Видимо, он был убежден, что я к нему пришел именно для этого: узнать, что с ним было за все время, что мы не виделись, и считал своим долгом удовлетворить мое любопытство. Кроме нас, в комнате никого не было, но мгновениями он говорил так громко, что казалось, он обращается не ко мне, а к незримому сонму свидетелей истории, молча внимавших его рассказу, чтобы запомнить его для вечности. Когда же он вспоминал о моем присутствии, он так щурил свои близорукие глаза, чтобы меня рассмотреть, будто я находился от него на большом расстоянии. Между тем нас разделял только узкий, длинный стол для газет и журналов.

Он кончил говорить о себе. Я ждал, сейчас он начнет расспрашивать обо мне и о других участниках наших собраний у Мануши. Ведь он ходил на эти собрания и с благожелательной снисходительностью слушал наши споры, был другом Мануши. Он не мог не знать, что не только сам Мануша, но и многие другие участники нашего кружка погибли во время войны, отдали свою жизнь за те идеалы демократии, справедливости и свободы, к борьбе за которые он всегда призывал. Даже я, хотя, по сравнению с другими, я так мало сделал, я все-таки пошел тогда на войну за эти идеалы, рисковал жизнью, пять долгих лет мучился в плену, это как на каторге. Не может быть, что он ничего меня не спросит.

Но Бобровский молча смотрел на меня с вопросительным и строгим выражением. Он, очевидно, недоумевал, почему теперь, после того, как я узнал все, что с ним случилось за эти годы, я не встаю и не ухожу. Сомнения не могло быть: аудиенция кончена. Мне было странно и неловко.

Я вспомнил даму, которая говорила, что Бобровский переживает «вторую весну». Теперь я понял, что она хотела сказать. Долгие годы беженской жизни были для него годами непоправимых мучительных сожалений. Как все это случилось? Сначала тот освещенный солнцем истории вдохновенный час: февраль семнадцатого года. Как новый Цицерон, призванный всеблагими пить из их чаши бессмертие, он, молодой, красивый, «горящий», возлюбленный сын интеллигенции и народа, произносит с балкона бессмертную речь, прогремевшую на весь мир. Амнистия всем политическим заключенным, отмена смертной казни, свобода совести, свобода слова, печати, собраний, стачек, всеобщее, тайное и равное избирательное право. Приход интеллигентского миллениума. Конечно, не он один вывел Россию на путь свободы, но он был самый вдохновенный. И что же, обещанное счастье обмануло. Как в страшном сне, когда хочешь и не можешь поднять руку, он видел гибель свободы. Россия изменила ему, и он, избранник революции, должен был уйти на чужбину. Десятки лет прошли с тех пор. Он все старался доказать — эмиграции, миру, истории, — что большевики победили не по

его вине. Наоборот, он все сделал, чтобы спасти Россию и свободу, уговаривал, указывал, предупреждал, — его не хотели слушать. Но в томительные часы бессонницы ему, может быть, приходило страшное сомнение, а что если он сам сделал тогда какую-то непоправимую ошибку, которая привела к гибели свободы?

Но теперь, когда после войны в эмиграции неожиданно появились «массы», сомнения исчезли. Не только новая эмиграция, но, может быть, вся подъяремная Россия, раскаясь, была готова признать его правоту и опять за ним идти. Злые чары рассеялись. Он опять стоял на *том* балконе. Оттуда, в море голов людей, которые пришли услышать от него глаголы надежды, как мог он рассмотреть меня и моих погибших товарищей? Да и не до того ему было. Сколько съездов, совещаний, сколько радостно волнующих писем из дипийских лагерей! Его помнят, любят, зовут. А я с моими мертвыми только отнимал у него время, нужное ему для живых.

Но я чувствовал, что за его теперешним, подчеркнуто пренебрежительным ко мне отношением было еще что-то другое. В Париже, когда у него, по его словам, не было «окружения», мы, тогдашние «молодые», недостаточно ценили честь, какую он нам оказывал, предлагая писать в его журнале. И вот теперь, когда он опять «играл роль» и я пришел к нему в надежде вернуть его прежнее ко мне расположение, ему доставляло некоторое мстительное удовлетворение дать мне почувствовать, как с нашей стороны было нелепо думать, будто он, Бобровский, один из главных героев космической драмы русской революции, мог нуждаться в нас, безвестных выходцах со дна парижского «русского Монпарнаса».

Я все-таки решился:

— Алексей Николаевич, я ищу работу и подаю прошения в разные места. В анкетах нужно указывать рекомендации. Могу ли я ссылаться на вас?

Он не ожидал, что я его об этом попрошу. Наступило трагически долгое молчание.

— Видите ли, я никогда этого не делаю, — сказал он наконец.

Но его обычное великодушие победило в нем дурное ко мне чувство. Он не хотел быть мелочным. После нового долгого молчания он, будто что-то в раздумье рассматривая, неохотно сказал:

— Да, конечно, вы можете называть мое имя, да, конечно...

*

Еще долго потом я с мучительным чувством вспоминал, как я ходил к Бобровскому и как он меня принял.

В мои первые дни в Америке многие радушно помогали мне устроиться. Я с благодарностью думал об этих деятельно добрых людях, но мне не приходила мысль записывать их разговоры. А вот о встречах с Бобровским я все записал. Оскорбленное самолюбие мешало мне забыть. Я стал даже записывать из того, что мне случалось о нем слышать, все, выставлявшее его в смешном виде. Например, мне рассказали, будто бы он сказал кому-то:

«Я мог бы стать большим музыкантом, но я все отдал России, и вот — благодарность!» Я прибавил тогда к описанию того, как я к нему ходил, такую подробность: когда он со мной прощался, я будто бы видел за его спиной открытую дверь в соседнюю комнату. Там прелестно, как у Вермеера, свет падал на лощеный паркет и на лаковую крышку большого концертного рояля. На рояле — большая фотография Бобровского. Я так живо себе это вообразил, что мне начало казаться — я на самом деле видел тогда у Бобровского этот рояль. Впрочем, я и теперь не уверен: рояль, может быть, действительно был.

Я записал также рассказ, что когда маленького Алешу Бобровского спросили в детстве, кем бы он хотел быть, он сказал: «Звонарем на самой высокой колокольне. Я буду звонить, и все будут меня слушать, во всем мире». А в гимназическом спектакле он очень хорошо сыграл Хлестакова.

Я злорадствовал, записывая такие рассказы, а между тем я знал, в истории было немного таких человечных политических вождей, как Бобровский. Возможно, именно потому, что в нем не было необходимой для вождя беспощадности, он и потерпел неудачу. И все-таки при всей его человечности в нем было что-то от толстовского Наполеона. Такая же неспособность сознать свою ответственность, такая же наивная вера в свое призвание, такое же равнодушие к страданиям и гибели миллионов людей. Я помнил, как в Париже, незадолго до войны, когда все жили в такой тягостной тревоге, он, возбужденно блестя глазами, говорил:

— В какое интересное время мы живем!

Мне казалось, я все лучше понимаю, что с ним произошло. Завороженный видением своей исторической роли, он слишком долго жил вне самого себя. Не только жизнь других людей, но и его собственная внутренняя жизнь перестала доходить до его внимания. Через столько лет и совсем в других условиях в нем все еще продолжали действовать механизмы привычек поведения, которые сложились в нем в те дни, когда на него смотрел весь мир. Так старые актеры и по окончании представления продолжают говорить и держаться, как герои, которых они изображали на сцене.

Эта неспособность Бобровского почувствовать изменение обстановки, это отсутствие гибкости, верно, и производили впечатление, будто одна нога у него искусственная. Да не только нога. Что-то механическое чувствовалось и в его резких движениях, и в его отрывистой речи. Выступая на скромных эмигрантских собраниях, он сначала мямлил, с трудом подыскивал слова, но постепенно разгорался и вот прежний Бобровский, Бобровский февральских дней, овладевал его жестами, его голосом. Он на глазах менялся. У него в руке мимически вырастал букет роз, как в тот незабвенный день, когда бледный, с чудовищными мешками под глазами он, словно жених на свадьбу, ехал в открытом автомобиле по улицам революционного Петрограда. Все больше вдохновляясь, он начинал бегать по эстраде, одержимо выкрикивая несвязные фразы, которые так действовали тогда на толпу. Да и в эмиграции все еще продолжали действовать, даже на тех, кто считал, что он погубил Россию. В Париже, на одном его докладе, я слышал, как дама в первом ряду

с ненавистью и вместе с тем с невольным восхищением громко сказала: «Какой негодяй, но какой гений!»

## VI

В июле друзья повезли меня на своем автомобиле на океан, в Асбери-парк. В Нью-Джерси дорога сначала шла по болотистой местности, по виадуку на бетонных столбах. В низине, по берегам зеленого, стеклисто блеставшего ручья — длинные строения мастерских, трубы, краны, дымы. Впереди я вдруг увидел подымавшийся в небо, совсем сказочный, горбатый мост. По его крутому скату, блестя на солнце, быстро и суетливо сновали вверх и вниз автомобили, похожие издали на металлических жуков. Мы скоро въехали на этот мост. С его высоты открылся вид на долину, пересеченную во всех направлениях широкими автострадами. По каждой, со стремительностью воды из открытых шлюзов, нескончаемыми потоками катили автомобили. Ничего подобного я не видел в Европе. Построенные циклопами подъезды к фантастическому Метрополису будущего. Только теперь я по-настоящему почувствовал огромность Нью-Йорка.

Потом мы проехали мимо поля, застроенного серебряными цистернами. Одна стояла отдельно, в стороне от других. Около нее, с любовью к ней клонясь, как нежное привидение, как ангел, как Офелия, клубился столб белого дыма.

В Асбери-парк на много верст огромный пляж, усеянный купальщиками, бесчисленными, как тюлени на лежбище на берегу Ледовитого океана. Я видел в кинематографе: волны, закипая пеной, разбиваются о черные скалы, летят ледяные брызги. Чувствовалось, что ледяные. А здесь жара, светлый на солнце песок; вдоль пляжа, как в Довиле, дощатый настил. Но Довиль только для богатых, а тут для обыкновенных, *простых* людей, для всех, для народа. Прообраз будущего золотого века, когда всего будет вдоволь для всех. Праздничная толпа медленно движется мимо бесчисленных закусочных и увеселительных заведений, балаганов, миниатюрных гольфов. Любители стреляют с берега, но не по голубям, как в Монте-Карло, а особые катапульты мечут в воздух диски. При попадании эти диски разлетались вдребезги.

Вечером возвращение в Нью-Йорк по другой дороге, мимо залива. Вдоль лукоморья россыпь огней фабричного поселка. В порту призрачно-серебряные в прозрачности вечернего воздуха, какие-то обезглавленные подъемные краны, а на другом берегу, плоском и печальном, ни домов, ни огней. Там за еле различимым мысом виднелись пустынная бухта и опять полоска земли, и еще бухты и мысы, и только далеко за ними, сливаясь с ночью, синел открытый океан. Как на картине Пюи де Шаванна «Бедный рыбак», но еще вечернее, еще печальнее и прекраснее.

Я знал: чувство грусти могло быть только во мне, а не в самом пейзаже. Пейзаж не может грустить — это внешний, неодушевленный мир. Сколь-

ко раз, особенно на войне, я испытывал это страшное ощущение равнодушия природы. Моя же склонность к антропологическим уподоблениям, мое всегдашнее желание, чтобы мир имел человеческое значение, — это, верно, только пережиток древнего мифотворчества. Я знаю, тони я там, этот далекий погружавшийся в ночь берег будет присутствовать при моей гибели с полным равнодушием. И все-таки мне казалось — в таинственном сиянии светлых сумерек безмолвно совершается какая-то душераздирающая драма, и эти заливы и мысы приглашают меня остаться с ними. Им так же грустно, как мне, грустно, что я уезжаю и никогда не смогу обойти и узнать их всех.

Нет, если пристальнее вглядеться в это впечатление, им грустно потому, что не только я, а никто о них не знает. А то, о чем никто не знает, все равно что не существует. Они не могли с этим примириться. Им нужно было пребывать в чьем-то вечном сознании. Вот почему им грустно — они не знали, есть ли Бог. Нет, это я не знаю, а они знают и хотели мне это объяснить, но я не понимал их языка. Когда я думал, что сейчас пойму, моя мысль останавливалась перед чем-то неопределимым, загадочным, невероятным. Мир ускользал от меня, терял всякое значение.

Впрочем, я согласен с теорией, что наше сознание на самом деле присутствует во всем, что мы видим. Я убеждал себя в этом, но не мог заглушить тоски. Почти с мучительным восхищением я видел, как прекрасны эти мысы и заливы, и все-таки я был отделен от них, не мог там быть, не мог остаться. Автомобиль увозил меня все дальше и дальше, и от этой невозможности вместить мир что-то болезненно и в то же время сладостно разрывалось у меня в груди.

Стараясь теперь как можно точнее описать это смешанное чувство сожаления, грусти и счастья, почти восторга, я вдруг неожиданно понял: ведь, собственно, я, как в детстве, жалел, что я не вездесущ. Как странно, я никогда бы не сказал изъявительно: «Хочу быть вездесущим». Это было бы смешно — вездесущ только Бог. А между тем я вижу теперь, что именно этого я хотел, именно об этом всегда думал. Конечно, когда я рассуждал сознательно, такая нелепая мысль не могла прийти мне в голову.

Слева теперь открылось пустопорожнее поле. На дальнем его конце выстроились сложные серебряные конструкции нефтеочистительного завода. На металлических вышках, как в Дантовом аду на башнях города Дито, пылали в темном небе языки пламени.

*

— Поезжай на Баури, — посоветовал мне знакомый поэт, — сто́ит посмотреть. Это нью-йоркское дно. Туда попадают все, кто не выдержал безумия городской сутолоки, перестал поспевать за движением чудовищных конвейеров Нью-Йорка. Понимаешь, своего рода свалка для отработанного человеческого шлака.

В то время тут еще проходила последняя оставшаяся в Нью-Йорке линия наземного метро. Настил железного моста загромоздил улицу во всю

ширину. Над головой с тяжким грохотом и лязгом поезда проносятся совсем близко от стен домов. Казалось, захоти кто-нибудь из жильцов, то мог бы, протянув руку из окна, тронуть пробегавшие мимо вагоны.

На тротуаре толпа. Я еще издали почувствовал: это особенная толпа, будто ознаменованная чем-то страшным. Подойдя ближе, я с волнением рассмотрел: трясущиеся, с перепоя, в засаленных обносках, небритые, красноносые, с мутными безумными глазами. Один, с верхней губой, отвратительно съеденной какой-то ужасной болезнью, что-то продает из-под полы. Он взглянул на меня беглым настороженным взглядом, но, увидев, что я не опасен, продолжал возбужденно торговаться. У другого на голубоватом разбухшем лице — словно ножом прорезанные щели заплывших глаз.

Стыдясь собственного здоровья и благополучия, я шел среди них, озираясь с жалостью и ужасом и сейчас же отводя глаза. Боялся, вдруг заметят, что я их рассматриваю.

Я пошел в другую сторону. Здесь было меньше народу, и улица казалась шире, а дома ниже. Но все такие же пропащие, спившиеся люди стоят у входа в ночлежки или закусывают, сидя на тротуаре. Другие спят в дверных нишах запертых лавок. На противоположном тротуаре высокий худой человек, со следами побоев на щеках и свежей кровавой ссадиной на носу, выкрикивает угрозы каким-то обидчикам. Несмотря на его жалкие, злобные крики, все на этой улице — и люди и прокаженные дома — производило неясное впечатление усталости от жизни, усталости самой жизни.

Пузатый кривоногий старик, с толстым, как вымя, зобом, обросшим редкими белыми иглами, пошатываясь, переходит улицу. Он обернулся и посмотрел на меня сердито и вместе с тем как бы стыдливо. Было сразу видно, он недолго протянет. Да и другие тоже. Они умирают у всех на глазах. А ведь по Евангелию они — наши братья: «Поелику вы не сделали одному из малых сих, то не сделали Мне». Этот старик с зобом — один из малых сих, с которыми отожествлял себя Христос. Не любить его — не любить Христа. Но я, как неверующий у Бодлера. Ангел говорит ему, нужно любить бедных, глупых, злых, еще каких-то, а он отвечает: «Не хочу». Нет, я хотел бы, но не могу. Я не совсем бесчувственный, мне жалко этого старика, но он внушает мне страх и отвращение, мне хочется поскорее уйти, а по Евангелию нужно помочь. Настоящее сострадание не боится, не бежит.

От одной мысли, что нужно что-то сделать, начать жить по-другому, я почувствовал усталость. Зачем же тогда я все говорю о христианстве? Это смешно, глупо, лицемерно. Ведь я знаю, — я никогда не стану христианином. Всегда так плохо, так устало себя чувствовал, а христианская любовь требует так много сил. Но разве я виноват, что я хилый, что во мне нет жизни, нет любви? И какая влажная, тяжелая духота! Нечем дышать. Открываешь рот, а воздуха нет.

Я шел, не веря, что люди могли согласиться жить в такой духоте, наверное, сейчас повеет свежим воздухом, *должно* повеять. Но я все не мог выйти из пределов застоялого, прямо до удивления, горячего воздуха. Никуда не

спастись. Сквозь смигивание багрового свода моих бровей я видел светлую на солнце мостовую и бледное, подернутое неприятной белесой поволокой небо над домами.

Почему я должен заботиться об этих спившихся людях? Я сам едва жив. Последние доллары подходят к концу, а работы нет. Меня самого, может быть, ждет такая же нищенская старость здесь, на Баури. Нет, это неправда. Я все еще надеюсь, что моя жизнь переменится к лучшему, а у них впереди только нищета, болезнь, смерть. И ничего не исправить. Я всегда мечтал, что в будущем производство достигнет такого развития, что все всем будут раздавать бесплатно и человеку больше не нужно будет заботиться о хлебе насущном. Древнее проклятие будет снято. Но алкоголики, верно, и тогда останутся, и так же будут пить, даже пуще прежнего. Ведь теперь им поневоле приходится промышлять чем-нибудь. Говорят, некоторые из них, тряпичники, хорошо зарабатывают. А тогда у них совсем не будет причалов к действительности. Впрочем, они, может быть, счастливее и мудрее нас. Встают, когда хотят, никуда не торопятся, не боятся, что чего-то не сделали, не думают о завтрашнем дне. Я читал, стремление к крайнему возбуждению, к пароксизму, так же свойственно жизни, как инстинкт самосохранения. А алкоголь — одно из средств достичь такого состояния. Странно, я так боюсь и не люблю пьяных, а ведь у меня это с ними общее. Алкоголь помогает им достигнуть того чувства восхищения и освобождения, которое я испытывал в те странные мгновения, когда мне казалось, что мне сейчас откроется понимание всего. Ведь вот и в дионисийском культе соединение души с Богом, энтузиазм, достигался посредством опьянения. И древние арийцы тоже прибегали к опьяняющему напитку, который они называли «сома». А всякие священные яды, кактусы, наркотики! Я читал целый трактат об этом. Но все это механические способы. Я *знаю* подлинный опыт только в любви. А во мне нет любви...

## VII

Сад на берегу моря. Со мною все мои близкие. Щемящая жалость: я недостаточно их любил. Тем радостнее было знать, что на самом деле никто из них не умер и не должен умереть, так как смерти нет. Меня даже удивляло, как я не знал об этом прежде.

Внезапный взрыв безжалостного звона разрушил счастье открывшегося мне таинственного объяснения. Оставленная отливом сна моя голова лежит, чугунно вдавившись в подушку. У самых глаз — желтый, непонятный, посторонний предмет — моя рука. Она будет такой после того невероятного, невообразимого, чудовищного события — мерзостно восковая, как у всех мертвецов... Этот день неизбежно придет, с каждым часом приближается из темноты будущего.

Я возвращался из сна в постороннюю мне внешнюю действительность без радости, как Лазарь из гроба. За валом предплечья, сквозь дым печально

и сочувственно молчавших сумерек, проступают отвесные стены. Какой-то грот или пещера? Но я сейчас же узнал мою комнату. Под моим взглядом все мгновенно установилось на своих обычных местах: шкаф, стол, стулья. Равнодушные соглядатаи моей жизни, они на самом деле все время здесь присутствовали, пока я спал. Я смотрел на них со странным чувством. Так Одиссея в аду смущала бледность теней героев.

За окном шум улицы, гудки автомобилей. Нынче понедельник, надо идти на службу. Это об этом хрипло звенел будильник, а вовсе не о новой жизни, как тот петух у Мандельштама: «на городской стене крылами бьет...» Пузатенький, скорее толстый воробей, чем петух, будильник пыжился захлопать крыльями. Выше, впотьмах, еле различимый, непроявленный образ — большая птица на заборе, ворон... (чем внимательнее, чем точнее описывать непосредственные впечатления, тем невразумительнее получатся).

Видения сна еще не совсем исчезли. Мне вспомнилось блаженное молочно-голубое сияние Бормского залива в мае. Еще пустой пляж. У берега море чуть колышется, как в плоском тазу. Невысокие волны лениво катятся одна за другой, с тихим журчанием разливаются по отмели и стекают обратно. Так уползает подол мантии. А следом солнце торопится стереть свое отражение, на миг просиявшее в неудержимо тускнеющей глазури высыхающего на глазах песка. Я знал, волны говорят о чем-то самом важном, но не мог заставить себя вслушаться. Спросонья я не сразу вспомнил, это только метафора, волны не говорят.

Холод внезапного понимания: я всегда себя обманывал, ожидая, что мне что-то откроется. Какая чепуха, глупость! Моих восприятий, моего сознания хватает, чтобы ходить на службу, чувствовать усталость, знать, что я умру, но когда я хочу сосредоточиться, всмотреться, чувство привычности окружающего исчезает. Сознание останавливается тогда перед чем-то несоизмеримым с представлениями и словами. В устрашающей неизвестности всего оставалось только чувство моего необъяснимого существования, соединенное с холодной, угрюмой, ясновидящей нелюбовью к самому себе. Полное одиночество. Я ничего не находил в себе: ни любви, ни надежды, ни вдохновения, ничего глубокого, радостного. Только на поверхности сознания проходят ничтожные, бессвязные мысли, бессвязные образы, бессвязные воспоминания. Прежде я всегда молился: «Господи, спаси и сохрани», а теперь было страшно не смерти, которая придет извне, а смерти внутри меня. Мне обязательно нужно было, чтобы был Бог, для того чтобы Он пробудил во мне... Тут возникали только очень приблизительные сравнения: колодец, что я рыл в плену, в Германии, — все ждал, вот забьет вода, — или родник на юге Франции, на дороге в Сант-Максим. Какое тогда было солнце!

Звон будильника давно смолк. Страх опоздать на службу подбросил меня на постели. Ноги привычным движением всунулись в туфли. Минутная стрелка будильника неумолимо продвигается по черным меткам. Но я все сидел, покачиваясь в изнеможении. Сейчас пойду под душ, потом побреюсь, оденусь. Но прежде нужно героическим усилием заставить себя встать.

Неудержимо тянет повалиться обратно в сон. Во всем теле такая усталость, словно я проснулся на другой планете, где воздух тяжелее, чем на земле. Люди будут летать на другие планеты. Я потому так боюсь смерти, что жизнь проходит, скоро уже старость, а я еще по-настоящему не начал жить.

До самого вечера, в форменной куртке, вроде военной, и в штанах с лампасами, я буду ходить, разнося по канцеляриям письма и пакеты. Ни завтра, ни послезавтра ничего другого, ничего более радостного не предвиделось. Мне было странно, что это и есть моя жизнь.

Глупость моего поведения на людях под действием механизмов обиды, зависти, раздражения, страха. И другие люди такие же механические. Вчера в автобусе какая-то растрепанная пожилая женщина, с красным возбужденным лицом, громко говорила сама с собой, так быстро, что ничего нельзя было понять. Только повторялись все одни и те же гневные интонации. Я ехал минут двадцать, а она все говорила. Чувствовалось, ее сознание остановилось на одной мысли, она говорит машинально. Иначе она не могла бы так долго непрерывно говорить... Или негритянка в метро... Длинное черное лицо, обрамленное страшными войлочными патлами. Она вдруг хватала себя рукой за лошадиные зубы, словно хотела от нестерпимой боли их вырвать, и, мотая головой, громко кричала, но мгновенно вдруг успокаивалась, потом опять кричала.

Один из героев Достоевского говорит о людях: «недоделанные, пробные существа, созданные в насмешку». «Созданные в насмешку» — это неверно. Если жизнь и мир не имеют человеческого значения, если нет Бога, то кто же тогда насмехается? А если Бог есть, Он не стал бы создавать людей в насмешку. Но «недоделанные» существа — это правильно. Я сам всегда чувствовал себя таким. Неясность моих мыслей, неспособность сосредоточиться, додумать. Недавно я прочел — в пещере недалеко от Пекина среди останков других животных нашли кости синантропа. Череп больше, чем у гориллы, но все-таки плоский, а не куполообразный, как у человека. Скульпторша восстановила по обломкам костей почти человеческое лицо, с печальными и страшными глазами. Это была самка, ученые в шутку назвали ее Нелли. Рядом с костями нашли каменные орудия, пепел. Правда, некоторые ученые думают, что добывали огонь и делали орудия не синантропы, а какие-то другие животные, более человекообразные. Они убивали и ели синантропов. Значит, и Нелли они убили и съели.

Теперь у человека череп емче, куполом, но достаточно ли все-таки емкий? Почему мне тогда так трудно думать? Я не выиграл в «генетическую лотерею». Родиться бы на полвека позже! Наука так быстро теперь идет вперед. Скоро найдут способы усовершенствовать мозг, заставят, например, работать множество неиспользованных еще нейронов или даже будут прибегать к прямому воздействию: механическому, химическому, еще какому-нибудь. Вот было бы замечательно: у меня в голове вместо теперешнего неверного света зажжется живое солнце. Или произойдет естественная мутация. Говорят, эволюция в человеке не только не остановилась, а совершается все

быстрее и быстрее. Вдруг еще при моей жизни начнется перерождение человечества в какой-то высший зоологический вид. То, что я так этого хотел, так был уверен в глубине сознания, что это должно произойти, и даже напряженность положения в мире, и апокалиптические взрывы чудовищных атомных бомб, и то, что людям стало тесно на земле, — все казалось мне залогом, что время уже приблизилось.

*

Должность несложная. Каждые полчаса обойти десятка два канцелярий, принести и забрать пакеты, письма, книги. Совсем не тяжело, но к вечеру я очень уставал, вероятно, главным образом, от скуки. Утром еще ничего, кое-как удавалось продолжать думать. Но часам к четырем жизнь во мне почти останавливалась. Только считаешь, сколько еще остается до конца занятий. Чтобы бороться с отчаянием, я старался думать о Восточной реке. Каждое утро, когда я шел на службу, то голубая, то серая, то сверкая серебряной лавой, она встречала меня в пролете, между огромным остекленным небоскребом, где я работал, и соседним заводом. На крыше этого завода росла целая роща толстых высоких труб. Над ними, заволоченное их черным дымом, небо раскрывалось в каком-то грозном смятении, как на картинах Страшного суда, как над вокзалами, когда железные дороги были еще не электрифицированы.

В России фабричные трубы, кажется, не такие были. Я смотрю из окна поезда. Зеленые деревья, низкие домики. Над ними таинственная, без окон и дверей, круглая, тонкая как свечка, высокая кирпичная башня. Если стоять там наверху — не удержать равновесия. Качнулся, хватая руками воздух, и полетел вниз, в страшное черное жерло. Ведь для того, чтобы дым мог выходить, она сверху донизу полая. А как же трубочисты? Как они влезают наверх? Я не мог бы, голова бы закружилась. Но вместе с боязнью — восхищение. Она так нежно розовела в безоблачном небе. Там была добрая, проникнутая знанием вечного существования, радостная тишина. Конечно, в детстве я не думал такими словами, но я *видел* эту тишину, в ней было обещание покоя и счастья.

А эти трубы на крыше нью-йоркского завода были грязно-бежевые. Неприятное впечатление: не то отростки какого-то окаменелого гада, не то обугленные стволы допотопных деревьев. Сбившись в кучу, они стояли батареей наведенных в небо тяжелых зенитных орудий. Впрочем, если вглядеться пристальнее: завод как завод. По углам цементированного дворика даже пробивается травка.

Недалеко от завода, на небольшом пустыре, росли три дерева. Сегодня шальной ветер буйно терзал, крутил их ветви. Будто разыгрывая пантомиму горя, сетуя, жалуясь, они кругообразно кланялись вершинами, потом, встряхиваясь всеми листьями, быстро и упруго выпрямлялись и сейчас же опять кланялись, и так без устали, снова и снова.

Обходя мои канцелярии, я старался задерживаться около окон. В те, что выходили на запад, была видна, как на дне горного ущелья, Первая аве-

ню. За ней, во всей славе своих небоскребов — Манхэттен. Могучие башни Крейслера и Эмпайр-стэйт, твердыня Вальдорф-Астории, Рокфеллер-центр, еще какие-то многоэтажные громады, то кубические, то уступами, как пирамиды ацтеков. У их подошвы — плоские кварталы четырехэтажных домов. По сравнению с этими ничтожными домами еще больше чувствовалась нечеловеческая громадность небоскребов. Из окна тридцать шестого этажа я смотрел на них, как смотришь из самолета на альпийские вершины.

Я нашел в этом каменном царстве те три дерева на пустыре. Как раз их осветило солнце. Меня поразил прелестный цвет их листвы — мягкий, матово-зеленый, как на картинах венецианской школы. Они по-прежнему продолжали свою пантомиму. Я вдруг почувствовал радость. Мне казалось, я подсмотрел жизнь какого-то волшебного мира. Нет, не подсмотрел, а, удивляясь, как я мог забыть об том, вспомнил, спохватился, что мир прекрасен. Словно я все время по рассеянности жил далеко от моего настоящего существования на земле, а теперь вдруг понял, какое чудо жить. Мне захотелось проверить: не мираж ли это? Нет, любовь к этим деревьям, к зеленому цвету их листвы оставалась. Любовь и радость. Сегодня мне было достаточно только видеть, и я не жалел, что эти деревья были вне меня, что я с ними не соединен.

Еще больше я любил останавливаться около окон, что выходили на Восточную реку. На Куинс, на том берегу, было скучно смотреть. Железный мост, светло-коричневая, словно сложенная из детских кубиков церковка. За ней оловянно светлеет не то канал, не то асфальт. Приземистый, жалкий город по сравнению с Манхэттеном. Все какие-то склады, заводы, цистерны, дымят фабричные трубы. Будто вся земля там дышала, дымилась сопками. Проходили облака, и цвет столбов дыма менялся. То серые, то ярко-белые, то бурые, почти черные, они, клубясь, подымались в небо, бледнея и тая в вышине, как призраки.

А на реку никогда не было скучно смотреть. Странно, внутри здания, по сотам канцелярий, сновало столько озабоченных служащих, стучали пишущие машинки и телетайпы, обсуждались в устланных коврами кабинетах важные дела. И все-таки казалось, здесь никогда ничего не происходит. Через одинаковые промежутки времени я мерным шагом обходил мои канцелярии. Так ходят фигуры на средневековых часах. А на реке все поминутно менялось, жило, двигалось. Сколько маленьких и больших пароходов, буксиров, паромов, барж. Посередине реки — каменным аллигатором дремлет островок. На его черную спину слетались чайки. Чувствовалось, океан совсем близко.

И всегда все по-иному освещено. Один день солнце. Небо почти полетнему голубое, лишь снизу линялое, почти белое. Но и эта белесина постепенно голубеет. Вода совсем синяя. А на другой день все голубовато-серое и только на юго-востоке лиловая мгла и сквозь эту мглу нежно расцветает розовое сияние. Еще через день весь вид за окном будто внутри огромного хризолита: зеленая река, зеленое небо.

Только во время перерыва на завтрак я мог смотреть подолгу. К счастью, окна столовой для служащих выходили на восток.

Столовая всегда переполнена. Сплошной гул голосов, звякают ножи и тарелки. Только изредка вдруг отчетливо прозвучат отдельные слова или раскаты смеха. От всего этого шума, от усталости и оранжерейно нагретого воздуха начинала кружиться голова. За усовершенствованным зеленоватым стеклом окон — небо, облака. Внизу река. Между светлых и будто неподвижных лас стремнина рябит мелкими свинцовыми волнами. Если долго смотреть, начинает чудиться — бетонно-стеклянная, сорокаэтажная громада отплывает в воздушную бездну.

Сегодня я оказался за одним столиком с Джо. Он рассказывал о своем последнем любовном похождении: «Когда она разделась, я прямо ахнул, настоящая нимфа!»

Рассеянно взглянув, я вдруг увидел: в окне бесшумно движется большой пароход. Дым из его трубы развевается по ветру гордо и прекрасно. Так развевались перья на шлемах паладинов, так на картине Тициана Карл Первый в золоченых доспехах едет на коне, держа копье наперевес. Билось сердце. Будто духовой оркестр играл там торжественный марш. Но я не мог расслышать. В потустороннем ландшафте за стеклом корма парохода неудержимо, как с экрана волшебного фонаря, ускользала за косяк оконной рамы.

Я стал всматриваться. Пасмурное небо набухло снегом, только на юге, над белыми вершинами облаков, бездонная синева. Все чудесно освещено, одновременно и ярко и туманно. Поперек реки теперь перебивается буксир. Из его высокой трубы всходит в мглистом тумане жемчужно-белый, неземной дым. Потом ветер переменился, дым свалился на бок, стелется почти над самой водой, но вдруг опять взвился и вот обернулся вокруг трубы. Труба стала похожей на танцовщицу с шалью или на тореадора с мулетой. Ветер кружит снежинки.

Боже, до чего прекрасно! Казалось, душа не выдержит такого восхищения. Нет, это не может перестать быть. И все это во мне, мои восприятия. Значит, и мое сознание сохранится... Недоказуемая уверенность в этом и в то же время мучительное недоумение. Внизу, за окном, под расползающейся кисеей тумана, широкая и многоводная Восточная река спокойно текла в лоне невообразимой бездны. И река, и великий простор неба, казалось, смотрели в эту бездну с молчаливым согласием. С таким выражением переглядываются взрослые, когда говорят о недоступном пониманию детей. Но я отъединен от этого покоя, всегда чувствую страх. Так странно: видеть мир, знать разумом, что меня создали и во мне действуют те же силы, которые создали его, — и одновременно знать, что в этом дивно прекрасном мире я, как все живое, приговорен к смерти. Небо с равнодушием беспамятства будет смотреть, как я умираю, и Восточная река все так же дремотно будет течь в океан еще миллионы лет. Я чувствовал теперь глубину и холод ее вод, как если бы я лежал там на дне. И такая же отъединенность от людей. У нас у всех более или менее одинаковое сознание, причастное единому, первона-

чальному, всеобъемлющему сознанию, которое должно быть. (Ну, пусть не думают, я не последователь Аверроеса.)

И все-таки никакого братства, на войне убивают друг друга. Да не только на войне, ночью опасно ходить по улицам. Вот это и есть самое страшное, из-за чего не хочется жить — зло в самых истоках жизни. Пусть даже мир не имеет человеческого значения, пусть смерть непобедима, но лишь бы люди, оставшись одни, стали братьями, как об этом мечтал Версилов. Тогда была бы надежда. Это вовсе не сентиментальность. Я видел эту тоску по братству у солдат на войне. Тут какая-то ошибка. Если бы вместо того, чтобы ходить на службу, я мог бы заниматься философией и живописью, мне открылось бы...

— Посмотри на эту блондинку, — сказал Джо, — какие у нее большие груди.

Мне стало досадно. Я сам всегда думал о женщинах. Это мешало мне сосредоточиться.

## VIII

Вчера я был на собрании памяти Василия Павловича Зырянова. Его смерть всех поразила. Он никогда не жаловался на здоровье, а вскрытие показало, что у него был рак.

Я знал Зырянова еще по Парижу. Так же, как Бобровский, он бывал на наших собраниях у Мануши. Но обыкновенно он не участвовал в наших спорах, а только внимательно слушал. Наше увлечение декадентством и мистикой, наши «монпарнасские» разговоры должны были его отталкивать. Он был человек аскетически добродетельный. Мы, верно, казались ему какими-то огарочниками. Но если он мог кому-нибудь из нас помочь, он делал это с готовностью, просто и дружески. Когда по приезде в Нью-Йорк я пришел к нему, он обнял и поцеловал меня, с участием расспрашивал, как я прожил все эти годы, что мы не виделись. Я чувствовал, он по-настоящему был рад, что я вернулся с войны, жив и невредим.

Сначала я шел по Риверсайд-драйв, рассеянно смотря за балюстраду парка, спускавшегося по откосу к реке. Я вдруг опять увидел красоту природы. С каждым моим шагом купы деревьев, как в старинном церемонном танце, перестраивались в новых сочетаниях, и соответственно сдвигались их бархатные тени на освещенных солнцем светло-зеленых лужайках. Все менялось, образуя все новые картины, полные очарования.

Какая волшебная свобода: посмотреть вокруг себя — и увидеть красоту мира. Она возникала, словно по моему велению. Но я почти сейчас же почувствовал усталость. Мне было легче продолжать думать мои обычные унылые и ничтожные думы, чем сосредоточиться на радости каждого мгновения жизни: дышать, видеть свет, небо, деревья, дома. Как странно: нам даром дан гениальный «небосвод», прекраснее и в раю не будет, а вместе с тем жизнь

так устроена, что редко смотришь на небо. Отвлекают земные заботы, злоба дня.

Это несправедливо: мне дано чувствовать прекрасное, но не дано передать. И все-таки, кто знает, если бы я каждый день ходил на пейзажи и подолгу пристально вглядывался, тогда, быть может, начало бы отодвигаться все, что заслоняло от меня мир: заботы, страх, усталость, сладострастие, тщеславие. Я увидел бы...

Но теперь уже поздно. Я так долго живу. Прямо удивительно. Но это в прошлом было столько времени, а впереди уже немного осталось. Мои родители, мой брат, большинство друзей уже умерли. А вот теперь и Василий Павлович. Мне представилось: вниз по течению медленно движется к устью тяжелая баржа.

Думая обо всем этом, я продолжал смотреть вниз, за балюстраду. Я заметил маленького мальчика. С игрушечным ковбойским револьвером в руке он прятался за кустами, подстерегая воображаемого врага. Розовый, пухленький, чисто одетый. Мать, верно, еще укладывает его по вечерам в кроватку и запрещает ему играть и драться с уличными мальчиками, как мне не позволяли в детстве. Но в этом розовом человеческом детеныше — по Достоевскому он был еще в «ангельском чине» — уже проснулся убийца. С восхищением, играя в убийство, он воображал, как, торжествуя, будет стоять над трупом убитого им врага. Удивительно, он мечтал, как о счастье, о том, что представлялось мне таким отвратительным, страшным и скучным, — о войне и убийстве. Тут я с удивлением вспомнил — в детстве я сам мечтал о подвигах на войне.

Я свернул на Бродвей там, где стоит конный памятник. В вышине голова бронзового героя неподвижно реяла, плыла в дивной, люстральной бледности неба.

На Бродвее мне повстречался курчавый, с коричневым лицом мальчик-пуэрториканец. Плачет, хнычет. За ним, жуя резину, другой мальчик, постарше, совсем черный, верно, негр. Впрочем, и пуэрториканцы бывают такие черные. Выражение лица у этого второго мальчика было какое-то не по-детски задумчивое и спокойно-жестокое. Мне представилось: это он побил плакавшего мальчика, и мне стало почему-то ужасно тяжело. Казалось бы, что тут такого: подрались мальчишки, и более сильный и злой побил слабого. Но мне было отвратительно, как перед приступом тошноты. Ведь вот они еще дети, а уже знают закон жизни: сильный бьет слабого. И никакой жалости к побитому у победителя не было. Я чувствовал всем существом: я не хочу этого. Мне приходила странная мысль: пора с этим покончить, это скучно, надоело. Но что же тогда? Ведь стремление к господству, к борьбе, к экспансии — это сущность жизни. Этот безжалостный мальчик просто здоровый, нормальный мальчик. Он живет в согласии с законом природы. А то, что мне этот закон кажется страшным и отвратительным — это признак болезни.

Я почти столкнулся с вышедшим из боковой улицы инженером Кульковским. Он тоже шел на собрание памяти Зырянова. Один из тех новых

эмигрантов, которые сразу выдвинулись по приезде в Нью-Йорк, инженер Кульковский выступал на всех собраниях и получал помощь от всех благотворительных фондов. Обычно он говорил вдохновенно и страстно, но понять его было нелегко. Никто не мог сказать с уверенностью, либерал он или реакционер. Ему помогали некоторые еврейские организации: он был будто бы еврейского происхождения. И в то же время он выступал у монархистов с докладами, которые неприятно поражали своим антисемитизмом даже крайне правых. Говорили, что он состоял и в украинских организациях, и на каком-то собрании памяти Бандеры называл русских «москали, вороги прокляти!». Когда его об этом спрашивали, он взволнованно оправдывался, говоря, что в то время голодал и бандеровцы «заставили» его так говорить, но что он имел в виду не русский народ, а коммунистов.

Мы заговорили о предстоящих президентских выборах. Я спросил Кульковского, за кого бы он голосовал, будь он американским гражданином: за демократов или республиканцев?

— Как за кого, вы же сами знаете, — сказал он, захохотав, но в его глазах промелькнуло беспокойство. Я подумал: «как у затравленного зверя», хотя кроме зайцев я никогда не видел затравленных зверей.

— Нет, не знаю, — сказал я безжалостно.

С опаской, оглянувшись по сторонам, Кульковский, многозначительно на что-то намекая, сказал:

— «Ходить бывает склизко по камешкам иным». — Но вдруг его прорвало: — Да, как же вы думаете? Разве вы не знаете, что теперь в Америке у коммунистов больше друзей, чем в Москве? В Москве, там теперь остались только жулики, карьеристы, сволочь, никто в коммунизм больше не верит, а вот здесь многие еще верят, что это какой-то там важный опыт. То есть они, может быть, даже антикоммунисты, но они марксисты, социалисты. Да не только в Америке, а в Дании, в Норвегии, в Швеции — все социалисты, друзья коммунизма. Что же вы спрашиваете? Я мой выбор сделал! После того как все было продано, после Ялты, после выдачи в Лиенце? Я сам видел, что там делалось, по три человека одной бритвой резались, — говорил он, все более волнуясь, последние слова почти уже выкрикивая с полусумасшедшим блеском в глазах.

Он знал, что я знаю, что он послевоенный перебежчик и не мог быть в Лиенце, но с прирожденным ему чувством драмы он также знал, что его негодование произведет более сильное впечатление, если он будет говорить как очевидец страшной несправедливости, жертвой которой он сам чуть не стал. Со своим измученным лицом, безумными глазами и клочьями белоснежных волос по бокам огромного лба он походил на вдохновенного библейского пророка.

— Да, но ведь тогда была bipartisan policy*, — сказал я неуверенно. (Мне было неприятно думать, что демократия могла так выдать людей на поги-

* Общая для двух больших американских партий внешняя политика (*англ.*).

бель.) — А вот, если бы Рузвельт не провел вовремя необходимые реформы, в Америке была бы социальная катастрофа, и Америка не могла бы теперь помочь Европе, и всюду победили бы коммунисты.

Положив мне на плечо руку и смотря на меня своими запавшими страдальческими глазами, Кульковский сказал неожиданно задушевным голосом:

— Владимир Васильевич, поймите меня, вы же знаете, что я всегда был, есть и буду либералом. Я даже очень сочувствую реформам Рузвельта. Что вы думаете, я не понимаю, какое они имели значение? Но я не могу об этом говорить.

— Почему же? — спросил я удивленно.

— Приходится молчать, — ответил он с горестной усмешкой. И, понижая голос, как если бы нас подслушивали какие-то таинственные его преследователи, прибавил, многозначительно двигая бровями: — Вы же сами знаете, сколько вокруг сволочи.

Внезапно в его лице произошло какое-то движение. Будто что-то вспомнив, он внимательно на меня посмотрел, суживая глаза. Мне показалось, в них промелькнуло на мгновение выражение ненависти.

— Скажите, вы американский подданный? — спросил он.

— Не подданный, а гражданин.

— Знаете, я в политику не вмешиваюсь, — сказал он, как будто совсем вдруг успокоившись и даже назидательно, — политика грязная вещь, очень грязная. А я инженер и интересуюсь только тем, что делается в моей области.

Говорили, что до того, как он угодил на Колыму, он был замечательным инженером. Только благодаря этому и «выскочил». Но действительно ли выскочил?

Шумел Бродвей, чудовищная артерия многомиллионного, многоплеменного города: лавины автобусов, автомобилей, толпы пешеходов, белые, черные, коричневые лица. Но вокруг сутулой фигуры Кульковского, казалось, проступала совсем другая окрестность: бараки, пулеметы на сторожевых вышках, вдоль столбов с колючкой ходят часовые. А перед тем допросы в подвале. Подняв холодные глаза, следователь НКВД говорит: «Ну-с, а теперь будем каяться». Инженер Кульковский отвечает дрожащим голосом: «Да в чем же мне каяться?»

Мне самому часто снилось — опять война, и я опять в плену. Я знаю, во второй раз не выдержу. Но Кульковский не только в снах, но и наяву продолжал жить в сопровождавшем его повсюду лагере на Колыме. Он будет в нем до самой смерти.

*

Зал по нью-йоркскому обычаю натоплен до невыносимой духоты. Собралось человек сорок. Я осматривался: как больные тыквы на бахче, голые, усыпанные коричневыми пятнами черепа мужчин, седые, подкрашенные лиловым, букли женщин. Морщинистые, благородные, с отпечатком «крити-

ческой мысли» лица бывших курсисток, подпольщиков, бундовцев, земцев, борцов за светлое будущее, читателей толстых прогрессивных журналов, авторов бесчисленных политических и экономических брошюр, гневных памфлетов и передовиц. Последние из русских интеллигентов. Верно, ни над одним поколением история не посмеялась так жестоко. Все они отдали свою молодость делу борьбы с несправедливостью самодержавия только для того, чтобы увидеть возникновение нечеловеческого мира сталинских концлагерей. И все-таки я чувствовал — это были счастливые люди. Им никогда не приходило в голову, что в их революционной деятельности могла быть какая-то ошибка.

Особенно меньшевики меня удивляли. Прочтя в молодости Маркса, они поверили, что стоит устроить революцию и отменить частную собственность на средства производства — и государство с его полицией и армией начнет отмирать, возникнет новое бесклассовое общество, где не будет эксплуатации человека человеком, не будет неравенства и несправедливости, не будет отчуждения, не будет антагонистических противоречий и никто больше не будет совершать антисоциальные поступки, наступит царство свободы. И вот революция совершилась, все средства производства были обобществлены, остатки враждебных классов добиты, а эксплуатация, отчуждение и полицейское государство не только остались, но еще небывало усилились, и на смену буржуазии пришел новый правящий класс — всемогущая партийная бюрократия. В море крови родился тоталитарный строй. Но страшный опыт не поколебал марксовой веры меньшевиков. Явление тоталитаризма они объясняли только тем, что Сталин, пользуясь особыми историческими условиями, исказил марксизм. Нужно только вернуться к подлинному учению Маркса и все будет хорошо. Им никогда не приходила мысль, что это столетней давности учение не приложимо к современному миру. И также им никогда не приходило в голову, что, может быть, человеческое общество, независимо от того, кому принадлежат средства производства, по самой своей природе иерархично и основано на неравенстве, на принуждении, на власти вождя или олигархии, и что человек рождается с волей к насилию и со стремлением убивать врагов и господствовать над себе подобными.

Некоторых я помнил еще по Парижу, но я с трудом их теперь узнавал. Вот хотя бы этот старичок, с маленьким, будто обглоданным лицом, морщинистым ртом и странно приплюснутым черепом, окаймленным легким белым пухом. Я не сразу понял, что это Белов. Всего несколько лет тому назад, когда я приехал в Нью-Йорк, он был еще очень красив, с нимбом воздушных седых волос над широким лбом и с детскими ясными глазами. Но теперь у него провалился рот, и челюсти сблизились, безобразно исказив все черты лица. И глаза уже не лучистые, а мутные. Нижняя губа отвисла, как у старого пьяницы или развратника. Между тем он был человек безупречно добродетельной жизни.

Я начал ходить на эмигрантские политические собрания еще в 1923 году. Мне было тогда семнадцать лет, и я был самым молодым посетителем этих

собраний. С тех пор прошли десятки лет, но я напрасно искал среди присутствующих кого-нибудь помоложе меня. Впрочем, как раз передо мной сидел еще не старый с виду человек. Спина, как гранитная глыба. Шею не обхватить пальцами двух рук. Густые, едва тронутые сединой волосы. Только когда он обернулся, я его узнал. Известный социалист Семиградский. Теперь я увидел, что и его не пощадило время. Львиное лицо подтаяло под скулами, глаза запали и стали совсем маленькими, тусклыми и печальными. Я не любил его статей и почти совсем не знал его лично, но у меня сжалось сердце. Такой богатырь и вот скоро рухнет, как подточенная термитами башня. Чувство, как когда видишь в лесу старый засохший дуб. Еще стоит, но долго ли еще?

Бобровский сидел в первом ряду, как всегда очень прямо и с каким-то окаменелым торжественно-строгим выражением. Значит, это только пустые разговоры, будто он совсем разошелся с Зыряновым. Их долголетняя дружба не могла так кончиться.

Зырянов, близкий сподвижник Бобровского в февральские дни, один из немногих оставался и в эмиграции его верным восторженным приверженцем. Как раз недавно были напечатаны его воспоминания о семнадцатом годе. Он рассказывал в этих воспоминаниях, как на каком-то заседании Бобровский, вскочив на стул, закричал: «Товарищи! Доверяете ли вы мне? Я говорю, товарищи, от всей глубины моего сердца, и если нужно доказать это... если вы не доверяете, я готов умереть тут же, на ваших глазах!»

Дальше Зырянов писал: «Трудно передать энтузиазм, охвативший зал заседания. Бобровского подхватили на руки и на руках, среди бешеных аплодисментов и криков одобрения, вынесли из зала. Помню, что когда я сам опомнился, я с удивлением заметил, что мое лицо залито слезами...»

Но год тому назад, в том новом политическом объединении, куда они оба вошли, произошел раскол, и Зырянов, в первый раз в жизни, оказался не с Бобровским, а с отколовшейся группой. Говорили, это вызвало между ними охлаждение.

Члены президиума, передвигая ватными ногами, как в замедленном фильме, трудясь, подымаются один за другим на эстраду.

Первым говорил Конев, пожилой, известный в Америке писатель. Он стал рассказывать, как встретился с Зыряновым в Сибири, незадолго до революции:

— Я был тогда молодым офицером и только что тайно вступил в партию эсеров, а Василий Палыч был уже знаменитым революционером, прославившимся своим смелым побегом с каторги. Конечно, для меня было невероятно интересно... Мне казалось, что я вижу человека высокого, очень красивого. Тогда он был белокурый, такая маленькая бородка, золотые очки.

Я слушал с удивлением. Мне никогда не приходило в голову, что Зырянов мог быть в молодости красив. Когда я познакомился с ним в Париже, он был уже седой, с бритым скопческим лицом. Я не мог представить его себе с бородкой. И он вовсе не высокий был, только немного выше меня...

Конев продолжал говорить:

— Сознание неповторимости этого поколения — Василий Палыч был бескорыстным искателем истины. Круг его интересов интеллектуальных был действительно широк, но доминировала в этом круге Россия. Это был органический, типичный представитель народничества. Он впитал в себя национальную, народолюбивую традицию. Я хочу сегодня дотронуться до этого момента его молодости — принести свою жизнь во имя освобождения русского народа. Он говорил нам, какое счастье служить народу. Вдруг откуда-то налетает теплый ветер, который несет чувство «служу своему народу». Это была главная его мысль, которой он хотел с нами поделиться...

Я почувствовал волнение. Последнее, что еще оставалось во мне от моего русского воспитания: убеждение, что единственная, достойная цель жизни — это работать для народа, Правды, человечества. Именно это всегда привлекало меня к Зырянову. В своих воспоминаниях он писал, как еще в гимназии он устроил кружок для обсуждения вопроса «Как добиться счастья для всего человечества?». После этих собраний он возвращался домой «как на крыльях». И хотя это было ночью, ему казалось, что «все озарено светом и мчишься куда-то, все вперед и вперед». Он был неверующий, но ведь это чувство восхищения, света, жизни — это и есть религия. И пусть не говорят, что это была только прекраснодушная болтовня. Ведь вот Зырянову эта «болтовня» дала силы прожить долгую героическую и самоотверженную жизнь.

— ...И он был прекрасный писатель, — продолжал Конев. — Он умел писать трогательно, просто, необыкновенно!

Меня это удивило: просто и в то же время необыкновенно? Но я сейчас же понял, как хорошо, как верно это сказано. Обязательно прочитать книгу Зырянова о его побеге с каторги...

— Он часто говорил мне здесь, в Нью-Йорке: смотрите, бодритесь, не поддавайтесь, нас ведь немного осталось. И вот его больше нет с нами. Всегда, когда мы теряем близких людей, кажется, что смерть пришла неожиданно. Но смерть Василия Палыча вызывает еще больший протест: такие люди, как он, совсем не должны были бы умирать!..

Напряженно вытягиваясь, почти приподнимаясь на носках, писатель сердито прокричал эти слова вдруг ставшим пискливым голосом. Казалось, этот невысокий седой человек, как собственное восковое изображение стоявший в конусе падавшего на него с потолка неживого света, сейчас заплачет.

Справившись с волнением, он продолжал:

— Мое краткое слово об этом печальном событии, приведшем нас в этот зал, я хочу кончить словами из стихотворения Пушкина, которое Василий Палыч очень любил:

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.

Он имел одно виденье,
Непостижное уму, —
И глубоко впечатление
В сердце врезалось ему...

«Рыцарь бедный», как это подходит к Зырянову. Но «непостижное видение» — ведь это мистика. А Зырянов не верил в возможность мистического опыта, да и этот писатель не верит, а вот их поразило это стихотворение.

Потом говорила дама, тоже из социалисток, но религиозно настроенная. Она читала не только Маркса и Михайловского, но и Плотина, «большую» Терезу, Якова Бёме. Приобщение к более сложной культуре сделало ее не похожей на большинство здесь собравшихся. В ее словах мелькал отсвет представлений, не допускаемых их сознанием, навсегда завороженным невозмутимым убеждением в истинности позитивизма.

Эта дама была костляво худа, растрепана, бедно и даже неряшливо одета. Длинная жилистая шея ископаемой птицы, нос с горбинкой, лицо без подбородка, провалившиеся щеки, добрые восторженные глаза. Что-то жалкое в ней было, и все же чувствовалось: «C'est une grande dame»*. (Я не знал, как это сказать по-русски.)

Прокуренным, хриплым, почти мужским голосом она говорила:

— Василий Палыч был очень добрый и мягкий человек, но он умел одновременно быть и твердым. Он никогда не шел на то, что расходилось с его основным идеалом, и сурово осуждал зло в общественной и политической жизни. Он давал свое мнение иногда очень резко, и за это нужно преклонить перед ним голову. Но еще ниже нужно преклонить перед ним голову за его отношение к людям. Урывая свои редкие досуги, он всегда был готов служить всем нуждающимся в помощи. Он был в этом смысле «служивый» человек, для кого служение есть самоочевидная форма жизни. Своей явной самоотверженностью он привлекал уважение и любовь. Я хочу приподнять лишь уголок над его действиями. В последние годы он без всякой политики отдавал свою жизнь за ближних. Когда ему говорили: «Зачем вы все ваше время тратите на такие мелочи, как сбор вещей, упаковку и таскание посылок на почту? У вас большой дар писателя. Почему вы забросили литературную работу?» — Василий Палыч на это отвечал: «Вспомните слова Толстого: говорить о более важных делах легче, чем делать маленькие насущные дела! Разве вы не понимаете, что от этих посылок зависят человеческие жизни?» Один наш общий друг, священник, говорил, что Василий Палыч не решался самому себе признаться, что верит в Бога. Это очень верно. Это как встреча впотьмах. Он отталкивался от метафизики и мистики, но, сам того не сознавая, шел к Христу, несомненно. Он сам говорил, что верит в высшее добро. Но ведь высшее добро и есть Бог. Вот почему, отдавая свою жизнь этому высшему добру, он тем самым служил Богу. Отсюда его неистощимая энер-

* Высокопоставленная дама (буквально: большая дама) (*фр.*).

гия. Ибо сказано: «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут истоки воды живой». Именно благодаря своей неосознанной вере в Бога Василий Палыч мог делать для людей столько добрых чудес. И я знаю, он отрицательно относился к смерти, всегда хотел бороться со смертью. Когда при наших встречах он иногда об этом говорил, это было незабываемо. Время останавливалось, мы из него уходили, мы жили в каком-то вечном времени. Почувствовать, что в каждом может открыться этот потрясающий свет...

Вот и она говорит о «потрясающем свете». Да, Зырянов имел какое-то видение. Значит, видение возможно. Он доказал это примером всей своей жизни.

После дамы говорил Кульковский.

— Я не могу, конечно, — начал он, — сравняться с предыдущими ораторами в том богатом материале, который они о Василии Палыче Зырянове представили. Но многословия и не нужно. Многословие сегодня, на этом собрании, было бы непристойно. Я поделюсь только моими личными воспоминаниями. Василий Палыч был первым человеком, который встретил меня, когда я сошел в Нью-Йорке с парохода... Что сразу привлекало к нему? Это ощущение необыкновенной доброты. Это был добрый человек. И это очень важно для нас, приехавших из Советского Союза, воспитавшихся больше на зле. Когда я встретился с Василием Палычем, во мне был еще этот пузырь яда, пузырь злобы. Встреча с ним — это был урок доброты, он учил пользоваться любовью, как таким, так сказать, лекарством от ненависти... Вытравить все недоброжелательное, все нелюбовное, что есть в человеке...

— Вот говорит, что учился у Зырянова доброте, а сам не вернул ему 200 долларов, которые тот ему одолжил. А ведь он так хорошо теперь устроен, а Зырянов, вы сами знаете, прямо нуждался, — раздраженно прошипел мне в ухо сосед, старый журналист. Я вспомнил комнату для прислуги, в которой жил Зырянов, маленькую, под самой крышей, заставленную железными канцелярскими шкафами.

— И вот я скажу, — продолжал Кульковский, — титул общественного деятеля раздается у нас слишком щедро и часто без разбора. Но в приложении к Василию Палычу этот титул возрождается в самом глубоком, самом чистом его значении. Он был человеком особого типа, как бы печальником русской эмиграции. Он умел стать другом каждого, кто к нему обращался за помощью. И у него было невероятное уважение к человеческой личности. В разговоре с ним чувствовалось, как сам подрастаешь. На этом я и хочу закончить мои слова. Из кончины каждой человеческой жизни мы должны извлечь нравственный урок. В смерти Василия Палыча есть всем нам некий завет или завещание. Мы должны, так сказать, произнести какой-то безмолвный обет дорогой его памяти.

Было еще много речей. Все, что обычно говорится в таких случаях. Но сегодня готовые фразы звучали искренне. Зырянова любили, и его внезапная смерть всех поразила. Все чувствовали, что с уходом этого достойного и правдивого человека нравственный уровень эмигрантской общественной

жизни непоправимо понизится. Никто не придет ему на смену. И никакого преувеличения не было в этих речах. Вся долгая жизнь Зырянова действительно была служением. Все, что о нем сегодня здесь говорили — это правда.

Выходя из зала, я столкнулся в дверях с Бобровским: «Алексей Николаич, как ужасно... Василий Палыч!»

Лицо Бобровского задрожало. Мне стало страшно, он сейчас заплачет. Я не должен был ему этого говорить. Ведь они дружили всю жизнь.

Вдруг, яростно тыкая в меня пальцем, Бобровский, задыхаясь, проговорил:

— Этот человек шестьдесят лет тому назад подпал под влияние Чернышевского!

Подошедший Кульковский, с почтительной готовностью заглядывая Бобровскому в лицо, с одобрением подхватил:

— Так оно и есть, так оно и есть. Все это оттуда и пошло. Василий Палыч не мог этого охватить, что Ленин от Чернышевского, он не мог этого и взять. И это придавало некоторым его политическим высказываниям, я прямо скажу, характер какого-то безвкусия, и я бы сказал не двойственности, а двоякости: он смотрел направо и налево. На нем была какая-то шапка-невидимка. Вы меня извините, может быть, я неясно выражаюсь, но проблема эта была, так сказать, брошена...

Бобровский смотрел на него озадаченно.

Мне говорили потом, что на том же собрании Бобровский будто бы сказал кому-то, что Зырянов для него умер год тому назад. То есть когда у них в организации произошел раскол. Меня это поразило. Со стороны было даже трудно понять, что собственно отличает отколовшихся от тех, кто остался с Бобровским: у них была совсем одинаковая программа широкого объединения эмиграции для борьбы с большевизмом.

*

Чем больше я писал о Бобровском, тем все ярче его образ возникал на страницах моей рукописи: «Совсем как живой!» Но если поначалу это был хотя и бледный, но все же похожий портрет Бобровского, то постепенно словно кто-то другой начал проступать сквозь его черты. Я хотел правдиво и точно его описать, а вместо этого у меня из-под руки вырастал фантом. Как ожившая кукла чревовещателя, он больше не зависел от меня и требовал, чтобы я все подробнее его описывал и придумывал для него все новые гротескные поступки и разговоры. И все-таки этот фантом казался мне вполне правдоподобным. Я даже с удовлетворением думал — так настоящие писатели пишут. Но в то же время я чувствовал, что, собирая рассказы о Бобровском, я делаю что-то дурное. Это чувство еще усилилось после того, как недавно я его видел в церкви. Со дня смерти Зырянова прошло уже несколько лет. Бобровский очень постарел за эти годы, осунулся, пожелтел. Говорили, он неизлечимо болен и почти совсем ослеп. Я заметил, когда он платил за свечку, у него тряслись руки. Да и «вторая весна» давно уже кончилась. Вдруг

оказалось, что новой эмиграции он совсем не нужен. У него опять не было «окружения». Смотря на его дрожавшие руки, я понял всю несоизмеримость трагического существования этого почти слепого старика, такого же человека, как я, с карикатурным Бобровским моих записей.

Мне было грустно. Думая о Бобровском, я лучше видел самого себя. Я осуждал его за равнодушие к людям. А я сам? Сколько людей я встретил в жизни, но никогда по-настоящему о них не думал, все был занят самим собой, своими мучениями, своими мечтаниями. И всегда пишу только о себе. А теперь уже старость и нет времени. По вечерам, после дня на службе, мертвая усталость. И только одно меня занимает. Между тем, я знаю, я никогда не найду ответа, ответа — нет.

Да, у меня вышла с Бобровским еще бóльшая неудача, чем с Рагдаевым. Я не сумел почувствовать в нем то начало жизни и любви, которое так несомненно чувствовал в моей бедной четвероногой Мусе. Это, верно, чувство обиды помешало мне вообразить хотя бы на мгновение его настоящее «я», его человеческое, братское сознание, такое же, как мое, таинственно соединенное в глубине — какой глубине? внепространственной, невообразимой — с вечным, великим Сознанием, которого не может не быть, иначе все бессмысленно, а это вряд ли так.

Но если это вечное, всеобъемлющее Сознание существует, то это Бог. Ведь не может быть сознания без кого-то, кто бы сознавал. Каждый раз, когда я стараюсь вглядеться в мои мысли, я вижу, они всегда сходятся в одной точке: необходимо, чтобы был Бог, в которого я так хочу, но все не могу поверить. Ведь, если бы я верил в Бога, я не стал бы писать. Я для того и пишу, чтобы удостовериться, чтобы победить сомнение, чтобы лучше вглядеться в действительность моей жизни, словно надеясь усилием внимания остановить смерть. Вот почему я стараюсь описывать мои мысли и чувства как можно точнее, стараясь *проявить* их в том первоначальном, наивном виде, в каком они мне приходят. Это мучительно трудно. Под моим взглядом они начинают разрастаться во все стороны, как подводные растения в ускоренных фильмах. Стремясь к точности, я бесконечно переписывал и переделывал. Кошмарный, сизифов труд. К тому же в моем возрасте наивность смешна. И я прекрасно понимаю, как сомнительна ценность таких описаний непосредственных впечатлений. Но иначе мое предприятие теряло всякий смысл.

Противоречие: я сказал, что если бы я верил в Бога, я не стал бы писать. Ведь меня заставляет писать безотчетный страх, что если я не расскажу о моей жизни, о моих мыслях и чувствах, о них никто никогда не узнает, а то, о чем никто не знает, как бы совсем не существует. Если же я буду писателем, то мои мысли и чувства, мне казалось, дойдут до сознания людей, и это спасет меня от полного исчезновения. Но ведь если Бога нет, если сознание людей не соединено с невообразимым, вечным, всеобъемлющим сознанием Бога, то люди не могут мне помочь, они сами умирают. Выходит, я пишу одновременно и потому, что не верю в Бога, и потому, что все-таки верю.

## IX

Чтобы лучше увидеть, что я по-настоящему думаю и чувствую, было бы правильнее всего записывать сны. Во сне не стыдишься быть самим собой, видишь свои чувства и мысли непосредственно, не меняя их из страха, что они покажутся ничтожными и наивными. Во сне я не обманывал самого себя. Даже когда я думал о том, какое впечатление мои поступки производят на окружающих, это думал «я», герой моего сновидения, а «я» настоящий только смотрел.

Говорят, бывают такие глубокие сны, когда душа соединяется с самым началом жизни. Потому-то я и старался запоминать и записывать сны. Вдруг вспомнится такой глубокий сон. К тому же я всегда любил сны. Даже в самых страшных не бывало, как наяву, невыносимого чувства остановки жизни, когда все кажется необъяснимым и странным. Во сне, как в детстве, сознание уверено, что совпадает с бытием. Для всего находится сколько нужно времени и места, но нет устрашающей невообразимой бесконечности пространства и нет, как наяву, всегдашнего беспокойства, воспоминания о чем-то страшном и неотвратимом. Даже когда мне снилось, что меня убивают, я не умирал на самом деле. Я с любопытством говорил себе: «Вот сейчас меня убьют, и я узнаю, что будет после смерти, есть ли там что-нибудь или там "ничто", невообразимая темнота». Но в глубине я знал, это — только сон. И действительно, меня убивали, что-то болезненно обрывалось, но с чувством сожаления, что вот умер и так ничего и не узнал, я видел новый сон.

*

Засыпая, я часто вижу парижские дома и церкви. Обычно это только часть стены или портала и они мне снятся недостаточно долго, чтобы рассмотреть, какой же это именно дом или какая церковь. Но я знаю — это Париж, и меня охватывает чувство любви. Даже когда мне вспоминались закоптелые от дыма паровозов дома по обочинам подъездных путей к Восточному вокзалу, я испытывал чувство счастья. С каким волнением я смотрел на эти черные стены, когда в первый раз приехал в Париж. Как давно это было! Сколько лет уже я не видел Парижа! Но ведь я там жил, гулял, ходил в кафе, учился... Это было, было. Пусть мое существование ничем не охранено от неизбежности уничтожения, но никакая сила не может сделать мое прошлое не бывшим. Я засыпал с чувством умиротворения.

*

Ночью шум громких голосов на лестнице разбудил меня так внезапно, что я запомнил снившийся мне сон, не так, как когда днем вспоминаешь, а будто он продолжал мне сниться еще несколько мгновений после того, как я проснулся. А снилось мне, что я лежу в моей комнате на постели и все глубже дышу, моя грудь вздувается, как у голубя. И вот с легкостью воздушного шара я вдруг подымаюсь к потолку и сквозь окно вижу над крышами

синее звездное небо. Окно закрыто, но я знаю, я сейчас мгновенно подымусь к звездам. Я еще сказал себе: «так летают на Марс».

*

Я шел от Лионского вокзала домой, на площадь «Италия». Я знаю — сейчас я пройду по улицам около Севастопольского бульвара. Там ходят перед дверями отелей проститутки. Я вспомнил, мне уже снилось, как я гулял по таким улицам и разговаривал с проститутками, и с одной пошел уже было в отель, но вовремя спохватился, что мне этого нельзя.

Проснувшись, я не мог понять, действительно ли уже когда-то давно я видел во сне, что я свернул в эту длинную, мглистую улицу и чуть не пошел с проституткой в отель, или это мне только приснилось, будто я уже видел этот сон прежде.

*

Я читал лекцию. Вдруг замечаю — каждый слушатель в зале — это я сам, но в разные годы моей жизни и как раз в обстоятельствах, когда я особенно неловко и глупо держал себя на людях.

*

Мы приехали в Ниццу на пляж Фаброн-Суперьер. Показывая на выступавшую в море скалу, я сказал Марии: «Вот посмотри, через эту гору мы ходили купаться на пляж по ту ее сторону». И действительно, я увидел, как там, по тропинке над обрывом, идут гуськом молодые люди и девицы. Тропинка очень узкая, чтобы не упасть, нужно хвататься за выступ скалы. Но всем весело, они смеются, шутят. А я все боюсь оступиться и полететь вниз на камни. Ни за что бы теперь не пошел.

Проснувшись, я вспомнил: это место, куда я приехал во сне, называлось вовсе не Фаброн-Суперьер, а Калифорни. А Фаброн-Суперьер — это горная дорога из Ниццы в Монако. Она начиналась на противоположном конце города. Нет, то, кажется, Корниш-Суперьер. Во всяком случае, на Калифорни никакой горы не было. Это из воспоминаний о каком-то другом пляже она попала в мой сон. Мне и раньше много раз снилось: я иду через гору на дальний пляж. Я знаю, там меня ждет счастье. Но все не могу дойти. И вот море отступает, мелеет, больше нельзя плыть. Делая руками плавательные движения, я ползу по песку на животе.

Мне стало скучно вспоминать. Верно, равнодушие старости.

*

Почему-то мне приснился сегодня покойный Михаил Бюргеров. Меня удивило, что он все такой же спокойно-важный и осанистый, каким был при жизни. Показывая на окна подвала, он сказал, что это его новая квартира, там прохладно, сумрак, большие комнаты. Приглашал заходить.

*

Мне снился брат. Я пришел, и оказалось, его нет дома.

Когда он вернулся, я спросил: «Где ты был?»

Он сказал, что ездил в город, к доктору.

Я спросил: «Ты теперь останешься?»

«Нет, я должен лечь в госпиталь», — ответил он решительно.

Я не знал, что он болен. Еще утром он был совсем здоров, мы все время были вместе, а теперь, оказывается, болен и уже ездил в город, к доктору.

Я спросил: «Что у тебя за болезнь, как она называется?»

Он усмехнулся: «Это больная болезнь, когда все болит, руки болят, ноги болят, грудь болит, голова болит».

Он был намного выше меня, очень худой, бледный. Давно нестриженые волосы отросли у него на затылке неровными косицами.

Я предложил: «Ведь ты же болен, я помогу тебе отнести твои вещи на станцию».

«Нет, я сам», — сказал он, вскинув на плечо перетянутый ремнями плоский сверток из бежевого одеяла.

Я вспомнил, как у него мало вещей и что он спал на полу в холодном сгнившем чулане. Мне стало стыдно, что с моим всегдашним эгоизмом я это допустил. Может быть, он потому и заболел. И вот теперь решил уехать и лечь в госпиталь.

Я спросил: «Ты позвонишь маме?»

«Может быть, позвоню, а может быть, нет», — сказал он резко, как говорят, когда не хотят давать объяснений. Но это не потому, что он сердился на меня.

*

Я иду и вижу, моя мать сидит в кафе, за столиком на тротуаре. Она говорит мне, что у нее сломано ребро. Я вижу, у нее кофточка с левого бока вся розовая от крови. Она прибавила: «Я совсем закадаврела». («Кадавр» по-французски — труп. В моем сне моя мать произвела глагол «закадавреть» от этого французского слова. То есть я произвел.) Мама сказала это с отчаянием и горько заплакала. Сделав над собой усилие, я стал целовать ее в голову, в седые с прозеленью волосы, замотанные на макушке в жалкий узелок. Я подумал: «Я не знал, что она так не хотела умирать».

*

Я отчетливо слышал, как кто-то позвал меня: «Володя». Я проснулся, то есть мне снилось, что я проснулся. Это мой отец позвал меня из соседней комнаты, где он спал. Он хотел узнать у меня, кто же кого победил. Перед тем мне снилось, что багдадский султан напал на какого-то индусского принца. Проснувшись теперь на самом деле, я сейчас же вспомнил: накануне я читал «Тысячу и одну ночь», у меня нет другой комнаты и моего отца нет в живых. Это какой-то звук в коридоре я принял за его голос.

Я уже давно потерял надежду, что отец жив. Как в его возрасте он мог выжить в концлагере? И все-таки, наперекор всем доводам, безумная вера: а может быть, все-таки жив, нежданно придет от него известие. Но недавно я получил из Мюнхена письмо от одного старого друга моего отца. Он писал, что виделся с каким-то Басановым, который был «взят» одновременно с моим отцом в Праге, в 1945 году, а «теперь возвращен большевиками в Европу». Басанов рассказывал, что мой отец умер в лагере, в Караганде. Никакой надежды больше не могло быть.

Я знаю, все видят во сне умерших близких. Верно, отсюда и пошла древняя вера, что души умерших приходят ночью на землю. Мне было приятно, что мое чувство совпадает тут с чувствами всех людей, всего человечества. Конечно, то, что все так чувствуют, еще ничего не доказывает. Но все-таки, если человеческая душа так устроена, что не может примириться со смертью близких, нет ли тут залога, указания?

*

Я встретил на улице моего отца. Высокий, худой, в поношенном, с чужого плеча пальто — или это была старая шинель, какие носят пленные и ссыльные? Он немного походил теперь на Максима Горького. Это, верно, потому, что от худобы у него резко обозначились скулы. Увидев меня, он ласково улыбнулся. Меня удивило и обрадовало, что он меня любит. А то мне все казалось, что я в чем-то виноват перед ним и он на меня сердится. С тревогой и безумной надеждой я спросил его: «Ну, как тебе *там*, не слишком скучно, не слишком страшно?»

*

Мы ехали в метро. На Данфер-Рошро мы должны были пересесть в поезд, который шел за город, в места, где жил мой друг Ваня, расстрелянный во время войны немцами. Я уже шагнул было в дверь вагона, как вдруг вспомнил, мне нужно ехать в противоположную сторону, на Порт-де-Клиянкур. Мой спутник уехал в том загородном поезде один.

Случайно, вспомнив днем этот сон, я увидел — это был мой брат.

*

Когда я вошел, отец лежал на полу своей комнаты в гостинице, подогнув под себя ноги. Словно перед тем он стоял на коленях, а потом, не распрямляя ног, повалился навзничь. Увидев, как он так валится, я подумал — ведь это трудно, нужна большая гибкость, а папа уже старый. Но тут я заметил, что, когда он падал, он был совсем молодой. Это был мой брат, только более взрослый, чем когда он умер.

Я вернулся к себе. Я жил в большой комнате, в той же гостинице, но на другом, далеком конце ее. Нужно было перейти какой-то внутренний двор, окруженный полуразвалившимися пристройками.

В моей комнате было много народу, все куда-то собирались, а я все думал об отце. Мне начало казаться, он, может быть, не умер, а только потерял со-

знание. Я вернулся в его комнату. Он лежал на полу все в том же положении. Я нагнулся подложить ему под голову подушку, которую взял с его постели. Теперь я увидел, на самом деле его ноги были не согнуты, а вытянуты наискось под кроватью, а под головой у него было подложено несколько маленьких томиков в картонных переплетах. Приподняв его голову и подкладывая подушку, я поцеловал его в щеку, говоря: «Папочка милый, я так тебя люблю». Я даже в детстве не называл его «папочкой» и уж никогда не сказал бы «папочка милый». Это одна знакомая маленькая девочка так говорила, и я подумал во сне, что если я скажу, как она, это лучше выразит охватившее меня чувство любви к отцу.

Мне стало радостно, что я способен на такой порыв любви и жалости, значит, у меня все-таки есть душа. Когда я его поцеловал, отец сейчас же начал дышать, очнулся и, улыбаясь, посмотрел на меня. Меня поразило, как легко, как мгновенно он вернулся к жизни. Он сказал мне, но как-то без слов, что умер, потому что не знал, что я его так люблю, а теперь, когда знает, будет опять жить.

Вернувшись к себе, я все думал, почему, хотя мы живем в той же гостинице, я никогда его не встречаю. Правда, гостиница такая большая: несколько главных зданий и бесконечные пристройки. И отец, верно, всюду бывает со своими друзьями, людьми его возраста. Ему с ними интересно, приятно. Они вместе обедают, вместе гуляют, вместе ходят в театр и на собрания. Хорошо воспитанные, по-старомодному одетые мужчины и дамы. Я даже преувеличил: я видел их в костюмах прошлого века. Жизнь моего отца в их обществе мне представилась так обстоятельно, будто я читал о ней в романе Тургенева.

Мне было интересно, что подумал бы папа, если бы увидел меня теперь. Понравилось бы ему, что у меня теперь такое же положение в обществе, какое прежде было у него. Я так же остроумен, как он, так же хорошо умею рассказывать, все с таким же интересом и уважением меня слушают. Я знал, что на самом деле это не так, я угрюм и застенчив на людях, это только во сне я похож на моего отца. И все-таки я подумал, а вдруг бы он мне позавидовал, что я будто занял его место.

Все собрались ехать на какое-то состязание. На дальнем поле наша команда играла против команды противника. Ехали в почтовых каретах. Сидели даже на империалах, как в Париже в день «драг». Первая карета уже тронулась. Какой-то молодой человек — помню, в гимназии, в Чехии, он был на класс младше меня, — соскочив с козел, стремительно, как я когда-то бегал, подбежал ко мне сказать, что уже едут. Но я решил поехать со следующей партией. Меня беспокоило, что я опять давно не видел отца. Вдруг все-таки с ним что-то случилось и он не поедет? Нужно пойти посмотреть.

Я помнил, его комната в главном здании. Но в этой гостинице было столько коридоров, переходов, дворов, подъездов. Я уже чувствовал с беспокойством, уже знал, что не найду дорогу.

*

Мы стоим в церкви на панихиде. Я не чувствую горя. Я знаю, отец умер, но не могу себе этого представить. Он умер так далеко, и я не знаю, в каких обстоятельствах. Но когда нужно было подойти к гробу, проститься с покойником, я вдруг понял — это действительно тело моего отца, его сюда привезли. Сейчас я увижу его мертвую голову. Я содрогнулся от ужаса и жалости. Вернее, заставил себя содрогнуться, вспомнив, что так принято на панихидах, и чтобы доказать себе и другим, что я не совсем все-таки бесчувственный. У меня даже стала судорожно кривиться левая сторона лица, к глазам подступили слезы. Я взглянул на Катю — или это была Мария — проверить, видит ли она, как я сильно чувствую горе. Еще не просыпаясь, я подумал, что такими слезами я плакал в последний раз, когда умер Юра.

*

Я подхожу к дому, где мы жили в Праге. Моя мать и мой отец стоят в окне нашей квартиры на третьем этаже. Они меня ждут и почему-то беспокоятся. С тревогой смотрят, как я перехожу улицу.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Перечитывал мои записи. Ни слога, ни воображения. И нет действия, нет развязки. Да и какая может быть развязка? Неясные мысли о значении жизни будут приходить мне до самой смерти. Мне никогда не удастся выдать их за литературное произведение. А ведь люди, что бы там ни говорили защитники нового романа, всегда будут любить «побасенки». Побочная дочь мифологии, литература порождена способностью воображать и рассказывать вымышленные приключения вымышленных героев. В детстве у меня эта способность была очень развита, а теперь совсем пропала. Но я не жалею об этом. Усилие понять и описать мою болезнь помогло мне от нее избавиться. Или это время сделало?

Все мои близкие умерли. Старая эмиграция, которая столько лет заменяла мне отечество, кончилась. Я это особенно почувствовал на собрании памяти Зырянова. И условия моей жизни изменились. Я женился, вернулся в Европу, у меня теперь «приличная» служба. Когда утром я еду в контору — пожилой, лысый, прилично одетый господин с портфелем, — никто не узнает во мне рассеянного героя моих записок. Правда, я сам воспринимаю это теперешнее мое респектабельное обличье с недоверием, почти как маскарад. Но я больше не жду, что мне что-то откроется. Не жду и почти уже не хочу. Направление моего внимания изменилось. Мое сознание попрежнему не принимает учения о грехопадении. Я по-прежнему чувствую, что и самые простые и самые хитроумные теодицеи придуманы людьми, так как нельзя понять — откуда зло в мире, если Бог всемогущ. Но, не веря рассуждениям богословов, я поверил случайно прочитанным словам одной французской монахини. Когда ее спросили, почему Бог допускает зло, она сказала: «Не знаю, я думаю, этот вопрос не разрешим для человеческого разума. Но интуитивная, неизъяснимая уверенность, что Бог нас любит и что Он здесь, рядом, устраняет все умственные сомнения. Радость этой уверенности сильнее смерти и страданий. Не знаю, каким образом, но я знаю, что над ужасным злом этого мира есть царство правды, добра и красоты, подобное свету без тени. Я знаю, эти мучительные вопросы там разрешены, хотя не знаю как».

Радость, о которой говорила эта монахиня, не могла быть обманом. Я тем больше этому верил, вернее тем больше хотел верить, чем сильнее меня дави-

ло сознание, что смерть делает все бессмысленным. Но моя всегдашняя надежда, что мне что-то откроется, представляется мне теперь *преждевременной*. Эта мысль пришла мне впервые при чтении Тейяра де Шардена. Раньше я все думал о том, что будет после смерти, а вот как действительно пришло время об этом думать, меня все больше занимает вопрос, чем кончится путешествие человечества на земле. Теперь я знаю, то понимание, которого я всегда ждал, не может открыться до тех пор, пока все люди не соединятся с «высшим полюсом сознания». Только теперь я начал понимать идею эволюции Бергсона и Тейяра де Шардена. Мир — это процесс. Все зависит от того, чем кончится этот процесс. Спасение не в том, чтобы мне что-то открылось, а чтобы открылось всем людям. Царство правды, добра и красоты, о котором говорила та монахиня, должно прорасти на земле для всех людей. Моя женитьба помогла мне почувствовать, как это может произойти. Совершилась ли уже в моей жене «мутация», но я часто с несомненностью чувствовал в ней дыхание жизни и любви.

Какие же выводы я делаю из всего этого? Если человечество придет к тейяровой точке Омега, я готов все *простить*: и смерть близких, и все страшное, что происходило и происходит в мире, все чудовищные преступления, все неискупимые страдания, все непоправимые обиды, все миллионы раздавленных существований. Но я ставлю одно условие: с моей женой не должно произойти ничего дурного. С этим я не смогу примириться. Мне страшно, что я не могу охранить ее от страданий и смерти.

*

Прошлой ночью мне приснилось: сейчас мне все откроется. Я с волнением радости чувствовал приближение этого события, которого я всегда ждал, хотя оно казалось мне невероятным. А вот, значит, я все-таки был прав, мое ожидание не обмануло. Я чувствовал во сне счастье.

*Конец записок Владимира Гуськова*

# РАССКАЗЫ

# ШУМ ШАГОВ ФРАНСУА ВИЛЛОНА

Villon!.. — Tiens!.. Mais où donc est-il?
Nous t'aimions tant, François.
*Francis Carco*[1]

## ГЛАВА 1

Сегодня профессор не пришел на лекцию. Я долго стоял в толпе, ждущей у дверей аудитории. Я почти ничего не сделал из того, что предписано созданным мною планом развития воли и ясности. Сознание бессилия осуществить план рождает тревогу. Рядом быстро и громко говорит студентка. Я смотрю на ее лицо, на быстро двигающиеся губы и вдруг вижу, знаю, какая у нее кожа и какое у нее тело. Я смотрю на нее с ненавистью, поворачиваюсь и выхожу из толпы.

Я иду на Итали. На крыши домов и в пролеты пустых улиц уже легла серая и туманная мгла. Я иду, распахнув пальто. Холодный ветер режущей болью саднит в груди, через рукава ползет до локтей. Я знаю, что мои нос и щеки стали совсем красными. Я чувствую отчаяние и отказываюсь от борьбы за план. Когда вдали стали выступать из мрака отвесные стены высящейся, как бастион, тюрьмы и стал виден развевающийся в уже темном небе флаг, стало еще печальней и страшнее. Я думаю о неведомой жизни, которая идет за этими недвижимыми стенами. Я забыл об укреплении воли, о том, что нужно бороться. Остался только страх, страх перед тем, что людей можно бить, томить в тюрьмах, заставлять работать.

Если спрыгнуть с гребня стены, чтобы бежать, кости ног с ужасной болью разобьются о твердость тротуара. Но ведь были люди, которые бежали... Я стискиваю зубы, подымаю голову. Надо быть смелым и сильным. Но так трудно дышать заложенным носом, и мускулы шеи быстро устают. Руки задеревенели и стали синими. Я вдруг начинаю думать о ярко освещенных залах, в которых тепло и люди ходят без пальто. Мужчины в смокингах, в сиянии проборов. Много женщин в шелковых платьях. Я, или какой-то другой мужчина, говорит с женщинами, или только с одной женщиной. Он может ее обнять. Я чувствую сквозь шелк мягкость и теплоту ее тела.

В это время стук машин врывается в мое сознание и подымающееся бессильное сладострастие падает. Я иду вдоль длинных низких строений мастерских. Земля дрожит биением и гулом машин. В этих мастерских, наверное, работают арестанты. Стук машин успокаивает. Исчезает страх, страх перед непонятным. В тюрьме нет уже прежнего ужаса. Обыкновенные люди

---

[1] Вийон!.. — Послушай!.. Но где же он? Мы так тебя любим, Франсуа. *Франсис Карко.*

стоят за станками. Их никто не бьет. Уже совсем темно. Я иду теперь под арками метро. За мной гремит быстрый топот ног Франсуа Виллона.

Он очень худ и легок. Лицо острое. Волосы прямые, без блеска, светло-желтые. На нем серая куртка, подпоясанная веревкой. Он выбегает из подземелья метро в темноту ночи. Он обгоняет меня. Я вижу, как быстро и тревожно он поворачивает голову, вглядывается в меня и пропадает во мраке. Я долго смотрю в ту сторону, где он исчез. Я знаю, что он шепчется за углом с оборванным горбуном. У горбуна уродливое, с проступившими костями лицо. На растянутых и бледных губах веселая, страшная улыбка.

Я начинаю думать о том дне, когда я в первый раз увидел Виллона. В тот день я долго шел по бесконечным улицам огромного города. Когда надвинулся мрак и в черном небе встало розовое, дымное зарево электрических плакатов, я вышел на набережную. В черном, сверкающем, медленно, как лава, катящемся потоке воды дрожали огни. Мост был широким, с низкими каменными перилами. По нему шли люди Средневековья. На другой стороне — старинная тюрьма, на фронтоне которой нет огней. Она не отражается в черной воде. В тот раз Франсуа Виллон прошел рядом со мной так близко, что я почувствовал ветер, рожденный движением быстро идущего поэта.

Я не могу вспомнить, когда я услышал в первый раз его имя. Это было очень давно. Кажется, это был сборник рассказов Стивенсона. Рассказы были о Средневековье. Меня поражало таинственное очарование простых и скупых слов. О Виллоне был рассказ очень короткий и неясный. Он бежал из маленькой тесной комнаты, в которой пили и играли в карты. Он был охвачен страхом. На улице он ограбил труп замерзшей проститутки. Потом он говорил с суровым старым солдатом. С тех пор я много читал о нем. Но я не знаю, кто он. Я почти ничего о нем не знаю.

Мне кажется, что ему должно быть страшно. Что он не понимает, что мир существует, и поэтому ему страшно. Он идет по улицам и боится обернуться. Он знает, что если обернуться, то не будет ни домов, ни камней мостовой. Мне кажется, что его молодость была томительна и страшна. Как будто раздвигая туман, он шел в гору. Он часто падал и скатывался назад, в туман, в мрак.

Он живет в высокой каменной башне. Когда он просыпается, в комнате еще совсем темно.

Он сразу вспоминает, что он болен. Он думает, что перед этой мыслью о болезни, перед этой первой мыслью сегодняшнего утра, были другие мысли, была другая жизнь, но не здесь, в этой комнате, а в каком-то неведомом и нездешнем пространстве.

— Странно, только сейчас я вышел из этого пространства, из этой жизни в снах, и уже ничего не могу вспомнить. Но я знаю, что она была. Это как забытое слово или имя.

Вставал серый туманный день. В раскрытое окно врываются сырой воздух и летящие с камней мостовой знакомые шумы и грохот.

— У старика была длинная белая борода. Он очень мудр. Он не похож на меня. Он не знает моей боли, и он никогда не слышал таинственного и неведомого зова.

Франсуа отходит от окна и садится на тюфяк, из дыр которого торчат клочья грязной соломы. Он сидит очень долго и неподвижно. Его мысли идут медленно и оцепенело. Он думает об улицах Парижа. Его постепенно охватывает тихое и радостное чувство уверенности в том, что эти улицы действительно существуют. Он сладостно мечтает об этих темных улицах, уходящих в черный, как стена, мрак, об улицах, камни которых облиты кровью и истоптаны ногами таинственных людей и в тяжелой тишине которых еще висит память о когда-то гремевших револьверных выстрелах.

Франсуа выходит на улицу и весь день бродит в туманном Париже. Возвращаясь домой, он идет вдоль длинного ряда балаганов. Народу еще мало, но уже горят огни и уже тревожно, буйно и тоскливо воют механические оркестры и в темной синеве вечернего воздуха мелькают и кружатся карусели. Еще издали Франсуа увидел черную толпу. Подошел ближе. Всего человек сорок. Посередине сидит кто-то с белыми листами нот. Высокий и молодой, в остром колпаке, поет в рупор. Рупор делает его голос торжественным, гудящим и печальным. И от этого пения вырастает предчувствие чего-то неизъяснимо прекрасного. Вот сейчас вдруг спадет огромная тяжесть, все озарится неведомым светом. Франсуа идет и шепчет, путая, стихи и песни. Он качается и рвется вверх, ему кажется, что можно оторваться от тротуара и ринуться навстречу разверзающемуся ослепительному сиянию.

За ним, по пятам, шла женщина в черной шубе. В лицо женщине было страшно смотреть, так как Франсуа думал, что если глядеть в упор, то может открыться тайна.

## ГЛАВА 2

Я переживал очень трудное для меня время. Та странная жизнь в снах и мечтаниях, которую я вел раньше, боролась с напором страшной и неведомой мне «настоящей» жизни, идущей на меня из будущего и о которой я раньше думал, что ее нет. Как будто рассеивался туман и передо мною вставала мучительно остроугольная геометричность мира. Но, несмотря на смятение и тоску, я все время помнил о Виллоне. Я думал, что ему страшно, и я любил его за этот страх. Я вел тогда дневник, некоторые записи которого я с удивлением теперь перечитываю. Я привожу те записи этого дневника, которые мне кажутся наиболее связанными с жизнью Виллона.

Запись первая:

День распадается на две половины. Утро ясное и холодное. Торжество обмана и измена настоящему «я». В этом есть даже какая-то увлекательность. Скорчив благонравную рожу — как будто бы нет тревоги; и хотя обман, а все-таки так нужно. Вечер — опять старое, бесформенное, свое, настоящее.

Мечта, и своя боль, и чувство, что плывешь над миром и в то же время растаиваешь в нем.

Запись вторая, в которой что-то украдено у Розанова:

Главными чувствами были испуг и смятение. Испуг, что вот что-то завтра перестанет быть, рухнет в туман, и я не увижу, не узнаю, не переживу. Это тревога о том, что что-то уходит, уходит безвозвратно, идет мимо, и я не могу схватить, тороплюсь и раскрытыми руками падаю в извечный туман, в котором ничего нет. Нужно выходить из комнаты, в которой так светло горит лампа и глухо, чтобы никто не ворвался, задернута штора, и падать в туман, искать в нем свое место.

Запись третья:

Самое любимое, может быть, я не всегда так буду думать, это страх и беззащитность. Я раньше думал, что страх и беззащитность родились только в душах людей двадцатого века, но ведь уже Франсуа Виллон корчился на дыбе и Микеланджело бежал из Флоренции. Страх, и беззащитность, и бегство. Их преодолевает только величайший гений. Толпы других, зачарованных «вечной музыкой» (слово В. Розанова), корчатся и беспорядочно бегут. Но не было ни одного, кто бы предал и отрекся от очарования ужаса и вечной музыки. Как легко я узнаю в толпе заклейменные страхом лица слушающихся. Через все века и народы они идут смятенными толпами, как движется в пыли дорог шествие переселяющегося народа. Я слышу топот их ног, и какая страшная тишина настанет, если они пройдут мимо и я останусь один.

Такими записями я заполнил целую тетрадь. Все это кончилось в тот день, когда я снова встретил Виллона. Я думаю, что в этот день переломилась моя жизнь. Я хочу вспомнить все, что было в этот день. Я слышу, как Семён говорит: «Эх, барыня, дайте гитару!» Он удобнее усаживается на кровати и перебирает тоской и жалобой звенящие струны. Я не понимаю, как я попал в эту комнату и почему против меня сидит высокая женщина в голубом платье. Я думаю о том, что мы только что прошли, так хорошо мне знакомый, перекресток, где под арками метро тревожно и быстро ходят проститутки. Каждую я знаю в лицо. В комнате же все кажется чужим и непонятным. И даже Семён, так давно знакомый, с его горбатым носом и широкими скулами, как будто совсем чужой и неизвестный, в первый раз увиденный. Я чувствую, что в том, что я здесь, есть что-то неправдоподобное. Перед тем как попасть сюда, мы очень долго ехали по метро. Я слушал странные рассказы Семёна и с тоской смотрел на его бледное, с темными провалами щек, горбоносое лицо, почему-то напоминающее лица арабов-рабочих. И бесконечность линий метро, и будки уборных, и серое давящее небо, и беспрерывно падающий мелкий дождь, все это было совершенно одинаковым на всех окраинах громадного города, и у меня не было воли вырваться из этой бесконечности и одинаковости. Целый день я летел в грохочущих поездах метро, бежал, подняв ворот пальто, по мокрым, тускло освещенным тротуарам, карабкался по крутым и темным, пропахшим лестницам грязных отелей. И вот, наконец, я очутился в этой маленькой чистенькой комнате и сижу против женщины,

с белым затылком под коротко подстриженными темными кудрями. Семён напевал вполголоса обрывки песен, перебирал слабо рокочущие струны. — Нет, сегодня не выйдет, — и, отбросив гитару, он стал гладить странно тонкую руку женщины, приговаривая что-то нежное и веселое, отчего женщина долго и радостно смеялась. Я смотрел на худое и усталое лицо Семёна, на дрожащее от смеха большое тело женщины и улыбался робко и тупо. Мне казалось, что все вышло не так, как я думал, и что это не та женщина. Вдруг раздался какой-то необычайный звон, как будто с маленького столика, стоявшего у изголовья кровати, попадали склянки и флаконы. «Месье! меня вызывают по телефону, может быть, ко мне идут», — говорит женщина, вставая и расправляя складки голубого платья. Мы выходим на улицу, и я прощаюсь с Семёном.

Я остаюсь один и долго иду под арками метро. Вот справа в квадратах окон тусклый красный огонь. Это тот публичный дом, о котором писал Франциск Карко. Я открываю дверь. Как странно, крутые ступени бегут вниз. Еще сверху лестницы я слышу шум голосов и вижу залитый липкими ликерами и вином цинк стойки, освещенный неверным желтым светом. Франсуа стоит у стойки; он говорит быстро и громко. Его желтая кожа лоснится на носу и подбородке жирным и тусклым блеском. Он рассказывает о своей любви. Его рот быстро двигается, обнажая черные гнилые зубы. Неподвижный кабатчик и другой человек, стоящий у стойки, чувствуют на своей коже порывы его горячего и зловонного дыхания. — Я разбил ей рожу — говорит Виллон, показывает что-то руками и смеется. Лицо кабатчика неподвижно. Другой человек пьет вино и как будто одобрительно произносит страшное проклятие, Виллон пытливо засматривает им в глаза и снова смеется.

Он гораздо меньше ростом, чем другой человек. У этого другого могучая спина и широкий затылок. Я вдруг замечаю, что Виллон говорит на почти непонятном мне, торжественном и скудном, древнем французском языке.

С улицы, тяжело ступая по каменным ступеням, входят двое в плоских, как тарелки, шлемах и в кольчугах, обмотанных вокруг шеи и плеч. Один из них очень высокий, с длинным красным лицом.

За столом, где играли в карты и кто-то с безумными глазами и дергающимися белыми губами кричал, что он не хочет играть со всякой сволочью и что нельзя менять карту, карту, уже легшую на стол, — все затихает. Солдаты, в тяжком бряцании доспехов, подходят к стойке. — Хозяин, — говорит высокий, скаля, под большими рыжими усами, лошадиные зубы, — сегодня на рассвете мы выходим из Орлеанских ворот. Барон Убальдис поведет конницу в погоню за кокиярами.

Он пьет вино, огромной, несгибающейся рукой вытирает усы и маленькими глазами обводит комнату. «Три дня назад кокияры убили в лесу королевского вербовщика», — и опять под низкими сводами мертвая тишина, и медленно ползущий по лицам взгляд.

Лицо Франсуа стало совсем серым. Ему страшно трудно сделать неподвижными свои глаза. Он так хорошо помнит лицо королевского вербовщика

и темное тело, лежащее под черным голым кустом на ворохе сухих и шуршащих коричневых листьев.

Он помнит, что за обрывом красное и неподвижное солнце было вписано равным геометрическим кругом в самый низ огромного, уходящего вверх неба и почти касалось синей черты потонувших в сумраке лесов и холмов. От земли подымался страшный пронизывающий холод, и было уже почти темно. Самое страшное было в том, что королевский вербовщик, в отличие от других людей и вещей, которые существуют в сознании Виллона, действительно был, действительно жил. Этого живого человека, который кричал и двигался, спихнули в ничто, в непостижимое и страшное, и нельзя, уже никогда нельзя будет вернуть, сделать, чтобы этого не было. И хотя не Виллон был убийцей, но ему кажется, что над черным окостеневающим телом убитого вербовщика раздирается огромная завеса какого-то неведомого, нарушенного закона.

— Она разодралась внутри меня, — думает Виллон.

Второй солдат, с темным скуластым лицом, что-то говорит высокому, двигая круглыми черными бровями.

Тело Виллона охватывает томительная слабость, когда он видит, как рука высокого опускается на рукоять меча. Он видит растущее и приближающееся лицо с ненавидящими, расширившимися глазами и в страшном, не разбиваемом оцепенении ждет удара. Он знает в это мгновение, что высокий солдат так же, как убитый, не призрачен, как другие люди и вещи, а действительно существует, и в душе Виллона колеблется, раздираясь, та же завеса какого-то нарушаемого закона.

Непреодолеваемая слабость проходит только тогда, когда рука, судорожно стиснувшая рукоять меча, начинает медленно разжиматься.

— Ты ошибся, старик Анри. Вот уже месяц, как Виллон вернулся в Париж, — говорит кабатчик с неподвижным лицом, положив тяжелую руку на плечо солдата. Солдат упрямо бормочет: «О, девка Господа Бога! Я еще продырявлю его проклятую шкуру».

Солдаты уходят, и в комнате подымается гул голосов.

Я выхожу на улицу вместе с Виллоном. Тогда начался тот мой, параллельный с Франсуа, бег к Орлеанским воротам, который я всегда буду помнить. И, хотя он шел под другим небом и в другом времени, хотя он шел в черном мраке исчезнувших средневековых улиц, я слышу, как долго катится в пустой тишине гулкое эхо его шагов.

Пройдя мимо великого и темного, высящегося посередине пустой площади Пантеона, я попадаю в бесконечную цепь улиц. Я иду походкой неверной и спотыкающейся, кружится голова, и перед глазами плывут золотые, черные и красные расходящиеся круги. Мысли спутаны и неясны. То я вижу палачей, копошащихся в какой-то путанице страшных колес и пил, и поднятое на дыбу тело Виллона, в лицо которого уже дохнуло веяние приближающейся ужасной муки. И я знаю, что это мой, мой крик боли и страха разобьется о низкие каменные своды. То вдруг эти странные мысли прореза-

ются взлетающим взрывом. Громадная радость предчувствия растет, растет, ширится.

Теперь мимо меня оцепенело плывут заборы, по мутной и мертвой белизне которых бегут таинственные черные тени. За заборами голые распятые скелеты деревьев. Это уже окраина. Вот и Орлеанские ворота, и толпа оборванных нищих и бродяг, среди которых я еще издали вижу бледное и острое лицо Франсуа Виллона.

Конница выходит из ворот города. Пронзительно звенят высоко поднятые трубы гарольдов. От лошадей валит пар, и перебойным мерным рокотом стучат подковы. Впереди едет человек со светлыми жестокими глазами, с лицом, как будто вырубленным из белого камня. Из-под шелома выбиваются желтые вьющиеся волосы. Горбун, корчась, прыгает у самых ног его высокого коня.

Франсуа стоит и долго смотрит вслед коннице, уходящей в утренний туман, который, клубясь, ползет над бескрайней, голой и черной землей. Потом он медленно подымает голову к уже совсем светлому небу, в страшной высоте которого стремительно несутся косые и легкие облака. Лицо Виллона искажено страхом и восторгом.

Я не знаю более прекрасного лица...

## ИЗ ЗАПИСОК БЕССТЫДНОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

*Оптимистический рассказ*

Я помню очень много событий из моей прежней жизни и очень много имен, людей и улиц. Но у меня никогда нет полной уверенности, что все это действительно было и было именно со мной. Может быть, мне только рассказывали, что это было с кем-то, и я не знаю, существуют ли те дома и города, в которых я жил. Я никогда не могу их себе представить. Из всего моего исчезнувшего прошлого во мне осталась память только о двух случаях. Я вижу длинную деревянную скамью, которая со свистом, стремительно скользя, несется по светлой блестящей глади паркета, и ощущение мгновенной, острой и сладкой боли удара по коленям, после которого наступают слабость, головокружение и сладострастное изнеможение. Я хорошо знаю, что это было в таком-то городе и в такой-то гимназии, я могу высчитать, что тогда мне было девять лет и что скамейку толкнули гимназисты 1-го параллельного класса. Я даже как будто бы вижу светлые пряжки, серые куртки и розоватые круги лиц, но во мне живут только свист раскатившейся по паркету скамейки и мучительная боль в коленных суставах.

Второе воспоминание — о самом радостном и счастливом утре в моей жизни. Это было, когда мы еще жили в Москве, но я не знаю, сколько тогда

мне было лет. Я проснулся с ощущением счастья. Голова не болела, и во всем теле была радостная легкость, как будто бы это было первое пробуждение, первое утро на земле, и я еще нес в себе нетленную свежесть какого-то другого мира, из которого я пришел. Я лежал в белой никелированной кровати, в комнате, наполненной солнечным блеском. Я знал, что внизу улица; оттуда несся странный и таинственный, радостный шум. Я никогда не могу вспомнить, был ли это стук копыт по камням мостовой, или крик человека, или грохот грузовика. Иногда мне кажется, что это был голос высокого дворника в белом фартуке. Но когда я всматриваюсь, дворник исчезает, и я не могу узнать тайну этого бывшего шума, который тогда родил во мне чувство уже никогда после не испытанного счастья. Сколько раз в протяжном, звенящем стенании рельс, дрожащих от приближения страшно быстро надвигающейся тяжести летящего трамвая, в какой-то необыкновенной ясности и светлости дня и в откуда-то неожиданно несущемся, в порывах слабого дыхания ветра, не бывающем запахе, мне казалось, воскресало воспоминание того утра, и уже во мне росло предчувствие наступающей радости. Но эта мечта вернуть только один раз испытанное чувство полного счастья никогда не свершалась. Еще совсем недавно, выйдя из дому, вдруг, по яркости сверкания белых и желтых стен домов, по отчетливости и чистоте всех линий, по пьянящей истоме, разлитой в теплом воздухе, по томительной и сладостной слабости, охватившей все тело, по тому, как заныли плечи, и все шумы и запахи показались страшно давно знакомыми, всегда бывшими, я их только забыл и теперь внезапно вспомнил, и потому, что все они были как будто бы радостны, я понял, что пришла весна и через мгновение, вот сейчас, я вспомню о бывшем тогда счастье. Но это мгновение никогда не наступило. Я не понимаю, как это могло быть, но я опять все забыл.

Боль в коленях, мгновенное ощущение твердости края скамейки и никогда не становящееся ясным воспоминание того, может быть, никогда не бывшего утра — вот все, что всегда во мне, что всегда останется бывшим со мной. Все остальное в моей жизни мне кажется давно и невозвратимо переставшим быть, как будто бы потонувшим в каком-то колеблющемся меркнущем пространстве, из которого ничто не возвращается, которого нет и которое называют — прошлым. Все остальное стало неясным и не вполне достоверным преданием о каком-то не имеющем обозначения человеке. Все, что я переживал, все, что происходило в моей жизни, еще сейчас бывшее со мной, уже исчезало и умирало, становилось бывшим с «кем-то», становилось продолжением рассказа об этом, не имеющем имени, человеке. Несколько лет тому назад, желая спасти от исчезновения в пустых пространствах прошлого хотя бы только маленькую часть жизни, я стал писать дневник. В этом дневнике есть запись о моей ссоре с Марией: «Он хотел от отчаяния вгрызться зубами в свою руку выше локтя, и вдруг увидел, что его рука оказалась неожиданно тонкой и слабой, какой-то почти прозрачной, и снова слезы подступили к его глазам, слезы жалости к себе и слезы сладостного умиления».

Когда я читаю эту запись из моего собственного дневника, мне становится скучно. Я смотрю на свою ладонь, на очень мелкие капли пота в бороздах кожи, засучиваю рукав пиджака и думаю: как могла казаться прозрачной моя желтая и бледная рука, с набухшими под кожей зелеными жилами. Я знаю, что я только хотел, чтобы наша ссора была сладостной и печальной. На самом деле в тот день у Марии было лицо такое же непонятное, желтое и несуществующее, как и моя рука, и гаснущие большие глаза, в которых, как в глазах умирающих, откуда-то из страшной дали, в напряжении напрасных и последних усилий, еще стремилась вернуться уходящая жизнь. Увидев эти печальные глаза, я подумал, что я уже больше не могу любить Марию, так как в ней нет ничего необычайного и она такой же человек, как и я, то есть человек, который умирает, который сделан из такого же желтого тела. Я чувствовал не жалость, а равнодушие и озлобление; мне хотелось уйти; я думал, что Мария не имела права иметь такое помертвелое лицо и что она нарушила какую-то очень важную условность. Теперь я вспоминаю, что тогда эти мысли были мне неприятны и совершенно уничтожили ту сладость, которая была в начале нашей ссоры.

Эта ссора произошла вечером, на скамейке темного городского сада, в стране, из которой я давно уехал. Над нами таинственно и уныло шумели сливающиеся с темнотой голые вершины, черные и безлистые сучья скрипящих деревьев. На соседней скамейке женщина сидела на коленях мужчины. Во мраке были видны только тлеющий красный огонек папиросы и ноги женщины в светлых чулках. Я все смотрел, украдкой от Марии, на эти вздрагивающие ноги и слушал шепот, придавленный смех и бесстыдно сладострастные вздохи. Когда Мария спросила: «Скажи, ты все-таки меня любишь?», сделав благородное и печальное лицо, говоря что-то неопределенное о том, что все-таки люблю, я думал, что если бы я совсем поссорился с Марией, то не нужно было бы тратить деньги на кафе и кинематографы, торопиться на свидания; можно было бы целый день быть одному, неподвижно сидеть за письменным столом или ходить по улицам. Я знаю, что, сделав усилие, я вспомню все, что тогда было. Например, я могу вспомнить, что какой-то плохо одетый старик медленно прошел мимо и притаился в нескольких шагах, невидимый во мраке встающих, как стена, как поглощающий черный фон, деревьев и кустов, откуда он смотрел на нас и на тех, кто сидел на соседней скамейке, и смущенное, сердитое и в то же время наглое и решительное выражение его лица, когда перед этим, очень медленно проходя мимо нас, он повернул голову в нашу сторону, и его отвисшую и красную нижнюю губу, и мутные глаза, которые я увидел в то мгновение, когда он очутился в настигшем его движущемся светлом пространстве, бросаемом вперед фарами пронесшегося по близкой улице автомобиля. Но напрягать память очень трудно, и потом неясно, для чего? Может быть, и не нужно, так как все равно я смогу вспомнить только мысли, слова и события, но не могу ни воскресить бывшего очарования, ни вновь пережить бывшие чувства и ощущения. В этой восстанавливаемой волей памяти о прошлом нет радости,

как нет ее в моих старых дневниках, письмах и фотографиях, в которых я мечтал, как ростовщик из рассказа Гоголя, спасти часть моей и окружающей меня жизни и которые я почти никогда не разглядываю. Как безразличны все эти подписи и неразборчивые почерка, и какое собственно отношение имеет ко мне маленький мальчик в нахлобученной на уши фуражке, с беспокойным, завистливым и обиженным лицом, уныло и неотчетливо изображенный на желтой, выцветшей бумаге любительской фотографии? Если это я, то почему же я смотрю на него равнодушно, не чувствуя к нему жалости и любви, которые всегда испытываю, когда думаю о себе? И я не могу ничего вспомнить, сделать живым в настоящем. Даже забыт уже вчерашний день. В самом деле, что же было вчера?

Вчера я был в университете, на лекции о Дюги. Профессор сидел далеко внизу за длинным дубовым прилавком кафедры. Видны были только толстые покатые плечи и красное лицо с белым клинышком бородки и орлиным носом, подпертое высоким и очень твердым воротничком. На эту голову одет огромный голый лоб, который кажется сделанным из выпуклого картона, покрытого розовой маслянистой краской, и тускло блестит отраженным светом электрических ламп, слабо сияя на черной четырехугольной аспидной доске, укрепленной за спиной профессора. Наверху, под очень высоким потолком, где льющийся сквозь узкие окна мягкий свет серого дня борется с желтой тусклостью электричества, плывет мутная мгла, в колебаниях которой мерцают блики каких-то неясно различимых больших картин. Эта мгла, этот сияющий лоб, черные бегущие вниз ряды голов сидящих передо мной студентов и в благоговейной тишине громкий, но в то же время идущий как будто бы очень издалека голос профессора делают аудиторию похожей на место молений, в котором жрец возносит к имени какого-то неведомого Бога таинственные и непонятные слова ученых заклятий.

Я стараюсь вслушаться в эти слова. Мне нравится, как мысль профессора прорастает все в бóльшую и бóльшую сложность, мне нравится, как он легко делает построения, называет имена. В нем нет тревоги, так как он все знает и все решил. И в то же время то, что он так много знает, почему-то мешает мне жить спокойно. Может быть, начать усиленно работать, преодолеть ужас перед изнуряющей мукой усилия и все узнать. Тогда не будет этой вечной тревоги, мысли не будут мучить не доведенностью до конца, и мне будет дано спокойствие. Я начинаю мечтать и в мечтаниях становлюсь очень умным и читаю доклад в существующем при нашем курсе кружке. После моего доклада идущий первым на нашем отделении студент, с толстой, курчавой головой и маленькими глазами, которые всегда влекли меня затаенным в них беспокойством, подходит ко мне, крепко жмет руку и говорит: «Вы замечательно решили квадратуру круга личных публичных прав. Вы станете золотым гвоздем нашего кружка»... Красивая студентка, которая раньше никогда меня не замечала, так как она разговаривает только с самыми умными студентами, ослепляя меня сиянием глаз, более прекрасных, чем очи врубелевской Царевны-Лебедь, произносит фразу: «Вы так верно раскрыли учение Дюги», звучащую в моем ох-

ваченном восторгом сознании как — «мы могли бы любить друг друга»... Сам профессор, выйдя из-за кафедры, расталкивает обступивших меня студентов, давая дорогу торопливо семенящему маленькими ножками, кроткого вида старичку с громадной головой. Это спешит Кант.

Но в это время профессор, который оказывается по-прежнему сидящим за кафедрой, слегка улыбаясь (как самодовольно, тонко и снисходительно улыбается фокусник, объясняющий очарованным и наивным зрителям, что показанное им чудо вовсе не чудо, а только очень простой и несложный трюк) и сознавая, какою неожиданностью должны поразить его слова, разрушающие всю, уже казавшуюся такой несомненной, убедительность доводов Дюги, говорит: «Так ставит проблему Дюги, но в моей последней работе я должен был признать его выводы несправедливыми». Я потерял из виду Канта, который вдруг, быстро уменьшаясь в размерах и делаясь неясным, стал отодвигаться в какую-то даль, как будто бы побежал в глубь темного и страшно длинного коридора, и, подымая голову, смотрю на высокий лоб профессора, с тревогой замечая, что в его сплетенной из трудных и сложных фраз, мерно льющейся речи, которая мне представлялась профилем плавно катящегося потока, мысль о том, что, может быть, Дюги неправ, высовывается, как острый угол неподвижного каменного куба. Я не могу представить, что́ сможет профессор возразить на доводы Дюги, такие ясные и убеждающие. Но профессор подходит с такой новой и неожиданной для меня точки зрения, я даже не подозревал возможность ее существования, и так легко разрушает положения Дюги, что, когда он говорит: «Если расшатать столбы, на которых утверждены построения Дюги, они рушатся, как картонная бутафория», становится самоочевидным, что прав, конечно, профессор. Я даже чувствую, что во мне есть знание о том, почему именно прав профессор, но так же, как в шахматах (когда перед тем, как сделать ход, я силился представить могущие создаться комбинации и уже как будто бы прозревал будущие ходы и положения фигур, уже видел, закрывая глаза, как конь, выгнув крутую зубчатую шейку, готовится двинуться вкось, пересекая квадраты, и вдруг в тот момент, когда должна была проступить последняя ясность этих воображаемых движений, все смешивалось, и путаница фигур на доске становилась совершенно невнятной), когда я хочу рассказать себе об этом знании, и мне кажется, что еще последнее усилие, еще одно мгновение, и я все пойму, оно исчезает, как исчезает тронутый пальцем мыльный пузырь. В моем сознании осталось только как бы графическое изображение развития мысли профессора, какая-то граммофонная пластинка, которую я не могу заставить звучать, хотя ее звучание, как вертящееся на языке, но все-таки не вспоминаемое слово, живет в моей памяти. Но в то же время, чувствуя где-то в себе это знание, я так же знаю, что я ничего определенного не думаю ни о доводах Дюги, ни о доводах профессора, что обо всем этом у меня нет никакого мнения. Я уже ничего не понимаю в монотонном бормотании профессора. Оно стало (вместе с твердостью парты, за которой я сижу, вместе с блеском серого дня и приглушенным далеким гулом городского движения,

которые я заметил внезапно, сейчас же узнав, догадавшись и вспомнив, как они должны расцветать за прорезанной узкими и высокими окнами стеной) какой-то не обращающей на себя внимания, неясной, присутствующей почти за краем сознания, атмосферой медленного растечения моих обычных мыслей. Эти мысли всегда одни и те же: мне кажется, что мое сознание засыпает, что мои мысли не становятся ясными и не доходят до конца. Они как будто бы останавливаются и бьются о какую-то стену. Еще я думаю, что если бы у меня был более высокий лоб, мне было бы легче думать, я не так быстро бы уставал. Как всегда, за этим приходит страх потерять ощущение реальности. Мне начинает казаться, что все призрачно, непостижимо, и видится, как на далеком кинематографическом экране, когда сидишь в самых задних рядах, мучительно вглядываешься и напрасно пытаешься перейти какую-то черту, отделяющую от этого, вне меня существующего, экрана и достигнуть иллюзии, превращающей плоские сменяющиеся изображения в трехмерный, со всех сторон окружающий мир. Чтобы все плывущее перед моими глазами, обманчивое, как дрожащий в знойном воздухе мираж, облеклось тяжестью и твердостью настоящих вещей, чтобы все встало на свое место и сделалось обычным и неподвижным, нужно пристально и, сосредоточивая внимание, вглядеться, тронуть рукой. Вот хотя бы этот сидящий передо мной студент. Его костюм сделан из очень хорошей тонкой материи, плотно облегающей широкую, мускулистую спину. Темные, припомаженные волосы красиво подстрижены над белым и крепким, без впадины, затылком. В его маленьких ушах, в проборе, во всех графически четких, как бы в безвоздушном пространстве проведенных каким-то мастером, смешавшим манеру Люини и рисовальщиков модных плакатов, линиях его головы и тела есть что-то элегантное и мужественное. Эта красивая фигура покрыта ясными и легкими красками, очень приятными для глаз и внушающими мысль, что этот студент — человек очень порядочный, хорошо воспитанный, богатый. Я стараюсь вообразить его жизнь, мысли, привычки, разговоры со знакомыми, строение его тела, и из раскрашенной поверхности он становится двигающейся системой, но не превращается в живого человека, к которому я должен испытывать заповеданную Богом любовь. Если я завтра узнаю, что он умер, я отнесусь к этому так же равнодушно, как к ежедневным газетным сообщениям о гибели в разных концах земли, от пожаров, войн, голода и землетрясений, тысяч неведомых людей. Когда студент поворачивает голову, меня удивляет прозрачность и светлость большого и выпуклого, сверкающего глаза. Может быть, в первый раз в жизни я вижу линии поверхности глаза не на грунте лица, а прямо в пустоте, преходящей в глубине в ту особую, почти не колеблющуюся атмосферу неяркого света и тишины, которая наполняет аудиторию. От этого глаз кажется какой-то самостоятельной и прекрасной вещью, каким-то чудесным и огромным драгоценным камнем. Я знаю, что в этом глазе сосредоточено что-то важное и большое, но не могу вспомнить, что же именно. Нужно сделать усилие, чтобы вспомнить о чем-то, в чем я таинственно соединен с этим студентом, и тогда, перестав быть

только предметом моих чувственных восприятий, он станет человеком и будет постижим, но я не могу сделать этого усилия и чувствую печаль и тревогу. Это старая неясная тревога о том, что наступают какие-то сроки, что я не успел ничего сделать, что я не узнал самого главного, что мое сознание усыпляется все больше и больше и что уже ничего нельзя будет поправить. Я покорно слушаю, как она, содрогаясь, вызывает неприятное томление, ползет по плечам и спине, растет, всего меня наполняя оцепенением и отчаянием. Я думаю, что она никогда не кончится, что никогда не придет час, когда ее больше не будет и мне станет легко. Я вздрагиваю и открываю глаза — шум встающей аудитории, грохот ног и шелест складываемых тетрадей заглушают последние слова профессора: «Но этого мы коснемся в следующий раз».

Самый умный в отделении студент, который в моих мечтаниях так сердечно жал мне руку, поздравляя с успехом моего доклада, быстро, не замечая моего поклона, проходит мимо меня и останавливает профессора, уже взявшегося за ручку двери. Вблизи у профессора совсем не такой огромный лоб, да и весь он, после того как сошел с возвышенной и ярко освещенной кафедры и померкла световая поверхность его тела, показался как бы сузившимся в объеме, занимающим меньшее пространство и, утратив свое мистическое свечение, стал самым обыкновенным, подслеповатым и лысым стариком, облеченным в поношенный сюртук. Он останавливается и, продолжая держаться за ручку двери, с выражением усталости на добром лице слушает умного студента, который говорит очень торопливо, стараясь вкрадчивостью интонаций и движениями рук и бровей усилить убедительность слов, и часто заглядывает в глаза профессору, как бы спрашивая: «Не правда ли? Вы со мной согласны?» По мере того как нагромождаются синтаксически безупречные и красиво закругленные фразы студента, на лице профессора появляется застенчивая и удивленная улыбка, ясно выражающая, что он, несмотря на все свое желание, не может понять того, что хочет сказать этот умный студент. Заметив эту улыбку, студент сердится, сбивается, начинает снова, но, не найдя более ясных и убедительных выражений, остановился и, как будто бы вдруг что-то вспоминая, начинает вслушиваться в умирающий отзвук своих собственных, внезапно потерявших смысл, еще висящих в воздухе, но уже бледнеющих и исчезающих слов.

Когда профессор уходит, я подхожу к умному студенту и решительно, слегка задохнувшись, спрашиваю: «Вы, кажется, меня не узнаете? Нас познакомил Мейерсон». Я чувствую против него раздражение, так как я, несмотря на то, что несколько раз в разговорах о нем со знакомыми называл его дураком, почему-то хочу, чтобы он обращал на меня внимание, ищу его общества и мучаюсь подозрениями, что он нарочно меня не замечает, вероятно, считая недостаточно для себя умным. Заметив в моей интонации угрожающую готовность оскорбиться, он смотрит как-то через меня, с таким выражением лица, как будто ему внезапно стало очень скучно, и холодно, подчеркнуто не стараясь стать любезней, говорит: «Как же, я хорошо вас помню»... Вдруг выражение его лица меняется. Он радостно улыбается кому-то, находящемуся

за мной, говоря глазами — «Подожди, я сейчас приду», и, стараясь обойти меня боком, торопливо меня перебивает: «Да, да, мы сейчас говорили с профессором о Дюги, но это очень сложно. Я не могу вам этого сейчас объяснить». Я смотрю в направлении его взгляда — та самая студентка, у которой в моих мечтах были такие же глаза, как у Царевны-Лебедь. Подняв довольно хорошенькое лицо, сияющее, как мне показалось, чересчур откровенной влюбленностью, смотрит на черные без блеска и сухие, вьющиеся волосы умного студента и на его короткий вздернутый нос.

Вот, я вспомнил почти все, что было на этой вчерашней лекции. И что же — все эти подробности ничего не говорят о тревоге, которую я все время чувствовал и которая происходила оттого, что моя собственная и окружающая меня жизнь казалась мне непонятной и непостижимой и все мои усилия понять, что же такое значит — жить, были так же напрасны, как если бы я пытался прочесть фразу, написанную неизвестным мне алфавитом. Эта тревога и тщетные усилия длились весь вчерашний день и делали его похожим на те страшные сны, в которых, на самом деле не просыпаясь, в мучительном напряжении открываешь глаза, радостно думаешь: «Слава Богу, это было только во сне», переворачиваешь подушку, засыпаешь и снова видишь тот же полный томления и ужаса сон. Уже вернувшись с лекции, поужинав и сев за письменный стол, я вдруг с отчаянием почувствовал, что я не могу оставаться дома, что нужно куда-нибудь идти. Спускаясь по лестнице, я очень торопился, как будто ждал, что на улице все окажется понятным и радостным. Но, выйдя из дому, я сейчас же понял, что улица, как всегда, обманула и что идти некуда. Я стал думать о знакомых, и необходимость делать усилия — бриться, причесываться, чистить башмаки, долго с пересадками ехать — меня испугала. Оставался кинематограф. Но на всех плакатах были все те же люди с застывшими улыбками, и я сразу догадывался, что эти люди будут двигаться томительно медленно, что тягостны будут влюбленные взоры и неуютна роскошь каких-то нежилых и скучных комнат. Уже без надежды я переходил от кинематографа к кинематографу и, наконец, усталый, вернулся домой. Дома долго ходил по комнате, беспрерывно куря, потом, сделав усилие воли, заставляя себя вспоминать, что я люблю литературу, стал с трудом читать. Это была книга Марселя Швоба: «Vies imaginaires». Сначала я ничего не понимал, но потом постепенно начал видеть, как за черными буквами ничего не значащих, не связанных между собою слов стало открываться какое-то огромное светлое пространство, полное движения и блеска, в котором чудесно оживали герои печальных и мрачных рассказов Марселя Швоба. Моя жизнь переходила в это пространство, и весь день мучившая меня тревога, которая родилась оттого, что я не мог понять окружающей меня жизни и почувствовать ее реальность, перестала быть, когда я стал читать повесть о несчастном Кротосе и меня охватил торжественный и радостный холод.

Марсель Швоб рассказывает, что Кротос совершил все, что проповедовал Диоген, но он был нежен к людям и осуждал Диогена за то, что тот бил палкой людей, пришедших на его зов — «Люди, приблизьтесь», говоря им:

«Я звал людей, а не испражнения». Кротос редко говорил о богах, хотя упрекал их, в том случае, если они есть, за то, что в самом замысле они сделали людей несчастными. У него не было никакого мнения о сильных мира сего, и он смеялся над обличительными проповедями Диогена и над его попытками изменить нравы. Мысль о возможности какого-нибудь знания ему казалась нелепой. Он жил, как собака, добывая пищу в свалочных ямах, но под старость уже перестал двигаться, не желая даже протягивать руку, и умер от голода.

Когда я стал думать о Греции, я увидел сначала что-то очень условное, что-то похожее на конструкции и декорации к «Лизистрате» в постановке оперетки Московского Художественного театра: синее небо и белая колонна с обломанной капителью. И я увидел дома и улицы Пиррея и панораму, колебавшуюся в миганиях кровавых глаз неподвижного Кротоса, только когда вспомнил прочитанную в английском романе, поражающую фразу — «улица Канобьер вела прямо в пространство», и передо мной встало воскресшее видение Марселя и широкой улицы, уходящей в сияние и блеск ослепительно синего, сверкающего моря. Я знаю, что в древнем Пиррее не было слышно, как стучат, наматывая грохочущие мокрые цепи, машины на больших пароходах, выбирающих якоря, чтобы уйти за пределы каменных молов, и что в те времена средиземноморские матросы не носили полосатых тельников, но ведь так же скрипели причалы и терлись о пристани высокие борта, и ветер выл в снастях, и вдали, вскипая, бежали белые барашки, и так же в море расходились корабли и с тревогой, стараясь прочесть название, следили матросы, как пеня воду, накренившись, проходит за кормой длинный, черный корабль и становится все меньше и меньше в голубом, все охватывающем и все вмещающем пространстве. И, вероятно, Кротос, сжигаемый беспощадным солнцем, сидел у спуска в порт у подножия белой стены. В бронзовой коже его почерневшего лица были глубокие трещины и борозды, прорытые дующими с моря, рожденными в глубине лежащих за морем таинственных земель, ветрами. Я думал еще, что, может быть, этот горячий ветер, несущий тучи остро режущего лицо песка, летит из Сахары, из земли, по которой ступали ноги Гумилева, и что в толпе лукавых греческих мудрецов, которые смотрели на Кротоса и как будто бы кротко, чтобы скрыть неясную тревогу, усмехались в козлиные бороды, особенно должно было выделяться бледное лицо и полный беспокойства, страха и удивления, неизъяснимо прелестный, как у женщины, взгляд сияющих темных глаз античного юноши из свиты Александра Македонского. Он смотрел, как Кротос ползает в пыли, медленно волоча по земле вздутое брюхо, опираясь на очень тонкие иссохшие руки, что-то ища красными, почти незрячими глазами на каменных раскаленных плитах, по которым горячий ветер метет и крутит легкий сухой песок. В душе юноши ужас и восторг, и он уже почти готов идти за учителем. Но вдруг он замечает, как тяжело и высоко дышит выпуклая, туго обтянутая тонкой материей грудь стоящей рядом молодой женщины, и мгновенно охваченный сладострастным желанием с сожалением отходит прочь.

Еще я думал, что могло быть совершенно иначе, что Кротос мог не умереть от голода. Я представлял, что он внезапно начинает мечтать о папиросах. Он вдруг вспоминает, чувствует в горле, груди и животе предвкушение острого, непереносимого наслаждения первой после большого перерыва затяжки горьким и едким, все внутри сладостно и больно раздирающим, дымом. За это счастье не страшно заплатить спасением, и оно так огромно, что уже безразлично, что, может быть, нет богов и что люди несчастны. И я вижу, как Кротос, цепляясь руками за стены, влачится к ближайшей табачной лавочке, радостно бормоча: «Еще не все потеряно, так как еще есть гильзы Кадыка». И только потом пройдет ужас перед тем, что жизнь непоправимо погублена и что нельзя вернуть долгие годы, в которые он мог бы радоваться сладости голубоватого дыма.

Странно — эти мысли и мечтания, вызванные чтением рассказа о несчастном Кротосе, в которых я забыл весь день мучавшую меня тревогу, привели меня в хорошее настроение. Засыпая, радостно ощущая тепло и уют моей комнаты, я думал о том, что я не знаю, что такое жизнь и для чего я живу, но что впереди будет что-то хорошее, и меня никогда не оставит тот добрый и хороший Бог, которому я молился в детстве.

Сегодня произошло событие, которое заставляет меня думать, что все, что я написал несколько дней тому назад в этих записках — неправда.

Я шел по улице, как всегда печально думая, что я никогда не пойму, что такое жизнь, как вдруг внезапно вспомнил забытый сон сегодняшней ночи и, чувствуя, как кружится голова, услышал громкие и медленные удары сердца. Я остановился, прислонившись спиной к фонарному столбу, и с радостным удивлением, как будто бы видел в первый раз, смотрел на почти недвижимые, бледные облака, на темно-зеленые деревья и на висящий в пролете спускающейся под гору улицы, в ясности уже темнеющей глубины предвечернего воздуха, железный мост метро, по которому, над низкими серыми и желтыми домами и заборами, в самом низу огромного неба мелькали быстро катящиеся маленькие деревянные вагоны. Не было слышно шагов, и улица казалась грустной и забытой, казалась одной из тех улиц, по которым никто никогда не ходит, которые бывают только где-то на далеких окраинах или на картинах Утрильо. Сначала я вспомнил, что совсем недавно я пережил что-то необыкновенно хорошее и радостное, потом — что это была влюбленность и почти сейчас же, что это было во сне, и самый этот сон. Мне снилось, что я пришел в комнату Марии. Я знал, что что-то произошло и что Мария была не такой, как всегда, но я не мог ничего вспомнить и не понимал, в чем эта перемена, и поэтому в этом сне была та же печаль, которая бывает, когда видишь во сне умерших любимых людей, видишь их живыми и, не вспоминая о том, что они умерли, все-таки чувствуешь, что с ними что-то случилось, делающее их непохожими на других людей, но не можешь вспомнить, что же именно, и, испытывая к ним любовь и щемящую жалость, знаешь, что они не останутся долго, что они должны будут куда-то уйти. Но несмотря на эту печаль, я испытывал к Марии чувство влюбленности, которое было

так радостно, так не похоже на влюбленность, которую я знал в настоящей жизни, и наполняло меня такой нежностью, что мне хотелось плакать. Рядом с Марией стоял знакомый мне человек, но я не мог вспомнить, кто он. Она обнимала его и смотрела на меня странно, с каким-то торжеством и вместе с тем с печалью и любовью, как будто хотела сказать: «Ведь ты же говорил, что ты не будешь меня ревновать и что тебе не будет страшно, когда я тебя брошу».

Вспомнив этот сон, я почувствовал очень приятную и грустную радость, любовь к Марии и никогда раньше не бывшие нежность и умиление. Я сам себе говорил: «Меня любила живая женщина». Эти слова имели для меня неясное, но очень большое значение.

До воспоминания о Марии мир, который я видел, формально ничем не отличался от мира, о котором пишут и говорят люди. В нем было все то же — линии, цвета, твердость, звуки, запахи и вещи, от которых во рту делалось горько или сладко. Но в мире других людей все это держалось и было укреплено в чем-то всепроникающем и охватывающем, которое одни называли Богом, другие жизнью, в то время как мир, который я знал, был только раскрашенной, призрачной и тонкой перегородкой, за которой пустота, ничего нет. И люди в моем мире были такие же, как тот студент на лекции, в которого я напрасно вглядывался, и когда я смотрел в их лица, я все ждал, что сейчас будет то же, что происходит в романе Герберта Уэльса, когда человек-невидимка снял картонную маску, темные очки и кепку и все увидели, что за ними ничего не было, что его голова исчезла. Но иногда мне казалось, что тот мир, о котором пишут и говорят другие люди и в котором есть Бог и жизнь, существует действительно, но он лежит в какой-то далекой, цветущей и солнечной долине, и я не могу найти туда дорогу, так как вокруг меня холод и мрак, и я, как зародыш в банке со спиртом, нахожусь в какой-то несерьезной пустоте. Временами я слышу гул этой долины и, вдруг вспомнив о ней и охваченный тревогой, что я ее никогда не увижу и не узнаю, с беспокойством ищу и не нахожу выхода из призрачной пустоты, в которой я нахожусь. Это похоже на то, когда в темной комнате ищешь и не можешь найти двери и, уже начиная чувствовать страх, слушаешь мертвую тишину комнаты, слышишь, как за стеной ходят и говорят люди, знаешь, что там светло, и, вдруг понимая свое страшное одиночество и охваченный ужасом, что тебя забудут, снова начинаешь стучать и звать. И вот память о Марии была памятью о приходе из того настоящего мира, так как я твердо знал, что Мария была не только порождением моего сознания, но имела совершенно самостоятельное от меня существование. Она жила в этой недоступной для меня страшащей и манящей долине, имела имя, друзей и родных, свои дела и интересы. Мысль, что Мария пришла ко мне из настоящей жизни и отменила своим приходом бывшую вокруг меня призрачность, наполняла меня радостью и благодарностью. Ее живая и теплая рука внесла в мою пустоту жизнь, постижимую и ясную. Я забыл лицемерие и ложь, невозможность что-либо сказать и все смешное и стыдное, что было в наших отношениях, и только видел, что

огромное пространство, отделявшее меня от других людей и жизни, исчезло, и совсем близко было такое хорошее и любимое лицо Марии. И я вспомнил, что именно такое, прекрасное лицо должно было быть у Марии в тот вечер, когда мы поссорились на скамейке городского сада, и все наши встречи, и всю мою жизнь. Но эта память о моей жизни была не сухим перечнем дат и событий, не последовательной биографической летописью, но воскресением всей моей жизни, со всем ее напряжением и полнотой и вдруг понятым счастьем. Так, например, я не вспоминал, что тогда-то и там-то я видел цветы, а сейчас, теперь жадно, как будто бы он еще существовал, вдыхал запах. Мне показалось, что мое сознание, которое обыкновенно мучительно не могло представить даже двух глав прочитанного учебника, даже двух шахматных ходов, вдруг стало ясным и вместило видение не только всей моей жизни, встреч с Марией и всего того, что я когда-либо знал, но и всего мира во всей его бесконечности во времени и пространстве.

Произнося эти слова: «Меня любила живая женщина», я все вспомнил и понял и, задыхаясь в воскресшем запахе прошлого, слился со всем окружающим меня миром, который из страшного футуристического натюрморта, из какой-то не имеющей ко мне отношения мертвой механической системы призрачных геометрических фигур и тел, превратился в сверкающее течение жизни.

Все это продолжалось только одно мгновение.

# ЭССЕ

# НЕСКОЛЬКО РАССУЖДЕНИЙ ОБ АНДРЭ ЖИДЕ И ЭМИГРАНТСКОМ МОЛОДОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Когда я читал в первый раз Андрэ Жида, я подумал, что это продолжение той блестящей и сухой французской литературы «tout à fait spirituelle»[1], которая очаровывает ум, как волшебная собака Тристана и Изольды, но часто кажется пребывающей в такой же абстрактной пустоте, как геометрия Лобачевского, и не ищущей реального знания. И только потом я стал понимать, что книги Жида — это рассказ о поисках пути из ложности этой пустоты в истинную жизнь. Конечно, они остаются книгами идей, умственными построениями и, как все человеческие вещи, являются архитектурными геометрическими формами, но ткань их в некоторых местах становится настолько чистой и прозрачной, что через нее видна кристальная и вечная, движущаяся вода жизни.

Сейчас я не собираюсь писать критическую заметку о Жиде. Во-первых, я не чувствую себя квалифицированным для этого, а потом, в маленькой статье опасно осуждать чужую душу.

Моя цель — на ряде цитат, неизбежно упрощая и искажая, представить, демонстрировать трагическое стремление сознания Жида из пустоты в реальную жизнь.

По-видимому, самому Жиду хорошо знакомо холодное отчаянье человеческого ума перед невозможностью найти двери в жизнь, перед неизвестностью, где находится дерево жизни. Вот что он говорит в «Paludes»[2]:

«Что я вижу?

Проходят три торговца зеленью.

— Уже — автобус...

— Швейцар метет перед крыльцом.

— Лавочники прихорашивают витрины.

— Кухарка идет на рынок.

— Школьники идут в школу.

— Киоски принимают газеты. Торопящиеся люди их покупают.

— В кафе расставляют столики. Боже мой! Боже мой! Почему Анжель не здесь теперь! Я снова рыдаю — я думаю, что это от нервов; — рыдания

[1] Совершенно, полностью, абсолютно духовной, ориентированной на интеллект, интеллектуальной (не чувственной) (*фр.*).

[2] «Топи» («Болота») (*фр.*).

подступают при перечислении каждой вещи. И потом, я чувствую озноб! — А! ради любви ко мне закроем окно. Этот воздух утра пронизывает меня холодом.

— Жизнь — жизнь других людей — вот это и есть жизнь? — видеть жизнь! Что же, однако, значит: жить... И что можно сказать о жизни другое? Восклицания. — Теперь я стал чихать; как только моя мысль останавливается и я начинаю наблюдать, мне становится холодно».

Для того чтобы проследить по книгам Жида, как в его сознании совершается «критика чистого разума», потребовалось бы очень серьезное и ответственное исследование, тем более трудное, что, хотя романы Жида являются романами идей, к ним применимы слова самого Жида о Достоевском: «Его идеи почти никогда не бывают абсолютны; они выражают лишь состояние его персонажей».

Я не имею возможности произвести такое исследование и должен довольствоваться весьма поверхностными и приблизительными догадками. По-видимому, так же хорошо, как Бергсон, Жид знает, что на самый главный вопрос, смущающий человека, — что такое жизнь? Что такое значит жить? (вопрос, который может поставить только ум) — ум один никогда не может найти ответа, так как знание, которое он дает в метафизике, есть знание внешнее, формальное и пустое, не становящееся неотъемлемой частью реальности.

В приведенной мною выше цитате из «Paludes» необыкновенное значение имеет то, что человек, от имени которого ведется рассказ, смотрит на жизнь из окна, то есть издали, со стороны, из какого-то внешнего, в отношении жизни, пространства, и что жизнь представляется ему какими-то отдельными, сменяющими друг друга, как в кинематографе, необъяснимыми, далекими, как бы «двухмерными» картинами. Он чувствует, что жизнь отделена от него какой-то преградой, каким-то пространством, что он не может прикоснуться к ней, войти внутрь ее, ощутить ее в себе. Она проходит мимо его ума, как вода течет мимо губ Тантала. Этот момент, когда в человеке останавливается сосредоточенный ход мыслей или рассеянное течение мечтаний и вдруг, как очнувшийся лунатик, он видит, что находился в какой-то абстрактной мертвой пустоте, и со страхом начинает искать вокруг себя и в себе истинную жизнь, еще с большей силой изображен в «Имморалисте».

Но все-таки где, в каком месте, в каком измерении Жид искал жизнь и спасение? Здесь мы подходим к самому центру мысли Жида, к его книгам «Достоевский» и «Numquid et tu». Сам Жид, кажется, отрекся от этих книг, и я слышал, что в критике их принято считать слабоватыми. Меня же эти книги волнуют больше всего, что написано Жидом. Во всяком случае, для моей сегодняшней темы они имеют необыкновенное значение.

В душах героев Достоевского Жид различает три зоны, три области: верхняя — зона ума, чуждая душе, но из которой рождаются самые страшные искушения. Средняя — зона страстей; и, наконец, нижняя, самая глубокая, которую не могут потрясти даже трагические страсти и события. Жид

говорит: «Именно эта зона нам позволяет достигнуть с Раскольниковым воскресения (я придаю этому слову смысл, который ему придает Толстой), второго рождения, о котором говорит Христос», и дальше: «Эта глубокая зона вовсе не ад, а, наоборот, небо души».

Возвращение в эту нижнюю, внутреннюю зону души из внешниих зон ума и страстей и есть для Жида путь спасения, путь возвращения в рай, в реальную и абсолютную жизнь, «в радость Господина Твоего».

Главная идея Жида, что этот путь указан в словах Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». «Любящий душу свою потеряет ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную», и что это возвращение в вечную жизнь связано с исчезновением времени, с слиянием отдельного человека с всеобщей жизнью и происходит не в будущем, а немедленно, еще на земле. Но предоставим слово самому Жиду: «Состояние радости, которое мы находим в Достоевском, не то же ли самое, которое нам предлагает Евангелие; это состояние, в которое нам позволяет войти то, что Христос называет новым рождением, это блаженство, которое достигается только через отречение от всего, что в нас есть индивидуального; так как именно привязанность к самим себе нам мешает погрузиться в Вечность, войти в царствие Божие и причаститься не имеющего твердых очертаний ощущения всемирной жизни... Вечная жизнь может уже теперь во всей полноте пребывать в нас. Мы в ней живем с момента, когда мы соглашаемся умереть для самих себя, соглашаемся добиться от себя отречения, которое нам немедленно позволяет воскреснуть в вечность».

Я думаю, что здесь Жид подходит к самому важному моменту своей жизни, к моменту, когда в сознании человека укрепляется непреложное знание, что все решения вопроса, как жить, есть только разные «модусы вивенди», построенные на компромиссе между нравственным чувством и эгоизмом, и что единственный путь — есть путь христианский. Вероятно, втайне каждый человек знает, что это единственный и высший путь. И больше — человек почти уже готов отказаться от своей индивидуальности и войти в тесные врата, ведущие в абсолютную жизнь. Здесь даже является предчувствие страшной близости момента, когда вдруг будет освобождена какая-то невероятная сила, которая расплавит косность Мира и потрясет все законы необходимости. Нечто похожее на то, когда мы пытаемся представить, что будет, если найдут способ освобождать энергию атомов. И все-таки, несмотря на ясность убеждения, на предчувствие, что сейчас, через мгновение, с потрясающей силой все озарится небывалым светом и станет постижимой «ноуменальная сущность» вещей, человек не входит в ворота реальной и вечной жизни. Он произносит слова истины, они сохраняют свой логический смысл, но уже как бы не имеют содержания, становятся только колебаниями воздуха и ничего не изменяют. Все остается по-прежнему необъяснимым и совершающимся по своей неизвестной, темной судьбе. В «Numquid et tu» Жид пишет:

«Я оставил мои чтения и эти благочестивые упражнения, которые мое сухое и рассеянное сердце уже больше не одобряло. Не видеть в них ничего, кроме комедии, и при этом бесчестной комедии, в которой я убеждаю себя опознать игру Дьявола, — вот что нашептывает моему сердцу Дьявол».

Здесь открывается одно из самых трагических сомнений человеческого сознания. В минуту самого высокого и светлого подъема веры Бог как бы смеется над человеком. Человек вдруг видит, что само ощущение своей праведности и спасения лицемерно, ни на чем не основано, не соответствует ничему реальному. Человек говорит: «Я отрекаюсь от моей души», но даже не может и вообразить, что это значит. Не только осуществление этой идеи непосильно для большинства людей, но самая эта идея не может быть представлена человеческим умом.

Я думаю, что в душе почти каждого человека существуют одновременно и Иов, и шарлатан в высшем смысле, почти пророк. Иов, видя, что самая страстная вера не может потрясти мира, с усталостью сознает, что все мольбы обращались ни к кому, к чему-то слепому и не отвечающему, что вся метафизика — только «бесчестная комедия», так как ей ничто реально не соответствует, и что о Боге нельзя говорить, что Он просто есть, из чувства внутренней порядочности. Шарлатан тоже знает о себе, что нет никаких оснований предполагать, что он, в отличие от других людей, имеет какое-то реальное метафизическое знание и обладает какими-то недоступными обыкновенному человеческому уму доказательствами истины.

И вот Жид был близок к почти пророческому шарлатанству и все-таки не стал пророком. Он не пытался, как Толстой, силой превратить в веру сердца свое умственное убеждение, что Христос есть дверь в жизнь. Странно, что в своих размышлениях о Евангелии он ни разу не останавливается на словах: «Что вы зовете меня: Господи! Господи! И не делаете того, что я говорю?» Может быть, ему просто стало скучно по-настоящему стремиться в вечную жизнь. Я чувствую, что эта догадка имеет вульгарный характер. Но ведь в самом деле, возможно, что Жид вдруг, как герой «Сна смешного человека», почувствовал, что ему все равно было бы, существовал ли бы мир или если бы нигде ничего не было! Вообще здесь возможны только самые отдаленные предположения. Вот еще одно: хотя и зная, что ум не может дать реального знания, Жид был все-таки человеком умственной гордости и не мог поверить в какое-то знание, не умственное, превышающее ум.

Я знаю, что многим, вполне законно, мои рассуждения покажутся или бессмысленной и скучной ерундой, или, наоборот, общими и избитыми местами. Все, что я написал, мне самому представляется слишком развязным, предположительным и случайным, и вряд ли я сумел ясно выразить то, что я хотел сказать. Но это, в конце концов, и не важно. Повторяю, моей целью вовсе не было дать, хотя бы поверхностную, характеристику Жида. Я здесь сознательно не касаюсь всего сомнительного, что есть в Жиде, например, отравы, иронии и сентиментальности, которые чувствуются почти во всех его книгах. Самое подозрительное в нем — это сладкозвучные имена его героев, элегантные па-

тетические восклицания и отсутствие наивности и доброты. В самые высокие свои минуты он никогда не достигает той любви «до истязания души своей» и того «усиленного до страдания вида», которые так потрясают сердце в некоторых русских книгах. Также я совершенно не касаюсь того, как в романах Жида рассказывается о жизни внешних зон, об искушениях и катастрофах ума, о борьбе страстей и поисках настоящего человека, освобожденного от того искусственного человека, который создается культурой и социальной средой, который подражает общепринятому идеалу и боится остаться один и быть искренним (одна из главных тем Жида, сближающая его с Толстым и Руссо).

Моей единственной целью было указать в книгах Жида на открытие пути из внешней тьмы и пустоты пространства вовнутрь жизни, вернее надежду на открытие этого пути. Именно эта мелькнувшая надежда делает Жида для многих таким нужным и близким.

В эмиграции больше всего должны любить Жида совсем молодые люди, уехавшие из России еще детьми, помнящие Россию достаточно, чтобы не стать иностранцами, но недостаточно долго в ней жившие, чтобы по примеру старших наполнить воспоминаниями о прошлом ту фантастическую социальную пустоту, в которой приходится жить эмигрантам.

Я часто думал, что русские в Париже похожи на Декарта, для которого шум улиц Амстердама был как шум ручья, а люди, идущие по этим улицам, как деревья леса. Ведь многие бы теперь могли написать эта слова:

«Среди толпы великого народа, чрезвычайно деятельного и более заботящегося о своих собственных делах, чем интересующегося чужими делами, я мог жить так же одиноко и уединенно, как в наиболее отдаленной пустыне».

Декарт в этой пустоте с некоторым европейским педантизмом мечтал о прекрасном геометрическом мире. Для старших поколений эмигрантов эта пустыня, как Вавилонские реки. Но вырастает новое поколение эмигрантских детей, которые хотят жить, но которым негде жить: повесть отцов становится для них уже «отдаленней, чем Пушкин», а стать иностранцами они не могут и не хотят, так как все-таки родились и были в России. Вероятно, это чисто субъективное и ошибочное мнение, но мне часто казалось, что в минуту рассеянности, в ту минуту остановки жизни, когда человек, вдруг, как бы очнувшись от задумчивости, с удивлением смотрит вокруг себя и видит все как бы в первый раз, такой эмигрантский молодой человек внезапно, со страхом должен почувствовать, что он не помнит, не знает, где он находится, что у него не было настоящей жизни, что жизнь прошла мимо него, что он оторван от тела своего народа и не находится ни в каком мире и ни в каком месте. Здесь социальная пустота сливается с абстрактной и ужасающей метафизической пустотой. Тот, кто хочет найти из этого мертвого пустого пространства дорогу в жизнь, протягивает свою руку неверного Фомы, и в этот момент желания любви и страха, что под рукой окажется призрак, хорошо, если кто-нибудь скажет слова, с такой силой выраженные Розановым: «Не верь, о, не верь небытию, и никогда не верь. Верь именно в бытие, только в бытие, в одно бытие».

Среди тех, кто может помочь в эту минуту своим словом, своей исповедью, есть многие бо́льшие, чем Жид. Но, может быть, для современного молодого человека именно он говорит наиболее понятным и близким языком. Молодому человеку трудно сказать ему: «Скучные утешители все вы». Не потому ли это, что Жид сам знал эту неутолимую тоску по «ноуменальным вещам» и холодное отчаяние перед тем, что жизнь проходит в каком-то тягостном оцепенении, как пустое и нерадостное видение сна. И вот для тех эмигрантских детей, которые хоть раз в жизни чувствовали себя героями «Paludes», Жид ближе и понятней, чем кто-либо из современных русских писателей.

Скажут, что это и есть признак денационализации. Но мне кажется, что эмигрантский молодой человек, с волнением читающий Жида и плохо знающий русскую географию, может быть, ближе к «великодержавному» стилю русской культуры и менее денационализирован, чем эмигрантский классик Шмелёв, сравнивший как-то Пруста с Альбовым. Ведь в самом деле слишком многие русские вдруг настолько почувствовали себя в Европе «стрюцкими», что серьезно стараются доказывать, что в России тоже была письменность и вообще по улицам не ходили белые медведи. Первородство русской литературы настолько утверждено именами Толстого и Достоевского, что вряд ли она нуждается в этом охранительном провинциальном патриотизме, противоречащем самому духу всеобщности, всечеловечности и всемирности русской культуры. Вспомним слова Достоевского: «Всякий поэт — новатор Европы, всякий, прошедший там с новою мыслию и с новою силой, не может не стать тотчас же и русским поэтом, не может миновать русской мысли, не стать почти русскою силой». И не вина эмигрантского молодого человека, что в современной французской литературе больше о бытии, о «ноуменальных вещах», о «четвертом измерении», чем в русской литературе сегодняшнего, вернее, вчерашнего дня, и что, например, Жид, несмотря на свою сомнительность, все-таки ближе к Достоевскому, чем кто-либо из современных русских классиков.

## ЧТО С НАМИ БУДЕТ?

В одном месте Шопенгауэр говорит: «История имеет претензию каждый раз рассказывать об разных вещах, в то время как с начала до конца это повторение все той же драмы, только с другими участниками и в других костюмах». Почти всегда, когда читаешь книги по истории, вспоминаешь это сомнительное рассуждение и невольно кажется, что действительно истории нет, что она «только длинный сон, тяжелое и спутанное сновидение человечества». В музее Клюни есть маленькие замечательной старинной работы деревянные фигурки всех французских королей.

Эти фигурки, стоящие все рядом не во времени, а по пространственной линии, как бы наглядное изображение той неподвижной истории, которой нас учили еще в гимназиях, истории, в которой не происходит ничего по-настоящему нового.

Мне кажется, что в будущем исторические исследования станут менее отвлеченными и, кроме королей и учреждений, будут описывать и самую историю жизни, появляющейся в неподвижном мертвом мире необходимости и стремящейся потрясти и расплавить его равнодушную геометрическую косность. Возможно, что будущие гимназические учебники будут начинаться с рассказа о протоплазме, свободно делающей движение, чтобы схватить пищу, а на последней странице будет воспроизводиться картина Рембрандта «Эммаус».

Пока мы будем радоваться, что одна из первых книг, проникнутых каким-то новым видением истории, написана русским писателем. В кратком докладе трудно говорить об «Атлантиде» Мережковского. Слишком обширен и сложен идейный состав этой книги, являющейся попыткой начертания «ноуменальной» истории человечества. Мне лично главная схема «Атлантиды» представляется следующим образом.

Изгнанная из рая жизнь вошла в мир мертвой материи, необходимости и косности. В этом мире, несущем для всего живого страдания и умерщвление «в поте лица», движется вкусивший от дерева познания человек, смутно помнящий о рае и корчащийся от жажды плодов древа жизни. «Вспомним Гельгамешев Злак Жизни, Еноха, на “закате всех солнц”, золотые плоды Геракла в саду Гесперид-Вечерниц, глиф маянских письмен — человека, дерево, растущее из вод потопа, и, наконец, в изваянии Кесари Филипповой, всеисцеляющий Злак, прозябающий у ног Иисуса; вспомним все это, и мы прочтем еще один исполинский, по всему земному шару, во всех веках-эонах, начертанный символ — Древо Жизни».

Христос побеждает мир и смерть. Его воскресение и есть реальное содержание истории, так как с ним вступило и стало присутствовать в мире то, чего раньше никогда не было, что не является механическим результатом, логическим выводом из имевшихся данных, а чем-то действительно новым, несводимым ни к чему, бывшему раньше, — телесное воскресение, плоды Древа Жизни. «Я есмь хлеб жизни. Ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира». Ожиданием и предчувствием прихода Спасителя проникнута вся религия античного, дохристианского человечества. «Можно сказать, что Платон умер, так же как вся языческая древность, от жажды и голода — жажды истинной Крови, голода истинной Плоти: плоть от плоти и кровь в Дионисовых, Озирисовых, Таммузовых и прочих таинствах не утоляют, потому что призрачны». Тень креста как завет победы лежит на всем пути человечества, от потерянного рая к древу жизни двигающегося в равнодушной «золотой» гармонии вселенной, несущей живому человеку несвободу, страдания и смерть. Это движение человечества есть постоянная борьба, напряжение, и оно полно поражениями и катастро-

фами. Величайшей такой катастрофой была гибель Атлантиды. Описание этой гибели имеет чрезвычайное значение для понимания той надвинувшейся сейчас на человеческую культуру угрозы «последней всеевропейской Ходынки», которой не видит беспамятное, как новая Греция, современное человечество. Как в Атлантиде, в наши дни «белая магия» человеческой культуры превращается в магию черную. Общество и техническая цивилизация, два главных орудия, созданных человеком для борьбы за свободу и жизнь, «с внезапностью, с какою молоко скисает в грозу», превращаются в орудия истребления свободы и жизни — коммунизм и войну.

Вот приблизительно и упрощенно главная тема «Атлантиды», как я ее понял. Каждый, кто испытывает беспокойство перед апокалипсическими знаменьями, являющимися в наши дни, должен прочесть эту книгу, проникнутую независимо от своих литературных достоинств несомненно настоящим пророческим жаром и могущую заставить человека хотя бы на мгновение очнуться от того почти лунатического состояния, в котором живет большинство людей.

## О «ГЕРОЕ» ЭМИГРАНТСКОЙ МОЛОДОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Существует ли эмигрантская молодая литература?

В начале этого года, выступая публично, один деликатный человек сказал: «Помилуйте, за столько лет один роман, три рассказа!»

Но все-таки она существует. И совсем не важно, что никто из эмигрантских молодых писателей не пишет «много и хорошо». Это скорее признак «праведности», и вот почему...

Кто является героем этой литературы?

Самый заядлый марксистский критик сломит ногу, пытаясь определить классовую принадлежность Аполлона Безобразова или того «я», от имени которого ведется рассказ в романах Шаршуна, Фельзена, Газданова и некоторых других молодых авторов.

Это действительно как бы «голый» человек, и на нем нет «ни кожи от зверя, ни шерсти от овцы». Вернее, это человек, одетый как-то очень бесформенно, произвольно и случайно. В социальном смысле он находится в пустоте, нигде и ни в каком времени, как бы выброшен из общего социального мира и предоставлен самому себе.

Это — «праздный» и «лишенный развлечения» эмигрантский молодой человек (то есть лишенный того развлечения, которое дают участие в работе и жизни других людей, возможность приложить свои силы к ответственной перед людьми деятельности). Его ум лишен огромной части того материаль-

ного содержания идей и интересов, которые развлекают сознания людей, находящихся и действующих в определенной социальной среде. По словам Паскаля, из глубины души такого человека, устраненного из истории и выброшенного из движения социальной жизни с ее страстями и конкретной деятельностью, неизбежно должны подняться пустота, скука и отчаянье.

Давящее чувство небытия, тоска по какой-то дали и слова Гамлета «пала связь времен» — вот, вероятно, весь «состав» сознания такого человека.

Правда, такие талантливые молодые авторы, как, например, Зуров, Рощин, Сирин и некоторые другие, никак не начинаются с этих слов. Но нужно сказать, что это скорее как бы молодое поколение школы «старших», эмигрировавших, а не эмигрантских, писателей. Вот почему, несмотря на свои достоинства, они не представляют интереса для специального исследования о герое эмигрантской литературы.

Я уже говорил о «составе» сознания этого героя. Это пустота и скука, тоска по какой-то дали и вопросы Гамлета.

Уже не раз критики говорили о «скучающих» молодых поэтах и писателях. Почему-то они всегда это говорят с осуждением и дают педагогические советы. По их словам: «это никому не интересно». Конечно, они правы — вряд ли эти уединенные эмигрантские молодые люди с душою Гамлета могут быть интересны и нужны человечеству, двигающемуся через ужас истории, через проклятие «в поте лица», через страдания и смерть и не имеющему времени заниматься праздными вопросами Гамлета.

Все это верно — но все-таки Гамлет пребывает всегда, и «состав» сознания молодого эмигрантского человека с «литературной» душой есть вообще судьба человека. Так как с каждым человеком (хотя бы потому, что «on mourra seul»[1]) бывает, что жизнь как бы останавливается и вдруг ему нечего делать, он одинок и для него разрушается смысл всей его прежней деятельности и деятельности всех других людей, вообще смысл сотворения мира. Тогда этот состав входит в душу человека с какой-то печальной механической неизбежностью.

И здесь нужно признать, что эмигрантская молодая литература не по своей талантливости и достижениям, а как бы по своему типу, как документ, как свидетельство, имеет отношение к чему-то важному и имеющему значение и интерес для всех. Так как, по словам Розанова: «Все религии пройдут, а это останется: просто сидеть на стуле и смотреть в даль».

И потом еще — все-таки Гамлет слышал в своей пустоте голос духа:

Мне помнить о тебе? Да, бедный дух.
Пока есть память в черепе моем.

И здесь опять эмигрантская литература касается чрезвычайно важного вопроса. Лишенная всего социального и внешнего, она неизбежно обраща-

---

[1] «Умирают в одиночку» (*фр.*).

ется к «внутреннему» человеку. Но существует ли действительно внутренний человек и может ли он услышать духа?

Прочтя в одной евразийской книге фразу: «Кто знает, быть может, для будущих поколений наглядный опыт с такой же очевидностью будет говорить нечто, совершенно противоположное воззрениям, которые до сих пор казались неоспоримыми: что общество есть нечто первоначальное, а отдельные личности, духовные монады — только производные части, несамостоятельные величины», или у Поля Валери:

«Qui se confesse ment et fuit le véritable vrai lequel est nul, ou informe, et en général indistinct[1]»,

не говоря уже о большевистском «бессмертном коллективе», я долго с грустью думал, что уже «доказано», что человеческая личность с ее чувствами, страданиями и надеждами реально не существует, и если отнять от человека все то, что дало ему общество и культура, то от человека ничего не останется, какое-то пустое место.

Мне это было обидно, но я не знал, что можно ответить на почему-то всегда радостные торжествующие «антропофагические» крики.

Но потом я прочел статью Шестова «Познай самого себя». К сожалению, я не могу приводить слишком длинных цитат. Но вот, кажется, самое важное: «Ясно, что правило "познай самого себя" есть правило человеческое. Смысл его в том, чтобы каждый ценил и мерил себя так, как его ценят и меряют окружающие люди. То есть чтобы он не чувствовал себя таким, какой он на самом деле, а рассматривал только изображение, как оно отражается на поверхности бытия, то есть интересовался не своим Динг ан зих[2], выражаясь языком Канта, а только своим "явлением". И в течение веков общественность добилась своего. Человек, принужденный всегда "познавать самого себя", то есть рассматривать только свое изображение, разучился видеть свою "сущность"».

Теперь мне кажется, что, может быть, ничего не «доказано», но происходит борьба, борьба за «сущность» человека, за человеческую душу, со всеми ее чувствами и стремлениями, хотя бы «исторический материализм» и доказал, что ее нет или что она вредна и потому подлежит искоренению.

И вот, выброшенный из жизни других людей, герой эмигрантской литературы, которого окружающие люди ничем не ценят и не меряют, который (в социальном смысле во всяком случае) не имеет никакого определенного отражения на поверхности бытия, невольно начинает интересоваться своим Динг ан зих и тем самым становится против общественности на сторону «сущности».

Этим и объясняется праведная бедность эмигрантской молодой литературы. Если литература, как всякое другое выражение жизни, есть «фигляр, неистово шумящий на подмостках», то в эмиграции зрителей почти нет, подмостки освещены призрачным и умирающим светом, и поэтому в эмигрант-

---

[1] «На исповеди мы лжем и скрываем истинную правду, которая ничтожна или некрасива и обычно неизъяснима» (*фр.*).

[2] Ding an sich (*нем.*) — вещь в себе.

ской литературе с самого начала присутствует та мертвая тишина, которая в жизни человека, существующего в нормальных социальных условиях, начинается только «через час». В самом деле, читателей нет, издателей нет, нет литературы как определенной общественной категории, нету вообще социального воздуха, и поэтому тем, кто хочет писать хорошие рассказы и повести, так сказать, «нормального беллетристического типа», делать в эмигрантской молодой литературе нечего.

В известном смысле она существует именно потому, что ее нету, нету как материала для историко-литературных и формально-критических исследований, нету как общественного факта, вообще ее нету на поверхности бытия. В каком-то смысле она существует почти только как ненаписанная белая страница. И тем не менее она существует реальнее, чем многие «факты», и, находясь на стороне «сущности» против общественности, тем самым является современной литературой.

Так как именно сейчас, на пороге огромных «ассирийских» изменений, входящих в мир, происходит как бы последняя трагическая и безвыходная борьба за человеческие души, борьба между уничтожаемой сущностью и торжествующей общественностью.

Я думаю, что для того чтобы понять «место» молодой эмигрантской литературы, необходимо хотя бы приблизительно представить себе характер этой борьбы.

Здесь мне придется начать очень издалека и для того, чтобы не быть голословным, пользоваться цитатами.

Ипполит о картине «Снятие с креста», которую он видел у Рогожина, говорит: «Природа морщится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя, или, гораздо вернее, хоть и сказать странно, в виде какой-то громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесцельное существо, которое одно стоило всей природы и всех ее законов, которая и создавалась, может быть, единственно для одного только появления этого Существа»...

Вот как комментирует эту цитату Шестов: «Не знаю, нужно ли после всего вышесказанного еще доказывать, что в этих словах вылилась самая глубокая, самая заветная и, вместе с тем, самая трепетная и тревожная мысль Достоевского. В который раз стоит он, забыв и себя и все на свете, перед чашками страшных весов; на одной огромная, безмерно тяжелая природа с ее принципами и законами, глухая, слепая, немая; на другую он бросает свое невесомое, ничем не защищенное и не охраненное "самое важное" и с затаенным дыханием ждет: какая перетянет».

Вероятно, современный кризис сознания заключается в том, что люди стали забывать «самое важное», забывать последнюю цель всех усилий человеческой жизни — чтобы «самое важное» перетянуло тяжесть глухонемой природы с ее принципами и законами.

По-видимому, начиная с рассказа о сотворенном из глины Адаме, в которого Бог вдохнул душу, существует среди людей некоторое дуалистическое представление о составе человека. Человек находится между двумя формами существования: жизнью и мертвой материей. В «Эволюсион креатрис» Бергсон рассказывает, как жизнь, являющаяся сознанием и свободой, входит в косный мир механической, не имеющей истории материи, подчиненный слепым и равнодушным законам причинности необходимости, и стремится его потрясти и победить. Жизнь как бы пробует все средства борьбы и приспособления и в форме человеческой технической цивилизации стремится к победе над механической природой мира при помощи же механизмов, искусственно построенных машин, то есть как бы пользуется оружием врага. Человек — единственное живое существо, способное создавать орудия из «меди и железа», и единственное живое существо, обладающее геометрическим умом. По-видимому, этот ум есть такое же механическое орудие, такая же машина, как, например, резец или молот, и так же, как резец или молот, был «изобретен» в процессе приспособления и борьбы и предназначен для совершения утилитарных действий мертвой материей.

Итак: ум и машины и необходимое для развития ума и строения машин общество — только средства борьбы человека за существование, последняя же цель этой борьбы, чтобы перевесило «самое важное».

Но постепенно это представление стало извращаться в сознании людей.

Наблюдая несостоятельность всех метафизических систем и рядом с этим огромные успехи технической цивилизации, люди невольно стали приходить к мысли, что если человеческий ум не может постигнуть, что такое жизнь, свобода, Бог, и в то же время вполне успешно приспособлен для совершения утилитарных действий, то, может быть, вся реальность человеческой жизни и исчерпывается совершением этих действий, а «самое важное» Плотина и такие сомнительные и туманные вещи, как любовь, свобода, Бог и т.д., — только напрасное и вредное мечтание. Люди как бы отказываются от наследства Авеля. Потомки же Каина, дар которого был не угоден Господу, построили первый человеческий город и были первыми ковачами всех орудий из меди и железа. Теперь повсеместно побеждает предположение, что все дело человечества и сводится к строению города и орудий, к строению «громадной машины новейшего устройства». Жертва же Авеля, которую презрел Бог, но которая, в сущности, не нужна для устройства на земле, окончательно признается не научной и вредной, «буржуазным предрассудком».

Собственно коммунизм есть только доведение до логического конца этого «каиновского» понимания: если действительно все человеческое дело сводится к строению городов и машин, то это строительство должно быть организовано наиболее рациональным, деловым и научным образом; все человечество должно быть превращено в единую трудовую армию, действующую по всемирному «пятилетнему плану». Вместе с тем является новое представление о доблести человека. Если вся реальность человека сводится к участию в этом строительстве, то в душе человека должно быть уничтожено

все то, что является ненужным или далее вредным для эффективности этого участия, то есть всякие чувства, романтизм и т.д. Героем станет или организатор работ (Форд, Сталин), или инженер. Герой этот тем совершеннее и доблестнее, чем полнее в его душе будет убит Авель и уничтожены всякие чувства, понятия добра и зла, «проклятые» вопросы, тоска по дереву жизни, желание свободы и бессмертия и победы «самого важного», вся эта интеллигентщина, ненужная и, может быть, даже вредная для осуществления настоящего назначения человека: строения машин. Представление же, что человек имеет живую душу, окончательно будет признано вредным пережитком христианского романтизма и заменится новым научным представлением: человек есть производное от коллектива, механический робот, и вся реальность человека исчерпывается материальной и социальной эффективностью его действий. «Радуйтесь, вы стали машиноравными», — провозглашают правители в «Мы» Замятина.

Действительно, радуйтесь: новый герой будет счастливее старого, он не будет испытывать страдания, так как именно «самое важное», ничем не защищенное от неумолимого и глухого зверя природы с ее принципами и законами, и является источником страданий, а в новом герое останется только «геометрический ум» (то есть часть состава человека, вполне «идентичная» природе), подчиненный тем же законам и принципам и так же, как математические истины или механическая машина, не могущий ни плакать, ни смеяться.

Говоря о том, что коммунизм есть доведение до логического конца этого, уже давно и повсеместно победившего, каиновского представления о жизни человека, я вовсе не хотел сказать, что все большевики отдают себе в этом отчет. Луначарский, например, плача над Афинским Акрополем, говорил, что большевики тоже, как древние греки, за свободу человека. Но неизвестно даже, были ли за свободу древние греки. Тем менее это известно о большевиках. Важно то, что марксизм, гегельянство, исторический материализм, вся та апологетика «общественности», из которой вышли водители большевизма, есть доведение до конца уже давно зревших в человеческих умах идей общественной религии, механистического и рационалистического человека и каиновских града и орудий из меди и железа.

Конечно, культура, вообще человеческое дело борьбы за свободу и жизнь против таящей в себе смерть «безмерно тяжелой природы с ее принципами и законами», не может существовать без города и механических орудий. И в этом смысле самый идеал организации всего человечества в справедливую трудовую армию, действующую по единому плану, есть великий и праведный идеал, и «святой инженер» Фёдорова, может быть, действительно является высшим образцом человеческой доблести. Но эта «белая магия» города и машин, именно при забвении жертвы Авеля и торжестве «общественности», несет в себе возможность превращения в черную, превращения из средств борьбы за жизнь и свободу в «громадную машину новейшего устройства», бессмысленно поглощающую и жизнь, и свободу, и великое и бесценное су-

щество. Было бы слишком долго говорить об этом. Сошлюсь на Бергсона или на «Атлантиду» Мережковского. Там об этом говорится. Говорится и у многих других авторов. Это одна из самых распространенных теперь тем.

Вероятно, действительно человечество теперь вступает в один из периодов такого превращения. Во всяком случае есть страшная и реальная угроза превращения, и здесь произойдет борьба за человеческие души.

Как я уже говорил, эмигрантская литература самым «фактом» разговоров о «внутреннем», выброшенном из «общественности» человеке принимает какое-то участие в этой борьбе.

Очень часто и много говорилось о том, что эмигрантская литература, оторванная «от тела своего народа», неизбежно должна задохнуться. Как единственный выход указывалось «духовное» соединение с советской литературой.

По существу, этот совет сводится к неосуществимому требованию: отказаться от защиты сущности и от пережитого опыта «задыхающегося» человека и теоретически примкнуть к чужому, реально не пережитому опыту принудительного участия в огромном строительстве града и орудий из меди и железа. В большинстве случаев это совет оппортунистический, стремление приспособиться к «духу времени» и, благодаря этому, выжить. К чести эмигрантских молодых авторов нужно сказать, что, по-видимому, защита того, что они считают «самым важным», их занимает больше, чем желание выжить, и никто из них еще не делал попыток приспособиться к духу времени.

Долго казалось, что эмигрантская и советская литературы находятся на «разных полюсах земли» и что голый герой первой и служащий общественности, служащий до истребления своей сущности, герой второй есть разные виды живых существ.

Создалась особая демагогическая формула: эмигрантский герой это тот, о ком сказано — кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее.

Герой советский: о нем сказано — нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих.

В этой формуле есть неотразимое и страшное обвинение против эмигрантского героя, но в то же время, как во всякой схеме, какое-то искажающее правду упрощение.

Я верю, что в этих словах есть главный смысл учения Христа. Верю и в то, что сейчас в России многие готовы положить свою душу. (Вероятно, именно эта готовность и делала то, что всегда русский народ, несмотря на все «окаянство», был христианским народом и как бы самым любимым Христом народом.) Но вряд ли правы те, кто делают отсюда поспешные и демагогические выводы в пользу того, что Толстой называл «общественной» религией. Все-таки сказано: сбережет душу тот, кто потеряет ее ради Меня. Ради Меня и сбережет, а не ради бессмертного коллектива, диалектического материализма, «общественности», вообще всего огромного каиновского плана слияния с мертвой природой, со всеми ее принципами и законами «поглощающей глухо и бесчувственно великое и бесценное Существо» и вместе с Ним все человеческие души, которые никак не сберегутся.

Но об этом невозможно говорить в пределах хотя бы и длинной статьи на литературные темы.

Мне нужно ограничиться указанием на то, что в последнее время произошли какие-то явления, расшатывающие стройность этой схемы.

С появлением «Зависти» Олеши в советской литературе, призванной воспевать строение «хрустального здания», вдруг воскрес раздавленный подпольный человек и опять заговорил: «Я самый гадкий, самый смешной, самый мелочный, самый завистливый, самый глупый из всех на земле червяков». И может быть, если встретятся когда-нибудь советские и эмигрантские писатели, то советских будут интересовать не те эмигрантские, которые, стремясь «духовно» с ними соединиться, будут им говорить о Марксе, о генеральной линии, о «хрустальном здании» (на это они скажут — мы это знаем лучше, чем вы), а те, кто будут с ними говорить о раздавленных чувствах внутреннего человека.

Но в то же время в холоде и пустоте сердца эмигрантского героя стало являться новое волнение. Он как будто бы стал оглядываться вокруг себя, и «душа его страданиями людей уязвлена стала». Целый ряд выступлений известных и малоизвестных эмигрантских молодых людей с литературной душой свидетельствует, что эмигрантский герой тоже хочет быть за социальную справедливость и за братское общечеловеческое дело.

Вероятно, духовное соединение эмигрантской и советской литературы может произойти только тогда, когда советская литература перестанет быть служанкой «общественности», а эмигрантский герой поймет, что «поэтом можешь и не быть, но гражданином быть обязан». То есть когда явится какая-то новая идея, примиряющая правду Авеля и правду Каина, и какой-то новый град, для служения которому не нужно будет убивать Авеля и предавать «самое важное».

Но это произойдет, конечно, только в случае хорошего конца.

## ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО
*(Анкета)*

*Стоит ли охранять личность, действительно ли это последняя ценность, или коллектив (фашистский, коммунистический) вправе ее поглотить?*

Да, несомненно, что человек — «общественное животное», что связь его с коллективом — связь такая же, как муравья с муравейником и клеточки с организмом.

Но так же несомненно, что сознание и свобода, то есть самое существо жизни, есть личное состояние, и именно из этого личного состояния выродс-

ло все человеческое творчество, вся культура, весь прорыв человеческого духа к высшим формам бытия.

Поэтому подавление личности, торжество большевистско-гитлеровского устройства несет опасность уничтожения самого источника жизни и творчества; человеческое общество превратится в столь же совершенную, но неподвижную, не знающую творческого развития коллективную форму существования, как общество муравьев, пчел, термитов. Это будет не только остановкой, омертвением современной культуры, но и остановкой всей творческой эволюции на земле, окончательным торжеством законов косной природы над свободным духом.

И эта угроза вполне реальна. В современной Европе есть условия, особенно благоприятствующие тому, что новая попытка превращения человеческого общества в безличный коллектив достигла большего успеха, чем все предыдущие. (Теократические монархии, все вообще формы крепостного государства и кастового общества.)

Главнейшим из этих условий является, мне кажется, гибель священной демократии в ее истинном, выросшем из Евангелия, смысле — свободы и братства. По меткому выражению Казем-Бека, в демократии «Шейлок обошел Манилова». Свобода выродилась в свободу эксплуатации, а рожденная демократией могущественная промышленность, в замысле своем предназначенная для обеспечения достойного материального существования каждому человеку, то есть для охраны личности, превратилась в производство предметов роскоши для удовлетворения все увеличивающегося «сумасшествия наслаждения», охватившего господствующий класс «воров и проституток».

При этих условиях экономического либерализма, то есть волчьей войны всех против всех, демократия оказалась бессильной справиться с организацией экономической жизни, могущей быть осуществленной при современном развитии мирового хозяйства только как братское всечеловеческое общее дело.

Карой была потрясшая человечество неслыханная война и экономический кризис.

Разум миллионов людей, всех убитых, всех лишенных работы, всех вынужденных продавать свой труд, всех «голодных и рабов» был возмущен. Большевизм и расизм взошли на дрожжах этого народного гнева и явились как возмездие за отступничество от братства, как возмездие за то, что демократия извратила свои пути, и человек из господствующего класса буржуазно-демократического общества, «господин из Сан-Франциско», уже не был человеческой личностью. Ведь не только в России и Германии, но и в противостоящих им странах капитализма отмирают личные творческие формы жизни, и не только в насилии большевизма и гитлеровства, но и в том, что в душах людей капиталистического мира угасает мистический огонь священной христианской Европы, заключена угроза уничтожения личности и проигрыша человечеством заданной ему дивной судьбы.

# О ПРОЗЕ «МЛАДШИХ» ЭМИГРАНТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Существует ли эмигрантская молодая литература? Один из наиболее талантливых и плодовитых ее представителей, Газданов, заявил недавно: «Есть только одно исключение — Сирин. Вся остальная “продукция” молодых эмигрантских литераторов может быть названа литературой только в том условном смысле, в каком говорят о “литературе по вопросу о свекле”».

Что же, может быть — тем лучше. Ведь современная русская литература оттого и потеряла наследство мирового первородства, что перестала быть литературой в условном смысле, тоже по не имеющему прямого отношения к «изящной словесности» вопросу о последней и решающей борьбе, предстоящей душе человека. И в России, и в эмиграции достаточно писателей, пишущих много и прекрасно, но нет ни одного, который сказал бы что-то новое, насущно важное, о том, как надо смотреть на нашу жизнь, как бы в свете последнего страшного суда совести, и которому бы мы поверили, как верим Толстому, Достоевскому, Блоку. Да, Блок был последним, как вечерняя звезда на мистическом небе России.

О современной русской литературе, разделенной на советскую и эмигрантскую, уже очень много сказано — «des choses bonnes et mauvaises mais très peu des choses situées»[1]. К таким «ситуированным» вещам относится, мне кажется, то, что писал Г.В. Адамович в статье «Несостоявшаяся прогулка». Мне хотелось бы сделать только некоторые добавления специально о прозе «младших» эмигрантских писателей, чахлой, растущей без воздуха, нерасцветающей прозе, и тем не менее, может быть, ближе «относящейся к делу», больше открывающей бесконечно печальный опыт эмигрантской жизни — одиночество, чем все еще прекрасное, но как бы дореволюционное творчество «старших» писателей, уходящее корнями в то время, когда душа русского мира не была еще так глубоко и трагически расколота на две противоположные, кажущиеся непримиримыми тенденции.

Да, эмигрант не стал, конечно, «голым человеком на голой земле», но его одиночество больше обычного одиночества иностранца в чужом человеческом муравейнике. Он связан с окружающими его людьми только самыми общими социальными обязательствами, но лучшая, главная часть его действительной личности не включена в их общую жизнь, и это чужое общество обращается не к тому, кем он является на самом деле, московскому адвокату или офицеру конной гвардии, а к другому, временному, ненастоящему ему — парижскому «извозчику». Вызываемые этим мучительные смешения соотношений между индивидуальным и социальным «я» делают отчужденность эмигранта похожей на страшное, более полное, чем на необитаемом острове,

---

[1] «Существует много вещей, хороших и плохих, но очень мало вещей, точно определенных» (*фр.*).

одиночество людей, например, скрывающих совершенное ими преступление или какой-нибудь свой страшный неизлечимый недуг.

От этого давящего чувства отверженности эмигранты старших поколений защищены тем, что их как бы «экстерриториальная» душа идеально продолжает еще жить в том обществе, которое существовало в России до революции, и чем горше их теперешняя жизнь изгнанников, тем более волшебными и пленительными красками расцветают в их воображении и памяти образы той бывшей «настоящей» жизни, в которой они были «высочествами и величествами». Сколько эмигрантских книг вдохновлено воскресающими видениями счастья и славы того времени! Но у человека тех средних поколений, к которым принадлежит большинство «молодых» писателей, нет даже этих воспоминаний. Даже идеально он не находится ни в каком обществе.

Это уже не овеянное славой избранничества романтическое одиночество, а другое, мучительное, как тоска влаха в Венеции: «Но мне скучно, хлеб их мне, как камень...» Да, у этого одиночества, кроме музыки, о которой так прекрасно писал Г.В. Адамович, есть другая, черная, дочь — скука, angoisse atroce[1], странные, томительные, сводящие с ума головокружения пустоты.

Пребывание как в одиночном заключении во власти этого невыразимого, не имеющего реального дления чувства скуки (аналогичного тому, что, по Бергсону, происходит с пчелой, чахнущей вне своего родного улья) — не может не отразиться на творчестве молодых эмигрантских писателей, не говоря уже о других, более внешних последствиях социальной отверженности — отсутствии читателей, часто почти полной невозможности писать и печатать и т.д. Поэтому мне кажется естественным, что, за редчайшими исключениями (например, совершенно особняком стоящее творчество Л. Зурова), эта литература не может дать каких-то широких, тем более пророческих картин роевой человеческой жизни и переживаний человека, вовлеченного в эту жизнь, а скорее стремится к углублению в исследования развивающихся в результате длительного одиночества, мало изученных, мучительных заболеваний как бы шестого чувства, служащего человеку для координации своего поведения с поведением других людей.

«Я сутулился, и вся моя внешность носила выражение какой-то трансцендентальной униженности, которую я не мог сбросить с себя, как накожную болезнь. Я странствовал по городу и по знакомым. Тотчас же раскаиваясь в своем приходе, но оставаясь, я с унизительной вежливостью поддерживал бесконечные вялые и скучные заграничные разговоры... Я смертельно боялся пойти в магазин, даже если у меня было достаточно денег. Я жуликовато краснел, разговаривая с полицией...» (Б. Поплавский. «Аполлон Безобразов»).

Или сцена между героем романа «Долголиков» С. Шаршуна и толкнувшим его встречным прохожим (из отрывка «На чужой улице»). «Д. не ожидал этого и, утилизируя накопленный опыт, оглянувшись назад, мягко сказал

---

[1] Жуткая тоска (*фр.*).

(раньше, вероятно, не посмел бы сделать и этого): “C'est gentil, ça!” — “Con, va!”[1] — немедленно бросил встречный злобно, с вызовом...

Немой и умонеповоротливый человек иного темперамента, Д. не проронил больше не звука, но по завету Достоевского: ему хотелось биться о землю, броситься перед обидчиком на колени, благодарить (издеваясь над ним), кричать, что он оскорбил беззащитного, преследуемого иностранца — не имеющего отечества — русского».

Романы эмигрантских молодых писателей свидетельствуют, что это расстройство способности разбираться в своих отношениях с людьми глубоко поражает всю душевную жизнь человека, не только общественные, деловые, но и самые личные, с близкими людьми, любовные и дружеские его отношения, делая их мучительными, безнадежно неосуществимыми.

«Шесть лет она только и делала, что: обливала меня холодной водой, оскорбляла, осаживала. Безнадежно! Все — тысячу раз упущено и запутано окончательно! Сколько раз она говорила, с самых первых дней знакомства: все равно, Долголиков, ничего не выйдет!»

Но наиболее характерны в этом отношении романы Сирина. Они изображают в каком-то обездушенном, необитаемом для живого существа виде все формы совместной людской жизни и рисуют страшное одиночество героя, не могущего приспособиться не только ни к какой социальной среде, но и ни к какому вообще общению с людьми.

Чтобы уйти от ужаса и мучения, испытываемых им на своей «социализированной», вдвинутой в людское общежитие поверхности, сознание героя эмигрантской литературы невольно обращается внутрь самого себя, в надежде там, на самом дне, найти желанную радость, утоляющую жажду «как источник воды, текущей в жизнь вечную».

В этом смысле об эмигрантской литературе можно было бы повторить то, что писал Henry de Montherlant о «cante jondo», «глубокой песне» испанцев и титанов, — «chacun jette en soi comme le tuyau d'une pompe pour arriver à la nappe souterraine de l'âme»[2]. И если ни одному эмигрантскому писателю не дано достигнуть «воды души», дорыться до самой непостижимой разумом «нутри» жизни, то все-таки их обращенному в глубину самого себя сознанию, почти уже за краем умозрения, приоткрывается вид на простирающийся в каком-то неизвестном, не имеющем измерений пространстве, огромный океан снов, музыки, мечтаний, странных галлюцинаций. Элементы такого лирического визионерства, очень сильные в творчестве Б. Поплавского, занимают важное место и в произведениях С. Шаршуна, В. Сирина, Г. Газданова и других молодых писателей.

Но это не всегда музыка, вечно снящиеся душе Калибана чудные, невыразимо сладостные «звуки небес» —

---

[1] «Вот тебе и пожалуйста!» — «А иди ты на...» (*фр.*).

[2] «Каждый погружается в себя, как ствол насоса, чтобы достигнуть глубинного, подземного водяного слоя души» (*фр.*).

И в снах моих я вижу облака
Открытыми, а там, за облаками,
Богатый мир, готовый на меня
Как будто бы с высот своих излиться.

Только в одном романе Яновского «Любовь вторая» эти анормальные перцепции, врывающиеся в сознание как бы сквозь щели воздвигаемых здоровым мировосприятием объективных пейзажей жизни, принимают форму почти мистических прозрений. Большею же частью они вводят, может быть, в самый низменный подпольный мир души, темный хаос эротических кошмаров, навязчивых идей, развивающихся как бред, исполненный то невозможно прекрасных, то безобразных и странных ощущений и видений.

Да, если угодно, это то, что принято называть «больной» литературой. Но, не говоря уж об огромном значении для психологии подобных попыток проникновения в начинающийся за пределами точного знания, погруженный в мрак океан подсознательной жизни, — с исследованием еще неизвестных областей сознания связана надежда, что вместе с мутными подземными волнами станет доступным телесному зрению что-то «оттуда», хотя бы самое низменное и темное, но приносящее реальное ощущение потусторонней жизни души: то есть все та же великая и безумная надежда человека — найти доказательства бессмертия.

Ибо, чем дальше сознание человека роет в глубину себя, тем сильнее в нем проступает темное, невыразимое ощущение не своего экстериоризированного в объективном мире «я», а своего настоящего существа, неопределимого никакими «паспортными» обозначениями и как бы уходящего корнями внутрь огромной, не могущей никуда исчезнуть, занимающей все место жизни.

«На меня этой ночью, — и случается так не впервые, — нашло особенное: я снимаю с себя оболочку за оболочкой, и наконец... не знаю, как описать, — но вот что знаю: я дохожу путем постепенного разоблачения до последней, неделимой, твердой, сияющей точки, и эта точка говорит: я есмь!» — говорит Цинциннат, герой романа Сирина «Приглашение на казнь».

Конечно, реальность этого ощущения своего бытия, испытываемого в длящихся только одно осиянное мгновение предчувствиях, никогда еще не была доказана с научной убедительностью, могущей вытеснить сознание неизбежности смерти. И все-таки это невыразимое, трансцендентное разуму, непосредственное ощущение остается в памяти на всю жизнь, и душа человека не может примириться с очевидностью разумного знания, что животное, неизбежно кончающееся смертью существование во внешнем объективном мире, — есть единственная действительность, из которой нельзя «проснуться» в какое-то другое «внутреннее» измерение бытия, «в жизнь вечную». В этом смысле склоненная над субъективной психической жизнью эмигрантская молодая литература, мне кажется, праведно-непримиримо противостоит всяким попыткам принудить человека жить исключительно

на «обобществленной» поверхности своей личности. Но трагедия ее героя, загнанного мучительностью его жизни на людях вовнутрь самого себя, как в изолированную темную комнату, заключается в безвыходности его одиночества. Сквозь жизнь сожалений, страха и скуки, догадываясь, предчувствуя, зная о другой отчизне, он не может в окружающих его людях, нормально и благополучно продолжающих жить только в социализированной части их «я», увидеть такие же, как он сам, имеющие живую душу личные существа. — «Нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке; или короче: ни одного человека, говорящего; или еще короче: ни одного человека!» — восклицает герой романа Сирина.

Иногда еще, как, например, в романе Фельзена, герой пытается найти выход из одиночества в героической и упорной привязанности к женщине, но чаще, как Цинциннат, он не может встретить в мире ни одного человека и как будто бы даже никогда не слышал о гневе бодлеровского Ангела, требующего любить каждого человека, как бы ни был он нищ, зол, безобразен, глуп, и видеть в нем такое же живое, созданное по образу и подобию Божию, личное существо, как в самом себе!

Это страшно ослабляет борьбу эмигрантской литературы за человеческую личность. Как будто бы стоя на защите завещанного нам великим прошлым русской литературы, евангельского в своем происхождении, утверждения личности, мы на самом деле забываем все время, что это в то же время утверждение абсолютной ценности не только собственной личности, но и личности другого человека, каждого человека, всех людей.

## О ПРОИСХОЖДЕНИИ И «ОБЩЕСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ» ЧЕЛОВЕКА

«Всякому человеку для того, чтобы действовать, необходимо считать свою деятельность важною и хорошею» и свое положение «хорошим и уважительным».

Толстой особенно упирает на насущность нужды человека в таком сознании. — Маслова «была проститутка, приговоренная к каторге, и, несмотря на это, она составила себе такое мировоззрение, при котором могла одобрять себя и даже гордиться перед людьми своим положением». И она «дорожила таким пониманием жизни больше всего на свете, — и не могла не дорожить им, потому что, изменив такое понимание жизни, она теряла то значение, которое такое понимание давало ей среди людей».

Эти замечания Толстого относятся к категории таких «дубовых истин», как, например, что людям нужно есть, слишком простых и всем известных, чтобы заинтересовать любителей всяких психологических тонкостей. Между

тем каждый человек, если он, честно и не обманывая себя, вглядится в свою жизнь и в свое желание счастья, увидит, что почти все содержание его так называемой «внутренней» жизни состоит из переживаний своих отношений с другими людьми и представлений о впечатлении, производимом на них его особой, — иными словами, из представлений о своем «общественном положении»; и чем более значительным и высшим кажется ему круг людей, поддерживающих своими взглядами или прямо выраженным признанием это представление, тем большую истинность и прочность приобретает в нем ощущение бытия своего «я», как бы растущего и исполняющегося силами, волей и счастьем жить*.

И, наоборот, ухудшение «общественного положения» вызывает в человеке, хотя бы он физически оставался вполне здоровым, мучительное чувство уменьшения «очевидности» своей жизни. «On ne voyagerait pas sur la mer pour ne jamais en rien dire»[1]. То, о чем никто, никакое сознание, ни одна живая душа не знает и никогда не узнает, кажется напрасным, пропадающим даром, как бы не имеющим существования, и каковы бы ни были метафизические идеи человека, в большинстве случаев именно участие в «человеческой комедии», единственном известном всем людям бытии, ощущается им как единственно «несомненная», остающаяся ему жизнь. И если «на миру и смерть красна», то в одиночестве, при полной потере «общественного положения», человеку становится скучно, страшно и нежизненно — «il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dèpendence, son impuissance, son vide»[2].

Вероятно, в самой биологической природе человека — «общественного животного» — лежит объяснение этой зависимости чувства полноты или уменьшения жизни от изменений «общественного положения», делающей понятным, почему люди так любят все то, что увеличивает это их положение — лесть, признание, титулы, «сидеть впереди в синагогах», и, наоборот, чувствуют ненависть ко всем, причиняющим им моральный ущерб. Так, Маслова почти с ненавистью встретила Нехлюдова, чувствуя, что своими взглядами он разрушал «истинность» дававшего ей уверенность, самоуважение и силы жить представления о значении своего места в людском мире.

Так же, как борьба за материальные средства существования, эта борьба за «общественное положение» пронизывает всю человеческую жизнь. Французская буржуазия и до революции была богатой и просвещенной, и тем не менее для человека третьего сословия жизнь при старом режиме была невы-

---

* Существует, конечно, и настоящая внутренняя жизнь, но мистический опыт людей, действительно дорывшихся до самой бездонной, непостижимой измерениями разума и невыразимой языком «нутри» жизни, настолько превышает опыт рядового человека, что вообще лежит за пределами трактуемой в этой статье естественной психологии. Хотя, вероятно, в жизни каждого человека бывают иногда мгновения, когда что-то из этой внутренней жизни врывается в его сознание, «как память об иной отчизне».

[1] «Кто бы пустился в морское плавание, чтобы не проронить о нем ни слова» (*фр.*).

[2] «Он ощущает тогда свое ничтожество, свою покинутость, свою недостаточность, свою зависимость, свое бессилие, свою пустоту» (*фр.*).

носима, так как, какие бы «хорошие манеры» он ни усвоил, в глазах аристократа он все-таки оставался «vilain»[1]. И для того, чтобы утвердить насущно необходимую ему «истину» такого понимания жизни, при котором он, буржуа, был бы не только «vilain», а, наоборот, самый важный и первый человек — «третье сословие должно быть всем»: ему нужно было или заставить аристократов признать эту «истину» «vilain», или физически их уничтожить.

Самой странной и поразительной особенностью новой европейской истории является то, что такое вызывающее потрясение «основ», такое изменение сознания, когда человек перестает соглашаться, что его считали «vilain», охватывает не только (что было бы естественно) представителей какой-нибудь определенной, экономически и политически подымающейся социальной группы, а все более и более широкие массы самой «подлой черни». Современный европейский человек, хотя бы он был самого «низкого» происхождения, уже не верит, что «подлость» его положения в обществе является чем-то естественным, «богоустановленным», справедливым и хорошим, и почитает себя таким же человеком, как самый «благородный».

Не может быть сомнения, откуда взялось это сознание, что все люди равны по своему происхождению и поэтому должны быть равными и в своих правах. Недаром же римские императоры гнали христиан, верным инстинктом чувствуя, какую опасность для общества представляло противоестественное учение, согласно которому каждый человек, даже и раб и «жид», был сыном Божиим, равным по рождению самому «божественному» Цезарю. Но постепенно все утряслось, и само христианство было приспособлено таким образом, что тот порядок — «почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют над ними», — по поводу которого в Евангелии прямо сказано: «но между вами да не будет так», вновь оказался порядком «богоустановленным» и подобным небесной иерархии. И тем не менее в один прекрасный день американские пуритане провозгласили в продолжение многих веков скрываемую от порабощенного и невежественного, «подлого» народа истину равенства происхождения всех людей и абсолютной ценности каждого человека — сына Божьего, несоизмеримой с достоинством принадлежности к той или иной касте земной иерархии.

Было бы слишком долго останавливаться на том, как, начиная с конца XVIII века, это сознание в «секуляризованном» виде «прав человека и гражданина» все шире распространяется в мире. И если теперь, вероятно, меньше, чем в Средние века, людей, действительно, хотя бы отдаленно, понимающих весь страшный смысл христианской личной жизни, достигаемой только через смерть всего того, что обыкновенно человек и считает своим «я» — свое имя, общественное положение и т.д., — то каждый человек современной европейской культуры твердо усвоил, по крайней мере, ту часть этой истины, что он такой же человек, как «султан в великолепной серали», и поэтому должен иметь и такие же права. Все вдруг как бы поняли, что люди

---

[1] Плебей, презренный (*фр.*).

не рождаются, подобно пчелам: рабочими, или трутнями, или царицей, и что «кухаркин сын» может так же управлять государством, как «природный» государь.

Соединяясь со свойственной каждому человеку потребностью занимать хорошее и уважительное положение, это сознание изменило душу народных масс. Новые вожди, хотя бы самые реакционные, верным инстинктом знают, что для того, чтобы прийти к власти, теперь уже недостаточно опираться на какую-нибудь одну подымающуюся группу, а нужно и всей основной массе населения обещать самое высокое и почетное общественное положение. Так пришел к власти Гитлер, утвердив «истину» такого понимания жизни, при котором каждый немец может считать себя первым и самого благородного («арийского») происхождения человеком. Да и сила коммунистической пропаганды объясняется, верно, не только тем, что люди вдруг начинают верить в научную истинность марксизма или даже в то, что при коммунизме станет сытнее жить, но и обетованием всем «голодным и рабам» славы самого высокого общественного положения.

Но если практика политического действия и демагоги интуицией цинизма и опытом знают вожделения и инстинкты человека и умеют пользоваться этим знанием для достижения своих часто преступных и безумных целей, то мыслители, занимающиеся вопросами социального творчества, большую часть жизни проводящие в научной кабинетной работе, часто бывают совершенно лишены способности чувствовать, из чего сделаны живые люди. Это иногда делает честь чистоте их души, но между тем без знания, в чем имеет нужду социально-животная природа человеческого сердца (в частности, потребность занимать хорошее и уважительное положение), не может быть правильно проектирована такая новая социальная атмосфера, в которой людям было бы легче и лучше жить и радостно действовать, в которой действительно «жить станет лучше, жить станет веселее».

Нельзя не считаться и с тем, что сейчас в Советской России бесчисленные чернорабочие «стахановцы», если бы даже они и жили хуже европейских безработных, все-таки чувствуют себя такими же героями и «знатными людьми», как в буржуазных странах только банкиры и «шмуклеры»[1], и что все эти люди, даже когда они окончательно перестанут быть большевиками, не захотят отказаться от своей «рабоче-крестьянской» славы, так как, по приведенным в начале этой статьи словам Толстого, человек больше всего на свете дорожит таким пониманием жизни, при котором он может одобрять себя и гордиться своим положением.

[1] От Schmukler (*нем.*). Здесь: пижоны.

# РАМАКРИШНА И ЕГО УЧЕНИК ВИВЕКАНАНДА

Все имеют какое-то, хотя отдаленное представление о Ганди. Но русским осталось почти совсем неизвестным имя Рамакришны, великого духовного будителя Индии и одного из тех всечеловеческих гениев любви, души которых, как мистические солнца, сияют в темной ночи людской жизни.

Человек этот родился в 1836 году в бедном и благочестивом семействе. Ему было 6 лет, когда он увидел летящих в синем небе белоснежных журавлей. Он потерял сознание и упал. С тех пор видения и экстазы, все более мистические, его посещают. Когда он священнослужительствовал в храме богини Кали, к нему пришел проповедник Атмана Тотанури — Голый человек. Он открывает Рамакришне высшее состояние индусского мистицизма — Нирвинальпа-Самади (самый большой экстаз), когда душа, оторвавшись от всего, что привязывает человека к жизни, освобождается от подчинения страшным законам Майи и по ту сторону наслаждений и страданий, по ту сторону «маленькой вселенной наших чувств и рассудка» соединяется с единственной реальностью, не имеющей никакого определения, пространства, формы, имени. Рамакришна лежал недвижим, как мертвое тело. — «Вселенная погасла. Уже больше не было самого пространства. Сначала еще тени идей плавали над темным дном духа. Слабое сознание "я" одно монотонно повторялось... Потом и это прекратилось. Осталось только Существование»... Шесть месяцев Рамакришна оставался в состоянии каталептического экстаза.

Но, достигнув этой «крыши восхищения», когда душа, погасившая в себе волю жить, тонет в бесконечном блаженстве созерцания Абсолюта, он молится богине Кали: «О Мать, помешай мне наслаждаться радостью, сделай, чтобы быть более полезным миру. Сделай, чтобы я рождался вновь и вновь, хотя бы в виде собаки, если я смогу помочь хоть одной душе». Вивекананда, апостол Рамакришны, неустанно развивает ту же идею: «Искать собственного освобождения недостойно учеников аватара. Если вы ищете собственного спасения, вы пойдете в ад. Нужно искать спасения других... И даже если вы, работая для других, должны были бы пойти в ад, это лучше, чем достигнуть неба, ища своего собственного спасения... Отдайте вашу жизнь, чтобы спасти жизнь тех, кто умирает; вот сущность религии». А когда, во время большого голода, унесшего в центральной Индии свыше 900 тысяч жизней, один благочестивый монах стал упрекать его за то, что он не хочет беседовать с ним о религии, Вивекананда с гневом ответил ему: «Пока в моей стране останется хотя бы одна голодная собака, моей единственной религией будет стремление накормить эту собаку».

Как от порожденного сознанием напрасности всякого человеческого равнодушия и от стремления к собственному освобождению произошел этот переход к пламенной жажде действия, любви, жертвенной отдачи себя на служение людям?

Христос являлся Рамакришне в видениях. «Вот Христос, принесший жизнь свою во искупление людей. Это Иисус — воплощение любви». Не раз Рамакришна говорил, что если бы он жил во времена Христа, то не слезами, а кровью сердца своего омыл бы его ноги. Человек этот, веривший во всех богов Индии, становится великим «подражателем» Иисуса Христа. Сочувствие его страданиям людей было так велико, что побои и мучения, причиняемые одними людьми другим, оставляли физические следы, кровавые стигматы на его теле. Он многих исцелял, принимая на себя их страдания, горе и болезни. Обращение его с людьми было полно глубоко милосердного понимания, бесконечной любви и кротости. Когда воздвигалось новое гонение на «нечистых», он пришел к одному парию и своими волосами вытер пол в его хижине. Вивекананда видел, как, стоя на коленях, его учитель омывал слезами ноги уличных проституток. Любовь, исходившая из его сердца, обнимала не только людей, но все творение Божие — тяжелый и грубый шаг по земле он чувствовал проходящим по своей груди. Незлобивая, детская веселость, нежность, весь исполненный величайшей прелести душевный образ Рамакришны делает его похожим на Франциска Ассизского.

Но, принимая полностью и до конца самую сущность христианства, воспылав огнем мистической любви, и Рамакришна, и Вивекананда остаются равнодушными к той в значительной степени уже иудео-греческой метафизике, которой христианство воспользовалось для своего интеллектуального выражения. Так, Рамакришна говорил: «Бог находится по ту сторону достижимости рассуждений. Поэтому не спорьте о доктринах и религиях, есть только одна: любите вашего ближнего». Вивекананда со свойственной ему страстностью доводит эту идею до крайнего заострения: «Если человек, никогда не изучавший никакой философии, не верящий ни в какого Бога, не молившийся ни разу в жизни, одной силой добрых дел был приведен к состоянию готовности отдать за других свою жизнь, и все, что он имеет, и все, что он есть, то этот человек достиг вершины религии».

Только одна «метафизическая идея» лежит в основе всего учения Рамакришны: «Однажды мне открылось видение: одна-единственная сущность приняла все формы космоса и всех живых существ. Я увидел, что все было Дух. Церковная утварь, алтарь, люди, животные... один Дух. Как сумасшедший, я стал сыпать с алтаря цветы на все вещи, я обожал все, что видел». Но если традиционный индусский мистицизм останавливался на ступени созерцания, то христианский, в своей сущности, мистицизм Рамакришны становится полным: не только мысль и чувство, но воля человека сливается с волей Бога. «Когда вы поймете, что все живет, как вы, в Боге, вы станете волей могущества и сознанием всего существующего. Ваша воля станет волей всей вселенной. Человек, отрешившийся от себя, становится отцом реальности, и то, что он творит, не исчезнет вовек». Эта заложенная в человеке божественная возможность творческого могущества должна быть направлена на служение людям. — «Воистину Бог есть во всем, но человек есть наибольшее выражение Бога во плоти. Жива есть Сива — живое существо есть Бог. Как

можно говорить о милосердии к нему? Нет, не милосердие, но служить. Служить ему, смотря на человека, как на Бога».

Когда возлюбленный его ученик Нарем, которому он открыл бездну Нирвинальпа-Самади, на коленях молил его: «Учитель, я был счастлив в Самади. В моей бесконечной радости я забыл мир. Сделай, чтобы я остался в этом состоянии», Рамакришна сказал ему: «Какой стыд! Я думал, что ты будешь, как огромная смоковница, под сенью которой укроются тысячи уставших душ, а ты хочешь оставаться погруженным в твою личную радость, как обыкновенный человек... Милостью Матери, и в твоем естественном состоянии ты соединишься с единым Богом во всех существах, ты совершишь великие дела в мире, ты принесешь людям духовное знание, ты облегчишь страдания нищих и несчастных».

Принявший впоследствии имя Вивекананды, Нарем создает новый монашеский орден, странные монастыри, где больше занимаются социальной, просветительной и благотворительной деятельностью, чем молитвами и богословием. Он проповедует прежде всего необходимость организации, которая распространила бы в Индии взаимопомощь и взаимопонимание, наподобие западных демократий. «В духовном отношении американцы стоят ниже нас, — говорил он, — но их общество гораздо выше нашего... Я обошел пешком всю Индию, и для меня было мучением видеть ужасную бедность и нужду народа. Теперь я твердо знаю, что напрасно проповедовать религию несчастным, не облегчив их бедности и их страданий... Никто в нашей стране не думает об униженных, нищих и несчастных. Где человек, который бы сочувствовал им, разделил их радости и страдания?.. На что мы годимся, если не можем им помочь, накормить их и одеть. Увы! Они не знают путей этого мира и не могут заработать себе на жизнь, хотя трудятся день и ночь... На всей поверхности земного шара массам внушали, что они ничто. Их так запугали в течение веков, что они превратились почти в стада животных. Никогда им не позволяли слышать об Атмане. Пусть теперь они узнают, что самый низкий из низких имеет в себе Атмана, который не умирает никогда... Очнитесь от гипноза слабости. Душа бесконечна, всемогуща, всеведуща. Вставайте! Нам нужна религия, делающая людей. Нашей стране нужны железные мускулы, стальные нервы, гигантские воли, которым ничто не сможет сопротивляться... Воля сильнее мира, все должно ей уступить, так как она от Бога».

Он указывает на новый незнакомый индусскому мистицизму путь освобождения: «Религия должна стать действием... Жернова мира страшны; мы все вовлечены этой мощной и сложной машиной вселенной. Есть только два пути спасения. Первый — держаться в стороне... Это легко сказать, но почти невозможно исполнить. Я не знаю ни одного человека из 20 миллионов, который был бы способен на это. Конечно, если мы откажемся от нашей привязанности к этой маленькой вселенной чувств и разума, мы станем немедленно свободны. По ту сторону ограничений закона, по ту сторону причинности цепи раба падают. Но кто достигнет полного отрешения? Есть

другой путь, не отрицательный, а положительный, — броситься в мир и в нем открыть тайну труда. Не стараться бежать от жерновов машины, но научиться ими управлять. Это путь Кармайоги, ведущий изнутри мира, но выводящий наружу».

Объяснение, как открылся душе Индии этот новый путь освобождения, дает Бергсон: «Прямое действие христианства как догмы было почти ничтожным в Индии. Но христианство проникает всю западную цивилизацию и все, что она с собой приносит. Самый индустриализм косвенно из него возникает. Это именно индустриализм и наша западная цивилизация раскрепостили мистицизм Рамакришны и Вивекананды. Никогда этот мистицизм, пламенный и действенный, не мог бы возникнуть во времена, когда индус чувствовал себя раздавленным природой, когда всякое человеческое действие казалось напрасным. Что делать, когда неизбежные глады обрекают миллионы несчастных на смерть? Главный корень индусского пессимизма был в этом бессилии. И этот пессимизм помешал Индии дойти до конца своего мистицизма, так как полный мистицизм есть действие. Но приходят машины, увеличивающие производительность земли и позволяющие перевозить ее плоды, приходят также политические и социальные организации, доказывающие на опыте, что массы вовсе не обречены на жизнь в рабстве и нищете, как на неизбежную необходимость: освобождение становится возможным в совершенно новом направлении; мистический подъем, если он где-либо достаточно силен, не будет уже остановлен невозможностью действовать: он уже не будет отброшен к доктринам отречения от жизни или к практике экстазов: вместо того, чтобы погрузиться сама в себя, душа расцветет во всемирной любви».

Но в то время, как на Западе христианские по своему происхождению и замыслу начала машинизма и истинной демократии развивались в борьбе против аскетического, «не от мира сего», церковного идеала, в мистике Рамакришны и Вивекананды эти две, как бы враждебные друг другу, тенденции сливаются. И это придает их опыту огромное значение как указание на путь, могущий вывести из того страшного кризиса, который переживает теперь все человечество во главе с Россией.

Русская жизнь во многом напоминает Индию: такое же высокое религиозное вдохновение и в то же время жесточайшее кастовое общество, беспощадно попирающее «затылок несчастных», и многомиллионные народные массы, обреченные на страшный труд, голод и рабство. И в самой русской религиозности особенно сильна была именно аскетическая, отрешенная от «мира» сторона христианского идеала, отвлечение которой делает возможным возникновение трагического недоразумения: «шопенгауэровского» и «розановского», похожего на буддизм, христианства, близкого теперь очень многим русским людям. Но в отличие от Индии, Россия знала и такие огромные взрывы героической, прометеевской, творческой энергии, которых не было, быть может, даже и на Западе. Нужно повторить, что и на Западе рожденная христианским милосердием воля к строению такого могуществен-

ного машинизма и такой справедливой братской социальной организации, которые сделали бы возможным освобождение народных масс, обращенных нищетой, тяжким трудом, голодом и рабством «почти в стада животных», развивалась в значительной степени как религия против аскетического идеала христианства. Бергсон очень хорошо говорит, что по существу это был тот же идеал. Но раньше он был как звезда, повернутая к людям только одной стороной. В эпоху Возрождения люди стали видеть другую сторону, не замечая, что это все та же звезда.

В России разрыв между людьми, видящими разные стороны звезды, становится еще более глубоким и трагическим. Это чувствовалось уже во времена Петра. Для многих представителей русской религиозности громадное петровское строительство, спасшее Россию от судьбы Индии, казалось антихристовым. В XIX веке русское освободительное движение не только окончательно секуляризуется, но прямо становится яростно безбожным и антихристианским. Мистическое происхождение этого движения сказывалось только в духовном типе некоторых революционеров, явивших черты истинного подвижничества и героической, жертвенной воли служения благу людей, и в той идее абсолютной, евангельской в своем происхождении, справедливости, которая двигала их совестью гораздо сильнее, чем всякие «научные», революционные миросозерцания. Трагические последствия этого распадения русского мистицизма на почти уже буддийскую религиозность и на обезбоженную, ставшую антихристовой и тем самым античеловечной, волю к земному строительству сказались в страшные, апокалиптические дни революции. Вероятно, Блок был последним русским человеком, вместившим видение обеих сторон русского мистического идеала: и лучей, которые ринутся «оттуда», и «Америки новой звезды». Но для большинства по-прежнему это пророческое видение кажется невместимым и невозможным, и смысл «Двенадцати» продолжает оставаться кощунственным для одних и непонятным, «ненужным» для других.

## БОРИС ВИЛЬДЕ

Прошедшие годы были как страшный суд. Миллионы людей, и в их числе русские эмигранты, были подвергнуты испытанию: не на словах, а на деле они должны были показать, чем в действительности они являются и что по-настоящему они думают. «Один берется, а другой оставляется». Люди, принадлежавшие к одному кругу, разделявшие на словах одни и те же взгляды, все казались более или менее одинаковыми. Но проба страшных лет обнаружила незаметные на поверхности обыденной жизни глубинные различия, и мы вдруг увидели настоящие лица наших знакомых, как бы проявленные

в свободном действии в обстоятельствах исключительно трагических. Это было сверх ожидания. Теперь уже все забыто, мы снова с одинаковым равнодушием подаем руку и герою и подлецу, и, в восстановившейся «комнатной» повседневности, уже почти неловко говорить: между нами были мученики и герои. А между тем мы знаем это и не должны забывать, как в эти годы расставились на лестнице восхождения личности: одни в самом низу, другие на средних ступенях, третьи — на верхнем конце, уходящем в открытую вечность жизни.

К этим третьим, чьи доблесть и пролитая праведная кровь спасли честь имени зарубежного русского, принадлежал и Борис Вильде.

Бориса Вильде, Дикого, все любили на русском Монпарнасе за веселый открытый нрав, за товарищество. Никто, даже когда у него самого не было никаких средств к существованию, так легко, заведомо без отдачи, не давал денег в долг. Он никогда не участвовал ни в каких ссорах. Был товарищем надежным и верным. «Хороший малый». Но это, пожалуй, все, что о нем знали. Он не был похож на «героя» нашего Монпарнаса, героя, чей облик, напоминающий отчасти мечтателя из «Белых ночей», вернее всего обрисован в повестях Б. Поплавского и С. Шаршуна. Человек, измученный сознанием своей отверженности, с ужасом чувствуя, что ему нету места в окружающем его чуждом и враждебном мире, — замыкается в своем недуге, в своих неизъяснимо-сладостных безумных мечтаниях о жизни и любви.

Нет, Борис Вильде шел среди людей, как завоеватель. Он появился в Париже откуда-то из Прибалтики бесстрашным провинциальным русским мальчиком, полным романтических бредней о «подвигах и славе», «жадным к жизни и счастливым, несмотря на нищету и мировую скорбь», как он сам позднее пишет в своих предсмертных тюремных записках*. Его светлые глаза смотрели на мир и в глаза людям открытым, полным беззаветной смелости взглядом. Однажды он сказал мне: «Я всегда живу так, как если бы завтра я должен был умереть». Отсюда жадность, с какой он стремился насладиться каждым мгновением, и в то же время какая-то отрешенность от всего, что привязывает людей к жизни, так как он всегда чувствовал, что все это сейчас может оборваться. Но это не вызывало у него головокружения страха. Наоборот, мне казалось, он был опьянен сознанием, что наша жизнь ничем не охранена от произвола судьбы и смерти, и мы, как все живое, рождены для существования, приключений и риска. В тюрьме он пишет: «Ты поклялся самому себе сделать из твоей жизни игру забавную, капризную, опасную и трудную...»

Но Вильде не стал ни искателем приключений, ни ницшеанцем, ни новым Ставрогиным, хотя у него было достаточно для этого силы.

Обладая ясным умом, огромной волей и железной выносливостью, всегда бесстрашно идя на риск, он мог добиться всего на любом общественном поприще. Он был щедро наделен для этого способностью подчинять людей

* «Europe», Revue mensuelle (Fondateur: Romain Rolland) № 5. — Mai 1946.

своему влиянию, орудовать понятиями и словами и еще в большей степени «математическим разумом», необходимым для научных занятий. Учился он с необыкновенной легкостью. После пьяной бессонной ночи садился за научную книгу с головой совершенно ясной. Уже в тюрьме, в течение восьми недель, занимаясь по 2, по 3 часа в день, выучивает древнегреческий, достаточно, чтобы при помощи словаря разобрать любой текст. Мне пришлось слышать его доклады по самым разнообразным вопросам этнографии, антропологии, языковедения, социального и экономического строя различных исчезнувших и современных цивилизаций, и по тому, с каким вниманием и интересом его слушали заслуженные седовласые специалисты, я мог судить, что его доклады были не только блестящи по построению и ясности изложения, но основанными на углубленном знании предмета.

Но Вильде было совершенно чуждо самодовольство «умных людей», самоуверенно говорящих о чем угодно. Все мы чувствовали, встречаясь с ним, как под этой поверхностью «умного человека» скрывалось что-то более глубокое: непосредственная, первородная интуиция жизни, содержание которой нам оставалось, впрочем, несколько неясным и загадочным, так как он сам очень редко и очень скупо об этом говорил. Однажды на мой вопрос, почему он занимается сразу столькими науками, он, усмехнувшись, ответил: «Единственная наука, меня интересующая, это *наука жить*». Это меня удивило. Я знал, что он не занимается школьной философией и никогда не участвовал в том беспардонном метафизическом остроумничании, которое, с легкой руки «учеников» Мережковского, буйно цвело на нашем Монпарнасе. Теперь, когда опубликованы его тюремные, сделанные в ожидании расстрела, записи, нам несколько больше приоткрывается его мысль. Впрочем, он сам оговаривается о трудности ее выразить, не впадая в «литературу»: «А между тем, несмотря на противоречия чувств, я с такой совершенной ясностью вижу то, что я хочу перевести на слова». Эта ясность видения, не выразимая словами, только подтверждает, что перед нами не произвольная спекуляция, а подлинная интуиция, силящаяся проникнуть в самый «предмет» жизни.

Но может быть, еще больше, чем предсмертный дневник, самые поступки Вильде позволяют догадываться о содержании этой интуиции, приведшей его к высшей жертве, вовсе не к ставрогинской «так сказать, насмешливой» жизни, чего можно, казалось было, ждать от человека, бывшего в молодости, по его собственным словам, *чудовищем*.

«В 17 лет ты замыкаешься в великолепном безразличии. Ты еще сохраняешь любопытство к жизни, ты забавляешься, но ты никого не любишь, ни жизнь, ни самого себя, ты не принимаешь ничего всерьез. Ты смотришь на мир и на жизнь как на игру, довольно забавную, но не больше», — напишет он в предсмертный час, оглядываясь на свое прошлое. Но под этой поверхностью несколько байронического, но в действительности очень доброго «*чудовища*» жила душа, стремившаяся к приключениям совсем другого рода, чем развлечения «Принца Гари».

В 22 года Вильде становится зачинщиком движения в пользу автономии ливов. Тюрьма, высылка. В Германии, во времена первых успехов расизма, он ведет коммунизанствующую деятельность. Новое тюремное заключение. Очутившись во Франции, он мечтает присоединиться к испанским республиканцам. Но женитьба и увлечение научной работой в «Музее Человека» как будто дают новое направление его жизни, уводят его от беспокойных, романтически-революционных порывов его юношеских лет. Начинается война. С первых же дней Вильде на фронте. Томится от бездействия месяцев drôle de guerre. Хлопочет о зачислении в экспедиционный корпус в Норвегию. В 1940 году, после разгрома армии, бежит из плена и уже через несколько недель по возвращении в Париж начинает движение борьбы против немецких оккупантов, движение, которому *он первый дает имя* Résistance.

Все это говорит о том, что в действительности это был один из тех, постоянно являвшихся в истории русского общества, беспокойных, волевых и смелых людей, которых влечет какая-то сила всюду, где борьба против угнетения и несправедливости, будь то революционное движение, война за освобождение славян или Трансвааль. Этими людьми, в сущности, двигает та же, видимо, питаемая глубокими течениями народной жизни, *русская идея*, которая нашла свое выражение в творчестве великих русских писателей и мыслителей, как пророки Израиля, всегда возвышавшие свой голос, когда где-нибудь в мире совершалась несправедливость. Но тогда душа этих людей с ее огромными силами действия не может удовлетвориться словом, ей нужно непосредственное участие в борьбе, в которую они бросаются бесстрашно, не только не останавливаясь перед угрозой пыток, тюрьмы и казни, а, наоборот, как бы ища смерти, как будто зная не разумом, а всем сердцем, что только смерть за *други своя* является высшим свершением личного существования. Трагическая развязка повести жизни Вильде: смерть под пулями немецких палачей, озарив последним, уже неземным светом его духовный облик, делает больше невозможным сомнение в том, что он был из этих людей и что к этой *цели* под личиной демонического равнодушия всегда двигалась его душа.

Впрочем, люди, близко его знавшие, уже и раньше могли об этом догадываться. Появляясь на Монпарнасе только как случайный гость, он становится одним из самых деятельных участников кружка, в 1938 году, как бы в предчувствии грядущих событий, основанного Ильей Исидоровичем Бунаковым-Фундаминским.

Это был кружок почти тайный, негласный, только немногие в него были приняты. Сам Илья Исидорович называл его *орденом*.

Чем занимались в этом кружке, в чем была его цель? На собраниях здесь читались и обсуждались доклады по политическим и социальным вопросам. Но это не был политический кружок в тесном смысле слова. В него входили люди разных взглядов и разных миросозерцаний. Общим было только одно: желание служить идеалу правды, сияющему как самая яркая звезда на восходящем небе России. Собственно, в рассказе об этой звезде было все содер-

жание того предания об *ордене русской интеллигенции*, которое И.И. Фундаминский старался передать нам, эмигрантским сыновьям.

Когда наступили дни Испытания, почти все участники этого кружка доказали на деле, что все эти разговоры не были для них только прекраснодушной болтовней: погибли в Германии сам И.И. Фундаминский и мать Мария; расстрелян немцами — Б. Вильде; В. Алексинский, В. Андреев, Б. Сосинский, А. Угримов, рискуя не только своей головой, но и жизнью своих жен и детей, принимают героическое участие в борьбе с врагами России и всего человеческого мира. Ни один из членов кружка не стал *коллаборантом*.

Теперь нам кажется естественным, что именно в этом кружке Б. Вильде должен был стать одним из самых главных деятелей. Но тогда мы еще сомневались. Нам казалось: он слишком ценит удовольствия, слишком увлечен своей научной карьерой. Однажды, в ресторане, когда после плотного обеда он с несколько детской важностью с наслаждением закурил толстую сигару, я подумал: нет, он слишком любит жизнь. Не выдержав, я спросил тогда, как он относится к нашему кружку и к тому, ради чего мы его затеяли. Он посмотрел на дым своей сигары, потом слегка удивленно на меня и с наивностью, всегда в нем появлявшейся, когда он был совершенно серьезен, сказал: «Это главная цель моей жизни».

Теперь мы знаем: это была правда.

* * *

В французских книгах, журналах и газетах уже появились воспоминания о Вильде, этом замечательном русском человеке, чье имя стало легендарным среди участников Сопротивления во Франции. Придет время (во всяком случае хочется этому верить), будет издан по-русски сборник его памяти.

В этом номере «Вестника русского сопротивления» напечатаны переводы дневниковых записей, сделанных им в тюрьме, и последнего письма Вильде жене. Выдержки из них были уже несколько раз цитированы в настоящей статье. Нас удивляет сначала, что мы не находим в этих записях почти ни слова о причинах, побудивших его начать борьбу против немецких оккупантов. Очевидно, для его совести здесь не было вопроса, и это решение было единственно возможное, само собою подразумевающееся, не подлежащее обсуждению. Одно из тех решений, которые принимаются сразу, без колебаний, прежде чем разум подсказывает какие-либо доводы, и не нуждаются в разъяснениях, так как отвечают всему глубинному составу мыслей и стремлений, всей жизни, всем вошедшим в плоть и кровь понятиям о своем назначении, о человеческом достоинстве, о чести.

Когда немецкий обвинитель сообщает ему о своем решении требовать для него смертной казни, он записывает: «Быть расстрелянным это, в некотором роде, логическая развязка моей жизни».

Коченеющей от холода рукой, страдая от голода и отсутствия табака, он начинает тогда писать диалог перед лицом смерти между своими двумя воображаемыми «я». В этом диалоге, вспоминая свою жизнь и стараясь понять

ее значение, он рассказывает свою *духовную биографию*: «Знаешь ли ты, в чем смысл твоей жизни? Оглянись назад на твое прошлое, и ты увидишь, что твое становление было историей твоего очеловечения». И он описывает, как «чудовище равнодушия», каким он чувствует себя в 17 лет, постепенно начинает приобретать любящую и страдающую душу человеческого существа. «В один прекрасный день великолепное здание твоего равнодушия дало трещину. Это началось со встречи с твоей женой».

В пробитую брешь проникают все человеческие чувства: «Ты не отдавал самому себе отчета, как мало-помалу ты привязывался к людям, к жизни: ты их любил».

В конце этого пути *очеловечения* его душа приходит к чувству «жизни вечной» и «любви более реальной, чем смерть». «Вечное солнце любви всходит из бездны смерти», — говорит он в прощальном письме жене, написанном за несколько часов до расстрела.

На первый взгляд может показаться: эти строки, в своей возвышенной поэтичности сравнимые в современной литературе, пожалуй, только с некоторыми страницами Моргана, говоря нам о самом главном «открытии», сделанном Вильде в предсмертном усилии интуиции, и бесконечно важные для наших мыслей о последней борьбе, ждущей душу каждого из нас, — в то же время ничего нам не объясняют в политической работе Вильде, приведшей его под дула двенадцати немецких винтовок. Но думается, это действительно только на первый, поверхностный взгляд. Если же вглядеться, то станет понятным, что именно из этого глубинного стремления человеческой души к любви и вечной жизни вытекает та не случайная и временная, а абсолютная непримиримость к фашизму, которая определяет все политические поступки Вильде. Идя по пути *очеловечения*, он неизбежно должен был столкнуться с фашизмом, двигающимся в направлении прямо противоположном: к истреблению в душах людей всего истинно человеческого.

## К РАЗГОВОРАМ О ДУДИНЦЕВЕ

По отголоскам в советской печати мы знаем, что в России идет интеллектуальное брожение, но о характере этого брожения мы можем только гадать. Понятна поэтому жадность, с какой в эмиграции набросились на роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Роман этот по слухам произвел огромное впечатление на советских читателей. Обсуждение его собирало повсюду толпы народа. Что-то в этом романе ответило настроениям новой советской интеллигенции, в этом нет сомнения, но что же именно? Вера Александрова и другие наши критики сказали все, что можно было сказать бесспорного: советского читателя прельстила бесстрашная борьба героя романа Лопат-

кина против Левиафана советской администрации, борьба за человеческую личность, за творческую свободу, за вечные, лучшие человеческие чувства. Но принимает ли советский читатель и все другие идеи Дудинцева и что это за идеи? Здесь начинаются попытки чтения «подтекста», попытки законные и плодотворные, если только, конечно, они не ведут к подмене мыслей и стремлений автора своими собственными. В том, что у нас говорилось и писалось о романе Дудинцева, было много серьезного и глубокого, но попадались и утверждения совершенно удивительные, прямо противоположные утверждениям самого Дудинцева, например: Лопаткин, мол, не верит в коммунизм, изобретенная им машина для него только подробность, мелочь и т.д. Таких явных расхождений с текстом романа я постараюсь избежать. Утверждение мусульманских мистиков, что Коран допускает 7, или 70, или 700 планов толкования, мне кажется правильным, но при условии, что эти толкования не должны противоречить буквальному значению текста.

Мы не знаем, как написал бы Дудинцев, если бы мог писать свободно, мы знаем только то, что было напечатано, и тут сомнений быть не может — инженер Лопаткин восстает против существующих советских порядков не потому, что они коммунистические, а потому, что они недостаточно коммунистические, не соответствуют представлениям Лопаткина о том, чем должен быть подлинный коммунизм. Г.В. Адамович совершенно правильно, по-моему, указал, что в этом отношении роман Дудинцева напоминает ранние советские годы. В Лопаткине несмотря на все испытания неистребимо живет героическая вера первых поколений вышедшей из народа советской интеллигенции, вера в человеческое действие, в науку, в технику, в возможность достигнуть господства над природой и историей, в возможность построить новую, лучшую, более братскую жизнь. Сохранилась ли еще эта вера в каком-либо слое советского общества, мы не знаем. Рассказы многочисленных путешественников противоречивы. Одни утверждают, что в грандиозные полугениальные, полуидиотические мифы ленинского марксизма больше уже никто не верит. Из массового квазирелигиозного движения большевизм давно превратился в тоталитарное полицейское учреждение, которое держится не энтузиазмом веры, а на застывшей догме, регламентации, принуждении. Но умерла не только вера в пришествие коммунистического миллениума, умерла вера в какие-либо идеалы вообще. Молодая советская интеллигенция прагматична, деловита, равнодушна ко всем тем вопросам о Боге и социализме, которые волновали прежних «русских мальчиков». Другие путешественники утверждают прямо противоположное. Большевистская вера, сменившаяся у средних поколений равнодушием и разочарованием, еще жива именно в младшем поколении интеллигенции. Так, Эдуард Кранкшоу пишет: «Для молодежи, верящей в идеалы и готовой жертвовать собой ради этих идеалов, коммунизм — податель жизни, так как коммунизм за науку, за просвещение, за прогресс, и это в стране, лучшие элементы которой верят в науку, просвещение и прогресс так же абсолютно и пламенно, как 50 лет тому назад верили во все это на Западе».

В какой мере эти противоречивые суждения соответствуют действительности, мы можем только гадать. Несомненно одно: герой Дудинцева Лопаткин полон энтузиазма «просвещенской» веры. (Сохранили ли эту веру многочисленные и восторженные советские читатели Дудинцева — вопрос другой.) Но почему же тогда Дудинцева заставили переделать его роман? Ведь и большевистское мировоззрение тоже вышло из «просветительства», правда, из самой его упрощенной, поверхностной и вульгаризованной формы. Самым страшным по последствиям здесь была фанатическая уверенность, что человек есть исключительно произведение окружающей среды, не имеет в себе никакого источника свободы и все его поведение, все его чувства и мысли определяются законами механики, физики и химии. Отсюда такая же фанатическая уверенность, что человек бесконечно пластичен, что его можно как угодно «перековать», заставить верить, чувствовать и думать «как нужно». Из учения Маркса о бытии, определяющем сознание, и из опытов Павлова над собаками делались самые крайние и абсурдные выводы. Вот здесь и начинается «ересь» Дудинцева. Принимая все праведное, что есть в просветительстве — веру в человеческое действие, в прогресс, в научную технологию, он в то же время восстает против чудовищного обесчеловечивания человека и культуры, к которому пришел советский марксизм. Он как бы говорит: да, коммунизм, но без человеконенавистничества и лжи, да, социализм плюс электричество, но и плюс человеческая личность, со всеми заложенными в ней чувствами и стремлениями, с ее таинственной свободой и несводимым к условным рефлексам даром делать изобретения, «открытия», к чему неспособен даже самый усовершенствованный коллектив. В сущности, в представлениях Дудинцева о человеке восстановлено почти все, что просветительство получило от христианства. Сознает ли это сам Дудинцев, оказали ли христианские идеи непосредственное воздействие на его сознание, мы не знаем, но мы знаем, что по своему моральному вдохновению была христианской большая русская литература XIX века, влияние которой чувствуется во всей духовной направленности романа Дудинцева. Об этом очень верно писал в «Новом журнале» Р.Б. Гуль. Но можно допустить, что на Дудинцева оказала влияние не только художественная русская литература. Когда я читал у Дудинцева о жертвенной и подвижнической жизни Лопаткина, меня все время не оставляла мысль, до чего это похоже на то, что писали современники о Николае Фёдорове. Не знаю, слыхал или не слыхал Дудинцев о Фёдорове, но его Лопаткин — воплощение фёдоровского «святого инженера». Поражает и такое же, как у Фёдорова, соединение просвещенской веры в технику и в творческое могущество человека с христианским чувством братства.

За редчайшими исключениями русские интеллигенты убеждены, что просветительство и христианство — две веры, абсолютно друг друга исключающие. Мне уже приходилось доказывать, что главным образом именно поэтому не был понят Фёдоров. Боюсь, что вызовут недоумение и мои мысли о значении романа Дудинцева. У нас мало кто помнит, что само просветительство выросло из тенденций, рожденных христианством, но не находивших

себе выражения из-за сопротивления «средневекового миросозерцания», в котором вслед за Бердяевым многие теперь видят чуть ли не золотой век христианства, но которое в действительности было реакцией против революции, вошедшей в мир с евангелием. Именно упорное сопротивление этого средневекового миросозерцания каждому шагу науки и свободы привело к тому, что христианский по своему происхождению замысел демократии и «машинизма» начал осуществляться в борьбе против традиционной религии. В век просвещения научная революция и революция демократическая почти неразделимо срастаются с миросозерцанием все более наивно-оптимистическим, плоским и вульгарным, мешавшим понять евангельское вдохновение провозглашенного просветительством идеала свободы, равенства и братства. Это основанное на роковом недоразумении противопоставление двух различных, но дополняющих друг друга тенденций извратило все развитие европейской культуры и привело к современному ее кризису. В большевизме просветительство окончательно оторвалось от своих христианских корней, окончательно расчеловечилось. Дудинцев почувствовал это, почувствовал, что, пока еще не поздно, нужно вернуться к христианскому в сущности представлению о человеке как о личном, свободном и творческом существе. В этом главное значение, мне кажется, романа и, быть может, указание, в каком направлении пойдут идейные искания новой советской интеллигенции.

Со своей точки зрения большевики, конечно, правы, нападая на роман Дудинцева. Пусть в романе нет никаких отступлений от ортодоксии, пусть Лопаткин обличает Дроздовых во имя идеального коммунизма. Уиклиф тоже сперва обличал только порчу нравов духовенства, а Лютер продажу индульгенций. Так всегда начинается ересь.

В заключение несколько слов об эмиграции. В упомянутой уже рецензии в «Новом журнале» Р.Б. Гуль говорит: «На роман Дудинцева я хочу даже указать как на некое назидание эмигрантской прозе. Ведь как ни грустно, русская проза в эмиграции страдала и страдает от безтемья». Гуль не прав. При всей своей чахлости эмигрантская проза имела свою тему. Название книги Адамовича «Одиночество и свобода» — лучшее определение этой темы. Нет, я бы поставил роман Дудинцева в пример не эмигрантской прозе, а эмигрантской публицистике (тем более что и роман-то этот скорее публицистика в беллетристической форме, чем чисто художественное произведение).

Чем же занята эмигрантская публицистика в то время, когда советская интеллигенция начинает искать новую идею? Да почти исключительно гаданиями о значении злободневных политических событий, происходящих в Советском Союзе, гаданиями из-за отсутствия точной информации, почти всегда неверными. Читая роман Дудинцева, я все время спрашивал себя: если бы вдруг стал возможен тот диалог, о котором мечтал Адамович, что бы мы, эмигранты, сказали Дудинцеву? Я вспоминал лучших, по большей части уже умерших людей эмиграции, некоторые довоенные эмигрантские книги, некоторые статьи в «Новом Граде», в «Пути», в «Современных запи-

сках». Мы могли бы с гордостью их назвать. Но среди того, что пишется у нас теперь, трудно было бы указать Дудинцеву на что-нибудь, отвечающее его жажде абсолютной правды и его вере в возможность построить при помощи идеала и машин более человеческий и братский мир.

P.S. Эта статья о Дудинцеве была уже в наборе, когда я получил 49-ю книгу «Нового журнала». Ф.А. Степун (в очерке о Г.П. Федотове) вновь поднял новоградскую тему свободы и истины. Это опять возродило во мне надежду, что эмиграция, может быть, еще способна что-то сказать людям в России — в ответ на их искания, о которых в том же номере «Нового журнала» пишет М.М. Коряков в чрезвычайно интересной статье, посвященной «Литературной Москве».

## «ЗАВЕЩАНИЕ» БЕРДЯЕВА

Начиная с половины 30-х годов я ходил на все доклады Николая Александровича Бердяева, встречался с ним на собраниях «Нового Града» и «Круга» у Ильи Исидоровича Фондаминского-Бунакова, бывал позднее и на чаепитиях у Бердяева в Кламаре. Однако могу ли я сказать, что знал его лично? В отношениях с людьми он не придерживался никакой табели о рангах, всякий честный и серьезный вопрос внимательно выслушивал. Но я не был вопрошателем, никаких разговоров с ним не заводил. И все-таки, особенно по отношению к тем новым «русским мальчикам», которые с такой жадностью читают теперь в Советском Союзе все, что могут достать, Бердяева, я чувствую себя обязанным выступить свидетелем.

Заявляю сразу: я часто с Бердяевым не соглашался, его критику «формальной» демократии считал неверной и опасной и не любил таких его прославленных в эмиграции книг, как «Философия неравенства» и «Новое средневековье». Но в его образе, каким он встает в моей памяти, было что-то человечески очень привлекательное, рыцарски-благородное и светлое. Обычно он говорил воинственно, порой резко и гневно, но в его словах никогда не было предательства человеческого братства, никогда не было иронии, лукавства, глумливости. Я всегда чувствовал, что он не такой, как большинство людей.

В своей книге «О рабстве и свободе человека», вышедшей в 1939 году и переизданной недавно ИМКА-Пресс, Бердяев говорит о двойной жизни человека: «Когда князь Андрей смотрит на звездное небо, это более подлинная жизнь, чем когда он разговаривает в петербургском салоне». Так вот, сам Бердяев производил впечатление человека, который всегда, даже и в салоне, погружен в раздумье над глубиной жизни. Это придавало его высказываниям возвышенную важность и простоту.

Представить его участником обычного салонного злословия, обычной механической болтовни — «ужасная погода», «Марья Ивановна вчера сказала...» — было невозможно.

И он всегда, даже Дзержинскому в «салоне» Чрезвычайки, говорил то, что думал, не спрашивая себя, как будут приняты его слова и какие будут иметь для него последствия. Вероятно, он был чужд интеллектуальным модам своего времени; но это всегда по искреннему влечению, а не из страха, или расчета, или малодушного желания угодить. Мужественное несогласие на конформизм — вот одна из самых его привлекательных черт.

Привлекала к Бердяеву и его необыкновенная интеллектуальная энергия. Его мысль не то что убеждала, а будила в сознании читателей и слушателей их собственные мысли, ставила каждого перед своей жизнью и своею совестью. Обычно это дано только большим писателям, поэтому, верно, правы те, кто почитает его замечательным писателем, хотя писал он кое-как, не заботясь о красоте слога, первыми попавшимися словами, лишь бы точно выразить свою мысль.

То было трудное время для демократического Запада: экономический кризис, безработица, рост фашизма. В русской эмиграции это были годы расцвета «пореволюционных течений», порожденных разочарованием в западных демократиях, бросивших на погибель верную союзникам Белую Россию. Бывшие белые воины, превратясь на чужбине в чернорабочих и шоферов такси, не нашли в этих странах и социальной правды. С чувством разочарования и обиды соединялась вера в мессианское призвание русского народа, «нового избранного народа Божия», прошедшего через апокалипсис революции и способного создать социальный строй на христианских основах. Созданию молодых пореволюционеров угрожало много опасностей: Сцилла и Харибда фашизма, национал-большевизма, шатовщина, евразийская идея отбора правящего слоя по признаку идеологии, слоя «жесткого, твердого, национально-эгоистического, с сильным вкусом к власти».

К несчастью, «Новое средневековье» Бердяева с рассуждениями об апокалиптической судьбе русского народа и о вампиризме демократии и парламентаризма очень способствовало развитию этих настроений. Но когда Бердяев почувствовал, что презрение к «патентованной» демократии и проповедь идеократии толкают многих пореволюционеров к черному или красному тоталитаризму, он решительно от евразийства отгородился. В журнале «Путь» (номер 8-й, август 1927-го) он писал: «Утопический этатизм евразийцев приводит их к той ложной и опасной идее, что идеократическое государство должно взять на себя организацию всей жизни, то есть организацию всей культуры, мышления, творчества, организацию и душ человеческих».

Предупреждал Бердяев и об опасности почвенного национализма, сомнительного учения о «симфонических» личностях и подмены христианства Евангелия евразийским бытовым исповедничеством. Особенно гневно он обличал антисемитизм, который, как застарелый сифилис, разъедал идеологию многих пореволюционных групп.

Как сделать, чтобы эти предупреждения Бердяева дошли до новых русских искателей альтернативы диктатуры аппарата номенклатурных работников?

Бердяев написал много замечательных книг о свободе и судьбе человека, о русской идее, о корнях коммунизма, о творчестве, о христианском персонализме. На наших глазах эти его книги становятся закваской начинающегося в России духовного возрождения. Бердяев говорит в них о всех «последних» вопросах и обо всех вопросах современности. Но адамантом, солнцем мира его идей было безоговорочное, как в Евангелии, императивное, не требующее никаких доказательств утверждение верховной ценности человеческой личности. Какими метафизическими выкладками Бердяев обосновывал это утверждение — второстепенно. Важно, что он пришел к нему опытом всей жизни, всем существом, всем сердцем. Все написанное им в 30-х годах вдохновлено убеждением, что человеческая личность не может быть средством ни для чего, даже для Бога. В номере седьмом журнала «Новый Град» он писал: «Борьба за духовные ценности есть борьба за верховную ценность человеческой личности, которая есть образ и подобие Божие на земле. Она не может быть превращена в средства и орудие для хозяйственного развития, для мощи государства, для национального величия, для социального коллектива и так далее... Живой человек стоит выше государства, общества, нации, хозяйства». В номере двенадцатом того же журнала: «...человек с его страданиями и радостями, со своей судьбой во времени и вечности выше общества и государства. Это есть революция в установке ценностей, но революция, которая требует изменения в отношении к средствам борьбы, которыми пользуются для осуществления целей, приближения средств к целям. И в этом все отличие христианской от нехристианской революции — христианская революция не допускает обращения с каким-либо человеком как с простым средством или с врагом, подлежащим истреблению, как с камнем, нужным для построения нового общества».

Еще одна выдержка. В предисловии к вышеупомянутой книге «О рабстве и свободе человека» Бердяев писал: «В результате долгого духовного и умственного пути я с особенной остротой осознал, что всякая человеческая личность, личность последнего из людей, несущая в себе образ высшего бытия, не может быть средством ни для чего». Вся первая глава этой книги о личности. Бердяев все снова и снова повторяет: «Человек, человеческая личность, есть верховная ценность».

Это убеждение определило и подход Бердяева к социальной революции. Христианское сознание, — говорил он, — может допустить какие угодно, самые радикальные цели социальной революции, но не может примириться с ненавистью, убийством, ложью, которыми полны революции. Это главное в духовном наследстве Бердяева, это его завещание. Когда после войны среди французской интеллигенции разгорелись споры о «прогрессивном насилии» и его друзья по журналу «Эспри» решили, что всякое пролетарское насилие всегда оправдано, ему было с ними больше не по дороге. Все, кто увлекается

теперь идеями Бердяева, должны об этом помнить: им не стать его попутчиками, если они безоговорочно не примут утверждения, что человека, даже последнего из людей, никогда нельзя приносить в жертву.

## О РАСИЗМЕ

При слове «расизм» возникают знакомые образы: человек с чаплинскими усиками и прядью волос на лбу, бараки, обнесенные проволочными заграждениями, зловещий дым над газовой камерой. Но ведь расы действительно существуют. Никто этого не отрицает. Только не в том расизм, не в признании существования рас, а в утверждении, что есть расы и народы хорошие и есть расы и народы плохие. Гитлер сделал отсюда последовательный вывод: хорошая, высшая германская раса имеет право покорять и уничтожать плохие, низшие расы. Но не Гитлер расизм выдумал. Расизм, только не такой откровенный, был и до Гитлера, широко распространен и теперь. Сущность его хорошо определил один из самых разумных людей нашего времени французский историк и социолог Раймон Арон. Он называет расистскую мысль последним аватаром, как он выражается, эссенциальной мысли. К эссенциальной мысли тяготеют, по его мнению, и все национальные стереотипы. Арон пишет: «Эссенциальная мысль определяется двумя моментами: она приписывает всем членам данной социальной, этнической или расовой группы черты, которые действительно более или менее часто встречаются у членов этой группы; эссенциальная мысль объясняет затем эти черты природой данной группы, а не ее социальным положением или условиями ее жизни. Когда группа считается хорошей, то характерными для нее признаются только ее положительные черты, когда же она считается плохой, то характерными для нее признаются только ее отрицательные черты».

Если принять такое определение расизма, то мы должны будем признаться, что мы все в той или иной степени в расизме повинны. В самом деле, кто из нас — часто даже не подозревая, что это «аватары» эссенциальной мысли (как господин Журден не подозревал, что говорит прозой), — не произносил таких огульных суждений: «французы такие-то, американцы такие-то, рабочие такие-то, буржуи такие-то...» Это уже плохо. Однако в обыденной речи без таких стереотипов трудно обойтись. К тому же, когда мы говорим «все» — это вовсе не значит, что мы действительно имеем в виду всех поголовно. Это для упрощения и выигрыша времени мы так говорим. И все-таки это плохо. И уж совсем плохо, когда такие обобщения двигаются не сгоряча в случайном разговоре, а с обдуманным намерением в статьях, книгах, памфлетах, подготовленных речах и докладах. Тогда это уж несомненно расизм.

Раймон Арон, как мы видели, подводит под расизм огульные отрицательные или положительные характеристики не только всех членов какой-либо расовой или этнической группы, но и всех членов какой-либо социальной группы. Во Франции вообще в последнее время все чаще говорят о массовом расизме. И это очень верно. Тем более что обособленные социальные группы обычно и генетически отличаются от других групп, сословий или классов в составе данного народа. Но тогда всякая проповедь классовой ненависти есть по существу проповедь расизма. Вот почему Жан-Поль Сартр, все крайне левые и все коммунисты должны быть признаны классовыми расистами. И так же октябрьская революция с ее лозунгами ликвидации враждебных классов должна быть признана не в меньшей степени расистской, чем революция национал-социалистическая. В этом глубокое отличие большевистского террора от якобинского. Санкюлоты не любили «бывших», но вовсе не задавались целью уничтожить все дворянство или какой-нибудь другой класс. За все время якобинского террора погибло 1158 аристократов, то есть только немногим более четверти процента общего числа французских дворян в то время (400 тысяч). Причем «патриоты» приговаривали аристократов к казни не за их социальное происхождение, а по индивидуальным обвинениям, обоснованным или не обоснованным, в государственной измене во время войны. Большевистский же террор вдохновлялся идеей ликвидации целых классов: дворянства, буржуазии, духовенства, «кулачества». В результате: уничтожение цвета населения России, миллионы расстрелянных или заморенных в лагерях только за их социальное происхождение. Вот почему часто проводимая параллель между якобинским и большевистским террором мне кажется неверной и по отношению к якобинцам крайне несправедливой.

Но вернемся к огульным отрицательным или положительным суждениям о том или другом народе. Охотники до таких суждений должны помнить, что определить характер целого народа — задача трудная и опасная. Свою знаменитую книгу «Русская идея» Николай Бердяев начинает словами: «Есть очень большая трудность в определении национального типа, народной индивидуальности». Да, великая трудность. В результате войн, нашествий, переселений, социальных и культурных революций, мирных и не мирных изменений условий жизни и действия закона естественного отбора психологический и генетический склад народов в ходе истории меняется. Меняется он и от провинции к провинции, от классового происхождения и от религиозной принадлежности, например, во многих европейских странах от принадлежности к католическому или протестантскому вероисповеданию.

Но повторяю, попытки определить индивидуальность какого-то-нибудь народа занятие не только трудное, это занятие и в высшей степени опасное. Почему опасное? Постараюсь объяснить. Бердяев прав, когда говорит, что «народная индивидуальность узнается лишь любовью». Ну, а что, когда попытки определить индивидуальность чужого или своего народа предпринимаются без любви? А ведь так сплошь и рядом бывает. Но даже когда с любовью? Как часто это приводит к национальной гордыне, к шовинизму, к

вражде и презрению к другим народам. Скажут: да, ругать другие народы это плохо, это расизм, а вот свой народ ругать можно, это даже свидетельствует о какой-то особой страстной к нему любви. Тут обычно ссылаются все на того же Бердяева, на его слова о Печорине: только русский, который страстно любил Россию, мог написать: «Как сладостно отчизну ненавидеть! И жадно ждать ее уничтоженья». Впрочем, еще до Бердяева Белинский писал, что ненависть к своей стране иногда бывает только особенною формой любви. Эта оговорка Белинского «*иногда* бывает» очень важна. Но даже когда это действительно особая форма любви? К чему ведет такая страстная любовь-ненависть? В частной жизни обычно к убийству, в жизни народов — к массовым убийствам. Не будем забывать, Розенберг свою погромную характеристику русского народа обосновал главным образом на цитатах из русских авторов. Нет, ругать свой народ — это такой же расизм, как ругать другие народы. Вообще все эти разговоры, что такой-то народ хороший, а такой-то плохой и сделал много зла и должен за это платить, никогда ни к чему хорошему не приводят. История всех народов ознаменована чудовищными преступлениями, выделять один какой-нибудь как особенно злодейский, мне кажется, не стоит. К тому же идея коллективной ответственности — идея безнравственная и неприемлемая для современного правосознания. И все-таки до войны разговоры о ненависти к отчизне, как особой форме страстной любви, еще могли восприниматься как что-то безобидное. Но после того, как война показала, к чему подобные разговоры могут привести, у того, кто был свидетелем войны, они вызывают чувство неловкости и смущения. Он знает, что, как всякий расизм, это в конечном счете всегда приглашение к массовым убийствам.

Мне возразят: что же, значит, нельзя трезво размышлять о путях русского народа, нельзя стараться понять, какие особенности его истории и его характера сделали возможным все то страшное, что с ним произошло. Нет, об этом размышлять можно и даже нужно, но только с чувством величайшей ответственности, не предъявляя огульных обвинений ни русскому, ни другим народам, не узурпируя пророческого вдохновения и помня, что за каждое твое неосторожное слово рано или поздно каких-то людей будут убивать.

## «У НАС КОММУНИЗМ БУДЕТ ДРУГОЙ»

На Западе распространен такой взгляд: «У нас, с нашими вековыми демократическими традициями, коммунизм будет другой, чем в Советском Союзе». Как тут сомневаться, когда даже такая сталинская компартия, как французская, обещает, если придет к власти, не только сохранить эти демократические традиции, но еще углубить их и расширить, дополнить правами социально-экономическими!

Уверенность эта основана главным образом на представлении, что сталинская модель социализма явление чисто русское, порожденное исконной тоталитарностью русского государства. Прославленный историк Арнольд Тойнби учит: «Московское государство — это русская версия тоталитарного Византийского государства. Политическому зданию России был дважды придан новый фасад: в первый раз Петром Великим, во второй Лениным. Но сущность структуры осталась неизменной. Так же, как великое княжество Московское в XIV веке, Советский Союз сегодня воспроизводит основные черты средневековой Восточной Римской империи».

С разными ударениями этот взгляд высказывают многие историки, идеологи, обыватели. Наиболее распространенные вариации: «Советский империализм — все тот же извечный великорусский империализм, только под другой вывеской; советская бюрократия — все та же царская, только с другой идеологией, но корни советского тоталитаризма не в этой марксистской идеологии, а в истории России, в ее традициях: империалистической, мессианской, бюрократической; русские спокон веку привыкли к деспотической власти, к жестокому полицейскому произволу, к жестоким казням. Все это кажется им неизбежным и естественным. Западная идея свободы им непонятна, они никогда свободы не знали и в ней не нуждаются; русские — прирожденные рабы...»

Как тут не вспомнить Вольтера: «История — труп, которому каждый придает положение, какое хочет». Любителям этим заниматься — совет пожилого человека, видевшего на своем веку две чудовищных войны и две чудовищных революции: старайтесь творить добрые мифы, а не мифы, которые увеличивают в мире ненависть. Это относится прежде всего к авторам теории, что сталинский коммунизм порождение не марксистской эсхатологии, а рабской Психеи русского народа. Роман Гуль в своей книге «Одвуконь» пишет: «...нет лучшего подарка большевистской диктатуре, чем русофобская пропаганда о том, что русскому народу “никакая свобода не нужна”, что русский народ “обожает душителей”, что русский народ — “стадо предателей, палачей и свободоненавистников”. На Западе есть любители такой теории, недалеко ушедшей от розенберговской».

Гуль прав — это расизм. Не нужно быть историком, чтобы знать, к чему расизм ведет. «Это было при нас...»

Расистское толкование русской истории не только безнравственно, оно мешает Западу понять опасность экспансии коммунизма. Приведу на этот счет несколько элементарных соображений, нисколько не претендующих на оригинальность.

Взять хотя бы утверждение, что советская бюрократия по сути все та же царская бюрократия, новый ее аватар. Можно ли с этим согласиться? Известные общие черты свойственны всякой бюрократии. Прежде всего забота о самосохранении. В сознании высших своих сановников бюрократия становится самоцелью. Отсюда консерватизм всякой укрепившейся бюрократии. Как Иисус, сын Навинов, остановил солнце среди неба, она хочет задержать

ход времени, сохранить в меняющихся условиях свою власть, свои привычные методы, свои кадры, свою устарелую идеологию. Бюрократии необходим поэтому охранный полицейский аппарат. Тут царская бюрократия действительно походила на советскую, как, впрочем, бюрократия всякого централизованного государства, даже демократического. Послушать критиков Пятой республики, во Франции все еще Старый режим. Бюрократии всего мира более или менее похожи друг на друга. Но дает ли это основание считать советскую бюрократию перевоплощением царской? Нисколько — различие между ними несоизмеримо глубже сходства, это политические явления разного рода. Прежде всего, царская бюрократия не обладала, как советская, всей полнотой политической и экономической власти. Перед революцией ее произвол был в значительной мере ограничен законами, судом присяжных, либеральной печатью, запросами в Думе, рабочим движением, существованием разных партий. Не было у нее и монополии экономической власти. Эту власть делили с нею капиталисты, землевладельцы, купцы, банкиры, кооперативы, рабочие артели, «кулаки». Власть экономическая и власть политическая не сливались, не были объединены в одном центре, это оставляло отдушины для роста зачатков свободы и демократии. В Советском же Союзе никаких отдушин — вся политическая и вся экономическая власть в одних руках. Национализация всех средств производства и всех богатств сделала партию фактическим хозяином всего народного достояния. Правда, формально весь доход поступает не ей, а социалист<ическому> государству, но социалистическое государство и есть партия, партийная бюрократия, новый правящий класс, аппарат номенклатурных работников. Это они распределяют между собой прибавочную стоимость, правда, не в виде дохода с капитала, а в виде окладов, закрытых конвертов, казенных квартир, дач, персональных машин, права покупать в особых распределителях и всяких других привилегий. Французский социолог Марк Пайе сравнивает поэтому Советский Союз с огромным акционерным обществом, акции которого распределены между аппаратчиками. К такому же выводу пришли и авторы самиздатской брошюры «Время не ждет» Зорин и Алексеев: «Государственная собственность на средства производства и централизованное планирование означают, что всеми прибавочными продуктами, создаваемыми трудом народа, коллективно распоряжается замкнутый круг лиц. Здесь номенклатура выступает как форма собственности. По существу это единственный государственно-монополистический трест, в котором положение и пост равносильны пакету акций».

Царская бюрократия таким трестом не была и не могла быть, частная собственность на средства производства, как известно, в царской России упразднена не была. Явления, сравнимого с советской бюрократией, в истории России не найти. Разве только в Древнем Египте жрецы обладали такой властью. Кстати, советская бюрократия это тоже жреческий класс, класс хранителей догматов священного марксистского писания.

Второе немаловажное отличие: при всех своих недостатках царская бюрократия не задавалась все же целью истребить какие-либо социальные

группы. Советская же бюрократия была создана в годы гражданской войны прежде всего именно для ликвидации враждебных классов. Так были уничтожены миллионы человеческих жизней: дворянство, духовенство, «кулаки» и «подкулачники», буржуазия, либеральная и даже революционная интеллигенция. Не русскими историческими традициями вдохновлялся большевистский террор, а марксовым апокалипсисом: царство свободы наступит только после того, как пролетариат, новый «избранный народ Божий», в последнем и решительном бою уничтожит во всем мире нечестивых слуг капитализма.

Третье отличие: царская бюрократия не собиралась, как большевистская, переделывать мир и человека. А ведь именно из этой марксовой веры, что человека с сегодня на завтра можно переделать, стоит только национализировать средства производства, выросли советские «трудоисправительные колонии», которые еще не так давно, даже прозревшему теперь Пьеру Дэксу, казались высшим достижением социализма. Возникновение этих колоний было предрешено: производственные отношения изменились, а люди не менялись, упрямо не хотели меняться. Человеческая природа не соответствовала представлению теоретиков. Тем хуже для природы: будем «перековывать». Для догматиков «двуногих тварей миллионы» — только сырой пластический материал, из которого, не считаясь с издержками, нужно вылепить нового «тотального» человека. Один из героев романа Владимира Максимова «Семь дней творения» замечает: «Говорится в Писании: Господь создал человека в один день. — Только ведь это был не один земной день, а одна земная вечность. А мы с вами возомнили за двадцать быстротекущих лет содеять то же самое. Рано, раненько мы возгордились, не по плечу задачку взяли. Вот и пожинаем плоды».

Царской бюрократии подобная «культурная революция» и во сне не снилась.

Возьмем теперь утверждение, что советский империализм — это по сути все тот же извечный русский империализм, только замаскированный марксистской идеологией. Сам Маркс говорил о неизменности внешней русской политики, с Ивана Калиты. В результате этой политики, — уверял Маркс, — Россия, благодаря «энергии и активности ее варварской нации», успела к середине XIX века продвинуться по пути к мировой империи. Наследники этого марксова начертания русской истории не замечают, что империализм царской России был, так сказать, нормальный, классический империализм, не более империалистический, чем империализм других великих держав. Дальше «Константинополь рано ли, поздно ли, а должен быть наш» этот русский империализм не шел. Куда там до так называемой доктрины Брежнева: страны социалистического содружества, читай Советский Союз, имеют право оккупировать любую «социалистическую» страну, то есть страну, где компартия у власти, если только им покажется, что эта страна подвергается опасности антисоциалистического перерождения, то есть отхода от сталинской модели. В оправдание оккупации Чехословакии «Правда» писала:

«Коммунисты братских стран естественно не могли допустить, чтобы во имя абстрактно понимаемого суверенитета социалистические государства оставались в бездействии...» По сравнению с этой доктриной империализм царской России был империализмом почти уездным.

Токвиль в своей знаменитой книге «Старый режим и французская революция» писал: «Все социальные и политические революции, бывшие до тех пор, не выходили за пределы стран, где совершались, французская же революция стремилась стать всемирной и стереть национальные границы с карты земного шара. Она объединяла или разделяла людей во всем мире, независимо от их национальных традиций, темперамента, законов, языка».

Токвиль считал поэтому, что французская революция носила такой же универсальный характер, как христианство. Она стала, по мнению Токвиля, своего рода религией, правда, религией несовершенной, без Бога, без ритуалов и без обещания жизни вечной. Подобно исламу, она распространялась через своих апостолов, последователей и мучеников во всем мире. «Она хотела определить права и обязанности не только французов, но всех людей на земле, хотела изменить не только общественный строй Франции, но возродить весь человеческий род».

Все, что Токвиль говорит о французской революции как своего рода религии, с еще бóльшим основанием можно повторить о революции большевистской. Ведь французская революция все-таки не была совсем уж безбожной, совсем без ритуалов и обещания вечной жизни. Изданный в мае 1794 года декрет устанавливал государственный культ Всевышнего Существа: «Французский народ признает бытие Всевышнего Существа и бессмертие души». Большевистская власть такого декрета не издавала. Пантеистическая марксистская метафизика упразднила Бога совсем, правда, обожествила зато материю, приписав ей атрибуты абсолютного бытия. Материя для правоверного марксиста — единственная, несотворимая и неуничтожимая, вечная и бесконечная субстанция мира, которая от века порождает из самой себя жизнь и сознание без помощи какой-либо посторонней, надмирной силы. Но без своего рода культовых ритуалов большевистская революция не обошлась, и даже личное бессмертие марксизм в конце концов может допустить. Марксистское обетование победы освобожденного человека над миром не значит ли в пределе, что и смерть будет побеждена? Но это разговор особый. Во всяком случае истоки советского империализма нужно искать не в русской истории, а в марксистском эсхатологическом мифе мировой революции.

Скажут: революционный энтузиазм в Советском Союзе давно угас. В марксизм больше не верят даже члены ЦК. Первоначальная вера сменилась цинизмом. Все так, но это не меняет дела. Вспомним: религия французской революции достигла наибольшего распространения не при якобинской диктатуре, а при Наполеоне, а он вряд ли верил в идеалы свободы, равенства и братства, даже когда числился якобинцем. И французские солдаты, которые на картине Гойи «Третьего мая» расстреливают испанских повстанцев, вероятно тоже в эти идеалы больше уже не верили. Но их привело в Испанию

движение народов, вызванное землетрясением французской революции. Не исчерпана еще и энергия экспансии коммунистической революции. В так называемых социалистических странах марксова вера умерла, но за их пределами она живет еще в миллионах человеческих сердец. Выводы, к которым Маркс пришел на основании изучения английского капитализма XIX века, не приложимы к условиям, созданным современной научно-технической революцией, марксистская антропология убога и трагически ошибочна, марксистская практика чудовищна, и все-таки марксизм сегодня единственное политическое учение, хотя и обманно, отвечающее изначально заложенному в иудео-христианской цивилизации ожиданию прихода всечеловеческого царства свободы и справедливости. Марксизм — это псевдонаучная, материалистическая, безбожная метаморфоза Тысячелетнего царства.

Есть еще косвенное опровержение взгляда: «У нас будет по-другому». Сегодня страны, где коммунисты у власти, уже не пересчитать по пальцам. Эти страны находились на разных ступенях экономического и политического развития. История их другая, чем история России. Их население другой крови. И культурные и национальные традиции у них другие. И что же, во всех этих странах с победой коммунистов установилась все та же сталинская модель. Вы скажете: это насильственный советский экспорт. Но в Югославии, в Китае, на Кубе, в Северном Вьетнаме и в некоторых других странах коммунистическая революция не была навязана Советским Союзом, а делалась своими силами и носила глубоко национальный характер. Тем не менее во всех этих странах, даже в тех, где не любят Кремль, национализация всех средств производства и ликвидация враждебных классов привели к построению «социализма» в основном такого же, как в Советском Союзе: централизованное планирование, этатизация всей промышленности, всей торговли и всех видов социального обслуживания, идеологическая монополия марксизма-ленинизма, диктатура компартии. Она единственная партия, а там, где сохранились остатки других партий, она партия-гегемон. Так же, как в Советском Союзе, она правит от имени пролетариата и ей всё подвластно: все государственные и административные органы, все массовые организации, вооруженные силы, полиция. Она монолитна и дисциплинирована. Ее возглавляет или местный сталин, или коллективное руководство, олигархия, пополняемая путем кооптации. Сталин, а там, где сталина нет, политбюро, принимает от имени партии все решения, и эти решения беспрекословно выполняются. Сталин всегда прав: опираясь на мощный полицейский аппарат, он может уничтожить всех несогласных.

Если всюду, даже там, где были демократические традиции, с приходом к власти коммунистов устанавливается сталинская модель, то, казалось бы, тот, кто говорит: «У нас будет по-другому», должен задать себе вопрос: а что если эта модель вовсе не искажение, а неизбежная первоначальная стадия построения марксистско-ленинского социализма? И может быть, даже окончательная стадия, ведь обещанная следующая — отмирание государства, каждому по потребностям — так до сих пор и не наступила.

Наряду с убеждением «У нас будет по-другому», на Западе и, что любопытно, в тех же левых кругах и так же широко распространен взгляд прямо противоположный, но столь же ошибочный: «У нас то же самое, у нас так же плохо». Солженицын прав, говоря, что эти люди поймут разницу, только когда их самих повезут на Архипелаг ГУЛАГ.

## УРОКИ НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА

В бунинских дневниках, напечатанных в 116-й книге «Нового журнала», есть запись о смертном приговоре, вынесенном в Нюрнберге международным военным трибуналом десятерым ближайшим сподвижникам Гитлера:

«14 октября 46 г. <...> Все думаю, какой чудовищный день послезавтра в Нюрнберге. Чудовищно преступны, достойны виселицы — и все-таки душа не принимает того, что послезавтра будет сделано людьми. И совершенно невозможно представить себе, как могут все те, которые послезавтра будут удавлены, как собаки, ждать этого часа, пить, есть, ходить в нужник, спать эти две их последние ночи на земле...»

Очень верное, по-моему, описание того, что должен чувствовать всякий нормальный человек, думая о Нюрнбергском процессе. В зале суда показывали документальные фильмы, снятые союзниками в гитлеровских концлагерях: груды беспорядочно сваленных в ямы костлявых, раздетых донага трупов. За несколько лет — 12 миллионов погибших. Невместимый сознанием ужас: это сделали с ними другие люди, как они могли, вот это «совершенно невозможно себе представить», это нельзя простить, этого не должно быть, и все-таки было. Те, кто это сделали, «чудовищно преступны, достойны виселицы». Но когда они, их только что показывали живыми на скамьях подсудимых, один за другим с петлей на шее провалились в люк в полу, было страшно смотреть. Бунин прав: «душа не принимает». Говорят, даже растения сжимаются, когда поблизости убивают живые существа.

Главный обвинитель от Советского Союза Руденко произнес гневную речь: «Впервые в истории человечества правосудие сталкивается с преступлениями такого масштаба, вызвавшими такие тяжелые последствия... Впервые перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством и самое государство сделавшие орудием своих чудовищных преступлений... Я от имени Советского Союза и мои уважаемые коллеги — главные обвинители от США, Англии и Франции — обвиняем подсудимых в том, что они по преступному заговору правили всей гражданской и военной машиной, превратив государственный аппарат Германии в аппарат по подготовке и проведению преступной агрессии, в аппарат по истреблению миллионов невинных людей».

Руденко воспользовался тем, что союзники не знали или были вынуждены обстоятельствами не вспоминать о том, что такие же чудовищные преступления и еще в большем масштабе совершали большевики в России и что это у большевиков нацисты научились, как превратить государственный аппарат в аппарат по подготовке и проведению преступной агрессии по истреблению миллионов невинных людей.

Достаточно сличить документы. В нюрнбергском обвинительном заключении говорилось: «Для того чтобы обеспечить свою власть от всяких покушений... нацистские заговорщики создали и расширили систему террора против своих противников и предполагаемых или подозреваемых противников нацистского режима. Они сажали в тюрьмы этих людей без суда, держали их в так называемом “предварительном заключении” и в концентрационных лагерях и подвергали их преследованиям, унижениям, ограблению, рабству и смерти».

А вот выдержка из доклада Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС: «Массовые аресты и высылки многих тысяч людей, казни без суда и нормального следствия... признания арестованных добывались жестокими и бесчеловечными пытками... Массовый террор против партийных советских кадров и против простых советских граждан... Массовые выселения с родных мест целых народов».

Те же преступления и вся карательная система та же. Сравнить хотя бы описание гитлеровских концлагерей в «Концентрационном мире» Давида Руссе и большевистских в «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицына: те же проклятые методы, те же порядки, такая же страшная «эффективность деятельности». Только гитлеровских лагерей, слава Богу, больше нет. Кровавый третий Рейх миновался, в Западной Германии теперь либеральная демократия, правовой строй. Ну, а в России? «Архипелаг» не исчез и после реабилитаций середины 50-х годов. Теперь его деятельность, может быть, менее «эффективна», но он не пустует. Вот одно из многих свидетельств: обращение в 1974 году политзаключенных Леонида Бородина, Юрия Галанскова, Александра Гинсбурга, Юрия Иванова, Виктора Кальниша, Вячеслава Платонова и Михаила Садо к семерым деятелям советской культуры. В этом обращении говорится: «Позорная система лагерей принудительного труда (сохранившаяся только в России и Китае) по-прежнему осталась краеугольным камнем пенитенциарной практики. Россия по-прежнему опутана сетью лагерей, в которых, вопреки всем международным конвенциям, где есть подпись и советского правительства, применяется принудительный труд, жестокая эксплуатация, где люди систематически недоедают, подвергаются издевательствам, где унижается их человеческое достоинство. Через эти лагеря пропускается непрерывный, миллионами исчисляемый людской поток, возвращающий обществу физически и нравственно искалеченных людей». Авторы письма отмечают, что эта карательная политика разрабатывается особыми экспертами «с цинизмом, достойным экспертов по лагерям Третьего рейха».

С тоской спрашиваешь себя: как могло все это произойти в двух великих странах христианской культуры? Ведь каждая из них столько дала челове-

честву! И как жить после этого, ходить в гости и на собрания, «упиваться гармонией»? И что же нужно сделать с человеком и с обществом, чтобы это больше не повторилось, не могло повториться, ведь иначе история теряет человеческое значение, и люди станут еще меньше людьми, чем в прошлые тысячелетия?

Это главные вопросы нашего времени. Материалы Нюрнбергского процесса частично на эти вопросы отвечают. Руденко заявил в Нюрнберге: «Впервые перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством, и самое государство сделавшие орудием своих чудовищных преступлений. Впервые, наконец, в лице подсудимых мы судим не только их самих, но и преступные учреждения и организации, ими созданные». И действительно, международный военный трибунал в Нюрнберге не только признал ответственность членов руководящего ядра национал-социалистической партии за все преступления гитлеровского режима, но и самый этот режим признал преступным. В разделе первом обвинительного заключения, составленного комитетом главных обвинителей от СССР, Франции, Великобритании и США, говорилось: «Для того чтобы достигнуть своих целей и задач, нацистские заговорщики подготовили захват тотального контроля над Германией...» Прочтем все статьи этого первого раздела: если заменить слова «нацистские заговорщики» словами «большевистские заговорщики» и перенести место действия в Россию, мы получим точное описание большевистской революции. Чтобы, упаси Боже, меня не обвинили в упрощенном архаическом антикоммунизме, я буду ссылаться исключительно на свидетельства представителей «революционной демократии» — меньшевиков, эсеров, анархистов, старых большевиков — а не каких-нибудь там «контрреволюционеров».

«Нацистские заговорщики низвели Рейхстаг на положение органа, состоящего из их ставленников». А большевистские заговорщики что сделали?

Эсер Марк Вишняк рассказал в своей книге «Дань прошлому» о разгоне Учредительного собрания. Сначала Бухарин укорял эсеровское большинство за желание защищать «паршивенькую буржуазно-парламентарную республику», а потом поднялся на трибуну матрос Железняков.

Проект декрета о роспуске составил сам Ленин. Главную провинность свободно и всенародно избранного Учредительного собрания он определил так: «Оно дало большинство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Чернова». Ленин далее писал, что революция передала всю власть в руки Советов, и поэтому «всякий отказ от полноты власти Советов был бы шагом назад». Дескать, вот почему пришлось разогнать. На деле вся полнота власти очень скоро из рук Советов перешла в руки ленинского ЦК. В 1920 году знаменитый анархист Петр Кропоткин заявил: «Россия уже стала советской республикой лишь по имени. Наплыв и верховенство людей "партии" уже уничтожили влияние и силу этого много обещавшего учреждения — Советов... Теперь правят в России не Советы, а партийные комитеты... И если теперешнее положение продлится, то самое слово "социализм"

обратится в проклятие». Предсказание Кропоткина сбылось. Для миллионов советских граждан слово «социализм» стало проклятием.

Возьмем другую статью Нюрнбергского обвинительного заключения: «После поджога Рейхстага 28 февраля 1933 года те пункты Веймарской конституции, которые гарантировали свободы личности, слова, печати, собраний и союзов, были отменены». Так же орудовали и большевики. Захватив власть, они немедленно ввели предварительную цензуру. Против этого протестовали многие известные писатели, даже Максим Горький. В газете «Новая жизнь» он писал: «Горло печати зажато "новой" властью, которая так позорно пользуется старыми приемами удушения свободы слова...»

Протестовали не только писатели. В ноябре 1917 года Союз рабочих печатного дела обратился к стране с воззванием: «Рабочие и солдаты! Революция лишена всех завоеванных ею свобод... Печать загнана в подполье. Свобода печати стала привилегией одной только партии — большевистской. У революции отнято слово. Россия вновь молчит... Свобода печати была завоевана всем народом и для всего народа. И печатники, требуя от всех пролетариев и граждан поддержки в борьбе за свободу печати, защищают не свой узкопрофессиональный интерес, а право всей демократии».

К концу 1919 года были закрыты последние независимые газеты.

Следующая статья Нюрнбергского обвинения: «Нацистские заговорщики уничтожили свободные профессиональные союзы в Германии путем конфискации их средств и собственности, преследуя их руководителей, запретив их деятельность и заменив их примыкающей к нацистской партии организацией... таким образом, любое потенциальное сопротивление рабочих оказывалось тщетным, и производительность труда германской нации была фактически поставлена под контроль заговорщиков...»

Такую же политику «сращивания» профсоюзов с бюрократическими органами партдиктатуры проводили и большевики. В 1920 году на VIII Всероссийском съезде Советов меньшевистская делегация внесла резолюцию с резкой критикой антирабочей политики партии: «Рабочие организации — и политические, и хозяйственные, и культурные сверху донизу низводились систематически до роли безвольных и бездушных исполнителей предначертаний советской бюрократии. При малейшей попытке выявить свою действительную волю они распускались, выборные правления арестовывались и заменялись назначенцами, а рабочие массы совершенно отстранялись от всякого влияния на ход дел в организациях, которые на бумаге числятся пролетарскими».

В 1922 году накануне XI партсъезда двадцать два члена РКП(б), во главе с Шляпниковым, Медведевым и Коллонтай, жаловались первому расширенному пленуму исполкома Коммунистического интернационала: «Наши руководящие центры ведут непримиримую, разлагающую борьбу против всех, особенно пролетариев, позволяющих себе иметь свое суждение, и за это высказывание его в партийной среде применяют всяческие репрессивные меры... В области профессионального движения та же картина подавле-

ния рабочей самодеятельности, инициативы, борьбы с инакомыслием всеми средствами. Объединенные силы партийной и профессиональной бюрократии, пользуясь своим положением и властью, игнорируют решения наших съездов о проведении в жизнь начал рабочей демократии. Наши фракции союзов, даже фракции целых съездов, лишаются права выявлять свою волю в деле избрания своих центров. Опека и давление бюрократии доходят до того, что членам партии предписывается под угрозой исключения и других репрессивных мер избирать не тех, кого хотят сами коммунисты, а кого хотят интригующие верхушки...»

На самом съезде представитель рабочей оппозиции Рязанов жаловался: «Хозяйственники ставятся партией, профработники ставятся партией... Мы в этой кампании за увеличение производительности труда перегнули палку в сторону траты человеческой рабочей силы».

Уже в 1918 году запылали первые рабочие и крестьянские восстания. (Смотри брошюру Юрия Сречинского «Как мы покорялись».) В начале 1921 года в «Известиях Временного революционного комитета красноармейцев, матросов и рабочих города Кронштадта» говорилось: «Совершая октябрьскую революцию, рабочий класс надеялся достичь своего раскрепощения. В результате же создалось еще большее порабощение личности человека... Рабочих прикрепили к станкам, сделав труд не радостью, а новым рабством. На протесты крестьян, выражавшиеся в стихийных восстаниях, и рабочих, вынужденных самой обстановкой жизни к забастовкам, коммунисты отвечают массовыми расстрелами».

Продолжаем чтение Нюрнбергского обвинительного заключения: «Нацистские заговорщики путем доктрин и практики, несовместимых с христианским учением, пытались ликвидировать влияние церкви на народ и, в особенности, на молодежь Германии». И это говорится в судебном обвинении, подписанном Руденко (!), представителем власти, которая открыто ставила себе целью уничтожение религии!

Игорь Шафаревич в заявлении, сделанном в Москве при появлении сборника «Из-под глыб», напомнил: «Рим знал отдельные гонения на христиан: Нерона, Деция, Диоклетиана. Но в нашей стране вот уже почти 60 лет происходит одно непрекращающееся гонение на религию». И действительно, римские гонения на христиан по числу жертв не сравнить с большевистскими. Самое кровавое началось при Диоклетиане в 303 году. Списки мучеников сохранились. По самым верным источникам погибло тогда по всей Империи от трех до трех с половиной тысяч христиан. А большевики замучили и убили *миллионы* верующих. Мне скажут, все это в прошлом, теперь в Советском Союзе свобода религии, есть «действующие» церкви, патриарх даже есть. Патриарх и в самом деле есть, но концлагеря по-прежнему полны религиозниками. Один из бесчисленных примеров: 8 февраля 1974 года в городе Талды-Кургане в областном суде судили группу христиан-баптистов. Им вменялось страшное злодеяние: «систематическое проведение занятий по обучению несовершеннолетних религии». Суд увидел тут нарушение за-

кона об отделении церкви от государства и приговорил баптистов по статье 130 Уголовного кодекса Казахской ССР: четырех к пяти годам заключения в исправительно-трудовых колониях, одного к трем годам, одного к трем годам условно.

Нюрнбергское обвинительное заключение: «Нацистские заговорщики резко ограничили независимость суда и сделали суд послушным орудием нацистских целей».

Андрей Вышинский «Курс уголовного процесса»: «Генеральная линия партии лежит в основе всего государственного аппарата... Она является основой и советского суда». Разве не то же самое? Только Вышинский шел дальше нацистов. Он учил, что революционные трибуналы — орудие классовой борьбы, орудие расправы с классовыми врагами. И действительно, эти трибуналы были только подсобными органами чрезвычайки. «Ч.К., — учил Лацис, — это не следственная комиссия, не суд и не трибунал. Это боевой орган, действующий по внутреннему фронту. Он не судит врага, а разит. Не милует, а испепеляет всякого... Не ищет на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал словом и делом против Советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит, какого образования, воспитания, происхождения или профессии. Эти вопросы должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора». Цитирую по недавно переизданной книге Романа Гуля «Дзержинский». Изданная впервые почти сорок лет тому назад, эта книга читается теперь как вступление к великому исследованию Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

Опять мне скажут: с тех пор в Советском Союзе все изменилось, враждебных классов больше нет, и суды теперь совсем другие: народные судьи избираются гражданами на основе всеобщего и прямого избирательного права, а Верховный суд назначается Верховным Советом СССР, то есть формально народными представителями. Все это верно, но по Конституции коммунистическая партия представляет руководящее ядро всех общественных организаций, которые имеют право выставлять кандидатов. Это значит, что фактически судьи назначаются партией и партии подчинены. Партдиктатура не знает основного начала демократии — разделения властей, она полностью суд контролирует.

Здесь мы подходим к основной статье Нюрнбергского обвинительного заключения: «Нацистские заговорщики запретили все политические партии за исключением нацистской партии. Они сделали нацистскую партию правящей организацией с обширными и чрезвычайными полномочиями... Нацистские заговорщики низвели Рейхстаг на положение органа, состоящего из их ставленников... Создали сеть новых государственных и партийных организаций и “координировали” государственные учреждения с нацистской партией и ее отделами...»

Ну, а большевистские заговорщики? Уже в 1918 году они запретили все некоммунистические партии, даже самые левые. По легендарному вы-

ражению Бухарина: «У нас может быть много партий: одна легальная, а все остальные в тюрьме». О том, к чему приведет диктатура одной партии, предупреждали некоторые старые большевики. Так, 17 ноября 1917 года, когда большевики еще делили власть с левыми эсерами, на заседании ВЦИКа Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов нарком Ногин от своего имени и от имени трех других наркомов — Рыкова, Милютина и Теодоровича заявил: «Мы стоим на точке зрения образования социалистического правительства из всех социалистических партий... Мы полагаем, что вне этого есть только один путь: сохранение чисто большевистского правительства средствами политического террора. На этот путь вступил Совет народных комиссаров...»

Предсказание Ногина, что диктатура одной партии может держаться только террором, сбылось в страшном опыте и большевистской, и нацистской революций. Замена либеральной плюралистической демократии диктатурой одной партии привела и в России, и в Германии к массовому террору. Так было и в опыте французской революции. Установление якобинской диктатуры привело к «Большому террору». Впрочем, мне приходилось уже об этом писать, по сравнению с большевистским или нацистским якобинский террор, как бы ужасен он ни был, не назовешь «большим»: сорок тысяч гильотинированных и убитых по тюрьмам, а не миллионы.

Но вернемся к большевистской революции. Несмотря на предупреждение четырех наркомов и многих старых большевиков, Ленин пошел по пути, который привел к сталинщине: диктатура компартии, упразднение всех свобод, беспощадный террор. Эсеровская газета «Дело народа», одна из последних еще выходивших тогда независимых газет, писала: «Подавив свободную печать, уничтожив неприкосновенность личности, покончив со всеми демократическими свободами и заменив их скорострельными судами, исключив из Советов все неугодные ему социалистические партии, сея всюду смерть и разрушение, ЦК большевиков бесконтрольно и самовластно, безотчетно управляет Россией...»

Против самодержавного правления ленинского ЦК протестовали и многие коммунисты. На VIII партсъезде в марте 1919 года они жаловались на постоянные нарушения внутрипартийной демократии. Старый большевик Валериан Осинский на первом заседании организационной секции заявил: «Деятельность партии была перенесена в Центральный комитет. В ЦК установилась политическая линия. Что делалось в самом ЦК, об этом местные организации не осведомлялись. Да и сам ЦК как коллегиальный орган, в сущности говоря, не существовал... Каким же образом за это время определялась партийная политика? Преимущественно так, что товарищи Ленин и Свердлов решали очередные вопросы путем разговоров друг с другом и теми отдельными товарищами, которые опять-таки стояли во главе какой-нибудь отрасли советской работы...»

На следующем, IX съезде в марте 1920 года другой член группы «демократического централизма» старый большевик Тимофей Сапронов, про-

тестуя против «вертикального централизма», заявил: «...сколько бы ни говорили об избирательном праве, о диктатуре пролетариата, о стремлении ЦК к диктатуре партии, на самом деле это приводит к диктатуре партийного чиновничества. Это факт. И как бы вы, товарищ Ленин, ни были грамотны, и как бы мы невежественны и безграмотны ни были, никакие заявления, что этого нет, не помогут, никакими словами замазать этого нельзя. Стремление к единоначалию видно не только в управлении фабриками и заводами, оно уже заметно в стремлении заменить советы, исполкомы, президиумы губернаторами, и после этого всуе говорить о самодеятельности рабочих, об избирательных правах и так далее... Никакой самодеятельности нет! Вы и членов партии превращаете в послушный граммофон, у которых имеются заведующие, которые приказывают: иди и агитируй, а выбирать комитет, свой орган не имеют права. Я тогда задам вопрос товарищу Ленину. А кто же будет назначать ЦК? А впрочем, и здесь единоначалие. Тоже здесь единоначальника назначили. Очевидно, мы до этого не дойдем, а если дойдем, то революция будет проиграна... Но все-таки позвольте нам, невеждам, задать вам вопрос. Если вы идете по этой системе, думаете ли вы, что в этом спасение революции? Думаете ли вы, что в машинном послушании спасение революции?»

Некоторые старые большевики критиковали самовластие ЦК и на XI партсъезде. На вечернем заседании 27 марта Давид Рязанов заявил под грохот аплодисментов: «Наш ЦК совершенно особое учреждение. Говорят, что английский парламент все может, он не может только превратить мужчину в женщину. Наш ЦК куда сильнее: он уже не одного очень революционного мужчину превратил в бабу, и число таких баб невероятно размножается... нет ли чего-нибудь во всем нашем строительстве такого, что ослабляет нашу партию: ЦК нарушил и не провел в жизнь тогда, когда это можно было сделать, в течение всего этого года, все начала внутрипартийной демократии...»

Испуганная обнаружившимися на съезде оппозиционными настроениями правящая группировка приняла решение учредить должность Генерального секретаря. На эту должность был «избран» Сталин.

Так, еще при Ленине, была заделана последняя отдушина плюрализма — допущение внутрипартийной оппозиции. Но многие старые большевики еще продолжали противиться. Осенью 1923 года группа «сорока шести», образованная сторонниками Троцкого и бывшими руководителями группы «демократического централизма», выступила с заявлением: «Режим, установившийся внутри партии, совершенно нетерпим. Он убивает самодеятельность партии, подменяя партию подобранным чиновничьим аппаратом».

На XIII партсъезде в мае 1924 года обсуждалась брошюра Троцкого «Новый курс». Троцкий писал в этой брошюре: «Партия живет на два этажа: в верхнем решают, в нижнем — только узнают о решениях... Главная опасность старого курса, как он сложился в результате как больших исторических причин, так и наших ошибок, состоит в том, что он обнаруживает тенденцию ко все большему противопоставлению нескольких тысяч товарищей, состав-

ляющих руководящие кадры, всей остальной партийной массе, как объекту воздействия... Дело не в отдельных уклонениях от правильной, идеальной линии, а именно в аппаратном курсе, в его бюрократической тенденции. Заключает ли в себе бюрократизм опасность перерождения или нет? Было бы слепотой эту опасность отрицать...»

В 1926 году, в 14-м номере журнала «Большевик» Яков Оссовский доказывал необходимость двух партий. В наказание Оссовский был из партии исключен. На расширенном пленуме Исполкома Коммунистического интернационала в декабре 1926 года Сталин обвинил в стремлении создать вторую партию уже всю оппозицию. «Оппозиционный блок, — сказал Сталин, — есть зародыш новой партии внутри нашей партии. Разве это не факт, что оппозиция имела свой центральный комитет и свои параллельные местные комитеты?.. Задача в том, чтобы разбить этот блок и ликвидировать его».

Сталин победил. Последний голос в защиту внутрипартийной демократии прозвучал в «Дискуссионном листке» номер 6, приложенном к «Правде» от 22 ноября 1927 года. В статье «Уроки внутренней борьбы» Александр Шляпников писал: «Настало время установить внутри партии другой порядок, при котором члены партии могли бы обсуждать, решать и действовать без бюрократической опеки чиновников, не спрашивая разрешения секретарей. Только при открытом обсуждении всех вопросов, по которым возникают разногласия, партия и рабочие массы сумеют правильно оценить, кто куда идет: вправо или влево. Без этих условий борьба с разногласиями, борьба с инакомыслием принимает характер расправы. Однако карательная политика никогда и нигде разногласий не разрешала, не разрешит их она и у нас».

С тех пор открытых разговоров о внутрипартийной демократии и о второй партии больше не было. Оппозиционный блок был окончательно разбит и ликвидирован. Но вот в феврале 1936 года приезжал в Париж Бухарин. Приезжал для приобретения архивов Маркса и Энгельса, переданных германской социал-демократической партией на хранение меньшевику Борису Николаевскому. В разговоре с Николаевским о проекте конституции СССР Бухарин сказал: «Вторая партия необходима. Если на выборах выдвигаются кандидаты только одной партии и нет состязания, то это то же самое, что у фашистов. Для того чтобы люди, как в России, так и на Западе, видели, что мы не нацисты, мы должны иметь систему, при которой партии состязались бы на выборах».

Ни в России, ни на Западе людям не суждено было увидеть, что большевики не нацисты. А. Авторханов в своей работе «Происхождение партократии» приводит знаменательное заявление Муссолини в октябре 1939 года: «Большевизм в России исчез, и на его место встал славянский тип фашизма». В той же книге Авторханов рассказывает, что Риббентроп после банкета, данного в его честь Политбюро по случаю заключения пакта между Сталиным и Гитлером, говорил, что он на этом банкете «чувствовал себя в Кремле, словно среди старых партийных товарищей». Напоминает Авторха-

нов и о том, как понимал диктатуру пролетариата Ленин. «Партия, — писал Ленин, — вбирает в себя авангард пролетариата, и этот авангард осуществляет диктатуру», то есть диктатуру пролетариата осуществляет от имени пролетариата партия. А диктатуру Ленин определял так: «Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть».

В 1926 году в брошюре «Вопросы ленинизма» Сталин еще обстоятельнее, чем Ленин, объяснил, что это такое «диктатура пролетариата»: «Высшим выражением руководящей роли партии, например, у нас, в Советском Союзе, в стране диктатуры пролетариата, следует признать тот факт, что ни один важный политический или организационный вопрос не решается у нас нашими советскими и другими массовыми организациями без руководящих указаний партии. В этом смысле можно сказать, что диктатура пролетариата есть, по существу, "диктатура" его авангарда, "диктатура" его партии».

В следующем 1927 году в номере 7–8 журнала «Большевик» Сталин уже без всяких обиняков утверждает: «Руководство перешло целиком и полностью в руки одной партии, в руки нашей партии, которая не делит и не может делить руководства с другой партией. Это и называется у нас диктатурой пролетариата».

Таким же верным учеником Ленина в вопросе диктатуры партии был Гитлер. В 1934 году он объявил в специальном законе существование всякой другой партии преступлением. Подражал Гитлер Ленину и Сталину и в сентябре 1934 года в речи на съезде нацистской партии: «Сознанием своей исключительности... партия должна быть исполнена железной решимости не допускать существования ни одного политического соперника». В речи в Рейхстаге 20 февраля 1938 года Гитлер так определил руководящую роль партии: «Величайшая гарантия национал-социалистической революции заключается в полном внешнем и внутреннем господстве национал-социалистической партии над Германией и всеми учреждениями и организациями Германии».

Еще бóльшим подражателем Ленину и Сталину был Геббельс. Он долго колебался в молодости, к какой партии примкнуть: национал-социалистической или коммунистической. На митинге в Берлине 10 марта 1933 года он сказал: «Национал-социалистическое миросозерцание заключает в себе тотальное оформление политической воли немецкого народа». Совсем как утверждения советской печати, что коммунистическая партия была, есть и будет единственным властителем дум, выразителем мыслей, воли и чаяний, руководителем и организатором народа.

Геббельса особенно восхищало, как Сталин ликвидировал внутрипартийную оппозицию. 8 мая 1943 года он записывает в своем дневнике: «Преимущество Сталина перед нами в том, что он избавился от всякой оппозиции, уничтожив за двадцать лет всех оппозиционеров».

Сомнения нет: нацистская революция — питомица большевистской. Диктатуру своей партии нацисты строили по образцу диктатуры КПСС, и

свою идеологию они сделали такой же государственной религией, как большевики марксизм. Для показа поразительного сходства «анатомии» большевистской и нацистской революций можно привести еще великое множество свидетельств. Приведенных мною, думаю, уже достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Вот важнейшие из них, вернее их заглавия.

Вывод первый. Никакая даже самая великая цель и никакие достижения не могут оправдать массовый террор и нечеловеческий концентрационный мир. Убеждение в этом должно быть безоговорочным, императивным, как десять заповедей. Никаких рациональных или метафизических доказательств тут не нужно. Это нравственная аксиома, которая должна быть вынесена за скобки всех дискуссий. Обо всем можно спорить, только не об этом. С тем, кто этого не чувствует, не стоит говорить.

Вывод второй. Большевистские и нацистские заговорщики одинаково начали с убийства демократии, с замены либерально-демократического правового строя партдиктатурой. По существу, две эти революции — только два варианта одной и той же тоталитарной революции XX века, вернее, антидемократической контрреволюции и стихийного восстановления тоталитарных структур древних империй и первобытных кланов. Как могло произойти это убийство демократии, как мир допустил? И почему и в России, и в Германии демократия так легко рухнула, в Германии чуть ли не по всенародному голосованию. Опять, как в первые годы эмиграции, многие теперь говорят: либеральная демократия привела к тоталитаризму, «породила» тоталитаризм. Более симпатичный вариант: «Да, демократия хорошая вещь, я сам люблю демократию, но почему демократии так легко кончают самоубийством?» На это можно было бы ответить: самоубийством кончают вовсе не все демократии и не только демократии, случается это и с самыми авторитарными режимами. Но есть все же в этих разговорах о склонности демократий к самоубийству грозное напоминание. В 1957 году в Стокгольме Альбер Камю при получении Нобелевской премии сказал: «Сохранение демократии самое трудное дело на свете. Демократия это не что-то завоеванное раз навсегда. Она может быть потеряна в несколько часов. Она требует постоянной заботы, постоянного обновления». Какой же сделать вывод? Усомниться в демократии? Нет, надо искать средства, как предохранить демократию от гибели врасплох.

Но вот раздаются уже и другие голоса: да такая ли уж хорошая вещь демократия? Вслед за Бердяевым многие верят, что в недемократических странах свободы может быть больше, чем при либеральной демократии, с ее юридическим формализмом. Материалы Нюрнбергского процесса напоминают, к чему приводит упразднение демократии. Вы скажете, это западным странам нужно думать о том, как устоять перед натиском марксизма-ленинизма, а перед Россией совсем другая задача: как без новых страшных потрясений и нового моря крови перейти от общества тоталитарного к обществу хотя бы немного более человечному и свободному. Теперь многие и в России, и в эмиграции об этом думают. Это и на самом деле самая важная задача. Все

так, но память об уроках Нюрнбергского процесса ничему не помешает при обсуждении возможностей перехода без потрясений и разрухи.

Вывод третий. Международный военный трибунал в Нюрнберге не повторил ошибку Версаля. Он возложил ответственность за преступления гитлеровского режима не на немецкий народ, а на ближайших сподвижников Гитлера. Вот указание охотникам объяснять преступления гитлеровского режима национальным характером немцев, а преступления большевистского режима национальным характером русских. Такие разговоры никогда ни к чему хорошему не ведут. Во-первых, каждый определяет характер данного народа пристрастно, в зависимости от того, любит он его или нет. Перефразируя одного средневекового автора: у национального характера нос из воска, каждый перелепляет его по-своему и поворачивает в какую хочет сторону. Во-вторых, национальные черты немцев и русских в течение веков менялись, но всегда оставались разными и во многом противоположными. И вся история немцев и русских была другая, и политический, и социальный строй другой, и кровь другая, и обычаи, и все традиции другие, а вот пришли к такому же тоталитарному строю, только с фасадом, выкрашенным в другой цвет. Уже одно это, казалось бы, должно было заставить задуматься.

В-третьих, считать весь народ ответственным за преступления его правителей — безнравственно, в последнем счете — это всегда призыв к геноциду. Представление о наследственной коллективной ответственности — трагический пережиток примитивного сознания. Наиболее знаменитый пример: кто приговорил Христа к смерти? Синедрион или Пилат? Во всяком случае Синедрион не имел jus gladii, то есть права казнить. По приказу Пилата Христа распяли римские солдаты. И мы не знаем, в какой мере Синедрион представлял еврейский народ. По-видимому, в нем главенствовала садуккейская аристократия. Не знаем мы и того, сколько членов Синедриона присутствовали в то страшное утро. Толпа кричала: «Распни его», но по всем данным это были, главным образом, солдаты храмовой стражи, преданные первосвященникам. Они, конечно, не представляли всех жителей Иерусалима, тем более всего еврейского народа, большинство которого уже жило в то время в рассеянии, в Месопотамии, в Персии, по всем берегам Средиземного моря. Все это не приходит в голову погромщику. Примитивное магическое сознание не делает различия между прошлым и настоящим. Когда погромщик говорит: «Жиды распяли Исуса Христа», он разумеет не только всех евреев, которые жили при Христе, но и всех теперешних евреев.

Разговоры о том, что русский народ ответственен за все преступления большевистского режима, какими бы ссылками на историю и пророков эти разговоры ни подкреплялись, — такие же проявления примитивного сознания, как убеждение погромщиков, что все евреи ответственны за распятие Христа.

Вывод четвертый. В чем же искать тогда объяснение преступлений большевистского и нацистского режимов, если национальные свойства русских и немцев тут ни при чем. Во избежание недоразумений я имею тут в виду

не весьма многосторонний кризис, который привел к революции в России и в Германии, а только один этот вопрос: почему большевистская и нацистская революции одинаково завершились построением тоталитарного концентрационного мира? Думается, объяснение надо искать в идеологии этих двух революций. Тут я расхожусь с благородным и героическим апологетом демократии Михаилом Михайловым. Я преклоняюсь перед его подвигом и полностью разделяю его убеждение, что политическая демократия есть величайшее историческое чудо и что эссенция демократии евангельского происхождения. Но я не могу согласиться с его мнением, что идеология не имеет решающего значения для устойчивости и сохранности тоталитарного большевистского строя. Я убежден в обратном. В тоталитарном обществе XX века, в большевистском и нацистском одинаково, идеология выполняет роль того, что Бергсон назвал «статической религией», то есть социальную и биологическую роль, симметричную роли инстинкта в «совершенных» обществах насекомых. Именно в этом, по-моему, объяснение, почему у тоталитарных режимов не бывает и не может быть «человеческого лица».

Но как же так, ведь нацистская идеология совсем другая, чем большевистская: национал-социализм крайняя форма национализма, а марксизм-ленинизм крайняя форма социализма? А вот строй такой же тоталитарный и преступления такие же! Однако сто́ит вместо борьбы классов подставить борьбу рас, и сразу станет видно: идеологии эти не такие уж разные. Это только две чудовищные метаморфозы ви́дения Тысячелетнего царства: оно придет завтра, стоит только истребить нечестивых врагов: классовых, расовых или еще каких-нибудь.

Повторяю, это только перечень выводов из размышления над уроками Нюрнбергского процесса. Обсуждение каждого из этих выводов потребовало бы отдельной статьи.

## ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО И ТОТАЛИТАРИЗМ

Русские эмигранты удивляются этому вот уже полвека. Но кто их слушает? Какие они судьи? Всем известно, они не могут забыть серебряные ложки, которые отняла у них революция.

Тем бо́льшая заслуга французского социолога Жан-Франсуа Ревеля. В одной из своих очередных статей в еженедельнике «Экспресс» он пишет: «Критики либерального общества до того преувеличивают его недостатки, что оно начинает казаться в сущности тоталитарным, и, наоборот, недостатки тоталитарного общества до того преуменьшаются, что оно начинает казаться в сущности либеральным... во всяком случае считается несомненным, что общества тоталитарные по самой своей природе общества хорошие, и

права человека в них попираются только "временно", а общества либеральные по самой своей природе общества плохие, даже если в них "случайно" живется лучше и свободнее. Поэтому для многих западных комментаторов коммунистическое общество, даже если оно стало огромным концентрационным лагерем, — это общество, которое можно улучшить, а всякое капиталистическое общество, независимо от реалистической оценки того, как в нем живется, надо уничтожить».

Ревель, человек, кстати, вовсе не правый, хочет понять, чем объясняется это постоянное применение одной мерки к жизни в демократических странах Запада и другой к жизни в «социалистических» странах Востока. Он высказывает такое предположение: «Быть может, это просто технический результат различия политических режимов. В демократических странах, где режим разрешено открыто осуждать, быстро нагромождаются горы жалоб на всякие несправедливости. А в тоталитарных — жаловаться запрещено. Конечно, недостатки этих стран все же часто разоблачаются наблюдателями извне и беглецами, но это не то же самое, как если бы, например, значительная часть поляков или румын высказалась на свободных выборах против социализма».

«Таким образом, — продолжает Ревель, — постоянному и беспощадному разоблачению и осуждению подвергаются только несправедливости и недостатки капиталистического общества, и это приводит к тому, что тем, кто в нем живет, начинает казаться, что его нужно разрушить и заменить обществом тоталитарным, где, они думают, этих несправедливостей и недостатков не будет. Но левые не знают правды о жизни в "социалистических" странах не только потому, что там цензура и это затрудняет получение информации, но еще в большей мере потому, что они и не хотят знать правду. Такой добровольный отказ часто оказывается более эффективным, чем самая жесткая цензура».

Так пишет Жан-Франсуа Ревель. Каждый день газеты, радио, телевидение, частные разговоры убеждают: он нисколько не преувеличивает. Вот когда судили Анджелу Дэвис, сколько было во всех странах демократического Запада демонстраций молодежи с плакатами «Свободу Анджеле Дэвис!». А ведь она обвинялась в пособничестве убийцам. Когда же в Югославии Михаила Михайлова приговорили к семи годам тюрьмы только за то, что он напечатал три статьи на Западе, кажется, нигде, кроме Соединенных Штатов, никаких демонстраций не было. Ни один косматый молодой человек не вышел на улицу с плакатом «Свободу Михаилу Михайлову». Таких примеров можно привести великое множество. Протестовать, «дрожа от негодования», принято только против козней ЦРУ, протестовать же против «мифических» злодеяний красных — это архаический антикоммунизм, смешной, преступный и неприличный.

Один французский журналист, сотрудник газеты, прославленной во всем мире точностью и беспристрастностью своей информации, говорил мне, что, когда он писал всю правду о виденном им в Москве или в Праге, в редакции ему не верили:

— В социалистических странах такого быть не может.

Отказ знать, — «не соответствует нашему представлению», — приводит к тому, что перед разумом человека опускается непроницаемый свинцовый заслон. Многие левые так ненавидят либеральную демократию, в которой они живут, что делают логически неверное заключение: всякий либерализм зло, коммунизм хочет это зло уничтожить, значит, коммунизм — добро. Вот почему в жизни «социалистических» стран они видят только то, что хотят увидеть.

Один из бесчисленных примеров. В 50-х годах Жан-Поль Сартр провел в Советском Союзе несколько дней. На даче у Симонова банкет: двадцать заздравий с водкой, между тостами Сартру все время подливают розовое армянское и красное грузинское вино. Он так напился, что, по его собственному признанию, не мог стоять на ногах. И так изо дня в день: официальные встречи, заседания, банкеты. В Ленинграде его четыре часа катали по улицам в автомобиле. На прощальном обеде, после обычных бессчетных тостов все тот же Симонов поднес Сартру огромный рог, наполненный до краев вином: «Пустой или полный, вы возьмете его с собой». Как отказаться? Сартр выпил и пошел пройтись. Но сердце у него колотилось. На следующее утро он так плохо себя чувствовал, что не мог встретиться, как было условлено, с «группой философов». Его свезли в больницу.

За исключением «ужасных архитектурных уродств», ему понравилось все, что он видел. Симона де Бовуар в своих воспоминаниях с невозмутимой серьезностью пишет: «Особенно его заинтересовали сложившиеся в Советском Союзе новые отношения между людьми... Ему казалось, что советское общество в значительной мере победило одиночество, которое разъедает наше общество».

Так убеждаются в преимуществах социализма перед капитализмом многие знатные путешественники. Когда же беглецы с Востока рассказывали о таких страшных преступлениях, что, казалось, камни должны бы были возопиять, их не хотели слушать: не мешайте нам со спокойной совестью разрушать капиталистическое общество. Более умеренные левые допускают, впрочем, что в рассказах беглецов есть доля правды, но им несподручно сделать отсюда соответствующие выводы. Как тогда бороться за «общую программу»?

— Без союза с коммунистами, — говорят они, — нам не свалить капитализм. Но у нас будет по-иному, чем в отсталой, рабской России. Наши коммунисты наследники вековых традиций, они вовсе не собираются отменять свободу, наоборот, они хотят ее расширить, дополнить реальной свободой, освобождением человека от эксплуатации. Смотрите, сам Жорж Марше обещал не нарушать правил демократии, а вы сомневаетесь!

Французские социалисты не хотят помнить, что коммунисты часто, по обстоятельствам, меняют свою тактику, но никогда не меняют свою сущность и свои цели. Миттеран, съездив в Москву, «убедился», что коммунисты в конечном счете за свободу. «Я всегда осуждал сталинщину, но теперь,

после мужественных разоблачений, сделанных Хрущевым, это совсем другое общество».

Как закричать, чтобы они услышали, опомнились, пока еще не поздно? И вот раздался такой крик. По всей земле, от Востока до Запада разнесся «слитный стон, предсмертный шепот, все невысказанные завещания погибших». Миллионы прочли «Архипелаг ГУЛАГ», описание современного земного города Дито, где, в отличие от дантова, мучают не души грешников, а не виновных ни в чем живых людей. Казалось, совершилось чудо, мир услышал и остановится на краю пропасти.

Но действительно ли услышал? Недавно разговаривал с одним знакомым французом. Неглупый, образованный человек, и вовсе не левый, а голлист. Спрашиваю: «Ну, как, читали "Архипелаг ГУЛАГ"?»

— Да, прочел страниц 60 и бросил. Все то же самое. И я не верю, что столько было жертв. Это преувеличение. И потом, тюрьмы всюду есть и всегда были. А главное, что мне не нравится: это все американцы раздувают!

Я сказал ему словами Солженицына:

— Вы поймете только тогда, когда вас самого повезут на Архипелаг ГУЛАГ.

Он снисходительно улыбнулся:

— Не сердитесь на меня, я не хотел вас обидеть, я знаю, как вы принимаете все это близко к сердцу.

Мне скажут, да не осталось больше таких недодумов, не может этого быть. К сожалению, может. И не только многие французы считают, что, не будь американского «империализма», все в мире было бы хорошо. Так считают многие и среди самих американцев, те, кто называет себя «прогрессивными». Как-то у знакомых, когда разговор зашел об «Архипелаге ГУЛАГ», один такой «прогрессивный», задохнувшись от ненависти, скосоротясь, выкрикнул:

— Почему говорят только о лагерях в Советском Союзе, когда Соединенные Штаты — один сплошной концлагерь!

По наивности я стал с ним спорить. Другие приглашенные нашли мое поведение неприличным. Они мне потом объясняли:

— Поймите, у Майка было трудное детство, он вырос в годы депрессии!

Но вернемся к статье Ревеля. Чем он объясняет нежелание западной интеллигенции знать правду? Он пишет: «Вовсе не исключено, что тайная причина такого добровольного ослепления — невысказанное (в нем не признаются даже самим себе) желание жить в сталинской системе. Одни, чтобы утолить никому из нас не чуждую жажду безграничной власти, другие, чтобы утолить такую же жажду подчиняться тиранической власти из склонности к самонаказанию, тоже многим не чуждой».

В первое мгновение, как я прочел, — чувство несогласия. Ревель переборщил. Взять хотя бы меня, никогда я не замечал за собой ни желания властвовать над другими, ни желания, чтобы надо мной властвовали, и никогда не испытывал «вроде нежного бульканья, глядя в бинокль на плотного с

ежиком в ложе». Я так люблю это стихотворение Владимира Набокова. Оно называется «О правителях»:

...детина в регалиях или
волк в макинтоше,
в фуражке с немецким крутым козырьком,
охрипший и весь перекошенный,
в остановившемся автомобиле —
или опять же банкет
с кавказским вином —
нет.

И склонности к самонаказанию во мне никакой, во всяком случае к такому самонаказанию. Но тут я вспомнил, есть теория: человек предназначен природой для жизни в небольших закрытых обществах, организованных для войны. Значит, дисциплина, иерархия, абсолютная власть вождя или олигархии, абсолютное подчинение остальных. Как в муравейнике, только у людей, в отличие от насекомых, выполнение разных социальных функций не связано с разным морфологическим устройством. Каждый человек способен и подчиняться, и командовать. Правда, у большинства обычно проявляется на поверхности только первая способность, а вторая до поры до времени загнана в подполье, но всегда может проснуться. Выходит, Ревель прав, вот только самонаказание тут ни при чем, это он, верно, у психоаналитиков взял.

Первобытные общества были тоталитарными. Все поведение человека, все его верования, мысли и чувства определялись в них магическими ритуалами, обычаями, всякими табу, велениями грозной державной «души» тотемического клана. Эта душа, Мана, тотально владеет человеком, он никогда не бывает самим собой. Вот почему так труден переход от закрытого иерархического общества к открытому, демократическому. По выражению одного исследователя, человек в австралийских кланах не более свободен, чем кенгуру. Сравнение не очень удачное. В поведении кенгуру непосредственности и чистосердечия несравнимо больше.

Грекам первым стало приходить в голову, что все люди братья и потому все равны. Но пробудившееся сознание всечеловеческого братства не могло вдруг пересилить притяжение природного тоталитаризма. В пьесе «Носорог» Эжен Ионеско изобразил, как неотразимо действует это притяжение. Всякий толковал «Носорога» по-своему. Левые увидели в нем сатиру на фашизм и нацизм, христианский философ Габриэль Марсель — сатиру на коммунизм. Прав, я думаю, критик Робер Кантер — это сатира на всякий тоталитарный строй.

Притяжению тоталитаризма поддаются не только обыватели, но и самые гениальные люди. Вспомним Платона, но не Платона «Пира» и «Федона», великих мистических мифов о любви и бессмертии, а Платона «Государства» и «Законов».

Наблюдая первые ущербные аватары открытого общества, Платон с завидной манихейской ясностью решает: демократия — зло, природное тоталитарное общество — добро. Племянник двух изменников Афин, отпрыск древнего рода, происходившего от бога моря Посейдона, он ненавидел демократию, власть демагогов, которые приговорили к смерти Сократа, лучшего из людей.

Вот что говорится в «Политее»: демократия соответствует третьей степени вырождения первоначального устройства общества. Она приходит на смену олигархии. Когда все богатства скопляются в руках олигархов, вконец ограбленные граждане подымают восстание. Победив, нищие расправляются с олигархами; кого убивают, кого изгоняют, с уцелевшими делят власть. При демократии наступает свобода, «так, по крайней мере, говорится». Каждый может занимать самые высокие государственные должности. Между правителями и управляемыми нет непереходимого разделения, и все равны; сын равен отцу, метек — гражданину. Даже купленные рабы не менее свободны, чем их господа, купившие их на рынке! Каждый думает и говорит, что хочет, и живет, как хочет! Под прекрасным словом «свобода» поощряется анархия, но человек забывает значение слов: порядок, честь, самоограничение. Добродетели начинают казаться смешными. Дерзкое своеволие и вольномыслие ведут к упадку нравов, к распущенности, к попранию законов, к произволу. Учителя боятся учеников и льстят им из страха. Свобода почитается в демократии высшим благом, но именно ненасытное желание свободы губит демократию. Исходя из безграничной свободы, демократия неизбежно порождает безграничный деспотизм, тиранию, жестокое порабощение.

Казалось бы, Идея человека требовала вывода: поскольку все люди копии этой вечной Идеи, у них у всех должны быть одинаковые основные права. Платон такого вывода не сделал. Наоборот, опасным идеям Перикла, Эврипида, Геродота и других защитников демократии — «Бог создал всех людей свободными... и ни один человек не раб по своей природе... все должны быть равны перед законом... наш град открыт всему миру, мы никогда не изгоняли чужеземца» — он противопоставляет басню, которой сам не верит: Бог создал три разных рода людей, одних из золота, других из серебра, остальных из меди и железа. И еще учение о государстве-личности: государство высший индивидуум, сверхиндивидуум. Поэтому, если это нужно для блага государства, правители-философы имеют право обманывать народ и изгонять и убивать инакомыслящих граждан, не говоря уже о рабах.

Платона вдохновлял пример Спарты. Там, в отличие от выродившихся Афин, сохранились в наибольшей чистоте исконные устои общества, каким оно было когда-то в блаженном золотом веке. Так он создает свою знаменитую модель идеального тоталитарного государства, одновременно и коммунистического и расистского, прообраз и сталинского СССР и гитлеровского Третьего рейха.

Шли века. Подымались и падали великие царства. Римским цезарям воздают божеские почести. Одни только чудаки-стоики продолжали пропо-

ведовать: все люди братья, сыновья одного Отца, в каждом из них частица Божественного Огня, поэтому в своем человеческом достоинстве они все равны: раб и господин, бедный и богатый, и нужно любить всех, даже своих врагов!

«Гражданин мира», император Марк Аврелий приходит к мысли: закон должен быть один для всех, и государство должно управляться без нарушения прав, равных для всех, и свободы слова, равной для всех. Правителю паче всего надлежит уважать свободу управляемых.

Но возвышенные нравственные и метафизические идеи стоиков ничего не исправили: разделение на господ и рабов, на римских граждан и варваров оставалось.

Только с проповедью евангельской любви сознание братства и равенства всех людей становится силой, способной преобразить человеческий Град. Первые христиане, отказываясь участвовать в ритуалах императорского культа, умирали не только за свою веру, но и за право человека жить по своей совести, умирали за свободу.

Каждый шаг великой христианской революции неизбежно встречал сопротивление косных тоталитарных структур. Они возникают даже в самой церкви, как только из гонимой она превратилась в государственную и сама принялась гнать этих нехристей, еретиков, гностиков, философов. Все тогда перепуталось. Мучительные роды открытого общества затянулись неведомо на сколько еще тысячелетий. Внешнее торжество церкви привело к внутреннему ее поражению. Высшая церковная иерархия все больше преобразуется в привилегированное сословие, в часть правящего класса. По всей Европе горят костры: во славу Божью

«в великолепных автодафе сжигали злых еретиков».

И все-таки воспринятые от первых христиан идеи свободы, равенства и братства продолжали прорастать. Они вдохновили доктрину естественного права, политическую идеологию пуритан, трактаты Джона Локка и все декларации прав человека. Я не собираюсь пересказывать здесь историю Запада. Нет чтения более печального: почему так часто с самыми высокими идеалами, при попытке их осуществить, происходили непредвиденные чудовищные метаморфозы, и они оборачивались своею противоположностью, почему крестоносцы вырезали жителей Иерусалима, и «король» тафюров поедал трупы убитых мусульман, почему вдохновленная святым Домиником Святейшая Инквизиция разрушила цветущую цивилизацию Окситании, почему кромвелевская «армия святых» истребила почти две трети населения папистской Ирландии, почему святая гильотина рубила головы «врагов народа», почему идеологические войны так же, как и войны религиозные, велись с такой кровожадной свирепостью, почему почти все революции кончались восстановлением тоталитарных структур, почему... И так до наших дней. И не видно конца.

С отчаянием говоришь себе: под облицовкой христианской культуры человек, за исключением редких праведников, остался все тем же, каким был в

каменном веке, и во времена Ассура, и во все века: беспощадным изобретательным убийцей, сработанным природой для жизни в закрытых обществах.

И все-таки на христианском Западе росло волшебное дерево свободы. Похоже на то, что рядом с механизмами роевой жизни, отрегулированными миллиардами лет беспощадного, антииндивидуалистического отбора, в генетическом коде человека, в отличие от всех других живых существ, таинственно программировано стремление к обществу другого рода: открытому для социального изобретательства, для прогресса, для произрастания свободы и прав индивидуума.

Подлинно открытого общества еще нигде на земле не было. Но все же наперекор всем стихийным препятствиям на Западе в процессе напряженной борьбы образовалось либерально-демократическое правовое государство. Оно приближается к открытому обществу в большей мере, чем все другие общества, бывшие до сих пор. В нем еще много несправедливостей и насилия, но все-таки меньше, чем во всех других, а свободы, и не только формальной, больше. И в нем миллионы людей не погибают в «исправительно-трудовых колониях», и огромному большинству живется легче, чем когда-либо. И оно способно улучшаться без потрясений и ужасов гражданской войны. Если вспомнить, какое сопротивление природного тоталитаризма встречало на каждом шагу это движение Запада к открытому обществу, то как не согласиться с доблестным рыцарем свободы Михаилом Михайловым, что политическая демократия — величайшее историческое чудо, рожденное христианством. Да, даже самое скромное мирное преобразование, которое расширяет область свободы и справедливости, — чудо, гора, сдвинутая верой и доброй волей, победа духа человечности над законом необходимости и притяжением тоталитаризма.

Крайне левые ненавидят либерализм, все формы либерализма. Реформаторство стало у них бранным словом. Миттеран в Москве, сыпя цитатами из Маркса и Энгельса, убеждал Суслова, что французская социалистическая партия — партия истинно революционная и больше никогда не поддастся демону социал-демократии. На скандинавских и западнонемецких «обыкновенных» социал-демократов эти люди смотрят с презрением. Те, дескать, довольствуются только тем, что распределяют золотые яйца, которые несет курица капитализма. А единственное спасение — курицу зарезать. Всю буржуазную экономическую систему нужно сломать.

Чем объясняется это невероятное, это непостижимое ослепление? В часы бессонницы часто с тоской об этом думаешь. Как они не понимают, ведь если они разрушат либерально-демократическое государство, то на смену придет не то идеально-справедливое, идеально-свободное общество, в каком мы все хотели бы жить, а концентрационный мир, Архипелаг ГУЛАГ. Даже сами коммунисты не отрицают теперь, да и как отрицать после XX съезда, что в эпоху культа имели место «нарушения социалистической законности», так они называют уничтожение в тюрьмах и в концлагерях миллионов ни в чем не виновных людей. Не могут же они серьезно верить, что сталинщина

объяснялась только личными недостатками «вождя народов» или особыми историческими условиями, — дескать, отрыжка векового царизма, а сама система тут ни при чем. Но они завороженно, как лошадь в шорах, видят только недостатки и несправедливости либеральной демократии. Послушать их, «формальная» свобода — один обман, помогающий капиталу сохранить свою власть. Они верят во всемогущество международных монополий, как другие верят в «Протоколы сионских мудрецов». Впрочем, теперь многие верят обеим этим басням.

Как они не ценят счастья жить без страха: верь, как хочешь, и думай, и говори, и пиши, что хочешь, и тебя не потащат, и не будут мучить, и не сгноят в концлагере, и не разрушат в «дурдоме» твой мозг. Вот их, проповедников радикальной революции, разве при демократии их преследуют!? Все массовые средства пропаганды к их услугам, и они сидят в парламентах, в мэриях, заправляют многими профсоюзами.

Итак: притяжение тоталитаризма, недостаточность информации, нежелание знать правду. Можно привести еще много объяснений, почему повсюду, кроме, конечно, стран, где коммунисты уже правят, марксизм-ленинизм все еще опиум интеллигенции и народа.

Теоретик тоталитаризма Парето учил: для достижения своих целей политик должен уметь пользоваться всеми чувствами, устремлениями, и предрассудками, и инстинктами людей, а не тратить силы на напрасную с ними борьбу. С каждым годом коммунисты все успешнее овладевают этим искусством привода на свою мельницу энергии человеческих чувств, и самых возвышенных, и самых низменных. Так, во время войны они обратились к глубокой, почти мистической любви русского народа к своей земле: не хотят умирать за Сталина, пусть умирают тогда за Россию. После войны, убедясь на примере Гитлера, что расовая ненависть такое же взрывчатое горючее, как классовая ненависть, они все чаще стали прибегать к идеологическому языку национал-социализма. В самиздатной статье М. Агурского, напечатанной в 118-й книге «Нового журнала», говорится о неонацистской опасности в Советском Союзе. Добавлю к этой примечательной статье две иллюстрации.

Артур Лондон, один из чешских коммунистов-евреев, осужденных в 1951 году в Праге по делу Сланского, рассказывает в книге «Признание», как его в первый раз допрашивали в органах: «Передо мной четыре человека. Один из них в штатском — майор госбезопасности Смола. Он хватает меня за горло и с ненавистью кричит: “Мы тебя и твою пархатую расу уничтожим! Вы все одинаковые. Не все, что Гитлер делал, было хорошо, а вот, что он уничтожал евреев — это хорошо! Но он не довел дела до конца, слишком многие избежали газовой камеры. Мы докончим!”»

Французская газета «Монд» в номере от 12 октября 1973 года сообщала: «Генерал Иди Амин Дада, президент Уганды, в среду 10 октября заявил, что был прав, когда утверждал, что Гитлер совершенно правильно сделал, уничтожив во время Второй мировой войны шесть миллионов евреев. Президент Амин сказал это советскому послу Захарову, который пришел к нему

сообщить, что в арабо-израильском конфликте Советский Союз полностью поддерживает арабов».

Правда, коммунисты все же несколько изменили язык юдофобской пропаганды. Теперь это не антисемитская, а антисионистская пропаганда. Израиль изображается капиталистической империалистической страной, против которой борются «прогрессивные» развивающиеся арабские страны. Но по существу это все та же погромная погудка на новый лад.

И все-таки, несмотря на все объяснения, остается непостижимым, как после доклада Хрущева на XX съезде и после «Архипелага ГУЛАГ» миллионы людей в мире продолжают уповать на приход коммунизма. Почему?

Раз на рассвете мне приснился сон. Один знахарь объявил, что изобрел чудодейственную микстуру. Некоторые ее с надеждой испробовали, и что же, они не только не исцелились, а захворали еще пуще: они испытывали мучительные боли. Но, несмотря на это, повсюду мудрецы продолжали считать самоуверенного знахаря освободителем человечества от болезней и требовали, чтобы его средством пользовали всех принудительно. «Это единственное верное лекарство, — говорили они, — только в нем спасение». А когда их спрашивали: «Почему же все, кто его принял, так мучатся?», они отвечали: «Это случайность, особые обстоятельства, у нас будет по-другому».

Проснувшись, я понял, почему в моем сне люди верили мудрецам: им было слишком страшно жить: без надежды, что где-то текут «истоки живой воды», которая излечивает все недуги и страдания. Так и с марксизмом-ленинизмом. «Коммунистический манифест» был опубликован в 1848 году. В мастерских мужчины, женщины и дети, начиная с восьми лет, работали тогда от 13 до 17 часов в день, в условиях, гибельных для здоровья. В рабочих кварталах царила ужасающая детская смертность, половина пролетарских сыновей по худосочию не годились к военной службе. Когда в июне рабочие вздумали взбунтоваться, на их баррикады двинули войска. «Вечером 26 июня, — записывает Герцен, — мы услышали, после победы "Насионаля" над Парижем, правильные залпы с небольшими расстановками... "Ведь это расстреливают", — сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга».

Рабочим не на что было больше надеяться. И вот им говорят: согласно железным законам истории грядет другое общество, более братское, более свободное, в нем не будет эксплуатации человека человеком и «первенцы бедных будут напитаны». Надо только национализировать средства производства, и завтра же «ни плача, ни вопля, ни болезни больше не будет». Как же было рабочим этому не поверить? Они уже веками ждали прихода такого общества. Оно снилось людям с незапамятных времен, еврейскими пророками и Новым Заветом оно было обещано уже с полной определенностью. Маркс и Энгельс разъяснили, что обетованное царство настанет, когда в «последнем и решительном бою» голодные и рабы победят всех нечестивых слуг капитализма. Тогда настанут новые производственные отношения, не будет кризисов, не будет безработицы, и люди «не будут делать ни зла, ни вреда», не будут совершать антисоциальных поступков. Тогда... «ну, словом, тогда прилетит птица Каган».

С тех пор положение на Западе изменилось. Все пошло не так, как предсказывал Маркс. В «Коммунистическом манифесте» утверждалось, что «в буржуазном обществе рабочий с прогрессом промышленности не поднимается, а все более опускается ниже условий существования своего собственного класса». На деле же обнищание рабочих прекратилось, уровень их жизни начал подыматься. Тот, кому за шестьдесят, был свидетелем огромного социального прогресса: рождения и роста государства всеобщего благоденствия. И если где и установилось что-то подобное диктатуре пролетариата, то именно в западных либерально-демократических странах. В них влияние профсоюзов несоизмеримо, чем в так называемых «социалистических» странах, где профсоюзы только подсобные административные органы. На Западе свобода устраивать забастовки дала рабочим возможность добиваться всего того, что коммунисты требуют и обещают, пока находятся в оппозиции, но, придя к власти, никогда не исполняют.

Не сбылось и другое утверждение знаменитого «Манифеста»: «В коммунистическом обществе накопленный труд — это лишь средство расширять, обогащать, облегчать жизненный процесс рабочих». Наоборот, повсюду, где коммунисты захватывают власть, уровень жизни трудящихся понижается. Капиталистам, которые прежде отнимали у них «прибавочную стоимость», свернули шею. Но теперь еще большую долю «прибавочной стоимости» отнимает партдиктатура. Об этом уже Троцкий говорил. Да и как могло быть иначе? Ведь нужно помогать коммунистическому движению во всем мире, содержать огромную армию, невероятный бюрократический и полицейский аппарат, огромные штаты политагитаторов, разведчиков, сексотов. На все это нужны миллиарды и миллиарды, а где ж их взять? Курицу, которая несла золотые яйца, зарезали. Остается только один источник: дешевый крепостной труд рабочих, колхозников и зеков.

Оказалось, что без «формальной» свободы недостижима и реальная. Без независимых профсоюзов, без права стачек, без свободы печати, без контроля народных представителей над действиями правительства, без независимого суда, короче, без политической демократии, рабочие не могут добиться улучшения своей участи. Ленин хорошо это знал. В 1903 году он пишет: «Рабочего человека никто не освободит от нищеты, если он сам себя не освободит. А чтобы освободить себя, рабочие должны объединиться во всей стране в один союз. Но чтобы объединиться, надо иметь свободу союзов, надо иметь политические свободы». Золотые слова! Одно плохо: захватив власть, Ленин первым делом отменил все политические свободы и тем самым лишил рабочих возможности освободить себя от нищеты.

Но мифы долго не умирают и после того, как на деле они превратились в свою противоположность. Метастазы марксизма-ленинизма продолжают расползаться по всей земле. Особенно в странах третьего мира, где несчетные миллионы людей живут в беспросветной бедности, постоянно недоедают, мрут от страшных болезней. Даже если им доказать, что в Европе граница между либерально-демократическими странами и странами «со-

циалистическими» — это вместе с тем и граница между странами с высоким уровнем жизни и странами с низким уровнем жизни, и что в Советском Союзе — Архипелаг ГУЛАГ, они скажут: тогда новый Иерусалим на Кубе, а если не на Кубе, тогда в Китае, но он должен быть, иначе нам не на что надеяться. У нас нет ни накопленных веками капиталов, ни промышленного оборудования, ни технических кадров. Мы должны выбирать: либо покориться экономическому империализму Запада, либо пойти по пути, проложенному большевиками. Всем известно, они превратили «дикую Россию», где в столице по деревянной мостовой ходили белые медведи, в самую могущественную страну на свете.

Коммунисты — опытные торговцы краденой надеждой. Марксизм-ленинизм давно стал иллюзорным прибежищем всех обездоленных. Вот почему с ним так трудно бороться. Одних к нему влечет притяжение тоталитаризма, других обещание общества, более братского и свободного: отмирание государства, каждому по потребностям, каждому возможность развить все свои задатки, возможность стать «тотальным» человеком, отчуждения от трудящегося полноты его человеческой природы больше не будет. Некоторые коммунисты вначале, может быть, сами верили, что построят такое общество. Но теперь-то они прекрасно знают, что обманывают людей. Твердят: мы несем освобождение, справедливость, равенство, а на деле строят крепостное тоталитарное государство, основанное на вопиющем неравенстве, авторитете, жестокой дисциплине, насквозь иерархическое. В нем подавлены все свободы и права, и никакой уравниловки: ни политической, ни правовой, ни экономической. В сущности, это своего рода меритократия, отбор правящего слоя по личным заслугам, причем коммунистическая мораль определяет заслуги по-другому, чем общечеловеческая, и ценит другие качества. Впрочем, после смерти Сталина новый привилегированный правящий класс стал постепенно перерождаться в почти уже потомственную аристократию, возглавляемую «тридцатью тиранами». Если угодно, это «власть философов». Так же, как философам-правителям в «Государстве» Платона, членам руководства КПСС открыта высшая истина и вечные законы. Только вместо интеллигибельного солнца Платона у них диамат и марксизм-ленинизм.

Борьбу построенного ими общества с демократическим Западом коммунисты представляют как борьбу социализма с капитализмом. В действительности же это борьба тоталитаризма с демократией, с открытым обществом.

Как я уже говорил, подлинно открытого общества еще нигде не было. Но западные демократии возникли в процессе движения к такому обществу. На пути к нему бесконечно подымаются все новые гималаи препятствий, у гидры тоталитаризма вырастают все новые головы. Опасность срыва великого предприятия построения открытого общества еще никогда не была так велика, как в наше напряженное и страшное время. Либерально-демократический Запад терпит на международном поприще поражение за поражением, а внутри такой-то, и такой-то, и такой-то кризис, экономический спад, рост безработицы. В 30-х годах тоже был кризис и тоже надвигалось наше-

ствие тоталитаризма. Но тогда Запад нашел в себе волю к сопротивлению. Найдет ли теперь? Не поздно ли уже? Да и опасность теперь больше. Демократическим странам куда труднее противостоять красному тоталитаризму, чем коричневому. Число изменников, готовых перейти на другую сторону, теперь несравнимо больше. Новые поколения не научились ценить и беречь политическую свободу. Они видят только недостатки плюралистического общества и упадок представительных учреждений. Даже англичане начинают сомневаться в парламентаризме. Опять, как перед прошлой войной, сторонники тоталитарных режимов доказывают неспособность демократии, все равно парламентской или президентской, эффективно управлять в условиях кризиса.

Положение еще никогда не было таким грозным. Свободному миру предстоит великая, может быть, последняя борьба. Человечество пришло к распутью: или тупик тоталитаризма, или продолжать движение к открытому обществу. Каждый из нас волен по-своему судить и толковать трагическую повесть этого движения. Мы не знаем, чем кончится предпринятое человечеством путешествие. Успех вовсе не обеспечен автоматически. Он зависит от выбора, веры и воли людей, и в какой-то, хотя бы неизмеримо малой, доле от каждого из нас. Только свобода придает нашей жизни человеческое значение. Свобода — обетованная земля человека.

## «ЧЕВЕНГУР» И «НОВЫЙ ГРАД»

По мне, «Чевенгур» Андрея Платонова одна из самых важных книг для понимания большевистской революции. Попала она мне в руки случайно. Все хвалили, но никто не мог ясно сказать, о чем она. На обложке имковского издания — голова коня и голова солдата. Неопределенно подумалось: верно, что-нибудь о конармии. Тем больше с каждой страницей возрастало мое удивление. Я такого не ждал.

Андрей Платонов изображает большевистскую революцию как великую и в то же время безумную, страшную и жалкую эсхатологическую драму. В «Чевенгуре» все апокалиптики. Чевенгурские «буржуи» ждут второго пришествия:

«Лежали у заборов в уюте лопухов бывшие приказчики и сокращенные служащие и шептались про лето Господне, про тысячелетнее царство Христово, про будущий покой освященной страданиями земли».

Для чевенгурских же коммунистов это ожидание второго пришествия — предрассудок, контрреволюция. Но вот что удивительно, они сами ждут свершения какого-то небывалого, космического события, которое всё преобразит. После того как капиталисты и мелкая буржуазия будут повсемест-

но истреблены, «социализм придет моментально и всё покроет. Еще ничего не успеет родиться, как хорошо настанет». Новое небо и новая земля настанут: «В Дванове уже сложилось беспорочное убеждение, что до революции и небо, и все пространства были иными — не такими милыми». И времени, как клялся Ангел, уже не будет:

«А у нас всему конец.

— Чему же конец-то? — недоверчиво спрашивал Гопнер.

— Да всей мировой истории конец — на что она нам нужна».

Другому герою повести при чтении статьи Ленина о кооперации «открылась столбовая дорога святости, ведущая в Божье государство житейского довольства и содружества». Когда он приходит в Чевенгур искать кооперацию, председатель чевенгурского ревкома Чепурный ему говорит: «...история уже кончилась».

Дванов догадывается, почему Чепурный и другие чевенгурские большевики так хотят коммунизма: «...он есть конец истории, конец времени».

Что ждали второго пришествия чевенгурские «буржуи», понятно. Они жили «ради Бога», верили по-церковному и видели в ужасах революции несомненные признаки кончины века. Но откуда эсхатологические чаянья у чевенгурских коммунистов? Ведь они верили не в парусию, а в учение Маркса и Ленина.

Думаю, именно в этой вере в истину марксизма-ленинизма и нужно искать объяснение апокалиптического вдохновения большевистской революции.

Не знаю, думал ли об этом сам Платонов? Слесарь, красноармеец, писатель, одаренный ясновиденьем подлинного художника, он в аллегорической притче рассказал о том, чему был свидетелем. «Чевенгур» — трагическая эпопея соблазненного и обманутого Лениным русского люмпен-пролетариата, «босоты», голытьбы. В изображении Платонова эта эпопея настолько напоминает эгалитарно-коммунистические мессианские движения европейского Средневековья, что с удивлением чувствуешь: тут не только сходство, а прямое, хотя и скрытое, подземное преемство. Те иностранные и русские толкователи, которым непременно хочется видеть в большевистской революции чисто русское, невозможное на Западе явление, просто не помнят европейскую историю. Тому, кто не читал ее забытые кровавые преданья, не понять, откуда пошли тоталитарные движения нашего времени. Конечно, как всякое историческое событие, и большевистская, и национал-социалистическая революции, говоря марксистским языком, происходили каждая в своем «историческом контексте», и у каждой из них была своя «специфика». Кто с этим спорит? Но в последнем, самом важном счете это были новые, еще небывалой силы взрывы революционного хилиазма, который в прошлом столько раз сотрясал устои европейского общества. Тот, кто не хочет этого видеть, делает ошибку.

Христиане унаследовали все варианты ветхозаветных апокалиптических пророчеств: и самые воинственные — поражение мечом всех угнетателей из-

бранного народа, и самые светлые и мирные — спасение всех народов, уничтожение смерти навеки, «большая радость» для всех страждущих и бедных.

Ожидание нового Иерусалима стало закваской всей христианской цивилизации: «И отрет Бог всякую слезу с очей, и смерти не будет уже: ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет».

В самый разгар восстания Маккавеев был обнародован рассказ о сне пророка Даниила: после совершенного истребления «зверя четвертого», то есть эллинистического царства Селивкидов, — «Царство и величие царств всей поднебесной дано будет святому народу Всевышнего, Которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему».

Сон Даниила заворожил на века всех угнетенных и обездоленных. Но только святой избранный народ Божий теперь уже не евреи, а Новый Израиль, гонимые христиане. В награду за все муки они наследуют мессианский пир и станут бессмертными.

Награду за все страдания ждут и герои «Чевенгура». Они верят, что при коммунизме наступит «окончательное счастье жизни».

«Чепурный отстал от Жеева и прилег в уютной траве чевенгурской непроезжей улицы. Он знал, что Ленин сейчас думает о чевенгурских большевиках... Ленин, наверное, пишет Чепурному письмо... чтобы Чепурный со всеми товарищами ожидал к себе в коммунизм его, Ленина, в гости, дабы обнять в Чевенгуре всех мучеников земли и положить конец движению несчастья в жизни».

Рожденные при коммунизме, может быть, даже не будут умирать. Когда у пришедшей откуда-то нищенки умирает ребенок, Копёнкин догадывается, что в Чевенгуре «нет никакого коммунизма — женщина только принесла ребенка, а он умер». Копёнкина это поразило: «Какой же это коммунизм... От него ребенок ни разу не мог вздохнуть, при нем человек явился и умер. Тут зараза, а не коммунизм... Отчего он умер? Ведь он после революции родился».

Грядущее царство святых представлялось первым христианам очень по-разному: то как надмирное, небесное, то как очень даже земное. В I веке фригиец Папиас, может быть, действительно «сидевший у ног Апостола Иоанна», предсказывает вслед за некоторыми еврейскими апокалипсисами, что тогда наступят дни сказочного изобилия: из одного пшеничного семя будет произрастать десять тысяч колосьев, в каждом по десять тысяч зерен, из которых каждое даст десять мер наилучшей муки. И так все другие злаки и плоды земные. Работать больше будет не нужно.

Сказочное изобилие снится и героям «Чевенгура». Уже в самом начале повести появляется «вождь», который рассказывает о неправдоподобно богатой слободе, где мужики едят кур и пшеничные пышки. «В избах тепло, как в бане, — обнадеживал вождь. — Бараньего жиру наешься и лежи себе, спи! Когда я там был, я каждое утро выпивал по жбану квашёнки, оттого у меня ни одного глиста теперь внутри нету. А в обеде борщом распаришься, потом как почнешь мясо глотать, потом кашу, потом блинцы, — ешь до тех

пор, пока в скульях судорога не пойдет. А пища уж столбом до самой глотки стоит. Ну, возьмешь сала в ложку, замажешь ее, чтобы она наружу не показалась, а потом сразу спать хочешь. Добро!»

Другой герой «Чевенгура» пишет углем на стене:

...Так брось пахать и сеять, жать,
Пускай вся почва родит самосевом.
А ты живи и веселись —
Не дважды кряду происходит жизнь,
Со всей коммуною святой
За руки честные возьмись
И громко грянь на ухи всем:
Довольно грустно бедовать,
Пора нам всем великолепно жировать.
Долой земные бедные труды,
Земля задаром даст нам пропитанье.

Начиная с III века церковь пытается с хилиазмом бороться. В V веке калабрийский затворник Иоахим Флорский предсказывает наступление в 1260 году века Третьего Завета, века любви, равенства и свободы: тогда больше не будет никакого духовенства и никаких правителей, никому не придется работать, все станут жить в добровольной бедности, ни у кого никакой собственности.

Церковь, которая столько веков боролась с хилиазмом, эту новую его форму не только не осудила, но трое пап уговаривали Иоахима записывать его откровения.

Учение Иоахима оказало огромное и длительное влияние на развитие европейской мысли. Средневековый хилиазм не боялся антиномий. В проповедях многочисленных последователей Иоахима похвала бедности как состоянию благодатному соединялась с обетованием дарового изобилия и воскресшими баснями древних о золотом веке в прошлом, когда все были будто бы равны, никто не работал, и не было никаких правителей.

Вспомним вторую часть «Романа розы», этого одного из самых знаменитых средневековых «бестселлеров»:

«Как свидетельствуют предания древних, во времена наших первых отцов и матерей никто не возделывал землю, она сама, какой сотворил ее Бог, приносила каждому все нужное для его пропитания, и короли и князья еще не грабили преступно чужое добро. Все были равны, и ни у кого не было никакой собственности!»

Не работать — главная идея и чевенгурских большевиков. «В Чевенгуре... жители давно предпочли счастливую жизнь всякому труду, сооружениям и взаимным расчетам, которым жертвуется живущее лишь однажды товарищеское тело человека»; «в Чевенгуре человек не трудится и не бегает, а все налоги и повинности несет солнце»; «Прокофий дал труду специальное толкование,

где труд раз навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества, а имущество — угнетению; но само солнце отпускает людям на жизнь вполне достаточные нормальные пайки, и всякое их увеличение — за счет нарочной людской работы — идет в костер классовой войны, ибо создаются лишние вредные предметы»; «Чепурный, наблюдая заросшую степь, всегда говорил, что она тоже теперь есть интернационал злаков и цветов, отчего беднякам обеспечено обильное питание без вмешательства труда и эксплуатации. Благодаря этому чевенгурцы видели, что природа отказалась угнетать человека трудом и сама дарит неимущему едоку все питательное и необходимое»; здесь «солнечная система самостоятельно будет давать силу жизни коммунизму, лишь бы отсутствовал капитализм, чтобы сверх солнечных продуктов им оставалась ненормальная прибавка»; «Над нами солнце горит, товарищ Гопнер, — тихим голосом сообщил Чепурный. — Раньше эксплуатация своей тенью его загораживала, а у нас нет, и солнце трудится».

Неизвестно даже, «настанет ли зима при коммунизме или всегда будет летнее тепло, поскольку солнце взошло в первый день коммунизма и вся природа потому на стороне Чевенгура».

Проф. Михаил Геллер в своем предисловии к «Чевенгуру» среди главных тем повести особенно отмечает темы отцовства и безотцовства. Образ отца мы находим и в идеологии почти всех революционных мессианских движений Средневековья: Император последних дней. Это то Карл Великий, то по очереди Людовики VII, VIII и IX, то Фридрих II и всякие Лжефридрихи и самозванные харизматические вожди. А у чевенгурских большевиков отцы — Карл Маркс и Ленин. Свои отцы у пролетариев «потеряны».

«— Обожди! — сказал Чепурный Прокофию и лично обратился к пешим беднякам, стоявшим массой вокруг чевенгурцев.

— Товарищи... Прокофий назвал вас братьями и семейством, но это прямая ложь: у всяких братьев есть отец, а многие мы — с начала жизни определенная безотцовщина. Мы не братья, мы товарищи».

Безотцовщина и та голытьба, что шла в Средние века за пророками анархо-коммунистического хилиазма: батраки, безработные ткачи и ремесленники, поденщики, бедные не шибко грамотные священники, «idiotae et simplices»[1], белые монахи, уволенные наемные солдаты, бродяги, разбойники, воры, проститутки, голь перекатная. Говоря по-теперешнему, люмпен-пролетариат и полуинтеллигенция, деклассированные, вырванные с корнем, «быстроживущие» люди, средняя продолжительность жизни в те времена вообще-то не превышала 30 лет, а в торгово-промышленных городах и того меньше — население в них росло главным образом благодаря постоянному пополнению прибылыми из голодной деревни.

Сходство между героями «Чевенгура» и средневековыми хилиастами полное, вплоть до лозунга «грабь награбленное». Лозунг этот был придуман

[1] «Необразованные и простецы» (*лат.*).

задолго до большевиков. В XIV веке в Кёльне проповедник мессианского братства Свободного Духа Иоанн Брюнский учит: всё, что господа и богатеи считают своим, они добыли разбоем, бедняки поэтому имеют право их грабить, вообще имеют право брать у всех все, что им понравится, и не платить в харчевнях.

Так и чевенгурские коммунисты. Они убежденно грабят буржуев, Чепурный уезжает с постоялого двора, не заплатив за постой. У него «денег не было и быть не могло — в Чевенгуре не имелось бюджета». И так же, как для средневековых апокалиптиков евреи, басурмане, феодальные владыки, епископы, купцы и ростовщики были не люди, а демонические слуги Антихриста, плевелы, которые нужно собрать и сжечь, так и для чевенгурских коммунистов — не люди буржуи и полубуржуи. «Нет и нет, — отвергал Пиюса, — вы теперь не люди, и природа вся переменилась...»

Это самая страшная черта сходства между Чевенгуром и средневековым хилиазмом: уничтожение людей, объявленных не людьми.

Уже в первые века хилиастические мечтания начинают соединяться с жаждой кровавого отмщения всем гонителям христиан.

С первым крестовым походом нищих хилиазм оборачивается взрывчатым социальным мифом. Стихийные бедствия, глады, страшные болезни, чахотка, проказа, чума, нашествия свирепых язычников, борьба с сарацинами и тяжесть феодального строя, с его бесконечными войнами, поборами, безжалостностью и несправедливостью, все способствовало распространению среди угнетенных людей сознания, что только они одни — настоящие христиане, святой, избранный народ Божий, призванный истребить мечом нечестивых слуг Антихриста: всех нехристей и лжехристиан, всех «больших», знатных и богатых. Тогда придет Тысячелетнее царство, все станет общим, все будут равны и никому не придется больше работать.

Особенно XIV век ознаменовался грозным гулом мессианских коммунистических движений. То была смутная, трагическая пора Запада. Век развития: поворот к номинализму, расцвет мистики, первые шаги гуманизма, рост коммерческого капитализма, прогресс техники и математики, — дорога открыта для экспериментальной науки, — но и век Пляски смерти, скорби, великого вопля, шатания, перелома, тревоги. После экспансии XIII века начинается спад. Неурожай за неурожаем, и, как писали в старину, глад крепок и скудета велия при всем. Сопротивляемость болезням слабеет. Черная смерть губит людей. Чума возвращается еще много раз. К концу века вымерла половина населения Европы. Строительство соборов приостановлено. Движение самобичующих возобновляется с невиданным размахом, все чаще проникаясь еретическим и революционным духом. До половины XVI века полыхают жакерии и голодные бунты «синих ногтей».

Для потрясенного феодального общества народные волнения становились особенно опасными, когда их возглавляли «пророки» анархо-коммунистического хилиазма. Назову наиболее знаменитых: «бешеный кентский поп» Джон Болл (с оговорками), возглавитель крайних таборитов — «пи-

карцев» и «адамитов» — Мартинек Хаузка, излюбленный герой Маркса и Энгельса Фома Мюнцер, диктаторы Нового Иерусалима в Мюнстере Иоанн Матисс и Иоанн Лейденский. В их проповеди мечтания о наступлении Третьего Завета, о новом золотом веке и о восстановлении рая на земле срастаются с обетованием мессианского пира в один революционный разрушительный социальный миф. Когда наступит Тысячелетнее царство, бедные, «сияя подобно солнцу», заживут в мире и братской любви, моего и твоего больше не будет, а все общее, болезни и смерть истребятся навеки. Но прежде, в последней апокалиптической битве бедные должны очистить землю от слуг Антихриста, извести всех угнетателей и кровопийцев, всех господ и богатых, говоря по-марксистски, все враждебные классы. Несчетное число мужчин и женщин были перебиты, обезглавлены, сожжены, четвертованы. Правда, не меньше зверствовали и войска, посылаемые разными князьями и владыками на усмирение еретиков и подлого народа. По числу жертв террор карателей обычно даже превосходил террор революционных «ангелов мщения», но только эти последние видели в истреблении мечом антихристового воинства необходимое предварительное условие для прихода мессианского царства.

Так думают и чевенгурские большевики: коммунизм наступит только тогда, когда будет окончательно ликвидирована буржуазия. Чевенгур — русский Мюнстер, Новый Иерусалим.

«Ишь ты, — где у него сосет! — догадался Чепурный. — Объявить бы их мелкими помещиками, напустить босоту и ликвидировать в течение суток всю подворную буржуазную заразу!» В другом месте, тот же Чепурный: «В первую очередь необходимо ликвидировать плоть нетрудовых элементов». Так же думает и Копёнкин: «Мое дело устранять враждебные силы. Когда все устраню — тогда оно само получится, что надо». Но и после ликвидации буржуев Копёнкин не чувствует наступления в Чевенгуре коммунизма и счастья. «Грустно затосковал» и Чепурный. Он обращается «за умом» к Карлу Марксу: «громадная книга, в ней все написано...» Велит Прокофию читать Маркса вслух. Послушав, говорит:

«— Формулируй, Прош...

Прокофий надулся своим умом и сформулировал просто:

— Я полагаю, товарищ Чепурный, одно...

— Ты не полагай, ты давай мне резолюцию о ликвидации класса остаточной сволочи.

— Я полагаю, — рассудочно округлил Прокофий, — одно: раз у Карла Маркса не сказано про остаточные классы, то их и быть не может.

— А они есть — выйди на улицу: либо вдова, либо приказчик, либо сокращенный начальник пролетариата... Как же быть, скажи, пожалуйста!

— А я полагаю, поскольку их быть по Карлу Марксу не может, постольку им жить и не должно».

Чепурный принимает решение изгнать последних полубуржуев из Чевенгура навечно. «Теперь ему стало хорошо: класс остаточной сволочи будет

выведен за черту уезда, а в Чевенгуре наступит коммунизм, потому что больше нечему быть».

Изгнанным некуда идти. Они остановились табором недалеко от города. Их тогда расстреливают из пулемета. В Чевенгуре остается всего одиннадцать жителей. Но Копёнкин все не может уняться.

«Ночами Копёнкин терял терпение — тьма и беззащитный сон людей увлекали его произвести глубокую разведку в главное буржуазное государство, потому что и над тем государством была тьма, а капиталисты лежали голыми и бессознательными, — тут бы их и можно было кончить, а к рассвету объявить коммунизм».

Итак: все, что делает чевенгурских большевиков наследниками средневекового революционного хилиазма, они вычитали у Маркса. Это обязывает к двум выводам. Первый: вопреки распространенному мнению, объяснение характера большевистской революции нужно искать не столько в русской истории, сколько в учении Маркса. Второй вывод: марксизм, — я, впрочем, уже об этом говорил, — современная метаморфоза средневековых коммунистических мессианских движений на Западе.

Мне возразят: позвольте, да ведь движения эти начали затухать уже ко второй половине XVI века, и что общего между бреднями средневековых пророков анархо-эгалитарного миллениума и марксистским «научным» анализом диалектического развития экономической и социальной жизни. Малограмотные чевенгурские большевики просто неправильно Маркса поняли. И в самом деле: большинство из них Маркса даже не читали, только слышали «кое-что на митинге». И все же смею думать, именно они поняли первооснову марксизма правильнее, чем все премудрые разъяснители его «научности». И во всем мире миллионы людей поняли марксизм по-чевенгурски. Не будь Чевенгура, Маркс упоминался бы теперь только в учебниках политической экономии.

Революционный хилиазм не кончился с Фомой Мюнцером и Новым Иерусалимом Иоанна Лейденского. Он вдохновлял крайне левые потоки всех революций XVII, XVIII, XIX и XX веков, менялся только язык, на каком он выражался, но суть оставалась всё той же.

Века разума, пришедшие на смену векам веры, вовсе не были более разумными. Разум, то есть самосознание и способность думать при помощи абстрактных символов, никогда еще в жизни людей не торжествовал. Современные науки о человеке приходят к выводу, который давно уже напрашивался: человек, homo sapiens вместе с тем и homo demens[1]. Его отличает от животных не только разум, но и безумие. Достаточно взять в руки газету или открыть радио, чтобы в этом убедиться. Вот почему романтический испуг перед рационализмом мне кажется преувеличенным. Люди не стали похожими на гуиннгмов, встреченных Гулливером мудрых и добродетельных лошадей, все поведение которых определялось не страстями, а исключительно доводами рассудка.

[1] Человек безумный (*лат.*).

Не стали похожими на гуиннгмов даже «философы» XVIII века. Вопреки их пылкому рационализму, они были продолжателями средневекового хилиазма. Европейское общество слишком долго жило ожиданием нового неба и новой земли, чтобы удовлетвориться идеалом мудрости и гражданских добродетелей древних. В иудео-христианской цивилизации миф вечного возвращения был навсегда вытеснен обетованием Нового Иерусалима. Так же, как в средневековом хилиазме, в идеологии французской революции сталкивались два разных, два противоречивых представления о Царстве: одно вело к провозглашению евангельского в своем происхождении идеала свободы, равенства и братства, другое к истреблению «врагов народа», к борьбе с гидрой, к «святой» гильотине, к диктатуре якобинцев, к революционному империализму. Но только обещание полного преображения превратило идеологию французской революции в своего рода новую мировую религию. Так же и марксизм. Его сделали опиумом народа не многотомные исследования экономических и социальных условий в капиталистических странах сто лет тому назад, а все та же, только замаскированная видимостью научности, мессианская вера, которая вдохновляла эгалитарно-коммунистические движения Средневековья.

Словарь для перевода с языка революционного хилиазма на язык марксизма составить нетрудно. Это не раз уже делалось. Мессия — Маркс. Остальные протагонисты эсхатологической драмы все те же. Господа, попы, купцы, промышленники по-прежнему воплощение сил зла, только теперь они называются не слугами Антихриста, а буржуями и лакеями капитализма. Капитализм — новый Вавилон. Он должен быть разрушен, сметен с лица земли. Это сделают бедняки, новый избранный народ, по-марксистски — пролетарии, рабочий класс. Диалектически пролетариат — отрицание буржуазии. Что это значит? Ведь дело тут идет не о головной диалектике, а о диалектике социальной жизни. Отрицание буржуазии по такой диалектике не может значить ничего другого, как ликвидацию буржуев и полубуржуев, уничтожение их в застенках органов или в лагерях медленной смерти Архипелага ГУЛАГ. Сталинщина не была поэтому чем-то случайным. Все попытки объяснить ее особыми историческими условиями, или тем, что у Сталина был подозрительный и жестокий характер, или тем, что русские прирожденные рабы и палачи — несостоятельны. Сколько бы нас ни уверяли, что Маркс был в сущности большой либерал, внутренняя логика марксизма непременно ведет к массовому террору. Мировая революция — коммунистический Армагеддон. Новые отношения между людьми сложатся только после того, как в «последнем и решительном» бою будут окончательно добиты остатки враждебных классов, тогда кончится эксплуатация человека человеком, и никакого отчуждения больше не будет, и даже никто больше не будет совершать антисоциальные поступки, разве только психи (предопределение специальных психбольниц).

Итак: под наукообразной облицовкой структура марксизма воспроизводит архетип средневекового революционного хилиазма. Но это там, где

коммунисты еще не захватили власть. В странах же, где у них вся власть, марксизм перерождается в нечто прямо противоположное и повторяет уже не средневековые анархо-эгалитарные коммунистические движения, а феодальную реакцию на эти движения.

Для отвода опасности социальной революции правящие классы феодального общества хотели заморозить его навечно. Они пытались остановить историю, остановить ход времени. Феодальная иерархия — владетельная знать, клерикальная «техноструктура», подлый народ — была объявлена установленной самим Богом по образу небесной иерархии серафимов, херувимов, архангелов и ангелов, и поэтому такой же окончательной, вечной. Всякая попытка ее изменить — греховна и преступна, посягательство на небесный порядок. Всякий прогресс: социальный, научный, технический — от дьявола. Клервоский монах, автор гимна освободительному машинизму, — редкое исключение. Восход промышленной и торговой буржуазии — дело демонических сил. Спаситель — рыцарь Ивен освобождает 300 порабощенных и голодных дев-прядильщиц. Посланник Бога, защитник куртуазного мира от натиска алчных слуг Антихриста, рыцарь осиян славой почти уже ангельского чина. Рыцарство — Божье воинство. Галаад уподобляется Христу.

Французская революция смела последние пережитки феодализма. Но став новым правящим классом, буржуазия сама прониклась охранным духом. Гизо увидел в триумфе буржуазии в XIX веке завершение исторической эволюции. Теперь уже не рыцарь, а буржуа воплощение всех добродетелей. В незабываемых «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский писал: «...и вдруг буржуа увидал, что он один на земле, что лучше его и нет ничего, что он идеал и что ему осталось теперь не то чтоб, как прежде, уверять весь свет, что он идеал, а просто спокойно и величаво позировать всему свету в виде последней красоты и всевозможных совершенств человеческих».

Хочет остановить время и новый правящий класс в «социалистических» странах.

У Георгия Иванова есть строки:

Россия, Россия рабоче-крестьянская!
И как не отчаяться —
Едва началось твое счастье цыганское
И вот уж кончается...

Анархо-эгалитарная пора большевистской революции продолжалась недолго. В «Чевенгуре» Пашинцев говорит Копёнкину: «Я вынес себе резолюцию, что в девятнадцатом году у нас все кончилось — пошли армии, власти и порядки, а народу — опять становись в строй; начинай с понедельника... Да будь ты... Всему конец: закон пошел, разница между людьми явилась — как будто какой черт на весах вешал человека... Говори — обман или нет?

— Обман, — с простой душою согласился Копёнкин».

Обман — ключевое слово «Чевенгура». Вместо жданного чевенгурцами «окончательного счастья жизни» и «государства житейского довольства и содружества» пришел иерархический, беспощадный, тоталитарный строй. Никакой уравниловки, никакой свободы. И этот строй объявляется совершенным, установленным навсегда. Всякая попытка его изменить — предательство, ревизионизм, переход на сторону капитализма.

«Новый класс», так же как феодальные правящие классы, ненавидит новшества и боится прогресса даже в науке, и это несмотря на свое будто бы научное мировоззрение. Еще не так давно теория относительности считалась в Советском Союзе идеалистической фантазией, кибернетика — буржуазной псевдонаукой, копенгагенская школа — чертовщиной. Даже из теории Павлова, официально противопоставленной фрейдизму, принималось только то, что можно было согласовать с партийной догмой. Пример показал уже Энгельс: по идеологическим соображениям он обозвал Ньютона «индуктивным ослом» и отверг два величайших научных открытия своего времени: второй закон термодинамики и теорию естественного отбора.

Правда, когда Капица довел до сведения Сталина, что если не дать ученым права пользоваться теорией квантов, то советской атомной бомбы не будет, физиков и математиков оставили в покое. Но классическая генетика и молекулярная биология были «реабилитированы» только после XX съезда. Да и по сей день ЦК КПСС строго следит, чтобы советские ученые не поддавались соблазнам идеалистических теорий буржуазных ученых. Несчетное число советских ученых стали жертвой марксистского мракобесия: одни подверглись участи Джордано Бруно, другие участи Галилея.

Имеется в странах «социалистического» лагеря и свой образец героя: член партии, наделенный, как когда-то рыцарь или буржуа, легендарными добродетелями, правда, другими и не соответствующими общечеловеческой морали.

Современный коммунизм — двуликий Янус. Об этом часто забывают. Сегодня страны, где правят коммунисты, — самые реакционные, тоталитарные, неподвижно застывшие, неспособные к преобразованию и развитию страны. Да и какое может быть диалектическое развитие в обществе, где больше нет, так во всяком случае утверждается, классовых противоречий. Чевенгурцы правильно это почувствовали: с победой коммунизма история кончилась, время остановилось. Но на страны, где коммунисты еще не захватили власть, марксизм продолжает надвигаться в своей революционной форме, как новая мессианская религия, как социальный миф небывалой еще взрывчатой силы, как расплавленная лава извержения.

Чем объясняется безумное ослепление людей, которые не верят, что, когда эта лава застынет, из нее образуется тоталитарный Архипелаг ГУЛАГ? Борьба с этим ослеплением обречена на неудачу, если не понять, что марксизм, пусть и обманно, отвечает надежде, принесенной в мир две тысячи лет тому назад. Так же как средневековый анархо-эгалитарный хилиазм и так же как идеология французской революции, марксизм есть христианская ересь, левацкий загиб

латинского христианства. По выражению отца С. Булгакова, Маркс «транспортирует на безбожный язык своего материалистического экономизма древние пророчества о Горе Божьей и мессианском царстве»..

Да что же может быть христианского, хотя бы даже еретического, в учении, которое привело на практике к тоталитарной каторге?

Во избежание недоразумений: я ни в какой мере не разделяю взглядов довольно многочисленных теперь католических и протестантских священников, которые безоговорочно принимают не только все экономические и политические анализы коммунистов, но и средства, какими те стараются осуществить свой проект «освобождения» человека. В трагической мировой кунсткамере они видят только тюрьмы Пиночета, а Архипелаг ГУЛАГ не примечают. Всякое насилие со стороны пролетариата, — говорят они, — оправдано. Странные христиане! Недавно по французскому телевидению один из них заявил: Бог открывается только в борьбе классов, долг каждого христианина бороться рядом с коммунистами против мирового капитала. Он даже возмущался, этот священник, что Бог пишется с большой буквы. Морис Клавель сказал о таких, что Христос для них только предтеча Маркса. И все-таки о. С. Булгаков прав: марксизм — переложение на язык безбожья и материализма пророчеств о Горе Божьей и мессианском царстве.

Приглашаю читателя вспомнить тут начало моей статьи: обетование мессианского царства справедливости, равенства и братской любви стало закваской всей иудео-христианской цивилизации. На этой закваске поднялся и марксизм. Вернее, марксизм воспользовался тем, что обетование это так долго не исполнялось.

В упомянутых уже мною «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский пишет о толпах рабочих, виденных им в 1862 году на улицах Лондона: «...эти миллионы, оставленные и прогнанные с пиру людского, толкаясь и давя друг друга в подземной тьме, в которую они брошены своими старшими братьями, ощупью стучатся хоть в какие-нибудь ворота и ищут выхода, чтобы не задохнуться в темном подвале...»

Перед этим Достоевский говорит: «И вы чувствуете, глядя на этих париев, что еще долго не сбудется для них пророчество, что еще долго не дадут им пальмовых ветвей и белых одежд, и что долго еще будут они взывать к престолу Всевышнего: “доколе, Господи”».

И вот приходит Маркс и говорит: не взывайте к Господу, его служители на земле всегда на стороне тех, кто бросил вас в подземную тьму. Они одурманивают вас опиумом религии, обещая вам в награду, если на земле вы будете безропотно покоряться, «небесные сласти». Но не отчаивайтесь: надежда, которой вы жили вот уже почти две тысячи лет, скоро исполнится: по железным законам истории приблизилось другое общество, более справедливое, братское и свободное, и это от вас зависит ускорить его приход: надо только устроить революцию, национализировать средства производства, ликвидировать враждебные классы, передавить, как вшей, всех злобных старушонок-процентщиц и тогда в мгновение ока все изменится: кончится экс-

плуатация человека человеком, между людьми сложатся новые отношения, каждый будет получать по потребностям, произойдет знаменитый прыжок из царства необходимости в царство свободы.

Но ведь это обман, — скажете вы, — утопия, которая ведет на самом деле к Архипелагу ГУЛАГ. Да, конечно, обман. Обман в наши дни тем больший, что на либерально-демократическом Западе рабочие, с тех пор как их видел в Лондоне Достоевский, уже вышли из подземной тьмы, и теперь уже не буржуи, а как раз коммунисты, когда приходят к власти, становятся «старшими братьями» и загоняют их обратно во тьму. И также обман и утопия идея, что можно очеловечить общество насилием и массовым террором. Но тот не читал пророков и Евангелия, кто отвергает вместе с марксизмом и стремление к социальной правде, которым марксизм пользуется для своей пропаганды.

Родословная марксизма сложна и запутана. Идеи растут в истории, как заколдованный лес, непрестанно разветвляясь, переплетаясь друг с другом ветвями и корнями, скрещиваясь, порождая ублюдочные сочетания, борются между собой и в то же время переходят друг в друга, подвергаясь непредвиденным чудовищным метаморфозам и оборачиваясь своею противоположностью. Коммунизм, например, все больше сращивается на наших глазах с посмертно торжествующим национал-социализмом.

Как найти дорогу в этом лесу? Тут все так перепутано, не прорубиться сквозь чащобу, не вылезти из споров. Ведь каждый из нас читает историю идей по-своему. Но на деле все гораздо проще: нам дана путеводная звезда, которая никогда не обманывает.

Несколько лет тому назад, выступая в Венском университете, Милован Джилас сказал: «Я не критикую коммунистическую утопию как таковую... утопия полезна, ибо человечество не может выжить без идеала общества, более справедливого и более свободного. Но когда утописты захватывают власть и пытаются осуществить утопию насилием, тогда получается прямо противоположное идеалу».

Это очень близко к тому, что говорил Лев Толстой о французской революции. 20 августа 1904 года он записывает в своем дневнике: «Читал историю французской революции, становится несомненно ясно, что основы революции (на которые так несправедливо нападает Тэн) несомненно верны и должны быть провозглашены... ошибка была только в том, что провозглашенные принципы предполагалось осуществить так же, как и прежние злоупотребления: насилием».

Другими словами: не провозглашение прав человека, свободы, равенства и братства — зло, ведь это глаголы Нового Завета, а зло, когда к ним прибавляют еще два слова: «или смерть!».

Никогда не прибавлять к оглашению своего идеала этих слов. Более того, никогда не говорить ничего, что может натолкнуть кого-нибудь на мысль их прибавить, — вот не обманная нить Ариадны.

Ни революционеры, ни контрреволюционеры обычно не хотят этого знать. Огульные антимарксисты делают еще другую ошибку. Они отвергают

не столько даже средства, какими коммунисты пользуются для осуществления своего проекта, сколько самый этот проект, весь, без разбора и вместе с ним и все, что в него вошло от христианства: вселенскость, веру в человеческое действие, веру в возможность очеловечить общество и мир, обетование братства. Огульные антимарксисты неспособны поэтому противопоставить марксизму подлинную альтернативу. Они похожи на игрока, который сам отдает противнику все козыри, а потом удивляется, что тот выигрывает.

Для действительной борьбы с марксизмом нужно противопоставить ему не отрицание огулом, а соравный проект общества, более свободного и братского, решительно отвергая при этом все то, что в марксизме ведет к Чевенгуру и к Архипелагу ГУЛАГ, а именно: непонимание абсолютной ценности личности, непонимание неприкосновенности прав и свободы человека, насилие, террор.

В русской эмиграции ближе всего к начертанию такого проекта подошли участники журнала «Новый Град». Я не могу тут писать о «Новом Граде» подробно. Ограничусь только перечнем основных сотрудников и приведу несколько выдержек.

«Новый Град» был основан в Париже, в 1931 году. В нем принимали участие И. Бунаков-Фондаминский, Г. Федотов, Ф. Степун, о. С. Булгаков, Н. Бердяев, Н. Лосский, мать Мария и многие другие представители разных поколений зарубежной русской интеллигенции. Последний номер вышел в 1939 году. У новоградцев было два учителя: В. Соловьев и Н. Фёдоров. Так же, как Соловьев, они верили, что идея царства Божия обязывает к христианской политике, к стремлению преобразовать все общественные формы и отношения в духе высшей правды. Они называли себя сверхсоловьевцами. Подобно средневековым хилиастам, новоградцы выверяли свои чертежи земного града прозрением сходящего с неба Нового Иерусалима, подобно марксистам, верили в возможность очеловечить общество и мир. В номере третьем «Нового Града» о. С. Булгаков писал: «Христианство в идее Царства Божия имеет такой всеобщий, необъятный идеал, который в себе вмещает все благие человеческие цели и достижения. Но оно имеет и свое обетование, которое на символическом языке Апокалипсиса обозначается как наступление 1000-летнего царства Христа на земле. Этот символ, который есть путеводная звезда для истории, односторонним истолкованием давно уже заперт на замок, так что считается чуть ли не особой "ересью" неприятие его господствующего истолкования, которое от него ничего не оставляет. Но это предельное явление Царства Божия на земле, которое здесь символизировано, не только не может оставаться лишь пассивно воспринимаемым (а идеологически даже вовсе отвергаемым) пророчеством, но должно становиться активной "утопией", упованием. Конечно, сам по себе этот символ абстрактен, но он всегда наполняется конкретным содержанием, как очередной шаг или достижение в истории, как зов, обращенный из будущего к настоящему».

Как мы видим, это совсем не августиновское понимание Царства Божия на земле.

В другой своей новоградской статье о. С. Булгаков пишет: «Научное естествознание и техника раскрывают перед человеком мир как безграничные возможности. Глухая и косная бесформенная материя делается прозрачна и духовна, становится человеческим чувствилищем и как бы отелеснивается. Этим является космизм человека, его господственное призвание в мире... Философы много истолковывали мир, пора его переделать, — мир дан не для поглядения, все трудовое, ничего дарового, — так почти одновременно в разных концах Европы и на разных путях выразили одну и ту же мысль два философа хозяйства — К. Маркс и Н.Ф. Фёдоров. Этот колоссальный всемирно-исторический факт хозяйственного покорения, очеловечивания и в этом смысле преобразования (хотя еще и не преображения) мира — уже обозначился, хотя еще и не совершился в истории... Н.Ф. Фёдоров своим "проектом" преображения и победы над смертью путем "регуляции природы" сделал впервые попытку религиозно осмыслить хозяйство, дать ему место в эсхатологии. Царство будущего века совершается человечеством в регуляции природы...»

Читатель, может быть, удивится: чем же тогда новоградство отличается от хилиазма и марксизма? Да вот чем: утверждением абсолютной ценности личности, неприкосновенности ее свободы и прав, отказом прибавлять к своим лозунгам слова «или смерть», отказом считать каких-то людей не людьми, отказом считать «двуногих тварей миллионы» только орудием для достижения своих целей.

В номере двенадцатом «Нового Града» в статье «Христианство и революция» Бердяев говорит: «Христиане как будто бы лучше и чище поняли теперь вечную истину христианства, согласно которой дороже всего человек, человек с его страданиями и радостями, со своей судьбой во времени и вечности выше обществ и государств. Это есть революция в установке ценностей, но революция, которая требует изменения в отношении к средствам борьбы, которыми пользуются для осуществления целей, приближения средств к целям. И в этом все отличие христианской от нехристианской революции — христианская революция не допускает обращения с каким-либо человеком, как с простым средством, или с врагом, подлежащим истреблению, или как с камнем, нужным для построения нового общества. Это и есть христианский персонализм. Он предполагает спиритуализацию и этизацию борьбы, излечение от терзающей мир ненависти».

Новоградцы об этом помнили во всех своих замыслах общественных преобразований. За исключением Бердяева, они связывали защиту вечной правды личности и ее свободы с принципами политического либерализма и «формальной» демократии. В восьмом номере Георгий Федотов в статье «Основы христианской демократии» писал: «В настоящее время, когда демократия терпит крушение в большей части европейского мира, ее защита для православного богослова и социолога делается особенно трудной. Общие предпосылки христианского общежития, которыми жил XIX век, перестают быть убедительными для наших современников. Те, кто верил, как ново-

градцы, в их божественное происхождение, обязываются к новой апологии вечных истин».

Еще одна цитата. В четвертом номере Ф. Степун пишет: «Самая страшная сущность враждебного нам большевизма заключается в том, что он не понимает инакомыслящих, что он отрицает диалог, дискуссию, свободу мнения, а потому (в качестве институционного закрепления всего этого) демократию и парламентаризм».

Новоградство — синтез тенденций, которые русская интеллигенция привыкла друг другу противопоставлять. Вот почему редко кто теперь новоградские идеи вспоминает. Но я думаю, они возродятся в движении русской мысли к созданию подлинной альтернативы Чевенгуру и Архипелагу ГУЛАГ.

Новоградцы спрашивали, не как веруешь, а какого ты духа.

## РОДОСЛОВНАЯ БОЛЬШЕВИЗМА

*(По поводу утверждений Ричарда Пайпса, Тибора Самуели и некоторых других западных историков о том, что корни большевизма нужно искать не в марксизме, а в русской истории)*

Об этом опасном заблуждении мне уже приходилось писать. На Западе всё больше распространяется мнение, что тоталитарный советский строй порожден вовсе не марксизмом, а русской историей. Мнение это стало общим местом. Только ленивый этого не повторяет. Большевики, дескать, не столько социализировали Россию, сколько русифицировали социализм. Сталин просто-напросто восстановил «исконные тоталитарные устои русского государства, созданные византийским цезаре-папизмом, татарским игом, московскими царями и бюрократическим абсолютизмом Империи, описанным маркизом де Кюстин. И вот еще — феодализма в России не было! Короче говоря, белого царя сменил красный, но все осталось по-старому. А марксизм тут ни при чем и никакой ответственности за Архипелаг ГУЛАГ не несет. Поэтому бояться прихода к власти «наших» коммунистов не нужно. Никакие они не сталинцы. Не верите? Напрасно. Смотрите, сам редактор «Юманите» Ренэ Андриё пишет: «Французская коммунистическая партия со всей необходимой решительностью осудила эксцессы сталинского времени в Советском Союзе. В наши дни она одна обличает все покушения на свободу, где бы в мире они ни происходили».

Однако послушаем, что рассказывает в своей последней книге «В общем...» бывший коммунист Клод Руа. Когда в 1957 году его исключали из французской компартии, Жорж Марше кричал: «Миллионы арестованных в Советском Союзе, десятки тысяч в Венгрии! А я говорю тебе: еще недостаточно арестовывали, еще недостаточно сажали в тюрьмы!»

И вот с этим самым Жоржем Марше, еще недавно «любимым сыном Москвы», французские социалисты собираются «восстановить свободу во всем ее сиянии». Для оправдания этого противоестественного союза и потребовалась теория, что сталинщина исключительно русская болезнь. Запад никогда ею не заразится. Климат другой.

За Сталиным пришлось отступиться и от Ленина. После выхода первого тома «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына и некоторых других исследований стало больше невозможно сомневаться: сталинская модель социализма в главном сложилась уже при Ленине. Некоторые французские левые, Морис Клавель, Андрэ Глюксман и их друзья, сделали тогда единственно правильный вывод: зачаток Архипелага ГУЛАГ в марксизме, а не в русской истории. Но большинство левых не хочет этого допустить. Марксизм во что бы то ни стало нужно выгородить, даже ценой отказа от Ленина. Первый шаг: Ленин, конечно, марксист, спора нет, но ему помешали особые исторические обстоятельства: отсталость России, пережитки царизма, привычка и даже «любовь русских к рабству», гражданская война, разруха, капиталистическое окружение и т.д. Второй шаг, на него, впрочем, многие левые еще не решаются: Ленин вовсе не завершитель марксовой мысли, как это еще недавно утверждалось. Нет, его учитель на самом деле не Маркс, а Ткачёв. Этой уверткой, придуманной в свое время меньшевиками, начинают теперь пользоваться и на Западе. Так, в 1974 году в Англии выходит книга бывшего венгерского коммуниста Тибора Самуели «Русская традиция». Недавно эту книгу перевели на французский. Некоторые критики поспешно объявили ее великой. Объяснение, как при социализме мог возникнуть Архипелаг ГУЛАГ, найдено: Ленин — последователь Ткачёва!

Книга Самуели во многих отношениях действительно ценная. В ней с глубоким знанием и добросовестностью рассказана повесть русской революционной интеллигенции. Но этот подробный и нелицеприятный рассказ никак не подтверждает главного тезиса Самуели, а именно, что большевизм будто бы вышел не из марксизма, а из особой варварской русской революционной традиции, немыслимой на Западе.

Решить вопрос, у кого, главным образом, учился Ленин, не трудно. Достаточно вспомнить: в многотомных его сочинениях имена Маркса и Энгельса мельтешат чуть не на каждой странице, а имя Ткачёва названо, если не ошибаюсь, раза два, три. Правда, тут обычно ссылаются на рассказ Бонч-Бруевича о том, как Ленин после октябрьской революции уговаривал своих сообщников изучать Ткачёва (и Нечаева).

Что же, верно, так и было. Ткачёв должен был Ленину нравиться. В знаменитой своей брошюре «Что делать?» великий Ильич отзывается о нем с одобрением: «Подготовленная проповедью Ткачёва и осуществленная посредством "устрашающего" и действительно устрашавшего террора попытка захватить власть — была величественна».

Но когда в той же брошюре Ленин говорит о родословном дереве социализма, он называет не Ткачёва, а Маркса и Энгельса и их учителей: «Как немецкий теоретический социализм никогда не забудет, что он стоит на плечах

Сен-Симона, Фурье и Оуэна — трех мыслителей, которые, несмотря на всю фантастичность и весь утопизм их учений, принадлежат к величайшим умам всех времен и которые гениально предвосхитили бесчисленное множество таких истин, которые мы доказываем теперь научно, — так немецкое рабочее движение не должно никогда забывать, что оно развилось на плечах английского и французского движения...»

На тех же самых, а не на каких других плечах стоял и развивался Ткачёв. Его учителя: Макиавелли, якобинцы, Огюст Бланки и «утопические» социалисты, которых он переводил на русский язык. Всё те же авторы, властители дум Сенкаля и других революционных героев романа Флобера «Воспитание чувств».

Вспоминая о своих встречах с Ткачёвым в редакции журнала «Дело», П.П. Суворов описывает его так: «небольшого роста, тоненький, молоденький, стыдливый, вкрадчивый, скрытный, с улыбающимся личиком, Петр Никитич походил на институтку, в первый раз попавшую в общество». Этот похожий на институтку юноша мечтал о строе, при котором будут господствовать «мир, любовь, согласие и братство, при совершенной солидарности интереса всех людей».

Как ускорить приход такого строя? Сестра Ткачёва А. Анненская рассказывает: «Он со всем пылом молодости ненавидел господствующий в России режим и находил, что для обновления страны необходимо ни мало ни много, как уничтожить всех людей старше 25-ти лет».

Однако значит ли это, что только русская жизнь могла породить такого политического Франкенштейна, как Ткачёв? Кровожадных мечтателей, готовых для счастья человечества без счета губить человеческие жизни, было немало и на Западе. Не говоря уже о знаменитых: Марате, Робеспьере, Сен-Жюсте, Кутоне. Но вот, например, что пишет Герцен о своей встрече в Женеве с «умеренным» немецким революционером Гейнцем: «Он впоследствии писал, что достаточно избить два миллиона человек на земном шаре, и дело революции пойдет как по маслу». Конечно, по теперешним стандартам два миллиона не так уж много, но всё же...

Сам Ткачёв совершенно справедливо называл себя якобинцем. Подобно другим русским якобинцам и бланкистам, он считал, что только «Акулина», дисциплинированная организация заговорщиков, способна совершить переворот и захватить власть. Но Ткачёв был не только якобинцем. Покровский не без основания назвал его первым русским марксистом. Он действительно первый из русских политических мыслителей изучил и принял марксизм и первый стал пользоваться марксистским анализом. Только в отличие от ортодоксальных марксистов он допускал возможность для России миновать период капиталистического развития и непосредственно, одним скачком перейти к социализму. Обычно его считают народником, но он не идеализировал, как они, общину и артель и не верил, что темная, невежественная и консервативная крестьянская масса способна сама разобраться в причинах своего бедственного положения и найти средства, как его улуч-

шить. Нет, сделает революцию и построит социализм образованное, сознательное, сплоченное, небольшое революционное меньшинство.

По просьбе друзей Лаврова Энгельс выступил с высокомерной отповедью Ткачёву. Но Ткачёв в «Открытом письме господину Фридриху Энгельсу» продолжал настаивать: в России, именно благодаря ее промышленной отсталости и отсутствию городского пролетариата и настоящей буржуазии, условия для социальной революции благоприятнее, чем в Германии. Об этом письме Маркс сказал: «Это так глупо, что могло быть написано Бакуниным».

Маркс и Энгельс защищали тогда ортодоксально марксистскую точку зрения. «Буржуазия, — писал Энгельс, — так же необходима для социальной революции, как сам пролетариат. Следовательно, заявлять, что такая революция легче осуществима в стране, где нет ни пролетариата, ни буржуазии, это значит обнаружить незнание азбуки социализма». Бердяев сделал отсюда вывод: «Маркс и Энгельс говорили о буржуазном характере революции в России и были скорее "меньшевиками", чем "большевиками"».

Можно ли с этим согласиться?

В 1877 году, не вспоминая своих насмешек над Ткачёвым, Маркс и Энгельс круто меняют свой взгляд на возможность революции в России. Не называя Ткачёва, они принимают теперь *все его положения*: мировая революция начнется в России, ее сделает небольшая организация заговорщиков. Благодаря общине Россия может миновать капиталистическую фазу развития и прийти к социализму прежде всех.

В 1881 году Маркс пишет Вере Засулич: он никогда, мол, не утверждал, что капиталистическая фаза неизбежна повсюду. Изучение убедило его, что община —горнило русского возрождения. В 1882 году в предисловии к новому русскому изданию «Манифеста коммунистической партии» Маркс и Энгельс признают, что община может послужить исходной точкой развития коммунизма.

Когда землевольцы раскололись на чернопередельцев и народовольцев, Маркс принимает сторону террористов, а не чернопередельцев, хотя те как раз в то время становятся ортодоксальными марксистами. По выражению одного историка, в Марксе снова проснулась его якобинская душа.

Но засыпала ли когда-нибудь эта якобинская душа Маркса? Он сам так часто с гордостью говорил о своем якобинстве. И в самом деле, разве не якобинским духом вдохновлено составленное им в 1850 году «Обращение Центрального комитета Лиги коммунистов»: «...им (рабочим) необходимо образовать по возможности прочную и сильную организацию... они не только не должны выступать против так называемых эксцессов, против случаев народной мести по отношению к ненавистным лицам или официальным зданиям, с которыми связаны только ненавистные воспоминания, они должны не только терпеть эти выступления, но и взять на себя руководство ими... рабочие должны не только стремиться к установлению республики, единой и неделимой, но сверх того пытаться осуществить абсолютную централизацию державного могущества в руках государства».

Не этим же ли глубоким, утробным якобинством Маркса объяснялись и его ненависть к федерализму Прудона, к анархизму Бакунина и к Гельветической конфедерации, и его усилия преобразовать Первый интернационал в объединенную партию, и его убеждение, что в Германии борьба за централизацию — это борьба между современной цивилизацией и феодализмом.

Отец «научного» социализма безоговорочно одобряет революционный террор. Он видит в нем эффективное средство для разжигания революции, своего рода фитиль, который вызовет общий взрыв. 5 ноября 1880 года он пишет Зорге, что в России «наш успех еще значительнее. Мы имеем там... центральный комитет террористов». После суда над убийцами Александра II в письме к дочери Женни от 11 апреля 1881 года хвалит манифесты Исполнительного комитета «Народной воли»: это «не мальчишеские манеры ребяческих крикунов... они, наоборот, стремятся убедить Европу, что их modus operandi является специфически русским, исторически неизбежным способом действия».

Мечтая о «социал-демократических Желябовых», Ленин знал, что Маркс его одобрил бы. То же и Энгельс. В споре Плеханова с Львом Тихомировым он на стороне террористов.

Плеханов же вызывает у него только раздражение. Между тем в этом споре Плеханов, считая народовольцев наследниками Ткачёва, повторял все те доводы, какие десять лет до того сам Энгельс приводил для посрамления «недоучившегося гимназиста».

В 1885 году Энгельс пишет Вере Засулич: «Россия приближается к своему 1789 году... если когда-либо бланкистская мечта перевернуть общество путем небольшого заговора имела малейший шанс на успех, то это, несомненно, теперь в Санкт-Петербурге... Когда 1789 год происходит в такой стране, то не далек и 1793 год». То есть год начала террора. Далее Энгельс писал: «На мой взгляд, Россия больше всего нуждается теперь в толчке, способном развязать революцию. Будет ли сигнал подан той или другой группой, под тем или другим знаменем, не имеет значения».

Только в начале 1890-х годов, когда бурный рост капитализма в России стал очевиден, Энгельс расстается с надеждой на скорый приход русской революции и возвращается к ортодоксально-марксистскому положению, на котором настаивал Плеханов: капиталистический период развития неизбежен.

Зачем все это вспоминать? Да вот зачем: теория, которая ввела в заблуждение Бердяева, что Маркс и Энгельс были скорее «меньшевиками», чем «большевиками», снова пущена теперь в ход. Она нужна, чтобы убедить Запад не бояться прихода к власти «наших» коммунистов. Этот усыпительный миф губителен. На самом деле Маркс и Энгельс не были «меньшевиками», не были ортодоксальными марксистами и тем более в последние годы их жизни хорошими либеральными старичками, какими их стараются теперь представить. Нет, они всегда были такими же якобинцами, как Ткачёв и Ленин, и всем теориям всегда предпочитали революцию, кем бы и какими бы средствами она ни делалась. Доживи Маркс до октября 17-го, он так же бы

его благословил, как благословил в свое время «методы» народовольцев-террористов. Поэтому неверно говорить, что Ленин «исказил» Маркса, и так же неверно подкидывать ему какую-то особую русскую революционную традицию. Он был верный ученик Маркса и Энгельса и вместе с ними учился революционной науке и революционной морали у Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона и несчастного Бабёфа. У них у всех та же родословная, все они питомцы одной и той же международной революционной среды, порожденной апокалиптическим взрывом французской революции.

В мае 1905 года на III партсъезде Ленин заявил: «Пугать якобинством в момент революции величайшая пошлость. Демократическая диктатура, как я уже указывал, есть не организация "порядка", а организация войны. Если бы мы даже завладели Петербургом и гильотинировали Николая, то имели бы перед собой несколько Вандей. И Маркс прекрасно понимал это, когда в 1848 г. в "Новой Рейнской газете" напоминал о якобинцах. Он говорил: "Террор 1793 г. есть не что иное, как плебейский способ разделаться с абсолютизмом и контрреволюцией". Мы тоже предпочитаем разделываться с русским самодержавием плебейским способом и предоставляем "Искре" способы жирондистские».

Мудрый Токвиль говорит: «Из XVIII века и революции вытекают две реки: одна вела людей к свободным учреждениям, другая к абсолютной власти». Первую из этих двух рек условно назовем Жирондой. Из нее возник политический либерализм: утверждение неотъемлемых прав человека, гражданские свободы, плюрализм, разделение властей, конституционный парламентский строй. Вторая донесла до наших дней ненависть якобинцев к либерализму. Продолжаясь в XIX веке, якобинская традиция способствовала в условиях промышленной революции произрастанию современных тоталитарных идеологий. Сподвижник Бабёфа Буонаротти передает революционерам романтической эпохи эстафету эгалитарного коммунизма.

Огюста Бланки, и Маркса и Энгельса, и их учеников Ткачёва и Ленина вспоила вторая река Токвиля. Большевистская революция — начало ее великого разлива. Она затопила в наши дни уже полмира.

Сам Ленин постоянно подчеркивал преемственную связь большевизма с якобинством. В самом деле, сходство двух диктатур разительно. На это уже много раз указывалось. Только, к счастью Франции, 9 термидора спасло ее от дальнейшего этого проклятого сходства.

Так же, как большевики, Робеспьер и Сен-Жюст до прихода к власти были убежденными противниками смертной казни. Несмотря на все свое преклонение перед автором «Общественного договора», Сен-Жюст осуждал Жан-Жака за то, что тот требовал смертной казни для отступников от «общественной религии»: «О, великий человек, я не могу тебе простить, что ты оправдал смерть!»

Но, войдя в Комитет общественного спасения, Сен-Жюст говорит уже по-другому: «Республика не будет в безопасности до тех пор, пока остается в живых хотя бы один ее противник».

Один за другим сыпятся окаянные декреты. Эмигранты и контрреволюционеры, всякий, кого видели с белой кокардой на шляпе, объявляются вне закона. Их лишают права на суд присяжных, их дела разбираются без соблюдения правовых гарантий и процессуальных правил.

В апреле 1793 года отменяется депутатская неприкосновенность. Учрежден Революционный трибунал.

Предтеча Лацисов и Вышинских, Робеспьер доказывает, что в руках победившей партии суд должен стать орудием борьбы и расправы. Члены Революционного трибунала — слуги якобинской диктатуры. Они не должны быть связаны никакими «старомодными» требованиями закона. Быть во время войны справедливым и соблюдать законы — нелепо. Верховный закон — спасение революции, достигаемое уничтожением ее врагов. Подсудимый признается виновным не потому, что его уличили в совершении вменяемого ему преступления, а потому, что он принадлежит к определенному классу общества.

Приговоры Революционного трибунала не подлежат обжалованию и приводятся в исполнение в 24 часа. Разработанный Сен-Жюстом закон 17 ноября объявляет «подозрительными» целые пласты населения: всех аристократов, всех не присягнувших священников, всякого, кто словом, делом и по своим личным связям проявил «дружбу» к тирании, федерализму и контрреволюции, всякого, кто не получил от своей секции свидетельства о благонадежности, всякого, кто не заплатил налоги, всякого, кто не может доказать, что в прошлом всегда вел себя как истинный патриот, всякого... и т.д.

Робеспьер возмущался, когда «народное правосудие» осмеливались называть подавлением: щадить роялистов и «негодяев» — это значит не жалеть невиновных, не жалеть несчастных, не жалеть человечество. Когда идет война, единственное средство избавиться от «нечистых» — это всех их уничтожить.

Мысль не новая. Через якобинцев она передалась коммунистам. По продолжительности, размаху и свирепству большевистский террор несоизмеримо превзошел якобинский, но его вдохновение и методы те же.

Когда Вышинский заявляет, что революционные трибуналы — орудие расправы с классовыми врагами, когда Лацис учит, что на следствии не нужно искать «материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал словом и делом против Советской власти», а нужно только спрашивать «к какому классу он принадлежит», разве это не язык Робеспьера и Сен-Жюста? Сходство полное. Завершитель мысли Робеспьера и предтеча Маркса Бабёф считал, что побежденный класс нужно уничтожить, так как он никогда не примирится со своим поражением. Цель оправдывает средства. «Любовь к революции, — признавался Бабёф, — убила во мне всякую другую любовь и сделала меня жестоким, как дьявол». Верховная администрация должна иметь власть приговаривать к каторжным работам всех виновных в антисоциальном поведении и всех тунеядцев. Бабёф предусматривал даже устройство исправительно-трудовых колоний *на островах*.

А вот и железный занавес. Космополиты-бабувисты настаивали на полной изоляции Франции. Тут только на первый взгляд противоречие. «Возрожденный» народ нужно уберечь от «заразы дурных примеров». Заговорщики, — рассказывает Буонаротти в «Истории заговора равных», — собирались принять следующие меры: отгородить Францию от всего остального мира рогатками и впускать только «гонимых друзей свободы», которые будут искать во Франции политического убежища; с теми же из иностранцев, кто захочет насаждать чуждые и фривольные моды, бороться самым решительным образом; за всеми вообще иностранцами учредить строгий надзор и в определенных случаях даже арестовывать, а тех, кого под флагом филантропии, а на самом деле с коварной целью сеять раздор и создавать фракции, будут засылать враждебные иностранные правительства, — тех изгонять. Свободные отношения с другими странами невозможны до тех пор, пока эти страны не примут французские принципы.

Было бы не худо, если бы западные мудрецы, вместо того, чтобы выводить большевизм из русской истории, вспомнили «Заговор равных». Им было бы легче тогда понять советский подход к Хельсинкскому Заключительному акту.

Но вернемся к якобинскому террору. Для достижения какой цели он служил? Не только защитить революцию от врагов, но и уготовить путь для прихода обетованного «философами» царства счастья, свободы, мудрости и добродетели. Для этого недостаточно переделать общество, нужно еще и перевоспитать человека, освободить его от власти старых предрассудков, эгоистических побуждений и дурных привычек, сделать из него нового цельного «добродетельного» человека, которого больше не будут раздирать ни внутренние противоречия, ни дух своеволия. Он всегда будет желать, чувствовать и думать только то, чего требует непогрешимая «общая воля»... Новое гармоническое общество могло бы уже существовать, но его приходу мешают эгоизм и развращенность противников революции. Их нужно уничтожить. «Укрощайте врагов свободы террором».

Так же хотели переделать общество и человека Маркс и Энгельс и их наследники большевики. Они говорили об этом почти теми же словами, что якобинцы. Построить общество, где не будет больше ни классовых противоречий, ни эксплуатации человека человеком. Воспитать нового коммунистического «тотального» человека, который не будет совершать антисоциальные поступки. Но прежде нужно «по-якобински» разделаться со всеми, кто мешает построить социализм: враждебными классами, контрреволюционерами, врагами народа, ренегатами.

Кратко укажу еще на некоторые другие важные черты сходства между большевиками и якобинцами. Так же, как большевики, Робеспьер до прихода к власти требовал неограниченной свободы печати. Но, возглавив Комитет общественного спасения, он гневно ополчается на «продажных писак, сговорившихся убить общественную добродетель, сеять раздор и готовить политическую контрреволюцию...»

То же и Сен-Жюст: «Революции нужен или диктатор, чтобы спасти ее силой, или цензор, чтобы спасти ее добродетелью». «Или.. или» потом отбросили. Робеспьер стал и диктатором, и добродетельным цензором.

29 марта 1793 года особым законом была установлена смертная казнь для тех журналистов и авторов памфлетов, кто будет нападать на суверенитет народа, призывать к роспуску Конвента и к восстановлению монархии.

Требование свободы печати, когда революция торжествует, — контрреволюционно, так как оно подразумевает свободу бороться с революцией, а такой свободы не должно быть.

Знакомая погудка. Разве не так же рассуждают и советские цензоры? Последние некоммунистические газеты были закрыты уже в 1918 году. Правда, еще до декабря 1925 года в партийных журналах появлялись время от времени статьи представителей внутрипартийной оппозиции. А незадолго до XV партсъезда ЦК даже опубликовал в форме приложения к «Правде» несколько номеров «Дискуссионного листка» с контртезисами, статьями и речами оппозиционеров. Но это в последний раз прозвучали в советской печати голоса несогласных с политикой ЦК.

Уже в 1918 году были запрещены все некоммунистические партии, даже социалистические. Затем взялись и за внутрипартийную оппозицию. В 1921 году X партсъезд предписывает немедленно распустить все фракционные группы. С тех пор борьба с оппозицией и фракциями все усиливается. Оппозиционеров начинают исключать из партии, а потом и расстреливать.

В своей ненависти к партиям и фракциям, в своих расправах с оппозицией, в своей одержимости идеей монолитного единства большевики, как во всем, подражатели якобинцев. Они затвердили уроки Сен-Жюста: «При режиме свободы, основанном на абсолютной истине и добродетели, партии и фракции — преступный анахронизм. Фракции были нужны при старом режиме, они способствовали изоляции деспотизма и ослаблению тирании. Сегодня они преступны, так как они изолируют свободу... Борьба партий уводит сердца и умы от любви к отечеству. Всякая партия преступна... всякая фракция преступна... фракции самый страшный яд в политическом организме... Разделяя народ, они подставляют на место свободы партийные страсти...»

Якобинцы заявляли, что их диктатура не только не нарушает свободу, а, наоборот, ее укрепляет. Одни только злонамеренные, эгоистичные и развращенные люди могут жаловаться, что их свобода нарушается. Свобода будет восстановлена, только когда борьба с врагами свободы кончится полным их уничтожением, народ перевоспитан и оппозиция разгромлена. Пока же существует оппозиция, свободы не может и не должно быть.

Робеспьер не сомневался: различия в мнениях — это не что-то естественное, а выражение эгоизма, извращенности и глупости.. Когда после казни жирондистов, дантонистов и эбертистов, то есть, говоря сталинским языком, после ликвидации правого, праволевацкого и левацкого уклонов, в Конвенте возникли новые разногласия, Робеспьер был в ужасе.

Став диктатором, он отказался от своего прежнего убеждения в необходимости разделения властей. Теперь он утверждает: революционное правительство, чтобы охранить свободу от фракций, должно обладать всей полнотой власти и необходимым аппаратом для действий, быстрых и не стесненных никаким легальным контролем, должно мобилизовать все силы народа, чтобы бить мощно и беспощадно. При разделении властей это невозможно. Поэтому разделение властей долой. Вся власть Комитету общественного спасения!

Вспомним: Руссо считал, что разделять суверенную власть народа на законодательную, исполнительную, административную и т.д. так же нелепо, как составлять человека из нескольких разных тел: у одного тела только глаза, у другого только руки, у третьего только ноги и ничего больше.

При розыске родословной большевизма Руссо не обойти. По выражению Жоржа Сореля, царство Руссо, начавшись в 1762 году, продолжалось почти сто лет. Думаю, продолжается еще и теперь. И якобинцы, и Маркс, и большевики вышли из его учения о свободе и общей воле. Учение это неясное и противоречивое. Существуют самые разные его толкования. Наиболее проницательным и убедительным мне представляется предложенное проф. Талмоном, автором капитальных исследований, для понимания природы современного тоталитаризма.

Согласно Руссо, человек жил в естественном состоянии по своей, ничем не ограниченной воле. Но заключая с другими людьми общественный договор, он передает свою естественную свободу и все свои естественные права коллективу и предоставляет общей воле этого коллектива неограниченную над собой власть. Он перестает жить для самого себя, становится только частицей коллектива, и все его мысли, и чувства, и поступки определяются теперь общей волей.

Казалось бы, Руссо должен был признаться, как признался простодушный Шигалёв: «Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом».

Но ни сам Руссо, ни его ученики якобинцы, ни ученики якобинцев коммунисты такого признания не делают. Наоборот, они уверяют, что, именно когда человек тотально отдает себя коллективу, тогда-то он и становится свободным.

Идея общественной коллективной личности Руссо мне кажется столь же невнятной, как евразийские рассуждения о соборных, симфонических личностях. Одно несомненно, идея эта ведет к тоталитаризму. Во всяком случае Робеспьера привела. Еще невнятней учение Руссо о коллективной воле. Она — воля народа, но вовсе не всегда совпадает с волей всех. Ведь она неизменно стремится к общему благу, а воля всех только сумма частных воль, преследующих частные интересы. «Однако необходимо, чтобы все голоса были сосчитаны; всякое формальное исключение нарушает всеобщность».

Спрашивается, если общая воля, постоянная, нерушимая и существует как бы объективно, вроде платоновских идей, и может не совпадать ни с во-

лей всех, ни с волей хотя бы большинства, то почему собственно тогда необходимо подсчитывать голоса? Тем более что в некоторых случаях, например, когда отечество в опасности, общую волю могут выражать всего несколько человек, и даже один только человек, наиболее достойный. Он становится верховным вождем, диктатором, даже может приостановить на время действие законов.

Робеспьер был великим почитателем Руссо. Ход мысли Неподкупного легко себе представить. Руссо указал только признак для распознания общей воли: она всегда направлена к достижению общего блага. И я, Робеспьер, я тоже всегда хотел общего блага, всегда любил добродетель, и у меня нет никаких личных, никаких частных интересов. Значит, моя воля совпадает с общей волей.

Робеспьер считал, что истину и справедливость воплощает только одна партия — якобинская. Впрочем, это не партия в обычном смысле, а просвещенный авангард народа, выразитель его воли, так как сам народ, пока он темен и нищ, не способен ее выразить. Поэтому, если народ не захочет подчиняться своей собственной подлинной воле, осуществляемой диктатурой якобинцев, его надо заставить. Применение силы и устрашения, таким образом, оправдано. Цель оправдывает средства. Право каждого свободного выражать свою волю и свое мнение отрицается. Робеспьеру открылось: тот наиболее достойный человек, о котором говорил Руссо, — это именно он, Робеспьер.

Бабёф считал, что диктатура Робеспьера была «дьявольски хорошо воображена» и что робеспьеризм и демократия два однозначных слова. Робеспьер и есть партия, и даже весь народ, то есть санкюлотрия. Бабёф признавал народом только санкюлотов.

Комитет общественного спасения — прообраз ленинского ЦК. Владимир Ильич полностью воспринял идею просвещенного авангарда. Конечно, пролетариат исполнитель воли Истории, но сам пролетариат своими собственными силами в состоянии выработать лишь сознание тредюнионистское, но не самостоятельную идеологию. Классовое политическое сознание может быть принесено рабочему движению только извне, коммунистами. «Поэтому наша задача, задача социал-демократии, состоит в борьбе со стихийностью, состоит в том, чтобы совлечь рабочее движение с этого стихийного стремления тредюнионизма под крылышко буржуазии и привлечь его под крылышко революционной социал-демократии».

Чтобы выполнить эту задачу, «партия вбирает в себя авангард пролетариата, и этот авангард осуществляет диктатуру». Сталин последовательно развил мысль Ленина: диктатура пролетариата есть, по существу, диктатура его авангарда, диктатура его партии.

Так большевистская партия оказывается носительницей воли истории. В брошюре «Что делать?», уже мною упомянутой, Ленин в ответ на обвинения в непонимании демократизма ссылается вовсе не на Ткачёва, а на пример немецких социал-демократов: «...у немцев достаточно уже развита полити-

ческая мысль, достаточно накоплено политического опыта, чтобы понимать, что без “десятка” талантливых (а таланты не рождаются сотнями), испытанных вождей, превосходно спевшихся друг с другом, невозможна в современном обществе стойкая борьба ни одного класса... И вот я утверждаю: 1) что ни одно революционное движение не может быть прочно без устойчивой и хранящей преемственность организации руководителей...»

Впрочем, организацию революционеров, этот «авангард пролетариата», может возглавить даже один человек. В 1920 году на IX съезде партии Ленин заявляет: «Советский социалистический демократизм единоначалию и диктатуре не противоречит: *волю класса иногда осуществляет диктатор*». В том же 1920 году на III Всероссийском съезде профсоюзов: «Берите тысяча девятьсот восемнадцатый год. Я уже тогда указывал на необходимость единоначалия, необходимость признания диктаторских полномочий одного лица, с точки зрения проведения советской власти. Все фразы о равноправии вздор».

На IX съезде член группы «демократического централизма» Сапронов выступил против Ленина с прямым обвинением: «Стремление к единоначалию видно не только в управлении фабриками и заводами, оно уже заметно в стремлении заменить советы, исполком, президиум губернаторами... Тогда зачем говорить о диктатуре пролетариата, о самодеятельности рабочих... Я тогда задам вопрос т. Ленину: а кто же будет назначать ЦК? А впрочем, и здесь единоначальник. Тоже здесь единоначальника назначили...»

Уже и раньше, на VIII съезде Осинский жаловался: «Деятельность партии была перенесена в ЦК. В ЦК устанавливалась политическая линия. Что делалось в самом ЦК, об этом местные органы не осведомлялись. Да и сам ЦК, как коллегиальный орган, в сущности говоря, не существовал. Ленин и Свердлов решали очередные вопросы путем разговоров друг с другом».

Это не мешало самому Ленину, как истому якобинцу, утверждать, что власть находится в руках «рабочего класса и крестьянства». «Волю класса иногда осуществляет диктатор».

Приведенных мною примеров сходства между диктатурой якобинцев и диктатурой большевиков, думаю, достаточно. Сомненья нет. Та же цель насильно переделать общество и человека, те же методы, та же программа действий, та же бешеная холодная ненависть к «врагам народа». Якобинцы и большевики люди одной веры. Эта вера с ее беспощадной моралью и обетованием революционного апокалипсиса пришла в Россию с Запада. «Допустим, но русские ее исказили». Нет, в самом главном, в самом страшном она не меняется в зависимости от обстоятельств места и времени. Так что и без татарского ига, опричнины, охранки и Ткачёва диктатура коммунистов была бы такой же. Думать, что Советский Союз все та же царская Россия, только фасад перекрасили, — вредное и очень опасное заблуждение. Это разные исторические явления, разного порядка, разного происхождения. Нежелание Запада это видеть может привести к трагическим и непоправимым последствиям. Надежда: «наш коммунизм не будет сталинским, у нас другая история» — надежда ложная. Коммунизм бывает только сталинский.

# ТАТАРСКОЕ ИГО И ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР

Глубоко почитая и любя Н.А. Бердяева за светлое и благородное вдохновение его мысли и за то, что он сказал, что человеческая личность не может быть средством даже для Бога, я все же не могу принять по совести некоторые другие его утверждения, по-моему, неверные и опасные. Таких утверждений особенно много в его знаменитой книге «Истоки и смысл русского коммунизма», которая вышла в 1937 году по-английски, а затем и на многих других языках:

— Особенно важно для западных людей понять национальные корни русского коммунизма, его детерминированность русской историей. Знание марксизма этому не поможет;

— Русская революция порождена своеобразием русского исторического процесса и единственностью русской интеллигенции. Нигде больше такой революции не будет. Коммунизм на Западе есть другого рода явление;

— Произошла русификация и ориентализация марксизма;

— Они (большевики) создали полицейское государство, по способам управления очень похожее на старое русское государство.

Все это Бердяев утверждает как самоочевидные истины, не приводя никаких доказательств. Тем не менее все эти утверждения вошли в поговорку, стали готовыми идеями, повторяются на тысячи ладов. Удивляться тут не приходится — они золотая россыпь для всех, кто хочет обелить марксизм и доказать, что корни Архипелага ГУЛАГ вовсе не в марксизме, а в русской истории. Как в этом сомневаться, когда сами русские говорят, что коммунизм на Западе будет совсем другой и что Советский Союз только новое обличие тоталитарного Московского государства, сложившегося под татарским владычеством. При чем же тут марксизм? Это от монголов русские унаследовали мечтание о мировой империи. Почитайте Маркса:

«Не в суровом героизме норманнской эпохи, а в кровавой трясине монгольского рабства зародилась Московия, и современная Россия является не чем иным, как преобразованной Московией... монгольское рабство было той ужасной и гнусной школой, в которой сложилась и возвысилась Москва. Она добилась своего могущества лишь благодаря тому, что достигла виртуозности в искусстве раболепствовать. Даже после своего освобождения от монгольского ига Москва, даже под личиной хозяина, господина, продолжала играть свою традиционную роль раба. И, в конце концов, Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордым честолюбием монгольского повелителя, которому Чингисхан завещал миссию завоевания мира...»

Так вот, в октябре 17-го эта обруселая татарская государственная традиция соединилась, мол, с особой русской, отнюдь не марксистской, а «ткачёвской» революционной традицией. Отсюда и пошел Архипелаг ГУЛАГ. Во всем виновата история. А марксизм за гибель в лагерях миллионов русских му-

жиков никакой ответственности не несет. Это они сами себя уничтожали, такие, знаете, отсталые, прямо что-то азиатское в них.

Самое удивительное: русские историки-евразийцы, а они-то, в отличие от Маркса, Россию любили, так же, как он, думали, что татарское иго было школой, в которой возвысилась Москва, только в их представлении это была хорошая школа: без татарщины не было бы России; «Свержение татарского ига» (заметьте иронические кавычки) свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву; произошло чудо прекращения татаро-монгольской империи в русскую, чудо обрусения и оправославления татарщины; прими монгольские ханы, потомки Джучи, православие, и не Москва, а Сарай оказался бы духовным и культурным центром русской земли; значение золотоордынской державы в русской истории не меньше значения империи Карла Великого в истории европейской.

Правда, в отличие от марксистов, евразийцы правильно считали большевистский режим не видоизмененной Московией, а одним из последствий европеизации. И все же «под лавой коммунизма они вскрыли фундаменты русской народности». Большевистская революция осуществила, дескать, многие начала русского народного права, и большевистские законодательные памятники ближе к правосознанию русского народа, чем законодательство Империи. Как многие тогда эмигранты, евразийцы верили: революционный кризис приведет к «выпрямлению русской исторической линии», и большевики, вопреки своей воле, творят национальное дело. Надо только оправославить выдвинутый революцией новый правящий слой, и все хорошо будет.

Евразийцы идеализировали мировую Империю Чингисхана, основанную, по их мнению, на справедливости и равенстве. Каждый должен работать столько же, сколько сосед. Богатые и бедные, каждый по способностям, служат государству, и бедный защищен от несправедливых притеснений богатого. Евразийцев не смущало, что равенство это было особого рода, почти шигалёвское: все холопы, и в холопстве все равны. Богатые и бедные, и богатуры, и невольники, и русские удельные князья — все одинаково холопы Великого хана и обязаны ему рабским повиновением. «Сын Бога» и самодержец, он господин их жизни и смерти и хозяин всей земли: вся необъятная империя — его вотчина.

Не скрою, я ни в какой мере не разделяю евразийского восхищения эффективностью правительственной, военной и финансовой организации монгольской империи. Татарское иго, я думаю, было величайшим бедствием для России. Оно уничтожило демократические вечевые начала общественного строя русских княжеств и на много веков затормозило развитие России, оторвав ее от того процесса обновления культуры, который сквозь века Позднего Средневековья привел на Западе к расцвету Возрождения. Пушкин отмечает: «Внутренняя жизнь порабощенного народа не развивалась. Татаре не походили на мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля».

Века татарского господства остались в памяти народа как лютые тошные времена. «О, злее зла честь татарская». Поколения русских людей прожили в постоянном страхе. С.Г. Пушкарев пишет, что татарское владычество и необходимость кланяться чуждой власти оказали вредное влияние на характер русского человека. По мнению некоторых других историков, изменился даже его внешний облик. «У русских с тех пор, — уверяет знаменитый шведский историк Карл Гримберг, — редкая, как у монголов, борода».

Надо полагать, человек этот никогда не видел русских батюшек и портретов Толстого, Достоевского и других бородатых русских писателей. Доживи он до наших дней, он смог бы узреть в Стокгольме Александра Солженицына во всей славе короткой, но очень густой русской плотничьей бороды.

«Повесть о разорении Батыем Рязани» дает представление, чем было татарское нашествие:

«И взяша град Резань месяца декабря в 21 день. И приидоша в церковь соборную пресвятые Богородици, и великую княгиню Агрипену, матерь великого князя, з снохами и с прочими княгинями мечи исекоша, а епископа и священнический чин огню предаша, во святей церкви пожегоша, а инеи мнози от оружия падоша, а во граде многих людей, и жены, и дети мечи исекоша, а иных в реце потопиша, и ереи, черноризца до останка исекоша, и весь град пожгоша, и все узорочие нарочитое, богатство резанское и сродники их киевское и черниговское поимаша. а храмы божия разориша, и во всех святых олтарех много крови пролияше. И не оста во граде ни един живых, все равно умроша и едину чашу смертную пиша; несть бо ту ни стонюша, ни плачуша и ни отцу и матери о чадех или чадом о отци и о матери, ни брату о брате, ни ближнему роду, но вси вкупе мертвые лежаща».

Разорив Рязанскую землю, Батый «поиде на град Суздаль Владимер». Все города Суздальской земли и всей северо-восточной, а затем и юго-западной Руси постигла та же страшная участь, что и Рязань. Император Фридрих II писал о взятии татарами Киева: «Все это преславное княжество целиком по истреблении его жителей пришло в запустение, будучи разорено».

Покорив русские земли, полчища Батыя, разоряя города и губя население, обрушились «словно гнев Божий и молния» на Венгрию, Польшу, Чехию, Боснию, Сербию, Молдавию, Валахию. Вести об ужасах татаро-монгольского нашествия потрясли Запад. Английский летописец Матвей Парижский писал о монголах: «Бесчеловечные, звероподобные существа. Их не назовешь людьми, они скорее чудовища, они жаждут крови и пьют ее, ищут и пожирают собачье и даже человечье мясо». Германия молилась: «Господи, сохрани нас от ярости татарской».

Но Батый внезапно повернул обратно. Запад спасен, начинает оправляться от потрясения. А когда в 1248 году монгольский воевода Алжигидай, наступавший на Багдадский халифат, прислал Людовику Святому двух христиан-несториан, с предложением союза против сарацин и с уверениями, что Великий хан очень благоволит христианам, французский король, папа,

монахи и крестоносцы решают: татары готовы обратиться в христианство, тайно уже обратились. В союзе с ними мы победим ислам.

Монгольский миф не умирает на Западе до конца XIII века. Папа Иннокентий IV и Людовик Святой шлют ко двору Великого хана посланников и проповедников. Все кончилось разочарованием. Но Марко Поло уверяет, пошли папа более искусных проповедников, великий хан Хубилай обратился бы: «Повелитель монголов очень хотел стать христианином». Впрочем, по свидетельству того же Марко Поло, Хубилай не меньше чем Иисуса Христа чтил Магомета, Моисея и Сакья-Муни и требовал от священнослужителей всех четырех религий, чтобы они ему кадили.

Монголы, поначалу более или менее шаманисты, отличались полной веротерпимостью. В монгольской империи мирно сосуществовали буддисты, таоисты, конфуциане, мусульмане, манихеи, евреи и христиане разных исповеданий и толков. Чингисхан склонялся к таоизму. Он надеялся получить от священнослужителей Тао напиток бессмертия. Но многие его воеводы и воины и даже некоторые его домашние были христианами-несторианами. При его наследниках они занимают при дворе господствующее положение. Внук Чингисхана великий хан Могка, сын несторианской принцессы, говорил французскому посланцу францисканцу Вильгельму Рубрук: «Мы, монголы, верим в единого Бога. Но подобно тому, как Господь Бог дал нам пять пальцев на руке, Он дал людям и разные к Нему пути». Могка сказал еще, что исповедует все религии, допущенные при дворе. Другой монгольский хан полагал, что до тех пор, пока не будет полной уверенности, какая религия самая истинная, благоразумнее всего исповедовать их все одновременно.

Такая же веротерпимость при дворе золотоордынских ханов. В Сарае существовала русско-православная кафедра. По некоторым сведениям, Сартак, сын Батыя, был православным. «Лучший период в истории русской церкви, — пишет Бердяев, — был период татарского ига, когда она была духовно независима».

Преследуемые на Западе еретики бегут в монгольские пределы и находят там убежище и религиозную свободу.

Свобода совести — вот главное, что поразило доминиканских и францисканских монахов в империи Великого хана. Удивление это осталось на много веков. В «Руководстве для инквизиторов», составленном в 1376 году в Авиньоне доминиканцем Николау Эймерич, мы находим описание заблуждений татар:

«Определить ошибки и ереси татар дело нелегкое, эти люди *не единодушны в их верованиях.* Одни из них веруют и живут, как сарацины. Но далеко не все они присоединились к Исламу... среди них много разных согласий. Иные поклоняются луне, иные первому животному, которое увидят, встав поутру, будь то собака, кошка, осел или человек, не имеет значения... некоторые татары, пленники на чужой стороне, вешаются или еще как-нибудь по-другому кончают самоубийством, убежденные, что так они вернутся на родину. Другие сжигают себя перед всеми своими сородичами. Они верят: они вознесутся в пламени в область блаженных».

Два века спустя, в Риме, в 1578 году доктор канонического права Франциско Пенья по заданию папы пересмотрел руководство, составленное Эймеричем, и дополнил описание обычаев и верований татар: «Татары — это “соарматы” греков или “сарматы” римлян; некоторые обозначают их именем “антропофаги”. Они кочевники, у них нет городов, и нравы их самые мерзостные: они не употребляют ни скатертей, ни ширинок, никогда не моют ни рук, ни тела, ни одежды. Они не едят ни хлеба, ни овощей, но питаются мясом разных животных: собак, кошек и больших крыс. Обитаемые духом мести и кичась своей силой, они на войне часто поджаривают тела убитых врагов... Страшные в бою, они сосут и глотают кровь своих жертв... Они не знают милосердия Божия, и *каждый из них выкраивает себе Бога на свой образец*».

Всего прежде упомянутого, думается, достаточно: монгольская империя была какой угодно восточной деспотией, но не тоталитарным государством в современном смысле слова. Мы видели, как посланцев Запада поражали в ней «невероятные», с их точки зрения, отношения между разными религиями — полная свобода совести. Из татарского ига, таким образом, никак не вывести то главное, что делает коммунистическое государство тоталитарным. Татаро-монголы не знали никакой общеобязательной государственной религии, а ведь марксизм-ленинизм как раз — безбожная разновидность такой религии, требующая беспощадной борьбы с малейшими отклонениями от установленных ею догматов.

Ничего подобного в монгольской империи не было. Значит, ни на чем не основана вся эта теория, будто бы советское коммунистическое государство — не плод марксизма, а все та же Московия, которая-де сама была только обруселой татарщиной.

Глубокое удивление францисканских и доминиканских монахов при виде религиозного плюрализма в столицах монгольских ханов подсказывает опровержение еще и другого довода, обычно приводимого в доказательство, что марксизм не виноват в ГУЛАГе. Довод этот такой: инквизиция не была прямым следствием веры в Бога, и Христос не несет за нее никакой ответственности. Так и Маркс не несет никакой ответственности за Архипелаг ГУЛАГ.

Ответ на первый взгляд убедительный, так ослепительно неопровержима его первая часть: Христос не несет никакой ответственности за инквизицию. Наоборот, инквизиция всегда против Христа. Без ссылки на Достоевского тут не обойтись, он бессмертно об этом написал. У него Великий инквизитор говорит Христу: «Ибо если кто всех более заслужил наш костер, то это Ты. Завтра сожгу Тебя».

Но все это вовсе не значит, что по аналогии и Маркс не отвечает за ГУЛАГ. Тут только формальная, по существу же мнимая, мошенническая аналогия. Заповеди Христа и костры инквизиции разделяет непереходимое бездонное противоречие. А между марксизмом и ГУЛАГом — прямое генетическое преемство. Правда, проклятый архипелаг не похож на обещанную волшебную бабочку освобождения человека, однако чудовище это — все

же выползень из хризолиды марксизма. Теперь уже многие, в частности во Франции «молодые философы», начали об этом догадываться: марксизм обитаем духом, который неизбежно должен был привести к Архипелагу ГУЛАГ, и это тот же дух, что породил инквизицию. Вот почему два последние западные описания заблуждений татар я и привел, как читатель верно помнит, из «Руководства для инквизиторов».

Трагический парадокс западной цивилизации: она дала миру либеральное общество, основанное на евангельском в своих истоках утверждении прав и свободы человека, но этому обществу пришлось расти в напряженной борьбе с зачатыми в недрах той же цивилизации тоталитарными идеологиями. Эта борьба продолжается в наши дни смертельнее, чем когда-либо. От ее исхода зависит, быть или не быть свободе, быть или не быть всему, что придает человеческое значение нашей жизни.

Как раз в первой половине XIII века, когда на развалинах погубленных ими азиатских и восточноевропейских цивилизаций монголы сгрохали свою необъятную империю, Запад «изобретает» первую модель идеократического тоталитаризма. Преобразования, которые до тех пор неустанно производились в церкви, прекращаются. Она становится монолитной, авторитарной, опирается на огромный аппарат церковной бюрократии, застывает в «окончательно» упорядоченном каноническом праве, в «окончательно» истолкованном вероучении. По словам Владимира Соловьева: «Истины веры превратились в обязательные догматы, то есть в условные знаки церковного единства и послушания народа духовным властям».

По замыслу папы Иннокентия III церковь должна была стать вселенским Верховным судом, которому будут подвластны все короли и народы. Совсем как в «Братьях Карамазовых», когда Великий инквизитор говорит Христу о дарах «страшного и умного духа»: «Мы взяли от него то, что Ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал Тебе, показав Тебе все царства земные; мы взяли от него Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными».

О герое своей поэмы Иван рассказывает: «На закате дней своих он убеждается, что лишь ответы великого страшного духа могли бы хоть сколько-нибудь устроить в сносном порядке малосильных бунтовщиков, “недоделанные пробные существа, созданные в насмешку”».

Учредители исторической инквизиции папы Иннокентий III и Григорий IX тоже берут меч кесаря из жалости к людям, чтобы хоть сколько-нибудь их устроить, чтобы спасти их от гибели. Только Иннокентий III в своем труде «О презрении к миру» выражается еще страшнее. Он знает: человек — растленная грехом падаль, слабая, неустойчивая тварь. Его нужно смирять железной рукой. Если церковь не подчинит тотально людей своей власти, она ничего не сможет сделать для спасения тьмы грешников, обреченных на вечные муки.

Однако Иннокентий III не посмел бы написать другие слова, которые в своем бездонном ясновидении говорит Великий инквизитор Достоевского:

«Но ищет человек преклониться перед тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтобы и все уверовали в него и преклонялись перед ним, чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность общности есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за общего преклонения они истребляли друг друга мечом... Ты знал, Ты не мог не знать основную тайну природы человеческой».

Вот ключевые слова для понимания генетического кода инквизиции и ее последующих отраслей: всех революционных трибуналов, всех Гестапо и КГБ.

Всем известно, все живое живет за счет живого. Убийство — закон природы. Животные убивают других животных, чтобы насытиться или охраняя свою территорию. К этим, так сказать, естественным видам убийства человек прибавил еще убийство с целью утвердить Истину и всеобщее ей поклонение. Почему непременно всеобщее? Да потому, что, когда дело идет об Истине, недоказуемой разумом, единственный залог ее несомненности — это именно то, что все в нее верят и все ей поклоняются. Но если это так, если непреложность Истины зависит от единодушного ее признания всеми, то что же тогда делать с тем, кто отказывается ее признать? Ведь пока он жив, он колеблет своим отрицанием ее истинность, мешает ей быть во всей ее полноте. Враг Истины, он тем самым и враг всего основанного на ней порядка земного и небесного бытия, подрыватель основ. Чтобы восстановить бесспорность и полноту Истины, такого человека нужно или привести к Ней, хотя бы насильно, или убить.

А как же христианство? Ведь христианская Истина еще менее доказуема разумом, чем все другие, и ни одно учение так не призывает к «всемирному и всеобщему единению», как учение Христа. Не выходит ли тогда, что христианство неизбежно должно вести к инквизиции?

Вот тут-то и сбились инквизиторы. Да, Евангелие приглашает к объединению, но к объединению, которое исключает насилие и убийство. Такое объединение созидается на утверждении верховной ценности личности каждого, даже самого последнего человека и на любви не только ко всем людям, но и ко всей твари и ко всему творению, вспомните Франциска из Ассизи: «брат мой волк» и «брат мой огонь». Евангельская любовь и есть христианство. Когда она проявляется, все сомнения отступают и гаснут, ее божественное дыхание не нуждается ни в каких умственных доказательствах. Объединение, основанное на такой любви и на «решении личном и свободном», никогда не приведет к «бесспорному и согласному муравейнику».

Измена инквизиции учению Христа вовсе не в том, что она хотела «устроиться непременно всемирно», а в том, что, соблазняясь третьим искушением в пустыне, она взяла меч кесаря и, отменив свободу, которой «Христос благословил людей», решила установить «общность поклонения» насильно.

В «Братьях Карамазовых» Алеша говорит Ивану: «Великий инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет!»

Об исторических инквизиторах этого не скажешь. Они верили в Бога и боялись Страшного суда, но они потеряли веру в евангельскую любовь и устрашились воздвигнутого Христом «свободного знамени». Инквизиция родилась в тот день, когда Доминик Гусман, святой Доминик, отчаясь обратить катаров в истинную веру добром, решил в своем разгневанном сердце, что их души нужно спасти от вечной гибели насильно. В Пруй, потеряв терпение, он сказал собравшейся толпе: «Вот уже столько лет вы слышали от меня глаголы мира. Я просил, я умолял, я плакал. Но, как говорят в Испании в просторечии: "куда не достигает благословение, туда повадится палка". Мы воздвигнем на вас принцев и прелатов; они призовут народы и племена, и великое множество погибнет от меча. Башни будут разрушены, стены повергнуты и вас обратят в рабство. Так сила возобладает там, где кротость не могла добиться успеха».

Но не спасение души еретиков стало главным назначением инквизиции. В «Руководстве для инквизиторов», которое я уже упоминал, об этом говорится с полной определенностью: «Нужно напомнить, что главная конечная цель судопроизводства и смертного приговора не спасение души обвиняемого, а в том, чтобы обеспечить общественное благо и *терроризировать* население. Общественное благо должно быть поставлено намного выше, чем все милосердные соображения о благе индивидуума».

Католическими проповедниками все более обуяет дух фанатической нетерпимости: тот, кто не принимает Истину, да умрет. Фома Аквинат дошел до того, что облыжно уверял, будто Иоанн Златоуст требовал смертной казни для Ария. Ссылаясь на эту сказку, латинские богословы призывают: еретиков надо жечь. Историки видят тут следствие возрождения при папах Иннокентии III и Григории IX римского права: смертная казнь для еретиков была установлена при императоре Юстиниане, именем которого назван знаменитый кодекс.

Так в XIII веке на Западе, веке экономического подъема, великого творческого вдохновения и великой святости, рядом с «Цветочками» Франциска Ассизского всходят плевелы фанатической нетерпимости, которая приведет к безумию религиозных гонений, религиозных войн и политических и социальных революций, подобных революциям религиозным, и к современному идеократическому тоталитаризму, в его двух основных вариациях: национал-социализма и марксизма-ленинизма.

Конечно, и прежде в Европе, как всегда и всюду, не было недостатка в ненависти ко всем, кто верит и думает по-другому. И все же в XII веке монахи в аббатстве Клюни переводят Талмуд и Коран; катары, не таясь, исповедуют свою веру и без боязни спорят с проповедниками, которые уговаривали их вернуться в лоно католической церкви. В Англии, в Испании, во Франции христианские, еврейские и мусульманские богословы беседуют друг с другом о вере и философии. В XIII веке такие беседы больше не разрешаются.

Правда, в 1240 году в Париже перед Людовиком Святым и в 1262 году в Барселоне перед Яковом I Арагонским прения между христианами и евреями все-таки имели место. Но это уже не «куртуазное» обсуждение, как в XII веке. Теперь евреев поносят как народ-богоубийцу, испорченный и лукавый. Жуанвилль рассказывает, Людовик Святой разрешил спорить с евреями только самым ученым богословам, простым же мирянам он заповедал: если еврей клевещет на христианскую веру, пусть христианин не спорит с ним словесами, а извлечет свой меч и как можно глубже воткнет ему в живот. Евреев, которые так много сделали для расцвета «Открытой» цивилизации Европы XII века, начинают из многих стран выселять, в лучшем случае загоняют в гетто. Отныне они должны носить опознавательные знаки, в римском гетто, учрежденном в XVI веке, — желтую шапку. Вот первые пробные модели гитлеровской желтой звезды! Еврей больше уже не свободный человек, каким был в Испании «трех религий» — христианской, еврейской и мусульманской, или во времена Каролингов. Даже крещеных евреев и мусульман, маранов и морисков, подозревают теперь в тайной приверженности к вере отцов. С тех-то пор и стали придавать такое значение «чистоте крови», а потом и социальному происхождению.

Уже и до альбигойской войны Рим поручал прелатам разыскивать еретиков и судить их в церковных трибуналах. Но епископская инквизиция оказалась бессильной против катаров. И вот по призыву папы Иннокентия III огромная рать баронов северной Франции и всякой наемной сволочи вторгается в беспечный Лангедок, чтобы исторгнуть ересь силой оружия.Тогда-то и прогремел знаменитый клич, который приписывали то одному из вдохновителей похода аббату Арно-Амальрику, то самому папе: «Убивайте их всех, Бог распознает своих!» В июле 1209 года «крестоносцы», ворвавшись в славный град Безье, выполнили этот призыв буквально — они вырезали поголовно всех жителей без разбора: катаров, католиков, мужчин, женщин, детей, стариков и даже священников, в полном облачении служивших в церквах молебны о спасении. Всего погибло около 30 тысяч человек.

Как мы видим, падение Безье сопровождалось таким же яростным разгулом убийства и разрушения, как когда Батый в 1237 году взял Рязань. Только воины Батыя не называли себя, как северные бароны, «Воинством Христовым».

В 1232 году папа Григорий IX окончательно отстраняет епископов от «дела веры» и поручает ведать розыском еретиков доминиканским, а невдолге и францисканским монахам, требуя от духовных и светских властей полного содействия инквизиционным трибуналам. Но еще за год до того Рим назначает Верховным судьей по делам немецких еретиков доминиканца Конрада из Марбурга. С двумя подручными, другим Конрадом, по прозвищу Туловище, и кривым Иоганом, он три года объезжает Германию на необыкновенно низкорослом муле, по малейшему доносу предавая пыткам и сожжению знатных и простолюдинов, богатых и бедных, монахов и монашек, горожан и крестьян.

Альбигойская война на юге Франции жила до марта 1244 года и кончилась полным запустением прекрасного королевства Элеоноры Аквитанской и гибелью блистательной цивилизации трубадуров, куртуазной любви и веротерпимости. Но инквизиция, учрежденная для истребления катарской ереси, просуществовала до 1834 года. Кажется, в том же году, не помню точно, в Мадриде в последний раз зажгли костер аутодафе. Корреспондент одной парижской газеты сообщал: «Пение монахов заглушило крики несчастного еврея».

Но действительно ли кончилась инквизиция? Возникнув в XIII веке, она подстерегала с тех пор европейскую цивилизацию на каждом повороте, принимая, как Протей, все новые обличия. Так часто кажется, что кошмарный Конрад из Марбурга, отбрасывая огромную зловещую тень, все едет на своем низкорослом муле по окровавленным отмелям истории, только теперь на нем не ряса доминиканского монаха, а мундир Гестапо, или кагебешника, или еще каких-нибудь органов.

Казалось бы, всякому, кто помнит Нагорную проповедь, должно быть несомненно: инквизиция была страшным внутренним поражением исторической церкви, изменой церкви самой себе, своему призванию служить делу евангельской любви.

Казалось бы, у христианина не может быть другого отношения к инквизиции с ее пытками и кострами, кроме соловьевского и солженицынского — как к тяжкому греху.

Однако находятся люди, которые думают, что говорить о грехе инквизиции в наше время гонений на церковь — это лить воду на мельницу антирелигиозной пропаганды. Люди эти ищут для инквизиции смягчающие вину обстоятельства. По их мнению, то была законная самозащита от «дьявольских» ересей, которые угрожали самому существованию не только церкви, но и всего средневекового общества, всей христианской цивилизации. И очень преувеличены, — говорят они, — все эти разговоры о преступлениях и жестокостях инквизиции. Взять хотя бы ославленного беспощадным палачом Генерального инквизитора Испании Торквемаду. Кто спорит, был он человек крутой, но справедливый и уж какой аскет: никогда не ел мяса, спал на голых досках, не носил никакого белья, да и передал-то он светской власти для сожжения «к вящей славе Господней» *всего* две тысячи самых злых еретиков.

Что верно, то верно. По сравнению с гиммлерами и ежовыми даже Торквемада может показаться душкой. Но повторяю, тот, кто читал Нагорную проповедь, не может оправдать сожжения хотя бы одного только человека.

Общее число жертв инквизиции никогда не было подсчитано. Французский историк Жан Делюмо в книге «Умирает ли христианство?», за которую он получил Большую католическую премию по литературе, пишет, что с 1480 по 1834 год в Испании было сожжено около 100 тысяч еретиков. Это несравнимо меньше числа человеческих жизней, уничтоженных тоталитарными режимами нашего времени за сроки куда меньшие: при Гитлере двенадцать миллионов, в ГУЛАГе шестьдесят. В Камбодже красные кхмеры только за два года убили пятую часть всех жителей.

Но Делюмо справедливо говорит: сравнение числа жертв не должно служить для оправдания инквизиции.

Замечу от себя, если к сожженным прибавить убитых во время всех варфоломеевских ночей, всех драгонад и религиозных войн, число жертв раздутого инквизицией фанатизма окажется не таким уж незначительным. В Германии в Тридцатилетнюю войну погибла половина населения. Война эта принесла не только человеческие жертвы и разрушения, а и глубокие повреждения в национальном сознании немецкого народа. Американский историк, немец по происхождению, Петер Вирек считает, что национал-социализм вырос не только из обиды на несправедливость Версальского мира, но еще в большей мере из обиды на еще более несправедливый и унизительный для Германии Вестфальский мир 1648 года. Чтобы смыть эту обиду, Гитлер будто бы собирался в случае своей полной победы подписать всеобщий мир в Мюнстере.

Мне, может быть, скажут: вот вы недавно писали, что якобинство, марксизм и большевизм — только метаморфозы мессианских эгалитарных движений Средневековья, а теперь говорите, что это метаморфозы инквизиции. Как же это так? Ведь инквизиция как раз боролась с этими движениями революционного хилиазма. Где тут логика? Как якобинство, марксизм и большевизм могут быть одновременно метаморфозами двух противоположных друг другу тенденций: революционной и охранной?

Могут. Дело вот в чем: при всей их противоположности две эти тенденции растут из одинакового убеждения, что Истину можно утвердить и охранить только насилием и террором. Правда, одни хотят насилием и террором построить «новый мир», а другие охранить существующий порядок. Задачи прямо противоположные, а средства те же и такая же одержимость антихристианским духом нетерпимости, непрощения и ненависти. К тому же революционеры, только свергнут короля или тирана, глянь, уже сами оборачиваются охранителями своей новой власти и устраивают свою собственную инквизицию.

Энгельс был убежден, что настоящие революционеры именно так и должны орудовать. В 1873 году в статье «Об авторитете» он пишет: «Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков и пушек, то есть средств чрезвычайно авторитарных. И если победившая партия не хочет потерять плоды своих усилий, она должна удерживать свое господство *посредством того страха*, который внушает реакционерам ее оружие».

Великий пример такой «авторитарной» революционной власти Энгельс и Маркс видели в якобинской диктатуре. Ленин совершенно справедливо указывал, что «Маркс ставит в образец германской демократии *якобинскую Францию 1793 года*», то есть года Большого террора.

И действительно, отпрыск рейнской якобинской буржуазии, которая мечтала о присоединении Рейнландии к революционной Франции, Карл

Маркс верил только в такую революцию, как якобинская: авторитарную, насильственную, террористическую, кровавую. «Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым». В марте 1850 года в знаменитом «Обращении Центрального комитета к союзу коммунистов» он утверждает: «Как *во Франции в 1793 году*, так и теперь в Германии проведение строжайшей централизации является задачей действительно революционной партии».

Это не были юношеские идеи, будто бы потом оставленные. В 1890 году Энгельс в статье «Внешняя политика русского царизма» пишет, что, став на сторону царя, Франция в случае поражения была бы «лишена возможности прибегнуть к своему великому единственно действенному средству спасения, к *целебному средству 1793 года* — революции, мобилизации всех сил народа *посредством террора* и революционной пропаганды во вражеской стране».

То же в письме к Зорге от 24 октября 1891 года: «Германия сумеет держаться лишь революционными мерами, почему мы, легко возможно, и будем вынуждены встать у кормила власти и разыграть 1793 год».

Верный ученик Маркса и Энгельса, Ленин так же крепко, как они, затвердил уроки якобинской диктатуры. В 1908 году он с нежностью пишет о «настоящем, всенародном, действительно обновляющем страну терроре, которым прославила себя Великая французская революция». И так же, как Маркс и Энгельс, великий Ильич скорбит об ошибке Парижской коммуны 1871 года: «...излишнее великодушие пролетариата: надо было истреблять своих врагов, а он старался повлиять на них».

Захватив власть, Ленин «ошибку» парижских коммунаров не повторил. Для «обновления страны» и для истребления врагов партдиктатуры он, не медля, учреждает свою собственную инквизицию — ЧК и ревтрибунал. О поразительном сходстве этого большевистского ревтрибунала с якобинским мне приходилось уже писать. Помню зловещие, очень бездарные и подлые стихи на самом восходе коммунистического царства:

Вскочив на стол, гильотинета
Пропляшет танец гильотин.

А тот парижский трибунал был упрощенным подобием инквизиционных трибуналов и преследовал подозреваемых в политической ереси с таким же свирепством, как инквизиция подозреваемых в религиозной ереси. Не провиденциально ли, что якобинский клуб обосновался в Париже в бывшем доминиканском центре на улице Святого Якова. Тут прямая родословная линия: большевистский террор — ублюдок Святой гильотины, которая сама была ублюдком Святой инквизиции. Не следует поэтому удивляться необыкновенному сходству созданного по якобинскому образцу большевистского ревтрибунала с инквизиционным.

В глазах инквизиторов Святая инквизиция — «самое благородное, самое великое, самое благочестивое» предприятие. Она основана на «Божьем

праве» и должна распространиться по всей земле. Так и в глазах коммунистов — коммунистическая власть, основанная на единственно истинном учении, самое благородное, самое великое предприятие и должна распространиться по всей земле.

Тема сродства власти коммунистов и власти инквизиторов не раз привлекала писателей Восточной Европы.

Михаил Геллер напомнил недавно, что Илья Эренбург в «Необычайных похождениях Хулио Хуренито» посвятил целую главу кремлевскому коммунисту, назвав ее «Великий инквизитор вне легенды». Геллер пишет: «У Эренбурга Ленин — фанатик, верящий, что он ведет людей к счастью, убежденный, что если люди не хотят идти к счастью добровольно, надо их заставить быть счастливыми».

Когда в Польше в октябре 1956 года наступила оттепель, польский писатель Ержи Андржиевский, которого позднее, хотя у него нет еврейской крови, объявят сионистом, пишет повесть «Тьма покрывает землю». В этой повести он рассказывает о стране, где все должны подчиняться «генеральной линии», всякая попытка думать по-своему осуждена и жителей заставляют признаваться в преступлениях, которых они не совершали, и доносить на своих лучших друзей. В стране этой все, как в Польше, под властью коммунистов. Но для отвода глаз и чтобы подчеркнуть поразительное сходство, Андржиевский пишет, что действие происходит в Испании, во время инквизиции.

Великий инквизитор Торквемада поучает молодого монаха Диего: «Людей нужно спасать насильно, против их воли. Нам придется еще долго их опекать, истребляя в их сознании всякий соблазн, все, что мешает пришествию Царствия Божьего».

Когда же Диего говорит о страданиях людей, Торквемада заверяет: «Мы покончим со всеми противоречиями и тем самым со всеми страданиями».

У Диего доброе сердце, ему жалко людей. Он спрашивает: «Когда?»

Торквемада: «Только тогда, когда все человечество примет великую Истину, и все люди будут думать и верить одинаково... Если тебе дорога Истина, ты не можешь любить и жалеть тех, кто ей противится. Когда идет борьба за торжество Истины, нет никого, кто стоял бы выше подозрений. В каждом может таиться семя зла. Прежде, чем думать о милосердии и любви, нужно искоренить зло».

Слова эти одинаково верно выражают идеологию и Святой инквизиции, и коммунистов. Только вместо Царствия Божьего у коммунистов обещанный Марксом прыжок в царство свободы. А так все одинаковое: та же структура мыслей и чувств и средства те же. Неудивительно, что революционные трибуналы оказались во всем похожими на инквизиционные. Они то же самое, только при всей чудовищности инквизиционных коммунистические по сравнению с ними выходят по всем статьям еще более чудовищными.

Сопоставим «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына с дополненным в XVI веке Франциском Пенья «Руководством для инквизиторов», которое я уже не раз упоминал.

Солженицын: «Как средневековые заплечные мастера, наши следователи, прокуроры и судьи согласились видеть главное доказательство виновности в признании ее подследственным». Солженицын считает, что именно это привело к применению пыток. «Такая простая здесь связь: раз надо обвинить во что бы то ни стало — значит, неизбежны угрозы, насилия и пытки, и чем фантастичнее обвинение, тем жесточе должно быть следствие, чтобы вынудить признание».

До Солженицына из русских писателей только Пушкин говорил об этом с таким же верным и глубоким пониманием. Вспомним «Капитанскую дочку»: «Пытка, в старину, так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался без всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо для его полного обличения, — мысль не только не основательная, но даже совершенно противная здравому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невиновности, признание его и того менее должно быть доказательством его виновности».

Но у инквизиторов всех времен другие понятия о здравом смысле, чем у Пушкина и Солженицына. Инквизиционный трибунал как раз ставил себе целью во что бы то ни стало добиться признания обвиняемого.

Франциско Пенья: «Перед тем как приступить к пытке, вспомните, что цель ее не столько установить какие-либо обстоятельства, сколько принудить подозреваемого признаться в вине, в которой он не признается. В других судах признание не считается достаточным доказательством преступления... но перед инквизиционным трибуналом признания обвиняемого достаточно, чтобы его осудить. Преступление ереси рождается в разумении и кроется в душе, отсюда очевидно следует, что ничто не докажет его несомненнее, чем признание самого обвиняемого».

Вот почему, если подозреваемый в ереси упорствовал в отрицании своей вины, инквизиторы имели право подвергнуть его предварительному заключению, назначив такую степень воздействия, какую найдут наиболее соответствующей обстоятельствам: заковать его в кандалы, морить голодом, лишать сна. Считалось, эти меры, если применять их с толком, помогают, как тогда говорили, «раскрыть сознание», то есть обвиняемый, как говорят теперь, «раскалывался». Но если он продолжал упорствовать, тогда применяли пытки. Однако пытать более пятнадцати дней не разрешалось, и пытки не должны были вести к членовредительству и быть опасными для жизни. Некоторые инквизиторы были вообще против пыток, потому что слабые признавались под пыткой в чем угодно, а наиболее стойкие выдерживали и не признавались. Их нужно было тогда отпускать. Ограничены были и виды пыток. Всего пять.

Но Пенья пишет: «Однако было немало судей, которые изобретали очень многочисленные виды пытки. Марсиль говорит о четырнадцати родах пыток и заявляет, что изобрел еще больше, чем заслужил похвалы Павла Грияна. Что касается меня, если вы хотите знать мое мнение, то я скажу вам, что такая

эрудиция, мне кажется, более подобает работе палачей, чем юристов и богословов, как мы. Но с этой оговоркой я хвалю обычай пытать обвиняемых, особенно в наши дни, когда нечестивые держат себя бесстыднее, чем когда-либо».

Солженицын: «Если до 1938 года для применения пыток требовалось какое-то оформление, разрешение для каждого следственного дела, то в 1937–1938 годах... насилия и пытки были разрешены следователям неограниченно, на их усмотрение. Не регламентировались при этом и виды пыток, допускалась любая изобретательность».

Но вот самое поразительное. Главную трудность инквизиторам доставляли те еретики, которые сами просили, чтобы их сожгли. Пенья: «Еретики такого рода часто сами требуют для себя костра. Они убеждены, что, если их осудят на сожжение, они умрут мучениками и сразу же вознесутся на небо. Само собой, разумеется, их неразумному желанию ни в коем случае нельзя потакать. Наоборот, их нужно полгода или даже год держать в кандалах в тюрьме, ужасной и темной, так как тюремные тяготы и постоянные притеснения часто пробуждают правильное разумение».

Впрочем, по убеждению инквизиторов, темница всегда должна быть ужасной, не просто местом заключения, а видом пытки,

Солженицын: «Исключительность, которую теперь письменная и устная легенда приписывает 1937 году, видят в создании придуманных вин и пыток. Но это неверно, неточно... Ночные допросы были главными в 1921 году. И тогда же наставлялись автомобильные фары в лицо (рязанское ЧК). И на Лубянке в 1926 году использовалось амосовское отопление для подачи в камеру то холодного, то вонючего воздуха. И была пробковая камера, где и так нет воздуха и еще поджаривают... Участник Ярославского восстания 1918 года Василий Александрович Касьянов рассказывал, что такую камеру раскаляли, пока из пор тела не выступала кровь; увидят это в глазок, клали арестанта на носилки и несли подписывать протокол...»

Между инквизиционными трибуналами и органами еще другая важная черта сходства: поощрение доносов. Доносить на еретиков, — поучали инквизиторы, — «Божий закон». Тот, кто, пренебрегая спасением души, не соблюдает этот закон, подлежит отлучению от церкви. А доносчику награда — три года отпущения грехов и обеспеченное вечное спасение.

Чтобы стукачи не опасались возможной мести, их имена не только не сообщались обвиняемому, но вообще нигде не оглашались. Их знал только инквизитор или назначенный им комиссар. Очная ставка не допускалась, но если стукач соглашался выступить на суде обвинителем, он должен был представить абсолютные доказательства верности своих показаний. А коли не сможет, ему самому тогда наказание, к какому приговорили бы подозреваемого в ереси, окажись донос обоснованным. Кстати, так и в «Записи целовальной» Василия Шуйского: «А кто на кого лжет, и, сыскав, того казнити по вине его: что было возвел неподелно, тем самым и осудится».

Многие инквизиторы возражали против того закона, считая его несправедливым и слишком строгим к стукачам. И потом, если его применять,

никто больше из страха наказания не решится доносить и «дело веры» пострадает. Вот почему, хотя он никогда не был отменен, закон этот во времена Франциска Пенья фактически больше не соблюдался, во всяком случае, лжесвидетелей никогда не выдавали светским властям для сожжения. Роль же обвинителя стали поручать особому чиновнику инквизиции, который назывался ФИСКАЛОМ. Но все же, для предотвращения доносов из личной ненависти, или из мести, или по соображениям выгоды, или по приказу третьего лица, показания доносчиков строго проверялись. Ничего подобного описанной Солженицыным чуме безнаказанных доносов для сведения личных счетов или чтобы получить жилплощадь соседа — не было.

В Византии, с которой русская культура связана сыновьим преемством, лжесвидетельство считалось грехом. Византийские мастера не любили изображать мучения грешников в аду, но в тех редких случаях, когда они это делали, например, на фресках в Кастории, в Западной Македонии, они изображали лжесвидетеля повешенным вниз головой. По старой русской пословице: за облыг на том свете язык жегалом протыкают. Но в Советском Союзе стукачу ничто не грозит. «Наш Закон, — говорит Солженицын, — совершенно не помнит греха лжесвидетельства — он вообще его за преступление не считает. Легион лжесвидетелей благоденствует среди нас, шествует к почтенной старости, нежится на золотистом закате своей жизни».

Рыба с головы тухнет. Доносительство на партийных товарищей очень рано становится в партии обычным явлением, начинает почитаться гражданской добродетелью. На XIV партсъезде, в декабре 1925 года, член Центральной контрольной комиссии товарищ Гусев заявил: «Что же, мы за доносы, такие доносы должны быть в партии, ибо каждый коммунист должен быть чекистом». Ему возражал член ленинградской делегации Минин: «Развившаяся в последнее время система писем, использования частных разговоров, личных сообщений, когда всем этим пользуются без всякой проверки, и все эти сообщения объявляются сразу вполне достойными веры, причем авторы подобных сообщений и писем берутся тут же под особое покровительство, не может не принять в партии самые нездоровые и до сих пор немыслимые обычаи».

Вся последующая история партдиктатуры показывает, какое из двух мнений возобладало. Из партии метастазы раковой опухоли расползаются по всей стране. Героем коммунистической цивилизации становится Павлик Морозов.

Инквизиция смогла сломить сопротивление катаров и других еретиков, главным образом, именно потому, что поощряла доносительство. Скрывая имена настоящих стукачей, инквизиторы часто говорили обвиняемым, что на них будто бы донесли самые близкие им люди. «Ваш друг, имярек, утверждает, что видел, как вы шли на тайное сборище катаров». Никто больше не знал, кому можно доверять. Связи круговой поруки распадались. Торквемада в упомянутой мною повести Андржиевского говорит: «Наша власть основана на страхе. Нужно, чтобы жена не доверяла мужу, родители боялись

детей, сослуживцы — один другого. И все должны трепетать перед всезнающим и вездесущим судом Святой инквизиции».

Якобинцы повторили опыт инквизиторов. Они объявили доносительство гражданским долгом, гражданской добродетелью. В якобинских клубах шли непрерывные драматические представления: обличительные речи, самокритика, чистки. Как правило, последнее действие происходило на Гревской площади. «...То разве года два держалась на плечах большая голова».

Камил Демулен в порыве революционного восторга называл революционные клубы инквизиционными трибуналами народа. Он не предвидел, что он сам и его жена падут жертвами этой народной инквизиции, которая так его восхищала. При диктатуре Робеспьера любого доноса было достаточно для предания Революционному трибуналу. Только якобинцы еще более упростили и без того упрощенное инквизиционное судопроизводство. В инквизиционном трибунале дело могло тянуться очень долго, в революционном не больше трех дней. Якобинцы считали, это достаточный срок, чтобы «просветить» совесть судей.

Казалось бы, родословную большевизма установить нетрудно: достаточно почитать Ленина и его учителей Маркса и Энгельса. Как мы видели, они нисколько не скрывали, что в их глазах якобинская диктатура — это диктатура авангарда городской и сельской бедноты, то есть тогдашнего пролетариата, пример для подражания. В речи, произнесенной 4/17 июня 1917 года, Ленин говорит: «Историки пролетариата видят в якобинстве один из высших подъемов угнетенного класса в борьбе за освобождение. Якобинцы дали Франции лучшие образцы демократической революции... сознательные рабочие и трудящиеся верят в переход власти к революционному, угнетенному классу, ибо в этом суть якобинства».

Через три дня в «Правде»: «Якобинцы 1793 года вошли в историю великим образцом действительно революционной борьбы с классом эксплуататоров со стороны взявшего всю государственную власть в свои руки класса трудящихся и угнетенных».

Казалось бы, преемственная связь марксизма-ленинизма с якобинской диктатурой не подлежит сомнению. Это на опыте Робеспьера Маркс, Энгельс и Ленин изучали науку тоталитарной идеократии, осуществляемой диктатурой одной партии или даже одного человека. Большевистская революция была в сущности продолжением якобинской, новым эпицентром, новым приливом всеевропейской мессианской революции, которая подымалась уже в Средние века в движениях эгалитарного хилиазма, бурлила в апокалипсических сектах, игравших такую роль в английской революции, и впервые восторжествовала с диктатурой якобинцев.

Через якобинцев марксизм-ленинизм наследовал и другую всеевропейскую традицию, традицию инквизиционную: грешников нужно привести к спасающей абсолютной Истине насильно, а злых еретиков, которые своим инакомыслием мешают Истине занять свое место, тех уничтожать.

Да, казалось бы, все это не подлежит сомнению. А между тем нас все время настойчиво хотят убедить, что истоки большевизма нужно искать вовсе не в марксизме и не в якобинстве, а исключительно в «специфике» русской истории: в татарщине, в опричнине, в революции сверху Петра Великого, и вот феодализма в России не было, и русские прирожденные рабы, и при Николае I был учрежден корпус жандармов в несколько тысяч человек. Подобные утверждения вовсе не плод исследовательских усилий установить действительную родословную большевизма. Они обычно продиктованы или желанием во что бы то ни стало снять с марксизма ответственность за Архипелаг ГУЛАГ; или доходящей порой до антирусского расисзма, застарелой, утробной враждой ко всякой России, — Советский Союз, дескать, все та же царская Империя; или, как в случае Бердяева, комплексом национальной неполноценности: «русский народ... может осуществлять или братство во Христе, или товарищество в антихристе». Куда же буржуазному мещанскому Западу устроить такую революцию, как большевистская!

О всех этих утверждениях не стоило бы и говорить, не мешай они Западу понять подлинную природу идеологии марксизма-ленинизма и найти способы противостоять ее наступлению. В этом отношении очень типична и показательна напечатанная в прошлом году в сборнике «Самосознание» статья американского ученого-советолога Ричарда Пайпса. По поводу мер, принятых против террористов в конце царствования Александра II, он пишет: «Можно с уверенностью утверждать, что корни современного тоталитаризма следует искать скорее здесь, чем в идеях Руссо, Гегеля или Маркса. Ибо, хотя идеи безусловно могут породить новые идеи, они приводят к организационным переменам, лишь если падут на почву, готовую их принять».

Вспомни этот ученый эксперт историю религий, он увидел бы, что действительно с уверенностью можно утверждать как раз прямо противоположное. Христианство, ислам и все вселенские религии распространялись среди народов самых разных по крови и цивилизации, причем новая религия, нисколько сама по существу не меняясь, совершенно преображала жизнь этих народов, независимо от того, были они или не были готовы ее принять. Так распространяется и марксистская вера. Коммунисты нынче у власти во многих странах совсем с другой историей, чем русская. И что же, во всех этих странах мы видим все то же самое: тоталитарное государство на службе марксистской идеологии, сосредоточение всей политической и экономической власти в Политбюро компартии, Архипелаг ГУЛАГ для тел и для душ.

Кажется, Токвиль первый сказал, что французская революция была своего рода религия, такая же вселенская по вдохновению, как ислам или христианство. «Она хотела определить права и обязанности не только французов, но и всех людей на земле, хотела изменить не только общественный строй Франции, но возродить весь человеческий род». С еще бóльшим основанием все это можно повторить и о большевистской марксистской революции, бывшей, как я уже говорил, продолжением и углублением революции якобинской и

всех мессианских европейских восстаний. По выражению Раймона Арона, марксизм обещает приход на нашу землю «другого света». Именно в профетизме марксизма нужно искать объяснение, почему, несмотря на Архипелаг ГУЛАГ и все опровержения разума и опыта, коммунистические идеи продолжают распространяться даже в западных странах. Разговоры же о татарском иге, опричнине и жандармах в голубых мундирах только помогают этому распространению. Запад слушает их с радостью облегчения: оказывается, вовсе не коммунизм страшен, страшна варварская вечно тоталитарная Россия, которая его русифицировала, а у нас коммунизм будет либеральный, демократический, ведь у нас совсем другие исторические традиции. Опасная иллюзия, она может привести к самым трагическим и непоправимым последствиям.

## МОНПАРНАССКИЕ РАЗГОВОРЫ

> Память нечто очень личное, субъективное... вот отчего мемуары об одних и тех же людях, об одних и тех же событиях так разнообразны и часто противоречивы.
>
> *Зинаида Шаховская. Отражения*

Для многих *русский* Монпарнас — это вечера чтения стихов в кафе «Ля Болле» и собрания в «Таверне Дюмениль» литературного объединения «Кочевье», созданного покойным М.Л. Слонимом. На этих собраниях бывали все, кого в предвоенные годы называли молодыми. Вот только не помню, бывал ли Яков Горбов. Я «открыл» его только после войны, когда в 1967 году вышла его повесть «Асунта», одно из самых оригинальных и поэтичных произведений современной русской литературы.

Однако монпарнасское «умонастроение» возникло не столько на этих собраниях с докладами и обсуждением стихов, а в полуночных разговорах за столиками открытых до рассвета кафе на стыке бульвара Монпарнас с бульваром Распай. После Первой мировой войны сюда перекочевали с Монмартра художники, на них приходили смотреть «кукины дети»* со всего мира.

К двум часам ночи у стоек баров собирался всякий сброд: праздные гуляки, натурщицы, предтечи теперешних «хиппи» — длинноволосые «монпарно», проигравшиеся картежники, пьяницы, полусумасшедшие бродяги, наркоманы, проститутки, сутенеры. Один из кругов парижского дна, парижского ада. Тут воскресал, казалось, Двор Чудес: сейчас войдет Франсуа Вийон. Вот эти кафе и стали излюбленным местом сборищ самых эмигрантских из всех эмигрантских писателей и поэтов.

В 1927 году, когда я начал сюда ходить, первоначальные баснословные времена русского Монпарнаса уже миновали. Я не застал заседаний «Пала-

* Так в шутку называют клиентов туристической фирмы «Кук».

ты поэтов», основанной Парнахом, Шаршуном и Гингером. Правда, я все же успел попасть на устроенный русскими художниками костюмированный бал «Жюль Верн», на который сошлись художники и натурщицы со всего Парижа. При входе раздавали написанную Поплавским афишку. Помню из нее только несколько слов: «Тому, кто прочтет наизусть роман Пруста “В поисках утраченного времени”, будет выдан шоколадный бюстик Жюля Верна».

Но русские художники и поэты собирались уже в разных кафе: художники в «Доме», поэты в «Селекте». Их развела жизнь: художники все более становились полноправными гражданами парижской республики искусств. Они могли уже — кто хуже, кто лучше — жить, продавая свои картины. А для поэтов продолжалась нищета. Мне приходилось уже об этом писать. Приведу свидетельство Ходасевича: «За столиками Монпарнаса сидят люди, из которых многие днем не обедали, а вечером затрудняются спросить себе чашку кофе. На Монпарнасе порой сидят до утра, потому что ночевать негде».

Еще страшнее бедности была отверженность. У молодых монпарнасских писателей и поэтов не было места в общем мире. В те годы на Западе эмигрантской литературой не интересовались. Переводили самых второстепенных советских писателей, а из эмигрантских даже Бунина не хотели читать, куда уж там молодых.

Но, по словам Ходасевича, и «в недрах самой эмиграции молодая литература не обрела себе родины». Удивляться не приходится. Все потерявшим изгнанникам нужны были только рассказы о славе и счастье прежней жизни в России. Молодые таких книг писать не могли: они только по рассказам старших знали о потерянном рае дореволюционных московских праздников. Очень показательно: отец Бориса Поплавского, Орфея Монпарнаса, никогда его не читал. А между тем Поплавский был неоцененным певцом эмигрантского обихода тех лет. Приведу две выдержки из его романа «Аполлон Безобразов»:

«Наглая и добродушная, добрая и свирепая, лихая Россия шоферская, зарубежная. Либерте, фратерните, карт д’идантите. Ситроеновская, непобедимая, пролетарско-офицерская, анархически-церковная. И похоронным пением звучит цыганщина, и яблочко катится в ней, и слышится свист бронепоезда...»

«Разве не прелестны, — говорил Аполлон Безобразов, — все эти помятые выцветшие эмигрантские шляпы, которые, как грязные серые и полуживые фетровые бабочки, сидят на плохо причесанных и полысевших головах... Разве Христос, если бы Он родился в наши дни, разве не ходил бы Он без перчаток, в стоптанных ботинках и с полумертвой шляпой на голове. Не ясно ли вам, что Христа, несомненно, во многие места не пускали бы...»

Молодая литература оказалась не нужна не только белогвардейскому народу зарубежной России, но и ее «демократической общественности». Вечные шестидесятники узнавали в поэзии монпарнасских «огарочников» все отвратительные им черты декадентства: мистицизм, манерность, аморализм, антисоциальность, упадочную форму, упадочные настроения.

Правда, делались отдельные попытки такое отношение изменить. Так, в 1926 году Марк Слоним, в то время самодержавный редактор литературного отдела «Воли России», первый начал печатать молодых, до того совершенно не известных. В частности, он поместил в нескольких номерах подряд стихи Поплавского. Появление молодых в «Воле России» пробило им путь и в другие журналы. Некоторых стали печатать, даже «Современные записки», правда, по выражению одного из редакторов, «с отвращением». Позднее возникли журналы и сборники, где молодых печатали уже без отвращения. Но все это ничего не исправило.

В 1930 году на собрании, устроенном журналом «Числа», П.Н. Милюков, не подозревая о мифологической природе соцреализма, заявил: «Сейчас, в то время, когда в России литература возвращается к здоровому реализму, здесь, в эмиграции, часть литераторов, в частности, те, которые сотрудничают в “Числах”, продолжают оставаться на позициях отрыва от жизни».

Милюков не увидел, что это был не добровольный отрыв, а произведенная историей ампутация. Возможность принять участие в людских делах предоставилась молодым только с началом войны. А до тех пор многие на Монпарнасе могли повторить о себе слова Поплавского из романа «Домой с небес»: «Писатель... Да, в мечтах, в дневниках... Никто... Никого... Ничто... Никакого народа... Никакого социального происхождения... Политической партии, вероисповедания...»

О чем же все-таки говорили на Монпарнасе все эти социальные выкидыши? О литературе? Да, конечно. Когда после войны стали модными теории «антиромана», в одной из них я с удивлением узнал многое из того, что мы обсуждали в «Селекте»: недоверие к классическому роману XIX века, недоверие ко всему, кроме прямой исповеди и человеческого документа, убеждение, что исследование скрытых душевных движений важнее описаний воображаемых приключений воображаемых героев, вплоть до идеи белой страницы.

Но мы не придавали всему этому большого значения. Для нас важно было другое. Что же именно? Статью Георгия Адамовича «Несостоявшаяся прогулка» можно назвать манифестом русского Монпарнаса. «Возвращаясь к литературе, — писал Адамович, — я ничуть не настаиваю на том, что во всем, написанном “нами”, есть след непосредственных встреч с Богом, смертью и другими великими мировыми представлениями. Подлинные встречи редки и трагичны: они наперечет. Но заражен воздух, отзвук чужих, огромных катастроф докатился до всех, и мелкая разменная монета этого рода — в кармане каждого здешнего романиста или поэта. Похоже на то, будто какие-то отважные и гениальные аэронавты оторвались от земли и, постранствовав “в мирах иных”, вернулись сюда, — правда, только для того, чтобы умереть... Но перед смертью они успели кое-что рассказать. А людям становилось уже скучно и страшно, рассказы пришлись по сердцу, возникли бесчисленные их переложения. Ничего другого слушать больше никто не хотел».

А кому же было скучнее и страшнее, чем нам? Мы с жадностью внимали каждому слову «петербургских» поэтов: они застали еще то время, когда воз-

вращались на землю последние из «отважных аэронавтов», слышали их рассказы. Мы верили — они сами продолжают баснословную прогулку. Когда Георгий Иванов в котелке и в английском пальто входил в «Селект», с ним входила, казалось, вся слава блоковского Петербурга: он вынес ее за границу, как когда-то Эней вынес на плечах из горящей Трои своего отца. Так же, как современники Данте, встречая его на улице, думали: у него такое смуглое лицо, так как он действительно побывал в городе Дито и его опалило адское пламя, мы не сомневались в подлинности метафизического происшествия, описанного Георгием Ивановым:

Как на дне колодца,
самом дне,
Отблеск нестерпимого
сиянья
Пролетает иногда во мне.
Падаю в него и замечаю,
Что глядят соседи
по трамваю
Странными глазами
на меня.

Тем, кто не ходил в те годы на наши сборища, трудно передать, чем был для нас Монпарнас. Я сам теперь почти с недоумением об этом думаю. Поплавскому все казалось, что здесь, когда уже не останется в эмиграции никаких журналов и собраний, «в кафе, в поздний час, несколько погибших людей скажут настоящие слова». И в самом деле, иногда в беспардонных метафизических монпарнасских разговорах вдруг что-то проскальзывало, отчего охватывало странное волнение и начинало чудиться, что собеседники в головокружении пустоты смутно слышат далекий призыв.

Во всяком случае, мне так тогда казалось. За бледнеющими лицами грешников, за клубами табачного дыма и голубоватой мутью зеркал начинало проступать что-то другое. Наши составленные вместе столики будто бы отделялись невидимой линией Брунгильды от всех других столиков, от Парижа, от всего общего мира, где нам не было места: обломок другой планеты, перенесенный через невообразимое расстояние. Капище орфических посвящений, Ультима Туле, особое призрачное царство. Николай Оцуп очень верно скажет о Поплавском: «царства монпарнасского царевич». Монпарнас нам мнился мифологическим священным «пупом земли», где сходились ад, земля и небо.

О «встрече с Богом» исступленней всех мечтал Поплавский, главный продолжатель «несостоявшейся прогулки». Он серьезно и простодушно верил в возможность такой встречи, молился о ней, ждал, почти требовал. Приведу выдержку из его дневников:

«Долгие белые дни без храбрости, без счастья, без сил... И вдруг страшно, ослепительно, до страха внезапно раскрываются двери в глубине сердца, с

той стороны двойной воронки, и нестерпимая, невыносимая слава, оглушительные слезы счастья, присутствия, физического присутствия Бога, принадлежности, преданности, обреченности Богу, когда еле успеваешь крикнуть, не успеваешь зажмуриться, и сердце уже рвется, горит, развертывается, разрушается, тает, течет, исчезает в потоке Божественной любви...»

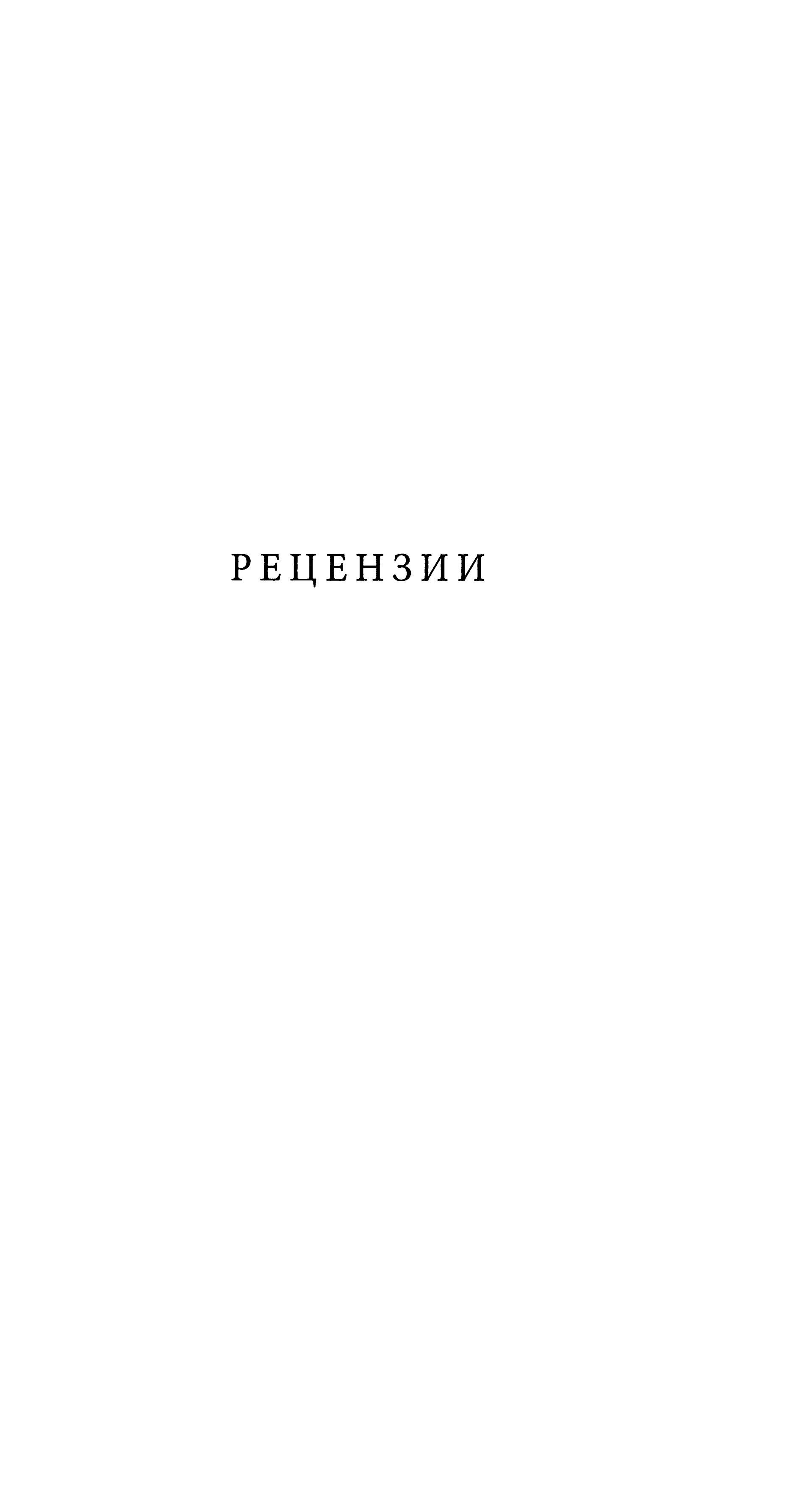
Один друг недавно писал мне из Нью-Йорка: «Давал стихи Поплавского совсем еще молодому человеку из третьей эмиграции. Прочтя, он сказал: “Поплавского ощущаю, как своего брата по судьбе, соприродного мне”».

Почему я пишу все только о Поплавском, ничего о других? В газетной статье о всех не скажешь, а Поплавский был главный выразитель монпарнасского «умонастроения». Он был наш Монпарнас. Скажу несколько слов только еще об одном монпарнасском человеке, о недавно скончавшемся Сергее Шаршуне. Первый русский дадаист, он прославился к концу жизни как абстрактный художник. Он редко участвовал в наших разговорах. Но в его романах, всегда автобиографических, люди в монпарнасских кафе говорили братским верленовским голосом. Со своим длинным, как у Данте на картине Рафаэля, подбородком, Шаршун всегда представлялся мне каким-то сказочным добрым домовым нашего Монпарнаса.

Как я уже говорил, возможность сойти с «позиций отрыва от жизни» предоставилась молодым, только когда объявили войну. Они стали теперь нужны, их звали защищать Францию, демократию, свободу. Многие из них пошли. Вдруг оказалось, эти оторванные от всякой почвы завсегдатаи «морально разложившегося», упадочного, антисоциального Монпарнаса были на самом деле такие же хорошие русские мальчики, как те, Ивана Карамазова.

Монпарнасский поэт Борис Вильде стал одним из основателей движения Сопротивления. И вот почти символ — глава «парижской школы» Георгий Адамович, скрыв порок сердца, идет добровольцем во французскую армию. А ему было уже 45 лет.

В заключение повторю о всех героях и антигероях русского Монпарнаса слова, сказанные о них Ходасевичем: «...будущий историк с любовью и удивлением преклонится перед подвигом тех, о ком я говорю: перед талантливыми и бездарными, перед умными и неумными одинаково, ибо в доброй, в благой, в прекрасной воле своей они все равны».



# РЕЦЕНЗИИ

М. Алданов «КЛЮЧ».
*Изд<ание> Кн-ва «Слово» и журн. «Современные записки». Берлин 1930*

Одно из самых больших очарований книг Алданова заключается в какой-то их европейской элегантности и первосортности. Но этот «хороший тон», европейское благообразие, отсутствие неистового и неграциозного не приводят к сухости и условности. Благородная простота словесного материала не мешает ритму слов передавать ритм мыслей, и Алданов часто заставляет забыть о том, что между его мышлением и сознанием читателя стоят слова. Если прав Бергсон, в этом единственная тайна и единственное условие хорошей прозы.

В «Ключе», как и в предыдущих своих книгах, наибольшей изобразительной силы и блеска Алданов достигает в рассказе о маленьких, часто как бы автоматических, душевных движениях героев и о шуме, говоре и кипящем оживлении роевой человеческой жизни. Описания раутов, праздников, юбилеев, перекрещивающегося говора многих голосов как-то классически великолепны.

Как всегда, хороши, но, к сожалению, очень скупы и малочисленны, чисто живописные изображения. Как будто бы никто из героев не видит красоты земли, и в их сознании чувственные восприятия не рождают никаких видений.

«Ключ» посвящен началу нового большого замысла писателя. Окончательное разрешение этого замысла еще не ясно, и поэтому о «Ключе» говорить очень трудно. Алданов один из немногих современных русских писателей, которые смотрят на мир своими глазами и которые в литературе стремятся найти выражение и воплощение своему видению. Мир Алданова мне кажется похожим на долину, на которую легла большая тень, над которой веет дыхание Екклезиаста. В конце «Ключа» фигуры героев как бы освещаются огнем горящего в первый день революции здания суда, и при этом трагическом свете как-то особенно ясным становится, что все в их жизни было «суета и затеи ветряныя». Невольно встает вопрос, не является ли ложным то ощущение полнокровности мира и трепета жизни, которое мы испытывали в начале чтения, и не есть ли мир, увиденный Алдановым, только те дурно намалеванные картины волшебного фонаря, которые князь Андрей накануне Бородинского сражения вдруг увидел без стекла и при ярком дневном свете. Люди Алданова, несмотря на всю их жизненную несомнен-

ность, вдруг представляются слегка картонными, как бы пустыми внутри, лишенными реальных душ. Они только брызги и пыль, мелькание какого-то движения. Возможно, что это движение — единственная реальность, о которой рассказывается в «Ключе». Но это необъяснимое в самом себе движение свершается как бы на краю пустоты, так как мир Алданова ничем не объемлется и ни на чем не зиждется.

Один из самых привлекательных героев «Ключа», Яценко, часто откладывал философские книги, предпочитая им «Смерть Ивана Ильича». Невольно вспоминается одна фраза из этой книги: «Но ведь то Кай, а то я». То, что герои Алданова лишены реальных душ, делает их всех только Каями. «Я» в мире Алданова нет. Каждый, читая Алданова, думает: все это верно, какое удивительное знание людей. Но каждый знает: все это о Кае, а не обо мне. Потому что «я» не могу примириться с тем, что «я», так же как Кай, не имею сущности, что во «мне» нет части реального. Это отсутствие «я» придает «Ключу» какую-то эпическую величавость, но зато ослабляет его человечески-трагическое напряжение. Есть у Алданова что-то общее с Анатолем Франсом. Но вряд ли полезно вдаваться в это беглое сопоставление. Слишком различны цели и «дыхание» обоих больших писателей.

Мне кажется, рост писателя выражается в том, что он все ближе подходит к единственному важному в литературе вопросу. Этот вопрос Андрэ Жид выражает словами: «Ce que c'est pourtant, que de vivre» (что же такое значит: жить). Думается, что большие эпические картины Алданова и его знание человеческой психологии — все это ради и во имя этого вопроса, движение к этому вопросу. И поэтому с таким нетерпением мы будем ждать новых книг Алданова, так как «на все, что может случиться в мире с человеком», истинный писатель должен дать «не ответ, конечно», но настоящий отклик.

## М. Алданов. ПОРТРЕТЫ.
*Изд-во «Слово» Берлин. 1930*

В «Портретах» даны короткие описания жизни нескольких замечательных людей «века нынешнего и минувшего»: Пилсудский, Бриан, Сперанский, Ольга Жеребцова, Кайо, Пишегрю. Несмотря на их страстную и неизнашивающуюся волю, как много бессмысленного, темного и фатального в жизни этих людей с силой, освещенной прожекторами истории. Страсти и какие-то темные эстетические представления о лицедействе человека среди других людей, кажется, в гораздо большей степени, чем идеи и умственная воля, определяют их поступки. Если же смотреть на их жизнь не с перспективы описания их личности, а с перспективы описания тех исторических событий, в которых они участвовали, то все они похожи на актеров, позванных играть в какой-то неизвестно чем кончающейся, написанной на непонятном человеку языке драме, в которой даже неизвестно, кто именно Гекуба. Актеры же думают, что они знают эту драму, и что-то говорят и делают жесты.

Читая эту проникнутую грустью книгу, невольно вспоминаешь слова Толстого: «Есть две стороны жизни в каждом человеке: жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы, и жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы. Человек сознательно живет для себя, но служит бессознательным орудием для достижения исторических, общечеловеческих целей». Есть ли что-нибудь в книге об этих исторических, общечеловеческих целях? Нет, в «Портретах» Алданов описывает только лица отдельных людей, мелькнувшие на поверхности исторического процесса. Он описывает не реку, а высовывающиеся из воды головы и отчаянно машущие руки людей, уносимых течением этой реки. О самой же реке ничего неизвестно. Возможно, что Алданов считает, что «ноуменальная» сущность истории таинственна и не покрывается ни официальной историей, занимающейся изучением движения и смены в человеческих массах идей и установлений, ни описанием мелькающих рук и лиц отдельных людей. Еще знаменитый Еллинек учил: «Действительность бесконечно многообразна и в многообразии своем непознаваема. Познание обусловливается точкой зрения, стилизующей действительность с определенной перспективы». Если так, то, по-видимому, нельзя требовать, чтобы описание выражало во всей полноте сущность исследуемого предмета. Но чтобы хоть какую-то, хоть маленькую часть сущности, хотя бы условно, символически, при помощи разных отдаленных образов описание выражало, мы можем требовать. Без надежды на это, вся философия, да, до известной степени, и все искусство бессмысленны; остаются одни восклицания. Есть ли что-нибудь об этой сущности у Алданова или он, подобно Протагору, считает, что этой сущности вообще нет, а если и есть, то она непознаваема, а если познаваема, то неописуема, так что и не стоит о ней говорить, — вот главный вопрос, который ставит себе читатель.

В одной статье Поплавский писал: «Как жить? — Погибать. Улыбаться, плакать, делать трагические жесты, проходить, улыбаясь, на огромной высоте, на огромной глубине, в страшной нищете». Когда читаешь «Портреты», то в первую минуту кажется, что Алданов с остроумием, слегка отдающим Кандидом, описывает только трагические жесты и улыбки своих героев, проходящих над огромной неизвестной, непознаваемой глубиной истории и жизни, а о самой этой глубине ничего не говорит. Для решения этого вопроса нужно вспомнить другие книги Алданова. Все писали о каждом его новом романе: «Новый роман Алданова является стадией осуществления большого и единого философского замысла. Об этом замысле еще рано судить. Подождем следующей книги». Вероятно, и действительно, не написана Алдановым эта последняя книга, которая вдруг осветила бы блистательное, но в каком-то внутреннем мраке воздвигнутое им здание. Аналитический ум, скептицизм, блеск и занимательность повествования, широкая эрудиция, добросовестное исследование источников и другие писательские качества Алданова уже давно подробно и верно выяснены и названы. И все-таки он — один из самых темных современных писателей. Мне часто кажется, что

он трет какую-то переводную картинку. Каждая новая книга стирает слой иллюзий и ложных стилизаций, и вот сейчас станет видна картинка сущности, та радостная свежесть и яркость влажных красок, которая так удивляет в переводных картинках. Но, может быть, он дотрет до дыры, и тогда ничего не получится. Еще может быть, что я ошибаюсь и он вовсе не трет, так как считает это занятие напрасным. Я, во всяком случае, эту картинку еще не вижу ясно и о философском замысле Алданова мне трудно говорить. Я только допускаю, что он гораздо больше, чем просто автор блестяще и занимательно написанных исторических романов, и я хотел бы, чтобы он написал такую освещающую последнюю книгу.

Теперь несколько слов по поводу формы. Никакой дамы, которой на самом деле не было и которая не шла по Невскому проспекту, в книге «Портреты» нету. Образы героев сделаны на основании чисто фактического материала. И все-таки я думаю, что эта книга художественная литература, а не публицистика; если, конечно, критерием художественности признавать не какие-либо формальные определения, а соответствие требованию, чтобы произведение являлось «бескорыстным», не утилитарным выражением души писателя и того, как в ней отображается мир. По-моему, такое соответствие в «Портретах» есть и история в них только «служанка» литературы. История не только не мешает в этой книге художественности, но возможно, что именно эссеизм на историческом материале является литературной формой, наиболее «адекватно» выражающей формальный писательский состав Алданова. В «Портретах», может быть, сильнее чем во всех других его книгах, чувствуется приближение того флоберовского золотого и блистательного воздуха классического совершенства, который делает прозу похожей не на живое течение жизни, а на какие-то драгоценные прекрасные вещи.

Хорошо это или плохо — один из самых трудных и трагических вопросов искусства. Я лично думаю, что совершенство формы не есть истинные двери, ведущие в жизнь вечную, и при виде самых прекрасных золотых вещей искусства, в торжествующем молчании неподвижно стоящих в каком-то, как бы похожем на вечность, квазиосвобожденном от течения времени, пространстве, меня всегда смущает мысль, что они находятся нигде, что за ними — черная дыра. Но это вопрос спорный. Во всяком случае, в «Портретах» есть большие формальные достоинства.

## Ант. Ладинский. «ЧЕРНОЕ И ГОЛУБОЕ».
*Из<д>-во «Современные записки». Париж, 1931*

Имя Ант<онина> Ладинского уже давно известно тем, кто не утратил еще любви к «мелихлюндиям из арсенала искусств». Уже давно в газетах и толстых журналах появлялись его прелестные стихи, как бы овеянные легким дыханием отлетающей в эмпиреи Психеи. Я думал, что если выйдет книга Ладинского, то лучшим к ней эпиграфом будут слова самого поэта: «как

бабочек порханье, нам бренный мир стихов». Но вот эта книга появилась, и, соединенные вместе, эти нарядные и очаровательные стихи приобрели какое-то новое, более глубокое, высшее и в то же время более человечески-реальное бытие. Слова «на небесный летим мы огонек» вдруг начинают тот «дворец» Сефира, в котором Бог отображается в душе поэта, в «шепоте стихов» предпринимающей отплытие, полет, возвращение к своему началу и источнику.

Но в стихах Ладинского нет того неживого абстрактного холода, того элемента «бледной нежити», который, делая их похожими на каких-то серафических нечеловеческих существ, так часто отделяет от жизни многих мистических поэтов. Наоборот, его муза с нежностью и с печальным сожалением склоняется над самой обыкновенной и простой земною жизнью:

Только земля, земное,
Черная, дорогая мать.
Научила любить голубое
И за небесное умирать.

Вся поэзия Ладинского полна мечтаниями души о возвращении к «райским рощам, домой», сожалением о покидаемой земле и жалобами на ожидающее «летейское забвение»:

С земною девушкой румяной
Торопимся поговорить,
На ледяные океаны —
Спешим ей жалобы излить.

Но снова нас несет в пучины
В сырую вечность, навсегда,
Отлив тяжелый, взмах единый,
Глухая черная вода.

Мне думается, что и по своим темам и по своему «дыханию» Ладинский принадлежит к тому течению современной русской поэзии, которое образуется поколением переходным, еще помнящим Петербург, и поколением новым, парижско-эмигрантским. Но как во всем его творчестве, есть в стихах Ладинского, несмотря на их возвышенный строй и «столичный» блеск, какая-то глубокая связанность с бесхитростными романтическими мечтаниями трогательно простой и бедной, впервые воспетой Пушкиным и теперь, вероятно, исчезнувшей провинциальной русской жизни, и, может быть, именно эта тайная связанность, как звучание какого-то тихого и прекрасного забытого голоса, придает что-то особо чистое, простое и прелестное стихотворному миру Ладинского. Есть и еще одна особенная черта: это спокойная, безропотная, без героически театральных жестов мужественность:

Не жалуется муза на невзгоды:
так рядовым солдатом переходы
ты с мушкетерским делала полком.

В книге немного стихов, посвященных войне, но все время, как неотступно присутствующее воспоминание, проходят тени сражений, слышится «призрачный галоп копыт» и кажется, что над всей поэзией Ладинского, точно какое-то недоговоренное «слово о полку», стоит трагический призрак исторической донкихотской гибели русского армейского офицерства:

до конца стоим и гибнем мы
в мундирах белых.

## Николай Рощин. «ЖУРАВЛИ». Рассказы. *Белград, 1931*

Почти все рассказы, вошедшие в книгу «Журавли», в разное время были напечатаны в газете «Возрождение». Если не считать «Скитания», серию небольших вещей, с явной для себя опасностью вызывающих смутное воспоминание о Spleen de Paris, о Пиранделло или вообще неопределенно похожих на что-то очень известное, почти все рассказы посвящены темам гражданской войны. Каждый из них описывает какой-нибудь трагический, ужасный или необыкновенный случай и читается с интересом и волнением. От соединения же в одну книгу с ними происходит некоторая печальная метаморфоза: занимательные по отдельности сюжеты сливаются в какой-то утомительный калейдоскоп, в то время как демонстрируемые посредством этих сюжетов «куски живописи» мира не образуют единой картины. Самобытное нравственное отношение автора к предмету, по мнению Толстого, являющееся единственным цементом, связывающим художественное произведение, у Рощина не самобытно и безлично, оно какое-то общепринятое, и поэтому его книга лишена единства и похожа на сборник «анекдотов».

Рассказаны эти «анекдоты» в той манере, которую неизвестно почему принято называть реалистической. То есть, вместо творческого виденья вещей своими глазами и названия их именами, с известной степенью приближенности рассказывающими о их сущности, автор описывает «случай», происходящий в декорациях условных, традиционных и вследствие этого, в сущности, совершенно абстрактных представлений о мире. Часто кажется, что все это уже читал у Бориса Лазаревского или еще какого-нибудь подобного же автора. В книге есть прекрасный рассказ «Дорогобуж», описывающий, как в маленьком захолустном городке растет преисполненная героического романтизма мальчишеская удалая вольница, впоследствии погибшая и рассеянная в Великую и гражданскую войну. Рассказ этот дает основание думать, что если Рощин решится отступить от, так сказать, «высочайше уста-

новленных» литературных образцов, то, может быть, он и обретет свой собственный голос. Пока же он тускл и добросовестно скучен.

## ТАЙНЫ ТЮРЕМ

«Я, Фернанд Леклерк, завещаю: мои волосы — молодым женщинам, облысевшим от тифозной лихорадки; мои глаза — двадцатипятилетним невинным девушкам, чтобы, смотря в них, они увидели, где находится счастье; мой нос — собору Парижской Богоматери, с возложением на Квазимодо обязательства чихать им в качестве сигнала тревоги, когда любовники будут обмануты Эсмеральдой... мое тело — медицинскому факультету для научных экспериментов».

Приведя таким образом в порядок свои дела, Леклерк, осужденный за убийство своей любовницы, стал «со страстью» ожидать смертной казни. «Жизнь — это смертельная болезнь. С самого детства я знал, что умру прекрасною смертью на эшафоте», — говорил он своему адвокату. Через несколько дней президент заменил ему смертную казнь вечной каторгой, а студент медицины Гедар прислал письмо, в котором выражал согласие произвести над телом Леклерка новый научный опыт. Студент писал: «Начав с карпов, я добился того, что могу заставить биться после смерти сердце мышей и морских свинок». Невозможность умереть привела Леклерка в ярость.

Комната наказаний. Голые без окон стены. Под перебойный стук и свист деревянной музыки сабо по комнате беспрерывно кружится молчаливая процессия арестантов. В одну из стен вделана решетка, за которой стоит единственный часовой. Он смотрит в большой циферблат. С семи с пол<овиной> часов утра до шести часов вечера, как некий тюремный хореограф, он дирижирует этим зловещим балетом. Он заботится, чтобы впереди находился хороший ходок. Каждые полчаса шествие останавливается на несколько минут. Люди садятся отдохнуть на каменные кубы. Потом опять идут. Сабо гулко бьют по вымощенному булыжником полу и при каждом шаге ранят искалеченные, обмотанные тряпьем ноги. Проходя мимо решетки, один из арестантов поворачивает серое мертвое лицо и смотрит животным, трагическим и страшным взглядом. На лбу вытатуированы большими голубыми буквами слова: «надежды нет».

В открытом море отправляемые в Гвиану преступники перегружаются с портовых шаланд на пароход «Ла Мартиньер». Каторжане один за другим выходят из трюма шаланды. Некоторые на минуту замешкиваются у трапа. Они смотрят на окружающее их со всех сторон море. Громкий смех элегантно одетых красивых женщин, приехавших на моторной лодке посмотреть на зрелище, привлекает их внимание. Они останавливаются на секунду, чтобы лучше вглядеться в лица и тела этих женщин. Но надзиратели их торопят, и они бегут по мостикам и лестницам. Беспрерывная лента этих сотен людей, льющаяся по лабиринту пароходных трапов, похожа на передаточные ремни машины, все время проходящие по одному и тому же месту.

Солнце выходит из-за облаков. Женщины на моторной лодке инстинктивно замолкают. Солнце кажется налитым кровью, и волны страшно и багрово освещены. «Ла Мартиньер» отходит, озаренная кровавым патетическим отблеском.

В Сант-Мартэн-де-Ре сгружают с парохода тяжело больных и умирающих. Под палящим солнцем, обливаясь потом, человек-лошадь тащит по пыльной дороге двухколесную тележку, на которой лежит гроб умершего каторжника. За ним шагает тюремный сторож. Каторжанин охраняется не только до последнего вздоха, но до последней лопаты земли, сброшенной на его гроб. По дороге сторож заходит в рабочую лавочку, потом бежит гимнастическим шагом, догоняя своего «клиента», как бы пытающегося совершить посмертный побег.

Как некий репортерский Вергилий, ведет Роберт Ловель читателя по кругам тюремного ада. Его книга «Осужденные»*, рассказывающая о тюрьмах и преступниках, принадлежит к тому виду репортажа, который, давая в описаниях малоисследованных сторон общественной жизни много интересного чисто фактического материала, часто кажется более предпочтительным, чем беллетристика на те же социальные темы, если она недостаточно высока по качеству.

## Сергей фон Штейн. ПУШКИН МИСТИК. *Рига, 1931*

Книга фон Штейна посвящена исследованию мистико-романтических элементов в творчестве Пушкина. В предисловии автор замечает: «И в прозе и в стихах, в лирике, эпосе и драме у Пушкина постоянно встречаем те мистические мотивы, которые были столь свойственны романтической литературе его времени. При наглядной очевидности этого явления в поэзии Пушкина представляется несколько неожиданной малая его затронутость в пушкинской литературе. Обстоятельство это легче всего объяснить преобладанием реалистических течений в русской критике и общественности второй половины XIX столетия, когда полагались первоначальные основания изучению пушкинского творчества».

Мистические настроения современного Пушкину общества, национальность (фон Штейн считает склонность к мистицизму одной из главных душевных черт русского народа), наследственность, семейные традиции, впечатления Востока, который поэт считал отчасти себе родным, наконец, масонство (в 1821 году Пушкин вступил в Кишиневе в «Ложу Овидия») — все это вместе взятое имело влияние на образование и развитие мистических черт личности Пушкина. Ставя перед собой вопрос, в какой именно области надлежит искать обоснования пушкинской мистики — в области религиоз-

* На книгу R. Loewel. Condamnés (Secrets de prison).

ной, философской или чисто литературной, автор приходит к выводу, что мистика вошла в творчество Пушкина по романтическому литературному руслу.

Исследование фон Штейна, бывшего в свое время хранителем Пушкинского Дома Российской академии наук, имеет несомненную академическую убедительность. Но именно этот академизм и мешает автору в достижении его цели. Мистицизм Пушкина может быть раскрыт только на путях интуитивного проникновения, а не на путях литературно-исторического исследования. Во всяком случае, книга Штейна имеет важное симптоматическое значение. По-видимому, уже пришло время пересмотреть трафаретные представления о русских классиках, созданные в XIX веке критикой, защищавшей чрезвычайно условно и рационалистически понимаемый «художественный реализм».

## Д.Г. Лоренс «ЛЮБОВНИК ЛЭДИ ЧЕТТЕРЛЕЙ»

Старинная помещичья усадьба в промышленном центре Англии. Вокруг угольные копи, заводские города.

Молодой владелец возвращается с фронта с парализованными от ранения ногами. Он пишет, становится модным писателем. Его жена, Констанс, ему помогает. Когда они вместе работают над его книгами, им кажется, что что-то происходит, происходит действительно, заполняет пустоту. В их совместной интеллектуальной работе — вся их жизнь; жизнь в пустоте. Все остальное не существует. Правда, усадьба, слуги... но это только тени, неживые вещи, неживые существа. Но и их работа — только тень, только видимость реальной жизни.

В усадьбе часто съезжаются друзья владельца. Ведутся бесконечные «интеллектуальные» разговоры. Один из гостей говорит: «Самый организм буржуазен: идеал — это машина. Человек только часть машины, и машина движется ненавистью ко всему “буржуазному”; вот, по-моему, сущность большевизма». И дальше: «Логически разум претендует управлять всем остальным и ненавидит все остальное. Мы все большевики, но мы лицемеры. А русские — это большевики без лицемерия». Чтобы бороться с этим всемирным большевизмом, «нужно быть человеком, иметь сердце и пол».

Констанс любит слушать эти разговоры, но ей кажется, что все эти люди преувеличивают интерес интеллектуальной жизни. И из них никто не имеет сердца и пола.

Ее давит чувство пустоты и небытия.

С некоторых пор ее муж начинает интересоваться принадлежащими ему угольными копями. Он понимает, что настоящий успех в новом обществе ему могут дать только деньги, деньги, добываемые в промышленности. Он объясняет Констанс: личность не имеет никакого значения. Аристократия, правящее сословие, образуется не личностями, не индивидуумами, а

социальной функцией. Функция определяет личность. Никакого человеческого братства не может быть между людьми, определенными разными функциями; между правителями и рабочими.

Констанс чувствует отвращение к этому обществу правителей, к которому принадлежит ее муж. Она ненавидит послевоенную Англию, рождающую новую расу людей, чрезвычайно чувствительных к деньгам, к политической и социальной стороне жизни, но ко всему сердечному, интуитивному более мертвых чем мертвецы. Братство умерло; было только одиночество и отчаянье. Но когда Констанс хочет вырваться из пустоты интеллектуальной призрачной жизни господствующего класса, понять жизнь других людей, увидеть неизвестный мир, окружающий их усадьбу, — этот мир кажется ей странным, враждебным и зловещим. Она видит фабричный город, окутанный столбами дыма и пара. Ни церквей, ни пивных, ни лавочек. Ничего, кроме больших заводов. Эти заводы и машины — современный Олимп. Бесчисленные и страшные люди. Жизнь без красоты, без радости, без интуиции, всегда в «колодцах шахты». Она снова чувствует смутный ужас, серую и лязгающую ненужность всего. Эти страшные существа были рабочими массами. Цену же высшего класса она хорошо знала. Больше не на что было надеяться.

В это время она встречает Мелорса, лесничего своего мужа, человека одинокого и «устранившегося». Физическая любовь с этим человеком разрушает власть очарованного и страшного давящего ее мира логического ума и машин и является для нее как бы дверью в истинную жизнь, приносит ей чувства счастья, спокойствия и надежды. После томительного беспокойства и ощущения мертвой пустоты эта любовь приходит как радость и жизнь. Констанс чувствует такое же облегчение, как Тантал если бы он мог припасть к светлой воде, текущей мимо его томимых жаждою губ. Когда она возвращается после свидания, ее поражает вид ее мужа. С чувством страха она смотрит, как цивилизованный, со светлым выражением лица он сидит, склонившись над книгой, с широкими плечами и без ног! Какое-то странное существо, одаренное холодной и ясной, негнущейся волей, но без теплоты, без малейшей теплоты. Один из людей будущего, без души, но с холодной волей. Но все-таки нежное и теплое пламя жизни было сильнее его, и настоящие вещи были скрыты от этого человека.

И в дальнейшем вся книга рассказывает, как леди Четтерлей <и> ее любовник начинают борьбу за это нежное и теплое пламя жизни. Когда после ухода Констанс Мелорс остается ночью один в лесу, он слышит грохот машин и видит с горы бесчисленные огни заводов, шахт, доменных печей, горящие по всей земле. И в этих электрических огнях было что-то жестокое и враждебное. Там, в этом мире жадных механизмов, расплавленного металла и электрического блеска, там было огромное зло, готовое пожрать все, что не могло приспособиться. Леса и цветы, все нежное должно было погибнуть под тяжестью железа. И он почувствовал страх перед общественностью, как перед жестоким и безумным зверем. О, если бы только можно было соединиться с другими людьми, чтобы победить эту внешнюю вещь, блестящую и

электрическую, чтобы защитить нежность жизни, нежность женщин. Но все люди были там, «вовне», с этой внешнею вещью, с механической жадностью. Мелорс чувствует, что в его любовнице была та же нежность, что в ранних цветах. Он будет защищать ее своим сердцем до конца, до последнего момента, когда мир бесчувственного железа и механической алчности окончательно их не раздавит.

Мелорс часто с пророческой грустью говорил: настанут плохие дни для нас всех и для всего мира. У современных людей, превращенных в рабочих насекомых, резиновые трубки вместо жил и ноги и лица из жести. Это вид большевизма, который спокойно убивает человеческую вещь, чтобы обóжить механическую вещь. Дайте им денег, и они уничтожат весь нерв человечества и превратят людей в маленькие автоматические машины. Все это кончится всеобщим взаимоуничтожением и гибелью человеческого рода.

Постепенно под влиянием любви Констанс в нем увеличиваются надежда и воля к борьбе. Обнимая свою любовницу, он говорит самому себе: я представляю интимное физическое знание между людьми, интимное прикосновение нежности. И она моя подруга. И должна произойти борьба против денег, против машины, против бездушного и мертвого идеала общественности.

Книга кончается письмом, в котором он ей пишет: из нашей любви родилось пламя. Даже цветы созданы совокуплением, соитием солнца и земли. Я и Бог, это все-таки немного претенциозно. Но маленькое пламя, которое горит между вами и мною, — это хорошо. Вот что я защищаю и буду защищать против всей общественности, и всех угольных копей, и всех правительств. Мы верим в это маленькое пламя и в Бога без имени, который не дает ему погаснуть.

* * *

Откровенность описаний и употребление слов и названий, до сих пор в изящной словесности не употреблявшихся, создали книге Лоренса шумный и немного скандальный успех. Все внимание сосредоточилось на эротических местах романа. Между тем мне кажется ошибочным видеть в «Любовнике лэди Четтерлей», только эротическое исследование. Главное в книге — это призыв к защите человеческой нежности и любви, к защите теплого пламени жизни против мертвящего духа сегодняшнего времени, сводящего всю реальность человека к социальной функции, к логическому, бездушному уму и рационально организованному строению машин и городов, против духа, нашедшего свое последнее и полное выражение в большевизме. Это призыв к защите живого человека против надвигающейся на него опасности превращения в трудовое и мертвое насекомое, к защите человеческой вещи против раздавливающей ее вещи механической.

В предисловии автор пишет: «После веков потемок — разум стремится знать, знать полностью». Но, конечно, не о пустом и внешнем знании логи-

ческого разума, способного строить геометрические теоремы и машины, но от которого скрыты настоящие вещи, а о каком-то интуитивном прикосновении к реальности, к самому пламени жизни — говорит Лоренс. Вот почему ему необходимо так долго останавливаться на описании акта физической любви. Так как именно в половом соитии человек ближе всего соединяется с тайною факта жизни. И в смелости, с которой Лоренс пытается это описать, — его большая заслуга. Есть какая-то страшная ошибка в том, что до сих пор описание этого опыта, опыта, в котором человек больше и глубже, чем когда-либо sum, представлялось порнографическим авторам, а настоящие писатели из-за страха перед общественностью ставили точки. И вероятно, прав Лоренс, когда говорит, что благодаря этому умолчанию мы так мало знаем о тайне брака и в сознании современного человека момент наиболее прямого и тесного прикосновения к «древу жизни» сводится к каким-то механическим и слегка смешным телодвижениям в унизительной позе.

Лоренс пишет: «Настоящее знание дается только целостностью вашего сознательного существа, вашим животом и вашим полом в такой же степени, как вашим мозгом и вашим разумом». Это как бы пересмотр критики чистого разума, попытка нового решения проблемы гносеологии — утверждение любви как реального познания. Мне кажется, что в этом Лоренс примыкает к тем усилиям, которые дает современный человек, чтобы преобразить данное ему формальное и внешнее, лишенное «материального содержания» знание в какое-то знание, могущее описать и назвать содержание полного интуитивного знания самой сущности жизни.

Есть, мне кажется, в этой книге и какое-то продолжение идей «Эмиля» и «Казаков». Но, к сожалению, в рецензии трудно говорить о всех тех важных темах, которые затрагивает Лоренс. Замечу только, что еще совсем недавно романы, предсказывавшие, что при известных условиях механическая цивилизация может умертвить человека и превратить его в механического робота (слово, впервые употребленное Чапеком в его знаменитой книге R.U.R.), писались в фантастико-утопическом жанре и действие в них происходило в отдаленном будущем. Теперь уже эти романы пишутся как романы «злободневно-социологические». Все чаще и настойчивее раздаются голоса, указывающие на уже начинающееся трагическое превращение современной цивилизации из общечеловеческого дела борьбы за жизнь в мертвую «душную машину, поглощающую человека и умерщвляющую пламень жизни. Почти все последние книги говорят о появлении какой-то роковой пустоты в сердце гордой рационалистической цивилизации, о пустоте, в которую, действительно, как новая Атлантида, провалится современное человечество.

Скажу еще, что книга мне представляется в большей степени романом — идей, демонстрацией, чем повестью о «частном и неповторимом случае» любви двух определенных людей. О героях почти все время рассказывается «извне». И отсюда — невозможность для читателя «узнать самого себя». Это приводит к тому, что читатель часто остается равнодушным, так как, по-видимому, рассказ о Кае может потрясти его сердце, только тогда когда

он понимает, что Кай такой же «я», как и он, и что всякая человеческая история — это история обо «мне».

Но несмотря на это книга все-таки доходит до сердца и читатель чувствует проникающий ее призыв к нежности и братству, идущий из сердца другого человека.

### Сергей Горный. «РАННЕЙ ВЕСНОЙ».
*Изд<-во> «Парабола». Берлин, 1932 г.*

«Я расскажу вам о своем самом волшебном времени, о времени сладостном и неповторном. Таком напряженном. Таком значительном.

О детских днях моих».

К книге Сергея Горного «Ранней весной» трудно подобрать лучший эпиграф, чем эти начальные слова одного из помещенных в ней рассказов.

Уже не молодой человек с любовью склоняется над своим детством. Все тогда, и люди, и вещи, самый воздух тех дней были другими, чем теперь, живыми и одушевленными. Автор с любовью описывает весь этот мир детских видений и мечтаний, исчезнувшее счастье того времени, когда перед его открывающимися глазами мир возникал волшебным и прекрасным.

Иван Ильич, умирая в страшных мучениях, вспомнил, что во всей его жизни только в детстве было что-то хорошее. Это что-то хорошее, бывшее в детстве и запечатленное памятью, старается назвать Сергей Горный.

Он не хочет отходить от времени детства, так как то время было большою — первою и, может быть, «единственной любовью нашей жизни, и от любви, от тепла не хочется отходить.

Это так понятно».

О том, как сердце человека отпало от любви и медленно сохло и мертвело, автор не хочет рассказывать. Он не говорит, как случилось, что «теперь в года грузные и пасмурные, но во взрослой усталой и так и не осмыслившей мира душе — нет откликов, нет перезвонов, перекличек и плеска». Мне вспоминаются трагические слова Анненского: «Подумай, на руках у матерей все это были розовые дети».

Мне кажется, что все творчество Толстого выросло из страшного и неслыханного усилия его сердца вырваться опять в любовь как в «истинно существующее» бытие. Он заставлял себя это сделать, как бодлеровский ангел терзал атеиста. Это был последний услышанный людьми христианский призыв к борьбе «до победного конца» даже в том случае, если очевидно, что «победного конца» не будет и не может быть.

Сергей же Горный останавливается только на воспоминании о том, что в детстве было что-то хорошее. Он не хочет идти дальше. Эта книга только напоминание, а не призыв. Я должен сказать, что так же, как и в писаниях о детстве Осоргина, в книге «Ранняя весна» есть некоторый привкус аффектации, и душевной и литературной. Когда пишут о детстве, это всегда бывает

трогательно. Здесь автор как бы пользуется силой этой обязательности для каждого человека быть тронутым, когда ему рассказывают о детстве. Кроме того, мне кажется, что такая книга могла быть бы быть написана проще. Например, конец одного рассказа: «На военном кладбище, за горным институтом штабс-капитан Евгений Прохоровский похоронен.

Все».

Это «все» явно рассчитанный стилистический прием.

Но это второстепенно. Важно то, что книга выросла из настоящего сердечного волнения. В наше время, когда все пишут хорошо, но часто попусту, так как исчезло в душах «волнение», — это очень ценно.

### В. Сирин. «ПОДВИГ».
*Изд<-во> «Соврем<енные> зап<иски>» 1932*

Очень трудно писать о Сирине: с одной стороны, это молодой писатель, в то же время — признанный «классик». И вот не знаешь, что сказать: очень талантливая, но мало серьезная книга — если молодой писатель, безнадежное снижение «духа» — если классик.

Сирина критики часто ставят рядом с Буниным. Бунин несомненно связан с концом классического периода русской литературы. Как словесное искусство, творчество его стоит на уровне самых высоких образцов, даже приближается к какому-то торжественному совершенству, которого, может быть, и раньше ни у кого не было. Иногда кажется, что и Толстой так хорошо не описывал «пейзажи». Но в то же время иссякло великое и страшное волнение, из которого родилось творчество Толстого и Достоевского (иностранцы, вероятно, все-таки правы, говоря Tolstoi и Dostoievsky, как только заходит разговор о русской литературе). И все же у Бунина есть что-то подкупающе-величественное, что-то надменно-архаическое. Это творчество человека вымирающей, не приспособившейся расы. Последний из могикан.

Побеждает раса более мелкая, но более гибкая и живучая. Именно какое-то несколько даже утомительное изобилие физиологической жизненности поражает, прежде всего, в Сирине. Все чрезвычайно сочно и красочно и как-то жирно. Но за этим разлившимся вдаль и вширь половодьем — пустота, не бездна, а плоская пустота, пустота, как мель, страшная именно отсутствием глубины.

Как будто бы Сирин пишет не для того, чтобы назвать и сотворить жизнь, а в силу какой-то физиологической потребности. На это скажут: «Ну и хорошо, и птицы так поют». Но человек не птица.

Искусство как отправление некоторой природной функции — вероятно, вполне законно. От живописи, например, кажется, и не принято требовать большего. Но после «Толстого и Достоевского» позволительно думать, что литературе суждена иная судьба.

По-видимому, в древности литература была близка к мифологии, соприкасалась с тем, что Бергсон назвал «статической религией». Лучшие писатели христианской эры как бы прорывались в область, близкую к абсолютной религии. Одним из последствий этих двух опытов было появление чисто формальной литературы, искусство хорошо писать. Постепенно это «функциональное» искусство стало чем-то самостоятельным, отделившимся от того душевного волнения, которое его родило. Появился ряд писателей, успешно овладевших этим определившимся искусством, но им и во сне не снилось все то духовное творчество, одним из производных, вторичных результатов которого оно явилось.

Как бы хорошо такие писатели ни писали, все это ни к чему.

Должен сказать, что именно таким писателем мне представляется пока Сирин.

Читая «Подвиг», я все время чувствовал, что это очень хорошо и талантливо написано. Правда, мне не очень нравилось. Пруст говорил, что обыкновенно любят тех писателей, в которых узнают самого себя. В хороших писателях узнает самих себя, свою жизнь большинство людей. Читая Сирина, сквозь некоторую экзотичность его образов, я все-таки узнавал непосредственные перцепции пяти чувств. Но дальше уже ничего нельзя было узнать.

Одно время мне показалось, что «идея» романа в том, что герой понимает невозможность и неправедность индивидуального личного счастья и приходит, как к единственному спасению, к «подвигу», к отдаче себя в неосознанной любви к чему-то высшему и к другим людям, к их общему делу. Тогда бы все это имело отношение к чему-то важному и существенному и именно теперь имеющему особенный интерес. Но я скоро должен был убедиться в необоснованности и произвольности моего предположения. Никакого «жизнеучения» в основе романа нет. Это как бы сырой материал непосредственных восприятий жизни. Эти восприятия описаны очень талантливо, но неизвестно для чего. Все это дает такой же правдивый и такой же ложный, ни к какому постижению не ведущий мертвый образ жизни, как, например, ничего не объясняющее, лишенное реальности, графическое изображение движения. Хорошо написано, доставляет удовольствие. Но дальше ничего. Читателя приглашают полюбоваться, и это все. Его никуда не зовут. После чтения в его душе ничего не изменилось. Живописец или кинематографический оператор из Сирина вышел бы, вероятно, очень хороший, но вряд ли ему удастся создать un nouveau frisson[1].

Может быть, это и объясняет повсеместное признание Сирина в вечно существующей и неизбежной академии.

Темное косноязычие иных поэтов все-таки ближе к настоящему серьезному делу литературы, чем несомненная блистательная удача Сирина.

---

[1] Дрожь (*фр.*).

## Мариенгоф. БРИТЫЙ ЧЕЛОВЕК.
*Изд<-во> «Петрополис», Берлин, 1932*

Уже много лет я не читал писателей тех дней, когда еще не было социального заказа и «попутчики» больше занимались стилистическим орнаментом, чем идеями революции (кажется, тогда именно формалисты провозгласили, что «искусство есть сумма приемов» и т.д.). Теперь же, открыв Мариенгофа, я был поражен. Мне было трудно читать. Непонятно, для чего утомительно нагроможденные один на другой какие-то жирные, неправдоподобные образы, «остраненные», а иногда и просто малопонятные слова, все это вызывало чувство досады. Например, фраза: «В вечера, когда бесконечность, разбрызгавшись куриным желтком, не перепачкивала синий фуляр неба, мы бродили по улицам...»

«Comme aux accoutrements, c'est pusillanimité de se vouloir marquer par quelque façon particulière et unisitée, de meme au langage, la recherche des phrases nouvelles et des mots peu connus vient d'une ambition puerile et pédantique»[1], — писал Монтэнь.

Я вспомнил эти слова с необыкновенной отрадой. Мариенгоф же представился мне утомительным человеком, все тщеславие которого в том, чтобы одеваться как можно более странно и неестественно, так, чтобы на улице все пальцами тыкали. Но так же, как не замечаешь опечаток (сознание автоматически подставляет правильные слова), я постепенно привык не замечать «имажей»[2] Мариенгофа, и тогда чтение его романа мне начало доставлять удовольствие. Это все-таки на редкость талантливая беллетристика.

Герой, от имени которого ведется рассказ, убивает своего друга, «бритого человека», в продолжение пятнадцати лет вызывавшего зависть, восхищение, влюбленность и медленно растущие ненависть и отвращение. Бритый человек — олицетворение самого низкого снобизма, циничный хлыщ и бесчувственный себялюбец. В душе его все гладко и пусто, хоть шаром покати. В одном месте он говорит:

— Русская душа? Кес-кесе?[3] С чем это кушают... Не думаете ли вы, что у нас в груди так же гладко, как на подбородке?

В последней главе описывается, как бритый человек выдавливает герою угри на лице. Вся сцена написана так, что читатель испытывает физическое отвращение. Здесь действительно «прием» достигает своей цели. Книга заканчивается словами: «Трудно даже поверить, что из-за этих самых крохотных червячков с издевательскими головками и белыми хвостиками я на шнуре от портьеры повесил моего друга». Сцена убийства чрезвычайно неубедительна и, по-видимому, имеет такое же символическое значение, как в повести Алексея Толстого «Рукопись, найденная среди мусора под кроватью».

---

[1] «Желание отличиться от всех остальных непринятым и необыкновенным покроем одежды говорит о мелочности души; то же и в языке: напряженные поиски новых выражений и малоизвестных слов порождаются ребяческим тщеславием педантов» (*пер. с фр. А.С. Бобовича*).

[2] От image (*фр.*) — образ.

[3] От Qu'ést-ce que c'est? (*фр.*) — Что это?

Сам герой, от имени которого ведется рассказ, — «униженный человек». Под аффектацией грязного цинизма в его душе как-то стыдливо запрятаны все добрые и чистые чувства и даже какая-то восторженность. Все это описано по чересчур явному рецепту «литературных приемов» и досадно приближает Мариенгофа к Эренбургу и другим писателям-фальшивомонетчикам.

Замечательна же в этой книге очень большая, если можно сказать, физически-литературная одаренность Мариенгофа. Та внешняя, чисто литературная талантливость, так щедро отпущенная, например, Алексею Толстому и которой в то же время иногда лишены писатели, более значительные.

Может быть, лучшее место в книге — разговор гимназистов в уборной. Несмотря на гиперболическую размалеванность, в этой сцене поражает убедительность, с какой описана борьба за социальное признание и вызываемые ею чувства тщеславия, унижения и зависти и готовность «приспособиться и предать ради этого все свое дорогое и настоящее.

В книге и не пахнет социальным заказом. (Разве только то, что «бритый человек» — бывший лицеист.) Как ни странно, это причинило мне некоторое разочарование. Эмигрантская ли это тоска по социальности, но теперь человек, никак не относящийся ни к какому серьезному и ответственному общему делу и в то же время не ушедший в настоящее подполье, человек богемы, каким несомненно является Мариенгоф, кажется мне, не может уже сказать ничего действительно интересного.

## М. Алданов. ЗЕМЛИ, ЛЮДИ.
*Изд<-во> «Слово». Берлин. 1932*

Недавно еще я слышал: на одном литературном собрании критик N, возмущенный успехом книг Алданова у эмигрантской читающей публики, говорил: «Как будто бы никто не знает, что это заимствованный жанр». В качестве первоисточника критик назвал какого-то английского автора. Я не читал этого автора. Может быть, действительно, Алданов ему подражает, но, может быть, английского в Алданове только та «первосортность», о которой он говорит, описывая Лондон: «здесь все первосортно...»

На Западе, во Франции например, культура публицистической беллетристики очень высока. По-русски же хороших книг этого жанра очень мало. Алданов начинает почти на пустом месте.

Почти все главы этой книги я уже читал по газетам отдельными статьями. Но и во второй раз перечитывал с первоначальным интересом. Вероятно, именно эта занимательность повествования и объясняет успех Алданова у широкого читателя. Это действительно занимательное чтение. Занимательное и в то же время грустное.

В предисловии автор говорит: «Разумеется, я не ставил себе целью подводить какие бы то ни было "итоги" нашей катастрофической эпохе. Выводы сделает, если захочет, сам читатель».

Какие же именно выводы может сделать читатель?

В описаниях людей характерный для Алданова отказ от ложного и лицемерного, преувеличенно мрачного или светлого освещения. Алданов описывает все как бы с точки зрения умного и наблюдательного, но «обыкновенного» человека. К сожалению, не всем это дано. Многие делают вид, что видят мир как бы с точки зрения гения. (Русские, например, часто пишут с точки зрения Достоевского, забывая, что одной узурпации приемов вовсе недостаточно, чтобы действительно причаститься этой точки зрения и увидеть «бездны».) Возможно, что именно благодаря этой честности и правдивости Алданова люди, о которых он рассказывает, в общем, мало похожи на великих людей Плутарха, и их действия часто кажутся почти сомнамбулическими.

Рассказывая об импровизациях диктатуры Альфонса XIII, Алданов замечает: «...импровизации мы ей в особую вину не поставим: быть может, уж лучше импровизировать, чем, ничего не выдумывая, живя со дня на день, радостно и беззаботно вести мир к пропасти, как это сейчас на наших глазах делают бездарные правители Европы. В устах человека, безоговорочно защищающего капиталистический строй, эта фраза звучит знаменательно. (Знаменательно и то, что собственно мало хорошего он видит в этой буржуазной Европе.) Настоящий герой нашего времени — какой-то господин Х., к которому после войны перешел Ферней. Этот “очень гордый” человек “заработал” во время войны огромное состояние и на свои кровные (именно кровные) деньги приобрел Ферней». Да и деятельность банкиров, этих правителей буржуазного общества, вызывает сомнения: «Если они и своего дела не знают, то что же они знают и для чего собственно нужны?» — спрашивает Алданов. Или замечание о том, что в «числе тех “знаков” (по ходкому ныне выражению), под которым живет мир, есть и знак Устрика».

Может быть, самая грустная глава в книге — это описание заседаний Лиги Наций. Все-таки идея Лиги Наций — одна из самых высоких идей в Европе. По Алданову здесь процветает культ лицемерного пустословия и «над этим учреждением носится легкий запах казенного пирога». Но, замечает Алданов: «...нации имеют ту Лигу, которую заслуживают». Последние слова в этой главе и заключение всей книги — сравнение Лиги Наций с дочерью Халдеев и цитата из Священного Писания: «и будет бедствие на тебе, от которого ты не отмолишься, и постигнет тебя несчастье, от которого ты не откупишься, и внезапно придет на тебя гибель, которой ты не предвидела».

Алданов по-настоящему, всем своим «составом» ненавидит большевиков. Он защищает противостоящий большевизму капиталистический строй. Тем замечательнее, повторяю, даваемая им неприглядная картина этого строя, под знаком Устрика и под стук молотков банковских банкротств «идущего к собакам».

Мне кажется, именно здесь читатель делает самый «безвыходный» вывод. Даже читателю, так же как Алданов, ненавидящему большевиков и для которого дорогá «священная Европа», образ «буржуазного» мира сего дня кажется мало привлекательным.

Алданов объясняет захват власти большевиками несчастной случайностью. Он пишет: «Знаю, что безнадежно себя гублю в глазах всех читателей и социологов, но, по-моему, недавними историческими событиями доказано, что любая шайка может при случайно благоприятной обстановке захватить государственную власть и годами ее удерживать при помощи террора, без всякой идеи, с очень небольшой численно опорой в народных массах. Позднее профессора подыскивают этому глубокие социологические основания».

Я не социолог и готов согласиться с Алдановым. Возможно, что большевики захватили власть благодаря несчастной случайности. Но не думаю, чтобы случайной была благоприятствовавшая и благоприятствующая им обстановка. «Физически» низшие классы населения в современном обществе стали сильнее правящих. Правящие классы могли бы остаться у власти, если бы они сохранили «качественное» превосходство. Но если, действительно, Устрик — образец социальной доблести в современно-буржуазном ее понимании, то трудно говорить о качественном превосходстве. С того момента, когда низшие классы начинают все это понимать и создается благоприятная для большевизма обстановка, «души людей уходят от капиталистического строя». Это выражение Бунакова Алданову не нравится. Мысли Бунакова, что надо увести души от большевизма, однако не предлагая им взамен капиталистического строя, он считает неверными и опасными, и сам предлагает строй именно капиталистический, но в то же время дает такой его образ, что читатель может сказать: «Я издали глядел — смущением томим».

В заключение скажу, что книга «Земли, люди» написана с тем же блеском, что и предыдущие книги Алданова этого же жанра: «Портреты», «Современники». Алданов с совершенством владеет определенными механическими приемами для достижения эффектов. Il fait de l'esprit[1]. Некоторые остроумные его замечания мне нравятся, некоторые не совсем. Это дело личного вкуса.

Рассказывая о Плаза Майор, Алданов говорит: «...не мешает побывать на этой площади скептикам, совершенно отрицающим моральный прогресс человечества (скептицизм ведь уместен как приправа, в чистом виде он нестерпим)». Одно из самых глубоких высказанных в этой книге суждений. Это близко к той чрезвычайно существенной, мужественной и часто религиозной новой вере в прогресс, явно рождающейся сейчас в некоторых человеческих сердцах. Среди русских, особенно среди богословски настроенных русских, к сожалению, встречается теперь враждебное отношение к прогрессу. «Вы верите в прогресс, да вы отсталый человек», — часто мне говорили с презрением.

Одно из главных достоинств Алданова — отказ от попытки вбить жизнь в какую-либо искусственную и произвольную, обязательно симметричную схему. Его рассказ поэтому кажется бесформенным, как бы распадающимся. Это скорее фотографии, чем картина. Но мне кажется, что хорошая фото-

[1] Он острит (*фр.*).

графия и более интересна, и более документально убедительна, чем плохая претенциозная картина.

Как во всех книгах Алданова — описание как бы машинального лицедейства людей на фоне «бессвязного и бестолкового авантюрного романа истории».

### Леонид Зуров. ПОЛЕ.
*Изд<ание> «Парижского объединения писателей». 1938*

Леонид Зуров принадлежит к «молодым» эмигрантским писателям. Наиболее характерен для произведений этих «молодых» — интимный монолог, с устранением всех социальных и бытовых условий существования. Возникновение этого литературного рода не случайно в условиях оторванности от полноты непосредственного участия в коллективной жизни. И все же Зуров, несмотря на его многолетнее «сидение на Монпарнасе», писатель, идущий совсем по другому пути. Даже у многих «старших» эмигрантских писателей, сложившихся еще в России, не найти такой силы чувственного восприятия, такого органического ощущения «плоти» жизни и мира, как у Зурова. Зуров не только не оторван от земли и от тела своего народа, но сильнее, чем кто-либо из современных эмигрантских писателей, чувствует глубокие, слитые с силами природы, биологические начала роевой человеческой жизни, все древнее, родовое, славяно-языческое, еще живое в крови и в подсознании народа.

Читая его новую книгу «Поле», с необыкновенной живостью чувствуешь чудо существования описываемого им озера, его сияние и глубину. И в предыдущих книгах Зурова было много прекрасных описаний земли и неба, деревьев, снега. Но никогда еще, кажется, Зурову не удавалось передать с такой силой внушения свое чувство русской земли, как в этом описании «болотных и лесных краев». Он создает русское «чувство озера», как, по мнению одного французского исследователя, Руссо создал «чувство горы», то есть из элементарных, близких к физическим, впечатлений, производимых пейзажем, сотворил новое волнение, новое чувство человеческаго сердца.

Так же, как в «Древнем пути», в «Поле» рассказывается о народе, ушедшем на войну, на смерть и возвращающемся после большевистской революции домой. Зуров не рассказывает об отдельных, игравших историческую роль, лицах. Он видит и описывает ту сторону событий, которую Толстой считал главной, — стихийное, как перелет птиц, движение огромных масс людей. Идущая обратно с фронта солдатская река смывает все сложившиеся веками условия жизни. Пожары, убийства, воздух новой страшной России — «словно впервые из-под всех одежд и веков освобождаясь, рождалась она, чтобы умереть или расцвести небывало». И в этих словах определение и темы и «героя» «Поля» и всех предыдущих книг Зурова, являющихся как

бы фрагментами одной задуманной им повести — «Россия. Ее поле. Ее небо, дыхание».

Центральный эпизод в книге — бегство от красных пограничников богатого и набожного мужика Ермолая. Раненый, почти умирающий, вместе с женою он прячется в лесу. «Но земля была холодна, и трудно было на ней иззябшему, раненому, бежавшему от людей, потерявшему много крови человеку, и единственно, что можно было делать, это греться на этой земле друг другом, человеческой, единственной, живой, родственной теплотой. И они молчали, прижимаясь плотней, и молчали, а временами забывались, — то тот, то другой.

А потом дождь перестал. С березовых листьев еще падали капли, но там, за полем, рекой, над лесною хвоей, очистилось небо, и в нем возникали освещенные уходящим солнцем белые облака, — какая-то тайная, блаженная обитель, где проходит все — и усталость, и холод, и боли, и скорбь».

Как странно сравнить это чувство молчаливой, звериной и в то же время почти уже неземной, блаженной близости к другому человеку — с тем, проникающим все наиболее характерные произведения эмигрантской «молодой» литературы, отчаяньем одиночества, которое нашло яркое выражение в словах героя Сирина, Цинцинната: «Нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке; или короче: ни одного человека, говорящего; или еще короче: ни одного человека». Но если в этих словах, как часто вообще у Сирина, чувствуется утверждение «солипсизма», то, наоборот, некоторые другие произведения «молодых» говорят о трагических попытках найти в человеческой близости выход из «необитаемости» одиночества. И на этом пути Зуров, как будто бы самый не эмигрантский из молодых писателей, оказывается вместе с теми из них, душа которых, в отличие от сиринского героя, стремится, несмотря на все нечеловечное, одновременно и связывающее и разъединяющее людей, сблизиться с таким же «Цинциннатом» в другом человеке.

## «ДНЕВНИК БЕЗРАБОТНОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА»

Новая книга Дени де Ружмона* не принадлежит к распространенному теперь литературному роду «интимного монолога с упразднением конкретных социальных или духовных условий действительного существования каждого человека». Главное ее содержание составляют записи впечатлений автора, проделавшего опыт переселения из Парижа в провинцию, и «диалогов» с людьми из народа, встреченными в этом путешествии, — вопросов и ответов, приводящих автора к рассуждениям «обо всем»: о кризисе современной культуры и социального строя, о «предательстве клерков» и упадочности литературы, о последнем смысле жизни человека и всей стенающей

* *Denis de Rougemont.* Journal d'un intellectual en chômage.

твари, ждущей, «что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих».

Желая отметить места, казавшиеся мне наиболее важными, я увидел, что мне пришлось бы цитировать чуть ли не всю книгу и даже предыдущие книги Ружмона, так как все значение большинства этих рассуждений становится ясным только «в перспективе» всего его творчества. Поэтому ограничусь лишь укладывающимся в рецензию вопросом о пользе, какую может принести эта книга русскому читателю. Такой утилитарный вопрос оправдывается мыслью самого автора, что книги должны быть полезны, должны давать «точные рецепты» — указания, которыми можно воспользоваться. Одна из целей, которые он себе ставит в своем дневнике, — показать на своем примере, как интеллигент может спастись от худшей несправедливости, связанной с безработицей: от необходимости брать первую попавшуюся работу, хотя бы то была работа, наиболее далекая от его призвания.

В чем этот секрет? — «Во Франции тысячи пустых домов, ищите, и вы найдете такой дом за самую ничтожную плату или совсем даром»».

Но на какие средства жить, если даже найдется такой пустующий дом? Переводами, статьями, книгами Ружмон продолжает зарабатывать достаточно, чтобы вдвоем с женою прожить, не голодая, в таком бесплатно предоставленном доме.

Для огромного большинства эмигрантов-интеллигентов все это неосуществимо: у них нет ни друзей, имеющих в провинции пустые дома, ни возможности, сидя в таком доме, перебиваться литературным трудом. Но значит ли это, что книга Ружмона перестает быть полезной для русского читателя?

Конечно, изолированность русского эмигранта гораздо страшнее и губительнее, чем одиночество, которое испытывает Ружмон в провинции. И все-таки пример душевного строя, дающего ему силы чувствовать себя счастливым, при самых скромных материальных условиях, в «необитаемой» провинции, без постоянного заработка, без близких друзей, может и эмигранту помочь бороться с отчаянием, охватывающим от сознания своего одиночества, отсутствия «настоящей» жизни, необеспеченности своего существования.

По некоторым косвенным замечаниям автора можно почувствовать, на чем основан этот душевный строй. Так, в одном месте он пишет: «Дух бедности доступен только тем, кто способен верить во что-то иное, кроме своей жизни, своих успехов, удобств, положения в обществе и даже своей духовной ценности». Или, например, сравнивая французское слово «communion» с немецким «Gottgemeinsamkeit», он замечает: «Тот, кто предстоит перед Богом, одинок. Но, как только он вступает в это строго-личное общение со своим Богом, он сейчас же оказывается связанным с людьми цепью ответственности. Отделившись от мира, он возвращается в него совершенно по-иному, не для того, чтобы терпеть его, а для того, чтобы сотрудничать в деле его преображения».

Конечно, людям, с подозрительностью относящимся к возможности такого мистического опыта, слова эти могут показаться не соответствующими

ничему реальному. Но это не имеет значения. Независимо от того, откуда она берется, заражает вера автора в человеческое действие, вера, определяющая все его отношение к жизни и, в частности, его понимание задач литературы как творчества, направляемого не стремлением «изготовлять предметы искусства», а «волей узнать мир, чтобы его изменить, узнать его настолько, чтобы наше действие могло изменить судьбу его жертв, каковыми мы сами являемся».

Именно эта вера в творческое действие и связанное с этим бесстрашие и спокойствие (могущее быть только у действующего человека реальное ощущение значения слов «довлеет дневи злоба его») придают книге Ружмона ту атмосферу подлинного морального здоровья, которого так мало в современной литературе и которое так необходимо многим эмигрантским литераторам, захлебнувшимся в «головокружении пустоты».

Но еще бóльшую духовную помощь эта книга может принести людям новых эмигрантских поколений, близким к так называемым пореволюционным течениям. Эти течения, несомненно, составляют наиболее живой и творческий сектор эмигрантской общественности. Но он постоянно обламывается по краям: отдельные люди и целые группы срываются в фашизм и сменовеховство. Не говоря уже о том, что вообще почти вся эмигрантская молодежь проникнута духом фашизма во всех его оттенках, начиная с просоветского и кончая обыкновенным черносотенством, слегка подмалеванным под стиль века.

Всем этим эмигрантским молодым людям было бы действительно полезно прочесть дневник Ружмона.

Вот вкратце выводы, к которым он приходит в результате опыта жизни в провинции, сначала на маленьком острове в океане у берегов Вандеи, потом на юге в департаменте Гард:

«Здесь мертво — фраза, которую услышишь повсюду в провинции. Всюду апатия, инертность. Здесь люди еле живут, они только прозябают. Каждый за себя на своем клочке бесплодной земли. Сколько опустевших областей, оставленных деревень, невспаханных полей, разоренных сельских хозяев и, главное, чувство скуки, оторванности от всего мира. В провинции нет больше жизни, инициативы, настоящей радости. Понятно, что молодежь бросает землю и уходит в города.

Где люди, могущие спасти край от полного умирания, к которому его привели ставленники Бюиссона, крупные собственники и оплот капитализма — все эти живущие на пенсию радикалы и социалисты? Какие силы подымаются против этого распада жизни, происходящего по вине либеральной системы, не умевшей организовать вовремя то, что должно быть организовано?»

Вот рассуждение «фашиста» или ученика Ленина: народ не знает, в чем его интересы и как их нужно защищать. Расспросите человека из народа о причинах кризиса, от которого он страдает, и какие меры оздоровления ему представляются необходимым, он вам ответит абстрактными газетными клише.

Отсюда вывод: нужно помочь народу, не спрашивая его мнения. Только Вождь или единственная партия могут навязать этому подавленному народу новый политический порядок, который ему позволит подняться, работать, плодиться.

Этому выводу автор противопоставляет рассуждение персоналиста. На первый взгляд, действительно кажется, что народ ничего не знает о своих настоящих интересах. Но это оттого, что он не умеет их выразить. Это правда, что на собраниях вы услышите только общие места, взятые из газет. Но нужно послушать, что говорят люди из народа, каждый в отдельности, в конкретных условиях их жизни и работы. Сумейте заставить их разговориться, и вы услышите много разумного, жизненного, реального, что может опрокинуть предыдущие цинические заключения. Все их пожелания идут в направлении реформ, предлагаемых персоналистами: самоуправление, солидаризм, местные синдикаты, развитие освободительной техники, спорта, образования, средств сообщения.

Вывод: «экипам»[1] молодых, новых людей, вышедших из всех классов общества, надлежит высказать то, о чем молчат газеты, ораторы, плакаты, то есть действительную волю трудящихся, искаженную политиканским жаргоном.

Диктатура — единственное решение тех, кто отказывается *воспитать* народ. Диктатура или воспитание? Вот вопрос XX века. Диктатура очень слаба. У нее есть только один сильный аргумент против нас: «На кого и на что вы ставите, на какой класс, на какие интересы? — Мы ставим на усилие людей, наиболее человечных. — Это немного, — скажете вы. — Но только это *истинно*».

Это напоминание о человечности, может быть, заставит молодых эмигрантов, соблазняющихся строительством культуры и социального строя средствами, применяемыми советским или гитлеровским режимом, задуматься о том, почему, несмотря на все их огромные достижения, торжество тоталитарных государств готовит человечеству небывалую еще в истории духовную катастрофу.

Я не могу здесь останавливаться на учении о личности, из которого исходят в своих реформаторских замыслах персоналисты. Это учение, сближающее идею личности с евангельской идеей ближнего, знакомо русским читателям по статьям и книгам одного из главных его основоположников — Бердяева. «Персонализм» определяет всю «точку зрения» Дени де Ружмона не только как социального философа, но и как писателя-художника. Читая его описания встреч с людьми из народа, убеждаешься, что это не только эффектная фраза, когда он пишет в кафе у порт д'Итали: «Смотрю на этих людей в кепках и на их жен. Можно сказать: это рабочие и мещане. Одежда, язык, психология их классов. Но можно сказать и так: это люди, за которых умер Христос».

[1] От equip (*фр.*) — команда.

## «ТРЕТЬЯ РОССИЯ»
## («Орган осуществления нового синтеза») № 8

«Третья Россия» является органом «течения», созданного и развиваемого, в сущности, одним человеком. Статьи нескольких других участников занимают такое незначительное место, что ничего не прибавляют к учению самого основателя журнала — П. Боранецкого. Он очутился в Париже лет шесть тому назад, бежав из России. В это время уже начиналась «вторая» эмиграция. Но то были большей частью невозвращенцы, люди правящей коммунистической касты, вышедшей из дореволюционного подполья. Боранецкий же был первым появившимся в эмиграции человеком нового социального мира, поднятого на поверхность землетрясением революции. Первые его выступления поразили многих. Это был не докладчик, излагающий свои размышления по тому или другому поводу, а человек, одержимый идеей, ставшей всей его жизнью, его «кровью и снами». В самой этой идее — «абсолютный идеал преображения мира и, в частности, победы над смертью», и во всем облике Боранецкого чудилось что-то от Кириллова и Шатова, даже его имя, Петр Степанович, напоминало роман Достоевского. Его слушали с тем чувством, о котором писал в «Числах» Георгий Иванов: «Он стоит сейчас на эстраде эмигрантского диспута, но десятки, сотни тысяч, миллионы, может быть, таких, как он, стоят на великой русской земле, и пусть они ни о каком титанизме и не помышляют — головы их, их души сформированы по тому же самому образцу».

По целому ряду доходивших до нас свидетельств мы можем догадываться, как сформированы эти головы и души. Пользуюсь характеристикой, данной таким внимательным наблюдателем русской жизни, как Г. Федотов: «Народ выделяет из себя молодую, огромную по численности интеллигенцию, которая, не щадя себя, не боясь никаких жертв, вгрызается в "гранит науки", идет на заводы, в поля — строить новую Россию, счастливую, богатую, великую. Героическая мечта этого поколения — завоевать воздух, пустыни, полярные льды».

В сущности, все учение «Третьей России» вырастает как попытка осознания и идейного выражения духа этого нового русского интеллигента «из простых», проникнутого ломоносовской волей стать «разумным и великим» и верой в свои силы, в науку, в строительство культуры, в творческое и героическое человеческое действие. Будучи сам выходцем из этих «обынтеллигенченных» масс, поднявшихся на место поглощенных катаклизмом старых правящих и культурных слоев, Боранецкий определяет этот дух как новую «мораль господства, но господства не над себе подобными, а над окружающим миром — Природой и Историей, над своим положением и своей судьбой». «Она навеяна, — пишет он, — тем строительным пафосом, той мистикой гигантов, которые пронизывают собой могучую стихию русской революции, несмотря даже на мертвящее и всеиссушающее действие господствующего — материалистического миросозерцания». Представления, к ко-

торым Боранецкий приходит в результате осознания этого «пробивающегося сквозь официально материалистическую кору нового ощущения мира и высшего достоинства и призвания человека», не могут вместиться в «меру» культуры и человека, установленную правящей кастой с ее «марксистским материалистическим миросозерцанием и аморально-нигилистической концепцией низменности и ничтожества человека». Невозможность развивать свои новые идеи в России заставляет его бежать, чтобы здесь, за границей, разработать их в целое учение, называемое им — «Титаническое миросозерцание — Прометеизм».

В основе этого миросозерцания лежит зачарованность сознания видением безграничных, превышающих «все, о чем некогда мечтали утопии и грезили мифы» возможностей, открываемых все ускоряющимся научным и техническим прогрессом. Тем острее Боранецкий чувствует «трагически-парадоксальное» противоречие между этими возможностями и «предельным по своей необеспеченности, жестокости и трудности» существованием современного человека, под властью звериных инстинктов и борьбы за существование, пользующегося дивным могуществом машинизма не для устроения «рая на земле», а для взаимного порабощения и истребления. В моральной и организационной неспособности человечества справиться со своим «физическим» могуществом, переросшим его «рабье скотское сознание», Боранецкий видит главную причину тех грозных социальных, политических и международных конфликтов, от которых шатается теперь мир.

Воодушевленный тем подъемом жизненной и творческой воли, который, насколько мы можем отсюда судить, присущ духу всей становящейся новой русской интеллигенции, Боранецкий с негодованием отказывается от предлагаемого некоторыми современными мыслителями и общественными деятелями выхода из этих затруднений в ограничении технического прогресса. Определяя подобное предположение как «смесь цинизма, растерянности и сознания своей дальнейшей исторической несостоятельности», он пишет: «Эти невероятные силы и возможности, которые нам открываются теперь, или подымут нас к вершинам бытия в величайшем Утверждении, или низвергнут нас в бездну его в ужаснейшем разрушении. Третьей возможности нам не дано. Стоя у порога их таинственного и безграничного резервуара, мы уже не можем оставаться в том состоянии серединной посредственности, в котором мы пребывали до сих пор».

Таким образом, у человечества, если оно хочет продолжать жить, нет другого выхода, как найти в себе достаточную моральную энергию, чтобы стать достойным этих открытых перед ним возможностей. «Под смертным страхом» чудовищной катастрофы оно должно произвести перестройку самой структуры всех хозяйственных, социальных и международных отношений. В пределе своем эта перестройка представляется Боранецкому как создание Всемирных Соединенных Штатов. «В то же время, — говорит он, — организация мира не может мыслиться только со стороны его внешнего, социального существования, со стороны тела, но должна пониматься также и

со стороны его внутреннего духовного бытия, со стороны его "души". Тем более что именно здесь, в сфере духовного, а не материального — примат жизни и ее первооснова». Нужна поэтому «новая высшая мироорганизующая духовность».

Осознание этой необходимости является, мне кажется, наиболее ценной частью работы Боранецкого, придавая ей характер чего-то, относящегося к действительной сущности дела. Вот этого «чего-то» так не хватает книгам о современном кризисе многих мыслителей, которые не отдают себе достаточно ясного отчета в глубине переворота, вносимого в условия людского существования все быстрее идущим овладением силами природы, и в неустранимости поставленной этим переворотом дилеммы: или человечество должно стать действительно человечеством, или оно идет навстречу всемирной тоталитарной войне.

Для нас, конечно, особое значение имеет то обстоятельство, что это ви́дение смысла современной эпохи явилось Боранецкому еще до бегства за границу и что в главном оно определяется тенденцией, по-видимому общей новым поколениям России. К сожалению, построения, при помощи которых он пытается осознать и выразить дух этой тенденции, все более принимают лично мне кажущийся странным характер проповеди какой-то новой «высшей», чем «отжившее» христианство, религии.

Этот отказ от христианства является чертой, наиболее резко отличающей «Третью Россию» от других пореволюционных течений, с которыми она во многом сходится в критике как «старого мира», так и коммунистического и фашистского опытов его «преображения». Общее для этих течений стремление «строить на христианстве», формулированное когда-то Ю. Ширинским-Шихматовым как «сознание долга универсального осуществления христианской правды в жизни личной, общественной, государственной и всечеловеческой», отвергается Боранецким как несостоятельное. Так, в частности, по поводу учения Фёдорова он пишет: «Это такая же в известном смысле попытка "оцерковления" или "христианизации" техники, как и обычные стремления к "оцерковлению" или "христианизации" жизни, культуры, общественности и даже государства. И как из этих общих стремлений к "оцерковлению" и "христианизации" жизни ничего, кроме деляческого извращения христианства и теологического осквернения жизни, не выходило, так, тем более, из данной частной попытки православного "оцерковления" техники — явления наиболее чуждого христианству — ничего, кроме противоестественного извращения и церкви, и техники, получиться не может».

В своей критике этих попыток Боранецкий во многом совпадает с отношением к ним тех христиан, которые так же, как и он, считают, что христианство несовместимо со строительством во времени и истории. Но если эти христиане отказываются от строительства мира, то Боранецкий отказывается от христианства. Так, по его словам, — «с христианством можно умирать, но с христианством нельзя жить, а тем более нельзя творить Историю, преображать мир... Его настоящая жизнь — это "загробная жизнь", эта же

служит лишь приуготовлением к ней. Христианство, таким образом, в своем наиболее решающем моменте, ничем существенным не отличается от буддизма».

Этих цитат, я думаю, достаточно, чтобы показать, что в главном отношение Боранецкого к христианству основано на том, распространенном и среди самих христиан, «шопенгауэровском» понимании христианства, которое действительно, в наиболее решающем моменте, сводит его к буддизму и индусскому сознанию бессилия, суетности и напрасности человеческого действия и отказу от жизненной воли. Несовместимость этого сознания, принимаемого Боранецким за христианство, с тем героическим и творческим духом, которым воодушевлено все его миросозерцание, и заставляет его отказаться от христианства.

Я думаю, что в данном случае перед нами один из бесчисленных примеров того все продолжающегося трагического недоразумения, которое началось еще во времена Возрождения, когда, по словам Бергсона, две стороны звезды христианского идеала стали восприниматься людьми как две противоположные, исключающие друг друга тенденции.

Одним из страшных последствий этого недоразумения и явился кризис, приведший теперь цивилизованные народы на край катастрофы. Все неудержимей втягиваются они в чудовищную тоталитарную войну и не могут выйти на дорогу освобождения, открываемую перед ними, может быть, уже безграничной властью человеческого гения над энергиями материи. Причина, мешающая им выйти на эту дорогу, лежит уже не в материальных препятствиях, а в самой звериной и насекомообразной моральной структуре человека и общества. Боранецкий правильно, мне кажется, видит выход не в пораженческой приостановке технического прогресса, все равно невозможной, а в новом духовном подъеме. Но, говоря о необходимости для этого «мобилизации сил любви и жертвенности, вместо сил ненависти и эгоизма», он в то же время отворачивается от христианства, единственного источника сил любви, в продолжение веков поившего корни всего морального творчества человечества. Этот отказ и создает для него необходимость, ни больше, ни меньше, как построить доктрину новой, «высшей», чем христианство, религии. Вопросы социальные и актуально-политические все более оттесняются в его работе на второе место созданием метафизики и «мифов» этой новой религии. Я не могу сейчас касаться философской ценности построений Боранецкого. С «общественной» точки зрения важно, что в основе его учения лежит не христианская идея личности, а представление, очень близкое к увлекавшему одно время Толстого индусскому учению о всеединстве людей, раздробленных во времени и пространстве на индивидуумов, но слитых во «Всем», в скрытой «под покрывалом Майи» вневременной и внепространственной сущности жизни. Только в противоположность буддизму, призывающему покинуть «актуальный план существования» и уйти в созерцание Абсолюта, Боранецкий видит смысл жизни в реализации «потенциального онтологического плана бытия» в актуальном мире, в Истории.

При неясности учения о личности, эта идея актуализации онтологического «единства всего во всем», положенная им в основание его замысла организации мира, кажется мне способной привести к той же, правда расширенной до «человечества», философии «мы», на которой стоит фашизм и национал-социализм. Правда, доктрина Боранецкого далеко еще не закончена. Но там, где с самого начала во главу угла не поставлена ясно и определенно идея личности, где все социальные и политические вопросы не ставятся в отношении к ней, мы имеем право опасаться и подозревать.

## С.П. Жаба. РУССКИЕ МЫСЛИТЕЛИ О РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ.
*Издание YMCA-Press. Париж, 1955. 286 с.*

Число еще не ушедших из жизни последних носителей русского идейного преемства с каждым годом трагически уменьшается. Встает тревожный вопрос, останутся ли у эмиграции силы продолжать свое главное дело — эстафету русской идеи. Вот почему особенно ценны и важны теперь усилия собрать и сохранить русское идейное наследство, ценны и нужны такие книги, как книга С.П. Жабы. Если не ошибаюсь, это первая у нас антология русской общественной мысли.

Трудное предприятие — в небольшой книжке дать «портреты» наиболее выдающихся наших мыслителей от конца XVIII до конца XIX века и привести выдержки из их произведений. С этой огромной работой С.П. Жаба справился с честью и составил прекрасную хрестоматию, которую без колебаний можно рекомендовать всем эмигрантским молодым людям, сохранившим верность русской идее, но не имевшим возможности по-настоящему ознакомиться с ее различными выражениями и с историей ее развития.

В предисловии С.П. Жаба рассказывает о не совсем обычной судьбе своей книги: «От имени Harvill Press, — пишет он, — С.А. Коновалов попросил Н.А. Бердяева дать антологию русской общественной мысли, под своей редакцией и со своей вступительной статьей. Н.А. Бердяев согласился и, для составления самой антологии, обратился ко мне. Я должен был составить текст ее и написать характеристики приведенных авторов. Неожиданная смерть помешала Н.А. Бердяеву осуществить задуманное. По предложению С.А. Коновалова и Harvill Press я закончил уже начатый мною труд. В память о том, что книга эта должна была быть запечатлена мыслию и духом Николая Александровича, я мог лишь ввести, почти в каждую характеристику, несколько строк его о соответственном авторе».

Это, через всю книгу, соседство с Бердяевым, писателем замечательным, стиль которого к тому же отличается в высшей степени «доминирующими» свойствами, нисколько не заслонило самостоятельность авторского труда самого С.П. Жабы. В книге нет и следа бердяевской крайности и парадоксальности суждений, и если в ней меньше яркости, страсти и силы, чем в

книгах Бердяева, то зато в ней больше духа человеческой дружбы, столь редкого в нашей сегодняшней публицистике. С.П. Жаба склоняется над русским идейным завещанием поистине с сыновней любовью, и читателя, даже если он не во всем согласен с характеристиками, данными автором, ничто в этих характеристиках не оскорбит, ничто не покажется внушенным предубеждением. Наоборот, в них чувствуется, и в этом главное достоинство книги, мудрость доброго сердца, по большей части незнакомая нашим политическим деятелям, забывающим, что, даже осуждая то или другое идейное движение, нельзя огульно осуждать души всех участников этого движения, особенно когда дело идет о русской интеллигенции, моральное вдохновение которой было выше интеллектуального качества ее идей. Особенно удались С.П. Жабе характеристики славянофилов и народников.

Что можно поставить в упрек автору? Прежде всего пропуски. Отсутствуют Сковорода, Карамзин, кн. Одоевский, Н. Фёдоров и еще столько других. Но главное, отсутствуют Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев, Тургенев, Некрасов. Из всей великой русской литературы приведены только некоторые публицистические высказывания Толстого и Достоевского. Между тем именно в произведениях наших писателей и поэтов русская идея была выражена с бóльшим гением, силой и глубиной, чем в публицистике и философии. Отвод по формальному признаку, думается мне, здесь неправилен.

Выдержки по большей части сделаны очень удачно и свидетельствуют о верном слухе и углубленном знании источников. И все-таки читатель иногда огорчается, не находя той или другой любимой цитаты. Так, например, среди цитат из Михайловского не приведено его знаменитое, столь важное для нас теперь утверждение, что «личность никогда не должна быть принесена в жертву, она свята и неприкосновенна, и все усилия нашего ума должны быть направлены на то, чтобы самым тщательным образом следить за ее судьбами и *становиться на ту сторону, где она может восторжествовать*».

Однако вспомним — выбор цитат был ограничен необходимостью втеснить всё в пределы 17–18 печатных листов. Тем не менее, несмотря на неизбежную неполноту, составленная С.П. Жабой хрестоматия может в значительной мере помочь заполнить в воспитании эмигрантской молодежи почетное, но пустующее место всех тех книг по истории русской общественной мысли, какие они должны бы были, но не имеют возможности прочесть.

## Г.П. ФЕДОТОВ — ПЕВЕЦ СВОБОДЫ И НОВОГО ГРАДА

К концу своей жизни Г.П. Федотов пользовался в эмиграции широким признанием. И все-таки значение его не только в эмигрантской жизни, но и в истории русской мысли и в деле ознакомления Запада с русским духовным творчеством не было еще по-настоящему оценено. Его литературное наследство мало кому известно во всей его полноте. Бóльшая часть написанного

им — 300 с лишним статей — разбросаны по разным газетам и журналам, многих из которых невозможно достать. Надежды на появление в более или менее близком будущем полного собрания его сочинений нет. Нет и никаких исследований, ему посвященных, если не считать нескольких статей в «Новом журнале», в «Новом русском слове», в «Опытах».

В 1952 году Чеховское издательство выпустило сборник статей Федотова «Новый Град» под редакцией Ю.П. Иваска. В сборнике этом были помещены 17 очень важных статей. Однако 17 из 300 — слишком мало. Поэтому особенно ценно появление второго сборника его статей «Христианин в революции», только что вышедшего в Париже. В новом сборнике 12 статей о христианстве, социализме и свободе.

Как определить главную идею этих статей? Недавно, приведя знаменитые слова Ивана Карамазова, что вопросы, есть ли Бог и есть ли бессмертие, и вопросы о социализме и переустройстве человечества по новому штату это все те же вопросы, только с другого конца, Альбер Камю заявил:

«Человек, написавший это, знал, что в будущем наша цивилизация потребует спасения для всех! Он знал также, что никого нельзя спасти, если будут забыты страдания хотя бы одного человека. Другими словами, он не хотел религии, которая не была бы социалистической в самом широком смысле слова, но он отвергал и социализм, который не был бы религиозным в самом широком смысле слова. Он спас этим будущее подлинной религии и подлинного социализма, хотя сегодня мир как будто в обоих случаях решил против него. Тем не менее величие Достоевского так же, как величие Толстого, который говорил то же самое, только в другой форме, будет все расти, и мир погибнет, если не поймет, что Достоевский был прав».

То же, только то же в другой форме, говорил Федотов. К сборнику «Христианин в революции» слова Камю можно было поставить эпиграфом.

Ф.А. Степун, мне кажется, совершенно правильно отметил, что среди наиболее значительных русских людей, пришедших к религии от марксизма, Федотов больше всех сохранил верность своему социалистическому прошлому. Указывал на это и Ю.П. Иваск. Но здесь нужна оговорка: это была верность не доктрине марксизма, а тому моральному, в сущности христианскому, вдохновению русской интеллигенции, которое во всей своей глубине раскрылось не в марксизме, а в народничестве. В своей статье «Трагедия русской интеллигенции» именно народникам Федотов посвятил незабываемые и волнующие слова:

«...читая их изумительное житие, подвиг отречения от всех земных радостей, терпения бесконечного, любви всепрощающей — к народу, предающему их, — нельзя не воскликнуть: да, святые, только безумец может отрицать это! Никто из врагов не мог найти ни пятнышка на их мученических ризах. За Лавровым, за Боклем явно стоит образ иного Учителя, зовущего на жертвенную смерть».

Этому святому социализму Федотов сохранил верность до самой смерти. От доктринального же марксизма, не только революционного, но и рефор-

мистского, он отходил все дальше. В помещенной в сборнике статье «Что такое социализм», написанной в 1932 году, он противопоставляет марксизму «социализм конструктивный», путь которого «лежит не через разрушение буржуазного мира, а через взращение, развитие и оформление тех ростков новой жизни, которые уже пробиваются в старой». Он указывает основные из этих начал: рациональная организация хозяйства, социальное обеспечение, социальная демократия.

В другой статье, приведенной в сборнике, «Церковь и социальная правда», указывая на христианское происхождение раннего социализма, Федотов пишет:

«...Маркс нашел готовым социалистический идеал и его этическое обоснование. Он был дан в христианских, хотя бы секулярных кругах. Вне этой данности (по существу христианской), из экономического материализма никак нельзя было бы вывести социалистического идеала. То, что сделал Маркс с социализмом, было величайшим его изувечением... Сейчас в коммунистической России, как и везде, социальное Евангелие Христа борется с черным богословием Маркса. От исхода этой борьбы зависят судьбы мира. Ибо, несмотря на видимое бессилие христианства в потоке событий, только в нем заключены те моральные силы, которые способны строить, а не разрушать, и строить не тюрьму, а свободное общение личностей. Вне христианства — война классов, война народов, и в перспективе, если удастся избежать кровавого крушения всей культуры, — небывалая тирания "социального" государства. В христианстве еще неясны очертания того строя, который должен сменить вырождающийся и хаотический капитализм. Неважно, будет ли он носить имя социалистического или нет. Важно, чтобы он, сохраняя свободу человека, был шагом вперед к достижению вполне недостижимого на земле идеала братства, героическая мечта о котором не умирает в христианстве со дней первой церкви в Иерусалиме».

Этот рождающийся из христианства строй и есть тот «Новый Град», видение которого вдохновляло все творчество Федотова. Христианство было для него не религией мироненавистнического аскетизма и вне исторической эсхатологии, а религией милосердной и деятельной любви. Он верил в человеческое действие, в возможность построить на земле лучший, более справедливый Град, в пределе — Царство Божие. Он писал: «Царство Божие не приходит вне зависимости от человеческих усилий, подвига, борьбы... Этот Град, хоть и нисходит с неба, строится на земле в сотрудничестве всех поколений».

О чем бы Федотов ни судил, он всегда искал меру в этом видении «Небесного Иерусалима», нисходящего на землю. Он всматривался в него с глубокой верой, упованием и страшным напряжением, чтобы чрезвычайно осторожно, не исказить бы, передать его очертания в замысле общества, более человечного, свободного и братского. Несмотря на все предосторожности, ему при этом не всегда, конечно, удавалось избежать ошибок в подробностях, но ошибки в главном не было. За всем, что он писал, всегда чувствова-

лось присутствие другой, лучшей действительности, высшего, вечного мира правды и любви. Это делало Федотова не только моральным реформатором, но и придавало его публицистическому творчеству подлинную художественность. Все написанное им — в сущности, огромная сакральная поэма о святой Руси, о русской интеллигенции и о нисходящем с неба божественном Граде.

В 1931 году вместе с И.И. Фондаминским и Ф.А. Степуном Федотов основывает в Париже «Новый Град», с участием Н.А. Бердяева, о. Сергия Булгакова, Е.А. Извольской, Н.О. Лосского, матери Марии. Это были годы пробуждения социального сознания среди христианской интеллигенции всех исповеданий. Способности творческого американского капитализма устранить при умной помощи государства опасность периодических кризисов и подойти к стадии распределения ближе, чем какое-либо другое общество, никто тогда в Европе не предвидел. Неумение же и нежелание европейского капитализма разрешить социальный вопрос толкало к демократическим формам социализма. Во многих странах Европы возникали социалистические и демократические группы, близкие по духу и по реформаторским замыслам к «Новому Граду». Мир уже был непоправимо расколот на два враждебных лагеря: демократический и тоталитарный. «Новый Град» начал свою проповедь с защиты священных начал демократии. «Против фашизма и коммунизма мы защищаем вечную правду личности и ее свободы, — писал Федотов в программной передовой первого номера, — в охране свободы, как драгоценного завещания XIX века, мы занимаем позицию консерваторов».

В русской публицистике никто не защищал свободу так вдохновенно, с такой силой и с такой глубокой верой, как Федотов. Слова «свобода, равенство и братство» зазвучали у него с прежней магической силой, способной воскресить в сердцах людей потерянную веру в идеалы демократии. В сборнике «Христианин в революции» приведено шесть таких статей Федотова о демократии и свободе. Быть может, наиболее важная из них «Основы христианской демократии», напечатанная в свое время в «Новом Граде». Федотов говорит, что этих основ нужно искать не в Византии, а в первобытном племенном строе Израиля. Он пишет:

«Все социальные элементы христианства завещаны ему не эллинизмом, а иудаизмом. В пророчестве Израиля задана вечная тема социального христианства, в книгах Судий и Царств — его политическая тема... За сменой исторических форм власти остается единственный несомненный герой религиозной драмы — сам Израиль, живой народ, возлюбленный Божий...»

Ставя далее вопрос: «Кто же является носителем харизмы власти?» — Федотов отвечает: «И весь народ (Израиль), и каждый гражданин — носитель царственного священства, — и выдвигаемые народом вожди (судии)».

Степун уже указывал, что в этой статье Федотов дает совершенно новую концепцию христианских основ государства.

В другой помещенной в сборнике статье «Христианские истоки свободы» Федотов пишет: «Свобода, о которой мы говорим здесь, свобода соци-

альная, утверждается на двух истинах христианства. Первая — абсолютная ценность личности (“души”), которой нельзя пожертвовать ни для какого коллектива — народа, государства или даже Церкви (“девяносто девять праведников”), вторая — свобода выбора пути — между истиной и ложью, добром и злом. Вот именно эта вторая, страшная свобода была так трудна для древнего христианского сознания, как ныне она трудна для сознания безбожного... Бог желает спасти падший мир не властным словом (“да будет”), а жертвой собственного Сына. Как же может эта жертва отменить свободу, ради которой она и была принесена? В свете этого откровения мы скорее признаем, что ошибалось и грешило полтора тысячелетия христианское человечество, чем ошибся Бог, создав свободным человека, или ошибся Христос, взошедший на крест, чтобы спасти человека в свободе».

Христианские предпосылки свободы и социализма — основная тема всех статей в сборнике. Но попутно Федотов касается почти всех вопросов, связанных с отношением между христианством и культурой. Он разбирает эти вопросы не только как историк, но и в свете христианского морального сознания. Это придает всему, что он говорит, то измерение, которое с такой глубиной раскрылось в русской литературе XIX века, но которое так редко встречается в нашей публицистике.

* * *

Несмотря на внимание, с каким эмиграция изучает все сведения о происходящем в России интеллектуальном брожении среди советской интеллигенции, мы не знаем ни размеров, ни характера этого брожения. Одно несомненно: вера в диамат и в коммунистические мифы умирает, люди ищут новую идею, новое миросозерцание, новую веру. Надеюсь, что эти искания приведут их к открытию демократического идеала. Но когда и как это произойдет? Уверен только, что если суждено возникнуть в России массовому либеральному движению, оно будет вдохновлено и поднято людьми, которые поверят в этот идеал демократии как в абсолютную истину и путь.

Всегда и повсюду, в России же особенно, всякое общественное движение было связано с определенным миросозерцанием, и все политические и моральные идеалы сохраняли способность к динамической экспансии, только пока их защитники верили в них как в абсолютную истину. И я убежден, что демократия, как ее защищает Федотов в своей вдохновенной и пророческой проповеди Нового Града, более способна увлечь лучших людей советской интеллигенции, чем те разговоры о «простой» демократии, которыми мы будто бы должны ограничивать идейную защиту свободы.

Г.В. Адамович всегда жалел, что в эмигрантской литературе не наладилось диалога с людьми на том берегу. В последнее время было много прямых и косвенных свидетельств, что эмигрантские книги и идеи все более проникают за железный занавес и становятся доступны все более широкому кругу советской интеллигенции. Однако, будет ли когда-нибудь возможен диалог, мы не знаем. Но предположим чудо — встреча произошла. Что сможем мы

тогда сказать таким людям, как Пастернак, Дудинцев, всем, кто с ними, всем «гнилым элементам», всем, кто смел открыто выступать с предложением пересмотра самых основ партийной политики. Среди написанных в эмиграции книг, на которые мы можем с гордостью указать, одной из первых я назвал бы книгу Федотова «Христианин и революция». Тем из советских людей, кто унаследовал вечное стремление русской интеллигенции к абсолютной правде и веру в возможность построить на этой правде новый, лучший, более братский мир, книга Федотова поможет открыть смысл свободы и демократии как единственного правильного пути к этому новому миру. Вот почему особенно хочется приветствовать появление этого сборника статей Федотова, составленного и изданного без всякой общественной помощи его вдовой Е.Н. Федотовой.

Хочется с благодарностью отметить также и исключительно изящное типографское оформление книги — безвозмездная работа поэтессы Лидии Червинской.

## Леонид Зуров. МАРЬЯНКА. Рассказы.
*Париж. 1958*

Формалисты вряд ли со мной согласятся. Я убежден, что всякое художественное произведение рождается из ви́денья действительности, всегда в сущности «непостижимого уму», неповторимо-личного, несоизмеримого со словами и понятиями. Но художнику дано не только видеть. В то время как мы обычно можем выразить при помощи слов лишь наиболее общее, постоянное и, следовательно, безличное, что есть в наших впечатлениях, художник умеет магически открыть нам живую глубину и своих, и наших собственных чувств.

Каким ви́деньем, каким чувством вдохновлено все, что пишет Зуров? Свою книгу он назвал по первому в ней рассказу «Марьянка», а к ней бы лучше, мне кажется, подошло название одной из прежних его книг: «Отчина». Почти все рассказы в сборнике — о русском народе на войне и в революции, о русских полях и лесах, о речных и озерных водах, о гортанном клике диких гусиных стай в открытом русском небе, о псковской крестьянке, которая, «как своим родным братьям или детям», говорит им вслед: «Гуси-лебеди, — путь-дороженька — шелковый пояс!»

«И я увидел, что ее лицо изнутри осветилось. На моих глазах оно светлело и молодело, приняв что-то от полета и движения крыл, от упавшего на нее света, отвечая ему внутренним светом своим. И она была теперь хороша той неизъяснимой внутренней красотою крестьянской, той доброй, я бы сказал, красотою. И так хорошо и просто, как-то открыто под небом стояла она среди нас, глядя на отлетающих птиц».

Эмигранты подвержены двум душевным недугам. Один — болезненно преувеличенное чувство народной гордости, другой — прямо противопо-

ложное чувство, которое можно было бы назвать «комплексом Печерина». Рядом с «национально мыслящими» попадаются среди русских эмигрантов и такие, что готовы поддержать распространенное среди иностранцев мнение, будто большевизм только новое обличие известного русского византийского тоталитаризма, и объяснять преступления советской власти отсталостью и азиатской жестокостью русского народа, считая, что коммунистический марксизм здесь совсем ни при чем.

Зуров свободен от обеих этих крайностей. Он не идеализирует русского крестьянина. В его книгах немало страшных картин гражданской войны и разгула пугачевской стихии. Но он не разучился видеть и доброе начало в родном народе и сохранил в сердце сыновью к нему любовь, глубокое сочувствие его горю и веру в его духовное призвание. Тут Зуров продолжает большую традицию русской литературы. Такой «национализм» не имеет ничего общего, конечно, с той темной и разрушительной страстью, которая, оборачиваясь то империализмом, то самоопределением народов, вот уже чуть ли не столетие заливает мир кровью. Нет, это совсем другое, свободное от всякого национального эгоизма чувство: близкое к мистической любви, благоговейное причастие ко всему, что есть лучшего в душе народа: вековым воспоминаниям, поэзии, надеждам, вере, стремлению к добру и правде. В рассказе «Обитель» Зуров пишет:

«— Тут, сынок, — сказал дед, — кругом были глухие леса, звероловцы ходили. Это потом к монастырю люди стали переселяться. Избенки монашеские были бревенчатые, луковые окна изнутри дощечками задвигались. Окон было мало, зато свет был дорог. Милый, — бедные были. Другой монах мешок летом носил на плечах. Все были трудники. И игумен косил и пахал. Церкви справляли — сами хломали топором. Вот как было!..

— И вот, сынок, старики рассказывали, Царица Небесная бором тайловским шла, искала приюта. Шла Царица Небесная, хотела остановиться в Тайлове, да петуны стали петь. Не понравилось Матери Божьей. Там было строение, петуны стали петь, а Ей слышно. Вот здесь, в Печерах, Ей уподобилось».

Особое очарование рассказам Зурова придает его верное чувство живой народной речи. Достоевский смеялся над писателями, «дающими типы»: «ходит всю жизнь с карандашом и тетрадкой, подслушивает и записывает характерные словечки... Начинает потом роман, и чуть заговорит у него купец или духовное лицо, — он и начинает подбирать ему речь из тетрадки по записанному. Читатели хохочут и хвалят, и, уж кажется бы, верно: дословно с натуры записано, но оказывается, что хуже лжи, именно потому, что купец или солдат в романе говорят эссенциями, то есть как никогда ни один купец и ни один солдат не говорит в натуре». Таких писателей и теперь немало. Зуров к ним не принадлежит. В подлинности языка его солдат и мужиков не может быть сомнений. Это не «эссенции». Вот для примера рассказ крестьянской девушки о диких козах:

«Ну, и проворные, — понесется через сосёнки — через и через — пошла смигивать! И не боится, покуда близко не подойдешь. Я раз их завидела, замерла. Ну, ни чутеньки не шевельнусь, не шумну. Ой, я! Как прыгают! Никому так не прыгнуть, — разве какие там артистки подбористые, быстроногие! Боже мой, рукой не достать! Как пойдет махать — только маковочки зашатаются!»

Или рассказ старухи:

«Бывало старые как поступали, большего-то сына оженят, а младшего сдадут за него. Бывало, родненький, волосы-то ему, как молодому, стригут, по волосам навзрыд миром все плачут. Его угонят, а волосы его, завернув в чистый платок, в ларь положат. Год пройдет, лет пять, десять пройдет, а от него никаких вестей нету. Помню, матынька моя, как тяжело ей станет, брата как вспомнит, откроет ларь, достанет дядины волосы, заплачет и так мне скажет: "Дочушенька, — скажет, — хорошая, сходим на речку, помоем Ванюшины волосы — может, его головушке будет полегче"».

Я читал рассказы Зурова, и меня все сильнее охватывало чувство, одновременно и радостное и грустное. Радостное, так как подлинно художественное произведение, даже если глубинная его мелодия печальна, всегда доставляет радость. Грустное, так как я вдруг яснее отдал себе отчет, как редко появляются теперь такие произведения по-русски и как мало осталось людей, способных отличить от тех синтетических подделок, которые так часто ходят у нас, настоящую литературу.

### «ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ». Альманах под редакцией Р.Н. Гринберга. *Нью-Йорк. 1960. Printed by Rausen Bros., New York, N.Y.*

На почетном месте в «Воздушных путях» печатаемая впервые полностью «Поэма без героя» Анны Ахматовой. По собственным словам Ахматовой, поэма написана «симпатическими чернилами». На советы сделать ее более понятной Ахматова в предисловии отвечает: «ни изменять, ни объяснять ее я не буду. Еже писах — писах». Конечно, не в короткой рецензии разбирать эту поэму. О ней будет, наверное, еще много разговоров. Лично у меня нет сомнения: стихи не часто так ощутимо передавали биение человеческого сердца и тоску об умерших. Эта трагическая поэма — одно из замечательных произведений русской поэзии XX века. Появление ее за рубежом — событие, может быть, не меньшее, чем появление «Доктора Живаго». В предисловии от редакции указывается, что поэма печатается в альманахе без ведома Ахматовой.

Кроме ахматовской поэмы, в альманахе помещены еще превосходные стихотворения Димитрия Кленовского, Николая Моршена, Игоря Чиннова и ряд статей. По замыслу редактора «Воздушных путей» Романа Гринберга, весь альманах посвящен Борису Пастернаку. В редакционном предисловии говорится,

что альманах назван «подобно одному давнему его рассказу, чтобы подчеркнуть мнимость преград, тщетно возводимых между нами на земле»,

Всего в сборнике двенадцать статей. Они почти все говорят или непосредственно о Пастернаке, или в связи с его творчеством о значении искусства, о судьбе человека, о кризисе культуры. Каждая приглашает к раздумью и спорам.

Разбирать все эти статьи у меня нет, к сожалению, возможности. Пусть простят меня те авторы, чьи статьи не вызывают у меня возражений общего характера. Скажу только, я нашел в них много нового и интересного. Это: «О непереводимом» Владимира Вейдле, «Из заметок о мастерстве Бориса Пастернака» Глеба Струве, «По литературным адресам поэта» Веры Александровой, «Стихи русских прозаиков» Владимира Маркова.

Георгий Адамович в «Темах» продолжает начатую им в «Опытах» борьбу против всего «враждебного поэзии»: ходулей, сентиментальности, иронии, фокусничества, излишних «имажей», неоправданных метафизических притязаний и т.д. Трудно преувеличить воспитательное значение этой чистки. Но когда всему недопустимому в поэзии Адамович противопоставляет свой положительный аскетически-строгий идеал поэтического искусства, этот идеал можно принять только с оговоркой, что он не единственно возможный. Попытка, руководствуясь им, составить антологию мировой поэзии привела бы к немыслимым исключениям и перестановкам. Юрий Иваск поэтому совершенно прав, когда тут же, в «Воздушных путях», в статье «Возможность поэзии» заступается за русских «баро́чных» поэтов. На Парнасе царствуют, каждое в своем «бесконечном одиночестве», произведения поэтов разных школ, а не та или другая академия.

Марк Вишняк в большой статье «Человек в истории» говорит о истории в религиозном сознании и о истории в «Докторе Живаго». Точка зрения автора мне чужда. Но статья его не только чрезвычайно интересна. В ней подкупают так редко встречаемые в публицистике русской радикальной интеллигенции трагическое чувство жизни и терпимость к чужой мысли. Это особенно порадовало в статье такого страстного полемиста, как Марк Вишняк.

Больше всего мыслей и возражений вызвала у меня блестящая и глубокая, но ошибочно, по-моему, направленная статья Федора Степуна «Современность и искусство». Созданный Степуном совместно с Фондаминским и Федотовым «Новый Град» был самой близкой мне в эмиграции «духовной семьей». Но я всегда думал: «Новый Град» должен сделать выбор: или зловещий путь «Нового средневековья», или тот путь веры в творческую эволюцию, в прогресс и встречу «мистики» и «техники», на который указывали Бергсон, Уайтхэд, Тейяр де Шарден и столько других ученых и мыслителей Запада, а в России Фёдоров и Циолковский. Из всех участников «Нового Града» именно Степун был ближе всего к этому второму пути, единственно, по-моему убеждению, правильному. Тем досаднее удивили в статье старого вдохновенного бойца за человеческое дело преувеличенные и несправедливые обвинения против современной научно-технической революции, ко-

торые вот уже полвека повторяются философами и поэтами, напуганными наукой XX века, ставшей, по выражению Валери, «первой загадкой в мире».

Самая яркая и «взрывчатая» статья в сборнике — «Ignorantia est» Николая Ульянова. Это страстное и гневное обвинение против русской интеллигенции. Если бы Ульянов ограничился критикой интеллигентских идеологий, я не стал бы ему возражать. Во многом он продолжает справедливый, по-моему, пересмотр, начатый «Вехами». Но вот в чем трудно с Ульяновым согласиться. Он не хочет видеть, что под шелухой убогого «базаровского» миросозерцания «орден русской интеллигенции» был в сущности особой христианской сектой. «За Лавровым, за Боклем явно стоит образ другого Учителя, зовущего на жертвенную смерть», — писал Федотов. Ульянов утверждает прямо противоположное: «не христовым миром там мазали». Какое из этих двух утверждений правильно? У тех, кому, как мне, посчастливилось присутствовать при попытке Фондаминского-Бунакова воссоздать орден в эмиграции, не может быть сомнения. Напомню слова К.В. Мочульского: «Если Дух Святой есть любовь к ближнему и милосердие, жажда правды и справедливости, то, верим мы, русская мысль никогда не была виновна в хуле на Духа».

Горький смех Ульянова производит сильное впечатление, но иногда трудно понять, над чем он иронизирует. Так, он пишет: «Прибавьте к этому всевозможные "алтари всемирного чувства", мечты о нерасторжимой связи, соединяющей человека с космосом, о красоте, наполняющей космос, о божественном достоинстве человеческой личности, чтобы хоть сколько-нибудь представить тот бредовой романтический мир, что возник между Моховой и Маросейкой».

Если эта мечта о связи человека с космосом и о божественном достоинстве человеческой личности — бред, то тогда бред и вся европейская культура, которая именно из этой мечты выросла. Не было бы этой мечты, не было бы и того европейского начала, которое Ульянов противопоставляет утопизму и максимализму русской интеллигенции. Тут он неожиданно перекликается с Марком Вишняком, только тот противопоставляет умеренность западной мысли крайностям не радикальной интеллигенции, а русских религиозных авторов.

После войны в обескровленной и потрясенной Европе, действительно, временно восторжествовали пессимизм и скептическая консервативная мудрость. Но Ульянов и Вишняк, мне кажется, ошибочно ретроспективно приписывают эту осторожную мудрость всему прошлому Запада. Так не всегда было. Европейская цивилизация, с ее динамизмом и с ее мессианством, универсалистическими и прометеевскими устремлениями, в своих истоках вдохновлена совсем другим духом. Неслыханный темп и размах научной и промышленной революции наших дней лучшее тому свидетельство.

Юлий Марголин в статье «О Боге великом» рассказывает о своем пути к религии. Каждый, кто мучается раздумьями о вере, прочтет эту статью с вниманием. Она искренне написана, и за ней чувствуется настоящий опыт.

Но теоретические рассуждения Марголина мне кажутся спорными. Если еще вчера экзистенциалисты и марксисты могли считать, что окончательно разоблачили «мистификацию» философии Бергсона, то сегодня уже наблюдается возвращение к ней интереса. Марголин отвергает бергсоновскую критику идеи небытия. Совсем недавно Габриель Марсель, философ, очень чуждый Бергсону, заявил, что как раз в этом вопросе позиция Бергсона была образцовой.

Последняя в альманахе статья — заметка Эрге «В общих чертах». Это интересное короткое введение к пересмотру старого спора о России и Западе. Теперь, когда на мир уже легла огромная тень Китая, спор этот актуальнее, чем когда-либо. Можно только пожелать, чтобы Эрге продолжил свои мысли и его инициатива вызвала бы широкое обсуждение.

Особняком стоит в альманахе статья Льва Шестова, написанная им еще в 1899 году, но прежде нигде не напечатанная. Статья о Пушкине. Она удивит читателя, знающего Шестова только по его поздним книгам. Бесконечно далекая от торжествующего в современной европейской литературе догмата абсурдности мира и безнадежности, статья эта, проникнутая детски-простодушной верой в жизнь и в победу добра, оставляет необыкновенно радостное и светлое чувство.

Общее впечатление от «Воздушных путей»: такого насыщенного идеями сборника давно уже не появлялось в эмиграции.

## «ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ». Выпуск 2-й. Альманах под редакцией Р.Н. Гринберга. *Нью-Йорк. 1961*

Редактор-издатель «Воздушных путей» Р.Н. Гринберг делает нужное дело. Благодаря его усилиям, до нас дошли последние произведения двух замечательных русских поэтов, голоса которых власть старалась заглушить. В первом выпуске «Воздушных путей» была впервые напечатана полностью «Поэма без героя» Анны Ахматовой. (Редакция отмечала, что поэма печатается без разрешения автора.) Во втором, недавно вышедшем выпуске, напечатано больше пятидесяти неизданных стихотворений Осипа Мандельштама, в большинстве написанных им в Воронеже, где он жил в ссылке.

Что сказать об этих стихотворениях? Их нельзя читать без волнения. Я вполне согласен с тем, что пишет в «Воздушных путях» Владимир Вейдле: «Самое страшное в воронежских стихах — да уже и в некоторых доворонежских — это что в них угадывается мука, переходящая за пределы той, которая может быть выражена в искусстве... Само качество, сама высота этого дара остались прежними... Однако признаки все же налицо, что раны были под конец нанесены не только самому поэту, но и его дару, его стихам». Вся прекрасная статья Вейдле проникнута глубоким сочувствием к замученному поэту и праведным гневом против его мучителей.

О Мандельштаме в «Воздушных путях» еще две статьи — Георгия Адамовича и Юлия Марголина. Адамович, как никто из теперешних русских литературных критиков, умеет приоткрыть читателю глубокое значение поэтических произведений, ускользающее от технического или историко-социологического анализа. В статье в «Воздушных путях» он дает и лучшее, по-моему, определение поэзии Мандельштама, и лучшее определение поэзии вообще. Он пишет: «Это действительно — “высокое косноязычие”, по Гумилеву, да и можно ли было бы косноязычие это прояснить? Едва ли. Иногда случается думать, что человеческая душа была бы беднее, если бы не отзывалась она на то, что скорей смутно и сладостно ей что-то напоминает, чем ее чему-либо учит или что-то ей рассказывает. В конце концов это — “звуки небес”, “по небу полуночи”: не объяснение, конечно, но верный ключ к тому, что такое поэзия...»

Повторяю, по-моему, это лучшее из вспоминающихся мне определений поэзии, но с одной оговоркой — это определение не должно предполагать гностических выводов. Это было бы особенно неверно по отношению к Мандельштаму. Он был певец не только «смертного часа», но и человеческого дела на земле, — пути человека от инстинктов темного зверя к созданию империй, цивилизаций, храмов, совершенных произведений искусства. «Из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам». В этом Мандельштам гораздо ближе к Пушкину, чем Блок. И здесь я перестаю следовать за Адамовичем. Когда он пишет: Блок так же, как Пушкин, «судьба и лицо России» и «один в наш век Пушкину противостоит и до известной степени ему отвечает и его продолжает», — я не могу понять, на чем основаны эти утверждения? В том литературном кругу, к которому Адамович принадлежал в Петербурге, по-видимому, не было сомнений, что «Блок — второй вслед за Пушкиным корифей русской поэзии», но трудно представить, что с этим согласятся последующие поколения.

Зато я совершенно разделяю мнение Адамовича о прозе Мандельштама. Она неизмеримо слабее его стихов. Но вряд ли это потому, что Мандельштам, как это думает Адамович, поддался моде 20-х годов, «когда считалось, что метафорическая образность есть основное условие художественности». Ведь и стихи Мандельштама полны метафор, сравнений и образов, и притом самых смелых, неожиданных, иногда почти загадочных, но которые воссоздают описываемое с волшебной изобразительной силой. Мне думается, Адамович тут неправ. Вообще не совсем понятно раздражение, с каким он все продолжает воевать с этой модой 20-х годов на метафоры. Ведь сегодня, во всяком случае во французском романе, царит прямо противоположная мода, требующая полного отказа от метафор. Что же, пишут ли писатели этой новой школы непременно лучше, чем прежние писатели, которые в простоте пользовались метафорами? Общего ответа тут, конечно, быть не может. Всегда были хорошие и плохие писатели, писавшие с метафорами, так же как всегда были хорошие и плохие писатели, писавшие, поскольку это возможно, без метафор. Никаких академических правил к литературе луч-

ше не предъявлять. Кстати, в статье самого Адамовича метафоры на каждом шагу, и даже слова «звуки небес», которые он так любит приводить, — это тоже метафора.

В задушевной и взволнованной статье Юлий Марголин пишет о Мандельштаме как о поэте еврейского происхождения, но от еврейства ушедшем.

Во второй части «Воздушных путей» напечатан новый вариант «Поэмы без героя» А. Ахматовой. Можно только поблагодарить редакцию за стремление дать наиболее полный и окончательный текст этой замечательной поэмы. Так же, как первый, этот вариант печатается без разрешения автора. Затем напечатаны ноты музыки Артура Лурье к «Поэме без героя» и заметки об этой поэме Бориса Филиппова.

Наконец, третья часть. Два стихотворения Владимира Набокова. Первое интересно, но второе, видимо шуточное, оставляет неприятное впечатление. В нем вдруг прорвалась такая наивная мегаломания, какой в русской поэзии не было, кажется, со времен Игоря Северянина. Затем идут очень интересные фрагменты Артура Лурье «Чешуя в неводе». Это мысли о религии и музыке, заметки и воспоминания, написанные с большой живостью. Можно только пожалеть, что автор так редко печатается в русских изданиях.

Владимир Марков в статье «О свободе в поэзии» старается показать на примерах, что такое поэтическая свобода. Статья интересна и написана не без блеска учености. Однако автор, может быть, слишком увлекается разбором механизма стиха. Такой разбор, как бы его ни углублять, никогда не приближает к пониманию той внутренней мелодии жизни, из которой поэзия рождается.

В статье «Из незаконченных споров» Николай Ульянов очень верно, на мой взгляд, возражает формалистам и очень интересно пишет о влиянии Руссо на Толстого. Ульянов приводит слова самого Толстого, что в его жизни было два благотворных влияния — Руссо и Евангелие. Но было ли влияние Руссо на Толстого действительно благотворным? Спор об этом не только не закончен, но даже по-настоящему не начат.

В альманахе напечатаны еще стихи Николая Юнга и отрывки из неоконченной рукописи Льва Шестова о Тургеневе. В короткой заметке всего не коснешься. Общее впечатление от второго выпуска «Воздушных путей»: Мандельштам и Ахматова, конечно, все затмевают, но в этой заочной встрече с поэтами, оставшимися там, зарубежная литература оказалась представленной вполне достойно.

## ЗАМЕТКИ О ПРОЧИТАННОМ

Статью проф. В. Зеньковского в 66-й книге «Нового журнала» — «Мифология в науке» (По поводу трудов Theilhard de Chardin) я читал с волнением. Писательская судьба Тейяра необычна. Он был иезуитом. При его жизни католическая иерархия не разрешала ему печатать его произведения. Он умер

в 1955 году. Только тогда его книги начали издаваться стараниями двух комитетов, специально для этого образованных. В первый вошло больше тридцати выдающихся французских, американских, английских, итальянских и голландских ученых. Среди них не только палеонтологи и биологи, но и физики: Луи и Морис де Брой. Во втором комитете участвовал ряд философов, писателей и историков: Гастон Башляр, Жак Шевалье, Жорж Дюамель, Жан Ипполит, Жан Лякруа, Андрэ Мальро, Анри Марру, Мерло-Понти, Жан Валь и др.

Впечатление, произведенное идеями Тейяра, было огромно. Политики увидели в них начертание моральной реформы, ученые — возможность тотального синтеза, христианские мыслители — новое выражение христианства, переосмысленного в контексте современного научного космогенезиса. Член французской Академии наук Жан Пивето без колебаний называет Тейяра одним из величайших мыслителей всех времен. Выдающиеся богословы и ученые сравнивают его с Блаженным Августином и Аквинатом. Клод Тремонтан говорит о Тейяре, что он «открыл» новый вид святости, а доктор Шошар объявляет его учение образцом современной апологетики.

Но некоторыми другими католическими авторами и католической иерархией идеи Тейяра были приняты враждебно. В декабре 1957 года Ватикан даже издал декрет об изъятии его книг из библиотек семинарий и всех религиозных учреждений. Впрочем, Ватикан окончательно еще не установил своего отношения к учению Тейяра. Тем временем оно завоевывает все большее признание, даже среди тех, кого сперва оттолкнуло. Об этом говорит в февральской книжке католического журнала «Этюд» ученый иезуит Даниелу. Он пишет: «Сегодня тейярово учение еще актуальнее, чем вчера... оно указывает выход из определенного числа тупиков: из противоположения науки и веры, духовной жизни и задач нашего времени, объединения мира и личной жизни. Оно возвращает разъятому миру возможность единства». А протестантский богослов Жорж Креспи свою книгу «Богословская мысль Тейяра де Шардена» кончает словами: «Благодаря Тейяру в нас оживает надежда “познать, подобно как мы познаны”. Это не значит, что мы уже теперь можем достичь полноты знания. Оно нам только приоткрылось вдалеке. Но уже и за это мы должны быть благодарны Тейяру».

Возрождение надежды — вот несомненно то, что делает учение Тейяра таким нужным сегодня людям. Доктор богословия Вильдье пишет: «В наше время, может быть, не раздалось ни одного голоса, который бы вдохновлял нас такой надеждой на будущее, как голос автора книги “Человеческий феномен”. В момент, когда слишком много писателей проповедует абсурдность мира, отвращение к жизни и отчаянье, он, один из немногих, открыл в размышлении над наукой значение и цель человеческого существования и дал современному человеку новые основания надеяться».

Философ-коммунист Роже Гароди признает, что, за исключением французского просветительства и марксизма, ни одна философия не проникнута такой верой в человека и его будущее, как философия Тейяра. Прибавлю от

себя: ни энциклопедистам, ни марксистам и в голову не приходил тот «абсолютный оптимизм», который проповедует Тейяр. Правда, персоналист Жан Лякруа высказывает мнение, что Маркс в своей прометеевой вере должен был считать, что коммунизм приведет не только к разрешению всех социальных противоречий и полному овладению человеком силами природы, но и к победе над смертью. Однако вряд ли кто-нибудь из теперешних марксистов с этим согласится. Между тем Тейяр был убежден, что известная часть «ткани вселенной» высвободится из энтропии и «человек вырвется из условий времени и пространства, определяющих теперешнюю фазу его эволюции».

В последней дневниковой записи, сделанной им перед смертью, Тейяр пишет: «Святой Павел три стиха: En pâsi panta Theus»[1]. Это три стиха из первого послания к Коринфянам: «Последний же враг истребится — смерть. Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме Того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем».

Учение Тейяра знал Борис Пастернак. В предисловии к первому тому его сочинений, изданных Мичиганским университетом, Жаклина де Пруаяр пишет: «Показательно, что, по собственным словам Пастернака, из всех современных писателей и моралистов в духе Альберта Швейцера “самым значительным, самым близким и родным” ему был Пьер Тейяр де Шарден».

Я прочел об этом с волнением. Значит, и вправду никакие железные занавесы, никакие преграды не могут остановить «пропаганду» духа. Принятие мира, вера в жизнь, в победу над смертью и в конечное торжество любви, этого «высшего вида живой энергии», — все эти общие черты сближают Пастернака и Тейяра. Они люди одного светлого и доброго вдохновения. Вот достойный предмет для будущих исследователей духовных движений нашего времени.

Имя Тейяра промелькнуло даже в «Вопросах философии», в статье Роже Гароди. Насколько мне известно, Гароди даже хлопотал о переводе «Человеческого феномена» Тейяра на русский язык. Сомневаюсь, будет ли переведена даже книга самого Гароди «Перспективы человека». В этой книге, написанной с целью вывести французскую компартию из той духовной изоляции, в какой она очутилась после подавления венгерской революции, он говорит о Тейяре, персоналистах и экзистенциалистах не как о «лакеях буржуазии», что еще недавно было обязательно для коммуниста, а с удивительной степенью беспристрастия. Но если даже, хотя это весьма невероятно, Тейяр и будет частично переведен, советская цензура, конечно, никогда не позволит, чтобы его учение стало доступно советским людям во всей его полноте синтеза христианства и науки. Теперь, когда усилия казенной антирелигиозной пропаганды как раз направлены на доказательство несовместимости науки и религии, это наша эмигрантская задача стараться, чтобы подлинный голос Тейяра дошел до тех советских людей, которые, несмотря на все страшное

[1] Бог всё во всем (*греч.*).

давление коммунистического аппарата, ищут пути к такому синтезу. Этим людям христианство Тейяра, выраженное не на традиционном языке богословия, герметическом для огромного большинства, а на языке современных представлений о мире, будет огромной помощью в их борьбе за новое сознание.

Содействовать всеми силами распространению идей Тейяра — это тем более наше дело, что Тейяр не только замечательный ученый и мыслитель, воскресивший «великую общую надежду», но и подлинный пророк всечеловеческого Нового Града. Разве его идея братского объединения всего человечества это не та же идея, что вдохновляла всех лучших русских людей? Разве это не убеждение Толстого — «наше благо заключается в братской жизни всех людей, в любовном единении нашем между собой»? Разве это не убеждение Достоевского — «национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение»?

Но по святости личной жизни и по пониманию значения науки Тейяр ближе всего к Николаю Фёдорову. Это новый Фёдоров, но Фёдоров, вооруженный всем современным научным знанием и вдохновенный мистический поэт.

В эмиграции многие уже знают Тейяра, особенно среди молодых ученых и философов. Я слышал даже, что хотят собираться для обсуждения его идей. В том же 66-м номере «Нового журнала», где напечатана статья о Тейяре проф. В. Зеньковского, меня поразило стихотворение Николая Моршена «Ответ на ноту». Я не знаю, знаком ли Моршен с учением Тейяра, но его стихотворение вдохновлено тейяровым духом, тейяровым убеждением, что жизнь должна «вырваться из энтропии».

Хочу, чтоб создавало творчество
Из бунта храмы, а не храмики,
Чтоб побеждало смертоборчество
Второй закон термодинамики.

Однако настоящего разговора о Тейяре в эмиграции еще не было. Я помню одну статью в «Новом русском слове»*. Л.А. Зандер дал для первой тетради Общества друзей Пьера Тейяра де Шардена перевод нескольких неизданных фрагментов Тейяра. Но этот перевод вряд ли дошел до широкого эмигрантского читателя. Вот почему я стал читать статью проф. В. Зеньковского с таким волнением. Я думал, никто не сможет представить Тейяра русскому читателю лучше, чем автор замечательной «Истории русской философии». Тем больше было мое разочарование. Научные теории Тейяра, особенно его своеобразный «неоламаркизм», уже подвергались ожесточенной критике. Но, насколько мне известно, еще никто до сих пор не называл их просто мифологией, как это делает проф. В. Зеньковский. Его статья о

* Моя статья была написана до появления в «Мостах» (№ 8) статьи К. Тремонтана «Творение и эволюция» в перев. и с предисловием К. Померанцева.

Тейяре так и называется «Мифология в науке». При этом проф. В. Зеньковский подчеркивает, что он вовсе не имеет в виду «почтенную и глубокую» мифологию греков. Он пишет: «только в греческой мифологии затронуты все глубокие темы о мире, человеке, жизни — в мифологии других народов мы видим скудное воображение и скудость мысли. Но для современного европейского сознания понятие мифа стало равнозначным пустой фантазии, может быть, и поэтической, и интересной, но для критической мысли, для научного сознания неприемлемой».

Здесь я со многим не согласен. Разве действительно в мифологии всех других народов, кроме греков, мы «видим скудное воображение и скудость мысли»? А как же мифологические темы Ветхого и Нового Заветов и священных книг других современных и древних религий? А гностические мифы? Но даже если взять космогонию и фольклор самых отсталых и темных дикарей, как можно после работ Леви-Брюля, Мирчеа Иллиада и стольких других отрицать в них глубину?

Но вернемся к Тейяру. Проф. В. Зеньковский прежде всего считает мифологией идею Тейяра о «космическом скольжении от простого к сложному». Но при этом автор не разъясняет, что Тейяр имел в виду комплексную сложность, определяемую не только многочисленностью составных элементов, но еще больше степенью их организованности. Тейяр указывал, что если даже классифицировать эти различные централизованные комплексы только по числу атомов, то мы найдем, что в самых больших минеральных молекулах число атомов не превышает ста ($10^2$). Но при переходе к органической химии это число быстро увеличивается. Так, в самых простых белках оно достигает уже десятков тысяч. В самой же простой живой клетке, по самым скромным предположениям, число атомов должно превышать миллиард. Человек же состоит приблизительно из десяти миллиардов клеток. Число атомов в человеческом теле достигает, таким образом, астрономической цифры ($10^{22}$). Но Тейяр подчеркивает, что количество атомов выражает далеко не самую важную сторону организованного комплекса. Так, по общему молекулярному числу человек, конечно, меньше слона или кита, но решающее значение имеют миллиарды клеток человеческого мозга, в которых материя достигла предельной физико-химической сложности и предельной степени иерархической организованности.

Вероятно, не эти приводимые Тейяром числа атомов в разных молекулах проф. В. Зеньковский считает пустой фантазией. Но что же тогда? Может быть, убеждение Тейяра, что эти различные по числу атомов и по степени организованности «молекулы» появились не одновременно, а в процессе восходящей эволюции? Если проф. В. Зеньковский считает мифом самое гипотезу эволюции, это его право. Но огромное большинство современных ученых эту гипотезу эволюции принимает, и при этом не как одну из возможных гипотез, а как общее условие научного познания, которому должны соответствовать все теории, все гипотезы, все системы. Это основная научная идея эпохи, хотя несомненно найдутся отдельные консервативные ученые и мыс-

лители, не желающие признать это новое «измерение» вселенной. Но может быть, проф. В. Зеньковский считает мифом не самое гипотезу эволюции, а только то объяснение эволюции, которое предлагает Тейяр? Действительно, с точки зрения последовательного позитивизма и чистого феноменализма тейярово учение о смысле и направлении эволюции, поскольку оно вносит понятие ценности, не может быть признано строго научным. Однако очевидно, вовсе не все ученые стоят на этой точке зрения. Я уже упоминал, что труды Тейяра изданы комитетом, в который вошло свыше тридцати ученых с международными именами. Но если даже встать на эту, по-моему, неверную точку зрения, что тейярова интуиция движения эволюции к все большей «комплексификации» и все более высоким степеням жизни, сознания и свободы не является научной гипотезой в точном смысле, то почему же все-таки это миф, пустая фантазия, а не философия? Иначе нужно признать мифологией, как это и предлагал Поль Валери, всякое целостное представление о вселенной. Ведь и теория относительности, не говоря уже о том, что она построена на априорных постулатах, по признанию самого Эйнштейна, вносит в науку метафизику. Да только ли теория относительности? Сегодня, в отличие от века Ньютона, среди ученых и мыслителей всё шире распространяется сознание, что наука, если только она хочет дать связное «тотальное» представление о вселенной, не может обойтись без метафизики. Из статьи проф. В. Зеньковского видно, что он и сам вовсе не стоит на позициях чистого феноменализма. Наоборот, он Тейяра, и это одновременно с обвинением в мифологии, винит в том, что тот будто бы «утверждает, что дело науки касается изучения лишь одних "феноменов", одного внешнего лика бытия». Проф. В. Зеньковский пишет: «...он (Тейяр) имеет в виду лишь внешний лик природы — "феномены", "явления"... Он настаивает на том, что он изучает лишь "феномены", даже говорит о "феноменологии или обобщенной физике"...»

Эти утверждения представляются мне очевидным недоразумением. В предисловии к своей книге «Человеческий феномен» Тейяр действительно говорит, что ее предмет только феномен. Но он сейчас же прибавляет: «но весь феномен». Что значит эта оговорка, которую не учитывает проф. В. Зеньковский? Возьмем хотя бы эту главу, где Тейяр говорит о феноменологии и «обобщенной физике». Касаясь нескончаемого спора между материалистами и спиритуалистами, детерминистами и финалистами, он пишет: «Я убежден, что эти две точки зрения должны соединиться и что скоро они соединятся в своего рода феноменологии или обобщенной физике, в которой внутренняя сторона вещей будет так же приниматься во внимание, как и внешняя сторона мира. Мне кажется, иначе невозможно охватить тотальность космического феномена в связном объяснении, к какому должна стремиться наука». И дальше: «В глазах физика (по крайней мере, так было до сих пор) правомерно нет ничего, кроме "внешней стороны" вещей. Подобный интеллектуальный подход еще допустим для бактериолога... Но он уже гораздо затруднительней в мире растений... Он просто бесполезен при из-

учении позвоночных. В применении же к человеку он терпит окончательную неудачу, так как в человеке существование "внутренней сферы" невозможно обойти, она становится предметом непосредственной интуиции...»

Как мы видим, Тейяр утверждает противоположное тому, что пишет о нем проф. В. Зеньковский. «Своего рода феноменология» Тейяра это, конечно не феноменология в обычном «смысле». Она охватывает не только «внешний лик природы», но и «внутреннюю сферу». Когда Тейяр говорит, что в своей первой книге он хочет ограничиться только описанием феномена, он имеет в виду «экспериментальные соотношения между сознанием и комплексной сложностью». Но и тут он оговаривает за собой право говорить в дальнейшем о действии более глубоких сил. И он отказывается согласиться с пессимистическими утверждениями, что человеческий разум никогда не сможет вырваться из «магического круга чистого феномена». Он даже упрекает науку за то, что она ограничивается изучением только внешних детерминизмов и поэтому не способна дать целостный образ реальности, в которой вместе с внешней стороной сосуществует все развивающаяся внутренняя сфера сознания и свободы.

Я думаю, что из неправильного понимания «своего рода феноменализма» Тейяра проф. В. Зеньковский делает и неправильный вывод, что стихия науки у Тейяра внутренне не связана с его религиозными идеями. Ведь свое описание тотальной реальности Тейяр хотел последовательно изложить в четырех планах: физики, диалектики, метафизики и мистики. Профессор протестантского богословия Жорж Креспи в своей книге «Богословская мысль Тейяра де Шардена» совершенно правильно, по-моему, замечает, что если в первом из этих четырех планов изложения Тейяр придерживался подобающего ученому «теологического нейтралитета», то это вовсе не значит, что в своей исследовательской работе он отказывался от стремления теологически понять действительность. Его общий замысел присутствует при всех четырех планах. Креспи пишет: «Даже если мы решили никогда не отступать от научной объективности, мы все-таки по-другому смотрим на ископаемое, если мы предчувствуем, что в нем совершился процесс, последнее значение которого постижимо только в мистике. Отсюда парадоксальность этого учения; оно полностью отвечает всем требованиям научной работы и в то же время непрестанно стремится к пониманию, превышающему возможности науки».

Другой богослов, проф. Католического института в Париже Поль Бреннэ, на книгу которого и проф. В. Зеньковский ссылается в своей статье, пишет, что мысль Тейяра нельзя понять, «если мы не будем все время помнить о католическом символе веры, который вдохновлял его построения и был для них незамаскированными рамками». Сам Тейяр говорил, что занятие наукой с устранением философских и теологических вопросов — «психологически нежизненный подход».

Теперь, после того как опубликованы письма Тейяра, написанные им в 1914–1918 годах, когда он служил санитаром на фронте и в аду Вердена, ему

открылось его ви́дение Бога и мира, больше не может быть сомнения, что, хотя он не смешивал различные дисциплины, его научная работа вдохновлялась его религиозной верой. Любопытно, что это понял философ-коммунист Гароди. Он пишет: «...неправильно думать, что Тейяр удовлетворился тем, что прибавил к диалектике природы своего рода продолжение, чтобы экстраполировать движение и вывести из него христианского Бога. На самом деле он открывает Бога не в конце только, а видит Его в самом источнике всякого движения: мир движется призывом сверху» (Гароди, конечно, оговаривается, что эта «концепция мистической трансцендентальности» чужда марксизму).

В своей статье проф. В. Зеньковский делает еще несколько замечаний, которые, как мне кажется, могут дать неверное представление об идеях Тейяра. Проф. В. Зеньковский пишет: «...в одном месте наш смелый, но неосторожный автор с завидной легкостью говорит: "в мире ведь часто бывает, что действует счастливая случайность". Слово найдено: жизнь в своем возникновении сводится к "счастливой случайности"».

Это заключение проф. В. Зеньковского представляется мне неверным. Ведь Тейяр неустанно утверждает прямо противоположное, а именно, что жизнь возникает не в результате случайности (accident fortuit), а является постоянным и универсальным феноменом, связанным с процессом космической эволюции. «Жизнь рождается во вселенной повсюду, где она становится возможной». Тейяр даже считал, что жизнь научно необъяснима, если не признать, что она существует «под давлением» с самого начала и повсюду. Во всех своих книгах он все снова и снова возвращается к мысли, что скольжение «прогрессивной части вселенной» к все большему расцвету жизни, сознания и свободы — это такое же универсальное и необратимое движение, как и энтропия, но движение «восходящее» и энтропии прямо противоположное.

И еще одно замечание проф. В. Зеньковского, которое, думается, может ввести в заблуждение читателя. Проф. В. Зеньковский пишет: «Он (Тейяр) признает, что таинственное превращение мегамолекул в клетки продолжается и ныне». На самом же деле Тейяр говорит следующее: «Априори легко можно вообразить, что вокруг нас за пределами различимого в микроскоп все еще незаметно продолжается таинственное превращение мегамолекул в клетки, начавшееся миллионы лет тому назад». Но вслед за этим Тейяр объясняет, почему он пришел к убеждению, что на самом деле это не так. То, что при этом он взвешивает все доводы за и против «спазматического» зарождения жизни на земле, только свидетельствует, как мне кажется, о научной добросовестности.

В заключение своей статьи проф. В. Зеньковский говорит: «Я не буду здесь входить в обсуждение богословских взглядов Тейяра, укажу лишь, что у него действие Бога в мире оказывается, по существу, единственным двигателем в мире... Такая богословская позиция во всяком случае не отвечает христианству, которое признает, что в акте творения земля, как и все ви-

димое бытие, получает известную самостоятельность и активность». До сих пор большинство богословских критиков Тейяра обвиняли его прямо в противоположном. Утверждая, что Бог не столько «делает» вещи, сколько «делает, чтобы они делались» («Dieu “fait” moins les choses, qu’il ne “les fait se faire”»), Тейяр будто бы преуменьшал свободное вмешательство божественного творчества.

Жаль, что проф. Зеньковский совсем не упоминает о тейяровом замысле моральной реформы, о его идее всечеловеческого объединения.

Язык Тейяра не всегда точен. Как всякому подлинно оригинальному мыслителю, ему приходилось для выражения своего ви́дения мира переделывать слова, придавать им новое, необычное значение или даже создавать новые слова. Так, в 1925 году он создал слово и понятие Ноосферы, принятое затем некоторыми другими учеными, в том числе и В.И. Вернадским, с которым Тейяр часто в то время встречался в Париже. Введение новых или наново переделанных слов и понятий часто затрудняет чтение Тейяра.

Свою статью проф. В. Зеньковский начинает с признания, что Тейяр как первоклассный ученый и замечательный представитель натурфилософии заслужил свою мировую славу. Но, как мне кажется, некоторое предубеждение к идеям Тейяра у автора оказалось сильнее. И все-таки мы должны быть благодарны проф. В. Зеньковскому за эту статью, ибо она вызывает обсуждение идей Тейяра.

## ЗАМЕТКИ О ПРОЧИТАННОМ. «ВСТРЕЧИ» Федора Степуна*

Уже давно не было такой интересной и живой русской книги, которая предлагала бы для размышления так много перспектив.

Даже самые решительные противники идей Федора Степуна обычно признают его талант. Но в его книгах привлекает что-то еще более важное и более редкое, чем талант, — способность к человеческому диалогу, способность внимательно прослеживать свои и чужие мысли от самого их зарождения и до конца. Даже в полемике Степун, в отличие от большинства русских публицистов, никогда не прибегает к тем адвокатским приемам, цель которых не выяснить сущность спора, а «поддеть противника», поймать его на случайных недосмотрах и поверхностных противоречиях. Хотя Ф. Степун при его умственной и словесной находчивости, если бы этого захотел, вероятно, мог бы разбить самых испытанных спорщиков адвокатского типа.

Отказ от таких приемов не остался без награды. Книги Степуна приоткрывают читателю ту живую и плодотворную, с бесчисленными возможностями развития глубину, которая возникает только при доброй и пристальной сосредоточенности внимания. Вот почему в них никогда не найти

* Федор Степун. Встречи. Товарищество зарубежных писателей. Мюнхен, 1962.

ничего, что приносит «худые плоды». Эта добрая воля Степуна, отвергающая всякое человеконенавистничество, неразрывно связана, я думаю, с его «новоградским сознанием».

В своем очень интересном отзыве о «Встречах» Георгий Адамович пишет, что если устроить чаепитие «последних могикан русского модернизма», то «председателем на таком "симпозионе" следовало бы избрать Степуна, и именно он мог бы произнести в заключение достойное слово в память дорогого рассеявшегося былого». Я сейчас же подумал: это, может быть, правда, но не вся правда. Ведь могикане русского модернизма жили в эмиграции на той «противоположной миру терассе», на которой, по выражению Поля Валери, «содрогался и мечтал Паскаль», а Степун с Фондаминским и Федотовым основывают «Новый Град». И если бы устроить другое чаепитие, на которое собрались бы немногие еще оставшиеся в живых участники «Нового Града», то именно Степуна следовало бы избрать председателем, и он произнес бы достойное слово обо всем, что в русском прошлом двигалось к «Новому Граду» и опять начнет расти в будущее, когда кончится чудовищная навязанная России остановка.

Мне скажут: «Встречи» Степуна — это только сборник статей о нескольких писателях и поэтах, при чем же здесь «Новый Град»? Но, во-первых, новоградское сознание определяет подход ко всем явлениям человеческой жизни, в том числе и к искусству. В чем сущность этого сознания? Это был бы слишком долгий разговор. «Новый Град» вырос как синтез двух основных, долго казавшихся противоположными друг другу тенденций «русской идеи». В самом главном — это вера, что существует общечеловеческое дело, которое должно быть совершено в этом мире и должно этот мир преобразить — недаром столько русских новоградцев начали с марксизма. Но это также и утверждение абсолютной, не зависящей от его общественных отношений, ценности каждого человека, призванного иметь жизнь вечную по ту сторону всех времен, — недаром новоградцы ушли от марксизма, с его антропологией, игнорирующей внутреннюю глубину человека.

Во-вторых, сборник «Встречи» открывается статьями о Достоевском и Толстом. А они оба были не только гениальные писатели, но, подобно библейским пророкам, провозвестники идеи абсолютной справедливости, вдохновляющей космическую драму движения человечества к «Новому Граду». Вот почему Степун, если бы даже он не был новоградцем, как внимательный критик не мог бы говорить о Достоевском и Толстом вне перспективы этого движения.

Достоевскому посвящены в сборнике две статьи. В первой — «Миросозерцание Достоевского» — Степун дает очень интересный и глубокий анализ связи художественных приемов Достоевского с его миросозерцанием. Этот анализ помогает лучше понять героев Достоевского и значение их идей. Вторая статья — «"Бесы" и большевистская революция» — продолжает и развивает первую. Это два этапа долгого, всей жизни, размышления над пророческим характером произведений Достоевского. Они многое совсем

по-новому освещают и заставляют читателя пересмотреть и проверить свое собственное понимание ответов Достоевского на вопросы, которые стоят перед человеком нашего времени так же, как перед человеком XIX века, но еще острее, еще более апокалиптически грозно.

Степун говорит о гениальном и поразительном предвидении, с каким Достоевский дал историософскую и социологическую характеристику грядущей большевистской революции. С этим нельзя не согласиться, но с одной оговоркой. Степун совершенно прав, указывая, что в шигалёвщине Достоевский дал прообраз ленинизма. Другой вопрос, предугадал ли Достоевский в своих профетических романах психологию большевистских вождей? Несомненно, что в каждом крупном большевике было что-то от Великого инквизитора, а герои «Бесов» напоминают большевиков своей фанатической готовностью приносить живых людей в жертву идеологии, и Петруша Верховенский предвосхищает ленинский тезис о «переходном поколении». Но есть и глубокие различия. Вопросы, мучившие безумное и гениальное сознание Кириллова, вряд ли когда-нибудь приходили на ум Ленину или Сталину, и даже в более «романтическом» Троцком не найти и следа ставрогинского демонизма. Сам Степун подчеркивает, что Достоевский во всех своих героев, даже в самых «смрадных», вселяет «предельно взволнованные души и идейную одержимость». Идейной одержимости у большевистских вождей было, конечно, сколько угодно, но в ком же из них была предельно взволнованная душа? Это всё люди большой воли, но плоского ума, люди без всяких шестых чувств, с полным отсутствием метафизического воображения. По сравнению с ними даже самые ничтожные бесы Достоевского кажутся существами бесконечно более таинственными, сложными и глубокими. Если уж кого сравнивать с большевиками, то это не героев Достоевского, а охваченных административным восторгом губернаторов и градоначальников Щедрина. В любопытной книге «Политика и роман» Ирвинг Гау замечает: «Бесы — это люди странные, крайние индивидуалисты, беспочвенные одиночки. В то время как бюрократ-сталинец — это человек-машина, он натренирован в раболепстве и за ним стоит могущественное государство... Петр Верховенский не удержался бы среди сталинцев ни одной недели».

Но с этой оговоркой повторяю: нельзя не согласиться со Степуном, когда он говорит о поразительной дальнозоркости (так! — *Сост.*) Достоевского. Правда, и раньше, и в России, и на Западе, раздавались предостерегающие голоса. После опыта якобинского террора многим приходили опасения, что новая революция завершится еще более кровавой диктатурой. Задолго до Достоевского Шатобриан предсказывал, что социалистическое равенство может быть установлено только деспотически и приведет к рабству, какого еще не было в истории человечества. И все-таки ясновиденье Достоевского удивительно. Ведь он писал в годы, когда оптимизм философов XVIII века с новой силой воскрес в социалистических доктринах и когда вся радикальная русская интеллигенция, подобно героине Чернышевского Вере Павловне, грезила о хрустальном громадном доме. Ясновидение Достоевского

еще более удивительно, если вспомнить его отвращение к буржуазии и если вспомнить, что мало кто почувствовал и описал ужас тогдашнего положения рабочих с такой силой, как Достоевский. В удивительных «Зимних заметках о летних впечатлениях» он пишет: «Эти миллионы людей, оставленные и прогнанные с пиру людского, толкаясь и давя друг друга в подземной тьме, в которую они брошены своими старшими братьями, ощупью стучатся хоть в какие-нибудь ворота... В Гай-Маркете я заметил матерей, которые приводят на промысел своих малолетних дочерей... Помню раз, в толпе народа, на улице, я увидал одну девочку, лет шести не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую...» После этого ждешь если не Алёшиного «расстрелять!», то хотя бы гневного призыва к бунту: нельзя, чтобы так продолжалось, с этим нельзя примириться. Но Достоевский к революции не призывает. При всей его ненависти к бесчеловечному «Ваалу», он отшатывается и от «фурьеризма», так как «фурьеризм», обещая покончить с этой чудовищной несправедливостью, требует за это с человека «только самую капельку его личной свободы». Проницательность, с какой Достоевский понял, к чему приведет это требование, действительно поразительна. Но что же тогда делать, что предлагает Достоевский? Определение братства, которое он дает в «Зимних заметках о летних впечатлениях», стало, по выражению Константина Мочульского, «катехизисом всей современной христианской социологии». Мочульский пишет: «Отношения между личностью и коллективом, различие между безбожной коммуной и христианской общиной, персоналистический характер будущего социального порядка, основанного на любви и свободе, — все заключается уже в этом рассуждении величайшего нашего мыслителя». Да, это уже начертание «Нового Града». Но что стало с этим начертанием в последующих романах и политических высказываниях Достоевского? В своей статье Степун только мимоходом этого касается. Впервые эта статья была напечатана в сборнике «Судьбы России», вышедшем в Нью-Йорке в 1957 году. Но теперь, во «Встречах», она увеличилась на несколько очень важных страниц. На этих добавочных страницах Степун говорит о миросозерцании Шатова. Он не соглашается с Мочульским, слившим «воинственный национализм» Шатова с миросозерцанием самого Достоевского. Степун пишет: «Если говорить не о несчастном Шатове, а о его злосчастной идеологии, то нельзя не увидеть, что шатовщина все же ближе к языческому национализму германцев и в особенности Гитлера, чем к православно-национальной историософии Достоевского». Два вопроса тут приходят в голову. Как Мочульский, подлинный новоградец и на редкость чистый и светлый человек, не почувствовал этой страшной близости шатовщины к нацизму, и как Достоевского, с его знанием, что русская идея — это братство всех людей, могли искушать идеи Шатова? Степун, конечно, прав, указывая на разницу между подлинными взглядами Достоевского и верованиями Шатова. Но он сам признает, что Достоевский «нередко впадал и в грех конфессионального шовинизма, и в грех националистического мессианизма». Это правильное слово — грех. Достоевского этот грех доводил до несовместимых с его идеей

всеобщего братства припадков человеконенавистнического антисемитизма и ксенофобии. Будущие русские новоградцы будут благодарны Степуну за это предупреждение о зловещей природе шатовщины. Хотелось бы, чтобы он продолжил эту статью, хотелось бы, чтобы она выросла в целую книгу. Она подымает слишком много вопросов, на которые новоградцы должны ответить. И, кроме Степуна, теперь нет никого, кто такую книгу мог бы написать.

Еще одно пожелание. Степун говорит о следах в программе и тактике большевиков теорий Ткачёва и Нечаева и бакунинской страсти к разрушению. Эти следы бесспорны, но в последнее время им стали придавать слишком уж большое значение. По рукам пошло представление, будто большевизм — это чисто русское явление, а марксизм тут совсем ни при чем. Я думаю, такое представление неверно, опасно и может принести много зла. Игнатий Лойола, Бентам, якобинская диктатура, Бланки, интегральный марксизм, Клаузевиц, Жорж Сорель, сколько еще других западных учителей «учили» Ленина ленинизму. Хотелось бы, чтобы Степун об этом напомнил и восстановил правильную историческую перспективу генезиса большевистских идей.

После двух статей о Достоевском статья о Толстом: «Религиозная трагедия Толстого». Степун отмечает главные этапы пройденного Толстым пути: арзамасский ужас, попытки найти веру, отчаянье, уход из Ясной Поляны, смерть в Астапове. Как новоградец, Степун, конечно, не может принять убеждения Толстого, что никакие общественные преобразования не нужны и изменение к лучшему возможно только на пути внутреннего совершенствования каждого отдельного человека. Степун рассказывает, как сначала Толстой упорно противился всем увещеваниям принять участие в помощи голодающим, потом не выдержал и поехал в Рязанскую губернию, где проявил громадную энергию по организации этой помощи, но все же упрекал себя за эту деятельность, нарушившую доктрину толстовства. Степун пишет: «Что все это значит? И как понять, что человек, исключительно отзывчивый на страдания ближнего и готовый на любые жертвы ради помощи этому ближнему, всю жизнь трудясь над нравственно-религиозным учением, долженствующим помочь осуществлению добра и любви в мире, создал в конце концов такую социальную этику, которая лишила ее приверженцев возможности помощи нуждающимся и страдающим? Это трагическое расхождение между этикой, т.е. учением о добре, и возможностью его практического осуществления повторяется у Толстого во всех областях культуры». Указав на это поистине трагическое противоречие толстовского морального максимализма, Степун пишет: «К концу жизни Толстой, правда, стал все чаще задумываться над злосчастностью своего пути, все более остро чувствовать, что он зашел в тупик и не видит дороги, ведущей в то царство христианской любви и мира, в которое он так горячо стремился. Еще до написания Софье Андреевне письма от 8 июня 1897 года, о своем решении уйти, он записал в дневнике: “Молился, чтобы Он избавил меня от этой жизни, и опять мо-

люсь и кричу от боли. Запутался. Завяз. Сам не могу, ненавижу себя и свою жизнь"». Эти слова трудно читать без волнения. Как могло случиться, что Толстой, с его почти сверхчеловеческим гением, со всем его огромным умом и со всей его огромной волей, направленными только на одно — исполнить евангельскую заповедь, пришел не в «царство христианской любви и мира», а к глубокому, последнему отчаянью? Это трагедия не только Толстого, а всего человечества. Встают смущающие вопросы. Если такой человек, как Толстой, не мог, то кто же тогда может, возможно ли вообще человеку стать христианином?

Степун этих вопросов не касается. Как человек церковно верующий он объясняет трагедию Толстого тем, что Толстой не хотел принять учения церкви и потому не мог стать христианином. Мне это объяснение представляется не вполне убедительным, хотя формально Степун прав. Если между христианством и символом веры ставить знак равенства, тогда Толстой не христианин. Но правильно ли ставить такой знак равенства? Степун пишет: «Для людей христианского сознания непосредственно ясно, что между учением Толстого о Христе и христианством, кроме общих этических положений, свойственных и другим как религиозным, так и философским системам, нет ничего общего». Здесь можно спросить: а что если христианство получило в более или менее готовом виде от других религиозных и философских систем не только общие этические, но и общие метафизические положения? А что если христианство для своего выражения могло воспользоваться и другой метафизикой или совсем обойтись без метафизики? А что если сущность христианства и не мораль и не метафизика, а огонь мистической любви? «Огонь пришел я низвесть на землю». Тогда данное Степуном объяснение религиозной трагедии Толстого в значительной мере отпадает. Тогда совсем по другим признакам определяется, кто христианин. Тогда окажется, что многие благочестивые, но не имеющие любви люди — только номинальные христиане, а, например, Рамакришна — великий христианский святой, брат по духу Франциска из Ассизи. Я помню слова епископа Иоанна Сан-Францисского, написанные им в память «безбожника» Владимира Зензинова: «Он думал, что верит только в "Высшее добро", и ему очень хотелось всежизненно служить этому Добру; и он служил ему по своему разумению, в соответствии с тем, что он понял в добре: он отдавал в последние свои годы без всякой политики жизнь за ближних... Я верю, что таких людей, — "верных в малом", как Владимир Михайлович Зензинов, Всемогущий Творец и Спаситель людей узнает и признает за своих...» Если это так, то религиозная трагедия Толстого вряд ли объяснима только тем, что его разум не мог принять догматов церковного вероучения. Страшный вопрос — почему, несмотря на все его героические, воистину сверхчеловеческие усилия «подражать» Иисусу Христу, Толстой так и не нашел в своем сердце милосердной и деятельной любви, обнимающей не только всех людей, но и весь мир, остается открытым.

Кроме статей о Достоевском и Толстом в сборнике «Встречи» мы находим еще статьи о Бунине, Зайцеве, Вячеславе Иванове, Андрее Белом, Леоно-

ве. Эти статьи написаны так же ярко и талантливо, как и статьи о «великих тенях прошлого». Но обсуждение их лучше отложить. Это переход в мир совсем других вопросов.

Кончу тем же, с чего начал: уже давно не было такой живой, волнующей и, я бы сказал, новой, с новыми мыслями русской книги. За ней чувствуется человек доброй воли, с кем возможен диалог и кому стоит задавать вопросы о том, как нам нужно смотреть на человеческое дело на земле.

## ЗАМЕТКИ О ПРОЧИТАННОМ.
*(«Воздушные пути», Альманах 3, Нью-Йорк 1963)*

Необходимое предупреждение — это не рецензия, а запись мыслей, приходивших мне при чтении «Воздушных путей». Как всякий читатель я обращал внимание, главным образом, на страницы, лично мне наиболее интересные.

В третьей книге «Воздушных путей», так же, как и в двух первых, много неизданных произведений или таких, что печатались в неполной редакции: два стихотворения Ахматовой, печатаемые без ее ведома, три стихотворения Ходасевича, стихи Мандельштама. Но больше всего места отведено Бабелю. Тут и четыре его рассказа, и его письма к матери и сестре, и большая статья о нем Леонида Ржевского: «Бабель — стилист». В значительной мере посвящена Бабелю и статья редактора-издателя «Воздушных путей» Романа Гринберга. Он приводит очень интересную ссылку на вышедшую на немецком и венгерском языках книгу Эрвина Шинко «Роман одного романа. Московский дневник». Участник венгерского большевистского восстания 1910 года, Эрвин Шинко встречался с Бабелем в 1936 году, в Москве. Гринберг пишет: «Шинко вел с Исааком Эммануиловичем откровенные беседы и после одной такой беседы, происходившей, как обычно, ночью и шепотом, он записал в дневник: "Я понял, что этот человек живет в большом страхе"». Эти слова все время вспоминаются при чтении рассказов и писем Бабеля. Он был уничтожен партдиктатурой сначала как писатель, а потом и физически.

«В сущности, когда мы читаем или созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: Ну-ка, что ты за человек? И чем отличаешься от всех людей, которых я знаю, и что можешь мне сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?» Эти слова Льва Толстого помогают лучше понять трагедию Бабеля и всех советских писателей. Самого главного, чего мы ждем от художественного произведения, они дать нам не могут. О том, как нам надо смотреть на нашу жизнь в Советском Союзе, говорит только партия. «Доктор Живаго» единственное там написанное большое произведение, которое нарушило эту партийную монополию. Бабель погиб, не написав такой книги. Помешал ли ему страх, мог ли он вообще такую книгу написать? Напечатанные в «Воздушных путях» его рассказы и письма не дают новых указаний для ответа

на этот вопрос. Не дает таких указаний и статья Леонида Ржевского. При всей ценности этой статьи она не подтверждает претензии формалистов, что анализ литературных приемов лучше всего открывает и самое глубокое содержание художественного произведения. Впрочем, сам Ржевский этой претензии не разделяет. В заключение своей статьи он пишет: «...мыслимо ли вообще исчерпывающее, без остатка, изучение стиля большого писателя, расчленение мастерства? Что-то непременно останется за скобками, за найденными а-б-ц творческого приема. И это “что-то” будет, вероятно, искусством, неподражаемо “своим” каждого художника».

В редакционной статье Роман Гринберг, упомянув о начавшейся в Советском Союзе борьбе писателей и художников за право на самостоятельное творчество, пишет: «“Воздушные пути” шлют дружественный привет всем тем, кто в России своей верой в себя, своей стойкостью сумеет отстоять право на творческую независимость». Я думаю, не найдется читателя, который не присоединился бы к этому привету.

Еще одно напоминание о мире концлагерей: Юлий Марголин напечатал в этом выпуске «Воздушных путей» стихи, написанные им «в стране зе-ка».

Среди статей, помещенных в «Воздушных путях», больше всего раздумий, согласий и возражений вызвали у меня три: «Возвращение на родину» Вл. Вейдле, «Послесловие» Г. Адамовича и «Об одной неудавшейся поэзии» Н. Ульянова. Статьи эти очень разные, на разные темы, но на двух-трех перекрестках мысли они друг с другом встречаются.

Основные положения Вейдле для меня бесспорны. Россия не Азия, а Европа, такая же неотъемлемая часть Европы, как Англия или Италия. Европа родина России. Антизападная политика советской власти поэтому особенно преступна. Россия должна вернуться в Европу. Можно только поблагодарить Вейдле за категоричность, с какой он утверждает эти положения. Особенно теперь, когда столько европейцев, стараясь осознать глубокое единство Европы, растерянно спрашивают себя, Европа ли Россия? И столько русских с непонятным самодовольством им подсказывают: нет, не Европа. Тем не менее статья Вейдле оставляет чувство некоторой неудовлетворенности. Вейдле не дает ни определения Европы, ни определения, в чем же советская цивилизация отступила от духа Запада. Ведь, как отмечает сам Вейдле, идеология, оторвавшая Советский Союз от Запада, отнюдь не восточного происхождения. И действительно, трудно отрицать, что, хотя и в чудовищно искаженном виде, тотальный марксизм унаследовал все мессианское, универсалистическое прометеевское вдохновение европейской культуры. Это ересь, но ересь европейская, и в своей вере в прогресс, в науку, в человеческое действие и возможность овладеть природой и историей Советская Россия не только не ушла из Европы, но никогда еще не была в такой степени Европой. Это западная вера, какой она была в XIX веке, до искушений усталости, агностицизма и скептической мудрости. Но в другом, не менее важном смысле, Россия никогда еще не была так далека от Запада, как теперь. Приняв европейскую научно-техническую революцию, она в то же

время отказалась, как от истоков, так и от подлинной цели этой революции. Для упрощения воспользуюсь формулой Дени де Ружмона: «Запад создал среди других ценностей две совсем особенные: права личности и машину». Из этих двух ценностей Советская Россия взяла только вторую. И Россия вернется в Европу только тогда, когда начнется рецепция и первой ценности: свободы и человечности.

В своей статье «Послесловие» Георгий Адамович тоже говорит о России и Западе. Читая его статью, я попеременно испытывал то полное и благодарное согласие, то такое же полное несогласие, то недоумение. Так, в самом начале: почему собственно ссылка на наше время, как время динамическое, вызывает у Адамовича такую иронию? Не станет же он отрицать, что никогда еще в истории все условия человеческой жизни не менялись так быстро и так радикально, как теперь. Но после этого досадного вступления идут прекрасные и волнующие страницы о патриотизме, о двух Россиях и о том, «отчего мы уехали из России». Хотелось бы, чтобы эти страницы прочли и тут, за рубежом, и на той стороне. В воображаемом диалоге с оставшимися там — это одна из лучших эмигрантских реплик. Но даже на этих страницах вдруг натыкаешься на замечания, с которыми трудно согласиться. Например, утверждение, что на Западе нет или почти нет раздвоения и царит «дружное национальное единодушие». А Возрождение, Реформация, все западные ереси и революции? Уже в эллинистическом мире, родине Европы, было раздвоение. С тех пор вся европейская история развивалась дихотомически, путем беспрерывной поляризации и напряженной борьбы противоречий.

Еще больше меня поразило утверждение Адамовича: «дома мы на Западе не были». С годами у меня развилось глубокое и твердое знание: Европа — это отчий дом, священная и любимая родина, которой мы всем обязаны. Я забыл, что не все так думают и чувствуют. Признаюсь, в начале эмиграции, во времена евразийства и «Чисел» у меня самого подобные заявления, что дома мы на Западе не были, не вызывали протеста. Брошенная союзниками, бесправная и нищая беженская белая Россия жила тогда чувством обиды на Запад. Из эмигрантской отверженности рождались мессианские мечтания, желания доказать, что русским изгнанникам, прошедшим через апокалипсис революции и гражданской войны, открылось знание, недоступное равнодушному Западу. Так возникли евразийство и близкие к нему течения. По выражению Г.П. Федотова, в этих кругах «Россия мыслилась уже не как живой народ, а как идея, антитетическая западной действительности». Это эмигрантское отталкивание от Запада отразилось и в «Числах», хотя не так прямолинейно, как в евразийстве или в статье Шмелёва, о которой Адамович вспоминает как о статье «комически-высокомерной». Зато, если евразийство, при всем его антизападничестве, по существу было только дегенеративной формой немецкого романтизма, то в «Числах» веял соблазн подлинного отрицания Запада, самой души Запада. Федор Степун очень верно назвал вдохновителей «Чисел» «новыми восточниками» и «буддийствующими христианами». Тогда же Федотов писал: «...тема смерти оборачи-

вается в “Числах” темой нирваны». На первый взгляд эти обвинения могут показаться необоснованными. О буддизме и нирване никто в «Числах» не говорил. Но если под буддизмом условиться понимать всякое мистическое отрицание мира, то тогда Степун и Федотов правы. Для многих участников «Чисел» Маркион и Розанов были единственными экзегетами христианства. «Есть древняя легенда, — писал в «Числах» Адамович, — Бог не создал мира, не хотел создавать его. Мир вырвался к бытию против Его воли». Отсюда «в душу закрадывается соблазн: не надо ли “погасить” мир, то есть на это работать». С тех пор прошло много лет, но когда читаешь Адамовича, все кажется, что еще и сегодня его сознание не освободилось от этого соблазна. Отсюда «дома мы на Западе не были» и замысел «Парижской ноты»: «В основе, в источнике было, конечно, гипнотически-неотвязное представление об окончательном абсолютном, незаменимом, неустранимом — нечто очень русское по природе, связанное с вечным нашим “все или ничего” и с отказом удовлетвориться чем-либо промежуточным. На Западе мы не были “дома” именно потому, что здесь это “или-или” ни сочувствия, ни отклика не встречало. В поэзии французы предлагали нам оценить какие-нибудь необыкновенно смелые, необыкновенно меткие образы, а мы недоумевали: к чему они нам? Образ можно отбросить, значит, его надо отбросить. Образ по существу не окончателен, образ не абсолютен...»

Но не абсолютно и слово, весь мир не абсолютен. Абсолюта вообще, может быть, нет. «Сравнение, которое давно уже было сделано: в руках у человека роза или, если угодно, кочан капусты, — поскольку роза ничуть не лучше и не хуже кочана капусты. Листик за листиком, лепесток за лепестком: не то, не то, ибо то, что единственно дорого, единственно нужно, таится в глубине, — пока не видишь, что нет в руках ничего! А подбирать и собирать рассыпанные лепестки нет ни малейшего желания: пусть подбирают те, кому они нравятся. Впрочем, они и не оборвали бы их! Не знаю, как сказать об этом яснее». Это одна из тех, я бы сказал, сверхвосточных мыслей, которые, кажется, навсегда зачаровали сознание Адамовича. Предлагая во имя чего-то единственно нужного, окончательного, абсолютного «погасить мир», он в то же время не верит, что это окончательное и абсолютное существует. Он не обещает даже нирваны. «Отрыв, отказ, освобождение» приведут не к обещанному «головокружительному блаженству», а только к пониманию, «что нет в руках ничего». Но в конце статьи Адамович неожиданно цитирует поэта, очень западного, несмотря на все приходившие ему дурные мысли»: «Le vent se lève, il faut tenter de vivre» (в предлагаемом Адамовичем переводе: «Поднимается ветер, попробуем жить»), Адамович приводит эти слова, как «необходимый комментарий к спору о “Парижской ноте”». Между тем они совершенно меняют все впечатление от его статьи. Ход мысли между «нет в руках ничего» и этим неожиданным для читателя «попробуем жить» остался неосвещенным.

Конечно, всего не скажешь изъявительно. Интуиция всегда несоизмерима с находящимися в распоряжении писателя средствами выражения. Сло-

ва, понятия, образы, ритм бессильны передать ее таинственную простоту. То, что Адамович всю жизнь пишет об одном и том же, все уточняя и уточняя свои намеки и все-таки не находя окончательной формулировки, — признак подлинности. Он увидел что-то действительно своими глазами. Однако иногда кажется, что, не желая открыть свои мысли в их непосредственном наивном виде, он не старается сделать последнее, трудное усилие внимания, необходимое, чтобы дочертить «линии, оставшиеся неясными».

Статья Ульянова «Об одной неудавшейся поэзии» по своему вдохновению прямо противоположна статье Адамовича. Статья эта меня поразила. Тему современного машинизма в эмигрантской литературе редко кто так ставил. Чрезвычайно интересно все, что Ульянов пишет об обращении Блока в «машинную веру». В эмиграции много говорили и спорили о Блоке, но об этом его обращении наша литературная интеллигенция молчала. На фоне этого молчания статья Ульянова производит неожиданное и очень сильное впечатление. Он словно первый увидел слона. «Почему же не футуристы, а певцы прекрасной Дамы и вечной женственности прониклись чувством величия машинной эры?» — спрашивает Ульянов. И отвечает: «Уже в тогдашнем машинном гуле слышался глас Божий. Новое божество открылось не уличным ораторам, а людям веры и мистической одаренности». Это утверждение очень верно. Значение научно-технической революции нельзя понять, не почувствовав ее мистического происхождения. По выражению Бергсона: мистика «призывает» механику. Но это западная мистика воплощения и деятельной любви, а не восточная, с ее отрицанием мира и неверием в человеческое действие. Поэтому вовсе не странно, что именно Блок, самый мистической поэт русского «Серебряного века», благословил машину и воспел превращение России в новую Америку. Это был, конечно, не отказ от всегда слышавшегося Блоку мистического призыва, а, наоборот, дальнейший шаг на пути следования этому призыву, шаг трудный и героический.

Ульянов прав, когда жалуется, что атомный век не нашел своего Гомера. Но с некоторыми попутными его замечаниями трудно согласиться. Например, удивительно утверждение, что до Александра Гефтера никто в русской литературе не сумел описать бега тройки. Еще большее недоумение вызывают высказывания Ульянова, создающие впечатление, что он требует от литературы лишь эстетического восхищения ритмами индустриальной эпохи и мощью машин, независимо от их применения, пусть это будет даже «ураганный огонь артиллерии». Он упрекает старую русскую литературу в том, что поезд интересовал ее «больше составом пассажиров своих трех классов, а не поэзией мчащейся громады на колесах». Всякая забота о социальном благоустройстве кажется ему недостойным искусства утилитаризмом, и ему нравится, что Гумилев порвал с некрасовско-толстовской нотой «ужасов войны». Все это оставляет неприятный осадок. Да, конечно, последняя цель научно-технической революции не увеличение благополучия, а увеличение бытия, преображение, победа над косностью, освобождение из условий пространства и времени, то, что Тейяр де Шарден называл движением к точке Омега.

Но именно поэтому это движение не может быть равнодушно к социальной правде: оно рождено мистической милосердной любовью, стремящейся спасти всех людей и каждого человека. Если это так, то тогда забота старой русской литературы о пассажирах третьего класса ближе к подлинному вдохновению машинизма, чем только эстетическое любование мощью и движением машин. Я убежден, Блок это знал, именно этим и объяснялось его обращение.

В третьем выпуске «Воздушных путей» особенно много воспоминаний: Галина Кузнецова «Грасский дневник», Лидия Шаляпина «Об отце», Елена Извольская «Поэт обреченности», Артур Лурье «Детский рай», Михаил Чехов «Жизнь и встречи». К отделу воспоминаний можно отнести и «Н.А. Тэффи в письмах» Андрея Седых. Большинство этих воспоминаний очень интересно. Галина Кузнецова записала несколько задушевных высказываний Ивана Бунина, сумев передать неподражаемый бунинский язык. Некоторые замечания Бунина поражают. Например: «Нет ничего лучше дневников — все остальное брехня!» Вот тема для литературоведов: Бунин без всяких мудрствований покончил с традиционным романом задолго до того, как сверхинтеллектуальные французы начали выдумывать антироман. Елена Извольская с большим волнением и любовью пишет о своих встречах с Мариной Цветаевой. Артур Лурье дал поразительный образ Хлебникова, «духовного старца от искусства». Очень интересны «Трактат об одностроке» Владимира Маркова и некоторые его собственные одностроки. В статье «Встреча Достоевского и Гоголя» Юрий Маргулиес развивает гипотезу, что Достоевский присутствовал на встрече Гоголя с «новыми литераторами» на ужине у Комарова, осенью 1848 года. Эрге в статье «Читая “Поэму”» говорит о родстве между Ахматовой с Достоевским и Пушкиным.

Третью книгу «Воздушных путей» стоит прочесть от доски до доски.

## Nicolas Zernov. THE RUSSIAN RELIGIOUS RENAISSANCE OF THE TWENTIETH CENTURY. *Darton, Longman and Todd. London, 1963*

«Борьба между христианами и марксистами в России подымает много проблем, касающихся не только будущности церкви в России, но и судьбы христианства в современном мире. Эта книга не претендует на знание ответов на столь важные вопросы; ее задача дать описание того религиозного обновления среди русской интеллигенции, которое предшествовало падению Империи и продолжалось в первые годы коммунистической диктатуры. Атеистические предубеждения советского правительства привели не только к подавлению христианского возрождения внутри страны, но даже к запрету всякого упоминания о нем в печати, кроме как в контексте антирелигиозной пропаганды.

При этих условиях религиозное обновление нашло себе свободное выражение только среди русских в изгнании. Большинство литературы по этому

вопросу было опубликовано в Западной Европе и в Америке. Недостаточность источников очень затрудняет изучение этой драматической страницы развития русской культуры. Эта книга должна поэтому рассматриваться только как предварительное исследование, а отнюдь не как всесторонний разбор сложных причин, которые коренным образом изменили накануне революции духовный облик многих выдающихся представителей интеллигенции.

Люди, стоявшие во главе религиозного обновления, были видными мыслителями и проникновенными исследователями социальных и политических изменений в жизни современного человечества... Политически эти русские были побеждены. Некоторые из них были изгнаны из своей страны, другие были принуждены замолчать или погибли в тюрьмах и концлагерях; но их идеи не были уничтожены. Те из них, кому пришлось стать бездомными изгнанниками, сохранили верность своим убеждениям и продолжали служить своей церкви и своему народу».

Так пишет Николай Михайлович Зёрнов в предисловии к своей книге — «Русское религиозное возрождение двадцатого века».

Я переводил это предисловие со смешанным чувством. То, что книга проф. Зёрнова вышла по-английски — это хорошо. Она поможет иностранному читателю лучше понять духовный облик и судьбу русской интеллигенции. Ведь до сих пор у некоторых иностранных авторов, даже прославленных, нередко натыкаешься на самые удивительные об этом представления. Но эта книга, конечно, должна была бы выйти и по-русски. В том, что мне пришлось читать ее по-английски, было что-то трагически нелепое. Эмигрантские книги теперь легче проникают на ту сторону, и столько свидетельств было оттуда, что там молодежь, которая ищет новых идей, особенно жадно набрасывается как раз на книги тех вернувшихся к христианству представителей интеллигенции, о которых пишет Зёрнов.

Чтобы сделать читателю понятным все значение в истории русской культуры этого духовного обновления начала века, проф. Зёрнов в предварительных главах дает краткий очерк истории духовных и политических движений среди русской интеллигенции, начиная с Радищева и вольных каменщиков Новикова. Зёрнов считает, что, несмотря на все свое западничество, революционное движение интеллигенции было движением более эсхатологическим, чем политическим, сходным по своему духовному радикализму с крайне консервативным движением староверов. «Обе эти группы бунтовщиков, — пишет Зёрнов, — отличаются одинаковой верой в свои убеждения, готовностью жертвовать за них жизнью, бесстрашным протестом против государства... и отрицанием существующих общественных условий во имя идеального порядка».

При всей своей сжатости этот очерк дает очень широкую картину общественного движения в России до начала XX века. Он даже полнее обычных обзоров такого рода. Так, проф. Зёрнов вводит главу о положении церкви накануне революции и о борьбе церковной интеллигенции за церковные

реформы, или, по выражению «Московских ведомостей», за «церковную революцию». Он говорит и о главном противнике церковной реформы — Победоносцеве. Воздавая должное уму и глубокому религиозному чувству прокурора Святейшего Синода, проф. Зёрнов указывает на цинизм его крайнего консерватизма и причисляет его к числу тех, кто, желая спасти Империю, только способствовали ее гибели.

Проф. Зёрнов говорит о религиозном возрождении XX века как об одном из решающих событий в истории русской культуры. Его книга — апология этого возрождения, но ее не назовешь партийной, в том смысле, в каком была партийной и сектантски-нетерпимой почти вся русская публицистика. Увы, большевистские приемы полемики не были изобретены Лениным, и у него не было на них монополии. Бердяев не преувеличивал, говоря, что коллективное общественное мнение русской интеллигенции всегда было деспотическим и в этом смысле большевистским. Духом предвзятости и нетерпимости были проникнуты высказывания даже самых демократических либеральных представителей русской интеллигенции. Так, проф. Милюков в зарубежном юбилейном издании своих «Очерков русской культуры» писал о чуждых ему философских течениях с резкостью и упростительством. Книга же Зёрнова одна из редких русских книг, свободных от этого духа нетерпимости. Это особенно чувствуется в главах, где он рассказывает злосчастную повесть «ордена русской интеллигенции». В его рассказе не найти и следа того родившегося в гражданскую войну озлобления, с каким и до сих пор многие все еще смотрят на прошлое интеллигенции. Эта беззлобность придает книге Зёрнова редкое очарование.

В следующих главах автор говорит о первых проявлениях религиозного обновления в начале века, о Религиозно-философском обществе, о «Вехах». Он приводит обширные выдержки из основных веховских статей. Говоря о негодовании, вызванном «Вехами» среди радикальной интеллигенции, автор отмечает, что в некоторых сборниках, направленных против «Вех», особенно в статьях социал-революционеров, о веховцах говорилось совершенно в тех же грубейших выражениях, в каких через несколько лет о самих эсерах начнет говорить Ленин. Зёрнов приводит также выдержки из статьи Милюкова с призывом к веховцам вернуться в ряды интеллигенции и кончает эту главу цитатой из воспоминаний другого лидера кадетской партии Иосифа Гессена: «Успех “Вех” был ошеломительный... Не было ни одного периодического органа, который не отозвался бы на эту книгу, интеллигенция горячо защищалась, но два сборника, вступивших в бой с “Вехами”, — “В защиту интеллигенции” и “По Вехам” — заметного впечатления не произвели. Меня этот сборник сильно смутил, я впервые почувствовал, что нашему веку действительно приходит конец, что “Вехи” намечают лозунги будущего, постепенно они и становятся теперь господствующими и пользуются защитой науки: естествознание переходит к метафизическому мировоззрению».

Проф. Зёрнов с большой любовью говорит о четырех главных веховцах: Петре Струве, Сергее Булгакове, Николае Бердяеве и Семене Франке. Духов-

ный путь этих выдающихся представителей интеллигенции, пришедших к православию, Зёрнов считает символистичным: «они все начали как марксисты и революционеры, но кончили как убежденные христиане, и все четверо перетерпели за свои религиозные убеждения изгнание. Между тем они вышли из очень разных этнических и культурных слоев, составлявших в XX веке русскую интеллигенцию».

Сходные черты в судьбе этих четырех больших людей, мне кажется, заслонили от внимания Зёрнова, что между ними были и глубокие различия. Придя к православию, Струве и Франк одновременно пришли и к отречению от своей прежней социалистической веры, заменив ее либеральным консерватизмом. Для Бердяева же и Булгакова возвращение к христианству вовсе не значило такого отречения. Они остались верны этическому, христианскому в своем происхождении вдохновению «ордена». Они только очистили его от шелухи «вечно-шестидесятнического» интеллигентского миросозерцания. Вот почему трудно согласиться с Зёрновым, когда он пишет, что в отличие от Струве, сохранившего и после своего религиозного обращения интерес к экономике и политике, Булгаков, вернувшись в церковь, политикой интересоваться перестал. Так ли это? Ведь когда в 30-х годах Бунаков, Федотов и Степун для проповеди социального христианства начали издавать «Новый Град», Булгаков принял в нем близкое участие. В напечатанных в «Новом Граде» статьях «Душа социализма» Булгаков с большой силой и вдохновением призывал христиан искать социальную правду и «заданную их эпохе социальную утопию с ее динамизмом».

Поэтому к Булгакову вполне подходит то общее определение интеллигентов, пришедших к христианству, которое дает в своей книге Зёрнов: «бывшие марксисты, они оставались членами ордена; они по-прежнему были одушевлены ви́дением обновленного человечества и по-прежнему хотели решительно бороться за социальные и экономические улучшения, необходимые для благосостояния всего общества; но теперь они излечились от моральной путаницы; они ясно увидели христианские основания своей социальной программы и могли теперь безоговорочно утверждать священную ценность каждой человеческой личности и необходимость свободы для подлинного прогресса человечества. Они больше не были ослеплены антихристианскими предубеждениями прежних вождей интеллигенции. Они освободились от догматического материализма и самодовольного позитивизма и имели моральное мужество отвергнуть терроризм и обман как недопустимые средства политической борьбы».

Зёрнов рассказывает затем о трагической судьбе большинства этих интеллигентов, вернувшихся в церковь, о созданных ими духовных братствах и о том, как многие из них погибли в первые же годы коммунистической диктатуры, были арестованы, сосланы, расстреляны. Те же, кто оказались в эмиграции, продолжали на чужбине дело примирения «ордена» с православной церковью. В этих главах Зёрнов говорит о некоторых группах, возникших уже за рубежом: «Русском студенческом христианском движении»,

«Православном деле», «Новом Граде» — и о многих замечательных деятелях, принявших участие в этих движениях. С особенной теплотой и глубоким сочувствием Зёрнов рассказывает о Бунакове-Фондаминском, о матери Марии, об отце Дмитрии Клепинине, погибших во время войны мученической смертью в немецких концлагерях.

Попутно Зёрнов говорит и о некоторых возникших в эмиграции политических движениях, хотевших «строить на христианстве», но на самом деле подменявших христианство шатовщиной. Об этих движениях, особенно об евразийстве, он говорит, по-моему, слишком уж нейтрально. В евразийстве участвовало много очень даровитых профессоров, но оно родилось из чувств, в которых было немало болезненного и даже порочного. Этот недостаток душевного здоровья отразился на всех реформаторских замыслах евразийцев и на всей судьбе их движения. С его «бытовым исповедничеством», «идеократией» и отречением от демократического Запада, с его культом Чингисхана и Грозного — евразийство в сущности было русской вариацией вырождения романтизма в тоталитаризм.

Одна из самых интересных и важных глав в книге — это глава об участии русских зарубежных деятелей в экуменическом движении. Сам Зёрнов принимал и принимает в этом движении деятельное участие. Это дело всей его жизни. Раскол христианства на западное и восточное — без сомнения, одно из самых трагических событий в истории христианства. Можно гордиться, что в осознании необходимости возобновления диалога между западными и восточными христианами русские религиозные деятели сыграли очень важную роль. В эмиграции, кроме людей, близких к Сергиевскому подворью и Русскому студенческому христианскому движению, мало кто об этом знал. Волнующее впечатление производит рассказ Зёрнова, как отец Сергий Булгаков выдвинул идею, что сближение надо начинать с молитвенного общения перед алтарем, а не с богословских споров. Эта идея подмены спора о догматах совместным действием, возможно, окажется в будущем одной из самых плодотворных идей для обхода тупиков не только религиозных, но и всяких других догматических противоречий.

В главе «Премудрость Божия» Зёрнов дает очерк русского религиозного сознания, сложившегося, по его мнению, под сильным влиянием софианского богословия. Так же, как и в главе «Встреча с христианским Западом», в центре этой главы — отец Сергий Булгаков. Книга Зёрнова поможет иностранному читателю открыть этого замечательного религиозного мыслителя, в отличие от Бердяева, по-настоящему еще не открытого даже русскими читателями.

Свой рассказ о членах «ордена», пришедших к христианству, Зёрнов кончает такими словами: «Их идеи в настоящее время неизвестны в коммунистической России; их голос не слышен народу, верными сынами которого они были. Но придет время, когда эти представители интеллигенции смогут, хотя бы посмертно, обратиться к своему народу и получат признание, которое они заслужили своими талантами, трудами и жертвами».

Это последние слова в книге. Хочется верить, что они сбудутся.

«Что бы ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев, — мы ищем и видим только душу самого художника». Эти слова Толстого приложимы, конечно, и к историческим, и к публицистическим книгам. Чем дольше живешь и чем больше думаешь над прочитанным, тем больше в этом убеждаешься. В этом смысле отзыв на книгу Зёрнова дается без всякой внутренней борьбы. Читая ее, несомненно чувствуешь — это книга светлой ауры, написанная не для разжигания вражды, а для увеличения добра в мире. Пожелаем же ей счастливой судьбы.

## «ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ».
*Альманах 4, Нью-Йорк, 1965*

«В известном смысле историю русской литературы можно назвать историей уничтожения русских писателей». С наибольшим основанием эти слова Ходасевича можно поставить эпиграфом к истории советского периода русской литературы. Редактор-издатель «Воздушных путей» Р. Гринберг собирает и публикует из номера в номер свидетельства об этом все продолжающемся уничтожении. Это большая заслуга. В последнем, четвертом номере альманаха таких трагических свидетельств несколько: «Листки из дневника» Ахматовой, записки Елены Тагер, отчет о суде над поэтом Бродским. Редакция отмечает, что листки из дневника Ахматовой печатаются без ведома автора. Из воспоминаний Ахматовой особенно волнует рассказ об аресте Мандельштама:

«Его увели в 7 утра. Было совсем светло... Приговор — три года Чердыни, где Осип выбросился из окна больницы, потому что ему казалось, что за ним пришли, и сломал себе руку. Надя послала телеграмму в ЦК. Сталин велел пересмотреть дело и позволил выбрать другое место, потом звонил Пастернаку. Все связанное с этим звонком требует особого рассмотрения. Об этом пишут обе вдовы, и Надя и Зина, и существует бесконечный фольклор. Какая-то Триолешка даже осмелилась написать (конечно, в пастернаковские дни), что Борис погубил Осипа. Мы с Надей считаем, что Пастернак вел себя на крепкую четверку».

Все в этой записи чрезвычайно важно, вплоть до презрительных слов «какая-то Триолешка». (Это — о «прославленной» французской писательнице-коммунистке Эльзе Триоле, жене Луи Арагона.)

В феврале 1936 года Ахматова ездила к Мандельштаму в Воронеж. Вернувшись, она пишет стихотворение, конец которого приводит в своем дневнике.

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и муза в свой черед
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

О судьбе Мандельштама рассказывает и Е.М. Тагер, скончавшаяся летом 1964 года в поселке Комарово, под Ленинградом. Елена Тагер сама прошла через концлагеря, тюрьмы и ссылку. В своих записках она приводит слова из письма человека, встретившего очевидцев смерти Мандельштама: «Я говорил с товарищами, бывшими при нем до конца, говорил с врачами, закрывшими ему глаза. Он умер от нервного истощения, на транзитном лагпункте под Владивостоком. Рассудок его был помрачен. Ему казалось, что его отравляют, и он боялся брать пайку казенного хлеба. Случалось, что он съедал чужую пайку (чужой хлеб — не отравлен), и вы сами понимаете, как на это реагировали блатари. До последней минуты он слагал стихи: и в бараке, и в поле, и у костра он повторял свои гневные ямбы. Они осталась незаписанными, — он умер».

В четвертом номере «Воздушных путей» напечатан еще один страшный документ. Это стенографический отчет суда над поэтом Иосифом Бродским. Отчет этот был уже напечатан по-английски и по-французски, но в русском подлиннике он появляется впервые. Это один из самых потрясающих вариантов вечной темы «поэт и чернь». Читая отчет, испытываешь гнетущее впечатление, будто ты перенесся в залу ленинградского суда. С первых же слов женщины-судьи ясно, что приговор предрешен и что это вовсе не суд, а только загримированная под суд административная расправа. Ничего не изменилось, это прежняя сталинская Совдепия. Но при ответах подсудимого и показаниях свидетелей со стороны защиты впечатление меняется. При Сталине никто так не говорил. И самому Бродскому и выступившим на его защиту Грудининой, Эткинду и Адмони хочется с благодарностью пожать руки. В советской ночи, «которая не ведает рассвета», они сумели сохранить человеческое достоинство и нашли в себе мужество защищать поэта, говоря правду.

Очень интересны и многое приоткрывают о сегодняшней советской жизни записи разговоров в зале суда:

«— Писатели! Вывести бы их всех!

— Интеллигенты! Навязались на нашу шею!

— А интеллигенция что? Не работает? Она тоже работает.

— А ты — что? Не видел, как она работает? Чужим трудом пользуется!

— Я тоже заведу подстрочник и стану стихи переводить!

— А вы знаете, что такое подстрочник? Вы знаете, как поэт работает с подстрочником?

— Подумаешь — делов».

Эти разговоры неожиданно возвращают нас к 1917 году, хотя прошло уже почти полвека.

В альманахе напечатан не только отчет о суде над Бродским, но и несколько его стихотворений. Необыкновенные и трагические стихи, которые свидетельствуют, что Бродского не обманывала вера в свое призвание поэта, когда он заявил на суде: «Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден... я верю, что то, что я написал, сослужит людям службу, и не только сейчас, но и будущим поколениям».

В этом номере «Воздушных путей» много стихов: наброски к «Поэме о ближнем» Пастернака, стихи Мандельштама, Елены Тагер, Михаила Русалкина (псевдоним молодого советского поэта). Из эмигрантских поэтов: Иван Елагин, Игорь Чиннов и несколько стихотворений из черновиков Ходасевича. Елагин и Чиннов — представители двух противоположных течений в зарубежной русской поэзии. У каждого из них свои усердные сторонники. Но читатель с одинаковой радостью прочтет стихи обоих этих поэтов, продолжающих расти и совершенствовать стихотворное выражение своего чувства жизни и мира.

В отделе воспоминаний — продолжение дневника Галины Кузнецовой. Это не только документально-важный, но и художественный, с живыми зарисовками людей и природы, рассказ о поездке с Буниными в Стокгольм. Интересны и воспоминания Самуила Вермеля о Мейерхольде. Затем — отдел «На философские темы». Неизданный отрывок Льва Шестова «Итоги и комментарии» начинается словами: «Перевалило за 70 лет». Какие же итоги? Все то же утверждение, к которому Шестов неизменно возвращается в конце всех своих вдохновенных и трагических размышлений: «В плодах дерева познания смерть и яд». Для Шестова рациональное познание — грехопадение. Юлий Марголин в статье «К диалектике мифологического мышления», наоборот, все надежды возлагает на разум. Лично я думаю, что и Шестов, с его отрицанием плодов от древа познания, и Марголин, с его позитивизмом, одинаково неправы. Мысль, которая рождается в наше время, стремится к синтезу всех измерений, всех форм человеческого опыта, к тому «мирному сосуществованию» научного знания и паралогических элементов, определяющих самые важные жизненные решения, о котором говорит Гейзенберг.

За статьей Марголина следует чрезвычайно интересная статья Артура Лурье «Феномен и ноумен в музыке». Лурье говорит о поэзии и музыке. Но многие его мысли приложимы и к другим искусствам, ко всякому творческому действию. На близкую тему — большая статья Владимира Вейдле «О любви к стихам». Вейдле не только размышляет о стихах, поэзии и ритме, но и рассказывает о своих собственных попытках писать стихи. С предисловием — «Считайте, что это не стихи. Это любовь к стихам» — он даже прилагает к статье три недавно им написанных стихотворения. Мне особенно понравилось второе, «Открытка с Аппиевой дороги», проникнутое грустным и вместе с тем примиренным чувством движения «реки времен».

К статье Вейдле примыкает короткая, но интересная заметка Юрия Иваска «Парадоксы звукозаписи». Иваск говорит о самом, может быть, таинственном явлении в поэзии: «...благодаря звучанию всё приобретает какой-то новый, дополнительный — магический смысл, не уничтожающий, однако, буквального или первоначального смысла поэтической речи».

Статья Николая Ульянова «Шестая печать», написанная с обычным для него блеском метафор, вызвала во мне очень разные чувства. По содержанию она разделилась для меня на три части. Начну с той, с которой до конца согласен: это редкая в эмигрантской литературе вдохновенная апология

современной научно-технической революции. «Изобретательство свято, — пишет Ульянов, — как свята наука. Оно ничего не создает, но открывает то, что было в предвечном замысле вселенной — давящую силу пара, существовавшую до Уатта, электричество, бывшее до Гальвани и Вольты. Разве это не один из путей познания Бога? “Расколите кусок дерева, Я там; подымите камень, и вы найдете Меня там”. Хула на технику — хула на Бога».

Эту часть статьи Ульянова я полностью принимаю. Но эта апология науки и машины соединяется у Ульянова с пророчеством неизбежной гибели человечества. Уже у поэтов, философов и художников Возрождения энтузиазм при мысли о победах изобретательского человеческого гения часто сменялся апокалиптическими видениями всемирного истребления и разрушения. Но если людям Возрождения мерещились стихийные бедствия: потоп, трус, мор, то Ульянов предрекает, что человечество погубит себя само, воспользовавшись небывалым могуществом, данным ему наукой и техникой, не для того, чтобы превратить землю в «цветущий сад», а для того, чтобы себя уничтожить. Напоминая о самоубийствах древних цивилизаций, Ульянов пишет: «Земля, как неспособный студент, много раз проваливалась на экзаменах. Теперешний ее экзамен — последний. Он означает: быть или не быть. Он еще не кончен, но исход виден ясно. Будет ли он означать гибель культуры или физическую гибель — не всё ли равно? Культура XX века не может погибнуть без невиданного уничтожения людей».

С этим пессимизмом не хочется соглашаться. История жизни на земле не дает основания для такой уверенности в неизбежности плохого конца. Человечество прошло уже через многие трудные испытания и смертельные опасности. Современный кризис, если только он будет правильно понят, приведет, быть может, вовсе не к гибели, а, наоборот, к новому этапу восходящей эволюции человечества, к предсказанному Тейяром де Шарденом росту «сферы духа», к полному изменению того психологического климата, в котором до сих пор совершалась история. Но если человечество хочет продолжать жить и идти вперед, то необходимые для этого духовные силы оно сможет найти, конечно, не в тех расистских страхах, о которых Ульянов говорит в начале своей статьи. Перечисляя признаки грядущей гибели мира, он пишет, например: «Не далек день, когда наших женщин начнут линчевать за отказ выходить замуж за негров», и приводит слова Сергея Соловьева: «...или негры нас обновят? Так их хотя от легального рабства можно было освободить, но переменить их тупые головы так же невозможно, как отмыть их черноту».

В этом упрощенном подходе к трагическому и грозному вопросу расовых отношений главный порок статьи Ульянова. Он праведно скорбит, что «величие материальной силы не противопоставлено такому же величию духа и интеллекта», но в то же время повторяет слова, похожие на цитаты из брошюр ку-клукс-клана или недоброй памяти нацистского учения об унтерменшах. Ульянов как будто не замечает, что расизм несовместим с тем основным утверждением «нет ни эллина, ни иудея», из которого выросла вся европейская цивилизация, которую он хочет отстоять.

В четвертом номере «Воздушных путей» есть еще несколько литературоведческих статей. Из них две, о Клюеве Бориса Филиппова и о Блоке покойного Федора Степуна, затрагивают широкие историософские темы, и каждая из них потребовала бы отдельного обсуждения, особенно статья Степуна. При всей своей любви к Блоку Степун сумел избежать обычного для поклонников Блока апологетического ослепления. Это придает его работе большую историческую ценность.

### Jules Roy. LE VOYAGE EN CHINE.
*Ed. Julliard. Paris, 1965*

В последние годы во Франции вышло много книг о коммунистическом Китае. Многие видные представители левой французской интеллигенции ездили в коммунистический Китай и, вернувшись, писали восторженные репортажи о достижениях китайских коммунистов под мудрым руководством Мао Цзэ-дуна. Но вот недавно во Франции вышла книга о коммунистическом Китае, автор которой не захотел присоединиться к этому восторженному хору. Это — известный писатель и известный военный летчик Жюль Руа.

«Путешествие в Китай» — не первая книга Жюля Руа. Близкий друг и ученик знаменитого французского писателя и военного летчика Сент-Экзюпери, Жюль Руа после войны опубликовал романы, пьесы, сборники поэм. Но широкую литературную известность ему принесли, главным образом, его репортажи, особенно две книги: «Война в Алжире» и «Битва под Дьен Бьен Фу». Эти книги проникнуты глубоким сочувствием к борьбе алжирцев и вьетнамцев за свое национальное освобождение; они сделали Жюля Руа героем левой французской интеллигенции. Тем неожиданнее и тем сильнее впечатление, произведенное его книгой о красном Китае.

Подобно другим левым французским писателям, Жюль Руа ехал в коммунистический Китай, полный восхищения перед китайской революцией. Но, в отличие от других авторов, он вернулся в крайне подавленном душевном состоянии. На вопрос журналистов, — был ли он удивлен, когда была взорвана первая китайская атомная бомба, — Жюль Руа отвечал: «Нисколько. Я давно этого ждал. Очень скоро был произведен второй взрыв. Других не придется долго ждать. Когда семьсот пятьдесят миллионов человек, — а в восьмидесятом году их будет уже миллиард, — действуют втайне и обманно, можно бояться самого худшего».

По возвращении Жюля Руа во Францию и после опубликования им книги своих впечатлений от Китая коммунистический еженедельник «Летр Франсэз» напечатал очень интересную беседу с Жюлем Руа. На вопрос: «Что больше всего поражает современного путешественника в Пекине?» — Жюль Руа ответил: «Прежде всего, вы чувствуете себя потерянным. Если вы отобьетесь от вашего переводчика, — вы обречены на самые неприятные недоразумения. Нет страны в мире, где я чувствовал бы себя так одиноко.

Непроницаемые лица, непроницаемые взгляды окружающих; в поезде полицейский постоянно заглядывает в купе. Все это порождает чувство, что вы попали в мир, похожий на удушливый мир Кафки. Я очень хотел побывать в китайских деревнях, поговорить с простыми людьми, пожить их жизнью; увидеть, как они живут, понять, что они думает. Но это было невозможно. Ни с одним человеком я не мог говорить с глазу на глаз. Я не мог получить ответа ни на один мой вопрос. Тем не менее маршал Чень Йи имел наглость сказать мне: «Вы можете удостовериться, что вы находитесь в самой свободной стране мира». Если коммунистический Китай — свободная страна, то это значит, что под свободой там понимается что-то другое, чем на Западе, и когда там говорят, что в Пекине борются за свободу, то, наверное, это совсем не та свобода, за которую боремся мы.

Репортер спросил Жюля Руа: «А что вы думаете о национализме в коммунистическом Китае?» Жюль Руа ответил: «Я думаю, что это — главное, что принесла китайская революция. Для того чтобы революция восторжествовала, нужно было уничтожить ошибки прежнего общества. Но одновременно в человеке было раздавлено всё, кроме великой гордыни и желания отомстить за унижения, которые Китай, особенно в XVIII и XIX веках, терпел от Запада. Раны, нанесенные тогда национальной гордости китайцев, не зарубцевались и до сих пор. Я ни разу не почувствовал хотя бы намека на прощение Западу. Я думаю, нам долго придется расплачиваться за ошибки отцов. Но вместе с этим продолжает существовать и прежний Китай — я хочу этим сказать, что китайцы по-прежнему способны плакать при виде персикового дерева в цвету или видя, как ветер клонит тростник на берегу озера. Вот почему я думаю, что если теперешний режим изменится, то изменится и китайский народ, как он много раз менялся в течение веков.

Дальше репортер спросил Жюля Руа о его интервью с военным министром, знаменитым маршалом Чень Йи.

— Никаких интервью в Китае не бывает, — ответил Жюль Руа. — Вы составляете список лиц, с которыми вы хотели бы встретиться. Вам не отвечают. Вы составляете список вопросов, которые вы хотели бы задать. Вам отвечают, что эти вопросы не подходят и что лучше было бы задать другие. Когда же вы имеете дело с таким человеком, как маршал Чень Йи, вам вообще не удается задать ни одного вопроса. Он говорит безостановочно. Он — замечательный актер, один из самых замечательных актеров в коммунистическом Китае».

— Что же больше всего вас поразило в словах Чень Йи?

— Его безмерная гордость и его вера в пресловутую «справедливую войну», — ответил Жюль Руа. — Его ничто не пугает, даже смерть сотен миллионов китайцев! Я должен сказать, что я был восхищен большим умом маршала Чень Йи, его необыкновенной изворотливостью и силой.

— Критикует ли китайский народ свое коммунистическое правительство? — спросил репортер.

— Нет. В коммунистическом Китае никто не осуждает своих правителей. Благодарность китайцев Мао очень велика. Мао вывел Китай из анархии.

Мао и коммунистическая партия вернули Китаю его национальное достоинство. Даже те, кто настроен оппозиционно (я встречал таких в Шанхае и за пределами коммунистического Китая), даже эти оппозиционно настроенные китайцы чувствуют благодарность к Мао.

— Как относится к режиму студенческая и рабочая молодежь? Нет ли среди молодежи пацифистов, противников атомной войны? — спросил репортер.

— Нет, таких я не видел. Начиная с пятилетнего возраста, дети воспитываются партией. Они присутствуют по вечерам на собраниях. С восемнадцати лет молодежь получает военную подготовку в милиции, которая насчитывает от двадцати до тридцати миллионов человек. В милицию не принимают только тех молодых людей, которые считаются морально опустившимися.

— Боятся ли китайцы войны? — спросил репортер.

— В коммунистическом Китае никто не боится войны. Это именно то, что меня ужаснуло. Там во всех кругах уверены, что скоро коммунистический Китай будет в состоянии сбрасывать атомные бомбы на США, и поэтому США никогда не осмелятся напасть на коммунистический Китай. По-моему, во всем этом — много блефа, но есть и доля правды. Ядерное вооружение коммунистического Китая ушло гораздо дальше, чем это обычно предполагается. Этого вооружения мне, конечно, не показывали, но потихоньку я кое-что видел.

— В чем, по-вашему, главная сила сегодняшнего коммунистического Китая? — спросил репортер.

— В китайской коммунистической молодежи, в ее вере, в ее идеализме. Старые китайцы подчас поглядывают на молодежь скептически. Но они молчат — они слишком хорошо помнят свою собственную нищенскую молодость, чтобы противопоставлять ее тому, что происходит теперь.

— А в чем, по-вашему, главная слабость коммунистического Китая?

— В цели превращения коммунистического Китая в сверхмогущественное государство, — ответил Жюль Руа. — Я повсюду видел усталых, дошедших до полного изнеможения людей. Из чувства гордости они продолжают работать сверх сил, но система не может бесконечно требовать от людей таких чрезмерных усилий. Вот почему не исключена возможность, что в один прекрасный день — если произойдет, например, какое-нибудь непредвиденное событие — все затрещит.

Мы привели из еженедельника «Летр Франсэз» интервью с известным писателем Жюлем Руа, автором книги «Путешествие в Китай». Дадим еще некоторые выдержки из заключительной главы этой книги. Жюль Руа пишет:

«Старый Китай — страна любезного скептицизма и терпимости — стала страной новой, марксистско-ленинской веры. Во имя этой веры никто в новом, коммунистическом Китае не поколеблется пойти на так называемую справедливую войну, о которой Мао Цзэ-дун мечтает со времени своего прихода к власти. Никто не боится такой войны. Детей готовят к ней, как только

они начинают учить азбуку. Десятки миллионов молодых людей и девушек проходят военную подготовку в милиции. Когда-то сделать из китайца солдата было очень трудно. Теперь все они — солдаты, готовые умереть за свое отечество, готовые на любые жертвы и испытания. Они больше не боятся умереть за тысячи километров от своих деревень. Марксизм-ленинизм без остатка разрушил культ предков и традиции, требовавшие, чтобы сыновья не умирали раньше своих отцов. ...В восьмидесятом году китайцев будет миллиард; в двухтысячном году — два миллиарда. Будет ли население на двести или триста миллионов больше или меньше, в коммунистическом Китае этому никто не придает значения. Час пришел: эта человеческая лавина угрожает затопить Сибирь и никакие препятствия ее не остановят».

«Я приехал в коммунистический Китай, — пишет Жюль Руа, — с душой, полной любви и восхищения. Я уехал из коммунистического Китая с душой, полной горечи и страха. Не моя вина, что мне показывали только музеи, парки, деревни и улицы, которые для моего приезда были подметены, как двор казармы. У меня до сих пор перед глазами картина, как в Чункинге председатель коммуны, ехавший впереди нашего каравана автомашин, грубо столкнул с дороги старого оборванного крестьянина... Китайские правители наивно ждали от меня, что я увижу в коммунистическом Китае страну героев, горнило, в котором всё — легенды, эпопея и кровь — превращаются в чистое золото. Они не понимали, почему я своими глазами хочу видеть, как это золото добывается. Они ждали, что я буду повторять за другими французскими писателями, побывавшими в коммунистическом Китае, что ветер, поднявшийся в коммунистическом Китае, преобразит весь мир и мы должны принять китайский народный империализм и подготовить наши маленькие европейские провинции к покорной встрече китайских бронированных дивизий.

Нет, я с этим не согласен. Мое сердце полно любви к семистам миллионам китайцев, но я отказываюсь верить лжи их правителей. Я отказываюсь участвовать в культе нового императора Мао Цзэ-дуна. Это — не моя религия».

Книга Жюля Руа «Путешествие в Китай» представляет собой документ исключительной ценности.

Мария Васильева

# РОМАН «ОЖИДАНИЕ» КАК ДОКУМЕНТ

Через год после выхода романа «Ожидание» в свет Владимир Варшавский запишет в дневнике: «Жизнь опять остановилась: опять заботы и страхи, опять уныние, опять не могу решиться начать писать. <...> Ведь самое трудное начать: потом начнется радость усовершенствования, или как у Толстого “снимания покровов”, открытие, непосредственное видение и воссоздание реальности, воссоздание, которое не может погибнуть»[1]. Этой записью, сделанной 19 мая 1973 г., — последовательно зафиксировав этапы творческого процесса, писатель вывел общий знаменатель своего художественного метода.

Становление прозы Варшавского проходило на фоне многолетней полемики в эмигрантской межвоенной печати о назначении литературы. Программным в этой дискуссии стал доклад Г.В. Адамовича «Конец литературы», сделанный на заседании общества «Зеленая лампа» (3 марта 1929 г.), в том же докладе он призывал обратиться к «человеческому документу». Молодых парижан, прислушавшихся к этому призыву, оппоненты обвиняли в нарочитом антиэстетизме, стилистической небрежности, косноязычии, творческой деградации[2]. Очевидно, что идея при всей декларативной простоте была крайне сложна для освоения и в то же время необычайно привлекательна, в итоге «молодежь шла за Адамовичем, зачарованная им»[3]. Сам литературный критик формулировал задачу предельно ясно: читатель должен чувствовать, «что перед ним не обычное “печатное слово”, а нечто вроде исповеди или дневника»[4]. На склоне лет, возвращаясь в своих воспоминаниях к метафи-

---

[1] *Варшавский В.* Ионафан [дневник] // ДРЗ. Ф. 54.

[2] О полемике см.: *Слоним М.* Литературный дневник: Гибель литературы. От эстетизма к художественной значительности // Воля России. 1929. № 3. С. 53–63; *Ходасевич Вл.* Книги и люди. «Рассветы» // Возрождение. 1937. 11 июня. № 4082. С. 9; *Терапиано Ю.* Об одной литературной войне // Мосты. 1966. № 12. С. 363–375; *Струве Г.* Русская литература в изгнании. Краткий биографический словарь русского зарубежья. Париж: YMCA-Press; М.: Русский путь, 1996. С. 152–154; Полемика Г.В. Адамовича и В.Ф. Ходасевича (1927–1937) / вступ. ст. О.А. Коростелева; публ. и коммент. С.Р. Федякина // Российский литературоведческий журнал. 1994. № 4. С. 204–250; *Яковлева Н.* «Человеческий документ»: история одного понятия. Helsinki: Helsinki University Print, 2012.

[3] *Федотов Г.* О парижской поэзии // Ковчег: Сборник зарубежной русской литературы. Нью-Йорк, 1942. № 1. С. 193.

[4] *Адамович Г.* Человеческий документ // Последние новости. 1933. 9 марта. № 4369. С. 3.

зической ауре межвоенного Парижа и к литературной атмосфере, созданной Адамовичем («Парижская нота»), Владимир Варшавский почти дословно повторит слова мэтра: «...недоверие ко всему, кроме прямой исповеди и человеческого документа, убеждение, что исследование скрытых душевных движений важнее описаний воображаемых приключений воображаемых героев, вплоть до идеи белой страницы» — вот, по его мнению, главные опорные точки творчества молодых эмигрантов-парижан[5].

В историю русской словесности Владимир Варшавский вошел как ярчайший представитель литературы человеческого документа. Отличительные черты его прозы: простота художественной ткани, максимальная непредвзятость в описании событий и людей, выразительный аскетизм. В целом как художник он идеально отвечал лапидарной формуле Адамовича: «Искусство тем чище, чем беднее на вид»[6]. Однако в случае с Варшавским мы имеем дело с глубоко личным, индивидуальным становлением авторского почерка, — не столько писатель следовал требованиям «Парижской ноты», сколько сама «нота» совпала с его мировоззрением. Феноменальную точность и документальность его произведений вряд ли можно объяснить ученическим буквализмом или болезненной неспособностью к вымыслу. Документ у Варшавского играет решающую роль в сложном философском поиске, которым прошит насквозь его итоговый автобиографический роман. «Ожидание» вобрало в себя практически всю художественную прозу, которую писатель публиковал в виде отрывков на протяжении многих лет, нанизывая сюжеты на неизменный остов — историю своей жизни. С точки зрения о. Александра Шмемана (друга, коллеги по работе и просто заинтересованного читателя), именно «Ожидание» стало самым значимым событием в творчестве Варшавского[7]. Сам же автор в письме к матери признавался: «Не знаю, что из всего этого выйдет, но эта книга помогает мне думать, помогает мне увидеть яснее, что на самом деле думает моя душа, помогает мне стать самим собой»[8]. И в дневниковой записи («воссоздание реальности»), и в письме к матери («стать самим собой») — ключ к пониманию проблемы: почему поэтика и метафизика человеческого документа стали для писателя принципиальным выбором.

Для Варшавского «стать самим собой» было одним из главных этических заданий. Его участие во Второй мировой войне на стороне французской армии и его литературное творчество — это две стороны одной медали, желание не только проявить себя в реальности (трудный путь эмигранта), но и запечатлеть окончательно реальность в слове. Таким образом, писательство становится одной из форм преодоления «исчезновения всего, несуществова-

---

[5] *Варшавский В.* Монпарнасские разговоры // Русская мысль. 1977. 21 апр. № 3158. С. 13. См. также: Наст. изд. С. 454.

[6] *Адамович Г.* Литературные заметки // Звено. 1924. 1 сент. № 83. С. 2.

[7] Об этом: *Шмеман А., прот.* Ожидание. Памяти Владимира Сергеевича Варшавского // Континент. 1978. № 18. С. 261–277. См. также: Наст. изд. С. 732–742.

[8] В.С. Варшавский — О.П. Норовой. Б.д. [По содержанию — конец 1960-х гг.] // ДРЗ. Ф. 54.

ния». Нет нужды говорить, что для *молодого эмигрантского человека* «исчезновение всего» стало первичным опытом. Его прошел и автор «Ожидания». Он по-разному называет поразивший его недуг: «чувство остановки жизни», «ужас перед миром», «страх уничтожения». Социальные истоки этой «родовой травмы» в романе прописаны явственно. В то же время главный герой романа — не только типичный русский эмигрант, оказавшийся, как и тысячи изгнанников, «ни в каком мире и ни в каком месте»[9]; это конкретный Владимир Гуськов, alter ego самого писателя, который, как и Варшавский, теряет в водовороте исторических катастроф сперва брата, потом отца, становится свидетелем бессчетного числа человеческих «исчезновений» на войне и в немецком лагере для военнопленных. В сущности, весь роман — это вызов небытию, идет ли речь о преодолении эмигрантского страха жизни или о преодолении онтологического страха смерти. Именно поэтому не вымысел, а документ служит здесь важнейшей точкой опоры, так как для Варшавского литература, *текст* — это «воссоздание реальности, воссоздание, которое не может погибнуть».

Подкупающая простота слога и доверительная интонация прозы Варшавского быстро нашли отклик у читателя. На выход в свет его первых послевоенных литературных опытов спонтанно отреагировал Георгий Федотов: «...недавно я прочитал два Ваших рассказа, или очерка, в “Новоселье” и “Новом журнале” и захотелось написать Вам. Прежде всего, чтобы сказать Вам, что они мне очень понравились, особенно в “Новом журнале”. Большая правдивость и объективность, даже какая-то прозрачность. Я думаю, что это должно было бы понравиться Толстому за абсолютную честность»[10]. Близость к Толстому и «большая правдивость» («абсолютная честность») — два положения, которые в немалой степени задают вектор эмигрантской критики о творчестве Варшавского. Так, Георгий Адамович замечал: «Вл. Варшавский, писатель-тяжелодум, всегда искренний, всегда серьезный, с чисто толстовским влечением к “единому на потребу” и безошибочной проницательностью упорного, пристального взгляда»[11], ему вторил Александр Бахрах: «Варшавский — писатель медлительный, вдумчивый; вероятно, среди всего “молодого” поколения самый медлительный, наиболее взвешивающий слова и наименее способный фантазировать. Неприкрашенностью деталей его манера писать порой способна отталкивать, но, читая его “Командо”, ощущаешь, почти с физической болью, что все это так и было, и <ни> на минуту не задумываешься над правдой его слов»[12]. Эпитет «честный писа-

[9] *Варшавский В.* Несколько рассуждений об Андрэ Жиде и эмигрантском молодом человеке // Числа. 1930/31. № 4. С. 221. См. также: Наст. изд. С. 339.

[10] Г.П. Федотов — В.С. Варшавскому. 16 января 1947 г. // ДРЗ. Ф. 54. Имеются в виду рассказы «Первый бой» (Новый журнал. 1946. № 14. С. 114–119), «Младший лейтенант Данилов» (Новоселье. 1946. № 24/25. С. 23–35) или «Прогулка в город. (Рассказ военнопленного)» (Новоселье. 1946. № 29/30. С. 11–32).

[11] *Адамович Г.В.* Привет «Новоселью» // Русские новости. 1947. 18 июля. № 111. С. 6.

[12] *А. Б<ахрах>.* Новоселье № 35–36 // Русские новости. 1947. 1 авг. № 113. С. 4.

тель» закрепился за Варшавским еще задолго до войны. Так, бывший друг по Монпарнасу Василий Яновский через много лет вспоминал не без иронии: «...Варшавский, заслуживший репутацию “честного” писателя, по требованию Иванова пишет ругательную статью о Сирине (Набокове) в “Числах”. (“И зачем я это сделал? — наивно сокрушался он двадцать лет спустя, в беседе со мною. — Не понимаю”.)»[13]. Несмотря на двойственность роли Варшавского в этой затеянной Ивановым антинабоковской игре, стоит заметить, что не случайность ставки Иванова на оппозицию Набоков/Варшавский — отдельный и достойный особого внимания сюжет в истории литературы русского зарубежья, к которому мы еще вернемся.

Насколько, действительно, *честным* был писатель Варшавский, можно судить как раз по документальным источникам. Правдивость проявляет себя в многочисленных деталях, неукоснительно фиксируя в романе *реальность*: адреса, пунктуально воссоздающие навигацию гимназиста Варшавского/Гуськова по дореволюционной Москве; название миноносца, пришвартовавшегося в Севастополе, где оказалась семья во время бегства от большевиков перед самой эмиграцией; описание русской гимназии в Моравской Тршебове, полностью совпадающее с фотографиями и хроникой тех лет; описание немецкого лагеря для военнопленных Stalag II-B с точным числом умирающих от тифа русских пленных; доподлинно воспроизведенные документы, выданные главному герою красноармейцами после освобождения из плена... Все эти данные прочно вписаны в роман и одновременно находят подтверждение в различных первоисточниках. Иногда сопоставление текста с документом наглядно демонстрирует почти магическое «прорастание» *реальности* в текст. Вот описание похорон брата: «Маленькие пожелтевшие фотографии. Гроб, заваленный венками, на лентах надписи: “Дорогому Юрочке от 8-го класса” и еще каких-то классов, не разобрать». Парадокс в том, что очевидец этого трагического события в художественной автобиографии опирается прежде всего на фотодокумент, не потому что не доверяет памяти, а потому что именно в документе — вся драма реальности, вся неотменяемость события. Перед нами семейный фотоальбом Варшавского, хранящийся в фонде писателя (ДРЗ. Ф. 54), в нем мы и находим описанные в романе фотоснимки. Создается впечатление, что страница с фотографиями словно «вшивается» в произведение, преобразовывается в художественный текст и становится частью нарратива. Первоисточники объясняют даже «зашифрованные» сюжеты романа. Так, в «Ожидании» главный герой и его старший брат перекидываются словами, смысл которых затемнен для читателя. Но вот перед нами письмо Юрия Иваска к вдове писателя Татьяне Георгиевне Варшавской с воспоминаниями о детстве, старой Москве и братьях Варшавских: «Я однажды был у них с “визитом”. Они много говорили, но я плохо понимал их условный язык. Оба мне нравились, и я как-то не отличал одного от другого. Мною они не

[13] *Яновский В.* С. 120.

заинтересовались»[14], — из этого письма выходит, что Юра и Володя общались на каком-то своем детском «эсперанто», понятном только им двоим. В «Ожидании» эта биографическая деталь так и остается «тайной» между братьями, но документ (письмо Иваска), отложившийся в архиве, и здесь служит подспорьем и окончательно проясняет и «воссоздает реальность».

Очевидно, что в дискурсе литературы человеческого документа проза Варшавского занимает особое место. Казалось бы, трудно найти в русском зарубежье писателя, который так буквально поймет и воплотит этот формат в своем творчестве. Здесь и встает вопрос: когда «человеческий документ» становится литературным фактом, а когда, напротив, нивелирует художественный текст (суть спора между Г.В. Адамовичем и В.Ф. Ходасевичем)? Для идейного вдохновителя новой поэтики Георгия Адамовича все было далеко не однозначно. Известен, например, его вердикт в адрес прозы Виктора Шкловского: «Дурная литература. Но... перворазрядный человеческий документ»[15]. В случае же с Варшавским литературный критик был однозначно на его стороне.

Насколько удалось Варшавскому создать оригинальный художественный текст, можно судить по оценке другого современника, оказавшегося «над схваткой», композитора Артура Лурье. «В 65-м томе ["Нового журнала"] я прочел отрывок Вашей повести "Мечтание", — писал он автору 8 февраля 1962 г. — Она мне очень понравилась, чем-то пронзила, б.м. своей особенной какой-то печалью и неподдельной искренностью. Не знаю, но я почувствовал что-то *за* этими строчками, волнующее, и мне захотелось сказать Вам об этом. В наше время общего отупения нельзя не откликнуться, если становишься свидетелем чего-то подлинно человеческого. Мне кажется, что это лучшая вещь во всем номере. Вот то, что я хотел Вам сказать. Застенчивая у Вас душа, и если бы не мой "слух", то мог бы я пройти и ничего не заметив, до того скромно все у Вас сказано»[16]. В этом суждении крайне важен акцент на композиторский *слух,* распознавший в скромном пиано прозы Варшавского неподдельную ноту.

Принципиальный же сторонник новой поэтики Георгий Адамович литературному опыту писателя придавал особое значение. Показательно письмо Адамовича к И.В. Чиннову: «...Варшавский меня всегда трогает своим простодушием, беспомощностью и отсутствием всякой лжи. Набоков в сто раз даровитее, но его нельзя читать после Варшавского, "воняет литературой" с первой фразы»[17]. Оппозицию Набоков/Варшавский так же четко постулировал и о. Александр Шмеман. Прочитав рукопись «Ожидания», он писал ав-

[14] Ю.П. Иваск — Т.Г. Варшавской. 6–7 октября 1978 г. // ДРЗ. Ф. 54.

[15] *Адамович Г.* <«Северное сердце» Ант. Ладинского; «Поиски оптимизма» В. Шкловского> // Последние новости. 1932. 12 мая. № 4068. С. 2.

[16] ДРЗ. Ф. 54.

[17] Г.В. Адамович — И.В. Чиннову. 12 мая 1954 г. // «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»: Русский путь, 2008. С. 25.

тору: «Дорогой Владимир Сергеевич, публикация Вашей книги необходима. В чем ее главное преимущество? В беззащитности. Нет никаких специальных защитных мер, никакого секретного оружия. Позвольте мне определить этот метод как в высшей степени анти-набоковский. Набоков с его тщательным расчетом в итоге приходит к саморазрушению, потому что блестящие карточные игроки — единственные люди, которые ничего не привнесли в мир»[18]. Для современного исследователя эта оппозиция несопоставимых, на первый взгляд, имен интересна скорее не жесткой критикой Набокова, а диапазоном, который она очерчивает. В русском зарубежье Набоков с его головокружительной психологической и стилистической игрой и медлительный, безыскусный повествователь Варшавский раздвинули рамки литературы, полярно наметили какой-то новый предел возможностей художественного слова.

* * *

В истории издания романа «Ожидание» именно Георгий Адамович и Александр Шмеман, а также большой друг Варшавского Борис Физ сыграли решающую роль. Публикацией книги писатель занялся еще в 1970 г. Получив рукопись, Б.Ю. Физ, в то время председатель исполнительного комитета издательства «YMCA-Press», сообщал в ответном письме: «Я почти что заканчиваю чтение вашей книги. Читаю с большой радостью, т.к. нахожу ее замечательной. В Вашей рукописи три отдельные части: 1) детство, 2) эмиграция, 3) война. Я считаю, что детство и в особенности *война* является chef-d'œuvre'ом литературы. И не только литературы. Это свидетельство глубокого и духовно богатого писателя»[19]. Физ и стал инициатором ряда внутренних рецензий на роман. Вскоре он писал Варшавскому: «...серьезно думаю о Вашей книге. <...> Кириллу Ельчанинову передал отзыв о. Александра и Адамовича. Исаак Пэтч уже запросил наше мнение о книге, значит, о. Александр уже ему говорил»[20]. В этом письме появляется имя сотрудника Американского комитета (ACOMLIB — American Committee for the Liberation of the Peoples of Russia), советолога Исаака (Айзека) Пэтча — одной из ключевых фигур, влиявших на финансовые потоки в издательской политике русской эмиграции[21]. Пэтч хорошо знал Варшавского по «Радио Свобода» и, скорее всего, был заинтересован в издании. Однако, судя по

[18] Прот. А. Шмеман — В.С. Варшавскому. 14 августа 1970 г. // ДРЗ. Ф. 54. Оригинал письма не обнаружен. Цитируется по английскому переводу, сделанному мной специально для издательства.

[19] Б.Ю. Физ — В.С. Варшавскому. 16 июня 1970 г. // Там же.

[20] Б.Ю. Физ — В.С. Варшавскому. 13 сентября 1970 г. // Там же.

[21] См. об этом: *Patch I.* Closing the Circle: A Buckalino journey around our time. Wellesley, MA: Wellesley College Printing Services, 1996; Cultural exchange and the Cold War: raising the Iron Curtain / ed. by Y. Richmond. University Park, PA: Penn State University Press, 2003. P. 137; *Сосин Дж.* Искры Свободы. Воспоминания ветерана радио / пер. с англ. О. Поленовой и И. Толстого. Б.и., 2008. С. 221; См. также: URL: http://www.rferl.org/a/in-memoriam-isaac-patch-a-true-cold-war-warrior/25432712.html

переписке, тянул с решением, желая заручиться как можно бóльшим количеством отзывов на книгу. Эта проволочка немало огорчала того же о. Александра Шмемана: «Не знаю, что могу *я* сделать, если Пэтч считается не с Адамовичем и мною, а со знаменитыми, но никому неизвестными советскими “экспертами”. С тех пор, как мы вывели нашу семинарию из позорной зависимости от разных американских “благотворителей”, я с особой силой ощущаю стыд и позор всех этих зависимостей. Иными словами, нельзя ли при издании Вашей книги совсем обойтись без этих полушпионских, полубюрократических учреждений?»[22]

Результат затянувшихся переговоров с Пэтчем был неутешительный, 11 мая 1971 г. Варшавский получит от него письмо следующего содержания: «Мы долго дискутировали и спорили о Вашей рукописи, и, к сожалению, я был не способен убедить других поставить в план публикации Вашу книгу. Одни сочли ее слишком длинной, другие, что она не подойдет для советской аудитории. С последним пунктом я был категорически не согласен, но общее мнение состояло в том, что Ваша работа не вписывается в нашу специфическую структуру. Я, действительно, чувствую себя ужасно, поскольку надеялся, что мы будем в состоянии помочь издать Вашу рукопись»[23]. Однако ответ пришел писателю, когда тот уже принял решение передать рукопись в издательство «Посев». Именно в этот период произведение получает аутентичное название. Еще в июле 1971 г. Варшавский был в поиске и писал главному редактору «Посева» Евгению Романову: «Сначала я думал назвать мою повесть “Рассеянность”, но теперь решил переменить на название, тоже, впрочем, не очень удачное “Попытка сосредоточиться”»[24]. От этого названия, и вправду «не очень удачного», Варшавского отговорил Адамович: «Два слова о придуманных Вами названиях для книги. “Попытка сосредоточиться”, по-моему, *невозможно*. Вы погубите книгу... Я не совсем Вас понимаю: почему Вам нужно название, как можно более точно отвечающее содержанию книги. Это хорошо, когда дано только имя (“Анна Кар<енина>”, “Братья Карамазовы”). Но имя ведь и не передает содержания, как хотели бы Вы. А “Попытка сосредоточиться” если и передает, то сужает и как-то рассудочно скучно его упрощает, обедняет»[25]. Адамович в том же письме предлагал свой вариант — «Мир во мгле», очевидно, не прижившийся, но побудивший Варшавского кардинально изменить заглавие.

Сотрудничество с издательством «Посев» прервалось в самый разгар работы над корректурой. 28 августа 1971 г. писатель получил от Романова письмо с новым подсчетом долевого участия в стоимости издания. Для вышедшего на пенсию Варшавского названная сумма оказалось непосильной, «...истратить все наши сбережения на книгу я не могу», — признавался он в

[22] Прот. А. Шмеман — В.С. Варшавскому. 10 декабря 1970 г. // ДРЗ. Ф. 54.
[23] И. Пэтч — В.С. Варшавскому. 11 мая 1971 г. // Там же (пер. с англ. мой. — *М.В.*).
[24] В.С. Варшавский — Е.Р. Романову. 26 июля 1971 г. // Там же.
[25] Г.В. Адамович — В.С. Варшавскому. 25 августа 1971 г. // Там же.

ответном письме[26]. В итоге было принято решение забрать рукопись и опубликовать по предварительной подписке. На помощь снова пришел Борис Физ, и в октябре 1971 г. «Ожидание» вернулось в «YMCA-Press».

Все эти мытарства имели, однако, и свою положительную сторону. Благодаря непростой истории издания роман «обрастал» рецепцией заинтересованных в его публикации выдающихся современников. «Буду в Париже говорить с Физом и попробую здесь еще с Пэтчем и сообщу Вам, — писал Варшавскому о. Александр Шмеман. — Ужасно нужно, чтобы книга вышла. После этого, по-моему, эмиграция может сматывать свои удочки. Вы — Пруст этого канувшего в вечность мира — это я вам еще в 1952 году говорил. Ваша книга — “онтологический эпилог”. <...> Она *должна* выйти т<ак> ск<азать> мистически, ибо она есть и плод, и итог, и “претворение”...»[27]

* * *

Трудно определить одним словом, в чем заключено *ожидание* героя. Это «предощущение», напоминая бергсоновское *длeние*, проходит множественные стадии становления, преображения и метаморфоз. Однако в самом финале будет сказано: «мое ожидание не обмануло», значит, что-то герою открылось вопреки инерции разрушения («смерть близких, и все страшное, что происходило и происходит в мире, все чудовищные преступления, все неискупимые страдания, все непоправимые обиды, все миллионы раздавленных существований»). Наплывающие одно за другим сновидения, которые описаны в конце повествования, — еще одна из форм преодоления небытия. «Говорят, бывают такие глубокие сны, когда душа соединяется с самым началом жизни», — размышляет Гуськов. В снах он видит умерших брата, мать, отца — и так продлевает ощутимое присутствие тех, кого уже нет рядом.

Увлечение Варшавского, как и героя романа, Анри Бергсоном («Меня взволновали его слова о возможности победы над смертью»), его тейярдизм и даже его спонтанное федоровианство («Говорят, идеи Фёдорова — безумие, но ни на какое учение, которое не обещает победы над смертью, я не согласен») имеют все те же глубинные этико-онтологические истоки. Интерес Варшавского к философии Н.Ф. Фёдорова, которому он посвятил почти целую главу в «Незамеченном поколении», назвав «одним из самых оригинальных и плохо понятых русских мыслителей»[28], вызвал у Адамовича не сочувствие, а скорее недоумение[29]. Между тем в художественной прозе писателя мы находим не только отвлеченное, но и конкретно-биографиче-

[26] В.С. Варшавский — Е.Р. Романову. 3 октября 1971 г. // Там же.

[27] Прот. А. Шмеман — В.С. Варшавскому. 10 декабря 1970 г. // Там же.

[28] *Незамеченное поколение, 2010.* С. 214.

[29] См.: *Адамович Г.* О христианстве, демократии, культуре, Маркионе и прочем // Новое русское слово. 1956. 25 марта. № 15611. С. 8. См. также: *Незамеченное поколение, 2010.* С. 360–365.

ское объяснение его философских исканий. Неведение о судьбе своего отца, репрессированного во время Второй мировой войны, осознание через много лет, что отец точно уже не вернется и неизвестно — где похоронен, оборачиваются тягостными переживаниями для героя. «Чтобы (не) бояться смерти за себя, как это бывает у утративших смысл жизни, — читаем у Николая Фёдорова, — нужно пережить с другими весь разрушительный процесс смерти. Сын потому и противодействует, хоронит отца, т.е. защищает его от разрушительной силы, что не может не представлять за этою силою Существо, разрушению не подверженное, бессмертное, орудием Которого себя и делает, борясь с разрушительною, смертоносною силою, и подобием Которого он (сын) и является в погребении (т.е. в воскрешении)»[30]. Воскрешение близких, воссоздание реальности и происходит в «Ожидании» через память, через метафизику документа, через сны. В одном из таких сновидений сын буквально воскрешает отца: «Когда я его поцеловал, отец сейчас же начал дышать, очнулся и, улыбаясь, посмотрел на меня. Меня поразило, как легко, как мгновенно он вернулся к жизни. Он сказал мне, но как-то без слов, что умер, потому что не знал, что я его так люблю, а теперь, когда знает, будет опять жить».

После выхода книги в свет Варшавский продолжает записывать сны в дневнике. Вот запись от 8 мая 1974 г.: «Все мы ждем, что должен прийти мой отец. Я смотрю из другой комнаты на дверь. Дверь открывается, но все кто-то другой приходит. Я перестаю верить, что отец придет. И вдруг дверь опять отворяется, и это он. Высокий, в пальто, сшитом из коричневого армяка... <...> Отец говорит: простите, что я задержался, но ко мне Тусенька[31] приехала и так плакала. Говоря это, он сам плачет. Тут я проснулся и вспомнил, что он давно умер»[32]. В этих дневниковых строках, где присутствует все тот же неизменный мотив ожидания, мы находим еще одно объяснение многозначного названия романа.

* * *

История отца — один из ключевых сюжетов в художественной автобиографии Варшавского. В то же время многое в этом сюжете не прояснено или напрямую вступает в конфликт с этическим дискурсом «человеческого документа» в творчестве писателя. Эта «закодированная» часть романа требует отдельного развернутого комментария, который внес бы документальную

---

[30] *Фёдоров Н.Ф.* О двух нравственностях: тео-антропической и зоо-антропической (По поводу книги В.С. Соловьева «Оправдание добра») // Собр. соч.: в 4 т. / сост., коммент. и науч. подгот. текста С.Г. Семеновой и А.Г. Гачевой. М.: Прогресс, 1995. Т. 2. С. 175–176.

[31] Речь идет, скорее всего, о Наталье Сергеевне Варшавской (в замужестве Фиалковской; 1903–1990).

[32] *Варшавский В.* Ионафан [дневник] // ДРЗ. Ф. 54.

ясность. Здесь мы и попробуем провести сопоставление между художественным текстом и документом.

После поражения французских войск на франко-бельгийской границе Владимир Варшавский, солдат французской армии, 25 мая 1940 г. оказался в немецком плену. Дальнейшие военные годы для него обернулись пятилетним ожиданием в лагере для военнопленных Stalag II-B: «Только одного я хотел, только об одном молился: чтобы русские победили. А для себя — только дожить до конца войны, увидеть разгром Германии, а там — хоть умереть». В романе описано событие, имеющее большое значение для всего повествования: главного героя в лагере навещает отец, и во время этой встречи сын задаст ему вопрос: «За кого ты? Хочешь ли ты победы России или Германии?» Судя по переписке Сергея Ивановича Варшавского, тот действительно добился у гестапо разрешения посетить своего сына. Точная дата этой встречи неизвестна. В романе сказано, что сперва от отца пришло письмо. Произойти это могло только после Второго Компьенского перемирия (22 июня 1940 г.).

О восстановленной переписке с сыном, находящимся в лагере, С.И. Варшавский писал своей дочери Наталье из Праги в Париж: «Больше чем когда-либо чувствую крепость и неразрывность связывающих нас уз и мечтаю о том времени, когда Господь даст нам возможность вновь соединиться. Когда я получил после ряда мучительных месяцев неизвестности сообщение, что Володя остался жив и попал в плен к немцам, я просил владыку Сергия [архиепископ Пражский Сергий (Королев)] отслужить благодарственный молебен, и владыка, всегда так хорошо относящийся к семье, вместе со мной искренне порадовался. Жив и здоров — какое счастье!»[33] Если следовать сюжету романа, то отец навестил пленного сына только однажды, и это была их последняя встреча (по хронологии «Ожидания» в момент встречи «шла уже третья зима в плену» — т.е. 1943-й). В мае 1945 г., после того как Прагу заняла Красная армия, Сергей Варшавский был схвачен НКВД, и его дальнейшая судьба долгие годы оставалась неизвестной, обрастая гипотезами. Отец писателя не случайно оказался объектом особого внимания советской контрразведки, биографическое отступление поможет уяснить — какую роль он играл в межвоенной Праге.

* * *

Известный адвокат и журналист Сергей Иванович Варшавский (родился 10 июня 1879 г. в селе Новочиха Харьковского уезда Полтавской губернии) в ноябре 1918 г. вместе с женой и детьми бежал из Москвы от большевиков, сперва оказался в Киеве, потом в Одессе, откуда в июле 1919 г. перебрался в Крым. В июне 1920 г. вместе с семьей эмигрировал из России. Сперва осел в

[33] С.И. Варшавский — Н.С. Фиалковской. 25 января [1941 г.] // ДРЗ. Ф. 54.

Константинополе, а 1 марта 1923 г. прибыл в Прагу[34]. Переехав в Чехословакию, он довольно быстро применяет свои навыки блестящего юриста, в том же году начинает читать лекции по уголовному процессу на Русском юридическом факультете Карлова университета[35], вскоре становится влиятельной фигурой в общественной и культурной жизни русской Праги. Он преподает в Русском народном университете; сотрудничает с различными периодическими изданиями (например, чешскими «Народни листы», «Народни политика», «Венков», парижскими «Россия и славянство» и «Возрождение», варшавскими «За свободу!» и «Меч»); избирается членом Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии (в 1924–1928 — товарищ председателя, в 1934–1940 — председатель Союза); в 1937 г. входит в состав Пушкинского комитета в Праге, с 1939 г. — в состав Комитета русской книги, в том же году становится председателем Союза бывших судебных деятелей и юристов им. С.В. Завадского.

Наиболее известные брошюры Сергея Варшавского, вышедшие в Праге в довоенный период, — «Новая Советская конституция. (Содержание ее, мотивы и истинный смысл)» (1936) и «Сталинский парламент: (Структура, национальный состав, подлинное значение)» (1938) — содержат последовательную резкую критику правовой системы в СССР. С 1935 г. он читает лекции на Высших военных курсах, организованных РОВСом. Названия его лекций и докладов, прочитанных в Русском народном университете, отражают перемены в мировой политике, когда к власти в Германии приходят нацисты: «Германский кризис» (21 февраля 1933 г.); «События в Германии и русская проблема» (7 апреля 1933 г.); «Немецкая революция и русский вопрос» (20 мая 1933 г.); «Фашизм» (30 ноября 1933 г.). 21 декабря 1933 г. С.И. Варшавский принимает участие в дискуссии на тему «Национал-социалистическое движение в Германии», также организованной Русским народным университетом[36]. В 1939 г. на территории Чехословакии был создан Имперский протекторат Богемии и Моравии, и политика университета трансформировалась, основной контроль за его деятельностью в период немецкой оккупации перешел к Управлению делами русской эмиграции в Берлине (УДРЭ). Особенно отчетливо изменения происходят после отъезда М.М. Новикова, когда ректором в апреле 1939 г. стал доктор естественных наук В.С. Ильин, открыто симпатизировавший национал-социализму. В 1940 г. в рамках военной подготовки своих слушателей Русский народный университет вводит специальные курсы по изучению Второй мировой вой-

---

[34] NA ČR. F. PŘ. 1941–1951. K. 12105. Sign. V 1115/2.

[35] См.: *Сухарев Ю.Н.* Материалы к истории русского научного зарубежья: в 2 кн. М.: Ред. альманаха «Российский архив», 2002. Кн. 1. С. 86–87; Российское научное зарубежье: материалы для автобиографического словаря. Вып. 4 [Пилотный]: Юридические науки: XIX — первая половина XX в. / авт.-сост. М.Ю. Сорокина. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2001. С. 33–34.

[36] См.: Хроника культурной, научной и общественной жизни русской эмиграции в Чехословацкой республике: в 2 т. / под общ. ред. Л. Белошевской. Прага: Славянский институт АН ЧР, 2001. Т. 2: 1930–1939. С. 176, 189, 203, 229, 234.

ны, занятия проходят в нескольких группах (юридической, пехотной, кавалерийской, артиллерийской, технической, санитарной, общей и на женских медицинских курсах). Юридической группой руководил С.И. Варшавский[37]. В первой половине 1940-х гг. лекции Варшавского в виде брошюр («Национал-социалистическая идея права», [194-]; «Национал-социалистическая теория государства», 1942, и др.) издает Российское национальное и социальное движение (РНСД)[38].

Показательно досье от 14 июня 1939 г., хранящееся в полицейских делах Национального архива Чешской Республики. В документе значится, что С.И. Варшавский «по информации STB [Státní bezpečnost — Служба государственной безопасности] имеет четыре документа как участник фашистских мероприятий в качестве иностранного корреспондента и репортера. <...> Является Российским фашистом (националистом). Часто говорил на собраниях об основных задачах русской эмиграции, также выступал на встречах “Русского республик<анского> клуба”, несколько раз был избран в правление “Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии”. Является постоянным корреспондентом Русской фашистской газеты в Берлине “Новое слово”, цель которой антикоммунистическая пропаганда и объединение всей русской эмиграции для укрепления связей с Германией. Его деятельность ограничивается представителями русской эмиграции и политических событий не затрагивает»[39].

Владимир Варшавский, участник собраний «Круга», человек «новоградского» мировоззрения, противник любых античеловечных политических систем — будь то коммунизм или нацизм, — безоговорочно во время войны делает выбор в пользу Сопротивления. О том, насколько исторические реалии по-разному понимались отцом и сыном, можно судить по тому же письму С.И. Варшавского к дочери Наталье: «А к немецкому плену мы здесь — я говорю о русских в Праге — относимся совершенно спокойно, ибо имеем массу доказательств, что немцы рыцарственно относятся к военнопленным, особенно к русским, зная, что русские были мобилизованы против их воли»[40].

На фоне этих биографических данных слова, сказанные отцом в немецком лагере для военнопленных, звучат откровенным диссонансом: «...испытание войны показало, как во многом мы ошибались. После неслыханного героизма и жертвенности, проявленных русскими людьми в борьбе с немцами, нельзя больше сомневаться, что большевистская диктатура превратилась в процессе войны в русскую государственную власть. <...> Но если это

[37] См. об этом: *Аксенова Е. П., Досталь М. Ю.* Русский Свободный университет (Русская ученая академия) в годы второй мировой войны // Rossica. Прага, 1998–1999. № 2. С. 91–92, 97–98; *Они же.* Русская ученая академия в Праге в годы Второй мировой // Славяноведение. 2001. № 4. С. 35.

[38] Его библиографию военных лет см.: Práce ruské, ukrajinské a beëloruské emigrace vydané v Čekoslovensku 1918–1945. Praha: Národní knihovna České republiky, 1996. D. I; 1. S. 114–116.

[39] NA ČR. F. PŘ. 1941–1951. K. 12105. Sign. V 1115/2 (пер. с чешск. мой. — *М.В.*).

[40] С.И. Варшавский — Н.С. Фиалковской. 25 января [1941 г.] // ДРЗ. Ф. 54.

так, то тогда тот, кто желает победы немцев, — враг не большевиков только, а всего русского народа. И я сказал себе: если я люблю Россию, если я еще русский, я должен забыть о прошлом. <...> ...И вот, если русский народ идет с советской властью, то я подчиняюсь решению народа».

Содержательно диалог в плену больше напоминает декларацию политических взглядов отца. Здесь и встает извечный вопрос о соотношении правды и вымысла в художественной автобиографии и мемуарах. Ответ, — почему писатель, названный современниками «маниаком правдивости»[41], в этой части романа изменяет своей «честности», — кажется, лежит на поверхности. Переписывая исторический портрет отца, Варшавский тем самым выдавал ему охранную грамоту, выступал через художественное слово личным адвокатом. Продолжение этого диалога на фоне реальных исторических событий представляется еще более парадоксальным. На прямой вопрос сына, не боится ли отец прихода в Прагу Красной армии, тот отвечает: «Наоборот, я уверен, я еще буду играть роль. <...> Я связан с подпольной организацией чешских коммунистов и оказал им очень важные услуги».

Был ли связан Сергей Иванович Варшавский с чешским коммунистическим подпольем, история умалчивает. Даже если такое сотрудничество было, оно не спасло его от репрессий. Вполне возможно, этой информацией Владимир Варшавский пытался косвенно повлиять на ход событий «там», в Советской России. По слухам, которые до него доносились, отец был депортирован в СССР и «будто бы работал при университетской библиотеке». Эти сведения убедительно оспаривала в письме к писателю Екатерина Кускова: «Вряд ли это возможно: к таким публичным учреждениям б<ольшеви>ки на выстрел не пускают сосланных»[42]. Друг отца Виктор Луи высказывал альтернативную гипотезу: «...если не расстреляли на месте, то там им интеллигенты и культурные работники нужны»[43]. Предположение, что в пражском хаосе мая 1945-го профессор-коллаборационист мог быть расстрелян «на месте» (и даже возможно — чешскими коммунистами), имело свои основания и также рассматривалось нами как вариант гибели Сергея Варшавского. Одной из причин этой версии был отрицательный ответ на запрос в Центральный архив ФСБ России, — материалов на С.И. Варшавского там обнаружено не было. Между тем еще одна информация об отце в «Ожидании» стала основанием для дальнейших архивных разысканий.

«...Недавно я получил из Мюнхена письмо от одного старого друга моего отца. Он писал, что виделся с каким-то Басановым, который был “взят” одновременно с моим отцом в Праге, в 1945 году, а “теперь возвращен большевиками в Европу”. Басанов рассказывал, что мой отец умер в лагере, в Караганде. Никакой надежды больше не могло быть», — сказано в финале романа. В архиве Владимира Варшавского во время предварительного фор-

---

[41] *Адамович Г.* «Семь лет» // Новое русское слово. 1950. 1 окт. № 14037. С. 8. См. также: Наст. изд. С. 716.

[42] Е.Д. Кускова — В.С. Варшавскому. 24 октября 1950 г. // ДРЗ. Ф. 54.

[43] В.В. Луи — В.С. Варшавскому. [2-я половина 1950-х гг.] // Там же.

мирования фонда было обнаружено письмо от Николая Александровича Цурикова (1886–1957). В связи с его содержательной ценностью оно приводится здесь полностью:

«N. Tsurikov — Мюнхен
München, 27 — 10/IX 55 г.
Oberföhringer-str. 12

Многоуважаемый Владимир Сергеевич!

Не могу вспомнить: встречались ли мы с Вами, но будучи в дружеских отношениях с Вашим отцом Сергеем Ивановичем, решил написать Вам то, что услышал недавно о его судьбе.

В августовском № (кажется 38-й) журнала "Свобода" (ЦОПЭ) есть интервью с г. Бессоновым, возвращенным большевиками за границу. Узнав, что он был взят в Праге (в 1945 году), я встретился с ним, и он мне сказал между прочим: "С.И. Варшавский умер в Караганде". Каковы бы ни были его взгляды и его *политическая* информация, я склонен относиться к его сведениям с доверием, так как из совершенно другого источника получил о некоторых пражанах тождественные сведения (совпадающие со сведениями Б<ессоно>ва). Серг<ей> Иванович должен был уехать вместе с группой пражан, с которой я выехал из Праги (18 апреля 1945 года). Но заколебался, поверив в возможную защиту какого-то представителя, кажется, Международного Красного Креста, и был взят вскоре после прихода большевиков. О некоторых увезенных были сведения, где они работают. О других — никаких. Оказывается, большинство было "судимо" и приговорено к 5–10 и более годам тюрьмы. Некоторые после 10 лет возвращены туда, где жили раньше. (Я об этом не пишу в газетах, боюсь им повредить.) Если сведения Бессонова неверны и если С.И. не был приговорен к 20–25 годам, то вернуться он может только в Прагу. (Не знаю, сколько ему сейчас было бы лет)...

Обо всем этом Вам сообщаю. Всего доброго!

С искренним уважением, *Н. Цуриков*»[44].

Этот документ, крайне важный с точки зрения информации, служит также яркой иллюстрацией творческого метода Владимира Варшавского. В архиве Дома русского зарубежья хранится машинописная копия письма, сделанная уже самим писателем. Перепечатав один в один текст Цурикова, он в машинописи наносит правку от руки: записывает маргиналии на полях, меняет имена на псевдонимы, — письмо зримо превращается в худо-

[44] ДРЗ. Ф. 54.

жественный текст, становится наглядным свидетельством, *как* создавалась литература человеческого документа. С этим письмом связана еще одна стилистическая особенность романа. Полученное в 1955 г., композиционно оно появляется только в самом конце произведения, работу над которым писатель фактически завершил в 1970-м. Так автор вопреки данности, сопротивляясь исчезновению и смерти, продлевает *ожидание*.

Информация о Карлаге, полученная писателем из «вторых рук», долгое время оставалась только лишь версией конца Сергея Ивановича Варшавского. Сюжет был окончательно прояснен в ходе подготовки данного издания.

Материалы, связанные с арестом С.И. Варшавского, были обнаружены в Отраслевом государственном архиве Службы внешней разведки Украины (Галузевий державний архів Служби безпеки України. Ф. 6. Д. 75598-фп[45]). Из материалов следственного дела «№ 00110 на 206 листах» следует, что он был задержан 18 мая 1945 г. отделом контрразведки СМЕРШ 4-го Гвардейского казачьего кавалерийского кубанского ордена Ленина, Краснознаменного, ордена Суворова корпуса. В тот же день состоялся допрос, а 2 июня были произведены обыск и арест на его квартире по адресу: Прага XII, ул. Слезская (Slezská), 116. 15 июня 1945 г. С.И. Варшавскому было предъявлено обвинение в том, что он «проводил контрреволюционную деятельность, направленную на свержение Советской Власти и восстановление в СССР капиталистического строя». Вместе с Варшавским по делу проходили Иван Васильевич Виноградов (архимандрит Исаакий; 1895–1981), Абрам Кузьмич Фортушный (1888–не ранее 1945), Михаил Михайлович Ситников (1888–не ранее 1945) и Владимир Николаевич Укленин (1898–1986). Все обвиняемые были привлечены по статьям 58-2, 58-4 и 58-11 УК РСФСР как зачинщики контрреволюционной деятельности.

В ходе допроса С.И. Варшавскому было вменено в вину сотрудничество с «белогвардейскими» газетами «Юг», «Россия и славянство» и «Возрождение», лекторская деятельность для членов РОВСа, «Галлиполийского землячества» и военно-научных курсов Юго-Восточного отдела Объединения русских воинских союзов, руководящие должности в «контрреволюционных организациях» Союз русских писателей и журналистов в ЧР и Союз бывших судебных деятелей и юристов; из отдельных изданий прежде всего в протоколе допроса были названы «Новая Советская конституция» и «Сталинский парламент». Стоит заметить, что опытный юрист Сергей Варшавский весьма успешно «вел» со своей стороны это дело. Чутко реагируя на вопросы следователя, он не давал лишней о себе информации, ни одной из брошюр, изданных РНСД во время войны, не назвал. 21 июля все обвиняемые были этапированы в Львовскую тюрьму, 27–30 июля состоялось закрытое заседание Военного трибунала Львовского военного округа. В ходе суда Сергей Варшавский также повел себя в высшей степени профессио-

[45] Листы дела при цитировании не указываются, т.к. не имеют сквозной нумерации.

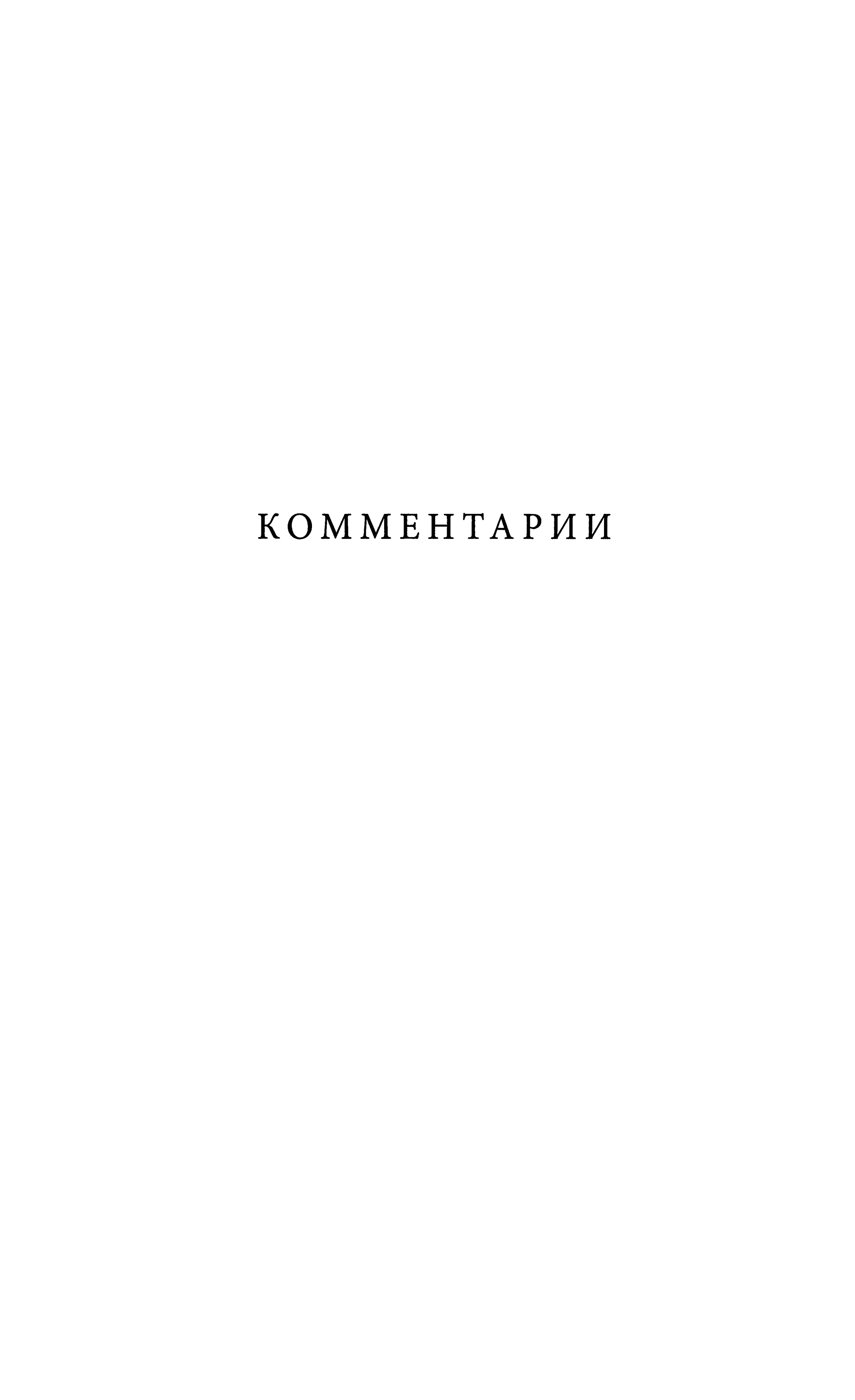
нально. Проходящий во время допроса как «отъявленный враг Советского Союза и большевистской партии» он единственный из группы «подельников» своей вины не признал, пожелав «дать пояснение». Этим «пояснением» стала пространная защитительная речь, благодаря которой обвиняемый смог убедить суд, что «не призывал народ к вооруженной борьбе против советской власти», и снять с себя самую суровую из предъявляемых статей («по статье 58-2 УК по суду считать оправданным» — значится в решении суда). 30 июля 1945 г. С.И. Варшавский был приговорен Военным трибуналом Львовского военного округа по статье 58-4 УК РСФСР к лишению свободы и работам в ИТЛ сроком на 10 лет. Обнаруженное дело стало основанием для запроса в Главный информационно-аналитический центр МВД России (ГИАЦ МВД России). В последовавшем кратком ответе сообщалось, что Сергей Иванович Варшавский скончался 6 ноября 1945 г. в Карлаге (Карагандинская область). Судя по всему, отец писателя, которому шел тогда 67-й год, не вынес этапа.

Реконструкция биографии Сергея Ивановича Варшавского многое проясняет и в то же время драматизирует в сюжете романа. Здесь темы сыновней и отцовской любви, конфликта поколений, конфликта с бесчеловечной эпохой, зажатой в исторический промежуток между революцией и войной, прочно переплетены. С точки зрения исторического факта, это еще одна *проявленная реальность*, которая могла бы служить эпилогом к роману «Ожидание». В то же время, прежде чем подвести черту, стоит обратить внимание на ряд нюансов в «деле С.И. Варшавского».

В защитительной речи на суде отец писателя скажет: «Теперь я смею утверждать о том, что Советский Союз является иным, чем раньше, и что коммунистическая партия является костяком Советского государства, и это утверждение является действительностью, хотя, может быть, к этому я пришел поздно. Я пришел к выводу и окончательно убедился, что Советская власть сумела поднять нашу Родину на небывалую высоту. Я решил, что мое место там, где русский народ. Все мое прошлое остается позади». В той же речи С.И. Варшавский скажет: «Я свою брошюру “Новая Советская конституция” осуждаю и считаю своей роковой ошибкой. Я был в заблуждении, теперь я искренне раскаиваюсь. Я перековался и осознал, и когда части Красной армии отстояли Сталинград, то я окончательно был убежден в том, что правильная политика была в Советском Союзе».

Здесь надо учитывать многие обстоятельства момента. Выбранная Сергеем Варшавским юридическая риторика может быть понята как попытка опытного адвоката уйти от нависающей над ним расстрельной статьи. Нет сомнения, что именно эта часть речи и повлияла на смягчение приговора. Между тем слова отца на суде почти дословно прозвучат в романе «Ожидание»: «...если русский народ идет с советской властью, то я подчиняюсь решению народа», «если я люблю Россию, если я еще русский, я должен забыть

о прошлом». Если же воспользоваться творческим методом Владимира Варшавского — наложить художественную автобиографию на документ, — то мы получим далеко не однозначную картину. С одной стороны, она вносит значительные корректировки в исторический портрет Сергея Ивановича Варшавского. Возможно, произнося свою защитительную речь, отец писателя не кривил душой и к концу войны (а по «Ожиданию», уже в 1943-м) думал именно так. С другой, проясняет одно из наиболее «темных» мест в романе. Проявленный сюжет снова возвращает нас к вопросу о сложности соотношения правды и вымысла в мемуарах и художественной автобиографии и об особом месте Владимира Варшавского в литературе человеческого документа.



# КОММЕНТАРИИ

# СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И АББРЕВИАТУР

**ДРЗ.** — Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына (Москва).

**ДРЗ. Ф. 54.** — Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Ф. 54 (Фонд В.С. Варшавского).

**Ежегодник ДРЗ, 2010.** — Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2010. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2010.

**Ежегодник ДРЗ, 2011.** — Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2011. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2011.

**Ежегодник ДРЗ, 2012.** — Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2012. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2012.

**Ежегодник ДРЗ, 2013.** — Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2013. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2014.

**Ежегодник ДРЗ, 2014–2015.** — Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2014–2015. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2015.

**Незамеченное поколение, 1956.** — *Варшавский В.С.* Незамеченное поколение. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1956.

**Незамеченное поколение, 2010.** — *Варшавский В.* Незамеченное поколение / предисл. О.А. Коростелева; сост., коммент. О.А. Коростелева, М.А. Васильевой; подгот. текста Т.Г. Варшавской, О.А. Коростелева, М.А. Васильевой; подгот. текста приложения, послесл. М.А. Васильевой. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына: Русский путь, 2010.

**РГАЛИ.** — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

***Хазан В.*** — *Хазан В.* Без своего места в мире («Отцы» и «дети» в прозе В. Варшавского) // Мир детства в русском зарубежье. III Культурологические чтения «Русская эмиграция XX века. Сб. докладов. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2011. С. 179–206.

***Яновский В.*** — *Яновский В.С.* Поля Елисейские. Книга памяти. СПб.: Пушкинский фонд, 1993.

**BAR.** — Bakhmeteff Archive of Russian & East European Culture (Columbia University, Нью-Йорк, США).

**NA ČR.** — Národní archiv České Republiky (Прага, Чешская Республика).

В комментариях составителей купируемые в цитатах фрагменты и конъектуры обозначены угловыми скобками, вставки помещены в квадратные скобки.

## ОЖИДАНИЕ

Впервые: Париж: YMCA-Press, 1972. 303 с.

Хроника публикаций В.С. Варшавского, предваряющих книгу и использованных в ней с небольшими вариациями:

Рассказ «Уединение и праздность» // Числа. 1932. № 6. С. 51–76.

Амстердам (отрывок из повести) // Круг: Альманах. Кн. 3. Париж: Дом книги, 1938. С. 43–74.

Первый бой // Новый журнал. 1946. № 14. С. 114–119. Частично вошел в кн.: Пестрые рассказы. Сб. эмигрантской прозы / под ред. В. Александровой. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953. С. 31–42.

Младший лейтенант Данилов // Новоселье. 1946. № 24/25. С. 23–35.

Прогулка в город (Рассказ военнопленного) // Новоселье. 1946. № 29/30. С. 11–32.

Командо // Новоселье. 1947. № 35/36. С. 3–31.

В крепости // Новоселье. 1949. № 39/41. С. 50–70.

Пролог // Новоселье. 1950. № 42/44. С. 110–138.

Семь лет [повесть]. Париж: Imprimerie Abécé, 1950. 302 с.

Дневник художника // Новый журнал. 1952. № 31. С. 80–99.

Отрывок // Опыты. 1954. № 3. С. 52–69.

Рассеянность (Из записок художника) // Опыты. 1957. № 8. С. 26–35.

Мечтание. Отрывок из повести // Новый журнал. 1961. № 65. С. 65–90.

* * *

«Ожидание» — книга не документальная, а художественная, как справедливо заметил поэт и литературный критик Юрий Павлович Иваск в рецензии на роман (Новый журнал. 1972. № 109. С. 300). Тем не менее он явно автобиографичен, и персонажи, начиная с главного героя, alter ego автора, имеют свои прототипы. Еще одно соображение Иваска: «Некоторые читатели без труда узнают в героях многих эмигрантских писателей, поэтов, политиков. Но незачем раскрывать эти легко угадываемые псевдонимы» (Там же) — для современного издания потеряло актуальность. Некогда легко угадываемые современниками Варшавского персонажи ушли в историю и сегодня требуют комментария, иные же герои романа так и не были разгаданы эмигрантским читателем. Большая работа по расшифровке псевдонимов в «Ожидании» была проведена исследователем В. Хазаном (см.: *Хазан В.*). Однако часть имен со временем удалось идентифицировать более полно и более точно благодаря документам, отложившимся в фонде Владимира Сергеевича Варшавского (ДРЗ. Ф. 54).

Под именем Николая Георгиевича в романе выведен Георгий Викторович Адамович (1894–1972), литературный критик, поэт, переводчик, идеолог и вдохновитель «Парижской ноты», оказавший значительное влияние на творческое и идейное становление молодого поколения русских парижан, в том числе Варшавского. В беседе с Ю.П. Иваском, записанной на аудиопленку, Варшавский сказал об Адамовиче следующее: «Я думаю, всему моему поколению он многое открыл и объяснил нам, — что такое настоящая поэзия, что такое литература, что важно в литературе. И я этим ему

глубоко обязан. Это спасло меня от многих увлечений, которым я, может быть, поддался бы. И это был завет. Причем, хотя он никогда никаких моральных трактатов не писал, но сила его была в том, что он никогда не соглашался ни на какое человеконенавистничество. <...> Этому нас научил только Георгий Викторович Адамович» (запись не датирована, по содержанию относится к 1970–1971 гг.; ДРЗ. Ф. 8. Носители на аналоговых пленках. Оп. 1. Ед. хр. 15). Адамович положительно отзывался уже о ранних опытах Варшавского («Несколько рассуждений об Андрэ Жиде и эмигрантском молодом человеке»), замечая, что «он говорит не только за себя, но и за многих своих сверстников» (*Адамович Г.* «Числа». Книга четвертая // Последние новости. 1931. 13 февр. № 3614. С. 5). См. также: «Я с Вами привык к переписке идеологической...». Письма Г.В. Адамовича В.С. Варшавскому (1951–1972) / предисл., подгот. текста и коммент. О.А. Коростелева // *Ежегодник ДРЗ, 2010.* С. 255–344).

Бывший эсер Эммануил Осипович Кладинский (Мануша), выступавший «повсюду, где соглашались его слушать», задумавший восстановить в эмиграции «орден русской интеллигенции», устраивавший у себя собрания, «на которые он приглашал эмигрантских сыновей», — Илья Исидорович Фондаминский (Фундаминский; псевд. Бунаков; 1880–1942), в прошлом член ЦК партии эсеров, «душа русской эмиграции», создавший литературно-философское объединение «Круг» (Париж, 1935–1939) как «место встречи отцов и детей» (*Яновский В.* С. 75), один из редакторов журнала «Современные записки» (1920–1939), затем (наряду с Г.П. Федотовым и Ф.А. Степуном) — журнала «Новый град» (1931–1939), альманаха «Круг» (1936–1938), один из создателей организации «Православное дело» (1935–1939).

Именно в его квартире (130, Avenue de Versailles) проходили собрания, одно из которых описано в «Ожидании». При первом же описании Кладинского, который делится с героем своим горем — у него умерла жена, становится ясно, что это Фондаминский (о смерти жены Фондаминского см.: *Яновский В.* С. 75). Мануша рифмуется с Илюшей. И, как заметил В. Хазан, фамилия Кладинский (от слова «клад») перекликается с фамилией Фондаминский (от слова «фонд») (см.: *Хазан В.* С. 185).

Другой легко узнаваемый персонаж, бывший вождь эсеров Алексей Николаевич Бобровский, — Александр Федорович Керенский (на это указывал прот. Кирилл Фотиев в некрологе, посвященном Варшавскому, см.: Новый журнал. 1978. № 131. С. 274). Герой потом встречает его в Нью-Йорке, что соответствовало действительности. Портрет Керенского/Бобровского, судя по всему, был точен и хорошо узнаваем. Между тем В.С. Яновский считал, что Варшавский дал субъективное описание бывшего министра-председателя Временного правительства, более того — вымещал таким образом обиду, а в письме к вдове писателя не преминул съязвить: «Он мог быть очень мстительным: как он расправился с Керенским?» (В.С. Яновский — Т.Г. Варшавской. 9 октября 1986 г. // ДРЗ. Ф. 54). Здесь, впрочем, следует учитывать известную субъективность самого Яновского.

Прототип Василия Павловича Зырянова, «старого друга Мануши по боевой организации эсеров» и «близкого сподвижника Бобровского в февральские дни», — Владимир Михайлович Зензинов (1880–1953), в прошлом тоже член ЦК партии эсеров и Боевой организации и настолько близкий друг Фондаминского, что он постоянно, как упоминает В. Яновский, живет у него в квартире (*Яновский В.* С. 75 и др.). Зензинов познакомился с И.И. Фондаминским в 1900 г., в 1903-м вступил в партию эсеров. Свою революционную деятельность, историю арестов и побегов из ссылок описал в книгах «Из жизни революционера» (Paris, 1919) и «Пережитое» (N.Y., 1953). В ссылке Зензинов занимался этнографией и орнитологией, результатом чего стали работы

«Старинные люди у холодного океана» (М., 1914) и «Очерки торговли на севере Якутской области» (М., 1916) и др. В расшифровке имен В. Хазан замечает, что Зензинов созвучен Зырянову и что «зыряне как бы представляют собой условное обозначение тех мест, где тот отбывал заключение и ссылки и, сверх того, проявлял интерес к жизни северных народов, запечатлев их в ряде своих книг» (*Хазан В.* С. 198). Оказавшись в эмиграции, Зензинов прибыл в Париж в 1919 г. С началом Второй мировой войны в 1939 г. выехал из Парижа в Финляндию. В 1940 г. поселился в Нью-Йорке, где скончался 20 октября 1953 г. Описанный в «Ожидании» вечер памяти Зырянова — весьма содержательный и развернутый отчет о сороковинах В.М. Зензинова, прошедших 29 ноября 1953 г. в Нью-Йорке в Доме им. Атрана (об этом событии см.: Новое русское слово 1953. 15 нояб. № 15177. С. 5; 29 нояб. № 15191. С. 3).

Прототипом Игоря Семеновича Немчина послужил Георгий Петрович Федотов (1886–1951), историк, философ, публицист, постоянный участник заседаний «Круга» и один из редакторов журнала «Новый Град» (1931–1939). В 1941 г. в связи с немецкой оккупацией эмигрировал из Франции в США, о чем упомянуто в «Ожидании» (см. также: *Хазан В.* С. 186). Федотов оказал большое влияние на Варшавского, в том числе на формирование его новоградских идей (см., например: *Варшавский В.* Г.П. Федотов — певец свободы и Нового Града // Новое русское слово. 1958. 12 янв. № 16269. С. 2 (см. также: Наст. изд. С. 488–493); *Он же.* Перечитывая «Новый Град» // Мосты. 1965. № 11. С. 267–285). Философ высоко оценил первые послевоенные рассказы Варшавского «Первый бой» и «Младший лейтенант Данилов», появившиеся в 1946 г. в эмигрантской периодике и затем вошедшие в «Ожидание».

Под именем Бориса Глебова автор вывел известного поэта первой волны русской эмиграции Бориса Юлиановича Поплавского (1903–1935), об этом, в частности, пишет в рецензии на «Ожидание» прот. Кирилл Фотиев (см.: Наст. изд. С. 730). Варшавский познакомился с Поплавским еще в Константинополе (1920–1921), знакомство переросло в дружбу в Париже. Поплавский в немалой степени послужил для писателя прообразом «молодого эмигрантского человека», ему Варшавский посвятил проникновенные воспоминания в «Незамеченном поколении» (1956), доклад «Русский Монпарнас» (1974, прочитан на заседании «Русского кружка» Женевского университета), эссе «Монпарнасские разговоры» (1977).

В Полянском изображен друг Варшавского по русскому Монпарнасу, писатель и мемуарист Василий Семенович Яновский (1906–1989). Сам Яновский, распознав себя еще в повести «Семь лет», не был польщен таким описанием: «...Полянский (если это я?) не говорил таких преступных пошлостей о христианстве и страдании» (В.С. Яновский — В.С. Варшавскому. 2 октября 1950 г. // ДРЗ. Ф. 54. См. также: Наст. изд. С. 695). Неровные отношения между Варшавским и Яновским — от доверительных и дружественных до конфликтных — были потом так прокомментированы самим Яновским: «Мы с Варшавским были дружны, то есть варились в той же кастрюле с 1928 г. Он писал мне из плена. И жил у меня в Нью-Йорке несколько лет. Но в 1953 (или 54 г.) мы поссорились. Вина, вероятно, и моя, и его (все это мелочи), но главную роль в этом деле сыграли наши общие "друзья", которые не только не мирили нас, но даже наоборот...» (В.С. Яновский — Т.Г. Варшавской. 10 июня 1978 г. // ДРЗ. Ф. 54).

Григорий Зиновьевич Изаковский — поэт Лазарь Израилевич Кельберин (1907–1975). В. Яновский вспоминает о нем как о «нашем единственном платоническом гитлеровце, вообразившем себя "помесью Паскаля с Розановым"» (*Яновский В.* С. 123). «В последние годы перед войной он громил демократию и даже похваливал немцев, что казалось несколько смешным» (*Яновский В.* С. 212). В.С. Варшавский пишет о

том, что он и Коля Грейс погибли в немецком концлагере, хотя на самом деле Кельберин умер в Париже, через тридцать лет после окончания войны. Но тут Варшавский, видимо, следует художественной логике трагического жизненного парадокса: «платонический гитлеровец», увлекшийся христианской проповедью непротивления злу насилием, гибнет в гитлеровском лагере.

Коля Грейс — это Юрий Фельзен (наст. имя и фам. Николай Бернгардович Фрейденштейн; 1894–1943), погибший в концлагере в Германии. Фельзен никак не мог быть Изаковским, как считает В. Хазан (см.: *Хазан В.* С. 187), так как, во-первых, Фельзен был прозаиком, а в «Ожидании» Глебов спрашивает: «А вы, Изаковский, вы меня любите?», и Изаковский отвечает: «В прошлый раз, когда вы говорили, что я не должен писать стихи, я вас ненавидел, Борис», т.е. Изаковский — поэт. Фельзен входил в группу молодых литераторов, избравших Г.В. Адамовича своим мэтром. Он близок Адамовичу, который относится к нему с симпатией и в книге «Одиночество и свобода» пишет о его сдержанности, доброте, что «ни жертва, ни подвиг не испугали бы его, почувствуй он их необходимость. В нем не было вспышек... а была постоянная естественная готовность сделать все то, для чего другим вспышки необходимы» (*Адамович Г.* Одиночество и свобода. СПб.: Азбука-классика, 2006. С. 271). Специфика отношений Фельзена и Адамовича в том, что они стали друзьями еще в середине 1920-х гг., когда встретились в салоне З.Н. Гиппиус: «Мы подружились... вместе выйдя и отправившись обедать в соседний ресторанчик» (*Адамович Г.* Смерть и время // Русский сборник. 1946. № 1. С. 174). Об их дружбе свидетельствуют и письма Г. Адамовича к Ю. Фельзену в 1939–1940 гг. (см.: *Ливак Л.* Материалы к биографии Юрия Фельзена // From the Other Shore: Russian Writers Abroad Past and Present. Toronto, 2001. Vol. 1. С. 52–58). Ровесники и друзья — Адамович и Фельзен держались на равных, и Фельзен вряд ли мог заискивать перед Адамовичем, заглядывать ему в рот, как Изаковский в «Ожидании». Кроме того, как отмечает Л. Ливак в той же публикации (С. 59), Фельзен был убежденным демократом и перестал поддерживать отношения с четой Мережковских после того, как они приветствовали победы Гитлера. Если прибегать к методу говорящих фамилий, то Грейс (*англ.* grace) означает любезность, такт, приличие — качества, характерные для Фельзена, а имя Коля соответствует его настоящему имени Николай.

В Ване Иноземцеве узнаваем поэт, прозаик, журналист, этнолог Борис Владимирович Вильде (псевд. Борис Дикой; 1908–1942). В июле 1940 г. Вильде организовал во Франции одну из первых антигитлеровских подпольных групп. Название его нелегальной газеты «Résistance» (Париж, 1940–1941) стало символом французского Сопротивления. В марте 1941 г. Вильде был арестован нацистами и 23 февраля 1942 г. расстрелян вместе с Анатолием Левицким и другими товарищами по Сопротивлению. После войны Варшавский посвятил памяти друга специальный очерк «Борис Вильде» (Вестник русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции. 1947. № 2. С. 9–15; см. также: Наст. изд. С. 363–368) и часть главы «Погибшие за идею» в книге «Незамеченное поколение». Имя Ваня непосредственно адресует к Борису Вильде. Так, в «Полях Елисейских» идет речь «о героической смерти Дикого, или, как его прозвали, — “Ванички”» (*Яновский В.* С. 107).

Жорж, с которым герой охраняет гараж, — прозаик Леонид Федорович Зуров (1902–1971). На это, в частности, указывала в беседе с составителями Т.Г. Варшавская. О работе Варшавского и Зурова в гараже американских квакеров есть запись от 2 декабря 1946 г. в дневнике В.Н. Буниной: «Леня [Зуров]... нанялся сторожем в гараж, где служит Володя Варшавский. Для защиты у них 2 дубинки и собака, кото-

рая не лает» (Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы: в 3 т. / под ред. М. Грин. Frankfurt am Main: Посев, 1982. Т. 3. С. 184; подробнее об этом см.: *Хазан В.* С. 201–202).

В офицере из студентов, обратившем героя «Ожидания» в евразийство, — высоком «с огромными византийскими глазами, необыкновенном человеке полуеврейского происхождения» сразу узнается Сергей Яковлевич Эфрон (1893–1941), муж Марины Цветаевой, литератор, офицер Белой армии, агент НКВД. Еще в Праге, учась в Карловом университете, Эфрон организовал Демократический союз русских студентов и, будучи соредактором издаваемого Союзом журнала «Своими путями», участвовал в левом крыле евразийского движения. В 1926–1927 гг. в Париже он был соредактором близкого к евразийству журнала «Вёрсты».

Владимир Рагдаев с его трансформацией «из литератора-эмигранта в американские миллионеры» опознается как Николай (Наум) Георгиевич Рейзини (1902 или 1905–1979?), журналист, переводчик. Рейзини служил в парижском издательстве «Hachette». Был членом литературного объединения «Кочевье» (об этом упоминает Г. Газданов в своих рабочих тетрадях, см.: Каталог архива Газданова в Хотонской библиотеке Гарвардского университета. Тетрадь 1. Л. 40 // Газданов Г. Собр. соч.: в 5 т. / под общ. ред. Т.Н. Красавченко. М.: Эллис Лак, 2009. Т. 5. С. 506). Печатался в «Воле России» (см. его рецензию на № 39 «Современных записок»: 1929. № 7. С. 106–113). Он существенно помог в организации журнала «Числа», в частности, тем, что нашел для него меценатку — И.В. Манциарли (см.: *Шаховская З.* В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. С. 155). Во время гражданской войны в Испании прославился финансовыми аферами: «поставлял на греческих судах оружие Франко, затем занимался торговлей опиумом и другими делами в Данциге, Харбине и других местах»; а во время Второй мировой войны «сотрудничал с японцами и числился в черных списках США» (Авантюрист Николай Рейзен // Русские новости. 1946. 29 нояб. № 81. С. 2); выдвинутые в его адрес обвинения в различных финансовых махинациях вынудили Рейзини в 1946 г. покинуть Европу и обосноваться в США (подробнее об этом см.: *Хазан В.* С. 202–203). Как писало «Новое русское слово» (1955. 20 сент. № 15451. С. 1): «Рейзини уверяет, что он родился в Салониках, в Греции, в 1905 году. Учился в Париже и в Данциге, жил в Харбине с 1934 до 1946 года, когда он вернулся к себе на родину в Грецию. Греческое правительство Цалдариса командировало Рейзини в С<оединенные> Штаты в 1946 году в качестве экономического наблюдателя. Рейзини занялся в Нью-Йорке экспортными делами и быстро разбогател. Между прочим, ему принадлежит лицензия на кинематографический новый процесс "Синерама". <...> Иммиграционный департамент утверждает, что Рейзини родился не в Греции, что он русский еврей, родом из Харбина». Г.В. Адамович, В.С. Яновский и др. писали о том, что он не раз помогал своим «парижским друзьям». Известно, что у него в США останавливался в 1952 г. Г.И. Газданов, который провел в Нью-Йорке два месяца — с начала июня до 4 августа (о чем он писал 13 августа 1952 г. М.А. Алданову, см.: *Газданов Г.* Собр. соч.: в 5 т. Т. 5. С. 9, 93). Свою встречу с Николаем Рейзини в Нью-Йорке Варшавский описал в рассказе «Отрывок», вошедшем в повесть «Семь лет» и затем — в роман «Ожидание». Видимо, это был точный портрет «американского Рейзини», что немало огорчило того же Адамовича: «...зачем Вы обидели Рейзини?! Портретно так, что не узнать нельзя, и обидно до крайности, хоть к концу и смягчено. Зачем? Он — "добрый малый", не мог из-за денег измениться до неузнаваемости, а глупую важность из-за миллионов — можно и простить. Правда, этот Ваш выпад меня удивил и огорчил. Он, вероятно, очень уязвлен» (Г.В. Адамович — В.С. Варшав-

скому. 25 мая 1954 г. // «Я с Вами привык к переписке идеологической...». Письма Г.В. Адамовича В.С. Варшавскому (1951–1972). С. 278). Трудно сказать, насколько был уязвлен Рейзини, в письме к Варшавскому от 26 декабря 1950 г. Марк Слоним писал: «Шлет Вам привет Рейзини, которому Ваша книга ["Семь лет"] очень понравилась» (ДРЗ. Ф. 54; см. также: Наст. изд. С. 712).

Персонажи, появляющиеся сначала на собрании у Кладинского, а затем упомянутые как участники французского Сопротивления, также расшифрованы В. Хазаном (см.: *Хазан В.* С. 188–189): Володя Ельников — это прозаик, литературный критик и мемуарист Владимир (Бронислав) Брониславович Сосинский (1900–1987), по верному замечанию В. Хазана, его фамилия построена на ассоциативной «смежности»: сосна — ель. Под фамилией Боголюбский выступает Вадим Леонидович Андреев (1902/1903–1976), «хотя сама семантика, — признает В. Хазан, — имеет крайне слабые ассоциативные "зацепки" с реальным Андреевым и потому несет в себе... некий загадочный символический смысл, вызванный религиозно-философским содержанием бесед в "Круге"» (*Хазан В.* С. 189). Предположение о том, что рядом с Ельниковым-Сосинским упомянут его друг В. Андреев (оба женаты на сестрах Черновых), вполне правомерно, и оба действительно были участниками Сопротивления. Отношения Варшавского как с Брониславом Сосинским, так и с Вадимом Андреевым после войны складывались неровно. Вместе с тем эпоха «Круга» осталась для бывших его участников символом «орденского» согласия. Написав на книгу «Незамеченное поколение» разгромный отзыв (в печати опубликован не был), Вадим Андреев послал его машинописную копию Варшавскому, сопроводив символичным комментарием — запиской от руки: «Дорогой Володя, резкость моей статьи вызвана содержанием твоей книги, но отнюдь не моим личным отношением к тебе. Для меня наши встречи у Ильи Исидоровича [Фондаминского] незабываемы. Надеюсь, что ты поймешь меня правильно и не припишешь того, о чем я пишу, каким-нибудь личным обидам — их нет» (*Незамеченное поколение, 2010.* С. 511).

Под именем Александра Шушигина в «Ожидании» выведен младоросс, активный участник движения Сопротивления Александр Александрович Угримов (1906–1981), это предположение подтверждает и «говорящее» совпадение имен. Как справедливо замечает В. Хазан, фамилия Шушигин образована от домашнего прозвища А.А. Угримова Шушу — «так его называл Б.Л. Пастернак в письме 27 октября 1957 г. матери Александра Александровича — Надежде Васильевне Угримовой, урожд. Гаркави, дочери адвоката В.О. Гаркави, с которым дружил Л.О. Пастернак и чей дом как "дом Громеко" описан в "Докторе Живаго"» (см.: *Пастернак Б.Л.* Доктор Живаго. Автобиографическая проза. Избранные письма. М.: Гудьял-Пресс, 1998. С. 721). А.А. Угримов покинул Россию в 1922 г. вместе с отцом А.И. Угримовым, высланным на «философском пароходе». Сперва жил в Германии, с 1929 г. во Франции. В 1941–1944 гг. — создатель и руководитель Дурданской группы Сопротивления. С октября 1944 г. товарищ председателя Содружества русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции. В ноябре 1947 г. арестован и выслан из Франции в Россию, где в 1948 г. был приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. В 1954 г. после пересмотра дела освобожден, в 1957 г. реабилитирован. После выхода на пенсию в 1967 г. работал над мемуарами, которые вышли посмертно: *Угримов А.А.* Из Москвы в Москву через Париж и Воркуту / сост., предисл. и коммент. Т.А. Угримовой. М.: RA, 2004.

О другом участнике собраний у Мануши — Володе Рудневе далее в романе говорится, что он «воевал в Африке и в Италии, брал Кассино, высаживался на юге

Франции, на пляже, где мы когда-то вместе купались». По мнению В. Хазана, в этом собирательном образе Варшавский объединил двух своих знакомых — Николая Авдеевича Оцупа (1894–1958) и Анатолия Сергеевича Штейгера (1907–1944) (см.: *Хазан В.* С. 190). Однако есть все основания полагать, что под именем Руднева выведен инженер-агроном, журналист Владимир Иванович Алексинский (1910–1955). Его упоминает Варшавский в статье памяти Б. Вильде среди завсегдатаев «Круга», вступивших в Сопротивление: «...В. Алексинский, В. Андреев, Б. Сосинский, А. Угримов, рискуя не только своей головой, но и жизнью своих жен и детей, принимают героическое участие в борьбе с врагами России и всего человеческого мира» (*Варшавский В.* Борис Вильде. С. 13; см. также: Наст. изд. С. 367). Тех же сопротивленцев, без сомнения, Варшавский вывел и в «Ожидании». Знаменательно и характерное совпадение имен, делающее псевдоним «прозрачным». В годы Второй мировой войны Владимир Алексинский стал добровольцем Войск свободной Франции (Forces Françaises Libres, FFL), после демобилизации поступил во французскую армию в Марокко. В 1946 г. был избран в правление Содружества русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления. Помогал правлению Содружества резервистов французской армии в составлении списков русских, погибших в рядах французской армии (см.: *Алексинский В.И.* Несколько слов о русских добровольцах в рядах «Войск свободной Франции» // Вестник русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции. 1947. № 2. С. 23–27).

В. Хазан идентифицировал также двух персонажей, выступающих на гражданской панихиде Зырянова-Зензинова: даму, «тоже из социалисток, но религиозно настроенную», — это писательница, переводчица, общественный деятель Елена Александровна Извольская (в монашестве Ольга; 1896–1975), в свое время близкая «Кругу». Она с 1941 г. «жила в США, преподавала русский язык в Фордамском католическом университете, позднее — в католическом колледже Сеттон-Хилл (Гринсберг, шт. Пенсильвания); в последние годы жизни приняла монашество». А «пожилой, известный в Америке писатель Конев» — прозаик, член партии эсеров Николай Сергеевич Калашников (1881–1961), эмигрировавший из России в 1919 г. и входивший в США в Лигу борьбы за народную свободу. Зензинова он знал с дореволюционных времен, по сибирской ссылке, и речь, которую Варшавский воспроизводит в романе, опубликовал в контексте своих воспоминаний, опубликованных в «Новом журнале» в 1954 г. (№ 36. С. 298–303) (*Хазан В.* С. 187–188, 203).

Исследователь опознал также Белова — это публицист, социолог, член ЦК эсеровской партии Виктор Михайлович Чернов (1873–1952), и «известного социалиста Семиградского» — видного политического деятеля, историка Бориса Ивановича Николаевского (1887–1966), члена ЦК меньшевистской партии (*Хазан В.* С. 188).

Прототипом упоминаемого к концу романа успешного «монпарнасского Багрянова» был, скорее всего, Константин Андреевич Терешкович (1902–1978) — живописец, график, иллюстратор, сценограф, художник-декоратор, оказавшийся в эмиграции с 1918 г., в Париже — с 1920-го. Еще при его жизни о нем вышло несколько монографий на французском во Франции и Швейцарии.

Другой известный художник русского Парижа, прозаик и поэт Сергей Иванович Шаршун (1888–1975), выведен в романе под своим настоящим именем. Главное литературное произведение Шаршуна — поэма в прозе «Долголиков» (Париж: Числа, 1934; отдельное изд.: Париж: Вопрос, 1961). Он также автор романа «Путь правый» (Париж: Числа, 1934), лирических повестей «Заячье сердце» (Париж: [s.n.], 1937), «Подать» (Париж: [s.n.], 1938), «Ракета» (Париж: Вопрос, 1965) и др.

Еще один пласт «зашифрованных» имен — советские офицеры. Немецкий лагерь для военнопленных, куда попадает герой романа Гуськов, списан со Stalag II-B, в котором сам писатель провел долгих пять лет под номером 16.600. В апреле 1945 г. лагерь был освобожден Красной армией. В передаче на «Радио Свобода», вышедшей в эфир в апреле 1972 г., Варшавский заметил, что «в основном это конкретные люди, но с прибавлением к каждому черт нескольких других советских офицеров» (Интервью с Варшавским — «Ожидание»-2. 5/6. VI 72. Script № 67238 // ДРЗ. Ф. 54). Документы, содержащиеся в фонде Варшавского, помогли выявить настоящие имена нескольких красноармейцев, описанных в романе. Прототипом старшего лейтенанта Сильченко послужил, скорее всего, старший лейтенант Ткаченко, командир военной части 21477 (21-я гвардейская механизированная бригада 1-го Белорусского фронта). При этом, судя по архивным документам, фамилию Сильченко писатель позаимствовал у другого реального красноармейца, которому помогал в качестве переводчика (как и герой романа) в переговорах с пленными французами (см.: Наст. изд. С. 232–233).

Сугубо автобиографическая составляющая романа — история семьи. Однако эта тема в «Ожидании» при всей своей достоверности отмечена умолчаниями или «белыми пятнами». Так, в романе не упоминается старшая сестра Наталья (в замужестве Фиалковская; 1903–1990), в то время как рано умерший старший брат Юра (1905–1923), выведенный в «Ожидании» под тем же именем, описан подробно, а его биография воспроизведена предельно точно, что и подтверждается архивными материалами фонда Варшавского в ДРЗ (Ф. 54). Отдельная тема — судьба отца. Видный общественный деятель русской Праги Сергей Иванович Варшавский (1879–1945) в романе, судя по отчеству главного героя, переименован в Василия Гуськова. Он (так же как и отец писателя) будет арестован советскими органами в мае 1945 г., когда в Прагу войдет Красная армия, и исчезнет из поля зрения семьи. В конце романа Владимир Гуськов получает письмо из Мюнхена от «старого друга отца» с печальным известием, что «отец умер в лагере, в Караганде». Источник этой информации — «какой-то Басанов». Подлинник письма в фонде Варшавского (ДРЗ. Ф. 54) помог установить реальных действующих лиц этого сюжета. Старый друг отца — юрист, общественный деятель и публицист Николай Александрович Цуриков (1886–1957). В письме к Варшавскому от 10 сентября 1955 г. (см.: Наст. изд. С. 545) Цуриков, действительно, пишет о смерти С.И. Варшавского в Караганде, ссылаясь на некоего возвращенца Бессонова и упоминая, в частности, интервью с ним в журнале «Свобода» при ЦОПЭ (Центральном обществе политэмигрантов). Просмотр издания де визу (Свобода. 1955. № 38. С. 21–22) помог установить личность возвращенца. Им оказался Иннокентий Клавдиевич Бессонов (Безсонов; 1885–?), белый офицер, сражавшийся в рядах Вооруженных сил Юга России, а после эвакуации из Крыма поселившийся в 1920 г. в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (Югославия). Судя по интервью, Бессонов был арестован НКВД в Праге в 1946 г. и депортирован в СССР. Сначала попал на Лубянку, оттуда — в Бутырскую тюрьму, затем — во Владимирский централ, после чего переправлен в Зубово-Полянский дом инвалидов (Мордовская АССР); в 1955 г. по возвращении в Европу поселился в Мюнхене. Личность Бессонова, как и вся история его послевоенных перемещений, — неоднозначна. Интервью в «Свободе» имело скандальное продолжение. Свои показания (рассказ об аресте в Праге, местах заключения в СССР и возвращении в Европу в вагоне первого класса) Бессонов опротестовал в открытом письме главному редактору журнала Г.П. Климову (см.: Свобода. 1955. № 40/41. С. 41), а редакция разместила в том же номере ответ под названием «Типичный случай», где обвинила возвращенца в чрезмерно «оптимисти-

ческих настроениях» в отношении к Советской России. Трудно сказать, что двигало Бессоновым, когда он настаивал в открытом письме, что «никому никогда никаких интервью или информаций не давал», однако вся эта мутная история вносит новые нюансы в исторический контекст романа и образ «какого-то Басанова».

Не опознанными в романе остались: директор кинематографической фирмы, в начале войны встреченный героем в поезде из Парижа, футболист и агент по продаже автомобилей Игорь Жеребятников, инженер Кульковский и некий Михаил Бюргеров. Очевидно, что все они списаны с реальных людей.

* * *

С. 26. *Зачем с безумным ожиданьем / К тебе прислушиваюсь я.* — Из стихотворения Е.А. Баратынского «Водопад» (апрель — начало мая 1821).

С. 27. *Он только на год старше меня...* — Варшавский Юрий Сергеевич (6 октября; по другим данным 10 октября 1905, Москва — 8 марта 1923, Моравска Тршебова) — старший брат Владимира Варшавского. Дату рождения Юрия удалось восстановить по фотографии его могилы в Моравской Тршебове (Чешская Республика) из семейного альбома, хранящегося в фонде В.С. Варшавского (ДРЗ. Ф. 54). Эта дата разнится с данными полицейских дел семьи Варшавских в Национальном архиве ЧР (см.: NA ČR. F. PŘ. 1921–1930. K. 3956. Sign. V549/50). Могильный крест, установленный семьей Варшавских, сегодня утрачен. В 2000 г. на кладбище в Моравской Тршебове была воздвигнута могильная плита с именами 28 сотрудников и учащихся Русской гимназии (сектор C 438–614 «Hroby zaměstnanců žáků ruského gymnázia (1921–1935)»), на которой значится: «Ju.N. (так! — *Сост.*) VARŠAVSKIJ (1905–1923)».

*Вседержитель моего детского космоса, мой отец...* — Варшавский Сергей Иванович (10 июня 1879, с. Новочиха Полтавской губ. — 6 ноября 1945, Караганда, до эмиграции — известный адвокат и журналист, один из первых парламентских корреспондентов, в газете «Русское слово» вел специальную рубрику «Из залы Государственной думы». В 1907 г. издал книгу «Жизнь и труды Первой Государственной думы России». Также работал юрисконсультом торговой фирмы «И.Д. Сытин и К°», входил в исполнительный комитет «Дня печати» (Москва, 1914–1915).

С. 29. *Мама всегда была грустная.* — Норова Ольга Петровна (29 мая 1875, с. Куриловцы Подольской губ. — 1961, Париж). До эмиграции — актриса МХТ, по семейным воспоминаниям, была в дружеских отношениях с М.П. Лилиной, женой К.С. Станиславского. Исполняла небольшие роли в пьесах «Царь Федор Иоаннович» и «Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстого, «Потонувший колокол» и «Одинокие» Г. Гауптмана, «Власть тьмы» Л.Н. Толстого, «Эдда Габлер» Г. Ибсена, «Снегурочка» А.Н. Островского (см.: Московский Художественный театр в иллюстрациях и документах. 1898–1938. М.: Изд-во МХАТ им. М. Горького, 1938).

*...меня и брата повели в церковь в Хлыновском переулке.* — Скорее всего, речь идет о церкви Николая Чудотворца в Хлынове (архитектор Г.А. Кайзер; годы постройки — 1781, 1788 и 1902). Церковь находилась по адресу: Москва, Хлыновский тупик, д. 3. В 1936 г. разрушена.

С. 30. *...у Достоевского кто-то говорит: «я* буду *верить в Бога».* — Имеется в виду диалог Шатова и Ставрогина из романа Ф.М. Достоевского «Бесы» (1872): «— Я верую в Россию, я верую в ее православие... Я верую в тело Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую... — залепетал в исступлении Шатов (ч. II, гл. 1).

— А в Бога? В Бога?

— Я... я буду веровать в Бога» (*Достоевский Ф.М.* ПСС: в 30 т. Л.: Наука, 1974. Т. 10. С. 200–201).

*Незадолго до того я читал сказку, как мальчик попал внутрь часов. Там оказался целый городок.* — Скорее всего, имеется в виду сказка В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке» (опубл. 1834).

С. 32. *Из нашей жизни до переезда в Гранатный переулок мне вспоминаются только отдельные сцены...* — Ю.П. Иваск в неопубликованной статье памяти В.С. Варшавского (1978) указывает еще один московский адрес, по которому проживала семья Варшавских: «Напротив нашей квартиры в Большом Афанасьевском переулке висела медная дощечка... "Варшавский. Присяжный поверенный". Хорошо помню двух круглоголовых кареглазых гимназистов, игравших в какие-то диковинные игры, но меня в них не посвящавших» (*Иваск Ю.П.* Владимир Сергеевич Варшавский // ДРЗ. Ф. 54). Об этом же адресе он пишет в письме вдове писателя Татьяне Георгиевне Варшавской: «Вспоминаю старую Москву... Когда возвращался домой адвокат Варшавский — круглоголовые мальчики уже ждали его на лестнице и облепляли. Обожали отца. <...> ...А когда мне было 6–7 лет мы уехали из того дома — Бурова» (Ю.П. Иваск — Т.Г. Варшавской. 6–7 октября 1978 г. // Там же). Речь идет о доходном доме архитектора К.Ф. Бурова (Москва, Большой Афанасьевский пер., д. 30; год постройки — 1906).

*...иду от Никитских ворот к дому Армянских, где мы жили. Спиридоновка, Гранатный переулок, дом 2...* — Знаменитый «дом-утюг» на углу Спиридоновки и Гранатного переулка. Здание состоит из двух частей, построенных в разное время архитектором Г.А. Кайзером (1899) и архитектором В.А. Величкиным (1902). Ветхие владения на «стрелке» Гранатного и Спиридоновки купили братья Николай и Михаил Армянские в 1897 г., построили большой доходный дом и сами занимали целый этаж. В разное время здесь жили такие известные люди, как архитектор С.Б. Залесский, писатель Б.К. Зайцев, режиссер А.Я. Таиров и др.

С. 33. *Мюр-и-Мерелиз* — московский торговый центр в начале Петровки (ныне ЦУМ), принадлежавший торговому дому (1857–1922), основанному шотландцами Арчибалдом Мерилизом и Эндрю Мюром. После пожара 24 ноября 1900 г., когда от магазина остались одни стены, по проекту архитектора Р.И. Клейна в 1908 г. построили новый центр с новаторскими для того времени справочной, комнатой ожидания, рестораном и двумя электрическими лифтами для покупателей. Это был первый в России торговый центр для людей среднего класса, где можно было купить все (кроме продуктов).

*Бильдерлингсгоф* (ныне Булдури) — с 1840 г. дачное место на Рижском взморье с лесопарком и лютеранской церковью близ моря на реке Аа (ныне Лиелупе).

*Ассерн* (ныне Ассари) — городок на Рижском взморье, по линии Буллен — Булдури — Меллужи, знаменитый клубничными садами.

*...Булиным, где мы снимали дачу.* — Имеется в виду остановочный пункт Буллен (Булли), ныне Лиелупе, ближайшая к Риге приморская станция.

С. 34. *Тукум 2-й* (Тукумс 2) — железнодорожная станция в 65 км от Риги при небольшом, окруженном садами городке.

С. 35. *Мы оба решили стать художниками.* — В фонде В.С. Варшавского хранятся многочисленные рисунки карандашом и пером (портреты, жанровые сцены, анималистика, шаржи), сделанные им в возрасте 10–14 лет. Там же хранится несколько рисунков карандашом и акварелью брата Юрия Варшавского (ДРЗ. Ф. 54).

С. 36. *«Роковая рубапоня», — говорил Юра или я, и мы, улыбаясь, переглядывались с... понимающим видом...* — Один из примеров «секретного языка» братьев Варшавских. Об этой закодированной форме общения братьев вспоминал Юрий Иваск в письме к Варшавскому от 12 октября 1961 г.: «Но вот помню где-то около Гоголя (памятник скульптора Н.А. Андреева. — *Сост.*) мы говорили. — Не понимаю, что вы говорите... Один из братьев: тебе этого не понять! И мне было обидно» (ДРЗ. Ф. 54).

С. 37. *Рядом с картой — плакат. Казак... зажав Вильгельма между колен, бьет его...* — Вильгельм II Гогенцоллерн (Wilhelm II; 1859–1941), германский император и прусский король в 1888–1918 гг. Варшавский воспроизводит агитационный плакат по памяти довольно точно. Один из таких плакатов хранится в РГАЛИ (Ф. 34. Оп. 2. Ед. хр. 180. Л. 7).

*Скоро прославился подвиг Кузьмы Крючкова.* — Крючков Козьма Фирсович (1890–1919), донской казак, отличившийся в первые же дни войны в бою близ польского городка Кальвария, где он зарубил шашкой и заколол пикой одиннадцать немцев. Награжден Георгиевским крестом 4-й степени — первая георгиевская награда в Великой войне. По всей России его изображали на плакатах, листовках, пачках папирос, почтовых открытках, в кинохронике.

С. 38. *...цитата из Шпенглера: «Война — это первичный факт жизни, война — это сама жизнь».* — Цитата из сочинения немецкого философа и историка Освальда Шпенглера (Spengler; 1880–1936) «Человек и техника» (1931). Вероятно, Варшавский цитирует амер. изд.: Man and Technics. N.Y.: Alfred Knopf, 1932. P. 22.

*Особенно мне нравился бой в «Ангеле Смерти».* — «Ангел смерти. Восточная повесть» — поэма М.Ю. Лермонтова, датируемая 4 сентября 1831 г. (опубл. 1857).

*А в казачьей колыбельной «злой чечен» убил отца малютки.* — Автор отсылает к стихотворению М.Ю. Лермонтова «Казачья колыбельная песня» (1839).

С. 42. *...никто мне раньше не говорил, что извозчики не должны так бить лошадей. Только много лет спустя я прочел об этом у Достоевского.* — Имеется в виду первый сон Раскольникова — об убийстве лошади — в романе «Преступление и наказание» (1866; ч. 1, гл. 5).

С. 43. *Болшево* — известное подмосковное дачное место по Ярославскому направлению.

С. 45. *...«Эти бедные селенья, эта скудная природа».* — Первые строки из стихотворения Ф.И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855).

*Один философ сказал: «Животные знают, но не знают, что они знают».* — Возможно, Варшавский имеет в виду утверждение сэра Джона Экклза (Eccles; 1903–1997): «Кто-то правильно сказал, что животные что-то знают, но только человек знает, что он знает» (*Экклз Д.С.* Эволюция и сознательная личность // Человеческий разум. Обсуждение на Нобелевской конференции в 1967 г. / под ред. Д. Рosланского. Amsterdam: North-Holland Publishing Co, 1967. С. 10).

С. 48. *...я шел в гимназию без страха.* — Владимир Варшавский учился в частной мужской гимназии Александра Ефимовича Флерова, открывшейся в 1910 г. (Москва, Мерзляковский пер., д. 11).

С. 50. *...его возненавидели, называли* синяя говядина. — Прозвище «синяя говядина» закрепилось за гимназистами, когда в их форме стал преобладать синий цвет в соответствии с очередным указом о гражданских мундирах 1886 г. Подробнее об этом см.: *Хорошилова О.А.* Костюм и мода Российской империи: Эпоха Николая II. М.: Этерна, 2012.

С. 51. *...книжонки приключений Пинкертона и Ника Картера...* — «Король сыщиков» Нат Пинкертон, литературный персонаж, прототипом которого послужил шотландец Алан Пинкертон (Pinkerton; 1819–1884), в 1842 г. эмигрировавший в США, где, поработав в полиции, в 1850 г. открыл ставшее известным частное агентство. Самые известные его дела — предотвращение покушения на президента Линкольна в Балтиморе в 1861 г. и арест организатора кражи 700 тысяч долларов в железнодорожной компании «Адамс Экспресс». Ник Картер — один из старейших литературных детективов, рассказы и повести о нем, написанные разными авторами, публикуются с 1886 г. до сих пор.

С. 54. *...над знакомым двором гимназии Адольфа...* — Имеется в виду московская 5-я гимназия, которую основал педагог и филолог Андрей Викентьевич Адольф (1857–1905), находилась на Малой Никитской улице, идущей параллельно Гранатному переулку. Приват-доцент Московского университета, в 1903 г. А.В. Адольф получил степень доктора римской словесности и, выйдя в отставку, создал гимназию, в которой главным был «принцип свободы», приучения учеников к ней с ранних лет «через самодеятельность и самовоспитание». Гимназия называлась его именем и после его смерти.

С. 55. *В Киеве были немцы, гайдамаки, Скоропадский, добровольцы с трехцветными углами на рукавах. <...> Потом немцы ушли, и пришел Петлюра.* — В 1918–1919 гг. власть в Киеве менялась несколько раз. 9 февраля 1918 г. его захватили большевики; 1 марта 1918 г. Киев и бóльшую часть Правобережья заняли немецкие и австро-венгерские войска; 29 апреля 1918 г. при поддержке Германии к власти пришел гетман Павел Петрович Скоропадский (1873–1945), объявивший об образовании Украинского государства. А в Белой Церкви под Киевом в том же году возникла Директория Украинской народной республики (УНР), во главе с Владимиром Кирилловичем Винниченко (1880–1951) и Симоном Васильевичем Петлюрой (1879–1926), которая подняла восстание против Скоропадского. Тот отрекся от власти и бежал с немцами в Берлин. 14 декабря 1918 г. Директория стала высшей законодательной и исполнительной властью на Украине, а в феврале 1919 г. вся полнота власти перешла к Петлюре. Но вскоре его изгнали большевики, их сменили деникинцы, в декабре 1919 г. вновь вернулись большевики. В мае 1920 г. в Киев вошли поляки, продержавшиеся месяц. Петлюра в 1920 г. эмигрировал, был убит в Париже в 1926 г.

Гайдамаки — участники антипольских восстаний на Украине до XVIII в., в данном случае термин использован, видимо, как анахронизм для бунтующего населения националистической ориентации.

С. 56. *...пришел Григорьев.* — Григорьев Николай Александрович (1885–1919), офицер Русской императорской армии, с 1917 г. полковник войск УНР. Во время Гражданской войны известен как атаман Григорьев, инициировал партизанскую войну против немцев и гетманцев, занимал неоднозначную позицию, переходя в разное время на сторону Петлюры, Красной армии, Нестора Махно. В мае 1919 г. возглавил крупнейшее антибольшевистское восстание на Украине (Григорьевский мятеж). 27 июля 1919 г. расстрелян махновцами.

С. 57. *...опускала груз в трюм* пришвартованного *миноносца «Живой».* — В архиве Владимира Варшавского сохранился постоянный пропуск со штампом эскадренного миноносца «Живой», оформленный на имя брата. На документе значится: «Разрешается скауту Варшавскому Юрию проходить на Живой. Январь 1920. № 712. Рейд: Севастополь» (ДРЗ. Ф. 54).

С. 58. *На улице Пера в толпе слышалась русская речь, встречалось много добровольческих офицеров... <...> Бывшие полковники продавали пончики и русскую газету.* — На улице Пера, в частности, находилась ежедневная литературно-политическая и финансовая газета «Вечерняя пресса» («Presse du soir», 1920–1925; адрес: Константинополь, Пера, Асмали-Месджид, д. 35), в которой в 1920–1923 гг. работал отец писателя Сергей Иванович Варшавский.

*...мы ходили в «Русский маяк» на улице Брусса.* — В фонде Варшавского хранятся членские билеты Владимира Варшавского (№ 32) и Георгия Варшавского (№ 33) Русского спортивного кружка «Русский маяк» сезона 1921 г. (ДРЗ. Ф. 54). Благотворительное учреждение «Русский маяк» было создано в начале 1920 г. в Константинополе на деньги YMCA и открыто на улице Брусса, д. 40, став прибежищем для большинства эмигрантов. Это был настоящий очаг культуры, где проходили лекции и концерты, выставки, работали библиотека и русская школа для детей. Часто устраивались танцевальные вечера. Кроме того, руководство «Маяка» организовало доступную столовую, душевую комнату, зал для отдыха и бесплатный ночлег. См. об этом: *Anderson P.B.* No East or West. Paris: YMCA-Press, 1985; *Deleon J.* The White Russians in Istanbul. Istanbul: Remzi Kitabevi, 1995; *Шаховская З.* Таков мой век. М.: Русский путь, 2006; *Miller M.L.* The American YMCA and Russian Culture: The Preservation and Expansion of Orthodox Christianity, 1900–1940. N.Y.: Lanham, 2013; и др.

*...молодой поэт Борис Глебов.* — Прототип Бориса Глебова поэт Б.Ю. Поплавский прибыл в Константинополь в марте 1919 г. вместе с отцом Юлианом Игнатьевичем (1871–1958). Летом они вернулись в Россию и в 1920 г. эмигрировали окончательно, снова перебравшись в Константинополь. В Константинополе Поплавский часто бывал в «Русском маяке», о чем упоминает в своем дневнике (см.: *Поплавский Б.* Дневник 1921–1922. Константинополь–Париж // Собр. соч.: в 3 т. М.: Книжница; Русский путь; Согласие, 2009. Т. 3. С. 153–250). В мае 1921 г. Борис Поплавский вместе с отцом уехал во Францию.

*...где собирались скауты.* — Владимир и Юрий Варшавские стали бойскаутами еще в России. В 1919 г. они вошли в состав 3-го Одесского отряда бойскаутов, в феврале 1920 г. — 1-го отряда Севастопольской имени Олега Пантюхова дружины скаутов. В эмиграции в том же году братья вступили в Константинопольский отряд русских скаутов. Различные скаутские материалы и документы (удостоверения, фотографии, в том числе с автографом старшего скаута Олега Пантюхова, скаутский дневник В.С. Варшавского и т.д.) хранятся в фонде В.С. Варшавского (ДРЗ. Ф. 54).

С. 59. *Мы поступили в открывшуюся на улице Галата русскую гимназию.* — Речь идет о 1-й Константинопольской гимназии Всероссийского союза городов (ВСГ). По воспоминаниям первого директора гимназии Адриана Петрова, она была учреждена отношением от 25 сентября 1920 г. за № 11289, по которому Правительство Юга России разрешило Главному комитету ВСГ открыть в Константинополе гимназию со всеми правами русских правительственных учебных заведений за границей. Подробнее об этом см: *Петров А.П.* Первая Константинопольская гимназия Всероссийского Союза Городов // Русская школа за рубежом. Кн. 9. Прага: Изд. Объединения земских и городских деятелей в Чехословакии, 1924. С. 92–105.

*...гимназию скоро перевели в Чехословакию, в Моравскую Тщебову, разместили там в бараках бывшего лагеря для русских военнопленных.* — Moravská Třebová (*чеш.*) — Моравска Тршебова (также: Моравска Тржебова), город на северо-востоке Чехии в регионе Моравия. По воспоминаниям А.П. Петрова, вопрос о переезде гимназии из Константинополя возник в сентябре 1921 г. из-за сокращения расходов

на школу Земско-городского комитета в Париже (см.: Там же. С. 101). Это побудило одну из основательниц гимназии видного общественного деятеля А.В. Жекулину поехать в Европу изыскивать средства. В Праге «она встретила необычайно радушный, чисто родственный прием со стороны Чешского правительства... ...Оно изъявило согласие принять гимназию в составе 550 учащихся и около 100 человек персонала... по крайней мере на год» (Там же. С. 105). Переезд проходил под патронажем Лиги Наций и Международного Красного Креста. Учащиеся были разделены на 14 групп, первая партия покинула Константинополь 18 декабря 1921 г., а 5 января 1922 г. в Моравску Тршебову прибыла последняя партия гимназистов и персонала. Судя по «отпускным билетам», выданным воспитанникам VI класса Юрию и Владимиру Варшавским, братья выехали из Константинополя 21 декабря 1921 г. (ДРЗ. Ф. 54).

В Чехословакии гимназия стала называться Русской реальной реформированной гимназией в Моравской Тршебове и просуществовала до 1935 г., после чего слилась с Русской гимназией в Праге. Как заметил ее последний директор В.Н. Светозаров: «На родственной славянской земле гимназия устроена была в очень красивой местности около Моравской Тржебовы и заняла оставшийся после мировой войны лагерь, который имеет 32 здания со всеми необходимыми приспособлениями» (*Светозаров В.Н.* Русская гимназия в Моравской Тржебове, 1920–1930 годы. Б.м. [1930]. С. 12).

*Папе послали телеграмму, и он приехал из Константинополя.* — С переездом русской гимназии в Чехословакию семья Варшавских была разделена. Юрий и Владимир, а также их сестра Наталья и мать Ольга Петровна Норова поселились в Моравской Тршебове, а отец остался в Константинополе. В 1921 г. Наталья Варшавская окончила гимназию (см. об этом: Там же. С. 38). В конце того же года она вместе с матерью перебралась в Прагу, а братья Варшавские продолжили обучение в гимназии. «С отъездом мамы вы вступаете в полосу новой, самостоятельной жизни», — писал сыновьям С.И. Варшавский из Константинополя 21 января 1922 г. (ДРЗ. Ф. 54). В итоге Владимир Варшавский один справлялся с выпавшими на его долю испытаниями. Большим потрясением стала для него болезнь брата, начавшаяся в конце 1922 г. 10 января 1923 г. Владимир пишет отцу: ««Дорогой Папик! Поздравляю тебя с Новым годом и желаю, чтобы наступающий 1923 год положил конец нашим невзгодам, чтобы Юра выздоровел и чтобы ты мог наконец бросить Константинополь и приехать к нам» (Там же). Однако, судя по полицейскому делу С.И. Варшавского (NA ČR. F. PŘ. 1941–1951. K. 12105. Sign. V1115/2), он прибыл в Чехословакию только 1 марта 1923 г., а через неделю (8 марта) Юры Варшавского не стало. См. об этом также: *Васильева М.А.* Семья Варшавских в Праге // Русская акция помощи в Чехословакии: История, значение, наследие / сост. Л. Бабка, И. Золотарев. Прага: Национальная библиотека ЧР — Славянская библиотека; ГО «Русская традиция», 2012. С. 301–308.

*В этот день хоронили другого мальчика. <...> Отец мальчика, известный генерал, опоздал на похороны...* — Речь идет о Георгии Баратове (1908–1923), сыне генерала Николая Николаевича Баратова. Имя Георгия Баратова наряду с именами сотрудников и учащихся Русской гимназии значится на общей могильной плите, установленной на кладбище в Моравской Тршебове. О Г.Н. Баратове см. также: *Светозаров В.Н.* Русская гимназия в Моравской Тржебове... С. 37 (раздел «Скорбная страница»).

С. 60. *...я прочел у Карлейля, в «Сартор Резартус»...* — «Sartor Resartus. Жизнь и мнения профессора Тейфельсдрека» (1833–1834) — философско-публицистический роман английского писателя, публициста, философа, историка Томаса Карлейля

(Carlyle; 1795–1881), в котором история человечества представлена сатирически как ряд переодеваний в новые одежды, тогда как социальное неравенство, несправедливость сохраняются. В целом Карлейль исповедовал романтический «культ героев» как единственных творцов истории.

С. 60–61 *...я поехал на побывку в Прагу, где поселились тогда мои родители.* — В период пребывания Владимира Варшавского в Чехословакии его семья жила по следующим пражским адресам: Hálkova, 53 (конец 1922 — начало 1925); Nerudova, 7 (в течение 1925); Na Švihance, 8 (конец 1925 — июнь 1926) (NA ČR. F. PŘ. 1921–1930. K. 3956. Sign. V549/50).

С. 61. *Она шла мне навстречу, как «прекрасный корабль» Бодлера.* — Имеется в виду стихотворение Шарля Бодлера (Baudelaire; 1821–1867) «Прекрасный корабль» (1857) из книги «Цветы зла», по одной из версий относящееся к циклу, посвященному артистке Мари Добрен, «женщине с зелеными глазами». Однако литературовед Жак Крепе, знаток жизни и творчества Бодлера, считал героиней стихотворения Жанну Дюваль, экзотическую женщину полусвета, мулатку, содержанку, воплощение антимещанских идеалов романтиков, — чувство к ней Бодлера было долгим и глубоким.

*...скоро осень, надо возвращаться в Прагу, держать экзамены.* — Осенью 1922 г. Варшавский поступил на Русский юридический факультет Карлова университета, где С.И. Варшавский читал курс по уголовному процессу. В мае 1926 г. В.С. Варшавский взял академический отпуск и уехал на лечение в Париж, в октябре 1927 г. вернулся в Прагу, чтобы сдать экзамены, и в том же году уехал в Париж навсегда, не завершив обучения (см. студенческое дело В.С. Варшавского в Фонде Комитета по обеспечению образования русских и украинских студентов в ЧСР [NA ČR. K. 183]). Вместо диплома он получил «Свидетельство» (от 30 июня 1929 г. № 254) с перечнем прослушанных курсов и выдержанных экзаменов (ДРЗ. Ф. 54).

С. 62. *...настоящий художник, таможенник Руссо...* — Руссо Анри (Rousseau; 1844–1910), один из самых известных представителей «наивного искусства», или примитивизма, самоучка. Получил прозвище Таможенник (Le Douanier), так как после службы в армии и до 1893 г. работал на французской таможне. В романе имеется в виду его картина «Бретонский пейзаж. Лето» (1906).

С. 64. *Я стал евразийцем. Меня обратил бывший добровольческий офицер из студентов.* — О кратком увлечении Варшавского евразийством вспоминал его друг по русскому Парижу инженер, архитектор и общественный деятель Николай Андреевич Суворов: «В ту же эпоху (в 26 году) Володя очень увлекался евразийцами, теории которых имели некоторый успех...» (Н.А. Суворов — Т.Г. Варшавской. 18 июня 1979 г. // ДРЗ. Ф. 54). О том, что Варшавский посещал в Париже собрания евразийцев, упоминал в письме к нему востоковед, дипломат и евразиец Василий Петрович Никитин (В.П. Никитин — В.С. Варшавскому. 25 апреля 1956 г. // Там же). Немалую роль в увлечении евразийством могла сыграть и активная разработка евразийской доктрины преподавателями Русского юридического факультета Карлова университета, студентом которого в 1923–1927 гг. был Варшавский. Однако увлечение было недолгим; в книге «Незамеченное поколение» (1956) писатель посвятил критическому разбору евразийства часть главы об эмигрантских пореволюционных течениях (см.: *Незамеченное поколение, 2010.* С. 29–43).

*Незадолго до войны он участвовал в убийстве важного невозвращенца...* — Речь идет об организованном НКВД убийстве советского невозвращенца, сотрудника ИНО ОГПУ Игнатия (Игнаса) Станиславовича Рейсса (наст. имя и фам. Натан Мар-

кович Порецкий; 1899–1937). 4 сентября 1937 г. Рейса застрелили по приказу иностранного отдела НКВД. Организацию убийства взял на себя «Союз возвращения на родину», одним из руководителей которого был С.Я. Эфрон.

*...у Андре Жида в «Палюд» я прочел: «Жизнь — жизнь других людей! что это значит — жить?»* — «Болота» («Paludes», 1895, иногда переводят как «Топи») — философско-притчевая повесть французского писателя, лауреата (1947) Нобелевской премии Андре Жида (Gide; 1869–1951).

С. 66. *...знаменитая монпарнасская натурщица Кики...* — Кики — псевдоним натурщицы, певицы в ночных клубах, актрисы, художницы, одной из первых звезд экрана Алисы Эрнестины Прен (Prin; 1901–1953), в 1910–1920-е гг. легенды и символа Монпарнаса, его «модели № 1». Она позировала всем знаменитостям Монпарнаса — Модильяни, Фуджите, Кислингу, Сутину, Дерену, Пикассо... В 1924 г. фотограф, художник, кинематографист Ман Рэй сделал ее главной моделью в своем фотоэксперименте (рэе-графии); его коллажное изображение Кики под названием «Скрипка Энгра» — один из самых известных снимков в истории фотоискусства. А. Прен издала мемуары на французском (1929) и английском с предисловием Э. Хемингуэя (1930). Рус. пер. см.: Мемуары Кики / предисл. Э. Хемингуэя и Фуджиты; пер. с англ. и фр. Н. Семонифф; коммент. И. Соболевой. [Б.м.]: Salamandra P.V.V., 2011.

*...романтические развалины на картине какого-то художника, может быть, Клода Лоррена...* — Лоррен Клод (Lorraine; 1600–1682), французский живописец и график, классицист; тонко используя эффекты освещения, создавал мечтательно-элегические «идеальные пейзажи».

С. 68. *...пасмурный простор Этан-де-Бер.* — Этан-де-Берр — огромное озеро (длина 20 км, ширина 16,5 км) недалеко от Марселя, у берегов Средиземного моря.

С. 70. *...читая Нагорную проповедь...* — См.: Мф. 5–7; Лк. 6:17–49.

*Он настаивал, чтобы я возвращался... продолжать учиться в Сорбонне.* — В регистрационной карточке Нью-Йоркской публичной библиотеки (6 апреля 1951) В. Варшавский указывает период обучения в Сорбонне: 1928–1930 гг. В фонде В.С. Варшавского хранится также его удостоверение студента факультета литературы Парижского университета (№ 4627) за 1928/29 учебный год (ДРЗ. Ф. 54).

С. 71. *...профессор, снисходительно улыбаясь, неожиданно говорит: «Так ставит проблему Леон Дюги, но в моей последней работе я показал ошибочность его предпосылок».* — Дюги Леон (Duguit; 1859–1928), французский юрист, декан юридического факультета в Бордо, теоретик права, конституционалист. Основываясь на идеях французских социологов О. Конта, Э. Дюркгейма, разработал популярную в начале XX в. теорию социальной солидарности людей. В обществе, делящемся на классы, каждый класс выполняет свою социальную миссию, сотрудничество классов в процессе разделения труда ведет к мирному преодолению теневых сторон жизни общества. В результате возникает юридическая норма как верхний слой социальной нормы: «не делать ничего, нарушающего социальную справедливость, и делать все возможное для ее реализации и увеличения». О Леоне Дюги см. также: *Варшавский В.* Из записок бесстыдного молодого человека (Наст. изд. С. 324–325).

*...я перечитал «Смерть Ивана Ильича».* — Повесть Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» (опубл. 1886).

С. 72. *...в то время я* открыл *Бергсона.* — Бергсон Анри (Bergson; 1859–1941), французский философ, представитель интуитивизма, считавший, что жизнь человека — это творческий порыв, но способность к творчеству, связанная с иррациональной интуицией, дается как божественный дар лишь избранным. Бергсон ока-

зал большое влияние на Варшавского: «Когда я шел и смотрел, я знал — это правда, я вижу правду и должен так писать, это дойдет когда-нибудь до людей. Но когда я попадал в среду людей, моя уверенность пропадала. <...> Но теперь я вспоминаю: людей уверенных в своем мнении слишком много и их способность критиковать не только мои картины сокрушает, но и самое великое. Я особенно это почувствовал, когда читал критику на Бергсона. Людей, способных построить стройную систему мысли, очень много, и вот эти искусные строители карточных домиков воображают, что они поняли больше гения, обладавшего великим даром интуиции, и развязно указывают на недостатки его мысли» (*Варшавский В.С.* Посередине века моя жизнь изменилась... [Заметки 1950–1960-х гг.] // ДРЗ. Ф. 54).

*Меня взволновали его слова о возможности победы над смертью: «Все человечество в пространстве и времени, как огромная армия, движется рядом с каждым из нас, впереди и позади нас, увлекая нас на приступ, способный сломить всякое сопротивление...»* — Скорее всего, Варшавский читал книгу А. Бергсона в оригинале. Ср.: *Бергсон А.* Творческая эволюция / пер. М. Булгакова. М.: Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1909. С. 293.

*Особенно повлияла на меня книга Бергсона «Два источника морали и религии».* — См.: *Bergson H.* Les deux sources de la morale et de la religion. Paris: Felix Alcan, 1932 (рус. изд.: *Бергсон А.* Два источника морали и религии / пер. А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1994).

*Как та женщина у Толстого, в «Фальшивом купоне».* — Речь идет о Марии Семеновне Добротворовой, одной из героинь повести Л.Н. Толстого «Фальшивый купон» (1904).

*...он выступал повсюду, где только соглашались его слушать: в кружках студенческого христианского движения, у евразийцев, у младороссов, в Пореволюционном клубе и даже в Союзе русских дворян.* — Основные выступления межвоенных лет прототипа Кладинского — И.И. Фондаминского зафиксированы в издании: Русское зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни: 1920–1940. Франция: в 4 т. / под общ. ред. Л.А. Мнухина. М.: ЭКСМО; Paris: YMCA-Press, 1995–1997. По-своему об этом вспоминал В. Яновский: «Фондаминский распылял свои силы, стремясь проникнуть в максимальное число организаций и кружков, чтобы повсюду рассказывать о русском гуманизме... Предполагалось, что если его и нас приглашают, то этим самым еще одна позиция завоевана — светлыми силами!» (*Яновский В.* С. 56–57).

Варшавский перечисляет различные пореволюционные течения и организации русского зарубежья. Евразийство — движение в среде русской эмиграции в 1920—1930-е гг. Начало ему положил сборник статей Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Г.В. Флоровского и П.П. Сувчинского «Исход к Востоку» (София, 1921). О перекличках идей И.И. Фондаминского с евразийством см., например: Н.С. Трубецкой — Р.О. Якобсону. 28 июля 1921 г. // Письма и заметки Н.С. Трубецкого. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 21; *Струве Г.* Русская литература в изгнании. Краткий биографический словарь русского зарубежья. Париж: YMCA-Press; М.: Русский путь, 1996. С. 51.

Младороссы — «Молодая Россия» — движение русской эмигрантской молодежи во главе с А.Л. Казем-Беком (1902–1977); возникло в Мюнхене в 1923 г. на Всеобщем съезде национально мыслящей молодежи, с 1925 г. — «Союз младороссов», в 1934 г. он преобразован в Младоросскую партию; основная идея движения — восстановление в России ее исконного монархического строя, главный лозунг — «Царь и Советы». Младороссы открыто контактировали с советскими властями, чем пользова-

лось ГПУ (см. подробнее: *Незамеченное поколение, 2010*). О связях Фондаминского с младороссами см., например: *Ходасевич В.Ф.* Камер-фурьерский журнал. М.: Эллис лак, 2002. С. 305; *Массип М.* Истина — дочь времени. Александр Казем-Бек и русская эмиграция на Западе. М.: Языки славянской культуры, 2010. С. 320; *Яновский В.* С. 78.

Пореволюционный клуб — основан 1 мая 1932 г. по инициативе Парижского отдела Союза российских национал-максималистов. Официально открыт 16 ноября того же года. Объединял писателей, журналистов, представителей политического, научного, артистического мира (М.И. Цветаева, М.А. Алданов, Ю. Фельзен, Г.В. Адамович, Г.П. Федотов и др.), считавших себя «пореволюционерами» и входивших в различные политические партии и группы: национал-максималисты, утвержденцы (группа вокруг журнала «Утверждения»), новоградцы (группа вокруг журнала «Новый Град»), евразийцы, неодемократы, устряловцы, русские национал-социалисты, младороссы. Идейные установки клуба: примат духовного начала над материальным, антикапитализм и антикоммунизм; признание революции как пути к России завтрашнего дня; утверждение вселенского исторического призвания России. В клубе по средам проходили еженедельные вечерние собрания — с докладами и диспутами по актуальным идеологическим проблемам; в 1935 г. лекции читали Н.А. Бердяев, Г.П. Федотов, Н.Н. Алексеев и др.

Союз русских дворян во Франции — его председателем был Павел Павлович Менделеев (1863–1951), юрист, предводитель дворянства Тверской губернии, с 1919 г. живший сначала в Лондоне, затем в Париже.

*Задумав восстановить в эмиграции «орден русской интеллигенции», он начал устраивать у себя собрания, на которые приглашал эмигрантских сыновей...* — Имеется в виду основанное Фондаминским в 1935 г. литературно-философское объединение «Круг». Понимание интеллигенции как «ордена» соотносится с масонством (в том числе самого Фондаминского), однако масонской концепцией не исчерпывается. Выступление И.И. Фондаминского, где он говорил о «целостном духовном состоянии»» и «новом религиозном осознании мира» как важнейших задачах «ордена русской интеллигенции», стало одним из первых на заседании литературного общества «Зеленая лампа» в 1927 г. (Зеленая лампа. Беседа III // Новый корабль. 1927. № 2. С. 43–46). Его программная речь спровоцировала ответную полемическую речь Д.С. Мережковского «Русская интеллигенция как духовный орден (по поводу речи И.И. Бунакова)», в полемике приняли также участие Ф.А. Степун, З.Н. Гиппиус. Г.В. Адамович, В.А. Злобин, Н.А. Оцуп и др. (см.: Зеленая лампа. Беседа IV // Новый корабль. 1928. № 4. С. 40–48). Тема стала сквозной в журнале «Новый Град» и была поднята в первом номере в программной статье Фондаминского (*Бунаков И.* Пути освобождения. (Доклад) // Новый Град. 1931. № 1. С. 47–48).

С. 73. *Это было, когда умерла моя жена.* — Фондаминская Амалия Осиповна (урожд. Гавронская; 1882–1935), жена И.И. Фондаминского, умерла от туберкулеза. В кругу русской эмиграции она была, по определению З.Н. Гипппиус, «единственной, “особенной”» (*Гиппиус З.Н.* Негасимая свеча. (Памяти Амалии Фондаминской) // Последние новости. Париж, 1935. 22 июня. № 5203. С. 3). В 1937 г. в Париже вышел сборник «Памяти Амалии Осиповны Фондаминской», собранный другом семьи В.М. Зензиновым.

*...я... ненавидел утверждения Бертрана Рассела, что человек, со всеми его надеждами, страхом, любовью и верованиями, только порождение случайного сцепления атомов и человечество обречено бесследно исчезнуть в грядущей неизбежной гибели Солнечной системы.* — Рассел Бертран (Russell; 1872–1970), британский философ,

математик, публицист, родоначальник неореализма и так называемой аналитической философии. В эссе «Поклонение свободного человека» (1903) он утверждал, в частности, что «человек есть продукт действия причин, не подозревающих о цели, к которой направлены; что его рождение, рост, его надежды и страхи, его любовь и вера суть лишь результат случайного сцепления атомов... что вся многовековая работа, все служение, все вдохновение, весь блеск человеческого гения обречены на то, чтобы исчезнуть вместе с гибелью Солнечной системы...» (*Рассел Б.* Почему я не христианин. Избранные атеистические произведения / пер. с англ. М.: Политиздат, 1987. С. 16). Варшавскому был чужд неопозитивизм Рассела, которому он противопоставлял эволюционную феноменологию Тейяра де Шардена. В заметках конца 1950-х гг. писатель зафиксирует: «За чтением Тейяра. <...> Когда я об этом читаю, о таком преображении, о возможности его, я всегда сразу чувствую, что именно этого я всегда хотел, что именно об этом всегда думал, что без этого я не мог согласиться на жизнь, на мироздание... <...> ...Сердце начинало биться радостно и с надеждой, и вдруг я верил сразу, что всё, что было против этого, было обманом — Рассел, Камю и т.д.» (*Варшавский В.С.* Посередине века моя жизнь изменилась... [Заметки 1950–1960-х гг.] // ДРЗ. Ф. 54).

С. 75. *...наши сборища в этом знаменитом монпарнасском кафе.* — Атмосфера парижского бульвара Монпарнас с его открытыми всю ночь кафе, в которых собирались русские эмигранты, воспроизведена Варшавским в книге «Незамеченное поколение» (1956). Подробнее всего он пишет о кафе «Ротонда» («Le Rotonde» — 105, Bd. du Montparnasse) — центре литературно-артистической жизни межвоенного Парижа (о русских эмигрантах в «Ротонде» см.: *Богомолов Н.А.* Из истории одного культурного урочища русского Парижа // Новое литературное обозрение. 2006. № 81 (5). С. 143–163).

*Год тому назад он покончил самоубийством.* — Поэт Б.Ю. Поплавский (прототип Бориса Глебова) умер 9 октября 1935 г. По замечанию В.Ф. Ходасевича, «Борис Поплавский умер случайно: от слишком большой дозы недоброкачественного наркотического вещества. Доза могла быть меньше, вещество могло быть лучше — Поплавский остался бы жив. Таково общее мнение. От некоторых друзей покойного... я слышал, что, может быть... Поплавский умер по своей воле» (*Ходасевич В.Ф.* О смерти Поплавского // Возрождение. 1935. 17 окт. № 3788. С. 3). Отклики эмигрантской прессы на смерть Поплавского см. в изд.: *Поплавский Б.Ю.* Неизданное: Дневники, статьи, стихи, письма / сост. и коммент. А. Богословского, Е. Менегальдо. М.: Христианское изд-во, 1996. С. 404–413; см. также: *Яновский В.* С. 30–32.

*Неужели вы за Мюнхен*? — Имеется в виду Мюнхенское соглашение (Мюнхенский сговор), подписанное 30 сентября 1938 г. в Мюнхене премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье, премьер-министром Италии Бенито Муссолини и рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, в результате которого Германии передавалась входившая в состав Чехословакии Судетская область.

С. 76. *...яма переулка, где я жил; среди заборов облитый почти мавританской белизной куб многоэтажного дома.* — Переехав в 1926 г. из Праги в Париж, Варшавский поселился вместе с матерью О.П. Норовой на ул. л'Эсперанс (27, Rue de l'Espérance, Paris 13).

С. 79. *У меня французская солдатская книжка.* — 15 сентября 1939 г. Владимир Варшавский добровольно вступил в ряды французской армии, эта дата значится, в частности, в документе, выданном ему 5 июля 1945 г. в Центре демобилизации

(Fiche de démobilisation. № 34754. Centre de démobilisation de la Seine Rive Gauche // ДРЗ. Ф. 54). Он был зачислен солдатом 2-го класса и принял участие в боях в составе 9-й роты 19-го пехотного полка (см.: Citation. Ordre № 1972/C. Le Ministre de la guerre, Paul Coste-Floret // Там же).

*Передо мной покато подымался «Бульмиш».* — Разговорное сокращенное название бульвара Сен-Мишель.

С. 80. *...как на изображениях эламитских воинов...* — Эламиты — народ древнего государства (3-е тыс. — сер. VI в. до н. э.) на юго-западе современного Ирана. Столица — город Сузы. Этот народ возник, видимо, в результате смешения пришлого семитского населения и темнокожего местного.

*...Мануша сказал: «Силе национал-социализма, стремящейся к злу, уничтожению других, народы, которые хотят сохранить свою свободу, должны противопоставить силу же».* — Описанное Варшавским выступление Мануши Кладинского перекликается с положениями статьи «От редакции», напечатанной в последнем номере «Нового Града» (1939. № 14. С. 5–15).

С. 83. *Последним говорил Ваня Иноземцев.* — О вхождении будущего героя движения Сопротивления Бориса Вильде в «Круг» Варшавский вспоминал в статье памяти друга: «Теперь нам кажется естественным, что именно в этом кружке Б. Вильде должен был стать одним из самых главных деятелей. Но тогда мы еще сомневались» (*Варшавский В.* Борис Вильде. С. 13; см. также: Наст. изд. С. 367). О необоснованных сомнениях в адрес Бориса Вильде вспоминал и В. Яновский: «...когда предложили кандидатуру Вильде в этот внутренний “Круг”, то вдруг раздались возражения... <...> Мне и Варшавскому, кажется, было поручено инициативной группой встретиться с ним и “выяснить” все. Что мы могли выведать? Не потенциальный ли он предатель, оппортунист? Мы выполнили наказ, честно посидели в неурочный час, выпили что-то и “прозондировали” почву. В результате нашего доклада, на квартире Фондаминского, Вильде был принят во внутренний “Круг”» (*Яновский В.* С. 28).

*Это Даладье говорил по радио.* — Даладье Эдуард (Daladier; 1884–1970), премьер-министр Франции в 1938–1940 гг. Скорее всего, описывается исторический момент разрыва дипломатических отношений между Францией и Германией 3 сентября 1939 г. — в этот день в 17 часов Франция вступила в войну. В обращении к народу, которое транслировалось по радио 4 сентября 1939 г., Даладье говорил: «Вступая в борьбу с ужаснейшей тиранией, верные нашим обязательствам, мы защищаем нашу землю, наши очаги, нашу свободу». См. об этом: *Малафеев К.А., Демидов С.В.* Эдуард Даладье: человек и политик // Новая и новейшая история. 2001. № 4. С. 98–123. См. также: *Du Réau E.* Eduard Daladier, 1884–1970. Paris: Fayard, 1993; *Дю Рео Э.* Внешняя политика Франции и франко-советские отношения в первые месяцы «Странной войны» (сентябрь 1939 — март 1940) // Вестник МГИМО. 2009. Спец. выпуск. С. 204–210; и др.

С. 84. *...как хорошо будет, если я отличусь и получу военный крест...* — О реальных событиях в своей биографии Варшавский упоминает в романе вскользь. После войны распоряжением военного министра Франции Поля Косте-Флоре от 8 января 1947 г. он был награжден известной французской военной наградой — Военным крестом с серебряной звездой (Croix de guerre avec Étoile d’Argent; см.: Citation № 1972/ C. A l’ordre de la division. Varsavsky Vladimir // ДРЗ. Ф. 54).

С. 85. *На торжественном собрании у галлиполийцев профессор с красивой белой бородой сказал об убитых на войне: «Больше сея любви никто не имать, да кто душу свою положит за други своя».* — 22 ноября 1921 г. в основном лагере регулярных ча-

стей Русской армии (более 25 тысяч человек), расположившейся после эмиграции возле Галлиполи, в 200 км от Константинополя, и возглавляемой генералом А.П. Кутеповым, было создано «Общество галлиполийцев»; долгие годы оно активно действовало во Франции и США. Девиз галлиполийцев, выложенный ими из камней в Галлиполи: «Только смерть может избавить тебя от исполнения Долга». Оно и ныне объединяет потомков галлиполийцев. Профессор цитирует: Ин. 15:13.

*Всех поразило, что Николай Георгиевич, несмотря на порок сердца и уже немолодые годы, записался добровольцем.* — Георгий Адамович в 1939 г. вступил в Иностранный легион французской армии, однако участие в боевых действиях не принимал. В сентябре 1940 г. был демобилизован и поселился на юге Франции, в не оккупированной зоне, — в Ницце. Как вспоминает Т.Г. Варшавская, он мечтал о воздушном флоте (в разговоре с авторами комментария). Об участии Г. Адамовича в качестве добровольца во французской армии см.: *Коростелев О.А.* Георгий Адамович, русская эмиграция в Париже и Вторая мировая война [Републикация статьи Г. Адамовича «Смерть и время» / предисл. и примеч. О.А. Коростелева] // Литература. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 1997. Май. № 18. С. 6–7, 13.

С. 91. *Но и этому эмигрантскому алкивиаду случалось делать ошибки.* — Алкивиад (450 до н. э. — 404 до н. э.), древнегреческий афинский политик, оратор, полководец. Варшавский, употребляя его имя нарицательно, имеет в виду хитрость, умение лавировать и использовать в свою пользу даже проигрышные ситуации.

С. 94. *...«une drôle de guerre»...* — Странной, или смешной, войной окрестили сперва американцы (Phoney War), а потом и сами французы период с 3 сентября 1939 по 10 мая 1940 г. во Второй мировой войне, который отличался почти полным отсутствием боевых действий на франко-немецкой границе.

С. 96. *...мучительно-пронзительный выкрик: «Yop la boum!»* — Имеется в виду песня, исполняемая французским эстрадным певцом и киноактером Морисом Огюстом Шевалье (Chevalier; 1888–1972) «Проспер» («Prosper (Yop La Boum!)», 1935).

С. 98. *С той стороны Мёзы жители переходили на наш берег.* — Мёз (Маас) — река во Франции, Бельгии и Нидерландах.

С. 109. *Я даже вспомнил это место из Паскаля: «Когда мы здоровы, мы со страхом думаем о болезни, сожалея, что тогда мы должны будем отказаться от наших страстей, желаний и развлечений, но когда мы действительно больны, нам уже не нужно всего этого».* — Варшавский цитирует философа, физика, математика, литератора Блеза Паскаля (1623–1662): *Pascal B.* Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets. Paris, Deprez, 1669. P. 109. Ср.: *Паскаль Б.* Мысли / пер. с фр., вступ. ст., коммент. Ю. Гинзбург. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1995. С. 262.

С. 112. *Намюр* — город в 65 км от Брюсселя, административный центр валлонской провинции, расположен у впадения реки Самбра в Мёз (Маас).

С. 118. *На берегу рва — вросшие в землю круглые блиндажи. Это и была малая линия Мажино.* — В 1929–1934 гг. на границе с Германией на протяжении около 380 км, от Бельфора до Лонгюйона, французы построили защитную систему укреплений и совершенствовали ее до 1940 г. (названа по имени военного министра, генерала Андре Мажино), но она практически не пригодилась; в 1940 г. гитлеровские войска обошли ее, вышли в тыл, и ее гарнизон капитулировал.

С. 120. *Вейган принял командование...* — Вейган Максим (Weygand; 1867–1965), французский генерал, с мая 1940 г. главнокомандующий французскими вооруженными силами, один из виновников капитуляции Франции.

*...«se faire tuer sur place»...* — Цитата из исторического приказа главнокомандующего французской армией генерала Жозефа Жоффра (Joffre; 1852–1931) от 6 сентября 1914 г. В «Извещении, которое должно быть немедленно доведено до сведения всех, до самой линии фронта», в частности, говорилось: «Войсковая часть, которая не может продвигаться вперед, должна, во что бы то ни стало, удержать захваченное ею пространство и дать лучше себя убить на месте, чем отступить». См. об этом: *Игнатьев А.А.* Пятьдесят лет в строю. М.: Воениздат, 1986. С. 470; см. также: Archives pour la catégorie Lieutenant de Courson. URL: https://largonnealheure1418.wordpress.com/category/petites-histoires/lieutenant-de-courson/

С. 121. *Мне вспомнился фильм «Гибель Помпеи».* — Гуськову вспоминается фильм «Последние дни Помпеи» (США: Студия RKO, 1935, режиссер Эрнест Б. Шодсак), снятый по одноименному роману английского писателя Э. Булвер-Литтона: он завершается страшными сценами гибели этого античного римского города и его жителей, обрушением домов и пр. при извержении вулкана Везувий в 79 г.

С. 133. *Я вспомнил: Туринская плащаница.* — Речь идет о христианской реликвии — четырехметровом полотне, в которое по преданию Иосиф из Арифамеи завернул тело Иисуса Христа после его крестных страданий и смерти (Мф. 27:59–60). На плащанице как будто бы сохранились подлинные отпечатки лика и тела Иисуса. По данным радиоуглеродного анализа плащаница была сделана в Средние века. Вопрос о ее подлинности остается открытым. Хранится в Турине в соборе Св. Иоанна Крестителя.

С. 142. *Бараки, песок, три ряда колючей проволоки. Вышки с пулеметами.* — Лагерю, в который попадает Гуськов, автор не дает названия. Однако очевидно, что это немецкий лагерь для военнопленных, в котором сам Варшавский находился пять лет. По различным документам, сохранившимся в фонде писателя (ДРЗ. Ф. 54), следует, что он содержался в Stalag II-B под номером 16.600. Эти же данные выбиты на концлагерном жетоне Варшавского (ДРЗ. КП 1542). Stalag II-B был расположен в 2,4 км к западу от деревни Хаммерштейн (Hammerstein), в настоящее время город Чарне (Czarne) Поморского воеводства Польши. Уже в Первую мировую войну функционировал как лагерь для русских военнопленных, в 1933 г. стал одним из первых нацистских концлагерей для немецких коммунистов. В сентябре 1939 г. преобразован в лагерь для военнопленных поляков; в июне 1940 г. сюда стали прибывать французские пленные, а в августе 1943 г. — американцы, попавшие в плен в Тунисе. Советские военнопленные стали поступать с июля 1941 г. См.: *Kochavi A.J.* Confronting Captivity: Britain and the United States and Their POWs in Nazi Germany. Chapel Hill, NC: Univ. of North Carolina Press, 2005. P. 81–86. См. также: URL: http://www.moosburg.org/info/stalag/laglist.html; http://war15.ru/pages/history/captives/stalag2b/

С. 143. *Нас привезли в местечко, которое называлось Добрин...* — Скорее всего, имеется в виду польский город Голуб-Добжинь (Golub-Dobrzyń). В 1939 г. город был захвачен Германией, и большинство жителей стали узниками концентрационных лагерей.

С. 144. *...я научился различать горькие листья попова-гуменца.* — Т.е. одуванчика, русского цикория.

*Что-то знакомое мне чудилось в Поморской равнине... <...> ...В Померании.* — Поморье, или Поморское поозерье, — северная, прибалтийская часть Польши, длительное время находилось под немецким господством. Померания — до 1945 г. прусская провинция, на западе граничит с землями Мекленбурга, на севере — побережье

Балтийского моря. После 1945 г. в основном, кроме Передней Померании, вошла в состав Польши.

С. 153–154. *Он делал вид, что не понимает по-польски, а сам был родом кашуба и только с приходом к власти Гитлера переменил свою польскую фамилию на немецкую.* — Кашуба — этнографическая группа поляков, живущих в приморской части Польши и говорящих на кашубских диалектах польского языка.

С. 157. *Это был Бёзе в форме «С.А.»...* — С.А. — сокращенное название нацистских штурмовых отрядов (Sturmabteilung).

С. 169. *Они все больны. Каждый день умирает 200–300 человек.* — Stalag II-B был разделен на две части. В северной части (Nord) содержались поляки, французы, бельгийцы, американцы и югославы. Здесь же находилось управление лагеря. В июне 1941 г. к югу от железнодорожных путей началось строительство Lager-Ost для советских пленных, захваченных в ходе операции «Барбаросса». Июль–декабрь 1941 г. были отмечены массовым поступлением пленных и высокой среди них смертностью. Основные причины смерти — голод и антисанитария. В ноябре 1941 — марте 1942 г. в лагере разразилась эпидемия брюшного тифа, которая унесла жизни более 40 000 заключенных. В лагерной больнице умирали до 200 заключенных в сутки. Мемориальное кладбище военнопленных, погибших в лагере Stalag II-B Hammerstein, находится в лесу неподалеку от города Чарне. См.: *Датнер Ш.* Преступления немецко-фашистского вермахта в отношении военнопленных во Второй мировой войне. М.: Политиздат, 1963; *Streit C.* Keine Kamaraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941–1945. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1978; *Lagrou P.* Victims of genocide and national memory: Belgium, France and the Netherlands 1945–1965 // Past & Present. Oxford, 1997. № 154 (1). P. 181–222; *Кривошеев Г.Ф.* Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.

С. 170. *Верно, и в дни Ассура так было.* — Ассур — другое название Ассирии, древнего государства в северном Междуречье (на территории современного Ирака), просуществовало с XXIV в. до н. э. до VII в. н. э. (ок. 609). Новоассирийская держава (750–620 до н. э.) считается первой империей в истории человечества.

С. 171. *Но это были не военнопленные, а «остовцы».* — Имеются в виду жители СССР, принудительно вывезенные в Германию как бесплатная или низкооплачиваемая рабочая сила. Их называли рабами рейха. См. об этом, например: *Полян П.* Жертвы двух диктатур. Остарбайтеры и военнопленные в Третьем рейхе и их репатриация. М.: Ваш выбор ЦИРЗ, 1996; *Вербицкий Г.Г.* Остарбайтеры: история россиян, насильственно вывезенных на работы в Германию во время Второй мировой войны. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2004.

С. 172. *...совсем не похожие на то, что писали «ди-пи» в эмигрантских газетах...* — «Ди-пи» (от *англ.* displaced persons) — люди, вынужденные внешними обстоятельствами покинуть постоянное место жительства, перемещенные лица; здесь имеются в виду «невозвращенцы» в СССР после Второй мировой войны.

С. 174. *Одно огорчало:势 Мануша и Ваня мне не отвечали.* — По немногочисленной корреспонденции Варшавского из лагеря, хранящейся в фонде писателя (открытки почты для пленных — Kriegsgefangenenpost), можно судить, что, находясь в плену, он продолжал интересоваться судьбой участников «Круга». Так, в открытке к матери от 6 января 1941 г. (на фр. яз.) он спрашивает, в частности: «Нашелся ли Вильде?» (ДРЗ. Ф. 54).

С. 176. *Как в усмешке Смерти в «Пляске мертвых», за обозначившимися выступами лицевых костей уже проглядывало безобразие уничтожения.* — Ассоциация

с пляской мертвых — сюжетом, получившим классическую обработку у немецкого живописца и графика Альбрехта Дюрера в его гравюрах: Смерть в виде скелета танцует с различными людьми (серия «Апокалипсис», 1498). Этот сюжет изображал и другой немецкий художник Ганс Гольбейн на одной из своих гравюр.

С. 177. *Только после перемирия, разузнав через Париж, что я в плену, папа смог мне написать.* — Второе Компьенское перемирие (заключено 22 июня 1940 г. в Компьенском лесу) между нацистской Германией и Францией означало фактическую капитуляцию последней, после чего к власти пришел режим Виши. По условиям перемирия (статьи XIX–XX) Франция была обязана передать Рейху всех немецких военнопленных, между тем пленные французы должны были оставаться в немецких концлагерях до завершения военных действий в Западной Европе. Варшавский, как и герой «Ожидания» Гуськов, оказался в числе миллиона французских солдат, которые находились в плену до 1945 г.

С. 179. *Я вспомнил, как у Пруста герою кажется, что он попал на маскарад: приклеенные белые бороды, пудреные парики.* — Речь идет о последней книге «Обретенное время» (1927) — в цикле «В поисках утраченного времени» М. Пруста (Proust; 1871–1922).

С. 184. *Я читал книгу о Плотине.* — Возможно, речь идет о книге «О жизни Плотина и его трудах» (ок. 300) Порфирия, ученика основателя неоплатонизма греческого философа Плотина (ок. 204/205–269/270).

...*«Я часто выхожу из моего тела и просыпаюсь в самого себя».* — Цитата из «Эннеад» Плотина (IV 8, 1, 1).

С. 188. *Стали уговаривать записаться в Р.О.А.* — РОА (Русская освободительная армия) — неофициальное название русских частей и подразделений в составе Вермахта в 1941–1944 гг.

С. 190. *Даже в Евангелии сказано «предоставьте мертвым погребать своих мертвых».* — См.: Мф. 8:22; Лк. 9:60.

С. 191. *Говорят, идеи Фёдорова — безумие...* — Фёдоров Николай Федорович (1829–1903), религиозный мыслитель-утопист, космист, выдвинувший проект всеобщего воскрешения умерших («отцов») и преодоления смерти.

С. 194. *...как, верно, улыбался Овидий, вспоминая в изгнании Рим.* — Римский поэт Публий Овидий Назон (43 до н. э. — ок. 18 н. э.) был отправлен императором Августом в 8 г. н. э. в ссылку в Томы (совр. Констанца). В изгнании поэт провел последние десять лет жизни, так и не дождавшись разрешения вернуться в Рим. В эти годы поэт написал «Скорбные элегии» и «Послания с Понта», исполненные тоски по родине.

С. 198. *Лагерная охрана ходила в поле стрелять из «панцер фаустов».* — «Панцерфауст» (от *нем.* Panzerfaust — «танковый кулак») — одноразовые ручные противотанковые гранатометы (стальная труба диаметром 5 см, длиной 1 м), использовавшиеся в гитлеровской армии с 1942 г. до конца войны.

С. 199. ...*«херр обер-цальмейстер»*... — Обер-цальмейстер (*нем.* Oberzahlmeister) — военный чиновник-офицер, заведовавший в армии счетоводством и платежами.

С. 222. *Райское фра-анжеликовское золотое сияние, разливаясь, переходило в вышине в такую лазоревую синеву...* — Ассоциация с картинами художника раннего итальянского Возрождения Фра Беато Анджелико (Гвидо ди Пьетро, в постриге Джованни да Фьезоло; Angelico; 1400–1455), для которых характерно широкое использование цвета золота.

С. 230. *Бульба подписался и передал мне «препроводительную»...* — В фонде В.С. Варшавского хранится рукописный документ, озаглавленный как «Препроводительная», за подписью старшего лейтенанта Ткаченко, послужившего прототипом Сильченко (ДРЗ. Ф. 54). Фрагмент из него приведен в романе с документальной точностью вплоть до грамматических ошибок, допущенных писарем. По этой препроводительной группа из 137 человек разных национальностей, большей частью бывших военнопленных, под началом переводчика Владимира Варшавского ушла по свободной дороге в деревню Лабец. Документ датирован 7 марта 1945 г., этой датой отмечено фактическое освобождение Варшавского.

С. 233. *Мне как раз переводчик нужен... Вы приходите, будете у меня переговорщиком.* — Реальность описываемых в романе событий (помощь самого Варшавского в качестве переводчика при переговорах советской комендатуры с бывшими военнопленными) подтверждает документ, также хранящийся в фонде В.С. Варшавского. Это записка от руки на обрывке промокательной бумаги: «Дежурному по комендатуре. Переводчик Варшавский Владимир Сергеевич является моим личным переводчиком по французской бригаде, прошу, чтобы он имел возможность проходить ко мне в 5 кабинет вместе с командиром бригады [нрзб.]. Капитан В. Сильченко. 29. 4. 45» (ДРЗ. Ф. 54). Реальный капитан Сильченко мог послужить прототипом безымянного советского майора (начальника военной комендатуры), а также младшего лейтенанта Данилова.

С. 235. *...французы из дивизии «Карл Великий».* — Речь идет о 33-й гренадерской дивизии СС «Шарлемань» (Charlemagne), воевавшей в составе войск СС. Дивизия была названа в честь Карла Великого. Формировалась большей частью из французских мобилизованных и добровольцев. В мае 1945 г. часть дивизии была уничтожена, другая часть взята в плен советскими и американскими войсками.

С. 242. *...даже у худших тяга к разбою и чубаровщине смягчалась добродушием.* — Чубаровщина — производное от Чубаровского переулка в Ленинграде, где 22 августа 1926 г. двадцатилетняя работница Любовь Беляева подверглась групповому изнасилованию; дело получило широкую огласку, суд над «чубаровцами» состоялся в декабре 1926 г.

С. 246. *...русские получают эти разъяснения в магическом причастии к какой-то силе или сущности, вроде Маны тотемических кланов.* — Вероятно, на В.С. Варшавского произвело впечатление рассуждение А. Бергсона в книге «Два источника морали и религии» о полинезийском понятии «мана», которое означает либо универсальный жизненный принцип и образует, «говоря нашим языком, субстанцию душ», либо силу, «которая появляется как избыточная и которую душа... может заполучить, но она не принадлежит душе по существу». Бергсон ссылается на Э. Дюркгейма, склонного к первой гипотезе и считавшего, что «мана» «обеспечивает тотемическую первооснову, посредством которой объединяются члены клана; душа является прямой индивидуализацией “тотема” и связана с “маной” через посредника» (см. рус. изд.: *Бергсон А.* Два источника морали и религии. С. 144 [гл. II «Статическая религия», раздел «Разрастание неразумного»]).

С. 248. *На репатриационном свидетельстве мне написали, что в Париже я должен явиться в жандармское управление.* — В фонде В.С. Варшавского находится несколько документов (на фр. яз.), выданных во Франции и удостоверяющих его статус военнопленного. Так, в документе Лагерного секретариата Товарищества заключенных (Secrétariats de Camps / Amicale de Camp Stalag II-B) за подписью генерального секретаря Мишеля Прово-Лемуана от 24 июля 1945 г. говорилось, что «Владимир

Варшавский был заключенным лагеря Stalag II-B, под номером 16.600, и был репатриирован 11 июня 1945 года» (ДРЗ. Ф. 54).

С. 250. *Кто заработал с немцами баснословные миллионы, кто был депортирован, кто ходил в немецком мундире, кто стал героем движения Сопротивления.* — Размышления героя звучат рефреном в послевоенном письме самого Владимира Варшавского к Василию Яновскому: «Скажу одно, что эти годы были как тяжкий млат. Ты знаешь у Пушкина: "дробя стекло, кует булат". Но кроме булата и стекла оказались вещества еще разные вроде тины и просто говна. И в нашей среде амплитуда оказалась весьма значительная: одни оказались способными на святость и героизм, другие совсем на другое. Между этими крайностями много средних и смешанных, переходных явлений. Но в общем никакого Монпарнаса и никаких авангардных отклонений больше нету. Что появится нового еще неясно. <...> ...Чувство, что эти 6 лет были для нас совсем разным опытом жизни и разным восприятием страданий русского народа» (BAR. Vasilii Yanovsky Papers. Box 2. Письмо не датировано. По содержанию относится к 1946–1947 гг.).

С. 252. *...бестрепетно вступить в ожидающую каждого «ночь в саду»...* — Имеется в виду Гефсиманский сад, в котором молился Иисус Христос в ночь перед арестом.

*Не было больше и нашего Монпарнаса, где люди, как в романах Сергея Шаршуна, говорили братским, верленовским голосом.* — О своем друге по Монпарнасу, художнике и писателе Сергее Ивановиче Шаршуне Варшавский напишет в дневнике 27 мая 1973 г.: «Жид, Пруст, Джойс — вот настоящая литература. Поплавский, Шаршун. Восхищение. Ожидание. Предшественники Натали Саррот» (Ионафан [дневник] // ДРЗ. Ф. 54).

Верлен Поль (Verlaine; 1844–1896), французский поэт, один из основоположников символизма, более человечный, чем другие символисты, «интимнейший из поэтов» (по определению В.Я. Брюсова), сблизил поэтическую речь с задушевной беседой, ввел обычный синтаксис. Был особенно известен в России на рубеже XIX–XX вв.

*...невозможно было точно установить, где он, в каком городе: по одним сведениям — в Ташкенте, по другим — в Красноярске.* — Подробнее о судьбе С.И. Варшавского см. послесловие (Наст. изд. С. 546–547).

С. 253. *Я решил уехать в Америку. Я боялся, сюда придут* они. — Из Парижа Варшавский писал Василию Яновскому: «Главная причина, заставляющая меня желать уехать в Америку, это страх войны. В войне между Америкой и Россией я не собираюсь принимать участие, а из всех концлагерей, я думаю, американские самые лучшие. Между прочим, я еще не француз, и если не стану шахтером и не нарожаю 4-х детей, вероятно, так никогда и не стану французом. Это одна из сторон здешней жизни, о которой, стремясь на крыльях восторга в Европу, ты, вероятно, забыл и не думаешь» (BAR. Vasilii Yanovsky Papers. Box 2. Письмо не датировано. По содержанию относится к 1946–1947 гг.).

*...прочел у Бергсона, как Уильям Джеймс изучал на самом себе состояние, вызываемое вдыханием протоксида азота.* — Протоксид азота — веселящий газ. Джеймс Уильям (James; 1842–1910), американский философ и психолог, в 1884 г. выдвинувший свою теорию эмоций, а в 1892 г. основавший первую в США лабораторию прикладной психологии при Гарвардском университете. См. книгу А. Бергсона «Два источника морали и религии» (рус. изд.: С. 234 [гл. III «Динамическая религия]).

*Истина открылась ему «в бездонной глубине почти ослепляющей очевидности».* — Имеются в виду лекции «Многообразие религиозного опыта: Исследование

человеческой природы», прочитанные У. Джеймсом в Эдинбургском университете в 1901–1902 гг. Их перевод на русский (В.Г. Малахиевой и М.В. Шик) впервые вышел в 1910 г. в издательстве журнала «Русская мысль» (Москва). Здесь цитируется «Лекция III. Реальность невидимого».

С. 254. *...Джеймс приводил в «Многообразии религиозного опыта» свидетельства самых обыкновенных людей, вовсе не святых и не героев, о том, как им открылось присутствие абсолютного бытия.* — Речь идет о лекциях XVI и XVII (раздел «Чувство единения с Абсолютным») из «Многообразия религиозного опыта...» У. Джеймса.

С. 255. *Незнакомая улица, в которую я свернул, напоминала городские пейзажи Эдуарда Мунка.* — Мунк Эдвард (Munch; 1863–1944), норвежский живописец и график, для творчества которого характерны мотивы одиночества, тревоги, смерти, повышенная экспрессия образов («Крик», 1893, и др.).

С. 259. *...в прихожей Земгора.* — Земгор (Объединение земских и городских деятелей), организация со штаб-квартирой в Париже и отделениями в Праге, Берлине и других центрах русской послереволюционной диаспоры, занимавшаяся вопросами здравоохранения, образования. Под его патронажем действовали детские дома и школы (по разным данным от 60 до 90) для детей русских эмигрантов в разных странах мира. Есть упоминания о его руководстве Г.Е. Львовым, какое-то время во главе его был Н.Д. Авксентьев.

*...облокотившись на локоть, подобно фидиевой парке...* — Неясно, что имеет в виду автор. Фидий (ок. 490 до н. э. — ок. 430 до н. э.), знаменитый древнегреческий скульптор, уроженец Афин. Парки — богини судьбы в римской мифологии, равнозначные греческим мойрам, прядущим и обрезающим нить жизни. Среди сохранившихся статуй Фидия нет изображений парки, но есть богиня Афина, опирающаяся на копье.

С. 260. *Мне вспомнилось: вчера было 14 июля, значит, сегодня еще праздник.* — День взятия Бастилии, французский национальный праздник, отмечаемый 14 июля.

С. 261. *...обедневшие принцессы дё Германт, и сейчас проедет в своей виктории бессмертный прустовский Сван, с неотступной мыслью об Одетт, как «с любимым животным на коленях».* — Персонажи семитомного цикла романов М. Пруста «В поисках утраченного времени», включавшего в себя, в частности, романы «По направлению к Свану» (1913) и «У Германтов» (1921–1922).

*Фонтенбло* — город в 60 км к юго-востоку от Парижа, главной достопримечательностью которого считается великолепный дворец эпохи Ренессанса, служивший резиденцией для многих правителей Франции.

*...неизвестной мне до того картины Ренуара «Ля Гренуйер».* — Картина французского художника-импрессиониста Пьера Огюста Ренуара (Renoir; 1841–1919) «Лягушатник» («La Grenouillère», 1869).

*...говорилось, что Мопассан не раз описывал «Ля Гренуйер», знаменитое в то время увеселительное место на Сене, на острове напротив Круаси.* — Речь идет о рассказе Ги де Мопассана «Подруга Поля» (1881), действие которого происходит на острове — на плоту, построенном в 1880 г. и привлекавшем парижан кафе-рестораном, танцзалом, кабинками для купания, лодками. Сгорел в 1869 г., а в 1924 г. был уничтожен и остров.

*Да, именно это мне воображалось, остров Цитеры.* — Цитера (Кифера) — остров в Эгейском море, который в Античности был посвящен культу Венеры. Отплытие на остров Цитеры — символ прославления любви, «наслаждения жизнью» и сквозной

сюжет в мировой культуре (картина А. Ватто «Отплытие на остров Цитеры» [1718–1719]; балет на музыку Ф. Гранье «Амур-корсар, или Отплытие с острова Цитеры» [1759]; рассказ В. Жуковского «Путешествие невинности на остров Цитеру» [1810]; стихотворение Ш. Бодлера «Путешествие на остров Цитеру» из поэтического сборника «Цветы зла» [1857]; стихотворный сборник Г. Иванова «Отплытие на остров Цитеру» [1937] и др.).

С. 262. *Вдруг, недалеко от тургеневского Буживаля...*— Имеется в виду дача И.С. Тургенева в Буживале — западном пригороде Парижа. Ныне там расположен дом-музей Тургенева.

*Я был демобилизован из французской армии и, не зная, что делать в жизни, служил ночным сторожем в гараже недалеко от Буживальской плотины.* — О послевоенном периоде в биографии Варшавского упоминается в одном из его писем к Василию Яновскому: «Мой гараж мне опостылел. Холодно, уныло и беспокойно и ездить чертову даль и для серьезной работы остается времени мало, а впечатлений и познания жизни никаких. Все надеюсь бросить» (BAR. Vasilii Yanovsky Papers. Box 2. Письмо не датировано. По содержанию относится к 1946–1947 гг.).

*Там постоянно были причалены баржи и катера, совсем как у Сизлея.* — Французский художник-импрессионист, англичанин Альфред Сислей (Sisley; 1839–1899).

*...грабители, приставив снаружи лестницу, пытались влезть через стеклянную крышу.* — О тех же событиях Варшавский писал Василию Яновскому: «Здесь у меня есть гараж, хотя теперь и испорченный тревогой. Начались нападения гангстеров, и моему товарищу по службе чуть не проломили череп. Я же в оправдание известной русской пословицы в эту ночь как раз в гараже не был» (BAR. Vasilii Yanovsky Papers. Box 2. Письмо не датировано. По содержанию относится к 1946–1947 гг.).

С. 263. *Судя по карте — гора Святого Валерьяна. Там в сорок втором году немцы расстреляли Ваню Иноземцева.* — Гора Мон-Валерьен — самая высокая точка парижских окрестностей, расположена к западу от Булонского леса. В 1846 г. здесь был построен форт Мон-Валерьен. Во Вторую мировую войну нацисты использовали это место для казни участников движения Сопротивления. Приговор по «делу Музея Человека» был вынесен 17 февраля 1942 г., а 23 февраля Борис Вильде был расстрелян в форте Мон-Валерьен вместе с Леоном-Морисом Нордманном, Жоржем Итьером, Жюлем Андрие, Рене Сенешалем, Пьером Вальтером и Анатолием Левицким. В 1946 г. по инициативе Шарля де Голля на Мон-Валерьен был открыт мемориал Сражающейся Франции.

С. 263–264. *В ночь перед расстрелом он написал своей жене: «Бессмертное солнце любви всходит из бездны смерти».* — Речь идет о последнем письме Бориса Вильде от 23 февраля 1942 г. к его жене Ирэн Лот (Lot; 1866–1952), дочери французского историка-медиевиста Фердинанда Лота и русского филолога-романиста, писательницы и сотрудницы журнала «Путь» Мирры Ивановны Лот-Бородиной. Это же письмо опубликовал «Вестник русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции» (1947. № 2. С. 15–16), где была также помещена статья В. Варшавского «Борис Вильде» (С. 9–15). См. также: *Вильде Б.* Дневник и письма из тюрьмы. 1941–1942 / пер. с фр. М.А. Иорданской. М.: Русский путь, 2005. С. 136–138.

С. 264. *...вырывались из глубины ночи и, как яростные псы Актеона...*— Актеон — персонаж древнегреческой мифологии. Во время охоты увидел купание Артемиды с ее нимфами. Богиня превратила его в оленя, и он был разорван своими же псами.

С. 266. *В марте я уехал в Америку.* — Варшавский планировал отъезд еще летом 1948 г., друзья, оказавшиеся в США, поддерживали это решение. «Спасибо за заботу

об аффидевите. Я еще с двух сторон имею такое предложение. Одно от Жени Клебановой. Но я все не решаюсь», — писал он Василию Яновскому (BAR. Vasilii Yanovsky Papers. Box 2. Письмо не датировано. По содержанию относится к 1948 г.). Варшавский прибыл в США 12 марта 1951 г. (см.: Application for new aliens registration receipt card // ДРЗ. Ф. 54). О переезде писателя в США см. также: *Хазан В.* «Семь лет»: история издания. Переписка B.C. Варшавского с Р.Н. Гринбергом // Новый журнал. 2010. № 258. С. 184.

*Как у Достоевского: «Они рядятся, они прекрасны и выходит прямо рай».* — Точная цитата: «...они рядятся, они прекрасны, и выходит действительно точно рай...» (*Достоевский Ф.М.* Дневник писателя. 1876 г. // ПСС: в 30 т. Л.: Наука, 1981. Т. 23. С. 87 [Июль–август, гл. 4 «Что на водах помогает: воды или хороший тон»]).

С. 267. *...страна, где нет ни эллина, ни иудея.* — См.: Кол. 3:11.

С. 269. *Бруклин* — самый густонаселенный район Нью-Йорка, расположенный в западной части острова Лонг-Айленд. Изначально район был заселен голландцами и в 1636 г. назван по имени одного из голландских городков — Брюкелена.

*...он взял мой «аффидавит»...* — Affidavit, от affido *(лат.)*; здесь: юридически заверенные документы.

С. 270. *...Моисей видел в пустыне куст: «горит огнем, но не сгорает».* — Речь идет о Неопалимой Купине (Исх. 3:2).

С. 271. *Мне нравилось, что Манхэттен — остров.* — Манхэттен — длинный скалистый остров в дельте Гудзона — историческое ядро Нью-Йорка, один из его пяти районов.

*...куда идет этот пароход? В Ричмонд, в Нью-Джерси...* — Имеется в виду Ричмонд, район Нью-Йорка, расположенный на острове Стейтен-Айленд; в основном район жилых кварталов с пляжами, парками, портом.

Нью-Джерси — граничащий со штатом Нью-Йорк штат на Востоке США, расположенный на полуострове между реками Делавэр и Гудзон и имеющий выход к Атлантическому океану.

С. 274. *...лазил на Empire State Building.* — Эмпайр-стейт-билдинг — 102-этажный небоскреб на острове Манхэттен, бизнес-центр в стиле арт-деко. С 1931 по 1972 г. и с 2001 г. (после сентябрьской катастрофы, когда были разрушены башни-близнецы Всемирного торгового центра) — самое высокое здание Нью-Йорка.

С. 276. *...Руо, Матисс...* — Руо Жорж (Rouault; 1871–1958) и Матисс Анри (Matisse; 1869–1954), французские живописцы, графики, представители фовизма (от *фр.* fauve — дикий), течения, основанного на эмоциональной силе художественного выражения, стихийной динамике письма, ярком цвете и остром ритме.

*Во всяком случае, школы Тициана.* — Тициан Вечеллио (Tiziano; ок. 1489/1490–1576), итальянский живописец, глава венецианской школы Высокого и Позднего Возрождения.

С. 279. *...сонмы ангелов на картинах Кватроченто.* — Итальянское название XV в. как периода Раннего Возрождения.

С. 280. *«Пора мой друг, пора! Покоя сердце просит...»* — Стихотворение А.С. Пушкина, обращенное к жене (вероятно, лето 1834 г.).

С. 281. *...он... приглашал сотрудничать в журнале, который он тогда издавал.* — В 1936–1940 гг. А.Ф. Керенский был редактором двухнедельного парижского журнала «Новая Россия».

С. 282. *...Бобровский сел на диван и без всякого вступления стал рассказывать, как перед самым приходом немцев ему прямо чудом удалось уехать из Парижа.* —

А.Ф. Керенский уехал в США в 1940 г. Поселился в Нью-Йорке, преподавал русскую историю в Нью-Йоркском и Стэнфордском университетах. В 1949 г. стал одним из организаторов Лиги борьбы за народную свободу — политического центра российской демократии. В 1950–1960-х гг. работал в Гуверовском институте войны, революции и мира.

*...он... произносит с балкона бессмертную речь, прогремевшую на весь мир.* — Вероятно, Варшавский имеет в виду речь А.Ф. Керенского 1 августа 1917 г., когда в России была провозглашена республика.

С. 283. *Да, конечно, вы можете называть мое имя, да, конечно...* — В архиве В.С. Варшавского ходатайств за подписью А.Ф. Керенского не обнаружено. По сведениям вдовы писателя Татьяны Варшавской, хорошо знавшей Керенского, он не оказывал Варшавскому поддержки.

С. 284. *Там прелестно, как у Вермеера, свет падал на лощеный паркет...* — Вермеер Дельфтский Ян (Vermeer; 1632–1675), голландский живописец. Его небольшие интимные картины из жизни горожан отличались поэтичностью, тонким колоритом, живой вибрацией света и воздуха.

С. 285. *Довиль* — город в Нормандии, построенный в 1859 г. специально как престижный курорт для знати.

*Как на картине Пюи де Шаванна «Бедный рыбак»...* — Речь идет о картине французского художника-символиста Пьера Пюви де Шаванна (Puvis de Chavannes; 1824–1898) «Бедный рыбак» (1881).

С. 286. *...как в Дантовом аду на башнях города Дито...* — Город Дит — шестой круг ада для еретиков и лжеучителей в «Божественной комедии» (1307–1321) Данте Алигьери (8-я песнь).

*Поезжай на Баури...* — Скорее всего, Варшавский имеет в виду улицу Бауэри (Bowery) и прилегающий к ней одноименный район в южной части Манхэттена. В годы Великой депрессии эта некогда респектабельная часть Нью-Йорка была застроена ночлежками и стала одной из социально неблагополучных.

С. 287. *Но я, как неверующий у Бодлера. Ангел говорит ему, нужно любить бедных, глупых, злых, еще каких-то, а он отвечает: «Не хочу».* — Имеется в виду стихотворение Ш. Бодлера «Мятежник» (1861, иногда переводят как «Непокорный») из книги «Цветы зла» (Дополнения к третьему изданию, 1869).

С. 288. *Я возвращался из сна в постороннюю мне внешнюю действительность без радости, как Лазарь из гроба.* — См. евангельский рассказ о Воскрешении Лазаря (Ин. 11:1–5, 41–43, 53).

С. 289. *...у Мандельштама: «на городской стене крылами бьет...»* — Цитата из стихотворения поэта и прозаика Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938) «Tristia» (1918).

С. 289. *До самого вечера, в форменной куртке, вроде военной, и в штанах с лампасами, я буду ходить, разнося по канцеляриям письма и пакеты.* — Варшавский по приезде в США устроился на должность разносчика почты в ООН. В характеристике, выданной ему 1 июня 1954 г. в ООН администрацией по работе с персоналом (на англ. яз.), говорится, что «...Владимир Варшавский работал... посыльным в Отделе связи и учета... с 10 октября 1951 до 26 апреля 1954, после чего ушел в отставку» (Письмо на бланке ООН (United Nations), № SRS/54 // ДРЗ. Ф. 54).

*Один из героев Достоевского говорит о людях: «недоделанные, пробные существа, созданные в насмешку».* — Это говорит Иван Карамазов в «Братьях Карамазовых»

(ч. 2, кн. 5 «Pro et Contra», гл. V «Великий инквизитор»). См.: *Достоевский Ф.М.* ПСС: в 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 238.

С. 292. *Могучие башни Крейслера и Эмпайр-стэйт, твердыня Вальдорф-Астории, Рокфеллер-центр...* — Крайслер-билдинг (Chrysler Building) — небоскреб компании «Крайслер» в стиле арт-деко (высота 319 м), один из символов Нью-Йорка. Построен в 1930 г., расположен в восточной части Манхэттена. Рокфеллер-центр (Rockefeller Center) — крупный деловой центр на Манхэттене, строительство началось в 1930-е гг.; центральное здание комплекса — небоскреб RCA-билдинг (266 м), в настоящее время носит имя Дженерал-Электрик-билдинг (General Electric Building).

*...я любил останавливаться около окон, что выходили на Восточную реку. На Куинс, на том берегу, было скучно смотреть.* — Восточная река, т.е. Ист-Ривер, — судоходный пролив длиной 26 км в Нью-Йорке, отделяющий районы Манхэттен и Бронкс от Бруклина и Квинса, связан с реками Гудзон и Гарлем.

С. 293. *...так на картине Тициана Карл Первый в золоченых доспехах едет на коне, держа копье наперевес.* — Имеется в виду знаменитая картина Тициана, изображающая императора Священной Римской империи: «Карл V в сражении при Мюльберге» (1548).

С. 294. *...я не последователь Аверроеса...* — Аверроэс (Ибн Рушд Абу ал-Валид Мухаммад ибн Ахмад; латинизир. Averroës; 1126–1198), арабский мыслитель, разрабатывавший материалистические тенденции аристотелизма: идею вечности, а значит несотворенности мира, смертности души.

*...лишь бы люди, оставшись одни, стали братьями, как об этом мечтал Версилов.* — Андрей Петрович Версилов, персонаж романа Достоевского «Подросток» (1875), представитель русского культурного типа «всемирного боления за всех», исповедовал идею духовного дворянства, высшей аристократии духа.

*Вчера я был на собрании памяти Василия Павловича Зырянова.* — Владимир Михайлович Зензинов скончался в Нью-Йорке 20 октября 1953 г. Вечер его памяти был назначен на 29 ноября, о чем сообщала газета «Новое русское слово»: «В устройстве вечера принимают участие следующие организации: нью-йоркская группа Партии социалистов-революционеров, нью-йоркская группа Социал-Демократов, Лига борьбы за народную свободу, Общество “Надежда”, Литературный Фонд, “Новое русское слово”» (Новое русское слово. 1953. 15 нояб. № 15177. С. 5). Вечер прошел в Доме им. Атрана (New York, 25 East 78th Street), та же газета в день сороковин сообщала: «...с речами выступят: В. Александрова, М. Вишняк, Н. Калашников, М. Коряков, Б. Николаевский, С. Шварц» (1953. 29 нояб. № 15191. С. 3).

С. 295. *Я свернул на Бродвей там, где стоит конный памятник.* — Имеется в виду памятник на Юнион-сквер первому президенту США Джорджу Вашингтону (открыт в 1856).

С. 296. *«Ходить бывает склизко по камешкам иным».* — Из сатирической поэмы А.К. Толстого «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (1868, опубл. 1883) — 69-я строфа, заканчивающаяся словами: «Итак, о том, что близко, / Мы лучше умолчим», стала крылатым выражением как шутливо-ироническая формула отказа затрагивать опасные темы.

*После того как все было продано, после Ялты...* — Речь идет о Ялтинской, или Крымской, конференции глав правительств трех союзных во Второй мировой войне держав — И.В. Сталина, У. Черчилля и Ф.Д. Рузвельта 4–11 февраля 1945 г., где были согласованы военные планы и намечены, в частности, основные принципы послевоенной политики — создание в Германии зон оккупации трех держав (а также Фран-

ции в случае ее согласия) и выдача британским правительством по окончании войны советскому правительству всех перемещенных лиц, бывших гражданами СССР на 1939 г.

*...после выдачи в Лиенце?* — Речь идет о выдаче с территории Австрии советским властям русских казаков-коллаборационистов (не только граждан СССР), по окончании войны перешедших в английскую зону, поскольку британское командование обещало, что никого из них не выдадут советской стороне. Операция выдачи началась 1 июня 1945 г. в Лиенце и продолжалась до середины июня. Из разных лагерей Австрии было депортировано в СССР по разным источникам от 60 до 70 тысяч казаков с женами и детьми (об этом написано немало, в том числе А.И. Солженицыным в романе «Архипелаг ГУЛАГ»).

С. 297. *Я даже очень сочувствую реформам Рузвельта.* — Рузвельт Франклин Делано (Roosevelt; 1882–1945), второй президент США от Демократической партии (четыре раза избирался на этот пост), провел в 1933–1938 гг. ряд реформ («Новый курс») по ликвидации последствий экономического кризиса 1929–1933 гг.: меры по усилению государственного регулирования экономики он сочетал с реформами в социальной сфере.

С. 299. *Как раз недавно были напечатаны его воспоминания о семнадцатом годе.* — Отсылка к публикации: *Зензинов В.М.* Февральские дни // Новый журнал. 1953. № 35. С. 208–240.

*...Бобровский, вскочив на стул, закричал: «Товарищи! Доверяете ли вы мне?..»* — См.: Там же. С. 230–231.

С. 300. *Обязательно прочитать книгу Зырянова о его побеге с каторги...* — Отсылка к изд.: *Зензинов В.М.* Пережитое. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953.

С. 301. *Она читала не только Маркса и Михайловского, но и Плотина, «большую» Терезу, Якова Бёме.* — Михайловский Николай Константинович (1842–1904), публицист, социолог, литературный критик, теоретик народничества.

Бёме Яков (Böhme; 1575–1624), немецкий христианский мистик.

Тереза Авильская (Тереза Иисусова; Teresa de Ávila, Teresa de Jesus; 1515–1582), испанская монахиня-кармелитка, создатель орденской ветви «босоногих кармелиток», автор мистических сочинений, католическая святая. Причислена Католической церковью к Учителям Церкви.

С. 302. *«Кто верует в Меня, у того из чрева потекут истоки воды живой».* — См.: Ин. 7:38.

С. 303. *Со стороны было даже трудно понять, что собственно отличает отколовшихся... у них была совсем одинаковая программа широкого объединения эмиграции для борьбы с большевизмом.* — Имеется в виду Лига борьбы за народную свободу, созданная в Нью-Йорке 13 марта 1949 г. Из старой эмиграции в нее вошли умеренные меньшевики, эсеры, «народники» (Российское народное движение) и др. Председателем бюро лиги был назначен Б.И. Николаевский. А.Ф. Керенский как редактор возглавил нью-йоркский бюллетень лиги «Грядущая Россия» («Russia of Tomorrow»). Заседания обычно проходили в нью-йоркской квартире Р. Гуля (506 West 113 Street). Лига мыслилась как единый фронт борьбы старой и новой русской эмиграции с нарастающей агрессией коммунизма. Однако в 1951 г. «Лигу покинули первоначальные ее лидеры, столпы и горячие сторонники — Керенский и Д. Далин» (*Вишняк М.* Годы эмиграции 1919–1969. Paris; N.Y., 1970. С. 218). О том, что Керенский «своей действительной стратегической целью поставил создание двух центров», писал в ответном полемическом письме Б.И. Николаевский (Ответ г. А. Керенскому // Новое русское

слово. 1953. 25 окт. № 15156. С. 5). Выйдя из лиги, Керенский возглавил переехавшее из Парижа в Нью-Йорк Российское народное движение (основано в 1948 г. под руководством Р.Б. Гуля). О цепи расколов внутри лиги см.: *Гуль Р.Б.* Я унес Россию. Апология эмиграции: в 3 т. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2001. Т. 3: Россия в Америке. С. 168–180. См. также: *Назаров М.В.* Миссия русской эмиграции. 2-е изд., испр. М.: Родник, 1994. С. 368–371; *Карпов С.В.* Российская эмиграция в информационной войне против Советского Союза // Зарубежная Россия. 1917–1939 гг. Сб. ст. СПб.: Европейский дом, 2000. С. 108–112; и др.

С. 306. *Я еще сказал себе: «так летают на Марс».* — 22 декабря 1972 г. Варшавский фиксирует в дневнике новый замысел — «Записки марсианина». На следующий день он пишет: «Вторую часть моих записок мне хотелось бы назвать “Записки марсианина”. Я собирался начать так: “Доказано теперь, что на Марсе нет жизни, что, во всяком случае, не было мыслящих существ”. Не знаю, как это соединить. Но я марсианин, и я мыслящее существо, и на земле только случайно: меня послали на землю с поручением выяснить, почему люди не живут мирно как марсиане, а все время друг друга убивают, уничтожают, мучают, порабощают. Потом мне пришло <в голову>, что это уже старый прием, использованный и в литературе, и в кино: посещение посланника с другой планеты. И я отказался от этого приема. А между тем, чем больше я старел, тем больше я становился как бы марсианином, как бы жителем другой планеты, которому становится все труднее понять жизнь людей, их чувства, их побуждения, смысл их деятельности» (Ионафан [дневник] // ДРЗ. Ф. 54). Несмотря на решение «отказаться от этого приема», Варшавский продолжал вести «Записки марсианина» в дневнике до конца лета 1975 г.

С. 308. *Басанов рассказывал, что мой отец умер в лагере, в Караганде. Никакой надежды больше не могло быть.* — Речь идет о письме Н.А. Цурикова от 10 сентября 1955 г. (ДРЗ. Ф. 54). Сергей Иванович Варшавский умер в Карлаге 6 ноября 1945 г. О письме и послевоенной судьбе С.И. Варшавского см. в послесловии (Наст. изд. С. 544–547).

С. 309. *...в Париже в день «драг».* — Имеется в виду день старинных экипажей в Булонском лесу, на который съезжаются в экипажах XVIII–XIX вв.

С. 311. *Я женился, вернулся в Европу...* — В 1957 г. В.С. Варшавский женился на Татьяне Георгиевне Дерюгиной (р. 1923). Жизнь ее была не менее драматична, чем у В.С. Варшавского. Вот что она рассказала о своей семье и себе. Отец ее — Георгий Михайлович Дерюгин (1871–1933) — окончил юридический факультет Петербургского университета и Археологический институт. Был старшим производителем финансового отдела Государственной канцелярии; гласным губернского земства, депутатом Государственной думы от Псковской губернии. Мать — Татьяна Сергеевна Тетерина (1879–1971; ее предок Тетеря был казнен Петром I за попытку сговора с Польшей) — была родом из Псковской губернии (родовое имение Колосовка, около Изборска). Октябрьская революция застала семью врасплох. Отец находился в Петербурге и благодаря своему знакомому — шведскому послу, который помог ему сделать паспорт, уехал в Данию. Мать, переодевшись крестьянкой, с детьми Михаилом и Георгием (старшими братьями Тани) бежала из Пскова за границу. Объединились они в Берлине, где до 1945 г. жили в западной части города — в Вильмерсдорфе, там была своего рода русская община. В 1933 г. отец умер, его похоронили на русском православном кладбище в берлинском районе Тегель, рядом с В.Д. Набоковым. Во время войны в квартире Татьяны Дерюгиной в Берлине был «пункт» — ее адрес давали бежавшим из плена французам и англичанам. Она приводила беглых

пленных на передаточный пункт, находившийся в лесу, откуда участники Сопротивления — немка и пленный француз — провожали их к границе (немку потом расстреляли). После войны два француза написали во французские органы об этой истории, и в 1951 г. Татьяна Дерюгина была награждена орденом «Les Chevaliers de la Croix de Lorraine et Compagnons de la Résistance — l'ordre — a Tania Deruguine en qualité de Chevalier».

В 1945 г., при подходе советских войск, мать уехала на чешскую границу; задержавшиеся в Берлине Татьяна с младшим братом Владимиром взяли рюкзаки и решили идти на запад — к Эльбе (Берлин был окружен, выход был только на севере), брат вернулся в Берлин — за любимой женщиной и пропал. Татьяна оказалась в американской зоне. Там французская католическая миссия взяла ее в Париж, где уже находился ее брат Михаил (он прошел через немецкую тюрьму). В 1945–1946 гг. вся семья оказалась в сборе. Татьяна Георгиевна хорошо, с детства знала английский (отец был англофилом) и в Париже работала переводчиком для американцев. В мае 1949 г. переехала в Нью-Йорк, где ее взяли на работу в журнал «Ридерз Дайджест» («Reader's Digest»), жила в семье квакеров; мать ее переехала в Калифорнию, а Татьяна поступила в Колумбийский университет на славянское отделение, училась у профессора Бориса Станфилда. Она была очень общительной и легко вошла в русскую эмигрантскую среду, подружилась с М.М. Карповичем, А.Ф. Керенским и др. А в 1955 г. у М.С. Цетлиной познакомилась с В.С. Варшавским.

По складу характера она была человеком действия. Поселившись в 1974 г. с Варшавским в городке Ферней-Вольтер на границе с Женевой, работала переводчиком при ООН и других международных организациях — с французского и русского — на английский, с немецкого — на французский и русский; по работе много ездила — в Японию, Аргентину, Эфиопию, Кению; в 1965 г. — впервые в Москву как переводчица известного американского сенатора Юстаса Селекмана (он был с Рузвельтом в Ялте), которого пригласил в СССР министр иностранных дел А.А. Громыко. Владимир Варшавский всегда волновался из-за этих поездок, но и радовался им.

После смерти Владимира Сергеевича Татьяна Георгиевна в 1980–1981 гг. работала ассистентом А.И. Солженицына в Кэвиндише (Вермонт). Позднее она перевела на английский мемуары М.С. Горбачева — они вышли в Нью-Йорке в 1996 г. (*Gorbachev M.* Memoirs. N.Y.: Doubleday, 1996).

*...у меня теперь «приличная» служба.* — В апреле 1954 г. Варшавский стал работать в нью-йоркском отделении радиостанции «Освобождение» (с 1959 — «Радио Свобода») в качестве «консультанта и скриптрайтера». Эта информация содержится, в частности, в черновике прошения В.С. Варшавского о натурализации в Министерство юстиции Соединенных Штатов от 5 мая 1956 г. (см.: Alien registration: Vladimir Varsavsky, № A7976352. Application to file petition for naturalization. United States Department of Justice // ДРЗ. Ф. 54). В 1967 г. чета Варшавских уехала в Мюнхен, где писатель проработал как постоянный сотрудник русской службы «Радио Свобода» до 1972 г., после чего вышел на пенсию. Под фамилией Норов он вел различные радиоциклы, посвященные истории, политике, философии, культуре, современному литературному процессу и т.д. («Новые вехи», «Годы шестидесятые», «Современная мысль», «Культура и свобода», «Книжная полка», «Заметки читателя» и др.).

С. 312. *Эта мысль пришла мне впервые при чтении Тейяра де Шардена.* — Тейяр де Шарден Мари Жозеф Пьер (Teilhard de Chardin; 1881–1955), французский католический теолог, философ, биолог, палеоантрополог, археолог, геолог; автор трудов

«Феномен человека» (1938–1940, опубл. 1955), «Будущее человека» (1920–1952, опубл. 1959), «Божественное окружение» (1926–1927, опубл. 1957) и др. С 1899 г. — член ордена иезуитов, с 1911 г. — священник. Автор оригинальной концепции гармоничного синтеза Вселенной с глубинным синтезом христианского эволюционизма и ноосферного космизма. Обосновал «научную феноменологию», синтезирующую данные науки и религиозного опыта для раскрытия сути эволюции Вселенной. Идеи Тейяра де Шардена оказали большое влияние на философскую мысль XX в., несмотря на то, что критиковались представителями иезуитского ордена как еретические. Его учение противостояло ортодоксальным томистским представлениям о мире и человеке, отмеченным статичностью, невниманием к эволюции Вселенной. За инакомыслие был лишен церковными властями права преподавания и публикации философско-теологических сочинений. С 1925 г. на все его работы Ватиканом был наложен запрет вплоть 1955 г.

*Если человечество придет к тейяровой точке Омега, я готов все* простить... — Точка Омега — понятие, введенное Тейяром де Шарденом и подробно рассмотренное в трактате «Феномен человека» (1938–1940, опубл. посмертно 1955). По определению теолога, точка Омега — это высшее сознание, венчающее совокупность человеческих сознаний, «центр наших центров». Путь к этому единению — любовь. Она «воздвигнется над нашими головами в направлении, обратном исчезающей материи как универсум — собиратель и хранитель не механической энергии, как мы полагаем, а личностей» (*Тейяр де Шарден П.* Феномен человека. Вселенская месса / пер. с фр. Н.А. Садовского, М.Л. Чавчавадзе; предисл. В.А. Никитина. М.: Айрис-пресс, 2002. С. 279). Варшавский использовал термин еще в середине 1950-х гг. Так, 18 июля 1955 г. он запишет: «Но что случилось, что помешало созданию божественного человечества? Нет никакого объяснения. Идея первородного греха ничего не объясняет. Идея, что Бог хотел создать людей свободными, не хотел их сделать обязательно добрыми, тоже ничего не объясняет. Ведь сам Бог свободен, и в то же время невозможно представить, чтобы Он выбрал зло. Почему же Он не создал человека таким же совершенным... Верю, что эволюция жизни на земле стремится к точке Омега, как говорит Тейяр де Шарден» (*Варшавский В.* [Разрозненные заметки 1950-х] // ДРЗ. Ф. 54). Интерес Варшавского к Тейяру де Шардену и к тейярдизму в последующие десятилетия все возрастал. В одной из передач «Радио Свобода» из серии «Что такое тейярдизм» (17/18 января 1971; радиоцикл «Современная мысль») Варшавский заметит: «Нужно сказать, что... понимание необходимости покончить с разобщенностью человечества все шире распространяется среди всех сознающих свою ответственность ученых и мыслителей. В этом объяснение и необыкновенной популярности идей Тейяра де Шардена. В книге “Будущее человека” и в других своих работах Тейяр де Шарден неустанно говорил о необходимости объединения всего человечества, но не тоталитарными методами, не путем насилия, а путем любви. В этом был его оптимизм. Он расходился со всеми теми, кто возможность такого объединения считает утопией и кто твердит о железных законах истории, о неизбежности борьбы классов, войн и революций» (ДРЗ. Ф. 54).

## РАССКАЗЫ

### Шум шагов Франсуа Виллона

Впервые: Воля России. 1929. № 7. С. 18–27. Подп.: Владимир Варшавский (Норов).

Литературный дебют В.С. Варшавского. Рассказ был удостоен почетного отзыва в конкурсе «на лучший рассказ из эмигрантской жизни», объявленном пражским журналом «Воля России» (результаты конкурса см.: Воля России. 1929. № 3. С. 144).

Франсуа Вийон (Villon; 1431 или 1432 — после 1463), французский поэт-аутсайдер, бакалавр искусств (1449), повеса, вечный бродяга. В его поэмах «Малое завещание» (1456), «Большое завещание» (1461–1462), полных автобиографических намеков, представлена жизнь деклассированных, «парижских низов»; мотивы смерти сочетаются в них с прославлением земных радостей, отрицанием аскетизма и ханжества.

Рассказ предварен эпиграфом из книги «Роман о Франсуа Вийоне» (1926) Франсиса Карко (Carco; наст. имя и фам. Франсуа Каркопино-Тюзоли, Carcopino-Tusoli; 1886–1958), французского поэта, романиста, эссеиста, члена Гонкуровской академии. Он много писал о парижской богеме, в том числе воспоминания «Последняя Богема: От Монмартра до Латинского квартала» (впервые в англ. пер. 1928), его прозвали «певцом дна» (romancier des apaches). Не удалось установить, были ли Варшавский и Карко знакомы. Как установила швейцарская исследовательница Анник Морар, эпиграф к рассказу Варшавского почти дословно (с легким искажением) совпадает с фразой из книги Ф. Карко о Вийоне (см.: *Morard A.* De l'émigré au déraciné. La «Jeune génération» des écrivains russes entre identité et esthétique (Paris, 1920–1940). Lausanne: L'Age d'Homme, 2010. P. 175, 360).

С. 315. *Я иду на Итали.* — Площадь Италии в Париже (place d'Italy).

С. 316. *Кажется, это был сборник рассказов Стивенсона. <....> О Виллоне был рассказ очень короткий и неясный.* — «Ночлег Франсуа Вийона» (1877) — первое художественное произведение шотландского писателя Р.Л. Стивенсона (Stevenson; 1850–1894).

С. 318. *Запись вторая, в которой что-то украдено у Розанова...* — В 1929 г. Варшавский мог читать изданные в журнале «Версты» в 1927 г. (№ 2) девять выпусков розановского «Апокалипсиса нашего времени» с предисловием П.П. Сувчинского; в Берлине в 1929 г. был переиздан первый короб «Опавших листьев», а еще раньше, в 1923 г., А.М. Ремизов издал книгу «Кукха: Розановы письма». Розанов вообще был популярен в среде русской эмиграции. В частности, З.Н. Гиппиус 10 апреля 1928 г. в своем выступлении «Два завета» в «Зеленой лампе», где бывал В.С. Варшавский, высоко оценила Розанова, а в 1925 г. вышел очерк жизни и творчества Розанова «Задумчивый странник» в ее книге «Живые лица» (Прага: Пламя, 1925).

*...Франсуа Виллон корчился на дыбе...* — Вероятно, имеется в виду эпизод из жизни Вийона, когда в сентябре 1462 г. в уличной драке в Париже был тяжело ранен папский нотариус. Вийон не принимал участия в ней, только присутствовал, но был брошен в тюрьму, его пытали водой и приговорили к виселице (тогда он написал

«Балладу повешенных»), однако заменили приговор десятилетним изгнанием из Парижа и Парижского графства.

*...Микеланджело бежал из Флоренции.* — Микеланджело Буонарроти (Michelangelo; 1475–1564) родился в городке Капрезе в провинции Тоскана, но вскоре его семья переехала во Флоренцию, с которой в дальнейшем в основном и связана судьба художника. В 1494 г. Флоренцию захватил французский король Карл VIII. Микеланджело бежал из города и вернулся в него лишь в 1501 г.

*...«вечной музыкой» (слово В. Розанова)...* — Любимое выражение В.В. Розанова. См.: «Секрет писательства заключается в вечной и *невольной* музыке в душе» (*Розанов В.В.* Уединенное / сост., вступ., коммент., библиогр. А.Н. Николюкина. М.: Политиздат, 1990. С. 28), а также: «...музыка вечная в душе...» (письмо В.В. Розанова к Э.Ф. Голлербаху от 8 августа 1918 г.; см. также коммент. к эссе «Несколько рассуждений об Андрэ Жиде...»: С. 591).

С. 319. *Барон Убальдис поведет конницу в погоню за кокиярами.* — Кокияры (*фр.* coquillard) — отряды (до 1000 человек и более) разбойников в XV в.

С. 320. *Тогда начался тот мой, параллельный с Франсуа, бег к Орлеанским воротам...* — Орлеанские ворота — ворота на въезде в Париж со стороны Орлеана — в так называемых стенах Тьера, последних сохранившихся, защищавших Париж укреплениях, построенных между 1841–1844 гг. по указу правительства, возглавляемого Адольфом Тьером (Thiers; 1797–1877). Упоминание их Варшавским в связи с XV в. — временами Вийона — анахронизм.

## Из записок бесстыдного молодого человека
*Оптимистический рассказ*

Впервые: Числа. 1930. № 2/3. С. 55–70. Подп.: Владимир Варшавский.

С. 324. *...Вчера я был в университете, на лекции о Дюги.* — См. коммент. к «Ожиданию» (С. 567).

С. 326. *Вот хотя бы этот сидящий передо мной студент. <...> В его маленьких ушах, в проборе, во всех графически четких, как бы в безвоздушном пространстве проведенных каким-то мастером, смешавшим манеру Люини и рисовальщиков модных плакатов, линиях его головы и тела есть что-то элегантное и мужественное.* — Луини Бернардино (Luini; 1480/1485–1532), итальянский художник, ученик Леонардо да Винчи.

С. 328. *...книга Марселя Швоба «Vies imaginaires».* — «Воображаемые жизни» (1896) — наиболее известный сборник новелл французского писателя и переводчика, символиста Марселя Швоба (Schwob; 1867–1905), автора фантастической притчевой прозы.

*Марсель Швоб рассказывает, что Кротос совершил все, что проповедовал Диоген...* — Основываясь на единственной сохранившейся биографической истории древнегреческой философии «Жизнь и мнения прославленных философов вместе с сокращенным сводом воззрений каждой философской школы» Диогена Лаэртия (1-я пол. III в.), М. Швоб повествует, в частности, о жизни философа-киника (последнего в этой школе) — Кратета (ок. 368/365 — ок. 288/285 до н. э.), представляя его как последователя древнегреческого философа-моралиста Диогена Синопского (ум. ок. 330–320 до н. э.), отвергавшего всякое знание, лишенное этической направ-

ленности; все свои потребности он свел до минимума, жил (в бочке) на подаяние, достигнув таким образом независимости от внешней среды и жестоко высмеивая тех, кто дорожил традиционными нормами жизни. Швоб на свой лад пересказывает жизнеописание Кратета Фиванского, выдвигая на первый план этику сострадания, характерную для своего собственного творчества.

С. 329. *Когда я стал думать о Греции, я увидел сначала что-то очень условное, что-то похожее на конструкции и декорации к «Лизистрате» в постановке оперетки Московского Художественного театра...* — Речь идет о комедии Аристофана «Лизистрата», поставленной в Музыкальной студии Московского Художественного театра в 1923 г. режиссером Леонидом Васильевичем Баратовым (1895–1964).

*...я увидел дома и улицы Пиррея...* — Пирей — город в Греции на Эгейском море, входит в состав Больших Афин.

*...вспомнил прочитанную в английском романе, поражающую фразу — «улица Канобьер вела прямо в пространство»...* — Кто из английских писателей упоминает самую широкую и короткую улицу Марселя — Канебьер (Canebière), установить не удалось.

*...этот горячий ветер... летит из Сахары, из земли, по которой ступали ноги Гумилева...* — Гумилев Николай Степанович (1886–1921), поэт, переводчик, литературный критик, основатель акмеизма, четыре раза был в Африке — в 1908, 1909–1910, 1910–1911 и 1913 гг.

С. 330. *...улица казалась грустной и забытой... одной из тех улиц... которые бывают... на картинах Утрильо.* — Утрилло Морис (Utrillo; 1883–1955), французский пейзажист.

С. 331. *...я все ждал, что сейчас будет то же, что происходит в романе Герберта Уэльса, когда человек-невидимка снял картонную маску, темные очки и кепку, и все увидели, что за ними ничего не было, что его голова исчезла.* — «Человек-невидимка» (1897) — роман английского писателя Герберта Джорджа Уэллса (Wells; 1866–1946).

## ЭССЕ

### Несколько рассуждений об Андрэ Жиде и эмигрантском молодом человеке

Впервые: Числа. 1930/31. № 4. С. 216–222. Подп.: В. Варшавский.

Андре Жид — см. коммент. к «Ожиданию» (С. 567).

О Варшавском и А. Жиде см.: *Morard A.* Lectures d'André Gide: l'authenticité moins l'ironie // Morard A. De l'émigré au déraciné. La «Jeune génération» des écrivains russes entre identité et esthétique (Paris, 1920–1940). Lausanne: L'Age d'Homme, 2011. P. 165–181.

С. 335. *...очаровывает ум, как волшебная собака Тристана и Изольды...* — Согласно кельтским мифам, речь идет о собаке с мифического острова Авалон, заставляющей забыть горе; Тристан раздобыл ее в утешение Изольде.

*Вот что он говорит в «Paludes»...* — «Paludes» — см. коммент. к «Ожиданию» (С. 567), философско-притчевую повесть А. Жида «Болота» («Топи»), К.В. Мочуль-

ский назвал «самой жестокой и мучительной из всех книг» Жида, саркастическим изображением «затхлости и косности, неподвижного сидения на болоте, унылого, оцепенелого мира», образом отчаяния писателя, рассказом о «смерти заживо, о предельном сомнении и угнетении духа. И в этом дантовом адском болоте — безнадежный крик засасываемого тиной жизни: "Господи, Господи! Мы в ужасном заключении"» (*Мочульский К.* Андрэ Жид // Звено. 1927. № 1. С. 14).

С. 336. *...романы Жида являются романами идей, к ним применимы слова самого Жида о Достоевском: «Его идеи почти никогда не бывают абсолютны; они выражают лишь состояние его персонажей».* — А. Жид — автор книги «Достоевский» (1923), в центре которой проблема зла у Достоевского. Жид заимствует у русского писателя то, что ему близко, упрощая его христианство, лишая его характерно-православной окраски; но «дух» Достоевского ему, протестанту, понятен. Цит.: *Gide A.* Dostoïevsky (Articles et causeries). Paris: Librairie Plon, 1923. P. 79.

*Она [жизнь] проходит мимо его ума, как вода течет мимо губ Тантала.* — В греческой мифологии Тантал — лидийский или фригийский царь, обреченный богами на «вечные («танталовы») муки; стоя по горло в воде, не мог утолить жажду, так как вода уходила из-под его губ.

*Этот момент, когда в человеке останавливается сосредоточенный ход мыслей или рассеянное течение мечтаний и вдруг, как очнувшийся лунатик, он видит, что находился в какой-то абстрактной мертвой пустоте, и со страхом начинает искать вокруг себя и в себе истинную жизнь, еще с большей силой изображен в «Имморалисте».* — «Имморалист» (1902) — первый из четырех небольших психологических романов А. Жида («Тесные врата», 1909; «Изабелла», 1911; «Пасторальная симфония», 1919), которые писатель назвал «recit» (рассказы, истории), — о борьбе личности за право на самовыражение.

*Здесь мы подходим к самому центру мысли Жида, к его книгам «Достоевский» и «Numquid et tu».* — «Numquid et tu?» («Неужели и ты?» (*лат.*), 1922) — своего рода исповедь писателя, все в ней — лишь отражение жизни автора, для которого личность — единственная реальность.

С. 327. *...и есть для Жида путь спасения, путь возвращения в рай, в реальную и абсолютную жизнь, «в радость Господина Твоего».* — См.: Мф. 25:22.

*Главная идея Жида, что этот путь указан в словах Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».* — См.: Ин. 12:24.

*«Любящий душу свою потеряет ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную».* — См.: Ин. 12:25.

С. 338. *Я думаю, что в душе почти каждого человека существуют одновременно и Иов, и шарлатан в высшем смысле, почти пророк.* — Иов (*ивр. букв.* удрученный, гонимый) — библейский персонаж-праведник, герой книги Иова, которую, согласно традиции, написал Моисей.

*...он [Жид] ни разу не останавливается на словах: «Что вы зовете меня: Господи! Господи! И не делаете того, что я говорю?»* — См.: Мф. 5:46, 6:19–21; Лк. 6:46.

*...Жид вдруг, как герой «Сна смешного человека»...* — «Сон смешного человека» — повесть (1877) Ф.М. Достоевского.

С. 339. *В самые высокие свои минуты он никогда не достигает той любви «до истязания души своей»...* — Варшавский цитирует фрагмент знаменитого высказывания В.В. Розанова: «До какого предела мы должны любить Россию? До истязания... самой души своей», опубликованного в конце «Писем В.В. Розанова к Э. Голлербаху»

(1922) как запись на отдельном листке. См. коммент. к рассказу «Шум шагов Франсуа Виллона» (С. 588).

*Я часто думал, что русские в Париже похожи на Декарта, для которого шум улиц Амстердама был как шум ручья, а люди, идущие по этим улицам, как деревья леса. Ведь многие бы теперь могли написать эти слова.* — Декарт Рене (Descartes; латинизир. Картезий, Cartesius; 1596–1650), французский ученый и философ, в 1617 г. поступил на военную службу, участвовал в Тридцатилетней войне, с 1621 г. несколько лет провел во Франции, а в 1628 г., когда иезуиты обвинили его в ереси, переехал в Голландию, где провел двадцать лет, жил «в глуши», в отдаленном замке, и написал свои главные сочинения — «Рассуждение о методе...» (1637), «Размышления о первой философии...» (1641), «Начала философии» (1644). См. о Декарте трактат М. Алданова «Ульмская ночь» (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953).

*«Среди толпы великого народа, чрезвычайно деятельного и более заботящегося о своих собственных делах, чем интересующегося чужими делами, я мог жить так же одиноко и уединенно, как в наиболее отдаленной пустыне».* — «Письмо к другу» (1631) — одно из 72 известных писем Декарта.

*...хорошо, если кто-нибудь скажет слова, с такой силой выраженные Розановым: «Не верь, о, не верь небытию, и никогда не верь. Верь именно в бытие, только в бытие, в одно бытие».* — Из письма В.В. Розанова к искусствоведу, критику, библиофилу Эриху Федоровичу Голлербаху (1895–1942) от 26 октября 1918 г. Письма В.В. Розанова к Э.Ф. Голлербаху вышли в свет в берлинском издательстве Е.А. Гутнова в 1922 г. отдельным выпуском журнала «Сполохи». См.: http://users.kaluga.ru/kosmorama/letters.html.

С. 340. *Молодому человеку трудно сказать ему [Жиду]: «Скучные утешители все вы».* — Варшавский перефразирует высказывание Иова: «Жалкие утешители все вы!» (Иов. 16:2). Позднее Иов говорит слова «скучные вы утешители» в главе 3 «Отстранение этического» в книге Л. Шестова «Киркегард и экзистенциалисты» (Париж: Дом книги и Современные записки, 1939. С. 40).

*...эмигрантский классик Шмелёв, сравнивший как-то Пруста с Альбовым.* — Имеется в виду ответ на анкету о Прусте (см.: Числа. 1930. № 1. С. 277–278), где Иван Сергеевич Шмелёв (1873–1950), не приемлющий М. Пруста, находит у него особенности стиля, сближающие его с русским прозаиком Михаилом Ниловичем Альбовым (1851–1911), который продолжил традиции Ф.М. Достоевского и предвосхитил некоторые мотивы творчества А.П. Чехова, однако, по словам Шмелёва, «у Альбова есть *полет* и светлая жалость к *человеку*; есть Бог, есть путь, куда он ведет читателя. Куда ведет Пруст, какому Богу служит?» (С. 278).

*Вспомним слова Достоевского: «Всякий поэт — новатор Европы...»* — См.: *Достоевский Ф.М.* Дневник писателя. 1876 г. // ПСС: в 30 т. Л.: Наука, 1981. Т. 23. С. 32 (Июнь, гл. 1, I «Смерть Жорж Занда»).

## Что с нами будет?

Впервые: Числа. 1931. № 5. С. 262–264. Подп.: В. Варшавский.

Доклад по поводу книги Д.С. Мережковского «Тайна Запада: Атлантида — Европа» (Белград: Русские писатели, 1930), второй части трилогии о путях спасения человечества (первая — «Тайна трех: Египет и Вавилон» [Прага: Пламя, 1925];

третья — «Иисус Неизвестный» [Белград: Русская библиотека, 1932–1934]), прочитан В.С. Варшавским 18 апреля 1931 г. на вечере «Зеленой лампы». В прениях участвовали: поэт и журналист, с 1919 г. литературный секретарь Мережковских В.А. Злобин, Г.В. Иванов, Д.С. Мережковский, журналист, прозаик, поэт С.Л. Поляков-Литовцев, Б.Ю. Поплавский, Ю.К. Терапиано, поэт, литературный критик М.О. Цетлин (псевд. Амари) и др.

С. 340. *В одном месте Шопенгауэр говорит: «История имеет претензию каждый раз рассказывать о разных вещах, в то время как с начала до конца это повторение все той же драмы, только с другими участниками и в других костюмах».* — Ср.: *Шопенгауэр А.* Мир как воля и представление / пер. М.И. Левина. М.: Наука, 1993. С. 464 (гл. 38 «Об истории»).

*...невольно кажется, что действительно истории нет, что она «только длинный сон, тяжелое и спутанное сновидение человечества».* — См.: Там же. С. 463.

*В музее Клюни есть маленькие замечательной старинной работы деревянные фигурки всех французских королей.* — Полное название этого парижского музея — Музей Средневековья, термы и особняк Клюни. На месте римских терм в XII! в. был построен монастырь ордена Клюни, национализированный во время Французской революции, в 1832 г. на его основе создан частный музей, в 1843 г. выкупленный государством.

С. 341. *...на последней странице будет воспроизводиться картина Рембрандта «Эммаус».* — Сюжет всемирно известной картины Рембрандта (Rembrandt; 1606–1669) «Христос в Эммаусе» (1648) основан на эпизоде из Евангелия от Луки (24:13–50): после распятия Христа двое его учеников пошли в Эммаус, селение неподалеку от Иерусалима. Примкнувший к ним незнакомец всю дорогу объяснял Писание. Он разделил с ними трапезу в доме, где они остановились. Когда он преломил хлеб и подал им, они «прозрели» и узнали Иисуса, воскресшего из мертвых. Рембрандт показывает естественность, человечность происходящего, лишь нимб над головой Иисуса и устремленный ввысь, несколько отрешенный взгляд указывают на его божественность, которой явно не замечает прислуживающий им мальчик.

*«Вспомним Гельгамешев Злак Жизни...»* — Приводится цитата из книги Д.С. Мережковского «Тайна Запада. Атлантида — Европа» (ч. II «Боги Атлантиды», 4 «Крещение богов», XXVIII). См.: *Мережковский Д.С.* Тайна Запада. Атлантида — Европа. М.: Эксмо, 2007. С. 524.

*«Я есмь хлеб жизни. Ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира».* — Слова, сказанные Иисусом в Капернаумской синагоге сразу после насыщения пяти тысяч человек (Ин. 6:35, 51).

*«Можно сказать, что Платон умер, так же как вся языческая древность, от жажды и голода — жажды истинной Крови, голода истинной Плоти...»* — См.: *Мережковский Д.С.* Тайна Запада. Атлантида — Европа. С. 125.

С. 342. *...«последней всеевропейской Ходынки».* — Из стихотворения Александра Александровича Туринцева (1896–1984) «С недавних пор мне чудится все чаще» (сент. 1923), опубликованного в альманахе «Записки наблюдателя» (Прага: Чешско-русское изд-во, 1924. Кн. 1. С. 26).

*...«с внезапностью, с какою молоко скисает в грозу»...* — См.: *Мережковский Д.С.* Тайна Запада. Атлантида — Европа. С. 111.

## О «герое» эмигрантской молодой литературы

Впервые: Числа. 1932. № 6. С. 164–172. Подп.: Владимир Варшавский.

С. 342. *...никто из эмигрантских молодых писателей не пишет «много и хорошо».* — Эпизод в истории русской литературы связан с именем М.Е. Салтыкова-Щедрина. Записан со слов А.Н. Пыпина его дочерью В.А. Ляцкой: «Заходит к нему <Салтыкову> Боборыкин, жизнерадостный и самодовольный.

— Ну, как работаете, Михаил Евграфович? — спрашивает он, потирая руки.

— Да что, как-то скучно, мало и скверно.

— А я как раз наоборот — бодро, много и хорошо!» (*Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: в 20 т. М.: Худож. лит., 1965–1977. Т. 19, кн. 2. 1977. С. 36). Салтыков-Щедрин в письме к М.М. Стасюлевичу от 7 (19) сентября 1881 г. сообщал: «В том же отеле, где я, — Боборыкин. Но сколько он пишет — это даже сказать невозможно! И прямо сам говорит: пишу быстро и хорошо» (Там же. С. 35). В русской эмиграции сюжет был переиначен. Так, например, Г.В. Адамович писал: «Пожалуй, плох именно тот писатель, который “творит” с неизменным удовлетворением, как, бодро хлопнув себя по ляжкам, в разговоре с уже больным, отступавшим перед всяческим “зачем?” Тургеневым сказал Боборыкин (“А я, знаете, наоборот, пишу много и хорошо!” Слышал удивительный этот рассказ от Мережковского)» (*Адамович Г.В.* Комментарии // Собр. соч. «Комментарии» / сост., послесл. и примеч. О.А. Коростелева. СПб.: Алетейя, 2000. С. 116). И.А. Бунин в письме к Г.В. Адамовичу от 16 ноября 1947 г. недоумевал: «Как это Мережковский мог быть у Тургенева в присутствии Боборыкина? Когда? Где? Сколько лет было тогда Мережковскому? Все это Мережковский соврал» (Переписка И.А. и В.Н. Буниных с Г.В. Адамовичем // И.А. Бунин. Новые материалы. Вып. 1 / сост., ред. О. Коростелева и Р. Дэвиса. М.: Русский путь, 2004. С. 68).

*...на нем нет «ни кожи от зверя, ни шерсти от овцы».* — Цитата из трагедии У. Шекспира «Король Лир» (акт 3, сц. 4; пер. А.В. Дружинина).

*Самый заядлый марксистский критик сломит ногу, пытаясь определить классовую принадлежность Аполлона Безобразова или того «я», от имени которого ведется рассказ в романах Шаршуна, Фельзена, Газданова и некоторых других молодых авторов.* — Аполлон Безобразов — протагонист романов Б.Ю. Поплавского «Аполлон Безобразов» (1926–1932), «Домой с небес» (1934–1935). Как и во многих прозаических произведениях представителей молодой эмигрантской литературы — Сергея Шаршуна, Юрия Фельзена, Гайто Газданова (1903–1972), герой романов Поплавского — это alter ego самого писателя, носитель эмигрантского менталитета.

С. 343. *По словам Паскаля, из глубины души такого человека, устраненного из истории и выброшенного из движения социальной жизни с ее страстями и конкретной деятельностью, неизбежно должны подняться пустота, скука и отчаянье.* — См.: *Pascal B.* Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets, изд. 1669. XV, 198 (693); XXIV, 622 (131). Ср.: *Паскаль Б.* Мысли / пер. с фр., вступ. ст., коммент. Ю. Гинзбург. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1995. С. 131–260.

*...слова Гамлета «пала связь времен»...* — Цит.: *Шекспир У.* Гамлет (акт 1, сц. 5; пер. А. Кронеберга).

*...талантливые молодые авторы, как, например, Зуров, Рощин, Сирин... Но нужно сказать, что это скорее как бы молодое поколение школы «старших», эмигрировавших, а не эмигрантских, писателей.* — Варшавский имеет в виду то, что в отличие от молодых эмигрантов, сложившихся как литераторы за рубежом, Л.Ф. Зуров

(1902–1971), Н.Я. Рощин (наст. фам. Фёдоров; 1896–1956) и В.В. Сирин (наст. фам. Набоков; 1899–1977) начали печататься еще в России, хотя это не относится к Зурову, его первые произведения появились в Риге — в 1928 г.

*...«on mourra seul»...* — См.: *Pascal B.* Pensées. Paris, 1909. P. iii, 211.

*...по словам Розанова: «Все религии пройдут, а это останется: просто сидеть на стуле и смотреть в даль».* — См.: *Розанов В.В.* Уединенное. СПб., 1912. С. 146.

*И потом еще — все-таки Гамлет слышал в своей пустоте голос духа: Мне помнить о тебе? Да, бедный дух. / Пока есть память в черепе моем.* — См.: *Шекспир У.* Гамлет (акт 1, сц. 4; пер. А. Кронеберга).

С. 344. *...или у Поля Валери: «Qui se confesse ment et fuit le véritable vrai lequel est nul, ou informe, et en général indistinct»...* — См.: *Valery P.* Une étude «Stendhal» // Variété. Oeuvres. Paris: Gallimard, 1929. Vol. 1. P. 571. Валери Поль (Valéry; 1871–1945), французский поэт, прозаик, эссеист, мыслитель.

*...потом я прочел статью Шестова «Познай самого себя».* — Речь идет о главе «Познай самого себя» в книге «На весах Иова (Странствования по душам)» (Париж: Современные записки, 1929) философа-экзистенциалиста Льва Исааковича Шестова (1866–1938). Варшавский приводит цитату с небольшими разночтениями.

*Если литература, как всякое другое выражение жизни, есть «фигляр, неистово шумящий на подмостках»...* — См.: *Шекспир У.* Макбет (акт 5, сц. 5; пер. А. Кронеберга). В цитате — неточность, в переводе: «фигляр, неистово шумящий на помосте».

С. 345. *Ипполит о картине «снятие с креста», которую он видел у Рогожина, говорит: «Природа морщится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя, или, гораздо вернее, хоть и сказать странно, в виде какой-то громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесцельное существо, которое одно стоило всей природы и всех ее законов, которая и создавалась, может быть, единственно для одного только появления этого Существа»...* — Ипполит и Рогожин — персонажи романа Ф.М. Достоевского «Идиот» (1868). См.: *Достоевский Ф.М.* ПСС: в 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 8. С. 339. Картина, которую Ипполит видел у Рогожина, — копия картины Ганса Гольбейна-младшего (Holbein der Jüngere; 1497–1543) «Мертвый Христос в гробу» (1521–1522). Однако Варшавский цитирует не Достоевского, у которого «Природа мерещится...», а заимствует цитату из статьи Л.И. Шестова «Преодоление самоочевидностей: К столетию со дня рождения Ф.М. Достоевского», опубликованной в «Современных записках» (1922. № 9. С. 203), где цитата искажена.

*Вот как комментирует эту цитату Шестов: «Не знаю, нужно ли после всего вышесказанного еще доказывать, что в этих словах вылилась самая глубокая, самая заветная и, вместе с тем, самая трепетная и тревожная мысль Достоевского...»* — См.: *Шестов Л.* Преодоление очевидностей: К столетию со дня рождения Ф.М. Достоевского // Современные записки. 1922. № 9. С. 204 (первая часть эссе, полностью опубликованного в книге «На весах Иова»).

С. 346. *В «Эволюсион креатрис» Бергсон рассказывает, как жизнь, являющаяся сознанием и свободой, входит в косный мир механической, не имеющей истории материи, подчиненный слепым и равнодушным законам причинности необходимости, и стремится его потрясти и победить.* — Имеется в виду прежде всего первая глава «Об эволюции жизни. Механицизм и целесообразность» в книге А. Бергсона «Творческая эволюция» (1907); рус. изд.: М.: Терра Книжный клуб, 2001. С. 39–118.

*Человек — единственное живое существо, способное создавать орудия из «меди и железа»...* — См.: Быт. 4:22.

*...«самое важное» Плотина и такие сомнительные и туманные вещи, как любовь, свобода, Бог и т.д., — только напрасное и вредное мечтание. <...> Жертва же Авеля, которую презрел Бог, но которая, в сущности, не нужна для устройства на земле, окончательно признается не научной и вредной, «буржуазным предрассудком».* — Плотин (204/205–270), античный философ, основатель неоплатонизма, направивший главное внимание на основные, глубоко им продуманные онтологические субстанции: диалектическую триаду — «единое», «ум», «душа», воплощающуюся в природе и космосе.

Видимо, Варшавский толкует Библию по памяти: «И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел» (Быт. 4:4–5). В Библии Авель и Каин — сыновья Адама и Евы (Быт. 4). Авель был скотоводом, Каин — земледельцем. Авель принес в жертву Богу животных своего стада, Каин принес в дар Богу от плодов земли. Бог отдал предпочтение жертве Авеля, и Каин, рассердившись, убил брата, став первым в истории убийцей. Бог наказывает его проклятием (Быт. 4:12) и метит «Каиновой печатью». С Каином связано первое появление слова «грех» в Библии (Быт. 4:7). В Новом Завете Авель назван праведником и первым мучеником (Мф. 23:35), а Каин — образцом злодейства (1Ин. 3:12). В эссе Варшавского образы Каина и Авеля толкуются нетрадиционно.

С. 347. *«Радуйтесь, вы стали машиноравными», — провозглашают правители в «Мы» Замятина.* — Перефразируется запись 31-я в романе Евгения Ивановича Замятина (1884–1937) «Мы» (опубл. 1927): «На первой странице Государственной Газеты сияло: “Радуйтесь... Ибо отныне вы — совершенны!.. С детства вскормленные системой Тэйлора... Вы — совершенны, вы — машиноправны, путь к стопроцентному счастью свободен”». См.: *Замятин Е.* Мы; *Хаксли О.* О дивный новый мир. М.: Худож. лит., 1989. С. 125, 126.

*Луначарский, например, плача над Афинским Акрополем, говорил, что большевики тоже, как древние греки, за свободу человека.* — Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933), литературный критик, член коммунистической партии с 1895 г., с 1917 г. нарком просвещения. В 1933 г. полпред в Испании. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Где он говорил и плакал, установить не удалось.

*...таящей в себе смерть «безмерно тяжелой природы с ее принципами и законами»...* — Цитируется статья Л. Шестова «Преодоление самоочевидностей», вошедшая в его книгу «На весах Иова». См. *Шестов Л.* Соч.: в 2 т. М.: Наука, 1993. Т. 2. С. 73.

*...«святой инженер» Фёдорова, может быть, действительно является высшим образцом человеческой доблести.* — О философе Н.Ф. Фёдорове см. коммент. к «Ожиданию» (С. 575).

С. 348. *...эмигрантский герой это тот, о ком сказано — кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. Герой советский: о нем сказано — нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих.* — Варшавский цитирует по памяти: Лк. 17:33; Ин. 15:13.

*...вряд ли правы те, кто делают отсюда поспешные и демагогические выводы в пользу того, что Толстой называл «общественной» религией. Все-таки сказано: сбережет душу тот, кто потеряет ее ради Меня. Ради Меня и сбережет...* — Варшавский перефразирует евангельское изречение: Мф. 16:25; Лк. 9:24.

*...со всеми ее принципами и законами «поглощающей глухо и бесчувственно великое и бесценное Существо»...* — Цитируется с небольшим разночтением «Идиот» Ф.М. Достоевского. См.: ПСС: в 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 8. С. 339.

С. 349. *С появлением «Зависти» Олеши в советской литературе, призванной воспевать строение «хрустального здания», вдруг воскрес раздавленный подпольный человек и опять заговорил: «Я самый гадкий, самый смешной, самый мелочный, самый завистливый, самый глупый из всех на земле червяков».* — Роман Юрия Карловича Олеши (1899–1960) «Зависть» вышел в 1927 г. Упоминание о «хрустальном дворце» — аллюзия одновременно на хрустальный дворец в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (1863) и высказывание героя повести Ф.М. Достоевского «Записки из подполья» (1864): «Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое...» (ч. I, гл. 10); см.: *Достоевский Ф.М.* ПСС: в 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 120.

*Он [эмигрантский писатель] как будто бы стал оглядываться вокруг себя, и «душа его страданиями людей уязвлена стала».* — Цитата из книги А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790); см.: *Радищев А.Н.* Избранное. М.: Московский рабочий, 1976. С. 71.

*...эмигрантский герой поймет, что «поэтом можешь и не быть, но гражданином быть обязан».* — Не совсем точная цитата из стихотворения Н.А. Некрасова «Поэт и гражданин» (1856). У Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть...»

### Личность и общество
*(Анкета)*

Впервые: Встречи. Париж, 1934. № 3. С. 129–130. Подп.: В. Варшавский.

Ответ В. Варшавского, Б. Поплавского, Ю. Терапиано, Ю. Фельзена на анкету журнала предваряется небольшим вступлением от редакции: «Вопрос о личности и обществе поставлен сейчас самой жизнью с небывалой остротой. Не будет преувеличением сказать, что от того или иного разрешения его зависит будущее европейской культуры.

Редакция "Встреч" нашла интересным обратиться к четырем даровитым молодым эмигрантским писателям с просьбой высказаться по этому поводу» (С. 129).

Поплавский, Фельзен — см. коммент. к «Ожиданию» (С. 554, 555). Терапиано Юрий Константинович (1892–1980), поэт, прозаик, критик, переводчик французской поэзии, мемуарист, в эмиграции с 1920 г., с 1922 г. — в Париже; к 1934 г. известен как один из организаторов (1925) и первый председатель «Союза молодых поэтов и писателей», с 1926 г. — член редколлегии журнала «Новый дом», с 1927 г. — участник общества «Зеленая лампа», с 1928 г. — группы поэтов «Перекресток», автор сборника «Лучший звук» (Мюнхен, 1926) и стихов, печатавшихся во многих эмигрантских изданиях. Позднее автор еще пяти сборников стихов, повести «Путешествие в неизвестный край» (1946), исследования «Маздеизм: современные последователи Зороастра» (1968), двух сборников статей и воспоминаний «Встречи» (1953) и «Литературная жизнь русского Парижа за полвека» (1986), в 1955–1978 гг. вел литературно-критический отдел газеты «Русская мысль».

С. 350. *По меткому выражению Казем-Бека, в демократии «Шейлок обошел Манилова».* — Казем-Бек Александр Львович (1902–1977), публицист, церковный

журналист; участник Белого движения. С 1920 г. в эмиграции (Константинополь, Салоники, Белград), с 1923 г. — в Мюнхене, лидер движения младороссов; со 2-й половины 1920-х — во Франции; с 1942 г. — в США, где преподавал русский в Йеле и других университетах; защищал права Московского патриархата (РПЦ), способствовал решению Верховного суда США о сохранении за Московским патриархатом Свято-Николаевского собора в Нью-Йорке. По просьбе сестры премьер-министра Индии Д. Неру — Р. Неру организовал курсы русского языка в Нью-Дели, откуда подал прошение о советском гражданстве, оно было удовлетворено. Вернулся в СССР, с 1962 г. работал в Отделе внешних церковных сношений Московской патриархии. См. о нем: *Незамеченное поколение, 2010* (гл. «Младороссы и солидаристы»). Источник цитаты установить не удалось.

*Разум... всех «голодных и рабов» был возмущен.* — Слова «Интернационала» — международного гимна коммунистических партий, социалистов и анархистов как гимна пролетарских партий. Сочинен в 1871 г. французским поэтом-анархистом, членом Первого интернационала и Парижской коммуны Эженом Потье; сначала исполнялся на мотив «Марсельезы», с 1888 г. музыка Пьера Дегейтера.

*...«господин из Сан-Франциско»...* — Персонаж одноименного рассказа (1915) И.А. Бунина.

## О прозе «младших» эмигрантских писателей

Впервые: Современные записки. 1936. № 61. С. 409–414. Подп.: Вл. *Варшавский.*

С. 351. *...«des choses bonnes et mauvaises mais très peu des choses situées».* — Цитата из поэтического сборника «Cornet à dés» (1917) французского писателя и художника Макса Жакоба (Jacob; 1876—1944). Общепринятый перевод названия сборника «Рожок игральных костей», в переводе Б.Ю. Поплавского — «Стакан для игральных карт».

*...Г.В. Адамович в статье «Несостоявшаяся прогулка».* — См.: Современные записки. 1935. № 59. С. 288–296.

*...«голым человеком на голой земле»...* — Перефразируется цитата «Природа швырнула голого человека на голую землю» из «Естественной истории» (кн. 7–77) Плиния Старшего. Для Варшавского источником могло также послужить высказывание героя пьесы Л.Н. Андреева «Савва» (1907): «Нужно, чтобы теперешний человек голый остался на голой земле. Тогда он устроит новую жизнь» (*Андреев Л.* Собр. соч.: в 6 т. М.: Худож. лит., 1993. Т. 2. С. 385).

С. 352. *...одиночество... другое, мучительное, как тоска влаха в Венеции...* — «Влах в Венеции» — одна из «Песен западных славян» (опубл. А.С. Пушкиным в «Библиотеке для чтения», 1835, кн. 15), переложение песни, напечатанной П. Мериме в книге «Гузла» (1827), собрании песен, сочиненных им по мотивам балканского фольклора.

«*...Но мне скучно, хлеб их мне, как камень...*» — Из «Влаха в Венеции». «...Хлеб их мне, как камень» — перефразированное «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» (Мф. 7:9) или «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень?» (Лк. 11:11).

*...Л. Зурова...* — См. о Л.Ф. Зурове коммент. к «Ожиданию» (С. 555), а также к рец.: Леонид Зуров. Поле... (С. 659).

*«Я сутулился...»* — Цитата из романа Б. Поплавского «Аполлон Безобразов». Роман написан в 1926–1932 гг., главы публиковались в журнале «Числа» (1930–1934. № 2/3, 5, 10).

*...«Долголиков» С. Шаршуна...* — См. о Шаршуне коммент. к «Ожиданию» (С. 558). Здесь и далее в статье цитируются фрагменты отрывка «На чужой улице», опубл. в журнале «Числа» (1934. № 10. С. 187–197).

С. 353. *«...источник воды, текущей в жизнь вечную».* — См.: Ин. 4:14.

*...Henry de Montherlant...* — Монтерлан Анри де (1896–1972), французский писатель, автор романов «Бестиарии» (1926), «Холостяки» (1934), тетралогии «Девушки» (1936–1939), которые характеризуют его как сторонника крайнего эгоцентризма, непримиримого к человеческим слабостям, ко всему «человеческому, слишком человеческому» (по выражению его учителя Ф. Ницше).

Варшавский цитирует А. де Монтерлана по изд.: *Montherlant H. de.* Service inutile. Paris, 1935. P. 607.

С. 354. *И в снах моих я вижу облака...* — Слова Калибана, персонажа романтической драмы, или трагикомедии, У. Шекспира «Буря» (акт III, сц. II; пер. Н.М. Сатина).

*Только в одном романе Яновского «Любовь вторая»...* — О В.С. Яновском см. коммент. к «Ожиданию» (С. 554). Для творчества этого писателя характерны до 1936 г. изображение трагической безысходности жизни русских эмигрантов, затерянных в «сорных лабиринтах» мегаполиса, нарочитость физиологических описаний, интерес к «экзотике» городского дна, к «подполью» души человека, отчаяние и отрицание «бессмысленного балагана жизни». Поэтому В. Варшавский пишет об исключительности романа «Любовь вторая» (Париж: Объединение писателей в Париже, 1935), где писатель обратился к теме религиозного преображения, духовного просветления героини (признанного, однако, критикой психологически неубедительным).

С. 355. *Иногда еще, как, например, в романе Фельзена, герой пытается найти выход из одиночества в героической и упорной привязанности к женщине...* — Варшавский дает «типологическое» определение романов Юрия Фельзена — «Обман» (Париж: Я. Поволоцкий, 1930), «Счастье» (Берлин: Парабола, 1932), повести «Письма о Лермонтове» (Берлин: Издательская коллегия Парижского объединения писателей. Speer&Schmidt, 1935).

*...будто бы даже никогда не слышал о гневе бодлеровского Ангела, требующего любить каждого человека, как ни был он нищ, зол, безобразен, глуп...* — См. коммент. к «Ожиданию» (С. 581).

## О происхождении и «общественном положении» человека

Впервые: Новый Град. 1936. № 11. С. 127–131. Подп.: В. Варшавский.

С. 355. *«Всякому человеку для того, чтобы действовать, необходимо считать свою деятельность важною и хорошею» и свое положение «хорошим и уважительным».* — Цитата из романа Л.Н. Толстого «Воскресение» (ч. I, гл. XLIV). См.: *Толстой Л.Н.* Собр. соч.: в 14 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1953. Т. 13. С. 154.

*...Маслова «была проститутка, приговоренная к каторге...»* — Цитата из романа Л.Н. Толстого «Воскресение» (ч. I, гл. XLIV). См.: Там же. С. 155.

С. 356. *...«как память об иной отчизне»...* — Из стихотворения А. Блока «Сердитый взор бесцветных глаз» (1914), цикл «Кармен» (1914).

*Кто бы пустился в морское плавание, чтобы не проронить о нем ни слова.* — См.: *Паскаль Б.* Мысли / пер. с фр., вступ. ст., коммент. Ю.А. Гинзбург. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1995. С. 97.

*Он ощущает тогда свое ничтожество, свою покинутость, свою недостаточность, свою зависимость, свое бессилие, свою пустоту.* — См.: Там же. С. 260.

...*«сидеть впереди в синагогах»*... — См.: Мк. 12:39.

С. 357. ...*«почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют над ними», — по поводу которого в Евангелии прямо сказано: «но между вами да не будет так»*... — См.: Мк. 10:42, 43.

С. 358. ...*«кухаркин сын» может так же управлять государством...* — Перефразируется приписываемое В.И. Ленину «крылатое выражение»: «Каждая кухарка может управлять государством». На самом деле в статье «Удержат ли большевики государственную власть» (1917) Ленин писал: «Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас вступить в управление государством» (*Ленин В.И.* ПСС: в 55 т. 5-е изд. М.: Политиздат, 1969. Т. 34. С. 315) и предлагал сначала обучить их этому делу, а уж потом допускать к власти. Источник крылатой цитаты — поэма В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин» (1924): «Мы и кухарку / каждую / выучим / управлять государством».

...*«жить станет лучше, жить станет веселее».* — Ставшая крылатой фраза И.В. Сталина из выступления на I всесоюзном совещании рабочих и работниц — стахановцев 17 ноября 1935 г. Она (не позднее 1937 г.) вошла в припев песни «Жить стало лучше, жить стало веселей» (слова В.И. Лебедева-Кумача) и воспроизведена на плакате в 1936 г. (художники Б.Е. Ефимов, М.Л. Иоффе).

## Рамакришна и его ученик Вивекананда

Впервые: Новый Град. 1936. № 11. С. 144–149. Б.п. Текст предваряет «Вступительное слово В.С. Варшавского».

Вступительное слово (5 января 1939) В.С. Варшавского на очередном, восьмом, заседании литературного общества «Круг» (1935–1939). Присутствовали: И.И. Бунаков (Фондаминский), историк искусства, критик, публицист Владимир Васильевич Вейдле (1895–1979), журналист, литературный критик Габриэль Осипович Гершенкройн (1890–1943), поэт Довид Кнут (наст. имя и фам. Дувид Меерович Фиксман; 1900–1955), поэт и прозаик Антонин Петрович Ладинский, критик А. Савельев (наст. имя и фам. Савелий Григорьевич Шерман; 1894–1939), поэт Юрий Борисович Софиев (1899–1975), поэтесса Лидия Давыдовна Червинская (1907–1988).

«Возражения докладчику, — отмечается в послесловии к выступлению, — сводились к следующему. «Докладчик не осветил одного интересного момента. Рамакришна всю жизнь оставался жрецом богини Кали, самой жестокой по отношению к живой твари. Он никогда не отрекался от завещанной предками религиозной традиции. Наконец, его душа почти ничего не восприняла из выросшей на христианстве европейской культуры. Что же направило его на путь любви к людям? Почему его не удовлетворил отход от мира и погружение в созерцание божества? Он видит в человеке воплощение Бога. С поразительным спокойствием проходит он мимо религиозных учений, близких его новым откровениям, и до конца своих дней остается верен ужасной матери Кали. Он находит какую-то возможность сочетания надмирного

Абсолюта с живым Богом любви в мире земных явлений. Этот путь Рамакришны остался для нас неведомым и после доклада.

Между Рамакришной и Вивекандой разница гораздо существеннее, чем думает докладчик. Вивекананда получил европейское образование и скорее напоминает социального реформатора с мистическим уклоном души. Ему важно доброе дело само по себе. Между тем как Рамакришна утверждал, что дурные люди не могут творить добрых дел.

Поражает пассивность и безличность индусских божеств. Отсутствие личного Бога для нас непереносимо, и здесь индусская религиозная философия нами никогда не будет понята до конца. Религиозная философия индусов не знает чуда, когда личный Бог спасает, исцеляет, воскрешает данного человека, вникает в его индивидуальные скорби. Рамакришна как будто чует эту специфичность христианства, но до конца он ее не продумывает. Бог Рамакришны и Вивекананды ярко светит, но ему не дано согреть человеческую душу. Этот свет лишен благодати.

Шопенгауэр исказил на многие десятилетия понимание индусской религиозной философии. Ромен Роллан, писавший о Рамакришне и Вивекананде, как и все европейцы, не мог уйти от мощного влияния немецкого философа. Очень жаль, что единственным источником для докладчика был все тот же Ромен Роллан — мыслитель неглубокий и неоригинальный. С его оценками можно и не считаться без особого ущерба для трактуемого им предмета. Древняя индийская философия, продолжателем и частично завершителем которой был Рамакришна, полностью сформировалась в дохристианской древности. Древнее учение было пронизано проповедью действенной любви. Рамакришне незачем было учиться любви у христиан — этому достаточно научили его священные книги его далеких предков. Шопенгауэр взял лишь одну сторону индусского учения, и как раз наименее глубокую. Изумление и восхищение Ромена Роллана тем, что Рамакришна проповедовал действенную любовь, автоматически передавшиеся докладчику, основаны на недостаточном знании древней философии индусов» (Новый Град. 1936. № 11. С. 149–150).

Рамакришна Парамахамса (1836–1886), мистик, проповедник, реформатор индуизма, один из наиболее почитаемых религиозных лидеров Индии.

Свами Вивекананда (на санскрите означает «блаженство различения», домонашеское имя Нарендрана́тх Да́тта; 1863–1902), индийский философ, главный ученик Рамакришны, основатель монастыря Рамакришна Матх и Миссии Рамакришны (1897), одного самых больших и почитаемых монашеских орденов индуистского сообщества в Индии. Его посещение США в 1893 г. считают отправной точкой в пробуждении на Западе интереса к индуизму не просто как к восточной экзотике, но как к живой религиозной и философской традиции, способной многому научить Запад. В течение нескольких лет он основал центры Веданты в Нью-Йорке и Лондоне, читал лекции в основных университетах. В 1897 г. вернулся в Индию и своими лекциями, известными как «Лекции от Коломбо до Алморы», поднял моральное состояние подавленного в то время индийского общества.

Вивекананда был убежден, что Бог один, различаются лишь его имена, одни называют его Аллахом, другие — Богом, кто-то Брахманом, кто-то Кали, кто-то Рамой, Хари, Иисусом, Буддой, и что «Джива есть Шива» (каждая личность божественна сама по себе). Эта идея стала его мантрой, он создал понятие «даридра нараяна сева» — служение Богу, видя Его присутствие в бедных людях. Он принадлежал к тому течению Веданты, которое утверждало, что никто не может быть истинно сво-

боден до тех пор, пока не свободны все. Даже желание личного спасения должно быть оставлено, и только неутомимая работа для спасения других может быть истинным признаком просветленного человека. Он настаивал на строгом разделении между религией и государством (церковью и государством), и этого идеала твердо придерживается основанная им организация. См., в частности: *Кузьменко Е.* Религиозно-философская концепция Свами Вивекананды. М.: Ин-т востоковедения РАН, 2001.

С. 359. *Все имеют какое-то, хотя отдаленное представление о Ганди.* — Ганди Мохандас Карамчанд «Махатма» (1869–1948), идеолог и один из лидеров движения за независимость Индии от Великобритании. Основные положения его социально-политического и религиозно-философского учения: достижение независимости мирными, ненасильственными средствами, борьба с кастовым неравенством, идеализация старины, апелляция к религиозным чувствам народа. После завоевания Индией независимости выступил против начавшихся индо-мусульманских погромов и был убит одним из членов индуистской шовинистической организации. Его философия ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на движения сторонников мирных перемен и за пределами Индии.

*Когда он священнослужительствовал в храме богини Кали...* — Богиня Кали (*санскр.* черная) — Богиня-мать, символ разрушения. Она разрушает невежество и поддерживает мировой порядок, благословляет и освобождает тех, кто стремится познать Бога. Ее сущность — не жестокость и насилие, а благость.

*...к нему пришел проповедник Атмана Тотанури...* — Атман — одно из центральных понятий индийской философии и религии индуизма: божественная «Главная Суть» человека, его Высшее «Я», Божественная часть многомерного человеческого организма, пребывающая в высшей пространственной мерности.

*...от подчинения страшным законам Майи...* — Майя (*санскр.*, *букв.* иллюзия, видимость) — понятие древней и средневековой индийской философии, имеющее несколько значений; наиболее известное — иллюзорность всего воспринимаемого мира, скрывающего под видимым многообразием свою истинную сущность — Брахмана, космическое духовное начало, безличный Абсолют как основу всего сущего.

*...и по ту сторону наслаждений и страданий, по ту сторону «маленькой вселенной наших чувств и рассудка» соединяется с единственной реальностью, не имеющей никакого определения, пространства, формы, имени.* — В.С. Варшавский использует в докладе книги французского писателя Ромена Роллана (Rolland; 1866–1944): «Жизнь Рамакришны» (1929) и «Жизнь Вивекананды и всемирное евангелие» (1930).

С. 360. *...похожим на Франциска Ассизского.* — Франциск Ассизский (Francesco d'Assisi; 1181 или 1182–1226), итальянский проповедник. Основатель ордена францисканцев, автор религиозных поэтических произведений.

С. 362. *Объяснение, как открылся душе Индии этот новый путь освобождения, дает Бергсон: «Прямое действие христианства как догмы было почти ничтожным в Индии...»* — Цитата из книги А. Бергсона «Два источника морали и религии» (см. рус. изд.: *Бергсон А.* Два источника морали и религии / пер. А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1994. С. 243–244 [гл. III «Динамическая религия»]).

С. 363. *Блок был последним русским человеком, вместившим видение обеих сторон русского мистического идеала: и лучей, которые ринутся «оттуда», и «Америки новой звезды».* — Цитата из стихотворения А. Блока «Новая Америка» (1913).

*Но для большинства по-прежнему это пророческое видение кажется невместимым и невозможным, и смысл «Двенадцати» продолжает оставаться кощунственным для одних и непонятным, «ненужным» для других.* — «Двенадцать» — поэма (1918) А. Блока, имеющая два плана — реальный и символический, рожденный восприятием революции как «мирового пожара».

## Борис Вильде

Впервые: Вестник русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции. 1947. № 2. С. 9–15. Подп.: Владимир Варшавский.

Борис Владимирович Вильде, см. о нем: Наст. изд. С. 555.

С. 363. *«Один берется, а другой оставляется».* — Слова Иисуса Христа из пророческой беседы на горе Елеонской: «...так будет и пришествие Сына Человеческого; тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется» (Мф. 24:39–40).

С. 364. *Он не был похож на «героя» нашего Монпарнаса, героя, чей облик, напоминающий отчасти мечтателя из «Белых ночей», вернее всего обрисован в повестях Б. Поплавского и С. Шаршуна.* — Повесть Ф.М. Достоевского «Белые ночи» (1848) имеет подзаголовок: «Сентиментальный роман. (Из воспоминаний мечтателя)».

Под повестями Б. Поплавского подразумеваются романы «Аполлон Безобразов» (1926–1932) и «Домой с небес» (1934–1935). Первый роман частично в виде нескольких глав появился на страницах журналов «Числа» (1930. № 2–3; 1931. № 5; 1934. № 10) и «Встречи» (1934. № 6). Роман «Домой с небес» публиковался посмертно в альманахе «Круг» (1936. № 1; 1937. № 2, 3). Полностью тексты вышли в свет только в 1993 г. (*Поплавский Б.* Домой с небес: Романы. СПб.: Logos; Голубой всадник, 1993). Третья часть трилогии «Апокалипсис Терезы» осталась незавершенной. Главные герои этих романов — Васенька и Олег — alter ego автора — молодые русские эмигранты.

Цикл рассказов С. Шаршуна, объединенных главным героем — художником и писателем Тихоней, — появился в «Журнале содружества»: «Антильский мед» (1935. № 7), «Неудавшийся Обломов» (1936. № 3), «Экзотическая песня» (1936. № 7), «Абиссиния» (1937. № 5). Герои прозаической поэмы Шаршуна «Долголиков» (Париж: Числа, 1934) и романа «Путь правый» (Париж: Числа, 1934) также предстают как alter ego автора. Г. Адамович увидел в «Долголикове» «повествование о душе предельно одинокой, доброй и доверчивой» (Последние новости. 1934. 10 мая. № 4795. С. 2).

*Он появился в Париже откуда-то из Прибалтики бесстрашным провинциальным русским мальчиком...* — Б. Вильде родился в Петербурге, в Эстонии жил с 1919 г. В 1920–1926 гг. учился в Тартуской русской гимназии, в 1926–1927 гг. — в Тартуском университете на физико-математическом факультете. С 1929 г. — член Юрьевского цеха поэтов. В 1930 г. уехал в Германию. В 1933 г. переехал в Париж, окончил Сорбонну и Школу восточных языков, в 1936 г. принял французское гражданство. См.: *Исаков С.Г.* Борис Владимирович Вильде // Русская эмиграция и русские писатели Эстонии 1918–1940 гг.: Антология / сост., вступ. ст., биогр. справки и коммент. проф. С.Г. Исакова. Таллинн: KPD, 2002. С. 215–216; см. также: *Милютина Т.П.* Люди моей жизни. Тарту: Крипта, 1997; Борис Вильде. Рижский эпилог / публ. Ю. Абызова // Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике. Таллинн, 1997. Т. 3. С. 58–109; и др.

*...полным романтических бредней о «подвигах и славе»...* — Отсылка к стихотворению А. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе...» (1908).

*...«жадным к жизни и счастливым, несмотря на нищету и мировую скорбь», как он сам позднее пишет в своих предсмертных тюремных записках.* — Фрагменты тюремного дневника Б. Вильде были перепечатаны из французского периодического издания (Europe. 1946. № 5. Mai) в «Вестнике русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции» (1947. № 2. С. 17–22). См. также: *Вильде Б.* Дневник и письма из тюрьмы. 1941–1942 / пер. с фр. М.А. Иорданской. М.: Русский путь, 2005.

С. 365. *...но в действительности очень доброго* «чудовища» *жила душа, стремившаяся к приключениям совсем другого рода, чем развлечения «Принца Гари».* — Очевидно, имеется в виду принц Гарри из хроники Шекспира «Генрих IV», который в компании с Фальстафом вел разгульный образ жизни, пока не стал королем.

С. 366. *...движения в пользу автономии ливов. Тюрьма, высылка.* — Ливы (*ливск.* līvlizt), малочисленный народ, составляющий древнее население Вентспилсского и Талсинского районов Латвии. В XX в. неоднократно пытались добиться автономии. В 1923 г. обратились в Кабинет министров Латвии с просьбой создать национальный округ, но получили отказ. Изучение жизни ливов подвигло Б. Вильде принять участие в борьбе за их права. Сам Вильде об этом периоде (1928–1929), обернувшемся для него арестом и скорым освобождением, писал в письме к матери от 14 ноября 1930 г.: «...тюрьма и суд, который хорошо кончился» (см. об этом: Письма Бориса Вильде к матери / вступ. ст. и публ. Б. Плюханова; коммент Л. Киселевой // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Новая серия. Тарту, 2001. № 4. С. 282–338). Считается, что история с арестом сильно усложнила Вильде пребывание в Эстонии и стала отчасти причиной его отъезда в 1930 г. в Германию. Показательна в этом отношении статья Бориса Дикого (Вильде) «Ливы. Волость, претендующая стать государством» (Руль. Берлин, 1930. 18 дек. № 3060. С. 2). Между тем исследователь С.Г. Исаков отмечает отсутствие дел в латышских архивах, связанных с арестом Вильде по ливскому вопросу, и приходит к заключению: «Не была ли опубликованная в декабре 1930 г. в газете “Руль” статья “Ливы” причиной, вернее, поводом для создания легенды о его участии в движении ливов?» (*Исаков С.Г.* «Ничего подозрительного не замечено»: Новое о Борисе Вильде // Вышгород. Таллинн, 2004. № 5/6. С. 26). Одну из «классических» эмигрантских версий ливского сюжета в биографии Вильде дает, например, Ю.К. Терапиано: «...у себя на родине Дикой был замешан в политический заговор в пользу автономии ливов, сидел в тюрьме и был выслан за границу... за границей, в Германии, он тоже имел неприятности, вел пропаганду против нацизма и тоже был выслан. Этот авантюризм, конечно, возвысил Дикого в глазах многих монпарнасцев, для которых действие как раз являлось резким противоположением их несколько пассивной созерцательности» (*Терапиано Ю.К.* Встречи. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953. С. 138–139).

*Но женитьба и увлечение научной работой в «Музее Человека» как будто дают новое направление его жизни, уводят его от беспокойных, романтически-революционных порывов его юношеских лет.* — Борис Вильде женился на Ирэн Лот 27 июля 1934 г. В парижском Музее Человека (Musée de l'Homme) он стал работать с 1937 г. по приглашению директора, этнолога Поля Ривэ (Rivet; 1876–1958), получив должность в отделе изучения народов угро-финской группы и Арктики. В 1937 г. совершил этнографическую экспедицию в Эстонию в Печорский край «собирать материалы о сету, осколке эстонского народа, в культуре которого причудливо сочетались язычество

и православие» (*Круус Р.* Борис Вильде // Радуга. 1989. № 6. С. 59). В Музее Человека Вильде сблизился с будущим сподвижником по Сопротивлению Анатолием Николаевичем Левицким (1903–1942).

*...движение, которому* он первый дает имя *Résistance.* — Движение «Résistance» («Сопротивление») зародилось еще в августе 1940 г. с распространения нелегального трактата «33 совета оккупированным». Тогда же Вильде и Левицкий решили создать печатный орган «Национального комитета общественного спасения» — газету «Резистанс» («Résistance»). Первый номер вышел 15 декабря 1940 г. тиражом около 500 экземпляров. Он был напечатан в тайной типографии музея, набирался собственноручно Анатолием Левицким, расходы по изданию номера взял на себя Борис Вильде. Воззвание Вильде, опубликованное в первом номере газеты, стало программным для издания и движения в целом и было передано по лондонскому радио: «Сопротивляться! Этот крик идет из ваших сердец из глубины отчаяния, в которое погрузил вас разгром родины. Это крик всех непокорившихся, всех стремящихся исполнить свой долг». К созданному Вильде и Левицким движению также присоединились студенты, работники музея, ученые, писатели (Жан Кассу, Клод Авелин, Пьер Абрам и др.), в итоге на базе музея была создана интернациональная антифашистская организация. Кроме издания газеты, движение Résistance помогало переправлять в свободную зону добровольцев в армию де Голля, добывало различную информацию о немецкой армии и т.д. Последний, пятый, номер «Резистанс», подготовленный известным французским журналистом и политиком Пьером Броссолеттом и историком Аньес Гюмбер, вышел в конце марта 1941 г. уже после ареста Б. Вильде и А. Левицкого. См. об этом: *Cassou J.* Une vie pour la liberté. Paris: Robert Laffont, 1981; *Райт-Ковалева Р.* Человек из Музея Человека. М.: Советский писатель, 1982; *Исаков С.Г.* Борис Владимирович Вильде // Русская эмиграция и русские писатели Эстонии... С. 215–216; и др.

*...война за освобождение славян или Трансвааль.* — Начало войны за освобождение балканских славян от османского ига было объявлено 12 апреля 877 г. императором Александром II. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. закончилась поражением Турции и подписанием с Россией предварительного Сан-Стефанского мирного договора 19 февраля 1878 г.

Трансвааль — бывшая провинция на северо-востоке Южно-Африканской Республики. Трансваальский кризис означился двумя колониальными войнами Британии против Трансвааля. Первая англо-бурская война продлилась с 16 декабря 1880 по 23 марта 1881 г. Вторая англо-бурская война началась 11 октября 1899 г.; после нескольких месяцев успешных боев буры были разгромлены и по окончании двухлетней партизанской войны подписали капитуляцию, а Трансвааль стал частью Британской империи.

*Появляясь на Монпарнасе только как случайный гость, он становится одним из самых деятельных участников кружка, в 1938 году, как бы в предчувствии грядущих событий, основанного Ильей Исидоровичем Бунаковым-Фундаминским.* — Имеется в виду литературно-философское объединение «Круг» (Париж, 1935–1939). Подробнее об этом см.: Наст. изд. С. 553.

С. 367. *...погибли в Германии сам И.И. Фундаминский и мать Мария; расстрелян немцами — Б. Вильде; В. Алексинский, В. Андреев, Б. Сосинский, А. Угримов, рискуя не только своей головой, но и жизнью своих жен и детей, принимают героическое участие в борьбе с врагами...* — См. об этом коммент. к «Ожиданию» (С. 557–558).

*В французских книгах, журналах и газетах уже появились воспоминания о Вильде, этом замечательном русском человеке, чье имя стало легендарным среди участников Сопротивления во Франции.* — Варшавский имеет в виду следующие публикации: *Aveline C.* L'affaire du musée de l'Homme // Les Lettres Françaises. 1945. № 44. Février; *Idem.* Boris Vildé // Europe. 1946. 5 mai. Vol. 24. P. 1–15; *Humbert A.* Notre guerre. Paris: Emile-Paul, 1946.

С. 367. *В этом номере «Вестника русского сопротивления» напечатаны переводы дневниковых записей, сделанных им в тюрьме, и последнего письма Вильде жене.* — См.: *Вильде Б.* Диалог в тюрьме // Вестник русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции. 1947. № 2. С. 17–22; Последнее письмо Бориса Вильде к жене // Там же. С. 15–16. Далее В. Варшавский цитирует Б. Вильде по этому изданию.

С. 368. *...только с некоторыми страницами Моргана, говоря нам о самом главном «открытии», сделанном Вильде в предсмертном усилии интуиции...* — Морган Чарльз (Morgan; 1894–1958), английский писатель, драматург, литературный критик. Приобрел известность после романа «Портрет в зеркале» (1929). Особенно популярно его творчество было во Франции. Варшавский точно отметил близость между настроением тюремного дневника Вильде и произведениями Моргана. По признанию самого Вильде, роман Моргана «Спаркенброк» (1936) он перечитывал неоднократно. Этот роман был первой книгой, которую принесла в тюрьму Борису Вильде его жена Ирэн. В своем тюремном дневнике 25 августа 1941 г. он написал: «Проблемы Моргана не вполне совпадают с моими. Вот те темы, к которым я все время возвращаюсь в эти месяцы одиночества: *"я", любовь, смерть*» (*Вильде Б.* Дневник и письма из тюрьмы. 1941–1942. С. 47).

## К разговорам о Дудинцеве

Впервые: Опыты. 1957. № 8. С. 100–104. Подп.: Владимир Варшавский.

Владимир Дмитриевич Дудинцев (1918–1998), участник Великой Отечественной войны, тяжело раненный при обороне Ленинграда; после войны, в 1946–1951 гг., — очеркист «Комсомольской правды», в 1952 г. издал сборник рассказов «У семи богатырей», около десяти лет работал над романом «Не хлебом единым», опубликованным в 1956 г. в журнале «Новый мир» и имевшим огромный успех у советского читателя. Это роман о вернувшемся с войны изобретателе Лопаткине, который разработал эффективную машину для изготовления труб, позволяющую ускорить строительство жилых домов. Он сталкивается с непробиваемым советским бюрократизмом, с государством, усматривающим опасность в тех, кто склонен к самостоятельному мышлению, к «инакомыслию» — слово, которое имеет в романе особую весомость: Лопаткин считает инакомыслие столь же необходимым, как и совесть. В советской прессе роман подвергся разгромной критике. Писателя истерически обвиняли в страшных грехах за «очернительство» советской действительности, за слишком суровую критику советской бюрократии. Редактор «Нового мира» К.М. Симонов, сначала защищавший роман, в конце концов признал публикацию ошибочной. Но раздавались и голоса в защиту (К.Г. Паустовский и др.).

С. 368. *Вера Александрова и другие наши критики...* — Александрова Вера (наст. имя и фам. Вера Александровна Шварц, урожд. Мордвинова; 1895–1966), литературный критик, публицист, мемуаристка. В 1922 г. эмигрировала вместе с высланным в Берлин мужем — меньшевиком С.М. Шварц-Моносзоном. С 1933 г. жила в Париже, с 1940 г. — в Нью-Йорке. В 1952–1956 гг. — главный редактор Издательства имени Чехова. В 1956 г. в «Новом журнале» (№ 46) опубликовала статью «Советская литература после XX-го съезда КПСС».

С. 369. *Г.В. Адамович совершенно правильно, по-моему, указал, что в этом отношении роман Дудинцева напоминает ранние советские годы.* — См.: *Адамович Г.В.* «Не хлебом единым» // Русская мысль. 1957. 7 марта. № 1026. С. 4–5.

*Молодая советская интеллигенция прагматична, деловита, равнодушна ко всем тем вопросам о Боге и социализме, которые волновали прежних «русских мальчиков».* — Известное выражение «русские мальчики», которое не раз употребляет Варшавский, принадлежит Ивану Карамазову в романе «Братья Карамазовы» (ч. 2, кн. 5 «Pro et contra», гл. III «Братья знакомятся»). См.: *Достоевский Ф.М.* ПСС: в 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 213. Это определение Достоевским той части молодого поколения пореформенной России, которая искала смысл жизни, правду и справедливость.

*Так, Эдуард Кранкшоу пишет: «Для молодежи, верящей в идеалы и готовой жертвовать собой ради этих идеалов, коммунизм — податель жизни...»* — Крэнкшоу Эдвард (Crankshaw; 1909–1984), английский писатель, переводчик, советолог, во время войны служил в английской разведке (Intelligence Service), с 1941 по 1943 г. — в Британской миссии в Москве; в 1947–1968 гг. работал в газете «Обсервер» («Observer»). Крэнкшоу — автор около 40 книг, среди них: «Британия и Россия» (1946), «Россия без Сталина» (1956), «Хрущев» (1966), «Новая холодная война: Москва против Пекина» (1970), «Толстой: формирование романиста» (1974), «Тень Зимнего дворца: Движение России к революции, 1825–1917» (1976), «Смиряясь с русскими» (1985) и др. Источник ссылки не установлен.

С. 370. *Но почему же тогда Дудинцева заставили переделать его роман?* — Первая публикация романа Дудинцева — в «Новом мире» в 1956 г. — вызвала суровую критику за очернительство советской действительности. Поэтому в 1957 г. (после консультаций в ЦК и едва ли не в Политбюро) роман вышел отдельным изданием в издательстве «Советский писатель» с некоторыми переделками — Дудинцева вынудили смягчить «слишком острую критику», «доработать» предисловие. Издали тиражом 30 000 экземпляров, вместо 200 000, планировавшихся первоначально в Гослитиздате. См. об этом: URL: http://www.hrono.ru/dokum/159_dok/19570122dud.html. В 1990 г. роман был напечатан без переделок с авторским предисловием.

*...по своему моральному вдохновению была христианской большая русская литература XIX века, влияние которой чувствуется во всей духовной направленности романа Дудинцева. Об этом очень верно писал в «Новом журнале» Р.Б. Гуль.* — См.: *Гуль Р.Б.* В. Дудинцев. Не хлебом единым // Новый журнал. 1957. № 48. С. 250–255.

*Не знаю, слыхал или не слыхал Дудинцев о Фёдорове, но его Лопаткин — воплощение фёдоровского «святого инженера».* — Образ «святого инженера» занимает существенное место в учении русского религиозного мыслителя Николая Федоровича Фёдорова (см. о нем коммент. к «Ожиданию» [С. 575]).

С. 371. ...*«средневекового миросозерцания», в котором вслед за Бердяевым многие теперь видят чуть ли не золотой век христианства...* — См.: *Бердяев Н.А.* Новое средневековье: Размышление о судьбе России и Европы. Берлин: Обелиск, 1924.

*Уиклиф тоже сперва обличал только порчу нравов духовенства...* — Уиклиф Джон (Wycliffe; ок. 1330–1384), английский теолог, проповедник, провозвестник Реформации, задолго до М. Лютера провозгласивший ценность Библии как основы христианского вероучения. Стремясь к тому, чтобы Слово Божье было доступно простым людям, перевел Библию с латинского на английский, т.е. народный язык.

*...а Лютер продажу индульгенций.* — Лютер Мартин (Luther; 1483–1546), инициатор Реформации, богослов, переводчик Библии на немецкий язык. Его именем названо одно из направлений протестантизма.

*В упомянутой уже рецензии в «Новом журнале» Р.Б. Гуль говорит: «На роман Дудинцева я хочу даже указать как на некое назидание эмигрантской прозе. Ведь как ни грустно, русская проза в эмиграции страдала и страдает от безтемья».* — См.: *Гуль Р.Б.* В. Дудинцев. Не хлебом единым. С. 251.

*...книги Адамовича «Одиночество и свобода»...* — См.: *Адамович Г.* Одиночество и свобода. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1955.

*...если бы вдруг стал возможен тот диалог, о котором мечтал Адамович...* — Скорее всего, Варшавский имеет в виду суждение Г.В. Адамовича: «...жаль становится все-таки, что диалога с советской Россией в эмигрантской литературе не наладилось. Или хотя бы — монолога, туда обращенного, без надежды и расчета на внятный ответ, с одним лишь вычитыванием между строк в приходящих оттуда книгах. <...> Нет, диалога не вышло. Это факт все-таки удивительный, в особенности, если сопоставить его с "однотемностью", которая одушевляла советскую литературу в те уже далекие годы, когда диалог мог возникнуть» (цит. по изд.: *Адамович Г.В.* Одиночество и свобода. СПб.: Алетейя, 2002. С. 21).

*...некоторые статьи в... «Пути»...* — «Путь» (Париж, 1925–1940) — журнал, редактором и вдохновителем которого был Н.А. Бердяев.

С. 372. *...я получил 49-ю книгу «Нового журнала». Ф.А. Степун (в очерке о Г.П. Федотове) вновь поднял новоградскую тему свободы и истины.* — См.: *Степун Ф.А.* Г.П. Федотов // Новый журнал. 1957. № 49. С. 222–242.

*...в том же номере «Нового журнала» пишет М.М. Коряков в чрезвычайно интересной статье, посвященной «Литературной Москве».* — См.: *Коряков М.* Литературная Москва // Там же. С. 111–129. Коряков Михаил Михайлович (1911–1977), историк, публицист, литературный критик, журналист, в конце 1930-х окончил МИФЛИ. Во время войны служил в Красной армии. После войны был сотрудником советского посольства в Париже. С весны 1946 г. — невозвращенец. В 1950 г. переехал в США. Работал на «Радио Свобода». См. о нем: *Вильданова Р.И., Кудрявцев В.Б., Лаппо-Данилевский К.Ю.* Краткий биографический словарь Русского Зарубежья // Струве Г. Русская литература в изгнании. Краткий биографический словарь русского зарубежья. Париж: YMCA-Press; М.: Русский путь, 1996. С. 322–323.

### «Завещание» Бердяева

Впервые: Русская мысль. 1973. 22 марта. № 2939. Подп.: В. Варшавский.

С. 372. *...бывал позднее и на чаепитиях у Бердяева в Кламаре.* — Выдающийся русский религиозный философ Николай Алексеевич Бердяев (1874–1948) поселился в Кламаре под Парижем в 1924 г. и провел там все оставшиеся 24 года своей жизни. Устраиваемые им традиционные «воскресенья» с чаепитием стали одной из площа-

док для литературно-философских бесед, в которых участвовали Л. Шестов, Г. Федотов, В. Ильин, А. Шмеман, Ж. Маритен, Г. Марсель и др.

*...я часто с Бердяевым не соглашался, его критику «формальной» демократии считал неверной и опасной и не любил таких его прославленных в эмиграции книг, как «Философия неравенства» и «Новое средневековье».* — См.: *Бердяев Н.А.* Философия неравенства: Письма к недругам по социальной философии. Берлин: Обелиск, 1923; *Он же.* Новое средневековье: Размышление о судьбе России и Европы. Берлин: Обелиск, 1924 (в книгу вошлю этюды «Новое средневековье», «Размышления о русской революции» и «Демократия, социализм и теократия»). Варшавский не принял бердяевскую критику современной буржуазной демократии, в которой философ видел вырождение индивидуалистического духа и гуманистического самоутверждения. В «Незамеченном поколении» он посвятил немало страниц разбору этих книг и, в частности, замечал: «Теперь, наученные страшным опытом, мы знаем, что на смену ненавистной Бердяеву "формальной" буржуазной демократии приходит вовсе не "новое средневековье", а нечеловеческий мир тоталитарного общества, с его системой принудительного труда и лагерей медленной смерти. Но в те годы "Новое средневековье" явилось как раз тем, что было нужно уязвленному эмигрантскому сердцу. Вероятно, ни одна другая книга не оказала такого пагубного влияния на младшие поколения эмиграции» (*Незамеченное поколение, 2010.* С. 42).

*В своей книге «О рабстве и свободе человека», вышедшей в 1939 году и переизданной недавно ИМКА-Пресс...* — Репринтное воспроизведение издания 1939 г.: *Бердяев Н.А.* О рабстве и свободе человека: Опыт персоналистической философии. Paris: YMCA-Press, 1972.

*«Когда князь Андрей смотрит на звездное небо, это более подлинная жизнь, чем когда он разговаривает в петербургском салоне».* — См.: Там же. С. 23.

С. 373. *...он всегда, даже Дзержинскому в «салоне» Чрезвычайки, говорил то, что думал...* — Бердяев дважды был арестован при советской власти. Первый раз в 1920 г. он привлекался по делу так называемого Тактического центра. Бердяев так вспоминал об этом эпизоде: «Я был единственным человеком среди многочисленных арестованных, которого допрашивал сам Дзержинский. Мой допрос носил торжественный характер... Я решил на допросе не столько защищаться, сколько нападать, переведя весь разговор в идеологическую область. Я сказал Дзержинскому: "Имейте в виду, что я считаю соответствующим моему достоинству мыслителя и писателя прямо высказать то, что я думаю". Дзержинский мне ответил: "Мы этого и ждем от вас". Тогда я решил начать говорить раньше, чем мне будут задавать вопросы. Я говорил минут сорок пять, прочел целую лекцию» (*Бердяев Н.А.* Самопознание. Опыт философской автобиографии. Париж: YMCA-Press, 1949. С. 261–262).

*...Сцилла и Харибда фашизма, национал-большевизма, шатовщина...* — Шатовщина — явление, название которого происходит от фамилии Ивана Шатова — одного из персонажей романа Ф.М. Достоевского «Бесы». Речь идет о вере в народ-богоносец при неверии в Бога.

*...слоя, «жесткого, твердого, национально-эгоистического, с сильным вкусом к власти».* — Варшавский цитирует статью: *Садовский Я.Д.* Оппонентам евразийства (Письмо в редакцию) // Евразийский временник. Берлин, 1923. Кн. 3. С. 171. У Садовского: «Нам необходим слой населения, не мягкотелый и не безвольный, не страдающий склонностью к мечтаниям и способностью к быстрым разочарованиям, но жесткий, твердый, национально-эгоистичный, с сильным вкусом к власти. Он и явится носителем государственной идеи и сильной национальной воли...»

*В журнале «Путь» (номер 8-й, август 1927-го) он писал: «Утопический этатизм евразийцев приводит их к той ложной и опасной идее, что идеократическое государство должно взять на себя организацию всей жизни...»* — См.: *Бердяев Н.А.* Утопический этатизм евразийцев // Путь. 1927. № 8. С. 142–143.

*Предупреждал Бердяев и об опасности почвенного национализма, сомнительного учения о «симфонических» личностях...* — Симфоническая личность — одно из ключевых понятий в евразийской социальной философии и основополагающее понятие в учении о личности философа Л.П. Карсавина (1882–1952), впервые появляется в его работе «Церковь, личность и государство» (1927).

*Особенно гневно он обличал антисемитизм, который, как застарелый сифилис, разъедал идеологию многих пореволюционных групп.* — Показательной в этом плане является статья Н.А. Бердяева «Христианство и антисемитизм» (Путь. 1938. № 56. С. 3–18).

С. 374. *Но адамантом, солнцем мира его идей...* — Адамант — устаревшее названия алмаза, происходит от древнегреческого αδαμας (адамас) — несокрушимый.

*В номере седьмом журнала «Новый Град» он писал: «Борьба за духовные ценности есть борьба за верховную ценность человеческой личности, которая есть образ и подобие Божие на земле. <...> Живой человек стоит выше государства, общества, нации, хозяйства».* — См.: *Бердяев Н.А.* О социальном персонализме. (К критике «Нового Града») // Новый Град. 1933. № 7. С. 44–45.

*В номере двенадцатом того же журнала: «...человек с его страданиями и радостями, со своей судьбой во времени и вечности выше общества и государства...»* — См.: *Бердяев Н.* Христианство и революция // Новый Град. 1937. № 12. С. 58.

*В предисловии к... книге «О рабстве и свободе человека» Бердяев писал: «В результате долгого духовного и умственного пути я с особенной остротой осознал, что всякая человеческая личность... не может быть средством ни для чего». <...> Бердяев все снова и снова повторяет: «Человек, человеческая личность, есть верховная ценность».* — См.: *Бердяев Н.А.* О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии. Париж: YMCA-Press, 1972. С. 11–12.

*Когда после войны среди французской интеллигенции разгорелись споры о «прогрессивном насилии» и его друзья по журналу «Эспри» решили, что всякое пролетарское насилие всегда оправдано, ему было с ними больше не по дороге.* — О значительном влиянии Н.А. Бердяева на французский персонализм писал организатор и руководитель журнала «Эспри» («Esprit») Эммануэль Мунье (Mounier; 1905–1950), в частности, в книге «Манифест персонализма» (1936). Журнал был основан в 1932 г., и Н.А. Бердяев стал одним из активнейших его сотрудников. В то же время в книге «Самопознание. Опыт философской автобиографии» (1940, изд. 1949) философ указал причины расхождений с французскими персоналистами: «Я мыслил более радикально, мое миросозерцание было более конфликтное и антиномическое, мое христианство было более эсхатологическое. <...> Французы этого не любят. <...> Мои мысли о несотворенной свободе, о Божьей нужде в человеческом творчестве, об объективации, о верховенстве личности и ее трагическом конфликте с миропорядком и обществом отпугивали и плохо понимались» (*Бердяев Н.А.* Самопознание. Опыт философской автобиографии. С. 295–296).

О расизме

Впервые: Новое русское слово. 1973. 8 дек. № 23179. Подп.: Владимир Варшавский.

Положения статьи вошли в изданную посмертно книгу В. Варшавского «Родословная большевизма» (Paris: YMCA-Press, 1982).

С. 375. *Сущность его хорошо определил один из самых разумных людей нашего времени французский историк и социолог Раймон Арон. Он называет расистскую мысль последним аватаром, как он выражается, эссенциальной мысли. К эссенциальной мысли тяготеют, по его мнению, и все национальные стереотипы. Арон пишет: «Эссенциальная мысль определяется двумя моментами...»* — Арон Раймон (Aron; 1905–1983), французский социолог, философ, историк, политолог, один из основателей критической философии истории, выступивший против позитивистской интерпретации исторического процесса, противник тоталитаризма и родоначальник теории «единого индустриального общества». Преподавал в Институте политических исследований и Национальной школе администрации. В 1955–1968 гг. возглавлял кафедру социологии в Сорбонне, в 1968–1970 гг. работал профессором в Школе высших социальных исследований, в 1970 г. возглавил кафедру социологии современной цивилизации в Коллеж де Франс, которой руководил до конца жизни. Основные труды: «Введение в философию истории» (1938), «Опиум для интеллигенции» (1955), «Демократия и тоталитаризм» (1965), «Разочарование в прогрессе» (1969). Варшавский проявлял большой интерес к воззрениям Р. Арона, внимательно изучал его труды (о чем свидетельствуют множественные подчеркивания и маргиналии на полях в изданиях Арона, хранящихся в библиотеке писателя), а также посвятил ему не одну передачу на «Радио Свобода», что отражено в радиоскриптах разных лет (ДРЗ. Ф. 54). Источник цитаты установить не удалось.

*...господин Журден не подозревал, что говорит прозой...* — Как заметил Журден, персонаж комедии Ж.Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» (1670): «Честное слово, я и не подозревал, что вот уже более сорока лет говорю прозой» (пер. Н.М. Любимова).

С. 376. *Вот почему Жан-Поль Сартр, все крайне левые и все коммунисты должны быть признаны классовыми расистами.* — Французский философ Жан-Поль Сартр (Sartre; 1905–1980), представитель атеистического экзистенциализма, был сторонником социалистических идей, оказывал поддержку кубинской революции 1959 г., в 1960 г. встречался с Че Геварой, неоднократно посещал Советский Союз, в 1967 г. принял активное участие в Трибунале Бертрана Рассела по расследованию военных преступлений во Вьетнаме, участник молодежной революции во Франции 1968 г. В данном случае Варшавский выступает на стороне Р. Арона — оппонента Ж.-П. Сартра.

*...по отношению к якобинцам крайне несправедливой.* — Якобинцы — в период Великой французской революции члены Якобинского клуба, оставшиеся в нем после 1792 г. и установившие свою диктатуру в 1793–1794 гг. Их вожди — Максимилиан Робеспьер (de Robespierre; 1758–1794), Жан-Поль Марат (Marat; 1743–1793), Жорж Жак Дантон (Danton; 1759–1794), Луи Сен-Жюст (de Saint-Just; 1767–1794), главный обвинитель короля, идеолог террора, и др.

*Свою знаменитую книгу «Русская идея» Николай Бердяев начинает словами: «Есть очень большая трудность в определении национального типа, народной ин-*

*дивидуальности».* — См.: *Бердяев Н.А.* Русская идея. (Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX в.). Париж: YMCA-Press, 1946. С. 5.

*Бердяев прав, когда говорит, что «народная индивидуальность узнается лишь любовью».* — У Бердяева: «Тайна всякой индивидуальности узнается лишь любовью, и в ней всегда есть что-то непостижимое до конца, до последней глубины» (Там же).

С. 377. *Тут обычно ссылаются все на того же Бердяева, на его слова о Печорине: только русский, который страстно любил Россию, мог написать: «Как сладостно отчизну ненавидеть! И жадно ждать ее уничтоженья».* — См.: Там же. С. 40. Бердяев цитирует русского поэта, философа, утопического социалиста, иезуита Владимира Сергеевича Печерина (1807–1885). В 1836 г. В.С. Печерин эмигрировал из России, в 1840-м принял католичество и стал священником. В 1844–1854 гг. жил в Англии, в 1854 г. переехал в Ирландию. В 1848 г. был лишен российского гражданства. Автор написанных в Ирландии в 1860–1870-х гг. и собранных в книгу мемуаров «Замогильные записки. (Apologia pro vita mea)» (изд. 1932). Стихотворение «Как сладостно отчизну ненавидеть!» было написано во время поездки в Европу (1833–1835), где он совершенствовался в науках. Впервые стихотворение появляется в письме к А.В. Никитенко от 27 июня 1833 г. См. об этом: *Печерин В.С.* Apologia pro vita mea. Жизнь и приключения русского католика, рассказанные им самим / отв. ред. и сост. С.Л. Чернов. СПб.: Нестор-История, 2011. С. 110–111, 588.

*Впрочем, еще до Бердяева Белинский писал, что ненависть к своей стране иногда бывает только особенною формой любви.* — Из письма В.Г. Белинского к К.Д. Кавелину от 22 ноября 1847 г. (см.: *Белинский В.Г.* Собр. соч.: в 9 т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 9. С. 682). У Белинского: «Терпеть не могу восторженных патриотов, выезжающих вечно на междометиях или на квасу да каше, ожесточенные скептики для меня в 1000 раз лучше, ибо ненависть иногда бывает только особенною формою любви; но признаюсь, жалки и неприятны мне спокойные скептики, абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве».

*Не будем забывать, Розенберг свою погромную характеристику русского народа обосновал главным образом на цитатах из русских авторов.* — Розенберг Альфред (Rosenberg; 1893–1946), главный идеолог нацизма, заместитель Гитлера по вопросам «духовной и идеологической подготовки» членов нацистской партии, начальник Внешнеполитического управления Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП, 1933–1945), руководитель Центрального исследовательского института по вопросам национал-социалистической идеологии и воспитания (1940–1945), рейхсминистр по делам оккупированных восточных территорий (1941–1945). В программной книге «Миф XX века» (1930) писал о феномене русского человека, отсылая к произведениям Чаадаева, Тургенева и в особенности — Достоевского.

## «У нас коммунизм будет другой»

Впервые: Новый журнал. 1974. № 115. С. 251–258. Подп.: В. Варшавский.

Положения статьи вошли в книгу В. Варшавского «Родословная большевизма» (Paris: YMCA-Press, 1982).

С. 378. *Прославленный историк Арнольд Тойнби учит: «Московское государство — это русская версия тоталитарного Византийского государства...»* —

В.С. Варшавский приводит цитату, завершающую главу «Византийское наследие России» в книге английского историка и социолога Арнольда Джозефа Тойнби (Toynbee; 1889–1975) «Цивилизация перед судом истории» (1948) по изд.: *Toynbee A.* Civilization on Trial and the World and the West. N.Y.: Meridian Books, Inc., 1958. См. рус. изд.: *Тойнби А.Дж.* Цивилизация перед судом истории / пер. И.Е. Киселевой. М.: Айрис пресс, 2006. С. 380–381.

*Как тут не вспомнить Вольтера: «История — труп, которому каждый придает положение, какое хочет».* — Источник цитаты установить не удалось.

*Роман Гуль в своей книге «Одвуконь» пишет: «...нет лучшего подарка большевистской диктатуре, чем русофобская пропаганда о том, что русскому народу "никакая свобода не нужна", что русский народ "обожает душителей", что русский народ — "стадо предателей, палачей и свободоненавистников"...»* — См.: *Гуль Р.* Одвуконь. Советская и эмигрантская литература. Нью-Йорк: Мост, 1973. С. 225.

*На Западе есть любители такой теории, недалеко ушедшей от розенберговской».* — Об А. Розенберге см. коммент. к эссе «О расизме» (С. 611).

*«Это было при нас...»* — Цитата из стихотворения Б.Л. Пастернака «Отцы» (1925), вошедшего в поэму «Девятьсот пятый год» (1925–1926).

*...советская бюрократия по сути все та же царская бюрократия, новый ее аватар.* — В.С. Варшавский использует здесь, как и в эссе «Рамакришна и его ученик Вивекананда», термин «аватар» (*санскр.* аватара) из философии индуизма, означающий нисхождение Бога из духовного мира в более низкие сферы. На русский обычно переводится как «воплощение» или «явление», но по смыслу существенно отличается от идеи воплощения Бога «во плоти» в христианстве.

*Иисус, сын Навинов, остановил солнце среди неба...* — Иисус Навин — предводитель еврейского народа в период завоевания им Ханаана, в библейские времена территории на запад от северо-западной излучины Евфрата и от Иордана до Средиземного моря. Согласно Библии, пять царей — иерусалимский, хевронский, иерамуфский, лахисский и еглонский объединились против него. Иисус нанес им поражение и во время сражения остановил Солнце и Луну, чтобы противник не мог отступить, воспользовавшись вечерним и ночным мраком (Нав. 10:12).

С. 379. *Пятая республика* — период французской истории с 1958 г. по настоящее время; в 1958 г. была принята новая конституция Франции, усилившая полномочия президента: он имеет право роспуска парламента и избирается всенародно с 1962 по 2000 г. на семь лет, с 2000 г. — на пять лет.

*Французский социолог Марк Пайе сравнивает поэтому Советский Союз с огромным акционерным обществом, акции которого распределены между аппаратчиками.* — Пайе Марк (Paillet; 1918–2000), французский журналист, писатель, участник Сопротивления, социалист. Скорее всего, речь идет об одном из его эссе в книге «Левые, нулевой год» (*Paillet M.* Gauche, année zéro. Paris: Gallimard, 1964).

*К такому же выводу пришли и авторы самиздатской брошюры «Время не ждет» Зорин и Алексеев: «Государственная собственность на средства производства и централизованное планирование означают, что всеми прибавочными продуктами, создаваемыми трудом народа, коллективно распоряжается замкнутый круг лиц...»* — См.: *Зорин С., Алексеев Н.* Время не ждет: Наша страна находится на поворотном пункте истории. [Б.м.], 1969. В брошюре анализируются структура власти в СССР и закономерности ее функционирования, в основном в области экономики и внешней политики. Авторы пишут о том, что научно-техническая революция на Западе ставит советскую экономику перед необходимостью сокращения военных расходов,

отказа от административных рычагов управления, объективного ценообразования, автономии трудовых коллективов и всесторонних контактов с развитыми странами; противоположный путь — эскалация вооружений и усиление экспансии, т.е. путь катастрофы, и считают, что выбор во многом зависит от простых граждан.

С. 380. *...даже прозревшему теперь Пьеру Дэксу...* — Дэкс Пьер (Daix; р. 1922), французский журналист, писатель, автор многих работ о П. Пикассо, с которым дружил. Вступил во Французскую коммунистическую партию (ФКП) в семнадцать лет — в 1939 г. Во время Второй мировой войны — узник нацистского концлагеря в Мальтхаузене. Активный деятель компартии, в 1950 г. — редактор коммунистической газеты «Сё суар» («Ce soir», тираж от 80 до 100 тысяч экз.). В 1957 г. в печати осудил сталинские преступления. В 1963 г. представил французским читателям «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына. В 1974 г. издал книгу «Что я знаю о Солженицыне» (в связи с выходом на Западе «Архипелага ГУЛАГ») и порвал с ФКП.

*...«двуногих тварей миллионы»...* — Цит. «Евгений Онегин» А.С. Пушкина (гл. 2, строфа 14). См.: *Пушкин А.С.* ПСС: в 10 т. М.: Наука, 1964. Т. 5. С. 42.

*Один из героев романа Владимира Максимова «Семь дней творения» замечает: «Говорится в Писании: Господь создал человека в один день. — Только ведь это был не один земной день, а одна земная вечность...»* — См.: *Максимов В.* Собр. соч: в 8 т. М.: Терра, 1991. Т. 2. С. 138. Роман «Семь дней творения» Владимира Емельяновича Максимова (наст. имя и фам. Лев Алексеевич Самсонов; 1930–1995), не принятый ни одним советским издательством, в 1966–1973 гг. широко циркулировал в самиздате. За этот роман (а также роман «Карантин») писатель был в июне 1973 г. исключен из Союза советских писателей, помещен в психиатрическую больницу, в 1974 г. был вынужден эмигрировать. Жил в Париже, в 1974–1992 гг. издавал журнал «Континент». Роман «Семь дней творения» был впервые издан в 1973 г. во Франкфурте-на-Майне в издательстве «Посев».

*Сам Маркс говорил о неизменности внешней русской политики, с Ивана Калиты. В результате этой политики, — уверял Маркс, — Россия, благодаря «энергии и активности ее варварской нации», успела к середине XIX века продвинуться по пути к мировой империи.* — Источник установить не удалось.

*...до так называемой доктрины Брежнева...* — Политика ограничения государственного суверенитета социалистических стран, допускавшая военное вмешательство для сохранения их в политической орбите СССР, на Западе получила название «доктрина Брежнева», по имени генерального секретаря ЦК КПСС (с 1966), фактического руководителя СССР Леонида Ильича Брежнева (1906–1982), хотя она существовала и раньше, при И.В. Сталине и Н.С. Хрущеве.

*В оправдание оккупации Чехословакии...* — Речь идет о «Пражской весне», периоде политической и культурной либерализации в социалистической Чехословакии с 5 января по 20 августа 1968 г., который закончился вводом в страну 21 августа 1968 г. объединенной группировки войск стран (кроме Румынии) Варшавского договора — до 500 тысяч военных и 5 тысяч танков и БТР (наиболее крупный контингент войск — из СССР).

С. 381. *Токвиль в своей знаменитой книге «Старый режим и французская революция» писал: «Все социальные и политические революции, бывшие до тех пор, не выходили за пределы стран, где совершались, французская же революция стремилась стать всемирной и стереть национальные границы с карты земного шара...»* — См.: *Tocqueville A. de.* L'Ancien Régime et la Révolution. Paris: Calmann Lévy, 1877. P. 15. Книга «Старый порядок и революция» Алексиса де Токвиля (1805–1859), французского

историка, социолога, лидера консервативной Партии порядка, министра иностранных дел (1849), была впервые опубликована в 1856 г.

*«Она хотела определить права и обязанности не только французов, но всех людей на земле, хотела изменить не только общественным строй Франции, но возродить весь человеческий род».* — См.: Ibid. P. 18–19.

*...религия французской революции достигла наибольшего распространения не при якобинской диктатуре...* — Якобинская диктатура во время Великой французской революции (1793–1794) выражала интересы демократической буржуазии, выступавшей в союзе с крестьянством и городскими низами, ее вожди — М. Робеспьер, Ж.-П. Марат, Ж. Дантон, Л.А. Сен-Жюст (правые якобинцы), им противостояли — левые (П.Г. Шометт, Ж.Р. Эбер и др.).

*И французские солдаты, которые на картине Гойи «Третьего мая» расстреливают испанских повстанцев...* — Картина «Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» была создана испанским художником Франсиско Гойя (Goya; 1746–1828) около 1814 г. по впечатлениям наблюдавшихся им после оккупации Наполеоном Испании восстания против наполеоновских войск в Мадриде и последовавших репрессий.

## Уроки Нюрнбергского процесса

Впервые: Новый журнал. 1975. № 118. С. 244–260. Подп.: В. Варшавский.

С. 383. *В бунинских дневниках, напечатанных в 116-й книге «Нового журнала», есть запись...: «14 октября 46 г. <...> Все думаю, какой чудовищный день послезавтра в Нюрнберге. <...> ...Спать эти две их последние ночи на земле...»* — См.: Из дневников И. Бунина / публ. М. Грин // Новый журнал. 1974. № 116. С. 183.

*Главный обвинитель от Советского Союза Руденко произнес гневную речь: «Впервые в истории человечества правосудие сталкивается с преступлениями такого масштаба, вызвавшими такие тяжелые последствия...»* — См.: Вступительная речь главного обвинителя от СССР тов. Р.А. Руденко на процессе главных немецких военных преступников в Нюрнберге 8 февраля 1946 г. М.: Юрид. изд-во Мин-ва юстиции СССР, 1946. С. 3, 7. Руденко Роман Андреевич (1907–1981), генеральный прокурор СССР (1953–1981).

С. 384. *В нюрнбергском обвинительном заключении говорилось: «Для того чтобы обеспечить свою власть от всяких покушений... нацистские заговорщики создали и расширили систему террора против своих противников и предполагаемых или подозреваемых противников нацистского режима...»* — После войны в СССР вышло сразу несколько объемных изданий, посвященных Нюрнбергскому процессу. Здесь и далее Варшавский, скорее всего, цитирует по изд.: Нюрнбергский процесс. Сборник материалов: в 2 т. 3-е изд., испр. / под ред. К.П. Горшенина. М.: Госюриздат, 1955. Т. 1.

*А вот выдержка из доклада Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС: «Массовые аресты и высылки многих тысяч людей, казни без суда и нормального следствия... признания арестованных добывались жестокими и бесчеловечными пытками...»* — Доклад Никиты Сергеевича Хрущева (1894–1971), 1-го секретаря ЦК КПСС (1953–1964), «О культе личности и его последствиях» был сделан 25 февраля 1956 г. Опубл. по решению Политбюро ЦК в журнале «Известия ЦК КПСС» (1989. № 3. С. 133, 137, 152).

*...описание гитлеровских концлагерей в «Концентрационном мире» Давида Руссе...* — Руссе Давид (Rousset; 1912–1997), французский писатель, бывший узник Бухенвальда, опубликовал книгу «Концентрационный мир» (*Rousset D.* L'Univers concentrationnaire. Paris: Pavois, 1946).

*...в «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицына...* — «Архипелаг ГУЛАГ 1918–1956. Опыт художественного исследования» русского писателя, публициста, диссидента, лауреата Нобелевской премии (1970) Александра Исаевича Солженицына (1918–2008) был впервые (т. 1) опубликован в Париже издательством «YMCA-Press» в 1973 г. Начало «Архипелагу» положили письма читателей — бывших заключенных советских концлагерей, откликнувшихся на публикацию повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» в 1962 г. в журнале «Новый мир» (№ 11). Писатель закончил первый том своего документально-исторического исследования в феврале 1964 г.

*Теперь его деятельность, может быть, менее «эффективна», но он не пустует. Вот одно из многих свидетельств: обращение в 1974 году политзаключенных Леонида Бородина, Юрия Галанскова, Александра Гинсбурга, Юрия Иванова, Виктора Кальниша, Вячеслава Платонова и Михаила Садо к семерым деятелям советской культуры.* — Бородин Леонид Иванович (1938–2011), писатель, был директором средней школы в Ленинградской области. В 1956 г. вступил во «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа» (ВСХОН), программными положениями которого были христианизация политики, экономики и культуры. После разгрома этой организации был осужден и находился в заключении с 1967 по 1973 г. В 1982 г. за публикации на Западе и в самиздате снова арестован, приговорен к десяти годам заключения и пяти годам ссылки, освобожден в 1987 г. В 1992–2008 гг. — главный редактор литературно-публицистического журнала «Москва», с 2008 г. — его генеральный директор, с 2010-го — вновь главный редактор. Преподавал в Литературном институте им. А.М. Горького.

Галансков Юрий Тимофеевич (1939–1972), поэт, диссидент. Сторонник ненасильственной борьбы с советским режимом. В 1960–1961 гг. выступил с инициативой создания и проектом программы «Всемирного союза сторонников всеобщего разоружения». Участник и издатель самиздатского сборника «Феникс». 19 января 1967 г. арестован вместе с А. Гинзбургом (дело Гинзбурга — Галанскова), которому помогал в работе над «Белой книгой» — о процессе А. Синявского — Ю. Даниэля, и приговорен к семи годам лагерей строгого режима. Отбывал срок в лагере 17-а в Мордовии. Умер от заражения крови после операции в лагерной больнице.

Гинзбург Александр Ильич (1936–2002), журналист, правозащитник, в конце 1959 г. составил и распространил первые три номера поэтического альманаха «Синтаксис». В июле 1960 г. арестован и приговорен к двум годам тюрьмы. В 1966 г. составил сборник «Белая книга» — по делу А. Синявского — Ю. Даниэля, впоследствии разосланный в официальные инстанции СССР и опубликованный за границей. В 1967 г. осужден на пять лет лагерей, наказание отбывал в мордовском политическом лагере. После освобождения жил в Тарусе. С 1974 г. — распорядитель Русского общественного фонда помощи преследуемым и их семьям, созданным А.И. Солженицыным в Швейцарии. Вновь арестован 3 февраля 1977 г. и в июле 1978 г. приговорен к восьми лагерям особого режима за антисоветскую пропаганду. Освобожден 25 апреля 1979 г., и в результате переговоров на высшем уровне между СССР и США с четырьмя другими политзаключенными его обменяли на двух советских граждан, обвиненных в США в шпионаже. Жил в США, потом в

Париже, с середины 1980-х до 1997 г. — обозреватель газеты «Русская мысль», член редколлегии журнала «Континент» (1979–1990).

Иванов Юрий Евгеньевич (р. 1927, по другим источникам 1928 или 1930), ленинградец, сын художника Е. Сиверса, арестованного в феврале 1938 г. и посмертно реабилитированного. Был впервые арестован в 1947-м с двумя другими студентами Академии художеств за непосещение лекций по марксизму-ленинизму. Приговорен к десяти годам. После года его пребывания в лагере родственники добились пересмотра дела, он был оправдан и освобожден. Окончил Академию художеств и вступил в Союз художников. В 1955 г. снова арестован и осужден за «распространение антисоветской литературы» и «создание организации», члены которой не были обнаружены. Работал на строительстве Куйбышевской ГЭС, вместе с восьмью тысячами политзаключенных по статье 58. В 1956 г. не был освобожден, так как не раскаялся и не признал своей вины. Вскоре бежал, был ранен и через неделю схвачен. За побег получил новый срок — еще десять лет (с момента побега). В 1958 г. уже в Дубровлаге, т.е. в мордовских лагерях, во время забастовки заключенных на седьмом лагпункте возглавил забастовочный комитет. Осужден на новые десять лет. В начале 1963 г. снова осужден — за «антисоветскую пропаганду в лагере» — снова на десять лет, «неразменный червонец», по лагерному выражению. В 1959 г. в Лондоне состоялась выставка его рисунков, сделанных в лагере. См.: Хроника текущих событий [машинописный информационный бюллетень правозащитников, выпускавшийся с 1968 по 1983 г.]. 1969. 31 окт. Вып. 10 (раздел «Судьба Юрия Иванова). В выпуске 22 той же «Хроники...» 10 ноября 1971 г. сказано, что по непроверенным данным Ю. Иванов был досрочно освобожден из мордовских лагерей. С 1974 г. — в эмиграции (см.: Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках = Russia and the Russian emigration in memoirs and diaries: Аннот. указ. кн., журн. и газ. публ., изд. за рубежом в 1917–1991 гг.: в 4 т. М.: РОССПЭН, 2004. Т. 2; 2006. Т. 4, ч. 2).

Калниш Виктор Янович — журналист, выпускник Московского педагогического института, арестован в 1962 г. в Латвии по обвинению в принадлежности к антисоветской националистической организации «Балтийская федерация». Приговорен к десяти годам лагерей.

Платонов Вячеслав (р. 1941), востоковед. Осужден Ленгорсудом на семь лет в апреле 1968 г. по делу «Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа».

Садо Михаил, востоковед, один из руководителей ВСХОН, осужден в ноябре 1967 г. Ленгорсудом (статьи 64, 70, 72) на 13 лет. См.: Хроника текущих событий / ред.-сост. Н. Горбаневская. 1968. 30 апр. Вып. 1 (раздел «Ленинградский процесс»).

С. 385. *Эсер Марк Вишняк рассказал в своей книге «Дань прошлому» о разгоне Учредительного собрания. Сначала Бухарин укорял эсеровское большинство за желание защищать «паршивенькую буржуазно-парламентарную республику», а потом поднялся на трибуну матрос Железняков.* — См.: *Вишняк М.* Дань прошлому. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1954. С. 370, 379–380. Вишняк Марк Вениаминович (1883–1975), публицист, журналист, юрист, мемуарист; эсер. Эмигрировал в 1919 г., поселился в Париже. Соредактор и секретарь редакции (1920–1936) журнала «Современные записки». С 1940 г. жил в США (Нью-Йорк, Корнелл, Боулдер), преподавал русский язык в американских университетах.

Анатолий Григорьевич Железняков (1895–1919) больше известен как матрос Железняк. Анархист, служивший на Балтийском флоте; вошел в историю тем, что во время дежурства в карауле в Таврическом дворце, где проходило Учредительное со-

брание, прервал его заседание словами «Караул устал» и распустил его, существенно повлияв тем самым на ход истории в России.

*Проект декрета о роспуске составил сам Ленин. Главную провинность свободно и всенародно избранного Учредительного собрания он определил так: «Оно дало большинство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Чернова». Ленин далее писал, что революция передала всю власть в руки Советов, и поэтому «всякий отказ от полноты власти Советов был бы шагом назад».* — См.: Декрет всероссийского Центрального исполнительного комитета о роспуске Учредительного собрания 6 (19) января 1918 г. Впервые опубликован в «Газете Временного Рабочего и Крестьянского правительства» 22 (9) января 1918 г., затем в кн.: Декреты советской власти. М.: Гос. изд-во полит. лит, 1957. Т. 1. См. также проект декрета: *Ленин В.И.* ПСС: в 55 т. 5-е изд. М.: Политиздат, 1974. Т. 35. С. 232.

*В 1920 году знаменитый анархист Петр Кропоткин заявил: «Россия уже стала советской республикой лишь по имени. Наплыв и верховенство людей "партии" уже уничтожили влияние и силу этого много обещавшего учреждения — Советов...»* — См. письмо революционера, теоретика анархизма, географа, историка, князя Петра Алексеевича Кропоткина (1842–1921) В.И. Ленину от 4 марта 1920 г.

С. 386 ...*даже Максим Горький. В газете «Новая жизнь» он писал: «Горло печати зажато "новой" властью, которая так позорно пользуется старыми приемами удушения свободы слова...»* — После Февральской революции М. Горький опубликовал в 1917–1918 гг. в петроградской газете «Новая жизнь», кроме прочего, 58 статей под общим названием «Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре» (Пг., 1918; цитируется: Ч. 3. С. LI).

*В 1920 году на VIII Всероссийском съезде Советов меньшевистская делегация внесла резолюцию с резкой критикой антирабочей политики партии: «Рабочие организации — и политические, и хозяйственные, и культурные сверху донизу низводились систематически до роли безвольных и бездушных исполнителей предначертаний советской бюрократии...»* — См.: «Восьмой Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов». Стенографический отчет. М., 1921. Съезд проходил с 22 по 29 декабря 1920 г. и был крайне важен, так как 1920 г. — период перехода от войны к мирному строительству. В.И. Ленин придавал ему очень большое значение, что видно по его участию в этом съезде. См.: *Ленин В.И.* VIII Всероссийский съезд Советов // ПСС: в 55 т. 5-е изд. М.: Политиздат, 1970. Т. 42. С. 91–199.

*В 1922 году накануне XI партсъезда двадцать два члена РКП(б), во главе с Шляпниковым, Медведевым и Коллонтай, жаловались первому расширенному пленуму исполкома Коммунистического интернационала: «Наши руководящие центры ведут непримиримую, разлагающую борьбу против всех, особенно пролетариев, позволяющих себе иметь свое суждение...»* — См.: Заявление активных деятелей «рабочей оппозиции» членам международной конференции Коммунистического Интернационала (1922) // Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945). М.: Владос, 1996. С. 282–283.

Первый расширенный пленум Исполкома Коммунистического интернационала проходил в Москве 21 февраля — 4 марта 1922 г. В его работе приняли участие 105 делегатов из 36 стран. Александр Гаврилович Шляпников (1885–1937), член РСДРП с 1915 г., Сергей Павлович Медведев (1885–1937), большевик с 15 лет, Александра Михайловна Коллонтай (1872–1952), член РСДРП с 1915 г., член первого большевистского правительства (народный комиссар общественного призрения), впоследствии

дипломат, возглавили рабочую оппозицию, группу, возникшую в РКП(б) в конце 1919 — начале 1920 г. Она выступала за передачу управления народным хозяйством профессиональным союзам и просуществовала до 1922 г., идейно разгромленная на XI съезде РКП(б), проходившем в Москве с 27 марта по 2 апреля 1922 г. В 1930-е гг. Шляпникову и Медведеву припомнили участие в рабочей оппозиции, они были репрессированы и расстреляны, после XX съезда посмертно реабилитированы.

С. 387. *На самом съезде представитель рабочей оппозиции Рязанов жаловался: «Хозяйственники ставятся партией, профработники ставятся партией...»* — См.: XI съезд РКП(б). Протоколы. М.: Партиздат, 1936.

Рязанов Давид Борисович (наст. фам. Гольдендах; 1870–1938), участник российского революционного движения с 1889 г., в 1917 г. — «межрайоновец». С 1917 г. член РКП(б). Создатель и первый руководитель Института Маркса и Энгельса (ИМЭ, 1921–1931), академик АН СССР (1929). В 1931 г. за связь с заграничным центром большевиков исключен из партии и разжалован из академиков, в 1938 г. арестован и расстрелян. Посмертно реабилитирован, в 1990 г. ему возвращено звание академика.

*Уже в 1918 году запылали первые рабочие и крестьянские восстания. (Смотри брошюру Юрия Сречинского «Как мы покорялись».)* — Сречинский Юрий Сергеевич (1909–1976), публицист, историк, в 1920 г. с матерью эмигрировал в Египет, в начале 1920-х переехал во Францию, где он, завершив образование, вступил сначала в антибольшевистское Братство русской правды (БРП), затем после его самоликвидации в 1923 г., в Национальный союз нового поколения (НТС). После Второй мировой войны переехал в США, с 1973 г. стал заместителем главного редактора нью-йоркской газеты «Новое русское слово». В 1974 г. сам набрал и отпечатал книгу «Как мы покорялись. Цена Октября» (53 с.) — историю вооруженного сопротивления русского народа советской власти. Первое изд. — 8 экз., второе — 1000 экз.

*В начале 1921 года в «Известиях Временного революционного комитета красноармейцев, матросов и рабочих города Кронштадта» говорилось: «Совершая октябрьскую революцию, рабочий класс надеялся достичь своего раскрепощения. В результате же создалось еще большее порабощение личности человека...»* — Воззвание было опубликовано в «Известиях Временного революционного комитета матросов, красноармейцев и рабочих города Кронштадта» (1921. 7 марта. № 5). Возможно, источником цитаты для Варшавского послужила вышедшая в год Кронштадтского восстания книга «Правда о Кронштадте» (Прага: Воля России, 1921) в основу которой легли материалы «Известий Временного революционного комитета...» — газеты, ставшей точным зеркалом кронштадтского движения.

*Игорь Шафаревич в заявлении, сделанном в Москве при появлении сборника «Из-под глыб», напомнил: «Рим знал отдельные гонения на христиан: Нерона, Деция, Диоклетиана. Но в нашей стране вот уже почти 60 лет происходит одно непрекращающееся гонение на религию».* — Выступление математика, философа, публициста, академика РАН, доктора физико-математических наук, диссидента Игоря Ростиславовича Шафаревича (р. 1923), одного из участников изданного по инициативе А.И. Солженицына сборника «Из-под глыб» (Paris: YMCA-Press, 1974), на пресс-конференции по поводу его публикации, проведенной 14 ноября 1974 г. им и тремя другими авторами — ученым-кибернетиком, историком, публицистом, диссидентом Михаилом Самуиловичем Агурским (1933–1991), историком, литературоведом, диссидентом Вадимом Михайловичем Борисовым (1947–1997) и искусствоведом, исто-

риком русской философии и литературы, теологом, диссидентом Евгением Викторовичем Барабановым. См.: URL: http://www.vehi.net/samizdat/izpodglyb/12.html

С. 388. *Андрей Вышинский «Курс уголовного процесса»: «Генеральная линия партии лежит в основе всего государственного аппарата... Она является основой и советского суда».* — Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954), зам. прокурора и прокурор СССР в 1933–1939 гг., в 1939–1933 гг. зам. председателя СНК СССР и далее на руководящих постах. Известен как государственный обвинитель на политических процессах конца 1920-1930-х гг. («Шахтинское дело», «дело Промпартии» и др.). Ему приписывалось мнение о достаточности личного признания подозреваемого, что вело к «выбиванию» признаний пытками. Здесь упоминается: *Вышинский А.Я., Ундревич В.С.* Курс уголовного процесса. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Советское законодательство, 1936. Т. 1: Судоустройство. С. 23.

*«Ч.К., — учил Лацис, — это не следственная комиссия, не суд и не трибунал. Это боевой орган, действующий по внутреннему фронту. <...> В этом смысл и сущность красного террора». Цитирую по недавно переизданной книге Романа Гуля «Дзержинский».* — Лацис Мартын Иванович (наст. имя и фам. Ян Фридрихович Судрабс; 1888–1938), чекист, соратник Ф.Э. Дзержинского, известный крайней жестокостью. В 1918 г. возглавлял ВЧК по борьбе с контрреволюцией, в 1919–1921 гг. — председатель Всеукраинской ЧК. В 1937 г. арестован, в 1938 г. расстрелян, в 1956 г. реабилитирован. С определением красного террора выступил в газете «Красный террор» (1918. 1 нояб.). Роман Гуль процитировал его в кн.: Дзержинский. Нью-Йорк: Мосты, 1974. С. 84. Впервые она издана как: Дзержинский, Менжинский — Петерс, Лацис — Ягода. Париж: Дом книги, 1936.

С. 388–389. *Ну, а большевистские заговорщики? Уже в 1918 году они запретили все некоммунистические партии, даже самые левые. По легендарному выражению Бухарина: «У нас может быть много партий: одна легальная, а все остальные в тюрьме».* — Это высказывание Николая Ивановича Бухарина (1888–1938), члена партии с 1906 г., в 1918–1929 гг. редактора газеты «Правда», в 1934–1937 гг. редактора «Известий», члена Политбюро ЦК в 1924–1929 гг. и т.д., распространено в разных версиях, в частности как иронический афоризм: «У нас многопартийная система, одна партия у власти, а остальные в тюрьме». Скорее всего, источник для В.С. Варшавского — воспоминания Бориса Георгиевича Бажанова (1900–1982), который с 1923 г. был помощником Сталина; устроив себе командировку в Среднюю Азию, в январе 1928 г. через Иран, потом Индию с помощью английского посольства он бежал во Францию; в 1929, 1930 гг. опубликовал некоторые из своих наблюдений в периодике, в 1930 г. издал книгу «Avec Staline dans le Kremlin» (Paris: Les Éditions de France). См. также: *Бажанов Б.* Воспоминания бывшего секретаря Сталина. Париж: Третья волна, 1980. URL: http://www.lib.ru/MEMUARY/BAZHANOW/stalin.txt

С. 389. *...17 ноября 1917 года, когда большевики еще делили власть с левыми эсерами, на заседании ВЦИКа Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов нарком Ногин от своего имени и от имени трех других наркомов — Рыкова, Милютина и Теодоровича заявил...* — Ногин Виктор Павлович (1878–1924), член партии с 1898 г. В 1917 г. — член ЦК РСДРП(б), один из руководителей Моссовета, нарком торговли и промышленности.

Рыков Александр Иванович (1881–1938), член партии с 1899 г., участник революций 1905 и 1917 гг., в 1917 г. нарком внутренних дел.

Милютин Николай Александрович (1889–1942), член партии с 1908 г., в 1917 г. он еще не был наркомом — состоял в исполкоме Петросовета и Петрогубпрофсве-

та, зам. наркома социального обеспечения РСФСР в 1921–1924 гг., нарком финансов РСФСР в 1924–1929 гг.

Теодорович Иван Адольфович (1875–1937), член партии с 1895 г. После Октября 1917 г. в первом составе Совета народных комиссаров был наркомом по делам продовольствия.

*Эсеровская газета «Дело народа», одна из последних еще выходивших тогда независимых газет, писала: «Подавив свободную печать, уничтожив неприкосновенность личности... ЦК большевиков бесконтрольно и самовластно, безотчетно управляет Россией...»* — Точную ссылку установить не удалось. «Дело народа» — ежедневная политическая и литературная газета, центральный орган партии эсеров, издавалась в Петрограде с 15 (28) марта 1917 г. Редактор — В.В. Сухомлин; в газете сотрудничали Н.Д. Авксентьев, А.Ф. Керенский, В.М. Чернов и др. Призывала к борьбе с большевиками. 14 (27) января 1918 г. была закрыта советским правительством и некоторое время выходила под другими названиями, затем (с марта по июнь 1918) снова как «Дело народа»; в октябре 1918 г. в Самаре вышло четыре номера, в марте 1919 г. в Москве еще десять номеров (последний 30 марта).

*Против самодержавного правления ленинского ЦК протестовали и многие коммунисты. На VIII партсъезде в марте 1919 года они жаловались на постоянные нарушения внутрипартийной демократии. ...Валериан Осинский на первом заседании организационной секции заявил: «Деятельность партии была перенесена в Центральный комитет...»* — См.: Восьмой съезд РКП(б). Март 1919 г. Протоколы. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1959. Н. Осинский (наст. имя и фам. Валериан Валерианович Оболенский; 1887–1938), член партии с 1907 г., экономист, после Октября 1917 г. первый управляющий Государственным банком Советской России, в декабре 1917 г. — первый председатель Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ), в марте 1918 г. подал в отставку вместе с Н.И. Бухариным и другими «левыми коммунистами». В 1919 г. работал на рядовых должностях ВСНХ. В 1926–1928 гг. — управляющий Центральным статистическим управлением СССР, нарком; в 1932–1933 гг. — начальник Центрального управления народно-хозяйственного учета при Госплане СССР. В 1935–1937 гг. — директор Института истории науки и техники АН СССР, академик АН СССР (1932). Арестован 13 октября 1937 г., 1 сентября 1938 г. расстрелян.

С. 389–390. *На следующем, IX съезде в марте 1920 года другой член группы «демократического централизма» старый большевик Тимофей Сапронов... заявил...* — См.: Протоколы съездов и конференций Всесоюзной Коммунистической партии (б). Девятый съезд РКП(б). Март–апрель 1920 / ред. Н.Л. Мещеряков. М.: Парт. изд-во, 1934. Сапронов Тимофей Владимирович (1887–1937), член партии с 1912 г., один из лидеров левой оппозиции.

С. 390. *Некоторые старые большевики критиковали самовластие ЦК и на XI партсъезде. На вечернем заседании 27 марта Давид Рязанов заявил под грохот аплодисментов...* — XI съезд РКП(б) проходил в Москве 27 марта — 2 апреля 1922 г. См.: Протоколы одиннадцатого съезда РКП(б). М.: ИМЭЛ при ЦК КПСС, 1936.

*Осенью 1923 года группа «сорока шести», образованная сторонниками Троцкого и бывшими руководителями группы «демократического централизма», выступила с заявлением: «Режим, установившийся внутри партии, совершенно нетерпим...» На XIII партсъезде в мае 1924 года обсуждалась брошюра Троцкого «Новый курс».* — 8 октября 1923 г. теоретик марксизма, идеолог одного из его течений — троцкизма Лев Давидович Троцкий (наст. имя и фам. Лейб Давидович Бронштейн; 1879–1940)

написал письмо в ЦК о хозяйственном кризисе в стране, в котором обвинил партийную бюрократию. 15 октября 1923 г. его письмо дополнило более громкое «Заявление 46», подписанное видными большевиками с дореволюционным партийным стажем, 19 декабря во встречном «Ответе членов Политбюро на письмо тов. Троцкого» его обвинили в организации «письма 46-ти», фракционной деятельности и стремлении к личной диктатуре. Троцкий сначала отмалчивался, но 11 декабря 1923 г. в газете «Правда» опубликовал серию из четырех статей «Новый курс» — с резкой критикой бюрократизации. См.: *Троцкий Л.Д.* Новый курс. М.: Изд-во «Красная Новь», 1924. С. 9, 12, 13.

Группа демократического централизма (децисты) — группа в РКП(б), возникшая в начале 1919 г. Ее возглавляли Н. Осинский, Т.В. Сапронов, В.В. Косиор. В годы Большого террора все расстреляны.

С. 391. *В 1926 году, в 14-м номере журнала «Большевик» Яков Оссовский доказывал необходимость двух партий. В наказание Оссовский был из партии исключен.* — Экономист Яков Ильич Оссовский (1893–1942) в дискуссионной статье «Партия к XIV съезду» (Большевик. 1926. № 14. С. 59–80) писал о несоответствии существующей политической системы экономическим реалиям. 11 августа 1926 г. по обвинению в буржуазной пропаганде он был исключен из партии. См. о нем: *Литвин А.* Первый советский диссидент // Родина. 2002. № 4/5. С. 153–155; *Он же.* Следственное дело Якова Оссовского. Казань: КГУ, 2006.

*На расширенном пленуме Исполкома Коммунистического интернационала в декабре 1926 года Сталин обвинил в стремлении создать вторую партию уже всю оппозицию. «Оппозиционный блок, — сказал Сталин, — есть зародыш новой партии внутри нашей партии...»* — См.: *Сталин И.В.* Заключительное слово по докладу на VII расширенном пленуме ИККИ // Соч.: в 16 т. М.: ОГИЗ; Гос. изд-во полит. лит., 1948. Т. 9. С. 148.

*Но вот в феврале 1936 года приезжал в Париж Бухарин. Приезжал для приобретения архивов Маркса и Энгельса, переданных германской социал-демократической партией на хранение меньшевику Борису Николаевскому. В разговоре с Николаевским о проекте конституции СССР Бухарин сказал: «Вторая партия необходима...»* — Источник не установлен. Николаевский Борис Иванович (1887–1966), историк, меньшевик с 1906 г., с 1922 г. в эмиграции. Жил в Берлине. С декабря 1924 по 1931 г. — заграничный представитель московского Института Маркса и Энгельса, собирал для него материалы по истории Интернационала, Маркса, Энгельса, Парижской коммуны. В феврале 1932 г. за критику коллективизации и политики репрессий лишен советского гражданства. После прихода к власти нацистов в 1933 г. переехал из Берлина в Париж. Заведовал парижским отделением амстердамского Института социальной истории. В феврале–апреле 1936 г. вел переговоры с Н.И. Бухариным и другими представителями ВКП(б) о продаже архива К. Маркса СССР. См. о нем также коммент. к «Ожиданию» (С. 558).

С. 391–392. *А. Авторханов в своей работе «Происхождение партократии» приводит знаменательное заявление Муссолини в октябре 1939 года: «Большевизм в России исчез, и на его место встал славянский тип фашизма». В той же книге Авторханов рассказывает, что Риббентроп после банкета, данного в его честь Политбюро по случаю заключения пакта между Сталиным и Гитлером, говорил, что он на этом банкете «чувствовал себя в Кремле, словно среди старых партийных товарищей». Напоминает Авторханов и о том, как понимал диктатуру пролетариата Ленин. <...> А диктатуру Ленин определял так: «Научное понятие диктатуры означает не*

*что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть».* — Книга историка, советолога, основателя издательства «Посев» и «Института СССР» в Мюнхене Абдурахмана Геназовича Авторханова (1908?–1997) «Происхождение автократии» впервые (т. 1) вышла в 1973 г. во Франкфурте-на-Майне в издательстве «Посев». Это издание и читал В.С. Варшавский, все приводимые им цитаты заимствованы из «Введения» автора к книге. Авторханов в свою очередь цитирует (С. 42, 43) заявление Бенито Муссолини (Mussolini; 1883–1945) и высказывание министра иностранных дел Германии (1938–1946), советника Гитлера по внешней политике Иоахима фон Риббентропа (Ribbentrop; 1893–1946) по книге: *Rossi A.* Russian-German alliance 1939–1941. Boston: Beacon-Press, 1957. P. 77, 71, а Ленина (С. 15, 32) — по третьему изданию его тридцатитомного собрания сочинений: М.: Госиздат, 1925–1932. Т. 25. С. 64–65, 441.

С. 392. *В 1926 году в брошюре «Вопросы ленинизма» Сталин еще обстоятельнее, чем Ленин, объяснил, что это такое «диктатура пролетариата».* — См.: *Сталин И.В.* Соч.: в 16 т. М.: ОГИЗ; Гос. изд-во полит. лит., 1948. Т. 8. С. 37.

*В следующем 1927 году в номере 7–8 журнала «Большевик» Сталин уже без всяких обиняков утверждает: «Руководство перешло целиком и полностью в руки одной партии, в руки нашей партии...»* — Цитируется статья И.В. Сталина «О трех основных лозунгах партии по крестьянскому вопросу: Ответ Ян-скому» (Большевик. 1927. 15 апр. № 7–8. См.: *Сталин И.В.* Соч.: в 16 т. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1951. Т. 9. С. 214–215).

*Геббельса особенно восхищало, как Сталин ликвидировал внутрипартийную оппозицию. 8 мая 1943 года он записывает в своем дневнике: «Преимущество Сталина перед нами в том, что он избавился от всякой оппозиции, уничтожив за двадцать лет всех оппозиционеров».* — Источник цитаты установить не удалось. Геббельс Пауль Иозеф (Goebbels; 1897–1945), с 1933 г. министр пропаганды Третьего рейха, глава пропагандистского аппарата нацистской Германии. Ему принадлежит высказывание: «Когда я слышу слово “культура”, я хватаюсь за револьвер».

С. 393. *В 1957 году в Стокгольме Альбер Камю при получении Нобелевской премии сказал: «Сохранение демократии самое трудное дело на свете. Демократия это не что-то завоеванное раз навсегда. <...> Она требует постоянной заботы, постоянного обновления».* — Французский писатель, философ-экзистенциалист Альбер Камю (Camus; 1913–1960) в речи при вручении ему Нобелевской премии в Ратуше Стокгольма 10 декабря 1957 г., а также в докладе «Художник и его время», прочитанном в большом лекционном зале Уппсальского университета 14 декабря 1957 г., говорил об истине и свободе как двух целях человечества, но не о демократии. См.: Nobel lectures, Literature 1901–1967 / ed. H. Frenz. Amsterdam: Elsevier Publishing House, 1969. URL: http://nobelprize.org/nobel_prize/literature/laureates/1957/camus-speech.html

С. 394. *Синедрион* — в Древней Иудее — высшее религиозное учреждение, а также высший судебный орган в каждом городе, состоявший из 23 человек.

*Садуккейская аристократия* — правящая верхушка, династия священников в Иудее, ненавидимая большинством народа. Ее недостатки описаны в Евангелиях.

С. 395. *...с благородным и героическим апологетом демократии Михаилом Михайловым.* — Михайлов Михайло (1934–2010), югославский диссидент (родители — русские эмигранты), философ, литератор. Будучи ассистентом профессора русской литературы в Загребском университете, написал книгу «Лето московское 1964», в

которой резко критиковал советский режим. В 1965 г. был арестован и провел семь лет в югославских тюрьмах. В 1978 г. в результате правозащитной кампании, организованной американским президентом Джимми Картером, выслан на Запад, преподавал в университетах США, Великобритании, Западной Германии. Автор книг «Ненаучные мысли» (1979), «Планетарное сознание» (1982), «Отечество — это свобода» (1994) и др. Убежденный сторонник идеи нравственного религиозного обновления. Основатель международного общественного движения «The Democracy International». В 2001 г. вернулся в Сербию.

*В тоталитарном обществе XX века, в большевистском и нацистском одинаково, идеология выполняет роль того, что Бергсон назвал «статической религией»...* — См.: *Бергсон А.* Два источника морали и религии / пер. А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1994. С. 109–224, 225–287 (гл. II «Статическая религия» и III «Динамическая религия»).

Открытое общество и тоталитаризм

Впервые: Новый журнал. 1975. № 120. С. 257–273. Подп.: В. Варшавский.

С. 395. *Тем бо́льшая заслуга французского социолога Жан-Франсуа Ревеля. В одной из своих очередных статей в еженедельнике «Экспресс» он пишет: «Критики либерального общества до того преувеличивают его недостатки, что оно начинает казаться в сущности тоталитарным...»* — Источник цитаты установить не удалось. Ревель Жан-Франсуа (Revel; наст. фам. Рикар, Ricard; 1924–2006), французский политик, журналист, философ, член Французской академии (с 1998); в молодости социалист, позднее стал одним из видных европейских сторонников классического либерализма и свободной рыночной экономики. «Экспресс» («L'Express») — французский еженедельник левой ориентации, издается с 1953 г.

С. 396. *Вот когда судили Анджелу Дэвис...* — Дэвис Анджела (Davis; р. 1944), американский социолог, педагог, член компартии США. Влюбилась в Джорджа Джексона, активиста афроамериканской организации «Черные пантеры», защищавшей права негритянского населения в США и наиболее активной в 1960–1970-е гг. 7 августа 1970 г. Джексон с двумя сообщниками, пытаясь освободить из зала суда трех темнокожих заключенных, обвиненных в попытке нападения на полицейского, захватил в заложники обвинителя, несколько судей и присяжных. В процессе операции были убиты сам Джексон, один из его сообщников и судья. По калифорнийским законам владелец оружия, из которого совершено убийство, считается соучастником, в этом и обвинили А. Дэвис. Ее арестовали, но через 18 месяцев освободили: обвинению не удалось доказать ее причастность к захвату заложников и убийству.

*Когда же в Югославии Михаила Михайлова приговорили к семи годам тюрьмы только за то, что он напечатал три статьи на Западе...* — См. о М. Михайлове коммент. к эссе «Уроки Нюрнбергского процесса» (С. 622).

С. 397. *В 50-х годах Жан-Поль Сартр провел в Советском Союзе несколько дней.* — Ж.-П. Сартр, в 1950-е гг. занимавший близкие марксизму позиции, впервые (с Симоной де Бовуар) побывал в СССР в 1954 г. — с 28 мая до 23 июня.

*На даче у Симонова банкет...* — Симонов Константин Михайлович (1915–1979), советский писатель, лауреат шести Сталинских премий (с 1942 по 1950 г.), Ленинской премии (1974), в 1946–1959 гг. и 1967–1979 гг. — секретарь Союза писателей СССР.

*Симона де Бовуар в своих воспоминаниях...* — Бовуар Симона де (de Beauvoir; 1908–1986), французская писательница, идеолог феминизма, подруга и единомышленник Ж.-П. Сартра (оба они были против брака), автор автобиографической трилогии «Воспоминания благовоспитанной девицы» (1958), «Сила зрелости» (1960), «Сила обстоятельств» (1963).

*...сам Жорж Марше...* — Марше Жорж (Marchais; 1920–1997), генеральный секретарь Французской коммунистической партии в 1972–1994 гг.

С. 397–398. *Миттеран, съездив в Москву, «убедился», что коммунисты в конечном счете за свободу. «Я всегда осуждал сталинщину, но теперь, после мужественных разоблачений, сделанных Хрущевым, это совсем другое общество».* — Источник цитаты установить не удалось. Миттеран Франсуа (Mitterrand; 1916–1996), один из лидеров социалистического движения во Франции, ее президент в 1981–1995 гг.

С. 398. *...«слитный стон, предсмертный шепот, все невысказанные завещания погибших».* — См.: *Солженицын А.И.* Бодался теленок с дубом // Новый мир. 1991. № 7. С. 93.

*Голлист* — сторонник политической идеологии голлизма, основанной на идеях и действиях генерала Шарля де Голля (de Gaulle; 1890–1970); ее основные идеи -- национальная независимость Франции от любой иностранной державы, сильная власть, консерватизм в социальных вопросах, дирижизм, т.е. вмешательство государства в управление экономикой.

С. 399. *Я так люблю это стихотворение Владимира Набокова. Оно называется «О правителях»...* — Стихотворение В.В. Набокова «О правителях» написано в 1944 г. в Кембридже (Массачусетс, США).

*Эта душа, Мана...* — Не раз встречающееся у В.С. Варшавского понятие «Мана» введено им, видимо, под впечатлением книги А. Бергсона «Два источника морали и религии» (см. рус. изд.: С. 143–144).

*В пьесе «Носорог» Эжен Ионеско...* — Пьеса «Носорог» Эжена Ионеско (Ionesco; 1909–1994), французского драматурга румынского происхождения, одного из основоположников театра абсурда, датируется 1959 г.

*...христианский философ Габриэль Марсель...* — Марсель Габриэль Оноре (Marcel; 1889–1973), французский философ, драматург и критик, основоположник католического экзистенциализма.

*Прав, я думаю, критик Робер Кантер...* — Известный бельгийско-французский литературный критик Робер Кантер (Kanters; 1910–1985) писал также о Ж.-П. Сартре, М. Фуко, широко печатался во французской прессе, в частности, в газете «Фигаро» («Le Figaro»).

С. 400. *Племянник двух изменников Афин, отпрыск древнего рода, происходившего от бога моря Посейдона, он [Платон] ненавидел демократию, власть демагогов, которые приговорили к смерти Сократа, лучшего из людей.* — По отцу Платон был не просто высокого происхождения, но отдаленным потомком последнего аттического царя Кодра. Мать Платона происходила по прямой линии от брата знаменитого афинского законодателя первой трети VI в. до н. э. родовитого аристократа Солона. См. об этом: *Лосев А.Ф.* Жизненный и творческий путь Платона // Платон. Собр. соч.: в 3 т. / под общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса; пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1968. С. 5–8.

*Вот что говорится в «Политее»: демократия соответствует третьей степени вырождения первоначального устройства общества.* — Диалог «Государство»

(«Политея») Платона написан в 421 или 411–410 гг. до н. э. Основные суждения против демократии высказаны в его восьмой книге.

С. 401. *«Гражданин мира», император Марк Аврелий...* — Марк Аврелий (121–180), римский император (161–180) из династии Антонинов, философ, представитель позднего стоицизма, автор философских записей — 12 «книг» на греческом, обычно называемых «Рассуждения о самом себе». В отличие от ранних стоиков считал главным началом человека не душу, а разум, ведущий к согласию с природой и счастью.

*...«в великолепных автодафе сжигали злых еретиков».* — Цитата из «Легенды о Великом инквизиторе» — в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (ч. 2, кн. 5 «Pro et Contra», гл. V «Великий инквизитор»).

*...трактаты Джона Локка и все декларации прав человека.* — Локк Джон (Locke; 1632–1704), британский философ, идеолог либерализма и эмпиризма.

*...«король» тафюров...* — В Средние века тафурами становились рыцари, покрывшие себя позором; грязные, чесоточные, они следовали обету бедности и были очень жестоки в бою.

*...Святейшая Инквизиция разрушила цветущую цивилизацию Окситании...* — Окситания, историческая область в основном на юге Франции (Прованс, Лангедок, Гасконь и др.), а также небольшая часть Испании и Италии, была разорена (прежде всего Лангедок) сначала Альбигойским, или Катарским, крестовым походом (1209–1229), инициированным папой Иннокентием III, а потом в 1229–1232 гг. специально учрежденной папской инквизицией для борьбы с христианским религиозным движением катаров, считавшихся Римом еретиками, ибо для них был характерен резкий антиклерикализм, т.е. критика «предрассудков Римской церкви» (культа святых, реликвий, изображений), катаризм (по структуре) близок к ранней христианской церкви. Катарский крестовый поход сыграл решающую роль в возникновении ордена доминиканцев, или проповедников, основанного монахом Домиником де Гусманом (см. о нем коммент. к эссе «Татарское иго и Великий инквизитор» [С. 643]) и инквизицией для борьбы с инакомыслием.

*...кромвелевская «армия святых» истребила почти две трети населения папистской Ирландии...* — Речь идет о военном конфликте времен Английской революции — 1649–1663 гг., когда армия английского парламента во главе с Оливером Кромвелем (Cromwell; 1599–1658) вторглась в католическую конфедеративную Ирландию.

С. 401–402. *...человек, за исключением редких праведников, остался все тем же, каким был в каменном веке, и во времена Ассура...* — Имеется в виду «мифологическое время» Ассура, третьего сына Сима, внука Ноя, родоначальника царских родов первых вавилонских и ассирийских царей, родившегося после потопа.

С. 402. *...убеждал Суслова...* — Суслов Михаил Андреевич (1902–1982), секретарь ЦК КПСС (с 1947), член Политбюро ЦК КПСС (с 1966), главный идеолог партии в брежневский период.

С. 403. *«Протоколы сионских мудрецов»* — сфальсифицированный сборник текстов о всемирном заговоре евреев по завоеванию мирового господства, внедрению в государственные структуры, искоренению других религий, играет важную роль в «теории жидомасонского заговора».

*Теоретик тоталитаризма Парето...* — Парето Вильфредо (Pareto; 1848–1923), итало-швейцарский экономист и социолог, автор «Курса политической экономии» (1896/1897), «Трактата по общей социологии» (1916). Муссолини сделал его сенато-

ром: итальянские фашисты восприняли некоторые идеи его теории «общественной элиты», хотя сам он был против «всяких идеологий».

*В самиздатной статье М. Агурского, напечатанной в 118-й книге «Нового журнала», говорится о неонацистской опасности в Советском Союзе.* — См.: *Агурский М.* Неонацистская опасность в СССР // Новый журнал. 1975. № 118. С. 199–227. О М.С. Агурском см. коммент. к эссе «Уроки Нюрнбергского процесса» (С. 618).

*Артур Лондон, один из чешских коммунистов-евреев, осужденных в 1951 году в Праге по делу Сланского, рассказывает в книге «Признание», как его в первый раз допрашивали в органах: «Передо мной четыре человека. Один из них в штатском — майор госбезопасности Смола...»* — См.: *London A.* L'Aveu. Dans l'engrenage du Procès de Prague. Version Française d'Artur et Lise London. Paris: Gallimard, 1968. P. 53. «Дело Сланского» — процесс об антигосударственном заговоре Рудольфа Сланского (1901–1952), с 1929 г. Генерального секретаря ЦК КПЧ, проходил в Чехословакии с 20 по 27 ноября 1952 г. как показательный суд над видными деятелями компартии, пытавшимися установить дружеские отношения с лидером Югославии Иосипом Брозом Тито, с которым враждовал Сталин.

*Французская газета «Монд»...* — «Монд» («Le Monde») — французская ежедневная вечерняя газета леволиберальных взглядов, основана Юбером Бёв-Мери (Beuve-Méry; 1944–1969) по распоряжению Шарля де Голля в 1944 г.

С. 404 *Когда в июне [1848 г.] рабочие вздумали взбунтоваться, на их баррикады двинули войска. «Вечером 26 июня, — записывает Герцен, — мы услышали, после победы "Насионаля" над Парижем, правильные залпы с небольшими расстановками... "Ведь это расстреливают", — сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга».* — Цитата из хроники А.И. Герцена «Былое и думы» (ч. V «Перед революцией и после нее. Outside», гл. XXXVI «1848»). См.: *Герцен А.И.* Былое и думы: в 3 т. М.; Л.: Academia, 1932. Т. 2. С. 30. «Насиональ» («Le National», 1830–1851) — буржуазная газета. Речь идет буржуазно-демократической революции во Франции в 1848 г., когда была свергнута монархия и установлена республика, в феврале–марте рабочие добились демократических свобод, декрета о «праве на труд» и т.д. 22 июня правительство буржуазных республиканцев издало указ о закрытии национальных мастерских для безработных, 23 июня рабочие восстали. Восстание было подавлено правительственными войсками.

*...«первенцы бедных будут напитаны».* — Источник цитаты установить не удалось. Видимо, В. Варшавский перефразирует Евангелие.

*...«ни плача, ни вопля, ни болезни больше не будет».* — См.: Ин. 21:4.

*...в «последнем и решительном бою».* — Перефразируются строки «Интернационала». См. коммент. к анкете «Личность и общество» (С. 597).

*...«ну, словом, тогда прилетит птица Каган».* — См.: *Достоевский Ф.М.* Записки из подполья // ПСС: в 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 113. Птица Каган — мифологическая вещая птица, приносящая людям счастье.

С. 405. *В 1903 году он [Ленин] пишет: «Рабочего человека никто не освободит от нищеты, если он сам себя не освободит...»* — См.: *Ленин В.И.* К деревенской бедноте (1903) // ПСС: в 55 т. 5-е изд. М.: Политиздат, 1967. Т. 7. С. 138.

С. 406. *в ... потомственную аристократию, возглавляемую «тридцатью тиранами».* — Тридцать тиранов — коллективное прозвище проспартанских правителей, правивших в Афинах в 404–403 гг. до н. э.

«Чевенгур» и «Новый Град»

Впервые: Новый журнал. 1976. № 122. С. 193–213. Подп.: Вл. Варшавский.

Положения статьи вошли в книгу В. Варшавского «Родословная большевизма» (Paris: YMCA-Press, 1982).

Роман «Чевенгур» Андрея Платонова был завершен в 1929 г. В нем, по словам автора, «содержится честная попытка изобразить начало коммунистического общества». Смысл названия связан со словами «чева» — ошмёток, обносок лаптя — и «гур» — шум, рёв, рык (см.: *Геллер М.* Андрей Платонов в поисках счастья. Paris: YMCA-Press, 1982). Большевики пытаются превратить Чевенгур «в один двор» с «одним семейством» и вырастить «сад» социализма на могиле расстрелянных буржуев. Провал «чевенгурского социализма» ознаменован смертью ребенка, которого переселили в Чевенгур с другими нищими. Эта смерть означает, что создать новый мир, где нет смерти, не удалось. Роман не был опубликован при жизни автора.

Журнал «Новый Град», как пишет В.С. Варшавский в этой статье, был основан в Париже в 1931 г. В нем принимали участие И. Бунаков-Фондаминский, Г. Федотов, Ф. Степун, о. С. Булгаков, Н. Бердяев, Н. Лосский, мать Мария... У новоградцев были два учителя: В. Соловьев и Н. Фёдоров. См. об этом: *Незамеченное поколение, 2010.* С. 229–260 (гл. «Новый Град»).

С. 407. *На обложке имковского издания...* — Варшавский приводит в своем эссе цитаты из романа «Чевенгур», вышедшего в Париже в издательстве «YMCA-Press» (1972); на обложке книги — рисунок живописца, графика Василия Николаевича Чекрыгина (1897–1922), одного из основателей Союза художников и поэтов, «Искусство — жизнь» (1921–1927).

С. 408. *...при чтении статьи Ленина о кооперации...* — Статья В.И. Ленина «О кооперации» впервые опубликована в «Правде» 4 и 6 января 1923 г. См.: *Ленин В.И.* ПСС: в 55 т. 5-е изд. М.: Политиздат, 1970. Т. 45. С. 369–377.

*Ведь они верили не в парусию...* — Парусия — понятие христианского богословия, обозначавшее как незримое присутствие Господа Иисуса Христа в мире с момента Его появления, так и пришествие Его в мир в конце света.

*...взрывы революционного хилиазма...* — Хилиазм, или милленаризм (от *лат.* mille — тысяча), — учение, основа которого — буквальное толкование пророчества (Откр. 21) о тысячелетнем Царстве Божием на земле в конце истории. В настоящем хилиазм толкуют шире как учение о торжестве Бога на земле.

С. 409. *...«И отрет Бог всякую слезу с очей, и смерти не будет уже: ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет».* — См.: Откр. 21:4.

*В самый разгар восстания Маккавеев...* — Речь идет о возглавленном Иудой Маккавеем восстании в Иудее в 166–160 гг. до н. э. против ига сирийских греков, т.е. царя Селевкидской империи — Антиоха IV Епифана, проводившего политику эллинизации.

*... был обнародован рассказ о сне пророка Даниила...* — См.: Дан. 7.

*...после совершенного истребления «зверя четвертого» — то есть эллинистического царства Селивкидов...* — Селевкиды — македонская династия, объявившая себя в 312 г. до н. э. наследницей бóльшей части азиатской империи Александра Македонского. Центр государства Селевкидов — Сирия, но в эпоху могущества оно ох-

ватило бо́льшую часть Ближнего Востока, от Малой Азии до Северной Индии. Начав экспансию в Грецию, селевкиды столкнулись с армией Римской империи, и к середине II в. у них осталась только Сирия, осенью 64 г. Помпей завоевал ее, превратив в римскую провинцию.

*...«Царство и величие царств всей поднебесной дано будет святому народу Всевышнего, Которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему».* — См.: Дан. 7:27.

*В I веке фригиец Папиас...* — Имеется в виду Папий Иерапольский (или Гиерапольский; ок. 70–163), раннехристианский святой, автор пятитомного труда «Изложения изречений Господних» (ок. 95–120), сохранившегося в виде фрагментов и цитат в произведениях других авторов.

С. 410. *В V веке калабрийский затворник Иоахим Флорский предсказывает наступление в 1260 году века Третьего Завета, века любви, равенства и свободы...* — Неточность. Иоахим Флорский (1132–1202), итальянский цистерцианский монах, мистик-прорицатель, родоначальник средневекового хилиазма, жил в XII в. Он делил всю историю человечества на три периода: Бога-Отца (от Авраама до Иоанна Крестителя), Бога-Сына (от воплощения Сына Божия до 1260 г.), Бога — Святого Духа — с 1260 г., когда в Царстве Третьего Завета исполнятся все обетования Ветхого и Нового Заветов, люди будут обладать духовными телами, не потреблять пищи, на земле победят свобода и любовь; власть отомрет, наступит тысячелетнее райское состояние на земле. Хилиазм Флорского осужден католическими соборами.

*Вспомним вторую часть «Романа розы»...* — Средневековый «бестселлер» «Роман о Розе» состоит из двух различных по духу частей. Из 22 817 стихов поэмы первые 4028 написаны ок. 1225–1230 гг. Гийомом де Лоррисом, остальные — ок. 1275 г. — Жаном де Менем. В первой части в основном преобладает кодекс куртуазной любви. Вторая часть — своеобразная поэтическая энциклопедия знаний того времени; в центре внимания — Природа и место человека в ней, соотношение Природы и Бога. На первый план вместо Амура выдвигается Венера, воплощающая космическую силу. Цитируются Аристотель, Платон, Вергилий, Овидий, Гораций, Ювенал, Лукреций. «Роман о Розе» переведен на русский И.Б. Смирновой, а также Н.В. Забабуровой.

С. 411. *Проф. Михаил Геллер в своем предисловии к «Чевенгуру»...* — Предисловие к «имковскому» изданию написал историк, публицист, писатель, критик, диссидент (в эмиграции с 1963 г.), профессор Сорбонны Михаил Яковлевич Геллер (1922–1997), позднее — автор книги «Андрей Платонов в поисках счастья» (Париж: YMCA-Press, 1982).

*Образ отца мы находим и в идеологии почти всех революционных мессианских движений Средневековья: Император последних дней. Это то Карл Великий, то по очереди Людовики VII, VIII и IX, то Фридрих II...* — Карл I Великий (742/747 или 748 — 814) — король франков (с 768), лангобардов (с 774), герцог Баварии (с 788), император Запада (с 800).

Людовик VII Молодой (1120–1180), французский король (1137–1180).

Людовик VIII (по прозвищу Лев; 1187–1226), французский король (1223–1226).

Людовик IX Святой (1214–1270), король Франции (1226–1270).

Фридрих II Гогенштауфен (1194–1250), король Германии (с 1212), император Священной Римской империи (с 1220), король Сицилии (под именем Федериго I; 1197–1212, 1217–1250).

С. 412. *«Нет и нет, — отвергал Пиюса, — вы теперь не люди, и природа вся переменилась...»* — Пиюся — один из персонажей романа А. Платонова, председатель ЧК Чевенгура. Цитируются его слова, обращенные к чевенгурским «остаточным капиталистам» и полубуржуям, которые просят, чтобы советская власть наняла их хотя бы в батраки, «без пайка и жалованья», и не выселяла из города.

*...борьба с сарацинами...* — О сарацинах см. коммент. к эссе «Татарское иго и Великий инквизитор (С. 644).

*...поворот к номинализму...* — Номинализм — философское учение, согласно которому общее не имеет никакого онтологического содержания. В истории средневековой схоластики был одним из двух, наряду с реализмом, направлений в решении проблемы универсалий: признавал, что реально, объективно существуют только единичные предметы.

*...и, как писали в старину, глад крепок и скудета велия при всем.* — Цитата из рассказа «О Прохоре Черноризци, иже молитвою в былии. Глаголемый победа, творяше хлебы и в попелу соль» из Киево-Печерского патерика, сборника рассказов об основании Киево-Печерского монастыря и житий его первых насельников. Древнейший список датируется XV в., позднейший — XVII в. См.: Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси) / сост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачёва. М.: Худож. лит., 1969. С. 316.

*До половины XVI века полыхают жакерии...* — Жакерия — восстание французских крестьян в 1358 г. (название от распространенного среди аристократии презрительного прозвища крестьян: Jacques Bonhomme — Жак Простак)

*...и голодные бунты «синих ногтей».* — Бунты текстильных рабочих во Франции XIV в. См.: *Ле Гофф Ж.* Другое Средневековье. Время, труд и культура Запада / пер. с фр. В. Чистяковой, Н.В. Шевченко; под ред. В.А. Бабинцева. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002. С. 64

*...«бешеный кентский поп» Джон Болл...* — Болл Джон (Ball; ?–1381), английский священник и проповедник, страстно нападавший в своих проповедях на духовную иерархию и знать, угнетавшую народ; призывал к уравнению всех сословий в правах и более справедливому распределению имущества. Его речи подготовили почву для крестьянского восстания Уота Тайлера в 1381 г., а баллада («Когда Адам копал землю, а Ева пряла, кто был тогда дворянином?») стала гимном восставших. В 1381 г. был схвачен и казнен.

С. 412–413. *...возглавитель крайних таборитов — «пикарцев» и «адамитов» — Мартинек Хаузка...* — Гуска Мартин (Húska; ?–1421), священник из Моравии, один из предводителей чешских хилиастов — пикартов, крайне левого, крестьянского крыла таборитов (название от горы Табор — места первого лагеря сторонников движения), в свою очередь представлявших собою радикальное крыло гуситов (чешского реформаторского религиозного движения, названного по имени Яна Гуса). В проповедях Гуска предсказывал появление нового общественного строя без частной собственности, сословного и имущественного неравенства, без религиозной иерархии. В 1421 г. после разгрома пикартов схвачен умеренными таборитами и сожжен.

Адамиты — приверженцы христианской церкви, проповедовавшие возвращение к святости и невинности первобытных людей в раю — Адама и Евы; одно из их требований — ходить нагими. В первой четверти XIV в. выделились из числа таборитов.

С. 413. *...излюбленный герой Маркса и Энгельса Фома Мюнцер...* — Мюнцер Томас (Munzer, Muntzer; ок. 1490–1525), радикальный проповедник времен Реформации, духовный лидер социального движения, проповедовавшего всеобщее равенство на основе евангельских идеалов и террор против традиционной церкви и крестьянства. Ф. Энгельс писал о Мюнцере в работе «Крестьянская война в Германии» (1850).

*...диктаторы Нового Иерусалима в Мюнстере Иоанн Матисс и Иоанн Лейденский.* — Матис Ян (Mathis; ок. 1500–1534), один из лидеров нидерландских и немецких анабаптистов (или перекрещенцев), относившихся к крещению как сознательному выбору и призывавших к повторному крещению в сознательном возрасте. Иоанн Лейденский (Jan van Leiden; наст. имя и фам. Ян Бейкелсзон, Beukelszoon; 1509–1536) в 1533 г. пришел в немецкий город в Вестфалии — Мюнстер вместе с Я. Матисом и помогал последнему в устройстве в городе «царства Христова» и «Нового Сиона». Когда Матис был в 1534 г. убит, Иоанн продолжил создание Мюнстерской коммуны, в период которой было конфисковано церковно-монастырское имущество, проведено уравнительное распределение предметов потребления. Коммуна просуществовала 14 месяцев в 1534–1535 гг.

*...«сияя подобно солнцу»...* — Цит.: Бхагавадгита. Гл. 5. Стих 16 (пер. с англ. и санскрита А. Каменской и И. Манциарли. Калуга: Изд. журн. «Вестник теософии», 1914).

С. 414. *...люди не стали похожими на гуиннгмов, встреченных Гулливером мудрых и добродетельных лошадей...* — Гуиннгмы — персонажи романа англо-ирландского писателя Джонатана Свифта (Swift; 1667–1745) «Путешествия Гулливера» (1726).

С. 415. *Армагеддон* — место последней битвы добра и зла в конце времени — в авраамистических, т.е. древних, восходящих к патриарху семитских племен Аврааму, религиях.

С. 416. *Спаситель — рыцарь Ивен освобождает 300 порабощенных и голодных дев-прядильщиц.* — Ивейн (Ивайн), согласно мифологии, один из рыцарей Круглого стола, сын короля Уриена и колдуньи Морганы, герой средневекового романа Кретьена де Труа «Ивейн, или Рыцарь со Львом» (ок. 1176–1181). Один из его подвигов — освобождение трехсот дев, плененных двумя демонами-сатанаилами в Замке Злоключения.

*Галаад уподобляется Христу.* — Галаад (*англ.* Galahad, *фр.* Galaad), рыцарь Круглого стола и один из трех искателей Святого Грааля, славился целомудрием и нравственной чистотой.

*Гизо увидел в триумфе буржуазии в XIX веке завершение исторической эволюции.* — Гизо Франсуа (Guizot; 1787–1874), французский историк, фактически с 1840 г. руководивший всей политикой Июльской монархии, периода правления короля Луи Филиппа (1830–1840), с 1847 г. — глава правительства, свергнутого революцией 1848 г. Один из создателей теории классовой борьбы, отрицавший, однако, классовую природу буржуазного государства.

*У Георгия Иванова есть строки: Россия, Россия рабоче-крестьянская! / И как не отчаяться — / Едва началось твое счастье цыганское / И вот уж кончается...* — Стихотворение 1930 г. из книги «Розы» (Париж: Родник, 1931) Георгия Владимировича Иванова (1894–1958). После ее выхода некоторые критики объявили Г. Иванова «первым поэтом русской эмиграции».

С. 417. *Копенгагенская школа* — члены Копенгагенского лингвистического кружка, сторонники глоссематической теории — одного из направлений в структурной лингвистике. Кружок создан в 1931 г. В. Брёндалем, Л. Ельмслевым, Х. Ульдаллем.

*Даже из теории Павлова, официально, противопоставленной фрейдизму...* — Павлов Иван Петрович (1849–1936), создатель науки о высшей нервной деятельности, основатель крупнейшей российской физиологической школы, учения об условных рефлексах, первый русский нобелевский лауреат (1904). Австрийский ученый Зигмунд Фрейд (Freud; 1856–1939) разработал психоанализ, основанный на изучении специфических фаз психосексуального развития личности.

*...Капица довел до сведения Сталина...* — Капица Петр Леонидович (1894–1984), один из основателей физики низких температур, организатор и первый директор (1935–1946 и с 1955) Института физических проблем АН СССР, академик АН СССР (1939), дважды Герой Социалистического Труда (1945, 1974), лауреат Государственной премии СССР (1941, 1943), Нобелевской премии (1978).

*...одни подверглись участи Джордано Бруно, другие участи Галилея.* — Итальянский философ-пантеист Джордано Бруно (Bruno; 1548–1600), развивавший идеи гелиоцентрической космологии Николая Коперника, был обвинен в ереси и сожжен инквизицией в Риме. Другого итальянского ученого — Галилео Галилея (Galilei; 1564–1642), также сторонника Коперника, инквизиция заставила отречься от его идей и до конца жизни обрекла на «домашний арест» на его вилле Арчетри близ Флоренции.

С. 418. *По выражению отца С. Булгакова, Маркс «транспортирует на безбожный язык своего материалистического экономизма древние пророчества о Горе Божьей и мессианском царстве».* — Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944), экономист, религиозный философ, теолог. В 1918 г. принял сан священника. С 1923 г. жил в Париже. Цитируется его статья «Душа социализма» (Новый Град. 1931. № 1. С. 57), в оригинале: «Маркс транспонирует на безбожный язык...» В эссе В.С. Варшавского — либо его коррекция или опечатка, либо типографская ошибка.

*...тюрьмы Пиночета...* — Пиночет Аугусто (Pinochet; 1915–2006), инициатор военного переворота в Чили 11 сентября 1973 г., в результате которого было свергнуто правительство Народного единства во главе с Сальвадором Альенде (Allende; 1908–1973), президентом Чили (1970–1973), социалистом, пытавшимся осуществить демократические преобразования конституционным и парламентским путем. Пиночет возглавлял военную хунту в Чили с 11 сентября 1973 по 27 июня 1974 г., будучи генерал-капитаном (генералом армии), а с 27 июня 1974 по 11 марта 1990 г. — Верховным главой чилийской нации и президентом Чили. Он жестоко расправился с Альенде и его многочисленными сторонниками.

*Морис Клавель сказал о таких [католических и протестантских священниках, принимающих коммунистические идеи], что Христос для них только предтеча Маркса.* — Клавель Морис (Clavel; 1920–1979), католический и одновременно антиклерикальный философ, в книге «Два века с Люцифером» (1978) уделил первостепенное внимание К. Марксу.

*Достоевский пишет о толпах рабочих, виденных им в 1862 году на улицах Лондона: «...эти миллионы, оставленные и прогнанные с пиру людского...»* — Цит. «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1863). См.: *Достоевский Ф.М.* ПСС: в 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 71.

*...передавить, как вшей, всех злобных старушонок-процентщиц...* — Обыгрывается как нарицательное явление персонаж романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (1866).

С. 419. *Несколько лет тому назад, выступая в Венском университете, Милован Джилас сказал: «Я не критикую коммунистическую утопию как таковую... утопия полезна...»* — Джилас Милован (Ђилас; 1911–1995), югославский политик и литера-

тор, диссидент, автор широко известной публицистическо-философской книги «Новый класс» (1957), в которой описал возникновение в СССР, Югославии и других социалистических странах нового правящего класса — привилегированной партийной бюрократической верхушки. Провел в тюрьме 1956–1958, 1962–1966 гг., был амнистирован (без возвращения гражданских прав и боевых наград). В Венском университете выступил в конце 1960-х гг., когда выезжал за границу и читал лекции, с 1970 до 1986 г. в выезде за границу ему было отказано.

*Это очень близко к тому, что говорил Лев Толстой о французской революции. 20 августа 1904 года он записывает в своем дневнике...* — Цитата дана с небольшими разночтениями. См.: *Толстой Л.Н.* Избранные дневники 1895–1910 гг. // Собр. соч.: в 22 т. М.: Худож. лит., 1985. Т. 22. С. 34.

*...основы революции (на которые так несправедливо нападает Тэн)...* — Тэн Ипполит (Taine; 1828–1893), французский философ-позитивист, эстетик, писатель, создатель культурно-исторического метода изучения литературы и искусства, историк консервативного направления. Его крайняя неприязнь к французской революции и попытка обелить монархию проявились в книге «История французской революции» (1875–1893).

С. 420. *У новоградцев было два учителя: В. Соловьев и Н. Фёдоров.* — Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900), религиозный философ, поэт и публицист, попытавшийся в своей философской системе объединить христианский платонизм, немецкую классическую философию (в частности, Ф.В. Шеллинга) и естественнонаучный эмпиризм.

О Н.Ф. Фёдорове см. коммент. к «Ожиданию» (С. 575).

*В номере третьем «Нового Града» о. С. Булгаков писал: «Христианство в идее Царства Божия...»* — Варшавский цитирует с небольшими разночтениями. Ср.: *Булгаков С., прот.* Душа социализма // Новый Град. 1932. № 3. С. 44–45.

*...это совсем не августиновское понимание Царства Божия на земле.* — Августин Блаженный (354–430), христианский теолог, главный представитель западной патристики, в сочинении «О граде Божием» противопоставлял «земному граду» мистически понимаемый «Божий град» — церковь. Развил учение о благодати и предопределении. Его христианский неоплатонизм господствовал в западноевропейской философии и католической теологии до XIII в.

С. 421. *В номере двенадцатом «Нового Града» в статье «Христианство и революция» Бердяев говорит...* — Варшавский цитирует статью Бердяева с небольшими разночтениями. См.: Новый Град. 1937. № 12. С. 59.

С. 422. *В четвертом номере [«Нового Града»] Ф. Степун пишет: «Самая страшная сущность враждебного нам большевизма заключается в том, что он не понимает инакомыслящих...»* — См.: *Степун Ф.* Еще о человеке Нового Града // Новый Град. 1932. № 4. С.63.

### Родословная большевизма

Впервые: Новый журнал. 1976. № 125. С. 234–250. Подп.: В. Варшавский.

Положения статьи вошли в одноименную книгу В. Варшавского (Paris: YMCA-Press, 1982).

С. 422. *По поводу утверждений Ричарда Пайпса, Тибора Самуели...* — Пайпс Ричард (Pipes; р. 1923), доктор истории, профессор русской истории в Гарвардском университете (1958–1996), в 1968–1973 гг. — директор Исследовательского центра по изучению России при Гарвардском университете, в 1973–1978 гг. — главный научный консультант Института по исследованию России при Стэнфордском университете. Автор многих книг, в том числе «Формирование Советского Союза, коммунизма и национализма», 1917–1923» (1954), «Россия при старом режиме» (1974; рус. изд.: М.: Захаров, 2004) и др. С 1996 г. — почетный профессор. Исследуя феномен Октября и русского коммунизма, прослеживал истоки их еще в средневековой Московии, поскольку ее жители, в отличие от европейцев, не знали частной собственности. О полемике Варшавского с Р. Пайпсом см., в частности, в предисловии к этой книге.

Самуели Тибор (Szamuely; 1925–1972), венгерский историк, в 1963 г. уехал из Венгрии, с 1964 г. — с семьей в Великобритании; близкий друг английского писателя Кингсли Эмиса и историка Роберта Конквеста, автора широко известной книги «Большой террор» (1968), написавшего предисловие к книге Т. Самуели «Русская традиция», изданной в Лондоне в 1974 г., а в переводе с английского на французский (о чем пишет Варшавский) в 1976 г. в Париже (Paris: Stock).

*Об этом опасном заблуждении мне уже приходилось писать.* — См. эссе «“Чевенгур” и “Новый Град”».

*...описанным маркизом де Кюстин.* — Кюстин Астольф де (de Custine; 1790–1857), французский литератор, монархист, по приглашению Николая I посетивший Россию, автор книги «Россия в 1839» (опубл. 1843), негативно изобразивший николаевскую Россию и русских.

*...редактор «Юманите» Ренэ Андриё...* — Андриё Рене (Andrieu; 1920–1998), французский журналист, политик, участник Сопротивления, член ЦК Французской компартии, в 1958–1984 гг. — редактор ежедневной газеты ФКП «Юманите» («L’Humanité»; изд. с 1904).

*...в своей последней книге «В общем...» бывший коммунист Клод Руа.* — Руа Клод (Roy; 1915–1997), французский поэт, журналист, участник Сопротивления. Вступил в ФКП в 1943 г., в 1956 г. после советского вторжения в Венгрию порвал с нею. Автобиографическая книга «В общем...» (в другом русском переводе: «В целом...») вышла в 1976 г.

С. 423. *После выхода первого тома «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына...* — Первый том романа «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына вышел в конце декабря 1973 г. в парижском издательстве «YMCA-Press».

*Некоторые французские левые, Морис Клавель, Андрэ Глюксман...* — О М. Кловеле см. коммент. к эссе «“Чевенгур” и “Новый Град”» (С. 631).

Глюксман Андре (Glucksmann; р. 1937), французский философ, писатель, один из лидеров французских «новых философов».

*...его учитель на самом деле не Маркс, а Ткачёв.* — Ткачёв Петр Никитич (1844–1885/1886), один из теоретиков революционного народничества, публицист, критик, с 1873 г. — в эмиграции в Женеве, где в 1875–1876 гг. редактировал журнал «Набат»; был убежден, что революцию в России нужно осуществить немедленно, пока не сложились буржуазные отношения.

*...тут обычно ссылаются на рассказ Бонч-Бруевича о том, как Ленин после октябрьской революции уговаривал своих сообщников изучать Ткачёва (и Нечаева).* — Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955), ближайший помощник и фактически секретарь В.И. Ленина, автор книг «На боевых постах Февральской и

Октябрьской революций» (М.: Федерация, 1930), «На заре революционной пролетарской борьбы» (М.: Федерация, 1932), «Воспоминания» (М.: Худож. лит., 1968) и др., в том числе «Избранные сочинения» (в 3 т. М.: АН СССР, 1959–1963). Здесь имеется в виду статья «Ленин о художественной литературе» (1934). Скорее всего, Варшавский цитирует по изд.: *Шуб Д.Н.* Политические деятели России (1850–1920 годов). Нью-Йорк: Изд. «Нового журнала», 1969. С. 72.

Нечаев Сергей Геннадьевич (1847–1882), организатор тайного общества «Народная расправа», автор «Катехизиса революционера», согласно которому революционер уничтожает всех, кто мешает достижению цели. В 1869 г. убил студента И.И. Иванова, подозревая его в предательстве (нечаевское дело послужило поводом к созданию Достоевским романа «Бесы»). Бежал за границу, в 1872 г. был выдан швейцарскими властями, в 1873 г. приговорен к 20 годам каторги. Умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепости.

*Ткачёв должен был Ленину нравиться. В знаменитой своей брошюре «Что делать?» великий Ильич отзывается о нем с одобрением...* — См.: *Ленин В.И.* ПСС: в 55 т. 5-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1963. Т. 6. С. 173.

С. 423–424. *Но когда в той же брошюре Ленин говорит о родословном дереве социализма, он называет не Ткачёва, а Маркса и Энгельса и их учителей: «Как немецкий теоретический социализм никогда не забудет, что он стоит на плечах Сен-Симона, Фурье и Оуэна...»* — См.: Там же. С. 26.

О Ш. Фурье см. коммент. к рец. «Заметки о прочитанном. “Встречи” Федора Степуна» (С. 672–673).

С. 424. *Его [Ткачёва] учителя: Макиавелли, якобинцы, Огюст Бланки и «утопические» социалисты, которых он переводил на русский язык. Всё те же авторы, властители дум Сенкаля и других революционных героев романа Флобера «Воспитание чувств».* — Макиавелли Николо (Machiavelli; 1469–1527), итальянский политический мыслитель, историк, автор книги о сильной государственной власти «Государь» (1513); ради упрочения власти считал возможными любые средства.

Бланки Луи Огюст (Blanqui; 1805–1881), французский коммунист-утопист, участник революций 1830 и 1848 гг.; связывал успех социальной революции с заговором организации революционеров, которых в решающий момент должны поддержать народные массы. Заочно (будучи в тюрьме) был избран членом Парижской коммуны 1871 г.

П.Н. Ткачёв был первым переводчиком сочинений К. Маркса на русский: в 1868 г. он перевел и опубликовал в Петербурге «Устав Международного товарищества рабочих», написанный К. Марксом.

«Воспитание чувств» — роман (1869) французского писателя Гюстава Флобера (Flaubert; 1821–1880).

*Вспоминая о своих встречах с Ткачёвым в редакции журнала «Дело», П.П. Суворов описывает его...* — Суворов Петр Павлович (1839–1901), поэт, журналист. Орган революционно-демократического направления, ежемесячник «Дело» издавался в Петербурге радикальными разночинцами в 1866–1888 гг. Суворов пишет о Ткачёве в книге «Записки о прошлом» (М.: Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и Ко 1898. С. 98).

*Сестра Ткачёва А. Анненская рассказывает: «Он со всем пылом молодости ненавидел господствующий в России режим и находил, что для обновления страны необходимо ни мало ни много, как уничтожить всех людей старше 25-ти лет».* — Анненская Александра Никитична (урожд. Ткачёва; 1840–1915), писательница, жена народника Н.Ф. Анненского, друга В.Г. Короленко, двоюродная сестра И.Ф. Аннен-

ского. Цитата, скорее всего, приведена по изданию: *Козьмин Б.* П.Н. Ткачев [вступ. ст.] // Ткачев П.Н. Избранные сочинения на социально-политические темы: в 4 т. М.: Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1932. Т. 1. С. 13–14.

*Не говоря уже о знаменитых... Кутоне.* — Кутон Жорж (Couthon; 1755–1794), один из лидеров якобинцев в период Великой французской революции, член Комитета общественного спасения. Казнен вместе с Робеспьером.

*...вот, например, что пишет Герцен о своей встрече в Женеве с «умеренным» немецким революционером Гейнцем: «Он впоследствии писал, что достаточно избить два миллиона человек на земном шаре, и дело революции пойдет как по маслу».* — Цитата из хроники А.И. Герцена «Былое и думы» (ч. V «Перед революцией и после нее. Outside», гл. XXXVIII). См.: *Герцен А.И.* Былое и думы: в 3 т. М.; Л.: Academia, 1932. Т. 2. С. 79.

Гейнц — речь идет о немецком писателе, республиканце Карле Гейнцене (Heinzen; 1809–1880).

*...«Акулина», дисциплинированная организация заговорщиков...* — Данные об этой организации найти не удалось.

*Покровский не без основания назвал его [Ткачёва] первым русским марксистом.* — Историк-марксист Михаил Николаевич Покровский (1868–1932), лидер советских историков в 1920-е гг., член РСДРП(б) с 1905 г., академик АН СССР (с 1929), похоронен в Кремлевской стене. Покровский не называет Ткачёва прямо марксистом, но к этому ведет. Ленина он представляет как последователя Ткачёва: тот проповедовал близкую Ленину идею строжайшей конспирации сверху донизу. См.: *Покровский М.Н.* Октябрьская революция. Сб. статей 1917–1927. М.: Изд-во Ком. акад., 1929. С. 36–37.

С. 425. *По просьбе друзей Лаврова...* — Лавров Петр Лаврович (1823–1900), революционер, один из идеологов народничества, социолог, публицист.

*...Ткачёв в «Открытом письме господину Фридриху Энгельсу»...* — Опубликовано на немецком языке в Цюрихе в 1874 г.

*Об этом письме Маркс сказал: «Это так глупо, что могло быть написано Бакуниным».* — Неточная цитата. Маркс писал Энгельсу в феврале–марте 1875: «Это так глупо, что и Бакунин мог *приложить* руку» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. М.: Изд-во полит. лит., 1964. Т. 34. С. 3). Бакунин Михаил Александрович (1814–1876), теоретик анархизма, один из идеологов революционного народничества и основателей традиции «социального анархизма». Критиковал Маркса, особенно его идею диктатуры пролетариата как опасность, чреватую неизбежным авторитаризмом.

*Маркс и Энгельс защищали тогда ортодоксально марксистскую точку зрения. «Буржуазия, — писал Энгельс, — так же необходима для социальной революции, как сам пролетариат...»* — См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1961. Т. 18. С. 524–534, 537.

*Бердяев сделал отсюда вывод: «Маркс и Энгельс говорили о буржуазном характере революции в России и были скорее "меньшевиками", чем "большевиками"».* — С отклонениями цитируется: *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. Париж: YMCA-Press, 1955. С. 61 (гл. III «Русское народничество и анархизм»). У Бердяева: «...Маркс и Энгельс говорили о буржуазном характере грядущей русской революции, были за народовольцев, которые сосредоточились исключительно на свержении самодержавной монархии, и в этом отношении были гораздо менее предшественниками Ленина, чем Ткачев. Маркс и Энгельс не понимали своеобразия русского пути и были "меньшевиками", сколько бы ни старались это затушевать "большевики"».

*В 1881 году Маркс пишет Вере Засулич: он никогда, мол, не утверждал, что капиталистическая фаза неизбежна повсюду.* — 8 марта 1881 г. К. Маркс откликнулся на письмо народницы Веры Ивановны Засулич (1849–1919) от 16 февраля 1881 г. См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1961. Т. 19. С. 416–421.

*Когда землевольцы раскололись на чернопередельцев и народовольцев, Маркс принимает сторону террористов, а не чернопередельцев...* — «Земля и воля», революционная народническая организация, основанная в Петербурге в 1876 г., раскололась на «Народную волю» (1879–1881) — сторонников политического террора и «Черный передел» (1879–1882) — «деревенщиков», отрицавших террор.

*По выражению одного историка, в Марксе снова проснулась его якобинская душа.* — Источник установить не удалось.

С. 426. *Не этим же ли глубоким, утробным якобинством Маркса объяснялись и его ненависть к федерализму Прудона, к анархизму Бакунина и к Гельветической конфедерации...* — Прудон Пьер Жозеф (Proudhon; 1809–1865), французский социалист, теоретик анархизма, сторонник теории «ликвидации государства».

О М.А. Бакунине см. выше.

Гельветическая конфедерация (от *лат.* названия Швейцарии — Гельвеция) — республика, которую стремилось создать в Швейцарии гельветическое общество — общешвейцарская организация (1761 — 1-я пол. XIX в.), ставившая своей целью установление культурных и политических связей между кантонами на федеральных основах.

*5 ноября 1880 года он [Маркс] пишет Зорге...* — Письмо Маркса к немецкому марксисту Фридриху Адольфу Зорге (Sorge; 1828–1906) см.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. М.: Политиздат, 1964. Т. 34. С. 380.

*Мечтая о «социал-демократических Желябовых»...* — Желябов Андрей Иванович (1851–1881), один из создателей и руководителей «Народной воли», организатор покушений на Александра II. Повешен 3 апреля в Петербурге. Ленин ставил его в один ряд с Робеспьером и Гарибальди.

*То же и Энгельс. В споре Плеханова с Львом Тихомировым он на стороне террористов.* — Георгий Валентинович Плеханов (1856–1918), позднее теоретик и пропагандист марксизма, и Лев Александрович Тихомиров (1852–1923) были членами народнической «Земли и воли», в 1879 г. в ней произошел раскол: Плеханов, в отличие от Тихомирова, был категорически против террористической деятельности и стал членом «Черного передела», Тихомиров выступил как идеолог «Народной воли». Известно, что в 1888 г. он отрекся от революционных убеждений и, вернувшись из Швейцарии, где жил в эмиграции, стал монархистом.

*...Плеханов, считая народовольцев наследниками Ткачёва, повторял все те доводы, которые десять лет до того сам Энгельс приводил для посрамления «недоучившегося гимназиста».* — Видимо, имеется в виду то, что П.Н. Ткачёв, не закончив юридический факультет Петербургского университета, был привлечен к одному из политических дел и отсидел несколько месяцев в Петропавловской крепости. Но потом он, не возвращаясь на студенческую скамью, сдал экзамены и окончил университет.

*В 1885 году Энгельс пишет Вере Засулич: «Россия приближается к своему 1789 году...» <...> «На мой взгляд, Россия больше всего нуждается теперь в толчке, способном развязать революцию. Будет ли сигнал подан той или другой группой, под тем или другим знаменем, не имеет значения».* — См. письмо Ф. Энгельса к В. Засулич от 23 апреля 1885 г. из Лондона в Женеву (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. М.: Политиздат, 1964. Т. 36. С. 260–261).

С. 427. *...и несчастного Бабёфа.* — Бабёф Гракх (Babeuf; наст. имя Франсуа Ноэль; 1760–1797), французский коммунист-утопист, отстаивавший во время Великой французской революции интересы неимущих классов, лидер движения «Во имя равенства». В 1796 г. возглавил Тайную повстанческую директорию, готовившую восстание, и был казнен.

*В мае 1905 года на III партсъезде Ленин заявил: «Пугать якобинством в момент революции величайшая пошлость...»* — См.: *Ленин В.И.* ПСС: в 55 т. 5-е изд. М.: Политиздат, 1967. Т. 10. С. 137–138.

*Мудрый Токвиль говорит: «Из XVIII века и революции вытекают две реки: одна вела людей к свободным учреждениям, другая к абсолютной власти».* — Источник цитаты не установлен.

*Сподвижник Бабёфа Буонаротти передает революционерам романтической эпохи эстафету эгалитарного коммунизма.* — Буонарроти Филиппо (Buonarroti; 1761–1837), итальянский революционер. После провозглашения Франции республикой приехал в Париж, стал влиятельным в клубе якобинцев, в 1793 г. Национальный конвент даровал ему звание французского гражданина. После падения Робеспьера (1794) был арестован, но через несколько месяцев освобожден. В тюрьме Плесси познакомился с Бабёфом, стал поклонником его идей, вошел в Тайную директорию. Здесь и далее В.С. Варшавский основывается на его книге: *Buonarotti F.* La Conspiration pour l'Egalité dite de Babeuf. Brussels, 1828.

*...9 термидора...* — 9 термидора II года по революционному календарю — 27 июля 1794 г. произошел государственный переворот, приведший к свержению якобинской диктатуры и установлению Директории (1795–1799).

*Несмотря на все свое преклонение перед автором «Общественного договора», Сен-Жюст осуждал Жан-Жака за то, что тот требовал смертной казни для отступников от «общественной религии»: «О, великий человек, я не могу тебе простить, что ты оправдал смерть!»* — Руссо Жан-Жак (Rousseau; 1712–1778), французский философ и писатель, в «Общественном договоре» (1762) обосновал право народа на свержение абсолютизма. Здесь и далее источником для В.С. Варшавского послужила книга: *Saint-Just.* Discours et rapports. Paris: Éditions Sociales, 1957.

С. 428. *...всякий, кого видели с белой кокардой на шляпе, объявляются вне закона.* — Белые кокарды (ленты или розетки из лент) с 1767 г. — цвет династии Бурбонов.

*Предтеча Лацисов и Вышинских, Робеспьер...* — О Лацисе и Вышинском см. коммент. к эссе «Уроки Нюрнбергского процесса» (С. 619).

*«Любовь к революции, — признавался Бабёф, — убила во мне всякую другую любовь и сделала меня жестоким, как дьявол».* — См.: *Buonarotti F.* La Conspiration pour l'Egalité dite de Babeuf.

С. 429. *Космополиты-бабувисты настаивали на полной изоляции Франции.* — Бабувисты (от *фр.* babouvistes) — последователи Г. Бабёфа, участники коммунистического заговора, после смерти Бабёфа (1797) продолжившие вместе с левыми якобинцами свою деятельность.

*Было бы не худо, если бы западные мудрецы... вспомнили «Заговор равных». Им было бы легче тогда понять советский подход к Хельсинкскому Заключительному акту.* — «Заговор равных» — термин, употребляемый в историографии для обозначения во Франции 1796 г. движения «во имя равенства», возглавлявшегося Г. Бабёфом, оно готовило свержение Директории, захват власти, установление революционной диктатуры.

Хельсинкские соглашения, или Хельсинскская декларация, результат деятельности Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, была подписана в Хельсинки 30 июля — 1 августа 1975 г., она закрепляла политические и территориальные итоги Второй мировой войны, обязательства по правам человека и основным свободам — свободе передвижения, контактов, информации, право на труд и т.д.

*«Укрощайте врагов свободы террором».* — Лозунг Максимилиана Робеспьера из его доклада «О принципах политической морали» на заседании Конвента 5 февраля 1794 г. См.: *Робеспьер М.* Революционная законность и правосудие. Статьи и речи. М.: Госюриздат, 1959. С. 193–220.

С. 430. *Когда после казни жирондистов, дантонистов и эбертистов...* — Жирондисты — члены одной из политических партий (название от департамента Жиронда, главный город Бордо) времен Французской революции, сторонники индивидуальной свободы, демократической политической теории Руссо, республиканцы, не отличавшиеся партийной дисциплиной. Дантонисты — правое крыло якобинцев, группировавшихся вокруг Жоржа Жака Дантона в 1793–1794 гг., требовали ослабления террора; большинство было казнено в апреле 1794 г. Эбертисты — левые якобинцы (их лидер Жак-Рене Эбер [Hébert; 1757–1794]), сторонники террора, политики дехристианизации; гильотинированы 24 марта 1794 г.

С. 431. *По выражению Жоржа Сореля, царство Руссо, начавшись в 1762 году, продолжалось почти сто лет.* — Сорель Жорж (Sorel; 1847–1922), французский философ, марксист, теоретик анархо-синдикализма. Поначалу представлял «новую школу» марксизма. Затем выступил с критикой рационального познания, с учением о мифе как мировосприятии любой социальной группы, в насилии видел движущую силу истории. Самая известная его книга «Размышления о насилии» (1908). Его идеи о силе мифа и мифе силы в жизни людей вдохновляли марксистов и фашистов.

*...предложенное проф. Талмоном, автором капитальных исследований, для понимания природы современного тоталитаризма.* — Талмон Джейкоб Лейб (Talmon; 1916–1980), профессор современной истории в Еврейском университете Иерусалима, автор работ «Истоки тоталитарной демократии» (1952) и «Политический мессианизм: романтическая фаза» (1960), где исследуются соответственно генеалогия тоталитаризма и истоки мессианизма во Французской революции и выявляются черты сходства между якобинством и сталинизмом.

*...признался простодушный Шигалёв: «Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом».* — См.: *Достоевский Ф.М.* Бесы // ПСС: в 30 т. Л.: Наука, 1974. Т. 10. С. 311 (ч. 2, гл. 7 «У наших»).

*Еще невнятней учение Руссо о коллективной воле. Она — воля народа, но вовсе не всегда совпадает с волей всех.* <...> *«Однако необходимо, чтобы все голоса были сосчитаны; всякое формальное исключение нарушает всеобщность».* — В.С. Варшавский ссылается на изд.: *Rousseau J.-J.* Du contrat social. Paris: Garnier Flammarion, 1966.

*С. 432. ...пролетариат своими собственными силами в состоянии выработать лишь сознание тредюнионистское...* — Тред-юнионистское сознание (от *англ.* trade union — профсоюз) — т.е ограниченное, определенное не политическими, а профессиональными, экономическими интересами и целями.

*«Поэтому наша задача, задача социал-демократии состоит в борьбе со стихийностью...»* — См.: *Ленин В.И.* Что делать? // ПСС: в 55 т. 5-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1963. Т. 6. С. 38.

*...«партия вбирает в себя авангард пролетариата, и этот авангард осуществляет диктатуру».* — См.: *Ленин В.И.* О профессиональных союзах, текущем моменте и об ошибках т. Троцкого (30 дек. 1920) // ПСС: в 55 т. 5-е изд. М.: Политиздат, 1970. Т. 42. С. 203–204.

С. 432–433. *В брошюре «Что делать?», уже мною упомянутой, Ленин в ответ на обвинения в непонимании демократизма ссылается вовсе не на Ткачёва, а на пример немецких социал-демократов: «...у немцев достаточно уже развита политическая мысль...»* — См.: *Ленин В.И.* Что делать? С. 456 (гл. IV «Организация рабочих и организация революционеров»).

С. 433. *В 1920 году на IX съезде партии Ленин заявляет: «Советский социалистический демократизм единоначалию и диктатуре не противоречит:* волю класса иногда осуществляет диктатор». — См.: *Ленин В.И* Речь на IX съезде РКП(б) // ПСС: в 55 т. 5-е изд. М.: Политиздат, 1974. Т. 40. С. 272.

*В том же 1920 году на III Всероссийском съезде профсоюзов: «Берите тысяча девятьсот восемнадцатый год. Я уже тогда указывал на необходимость единоначалия...»* — См.: *Ленин В.И.* Речь 7 апреля 1920 г. // Там же. С. 308.

*На IX съезде член группы «демократического централизма» Сапронов выступил против Ленина с прямым обвинением...* — О Т.В. Сапронове см. коммент. к эссе «Уроки Нюрнбергского процесса» (С. 620).

*...Осинский жаловался: «Деятельность партии была перенесена в ЦК. <...> Ленин и Свердлов решали очередные вопросы путем разговоров друг с другом».* — О Н. Осинском см. коммент. к эссе «Уроки Нюрнбергского процесса» (С. 620).

*Это не мешало самому Ленину, как истому якобинцу, утверждать, что власть находится в руках «рабочего класса и крестьянства». «Волю класса иногда осуществляет диктатор».* — См.: *Ленин В.И.* Речь на IX съезде РКП(б). С. 272.

## Татарское иго и Великий инквизитор

Впервые: Новый журнал. 1977. № 128. С. 198–223. Подп.: В. Варшавский.

Положения статьи вошли в книгу В. Варшавского «Родословная большевизма» (Paris: YMCA-Press, 1982).

С. 434. *Почитайте Маркса: «Не в суровом героизме норманнской эпохи, а в кровавой трясине монгольского рабства зародилась Московия, и современная Россия является не чем иным, как преобразованной Московией...»* — См.: *Маркс К.* Разоблачения дипломатической истории XVIII в. // Вопросы истории. 1989. № 4. С. 11. Впервые: *Marx K.* Revelations of the Diplomatic History of the Eighteenth Century// Free Press. 1857. 25 Feb. Работа печаталась с 23 августа 1856 по 1 апреля 1857 г. Отдельным изданием вышла под заголовком: «Secret diplomatic history of the Eighteenth century» (London: Swan Sonnenschein and Co, 1899). В российские собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса не вошла.

С. 435. *...монгольские ханы, потомки Джучи...* — Джучи (ок. 1184 — ок. 1227), старший сын Чингисхана, умер еще при жизни отца; предназначенный ему с 1224 г. улус в западной части Монгольской империи (в русской историографии — Золотая Орда) наследовал его сын — Батый (Бату; ок. 1209–1255/1256). Об этом см., в част-

ности, книгу С.Г. Пушкарева «Обзор русской истории» (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953. С. 117), на которую В.С. Варшавский не раз ссылается.

*...«под лавой коммунизма они [евразийцы] вскрыли фундаменты русской народности».* — Источник цитаты установить не удалось.

*...евразийцы верили: революционный кризис приведет к «выпрямлению русской исторической линии», и большевики, вопреки своей воле, творят национальное дело.* — Эту формулу национал-максималистов использует правовед, философ, основоположник русского национал-большевизма, идеолог «сменовеховства» Николай Васильевич Устрялов (1890–1937) в концовке второго раздела статьи «Зарубежная смена» (1931), опубликованной в журнале «Утверждения. Орган объединенных пореволюционных течений» (1932. № 3. Окт. С. 107–119).

*Богатуры* — самые лучшие воины древнего болгарского государства, также были телохранителями хана.

*Пушкин отмечает: «Внутренняя жизнь порабощенного народа не развивалась. Татаре не походили на мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля».* — См.: *Пушкин А.С.* О ничтожестве литературы русской (1834, опубл. 1855) // ПСС: в 10 т. 3-е изд. М.: Наука, 1964. Т. 7. С. 307.

С. 436. *«О, злее зла честь татарская».* — Ставшие пословицей заключительные слова Галицко-Волынской летописи (Ипатьевский список 1249 и 1250) о поездке князя Даниила Галицкого приблизительно в 1245–1246 гг. к ханскому двору в Сарай в знак признания зависимости от Золотой Орды, чтобы сохранить княжество. В данном случае источник, вероятнее всего, книга С.Г. Пушкарева «Обзор русской истории» (С. 116).

*С.Г. Пушкарев пишет, что татарское владычество и необходимость кланяться чуждой власти оказали вредное влияние на характер русского человека.* — Пушкарев Сергей Германович (1888–1984), историк. Окончил Харьковский университет по кафедре русской истории, был оставлен в университете. В 1919 г. вступил в Белую армию, в 1920 г. эмигрировал. В 1921–1945 гг. жил в Праге, магистр русской истории (1924); доцент Русской ученой академии в Праге, постоянный научный сотрудник Чешской академии наук. Весной 1945 г. с семьей перебрался в Западную Чехию, затем в Германию и в начале 1946 г. избран доцентом в Университете Мюнхена. В начале 1949 г. по поручительству Г.В. Вернадского приехал в США, с осени 1950 г. преподавал русский язык в Йельском университете. Варшавский ссылается на его самую известную, уже упомянутую книгу «Обзор русской истории» (С. 122).

*«У русских с тех пор, — уверяет знаменитый шведский историк Карл Гримберг, — редкая, как у монголов, борода».* — Гримберг Карл (Grimberg; 1875–1941), шведский историк, автор истории Швеции (1913–1924), с 1926 г. публиковавший фрагменты своей «Мировой истории», откуда, видимо, В.С. Варшавский и заимствовал цитату.

*«Повесть о разорении Батыем Рязани» дает представление, чем было татарское нашествие: «И взяша град Резань месяца декабря в 21 день...»* — Древнерусская «Повесть о разорении Рязани Батыем» (1237), автор неизвестен. Варшавский цитирует ее по изданию, слегка отличающемуся от версии, подготовленной Д.С. Лихачевым. См.: Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси) / сост. и общ. ред. Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева. М.: Худож. лит., 1969. С. 350.

*Император Фридрих II писал о взятии татарами Киева: «Все это преславное княжество целиком по истреблении его жителей пришло в запустение, будучи разорено».* — Император Священной Римской империи Фридрих II (1194–1250) писал

об этом английскому королю Генриху III (1207–1272). Письмо сохранилось только в составе «Великой хроники» английского хрониста Матфея Парижского (ок. 1200–1259), монаха Сент-Олбанского монастыря в Хартфордшире. См.: Английские средневековые источники IX–XIII вв. / подгот. текстов, пер., коммент. В.И. Матузовой. М.: Наука, 1979. С. 143.

*Английский летописец Матвей Парижский писал о монголах: «Бесчеловечные, звероподобные существа. Их не назовешь людьми, они скорее чудовища, они жаждут крови и пьют ее, ищут и пожирают собачье и даже человечье мясо».* — См.: Там же. С. 137–138.

*Германия молилась: «Господи, сохрани нас от ярости татарской».* — Точный источник установить не удалось.

*А когда в 1248 году монгольский воевода Алжигидай, наступавший на Багдадский халифат, прислал Людовику Святому двух христиан-несториан...* — Багдадский халифат — часто встречающееся название государства (762 — XIII в., столица Багдад), возглавлявшегося династией Абассидов.

О Людовике IX см. коммент. к эссе «“Чевенгур” и “Новый Град”» (С. 628).

Несторианство — христологическое учение, приписываемое Несторию, архиепископу Константинополя (428–431); оно признает полную симметрию богочеловечества Христа, т.е. соединение в лице Христа с момента зачатия двух ипостасей — Бога и человека, и соответственно одну богочеловеческую волю Христа. Осуждено как ересь в 431 г.

С. 437. *Но Марко Поло уверяет, пошли папа более искусных проповедников, великий хан Хубилай обратился бы: «Повелитель монголов очень хотел стать христианином».* — Поло Марко (Polo; ок. 1254–1324), итальянский путешественник. Написанная с его слов «Книга о разнообразии мира» (1298) — один из ценнейших источников знаний европейцев о странах Центральной, Восточной и Южной Азии.

Хубилай (Кублай, Кубилай; 1215–1294), внук Чингисхана, пятый великий хан монгольской династии; правил с 1259 или 1260 г. С 1280 г. и до смерти — император Китая.

*Чингисхан склонялся к таоизму.* — Чингисхан (Тамуджин, Темучин; ок. 1155–1227), основатель и великий хан Монгольской империи (с 1206). Таоизм — одна из философских систем в истории Китая, возникшая в VI в. до н. э. с появлением книги Лао Цзы и усовершенствованная через 200 лет Чанг Цзы, считавшим «принцип за сущность, вещи за вульгарность, накопление денег — за недостаток». Теория таоизма основана на принципе «вечного несуществования» и идее Великой Личности; благодаря спокойствию сознания человек достигает слияния с природой и, соответственно, с Тао.

*Внук Чингисхана великий хан Могка, сын несторианской принцессы, говорил французскому посланцу францисканцу Вильгельму Рубрук: «Мы, монголы, верим в единого Бога. Но подобно тому, как Господь Бог дал нам пять пальцев на руке, Он дал людям и разные к Нему пути».* — Могка (или Мунке), великий хан Монгольской империи в 1251–1259 гг. Фламандец, францисканский миссионер Уильям из Рубрука (Виллем Ван Рейсбрук) описал свою встречу с ним в сочинении, впервые частично изданном в переводе на английский Ричардом Хаклюитом (Hakluyt) в 1598–1600 гг., полностью — Географическим обществом в Париже в «Сборнике воспоминаний о путешествиях» («Recueil de voyage et de memoires», 1893) и в английском переводе в Лондоне — в 1900 г.

*По некоторым сведениям, Сартак, сын Батыя, был православным.* — Сартак, сын Батыя, принял христианство и заведовал в Орде русскими делами. Из-за симпатий к христианству он, сразу после смерти отца в 1265 г., был отравлен дядей, братом Батыя, — Берке-ханом, опиравшимся на ордынских мусульман.

*«Лучший период в истории русской церкви, — пишет Бердяев, — был период татарского ига, когда она была духовно независима».* — См.: *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. Париж: YMCA-Press, 1955. С. 10.

*В «Руководстве для инквизиторов», составленном в 1376 году в Авиньоне доминиканцем Николау Эймерич, мы находим описание заблуждений татар...* — Эймерик Николай (Eymerich; *каталон.* Aymerich; ок. 1316–1399), монах ордена Св. Доминика; став главным инквизитором, составил «Руководство для инквизиторов» («Directorum inquisitorum», 1376).

С. 438. *Два века спустя, в Риме, в 1578 году доктор канонического права Франциско Пенья по заданию папы пересмотрел руководство, составленное Эймеричем, и дополнил описание обычаев и верований татар...* — В 1578 г. это сочинение было переиздано Франсиско Пенья (Peña) и посвящено папе Григорию XIII. В.С. Варшавский основывается на книге: Le Manuel des Inquisiteurs. Nicolau Eymerich. Francisco Peña. Paris: Mouton Editeur, 1973.

*Без ссылки на Достоевского тут не обойтись, он бессмертно об этом написал. У него Великий инквизитор говорит Христу: «Ибо если, кто всех более заслужил наш костер, то это Ты. Завтра сожгу Тебя».* — См.: *Достоевский Ф.М.* Братья Карамазовы // ПСС: в 30 т. Л.: Наука, 1974. Т. 14. С. 237 (ч. 2, кн. 5 «Pro et Contra», гл. V «Великий инквизитор»).

С. 439. *...выползень из хризолиды марксизма.* — Хризалида (*греч.* chrysalis, от chrysos — золото) — золотистого цвета куколка, из которой выходит бабочка См.: *Чудинов А.Н.* Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. СПб.: В.И. Губинский, 1910.

*По словам Владимира Соловьева: «Истины веры превратились в обязательные догматы...»* — Цит. реферат В.С. Соловьева «О упадке средневекового миросозерцания» (раздел IV), прочитанный на заседании Московского психологического общества 19 октября 1891 г. См.: *Соловьев В.* Собр. соч.: в 2 т. / сост., общ. ред. и вступ. ст. А.Ф. Лосева, А.В. Гулыги. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 346.

*Совсем как в «Братьях Карамазовых», когда Великий инквизитор говорит Христу о дарах «страшного и умного духа»: «Мы взяли от него то, что Ты с негодованием отверг...»* — См.: *Достоевский Ф.М.* Братья Карамазовы. С. 234.

*О герое своей поэмы Иван рассказывает: «На закате дней своих он убеждается, что лишь ответы великого страшного духа могли бы хоть сколько-нибудь устроить в сносном порядке малосильных бунтовщиков, “недоделанные пробные существа, созданные в насмешку”».* — См.: Там же. С. 238.

*Только Иннокентий III в своем труде «О презрении к миру» выражается еще страшнее. Он знает: человек — растленная грехом падаль, слабая, неустойчивая тварь.* — Иннокентий III (в миру Лотарио Конти, граф Сеньи; ок. 1161–1216), папа римский в 1198–1216 гг., автор трактата «О презрении к миру, или ничтожестве человеческой судьбы» (1195).

С. 439–440. *...другие слова, которые в своем бездонном ясновидении говорит Великий инквизитор Достоевского: «Но ищет человек преклониться перед тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред*

*ним преклонение. <...> Ты знал, Ты не мог не знать основную тайну природы человеческой».* — См.: *Достоевский Ф.М.* Братья Карамазовы. С. 231, 232.

С. 440. *...вспомните Франциска из Ассизи: «брат мой волк» и «брат мой огонь».* — Слова «брат мой волк» — из гл. XXI «О праведном чуде Святого Франциска, укротившего лютого волка в Агуббио» «Цветочков» св. Франциска Ассизского. «Брат мой огонь» — из его стихотворения «Гимн брату Солнцу» (1225).

*Объединение, основанное на такой любви и на «решении личном и свободном», никогда не приведет к «бесспорному и согласному муравейнику».* — Варшавский обыгрывает выражение «бесспорный и согласный муравейник» в «Легенде о Великом инквизиторе» в «Братьях Карамазовых» (*Достоевский Ф.М.* ПСС: в 30 т. Т. 14. С. 235). См. также: *Бердяев Н.А.* Великий инквизитор // Бердяев Н.А. Новое религиозное сознание и общественность. СПб.: Изд. М.В. Пирожкова, 1907. С. 15–32 (гл. «Третье искушение»).

С. 441. *В «Братьях Карамазовых» Алеша говорит Ивану: «Великий инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет!»* — См.: *Достоевский Ф.М.* Братья Карамазовы. С. 238.

*Инквизиция родилась в тот день, когда Доминик Гусман, святой Доминик, отчаясь обратить катаров в истинную веру добром, решил в своем разгневанном сердце, что их души нужно спасти от вечной гибели насильно. В Пруй, потеряв терпение, он сказал собравшейся толпе...* — Св. Доминик де Гусман Гарсес (Domingo de Guzmán Garcés; 1170–1221), монах, проповедник, основатель ордена доминиканцев, или проповедников (1216).

Катары, или альбигойцы (от названия города Альби — одного из важнейших их центров), — христианское религиозное движение в XI–XIV вв. в Западной Европе, прежде всего на юге Франции (Лангедок, Арагон) и севере Италии. Их религия основана на дуализме: мир — театр конфликта между непримиримыми началами — духовным началом Добра и материальным началом Зла; нужно порвать с материальным оскверненным миром Зла, созданным злым творцом — богом-узурпатором (Rex Mundi), быть бедным, целомудренным, отказаться от идеи «власти», чтобы воспринять идею Любви, тогда душа сможет достичь спасения и совершенства. Катары отрицали церковную иерархию и свод догматов римско-католической церкви. Христа они не считали сыном Божьим, а в лучшем случае его образом, самым совершенным из ангелов или пророком. Для борьбы с еретиками папа Иннокентий III учредил инквизицию и санкционировал крестовый поход, обернувшийся 20-летней войной, разорившей цветущие города Лангедока, еретики были изгнаны или казнены.

Пруй (Пруйль) — деревушка в Лангедоке, где св. Доминик основал в 1206 г. (или в нач. 1207) монастырь, центр доминиканского ордена и борьбы с катарской ересью.

*Фома Аквинат дошел до того, что облыжно уверял, будто Иоанн Златоуст требовал смертной казни для Ария.* — Фома Аквинский (1225–1274), философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики, учитель Церкви, основатель томизма.

Иоанн Златоуст (ок. 347–407), богослов, один из трех святителей христианской церкви, признан святым.

Арий (256–336), александрийский священник, один из ранних ересиархов, основоположник арианства — учения в христианстве IV–VI вв. Как и гностики, отрицал божественную сущность Христа, считал его не Богом, а первым и совершеннейшим из сотворенных Богом существ. После первого Никейского, признанного Вселенским, собора (Никея, ныне Изник, Турция, 325) был сослан в Иллирию с запретом возвращаться в Египет.

*Историки видят тут следствие возрождения при папах Иннокентии III и Григории IX римского права...* — Григорий IX (в миру Уголино деи Конти ди Сеньи; ок. 1145–1211), папа римский в 1227–1241 г., одобривший Северные крестовые походы Тевтонского ордена, а в 1232 г. передавший инквизицию в руки доминиканцев.

*...смертная казнь для еретиков была установлена при императоре Юстиниане, именем которого назван знаменитый кодекс.* — Юстиниан I, или Великий (483–565), византийский император (527–565). Кодекс Юстиниана — свод законов римского гражданского права, составленный в 529–534 гг.

*....рядом с «Цветочками» Франциска Ассизского...* — «Цветочки» Франциска Ассизского — собрание «чудес и благочестивых примеров» из жизни этого святого и его сподвижников, памятник итальянской литературы начала XIV в. Его своеобразие определено, в частности, тем, что Франциск преобразил назначение монашества, заменив монаха-отшельника монахом-миссионером, который, внутренне отрекшись от мира, остается в миру и призывает людей к миру и покаянию.

*...в XII веке монахи в аббатстве Клюни переводят Талмуд и Коран...* — В сентябре 909 г. герцог Аквитании Гильом Благочестивый основал на базе своей виллы Клюни бенедектинский монастырь свв. Петра и Павла, подчинявшийся не светским властям или местному епископу, а непосредственно папе. При настоятелях Гуго Клюнийском (1049–1109) и Петре Достопочтенном (1122–1157) монастырь достиг расцвета. Его библиотека была одной из самых больших в Европе.

С. 442. *Правда, в 1240 году... в Барселоне перед Яковом I Арагонским прения между христианами и евреями все-таки имели место.* — Хайме (Яков) I Завоеватель (1208–1276), король Арагона, граф Барселоны и т.д.; после того как он отвоевал Майорку у мусульман в 1229 г., еврейское население острова заметно увеличилось за счет переселенцев из Южной Франции и Северной Африки; в 1257 г. назначил своего секретаря-еврея верховным судьей евреев Арагона.

*Жуанвилль рассказывает, Людовик Святой разрешил спорить с евреями только самым ученым богословам...* — Жуанвилль Жан де (de Joinville; 1223–1317), французский средневековый историк, биограф Людовика IX, автор «Книги благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика», созданной между 1305 и 1309 гг.

*...во времена Каролингов.* — Речь идет о сменившей Меровингов династии Каролингов (751–987); после распада Франкской империи Каролинги правили в Италии — до 905 г., в Восточно-Франкском королевстве (Германия) — до 911 г. и в Западно-Франкском (Франция) — до 987 г. Названии династии происходит от Карла Великого (742–814), императора Запада с 800 г.

*Даже крещеных евреев и мусульман, маранов и морисков, подозревают теперь в тайной приверженности к вере отцов.* — Мараны (от *исп.* marranos) — в средневековых Испании и Португалии евреи, официально принявшие христианство (число их возросло в XIV–XV вв.). Мориски (*исп.* moriscos, от moro — мавр) — мусульмане, официально (обычно насильственно) принявшие христианство и в большинстве своем продолжавшие тайно исповедовать ислам. И те и другие причислялись к низкостатусному сословию новых христиан. В Арагоне морисков называли маврами, в Валенсии и Каталонии — сарацинами.

*...прогремел знаменитый клич, который приписывали то одному из вдохновителей похода аббату Арно-Амальрику, то самому папе: «Убивайте их всех, Бог распознает своих!» В июле 1209 года «крестоносцы», ворвавшись в славный град Безье, выполнили этот призыв буквально...* — Амальрик Арно (Amalric; Арно Амори, ино-

гда Арнольд Ситоский; ?–1225), верховный аббат цистерцианского монастыря Сито (расположен к югу от Дижона), папский легат с 1204 г.

Безье — город на юге Франции в провинции Лангедок, на реке Орб (в 16 км от Средиземного моря).

*Но еще за год до того Рим назначает Верховным судьей по делам немецких еретиков доминиканца Конрада из Марбурга.* — Конрад Марбургский (2-я пол. XII в. — 1233), немецкий инквизитор и проповедник крестовых походов. Выполняя возложенные на него Григорием IX функции церковного инспектора и инквизитора, свирепствовал на Рейне и в средней Германии, громя еретиков — катаров и вальденсов, а в Ольденбурге — штедингов (1232). Призванный к ответу на сейм в Майнц, где он получил выговор, на обратном пути был убит несколькими рыцарями близ Марбурга.

С. 443. *Альбигойская война... кончилась полным запустением прекрасного королевства Элеоноры Аквитанской...* — Алиенора (Элеонора) Аквитанская (ок. 1122–1204), герцогиня Аквитании и Гаскони (1137–1204), внучка первого трубадура Прованса Гильома IX Аквитанского, жена французского короля Людовика VII и королева Франции (1137–1152), одна из самых красивых, богатых и влиятельных женщин Европы Высокого Средневековья.

*...в Мадриде в последний раз зажгли костер аутодафе.* — Последнее аутодафе — церемония оглашения приговора инквизиции и исполнения его, т.е. сожжения еретика, — состоялось в Мексике в 1815 г. Инкивизиция просуществовала в Португалии до 1820 г., в Испании — до 1834 г.

*...принимая, как Протей, все новые обличия.* — Протей — морское божество, в древнегреческой мифологии сын Посейдона. Согласно Вергилию (Георгики IV, 387–14), мог принимать разные обличия.

*...Генерального инквизитора Испании Торквемаду.* — Торквемада Томас де (de Torquemada; 1420–1498), основатель испанской инквизиции, первый великий инквизитор Испании.

*По сравнению с гиммлерами и ежовыми...* — Гиммлер Генрих (Himmler; 1900–1945), главный эсэсовец Третьего рейха, рейхсфюрер СС (1929–1945), начальник Главного управления имперской безопасности (РСХА, 1942–1943), рейхсминистр внутренних дел Германии (1943–1945).

Ежов Николай Иванович (1895–1940), народный комиссар внутренних дел СССР (1936–1938), генеральный комиссар госбезопасности, главный исполнитель сталинских политических репрессий 1937–1938 гг. — стал их символом, а сам период получил название ежовщины.

*Французский историк Жан Делюмо в книге «Умирает ли христианство?»...* — Делюмо Жан (Delumeau; р. 1923), французский историк, специалист по истории католической церкви; упомянута его книга 1977 г.

*В Камбодже красные кхмеры только за два года убили пятую часть всех жителей.* — В апреле 1975 г. после пятилетней гражданской войны отряды красных кхмеров, военизированные структуры в коммунистической партии Камбоджи (Кампучии), взяли под свой контроль столицу страны — Пномпень. Под руководством генерального секретаря партии Пол Пота (наст. имя и фам. Салот Сар; 1925–1998) они стали воплощать в жизнь идею создания общества трудолюбивых крестьян. Началось принудительное переселение почти двухмиллионного населения столицы в особые трудовые лагеря в сельской местности. Та же участь постигла и население других городов; проводилась политика геноцида и против «национальных меньшинств» (китайцев, вьетнамцев и др.). Всего жертвами геноцида стали, по разным

данным, от двух до трех миллионов человек. Идеология кампучийских коммунистов представляла собой смесь марксизма, маоизма и антиколониализма.

С. 444. *...если к сожженным прибавить убитых во время всех варфоломеевских ночей, всех драгонад и религиозных войн, число жертв раздутого инквизицией фанатизма окажется не таким уж незначительным. В Германии в Тридцатилетнюю войну...* — Варфоломеевская ночь — массовая резня гугенотов во Франции, совершенная католиками в ночь на 25 августа 1572 г. в канун дня св. Варфоломея; по разным оценкам погибло от 5 до 30 тысяч человек.

Драгонады — жестокие военные экзекуции, устроенные Людовиком XIV (1638–1715) над французскими протестантами.

Тридцатилетняя война (1618–1648) — один из первых общеевропейских военных конфликтов, затронувший все европейские страны (кроме Швейцарии); началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками Германии, переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе.

*Американский историк, немец по происхождению, Петер Вирек считает, что национал-социализм вырос не только из обиды на несправедливость Версальского мира, но еще в большей мере из обиды на еще более несправедливый и унизительный для Германии Вестфальский мир 1648 года. Чтобы смыть эту обиду, Гитлер будто бы собирался в случае своей полной победы подписать всеобщий мир в Мюнстере.* — Вирек Питер (Viereck; 1916–2006), поэт, историк, политический мыслитель, лауреат Пулицеровской премии (1949), автор нашумевшей в свое время статьи «Но я — консерватор!» (The Atlantic Monthly. 1940. April. P. 538–543), написанной в полемике с собственным отцом, симпатизировавшим нацистам; книг «Пересмотренный консерватизм: бунт против идеологии» (1949), «Внутренняя свобода» (1957) и др.

Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну, был подписан 28 июня 1919 г. в Версале (Франция); он закрепил передел мира в пользу стран-победительниц. Германия возвращала Франции Эльзас-Лотарингию (в границах 1870 г.), Бельгии — округа Мальмеди и Эйпин, Польше — Позен (Познань), часть Померании (Поморье) и другие территории Западной Пруссии; Данциг (Гданьск) был объявлен «вольным городом», Мемельская (Клайпедская) область оказалась под управлением стран-победительниц (в феврале 1923 г. присоединена к Литве). В результате плебисцита часть Шлезвига перешла в 1920 г. Дании, часть Верхней Силезии в 1921 г. — Польше, округ Глючин (в Силезии) — Чехословакии; Саар на 15 лет перешел под управление Лиги Наций, а угольные шахты Саара стали собственностью Франции. Германия лишилась всех своих колоний, поделенных между победителями.

Вестфальский мир ознаменован двумя мирными соглашениями, подписанными в вестфальских городах Оснабрюкен и Мюнстер 15 мая и 24 октября 1648 г. Они завершили Тридцатилетнюю войну и положили начало новому порядку в Европе, основанному на идее государственного суверенитета. По этому договору Швеция получила Западную Померанию с портом Штеттин, часть Восточной Померании, право на Померанский залив с прибрежными городами, т.е. господство над Балтикой. Франция получила Эльзас (кроме Страсбурга) и опеку над рядом городов. Голландия и Швейцарский союз стали независимыми. Значительно расширил свои владения и влияние Бранденбург-Пруссия, усилились Бавария и Саксония, была закреплена раздробленность Германии. Вестфальский мир положил конец стремлению Габсбургов расширять свои владения за счет территорий и государств Западной Европы, подорвал мощь и авторитет Священной Римской империи.

*В 1873 году в статье «Об авторитете» он [Энгельс] пишет: «Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь...»* — См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1961. Т. 18. С. 305. Курсив В.С. Варшавского.

*Ленин совершенно справедливо указывал, что «Маркс ставит в образец германской демократии* якобинскую Францию 1793 года»... — См.: *Ленин В.И.* Русская революция и задачи пролетариата // ПСС: в 55 т. 5-е изд. М.: Политиздат, 1968. Т. 12. С. 211.

С. 445. *«Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым».* — См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Собр. соч. 2-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1960. Т. 23. С. 761.

*В марте 1850 года в знаменитом «Обращении Центрального комитета к союзу коммунистов» он [Маркс] утверждает: «Как* во Франции в 1793 году, *так и теперь в Германии проведение строжайшей централизации является задачей действительно революционной партии!»* — См.: Там же. 1956. Т. 7. С. 266.

*В 1890 году Энгельс в статье «Внешняя политика русского царизма» пишет, что, став на сторону царя, Франция в случае поражения была бы «лишена возможности прибегнуть к своему великому единственно действенному средству спасения, к* целебному средству 1793 года — *революции...»* — См.: Там же. 1962. Т. 22. С. 50.

*То же в письме к Зорге от 24 октября 1891 года: «Германия сумеет держаться лишь революционными мерами, почему мы, легко возможно, и будем вынуждены встать у кормила власти и разыграть 1793 год».* — См.: Там же. М.: Политиздат, 1965. Т. 38. С. 158.

*И так же, как Маркс и Энгельс, великий Ильич скорбит об ошибке Парижской коммуны 1871 года: «Излишнее великодушие пролетариата: надо было истреблять своих врагов, а он старался повлиять на них».* — См.: *Ленин В.И.* Уроки Коммуны // ПСС: в 55 т. 5-е изд. М.: Политиздат, 1973. Т. 16. С. 452.

*Вскочив на стол, гильотинета / Пропляшет танец гильотин.* — Источник установить не удалось.

С. 446. *Михаил Геллер напомнил недавно, что Илья Эренбург в «Необычайных похождениях Хулио Хуренито» посвятил целую главу кремлевскому коммунисту, назвав ее «Великий инквизитор вне легенды». Геллер пишет: «У Эренбурга Ленин — фанатик, верящий, что он ведет людей к счастью, убежденный, что если люди не хотят идти к счастью добровольно, надо их заставить быть счастливыми».* — Илья Григорьевич Эренбург (1891–1961), поэт, прозаик, переводчик, публицист, общественный деятель. В его романе «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» (Берлин: Геликон, 1922; сов. изд.: М.; Пг., 1923, с предисл. Н.И. Бухарина) в главе «Великий инквизитор вне легенды» Хулио Хуренито, философ-анархист, посещает в Кремле «капитана кремлевского корабля», мечтающего загнать людей в рай «железными бичами», целует его в «в высокий лоб». Свыше 30 лет (с 1928) роман не переиздавался, а из Собрания сочинений (в 9 т. М.: Худож. лит., 1962–1967) глава была исключена. Источник цитаты М.Я. Геллера (см. о нем коммент. к эссе «“Чевенгур” и “Новый Град”» [С. 628]) установить не удалось.

*Когда в Польше в октябре 1956 года наступила оттепель, польский писатель Ержи Андржиевский... пишет повесть «Тьма покрывает землю».* — Анджеевский Ежи (Andrzejewski; 1909–1983), польский писатель, диссидент, активный сторонник движения «Солидарность», автор известного романа «Пепел и алмаз» (1948). Историческая повесть «Мрак покроет землю» (1957) написана вскоре после смерти Сталина.

С. 447. *Солженицын: «Как средневековые заплечные мастера, наши следователи, прокуроры и судьи согласились видеть главное доказательство виновности в признании ее подследственным».* — См.: *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Опыт художественного исследования // Малое собр. соч.: в 7 т. М.: ИНКОМ НВ, 1991. Т. 5. С. 80 (ч. 1 «Тюремная промышленность», гл. 3 «Следствие»).

*Солженицын считает, что именно это привело к применению пыток. «Такая простая здесь связь: раз надо обвинить во что бы то ни стало — значит, неизбежны угрозы, насилия и пытки...»* — См.: Там же. С. 78.

*Вспомним «Капитанскую дочку»: «Пытка, в старину, так была укоренена в обычаях судопроизводства...»* — См.: *Пушкин А.С.* Капитанская дочка // ПСС: в 10 т. М.: Наука, 1964. Т. 5. С. 454.

С. 448. *Солженицын: «Если до 1938 года для применения пыток требовалось какое-то оформление, разрешение для каждого следственного дела, то в 1937–1938 годах... насилия и пытки были разрешены следователям неограниченно, на их усмотрение...»* — См.: *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ. С. 78–79.

*Солженицын: «Исключительность, которую теперь письменная и устная легенда приписывает 1937 году, видят в создании придуманных вин и пыток. Но это неверно, неточно... Ночные допросы были главными в 1921 году...»* — См.: Там же. С. 76, 78.

*...и в «Записи целовальной» Василия Шуйского...* — Василий IV Иоаннович Шуйский (1547–1612), царь Московский и всея Руси (19 мая 1606 — 17 июля 1610). Запись целовальная — письменный документ с присягой (целованием креста, иконы) об исполнении обязанностей или поручения.

С. 449. *«Наш Закон, — говорит Солженицын, — совершенно не помнит греха лжесвидетельства — он вообще его за преступление не считает...»* — См.: *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Опыт художественного исследования: в 3 т. М.: Советский писатель; Новый мир, 1990. Т. 3. С. 546 (ч. 7, гл. «Закон сегодня»).

*Героем коммунистической цивилизации становится Павлик Морозов.* — Павел Трофимович Морозов (1918–1932) во время коллективизации и борьбы с «кулаками» в селе Герасимовка Свердловской обл., согласно официальной версии, донес на собственного отца, прятавшего зерно, и был убит односельчанами-«кулаками». В 1987 г. в Лондоне писатель, журналист, диссидент Ю.И. Дружников издал роман «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова», в котором на основе опроса очевидцев, сопоставления официального мифа с документами утверждает, что Павлик вместе с братом был убит агентами ОГПУ, а миф о нем сфабрикован властью в пропагандистских целях.

С. 450. *Гревская площадь* — площадь в Париже, с XIV по XVIII в. место публичных казней, где сжигали, отрубали головы, четвертовали, а 25 апреля 1792 г. впервые использовали гильотину (вскоре она переехала на площадь Революции, ныне Согласия, где произошло большинство казней французской революции). После 1803 г. переименована в площадь Отель-де-Вилль — перед городской мэрией.

*«...То разве года два держалась на плечах большая голова».* — Цит. из стихотворения О.Э. Мандельштама «Париж» (1923).

*Камил Демулен...* — Демулен Камиль (Desmoulins; 1760–1794), французский журналист, единомышленник Ж. Дантона, казнен вместе с ним.

*В речи, произнесенной 4/17 июня 1917 года, Ленин говорит: «Историки пролетариата видят в якобинстве один из высших подъемов угнетенного класса в борьбе за освобождение...»* — См.: *Ленин В.И.* ПСС: в 55 т. 5-е изд. М.: Политиздат, 1969. Т. 32. С. 374.

С. 451. *...или, как в случае Бердяева, комплексом национальной неполноценности: «русский народ... может осуществлять или братство во Христе, или товарищество в антихристе».* — См.: *Бердяев Н.А.* Демократия, социализм и теократия // Бердяев Н.А. Новое средневековье: Размышление о судьбе России и Европы. Берлин: Обелиск, 1924. С. 142.

*...показательна напечатанная в прошлом году в сборнике «Самосознание» статья американского ученого-советолога Ричарда Пайпса. По поводу мер, принятых против террористов в конце царствования Александра II, он пишет: «Можно с уверенностью утверждать, что корни современного тоталитаризма следует искать скорее здесь, чем в идеях Руссо, Гегеля или Маркса...».* — О Р. Пайпсе см. коммент. к эссе «Родословная коммунизма» (С. 633).

«Самосознание» — сборник статей, изданных под ред. Павла Литвинова, Михаила Меерсона-Аксёнова, Бориса Шрагина (Нью-Йорк: Хроника, 1976). Это был отклик на сборник «Из-под глыб» (Paris: YMCA-Press, 1974) как свидетельство существования либерального направления в российской мысли, отстаивающего плюралистические, либерально-демократические ценности (в отличие от авторитарно-национальных, защищавшихся А. Солженицыным и его сторонниками). В сборнике, кроме упомянутых авторов, участвовали жившие в России Е. Барабанов, Г. Померанц, В. Турчин, Л. Копелев, Ю. Орлов. Какая статья Р. Пайпса имеется в виду, выяснить не удалось.

*...Токвиль первый сказал, что французская революция была своего рода религия, такая же вселенская по вдохновению, как ислам или христианство.* — Речь идет о книге Алексиса де Токвиля «Старый порядок и революция» (1856). Об А. де Токвиле см. коммент. к эссе «“У нас коммунизм будет другой”» (С. 613–614).

С. 452. *По выражению Раймона Арона, марксизм обещает приход на нашу землю «другого света».* — Источник цитаты установить не удалось. О Р. Ароне см. коммент. к эссе «О расизме» (С. 610).

## Монпарнасские разговоры

Впервые: Русская мысль. 1977. 21 апр. № 3148. С. 13. Подп.: В. Варшавский.

В основу эссе лег доклад «Русский Монпарнас», прочитанный В.С. Варшавским 23 января 1974 г. на заседании «Русского кружка» Женевского университета. Часть доклада, посвященная полемике с американскими славистами Семёном Карлинским и Энтони Олкоттом о творчестве Бориса Поплавского, не вошла в статью, но частично была использована в поздней редакции «Незамеченного поколения» (см.: *Незамеченное поколение, 2010.* С. 149–150). См. об этом: *Васильева М.А.* Борис Поплавский как визави Владимира Варшавского // Известия Уральского федерального ун-та. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2013. № 4. С. 265–279.

С. 452. *Память нечто очень личное, субъективное... вот отчего мемуары об одних и тех же людях, об одних и тех же событиях, так разнообразны и часто противоречивы.* — См.: *Шаховская З.* Отражения. Paris: YMCA-Press, 1975. С. 5.

Шаховская Зинаида Алексеевна (1906–2001), поэт, прозаик, эссеист, историк культуры, журналист, главный редактор газеты «Русская мысль» (1968–1978).

*Для многих* русский *Монпарнас — это вечера чтения стихов в кафе «Ля Болле» и собрания в таверне Дюмениль литературного объединения «Кочевье», созданного покойным М.Л. Слонимом.* — «Кочевье» (Париж, 1928–1938) — «свободное», по определению его организатора, писателя и критика Марка Львовича Слонима (1894–1976), литературное объединение. В кафе «Ла-Болле» прошло, в частности, семь, организованных Союзом молодых поэтов и писателей, вечеров чтения и разбора стихов. См.: Русское зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни: 1920–1940: Франция. Т. 1–4 / под общ. ред. Л.А. Мнухина. Париж: YMCA-Press; М.: Русский путь, 1994–1995.

*...не помню, бывал ли Яков Горбов.* — Горбов Яков Николаевич (1896–1982), русско-французский писатель. Окончил в Петербурге Николаевское военное училище. Участник Первой мировой войны. Был в Добровольческой армии. Эмигрировал из Крыма, в конце концов оказался во Франции, где окончил Высшую текстильную школу и Католический институт. Работал шофером. Писал по-французски. Опубликовал романы «Дороги ада» (1947), «Второе пришествие» (1951), «Мадам Софи» (1955) и др. В 1978–1982 гг. — муж И.В. Одоевцевой. Сотрудничал во французской периодике, в частности в журнале «Нувель литтерер» («Nouvelles littéraires»). На русском вышли его романы «Все отношения» (1964) и «Асунта» (1967). Роман «Мадам Софи» на русский перевела Одоевцева. Вместе с кн. С.С. Оболенским с 1960 г. был редактором журнала «Возрождение: Литературно-политический журнал» (Париж, 1949–1974)

*...на них приходили смотреть «кукины дети» со всего мира.* — Имеется в виду английская туристическая компания «Томас Кук» («Thomas Cook») и определение, производное от «Cooks travel».

*Тут воскресал, казалось, Двор Чудес...* — Двор чудес — в Средние века несколько парижских кварталов, заселенных нищими, бродягами, публичными женщинами, поэтами, монахами-расстригами.

С. 452–453. *Я не застал заседаний «Палаты поэтов», основанной Парнахом, Шаршуном и Гингером.* — «Палата поэтов» (Париж, 1921–1922) — литературно-художественное объединение, созданное поэтами А. Гингером, Г. Евангуловым, В. Парнахом, М. Струве, М. Таловым, С. Шаршуном.

Парнах Валентин Яковлевич (1891–1951), поэт, переводчик, музыкант, хореограф, пионер советского джаза. В 1915 г. выехал во Францию. Первые книги его стихов, вышедшие в Париже, — «Le quai» («Набережная», 1919), «Самум» (1919), «Словодвиг» («Mot dynamo», 1920) — иллюстрировали Н. Гончарова и М. Ларионов. Печатал статьи, переводы, эссе в периодике французского авангарда. В 1922 г. вернулся в Россию. Работал в театре В. Мейерхольда. Создал в Москве «Первый в РСФСР эксцентричный оркестр джаз-банд Валентина Парнаха». С конца 1925 по 1931 г. жил в Париже, затем в Москве.

О С. Шаршуне см. коммент. к «Ожиданию» (С. 558).

Гингер Александр Самсонович (1897–1965), поэт. В Париж приехал в 1921 г. Под «флагом» «Палаты поэтов» в Париже вышла первая книга его стихов «Свора верных» (1922), затем «Преданность» (1922). Гингер стал прототипом главного героя романа Б. Поплавского «Апполон Безобразов».

С. 453. *Приведу свидетельство Ходасевича: «За столиками Монпарнаса сидят люди, из которых многие днем не обедали, а вечером затрудняются спросить себе чашку кофе. На Монпарнасе порой сидят до утра, потому что ночевать негде».* —

См.: *Ходасевич В.* О смерти Поплавского // Возрождение. 1935. 17 окт. № 3788. С. 4. См. также: *Ходасевич В.* Собр. соч.: в 4 т. М.: Согласие, 1996. Т. 2. С. 365.

*...по словам Ходасевича, и «в недрах самой эмиграции молодая литература не обрела себе родины».* — См.: *Ходасевич В.* Литература в изгнании // Возрождение. 1933. 27 апр., 4 мая. См. также: *Ходасевич В.* Собр. соч. Т. 2. С. 264.

С. 454. *Так, в 1926 году Марк Слоним, в то время самодержавный редактор литературного отдела «Воли России», первый начал печатать молодых, до того совершенно не известных.*— «Воля России» уже начиная с 1925 г. стала публиковать коллективные подборки стихов молодых поэтов: «Скит поэтов» (1925. № 11. С. 51–58), «Парижские поэты» (1926. № 3, 6/7), «Пражские поэты» (1928. № 1. С. 21–39).

*...он поместил в нескольких номерах подряд стихи Поплавского.* — Стихи Поплавского начали появляться в «Воле России» с 1928 г., публиковались они не в нескольких номерах подряд, но, безусловно, часто (1928. № 2, 7; 1929. № 1, 3, 5/6, 10/11; 1930. № 3, 9). В общей сложности за три года в восьми подборках было напечатано 26 стихотворений, что могло считаться успехом для начинающего поэта в эмиграции.

*В 1930 году на собрании, устроенном журналом «Числа», П.Н. Милюков...* — Милюков Павел Николаевич (1859–1943), историк, публицист, мемуарист, член ЦК партии кадетов. В ноябре 1918 г. через Румынию (Яссы) уехал в Лондон, в 1920 г. стал редактором еженедельника «New Russia». С 1921 г. — в Париже, где в 1921–1940 гг. был редактором газеты «Последние новости». С 1922 г. — председатель парижского Союза русских писателей и журналистов.

12 декабря 1930 г. в Зале Дебюсси (Salle Debussy) состоялся организованный редакцией «Чисел» диспут на тему «Искусство и политика», в котором приняли участие З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, П.Н. Милюков, Г.П. Федотов, Г.В. Адамович. Вступительное слово произнес Н.А. Оцуп. Отчет о диспуте см: Политика и искусство: Вечер «Чисел» // Числа. 1930/31. № 4. С. 259–261.

*...слова Поплавского из романа «Домой с небес»: «Писатель... Да, в мечтах, в дневниках... Никто... Никого... Ничто... Никакого народа... Никакого социального происхождения... Политической партии, вероисповедания...»* — Варшавский приводит фрагмент с большими купюрами: *Поплавский Б.* Домой с небес // Круг. Берлин: Парабола, 1937. № 2. С. 52. Впервые три отрывка из романа «Домой с небес» появились в альманахе «Круг» (1936. № 1. С. 3–21; 1937. № 2. С. 3–55; 1938. № 3. С. 97–121).

*Когда после войны стали модными теории «антиромана», в одной из них я с удивлением узнал многое из того, что мы обсуждали в «Селекте»...* — Французский антироман, или «новый роман», — так называлось творчество французских писателей 1950-1960-х гг. (А. Роб-Грийе, Н. Саррот, М. Бютор и др.), признавших структуру традиционной прозы исчерпанной и отмежевавшихся от непосредственных предшественников — экзистенциалистов, а также романа XIX в. Предпочитали бесстрастное описание предметов («вещизм» Роб-Грийе), стихию подсознательного («подразговор» Саррот), отказ от целостных характеров.

*Статью Георгия Адамовича «Несостоявшаяся прогулка» можно назвать манифестом русского Монпарнаса.* — См.: Современные записки. 1935. № 59. С. 288–296.

С. 455. *Как на дне колодца, / самом дне...* — Из стихотворения Г. Иванова «В глубине, на самом дне сознанья...» из сборника «Розы» (1931).

*Поплавскому все казалось, что здесь, когда уже не останется в эмиграции никаких журналов и собраний, «в кафе, в поздний час, несколько погибших людей скажут настоящие слова».* — См.: *Поплавский Б.* О мистической атмосфере молодой литера-

туры в эмиграции // Числа. 1930. № 2/3. С. 309. См. также: *Поплавский Б.* Неизданное: Дневники, статьи, стихи, письма / сост. и коммент. А. Богословского, Е. Менегальдо. М.: Христианское изд-во, 1996. С. 257.

*Ультима Туле* (*лат.* Ultima Thule) — очень далекое, «крайний свет», призрачное царство.

*Николай Оцуп очень верно скажет о Поплавском: «царства монпарнасского царевич».* — Николай Авдеевич Оцуп (1894–1958) назвал так Б. Поплавского в своей поэме лирико-эпического жанра «Дневник в стихах 1935–1950» (1950).

*Приведу выдержку из его [Поплавского] дневников: «Долгие белые дни без храбрости, без счастья, без сил...»* — См.: *Поплавский Б.* Домой с небес // Круг. 1937. № 2. С. 18–19.

С. 456. *Со своим длинным, как у Данте на картине Рафаэля, подбородком...* — Имеется в виду изображение Данте на фресках Рафаэля Санти «Диспут» и «Парнас» (Станца делла Сеньятура, Ватикан, Рим; 1509–1511).

*...повторю о всех героях и антигероях русского Монпарнаса слова, сказанные о них Ходасевичем: «...будущий историк с любовью и удивлением преклонится перед подвигом тех, о ком я говорю...»* — См.: *Ходасевич В.* Подвиг // Возрождение. 1932. 5 мая. № 2529. С. 3.

## РЕЦЕНЗИИ

### М. Алданов «Ключ».
*Изд<ание> Кн-ва «Слово» и журн. «Современные записки». Берлин 1930*

Впервые: Числа. 1930. № 1. С. 231–232. Подп.: В. Варшавский.

Алданов Марк Александрович (наст. фам. Ландау; 1886–1957), прозаик, драматург, публицист. В 1919 г. выехал из Одессы через Константинополь. Обосновался в Париже, первое художественное произведение напечатал в 1921 г. в «Современных записках». Автор в основном исторических романов, переводившихся на иностранные языки. Один из немногих писателей, кто мог жить в эмиграции на свои гонорары.

Роман Алданова «Ключ» печатался в журнале «Современные записки» в 1928 (№ 35, 36), 1929 г. (№ 38–40), а в 1931-м вышел отдельным изданием в Берлине в издательстве «Слово».

С. 459. *«Ключ» посвящен началу нового большого замысла писателя.* — «Ключ» — начало трилогии (в издательстве «Слово» в 1932 г. вышел роман «Бегство», а 1934 г. — «Пещера») с детективной фабулой как фундаментом философской концепции. Это роман о жизни «узкого мирка» петербургского либерального общества в 1916–1918 гг. «Это умное, местами блестящее произведение значительно именно по тому глубокому сознанию всеобщей безнадежности и пустоты, которое в нем разлито» (*Слоним М.* Литературный дневник. «Ключ» Алданова // Воля России. 1930. № 1. С. 51–52).

...*«суета и затеи ветряныя».* — См.: Еккл. 2:11.

С. 460 ..*.Яценко... часто откладывал философские книги, предпочитая им «Смерть Ивана Ильича». Невольно вспоминается одна фраза из этой книги: «Но ведь то Кай, а то я».* — Яценко — следователь, который бьется над разгадкой убийства банкира Фишера. В.С. Варшавский перефразирует известный силлогизм из повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» (1886): «...Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен... И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу... — мне это другое дело» (*Толстой Л.Н.* Собр. соч.: в 14 т. М.: Худож. лит., 1952. Т. 10. С. 301 [нач. гл. 6]).

...*что-то общее с Анатолем Франсом.* — Франс Анатоль (France; 1844–1924), французский писатель, член Французской академии, лауреат Нобелевской премии (1921), пожертвованной голодающим России. Как и Алданов, любил жанр «исторического романа».

*Этот вопрос Андрэ Жид выражает словами: «Ce que c'est pourtant, que de vivre» (что же такое значит: жить).* — См. роман А. Жида «Топи» (кон. гл. «Юбер, или Охота на утку, 1895. Пятница»).

М. Алданов. Портреты.
*Изд-во «Слово» Берлин. 1930*

Впервые: Числа. 1931. № 5. С. 227–229. Подп.: Вл. Варшавский.

С. 460. ...*описания жизни нескольких замечательных людей «века нынешнего и минувшего»: Пилсудский, Бриан, Сперанский, Ольга Жеребцова, Кайо, Пишегрю.* — Пилсудский Юзеф (Pilsudski; 1867–1935), первый глава возрожденного, независимого польского государства, премьер-министр Польши (1926–1928, 1930), маршал, создал польскую армию.

Бриан Аристид (Briand; 1862–1932), неоднократно в 1909–1931 гг. премьер-министр Франции.

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839), государственный деятель времен Александра I и Николая I, основатель российского правоведения, реформатор, законотворец, воспитатель наследника-цесаревича — будущего Александра II.

Жеребцова Ольга Александровна (1766–1849), знаменитая красавица авантюрного склада, сестра братьев Зубовых, пособница заговора против Павла I.

Кайо Жозеф (Caillaux; 1863–1944), французский политик, несколько раз министр финансов, в 1911–1912 гг. — премьер-министр и министр внутренних дел.

Пишегрю Шарль (Pichegru; 1761–1804), французский военный и политик, в начале французской революции в 1791 г. президент Якобинского клуба в Безансоне, а в 1793 г. — уже дивизионный генерал, командующий рейнской армией. Наполеон считал его способнейшим из генералов Республики.

...*даже неизвестно, кто именно Гекуба.* — Гекуба — в «Илиаде» Гомера жена троянского царя Приама, мать Гектора, Париса, Кассандры, потерявшая почти всех детей в Троянской войне, в классической литературе (Еврипид, Данте, Шекспир) — олицетворение скорби и отчаяния.

С. 461. ...*невольно вспоминаешь слова Толстого: «Есть две стороны жизни в каждом человеке...»* — Цитата из «Войны и мира» Л.Н. Тостого (т. 3, ч. 1).

*Еще знаменитый Еллинек учил: «Действительность бесконечно многообразна и в многообразии своем непознаваема. Познание обусловливается точкой зрения, стилизующей действительность с определенной перспективы».* — Еллинек Георг (Jellinek; 1851–1911), немецкий государствовед, профессор университетов в Вене (с 1883), Базеле (с 1889), Гейдельберге (с 1891), автор книги «Общее учение о государстве» (1908) — видимо, на нее Варшавский и ссылается.

*...или он, подобно Протагору, считает, что этой сущности вообще нет, а если и есть, то она непознаваема...* — Протагор (ок. 490 — ок. 420 до н. э.), древнегреческий философ, виднейший из софистов. Обосновывал субъективную обусловленность знания, выдвинул тезис: «Человек — мера всех вещей, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют». В Афинах его обвиняли в атеизме.

*В одной статье Поплавский писал: «Как жить? — Погибать. Улыбаться, плакать, делать трагические жесты, проходить, улыбаясь, на огромной высоте, на огромной глубине, в страшной нищете».* — См.: *Поплавский Б.* О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции // Числа. 1930. № 2/3. С. 309. См. также: *Поплавский Б.* Неизданное: Дневники, статьи, стихи, письма / сост. и коммент. А. Богословского, Е. Менегальдо. М.: Христианское изд-во, 1996. С. 257.

*...Алданов с остроумием, слегка отдающим Кандидом...* — Кандид — простодушный персонаж философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759).

С. 462. *Теперь несколько слов по поводу формы. Никакой дамы, которой на самом деле не было и которая не шла по Невскому проспекту, в книге «Портреты» нету.* — Обыгрывается некая дама из повести Н.В. Гоголя «Невский проспект» в том плане, что никого и ничего не существующего в «Портретах» нет.

### Ант. Ладинский. «Черное и голубое».
*Из<д>-во «Современные записки». Париж, 1931*

Впервые: Новая газета. Двухнедельник литературы и искусства / ред. М.Л. Слоним. 1931. 1 марта. С. 5. Подп.: В. В-ий.

Ладинский Антонин Петрович (1896–1961), поэт и прозаик. Во время Гражданской войны воевал у белых. После эвакуации армии Врангеля в 1920 г. жил в Египте, потом — в Париже. Печатать стихи в эмигрантских журналах начал с 1926 г. Принадлежал к поэтам русского Монпарнаса, арбитрами которого были Г. Адамович и Г. Иванов. В.С. Варшавский рецензирует первую книгу его стихов. Обретя в ней голос, со временем Ладинский мало менялся как поэт. В 1950 г. издал в Париже пятую (и последнюю) книгу стихов «Роза и чума». В 1946 г. принял советское гражданство, в марте 1955 г. вернулся в СССР. Известность ему принесли исторические романы.

Варшавский цитирует следующие стихи из рецензируемого сборника: «Элегия вторая», «Крестоносцы», «Мы смотрим рыбьми глазами», «Муза», «Элегия», «Щелкунчик».

### Николай Рощин. «Журавли». Рассказы.
*Белград, 1931*

Впервые: Новая газета. Двухнедельник литературы и искусства / ред. М.Л. Слоним. 1931. 15 марта. С. 8. Подп.: В. В-ий.

Рощин Николай (наст. имя и фам. Николай Яковлевич Фёдоров; 1896–1956), прозаик и журналист. Участник Первой мировой войны. В июле 1918 г. вступил в армию А.И. Деникина, в 1919 г. был ранен и с госпиталем эвакуирован в Югославию. В 1924 г. переехал в Париж. В 1925 г. стал литературным сотрудником газеты «Возрождение». С 1925 г. ежегодно по нескольку месяцев жил на вилле «Бельведер» (Грас) у Буниных. С 1942 г. участник французского Сопротивления, с 1944-го — член Французской компартии и Союза русских патриотов (затем Союза советских патриотов). После войны один из лидеров движения советских патриотов. В июне 1946 г. принял советское гражданство, в начале декабря вернулся в Москву.

С. 464. *...вызывающих смутное воспоминание о Spleen de Paris, о Пиранделло...* — «Spleen de Paris» — «Парижский сплин, или Маленькие стихотворения в прозе» (1860) Шарля Бодлера.

Пиранделло Луиджи (Pirandello; 1821–1867), итальянский новеллист, драматург и романист.

*Самобытное нравственное отношение автора к предмету, по мнению Толстого, являющееся единственным цементом, связывающим художественное произведение..* — Мнение, высказанное Л.Н. Толстым в эссе «Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана» (1893–1894) (см.: *Толстой Л.Н.* ПСС: в 90 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1951. Т. 30. С. 18).

*...все это уже читал у Бориса Лазаревского...* — Лазаревский Борис Александрович (1871–1936), журналист, мемуарист, плодовитый писатель, подражавший А.П. Чехову. С 1920 г. — в эмиграции, сначала в Берлине и Праге, с 1923 г. — в Париже.

### Тайны тюрем

Впервые: Новая газета. Двухнедельник литературы и искусства / ред. М.Л. Слоним. 1931. 15 марта. С. 10 (на странице «Новости иностранной литературы»). Подп.: В. Норов.

Книга Робера Ловеля «Осужденные. Тюремные тайны» вышла в 1930 г. в Париже (Paris: Éditions de Portiques).

С. 465. *...с возложением на Квазимодо обязательства чихать им в качестве сигнала тревоги, когда любовники будут обмануты Эсмеральдой...* — Квазимодо, Эсмеральда — персонажи романа Виктора Гюго (Hugo; 1802–1885) «Собор Парижской Богоматери» (1831).

*...отправляемые в Гвиану преступники...* — Гвиана, или Французская Гвиана, — регион на северо-востоке Южной Америки, главный город Кайенна. С начала XVII в., т.е. со времен первых переселенцев, в Гвиане шла борьба за власть между французами, голландцами и британцами. В 1817 г. в ней окончательно утвердилась Франция. С 1852 г. страна по правительственному указу стала местом ссылки «политически неугодных». Первыми ссыльными были участники революции 1848 г. С 1852 по 1939 г. было сослано около 70 тысяч человек. Местом ссылки Французская Гвиана перестала быть лишь после Второй мировой войны. С марта 1946 г. она стала заморским департаментом Франции.

С. 466. *В Сант-Мартэн-де-Ре сгружают с парохода тяжело больных...* — Речь идет об Атлантическом побережье Франции на острове Ре в регионе Пуату-Шаранта.

### Сергей фон Штейн. Пушкин мистик. *Рига, 1931*

Впервые: Новая газета. Двухнедельник литературы и искусства / ред. М.Л. Слоним. 1931. 15 апр. С. 5. Подп.: В. В-ий.

Штейн Сергей Владимирович фон (1882–1955), дворянин, поэт, переводчик, историк литературы. Доцент Петербургского университета. Сотрудничал в журнале «Аполлон». Был знаком с Н.С. Гумилевым, переписывался с ним, был мужем И.А. Горенко, старшей сестры А.А. Ахматовой, дружил с молодой Ахматовой (сохранилось десять ее писем к нему.

С. 466. ...*«Ложу Овидия»...* — Кишиневская ложа «Овидий» была учреждена под эгидой Великой Петербургской Ложи «Астрея» как полевая офицерская ложа, но, видимо, все-таки не была официально инсталлирована ложей-матерью и в 1821 г. прекратила существование. В списках нет имени А.С. Пушкина; ее собрания, на которых он бывал, видимо, не были законными и ритуальными.

### Д.Г. Лоренс «Любовник лэди Четтерлей»

Впервые: Числа. 1932. № 6. С. 259–262. Подп.: В. В-ий.

Английский романист, поэт, эссеист Дэвид Герберт Лоуренс (Lawrence; 1885–1930), в зрелые годы живший в основном за пределами Британии (в Италии, Мексике, Австралии), был радикальным критиком современной цивилизации, обращался к «чувству крови», «физическому зову», «темным богам», т.е. к подсознательному, инстинктивному, интуитивному. Стремился к возрождению изначального единства человека с природой, к примирению души и тела, установлению гармонии между мужчиной и женщиной. Его роман «Любовник леди Чаттерли» с купюрами (по соображениям морали) был издан 1928 г. во Флоренции и в 1932 г. в Лондоне, в полном виде — в 1929 г. — в Париже. В Великобритании его напечатали целиком лишь в 1960 г., причем издателей («Пингвин» — «Penguin») привлекли к суду (20 октября — 2 ноября 1960), хотя потом оправдали и разрешили продажу книги. На этом процессе впервые защите позволили пригласить свидетелей, способных по достоинству — эстетически — оценить книгу.

С. 470. *Есть, мне кажется, в этой книге и какое-то продолжение идей «Эмиля» и «Казаков».* — Имеются в виду «Эмиль, или О воспитании» (1762) Ж.-Ж. Руссо и «Казаки. Кавказская повесть» (1852) Л.Н. Толстого.

*...механическая цивилизация может умертвить человека и превратить его в механического робота (слово, впервые употребленное Чапеком в его знаменитой книге R.U.R.)...* — Речь идет о научно-фантастической пьесе чешского прозаика и драматурга Карела Чапека (Čapek; 1890–1938) «R.U.R.» (сокр. от *чеш.* «Rossumovi univerzálni roboti» — «Россумские универсальные роботы»), написанной в 1920 г.

Сергей Горный. «Ранней весной».
*Изд<-во> «Парабола». Берлин, 1932 г.*

Впервые: Числа. 1933. № 7/8. С. 265–266. Подп.: В. Варшавский.

Сергей Горный — псевдоним Александра Авдеевича Оцупа (1882–1949), старшего брата Николая и Георгия Оцупов (псевдоним последнего Г. Раевский). В 1919 г. эмигрировал из России. С 1922 г. жил в Берлине, где в 1932 г. в издательстве «Парабола» вышел сборник его рассказов «Ранней весной».

С. 471. *...трудно подобрать лучший эпиграф, чем эти начальные слова одного из помещенных в ней [книге С. Горного] рассказов.* — Рассказ «Как во сне» (С. 202).

*Иван Ильич, умирая в страшных мучениях...* — Персонаж повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича».

*...трагические слова Анненского: «Подумай, на руках у матерей все это были розовые дети».* — Из стихотворения И.Ф. Анненского (1855–1912) «Июль» (1900), цикл «Тихие песни».

*...как бодлеровский ангел терзал атеиста.* — См. коммент. к «Ожиданию» (С. 581).

*...и в писаниях о детстве Осоргина...* — Видимо, имеются в виду «Вещи человека» (Париж, 1929) и «Повесть о сестре» (Париж, 1931) Михаила Андреевича Осоргина (наст. фам. Ильин; 1878–1942).

С. 472. *Например, конец одного рассказа [в сборнике С. Горного]: «На военном кладбище, за горным институтом штабс-капитан Евгений Прохоровский похоронен. Все».* — Имеется в виду открывающий сборник рассказ «Ранней весной». Фамилия персонажа в рассказе не Прохоровский, а Григоровский.

В. Сирин. Подвиг.
*Изд<-во> «Соврем<енные> зап<иски>» 1932*

Впервые: Числа. 1933. № 7/8. С. 266–267. Подп.: В. Варшавский.

Роман Владимира Сирина (Набокова) «Подвиг» вышел в 1932 г. в парижском издательстве «Современные записки».

В.С. Яновский в «Полях Елисейских» (1983) так описывает историю этой рецензии: «Влияние Г. Иванова на молодых поэтов объяснялось не только его стихами. Тут роль играл шарм и ловкость его литературной кухни. <...> Лаской и таской он упорно добивался своего. Так, Варшавский, заслуживший репутацию “честного” писателя, по требованию Иванова пишет ругательную статью о Сирине (Набокове) в “Числах”. (“И зачем я это сделал? — наивно сокрушался он двадцать лет спустя, в беседе со мною. — Не понимаю”.)» (*Яновский В.* С. 120).

С. 473. *По-видимому, в древности литература была близка к мифологии, соприкасалась с тем, что Бергсон назвал «статической религией».* — См. коммент. к эссе «Уроки Нюрнбергского процесса» (С. 623).

*Пруст говорил, что обыкновенно любят тех писателей, в которых узнают самого себя.* — Источник установить не удалось.

Мариенгоф. Бритый человек.
*Изд<-во> «Петрополис», Берлин, 1932*

Впервые: Числа. 1933. № 7/8. С. 273–274. Подп.: В. В-ий.

Мариенгоф Анатолий Борисович (1897–1962), поэт, прозаик, теоретик имажинизма, считавший самым важным в поэзии образ как самоцель; автор поэтических сборников «Витрина сердца» (1918), «Стихами чванствую» (1920), «Развратничаю с вдохновением» (1920), книги воспоминаний «Роман без вранья» — о поэтах-имажинистах и прежде всего о дружбе с Есениным. В 1924–1925 гг. Мариенгоф работал заведующим сценарным отделом Пролеткино, написал около десяти киносценариев. С середины 1930-х почти перестал печататься, его пьесы («Заговор дураков», 1932, и др.) сняты с постановок.

В 1928 г. в берлинском издательстве «Петрополис» вышел роман «Циники» (в СССР издан только в 1988-м). Публикация «Циников», как и романа «Бритый человек», вышедшего в том же издательстве в 1930 г., принесла Мариенгофу много неприятностей в СССР, началась настоящая травля. В результате 1 ноября 1929 г. он передал письмо в правление Московского отделения Всероссийского союза советских писателей, где признал, что «появление за рубежом произведения, не разрешенного в СССР, недопустимо».

С. 474. ...*«попутчики» больше занимались стилистическим орнаментом*... — Попутчик — политический жаргон, определение человека, сочувствующего партии, но формально не являющегося ее членом.

...*писал Монтэнь.* — См.: *Монтень М.* Опыты: в 3 кн. М.: Терра, 1991. Кн. 1. С. 274–275.

...*повести Алексея Толстого «Рукопись, найденная средц мусора под кроватью».* — Рассказ А.Н. Толстого «Рукопись, найденная среди мусора под кроватью» был опубликован в сборнике «Петроград» (1923. № 2).

С. 475. ...*к Эренбургу*... — Об И.Г. Эренбурге см. коммент. к эссе «Татарское иго и Великий инквизитор» (С. 647).

М. Алданов. Земли, люди.
*Изд<-во> «Слово». Берлин. 1932*

Впервые: Числа. 1933. № 7/8. С. 282–284. Подп.: В. В-ий.

С. 476. *Рассказывая об импровизациях диктатуры Альфонса XIII*... — Альфонс XIII (1886–1941), король Испании (1886–1931). Его крупнейшая ошибка — признание в 1923–1929 гг. диктатуры (1923–1930) Примо Риверы, основателя «Испанской фаланги», крайне правой политической партии, ставшей правящей при Франко. Был изгнан из страны революцией 1931 г.

*Ферней* — когда-то деревушка во французском департаменте Эн, принадлежавшая в XIII в. фамилии Фернеев. В 1759 г. племянница Вольтера мадам Денни купила Ферней для него. Отсюда название ныне городка Ферней-Вольтер, на границе с Швейцарией, где последние годы жизни жил и В.С. Варшавский.

*...знак Устрика...* — Вероятно, имеется в виду французский финансист Альберт Устрик (Oustric; 1887–1971), основатель и владелец банка, специализировавшегося на биржевых спекуляциях. Банкротство этого банка в 1929 г. дало импульс политическому скандалу, повлекшему за собой отставку правительства Франции.

*Лига Наций* — первая всемирная организация, целью которой было сохрание мира и международное сотрудничество. Официально основана 10 января 1920 г., хотя фактически создана в 1919-м. Прекратила существование в 1946 г. с образованием ООН.

*...«и будет бедствие на тебе, от которого ты не отмолишься, и постигнет тебя несчастье, от которого ты не откупишься, и внезапно придет на тебя гибель, которой ты не предвидела».* — См.: Тора. 47:11.

С. 477. *...«души людей уходят от капиталистического строя».* — В.С. Варшавский, скорее всего, перефразирует высказывание Ильи Бунакова (И.И. Фондаминского) «Когда душа народа уходит от строя, строй обречен» из статьи «Два кризиса» (Новый Град. 1932. № 2. С. 29).

*...«я издали глядел — смущением томим».* — Завершающая строка из стихотворения А.С. Пушкина «И дале мы пошли — и страх обнял меня...» (1832).

*«Современники»* — книга М.А. Алданова, вышедшая в издательстве «Слово» в Берлине в 1928 г.

*Рассказывая о Плаза Майор...* — Plaza Mayor (*исп.*), т.е. «главная площадь», — одна из центральных площадей Мадрида.

### Леонид Зуров. Поле.
*Изд<ание> «Парижского объединения писателей». 1938*

Впервые: Современные записки. 1938. № 66. С. 453–454. Подп.: В. Варшавский.

Повесть Леонида Федоровича Зурова (1902–1971), прозаика, принадлежавшего, по определению Г. Струве, к «бунинской» школе, — вышла в 1938 г. в издательстве «Парижское объединение писателей». Основываясь на традициях почвенничества, Зуров создает панораму «страшных лет России» (романы «Древний путь», 1934; незаконченный «Зимний дворец»; повесть «Поле», 1938, и др.) — это его главная тема, в отличие от его молодых парижских собратьев по перу.

### «Дневник безработного интеллигента»

Впервые: Новый Град. 1938. № 13. С. 179–183. Подп.: В. Варшавский.

Швейцарский писатель Дени де Ружмон (de Rougemont; 1906–1985), философ-эссеист (писал на французском языке), политический мыслитель, идеолог концепции Европы регионов, автор книги «Политика личности» (Rougemont D. de Politique de la personne. Paris: Grasset, 1934). В.С. Варшавский приводит в рецензии цитаты из изд.: *Rougemont D. de.* Journal d'un intellectuel en chômage. Paris: Albin Michel, 1937.

С. 480. *...«что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих».* — См.: Рим. 8:21.

С. 481. ...*«довлеет дневи злоба его»*... — Цитата из церковнославянского текста Евангелия (Мф. 6:34).

*«Где люди, могущие спасти край от полного умирания, к которому его привели ставленники Бюиссона...»* — Бюиссон Фердинанд-Эдуард (Buisson; 1841–1932), французский государственный и общественный деятель, педагог, радикальный гуманист, автор работы «Либеральное христианство» (1865), где он предлагал заменить «организованную» религию кодексом личной морали.

С. 482. ...*рассуждение персоналиста.* — Персонализм — экзистенциально-теистическое направление в философии, признающее личность высшей духовной реальностью и главным источником творчества, а весь мир — проявлением творческой активности верховной личности — Бога.

*Солидаризм* — политическая теория о необходимости солидарности и компромисса, социального сотрудничества и доверия между разными слоями общества, в том числе между классами, партиями, — на взаимовыгодных условиях.

...*в кафе у порт д'Итали*... — Porte d'Italie — квартал (а ныне станция метро) на западе Парижа, в 13-м округе.

### «Третья Россия»
*(«Орган осуществления нового синтеза») № 8*

Впервые: Новый Град. 1938. № 13. С. 175–178 [О журнале П.С. Боранецкого]. Подп.: В. Варшавский.

Боранецкий Петр Степанович (ок. 1900 — не ранее 1965), философ, публицист. Участник Гражданской войны. Окончил социально-экономический факультет Новороссийского университета. В 1930 г. нелегально эмигрировал из СССР. Жил в Румынии, Чехословакии, затем в Париже. Был близок к евразийскому движению, идеолог течения «пореволюционный синтез». Входил в группу «Объединение пореволюционных течений». В общественно-политической мысли русской эмиграции понятие «пореволюционность» означало принципиальное отрицание возможности и даже нужности реставрации дореволюционной России, признание закономерности и национальной природы Октябрьской революции, движение к новой России не путем отрицания советской действительности, а путем ее творческого преображения. Составляющие идеологии «пореволюционеров» — принятие революции, патриотизм, универсализм в духе вселенских идей раннего славянофильства, примат духовного над материальным, идея духовно-культурной миссии России, отход от капитализма, создание справедливого общества. Член редколлегии журнала «Утверждения» (1931–1932). Редактор и издатель журнала «Третья Россия» (1932–1939). Возглавлял группу «народников-мессианистов». Соредактор парижской газеты «Свершения» (1934). Сотрудничал с парижской группой «Крестьянская Россия» (1934), Социально-философским объединением (1937). В 1947 г. — член редколлегии газеты «Советский патриот», член Союза советских патриотов. В конце 1940-х — начале 1960-х гг. автор книг философской тематики, в их числе вышедшие в Париже «Философия техники» (1947), «О достоинстве человека» (1950), «О самом важном» (1956), «Социальный идеал» (1965) и др. См. о нем: *Алексеев П.В.* Философы России XIX–XX столетий. (Биографии, идеи, труды). 4-е изд. М.: Академический проект, 2002; *Гачева А.Г.* Идея «Третьей России» и пореволюционные течения русской эми-

грации // В поисках новой идеологии: Социокультурные аспекты русского литературного процесса 1920–1930-х годов / отв. ред. О.А. Казнина. М.: ИМЛИ РАН, 2010, С. 375–422. *Ехина Н.А.* Молодая эмиграция в поисках новой России: П.С. Боранецкий и евразийство // *Ежегодник ДРЗ, 2013.* С. 198–208.

С. 483. *...во всем облике Боранецкого чудилось что-то от Кириллова и Шатова...* — К.А. Чхеидзе в письме к Н.А. Сетницкому от 28 февраля 1932 г. писал: «Он вроде Шатова из "Бесов", но еще черноземнее» (см.: Из истории философско-эстетической мысли 1920–1930-х годов. М.: ИМЛИ РАН, 2003. Вып. 1. С. 390).

*Его слушали с тем чувством, о котором писал в «Числах» Георгий Иванов: «Он стоит сейчас на эстраде эмигрантского диспута, но десятки, сотни тысяч, миллионы, может быть, таких, как он, стоят на великой русской земле...»* — См.: *Иванов Г.* О новых русских людях // Числа. 1933. № 7/8. С. 192.

*Пользуюсь характеристикой, данной таким внимательным наблюдателем русской жизни, как Г. Федотов: «Народ выделяет из себя молодую, огромную по численности интеллигенцию...»* — См.: *Федотов Г.П.* Тяжба о России // Современные записки. 1936. № 2. С. 362–363.

*...стать «разумным и великим»...* — Цитата из стихотворения Н.А. Некрасова «Школьник» (1856).

*...«мораль господства, но господства не над себе подобными, а над окружающим миром — Природой и Историей, над своим положением и своей судьбой».* — Здесь и далее цитируются статьи П.С. Боранецкого, в основном вошедшие впоследствии в его книгу «Философия техники: Техника и новое созерцание» (Париж, 1947).

С. 485. *...стремление «строить на христианстве», формулированное когда-то Ю. Ширинским-Шихматовым как «сознание долга универсального осуществления христианской правды в жизни личной, общественной, государственной и всечеловеческой»...* — Ширинский-Шихматов Юрий (Георгий) Алексеевич (1890–1942), публицист, юрист, участник Первой мировой войны и Белого движения. В эмиграции — с начала 1920-х гг., жил в Париже, был шофером такси. «Первый проповедник национал-большевизма» (В. Варшавский), или «национал-максимализма», верил в мессианское призвание России, издатель журнала «Утверждения» (1931–1932), один из руководителей Объединения пореволюционных течений, организатор парижского Пореволюционного клуба. Арестован нацистами в 1941 г., погиб в концлагере. См. о нем: *Незамеченное поколение, 2010.* С. 45–47.

С. 486. *...основано на том, распространенном и среди самих христиан, «шопенгауэровском» понимании христианства, которое, действительно, в наиболее решающем моменте, сводит его к буддизму и индусскому сознанию бессилия, суетности и напрасности человеческого действия и отказу от жизненной воли.* — Артур Шопенгауэр ценил христианство, но считал его эклектичным. Более того, он полагал, что оно произошло не из иудаизма, а из буддизма и индуизма.

*...по словам Бергсона, две стороны звезды христианского идеала стали восприниматься людьми как две противоположные, исключающие друг друга тенденции.* — По Бергсону, христианство — «смешанная» религия, которая в наибольшей мере воплощает мистические динамические черты, но и сохраняет в себе элементы религии статической — мифотворчество, магию.

*...«под покрывалом Майи»...* — См. коммент. к эссе «Рамакришна и его ученик Вивекананда» (С. 601).

### С.П. Жаба. Русские мыслители о России и человечестве. *Издание YMCA-Press. Париж, 1955. 286 с.*

Впервые: Новый журнал. 1956. № 44. С. 296–298. Подп.: В. Варшавский.

Жаба́ Сергей Павлович (1894–1982), журналист, публицист, сотрудник «Русской мысли», покинул Россию в 1922 г. Составить антологию русской общественной мысли для английского издательства «Харвилл-пресс» («Harvill Press») попросил его Н.А. Бердяев, который должен был написать вступительную статью, но смерть (в 1948 г.) помешала ему осуществить этот замысел. Книга вышла без участия Бердяева — на русском языке.

С. 487. ...*С.А. Коновалов попросил Н.А. Бердяева дать антологию русской общественной мысли...* — Коновалов Сергей Александрович (1899–1982), экономист, историк литературы, сын министра Временного правительства А.И. Коновалова, миллионера и либерала, в эмиграции жившего в Париже; окончил в 1922 г. Оксфордский университет и в 1929 г., уже в звании профессора, возглавил русскую кафедру в Оксфорде. Один из основателей, редактор и постоянный автор журнала «Оксфорд Славоник Пейперс» («Oxford Slavonic Papers»), где печатались Н.М. Бахтин, Р.О. Якобсон, Б.Г. Унбегаун, а позднее и советские ученые — П.Р. Берков, Н.К. Гудзий, М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, К.И. Чуковский, Д.С. Лихачев. См. подробнее о С.А. Коновалове: *Казнина О.* Русские в Англии. М.: ИМЛИ РАН, 1997. С. 179–185.

С. 488. *Отсутствуют Сковорода... кн. Одоевский... и еще столько других.* — Сковорода Григорий Савич (1722–1794), украинский и русский философ, поэт, педагог, считается родоначальником русской религиозной философии, двоюродный прадед русского философа В.С. Соловьева.

Одоевский Владимир Федорович (1803–1869), князь, писатель, философ, музыковед.

...*среди цитат из Михайловского не приведено его знаменитое, столь важное для нас теперь утверждение, что «личность никогда не должна быть принесена в жертву, она свята и неприкосновенна, и все усилия нашего ума должны быть направлены на то, чтобы самым тщательным образом следить за ее судьбами и* становиться на ту сторону, где она может восторжествовать». — См.: *Михайловский Н.К.* Письма о правде и неправде // ПСС. 4-е изд. СПб.: Изд. Н.Н. Михайловского, 1909. Т. 4. С. 451.

### Г.П. Федотов — певец свободы и Нового Града

Впервые: Новое русское слово. 1958. 12 янв. № 16269. С. 2. Подп.: В. Варшавский.

С. 489. ...*под редакцией Ю.П. Иваска.* — Иваск Юрий (Георгий) Павлович (1907–1986), поэт, литературный критик. В 1920 г. с родителями уехал из Москвы в Эстонию (Коппель близ Таллинна), окончил юридический факультет Тартуского университета (1932), в 1933–1935 гг. участвовал в таллиннском «Цехе поэтов». В 1944 г. перебрался в Гамбург. С 1949 г. — в США. Составил антологию «На Западе» (1953). В 1969–1977 гг. — профессор Университета штата Массачусетс в Амхерсте. Был в дружеских отношениях с В.С. Варшавским, сохранились его письма.

С. 489. *...сборника его статей «Христианин в революции»...* — См.: *Федотов Г.П.* Христианин в революции. Сб. статей. Париж: [Б.и.], 1957. Посвящен памяти погибших монахини Марии, Александра Мейера, Ильи Фондаминского (на титуле).

*...Альбер Камю заявил: «Человек, написавший это, знал, что в будущем наша цивилизация потребует спасения для всех! <...> ...Достоевский был прав».* — Фрагмент из эссе Альбера Камю «За Достоевского», написанного для «Радио Европы» и включенного в программу о жизни и творчестве Достоевского (1955); опубликовано в журнале «Темуан» (Témoins. Déc. 1957 — Janv. 1958. № 18–19).

*Ф.А. Степун, мне кажется, совершенно правильно отметил, что среди наиболее значительных русских людей, пришедших к религии от марксизма, Федотов больше всех сохранил верность своему социалистическому прошлому.* — См.: *Степун Ф.А.* Георгий Федотов // Новый журнал. 1957. № 49. С. 222–242.

*Указывал на это и Ю.П. Иваск.* — См.: *Иваск Ю.* Введение // Федотов Г.П. Новый Град. Сб. ст. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1952. С. 5. Иваск пишет о том, что название «Новый Град» «символично для всего его [Федотова] творчества».

*В своей статье «Трагедия русской интеллигенции» именно народникам Федотов посвятил незабываемые и волнующие слова: «...читая их изумительное житие, подвиг отречения от всех земных радостей...»* — См.: *Федотов Г.П.* Новый Град. С. 42.

С. 490. *В помещенной в сборнике статье «Что такое социализм», написанной в 1932 году, он противопоставляет марксизму «социализм конструктивный»...* — См.: *Федотов Г.П.* Христианин в революции. С. 54. Статья впервые опубликована в журнале «Новый Град» (1932. № 2. С. 53–67).

*В другой статье, приведенной в сборнике, «Церковь и социальная правда», указывая на христианское происхождение раннего социализма, Федотов пишет: «...Маркс нашел готовым социалистический идеал и его этическое обоснование...»* — См.: Там же. С. 98, 99–100.

*Он [Федотов] писал: «Царство Божие не приходит вне зависимости от человеческих усилий, подвига, борьбы...»* — См.: *Федотов Г.П.* Эсхатология и культура // Новый Град. 1938. № 13. С. 46.

С. 491. *«Против фашизма и коммунизма мы защищаем вечную правду личности и ее свободы, — писал Федотов...»* — См.: От редакции. «Новый Град» // Новый Град. 1931. № 1. С. 6.

*...«Основы христианской демократии», напечатанная в свое время в «Новом Граде».* — Впервые эта статья Федотова напечатана в «Новом Граде» в 1934 г. (№ 9).

*Он пишет: «Все социальные элементы христианства завещаны ему не эллинизмом, а иудаизмом. <...> ...Израиль, живой народ, возлюбленный Божий...»* — См.: *Федотов Г.П.* Христианин в революции. С. 129, 131.

*Ставя далее вопрос: «Кто же является носителем харизмы власти?» — Федотов отвечает: «И весь народ (Израиль), и каждый гражданин...»* — См.: Там же. С. 133.

С. 491–492. *В другой помещенной в сборнике статье «Христианские истоки свободы» Федотов пишет: «Свобода, о которой мы говорим здесь, свобода социальная, утверждается на двух истинах христианства...»* — См.: *Федотов Г.П.* Христианин в революции. С. 186–187. Статья «Христианские истоки свободы» — фрагмент статьи Г.П. Федотова «Рождение свободы» (Новый журнал. 1944. № 8. С. 198–218).

С. 492. *Г.В. Адамович всегда жалел, что в эмигрантской литературе не наладилось диалога с людьми на том берегу.* — Варшавский отсылает к книге Г.В. Адамовича «Одиночество и свобода» (1955). См. об этом коммент. к статье «К разговорам о Дудинцеве» (С. 607).

С. 493. *...его вдовой Е.Н. Федотовой.* — Нечаева (Федотова) Елена Николаевна (1885–1966), историк, переводчица, жена Г.П. Федотова с 1919 г. Была близка к кругу людей «Нового Града» и «Православного дела».

## Леонид Зуров. Марьянка. Рассказы.
*Париж. 1958*

Впервые: Новый журнал. 1958. № 54. С. 293–296. Подп.: В. Варшавский.

В сборник, изданный автором (без указания издательства), вошли 20 рассказов писателя.

С. 493. *...лучше... подошло название одной из прежних его книг: «Отчина».* — Имеется в виду ранняя вышедшая в 1928 г. в Риге повесть Л.Ф. Зурова, которую высоко оценил И.А. Бунин.

С. 494. *...чувство, которое можно назвать «комплексом Печерина».* — «Комплекс Печерина» (см. о нем коммент. к эссе «О расизме» [С. 611]) — это «le mal du pays», «тоска по загранице», представление о Западе как о земле обетованной. См.: *Первухина-Камышникова Н.* В.С. Печерин. Эмигрант на все времена. М.: Языки славянской культуры, 2006.

*Достоевский смеялся над писателями, «дающими типы»...* — См.: *Достоевский Ф.М.* Дневник писателя. 1873 г. // ПСС: в 30 т. Л.: Наука, 1980. Т. 21. С. 88 (X «Ряженый»).

## «Воздушные пути».
*Альманах под редакцией Р.Н. Гринберга. Нью-Йорк. 1960. Printed by Rausen Bros., New York, N.Y.*

Впервые: Новый журнал. 1960. № 58. С. 243–246. Подп.: В. Варшавский.

«Воздушные пути» — литературный альманах, выходивший в Нью-Йорке (5 выпусков с 1960 по 1967) под редакцией Романа Николаевича Гринберга (1893–1969), известного библиофила и редактора-издателя, в 1953–1954 гг. вместе с Всеволодом Леонидовичем Пастуховым (1894–1967) редактировавшим первые три номера журнала «Опыты» (1953–1958). См.: *Дымерская-Цигельман Л.* Альманах «Воздушные пути» и его издатель-редактор Роман Гринберг // Евреи в культуре русского зарубежья. Статьи, публикации, мемуары и эссе / сост. и изд. М. Пархомовский. Иерусалим, 1996. Т. 5. С. 135–152; «Друзья, бабочки и монстры». Из переписки Владимира и Веры Набоковых с Романом Гринбергом (1943–1967) / вступ. ст., публ. и коммент. Р. Янгирова // Диаспора: новые материалы. Париж; СПб.: Atheneum; Феникс, 2001; *Хазан В.* «Семь лет»: история издания. Переписка В.С. Варшавского с Р.Н. Гринбергом // Новый журнал. 2010. № 258. С. 177–224.

По замыслу Р. Гринберга, весь альманах посвящен Борису Пастернаку. В редакционном предисловии говорится, что альманах назван «подобно одному давнему его рассказу, чтобы подчеркнуть мнимость преград, тщетно возводимых между нами на земле».

С. 495. *На почетном месте в «Воздушных путях» печатаемая впервые полностью «Поэма без героя»...* — Поэма была начата А.А. Ахматовой в 1940 г. и в основном завершена в 1943 г. в Ташкенте, где Ахматова находилась в эвакуации. Потом она не-

сколько раз возвращалась к поэме и перерабатывала ее вплоть до 1965 г., в результате объем увеличился вдвое.

*Еже писах — писах.* — О невозможности или нежелании изменить что-либо собственноручно написанное. См.: Ин. 19: 22.

*...в альманахе помещены еще превосходные стихотворения Димитрия Кленовского, Николая Моршена, Игоря Чиннова...* — Кленовский Дмитрий Иосифович (наст. фам. Крачковский; 1893–1976), поэт второй волны русской эмиграции, в 1942 г. с потоком беженцев покинул Харьков, жил в Австрии, затем в Германии. Начал печататься еще в России, где в 1917 г. вышел его сборник «Палитра». В эмиграции издал более десяти книг стихов. В альманахе опубликовано его стихотворение «Заложница несбыточной мечты».

Моршен Николай Николаевич (наст. фам. Марченко; 1917–2001), поэт второй волны, сын писателя Н.В. Нарокова. В 1943 г. с Украины, где он жил, с семьей попал в Германию, после войны находился в гамбургском лагере для перемещенных лиц. В 1950 г. переехал в США. Начал печататься в 1948 г. в журнале «Грани». Первый сборник стихов вышел в издательстве «Посев» в 1959 г. Позднее издал еще два сборника, наиболее полное «Собрание стихов» (Berkeley, CA: Modern Russian Literature and Culture Studies and Texts, 1996. Vol. 37), печатался в антологиях и периодике. В «Воздушных путях» опубликованы его стихотворения «Ткань двойная», «Есть у меня заслуга в том, что я читатель Пастернака».

Игорь Владимирович Чиннов (1909–1996) из России с семьей переехал в Латвию, откуда в 1944 г. был депортирован в Германию на принудительные работы. Первые публикации — в 1933–1934 гг. в журнале «Числа». С 1946 г. жил во Франции, где в 1950 г. издал первую книгу стихов. С 1962 г. — в США. Опубликовал еще восемь книг. В 1992, 1993 гг. приезжал в Россию. Похоронен на Ваганьковском кладбище. В 2000 г. московское издательство «Согласие» опубликовало его собрание сочинений (в 2 т. / сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент. О. Кузнецовой). В альманах вошло его стихотворение «Пожалуй, и не надо одобрения...»

С. 496. *...я нашел в них много нового и интересного. Это: «О непереводимом» Владимира Вейдле, «Из заметок о мастерстве Бориса Пастернака» Глеба Струве, «По литературным адресам поэта» Веры Александровой, «Стихи русских прозаиков» Владимира Маркова.* — Вейдле Владимир Васильевич (1895–1979), критик, историк искусства, публицист, эмигрировал в 1924 г.

Струве Глеб Петрович (1898–1985), историк литературы, литературный критик, переводчик, поэт, в эмиграции — с 1918 г.

О Вере Александровой см. коммент. к эссе «К разговорам о Дудинцеве» (С. 606).

Марков Владимир Федорович (1920–2013), литературовед, поэт, переводчик, мемуарист. В июле 1941 г. ушел добровольцем на фронт, осенью под Ораниенбаумом (близ Ленинграда) попал в плен. В 1945 г. после освобождения жил в Регенсбурге (Германия), в 1949 г. переехал в Калифорнию (США). В 1957–1990 гг. — профессор русской литературы Калифорнийского университета (Лос-Анджелес).

*Марк Вишняк в большой статье «Человек в истории»...* — О М.В. Вишняке см. коммент. к эссе «Уроки Нюрнбергского процесса» (С. 616).

*...зловещий путь «Нового средневековья»...* — «Новое средневековье» — имеется в виду возврат к практикам, напоминающим Средние века. Н. Бердяев в работе «Новое средневековье» (1924) под впечатлением Первой мировой войны и русской революции пророчил наступление эпохи, похожей на Средневековье, но отличающейся от него степенью творческого развития человеческого духа.

*...или тот путь веры в творческую эволюцию, в прогресс... на который указывали Бергсон, Уайтхэд...* — Уайтхэд Альфред Норт (Whitehead; 1861–1947), англо-американский математик, логик и философ. С середины 1920-х гг. разрабатывал «философскую космологию», родственную платонизму.

С. 497. *...поэтами, напуганными наукой XX века, ставшей, по выражению Валери, «первой загадкой в мире».* — Скорее всего, здесь и далее Варшавский приводит цитаты из «Варьете» («Разнообразное») — книги эссе и статей о науках, музыке, живописи французского поэта Поля Валери, которую он писал с 1922 по 1944 г. О П. Валери см. коммент. к эссе «О "герое" эмигрантской молодой литературы» (с. 594).

*Самая яркая и «взрывчатая» статья в сборнике — «Ignorantia est» Николая Ульянова.* — Ульянов Николай Иванович (1904/1905–1985), историк, литературовед, литературный критик, прозаик, публицист, мемуарист. Родился в Петербурге, окончил историко-филологический факультет Ленинградского университета. С 1935 г. — профессор Ленинградского института истории, философии и литературы (ЛИФЛИ). В июне 1936 г. арестован (Соловки, Норильск). В начале июня 1941 г. освобожден, мобилизован на окопные работы под Вязьмой, попал в плен, бежал. Осенью 1943 г. с оккупированной территории отправлен в Германию в рабочие лагеря. После войны жил под Мюнхеном, с 1947-го — в Касабланке (Марокко). С 1955 г. — в США (Нью-Хэвен, Коннектикут). В 1956–1972 гг. преподавал русскую историю в Йельском университете.

*...пересмотр, начатый «Вехами».* — См.: «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции» (М., 1909), в него вошли статьи Н. Бердяева, С. Булгакова, М. Гершензона, Б. Кистяковского, С. Франка, А. Изгоева.

*«За Лавровым, за Боклем явно стоит образ другого Учителя, зовущего на жертвенную смерть», — писал Федотов.* — См.: *Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции // Версты. 1927. № 2. С. 171 (главка «Екатерининский канал»; подп.: Е. Богданов).

*...«не христовым миром там мазали».* — Цитата из статьи Н.И. Ульянова «Ignorantia est».

*Напомню слова К.В. Мочульского: «Если Дух Святой есть любовь к ближнему и милосердие, жажда правды и справедливости, то, верим мы, русская мысль никогда не была виновна в хуле на Духа».* — Цитата из статьи литературоведа, поэта, прозаика, мемуариста Константина Васильевича Мочульского (1892–1948) «Идея социального христианства и русской философии» (Православное дело. Париж, 1939. Сб. 1. С. 45).

*Юлий Марголин в статье «О Боге великом»...* — Марголин Юлий (Юлиус) Борисович (1900–1971), прозаик, поэт, литературный критик, окончил философский факультет Берлинского университета, был близок к сменовеховскому движению. С 1926 г. жил в Польше (Лодзь). Шесть лет — с 1939 г. — провел в ГУЛАГе; с 1946 г. — в Израиле. Из его книг наиболее известная — «Путешествие в страну зэ-ка» (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1952), о советских концлагерях.

С. 498. *Габриель Марсель, философ, очень чуждый Бергсону...* — О Г. Марселе см. коммент. к эссе «Открытое общество и тоталитаризм» (С. 624).

*Эрге* — псевдоним Р.Н. Гринберга.

«Воздушные пути».
*Выпуск 2-й. Альманах под редакцией Р.Н. Гринберга. Нью-Йорк. 1961*

Впервые: Новый журнал. 1961. № 65. С. 287–289. Подп.: Вл. Варшавский.

С. 498. *...больше пятидесяти неизданных стихотворений Осипа Мандельштама, в большинстве написанных им в Воронеже, где он жил в ссылке.* — О.Э. Мандельштам около трех лет жил в ссылке в Воронеже с 1934 г., где создал большой цикл стихов «Воронежские тетради».

С. 499. *...«высокое косноязычие», по Гумилеву...* — Имеется в виду «Восьмистишие» (1915) Н.С. Гумилева (1886–1921), завершающееся словами: «Высокое косноязычье / Тебе даруется, поэт».

*...«звуки небес», «по небу полуночи»...* — Из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Ангел» («По небу полуночи ангел летел...», 1831).

*«Из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам».* — Из стихотворения О.Э. Мандельштама «Notre Dame» (1912).

С. 500. *...напечатаны ноты музыки Артура Лурье к «Поэме без героя».* — Лурье Артур (наст. имя Наум Лазаревич Лурье; 1892–1966), композитор, теоретик, критик, крупный представитель русского музыкального авангарда XX в. Известен дружбой с Ахматовой. В 1922 г. уехал в Берлин, С 1924 г. жил в Париже, с 1941 г. — в США.

*...и заметки об этой поэме Бориса Филиппова.* — В альманахе опубликованы «Заметки к поэме А. Ахматовой» Бориса Андреевича Филиппова (наст. фам. Филистинский; 1905–1991), литературоведа, прозаика, поэта, издателя, эмигранта второй волны, вместе с Г.П. Струве подготовившего к изданию собрание сочинений А.А. Ахматовой (Вашингтон: Inter-Language Literary Associates (Международное литературное содружество); Париж: YMCA-Press, 1965–1983. Т. 1–3; т. 3 также под ред. Н.А. Струве).

*...отрывки из неоконченной рукописи Льва Шестова о Тургеневе.* — В журнале опубликован небольшой фрагмент рукописи Л.И. Шестова об И.С. Тургеневе (С. 261–268). Тургенев не принадлежал к числу любимых писателей Л.И. Шестова, он казался ему слишком рассудочным, чуждым плеяде таких писателей, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Л. Толстой, Чехов. Однако Шестов не раз пытался писать о Тургеневе. В частности, известно, что он работал над книгой «Тургенев и Чехов», написал около 150 страниц — рукопись датирована 31 июля 1903 г., но в октябре того же года оставил ее, не закончив, и начал работать над «Апофеозом беспочвенности» (СПб.: Общественная польза, 1905; Paris: YMCA-Press, 1971), куда включил фрагменты из неоконченной книги. Целиком книга вышла в 1982 г. в издательстве «Ардис» (Анн-Арбор, Мичиган) под названием «Тургенев» в серии «Эмигрантская литература» (см. об этом: *Баранова-Шестова Н.* Жизнь Льва Шестова: в 2 т. Paris: Press libre, 1983).

*...стихи Николая Юнга...* — Биографические сведения установить не удалось.

## Заметки о прочитанном

Впервые: Новый журнал. 1962. № 68. С. 270–279. Подп.: В. Варшавский.

С. 500. *Статью проф. В. Зеньковского...* — Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962), протоиерей, историк, философ, педагог, в эмиграции с 1919 г., в 1923–1962 гг. — председатель РСХД, с 1926 г. — профессор Св.-Сергиевского православного богословского института, автор «Истории русской философии» (1948–1950), которую Варшавский особенно ценил.

*...Theilhard de Chardin...* — О П. Тейяре де Шардене см. коммент. к «Ожиданию» (С. 586).

С. 501. *Среди них не только палеонтологи и биологи, но и физики: Луи и Морис де Брой.* — Французские физики, лауреаты Нобелевской премии (1929), иностранные члены АН СССР Луи (1892–1987) и Морис (1875–1969) де Бройль (Broglie).

*Во втором комитете участвовал ряд философов, писателей и историков: Гастон Башляр, Жак Шевалье, Жорж Дюамель, Жан Ипполит, Жан Лякруа, Андрэ Мальро, Анри Марру, Мерло-Понти, Жан Валь...* — Башляр Гастон (Bachelard; 1884–1962), французский философ, методолог науки, эстетик, выдвинувший концепцию «нового научного разума» и оказавший влияние на французскую школу «новой критики».

Шевалье Жак (Chevalier; 1882–1962), французский философ, специалист по Платону, автор книг, главным образом по истории философии.

Дюамель Жорж (Duhamel; 1884–1966), французский прозаик, поэт, драматург, эссеист, лауреат Гонкуровской премии. Гуманность, утверждение примата духовного над материальным, критика всех видов несправедливости, насилия, защита личности, «маленького человека» сочетались у него с консерватизмом, негативным отношением к современной технической цивилизации.

Ипполит Жан (Hyppolite; 1907–1968), французский философ-экзистенциалист.

Лакруа Жан (Lacroix; 1900–1986), французский философ, один из ведущих представителей персонализма.

Мальро Андре (Malraux; 1901–1976), французский писатель, эссеист, философ искусства; последователь Ш. де Голля, в 1959–1969 гг. — министр культуры Франции.

Марру Анри (Marrou; 1904–1977), французский историк, специалист по Поздней Античности и истории образования, христианский гуманист.

Мерло-Понти Морис (Merleau-Ponty; 1908–1961), французский философ, представитель феноменологии, близкий к экзистенциализму.

Жан Валь (Wahl; 1888–1974), французский философ-неогегельянец.

*Член французской Академии наук Жан Пивето...* — Пивето Жан (Piveteau; 1899–1991), французский палеонтолог из Сорбонны, специалист по позвоночным и эволюции человека.

*Клод Тремонтан говорит о Тейяре, что он «открыл» новый вид святости...* — Тремонтан Клод (Tresmontant; 1925–1997), философ-экономист и гебраист, преподавал историю философии Средневековья в Сорбонне, автор книги «Введение в философию Тейяра де Шардена» (Introduction à la pensée de Teilhard de Chardin. Paris: Seuil, 1956).

*...доктор Шошар...* — О ком идет речь, установить не удалось.

*...в февральской книжке католического журнала «Этюд» ученый иезуит Даниелу.* — Жан Даниелу (Daniélou; 1905–1974) опубликовал свою статью в журнале «Étude exegetic et théologique», католическом ежеквартальнике.

*...протестантский богослов Жорж Креспи свою книгу «Богословская мысль Тейяра де Шардена»...* — Книга французского теолога, антрополога Жоржа Креспи (Cгеspy; 1920–1976) вышла в Париже в издательстве «Éditions Universitaires» в 1961 г.

*Доктор богословия Вильдье пишет: «В наше время, может быть, не раздалось ни одного голоса, который бы вдохновлял нас такой надеждой на будущее, как голос автора книги “Человеческий феномен”...»* — Источник цитаты установить не удалось.

*...Философ-коммунист Роже Гароди...* — Гароди Роже (Garaudy; 1913–2012), французский философ. Был членом ЦК компартии Франции и главным редактором газеты «Юманите». Сторонник «персоналистского марксизма». За диссидентские взгляды исключен из компартии в 1970 г. Впоследствии стал «исламистским мыслителем», автором антиизраильских книг, отрицал Холокост.

С. 502. *...персоналист Жан Лякруа высказывает мнение, что Маркс в своей прометеевой вере должен был считать, что коммунизм приведет не только к разрешению всех социальных противоречий и полному овладению человеком силами природы, но и к победе над смертью.* — Жан Лакруа считал персонализм не отдельным течением в философии, а фундаментальной интенцией подлинного философского анализа; наиболее одухотворенные личностные идеи в XX в. содержали, на его взгляд, экзистенциализм, марксизм и персонализм, перерабатывающий идеи экзистенциализма и марксизма в персоналистском ключе. См. его книгу «Марксизм, экзистенциализм, персонализм» (*Lacroix J.* Marxisme, existentialisme, personnalisme. Présence de l'éternité dans le temps. Paris: PUF, 1949; 7 éd. 1971).

*В последней дневниковой записи, сделанной им перед смертью, Тейяр пишет: «Святой Павел три стиха: En pâsi panta Theus». Это три стиха из первого послания к Коринфянам: «Последний же враг истребится — смерть...»* — См.: 1-е Кор. 15:26–28.

*В предисловии к первому тому его [Пастернака] сочинений, изданных Мичиганским университетом, Жаклина де Пруаяр пишет...* — Имеется в виду изд.: *Пастернак Б.Л.* Собр. соч.: в 3 т. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 1961. Один из редакторов — Г.П. Струве.

Пруаяр Жаклин де (de Proyart; р. 1927), исследовательница творчества Пастернака и переводчица романа «Доктор Живаго» на французский. См.: *Пастернак Б.Л.* Письма к Жаклин де Пруаяр // Новый мир. 1992. № 1. С. 165–170.

*...из всех современных писателей и моралистов в духе Альберта Швейцера...* — Швейцер Альберт (Schweitzer; 1875–1965), немецко-французский мыслитель, представитель философии культуры. Его мировоззрение сложилось под влиянием «философии жизни» и учения А. Шопенгауэра о сострадании. Искал путей избавления человека от страданий. Картезианскому «я мыслю, значит, я существую» противопоставил тезис: «я есть жизнь, желающая жить среди жизни», из которого вытекает требование преклонения перед жизнью, ее сохранения и совершенствования. Утверждал божественное происхождение человеческого духа, т.е. сочетал натуралистическое обоснование «философии жизни» с теистическим восприятием. В его учении этика органично сливается с философией культуры.

*Имя Тейяра промелькнуло даже в «Вопросах философии», в статье Роже Гаради.* — Имеется в виду статья Роже Гароди «Проблема морали в современной французской философии» (Вопросы философии. 1960. № 10. С. 64–68).

*Гароди даже хлопотал о переводе «Человеческого феномена» Тейяра на русский язык.* — Книга Тейяра де Шардена «Феномен человека» вышла в Москве в издательстве «Прогресс» в 1965 г. в переводе Н.А. Садовского.

*Сомневаюсь, будет ли переведена даже книга самого Гароди «Перспективы человека».* — Книга Роже Гароди «Perspectives de l'homme» (Paris: PUF, 1961) на русский не была переведена, хотя переведено много его книг.

*...после подавления венгерской революции...* — Имеется в виду Венгерское восстание 1956 г. (23 октября — 9 ноября) против просоветского режима Венгерской республики, подавленное советскими войсками.

С. 503. *Разве это не убеждение Толстого — «наше благо заключается в братской жизни всех людей, в любовном единении нашем между собой»?* — Из трактата Л.Н. Толстого «Что такое искусство?» (1897–1898). У Толстого: «Религиозное сознание нашего времени в самом общем практическом приложении его есть сознание того, что наше благо, и материальное и духовное, и отдельное и общее, и временное и вечное, за-

ключается в братской жизни всех людей, в любовном единении нашем между собой» (*Толстой Л.Н.* Собр. соч.: в 22 т. М.: Худож. лит., 1983. Т. 15. С. 170).

*Разве это не убеждение Достоевского — «национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение»?* — См.: *Достоевский Ф.М.* Дневник писателя. 1877 г. // ПСС: в 30 т. Л.: Наука, 1983. Т. 25. С. 20 (Январь, гл. 2, I «Примирительная мечта вне науки»).

*...настоящего разговора о Тейяре в эмиграции еще не было. Я помню одну статью в «Новом русском слове».* — Публикацию найти не удалось.

*...статьи К. Тремонтана «Творение и эволюция» в перев. и с предисловием К. Померанцева.* — Статья Клода Тремонтана вышла как отклик на критику феноменологии природы Тейяра де Шардена в книге Роже Гароди «Перспективы человека», в которой она и была напечатана. Книга Гароди издана в виде диалога. В статье Тремонтана показано, что основные положения диалектического материализма тоже не могут быть обоснованы опытным, научным знанием и остаются мифическими, а потому произвольными с научной точки зрения. Статья Тремонтана в переводе с французского К. Померанцева (и с его предисловием) опубликована в журнале «Мосты» (Мюнхен) в 1961 г. (№ 8. С. 171–182).

Померанцев Кирилл Дмитриевич (1906–1991), поэт, журналист, литературный критик, мемуарист, уехал с семьей из России в 1919 г. С 1927 г. жил в Париже. С 1947 г. — сотрудник газеты «Русская мысль», с 1958 г. — зам. редактора. Автор мемуаров «Сквозь смерть» (Лондон, 1986), сборника «Стихи разных лет» (Париж, 1986).

*Л.А. Зандер дал для первой тетради Общества друзей Пьера Тейяра де Шардена перевод нескольких неизданных фрагментов Тейяра.* — Зандер Лев Александрович (1893–1964), философ, видный деятель экуменического движения. Покинул Россию в 1922 г. В 1923 г. из Китая переехал в Прагу (заведовал библиотекой президента Чехословакии — Т.Г. Масарика) и участвовал в учредительном съезде Русского студенческого христианского движения (РХСД) в Пшерове, близ Праги. В 1925 г. перебрался в Париж, читал лекции по логике, философии и сравнительному богословию в Свято-Сергиевском православном богословском институте и работал в нем библиотекарем. В 1929 г. избран секретарем РСХД в Прибалтике. По возвращении в Париж стал генеральным секретарем РСХД и снова работал в Богословском институте. В 1941 г. провел несколько месяцев в немецком лагере для интернированных — был обвинен в связях с Великобританией и США. После войны вернулся в Богословский институт. Его философско-богословское наследие представлено книгами, среди них: «Бог и мир: Миросозерцание отца Сергия Булгакова» (Париж: YMCA-Press 1948), «Dostoevsky» (London, 1948), «Тайна добра. Проблема добра в творчестве Достоевского» (Франкфурт-на-Майне: Посев, 1960), и множеством статей. В.С. Варшавский упоминает о его менее известной — переводческой деятельности. Кроме Тейяра де Шардена, Зандер переводил и французского христианского мыслителя, публициста, поэта, мистика Шарля Пеги (1873–1914), в частности, фрагмент его «Мистерии о невинных младенцах» был опубликован в «Вестнике церковной жизни» (1947. № 8. С. 71–78). См. о Л.А. Зандере.: Русские писатели эмиграции: Биографические сведения и библиография их книг по богословию, религиозной философии, церковной истории и православной культуре: 1921–1972 / сост. Н.М. Зёрнов. Бостон: G.K. Hall, 1973.

Известно французское общество друзей Пьера Тейяра де Шардена (Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin), издавшее первую из «Тетрадей Пьера Тейяра

де Шардена» (Cahiers Pierre Teilhard de Chardin) в 1958 г. Варшавский пишет о переводах неизданных фрагментов сочинений Тейяра де Шардена Л.А. Зандером на русский для первой тетради русско-эмигрантского Общества друзей Тейяра де Шардена. Факт существования такого общества, также выпускавшего «Тетради», установить не удалось.

*...теории Тейяра, особенно его своеобразный «неоламаркизм», уже подвергались ожесточенной критике.* — Термин «неоламаркизм», введенный в 1888 г. в научный обиход американским палеонтологом А. Паккардом, обозначает совокупность разнородных эволюционных концепций, имеющих общий источник — эволюционную теорию французского естествоиспытателя Ж.Б. Ламарка (Lamarck; 1744–1829) и объединенных отрицанием как единственной формообразующей ролью естественного отбора и признанием наследования приобретенных признаков.

С. 504. *А гностические мифы? ...Как можно после работ Леви-Брюля, Мирчеа Иллиада...* — Леви-Брюль Люсьен (Lévy Bruhl; 1857–1939), французский этнолог и философ, социолог и социальный психолог, член Французской академии наук, профессор Сорбонны (с 1904), исследовал различия в типах мышления, свойственных первобытному («примитивному») сознанию. Полагал, что первобытное сознание ориентировано по преимуществу на передаваемые от поколения к поколению «коллективные представления» и безрефлексивное следование традиции. В любом объекте для первобытного человека, помимо очевидного значения, таился и мистический смысл. Результаты практической деятельности считались зависимыми от соблюдения ритуалов. Его основные сочинения: «Мыслительные функции в низших обществах» (1910), «Первобытное мышление» (1922), «Примитивная душа» (1927), «Сверхъестественное в первобытном мышлении» (1931), «Примитивная мифология» (1935).

Элиаде Мирче (Eliade; 1907–1986), французский философ культуры, исследователь мифологии, религиевед, писатель. В отличие от известных британских историков религии, культуры, антропологов Э.Б. Тайлора и Дж. Фрэзера, находил в истории культуры не сменявшие друг друга состояния, прогрессировавшие от простого к сложному, но универсальные морфологические образцы (паттерны), неустранимо присутствующие в культуре и являющиеся ее ядром независимо от хронологии и этнической принадлежности. Основывался на представлении о единстве и сущностной неизменности человеческой природы от архаики до современности. Его идеи получили широкое распространение благодаря феноменологии, психоанализу. В.С. Варшавский мог читать его книги: «Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторения» (Париж, 1949) — на фр. яз., «Сакральное и профанное» (Нью-Йорк, 1959) — на англ.

С. 506. *Другой богослов, проф. Католического института в Париже Поль Бреннэ.* — Сведений найти не удалось.

*Теперь, после того как опубликованы письма Тейяра, написанные им в 1914–1918 годах...* — См.: *Teilhard de Chardin P.* Genèse d'une pensée. Lettres 1914–1919. Paris: Bernard Grasset, 1961. Речь идет прежде всего о письмах Тейяра де Шардена к сестре — Маргерит Тейяр-Шамбон (Teillard-Chambon; 1880–1959).

*...в аду Вердена...* — Речь идет о битве при Вердене (Лотарингия) французских и немецких войск во время Первой мировой войны с 21 февраля по 18 декабря 1916 г., вошедшей в историю как «Верденская мясорубка».

Заметки о прочитанном.
*«Встречи» Федора Степуна*

Впервые: Новый журнал. 1962. № 70. С. 127–134. Подп.: В. Варшавский.

Степун Федор Августович (1884–1965), философ, писатель, социолог. После высылки из России (1922) жил преимущественно в Германии (Берлин, Дрезден, после войны — Мюнхен). Рец. на: *Степун Ф.* Встречи: Достоевский — Л. Толстой — Бунин — Зайцев — В. Иванов — Белый — Леонов. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1962.

С. 509. *В своем очень интересном отзыве о «Встречах» Георгий Адамович пишет...* — См.: *Адамович Г.* «Встречи» Федора Степуна // Русская мысль. 1962. 25 авг. № 1882. С. 2–3.

*...на той «противоположной миру терассе», на которой, по выражению Поля Валери, «содрогался и мечтал Паскаль»...* — Источник цитаты установить не удалось.

*Вторая статья — «"Бесы" и большевистская революция»...* — Эта статья Ф. Степуна впервые опубликована в сборнике «Судьбы России» (Нью-Йорк: Объединение российских народников, 1957. С. 26–39).

С. 510. *В любопытной книге «Политика и роман» Ирвинг Гау...* — Цит. книга американского публициста, литературного критика, историка Ирвинга Хау (Howe; 1920–1993): Politics and the Novel. N.Y.: A Horizon Press Book, 1957. P. 70.

*Задолго до Достоевского Шатобриан предсказывал, что социалистическое равенство может быть установлено только деспотически и приведет к рабству, какого еще не было в истории человечества.* — См. сочинение французского писателя, политического деятеля консервативного направления Франсуа Рене де Шатобриана (de Chateaubriand; 1768–1848) «Исторический, политический и нравственный опыт о революциях» (1797), «Гений христианства»(1802), «Замогильные записки» (опубл. 1848–1850).

С. 511. *«Эти миллионы людей, оставленные и прогнанные с пиру людского...»* — См.: *Достоевский Ф.М.* Зимние заметки о летних впечатлениях // ПСС: в 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 71, 72.

*После этого ждешь если не Алёшиного «расстрелять!..* — Речьидет о том, что Алеша Карамазов на вопрос брата — Ивана, что сделать с генералом, который затравил на глазах матери ее ребенка, тихо проговорил: «Расстрелять!» См.: *Достоевский Ф.М.* Братья Карамазовы // Там же. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 221 (ч. 2, кн. 5 «Pro et contra», гл. IV «Бунт»).

*...он [Достоевский] отшатывается и от «фурьеризма»...* — Одно из направлений утопического социализма, основанное французским социалистом-утопистом Шарлем Фурье (Fourier; 1772–1837), считавшим первичной ячейкой нового строя «гармонии» «фалангу», которая сочетает промышленное и сельскохозяйственное производство. Петрашевцы (кон. 1844 — нач. 1849), в кружок которых входил Достоевский, были его последователями.

*Определение братства, которое он дает в «Зимних заметках о летних впечатлениях»...* — См.: *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 5. С. 79 (гл. 6 «Опыт о буржуа»).

*...стало, по выражению Константина Мочульского, «катехизисом всей современной христианской социологии». Мочульский пишет: «Отношения между личностью и коллективом, различие между безбожной коммуной и христианской общиной, пер-*

*соналистический характер будущего социального порядка, основанного на любви и свободе, — все заключается уже в этом рассуждении величайшего нашего мыслителя».* — Цитата из книги К.В. Мочульского «Достоевский: жизнь и творчество» (Париж: YMCA-Press, 1947. С. 193). У Мочульского сказано: определение братства «стало катехизисом всей современной *православной* (курсив наш. — *Сост.*) социологии». В.С. Варшавский расширяет (существенный нюанс!) «православное» до «всей современной христианской социологии», т.е. вычитывает свое.

*Он не соглашается с Мочульским, слившим «воинственный национализм» Шатова с миросозерцанием самого Достоевского* — См.: *Степун Ф.А.* «Бесы» и большевистская революция // Соч. / сост., вступ. ст., примеч. и библиогр. В.К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2000. С. 638.

*Степун пишет: «Если говорить не о несчастном Шатове...»* — См.: Там же.

*Но он сам признает, что Достоевский «нередко впадал и в грех конфессионального шовинизма...»* — См.: Там же.

С. 512. *...о следах в программе и тактике большевиков теорий Ткачёва и Нечаева и бакунинской страсти к разрушению.* — О П.Н. Ткачёве, С.Г. Нечаеве и М.А. Бакунине см. коммент. к эссе «Родословная большевизма» (С. 633, 634, 635 соответственно).

*Игнатий Лойола, Бентам, якобинская диктатура, Бланки, интегральный марксизм, Клаузевиц, Жорж Сорель, сколько еще других западных учителей «учили» Ленина ленинизму.* — Игнатий де Лойола (de Loyola; 1491?–1556), основатель ордена иезуитов.

Бентам Иеремия (Bentham; 1748–1832), английский философ, юрист, родоначальник философии утилитаризма.

Якобинская диктатура — см. коммент. к эссе «“У нас коммунизм будет другой”» (С. 614).

Бланки Луи Огюст — см. коммент. к эссе «Родословная большевизма» (С. 634).

Интегральный марксизм — видимо, имеется в виду ортодоксальный марксизм большевистского образца, т.е. тоталитарный, не допускающий дробления марксистского мировоззрения и принятия лишь его отдельных частей.

Клаузевиц Карл фон (von Clausewitz; 1780–1831), немецкий историк и военный теоретик, в своей основной работе «О войне» (опубл. посмертно в 1832) применил диалектический метод к военной теории и сформулировал положение о войне как продолжении политики, его высоко ценил и использовал В.И. Ленин.

Сорель Жорж — см. коммент. к эссе «Родословная большевизма» (С. 638).

*После двух статей о Достоевском статья о Толстом: «Религиозная трагедия Толстого».* — Статья Ф. Степуна «Религиозная трагедия Льва Толстого» напечатана впервые: Мосты. 1961. № 6. С. 185–208.

*...Степун пишет: «К концу жизни Толстой, правда, стал все чаще задумываться над злосчастностью своего пути...»* — См.: *Степун Ф.А.* Религиозная трагедия Льва Толстого // Соч. С. 675.

С. 513. *Степун пишет: «Для людей христианского сознания непосредственно ясно, что между учением Толстого о Христе и христианством, кроме общих этических положений, свойственных и другим как религиозным, так и философским системам, нет ничего общего».* — См.: Там же. С. 666.

*«Огонь пришел я низвесть на землю».* — См.: Лк. 12:49.

*...Рамакришна — великий христианский святой, брат по духу...* — См. коммент. к эссе «Рамакришна и его ученик и Вивекананда» (С. 600).

*...помню слова епископа Иоанна Сан-Францисского, написанные им в память «безбожника» Владимира Зензинова: «Он думал, что верит только в "Высшее добро"...»* — Архиепископ Сан-Францисский (в миру князь Дмитрий Алексеевич Шаховской; 1902–1989). См.: *Иоанн Сан-Францисский, еп.* Гимн малому добру // Вестник Русского христианского движения. 1957. № 44. С. 4–6.

Заметки о прочитанном
*(«Воздушные пути», Альманах 3, Нью-Йорк 1963)*

Впервые: Новый журнал. 1963. № 74. С. 160–167. Подп.: Владимир Варшавский.

С. 514. *...и большая статья о нем [Бабеле] Леонида Ржевского...* — Ржевский Леонид Денисович (наст. фам. Суражевский; 1904—1986), представитель второй волны русской эмиграции. В 1930 г. окончил литературно-лингвистическое отделение Московского пединститута им. Ленина (по другому источнику — педагогического факультета 2-го МГУ), в 1938 г. — аспирантуру и 28 июня 1941 г. защитил диссертацию о языке «Горе от ума» А.С. Грибоедова. 1 июля ушел на фронт, контуженный попал в плен. По одной из версий летом 1943 г. освобожден из плена (основания не объясняются), в 1944 г. перебрался в Германию, в Дрезден, затем в Мюнхен. По другой версии, лейтенант-переводчик, он стал помощником начальника разведки дивизии и, выводя из окружения автоколонну дивизии, оказался под минометным огнем, попал в плен; конец войны застал его в Германии, в больнице близ Мюнхена (*Агеносов В.В.* Ржевский Л.Д. // Русские писатели 20 века. Биографический словарь / гл. ред и сост. П.А. Николаев. М.: БРЭ; Рандеву-АМ, 2000. С. 591–592). Был главным редактором журнала «Грани» (1952–1955). В 1956 г. возглавлял русскую редакцию американской радиостанции «Освобождение» («Радио Свобода»), осенью 1963 г. переехал в США, преподавал в разных университетах.

*Он приводит очень интересную ссылку на вышедшую на немецком и венгерском языках книгу Эрвина Шинко «Роман одного романа. Московский дневник».* — Шинко Эрвин (Sinkó; 1898–1967), писатель-коммунист, политэмигрант после разгрома Венгерской советской республики, просуществовавшей с 21 марта по 1 августа 1919 г. В эмиграции жил во Франции, Австрии, Германии, написал роман «Оптимисты», пытался его издать, ради этого с рекомендательным письмом Р. Роллана приехал с женой в СССР и в течение полугода был гостем организации по культурным связям с заграницей. Этот срок, благодаря М. Горькому, был продлен. Однако его роман издавать никто не хотел. Бабель считал его скучным. В Москве Шинко вел дневник. В начале 1937 г. он уехал во Францию, потом в Югославию, преподавал в Университете г. Нови-Сад. См. о нем: *Пирожкова А.Н.* Годы, прошедшие рядом (1932–1939) // Воспоминания о Бабеле. М.: Книжная палата, 1989. С. 198.

*Он [Бабель] был уничтожен партдиктатурой сначала как писатель, а потом и физически.* — Исаак Эммануилович Бабель (1894–1940) в 1930-е гг. практически не печатался в СССР. Пьесу «Мария» (1935) на протяжении 60 лет не ставил ни один театр; рассказы в 1933 г. отвергали, несмотря на рекомендацию М. Горького. «Колывушку», главу из задуманной книги о коллективизации, нельзя было даже предлагать, так как в ней показано разорение крестьян советской властью. Попытки реагировать на современность в рассказе «Нефть» (1933), в очерке «Путешествие во Францию» (1937) неудачны. Писатель зарабатывал на жизнь переизданиями и экра-

низациями, «дописыванием» чужих сценариев. 15 мая 1939 г. Бабель был арестован и вскоре расстрелян как «агент французской и австрийской разведок».

*«В сущности, когда мы читаем или созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: Ну-ка, что ты за человек?..» Эти слова Льва Толстого...* — См. «Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана» (1894) Л.Н. Толстого (*Толстой Л.Н.* Литература, искусство / сост. О. Михайлов. М.: Современник, 1978. С. 170–171).

*«Доктор Живаго» единственное там написанное большое произведение...* — Над этим романом Б.Л. Пастернак начал работать вскоре после Великой Отечественной войны, осенью 1955 г. завершил его и в марте 1956 г. передал рукопись в редакции журналов «Новый мир» и «Знамя», отказавших ему. В ноябре 1957 г. книга вышла в Милане в издательстве Дж. Фельтринелли.

С. 515. *...Юлий Марголин напечатал в этом выпуске «Воздушных путей» стихи, написанные им «в стране зе-ка».* — Опубликованный в альманахе стихотворный цикл Ю.Б. Марголина «Стихи, написанные в стране Зе-Ка» (С. 84–97) включает 11 стихотворений, созданных в 1940–1945 гг. в ГУЛАГе. Во вступлении к публикации (точнее — обращении к главному редактору Р.Н. Гринбергу) Марголин писал: «Стихами, которые тогда складывались со внутренней необходимостью, я оборонялся, упорствовал, носил их в себе и жил в их ограде, как за невидимой стеной» (С. 84).

С. 516. *...формулой Дени де Ружмона: «Запад создал среди других ценностей две совсем особенные: права личности и машину».* — Источник цитаты не установлен.

*По выражению Г.П. Федотова, в этих кругах [евразийских и пр.] «Россия мыслилась уже не как живой народ, а как идея, антитетическая западной действительности».* — См.: *Федотов Г.П.* Россия, Европа и мы // Новый град. 1932. № 2. С. 12. В оригинале у Г.П. Федотова — настоящее время: «Россия мыслится...»

*Это эмигрантское отталкивание от Запада отразилось... в статье Шмелёва, о которой Адамович вспоминает как о статье «комически-высокомерной».* — Возможно, речь идет об ответе И.С. Шмелёва на анкету о Прусте в 1-м номере «Чисел», где Шмелёв отказывает Прусту в новаторстве и заявляет, что до него аналогичные новации были разработаны в творчестве русского писателя Михаила Ниловича Альбова (1851–1911).

*Федор Степун очень верно назвал вдохновителей «Чисел» «новыми восточниками» и «буддийствующими христианами».* — См.: *Степун Ф.А.* Пореволюционное сознание и задача эмигрантской литературы // Новый Град. 1935. № 10. С. 12–28. См. также: *Степун Ф.А.* Соч. / сост., вступ. ст., примеч. и библиогр. В.К. Кантора. М.: РОССПЭН, 2000. С. 509.

С. 516–517. *Тогда же Федотов писал: «...тема смерти оборачивается в “Числах” темой нирваны».* — См.: *Федотов Г.П.* О смерти, культуре и «Числах» // Числа. 1930/31. № 4. С. 146.

С. 517. *Для многих участников «Чисел» Маркион и Розанов были единственными экзегетами христианства.* — Маркион (II в. н. э.), раннехристианский проповедник гностицизма, сторонник крайнего аскетизма и умерщвления плоти, впоследствии объявленный церковью еретиком. В.С. Варшавский пишет о нем в «Незамеченном поколении», в основном в главе «Новый Град» (*Незамеченное поколение, 2010.* С. 249–250 и др.).

*«Есть древняя легенда, — писал в «Числах» Адамович, — Бог не создал мира, не хотел создавать его. Мир вырвался к бытию против Его воли». Отсюда «в душу за-*

*крадывается соблазн: не надо ли "погасить" мир, то есть на это работать».* — См.: *Адамович Г.В.* Комментарии // Числа. 1930. № 2/3. С. 174–175.

*Отсюда «дома мы на Западе не были» и замысел «Парижской ноты»: «В основе, в источнике было, конечно, гипнотически-неотвязное представление об окончательном абсолютном, незаменимом, неустранимом — нечто очень русское по природе, связанное с вечным нашим "все или ничего"...»* — Цитата из статьи Г.В. Адамовича «Послесловие», опубликованной в рецензируемом В. Варшавским номере «Воздушных путей» (С. 80).

*...Адамович неожиданно цитирует поэта, очень западного...: «Le vent se lève, il faut tenter de vivre»...* — «Поднялся ветер!.. Жизнь зовет упорно!» (пер. Б. Лившица) — из стихотворения Поля Валери «Морское кладбище» (1920).

С. 518. *По выражению Бергсона: мистика «призывает» механику.* — См.: *Bergson H.* Les deux sources de la morale et de la religion. Paris: Felix Alcan, 1932. P. 334.

*...удивительно утверждение, что до Александра Гефтера никто в русской литературе не сумел описать бега тройки.* — Имеется в виду рассказ «Тройка» (Возрождение. Париж, 1951. № 15) Александра Александровича Гефтера (1885–1956), морского офицера, писателя, журналиста, мемуариста, по окончании Гражданской войны жившего в эмиграции сначала в Финляндии, затем во Франции в Париже.

С. 519. *В третьем выпуске «Воздушных путей» особенно много воспоминаний: Галина Кузнецова «Грасский дневник», Лидия Шаляпина «Об отце», Елена Извольская «Поэт обреченности»... Михаил Чехов «Жизнь и встречи».* — Кузнецова Галина Николаевна (по мужу Петрова; 1900–1976), поэтесса, писательница. Ее главная книга — «Грасский дневник» (Вашингтон: Viktor Kamkin, 1967), который она вела в 1927–1934 гг. — о жизни в доме И.А. Бунина в Грассе.

Шаляпина Лидия Федоровна (1901–1975), дочь Ф.И. Шаляпина, драматическая актриса, снялась в фильме «Честное слово» (1918), педагог-вокалист, преподавала в нью-йоркской консерватории, автор книги «Глазами дочери» — воспоминания собраны ее сестрой Т.Ф. Черновой-Шаляпиной, подготовлены к печати Иосифом Дарским и изданы в Нью-Йорке в 1997 г.

Извольская Елена Александровна, писатель, общественный деятель, преданный друг Марины Цветаевой. Полное название статьи в «Воздушных путях» — «Поэт обреченности (Из воспоминаний о Марине Цветаевой)». См. о ней коммент. к «Ожиданию» (С. 676).

Чехов Михаил Александрович (1891–1955), русский и американский актер, театральный педагог, режиссер; племянник А.П. Чехова и сын его брата-публициста Александра. В 1928 г. эмигрировал в Германию. С 1939 г. жил в США, создал там свою актерскую школу. Его воспоминания собраны в кн.: *Чехов М.А.* Путь актера: Жизнь и встречи. М.: АСТ, 2007.

*К отделу воспоминаний можно отнести и «Н.А. Тэффи в письмах» Андрея Седыха.* — Седых Андрей (наст. имя и фам. Яков Моисеевич Цвибак; 1902–1994), мемуарист, главный редактор ежедневной газеты «Новое русское слово» (Нью-Йорк, с 1973).

*В статье «Встреча Достоевского и Гоголя» Юрий Маргулиес развивает гипотезу, что Достоевский присутствовал на встрече Гоголя с «новыми литераторами» на ужине у Комарова, осенью 1848 года....* — Маргулиес Юрий Эммануилович (1902–1971), ученый-филолог, востоковед, переводчик, библиофил. По его версии, Н.В. Гоголь, стремясь развеять невыгодное впечатление после выхода «Избранных мест из переписки с друзьями», попросил своего приятеля А.А. Комарова, известно-

го либерально-литературными связями, друга В.Г. Белинского, устроить ему встречу с молодыми литераторами. На ужине у Комарова были И.И. Панаев, И.А. Гончаров, Д.В. Григорович, Н.А. Некрасов и др., возможно, и Ф.М. Достоевский.

### Nicolas Zernov. The Russian Religious Renaissance of the Twentieth Century.
*Darton, Longman and Todd. London, 1963*

Впервые: Новый журнал. 1964. № 76. С. 279–284. Подп.: В. Варшавский

Николай Михайлович Зёрнов (1898–1980), философ, богослов-экуменист, исследователь православной культуры, общественный деятель.

С. 520. *Начиная с... вольных каменщиков Новикова.* — Новиков Николай Иванович (1744–1818), просветитель, писатель, журналист, издатель, в 1770-х гг. примкнул к масонам.

С. 521. *...о главном противнике церковной реформы — Победоносцеве.* —Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), в 1880–1905 гг. обер-прокурор Св. Синода, имел исключительное влияние на императора Александра III.

*Бердяев не преувеличивал, говоря, что коллективное общественное мнение русской интеллигенции всегда было деспотическим и в этом смысле большевистским.* — См.: *Бердяев Н.А.* О смене поколений и о вечном возвращении. К спорам о личности в коллективе // Новый Град. 1932. № 5. С. 38–39.

*...проф. Милюков в зарубежном юбилейном издании своих «Очерков русской культуры»...* — Юбилейное издание «Очерков русской культуры» (1-е изд.: СПб.: Изд. журнала «Мир Божий», 1896–1903) П.Н. Милюкова вышло в Париже в издательстве «Современные записки» (1930–1937).

*...автор говорит... о Религиозно-философском обществе...* — Имеется в виду Московское религиозно-философское общество (1905–1918) — общество памяти Вл. Соловьева, существовало и Петербургское религиозно-философское общество (1907–1917).

*...о «Вехах».* — «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции» (М.: Изд-во В.М. Саблина, 1909) был издан группой публицистов и философов (Н. Бердяев, С. Булгаков, М. Гершензон, А. Изгоев, Б. Кистяковский, П. Струве, С. Франк) и содержал острую критику русской революционно-демократической интеллигенции.

*Зёрнов приводит... выдержки из статьи Милюкова с призывом к веховцам вернуться в ряды интеллигенции...* — См. статью П.Н. Милюкова «Интеллигенция и историческая традиция» (По Вехам. Сб. об интеллигенции и «национальном лице». М.: тип. «Общественная польза», 1909. С. 195–196).

*...из воспоминаний другого лидера кадетской партии Иосифа Гессена: «Успех "Вех" был ошеломительный... Не было ни одного периодического органа, который не отозвался бы на эту книгу...»* — Гессен Иосиф Владимирович (до крещения Иосиф Саулович Гессен; 1866–1943), юрист, публицист, депутат II Государственной думы. В январе 1919 г. (по другим источникам в 1920) эмигрировал в Финляндию, потом в Германию, где с В.Д. Набоковым и А.И Каминкой основал в ноябре 1920 г. русскоязычную газету «Руль»; в 1921–1937 гг. издал 22 тома документального сборника «Архив русской революции», автор книг воспоминаний «В двух веках: жизненный отчет» (Берлин: [Speer & Schmidt], 1937) и «Годы изгнания. Жизненный отчет» (Па-

риж: YMCA-Press, 1979). Зёрнов приводит цитату из книги И. Гессена «В двух веках: жизненный отчет» (С. 266).

*...интеллигенция горячо защищалась, но два сборника, вступивших в бой с "Вехами", — "В защиту интеллигенции" и "По Вехам" — заметного впечатления не произвели...»* — См.: В защиту интеллигенции. Сб. статей. М.: Заря, 1909; По Вехам. Сб. об интеллигенции и «национальном лице». М.: тип. «Общественная польза», 1909.

*Проф. Зёрнов с большой любовью говорит о четырех главных веховцах: Петре Струве, Сергее Булгакове, Николае Бердяеве и Семене Франке.* — Струве Петр Бернгардович (1870–1944), политик, экономист, историк, публицист, от марксизма пришедший к философскому идеализму. Депутат II Государственной думы. Активно не принял большевистский переворот. В 1920 г. после нескольких лет сопротивления покинул Россию. Жил в Париже, Праге, Берлине, Варшаве, Белграде. Издавал журнал «Русская мысль» (Прага–Берлин, 1921–1927), газеты «Возрождение» (Париж, 1925–1927), «Россия» (Париж, 1927–1928).

О С.Н. Булгакове см. коммент. к эссе «"Чевенгур" и "Новый Град"» (С. 631).

О Н.А. Бердяеве см. коммент. к эссе «"Завещание" Бердяева» (С. 607–608).

Франк Семен Людвигович (1877–1950), религиозный философ и психолог, от марксизма эволюционировал к либеральному консерватизму, импонирующему Н. Зёрнову. Булгаков и Бердяев близки Н. Зёрнову своими неортодоксальными взглядами, экуменической ориентацией. Варшавскому же, о чем свидетельствует, в частности, его индекс цитируемости, особенно близок Бердяев, сочетавший экзистенциальную позицию с духовно-религиозной. Примечательно, что Булгаков в 1923–1925 гг. был профессором Русского юридического факультета при Пражском университете, как раз когда там учился В.С. Варшавский.

С. 522. *В напечатанных в «Новом Граде» статьях «Душа социализма» Булгаков с большой силой и вдохновением призывал христиан искать социальную правду и «заданную их эпохе социальную утопию с ее динамизмом».* — См.: *Булгаков С.* Душа социализма // Новый Град. 1931. № 1. С. 49–58; 1932. № 3. С. 33–45; 1933. № 7. С. 35–43. Цит.: 1932. № 3. С. 38.

С. 522–523. *...Зёрнов говорит о некоторых группах, возникших уже за рубежом: «Русском студенческом христианском движении», «Православном деле»...* — Русское студенческое христианское движение (РСХД) — мирянское объединение христианской, главным образом православной, молодежи; его цель — религиозное просветительство, привлечение православной эмигрантской молодежи, подготовка православных проповедников. Основано в 1923 г. Движение поддерживали видные религиозные деятели русского зарубежья — С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, А.В. Карташев и др.

«Православное дело» (1935–1943) — благотворительная и культурно-просветительская организация, основанная в Париже матерью Марией. При объединении были созданы центр социальной помощи и общежитие для русских эмигрантов. В годы Второй мировой войны члены организации спасали людей от преследований нацистами. В 1943 г. организация была запрещена по приказу оккупационных властей.

С. 523. *...о матери Марии, об отце Дмитрии Клепинине...* — Кузьмина-Караваева (Скобцова) Елизавета Юрьевна (урожд. Пиленко; в монашестве мать Мария; 1891–1945), поэт, прозаик, драматург, публицист, эмигрировала в 1920 г., с 1932 г. жила в Париже, с 1930 г. — разъездной секретарь РСХД, в марте 1932 г. приняла монашество, участница литературного объединения «Круг» (1935–1939), учредитель и пред-

седатель объединения «Православное дело» (1935–1943), участница французского Сопротивления. В начале 1943 г. была арестована нацистами и погибла в концлагере Равенсбрюк. Канонизирована Константинопольским патриархатом в январе 2004 г. как преподобномученица.

Священник Димитрий Клепинин (Дмитрий Андреевич Клепинин: 1904–1944) был первым духовником «Православного дела», участник Сопротивления, причисленный к лику святых. См.: Жизнь и житие священника Дмитрия Клепинина. 1904–1944. М.; Париж: Русский путь, 2004.

*...людей, близких к Сергиевскому подворью...* — Сергиевское подворье образовано в 1925 г., центр православной культуры, расположенный в 19-м округе Парижа.

*...очерк русского религиозного сознания, сложившегося... под сильным влиянием софианского богословия.* — Софианство, как именуют софиологию ее критики, — синкретическое религиозно-философское учение, включающее в себя идеи «положительного всеединства» и совершенного человечества, понимание искусства как мистической «свободной теургии», преображающей мир, мистическое восприятие Софии как космического творческого принципа. Имеющее глубокие исторические корни, оно было развито русскими философами — Вл. Соловьевым, С. Булгаковым, П. Флоренским, Л. Карсавиным и др. 30 октября 1935 г. Архиерейский собор Русской зарубежной церкви осудил софиологию как ересь.

С. 524. *«Что бы ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев, — мы ищем и видим только душу самого художника». Эти слова Толстого...* — См.: *Толстой Л.Н.* Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана (1894) // Толстой Л.Н. Литература, искусство / Сост. О. Михайлов. М.: Современник, 1978. С. 171.

### «Воздушные пути».
### *Альманах 4, Нью-Йорк, 1965*

Впервые: Новый журнал. 1965. № 79. С. 291–296. Подп.: В. Варшавский.

С. 524. *«В известном смысле историю русской литературы можно назвать историей уничтожения русских писателей».* — См.: *Ходасевич В.* Кровавая пища // Возрождение. Париж, 1932. 21 апр. № 2515. С. 3. См. также: *Ходасевич В.* Колеблемый треножник. Избранное. М.: Сов. писатель, 1991. С. 463. В цитате изменено одно слово: у Ходасевича «изничтожения русских писателей».

*...записки Елены Тагер...* — Тагер Елена Михайловна (1895–1964), поэт, прозаик, мемуарист. Начала публиковать стихи в 1915 г., вошла в кружок поэтов при Пушкинском обществе, в Петербургском университете участвовала в Пушкинском семинаре С.А. Венгерова, познакомилась с Ю. Тыняновым, А. Блоком, Ю. Оксманом, Л. Добычиным, О. Мандельштамом, о котором позднее написала воспоминания. Трижды арестована: в 1922 г. обвинена в шпионаже и на два года выслана в Архангельск; в 1938–1948 гг. — по делу, сфабрикованному на Н. Тихонова; в 1951–1954 гг. выслана в Казахстан. В 1956 г. вернулась в Ленинград, реабилитирована, восстановлена в Союзе писателей. Бывала у Ахматовой в Комарово.

*...отчет о суде над поэтом Бродским.* — Два заседания суда над поэтом Иосифом Александровичем Бродским (1940–1996) в Ленинграде в марте 1964 г. были законспектированы писательницей и журналисткой Фридой Абрамовной Вигдоровой (1915–1965) и вошли в распространявшуюся в самиздате «Белую книгу».

*Об этом [о звонке Сталина Пастернаку] пишут обе вдовы, и Надя и Зина...* — Надежда Яковлевна Мандельштам (урожд. Хазина; 1899–1980) и Зинаида Николаевна Пастернак (в первом браке Нейгауз; 1897–1966).

*Какая-то Триолешка даже осмелилась написать (конечно, в пастернаковские дни), что Борис погубил Осипа.* — Имеется в виду статья французской писательницы Эльзы Триоле (урожд. Каган; 1896–1970), сестры Лили Брик, жены Л. Арагона, в журнале «Летр Франсэз» («Lettres Françaises»), где она якобы упоминает о разговоре Пастернака со Сталиным по поводу О. Мандельштама. Об этом рассказала и Л.К. Чуковская: «...в "Lettres Françaises" (эту весть привезли Сосинские) напечатано — со слов Триоле, — будто Мандельштама погубил Пастернак. Своим знаменитым разговором со Сталиным — когда Сталин звонил Пастернаку по телефону после первого ареста Мандельштама» (*Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой: в 3 т. М.: Согласие, 1997. Т. 2. С. 421). Публикацию найти не удалось.

*В феврале 1936 года Ахматова ездила к Мандельштаму в Воронеж.* — В мае 1934 г. Мандельштам был арестован (прежде всего за антисталинское стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны»), отправлен в ссылку в Чердынь (Пермский край), вскоре ему разрешили выбрать другое место поселения, и он поехал в Воронеж (1934–1937).

*А в комнате опального поэта / Дежурят страх и муза в свой черед...* — Из стихотворения А.А. Ахматовой «Воронеж» (4 марта 1936, посвящение — О.М. [Осипу Мандельштаму]).

С. 525. *...выступившим на его [Бродского] защиту Грудининой, Эткинду и Адмони...* — Грудинина Наталья Иосифовна (1918–1999), поэт, переводчик. Во время блокады Ленинграда служила на Балтийском флоте — краснофлотцем, потом во флотской газете. После заступничества за Бродского осталась без работы: руководила молодежным литобъединением при заводе «Светлана» и поэтическим кружком в Ленинградском дворце пионеров.

Эткинд Ефим Григорьевич (1918–1999), филолог, историк литературы, переводчик европейской поэзии и теоретик перевода. Доктор филологических наук. По политическим мотивам был лишен гражданства и выслан из страны в 1974 г.

Адмони Владимир Григорьевич (1909–1993), лингвист, литературовед, переводчик; доктор филологических наук. Сотрудник Института лингвистических исследований РАН (с 1960), автор девяти книг по языкознанию и литературоведению. В 1984 г. опубликовал несколько сборников стихов, а в 1993 г. в соавторстве с Т.И. Сильман — мемуарную прозу «Мы вспоминаем» (1993).

*В советской ночи, «которая не ведает рассвета»...* — Из упоминавшегося стихотворения А.А. Ахматовой «Воронеж».

С. 526. *...наброски к «Поэме о ближнем» Пастернака...* — Речь идет о набросках к фантазии «Поэма о ближнем», написанных Б.Л. Пастернаком в феврале 1917 г. в Тихих Горах.

*...стихи... Михаила Русалкина (псевдоним молодого советского поэта).* — Михаил Русалкин — псевдоним Михаила Яковлевича Гробмана (р. 1939), российского, затем израильского поэта и художника, одного из идеологов Второго русского авангарда. Его стихи в СССР не печатали. В 1971 г. эмигрировал в Израиль. Организатор выставок искусства русского авангарда. С 1963 г. ведет дневник — летопись художественной жизни (см.: *Гробман М.* Левиафан. Дневники 1963–1971 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2002). Автор книг «Военные тетради» (Тель-Авив: Левиафан, 1992), «Последнее небо» (М.: Новое литературное обозрение, 2014).

*Из эмигрантских поэтов: Иван Елагин...* — Елагин Иван Венедиктович (наст. фам. Матвеев; 1918–1987), поэт второй волны русской эмиграции. Сын известного поэта-футуриста Венедикта Марта (Матвеева; 1896–1937), арестованного в конце 1920-х, повторно в 1937 г. и затем расстрелянного. Елагин с женой, поэтессой Ольгой Анстей (1912–1985), покинул Киев и через Германию перешел в американскую зону. Был с женой в лагерях для перемещенных лиц. Затем поселился в Мюнхене. С 1950 г. — в США. Работал на «Радио Свобода». В 1970 г. после учебы в Колумбийском университете защитил диссертацию, стал профессором Питтсбургского университета — преподавал русскую литературу. Регулярно печатал стихи в «Новом журнале». Издал более десяти книг стихов. Считается самым значительным поэтом второй волны. В его поэзии нашла выражение трагедия сталинского террора и Второй мировой войны — смятение человека «на холодном ветру мирового вокзала» («Под созвездием топора», 1976).

*...несколько стихотворений из черновиков Ходасевича.* — В этом номере альманаха опубликованы отрывки из автобиографии поэта Владислава Фелициановича Ходасевича (1886–1939) «Младенчество», стихи из его черновиков: «Мечта моя! Из Вифлеемской дали...» (кон. 1922), «Раскинул над собой перину» (1 марта 1923), оба написаны в Зарове (Saarow); «Проходят дни, и каждый сердце ранит...» (без места и даты); «Я многие решил недоуменья...» (Мариенбад, без даты); «Я Музою не игрывал уж год...» (без места и даты) и басня «Блоха и горлинка», посвященная поэтам Раисе Ноевне Блох (1899–1943) и ее мужу Михаилу Генриховичу Горлину (1909–1944), убитым в немецком концлагере.

*...воспоминания Самуила Вермеля о Мейерхольде.* — Вермель Самуил Матвеевич (1892–1972), театральный критик, режиссер и актер у В.Э. Мейерхольда (1874–1940) и Е.Б. Вахтангова (1983–1922), поэт, без успеха прививавший традицию японских танка русской поэзии, издатель, собравший и выпустивший футуристический альманах «Весеннее контрагентство муз» (1915). Субсидировал издания «Центрифуги», в частности книгу «Поверх барьеров» (1916) Б. Пастернака. С конца 1920-х гг. жил за границей.

*Мысль, которая рождается в наше время, стремится к синтезу всех измерений, всех форм человеческого опыта, к тому «мирному сосуществованию» научного знания и паралогических элементов, определяющих самые важные жизненные решения, о котором говорит Гейзенберг.* — Гейзенберг Вернер (Heisenberg; 1901–1976), немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике (1932), автор работ о философских основах науки, в том числе книги «Физика и философия» (1958), автобиографического сочинения «Часть и целое» (рус. пер.: М.: Наука, 1990).

С. 527. *«Расколите кусок дерева, Я там; подымите камень, и вы найдете Меня там».* — Изречение из новозаветного апокрифа, пятого Евангелия — «Евангелия от Фомы» (1:81).

*...или негры нас обновят? Так их хотя от легального рабства можно было освободить, но переменить их тупые головы так же невозможно, как отмыть их черноту.* — Эти слова своего отца Сергея Михайловича Соловьева (1820–1879), историка, автора знаменитой «Истории России с древнейших времен до наших дней» (1851–1879, т. 1–29), приводит В.С. Соловьев. См.: *Соловьев В.С.* Смысл любви. Избр. произведения. М.: Современник, 1991. С. 431–432.

*...«нет ни эллина, ни иудея»...* — См.: Кол. 3:11.

С. 528. *...[статья] о Клюеве Бориса Филиппова...* — Клюев Николай Алексеевич (1884–1937), поэт. О Б.А. Филиппове см. коммент. к рец. «*"Воздушные пути". Выпуск 2-й...*» (С. 667).

Jules Roy. Le voyage en Chine.
*Ed. Julliard. Paris, 1965*

Впервые: Новый журнал. 1966. № 82. С. 298–302. Подп.: В. В-й.

Руа Жюль (Roy; 1907–2000), французский писатель и публицист, католик, родился, как и его друг Альбер Камю, в Алжире. Военный летчик, участник Второй мировой войны, воспоминания о ней легли в основу романа «Счастливая долина» (1946). В.С. Варшавский упоминает книги Руа «Война в Алжире» (1960) — о войне за независимость Алжира в 1954–1962 гг., закончившейся провозглашением Алжирской Народно-Демократической Республики; и «Битва под Дьенбьенфу» (1963) — о решающем сражении (март–май 1954) Первой Индокитайской войны (1945–1954), известной как война Сопротивления вьетнамцев под эгидой движения «Вьетминь» против колониальной администрации и закончившейся разделением Вьетнама на Демократическую Республику Вьетнам (столица Ханой) и Республику Вьетнам (столица Сайгон). В знак протеста против Индокитайской войны Ж. Руа в 1953 г. вышел в отставку.

Следуя Антуану де Сент-Экзюпери (о нем Руа создал книгу «Страсть Сент-Экзюпери», 1951), писатель верит в возможность морально чистого «действия», его герои не приемлют макиавеллиевский тезис: «цель оправдывает средства». Как правило, основа произведений Руа — столкновение между жестокой необходимостью и чувством чести, морального долга: роман «Прекрасные крестовые походы» (1959), историческая пьеса «Благородная кровь» (1952), пьесы «Циклоны» (1954), «Красная река» (1957). В книге «Великое бедствие» (1966) представлен судебный процесс над маршалом Петеном. Важное место в творчестве писателя занимает шеститомный цикл романов «Кони Солнца» (1968–1975) — об истории франко-алжирских отношений с периода завоевания Алжира французскими колонизаторами. Среди книг последующих лет: «Чужой для моих братьев» (1982), «Бейрут viva la muerte» (1984), книга воспоминаний «Варварские мемуары» (1989), «Письмо к богу» (2001).

С. 529. *...маршал Чень Йи...* — Чэнь И (1901–1972), китайский военный и политик, министр иностранных дел КНР в 1958–1972 гг.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# ВОКРУГ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ ВЛАДИМИРА ВАРШАВСКОГО
## (повесть «Семь лет» и роман «Ожидание»)

*Вступительная статья Марии Васильевой.*
*Публикация Марии Васильевой при участии Олега Коростелева*

Повесть Владимира Варшавского «Семь лет», вышедшая в Париже в 1950 г., легла в основу самого значительного художественного произведения — автобиографического романа «Ожидание» (1972). Она заложила фундамент крупной прозаической формы в творчестве писателя и задала тон послевоенной рецепции его произведений, став неотъемлемой частью восприятия романа, появившегося два десятилетия спустя.

«Семь лет» в оценке современников — весьма содержательный сюжет, вобравший в себя не только оценку Варшавского как писателя, но и умонастроения русской эмиграции начала 1950-х гг. — зыбкого промежутка между концом Второй мировой войны и началом эпохи холодной войны. Дискуссия растянулась на несколько лет, принимая разнообразные формы — от лапидарной реплики Михаила Корякова: «...книга Владимира Варшавского “Семь лет” — одна из самых замечательных книг в русской эмигрантской литературе» в заметке «Дом русской культуры», напечатанной в «Новом русском слове», — до обстоятельной аналитической статьи Николая Нарокова «Злая сила», появившейся в том же периодическом издании через семь лет после выхода книги[1]. Неотъемлемой чертой дискуссии стала полярность мнений. К откровенно враждебным можно отнести рецензии за подписью Л.Р. в монархическом нью-йоркском журнале «Знамя России» и Нины Берберовой в «Русской мысли». Первый рецензент, очевидно, не принял в повести описания войны и красноармейцев, поставив автору на вид «замалчивание преступных сторон советского режима» (С. 10). Рецензия же Берберовой отличилась весьма широким диапазоном критики — от едкого замечания по поводу

[1] *Адамович Г.* «Семь лет» // Новое русское слово. 1950. 1 окт. № 14037. С. 8; *Берберова Н.* «Семь лет» В. Варшавского // Русская мысль. 1950. 11 окт. № 283. С. 5; *Иваск Ю.* Д. Кленовский. След жизни. 1950; Владимир Варшавский. Семь лет. Париж. 1950 // Новый журнал. 1950. № 24. С. 297–299; *Александрова В.* Загадка советского человека // Социалистический вестник. 1950. № 10 (637). С. 189–190, 200; *Коряков М.* Дом русской культуры // Новое русское слово. 1950. 4 дек. № 14101. С. 3; *Б.п.* [Рец. на кн.: Варшавский В. Семь лет. Париж, 1950] // Тропа. 1951. № 1. С. 80; *Л.Р.* О книге Варшавского «7 лет» // Знамя России. 1951. 1 дек. № 52. С. 9–10; *Л. Р<жевский>*. Повесть о пережитом // Грани. 1951. № 11. С. 178. Несколькими годами позже выйдут с обращением к повести «Семь лет» статьи Ю. Иваска «Письма о литературе» (Новое русское слово. 1954. 21 марта. № 15303. С. 8), П. Ставрова «После Бунина» (Там же. 20 июня. № 15394. С. 8), Н. Нарокова «Злая сила» (Там же. 1957. 29 мая. № 16041. С. 8) и В. Завалишина «Где же выход безнадежности» (Там же. 1959. 18 янв. № 16740. С. 2).

скудости творческого потенциала до политических выпадов. Если рецензия в «Знамени России» не имела особого резонанса, то выступление Берберовой наделало немало шума. Обвинение героя французского Сопротивления Варшавского в «полу-насмешке, полу-враждебности по отношению к Франции» выглядело откровенной инсинуацией — особенно в контексте стремительно усложнявшейся международной политической обстановки. В письме к Варшавскому от 8 ноября 1950 г. Роман Гринберг резюмировал: «Ее статья возмутительна, глупа, очень мимо цели, не о книге, а о Вас. Написана она жалко и подло, той особой (русско-эмигрантской) подлостью доноса, от которого стыдно. Молчала бы она лучше. Не она ли была сама недавно жертвой травли и доносов? Я ей все это и выскажу на будущей неделе, когда она пожалует сама сюда» (ДРЗ. Ф. 54)[2]. Так же охарактеризовала рецензию Елена Николаевна Федотова (супруга философа Г.П. Федотова), разослав многим эмигрантам, в том числе и самой Берберовой, открытое письмо с символичным заголовком «Рецензия или донос?» (Там же)[3]. Письмо Гринберга, как и весь сюжет, стоит рассматривать в контексте так называемого дела Берберовой — поднявшейся волны общественного осуждения в адрес писательницы после статьи Я.Б. Полонского «Сотрудники Гитлера»[4]. В статье был дан список русских эмигрантов, проявивших, по сведениям автора, пронацистские настроения во время войны. Значились в списке и Н.Н. Берберова с ее мужем Н.В. Макеевым. В ответ Берберова не просто держала жесткую оборону (пример — ее «циркулярное» письмо, посланное М.А. Алданову и еще ряду известных эмигрантов с инвективами в адрес Полонского[5]), но перешла в контрнаступление. Одной из таких «наступательных» акций, как нам представляется, стала разносная рецензия на «Семь лет». Владимир Варшавский был далек от антиберберовской кампании. Однако, совершенно очевидно, как личность и писатель был антиподом автора рецензии, принадлежал к другому эмигрантскому кругу, разделял иные умонастроения во время Второй мировой войны[6]. Остается только согласиться с мнением исследователя: «Методы “сведения счетов” стереотипны — это или обвинения в симпатиях к Советам, Сталину или хотя бы к социализму, или стремление принизить

[2] Письмо подписано инициалами Р.Г., первоначально было атрибутировано как принадлежащее Роману Гулю (см.: *Васильева М.А.* О военной прозе Владимира Варшавского // *Ежегодник ДРЗ, 2014–2015.* С. 213). Здесь исправляем допущенную неточность расшифровки подписи.

[3] См. об этом: *Васильева М.А.* О Владимире Сергеевиче Варшавском. Биографический очерк // *Незамеченное поколение, 2010.* С. 415–416.

[4] См.: Новое русское слово. 1945. 20 марта. № 12016. С. 3.

[5] Подробнее об этом см.: *Будницкий О.В.* «Дело» Нины Берберовой // Новое литературное обозрение. 1999. № 39. С. 141–173; *Шраер М.* Переписка И.А. Бунина и Н.Н. Берберовой (1927–1946) [вступ. ст.] // И.А. Бунин. Новые материалы. Вып. II / [сост., ред. О. Коростелев и Р. Дэвис]. М.: Русский путь, 2010. С. 8–39.

[6] Примером может служить раскол в парижском Союзе писателей и журналистов в ноябре-декабре 1947 г., когда Варшавский, не разделяя «совпатриотических» настроений, тем не менее в знак протеста против исключения писателей, взявших советские паспорта, вышел из состава союза вместе с группой единомышленников (Г.В. Адамович, В.Н. Бунина, А.В. Бахрах. Л.Ф. Зуров и др.), а Берберова, напротив, была избрана в состав нового правления.

литературное значение...»[7] В данном случае Берберова не преминула сделать и то и другое.

Показательно, что Вера Александрова в пространной рецензии на «Семь лет», скомпилированной большей частью из иллюстраций-цитат, никаких радужных настроений в адрес Красной армии и нового человека Страны Советов в повести не увидела: «Стоит вспомнить только практику советских "чисток", чтобы почувствовать, как верно схвачен Варшавским "климат" советской действительности!» — заключала она[8]. Все это служит лишь доказательством, что в описании войны и плена автор стремился к максимальной непредвзятости. Именно за это высоко оценил повесть Георгий Адамович: «Интерес, ценность и значение повести Варшавского, — замечал он в рецензии на «Семь лет», — в ее исключительной правдивости, притом правдивости прежде всего психологической. При сколько-нибудь развитом чутье к слогу и стилю у читателя не может с первых же страниц не возникнуть уверенности, что автор ни в чем не лжет, ни к какой рисовке не склонен и ничего не хочет скрыть». По большому счету именно суждение Адамовича — одного из наиболее влиятельных и прозорливых литературных критиков русского зарубежья — и стало камертоном литературной критики о Варшавском[9].

В марте 1951 г. писатель перебрался из Парижа в Нью-Йорк. 25 мая того же года при содействии газеты «Новое русское слово» в Нью-Йорке в Риверсайд-Плаза состоялось обсуждение повести «Семь лет», на котором выступили Вера Александрова, Сергей Максимов, Михаил Коряков, Илья Тартак, Александр Биск, Илья Троцкий, Иван Елагин и сам Варшавский. Судя по отчету об этом вечере, дискуссия была оживленной и беспристрастной, сам же отчет, появившийся на страницах «Нового русского слова», стал ценным дополнением к дискуссии вокруг автобиографической повести писателя[10].

Еще один пласт рецепции военной прозы Варшавского до последнего времени был неизвестен. Обсуждение повести «Семь лет» в форме писем к автору стало прямым следствием рассылки экземпляров, которую организовал сам Варшавский своим коллегам и друзьям. Эта корреспонденция содержательно не только не уступает дискуссии в эмигрантской прессе, но местами представляет шире и полнее восприятие творчества Варшавского современниками, а также послевоенную атмосферу, полемику мировоззрений, ви́дение Второй мировой войны в русском зарубежье. Авторы писем — выдающиеся представители русской эмиграции: М.А. Алданов, Г.Я. Аронсон, А.Е. Величковский, Р.Н. Гринберг, Р.Б. Гуль, Е.Д. Кускова, В.А. Маклаков, Н.Н. Оболенский, Ю.П. Одарченко, Н.А. Оцуп, А.М. Ремизов, Е.Ф. Рубисова, М.Л. Слоним, Н.Д. Татищев, Б.Ю. Физ, М.С. Цетлина, Л.Д. Червинская, В.С. Яновский и др. Среди корреспондентов Варшавского значится и выдающийся французский славист Андре Мазон. Темы писем крайне разно-

---

[7] *Будницкий О.В.* «Дело» Нины Берберовой. С. 144.

[8] *Александрова В.* Загадка советского человека. С. 200.

[9] См. об этом: *Васильева М.А.* О военной прозе Владимира Варшавского. С. 206–217.

[10] См.: Беседа и споры о книге В. Варшавского // Новое русское слово. 1951. 26 мая. № 14275. С. 5.

образны: от попытки прояснить судьбу Сергея Ивановича Варшавского, отца писателя, арестованного советскими органами в Праге в мае 1945 г. (письма Е.Д. Кусковой, В.В. Луи), — до полемики вокруг художественного метода Варшавского (письма Л.Д. Червинской, В.С. Яновского, М.А. Алданова и др.). Свой отзвук в письмах находят также упомянутые выше рецензии Георгия Адамовича и Нины Берберовой. Эпистолярий писатель собирал в отдельный конверт, при этом, как правило, ставил астериск зеленым карандашом в верхнем левом углу письма, помечая так, скорее всего, наиболее важные для него ответы. Сегодня эта корреспонденция хранится в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына (ДРЗ. Ф. 54)[11].

В настоящем издании из эпистолярия воспроизводятся письма, представляющие наибольший интерес как ценными фактами из жизни русской диаспоры, так и рецепцией повести Варшавского, а также наиболее значимые рецензии на повесть «Семь лет».

* * *

Отклики на роман «Ожидание»[12] в эмигрантской прессе были не столь многочисленны, как на первую повесть писателя, и не могут быть сравнимы с тем накалом страстей, который вызвала в эмигрантских кругах самая известная его книга «Незамеченное поколение» (1956)[13]. Между тем рецензии на роман «Ожидание» — важнейшая страница не только в истории восприятия творчества писателя, но и в понимании поэтики всего поколения детей русской эмиграции, философской концепции «Парижской ноты», литературы «человеческого документа», ярким представителем которой был Варшавский. Сами отзывы отражают взаимоотношения между представителями русского зарубежья и одновременно выстраиваются в некий символичный сценарий — от зачина в виде рецензии Георгия Адамовича, напечатанной посмертно, до обширной статьи о. Александра Шмемана, задуманной также как рецензия и ставшей в итоге некрологом на смерть Варшавского. Таким образом, круг замыкался, сюжет «роман “Ожидание” в оценке современников» словно подводил черту под уходящей эпохой первой волны русской эмиграции.

---

[11] Часть корреспонденции была опубликована (см.: Вокруг повести Владимира Варшавского «Семь лет». Письма В.С. Яновского, А.М. Ремизова, М.А. Алданова, Ю.П. Одарченко, Н.Н. Оболенского, Е.Д. Кусковой, Л.Д. Червинской, М.Л. Слонима, Е.Н. Федотовой / публ., подгот. текста и примеч. М.А. Васильевой и О.А. Коростелева // *Ежегодник ДРЗ, 2014–2015.* С. 218–242). Остальные письма в этой подборке публикуются впервые по оригиналам, хранящимся в фонде В.С. Варшавского (ДРЗ. Ф. 54).

[12] В настоящем издании цитаты в рецензиях из романа «Ожидание» в примечаниях не оговариваются.

[13] См. об этом: Полемика вокруг «Незамеченного поколения» // *Незамеченное поколение, 2010.* С. 315–404.

Отзыв Георгия Адамовича, появившийся в мае 1972 г. сперва в нью-йоркском «Новом русском слове», а потом в парижской «Русской мысли», был написан для издательства как внутренняя рецензия на книгу. Он был опубликован после смерти литературного критика и стал его последней рецензией. Г. Адамович принимал большое участие в судьбе романа. «Два слова о Вашей рукописи. Я ее возьму в Ниццу и там на досуге прочту с бóльшим вниманием, чем здесь. Но что сделать, когда прочту? Если нужен отзыв, кому послать? Можно ли оставить у себя рукопись до осени, т.е. когда я надеюсь вернуться в Париж? Или отослать ее Вам?» — писал он Варшавскому 2 июня 1970 г.[14]

История рецензии Юрия Иваска также прослеживается по переписке с автором «Ожидания». 2 августа 1972 г. Иваск послал черновой вариант рецензии Варшавскому, а в письме замечал: «В послесловии Вы пишете, что Ваша надежда ("мне что-то откроется") преждевременна. Между тем Ваше ОЖИДАНИЕ, Ваше "а вдруг" — самое ценное в Вашей книге и в Вашей жизни. <...> А книга Ваша настоящая. <...> Газданов, Ржевский писали неплохо, но, право, их можно и не читать. А Вас нужно читать» (ДРЗ. Ф. 54). Однако появившаяся в 109-м номере «Нового журнала» рецензия скорее огорчила Варшавского. В дневнике 3 февраля 1973 г. он запишет: «Пришла долгожданная рецензия Ю.П. Я был расстроен. Особенно в конце слова о "нудном унынии". Верно, это правда, но я был расстроен. Но как он не заметил главного: правдивости моего рассказа. И это рецензия друга. А рецензия от Фотиева еще не вышла. Опять всегдашняя мысль: почему мне так нужно одобрение людей... Я должен был бы горевать о другом, о черствости моего сердца, о том, что для того, чтобы написать что-то значительное, нужно испытать что-то большое, а из уязвленного и неудовлетворенного тщеславия ничего не создать, хотя здесь не только тщеславие, а желание диалога посредством книги» (Ионафан [дневник] // Там же).

Реакция Варшавского на рецензию Фотиева неизвестна. Скорее всего, он ею очень дорожил — об этом говорит большое количество фотокопий этого текста, хранящихся в личном архиве писателя. Сам же о. Кирилл стал не только автором отзыва, но и посредником в деле распространения романа, в том числе среди советских читателей. Так, в письме к Варшавскому от 23 ноября 1976 г. он писал о реакции своих друзей на роман: «...В.С. читают с напряженным вниманием представители совсем нового поколения... и с волнением раскрывают "избирательное сродство душ"... Какой это стимул для Вас, Владимир Сергеевич, писать и дальше в *Вашем*, а потому столь плодотворном "ключе"! Написанное Вами не пылится без дела на книжных полках — и, конечно, потому, что читателей не может не пленять то, что я в моей рецензии на Вашу книгу назвал "тайным прорастанием зерна добра", которое живо, которое не может исчезнуть!» (ДРЗ. Ф. 54).

---

[14] «Я с Вами привык к переписке идеологической...». Письма Г.В. Адамовича В.С. Варшавскому (1951–1972) / предисл., подгот. текста и коммент. О.А. Коростелева // *Ежегодник ДРЗ, 2010*. С. 339.

Не менее долгожданной для писателя была рецензия о. Александра Шмемана. Еще до выхода книги в свет, 10 декабря 1970 г. о. Александр писал Варшавскому: «В своей положительной части она уже не обращена к эмиграции, за отсутствием последней, а к России, где какие-то новые “мальчики” могут ее услышать. Я жду ее выхода, чтобы все это написать о ней и по ее поводу» (Там же). Однако в силу большой занятости Шмеман откладывал работу над отзывом. Сумбурная рецензия Иваска и молчание Шмемана оборачиваются для Варшавского пессимистичной саморефлексией, 6 февраля 1973 г. он записывает в дневнике: «Стараюсь думать во время бессонницы. Меня мучает: мне уж скоро 70, а признания все нет. Я и сам понимаю: у меня нет писательского дара, умения рассказывать, строить повествования, воссоздавать жизнь. Только стремление сосредоточиться и увидеть реальность более непосредственно. Я верил, что этого достаточно. Теперь сомневаюсь. <...> Как же я имею право тосковать от того, что у меня нет таланта, и от того, что я не получил признания, оттого, что *И.* написал плохую рецензию, а *А.* не написал совсем, хотя все обещает» (Ионафан [дневник] // Там же).

Владимира Варшавского не стало 22 февраля 1978 г., это событие подвигло Шмемана выполнить обещание, данное другу, не дождавшемуся при жизни рецензии на роман. 27 марта 1978 г. о. Александр сообщает вдове Т.Г. Варшавской: «Я пишу — по возможности, настоящую статью о нем, пишу, неизбежно медленно, но это для меня и радость, ибо как бы живу с ним. <...> Я уверен, и об этом-то я пишу — что В<ладимиру> С<ергееви>чу предстоит прорасти в русском сознании, в котором сейчас все замутнено криком, вульгарностью и болтовней» (ДРЗ. Ф. 54). Свой выбор периодического издания Шмеман объяснял так: «Я решил написать о В.С. в “Континент”. Я не безоговорочный поклонник этого журнала, но думаю, что для *дела* (дела В.С.!) это лучше по многим причинам. То, что я напишу, будет, я надеюсь, и некоторый “урок” им, т.е. “Континенту”, напоминание о той глубине, на которой раздумывал, жил, творил В.С. и которой им, т.е. “Континенту”, так определенно не хватает» (прот. А. Шмеман — Т.Г. Варшавской. 10 апреля 1978 г. // Там же). А в дневнике 26 апреля того же года зафиксирует: «Письмо от Максимова, в ответ на мое с предложением статьи о Варшавском. Очень дружественное. Моя статья — пишет — привлечет к “Континенту” новых читателей, которых-де у меня в России великое множество...»[15] Статья, действительно, создавалась медленно и была завершена только в июне, а в журнале появилась в самом конце года, в декабрьском номере. Татьяна Максимова, жена главного редактора «Континента», писала в связи с этой задержкой вдове писателя: «...так мне понятны Ваши волнения и переживания. <...> Статья о Владимире Варшавском и статья, написанная Александром Шмеманом, — это событие для журнала. И мы ждем вместе с Вами» (Т.В. Максимова — Т.Г. Варшавской. 29 ноября 1978 г. // Там же).

[15] *Шмеман А., прот.* Дневники, 1973–1983. М.: Русский путь, 2005. С. 429.

«Настоящую статью» об «Ожидании» трудно вписать в рамки только отзыва о романе. В сущности, это одно из самых глубоких суждений о феномене Варшавского и шире — о тайне «искания слов», о назначении творчества, о разности конструирующего сознания и человеческого опыта как основы художественного метода, о роли литературы русской эмиграции. Философская глубина постановки целого ряда вопросов выводит статью и за пределы посмертного панегирика. Скорее, это развернутое свидетельство объективного отношения к Варшавскому — писателю и человеку, которое Шмеман неизменно проявлял при жизни друга, что подтверждают дневники и письма о. Александра[16]. 28 сентября 1979 г. Шмеман запишет в дневнике: «Звонок на днях от Иваска. “Может быть, это нехорошо — так говорить, но мне кажется, что Варшавский жил только для Вашего некролога...” — “Однако, — говорю я ему, — и некролога ведь не было бы, не живи Варшавский и не будь тем, чем он был...”»[17]

[16] См.: Там же. С. 178, 321, 410, 425–426, 429, 475, 621. См. также об этом: *Васильева М.А.* «И насладимся общением, вечностью, всем, что не умирает...»: Материалы прот. Александра Шмемана в архиве Владимира Варшавского // *Ежегодник ДРЗ, 2012*. С. 283–290.

[17] *Шмеман А., прот.* Дневники, 1973–1983. С. 475.

## ПИСЬМА К ВАРШАВСКОМУ

1

А.М. Ремизов[1]

*10 сентября 1950 г. Париж*

10 IX 1950

Дорогой Владимир Сергеевич.

Спасибо. Двурогий[2] передал мне Вашу воинскую повесть. Чего не знаю, прочту с карандашом. Я не ошибки подчеркиваю. А где встречу не по-русски или жуж и жвачку и потом Вам все расскажу, когда пожелаете.

Тоже и о мыслях и об образах себе в науку.

*А. Ремизов*

«Окликающий голос» не обязательно к смерти. Гоголь слышал в детстве[3].

---

Впервые: Вокруг повести Владимира Варшавского «Семь лет». Письма В.С. Яновского, А.М. Ремизова, М.А. Алданова, Ю.П. Одарченко, Н.Н. Оболенского, Е.Д. Кусковой, Л.Д. Червинской, М.Л. Слонима, Е.Н. Федотовой / публ., подгот. текста и примеч. М.А. Васильевой, О.А. Коростелева // *Ежегодник ДРЗ, 2014–2015*. С. 221.

[1] Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957), выдающийся русский писатель первой волны эмиграции. Представитель старшего поколения, один из постоянных корреспондентов Варшавского. В переписке обсуждались, в частности, выпущенные Варшавским книги, которые тот исправно посылал Ремизову на прочтение.

[2] Ремизов так называл литературного критика и мемуариста Александра Васильевича Бахраха (1902–1985). (См. об этом: *Обатнина Е.* Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А.М. Ремизова в лицах и документах. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. С. 337.) Бахрах положительно отзывался о военной прозе Варшавского и принял деятельное участие в публикации повести, в письме к Т.Г. Варшавской он писал: «...помню его... сразу после возвращения из плена, когда я переписывал, вернее, перестукивал его детским почерком написанные "Семь лет"» (А.В. Бахрах — Т.Г. Варшавской. 4 марта 1978 г. // ДРЗ. Ф. 54).

[3] Сам Ремизов писал в книге «Сны и предсонье»: «Есть в "Старосветских помещиках" автобиографическое: полдневный окликающий голос. Этот голос услышал Афанасий Иваныч, вестник его смерти, слышит и Гоголь и в детстве и перед смертью, когда начнет свой подвиг: сожжет рукописи и откажется от еды» (*Ремизов А.* Огонь вещей: Сны и предсонье. Париж: Оплешник, 1954. С. 15).

2
Н.Д. Татищев[1]
*13 сентября 1950 г. Париж*

13.9. 50

Дорогой Володя, вернулся из отпуска и нашел твою книгу. Очень благодарю. Я высоко ценю твои писанья — не раз перечитывал (еще недавно) в «Новом Граде», напр<имер> статью о Боранецком[2] — все, что ты пишешь, вдумчиво, наблюдательно, серьезно. И особенно — правдиво. Редкий у нас случай — писать без эффектов.

Так что заранее предвкушаю удовольствие и пользу от «7ми лет». Кое-что уже знаю из этой книги — наберется 3 отрывка («Париж», «Дюнкерк» и «В плену» (43 г.)[3], которые появлялись в печати. Вообще «концлагерь» (изолированность и трагедия от невозможности глубокого общения с людьми, некий духовный эгоцентризм) — мне думается, твоя основная тема. Ты как бы всегда ищешь вокруг братьев, а находишь в лучшем случае приятелей, товарищей по несчастью — и в этом никто не виноват. Может быть, у A. Gide'a было то же самое, может быть, и у Достоевского (в «Мертвом доме» во всяком случае). Но тема последнего была не столько поиски братства, сколько тяга к покаянию: от «я ни в чем не виноват»[4] («Подполье») до «я развратил их всех»[5]. Обнимаю.

*Ник Татищев*

---

Публикуется впервые по оригиналу (ДРЗ. Ф. 54).

[1] Татищев Николай Дмитриевич (1902–1980), поэт, критик, постоянный корреспондент В.С. Варшавского, близкий друг Б.Ю. Поплавского, после смерти поэта — его душеприказчик и хранитель архива.

[2] Боранецкий Петр Степанович (ок. 1900 — не ранее 1965), философ, публицист, глава «народников-мессианистов» и главный идеолог пореволюционного журнала «Третья Россия» (Париж, 1932–1939). Варшавский интересовался его идеями «титанизма», или «прометеизма». Боранецкому он посвятил отдельную статью (см.: *Варшавский В.* «Третья Россия» («Орган осуществления нового синтеза») № 8 // Новый Град. 1938. № 13. С. 175–179), а также часть главы из книги «Незамеченное поколение» (1956). Также см. о нем: Наст. изд. С. 660–661.

[3] Татищев дает условные названия рассказам Варшавского, подразумевая под «Парижем» — «Уединение и праздность» (Числа. 1932. № 5. С. 51–76) или более поздний рассказ «Пролог» (Новоселье. 1950. № 42/44. С. 110–138), под «Дюнкерком» — «В крепости» (Новоселье. 1949. № 39/41. С. 50–70) и под рассказом «В плену» — «Прогулку в город (Рассказ военнопленного)» (Новоселье. 1946. № 24/25. С. 23–35) или «Командо» (Там же. 1947. № 35/36. С. 3–31).

[4] Скорее всего, имеются в виду следующие строки из повести Ф.М. Достоевского «Записки из подполья» (1864): «Да и вообще терпеть я не мог говорить: "Простите, папаша, вперед не буду", — не потому, чтоб я не способен был это сказать, а напротив, может быть, именно потому, что уж слишком способен на это бывал, да еще как? Как нарочно и влопаюсь, бывало, в таком случае, когда сам ни сном, ни духом не виноват. Это уже было всего гаже» (*Достоевский Ф.М.* ПСС: в 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 107).

[5] Цитируется «Сон смешного человека. Фантастический рассказ» Ф.М. Достоевского, впервые напечатанный в апрельском выпуске «Дневника писателя» 1877 г. (см.: *Достоевский Ф.М.* ПСС: в 30 т. Л.: Наука, 1983. Т. 25. С. 115).

3
И.Г. Савченко[1]
*22 сентября 1950 г. Париж*

Paris
22. 9. 1950

Дорогой Володя,

Только сегодня время позволило мне дочитать последние страницы твоих замечательных «Семи лет», и мне сразу же захотелось сказать тебе, что книга твоя не только исключительная по силе и яркости человеческого документа, но и подлинно большое художественное произведение. Если не знать, что Гуськов и автор одно и то же лицо, что это не мемуары «о себе», и рассматривать книгу как беллетристику, нужно признать, что «Семь лет» совершенно выдающееся художественное произведение, в котором автор обнаружил и изумительное портретное мастерство, и глубокое знание человеческой души, и литературную изысканность.

Да, дорогой Володя, этой книгой ты сразу вышел в литературу. Тебе не пришлось прокладывать дорогу мелкой сапой — пред тобой сразу же открылась заветная дверь. И по заслугам! Все в твоей грустно-трагической повести пленительно. Пленительная тревожная искренность, пленительная душевная чистота, завораживает подлинный героизм солдата (в котором я ясно чувствую каратаевское начало), чарует нежная привязанность к отцу...

Я всегда любил тебя, как младшего друга, после того как я совсем близко познакомился с тобой по твоей книге — моя любовь и привязанность к тебе еще более окрепли и как-то осмыслились.

Желаю тебе полного успеха, в котором не сомневаюсь.

Крепко тебя обнимаю.

Твой *И. Савченко*

---

Публикуется впервые по оригиналу (ДРЗ. Ф. 54). В верхнем левом углу письма помета зеленым карандашом (астериск) рукой Варшавского.

[1] Савченко Илья Григорьевич (1889–1961), есаул Кубанского казачьего войска, журналист, мемуарист, литературный критик, общественный деятель. С В.С. Варшавским был знаком еще по Чехословакии, куда эмигрировал в 1920 г. В Праге окончил Русский юридический факультет, был участником литературного кружка «Далиборка». В середине 1920-х перебрался в Париж, где сотрудничал в газете «Последние новости», в Русском офисе защиты русских беженцев и апатридов, был членом Русского национального комитета, Союза писателей и журналистов в Париже, Русского студенческого христианского движения (РСХД). В 1946 г. — генеральный секретарь Центрального комитета помощи русским беженцам.

4
В.С. Яновский[1]
*2 октября 1950 г. Нью-Йорк*

2 октября,
1950

Дорогой Варвар!

Спасибо за книгу, я ее успел прочитать еще до получения моего экземпляра: одолжил у наших общих друзей. Она здесь всем нравится. Поздравляю тебя с «издательским» крещением. В общем, я согласен с отзывом Адамовича[2] (в основном). Хотя писал он (и вообще пишет теперь) скучновато.

Книга мне очень нравится, хотя я почему-то ждал большего. Критические замечания... Во-первых, не равномерно: военным эпизодам, дроль дэ гэр[3], продолжавшимся полгода, посвящено 135 страниц, а плену — шесть лет — остальные 165. Военные страницы очень хороши и художественно переработаны, плен больше «смахивает» на документ, дневник. В плену много пропущено (именно, поскольку это «дневник»), многое не ясно, причесано. Где ваша сексуальная жизнь? Именно от тебя я ждал «документа» в этом смысле[4]. Раздражают портреты: описания наружности, одежды, литые персонажи, «типы» (и это под формой дневника?). Я не верю твоим портретам, ибо вижу, как ты описывал известных мне людей. Наши собрания вышли куцовато[5], служат тебе только разбегом (а тез)[6]. Мануша[7] не полный, профессор писал также о Пассионарии с энтузиазмом[8], Полянский (если это я?) не говорил таких преступных пошлостей о христианстве и страдании и, наконец, Вильде елейный[9]. (Ты помнишь, принимая его в содружество, мы даже обсуждали вопрос — не «шпион» ли он.) Типов нет. Это все было сложнее и не так «пластично» (по Алданову или Толстому, как хочешь, ибо и в Толстом есть Алданоизмы). Велик Толстой своей беспрестанной борьбой за самоулучшение. Но и в этом ты не дорастаешь до Толстого. Эпизод, где ты, смакуя, занимаешься психологией: когда убивают Раймонда и твой герой не может выжать из себя сочувствия и жалости... это нарциссизм. Толстой бы либо любил его, либо взмолился бы о даровании другой природы. Ведь молился же ты, когда голодал или при смертельной опасности. А тут не взмолился.

Это моя критика. Надеюсь, ты не рассердишься. Лучший эпизод, мне кажется, как вы выползаете назад из-под бомб, это можно в хрестоматию.

В нашем журнале 3[й] час я постараюсь написать заметку о тебе (по-английски), если Извольская изволит[10].

1) Перешли, пожалуйста, мне письмо Прегель[11]!

2) Сообщи адрес Адамовича[12]!

Жму руку. Пиши.
*В. Яновский*

---

Впервые: *Ежегодник ДРЗ, 2014–2015*. С. 218–221.

Авторизованная машинопись с дописками от руки черными чернилами (дата, последние три абзаца и подпись на обороте). В верхнем левом углу письма помета зеленым карандашом (астериск) рукой Варшавского.

[1] О В.С. Яновском см.: Наст. изд. С. 554.

[2] Имеется в виду рецензия: *Адамович Г.В.* «Семь лет» // Новое русское слово. 1950. 1 окт. № 14037. С. 8. Также см.: Наст. изд. С. 716–719.

[3] От drôle de guerre (*фр.*) — странная война.

[4] Некоторые критики, наоборот, отмечали переизбыток физиологичности, см., например, отзыв Н. Андреева на следующую публикацию В.С. Варшавского о войне: «“Дневник художника” Вл. Варшавского — полная противоположность романтизму Косача. У Варшавского — наблюдательный глаз, ряд картин и образов, иногда неприятных из-за откровенной физиологичности, сами по себе подтверждают, как и его повесть “Семь лет”, одаренность писателя. Но центр тяжести его прозы в самоанализе героя: мыслей, чувств, ощущений, поступков, даже снов, т.е. в том сознательном разложении спектра человеческой психологии на составные элементы, которое утвердилось у некоторых западных прозаиков после Первой мировой войны и которое отразилось у нескольких эмигрантских авторов и нередко с проблематичным успехом. В данном случае — “Дневник” оправдывает своей формой эту манеру. Часто раздражающую отсутствием “стержня”, но удобно включающую в себя зачатки самых разнообразных жанров и “первозданный хаос” авторского “сырья” всех видов» (*Андреев Ник.* Заметки о журналах («Возрождение» 25, 26; «Грани» 16; «Новый журнал» XXXI, XXXII) // Русская мысль. 1953. 13 мая. № 553. С. 4–5; 16 мая. № 554. С. 4–5).

[5] О парижском религиозно-философском объединении «Круг» см.: Наст. изд. С. 553.

[6] От à thèse (*фр.*) — тезисно, тенденциозно.

[7] Об Илье Исидоровиче Фондаминском (прототипе Кладинского) см.: Наст. изд. С. 553.

[8] Речь идет о Георгии Петровиче Федотове, который действительно писал о Пассионарии (Долорес Ибаррури, Ibarruri; 1895–1989). См., в частности: *Федотов Г.П.* Пассионария // Новая Россия. 1936. № 14. С. 14–15. Яновский имеет в виду, что реальный Федотов не вполне соответствовал тому образу, который был запечатлен в книге Варшавского. Подробнее о Г.П. Федотове см.: Наст. изд. С. 554.

[9] О Борисе Владимировиче Вильде (прототипе Вани Иноземцева) см.: Наст. изд. С. 555.

[10] Экуменический журнал «Третий час» (Нью-Йорк, 1946–1976) был основан писательницей, переводчицей, основательницей одноименного экуменического общества Еленой Александровной Извольской (в монашестве Ольга; 1896–1975). Круг имен, представленных в журнале, был достаточно широк: Симона Вейль, Эдит Штейн, мать Мария, Пьер Тейяр де Шарден и др. Одним из авторов был также Василий Яновский. О журнале см.: *Яновский В.* «Третий час» Елены Извольской // Время и мы. 1995. № 127. С. 235–241.

[11] Неизвестно, о каком письме упоминает Яновский. Варшавский познакомился с писательницей Софией Юльевной Прегель (1897–1972) в Париже, куда она переехала в первой половине 1930-х гг. В период немецкой оккупации Прегель перебралась в Нью-Йорк, где вместе с М.Л. Слонимом основала журнал «Новоселье» (1942–1950). Как редактор журнала приняла самое активное участие в творческой судьбе Варшавского, опубликовав в «Новоселье» пять его рассказов, вошедших потом в повесть «Семь лет» (об истории публикаций см.: Наст. изд. С. 552). О рассказе «Прогулка в город...» она писала Варшавскому: «Ваш рассказ получила в день отъезда. И уже здесь прочла его с огромным вниманием. Вы представить себе не можете, как Вы меня порадовали (если такая страшная, обнаженная правда может радовать, слово неподходящее)... Вы, пожалуй, единственный из зарубежных писателей, кот<орым> до конца удаются советские люди — никакой фальши, никакого штампа, — несмотря на то, что рассказ длинноват, сокращать его не буду...» И в том же письме замечала: «“Младший лейтенант Данилов” имел настоящий успех. До сих пор есть отклики”» (4 июля 1946). О рассказе «Командо» Прегель в письме к Варшавскому от 31 марта 1947 г. отзывалась так: «Вещь большой силы. Огромного напряжения. “Голод” описан лучше, чем у Гамсуна» (ДРЗ. Ф. 54).

[12] В 1950 г. Г.В. Адамович начал преподавать в Англии, сперва в Оксфорде, остановившись на первое время по адресу: Wellington Hotel, 2, Wellington Square, Oxford, затем в Манчестере. Возвращаясь из Англии в Париж на каникулы, он с января 1950 по декабрь 1954 г. останавливался на квартире мадам Фруэн (53, rue de Ponthieu, Paris 8[e]). Адрес Яновский, судя по всему, получил и Адамовичу написал, впервые после нескольких лет перерыва. 21 ноября 1950 г. Адамович ему ответил, извиняясь, что «с большим опозданием» (именно с адреса 53, rue de Ponthieu), и, в частности, написал: «Насчет Варшавского Вы не правы. Хорошая книга. Я рад не без гордости его успеху. Я, кажется, один отста-

ивал его, когда все над ним смеялись» (Адамович Георгий. Письма Василию Яновскому. Письма Роману Гринбергу / публ. и примеч. Вадима Крейда и Веры Крейд // Новый журнал. 2000. № 218. С. 125).

5
Н.Н. Оболенский[1]
*12 октября 1950 г. Париж*

12–X–50

Дорогой Владимир Сергеевич!

Я по совести не мог Вам писать, не прочтя Вашей книги, а обстоятельства сложились так, что до последнего времени прочесть ее я не мог.

Прочтя, пишу Вам. Во-первых, сердечное спасибо за внимание и подарок тем более ценный, что я не сумел быть Вам полезным и найти подписчика (не говорю подписчиков).

Читал я книгу *с волнением*. Вы честно и просто рассказали о переживаниях своих, без «авантажных поз», без желания выдать себя за героя. Скромно и сдержанно написанные страницы вызвали во мне воспоминания «моей войны», заставили меня пережить их с новой силой. Значит, написаны они не только честно и правдиво, но и талантливо. Талантливо, потому что атмосфера всей нашей войны передана такой, какой она была в действительности, с убедительностью такой, что кажется, сам был в овраге, лежал под обстрелом на поле, отсиживался в крепости. Думаю, что никто из наших соратников русских эмигрантов, добровольно пошедших защищать Францию, считая, что это наш прямой долг благодарности и чести, от Вашей книги не отречется.

Я с Вами сравнительно близко знаком, чему искренне радуюсь. Работа в Amicale Русских эмигрантов участников Войны в рядах Французской армии[2] дала мне возможность ознакомиться с Вашим боевым досье. Оно сделало бы честь любому из нас. Ваша Croix de guerre[3] лучшее свидетельство доблести боевой и честной и верной службы стране, которую мы защищали и за которую если не сложили головы, то не по нашей, а по Божьей Воле.

Мне, следовательно, были понятны Ваши переживания и желание подвига. Более интересно мнение одного Писателя[4], я нарочно пишу с большой буквы, т.к. отношусь к нему с глубоким уважением и как к писателю, и как к человеку, Писателя, мало или совсем Вас не знающего, с которым мы говорили о Вашей книге. Вот приблизительно его слова: «За этими строками вырисовывается фигура автора, вызывающая к себе расположение как своей душевной настроенностью, так и своим желанием подвига и доблести».

Мне хотелось бы загладить свою вину перед Вами и распространить книгу среди некоторых из моих знакомых. Если у Вас есть авторские экземпляры и Вы можете мне дать 2–3 месяца срока, я, конечно, помещу 5–6 экземпляров к таким лицам, которые их в магазине не купят.

Крепко и дружески жму Вашу руку.

Искренне Ваш *Н. Оболенский*

---

Впервые: *Ежегодник ДРЗ, 2014–2015*. С. 226–227.

В верхнем левом углу письма помета зеленым карандашом (астериск) рукой Варшавского.

[1] Оболенский Николай Николаевич, князь (1905–1993), поэт, генеалог, кавалер ордена Почетного легиона (1965). Окончил Специальную военную школу в Сен-Сир и Свободную школу политических наук. Во время Второй мировой войны, не будучи французским гражданином, поступил добровольцем в армию, был лейтенантом 21-го маршевого полка Иностранного легиона. О нем Варшавский так писал в книге «Незамеченное поколение»: «Молодой эмигрантский поэт Н.Н. Оболенский служил во время войны офицером в одном из маршевых полков Иностранных добровольцев, был тяжело ранен и за боевые заслуги награжден военным крестом.

И вот несут, глаза в тумане
И в липкой глине сапоги,
А в левом боковом кармане
Страницы Тютчева в крови.

Эти автобиографические стихи Оболенского рисуют очень русский “тургеневский” образ молодого эмигрантского человека, отправляющегося на войну за свободу с томиком Тютчева в кармане» (*Незамеченное поколение, 2010*. С. 262–263).

[2] Об участии русских эмигрантов в Ассоциации резервистов французской армии (Amicale des réservistes de l'Armée française) см.: Amicale des réservistes de l'Armée française. Paris: [s.n.], [19–]; *Алексинский В.И.* Несколько слов о русских добровольцах в рядах «Войск свободной Франции» // Вестник русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции. 1947. № 2. С. 23–27; см. также: Amicale des Anciens de la 1ère Division Française Libre [Электронный ресурс]. URL: http://1dfl.jimdo.com/

[3] Croix de guerre — Военный крест за боевые заслуги, французская военная награда. О награждении В. Варшавского см.: Наст. изд. С. 571.

[4] О ком идет речь, установить не удалось.

## 6

## Е.Д. Кускова[1]

*24 октября 1950 г. Женева*

Génève, le 24/X 1950

Глубокоуважаемый Владимир Сергеевич!

Только вчера позавидовала Бор<ису> Ар<кадьевичу> Членову[2], кот<орый> с увлечением читает Вашу книгу. Обещал дать, когда прочтет. Но милый старичок наш читает медленно и надо долго ждать. А сегодня утром получила подарок прямо от Вас. Примите мою душевную благодарность и за книгу, и за память. Желаю Вам «следующих томов», — теперь так мало пишущих!

Как только прочту ее, напишу Вам, а быть может, и в «Н<овое> р<усское> с<лово>». Сегодня же прочла о книге рецензию Адамовича (в «Н<овом> р<усском> с<лове>»)[3]. Оговариваюсь, что книги еще не читала, но рецензия показалась мне сухой и вялой. Это, может быть, происходит от его собственного настроения: травят этого человека... Он еще к этому не привык[4].

Много лет мы жили в Праге с Вашим отцом[5]. Недружно жили. Очень мы разные, и вовсе не по политическим убеждениям. Иногда ссорились даже очень остро. А вот сейчас с большой радостью послала бы ему приветы.

О нем как-то не удавалось что-нибудь услышать. По Вашим сведениям он работал при универ<ситетской> библиотеке[6]. Вряд ли это возможно: к таким публичным учреждениям б<ольшеви>ки на выстрел не пускают сосланных. Даже П.Н. Савицкий долгое время работал на лесоповалах в Тамб<овской> губ<ернии>[7]. И только недавно вместе с И.П. Нестеровым[8] и Николаевым[9] допущен к агрономическим работам при колхозах на Волге. От одного чешского коммуниста слышала, что А<льфред> Люд<вигович> Бем расстрелян в Пражской тюрьме через час же после ареста и в Россию не был отправлен[10]. Его семье я недавно отправила посылки, как и семье П.Н. Савицкого (от Литер<атурного> фонда). Получила от них ответ: все дошло быстро. Плохо С.П. Постникову[11]. Он томится на севере около Архангельска и зимой очень страдал от холода. Попытки через русское посольство в Праге отправить ему теплую одежду ни к чему не привели.

Как живете? Над чем-нибудь работаете? Очень хорошо, что удалось выпустить книгу, теперь русским писателям печататься почти нет возможности.

С приветом и лучшими пожеланиями

*Ек. Прокопович (Кускова)*

---

Впервые: *Ежегодник ДРЗ, 2014–2015*. С. 227–230.

В верхнем левом углу письма помета зеленым карандашом (астериск) рукой Варшавского.

[1] Кускова Екатерина Дмитриевна (в замужестве Прокопович; 1896–1958), политический и общественный деятель; после высылки из России в 1922 г. сначала поселилась в Берлине, затем в 1924 г. переехала в Прагу, где играла видную роль в политической жизни русской эмиграции. В 1939 г. после немецкой оккупации Чехословакии перебралась в Женеву. Один из активных участников полемики в эмигрантской прессе, развернувшейся вокруг книги Варшавского «Незамеченное поколение» (1956).

[2] Членов Борис Аркадьевич (1864–1952), врач-терапевт, общественный деятель, основатель и руководитель санаториев в Швейцарии.

[3] См. письмо 4, примеч. 2.

[4] В 1945–1949 гг. Адамович сотрудничал в газете «Русские новости», которая основывалась как продолжение милюковских «Последних новостей», однако на фоне массового послевоенного «покраснения» эмиграции придерживалась линии на «стирание граней», причем с годами просоветская ориентация газеты проявлялась все больше. В конце 1949 г. вместе с А. Бахрахом, В. Татариновым и др. Адамович прекратил сотрудничество в «Русских новостях» и начал печататься в «Новом русском слове», что в эмиграции некоторыми было воспринято как своеобразная «смена вех». Впрочем, очень сильно это раздувать не стали, и «травля» ограничилась несколькими статьями и кулуарными разговорами, которые вскоре затихли, так как Адамович в 1950 г. уехал в Англию преподавать в университете.

[5] О пражской части жизни С.И. Варшавского см.: Наст. изд. С. 542–543; см. также: *Васильева М.А.* Семья Варшавских в Праге // Русская акция помощи в Чехословакии: История, значение, наследие / сост. Л. Бабка, И. Золотарев. Прага: Национальная библиотека ЧР — Славянская библиотека; ГО «Русская традиция», 2012. С. 301–308.

[6] Те же сведения Варшавский приводит в повести «Семь лет» и в романе «Ожидание» (см.: Наст. изд. С. 252).

[7] Савицкий Петр Николаевич (1895–1968), экономист, географ, социолог, один из основателей и лидеров евразийства. В 1920 г. эмигрировал в Константинополь, затем переехал в Софию, в конце 1921 г. — в Чехословакию. В Праге стал приват-доцентом Русского юридического факультета, преподавал в Русском народном университете и других высших учебных заведениях. В 1927 г. тайно посещал СССР, доверившись организаторам легендированной операции «Трест». Во время Второй

мировой войны занимал активную антинацистскую позицию, за что был арестован гестапо. После освобождения Праги в 1945 г. был арестован советскими органами и, получив восемь лет лагерей за контрреволюционную деятельность, отбывал наказание в Дубровлаге (Мордовия), затем был переведен в Подмосковье. В 1956 г., после реабилитации, вернулся в Прагу.

[8] Нестеров Иван Петрович (1887–1960), общественно-политический деятель, эсер, в 1917 г. гласный Минской городской думы, делегат II Всероссийского съезда Советов РСД. Участник заседания Учредительного собрания. В 1918 г. один из организаторов Комуча. В конце декабря 1919 — начале января 1920 г. как один из руководителей вооруженных сил эсеров участвовал в свержении власти А.В. Колчака в Иркутске. Эмигрировал в Чехословакию, в эмиграции — один из организаторов Русского заграничного исторического архива в Праге. В 1945 г. депортирован в СССР. В 1956 г. освобожден из заключения и вернулся в Чехословакию. См. о нем: *Серапионова Е.П.* Российская эмиграция в Чехословацкой республике (20–30-е годы). М.: ИСБ, 1995. С. 69, 110, 133; *Протасов Л.Г.* Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М.: РОССПЭН, 2008. С. 351–352.

[9] Николаев Семен Николаевич (1880–1976), общественно-политический деятель, эсер. В 1909 г. выслан в Енисейскую губернию. В 1918 г. — заведующий чувашским подотделом губкомпроса; секретарь Комитета Комуча; был арестован колчаковцами в Уфе. Затем — судебный чиновник во Владивостоке, член Учредительного собрания Дальневосточной республики. С 1922 г. жил в Чехословакии, заведовал Русской библиотекой в Праге. В 1945 г. депортирован в СССР. С 1946 г. находился в ГУЛАГе, сослан в Красноярский край, освобожден в 1957 г., вернулся в Чехословакию. О нем см.: *Протасов Л.Г.* Люди Учредительного собрания... С. 352–353.

[10] Бем Альфред Людвигович (Алексей Федорович; 1886–1945?), историк литературы, литературный критик, общественный деятель. С 1919 г. в эмиграции, в 1922 г. обосновался в Праге. Секретарь Русского педагогического бюро, редактор его бюллетеней. Организатор и руководитель Семинария по изучению Достоевского (1925–1933), литературного объединения «Скит поэтов» (1922–1939). Преподавал русский язык в Карловом университете (1922–1939), а также был преподавателем в ряде других университетов Праги. Один из лидеров Крестьянской партии. В 1932 г. защитил докторскую диссертацию в Немецком университете. В последние месяцы оккупации работал библиотекарем в Фонде Гейдриха. После прихода в Прагу Красной армии был арестован 16 мая 1945 г. Точная дата и обстоятельства смерти не уточнены и обросли версиями, одну из которых и выдвигает Е.Д. Кускова. По другим версиям, после ареста Бем покончил с собой или умер по дороге в Россию или в одном из советских лагерей. О последних разысканиях по этой теме см.: *Нечаев В.П.* К вопросу о гибели А.Л. Бема // А.Л. Бем и гуманитарные проекты русского зарубежья / сост. и науч. ред. М.А. Васильевой. М.: Русский путь, 2008. С. 333–338. (Библиотека-фонд «Русское зарубежье»: Материалы и исследования; вып. 9).

[11] Постников Сергей Порфирьевич (1883–1965), общественно-политический деятель, эсер. В 1913 г. входил в Петербургский совет рабочих депутатов. С 1914 г. работал в Союзе городов. В 1917 г. гласный Петроградской думы; секретарь редакции «Дела народа», делегат III съезда Партии социалистов-революционеров; участник заседания Учредительного собрания. В мае 1918-го — делегат VIII Совета ПСР. В 1921 г. эмигрировал в Финляндию, затем жил в Берлине, Праге. Один из основателей Русского заграничного исторического архива, составитель «Библиографии русской революции и гражданской войны» (1938). В 1945 г. депортирован из Чехословакии в СССР, сослан на пять лет в Североуральск. В 1957 г. вернулся в Чехословакию. О нем см.: *Протасов Л.Г.* Люди Учредительного собрания... С. 366.

## 7
## В.В. Луи[1]
*2-я половина 1950 г. Париж*

Дорогой Владимир Сергеевич.
Спасибо за Вашу внимательность и Вашу книгу.

Благодарю после внимательного прочтения. Получил искреннее удовольствие от простоты формы, правдивости изложения и искренности самоанализа.

Когда встретимся, поговорим подробнее. Очень рад, что Вам удалось запечатлеть страничку истории художественно и правдиво.

Бедный Сергей Иванович. Помню его еще с Гранатного переулка на Спиридоновке. Вы жили в доме Армянских, а я окна в окна в доме г. Бобринского[2].

Да и в Праге я его видал каждый год и ко мне в Берлин по делам приезжал он пару раз.

Бог даст — жив!!!

Я даже в этом совершенно уверен, если не расстреляли на месте, то там им интеллигенты и культурные работники нужны.

Крепко жму руку и буду рад, если в одно из воскресений соберетесь ко мне.

Сообщите, пожалуйста, Ваш адрес.

Жму руку *В. Луи*

---

Публикуется впервые по оригиналу (ДРЗ. Ф. 54). Письмо на именном бланке: «Dr Victor Louis. Représentant de commerce et le directeur de la société Louis & Menou» с адресом в правом верхнем углу: «Paris, le 20 bis rue Pétrarque. Tél. Kléber 30-49». Письмо написано дореволюционной орфографией. Датируется по содержанию.

[1] Скорее всего, автор письма — Виктор Викторович Луи (1913–?), российский эмигрант, инженер-химик. Родился в Москве, в эмиграции проживал некоторое время во Франции, в 1951 г. переехал в Кёльн. Он нем также известно, что в 1948–1961 гг. он входил в масонскую ложу Лотос. Был также членом Великой Ложи Франции. См. о нем: *Серков А.И.* История русского масонства после Второй мировой войны. СПб.: Изд-во Н.И. Новикова, 1999. С. 152, 154, 163.

[2] Главный корпус усадьбы графов Бобринских находился по адресу: Москва, Гранатный пер., д. 1.

## 8

М.А. Алданов[1]

*27 октября 1950 г. Ницца*

27 октября 1950

Дорогой Владимир Сергеевич.

Очень прошу извинить, что только теперь пишу Вам о Вашей книге. Я прочел ее с чрезвычайным интересом, в два присеста, и всецело присоединяюсь к оценке, сделанной в «Н<овом> р<усском> слове» Г.В. Адамовичем[2]. Все же, если позволите, сделаю серьезную оговорку. Я считаю и всегда считал неподходящим делом выводить под прозрачными или не-прозрачными псевдонимами живых или недавно умерших людей, даже в таких случаях, когда автор о них ничего дурного не говорит. Знаю, что есть знаменитые прецеденты и что некоторые писатели смотрят на это иначе. Но таково мое мнение. Спорить, конечно, не будем, тем более что книга уже напечатана. Повторяю, книга Ваша написана талантливо, и я желаю ей большого успеха. Надеюсь, что она продается хорошо в наших эмигрантских масштабах[3].

Так Вы собираетесь в Америку. Верно, Вам обещан тот или другой вид заработка. Я слышал, что туда уехала или уезжает Берберова[4]. Не знал, что уезжает Игорь Чиннов[5]. Понимаю, как тяжело покидать Париж. Трудно любить этот город больше, чем люблю его я.

Наши планы на ближайшее время еще не определились.

Татьяна Марковна[6] и я шлем Вам сердечный привет и лучшие пожелания.

*Ваш М. Алданов*

---

Впервые: *Ежегодник ДРЗ, 2014–2015*. С. 222–223.

Авторизованная машинопись. В верхнем левом углу письма помета зеленым карандашом (астериск) рукой Варшавского.

[1] Алданов Марк Александрович (наст. фам. Ландау; 1886–1957),, писатель; прозаик и эссеист, постоянный корреспондент Варшавского, активно поддержал писателя после его возвращения из плена, в том числе и посылками из Нью-Йорка, а также как посредник в продвижении публикаций.

[2] См. письмо 4, примеч. 2.

[3] Марк Алданов принимал участие в развернутой Владимиром Варшавским кампании по сбору средств на издание повести «Семь лет», его подпись в поддержку издания стоит на одном из коллективных писем рядом с подписями И.А. Бунина и В.А. Маклакова (ДРЗ. Ф. 54). Друзья Варшавского также активно участвовали в организации предварительной подписки на издание. 4 октября 1949 г. Г.В. Адамович писал М.А. Алданову: «У меня к Вам две просьбы. Не от себя лично, а от людей, которые просят меня “замолвить слово” за них перед Вами. Первый из этих людей — Влад<имир> Серг<еевич> Варшавский, который стесняется сам Вам о своем деле написать. Он закончил свой роман и мечтает о его издании. Мария Самойл<овна> Цетлина обещала просить Зайцева рекомендовать его в ИМКУ, но ничего не сделала. Да и надежды на успех мало. Он хочет собрать деньги по предварительной подписке и уже кое-что сделал в этом отношении во Франции. У него есть тут преданные ему друзья, которые ему помогают. Деньги должны поступать не ему лично (во избежание неизбежных предположений, что он их растратит и ничего не издаст), а лицу, которое он укажет — вероятно, М.Л. Кантору. Вон он и спрашивает, не могли ли бы ему как-либо помочь в Америке: указать лицо, к которому обратиться, написать кому-нибудь и т.д.? Или Вы считаете это дело для себя неприемлемым и вообще безнадежным? Я откровенно сказал В<ладимиру> Серг<ееви>чу, что не знаю, как Вы к его просьбе отнесетесь. Он пока просит *только совета*, и всякое Ваше указание будет ему очень ценно» («...Не скрывайте от меня Вашего настоящего мнения...»: Переписка Г.В. Адамовича с М.А. Алдановым (1944–1957) / предисл., подгот. текста и коммент. О.А. Коростелева // *Ежегодник ДРЗ, 2011*. С. 337). О процессе подготовки повести «Семь лет» к публикации см. также: *Васильева М.А.* О военной прозе Владимира Варшавского // *Ежегодник ДРЗ, 2014–2015*. С. 206–217; *Хазан В.* «Семь лет»: история издания. Переписка В.С. Варшавского с Р.Н. Гринбергом // Новый журнал. 2010. № 258. С. 177–224.

[4] Писательница Нина Николаевна Берберова (1901–1993) прибыла в США в середине ноября 1950 г., преподавала русский язык и литературу в Йельском (1956–1963) и в Принстонском университетах (1963–1971). См.: *Демидова О.* Американский опыт Нины Берберовой // Космополис. 2007. № 2 (18). С. 11–23.

[5] Скорее всего, поэт, эссеист Игорь Владимирович Чиннов (1909–1996) планировал уехать из Парижа уже в 1950 г., однако сделал это только в 1953 г. Сперва он перебрался в Мюнхен, где работал на радиостанции «Освобождение» («Радио Свобода»), а затем в 1962 г. переехал из Германии в США. Также см. о нем: Наст. изд. С. 665.

[6] Алданова Татьяна Марковна (урожд. Зайцева; 1893–1968); жена М.А. Алданова.

9
Ю.П. Одарченко[1]
*29 октября 1950 г. Ванн*

Vannes le 29 octobre 50

Дорогой Владимир Сергеевич,

спасибо Вам за присланную книгу, которую передала мне Ваша сестра[2]. Читаю я с большим трудом и очень медленно. Потому и пишу Вам только теперь. Но в том, что чтение мне дается нелегко, есть своя прелесть — я безошибочно угадываю с первых страниц — хороша ли книга или плоха. Не сочтите мое признание за бахвальство. Я болен, и болезнь моя это что-то вроде барометра. Я не могу прочесть одну главу плохой книги — дикая ярость обуревает мною. Если есть столь желаемая Вами потусторонняя жизнь, то, наверное, есть и ад. Я очень страшусь, что в аду черти обложат меня творчеством эмигрантских писателей и, под страхом пытки раскаленным железом, заставят меня читать. Недавно из уважения к моему приятелю З.[3] я решил прочесть хоть одну из его книг, и вот, читая, пришлось ковырять ногу ржавым гвоздем, чтобы не заснуть!

С большим удовольствием я прочел Вашу книгу «Семь лет». Не хватает очень малого в ней, чтобы назвать ее отличной книгой. Подход к Вашей книге: «...да, но до него было обо всем этом написано так много замечательного»... — неправильный. Во-первых, в Вашей книге написано много замечательного. А во-вторых, в таких боевых книгах, как «Капут» Малапартэ[4], — сплошь брехня, тогда как у Вас — все правда. Но самое главное то, что Вы вовсе и не стремитесь чем-то поразить читателя, а рассказываете о внешних событиях в связи с Вашими личными переживаниями, которые и являются основой Вашей книги. Надежда Александровна Тэффи (не читая Вашей книги) возразила мне так: «ну а если переживания автора никому не интересны?» Для меня интерес и ценность книги именно в Ваших личных переживаниях, в их несомненной искренности и духовной чистоте их.

Одна из лучших книг, прочитанных мною за последние десять лет, это «Этранжэ» Камю[5]. Чем-то Ваша книга напоминает мне Камю. На 233 странице у Вас сказано так: «Я надеялся, что бившие по деревне снаряды меня не тронут: это было бы несправедливо, не по логике — ведь я только свидетель, а не участник происходящего». В сущности, эти слова приложимы ко всей Вашей книге. Духовно развитый человек уже не может быть участником происходящего вокруг него ужаса. Он может быть или пророком, или до времени «только свидетелем происходящего». Те места Вашей книги, где Вы пытаетесь сделать из себя участника, слабее тех страниц, где Вы всего лишь свидетель. Сёрен Киркергардт так начинает одну из своих книг: прошу оставить меня в покое, а когда начнется Ваше очередное безобразие, то прошу предупредить меня барабанным боем под окном — когда и в какое рекрутское бюро мне надо идти записываться[6].

Совершенно ясно из Вашей книги, что Вы совершенно не осознаете, какую огромную работу Вам удалось проделать: написать большую серьезную книгу в эмиграции почти невозможно, да и вообще трудно. О, как трудно! Поздравляю Вас сердечно!

На слова Берберовой не обижайтесь[7]. Критику ее всерьез принимать нельзя. В ее книгах есть такие перлы: «она вошла в комнату — на диване лежал труп, с которым она провела все свое детство», или: «он нажал на акселератор и машина резко застопорила». Посудите сами — разве такое вяжется с поучительным тоном ее глупых рецензий?

Г. Иванова можно не любить, но нельзя отрицать в нем чуткого критика. Он написал о Вашей книге похвальную статью[8].

Перечел письмо. Не очень ясно, почему я заговорил о Камю. Отрешенность от жизни — это острый вопрос для всего поколения XX века... Но это обширная тема, о которой можно много сказать. Вот у Адамовича, несмотря на все его интеллигентское развитие, этой отрешенности нет. Предложите ему прочесть лекцию на эту тему! Если вздумается — зайдите как-нибудь вечерком, я всегда дома.

Да хранит Вас Господь милосердный.

*Юрий Одарченко*

---

Впервые: *Ежегодник ДРЗ, 2014–2015*. С. 223–225.

Авторизованная машинопись с дописками от руки простым карандашом (место, дата, последний абзац на правом поле письма). В верхнем левом углу письма помета зеленым карандашом (астериск) рукой Варшавского.

[1] Одарченко Юрий Павлович (1903–1960), поэт, прозаик, литературный критик, дизайнер. В 1920 г. эмигрировал с родителями во Францию. Жил в Ницце, затем переехал в Париж. Учился в Художественном училище. В 1934 г. основал в Париже ателье дамской моды, как дизайнер сотрудничал с крупными европейскими фирмами. В 1938 г. организовывал в своем доме литературные собрания и концерты. С 1930 г. занимался живописью. Печататься начал в 1940-е гг. Член Союза русских писателей и журналистов. В качестве соредактора участвовал в выпуске литературного альманаха «Орион» (1947). При жизни выпустил единственный сборник стихов «Денёк» (1949). В 1950 г. в Объединении русских писателей и поэтов провел свой вечер. Покончил жизнь самоубийством.

[2] Варшавская Наталья Сергеевна (в замужестве Фиалковская; 1903–1990), сестра В.С. Варшавского, в свою очередь, очень высоко оценила «Семь лет». В недатированном письме к брату и матери Ольге Петровне Норовой она заметила, что повесть — «эссенция, похожая на исповедь человека, который знал и почти перешел черту жизни и смерти». «Из всего, что я читала о войне, — продолжала она, — это можно сопоставить предсмертному письму Дикого, где только обнаженная душа человека уже перед смертью. Володя не выдумывает, как бы чувствовали другие, страх смерти и т.д. (это мог бы написать только гений Толстой), а он взял себя — простого человека и описал беспощадно себя и свои чувства, и поэтому книга производит потрясающее впечатление правдивости и вот почему она сейчас же заставляет думать о Толстом» (ДРЗ. Ф. 54).

[3] Возможно, имеется в виду Л.Ф. Зуров.

[4] Книги «Капут» (1944) и «Шкура» (1949) итальянского писателя и журналиста Курцио Малапарте (Malaparte; наст. имя и фам. Курт Эрих Зуккерт, Suckert; 1898–1957) описывают военные действия на Восточном фронте, куда писатель отправился в качестве корреспондента газеты «Коррьере делла Сера» («Corriere della Sera»).

[5] От «L'Etranger» (*фр.*) — «Посторонний», название повести французского писателя Альбера Камю (Camus; 1913–1960), вышедшей в 1942 г. в парижском издательстве «Галлимар» («Gallimard»).

На русском впервые вышла в переводе Г.В. Адамовича: *Камю А.* Незнакомец (L'etranger) / пер. Г. Адамовича. Paris: Editions Victor, [1966].

[6] Кьеркегор Сёрен Обю (Киркегаард; Kierkegaard; 1813–1855), датский философ и писатель, протестантский теолог. Источник цитаты установить не удалось.

[7] Одарченко имеет в виду разгромную рецензию Нины Берберовой «Новые книги ("Семь лет" В. Варшавского)» (Русская мысль. 1950. 11 окт. № 283). См. также: Наст. изд. С. 719–721.

[8] Такой статьи Г.В. Иванов не опубликовал.

## 10
## А. Мазон[1]
*18 ноября 1950 г. Париж*

Коллеж де Франс
19 ноября 1950
Авеню де Сюфрен, 140,
Париж (15-й округ)

Месье,

Воспоминания «Семь лет», которые Вы любезно отправили мне, подвигли меня на самое захватывающее и эмоциональное чтение из всего того, что мне доводилось читать на протяжении многих месяцев. Представленное Вами свидетельство о мыслях и чувствах русского эмигранта во время гуманитарных потрясений, которые мы только что пережили — и которые мы все еще переживаем, — будет не менее впечатляющим для французского читателя, чем для русского. Сколько образов нашей страны — и Вашей, сколько ярких проблесков благодаря Вашему чувству человечности! Мне бы хотелось, чтобы обычный француз мог прочесть хотя бы несколько глав Вашей книги, дабы понять, что пережил и что чувствовал Русский, укорененный во Франции[2], — призванный в армию, военнопленный, нашедший своих [соотечественников] такими, какими они стали, все еще великодушными, но уже не осмеливающимися быть самими собой, под угрозой потери своей личности.

Мне было бы очень приятно, если бы Вы нашли несколько свободных дней, чтобы мы смогли обсудить мысли, к которым побуждает Ваша прекрасная книга. Вы могли бы позвонить мне домой: Сюфрен 20.87. Но в ожидании встречи мне хочется от всего сердца поблагодарить Вас.

Я прошу Вас, месье, принять уверения в моих наилучших чувствах и мои самые теплые поздравления.

*Андре Мазон*

---

Публикуется впервые по оригиналу (ДРЗ. Ф. 54). Письмо написано на бланке Коллеж де Франс (Collège de France). На обратной стороне конверта адрес отправителя напечатан типографским способом: «André Mazon. 140. Avenue de Suffren. Paris-XV». На конверте адрес получателя: «Monsieur V. Varsavsky. 27, rue de l'Espérance, Paris (XIII)» («Господину В. Варшавскому. 27, рю де л'Эсперанс, Париж, 13-й округ») и почтовый штемпель: «18.11.1945, Paris XV, rue D'Alleray», т.е. письмо датировано ошибочно на день позже реальной даты отправления. Пер. с фр. И.А. Зайончек и С.Н. Дубровиной.

[1] Мазон Андре (Mazon; 1881–1967), французский филолог-славист, исследователь русской классической и древнерусской литературы и славянских языков. Работал в Институте живых восточных языков в Париже (1909–1914), почетный президент Института славянских исследований Парижского университета (1937–1959), вице-председатель Международного комитета славистов (1958–1967), один из основателей и редактор «Revue des études slaves» (с 1921). Иностранный член-корреспондент АН СССР (1928), член Академии надписей и изящной словесности (1941). В 1924–1951 гг. — профессор Коллеж де Франс.

[2] Мазон использует словосочетание «un Russe de France», буквально — русский, давно живущий или рожденный во Франции. По смыслу отличается от выражения «un Russe en France» («русский во Франции») — т.е. русский, приехавший во Францию. В контексте данного письма это крайне важный смысловой нюанс. За уточнение и комментарий выражаем признательность Ирине Андреевне Зайончек.

11
Н.А. Оцуп[1]
*25 ноября 1950 г. Сен-Манде*

Дорогой Владимир Сергеевич,

Только что получил письмо от жены, из которого узнаю впервые о выходе книги (газет русских здесь нет, а Д.А.[2] предполагала, что я пересланную ею Вашу книгу уже прочел и Вам написал; но я ни ее, ни много другого из Парижа не получал).

Теперь жена обещает мне прислать с оказией 2-й экз<емпляр>. Жду его с нетерпением, в особенности после ее критики, которую Вам пересылаю, т.к. уверен, что Вам будет интересно.

Во избежание пропажи посылаю эти строчки заказным, Вы же, если бы захотелось со мной поддерживать переписку, пишите пока на адрес Д.А.

Как только получу и прочту Вашу книгу, напишу Вам. Пока же от души поздравляю с ее выходом.

Искренне Вас уважающий и всегда к Вам дружески расположенный.

*Ник. Оцуп*
25/ XI 50

*Приложение к письму 11*[3]
Д.А. Оцуп — Н.А. Оцупу. [Фрагмент]

<...>

Точка отправления: «не суди». Христианская терпимость и приятие «боли».

Как раз теперь читаю «исповеди» от Св. Августина до Оцупа (чем больше перечитываю этого, тем больше удивляюсь грандиозному плану. Все яснее, что надо теперь разбить на углубленные части).

У всех предшественников, как и у современников: mea culpa[4] цепляется за гордыню, подвиг преображения — за хвост изгоняемого беса, прикрытый цинизм — за эпоху. Все грешники сваливают вину на Адама...

У В<аршавского> сложнее, потому что смиреннее: честность, самоуничижение, вскрывающее неприглядное и призыв: «nou et culpa mea[5], и все же себе не прощаю себя...»

Как в симфонии есть лейтмотив, кот<ор>ый вряд ли он исчерпает. И вряд ли хотел бы исчерпать. Если его талант — не усилие, а «Богом данный» — именно эта тема утвердит его как писателя и не утомит. Иначе...

Но не художественная ценность привлекла меня. Пока даже не вникаю до конца. Кроме автора, есть — живой человек. Хороший и несчастливый. Он глубоко, непоправимо одинок, даже если любим. Одиночество, искомое, — благо. Одиночество из-за метафизического состава — друг и отдушина. (Знаю по опыту.) Но одиночество В. из-за комплекса физиологического. Микробы его одиночества опасные — они пожирают микробы зла в человеке и оставляют беззащитными микробы чистоты душевной. Чистота В. берет верх над искушениями и, наверно, даже над падениями (как у тебя).

Душа В. (Адамович морщится!) распахнута[6]. Но кто из читателей или даже из близко живущих захочет и сумеет склониться над ней?

Одних удержит «этика», не позволяющая судить человека в авторе. Других боязнь «грубо прикоснуться». Многих — глухота, слепота, эгоизм.

Человек в человеке видит волка, бревно или пустоту, забыто живое сердце. Заглянув в глаза В. при последней встрече, я испытала то же, что испытываю перед физически страдающими: боль и немедленную потребность помочь... А стояла, как светская дура — и несла чепуху...

Понимаю, почему он так привлекает тебя. Ты ведь не вдаешься в психоанализ, у тебя живое сердце и интуиция артиста. Книгу его <...>

<...> книгу ничего путного не сказала. А было что (м<ожет> б<ыть> не стоящее, но мое). На выставке сутолока, шум, дым. Ты знаешь, как мне противны сборища, в особенности снобские.

В. я едва узнала: худой, лицо одухотворенное тихостью и мягкостью. Помнишь, много лет назад я сказала после встречи с ним: не лжет, сверхчувствительный, подавлен своей скромностью. Тогда он был очень молод. Сейчас все усложнилось и определилось — уклона в главном не будет (надеюсь!). В его книге «Семь лет» — расширение того, что мы читали в отрывках; о том, о чем и у меня: война, события *рядом* с человеком.

В книге В. для меня самое ценное то, что должно казаться умышленным: отталкивание от себя, при сознании собственной моральной доброкачественности... <...>

---

Публикуется впервые по оригиналу (ДРЗ. Ф. 54). В верхнем левом углу письма помета зеленым карандашом (астериск) рукой Варшавского.

[1] Оцуп Николай Авдеевич (1894–1958), поэт, прозаик, литературовед, редактор. С 1922 г. в эмиграции. Основатель и редактор парижского журнала «Числа» (1930–1934). Во время Второй мировой войны — доброволец Французской армии, был захвачен в плен и в 1942 г. бежал из концентрационного лагеря, в 1943 г. стал активным участником итальянского антифашистского движения. Был награжден военными медалями США и Англии. После войны преподавал в Париже в Высшей нормальной школе.

[2] Оцуп Диана Александровна (псевд. Диана Карен (Каренн); 1897–1968), актриса кино, жена Н.А. Оцупа. Снималась в фильмах Я. Протазанова, А. Волкова, А. Этьевана, Н. Евреинова и др. В 1935 г. участвовала в концерте, организованном Союзом русских писателей и журналистов и редакцией «Чисел». Подготовила несколько посмертных изданий Н.А. Оцупа.

[3] Фрагмент письма (без даты) вложен в письмо Н.А. Оцупа, с номерами страниц: 2, 3. В верхнем левом углу письма (страница 2) помета зеленым карандашом (астериск) рукой Варшавского.

[4] Это моя вина (*лат.*).

[5] Это не моя вина (*лат.*).

[6] Оговорка не случайная. Так, в письме к И.В. Чиннову от 27 апреля 1957 г. Г.В. Адамович свои рассуждения о Чехове сопроводил следующей ремаркой: «Голубчик, Чехов — чудный писатель, ну как можно в этом сомневаться?! Бунин прав относительно его пьес и первый ткнул пальцем в то, что в них нестерпимо. Но тут, верно, повлияла Книпперша, как на бедного Оцупа его Диана» («Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / сост., предисл. и примеч. О.А.Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»: Русский путь, 2008. С. 41).

## 12
## Л.Д. Червинская[1]
*29 ноября 1950 г. Париж*

Paris, le 29. 11

Дорогой Варшавский.

Я совсем недавно прочла Вашу книгу и хотела Вам сказать все, что о ней думаю. Не потому что считаю, что Вам это интересно (я хорошо знаю, что Вы <с> моим мнением мало считаетесь, особенно теперь, но исключительно потому, что я, как это иногда бывает (редко), была потрясена этой книгой и мне хочется (мне *нужно*) с кем-нибудь поделиться. Будь у нас пресса, я бы постаралась написать статью. Жалею, что не была на вечере, где обсуждали эту книгу[2], — но это вышло по причинам, от меня не зависящим.

Passons[3].

Я начала читать книгу Вашу, как обычно читают книгу знакомого, с предубеждением. Кроме того, мне казалось, что столько ужасного было написано по-французски за эти годы на эту тему, что ничего нового и свежего уже не скажешь, особенно на нашем утомленном русском языке (эмигрантском).

Оказалось, во-первых, что книга *прекрасно* написана, с тактом, благодаря которому французская обстановка (диалоги и т.д.) не звучит переводом, а *органически* передается на русский язык. Это книга писателя, а не просто мысли честного человека или опыт рассказанный. Очень хороши описания, земля, небо, танки, обои[4] — все приобретает индивидуальность и острую реальность находки, которой всегда радуешься. Хороши также люди — как-то

по-толстовски описаны они — без усилия, без навязанных читателю выводов. Несмотря на то (или, точнее, *благодаря* тому) что автор исходит из себя, «занят» собой, все вокруг него залито ласковым светом — любовью к жизни, — все: и пушки, и светлоглазый мальчик-пастух, и немцы, и Данилов, и даже лошадь на площади перед крепостью. Кто это (кажется, Женя?) упрекал Вас в отсутствии любви[5]? Какая ересь. Ведь это-то и есть любовь. Ведь все «объекты» любви — случайные и подставные по сравнению с этим чувством.

Кто-то еще говорил о *наивности* некоторых мыслей. Я думаю, что если бы каждый из нас имел мужество и скромность проявить ту же наивность в отношении таких слов (понятий), как «демократ», например, то, может быть, стало б легче, чище жить. Если бы все научились молиться, как Гуськов, когда ему хочется есть, то, может быть... ну эта тема заведет меня слишком далеко. Хотя кажется, это или что-то близко к этому и есть главная тема книги. Мне лично очень близки некоторые страницы по опыту (как Гуськов «перестал бояться»), и я читала их с тем счастьем и какой-то дрожью, как бывает, когда узнаешь свое важное и простое в ком-нибудь. Мне слишком близок климат книги, ее внутренняя сущность, чтобы судить о ней, но все же мне хочется сказать Вам, что для меня они прекрасны и что это единственный воздух, в котором можно жить — и писать.

Гуськов в моем ощущении — Пьер Безухов в Москве, в плену. (Мне всегда казалось, что в *этом* весь Толстой.) Но это скобки. Вернемся к книге. Та часть, в которой описана встреча с русской армией, одна из лучших картин, одно из самых убедительных свидетельств нашего времени, без тяжеловесных выводов, без горечи или злорадства. *Удивление* Гуськова, непосредственность всех его ощущений и реакций, горе, которое чувствуется за этими открытиями, и эта по-детски правдивая какая-то молодая фраза об английском офицере («впервые за пять лет я вижу свободного человека») перевешивает все брошюры и личные свидетельства, наводнившие печать за эти годы. Какая все же *дура* Берберова![6]

Книга голого человека на опустошенной земле[7] (*очень* хорош Ваш Париж после войны) — но прочитав ее, хочется жить, писать, любить, верить. За такую книгу хочется сказать: спасибо. Между прочим, ее и легко и интересно читать, это и есть настоящая литература, а не так называемый «человеческий документ», к которому всегда некоторое недоумение: «какое мне дело?»

Еще раз, это книга писателя, а не нашего друга Пети. Кстати, Гуськов вовсе не Варшавский, он оторвался от него и живет своей, убедительной, какой-то круглой и упругой, как мячик, жизнью.

Если Вы всю жизнь жили только для того, чтобы написать эту книгу, то все же стоило. Не знаю, пришло ли то счастье, которое ищет Гуськов в другой форме, но поиски этого счастья (собственно *правда*) создало писателя и *так должно быть*. Так *хорошо*.

Когда-то, очень давно, мы говорили с Вами о трудности писания, «хочется все вложить», говорили Вы. Я и тогда думала, что любая книга должна быть «вложение в опыт», в эпизод (а не наоборот: опыт-эпизод в книгу, что

*плохая* литература). Когда я прочла Вашу книгу, я подумала: вот он, кусок жизни, который «ограничил» Варшавского и сделал из него автора *литературного* произведения, а не *дневника*. Думая дальше в этом направлении, я сделала для себя открытие: не всем дается такой опыт. Иначе любой человек, проживший жизнь, полную приключений, мог бы написать книгу. Подобный опыт (как Ваш в войне, в плену, несмотря на то, что это похоже на 1000 других и в целом случайных, как всякое внешнее событие) дается как завершение, как награда, как плод. Понадобились все годы глухие и бессильные — до Войны, все напряжение, внутренняя творческая работа, чтобы *так* увидеть, *так* пережить то, что пережил Гуськов. Настоящий писатель *создает жизнь в себе и вокруг себя* и потом легко и скромно повествует о ней. Это и есть литература. И *в этом* Ваша удача.

Чувствую, что нужно кончать. Я искренне жалею о том, что это письмо написано именно мной. Я знаю, что Вы всегда относились ко мне с *недоверием* (и это всегда было больно именно от Вас)[8]. И все же я не могу не поделиться с Вами той радостью, которую мне принесла Ваша книга. Для убедительности прибавлю, что мне пришлось многое пережить со времени Монпарнаса и что поэтому я все же немного «судья».

Пишу Вам накануне (*может быть*) третьей мировой войны. Хочу Вам пожелать — *что бы ни случилось на свете*, сохраните то, чем жив Гуськов (хотя мы и знаем, что это все «то же дождливое, серое небо»[9]).

Кстати, о последних страницах — у меня есть две-три оговорки — формальные — при случае и если Вам интересно, я Вам скажу, в чем они заключаются, но сегодня не в этом дело.

Простите за это письмо, которое (мне вдруг показалось) может вызвать смущение, я не могу его не послать.

Те несколько дней, когда я читала книгу (семь дней, а не семь лет, какое все же несоответствие!), мне было значительно легче жить. Спасибо.

Ваша *Лидия Червинская*

Нужно б эту книгу перевести и издать на французском языке. Я бы хотела, чтобы Вы мне послали все, что было написано и напечатано о книге. Статью Н<ины> Б<ерберовой> и Адамовича[10] я прочла «до», хотела бы перечесть. Мой адрес: 14 rue de Vaugirard. Пошлите — я Вам верну.

*Лида*

---

Впервые: *Ежегодник ДРЗ, 2014–2015*. С. 230–234.

На конверте обратный адрес: «L. Tchervinsky. 14, rue de Vaugirard (Paris 6$^{e}$)»; почтовый штемпель: «Paris 25, rue Danton. 29.XI.1950».

[1] Червинская Лидия Давыдовна (1906/1907–1988), поэт, прозаик, литературный критик, представитель «Парижской ноты», автор сборников стихов «Приближения» (1934), «Рассветы» (1937), «Двенадцать месяцев» (1956). В 1930-е гг. участвовала в собраниях и вечерах поэзии журнала «Числа», литературной группы «Перекресток», литературного объединения «Зеленая лампа». Член парижского Объединения поэтов и писателей. В 1947 г. вышла из Союза русских писателей и журналистов вслед за Г. Адамовичем, В. Варшавским, Л. Зуровым и др. в знак протеста против исключения

из союза его членов, принявших советское гражданство. В послевоенные годы одно время жила в Мюнхене, где работала на «Радио Свобода».

[2] В издании «Русское зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни: 1940–1975. Франция» (М.: Русский путь; Paris: YMCA-Press, 2000–2002) упоминаний об этом вечере нет.

[3] Не стоит об этом (*фр.*).

[4] Речь, скорее всего, идет о следующих пассажах: «...огромный, выше домов, немецкий танк стоит около памятника мертвым. Так вот какие они вблизи. Я с любопытством рассматривал его. Странно раскрашенный зеленым, коричневым и желтым, он стоял, как ископаемое железное чудовище, злобно и насмешливо смотря на нас узкими щелями, прорезанными в орудийной башне» (*Варшавский В.* Семь лет. Париж, 1950. С. 107); «Я зажег свет. Выступая из сумрака, стены утвердились в своей каменной несдвигаемости. Закурив папиросу, я с удивлением рассматривал серо-розовые с лиловыми полосами обои; столько лет живу здесь и не помнил какого они цвета» (Там же. С. 19).

[5] Неустановленное лицо.

[6] Имеется в виду рецензия Н. Берберовой на «Семь лет», опубликованная в «Русской мысли» (см.: Наст. изд. С. 719–721).

[7] Выражение «Голый человек на голой земле» употребляется нередко, в России особенно часто со времен «Саввы» (1906) Леонида Андреева, а восходит к Античности (Плиний Старший. Естественная история. VII. 77). В эмиграции тоже многими употреблялось, в частности, Адамовичем в «Комментариях» (Современные записки. 1939. № 69. С. 265). Сам Варшавский прибегает к этому образу неоднократно в своих программных статьях, посвященных архетипу нового социального явления — эмигрантского молодого человека (эссе «О “герое” эмигрантской молодой литературы», «О прозе “младших” эмигрантских писателей» — см.: Наст. изд. С. 342–349, 351–355).

[8] Видимо, Червинская намекает на неблаговидную историю в ее биографии — арест французскими властями из-за пособничества немцам во время Второй мировой войны. По заданию Сопротивления Червинская сблизилась с агентом гестапо Шарлем Ледерманом, однако раскрыла себя, что стало причиной ареста нескольких участников французского антифашистского подполья. Подробнее об этом см.: *Хазан В.* Из истории русских масонов-эмигрантов в Париже // Евреи России — иммигранты Франции: очерки о русской эмиграции / под ред. В. Московича, В. Хазана и С. Брейар. М.; Париж; Иерусалим: Гешарим — Мосты культуры, 2000. С. 332).

[9] Скорее всего, Червинская имеет в виду следующий пассаж: «В неподвижном свете дня все оставалось по-прежнему: отвесная черта угла мертвецкой, столбы с колючей проволокой, а за ними какое-то непонятное отсутствие дали, песок, немножко травы, и сразу за краем дороги — дождливое серое небо» (*Варшавский В.* Семь лет. С. 193).

[10] См. письмо 4, примеч. 2.

## 13
## М.Л. Слоним[1]
*26 декабря 1950 г. Нью-Йорк*

Décembre 26, 1950

Дорогой Владимир Сергеевич,

я так давно не отвечал, потому что хотел сперва прочесть Вашу книгу — а это не легко было сделать из-за очень тяжелой «нагрузки»[2].

Теперь я могу честно сказать, что прочел от доски до доски. Вот мое искреннее мнение — для Вас: книгу я читал с волнением и интересом. Считаю, что ряд глав и сцен написаны прекрасно — и с человеческой, и с литературной точки зрения. В ней есть какая-то правда — и это самое важное. Есть

и передача внутренней драмы — в начале. Имеются и блестящие страницы чисто романического показа — плен и освобождение.

Вопросы, которые возникают у критика, связаны с формой «повести», как Вы ее назвали. Тут, на мой взгляд, не все обстоит благополучно. В книге идут, развиваются разные темы — и того единства, которое в таких случаях желательно, не ощущается. Материал (война и плен) не только определяют судьбу героя, но и влияют на композицию произведения. Темы, резко поставленные в первой части (внутреннее, разлад и так далее), затем потеряны, заслонены бытовыми описаниями. Сперва — герой «я», и все вокруг него, а затем герой — только «око», глаз, фотографический аппарат.

Вы скажете, что так оно и было в действительности. Но в книге — как произведении искусства — есть два разных плана, и они не слиты. Можно даже сказать, что это не одна, а две книги! Может быть, так и надо было сделать. Впрочем, тут есть обычная трудность романов, построенных на автобиографии.

Любопытно, что это отсутствие единства сказывается и на стиле: в первой части он чрезмерно «олитературен» — хотя есть очень хорошие и сильные места. Тенденция — «сюрреалистическая». А потом вдруг вся поэтическая игра отброшена, и повествование о плене ведется в «экспрессивном» и реалистическом тоне (я считаю, что он Вам лучше удался). Я знаю, что несколько замечаний далеко не исчерпывают ни того, что я хотел бы сказать — ни того, что Вам интересно было бы услышать. Но я считаю, что выразил мое основное отношение к книге, которую я расцениваю как Вашу самую крупную литературную удачу. Что Вы сейчас пишете?

Надеюсь собраться летом в Европу — и тогда увидимся — если позволят события. А может быть, придет новая война и новый плен.

Желаю Вам всяческих благ к наступающему году — здоровья, бодрости, веры в себя, которой Вам недостает, — и благополучия материального и душевного.

Искренне Вас любящий
дружески и сердечно

*Ваш М. Слоним*

Шлет Вам привет Рейзини, которому Ваша книга очень понравилась[3]. Денег за 2 экз<емпляра> я послал Р.С. Чеквер[4].

---

Впервые: *Ежегодник ДРЗ, 2014–2015*. С. 234–235.

На конверте обратный адрес: «M. Slonim. 35 Parkview Avenue. Bronxville. NY»; почтовый штемпель: «Bronxville. NY. Dec. 29. 1950». В верхнем левом углу письма помета зеленым карандашом (астериск) рукой Варшавского.

[1] Слоним Марк Львович (1894–1976), политический деятель, публицист, литературный критик, переводчик. Один из редакторов пражского журнала «Воля России» (1922–1932) в котором был опубликован литературный дебют В. Варшавского — рассказ «Шум шагов Франсуа Виллона» (1929). Организатор парижского литературного объединения «Кочевье» (1928–1938), участниками которого

были В.Л. Андреев, Б.Б. Божнев, В.С. Варшавский, Б.Ю. Поплавский, Б.Б. Сосинский, С.И. Шаршун и др. В 1936 г. входил в организационную комиссию Русского эмигрантского оборонческого движения, участник диспутов, проводимых движением (1937), его постоянный докладчик. С 1932 г. — участник и член Русского комитета помощи республиканской Испании. В середине 1950-х гг. — активный участник полемики, развернувшейся на страницах «Нового русского слова» вокруг книги Варшавского «Незамеченное поколение» (1956).

[2] С 1941 г. М.Л. Слоним жил в США и преподавал русскую литературу в американских университетах.

[3] О Николае (Науме Георгиевиче) Рейзини см.: Наст. изд. С. 556–557.

[4] Чеквер Рахиль Самойловна (псевд. Ирина Яссен; 1893–1957), поэтесса, автор сборников «Земной плен» (Нью-Йорк, 1944), «Дальний путь» (Нью-Йорк, 1946), «Лазурное око» (Париж, 1950), инициатор и один из редакторов антологии «Эстафета» (Париж, 1948), основатель в 1950 г. парижского издательства «Рифма». Друг и постоянный корреспондент Владимира Варшавского, Чеквер принимала деятельное участие в его судьбе, а также в издании повести «Семь лет» (организация финансирования издания по предварительной подписке), содействовала переезду Варшавского в США, к которому тот стал готовиться уже в 1948 г. Так, в запросе на получение американской визы (черновой вариант) от 8 июня 1948 г. (ДРЗ. Ф. 54) и в ряде других документов по оформлению отъезда Варшавский указал мужа Ирины Яссен — Льва Иосифовича Чеквера как своего поручителя и родственника (кузен), что в немалой степени помогло получить разрешение на выезд.

## 14
## Е.Н. Федотова[1]
*2-я половина 1950 г. Париж*

Милый Володя!

Спасибо за книгу. Она такая изумительная, что я не сомкнула глаз, пока не прочитала.

Так много личного родного пережитого самой. Особенно по линии борьбы с животным страхом.

Одно не понятно. Для меня унижение Франции заслонило весь мир, и я не могла даже интересоваться тем, что происходит с Россией.

И какие у Вас четкие образы людей, их никогда не забудешь.

Так как душа Бориса[2] веет над книгой, я бы послала книгу Ирине[3], подчеркнув то, что его касается.

Рада бы Вас повидать, но не знаю, успею ли. Если нет, то до свидания в Нью-Йорке. Когда Вы поедете? Чем могу помочь<?>.

*Елена Федотова*

---

Публикуется впервые по оригиналу (ДРЗ. Ф. 54). Датируется по содержанию. В верхнем левом углу письма помета зеленым карандашом (астериск) рукой Варшавского.

[1] Федотова Елена Николаевна (урожд. Нечаева; 1885–1966), жена философа Г.П. Федотова.

[2] Имеется в виду Борис Владимирович Вильде.

[3] Лот Ирэн (1910–1987), вдова Бориса Вильде.

15
Е.Н. Федотова
*Декабрь 1950 г. Нью-Йорк*

Дорогой Володя!

Еще раз перечитываю Вашу книгу. Давала ее и многим, и все восхищались (Нина[1] и Г.П.[2] в том числе).

Володя, когда же Вы будете здесь? Слышала, что у Вас есть какие-то задержки с визой. В чем дело? Кто о Вас хлопочет? Не мог ли бы Г.П. чем-нибудь Вам помочь? Ведь рекомендация человека, связанного с церковью, тут много значит. Он для Вас сделает все что может[3].

Живу тут ужасно, в смертельной тоске по Парижу и в ужасе за его судьбу. С работой тут трудно, и я живу в жалкой нищете, какой давно не знала. Ну Вы-то молоды, Вы устроитесь, приезжайте поскорее. Если бы Вы знали, как я несчастна и одинока.

Если видите Бор. Юл.[4], передайте ему привет.

Еще раз спасибо за книгу.

Обнимаю и жду.

*Ел. Федотова.*

P.S. Работы нет, каждые полчаса слушаю радио в ожидании нового Дюнкерка[5].

До половины ночи перечитывала Вашу книгу, т.е. то, что касается Франции. Нет тех ужасных рассказах (так! — *Сост.*) о концентрационных лагерях, которые я бы не читала не скажу спокойно, но мужественно с каким-то сознанием морального долга «соучастия». Но когда доходит до падения Франции, до ее обреченности, я не могу удержать<ся> от слез и воплей (благо я одна в отельной комнате).

Это было пережито 10 лет тому назад, не на полях сражений (что, может быть, и легче), а у радио и на больших дорогах и exode'a[6]. Неужели надо это переживать второй раз здесь, в Америке, при полной невозможности помочь? Да и во Франции была бы та же невыносимая пассивность на «пиру богов». Надеялась поработать на вооружение, но до полной мобилизации, когда берут старух, еще далеко. Теперь и в прислуги попасть нелегко. Остается или подголадывать, или ходить по знакомым, чужим людям и слушать праздные разговоры. Предпочитаю первое, к тому же это полезно для «мысли», хотя и губительно для физиомордии. Впрочем, слезы еще губительнее.

Тут появилась Нина Берберова и произвела неприятное впечатление бегающими глазами и заискиванием. Но с помощью Керенского и Романа Гуля она всюду пролезет[7].

Трудно Вам теперь, Володя, помню себя в Марселе в таком же положении. Да поможет Вам Господь, и Ил<ья> Ис<идорович> и Борис[8]. Я так чувствую, как они веют над Вашей книгой и как они обрадуются.

*Ел. Федотова*

---

Впервые: *Ежегодник ДРЗ, 2014–2015*. С. 236–237. Датируется по содержанию.

[1] Нина (1916–1992), дочь Е.Н. Федотовой от первого брака, удочеренная Г.П. Федотовым.

[2] Имеется в виду Георгий Петрович Федотов.

[3] По приезде в США Варшавский при устройстве на работу указывал в документах Г.П. Федотова, а также М.М. Карповича как своих поручителей, см: Application for Position. The New York Public Library. 1951. 6 April // ДРЗ. Ф. 54.

[4] Физ Борис Юльевич (1904–1978), инженер, редактор издательства «YMCA-Press», член РСХД, друг B.C. Варшавского. Сыграл большую роль как посредник в издании произведений Варшавского, в том числе романа «Ожидание».

[5] Имеется в виду военная операция 26 мая — 4 июня 1940 г. по эвакуации английского экспедиционного корпуса и отдельных частей французской армии из Дюнкерка (Франция) в Англию, вошедшая в историю как Дюнкеркская трагедия. В итоге этой операции 28 мая бельгийские войска капитулировали, а французские войска, прикрывавшие отход англичан, к 4 июня остались без боеприпасов и также сложили оружие. 4 июня Дюнкерк был занят немцами.

Е.Н. Федотова, скорее всего, имеет в виду значительный виток в истории холодной войны между СССР и США, произошедший именно в 1950 г. 31 января 1950 г. президент Г. Трумэн поручил Совету национальной безопасности США разработать директиву, содержащую всесторонний анализ политического положения и целей США с учетом возможного появления у Советского Союза нового ядерного оружия. Документ был принят 14 апреля 1950 г., войдя в историю как Директива СНБ-68 и как один из основных документов холодной войны. В 1950 г. Соединенные Штаты приступили к реализации обширной программы испытаний ядерного оружия, включая водородную бомбу. Эта нарастающая атмосфера страха перед «красной опасностью» во многом вынудила Варшавского переехать в США.

[6] Exode (*фр.*) — исход. Речь идет о панике, охватившей Францию при наступлении фашистских войск.

[7] Писатель, журналист и общественный деятель Роман Борисович Гуль (1896–1986) помогал Берберовой в первое время после ее переезда в США, но очень быстро разочаровался и стал относиться к ней с откровенной враждебностью. С политическим деятелем Александром Федоровичем Керенским (1881–1970) Берберова дружила еще в парижский период, он не раз гостил у нее в Лонгшене.

[8] Имеются в виду описанные в повести герои движения Сопротивления Илья Исидорович Фондаминский и Борис Владимирович Вильде.

## РЕЦЕНЗИИ

### Г.В. Адамович
### «СЕМЬ ЛЕТ»[1]

В повести В. Варшавского «Семь лет» рассказано о том, что видел, что передумал и перечувствовал русский эмигрант, интеллигент, солдат французской армии, во время последней войны. Герой носит имя Владимира Гуськова. Однако автобиографичность повести совершенно очевидна и несомненна, рассказ, ведущийся от первого лица, по всей вероятности представляет собой дневник. Некоторые литературные украшения, в этот дневник введенные, — например, заключительная полусомнамбулическая глава, — ничего к нему не добавляют и с ним мало связаны. В памяти остается лишь точная обстоятельная запись о том, что относится к действительности, а не к вымыслу — предвоенные дни в Париже, короткое пребывание на фронте, долгий утомительный плен в Германии, освобождение, пришедшее с советской стороны и оказавшееся далеко не столь легким и радостным, как автор ждал.

Повесть исключительно содержательна и исключительно интересна, — однако вовсе не в том смысле, в котором определяется порой как «очень интересный» какой-нибудь авантюрный роман. Интерес, ценность и значение повести Варшавского в ее исключительной правдивости, притом правдивости прежде всего психологической. При сколько-нибудь развитом чутье к слогу и стилю у читателя не может с первых же страниц не возникнуть уверенности, что автор ни в чем не лжет, ни к какой рисовке не склонен и ничего не хочет скрыть. Его можно было бы назвать маниаком правдивости. Грозные события, свидетелем которых довелось ему стать, запечатлены в его книге без малейшей предвзятости, без всякого заранее придуманного «подхода», и когда они, эти события, оказываются мало похожи на те представления, которые в сознании автора «Семи лет» сложились, в книге отражается изумление, смущение, даже растерянность, что угодно, кроме стремления подогнать факты к удобным, готовым схемам.

Владимир Гуськов — существо не совсем «от мира сего», во всяком случае, он не похож на большинство тех людей, которых мы ежедневно встречаем. Он доверчив, искренен, серьезен, рассеян к пустякам, вдумчив и пытлив в отношении всего, что касается самой сущности бытия, и — это очень для него характерно — лишен чувства юмора. Поэтому он часто кажется просто-

[1] Впервые: Новое русское слово. 1950. 1 окт. № 14037. С. 8. Подп.: Георгий Адамович.

душен. Все мы по привычке отшучиваемся от многого того, что, казалось бы, к шуткам ничуть располагать не должно — да и не стало ли это до известной степени нашей традицией со времени Пушкина и его прелестных, чудесных, но почти всегда двоящихся между насмешкой и печалью писем? Не знаю, ценит ли и понимает Гуськов шутку. Но личного расположения к ней у него нет наверное, и он как бы без кавычек говорит о том, что у другого писателя иронию вызвало бы неизбежно. Он признается в своей готовности любить всякое начальство, настойчиво напоминает о своем врожденном желании всем нравиться и у всех вызывать симпатию, он по-детски рассказывает о том, как в плену, жестоко голодая, молился Богу — «Боже, неужели Тебе не жалко меня, разве Ты не видишь, как я мучаюсь?.. Сжалься надо мной, пошли мне еду и Ты увидишь, каким я стану хорошим». Прочитав у Бергсона о христианском происхождении демократического идеала, Гуськов «навсегда, на всю жизнь понял, что он демократ». Да, над такими строками улыбка, отсутствующая у автора, появляется на лице читателя сама собой. Не то чтобы мысли или чувства эти были уж слишком диковинны, нет, но тон их как-то беззащитно откровенен и бесхитростен. В наши дни мы к этому не привыкли. Однако неизменная склонность и согласие Гуськова остаться таким, как он есть, обезоруживает и подкупает.

Гуськов пошел на войну с энтузиазмом, считая, что в борьбе против Гитлера происходит схватка мирового добра с мировым злом. О неизбежности войны было много разговоров в философско-политическом кружке некоего Мануши, — псевдоним, который легко будет раскрыт всяким, знавшим русскую общественную жизнь в Париже до 1939 года. Были в этом кружке «непротивленцы». Однако сам Мануша и вернейшие его друзья были за уничтожение зла любой ценой. К ним примкнул и Гуськов. Его, созерцателя и мечтателя, увлекла возможность действия, и какого действия! Что сильнее всего поразило Гуськова на фронте? Пожалуй, то, что не только о метафизической, но и просто об идейной основе или подкладке войны никто из участников войны не думал, видя в этой войне, как и во всякой другой, дело тягостное и бессмысленное. Одни надеялись «заработать крестик», другие заботились о том, как бы устроиться где-нибудь в интендантстве или в тылу. Энтузиазм отсутствовал полностью. На фронте среди тех людей, которые в войну были невольно вовлечены, борьба добра со злом представлялась мифом или даже бредом. Гуськов, прирожденный Гамлет, оказался тут Дон Кихотом.

Это — очень верное наблюдение, и наблюдение трагическое. Можно было бы без натяжки добавить: наблюдение русское. Еще раз русский интеллигент столкнулся с народом, пусть ему по крови и чуждым, и еще раз оказалось, что его бескорыстные и тревожные порывы народу чужды. Гуськов переписывается с парижскими друзьями, и те его понимают. Но военные его товарищи, все эти Раймонды, Жаны и Пьеры понять его не могут, да и не хотят. Его духовное одиночество усиливается с каждым днем, по мере того как растет и укрепляется обыкновенное житейски-молодецкое приятельство с

однополчанами. Замечательно, что в иностранной литературе явления такого рода мало и только случайно отражены. Несомненно, есть в недоумении Гуськова что-то глубоко русское, может быть и уходящее сейчас в прошлое, — как знать? — но со всей нашей историей неразрывно связанное.

Страницы, посвященные сдаче в плен, пребыванию в Германии, первым встречам с «остовцами» и, наконец, появлению советских войск, замечательны в своей простоте и спокойной, ровной силе. Кропотливый «психологизм» автора, несколько душный и утомительный в начале повести чрезмерным вниманием к самому себе, сменяется вниманием к миру и другим людям. Впечатление такое, будто распахиваются окна. Крепнет и язык, увереннее становится изобразительное мастерство. В первых главах книги Варшавского еще попадаются фразы, будто взятые из арсенала условно-книжной словесности (например: «выступая из сумрака, стены утвердились в своей каменной несдвигаемости»). Чем дальше, тем таких уступок литературщине оказывается меньше, и тем тверже и вернее становятся портретные или пейзажные наброски. Читатель не знал, конечно, ни этих немцев, ни этих упрямых или добродушных бретонцев, ни фельдшера Федю, ни удалого конюха Яшку, но вспоминает он о них после чтения, как о близких знакомых. Да и весь бытовой фон повествования кажется видным в самом деле.

Ценнее, значительнее всего в книге — записи о встречах с советскими офицерами и солдатами, именно потому, что в них явно и несомненно отсутствует всякая нарочитость, положительная или отрицательная. Русские люди у Варшавского то представлены такими же, какими они казались нам всегда, то вдруг оказываются проникнуты новым, пугающим его, жестоким, презрительно-административным духом. Размышления автора «Семи лет» и наблюдения его должны бы заставить задуматься всякого, — и не случайно он, рассказывая о возвращении своем во Францию, говорит:

«Как же это могло случиться? Я так спорил, когда бранили русских, так преклонялся перед великим подвигом, совершенным ими в эту войну, а вот расставаясь, не только не пожалел, что не могу остаться с ними, а вздохнул с таким чувством освобождения и счастья, точно избавился от большой опасности. Неужели же я лгал самому себе, будто я восхищаюсь русскими? Предположить это было бы бессмысленно, ведь это был тот же русский народ. Мне вспоминались невысокие, незаметные, похожие на капитана Тушина офицеры и такие же солдаты с лицами, выражавшими почти что галилейскую добрую, смиренную простоту... Но вдруг я видел нечеловеческую ничтожность серого бритого лица майора Дубкова, его бездушный, глумливо блестящий взгляд, и на всех плакатах, на всех портретах вождей такой же взгляд, смотревший на все живое с бессмертным презрением административного всемогущества... И я вспоминал, как все доброе заменялось в чертах русских чем-то безличным и невероятно грубым, когда они исполняли приказания воли, светившейся в этом взгляде».

Над такими раздумьями и сомнениями останавливаешься невольно: книга лежит на коленях, мысль уносится далеко. Тысяча вопросов связана с

ними, и вопросов таких, которые для всех нас и для всего нашего будущего важны.

Подводя впечатлениям от книги Варшавского итоги, я хотел бы назвать одно, огромное имя, которое вспоминается при чтении много раз, — имя Льва Толстого. Не для сравнения, конечно: сравнение было бы нелепо. Однако что-то смутно-толстовское в натуре автора «Семи лет» несомненно есть: упорство, настойчивость, глубокая, непреклонная правдивость, бесстрашная искренность, отказ от всякой позы или фанфаронады. Он тоже чуть-чуть тяжелодум или даже однодум, тоже хочет все понять, проверить и до всего дойти сам, без чужой указки. Скажу еще раз, людей такого рода, как Гуськов-Варшавский, в наш — как известно, чрезвычайно «динамический» — век очень мало. Оттого, может быть, и книга его выделяется среди других новых русских книг. Есть книги более блестящие. Нет книги, в которой отчетливее сквозило бы желание отбросить и вытравить всякую мишуру.

## **Н.Н. Берберова**
## НОВЫЕ КНИГИ. («Семь лет» В. Варшавского)[2]

Судьба писателя В. Варшавского довольно безрадостна: до войны он не успел выпустить ни одной книги и печатал случайные отрывки каких-то незаконченных вещей; пишет он уже лет двадцать, или больше, книга его «Семь лет», наконец, вышедшая, к сожалению, опоздала и в 1950 г. представляет мало интереса: это не роман и не повесть, это документ, охватывающий жизнь героя-автора в период 1939–1945 (половина книги посвящена первому году). Как документ, она не может идти в сравнение с десятком книг, выпущенных за последние годы людьми, прошедшими тот же путь: война, немецкий плен, приход советских войск.

Скажу больше: даже выпущенная сразу после войны, года четыре тому назад, книга Варшавского уже отчасти имела предшественницу: вся ее первая часть разительно напоминает первую часть книги «Les Décombres» Люсьена Ребатета (приговоренного впоследствии к бессрочной каторге)[3]. То же описание казарменной жизни, взятое под тем же углом, та же полу-насмешка, полу-враждебность по отношению к Франции, тот же фатализм касательно собственной судьбы и поражения французской армии. Насмешка и враждебность Варшавского к стране, где он прожил бо́льшую часть своей

[2] Впервые: Русская мысль. 1950. 11 окт. № 283. С. 5. Подп.: Н. Берберова.

[3] Люсьен Ребате (Rebatet; 1903–1972), французский писатель, разделявший идеологию фашизма. Во время Второй мировой войны — радиорепортер правительства Виши. Арестован в Австрии в 1945 г. В 1946 г. ему был вынесен смертный приговор, замененный на принудительные работы. В 1952 г. был выпущен из тюрьмы и в 1953-м вернулся к журналистике. Его книга «Руины» (Les décombres. Paris: Éditions Denoël, 1942) была проникнута духом антисемитизма и призывала к сотрудничеству с нацистской Германией.

жизни, необъяснимы. Даже по отношению к немцам он находит какие-то снисходительные слова, только не по отношению к французам!

Но обратимся к содержанию книги. Рожденный в Москве и взлелеянный, как он пишет, «мамой, папой и гувернанткой», герой-автор до 1939 г. продолжал думать, что все люди будут его любить, жалеть и утешать до конца жизни. Мимозное воспитание (хотя продолжалось не так долго — в 1917 г. автору было всего 11 лет) сделало из него человека, всего боящегося (начиная с чиновников Префектуры) и безрезультатно ищущего «правды» — что было бы симпатично, если бы он сам себя не называл «бергсонистом». Искание «правды» происходит среди какого-то «кружка», члены которого отчасти списаны с натуры, — лет сорок тому назад литературная этика, кажется, не разрешала применять такого приема? Разговоры в «кружке» героя-автора ни к какой «правде» не приводят. Война приходит ему на помощь.

Здесь выясняется, что, боясь людей, Варшавский не боится фронта и смело сражается с немцами, когда наступает его очередь. Попав в плен, он оказывается в Померании, где шесть лет ведет мучительное существование, то в лагере, то в «коммандо», то на ферме у немца. Жизнь в лагере так же стереотипна, как жизнь в казарме — сотни страниц были уже написаны о голоде, холоде, тяжелом труде, одиночестве. Все это Варшавский не увидел по-новому и в описаниях своих держался традиций. Как бы ни была тяжела жизнь в немецком лагере французским пленным, после книг о лагерях советских она не произведет на читателя большого впечатления: были посылки, была возможность жаловаться, была мясная пища, было, наконец, *полотенце*, которым можно было махать навстречу советской армии.

Пять лет, как говорит Варшавский, он ждал этой минуты — встречи с красноармейцами. Не любя Францию, чувствуя себя обиженным судьбой философом, без родины, без «правды», без друзей, он надеялся обрести все это с приходом советской армии. Но спустя некоторое время он, не объясняя подробностей, внезапно выдает себя за коренного француза и возвращается с товарищами в Париж. Комментарии здесь были бы далеко не излишни, но герой-автор их нам почему-то не дает.

Это случается всякий раз, как Варшавский касается какого-нибудь существенного вопроса: надо отдать ему справедливость, он честно рассказывает факт посещения его отцом из Праги. Оба они страстно желали прихода советской армии в Европу, но когда красные оказались в Праге, они вывезли в Сибирь и отца Варшавского, и вообще всю русскую эмигрантскую интеллигенцию. Казалось бы, здесь уместно сделать некий вывод. Но герой-автор ставит простую точку.

Что касается стиля, то хотелось бы Варшавскому посоветовать поменьше злоупотреблять разными «кись-кись» и «бр-бр»; не ставить полстраницы многоточий, когда он начинает говорить о своих отношениях с женщинами (манера, бывшая в ходу «до той войны»); не писать «ими *охватило* отчаяние» (вместо *овладело*) и не говорить о каждом (почти) встречном человеке, что у него «курчавые» или «волнистые» волосы. Он кается, что всю жизнь

интересовался «нежизненными идеями» — *идей* в его книге я не нашла, но кое-что в ней подкупает своей откровенностью (о потных руках, о склонности плакать в кинематографе).

Одно место поставит читателя в тупик: «Я был убежден, — пишет Варшавский, — после разгрома Франции, что Россия вступит в войну... И вот теперь в самом деле началось». *Не Россия вступила в войну, а Германия на нее напала*, — будучи в немецком плену, в 1941 году, неужели же Варшавский этого не знает? Или нарочно умалчивает об этом, как умалчивает и о советско-германском пакте, в августе 1939 года? Именно — в том самом августе, когда он «искал правду», спорил о «Мюнхене», ненавидел Гитлера. Когда рассуждал о Боге в кружке самообразования.

## **Ю.П. Иваск**

### Д. Кленовский. СЛЕД ЖИЗНИ. 1950
### Владимир Варшавский. СЕМЬ ЛЕТ. Париж, 1950
[Отрывок][4]

<...>

«Семь лет» — удивительно правдивая, серьезная книга. Это не «человеческий документ», а художественная вещь в форме дневника-повести; в ней нет той расплывчатости, которая была в других прозаических отрывках Варшавского, печатавшихся в «Числах» и в «Круге».

Герой этой повести все тот же: молодой эмигрант, который знает Россию только по детским воспоминаниям. Он живет в Париже, где усердно посещает литературные и философские собрания, увлекается Бергсоном; часто бедствует и терпит унижения при выдаче вида на жительство для иностранцев. Жизнь для него — ненастоящая, и сам он — ненастоящий, «лишний». Так, по крайней мере, ему кажется. В 1939 году он поступает добровольцем во французскую армию. Он хочет защищать Францию, а потом и Россию, против Гитлера. Но более всего он хочет настоящей жизни, и на фронте он временами как будто приближается к действительности...

К своему удивлению — он, робкий книжник, оказывается отличным солдатом. В окружении он мужественно отстреливается от немецких танков. Вот его признание: «...когда я добровольно вызвался на самое опасное, я был доволен собой. В первый раз я держал себя по отношению к другим людям до конца порядочно, без всякого соучастия в несправедливости. Меня удивило, как легко это было».

На фландрском фронте и позднее, в прусском лагере для военнопленных, он впервые находит какое-то «общественное положение»: живет, как тысячи других товарищей по несчастью, и это дает ему моральное удовлетворение.

---

[4] Впервые: Новый журнал. 1950. № 24. С. 298–299. Подп.: Ю. Иваск.

Красная армия освобождает его из плена, и он знакомится с советскими порядками. Отдельные советские люди, напр<имер>, жертвенный санитар Федя или «незаметный» лейтенант Данилов, чем-то похожий на толстовского Тушина, лучше многих других людей, которых он встречал, но за ними, как и за немцами нацистской Германии, злая сила «тотального державного могущества»; и вот многие, по существу хорошие, советские люди превращаются в покорных служителей этой силы...

Но трагизм книги Варшавского не в том, что оказалась битой ставка на Сов<етскую> Россию, и не в том, что после войны для его героя опять началась все та же эмигрантская жизнь в Париже. Трагизм в том, что жажда настоящей жизни, жажда Бога и «ответа оттуда» едва ли могла бы быть утолена и в условиях другой, более счастливой «объективной» действительности, которую Варшавский не соглашается принять.

Единственный выход заключается в постоянном противлении этой действительности — иначе жизнь была бы сплошным кошмаром. По-своему противятся ей и «незаметный» лейт<енант> Данилов, и жалостливый, больной немецкий вахман Вицке, и пылкий польский мальчик-пастух, который, с большим риском для себя, помогает пленным.

По любви к правде и к добру, Варшавский сродни русским «задумчивым мальчикам» прошлого века... В наши дни он, один из немногих, говорит на языке старых «совестных судей» русской литературы. Он сохранил русское морально сознание, которое начало ослабевать еще задолго до революции и теперь почти утеряно. Сила Варшавского — в справедливости и в нравственной требовательности, а слабость — в чрезмерной занятости самим собой (тут сказалось влияние парижской среды) и в некотором пренебрежении к работе мысли, к культуре (как у Толстого). Чтобы в мире стало лучше, чтобы не погиб Париж, не погибла Европа, а может быть и весь мир, кто-то мыслящий и одаренный должен указать — в чем именно правда и за что следует бороться. В прошлом веке русские писатели именно это и делали. Конечно, последнего ответа и они не могли дать. Но они стремились к этому с бóльшим напряжением, чем кто-либо теперь.

## Владимир Варшавский. «СЕМЬ ЛЕТ»[5]

Возможен ли герой русского романа, который бы не был продолжением цепи «лишних людей», появившейся с самого зарождения нашей литературы? «Лишние люди» меняли свой облик со сменой духовно-исторических веяний в России. От байронического аристократизма Печорина они шагнули к демократическому народничеству Олениных и Неждановых[6]. Владимир Варшавский продолжил в своей повести «лишнего человека» в эмиграции.

[5] Впервые: Тропа. 1951. № 1. С. 80. Без подписи.

[6] Имеются в виду герой повести Л.Н. Толстого «Казаки» (1852) Дмитрий Оленин и герой романа И.С. Тургенева «Новь» (1876) Алексей Нежданов.

Такой же русский барин, слишком умный для того, чтобы чувствовать себя, как дома, в «золотой середине», но и не слишком выдающийся, чтобы подняться над ней, проходит перед нашими глазами — созвучные эпохе — военные мытарства. Он, выросший в эмиграции, чувствовал себя лишним среди чужого народа и, столкнувшись со своим народом, всматривается в него любопытным, ждущим откровения взглядом Оленина и Нехлюдова[7]. Но откровение не последовало, и «лишний человек» возвратился в свою унылую отрешенность...

## Л. Р.
## О книге Варшавского «7 лет»[8]

Только что прочитал книгу Варшавского «7 лет» и глубоко ею возмутился. Возмутился не тем, что описывает автор, а тем фактом, что автор многое совершенно умышленно замалчивает.

Нам известно, что эта книга вызвала в США много толков, что ее разбору было посвящено специальное заседание писателей и общественных деятелей, но лично я должен сказать одно: книга содержит в себе элементы тщательно закамуфлированной совпропаганды. И вот почему. Мельчайшие подробности о жизни военнопленных в канувшей уже в Лету нацистской Германии г. Варшавский отмечает довольно ярко и очень хорошо «помнит». Помнит, какое небо и какие облака были в какой-то определенный вечер, помнит выражение лица однажды встреченного им человека, помнит бугры на соломе, в которой он спал всего несколько часов. И — странное дело — автор совсем «не помнит» того, что гораздо существеннее приводимых им подробностей, «не помнит» того, что видел он «там», чего все мы не сможем забыть до конца своих дней.

Совсем иначе, чем Варшавский, отнеслись к обстановке того времени другие авторы, бывшие в Германии, как и он, в дни ее оккупации Советами. Они не могли обойти молчанием возмутительных фактов того периода. Вместо книги Варшавского следовало бы скорее обсудить в заседании общественных деятелей США книгу Сабик-Вогулова «В побежденной Германии»[9] или книгу Синевирского — «Смерш»[10].

---

[7] Князь Дмитрий Нехлюдов — герой романа Л.Н. Толстого «Воскресение» (1889–1899).

[8] Впервые: Знамя России. 1951. 1 дек. № 52. С. 9–10. Подп.: Л.Р.

[9] Владимир Сабик-Вогулов (псевд., судьба автора неизвестна), офицер Красной армии, бежавший на Запад в 1946 г. Его брошюра «В побежденной Германии» ([Б.м.], 1947) рассказывает о преступлениях советских солдат против гражданского населения Восточной Германии по окончании Второй мировой войны.

[10] Синевирский Николай (наст. имя и фам. Михаил Дмитриевич Мондич; 1923–1968), член НТСНП, внедренный в Красную армию в 1945 г. Его книга «СМЕРШ. (Год в стане врага)» (Франкфурт-на-Майне: Грани, 1948) написана в форме дневника и рассказывает о карательных операциях НКВД в конце Второй мировой войны, в том числе в Чехословакии. В 1946 г. бежал в американскую зону Германии. В 1947 г. прибыл в г. Франкфурт-на-Майне, сотрудничал с НТС и американской контрраз-

Автор «7-и лет», с непонятной наивностью, вместо описания советского режима и быта, с которым он непосредственно столкнулся после освобождения его из немецкого плена Красной армией, ограничивается описанием отдельных встреч и отдельных лиц с их положительными и отрицательными сторонами.

Между тем автор *не мог не иметь дела с НКВД*, не мог избежать допросов и разговоров, т.к., будучи русским эмигрантом во Франции, он не был оставлен в СССР, а вернулся во Францию. Не мог он, без участия НКВД, выехать на Запад.

Дал ли он подписку о молчании или им руководили иные побуждения, но странно и непонятно, почему г. Варшавский в своей книге пропускает целиком период от его непосредственного соприкосновения с Советами до возвращения во Францию, период наиболее интересный и важный для читателя-антикоммуниста?

Такое замалчивание преступных сторон советского режима, а не заметить их он не мог, замалчивание о встречах с НКВД, а их не быть не могло, — выхолащивает весь смысл книги, делая ее апологией совласти, ибо молчать о творящихся там ужасах — значит умышленно действовать в руку (так! — *Сост.*) большевикам и органам НКВД.

И как бы кабинетные люди, никогда не бывавшие «там», собирающиеся для обсуждения книги Варшавского, ни рекламировали бы его творчество, — для людей, видевших всё то, что и автор данной книги, ясно одно: г. Варшавский легкомысленно преподносит читателю сладковато-теплую водицу своих рассуждений и переживаний, скрывая, да, именно скрывая, преступные действия преступной власти, — сам совершает преступление.

## **Г.В. Адамович**
### Вл. Варшавский. «ОЖИДАНИЕ»[11]

Повествование Владимира Варшавского «Ожидание» ценно, значительно, интересно и как документ психологический, и как свидетельство о нашей эпохе, о том, что пришлось видеть и испытать одному из «детей страшных лет России»[12]. Тема личная в этом повествовании неразрывно сплетается с темой общественной, а некое изумление, проходящее через все, о чем Варшавский рассказывает, одинаково относится и к повседневным мелочам существования, и к судьбе мира, взятого в целом.

ведкой Си-Ай-Си. В начале 1950 г. переехал в США. В 1960–1968 гг. проживал в Мюнхене, где работал на «Радио Свобода».

[11] Впервые (название: «Об “Ожидании”»): Новое русское слово. 1972. 14 мая. № 22615. С. 4. То же (название: «Вл. Варшавский. “Ожидание”»): Русская мысль. 1972. 25 мая. № 2896. С. 4. Подп.: Георгий Адамович (в траурной рамке).

[12] Из стихотворения А.А. Блока «Рожденные в года глухие» (1914, с посв.: «З.Н. Гиппиус»).

Нельзя отрицать, что повествование это, как говорится, «эгоцентрично», и в первой его части, где автор вспоминает свое детство, это особенно заметно. Но едва детство сменяется отрочеством и юностью, становится ясно, что сознание автора занято самим собой преимущественно потому, что ищет в себе — или сквозь себя — ответа на вечные неразрешимые вопросы: что такое жизнь? для чего мы живем, откуда мы вышли и куда идем? Варшавский знает, что единого, для всех приемлемого, для всех убедительного ответа нет. Загадочность жизни есть коренное, неустранимое ее свойство. Но метафизическая тревога автора «Ожидания» не умаляет, а скорее усиливает в нем чувство моральной ответственности: необходимость жить так, чтобы добро было добром, правда была правдой, независимо от веры в потустороннее воздаяние.

В этом смысле «Ожидание» представляет собой рассказ о долгом самонаблюдении и самоанализе. Но так как автор не только психолог, а и художник, то рассказ его о самом себе, о своих надеждах и недоумениях, превращается в широкую бытовую повесть, расцвеченную картинами, которые врезываются в памяти без прямой связи с их моральной подоплекой. Привольное, безмятежное существование в дореволюционной Москве, затем эмиграция с ее литературно-политическими кружками, с ее разногласиями и суетой сует, наконец, война 1939 года.

Если действительно «стиль это человек»[13], то не возникает ни малейшего сомнения, что Варшавский рассказывает о героизме, проявленном им на фронте, без всякой рисовки и самолюбования. Он правдив, он пишет о том, что было, потому что это было именно так, а не иначе. Бесстрашие его перед лицом ежеминутно возможной смерти оттенено страхом, охватившим его к концу войны, когда с приходом советской армии положение эмигранта во французской военной форме сделалось неясным и двусмысленным. Это едва ли не лучшие страницы в книге, страницы, в которых «мировая чепуха» — по выражению Блока [14] — достигает предела. Если даже забыть личные опасения и обиды автора, картина общей неразберихи, с разноязычными пленными, с ошеломленными одиночками-власовцами, с патриотически настроенными русскими, враждебно встреченными соотечественниками-освободителями, картина эта поистине трагична и должна бы в нашей литературе остаться как одно из самых беспристрастных свидетельств беспомощности человека, попавшего в тиски слепой истории.

Дальше — отъезд в Америку, отчасти внушенный тем же страхом, который охватил Варшавского к концу войны. Он ничего не скрывает: смерти он смотрел в глаза открыто и смело, но возможности новых допросов, подозрений, лагерей и застенков боится, и, чтобы жить, ему нужно знать, что они его не настигнут.

---

[13] «Le style est l'homme même» (*фр.*) — крылатое выражение из речи французского естествоиспытателя Жоржа Луи Леклерка Бюффона (Buffon; 1707–1788), произнесенной 25 августа 1763 г. при избрании его в члены Французской академии.

[14] Цитата из стихотворения А.А. Блока «Над черным городом, как стон...» (1909).

Если автор и отличается от большинства других людей, то преимущественно тем, что обычное «житье-бытье» не заслоняет для него жизнь во всем ее величии и — скажу еще раз — ее загадочности.

**Ю.П. Иваск**
Владимир Варшавский. ОЖИДАНИЕ.
ИМКА-Пресс. Париж, 1972. 303 с.[15]

Повествование в книге Варшавского ведется от первого лица, и, несомненно, в него включены автобиографические материалы. Некоторые читатели без труда узнают в героях многих эмигрантских писателей, поэтов, политиков. Но незачем раскрывать эти легко угадываемые псевдонимы. «Ожидание» прежде всего художественное произведение, в котором на самом деле бывшее смешано с не бывшим, с вымыслом. Кое-что совпадает с повестью Варшавского «Семь лет» (1950), но многое сокращено или дополнено и все переработано в цельном единстве этой предельно сжатой книги.

Счастливое детство на московском Арбате — утерянный рай рассказчика, Владимира Гуськова. Володя в те годы верил, что любимый отец всегда *был* и *будет*, как и он сам. Но еще в ранней юности эта его непоколебимая уверенность сменяется полной неуверенностью в себе самом, в людях, в жизни. Неуверен он и в Боге, может быть и несуществующем. А если Бог и существует, то еще неизвестно какой. Он, добрый, мудрый, и любящий ли, думает Гуськов. Эмиграция: Константинополь, Чехословакия, где он учился в русской гимназии и потерял любимого брата. Годы одиночества в Париже. Правда, на парижском Монпарнасе было у него немало друзей-сверстников, но и они тоже были непоправимо одиноки. Это та эмигрантская молодежь 30-х гг., о которой Варшавский вспоминает в своей книге очерков «Незамеченное поколение» (1956).

Гуськов — беспомощный ищущий *лишний человек* русской эмиграции. Начинается война, и вот, неожиданно для самого себя, он находит свое место в жизни. К нему возвращается, казалось бы, навсегда утраченная им уверенность в своих силах, но эта уверенность уже не детская, а взрослая. Гуськов героически отстреливается во французской крепости, атакуемой германскими танками. Он редко сближается с солдатами-французами, пришельцами из другого, чуждого ему и малопонятного мира. Все же Гуськов иногда понимает их изнутри, и не только интеллигентов, но и малограмотных бретонцев. После капитуляции Франции пять лет германского плена. Голод, холод, грубость, но Гуськов и навестивший его отец, известный антикоммунистический деятель, надеются на перемены в России, пусть и называющейся СССР, но защищающей мир от Гитлера.

[15] Впервые: Новый журнал. 1972. № 109. С. 300–302. Подп.: Юрий Иваск.

Пленных освобождает Красная армия. Он сближается с пожилым уже и ко всем доброжелательным лейтенантом Даниловым, которого, однако, вскоре отстраняют. Понемногу Гуськов начинает понимать, что почти все советские командиры, как и нацистские офицеры, безусловно верят в «державное могущество» своего строя, которому они беспрекословно подчиняются. В кошмарах, которые уже в Америке, куда он переселился, ему мерещится не то ГЕСТАПО, не то НКВД, и разница между ними не осознается, да ее на самом деле и не было.

Есть в этой книге кропотливый самоанализ, но Гуськов не «нарцисс». Он стремится в себе самом разобраться по возможности объективно, попрустовски. Вместе с тем, этот анализ и моральный. Он — свой собственный, беспощадный «совестный судья», но к другим скорее благожелателен и снисходителен. При всех своих сомнениях, при крайней недоверчивости, Гуськов упорно надеется: «Я буду идти по улице и вдруг...» Вдруг ему откроется тайна жизни и вдруг восторжествуют правда, добро, красота, Бог и любовь в вечности. Эта тема — тема ожидания, и поэтому так и называется книга.

Гуськов — художник, и ожидаемую им вечность он иногда угадывает в самой обыкновенной и даже неприглядной обстановке, в красках, линиях, смутно напоминающих видения «старого Брегеля» (Брейгеля, Ренуара или фра Беато Анджелико).

В книге немало фактического материала. По этой повести можно иметь представление о предреволюционном быте в Москве, об эмигрантском Монпарнасе, о «Парижской ноте» Адамовича, о французской армии в 1939–1940 гг., о германском плене, о Красной армии, освобождающей от Гитлера и порабощающей Сталину. А одушевляет, одухотворяет повесть почти мистическое ожидание, а также немногие живописные откровения, напоминающие прустовские в «Поисках утерянного времени»[16]. Так, Пруста озарило-осенило при виде «кусочка желтой стены» на картине Вермеера, изобразившего уличку в Дельфте[17]. А блуждающего по окрестностям Гуськова вдохновляет видение красочного праздника на опустевшем острове Ла Гренуйер, где когда-то писал Ренуар. Другое озарение восхитило его в холодное предвесеннее утро, еще в Германии: «Райское фра-анджеликовское сияние, разливаясь, переходило в вышине в такую лазоревую синеву, что если долго смотреть, — глаза начинала резать сладкая боль. Грудь, жадно вдыхая блаженный воздух, расширялась предчувствием невозможного счастья, любви ко всему миру и готовности умереть». Но тут же, на снегу торчал русский

[16] «В поисках утраченного времени» — цикл из семи романов французского писателя Марселя Пруста (1871–1922), публиковался во Франции в 1913–1927 гг.

[17] Речь идет о полотне Яна Вермеера «Вид Дельфта» (1661). Бергот, герой романа М. Пруста «Пленница» («В поисках утраченного времени». Кн. V), умирает на выставке, любуясь этой картиной, со словами: «Желтая стенка с навесом, небольшая часть желтой стены» (*Пруст М.* Пленница / пер. с фр. Н. Любимова. М.: Худож. лит., 1992. С. 186). Сам Пруст увидел картину 18 октября 1902 г., в музее Гааги; 2 мая 1921 г. он писал другу, художественному критику Ж.-Л. Водуае: «С тех пор, как я увидел в Гааге “Вид Дельфта”, я понял, что я видел самую прекрасную картину в мире» (цит. по: Там же. С. 411).

танк, который казался «особенно черным и железным». Это озарение, как и «душераздирающе сгоравшее» закатное небо над Нью-Йорком, почти вознаграждают Гуськова за долгое упорное беспросветное ожидание в сумерках жизни. В лирический или даже мистический план повести привходят и сны (в последних главах повести). Гуськову снятся умершие отец, мать, брат, друзья, все те, кого он любил. Но поэзия озарений и снов не рассеивает уныния, иногда даже нудного уныния Гуськова. Его можно назвать скептиком, меланхоликом, но чувствуется, что он до самого конца не изменит своему упорному ожиданию и, может быть, в другой книге оно ему еще больше приоткроется.

## Прот. К. Фотиев
## «ОЖИДАНИЕ» Владимира Варшавского[18]

Благополучное, счастливое детство — это всего лишь тютчевский «тонкий покров», наброшенный на бездну[19]. Глухо, дремотно, еще не достигая порога сознания, пробуждается то, что под этим покровом настороженно застыло, лишь изредка прорываясь наружу: чувство одиночества, покинутости, иррационального страха перед бытием, тайная весть о том, что надежда на счастье и на братство людей не оправдается никогда. И тем не менее только ожидание, пусть даже «безумное» — во всяком случае, с точки зрения мудрости жестокого и страшного мира — того, что добро, пусть не так и не в такие сроки, как нам того хотелось бы, но победит тьму «низких истин»[20], спасает жизнь от бессмыслицы и отчаяния. В этом ожидании — не «замысел», а сама тема книги Варшавского, и она звучит как тема жизни, подчиняющая себе все литературные «замыслы», не оставляя места для «литературных приемов». Все, что написано Варшавским, есть «искусство при свете совести»[21], иногда даже — и я это воспринимаю как великую заслугу — совесть торжествует за счет искусства. Многоопытный литератор смог бы без труда книгу Варшавского «подправить», снять то, что ленивому читателю может показаться длиннотами или повторениями, «оживить и заострить». Но делать этого, по моему убеждению, не следует, ибо тогда может исчезнуть не только присущий Варшавскому замедленный ритм, приглушенный, почти сомнамбулический ход повествования, но может исчезнуть и нечто основное и решающее — тот далекий отблеск галилейского света, которым эта книга отмечена, то, что делает ее звеном великой традиции, имя кото-

---

[18] Впервые: Грани. Франкфурт-на-Майне, 1972. № 86. С. 219–223. Подп.: Прот. К. Фотиев.

[19] Отсылка к стихотворению Ф.И. Тютчева «Святая ночь на небосклон взошла...» (между 1848 и мартом 1850): «Святая ночь на небосклон взошла, / И день отрадный, день любезный, / Как золотой покров, она свила, / Покров, накинутый над бездной».

[20] Из стихотворения А.С. Пушкина «Герой» (1930).

[21] «Искусство при свете совести» — эссе М.И. Цветаевой, впервые в виде отрывков опубликованное в парижском журнале «Современные записки» (1932. № 50. С. 305–326; 1933. № 51. С. 251–264).

рой — русская литература. Ибо не в литературном блеске и уж, конечно, не в «изяществе» дело.

Писать в наше время научились; теперь отлично пишут даже те, кому нечего сказать. Владимиру Набокову по плечу любая тема — его ненавязчивое всезнайство, его глумливая наблюдательность и словесная изощренность позволяют ему «показать» что угодно и в конце подвести читателя к разбитому корыту[22]. Я отнюдь не противник творчества Набокова, хотя бы уже потому, что помню его ранние книги, исполненные тайной печали, — написанные тогда, когда он, наверное, и не мечтал о той скандальной славе, которая была ему суждена в последние годы. Пусть те, кто «там», в России, все еще сочиняют унылые повести и романы и талдычат о «соцреализме», разобьют себе лоб об язвительную музу Набокова, о его мастерство. Но нет нужды перечитывать «Смерть Ивана Ильича» или «Матрёнин двор» Солженицына, чтобы почувствовать, что Набоков последних лет стоит вне традиции русской литературы, а что Варшавский принадлежит ей до конца. Он принадлежит ей уже потому, что, даже сомневаясь порой если не в Боге, то в истинности человеческих высказываний о Нем, не перестает молчаливо о Нем свидетельствовать. Этим «главным темам» — Бога, правды, братства людей он остается верен в течение всего своего пути: об этом думает, этим живет на страницах автобиографической повести и пражский школьник, и парижский студент-эмигрант, и французский военнопленный в лагерях гитлеровской Германии, и печальный служащий некоего нью-йоркского сверхучреждения. Фон повествования — улицы Праги и Парижа, плоские поля Померании, где собирают картошку военнопленные, серые громады нью-йоркских небоскребов — это всего лишь звучащий в отдалении хор, роль которого в том, чтобы оттенить то, чем живет душа — одинокая и бессмертная.

Покойный Г.В. Адамович в своей последней книге «Комментарии» называет «неповторимым несчастьем» то, что Достоевский не дожил до наших дней. «Никто в мире, — пишет Адамович, — не в состоянии теперь сказать то, что сказал бы он — о человеке, об одиночестве, о потере всех прав и всех основ, о нищете, и не только нищете материальной, а об исчезновении всяких обязательств, о горестном счастье, с этим связанном, о грубости и безразличии окружающего, о тупой жестокости истории...»[23]

Разумеется, Варшавскому чужда даже тень попытки «писать под Достоевского», но элементы того, о чем пишет Адамович, не могли не войти в его книгу. «Парижские» страницы Варшавского кажутся мне лучшими в его книге — думаю, что это ощутят и те, кто никогда не был русским эмигрантом в Париже. Но только тот, кто это пережил, не только ощутит, но и поймет до конца то, о чем пишет Варшавский, — это отрешенное, беспаспортное,

---

[22] Здесь отчасти прот. Кирилл Фотиев цитирует самого Варшавского. В «Незамеченном поколении» писатель так характеризовал своего друга Бориса Поплавского: «Он был совершенно лишен той глумливой наблюдательности, которая придает произведениям некоторых современных писателей привкус измены человеческому братству» (*Незамеченное поколение, 1956*. С. 213).

[23] См.: *Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон: Изд-во В. Камкина, 1967. С. 64.

безденежное, почти невесомое существование в огромном, великолепном и страшном городе, всю тоску и печаль парижских предместий под сеткой дождя, промозглым вечером в декабре. Об этом писал рано умерший эмигрантский поэт Борис Поплавский, которого Варшавский знал и которого вывел в романе под фамилией Глебова: «Есть ли елки в аду? Как справляют в тюрьме Рождество? / На брошенной кем-то газете / Нарисована елка. / Как странно смотреть на нее...»[24] Эти парижские вечера, когда за окнами загораются огни чужого уюта, когда злые консьержки подсчитывают дневную выручку и косятся на прохожих, а над кирпичной мэрией обвис тяжелый от сырости трехцветный флаг и насмешкой звучат написанные на фронтоне слова о свободе, равенстве и братстве... Нужен великий, почти фанатический подвиг, чтобы, придя в кафе, в кругу таких же бездомных эмигрантов, как ты сам, отягощенных тем же печальным опытом, не только говорить, но и твердо верить — в Россию, в человечность, в истинность демократического идеала. А когда двинулись на Францию гитлеровские моторизованные части, это «неподобные» молодые люди, сидевшие в кафе и писавшие стихи, первыми пошли на фронт, а в тылу остались насмехавшиеся над ними «реальные политики» и ловкие обыватели.

Короткая вспышка человеческого, а не эмигрантского существования — фронт. Франция 1940 года. «Смехотворная война», непоколебимая уверенность, что гитлеровцы никогда не прорвут «линию Мажино», напыщенные профессионалы-военные, живущие памятью о победе в Первую мировую войну, и одетое в разноцветные шинели стадо усталых и равнодушных людей, изверившихся во всех лозунгах и заведомо не способных, даже технически, противостоять железному немецкому кулаку. После короткого боевого счастья, после опьянения звуками боя — осажденная крепость, вынужденная капитуляция, плен...

Прекрасны страницы Варшавского, где он исподволь свидетельствует о присущей ему вере в человеческое братство. Советская литература послевоенных лет изобилует описанием немецкой военщины — офицеров, солдат, «вахманов» и «полицаев». Все они показаны как отличные винтики страш-

---

[24] Цитата из стихотворения Б.Ю. Поплавского «Рождество расцветает. Река наводняет предместья...» Впервые опубликовано в журнале «Современные записки» (1932. № 49. С. 210) без даты и разделения на строфы; с небольшими разночтениями вошло в посмертный сборник «Снежный час» (Париж, 1936). Прот. К. Фотиев цитирует неточно; в оригинале у Поплавского:

Как всё чисто и пусто. Как всё безучастно на свете.
Всё застыло, как лед. Всё к луне обратилось давно.
Тихо колокол звякнул. На брошенной кем-то газете
Нарисована елка. Как страшно смотреть на нее.

Тихо в черном саду, диск луны отражается в лейке.
Есть ли елка в аду? Как встречают в тюрьме Рождество?
Далеко за луной и высоко над жесткой скамейкой
Безмятежно нездешнее млечное звезд торжество.

ной машины уничтожения и гнета, и если им присуще какое-то индивидуальное лицо, то они неизменно обнаруживают лишь те качества, которые помогли Гитлеру эту страшную машину создать. «Цивильный вахман» Вицке, выведенный Варшавским, — усталый, больной человек, осуждающий всякое насилие и готовый, несмотря на запреты, поделиться с военнопленными своим скудным хлебным пайком, — такой образ был бы просто немыслим в советской литературе, и как он естественен у Варшавского! Его взгляд, настойчиво ищущий человечности, не мог не заметить Вицке; образ Вицке должен был остаться в его памяти как лишний аргумент в пользу того, что в ожесточенном мире остаются проблески света. Этот голос совести, ставший творческим методом, определяет собой и ту часть книги Варшавского, в которой он повествует о своей встрече с офицерами и бойцами Красной армии, освободившей его и его товарищей из плена. Его отношение к этим людям не может не двоиться — победители Гитлера верно служат другой, не менее жестокой диктатуре. Готовый полюбить каждого из этих людей в отдельности, восхищаясь их боевым подвижничеством и готовностью переносить любые лишения, Варшавский чувствует ту страшную, до конца бесчеловечную систему, которая повелевает этими людьми, и отрицание этой системы сильнее всех других чувств. Лучше эмиграция, лучше и в будущем бездомность и одиночество, чем внутренняя капитуляция перед этим организованным и страшным злом, перед елочными игрушками, повешенными на проволоку концлагеря... «Мое единое отечество — моя свободная душа...»[25]

Непосредственное ощущение зла жизни, горя жизни у Варшавского сильнее, чем любая философская рефлексия — к ней Варшавский относится недоверчиво, как бы подозревая ее в некоем метафизическом лукавстве. Но сам стиль его восприятия жизни, так ясно отразившийся во всем написанном им, свидетельство философского или, точнее, мировоззренческого порядка. Зерно добра живо. Сто́ит жить, сто́ит писать для того, чтобы свидетельствовать об его тайном прорастании.

[25] Цитата из стихотворения К. Бальмонта «Я ненавижу человечество...» (1903). У Бальмонта: «Мое единое отечество — / Моя пустынная душа».

**Прот. А. Шмеман**
ОЖИДАНИЕ. Памяти Владимира Сергеевича Варшавского[26]

Вся моя жизнь стала ожиданием.
*В.В.*

Владимир Сергеевич Варшавский не занимал сколько-нибудь видного места на эмигрантском литературном Олимпе, да по присущей ему совершенно удивительной скромности и не стремился к этому. Он искренне считал себя неудачником, сомневался в своих силах, в своем даре, писал мучительно медленно. От более чем полувековой литературной деятельности остались после его смерти, кроме нескольких статей и рецензий, всего две книги: «Незамеченное поколение» и «Ожидание» (включившее в себя его более ранние «Семь лет), и если о первой, вышедшей в 1956 г., немного поспорили и пошумели, то о второй, несомненно, главной его книге, не будет преувеличением сказать, что осталась она и впрямь незамеченной.

Я уверен, однако, что небольшому по объему, но «с лица необщим выраженьем» творчеству Варшавского еще суждено *прорасти*, занять подобающее ему место в русской литературе, оказаться *нужным* в том трудном процессе исцеления и просветления русского сознания, от которого зависит подлинная судьба России. Поспособствовать, в меру сил, этому прорастанию и постараться, прежде всего, хотя бы просто «обратить внимание» на Варшавского — вот цель этих кратких, заведомо неполных отрывочных заметок.

Как внешне, житейски, так и внутренне, духовно, жизнь Варшавского оказалась всецело определенной его, также всецелой, можно сказать — кровной, принадлежностью к эмиграции и, это значит в первую очередь, его не только паспортной, но и «экзистенциальной бездомностью». Он слишком молодым, четырнадцати лет, покинул Россию, чтобы, подобно старшим эмигрантским писателям, свое посвящение в русскую литературу получившим до революции, продолжать за рубежом еще в России начатое дело. И он покинул Россию недостаточно молодым, чтобы по-настоящему «включиться» в западную жизнь, почувствовать себя на Западе дома. Отсюда — бездомность, безбытность, по отношению не только к Западу, но и к «старой» эмиграции, которая почти сразу же начала воплощаться в некий вполне определенный, по-своему даже органический эмигрантский быт.

---

[26] Впервые: Континент. 1978. № 18. С. 261–277. Подп.: Прот. Александр Шмеман.

Статья опубликована под рубрикой «Религия в нашей жизни» и завершалась справкой об авторе: «ШМЕМАН Александр Дмитриевич — протопресвитер. Родился в 1921 году в Ревеле (Таллине). С 1929 по 1951 годы жил в Париже. В 1940 году окончил Свято-Сергиевский Богословский институт. В 1946 году рукоположен в священники. С конца 50-х годов — декан Свято-Владимирской Духовной Академии в США. На русском языке опубликовал две фундаментальные работы: “Исторический путь православия” (Изд. им. Чехова, 1956) и “Введение в литургическое богословие” (ИМКА-Пресс, 1961). Многие его труды вышли в свет также и по-английски».

Пишу это не для того, чтобы лишний раз посетовать на трагическую судьбу эмигрантского «незамеченного поколения», о котором с таким участием и «открытостью» написал свою книгу Варшавский, ибо по сравнению с действительно безмерной трагедией, выпавшей на долю того же поколения в России, само слово *трагедия* звучит здесь, пожалуй, как преувеличение. Сколь трудной, подчас мучительной ни была жизнь Варшавского и его эмигрантских сверстников, бремя их одиночества все же сочеталось с бесценным даром свободы.

С упоминания бездомности я начинаю потому, что, по моему убеждению, этим опытом бездомности изнутри определено творчество Варшавского, его — и я сознательно употребляю это «высокое» слово — писательский *подвиг*. Главную, объединяющую тему этого творчества, основное его вдохновение я ощущаю как *преодоление бездомности*, но уже не только «биографической», бытовой, эмигрантской, личной, а бездомности, осознанной как страшная судьба человека и человечества в их отрыве от подлинного дома, в их *изгнанности* из рая... В данности его эмигрантского опыта раскрывается Варшавскому *заданность* его призвания, его дела: быть свидетелем того *ожидания*, которым сначала невольно, «в силу условий», а затем постепенно все более сознательно, на все большей глубине, становится вся его жизнь и все его творчество.

Я употребил слово *подвиг*. В применении к Варшавскому оно требует пояснения. Ибо так случилось, что в Варшавском как-то сразу, с самого начала, увидели, а потом, по привычке, так и продолжали видеть представителя, описателя и апологета русского парижского «монпарнаса», т.е. литературной среды, литературного «настроения», пронизанных, как пишет сам Варшавский, «чувством невыносимости мира, сознанием своей ненужности и слабости»[27] и потому горестно музыкальным воспеванием и приятием гибели. Между тем этот пессимизм, эта безнадежность не только не свойственны творчеству Варшавского, но все оно, напротив, как раз и рождается из сознательного стремления их преодолеть. Да, Варшавский был участником и завсегдатаем Монпарнаса, может быть, одним из самых подлинных, самых верных его участников. Да, и боль жизни, и слабость, и ненужность — все это он испытал, все это неотъемлемая часть того опыта бездомности, который дан был ему как первый и решающий опыт жизни. В том-то и все дело, однако что-то, что для других стало самим содержанием, самою тканью их творчества, Варшавский ощутил и осознал как соблазн, требующий преодоления, призывающий на подвиг, каковым и стало для него его писательское творчество.

«Был на свете рыцарь бедный...»[28] Почему именно этот пушкинский стих приходит мне на память каждый раз, что я думаю и вспоминаю о Варшавском и пытаюсь для себя определить дух и сущность его творчества? Но вот

---

[27] А. Шмеман цитирует В. Варшавского по: *Незамеченное поколение, 1956*. С. 195.

[28] Первая строка из ранней редакции стихотворения А.С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829).

проверяю себя и чувствую: нет, не борец, не вождь, не «властитель дум», а именно рыцарь и именно этот, пушкинский, «рыцарь бедный». В слове «борец» как-то сразу чувствуешь и видишь этакого силача, идущего напролом, ведущего за собою других, полного неиссякаемой энергии, без усталости, без сомнений, всегда знающего, как, кому и когда наносить удары. От такого борца, действительно, ничего не было в Варшавском, ничего нет и в его творчестве. В его автобиографическом «Ожидании» рассказ ведется от имени незадачливого эмигрантского художника Владимира Гуськова (одно это имя чего стоит!), вечно неуверенного в себе и в своих силах, всегда рассеянного какой-то странной рассеянностью, как-то никогда не поспевающего за жизнью. Какой уж там борец... Но вот вглядитесь в этот образ, вчитайтесь в этот рассказ — рассказ о рыцарской верности. Верность, вот — на глубине — то одно, что требуется от рыцаря, что составляет сущность рыцарства. Рыцарство чисто от расчета и хитрости, от тактики и стратегии, от упоения силой властью, т.е. от всего того, что присуще и даже необходимо удачливому борцу; оно свободно от всего, кроме верности. Так вот таким «рыцарем бедным», бедным всем, кроме верности, и был Варшавский, и подвигом этой верности от начала до конца пронизаны и жизнь его, и творчество.

Пусть тот, кто захочет проверить это мое утверждение, прочтет в «Ожидании» страницы, посвященные участию рядового 2-го класса французской армии Владимира Гуськова в защите заранее обреченной крепости в позорные для Франции майские дни 1940 года, когда не было у нее уже армии, а только бесформенные толпы в панике убегающих людей. Страницы, которые по своей правдивости, скромности и, вместе с тем, по озаряющей их ослепительной и чистой славе достойны сравнения с лучшими страницами русской литературы. Процитировать их здесь — нет места, пересказать своими словами нельзя. Их нужно прочитать. А о том, что копия — Гуськов верна подлиннику — Варшавскому, свидетельствует следующий приказ по армии, данный в 1947 году по случаю запоздалого награждения солдата 2-го класса Владимира Варшавского высшей французской боевой наградой — Военным крестом с серебряною звездою:

*«Великолепный боец беспримерной храбрости и жертвенности, он 14 мая 1940 года остался одним из последних на линии огня, прикрывая отступление своей роты. Оставшись невредимым, но отделенный от своей части, примкнул к другому полку и добровольно принял участие в защите крепости Булонь, сражении, во время которого он вызвал всеобщее восхищение силой своего духа и полным презрением к опасности и прекратил сопротивление, только подчиняясь приказу и только по исчерпании всех боевых припасов»*[29].

[29] Шмеман цитирует распоряжение военного министра Франции Поля Косте-Флоре от 8 января 1947 г. (в оригинале на фр. яз.) о награждении В.С. Варшавского Военным крестом с серебряной звездой (Croix de guerre avec Étoile d'Argent), см.: Citation № 1972/C. A l'ordre de la division. Varsavsky Vladimir // ДРЗ. Ф. 54.

Это о жизни. А теперь о Варшавском-писателе. При всей своей страстной любви к «идеям», к идейным исканиям и спорам, был он и себя ощущал, прежде всего, не мыслителем, а писателем, и это значит — художником, «воплотителем» своего мира, своего опыта и своего ви́дения жизни, а не только идейным их комментатором. Поэтому, сколь бы ни были ценны, интересны и значительны его публицистические труды: «Незамеченное поколение» и еще неизданная «Родословная большевизма», — в живую ткань русской культуры он должен войти, в первую очередь, как автор «Ожидания». Поскольку в этой книге воплотил он свой главный и основной — художественный — дар, именно она животворит и те идеи и убеждения, которыми он жил, но которые без нее остались бы только идеями, а в ней искусством претворены в живую, нужную и целительную правду.

Как уже было сказано выше, «Ожидание» — это автобиографическое произведение, в котором, по признанию самого Варшавского, «ничего не выдумано». И на первый взгляд может показаться непонятным, для чего потребовалось автору маскировать себя под художника-неудачника Гуськова и употреблять другие, не менее прозрачные псевдонимы, под которыми, вопреки избитому выражению, никак не скрываются Керенский, Фундаминский, Федотов, Адамович, Поплавский и другие, менее известные, но столь же реальные персонажи предвоенного русского Парижа.

Но это только на первый взгляд. Ибо если в этой автобиографической книге, с одной стороны, действительно ничего не «выдумано», то всё в ней, с другой стороны, полностью подчинено тому *вымыслу*, который в своем «Умиранье искусства» В.В. Вейдле определил как источник искусства и суть которого не в «выдумке», а в только художнику, только творцу присущем даре — любой «материал» претворять в жизнь и делать ее нашей жизнью, нашим общением со всем тем, чему всякое подлинное искусство в претворении этом нас приобщает[30]. Читая «Ожидание», мы не просто читаем книгу о событиях, участником или свидетелем которых Варшавский был, мы погружаемся в мир, в жизнь, поистине воссозданные писателем и им нам даруемые, чтобы стать частью нашей жизни, как навсегда стали такой частью часы, проведенные *нами* на батарее капитана Тушина или же у постели умирающего князя Андрея... Прозрачные, ничего не скрывающие псевдонимы в «Ожидании» тем и нужны, тем и оправданы, что, отчуждая и автора, и других действующих лиц, прежде всего, от самих себя, от своей только «фак-

---

[30] Этой теме Вейдле посвятил в книге «Умирание искусства» первую главу «Над вымыслом слезами обольюсь...», где, в частности, писал: «Как бы ни были многообразны в искусстве открывающиеся миры, никогда не порывалась связь между ними и тем, что мы называем правдой. Вымысел с полной свободой для самого себя незаметно переходил от познания к творчеству и от творчества к познанию: слияние этих начал как раз и составляет сущность вымысла и вместе с тем сердцевину всякого искусства. Лишь оскудение вымысла, лишь закат воображаемых миров привели к расколу между познанием и творчеством, а отсюда и между творческой личностью, творческим делом художника и его эмпирическим, житейским, "реальным" бытием» (*Вейдле В.* Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества. Париж: Изд-во РСХД и журн. «Путь жизни», 1937. С. 11).

тичности», только «историчности», они позволяют творческому вымыслу выполнить свое дело претворения, воссоздания и воплощения. А это и есть дело искусства.

Мера же успеха этого дела зависит, конечно, в первую очередь, от подлинности — у каждого писателя — его слова, языка, стиля. И вот, переходя теперь к стилю Варшавского, я невольно и даже неожиданно для себя ощущаю потребность определить его сначала как бы отрицательно: а именно как *отсутствие* блеска. Под блеском же я разумею здесь те сознательные поиски словесного совершенства и языковой оригинальности, ту сосредоточенность на «стиле» как таковом, которые, в моем их восприятии, характеризуют собой русскую прозу послетолстовского периода, составляют главную новизну ее по отношению к традиции XIX века, завершаемой Толстым, ту новизну, что позволила кому-то, уж не помню кому, совершенно серьезно заявить, что Бунин и Набоков пишут лучше Толстого... Так вот этой новизне Варшавский предельно чужд. Язык его одинаково далек и от «парчовой прозы» Бунина, и от словесного фейерверка Набокова, и от лексического «опьянения» Ремизова. Поэтому читателю, на этом «блеске» воспитанному и выросшему, привыкшему при чтении книги все время сознательно воспринимать ее «стиль» или, говоря устарелым, наивным языком, наслаждаться «формой» как чем-то отдельным от «содержания», книга Варшавского, возможно, покажется стилистически слабой или даже просто стиля лишенной. И к такой оценке подталкивает его как будто и сам автор: «Перечитывал свои записи, — пишет в своем предисловии Владимир Гуськов, — ни слога, ни воображения. И нет действия, нет развязки. Да и какая может быть развязка? Неясные мысли о значении жизни будут приходить мне до самой смерти. Мне никогда не удастся выдать их за литературное произведение...»[31]

На деле, однако, именно эти строки дают нам почувствовать, осознать то как раз, что уже без всяких оговорок следует назвать стилем Варшавского, т.е. только ему присущим, только его дар выражающим и воплощающим «почерком». Напомним, что строки эти написаны Владимиром Гуськовым, выражают его, Гуськова, литературную оценку своих записей. Но в том-то и все дело, что то, чего не знает Гуськов, знает в своей писательской совести Варшавский. Он знает, что у него и для него «отсутствие блеска» — не от неумения, не от отсутствия литературного дара (как это склонен думать Гуськов), а это и есть сознательный вызов этому «блеску» во имя, прежде всего, другого — и именно по совести восприятия «литературного произведения» и самой литературы. Восприятия ее как подвига, сущность которого в том, чтобы, преодолевая соприродное литературе искушение, соблазн «блеском», найти, наконец, подлинные, незаменимо насущные слова. «Я для того и пишу, чтобы удостовериться, чтобы победить сомнение, чтобы лучше вглядеться в действительность моей жизни, словно надеясь усилием

---

[31] Цитируемый фрагмент относится не к предисловию, а к послесловию романа (см.: Наст. изд. С. 311).

внимания остановить смерть. Вот почему я стараюсь описывать мои мысли и чувства как можно точнее, стараюсь *проявить* их в том первоначальном наивном виде, в каком они мне приходят. Это мучительно трудно. Под моим взглядом они начинают разрастаться во все стороны, как подводные растения в ускоренных фильмах. Стремясь к точности, я бесконечно переписывал и переделывал. Кошмарный, сизифов труд... Но иначе мое предприятие теряло всякий смысл...» Варшавский мог бы прибавить, что без этого подвига, без этого «проявления» теряли бы для него всякий смысл все искусство, вся литература...

Если литература — как бы говорит Варшавский своим *ожиданием*, да, в сущности, всем своим творчеством — только «слог и воображение», только «действие и развязка», или, иначе, только «блеск», тогда, да, записи эти — не литература, и их, действительно, «не выдать за литературное произведение». Но что, если она прежде всего и превыше всего — мучительный, сизифов подвиг воплощения до конца никогда не воплотимой, всегда ускользающей, всегда неуловимой и, однако же, как воздух, как хлеб, необходимой правды, которую, потому что она не об «идеях», а о самой жизни, сама жизнь, *проявить* дано и заповедано только искусству? Что, если она — все тот же рыцарский подвиг верности, в котором искание слов неотделимо от усилия совести, в котором писатель верностью своей жизни отвечает за верность своих слов?

Вопросами этими все главное о «стиле Варшавского», в сущности, сказано. Ибо каждая фраза его есть всегда утвердительный ответ на них, за каждой — сизифов труд *проявления*, мучительный подвиг верности. Ни одна не «скользит по поверхности», не подмигивает читателю — смотри, мол, как ловко я скроена,— не живет сама собою, в самодовольстве и самодостаточности. Каждая и все вместе, спокойно и послушно и — хочется сказать — с чистой совестью, делают свое дело, и дело это прочно и в свете, столь ощутимо излучаемым им, — прекрасно...

Я не чувствую себя компетентным говорить о литературных влияниях, испытанных Варшавским. Но два имени, мне кажется, должны быть названы: Толстого и Пруста[32]. Казалось бы, трудно себе представить двух писателей, более различных между собою, и не только литературно, но и духовно — в самом восприятии мира, жизни, творчества. И все же я убежден, что именно эти два влияния, и не в отдельности, а в совокупности, в их некоем как бы двуединстве, для Варшавского — писателя были решающими. Стиль Варшавского родился из их творческого, органического сочетания, их как бы пресуществления в подлинно свой, уже не толстовский и не прустовский, а именно свой — Варшавского — язык и стиль.

Принцип же этого сочетания и пресуществления, т.е. то, что в творчестве Варшавского их одновременно и требует и осуществляет, это, конеч-

[32] Ту же мысль прот. Александр Шмеман, работая над статьей, зафиксирует в дневнике, запись 12 апреля 1978 г. (*Шмеман А., прот.* Дневники, 1973–1983. М.: Русский путь, 2005. С. 425).

но, *родство* Варшавского с той *правдой*, которая ему открывается и которую он ощущает как свою в творчестве и Толстого, и Пруста. Иными словами, две «правды», которые при любом формальном анализе выглядели бы, несомненно, как противоположные одна другой, Варшавский в своем опыте воспринимает и потому в своем творчестве воплощает как одну правду.

Что же это за правда? Подчеркиваю, что речь здесь идет о мировоззрении, не об идеях и убеждениях. Варшавский — никак не толстовец, и ничто ему так не чуждо, как метафизическая, религиозная слепота Пруста. Речь идет о правде творчества, т.е. о том, что в творчестве каждого из этих двух писателей живет навеки своей и независимой жизнью, независимой от идей и убеждений своих авторов, и живет потому, что правда.

Не развивая здесь, за недостатком места, этой темы, скажу так: от Толстого воспринимает Варшавский как свою — правду «вещности», конкретности, осязаемости, «реального присутствия» мира и всего в мире, правду ускоренности и воплощенности человека в «природе» и его — от природы, от мира и его жизни — неотрываемости. Отсюда у него это — толстовское — искание правды слова, отсюда — толстовское же отталкивание от «блеска» как приукрашения или замазывания правды, отсюда, наконец, постоянное стремление сказать всю правду, правду «как она есть»: «Вечером возвращение в Нью-Йорк по другой дороге, мимо залива. Вдоль лукоморья россыпь огней фабричного поселка, в порту призрачно-серебряные в прозрачности вечернего воздуха, какие-то обезглавленные подъемные краны, а на другом берегу, плоском и печальном, ни домов, ни огней. Там, за еле различимым мысом, виднелись пустынная бухта и опять полоска земли, и еще бухты и мысы, и только далеко за ними, сливаясь с ночью, синел открытый океан». Это не Толстой и даже не «под Толстого». Но это же — толстовская — «правда», тот же опыт *присутствия* и то же стремление — запечатлеть, воплотить его в «проявляющих» словах.

От Пруста же — отсутствующий у Толстого *антропоцентризм* этого опыта, ощущение и переживание всего в мире и в природе как не только «отнесенного» к человеку, но и к нему обращенного *откровения*, которое только в нем, в человеке, находит свою разрядку и жизнь: «И все-таки мне казалось — в таинственном сиянии светлых сумерек безмолвно совершается какая-то душераздирающая драма, и эти заливы и мысы приглашают меня остаться с ними. Им так же грустно, как и мне грустно, что я уезжаю и никогда не смогу обойти и узнать их всех... Нет, если пристальнее вглядеться в это впечатление, им грустно потому, что не только я, а никто о них не знает. А то, о чем никто не знает, все равно что не существует. Они не могли с этим примириться. Им нужно было пребывать в чьем-то вечном сознании».

Вот этой двуединой правдой — о человеке в мире, о мире в человеке, о призвании человека дать миру «человеческое значение», найти и самого себя, и мир, и всю жизнь «в чьем-то вечном сознании», — и живет и движется творчество Варшавского.

Так прихожу я к последнему и для меня самому важному: к тому «виденью непостижимому уму»[33], которому, подобно пушкинскому рыцарю бедному, он служил, о котором и ради которого писал и которое и сделало «всю его жизнь ожиданием». Только скажу сразу же, что определить и описать его в словах «постижных уму» нельзя, ибо не сводимо оно ни к каким философским, идейным схемам, и это несмотря на то, что сам Варшавский пытался довольно-таки, по-моему, беспомощно толковать его при помощи Бергсона, Тейяра де Шардена и других мыслителей. По-настоящему воплощено оно только в его художественном творчестве. И потому я могу всего лишь попытаться указать на те *образы*, в которых видение это является в творчестве Варшавского и явлениями этими связывает его воедино, делает рассказом и свидетельством о некоем духовном пути.

На первом месте, и хронологически, и экзистенциально, — образ России. Россия для Варшавского — это, прежде всего, детство, счастливое московское детство, но потому и образ того потерянного рая, изгнание из которого, тоска по которому и *ожидание* возврата в который составляет, в сущности, главную тему всего его творчества. В оставшихся после Варшавского бумагах и черновиках имеется такая запись, относящаяся если и не к последним, то, во всяком случае, и не к ранним годам его жизни: «Как много лет я любил Россию, какое значение эта любовь имела в моей жизни, может быть, самое сильное чувство в моей жизни. Ведь странно, даже идя на войну во французскую армию, я шел как русский и как бы за Россию... Правда, та, любимая мною Россия, Россия людей с душой из особой русской материи, меня никогда не отвергла». «Странно» это, однако, только если не знать, что Россия для Варшавского с самого начала *рай* не только потому, что она — детство и счастье, а и потому, что она — воплощение нравственного идеала, *добра*. Может быть, благодаря тому, что фоном этого детства оказалась война, обострившая даже у ребенка чувство патриотизма, но уже семи-восьми лет, вспоминает Варшавский, он, «не сомневаясь, знал: Россия — самая великая страна, всегда воюет за правое дело, и русские всех сильнее и храбрее, всегда всех побеждают». А вот — из еще более раннего пласта воспоминаний, связанных с отцовским замечанием о Толстом: «Я тогда ничего Толстого еще не читал, но слова отца навсегда остались в моем сознании. Толстой говорил то же самое, что сказано в Евангелии, и вся русская литература говорит то же самое, что сказано в Евангелии. Вся Россия приняла учение Евангелия о любви и самой высшей правде. Быть русским — это значит быть за Правду». И, наконец, это: «Мы возвращаемся с купания. Перейдя мост, остановились на пригорке. Я смотрю назад, на Клязьму. Уже смеркалось. Я с удивлением вдруг чувствую, как все красиво: дорога, река, крестьянские избы на том берегу, огороды, ветлы по бокам дороги, дальний лес и надо всем — огромное вечернее небо. Похоже на картины в Третьяковской галерее, но лучше, глубже, таинственнее. Я вспомнил выученные недавно стихи из хрестоматии:

[33] Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...»

“эти бедные селенья, эта скудная природа”. Скудная, а все-таки край русского народа — самый лучший на свете: его “в рабском виде царь небесный исходил, благословляя”. Я не совсем понимал, что это значит “в рабском виде”, но я чувствовал, ничего не могло быть лучше, чем в России, ближе к чему-то самому хорошему, высшему, прекрасному».

Любовь к этой подлинной России, не отрываемой от Правды, от «чего-то самого хорошего, высшего, прекрасного», Варшавский сохранил до конца, несмотря на страшное, дьявольское искажение ее лика, так правдиво описанное им в главах, посвященных в «Ожидании» встрече его — французского военнопленного в Германии — со смертоносной лавиной Красной армии... Потому «как русский и как бы за Россию» пошел он и во французскую армию. И, наконец, смерть настигла его за лихорадочной, по всей вероятности, смерть ускорившей работой над «Родословной большевизма», произведением, в котором опять по-рыцарски, с поднятым забралом восстал он против того, что ощущал как страшную ложь о России, против выведения дьявольщины большевизма из самой сущности России, из самой материи русской души.

Второй образ связан, как это ни покажется странным для русского уха, связывающего это слово с чем угодно, кроме «мистики», со словом *демократия*. Между тем для Варшавского слово это звучало именно мистически. Он и воспринял-то его не из политического словаря, а из бергсоновских «Двух источников морали и религии». «До тех пор, — пишет он, — я знал о демократии только по курсу государственного права: описание систем выборов и перед кем ответственно правительство. Мне не приходило в голову, что это может иметь отношение к Правде». Учение Бергсона открыло ему, что «демократия» — это не только политика, не просто политический антипод тоталитаризма, а нечто неизмеримо более глубокое, связанное в источнике и вдохновении своем с евангельской заповедью любви, с евангельским «утверждением абсолютной ценности личности». «Я знал, что никогда не стану настоящим христианином. Быть христианином — это значит любить людей, не заботиться о себе, не думать о своих удовольствиях, жертвовать собою, все отдавать. Как та женщина у Толстого, в “Фальшивом купоне”. Она за всеми ходила, стирала, готовила, отдавала последнее. А ее все ругали и даже били. Я так не мог бы, умер бы от утомления и скуки. Я только о себе всегда думал, о моих мыслях, о моих чувствах. Эта моя неспособность любить меня огорчала. И вот у Бергсона я нашел утешение. По его словам выходило, что жизнь и вещество, которые наполняют мир, присутствуют в каждом из нас. Значит, и я, какой бы я ни был, причастен к действительности всего, что совершается в мире. Поэтому, чем внимательнее всмотришься в глубину своего сознания, тем ближе прикоснешься к началу, из которого все вышло. Это даст силы вернуться в мир, жить, действовать, любить. Тогда не будет моей вечной усталости».

Из этих строк ясным, я думаю, становится, что «демократия» для Варшавского — не политика, не идеология, а — до всякой политики и до любых

идей — присутствие и действие в мире таинственной силы любви, которая одна способна победить в человеке его эгоизм, отчуждение от жизни, усталость. О том же, что имеем мы дело здесь с опытом именно мистического порядка, свидетельствуют слова Варшавского, слова, которых человек не скажет ни о чем, кроме как о самом главном, «едином на потребу»: «Мне все ясно стало: свой эгоизм, свою неспособность любить я искуплю, отдав свою жизнь за демократию».

Свою книгу Варшавский хотел назвать не «Ожиданием», а «Рассеянностью», переменить это заглавие уговорил его издатель. И, действительно, тема рассеянности проходит через весь рассказ, составляя как бы основную его «тональность». Но я думаю, что правы были и Варшавский, и его издатель. Ибо рассеянность эта — не от отсутствия чего-то в характере или в сознании рассказчика: способности сосредоточиться, дисциплины, внимания и т.д. Нет — она от *присутствия ожидания*, от обращенности души все к тому же «единому видению непостижимому».

Виденье, ожиданье *чего*? На этот самый последний вопрос ответить можно одним, старым-старым, наивным и все же по-настоящему никогда не стареющим словом. Слово это — *рай*. Только его перестал слышать и воспринимать современный человек, напичканный, оглушенный бесчисленными его дешевыми подменами. Но душа Варшавского стремится именно к раю, к тому «вожделенному отечеству», о котором поет церковь, провожая умершего человека[34]. По нем — тоска, из-за него рассеянность, к нему устремлено ожидание, и не только в душе человеческой, но и во всей природе, которая, по слову Апостола Павла — «совокупно стенает и мучится доныне... в надежде, что освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:21–22).

«Припадки рассеянности находили на меня все чаще. Достигая наибольшего напряжения, моя тоска соединялась со странным мечтанием. Что-то вдруг происходило с моими восприятиями. Мне мерещилось, природа *смотрит* на меня с таким выраженьем, словно хочет открыть мне что-то, что непостижимо присутствует *по ту ее сторону*. Еще мгновение, и я все пойму, все мои недоумения рассеются, наступит небывалая, блаженная радость».

Но ведь это — о вере. О вере не в доказательства и рассуждения, а о вере, загорающейся в душе каким-то непостижимым чудом, как знание, как предчувствие «небывалой, блаженной радости». «Не веря рассуждениям богословов, я повторил случайно прочитанные слова одной французской монахини. Когда ее спросили, почему Бог допускает это, она сказала: не знаю, я думаю, что этот вопрос неразрешим для человеческого ума. Но интуитивная, неизъяснимая уверенность, что Бог нас любит и что Он здесь, рядом, устраняет все умственные сомнения. Радость этой уверенности сильнее смерти и страда-

---

[34] В православном чине погребения в тропарях по окончании 118-го псалма поется: «образ есмь неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений: ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием, и вожделенное отечество подаждь ми, рая паки жителя мя сотворяя» (тропарь глас 5).

ний. Не знаю, каким образом, но я знаю, что над ужасным злом этого мира есть царство правды, добра и красоты, подобное свету без тени. Я знаю, эти мучительные вопросы там разрешены, хотя не знаю как».

Опыт рая, опыт страшного из него изгнания «во страну далече»[35]. И в этом изгнании — опыт ожидания, надежды и усиливающаяся уверенность, что для этого царства создан человек, что я в нем — исполнение Божественного его призвания. Старая схема, тысячи раз сказанные слова. Но какая радость, когда оживают они в человеческой жизни, в человеческом искусстве.

«Прошлой ночью, — пишет Варшавский, и строками этими завершается его книга, — мне приснилось: я с волнением радости чувствовал приближение этого события, которого я всегда ждал, хотя оно казалось мне невероятным. А вот, значит, я все-таки был прав, мое ожидание не обмануло. Я чувствовал во сне счастье...»

Читаешь это и как бы в ответ слышишь: «Радости вашей никто не отнимет у вас...»[36]

*Май 1978*

[35] Отсылка к Притче о блудном сыне (Лк. 15:11–35).

[36] Слова Иисуса Христа своим ученикам накануне Голгофских страданий: «...Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас...» (Ин. 16:22).

# УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

**Варшавский, В.С.**

В-188 Ожидание : проза, эссе, литературная критика / Владимир Варшавский ; предисл. Т.Н. Красавченко ; сост., подгот. текста и коммент. Т.Н. Красавченко, М.А. Васильевой ; послесл. М.А. Васильевой ; вступ. ст. к прилож., сост. и подгот. текста М.А. Васильевой при участии О.А. Коростелева. — М. : Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына : Книжница, 2016. — 752 с.

ISBN 978-5-98854-056-4 (ДРЗ)
ISBN 978-5-9905658-4-5 (Книжница)

В книге впервые полно представлено художественное, литературно-критическое и историко-философское творчество Владимира Сергеевича Варшавского (1906–1978), уникального писателя и мыслителя, представителя «молодого поколения» первой волны русской эмиграции, до сих пор широко известного главным образом своей книгой «Незамеченное поколение» (Нью-Йорк, 1956), переизданной в России в новой авторской редакции (М., 2010).

Проза Варшавского (прежде всего роман «Ожидание»), его эссе, ярко, выразительно передающие драму поколения, которому он дал очень точное определение — «незамеченное поколение», по смыслу и значению выходят за рамки «эмигрантской» литературы, органично вписываются в «мейнстрим» русской литературы и вносят в отечественную и шире — европейскую культуру нечто особое и вечно актуальное — героя, способного сохранять внутреннюю свободу и человечность в жестоком мире.

Восприятие творчества Варшавского современниками представлено в приложении — это рецензии на его автобиографическую прозу, а также новые архивные материалы — корпус писем выдающихся современников с живой и полемичной реакцией на его творчество. Этот эпистолярий и неизвестные фотоматериалы, которыми проиллюстрировано издание, ныне хранятся в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.

**УДК 82-94+82-6**
**ББК 84(2 Рос)6**

Научно-художественное издание

**Варшавский** Владимир Сергеевич

# ОЖИДАНИЕ

*Проза, эссе, литературная критика*

Составители: **Красавченко** Татьяна Николаевна
**Васильева** Мария Анатольевна

Редактор-корректор *Н.С. Самбу*
Компьютерная верстка *П.А. Сандомирский*

Подписано в печать 30.11.2016.
Формат 70х100/16. Тираж 1000 экз. Заказ 2142

ООО «КНИЖНИЦА»

125009, г. Москва, Газетный пер., д. 1/12, оф. 61
Тел.: (495) 915-10-47. E-mail: info@rp_net.ru
Сайт издательства: www.rp-net.ru или русский путь.рф
Сайт книжного магазина: www.kmrz.ru

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, г. Москва, Шубинский пер., д. 6

Владимир Сергеевич Варшавский родился в Москве в 1906 г. в семье присяжного поверенного. Мать его, из старинного рода Норовых, была актрисой Московского Художественного Театра. Через Константинополь семья попала в 1920 г. в Прагу, где В.С. окончил юридический факультет в возрасте 20 лет. В 1926 г. В.С. переехал в Париж, поступил в Сорбонну, где изучал литературу. Тогда же он вошёл в круг "русского Монпарнасса." В 1929 г. появился первый его рассказ "Шум шагов Франсуа Виллона," в журнале " "Воля России." Писал В.С. во всех русско-парижских эмигрантских журналах, сотрудничал в "Числах," в "Новом Граде," в "Путях", итд.

В 1939 г. В.С. добровольно вступил в ряды французской армии, веря, что служит не только Франции, но и "чести русского имени." Был награжден Военным Крестом за храбрость, "вызывая восхищение своим презрением к опасности," попал в плен и был осовобожден только после поражения Германии. Переехал в США. В 1950 году вышла его книга "Семь лет," затем "Незамеченное поколение" в 1956 и"Ожидание" в 1972 г.

Curriculum vitae
Владимира Варшавского.
Не датировано (ДРЗ. Ф. 54)

ISBN 978-5-9905658-4-5

